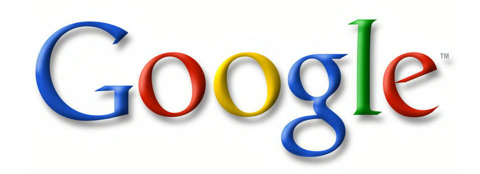


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

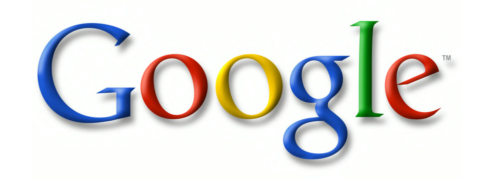
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, ыринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



Petropavlovskii, N. E.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

КАРОНИНА

(Н. Е. Петропавловскаго).

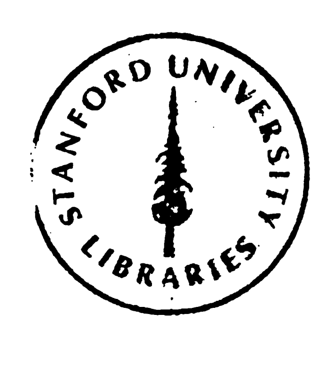
Съ портретомъ, факсимиле и біографическимъ очеркомъ.

Редакція А. А. ПОПОВА.

Изданіе К. Т. Солдатенкова.

ТОМЪ II.

МОСКВА.
Типо-литографія В. Рихтеръ. Тверская. Мамоновскій пер., с. д.
1899.


STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Борская колонія.

I.

Въ раю.

Послѣ охоты Грубовъ и Неразовъ не пошли въ село, а сдѣлали длинный привалъ подъ огромными соснами, растянувшись на мягкомъ боровомъ мхѣ, которымъ густо была покрыта песчаная почва этой части лѣса; тутъ же, возлѣ нихъ, въ безпорядкѣ валялись всѣ охотничьи принадлежности—ружья, сумки, патронташи. День былъ знойный. Это былъ одинъ изъ тѣхъ горячихъ дней, когда воздухъ кажется растопленною мѣдью, земля тяжело дышетъ послѣдними испареніями, вода превращается въ стекловидную, мертвую массу; дальнія поля, полузакрытыя горячею дымкой, какъ будто тлѣютъ медленнымъ огнемъ, а сосновый лѣсъ, съ своими красными стволами, издали представляется колоссальнымъ костромъ, который безъ дыма и треска пылаетъ неподвижнымъ пламенемъ. Охотники долго бродили, только-что выкупались и легли въ самую густую тѣнь лѣса. Но въ этотъ день и тѣнь не давала прохлады. Сквозь вѣтви деревьевъ солнечный огонь проникалъ до самой земли и раскалилъ сухую траву ея такъ сильно, что она, казалось, уже корчилась и дымилась, готовая мгновенно вспыхнуть; въ воздухѣ носился рѣзкій ароматъ шалфея, богородичной травы, полыни и смолы. Дышать въ этой, насыщенной ароматами, атмосферѣ, повидимому, нечѣмъ было. По крайней мѣрѣ,

одинъ изъ пріятелей, Неразовъ, побросавъ въ разныя стороны всѣ свои вещи, и самъ весь разбросался по травѣ; лицо у него было красное, горящее, глаза безпокойно бѣгали по сторонамъ; онъ то и дѣло перемѣнялъ позы и, какъ говорится, метался отъ жары.

Зато другой, Грубовъ, лежа плашмя, лицомъ къ небу, неподвижно оставался на своемъ мѣстѣ съ самаго прихода сюда. Лицо его не могло раскраснѣться даже и отъ этой жары; оно, какъ и руки его, оставалось безкровнымъ. Кровь его, видимо, только нагрѣлась до естественной теплоты, и онъ покойно лежалъ, устремивъ взглядъ на верхушку сосенъ. Онъ молчалъ и, повидимому, не намѣренъ былъ нарушить молчаніе, наслаждаясь лѣснымъ безмолвіемъ, согрѣтый гигантскимъ костромъ, среди котораго лежалъ, и вдыхая ароматъ спаленныхъ травъ.

Но Неразовъ, обладающій сангвиническимъ темпераментомъ, не въ состояніи былъ долго сосредочиться на созерцаніи окружающихъ красотъ и молчать; онъ имѣлъ языкъ, который привыкъ къ безпрерывному движенію, и голову, въ которой мысли зарождались, какъ вѣтеръ въ полѣ. Катаясь по травѣ, сбросивъ съ себя фуражку и сапоги, онъ проклиналъ жару, выругалъ солнце и, наконецъ, нетерпѣливо обратился къ товарищу съ вопросомъ:

— Да неужели тебѣ не жарко, Грубовъ?

Грубовъ это восклицаніе пропустилъ мимо ушей, какъ и многое изъ того, что болталъ Неразовъ.

— Пойдемъ домой... Неужели тебѣ нравится лежать въ этомъ пеклѣ?

Грубовъ и на это промолчалъ; онъ только неопредѣленно улыбнулся.

— У меня теперь одно желаніе: выпить жбанъ квасу... А ты чего хотѣлъ бы?—не унимаясь, болталъ Неразовъ.

— У меня другое желаніе, — возразилъ, наконецъ, Грубовъ.—Знаешь, чего мнѣ сейчасъ хочется?

— Окрошки съ квасомъ?—живо освѣдомился Неразовъ.

— Не угадалъ.

— Простокваши?

— У тебя очень блѣдная фантазія, все больше насчетъ съѣстного.

— Ну, можетъ, тебѣ хочется заняться философскими размышленіями?

— Лѣнь.

— Въ такомъ случаѣ, я увѣренъ, тебѣ хочется повернуться внизъ лицомъ и уснуть подъ этою сосной.

— Уснуть... вотъ это почти угадалъ. Мнѣ нравится эта деревня, этотъ боръ съ его дикимъ запахомъ, и я бы желалъ навсегда остаться тутъ... Я бы желалъ дышать этимъ смолистымъ воздухомъ, вставать вмѣстѣ съ горячимъ солнечнымъ лучомъ, купаться въ Боровкѣ среди ея водяныхъ лилій, спать въ шалфеѣ, гулять подъ этими соснами. Но, увы, для этого необходимо все-таки имѣть землю, хуторъ и прочую благодать.

— А я, все-таки, больше хотѣлъ бы сейчасъ квасу!—воскликнулъ Неразовъ.

Въ этомъ тонѣ разговоръ продолжался еще долго. Но, незамѣтно для обоихъ, шутка скоро перешла въ дѣловой разговоръ, подъ конецъ сильно взволновавшій обоихъ, хотя велся онъ и не серьезно.

— Ты въ самомъ дѣлѣ хочешь сѣсть на землю?—спросилъ Неразовъ.

— Хоть на навозъ,—возразилъ шутливо Грубовъ.

— Одинъ?

— Если желаешь, и ты садись.

— Нѣтъ, серьезно; ты въ самомъ дѣлѣ хотѣлъ бы сѣсть на землю?—спросилъ Неразовъ, поднялся съ травы и съ волненіемъ смотрѣлъ на Грубова.

— Вообще я предпочитаю ходить или лежать, но отчего же не сѣсть?

— И ты бы навсегда остался?

— Сидѣть-то? Бываетъ, что сядешь и уже не встанешь.

— А вѣдь это великолѣпная идея!—закричалъ Неразовъ.

— Неразовъ! не называй ты, сдѣлай одолженіе, идеями всякую дрянь, которая приходитъ въ голову!

Но Неразовъ уже не обращалъ вниманія на тонъ товарища, всталъ на колѣни и, воспламененный вдругъ какою-то мечтой, родившеюся въ его головѣ сію минуту, принялся подробно излагать планъ поселенія въ Бору. Планъ этотъ вышелъ прекрасный, увлекательный и практичный, и Нера-

зовъ говорилъ о немъ черезъ нѣсколько минутъ, какъ о дѣлѣ, которое давно и безповоротно рѣшено.

— Я это устрою. Отдаю свой хуторъ тебѣ цѣликомъ, въ полную собственность, только съ условіемъ, чтобы ты и меня взялъ въ число колонистовъ. Доходу онъ мнѣ, все равно, не принесетъ никакого, да еслибы и давалъ доходъ, то ради такого дѣла я навсегда откажусь отъ него. Рѣшено—устраиваемъ колонію! Сперва мы поселимся вдвоемъ, а тамъ примкнутъ... Еслибы ты зналъ, какъ мнѣ надоѣло бродяжить! А тутъ, ей-Богу, какое чудесное дѣло будетъ! Мы будемъ піонерами... въ сущности, задача человѣчества—это созданіе интеллигентнаго мужика! А? ты какъ думаешь?

Грубовъ съ улыбкой смотрѣлъ вверхъ, сквозь переплетенныя хвои, и щипалъ бороду, но, видимо, мысль о хуторѣ въ ея разумномъ видѣ заняла его не на шутку.

— Прежде чѣмъ развивать этотъ миѳъ, надо достать хоть немного денегъ,—возразилъ онъ.

— И достану. Это рѣшено.

— А потомъ, прежде нежели мечтать объ „интеллигентномъ мужикѣ", какъ ты говоришь, надо научиться быть простымъ мужикомъ.

— Это пустяки!—воскликнулъ съ жаромъ Неразовъ.

— А ты видѣлъ, какъ ростетъ горохъ?—спросилъ въ шутку Грубовъ, не ожидая, что смутитъ товарища.

Но этотъ послѣдній вдругъ сконфузился.

— Что-жь, горохъ... я, дѣйствительно, не видалъ, чортъ его возьми, какъ онъ ростетъ! Но этимъ пустякамъ легко научиться... не боги же горшки обжигаютъ! Для интеллигентнаго человѣка нѣтъ ничего невозможнаго.

— Есть. Невозможно выворотить себя на изнанку — это первое. Для нашего же брата есть сотни другихъ преградъ: надо принимать въ разсчетъ историческую лѣнь, неудержимую потребность болтать и бездѣльничать, привычку много спать и мало думать, оборванные нервы, пеструю, составленную изъ лоскутковъ душу и такъ далѣе, и такъ далѣе... Люди мы во всѣхъ смыслахъ неправильные, съ неправильно бьющимся сердцемъ, съ безконечною раздражимостью, и потому всякое дѣло мы дѣлаемъ торопливо, кое-какъ, лишь бы скачать съ рукъ. Мы только любимъ говорить о работѣ,

но всякую работу дѣлаемъ скверно, а сознаніе негодности всякой нашей работы, въ свою очередь, опять рветъ намъ нервы, сжимаетъ намъ сердце, треплетъ душу... А вообще говоря, „сѣсть на землю", какъ ты выражаешься, полезное дѣло для тѣхъ изъ насъ, которые ходятъ колесомъ, почти не касаясь земли.

Черезъ нѣкоторое время товарищи такъ были заняты темой разговора, что незамѣтно поднялись съ травы, собрали свои вещи и пошли по направленію къ селу, продолжая и дорогой, до самой околицы, спорить, кричать и волноваться, и эхо сосноваго бора вслѣдъ за ними повторяло звучно слова и выраженія, которыхъ это дикое мѣсто никогда не слыхало.

Встрѣтились нынѣшнимъ лѣтомъ они случайно. Грубовъ работалъ въ передвижномъ составѣ земской статистики, ѣздилъ для описи по деревнямъ, но постоянную свою квартиру устроилъ въ селѣ Бору. Неразовъ пріѣхалъ посмотрѣть на свой хуторъ, лежащій вблизи Бора, и намѣревался такъ или иначе раздѣлаться съ заброшеннымъ имѣньицемъ. Но, встрѣтивъ Грубова, давнишняго школьнаго товарища, онъ остался въ Бору на неопредѣленный срокъ и все время проводилъ въ его обществѣ. Когда Грубовъ уѣзжалъ работать въ сосѣднія деревни, туда ѣхалъ и Неразовъ; если Грубовъ сидѣлъ дома, и Неразовъ съ нимъ; когда Грубовъ, находясь въ своей квартирѣ, занимался счетами, писаніемъ и планами, Неразовъ молча сидѣлъ здѣсь же гдѣ-нибудь въ углу и, повидимому, не скучалъ. Онъ былъ человѣкъ безъ опредѣленныхъ занятій, безъ опредѣленной сферы дѣятельности и потому былъ радъ всякому человѣку, который не гналъ его отъ себя. Грубовъ не гналъ и Неразовъ слѣдовалъ за нимъ, а если Грубовъ находилъ ему какую-нибудь работу, онъ съ ревностью исполнялъ ее. Онъ не имѣлъ до сихъ поръ ни человѣка, къ которому бы могъ привязаться, ни дѣла, которое оправдало бы его существованіе, но, встрѣтивъ Грубова, онъ какъ-то сразу нашелъ и то, и другое,— быстро привязался къ Грубову и былъ очень радъ всякому его порученію. Теперь же, при мысли о колоніи, возникшей въ то время, какъ они валялись въ травѣ подъ соснами, онъ совсѣмъ размечтался, проникся важностью дѣла и самъ былъ удивленъ его перспективами, вдругъ широко открывшимися

передъ его глазами. Его жизнь моментально приняла для него значеніе, яркую окраску, своего рода величіе и бездну таинственности. Все это совершилось въ теченіе какого-нибудь часа, который былъ ими употребленъ на проходъ лѣсной дороги къ селу. Съ сверкающими глазами, взволнованный и краснорѣчивый, Неразовъ создалъ цѣлый планъ поселенія на его землѣ и выходилъ изъ себя отъ нетерпѣнія, когда Грубовъ возражалъ.

Грубовъ продолжалъ насмѣшливо относиться къ фантазіи, больше молчалъ, неопредѣленно улыбался. Однако, та болтушка, какую вдругъ развелъ Неразовъ, въ душѣ нравилась Грубову; мечта о поселеніи въ Бору совпала съ его настроеніемъ. Къ довершенію всего, тихій Боръ показалъ себя въ этотъ день во всей своей прелести и усыпилъ сознаніе Грубова до такой степени, что онъ разомлѣлъ совсѣмъ.

Когда они пришли домой, Неразовъ вдругъ таинственно куда-то исчезъ, а Грубовъ повалился на кожаный диванъ въ пріятномъ изнеможеніи. Настроеніе это было необычайное,—онъ ни о чемъ больномъ не думалъ. А только блаженнаго состоянія онъ уже давно не помнилъ,—то что-то въ сознаніи болитъ, то нервы раздражены. А въ эту минуту у него ничего не болѣло,—необыкновенное чудо! И съ неопредѣленною улыбкой, лежа на жесткомъ диванѣ, онъ созерцалъ потолокъ, а на безкровное лицо его спустилась тѣнь мира и покоя, какъ спускаются на землю тихія сумерки послѣ знойнаго и бурнаго дня.

Вдругъ дверь скрипнула.

— Митрію Ивановичу почтеніе!—раздался вдругъ голосъ Антона Петровича, хозяина дома.

Вслѣдъ за этими словами показался и самъ Антонъ Петровичъ со своею смѣшанною физіономіей, въ которой счастливо сочетались морда лисы, челюсти волка, глаза кошки, движенія дворовой собаки и тонкій голосъ рябчика. Грубовъ не любилъ его, въ особенности за то, что въ самомъ простомъ дѣлѣ старикъ хитрилъ и въ самомъ обыкновенномъ разговорѣ держалъ всегда какую-то заднюю мысль, но въ эту минуту и Антонъ Петровичъ показался ему простодушнымъ человѣкомъ и милымъ мужикомъ, и онъ весело ему отвѣтилъ:

— Здравствуйте, Антонъ Петровичъ!

— Изволили на охоту гулять? — тоненькимъ голоскомъ спросилъ Антонъ Петровичъ и зачѣмъ-то хитро подмигнулъ.

— Да, гуляли...

— Очень это хорошо! Ну, только, доложу я вамъ, и жара же!

— Мнѣ ничего, Антонъ Петровичъ... Голова у меня всегда горячая, а тѣло холодное; поэтому я всегда радъ, когда голова дѣлается холодной, а тѣло горячимъ.

Антонъ Петровичъ засмѣялся отъ этой шутки дѣтскимъ смѣхомъ.

— Очень ужъ прекрасно сказали! Я вамъ вотъ что доложу: это у васъ отъ малокровія. Вамъ надо больше гулять... Да вотъ я затѣмъ пришелъ, Митрій Ивановичъ... пойдемте въ гости!

— Куда?

— Да тутъ къ мужичку одному, къ Алексѣю Семенычу... Звалъ онъ васъ, заказывалъ мнѣ безпремѣнно привести васъ...

— Меня? Развѣ онъ знаетъ меня?

— Знать не знаетъ, а видалъ, и желательно ему побесѣдовать съ умнымъ человѣкомъ... больно любитъ ужъ онъ бесѣдовать! Читаетъ божественныя книги, и хоша толкуетъ ихъ неправильно, — укоряю я его за умствованіе, — но мужикъ ученый, божественный. Пойдемте. Чайку попьемъ, яблочками насъ угоститъ, меду поставитъ. Садикъ у него прохладный, воздухъ тамъ легкій... чудесно будетъ! А притомъ, и старику лестно съ вами покалякать.

— Что-жь, пойдемте! — отвѣтилъ Грубовъ и сталъ собираться.

Раньше онъ уклонялся отъ этихъ званыхъ обѣдовъ и безконечныхъ чаепитій у мужиковъ: много тутъ неискренности и чванства. Пригласивъ къ себѣ барина, мужикъ старается быть какъ можно болѣе нѣжнымъ, говоритъ утонченно, глупо, угощаетъ надоѣдливо и вообще ведетъ себя ненатурально, словно на сценѣ. Но Грубовъ былъ въ такомъ настроеніи, что забылъ обо всемъ и наслаждался чувствомъ благорасположенія ко всѣмъ людямъ.

Когда они вышли изъ дома, солнце уже падало въ середину темнаго бора, окружающаго село; косые лучи его по

всѣмъ направленіямъ бросали гиганскія тѣни и не жгли, какъ недавно, а ласкали лицо, и воздухъ не душилъ, а оживлялъ грудь. Въ домѣ Алексѣя Семеныча, видимо, ожидали гостей, и лишь только они показались въ калиткѣ, какъ хозяинъ вышелъ имъ навстрѣчу, а на крыльцѣ стояла въ ожиданіи вся его семья.

Какъ и надо было разсчитывать, Алексѣй Семенычъ въ первыя минуты велъ себя съ ребяческою потерянностью; не зналъ, куда усадить Грубова, зря метался изъ одного угла въ противоположный и сначала наговорилъ много несообразностей. Усадивъ сперва Грубова и Антона Петровича подъ образа, онъ вдругъ всполошился, когда замѣтилъ, что солнце изъ окна прямо бьетъ въ глаза гостю, а поставивъ на столъ чашку съ медомъ, онъ вдругъ увидалъ, что вмѣстѣ съ чашкой къ столу прилетѣли тучи мухъ. Все это такъ его обезкуражило, что онъ принялся болтать вздоръ.

— Отъ солнышка-то, Митрій Иванычъ, подвиньтесь вотъ сюды... А мухи-то... вѣдь проклятая какая тварь! Даже на удивленіе, какая ихъ прорва!

Грубову смѣшно стало слушать ребяческій вздоръ этого огромнаго человѣка. Фигура Алексѣя Семеныча была крупная и могучая; на большой головѣ высилась цѣлая шапка мягкихъ, русыхъ волосъ; подъ широкимъ, мужественнымъ лбомъ глядѣли выпуклые, свѣтящіеся мыслью глаза; большой ротъ съ толстыми губами былъ постоянно полуоткрытъ простодушною улыбкой; великолѣпная мягкая борода его была устроена на подобіе тѣхъ, какія рисуютъ суздальскіе живописцы на ликахъ святителей. Все лицо его вообще выражало честность, широту души, ясность мысли,—это была прямая противоположность Антону Петровичу съ его лисьею, зоологическою физіономіей. И дѣйствительно, смѣшно было смотрѣть на ребяческія движенія и слушать ребяческій лепетъ этого крупнаго человѣка, когда онъ, ревнуя о наилучшемъ угощеніи, метался по избѣ, отдавалъ противорѣчивыя приказанія домашнимъ, сердился на мухъ и на солнце, бившее своими косыми лучами прямо по глазамъ дорогихъ гостей.

— Да ты чего, Семеновъ, путаешься? Ты насъ лучше веди въ садъ, да тамъ и побалуй насъ медкомъ съ чаемъ,—сказалъ, наконецъ, Антонъ Петровичъ покровительственно и этимъ разрѣшилъ волненіе хозяина.

Но во время переноски въ садъ стола, скамеекъ и самовара долго еще не могли угомониться ни хозяева, ни гости. Наконецъ, все было приведено въ порядокъ; хозяева все установили, а гости усѣлись за столомъ. Мухи больше не летали тучами вокругъ чашекъ съ медомъ; солнце не било въ глаза; его лучи освѣщали только верхушки яблонь и корону вяза, подъ которымъ всѣ сидѣли.

Грубовъ и Антонъ Петровичъ сидѣли по одну сторону стола, Алексѣй Семенычъ со старухой—по другую; остальные домашніе и посторонніе люди усѣлись какъ попало—кто на бревнѣ, кто просто на травѣ, изображая изъ себя публику, не участвующую въ угощеніи. Въ числѣ этой публики была и дочь Алексѣя Семеныча, молодая дѣвушка Наташа; лицо ея было открытое, какъ у отца, и съ такими же свѣтящимися мыслью глазами; въ общемъ она сильно походила на отца, только всѣ черты ея вышли миніатюрнѣе и нѣжнѣе, какъ это всегда бываетъ съ дочерьми, похожими на отцовъ. Около нея сидѣла мать Алексѣя Семеныча, дряхлое и сморщенное существо, лѣтъ восьмидесяти, и нѣсколько бабъ. Недалеко отъ нихъ на сучкѣ дерева сидѣлъ работникъ Антона Петровича, Лукашка, парень лѣтъ двадцати, съ мутными глазами, какъ у снулаго окуня, и съ лицомъ, поразительно напоминавшимъ большую рѣпу. Занятый собственными соображеніями, онъ не обращалъ вниманія на столъ и безконечно болталъ голыми, потрескавшимися лапами и отъ времени до времени пугалъ воробьевъ, которые передъ закатомъ солнца густыми стаями перелетали съ крышъ на деревья и обратно. Нѣсколько разъ онъ сопровождалъ Грубова на рыбную ловлю и теперь всякій разъ, какъ выдавался праздникъ, онъ звалъ его ловить чебаковъ; поэтому и въ этотъ вечеръ онъ сгоралъ нетерпѣніемъ насчетъ рыбной ловли, но не могъ выбрать минуты, удобной для обмѣна мыслей съ бариномъ; другой, чуждый ему разговоръ мѣшалъ ему открыто обратиться къ Грубову съ своими рыболовными планами.

За столомъ мало-по-малу завязался одинъ изъ тѣхъ разговоровъ, которые такъ любятъ въ свободныя минуты мыслящіе мужики: о Богѣ, о душѣ, о правдѣ и объ истинной жизни. Алексѣй Семенычъ въ особенности страстно относился къ этимъ разговорамъ; затѣмъ онъ и Грубова зазвалъ,—барина, который ему понравился уже въ тотъ день, когда онъ

впервые увидалъ его у себя на дворѣ при описи имущества. И теперь онъ съ любопытствомъ поглядывалъ на его безкровное лицо и довѣрчиво раскрывалъ передъ нимъ всѣ свои мысли.

Въ самомъ разгарѣ бесѣды Антонъ Петровичъ чуть было не испортилъ цѣлаго вечера своею ехидностью. Когда Грубовъ, между прочимъ, похвалилъ садъ Алексѣя Семеныча, послѣдній съ удовольствіемъ отвѣтилъ:

— Слава Богу! Пожаловаться не могу—живу по милости Божіей спокойно, тихо... это ужь нельзя гнѣвить Бога!

Тогда Антонъ Петровичъ хитро улыбнулся.

— Ты, Семеновъ, не очень-то часто поминай тутъ Бога-то,—не всякому вѣдь это пріятно слушать!

— Отчего такъ? почему?—съ удивленіемъ спросилъ Алексѣй Семенычъ и глядѣлъ то на Антона Петровича, то на Грубова.

— А потому, Бога нынче не надо! Безъ Него нынче спокойнѣе, говорятъ,—ехидничалъ Антонъ Петровичъ и привелъ всѣхъ присутствующихъ въ недоумѣніе. Алексѣй Семенычъ наивно разгнѣвался.

— Да какъ же это безъ Бога-то?—сказалъ онъ и поочередно смотрѣлъ на всѣхъ присутствующихъ, ничего не понимая.

— Очень просто. Мы вотъ, дураки, полагаемъ, что вонъ тамъ на небѣ Богъ, а ученые ругаютъ насъ за это, дураковъ, потому, говорятъ, тамъ не Богъ, а зефиръ какой-то... Вы, говорятъ, дураки набитые, остолопы и больше ничего!

Устроивъ эту пакость, Антонъ Петровичъ счастливо улыбался и зачѣмъ-то подмигнулъ Грубову. Грубовъ понялъ цѣль глупыхъ словъ и приготовился дать хорошій урокъ пройдохѣ при первомъ случаѣ, но пока сдержался. Что касается Алексѣя Семеныча, то онъ принялъ все за чистую монету и на лицѣ его явилось негодованіе.

— Да какъ же это безъ Бога-то? Куда же дѣться-то?

— Куда хочешь,—возразилъ Антонъ Петровичъ.

— Да какъ же можно сказать—нѣту Его? Какъ же безъ Него то?!—спрашивалъ съ волненіемъ Алексѣй Семенычъ.

— Да зачѣмъ Его? Ни къ чему Онъ ученымъ! И даже совсѣмъ Его не надо! На небѣ зефиръ,—это я самъ читалъ. А солнце и луна, и звѣзды—это все само собой вертится, безъ произволенія.

— Будетъ тебѣ врать-то, Антонъ Петровичъ!—вдругъ вмѣ

шался Грубовъ.—А ты, Алексѣй Семенычъ, не слушай этой болтовни. У каждаго человѣка есть свой Богъ. Нѣтъ Его только у дурныхъ людей, которые въ душѣ злы, въ жизни зловредны, къ людямъ ненавистны...

И Грубовъ, говоря это, въ упоръ посмотрѣлъ на ехиднаго старичишку и заставилъ его опустить взоры въ чашку съ чаемъ. Тогда всѣ поняли намекъ Антона Петровича и сконфузились за него, въ особенности самъ Алексѣй Семенычъ и его дочь. Алексѣй Семенычъ съ укоризной взглянулъ на Антона Петровича, а дѣвушка даже вспыхнула отъ негодованія; она ничего не сказала, но лицо ея какъ будто говорило:

— Какъ же можно такъ обижать гостя?

Грубовъ за одно это мгновеніе полюбилъ обоихъ—отца и дочь. А черезъ минуту онъ забылъ и злостную выходку своего хозяина. Онъ перевелъ разговоръ на тему о разногласіяхъ въ вѣрѣ между людьми и незамѣтно заставилъ Алексѣя Семеныча и Антона Петровича вступить въ горячій споръ по «божественнымъ» вопросамъ. Настроеніе всѣхъ присутствующихъ снова сдѣлалось глубокимъ и тихимъ, какъ глубоко было небо, съ котораго только-что спустилось солнце, какъ тихъ былъ вечеръ... По улицѣ прошли послѣднія стада, возвращавшіяся изъ поля; затихли хлопанья пастушьихъ кнутовъ и ревъ животныхъ; перестали мало-по-малу скрипѣть колодезные журавли; все затихло. Слышались только отдѣльные звуки и голоса, въ одномъ мѣстѣ лошадь заржала, въ другомъ заплакалъ ребенокъ, откуда-то доносится пѣсня, гдѣто смѣются, кто-то ругается. Наступили сумерки.

Алексѣй Семенычъ и Антонъ Петровичъ спорили и попеременно обращались къ Грубову то съ торжествующими, то съ сконфуженными лицами, хотя онъ и не вмѣшивался въ споръ. Однако, и въ этомъ отвлеченномъ спорѣ рѣзко обнаружились характеры спорщиковъ. Антонъ Петровичъ спорилъ зло и насмѣшливо и подыскивалъ коварныя возраженія, а Алексѣй Семенычъ спорилъ горячо и съ волненіемъ; Антонъ Петровичъ все время оставался холоднымъ и обдумывалъ каждое слово, а Алексѣй Семенычъ каждое слово принималъ къ сердцу, то и дѣло выходилъ изъ себя и часто говорилъ безсвязно; глаза его тогда были вытаращены, борода тряслась. Въ Антонѣ Петровичѣ, видимо, играли только самолюбіе, потребность въ умственномъ развлеченіи и жажда умственнаго тор-

жества; въ Алексѣѣ Иванычѣ говорили глубокая вѣра и жажда истины.

Они спорили о Богѣ и правдѣ, но особенно рѣзко разошлись въ вопросѣ о будущей жизни. Антонъ Петровичъ, на основаніи писанія, мѣсто будущей жизни отводилъ на небѣ, Алексѣй Семенычъ, на основаніи того же писанія, на землѣ. Но писаніе скоро было забыто и каждый говорилъ лишь отъ разума. Всѣ присутствующіе, не исключая и Грубова, задумчиво слѣдили за развитіемъ спора и мысленно дарили сочувствіемъ то того, то другого изъ споривишхъ. Сначала симпатіи всѣхъ склонились на сторону Антона Петровича, насмѣшки котораго жестоко били Алексѣя Семеныча.

— Нѣтъ, ты мнѣ скажи, какъ ты понимаешь рай-то?—спрашивалъ, напримѣръ, насмѣшливо Антонъ Петровичъ послѣ обмѣна многочисленными изреченіями изъ писанія.—Въ какомъ ты видѣ воображаешь-то его?

— Миръ совѣсти и душевное блаженство, — отвѣчалъ Алексѣй Семенычъ испуганно.

— Нѣтъ, ты не такъ воображаешь!

— А какъ же?

— А вотъ какъ. По-твоему, рай, стало быть, на землѣ, такъ?

— Ну, такъ.

— Ну, вотъ ты въ земномъ видѣ и воображаешь его. Дадутъ мнѣ, молъ, землю и садикъ эдакій съ яблоками съ анисовыми, и буду я блаженствовать!

— Совсѣмъ даже не такъ...—растерянно возражалъ Алексѣй Семенычъ.

— Нѣтъ, такъ. По-твоему, призоветъ тебя Богъ и скажетъ: на, молъ, тебѣ, Семеновъ, яблочка за добродѣтель!

— Совсѣмъ даже и не яблочка,—растерялся Алексѣй Семенычъ.

— Да, по-твоему, не иначе. Какъ у тебя рай на землѣ, то по-земному ты и воображать долженъ... Будутъ кормить тебя въ этой будущей жизни медомъ, яблоками, пирогомъ со щучиной, и будетъ много пашни, и хлѣба, и лошадей, и всего прочаго земного. Стало быть, мысли твои грубыя, земныя... Нѣтъ, Семеновъ, эдакъ нельзя мечтать!

Антонъ Петровичъ съ торжествующею улыбкой оглянулъ всѣхъ присутствующихъ. А Алексѣй Семенычъ сталъ крас-

нымъ, какъ свекла. и волненіе его было такъ сильно, что онъ нѣкоторое время тяжело дышалъ. Ему больно стало отъ этой насмѣшки надъ чистымъ вѣрованіемъ, которое онъ носилъ въ душѣ, какъ святыню и какъ собственное свое открытіе.

— Ты ударилъ меня, Петровичъ, по головѣ, но съ ногъ не сшибъ! — проговорилъ онъ въ сильномъ волненіи и дрожащими руками перебиралъ предметы на столѣ — чашки, блюдечки, тарелку съ медомъ, какъ человѣкъ, который временно потерялъ дорогую мысль и торопливо ищетъ ее.

Но онъ скоро отыскалъ пропавшую мысль и заговорилъ, сначала безсвязно, потомъ все съ большимъ и большимъ воодушевленіемъ. Видно было, что онъ упорно и много думалъ обо всемъ этомъ и передъ его умомъ стояла законченная картина, каждая часть которой съ любовью рисовалась имъ въ теченіе цѣлой жизни. По мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, всѣ присутствующіе переходили мысленно на его сторону и еще болѣе воодушевляли его своими взглядами сочувствія. Иначе не могло быть; его слова были жизненны, вѣрованіе отличалось человѣчностью, его мечты прямо били въ сердце. Онъ также говорилъ о правдѣ и объ истинной жизни, о Богѣ и раѣ, но въ его словахъ, часто шуточныхъ, все было понятно простому слушателю.

Онъ говорилъ, что рай будетъ на землѣ и нигдѣ больше... Придетъ пора, настанутъ времена послѣ второго пришествія, когда земля обратится въ жилище духовъ... Скроется въ преисподнюю царь зла и съ нимъ вмѣстѣ навсегда скроется смерть. Не будетъ ни холода, ни ночи, ни тьмы, ни смерти, а будетъ свѣтъ вѣчный, животворный. Скроется зло, и порокъ, и смертоубійство, и вражда посреди людей, и люди тѣ будутъ какъ братья. Ни цѣпей, ни наказанія, ни войнъ, ни страха не будутъ, а настанетъ одна любовь и миръ. И не только люди, но даже звѣри, и птицы, и гады, и ядовитыя мухи станутъ жить мирно, не проливая крови другъ друга, левъ будетъ покорно служить человѣку, а человѣкъ съ любовью приласкаетъ змѣю.

По мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ о будущей жизни, слушатели замирали въ напряженномъ вниманіи. На мгновеніе каждый задумался и слушалъ съ наслажденіемъ слова, напоминающія о чемъ-то необыкновенномъ и таинственномъ. Дѣвушка, слушая отца, счастливо улыбалась; жена подпер-

ла рукой щеку и забыла о подойникѣ, лежавшемъ на полу; старая старуха о чемъ-то плакала, и слезы непрерывною струей текли по глубокимъ бороздамъ ея желтаго, высохшаго лица. Даже Антонъ Петровичъ смотрѣлъ добрѣе и не прерывалъ рѣчи пріятеля.

Только одинъ Лукашка скучно хлопалъ своими рыбьими глазами. Воробьи, въ которыхъ онъ бросалъ комья земли и палки,. угомонились въ вѣтвяхъ ветелъ, и только надъ головами сидѣвшихъ пѣли комары. Поэтому, улучивъ минуту, когда Алексѣй Семенычъ на время остановился, Лукашка сказалъ, обращаясь къ Грубову:

— Пойдешь нынче ночью рыбачить?... Дюже щука беретъ! Вчерась я смотрю жерлицу, а она ужъ сидитъ... агромадная! Я ее потянулъ къ себѣ, а она ка-акъ дерболызнетъ по жерлицѣ хвостомъ... и ушла!

Всѣ присутствующіе даже вздрогнули отъ этихъ словъ Лукашки, и сначала съ изумленіемъ посмотрѣли на него, какъ бы не понимая. Но всѣхъ больше оторопѣлъ Антонъ Петровичъ.

— Пошелъ вонъ, дуракъ!—сказалъ онъ.

Лукашка конфузливо подобралъ свои голыя лапы подъ сукъ дерева, на которомъ сидѣлъ, но не тронулся съ мѣста, только глупо ухмылялся.

— Пошелъ, говорю тебѣ, вонъ отсюдова, свинья эдакая!—крикнулъ, наконецъ, Антонъ Петровичъ, и Лукашка тихо, какъ прибитая собака, поплелся изъ сада, шурша своею новою ситцевою рубахой.

Но съ его уходомъ разстроенное имъ „божественное“ настроеніе уже не могло вернуться. Всѣ вдругъ вспомнили, что уже поздняя ночь, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, вспомнили, что у каждаго осталось недодѣланнымъ какое-то дѣло, и быстро разошлись, глубоко вздыхая. Антонъ Петровичъ также торопливо ушелъ. Только Грубовъ еще нѣкоторое время оставался въ саду; но въ воздухѣ стало сыро, трава подъ ногами покрылась росой; на небѣ загорѣлись миріады звѣздъ; всѣ окружающіе предметы окутаны были мракомъ; Грубовъ и Алексѣй Семенычъ продолжали тихо говорить, но почти не видали лица другъ друга.

Грубовъ, наконецъ, поднялся со скамейки и сталъ прощаться съ Алексѣемъ Семенычемъ.

— Пора домой... Но какъ у васъ хорошо въ Бору!—невольно сказалъ онъ.

— У насъ чудесно!

— Такъ бы и остался навсегда съ вами!

— Такъ что-жь, и оставайтесь!

Грубовъ такъ мягко, блаженно былъ настроенъ; Алексѣй Семенычъ внушалъ ему такое уваженіе, что онъ вдругъ разсказалъ проектъ поселенія на неразовскомъ хуторѣ. Алексѣй Семенычъ одобрилъ мысль.

— Да какіе же мы хозяева?—возразилъ Грубовъ.

— Научитесь... Мы поможемъ и будете жить!

Въ этомъ родѣ они еще долго разговаривали, когда по выходѣ изъ сада шли по улицѣ, а когда совсѣмъ простились, Грубовъ незамѣтно для себя согласился устроиться на землѣ. Все то, что было тяжело и непріятно,—все, что было рискованно въ проектѣ, было имъ въ эти минуты забыто, а все чудесное, хорошее выдвинулось въ его умѣ на передній планъ. Этотъ ароматный, одуряющій воздухъ, эти „божественныя“ бесѣды, этотъ мыслящій, честный Алексѣй Семенычъ, его садъ, его дочь съ свѣтящимся мыслью лицомъ, всѣ эти простые люди, и эта тихая ночь, и звѣзды на небѣ, и покой своей собственной души, — все это выступило на передній планъ, а вся остальная половина его ѣдкаго, вѣчно возмущающагося сознанія покрылась густымъ мракомъ. То, что онъ за день передъ тѣмъ счелъ бы глупостью или невозможнымъ дѣломъ, теперь было для него ясно, какъ день; тихое, похожее на сонъ существованіе вдругъ показалось ему теперь идеаломъ, и необычайный рай водворился на время въ его невѣрующей душѣ.

На другой день, когда къ нему пришелъ Неразовъ, онъ самъ считалъ поселеніе на хуторѣ какъ бы рѣшеннымъ дѣломъ. А мѣсяцъ спустя, это поселеніе формально осуществилось, причемъ во вновь учрежденную колонію по приглашенію пріѣхалъ третій членъ, нѣкто Кугинъ. Въ концѣ лѣта колонисты уже кое-что работали подъ руководствомъ Алексѣя Семеныча и Ефрема Осипова, вошедшихъ въ колонію въ качествѣ пайщиковъ, только безъ права голоса. Сначала было много смѣху, веселья и новизны для всѣхъ, и жизнь пошла легко, какъ веселая шутка.

Первая крупная неожиданность, совершившаяся въ коло-

ніи,—это женитьба Кугина на Натальѣ, дочери Алексѣя Семеныча. Это была поистинѣ неожиданность для всѣхъ. Но случилось это такъ быстро и само по себѣ было такъ безповоротно, что, повидимому, всѣ остались довольны. Жизнь опять пошла сносно, только уже не казалась шуткой. По крайней мѣрѣ, Грубовъ сталъ задумываться надъ своимъ положеніемъ, а это привело въ движеніе весь[illegible]го сложный нервный аппаратъ.

II.

Нервный аппаратъ.

Въ концѣ осени къ колоніи присоединился четвертый членъ.

Однажды Грубовъ, по порученію товарищей, отправился въ городъ закупить нѣкоторыя вещи, необходимыя въ хозяйствѣ. Чтобы не терять времени, онъ остановился не у знакомыхъ, а въ дешевой гостиницѣ, и тотчасъ послѣ пріѣзда отправился по лавкамъ за покупками. Но такъ какъ всякое дѣло онъ исполнялъ съ величайшимъ волненіемъ, такъ сказать, въ присутствіи всего сознанія цѣликомъ, то это простое дѣло подъ конецъ привело его въ ужасное состояніе. Простой человѣкъ сдѣлалъ бы все это просто: обходилъ бы лавки, вездѣ крѣпко бы поторговался, пошутилъ или поругался бы съ лавочниками, выгодно все купилъ бы и, возвратившись съ прекрасными покупками домой, въ номеръ, плотно закусилъ бы солянкой съ перцемъ и еще до отхода обратнаго поѣзда успѣлъ бы блаженно всхрапнуть на провалившемся диванѣ гостиницы. Но не такъ вышло у Грубова. Торопясь поскорѣе все сдѣлать, онъ первую вещь купилъ торопливо, не разглядѣвъ, что она плохая, а когда разглядѣлъ, пришелъ въ раздраженіе и пошелъ въ лавку, чтобы возвратить ее, но такъ какъ лавочникъ былъ не дуракъ и взять назадъ вещь отказался, то Грубовъ прямо-таки разозлился и назвалъ лавочника мошенникомъ. Вторую вещь онъ купилъ великолѣпную, но за то очень дорого, и сознаніе этой ошибки еще подлило огня въ его раздраженную душу. Слѣдующія вещи онъ уже покупалъ въ какомъ-

то неистовствѣ, а когда истратилъ всѣ деньги и увидалъ, что нѣкоторыхъ вещей, обозначенныхъ въ спискѣ, купить не на что, окончательно вышелъ изъ себя и въ гостиницу возвратился въ полномъ нервномъ разстройствѣ, со всѣми его признаками.

Придя въ номеръ, онъ бросилъ мѣшокъ съ накупленнымъ хламомъ на полъ и, не раздѣваясь, сталъ большими шагами ходить по комнатѣ. Нѣсколько успокоенный монотонною ходьбой, онъ въ изнеможеніи сѣлъ на стулъ и спросилъ себя: „Ну, не дуракъ-ли я, что волнуюсь изъ-за такихъ пустяковъ?“ Обдумывая этотъ вопросъ со всѣхъ сторонъ, онъ пришелъ къ заключенію, что по своимъ способностямъ онъ—рѣшительно неподходящій для колоніи человѣкъ. Ну, что это за человѣкъ, который волнуется до безумія оттого, что купленный имъ топоръ на обухѣ имѣетъ трещину? Конечно, всякій хозяинъ отъ этой трещины пришелъ бы въ волненіе, но это волненіе только „полируетъ“ всякому хозяину кровь, для него же, Грубова, всякое волненіе равносильно сердцебіенію, отвращенію къ жизни и ожиданію смерти... Ну, что это за человѣкъ? Годится-ли онъ на какое-нибудь практическое, простое дѣло, если въ каждое дѣло онъ вкладываетъ всю наличность всѣхъ своихъ душевныхъ силъ,—все сознаніе, все воображеніе, всю память, всю волю?

Размышляя такимъ образомъ на стулѣ (онъ сидѣлъ все нераздѣтымъ, въ шапкѣ и шубѣ), онъ еще болѣе огорчилъ себя. Дальше потянулись какія-то воспоминанія дурного свойства и онъ всецѣло ушелъ въ себя, забывъ объ обѣдѣ, о томъ, что съ утра еще онъ ничего не ѣлъ, и о томъ, что передъ отъѣздомъ ему надо бы повидать знакомыхъ. И долго онъ такъ сидѣлъ, отдыхая отъ недавняго раздраженія и въ то же время обдумывая это раздраженіе съ разныхъ сторонъ. Мало-по-малу онъ успокоивался. Но едва онъ успѣлъ потушить одно раздраженіе, какъ его ожидало уже новое, болѣе основательное.

Кто-то вдругъ постучался въ его дверь. Онъ машинально сказалъ: „войдите“, и къ нему вошелъ коридорный.

— Васъ тутъ ищутъ какія-то барышни,—сказалъ корридорный лѣниво.

— Какія барышни?—воскликнулъ Грубовъ растерянно.

— Это мнѣ неизвѣстно.

— Да ты, вѣроятно, ошибся! Барышни, можетъ быть, другого кого спрашиваютъ?—возразилъ Грубовъ рѣзко, но неосновательно.

— Да вѣдь васъ звать Дмитрій Ивановичъ? — спросилъ лакей грубо.

— Ну, такъ что же?

— Господинъ Грубовъ?

— Ну, да.

— Ну, такъ обязательно васъ!... Спрашиваетъ: у васъ остановился Дмитрій Иванычъ Грубовъ? А я не зналъ, уѣхамши вы или еще тутъ.

— Кто спрашиваетъ?

— Да барышня-то!

— Да вѣдь ты сказалъ, что ихъ много?

— Совсѣмъ даже я и не говорилъ много,—всего одна-съ...—возразилъ слуга обидчиво.

Грубовъ тупо посмотрѣлъ на него, плохо понимая, что все это значитъ, и лишь слѣдилъ за тѣмъ, какъ внутри его поднимается безпричинная тревога.

— Ну, ступай, попроси войти!—сказалъ онъ машинально слугѣ.

И когда тотъ вышелъ за дверь и затопалъ сапогами по пустому корридору, онъ пришелъ въ свой нормальный видъ: лицо его стало холоднымъ, губы плотно сжались.

Черезъ нѣсколько минутъ въ комнату вошла молодая дѣвушка и очутилась прямо противъ Грубова.

— Вы Дмитрій Иванычъ Грубовъ?—сказала она громко и весело.

— Къ вашимъ услугамъ...

— Я Зиновьева... У меня къ вамъ письмо...

Сказавъ это такъ же громко, она вынула изъ бокового кармана драповой кофточки письмо и подала его Грубову. Грубовъ внутренно такъ былъ обезкураженъ всею этою неожиданностью, что не пригласилъ даже присѣсть дѣвушку, а прямо разорвалъ конвертъ и принялся читать.

Въ это время дѣвушка съ явнымъ любопытствомъ оглядѣла всю обстановку, ея хозяина и себя самое. Она успѣла замѣтить, что номеръ былъ дешевый, что Грубовъ одѣтъ былъ забавно — въ огромные сапоги, въ полушубокъ и въ

енотовую шубу сверхъ всего, но такъ какъ прямо противъ него висѣло зеркало, то она и полюбовалась въ немъ собой.

Но за то Грубовъ ничего не замѣтилъ; не замѣтилъ, что передъ нимъ стоитъ чудесная дѣвушка съ смуглымъ цвѣтомъ кожи, которая на щекахъ горѣла яркимъ румянцемъ, съ каштановыми волосами, которые естественно, безъ помощи парикмахера, обрамляли ея лицо наилучшимъ образомъ, съ черными, блестящими глазами, которые отъ самой природы предназначены были для разнообразной игры, въ недорогомъ, но изящномъ костюмѣ, въ которомъ не стыдно показаться въ театрѣ или на концертѣ, — однимъ словомъ, онъ не замѣтилъ выдающуюся эффектность стоявшей передъ нимъ дѣвушки, плохо разобралъ даже письмо; онъ только съ тревогой слѣдилъ за тоской, разливавшейся по всему его существу, и за усиленіемъ воли, которымъ онъ хотѣлъ подавить ее; отъ этого лицо его стало еще холоднѣе, а губы совсѣмъ плотно сжались.

Онъ уже давно пробѣжалъ письмо, но все еще не зналъ, что сказать. Наконецъ, не отрывая глазъ отъ письма, онъ тихо спросилъ:

— Насколько я понялъ, вы желаете поселиться съ нами?

— Да,—подтвердила дѣвушка веселымъ тономъ.

— Когда вы намѣрены ѣхать?

— Я желала бы вмѣстѣ съ вами.

— Зачѣмъ же теперь?

— Да чтобы теперь же и приняться за работу.

— Теперь, какъ видите, осень, а вамъ, вѣроятно, извѣстно, что осенью хлѣба можно видѣть только въ формѣ булокъ... какія же собственно работы вы разумѣете?

Говоря это, Грубовъ въ первый разъ прямо взглянулъ въ лицо дѣвушки, но природная застѣнчивость его съ женщинами при этомъ взглядѣ еще болѣе усилилась и онъ опять принялся разбирать письмо. Дѣвушка, однако, увидѣла въ его словахъ дерзость и сердито оглянула его.

— Знаю... но вѣдь и кромѣ земледѣльческихъ работъ тамъ много другихъ!

— Какихъ же, домашнихъ?

— Да, вѣроятно, найдется!—твердо настаивала дѣвушка.

— Не знаю, не знаю... Ну, напримѣръ, умѣете вы телятъ поить?—застѣнчиво спросилъ Грубовъ.

Но дѣвушка при этомъ вопросѣ поблѣднѣла; глаза ея сверкнули нехорошимъ огнемъ.

— Вы, кажется, хотите на мнѣ испытать ваше остроуміе?—сказала она гнѣвно.

Грубовъ готовъ былъ провалиться сквозь землю и проклиналъ свою способность говорить насмѣшки въ то время, когда ему совсѣмъ было не до смѣха. Но наружный видъ его оставался холоднымъ.

— Вы не такъ меня поняли... Видите-ли, у насъ еще ничего не устроено; хозяйства почти нѣтъ. Живемъ мы по разнымъ домамъ, общаго хозяйства не ведемъ... Есть только немного рабочаго скота, да и тотъ безъ насъ обходится. Единственная вещь, съ которою мы не знаемъ куда дѣться, это—теленокъ, пріобрѣтенный нами Богъ знаетъ зачѣмъ... И если я предложилъ вамъ этотъ вопросъ, то прошу принимать буквально.

Дѣвушка нетерпѣливо пожала плечами.

— Если такъ, то я должна сказать—не умѣю поить телятъ... Но, мнѣ кажется, подъ вашимъ руководствомъ я могла бы научиться такому сложному дѣлу,—добавила она съ ѣдкою улыбкой. Послѣ этого она готова была уже простить Грубова, но подъ условіемъ, чтобы онъ, наконецъ, обратилъ на нее серьезное вниманіе.

Но онъ, какъ на грѣхъ, продолжалъ смотрѣть на письмо, не поднимая съ него глазъ, какъ будто хотѣлъ въ немъ открыть сокровенный смыслъ всего въ эту минуту происходящаго. Только неловкое смущеніе, съ какимъ онъ разспрашивалъ, выдавало, что онъ стоитъ передъ незнакомою дѣвушкой.

— Еще одинъ вопросъ... намѣреваетесь вы прочно устроиться или желаете только временно пожить, поучиться?—спросилъ онъ.

— Это будетъ зависѣть отъ того, пригожусь-ли я для дѣла и пригодится-ли дѣло мнѣ...

— У васъ есть какія-нибудь цѣли помимо перемѣны костюма?—спросилъ Грубовъ конфузливо.

Дѣвушка опять смѣрила его гнѣвными глазами и возразила:

— Вѣроятно, тѣ же, что у васъ.

— То-есть?

— Жить своимъ трудомъ и приносить пользу народу!

Лишь только она выговорила это, какъ Грубовъ поднялъ на нее свои глаза и выразилъ на своемъ лицѣ странное удивленіе... „Боже мой! и къ чему вы это сказали?“—какъ бы спрашивалъ онъ. Всякія громкія слова, въ особенности изъ тѣхъ, которыя затасканы, производили на него впечатлѣніе уличной брани. По его лицу дѣвушка смутно поняла, что сдѣлала что-то неладное, и покраснѣла. Но это еще болѣе возстановило ее противъ незнакомаго человѣка, такъ что обращеніе ея стало открыто враждебнымъ.

— Я понимаю, что вы тамъ пользуетесь правами генерала... Продолжайте допросъ, я покорно буду отвѣчать вамъ,—сказала она вдругъ съ непріятнымъ смѣхомъ.

Грубовъ не зналъ, что ему говорить.

— Не угодно-ли сѣсть?—неловко предложилъ онъ.

— Благодарю. Мнѣ хочется узнать: прикажете мнѣ считать себя забракованной вами или, быть можетъ, вы отложите отвѣтъ до другого вашего прибытія въ городъ?—Дѣвушка говорила это бойко и съ намѣреніемъ подбирала самыя колкія выраженія.

— Какъ вамъ угодно, ваше дѣло! Поѣдемте хоть сейчасъ,—сказалъ нерѣшительно Грубовъ.

Нерѣшительность стала вдругъ его преобладающимъ чувствомъ. Онъ не хотѣлъ, чтобы дѣвушка ѣхала съ нимъ въ колонію, но онъ самъ не понималъ, почему не хочетъ, чтобы она была тамъ. Онъ затосковалъ съ самаго момента ея появленія, какъ будто встрѣтился съ крайне непріятнымъ человѣкомъ, но не могъ ясно дать себѣ отчета, почему ему непріятно. Онъ не зналъ, что говорить, какъ вести себя, какой назначить часъ для отъѣзда, и съ недоумѣніемъ прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ.

Изъ этого состоянія вывела его сама дѣвушка, которой онъ вдругъ показался смѣшнымъ и жалкимъ.

— Вы сами-то когда собирались ѣхать?—спросила она живо и, повидимому, забыла свою вражду.

— Сегодня... сейчасъ,—отвѣчалъ Грубовъ.

— Ну, такъ и я съ вами! Поѣзжайте на вокзалъ, а я съѣзжу за вещами и пріѣду. До свиданія!

И она моментально скрылась.

Едва звонкій стукъ ея каблуковъ по корридору смолкъ, какъ картина души Грубова перемѣнилась.

На него вдругъ напало отчаяніе, то безграничное отчаяніе, когда все превращается въ чепуху и ничтожество. За полчаса тому назадъ онъ старательно и съ несомнѣнною серьезностью закупалъ разныя вещи для деревенскаго хозяйства и видѣлъ настоятельную необходимость ѣхать туда, потому что тамъ у него лежитъ какое-то важное дѣло, и туда призываютъ его какія-то глубоко-знаменательныя обязанности. Но теперь вдругъ, послѣ посѣщенія незнакомой дѣвушки, все это и все вообще приняло серьезный, дурацкій видъ. Своею бойкостью, своими смѣлыми и легкомысленными словами дѣвушка въ одинъ мигъ превратила въ ничтожество всѣ его представленія о дѣлѣ. Къ этому дѣлу онъ приготовлялся, въ сущности, давно и очень много думалъ о немъ раньше, и вдругъ пришла бойкая особа и сказала: „Вы тамъ что-то такое дѣлаете... и я съ вами буду дѣлать...“—„Вы это серьезно?“—спросилъ онъ.—„Не знаю... увижу тамъ. Пожалуйста, ѣдемъ скорѣе!“—„Да вы зачѣмъ ѣдете-то?“—„Зачѣмъ? да я вмѣстѣ съ вами буду работать на пользу народа...“

И моментально все дѣло его приняло дурацкій, шутовской, захватанный видъ. А вмѣстѣ съ этимъ дѣломъ пеленой пошлости покрывалось все, что только попалось подъ руку ему въ эту минуту. И онъ вдругъ увидалъ, что все когда-либо сдѣланное имъ—чепуха, нуль; его сознаніе вдругъ превратилось въ разрушительную машину, которая въ дребезги разбивала все, что приближалось къ ней. Онъ вспомнилъ юношескіе годы, освѣщенные розовыми фантазіями и наполненные неразсчитанными, смѣшными шагами, и моментально все это въ его сознаніи превратилось въ соръ — и эти фантазіи, и эти юношескія дѣянія, и самая юность. Вслѣдъ затѣмъ онъ вспомнилъ многое другое, казавшееся ему недавно серьезнымъ и важнымъ, надъ чѣмъ онъ много работалъ, изъ-за чего нѣкогда страдалъ, чѣмъ много гордился, и все это сейчасъ вдругъ обратилось въ нуль, въ чепуху, въ дурацкій самообманъ!

Если бы всѣ наши рѣшенія зависѣли отъ настроенія, онъ въ эту минуту не поѣхалъ бы въ деревню; онъ сѣлъ бы.

на стулъ и сталъ бы обдумывать, какое написать письмо Неразову. Но, вмѣсто этого, онъ посмотрѣлъ на часы, убѣдился, что до отхода поѣзда въ деревню оставалось всего полчаса, и заторопился въ дорогу. Въ его сердцѣ было полное отчаяніе, а онъ все-таки торопливо позвалъ корридорнаго, чтобы расплатиться за номеръ; торопливо сошелъ съ лѣстницы, таща за собой накупленную имъ чепуху, а когда сѣлъ на извозчичьи дрожки, торопилъ извозчика ѣхать поскорѣе къ вокзалу.

Небо было бѣлесоватое. Въ воздухѣ носились пушинки перваго снѣга; замерзшая грязь улицы, повсюду исполосованная колесами, мало-по-малу закрывалась бѣлымъ покрываломъ. Грубовъ, уже сидя на дрожкахъ, взглянулъ вокругъ себя и что-то пріятное вспомнилось ему. Что такое? Въ дѣтствѣ, послѣ темныхъ дней грязной осени, ему вдругъ позволялось выбѣжать на дворъ играть, когда выпадалъ первый снѣгъ,—тогда это былъ для него день звонкаго смѣха и безпечной бѣготни на чистомъ воздухѣ. Теперь эта радость перенеслась черезъ огромное пространство въ 25 лѣтъ и, какъ искра, освѣтила его потемнѣвшую душу. Онъ вдругъ съ улыбкой сталъ смотрѣться по сторонамъ и наблюдалъ, какъ миріады снѣжинокъ крутятся въ воздухѣ и безъ шума, но дѣятельно одѣваютъ землю въ бѣлую одежду, закрывая самыя глубокія борозды въ грязи.

На вокзалъ онъ явился уже съ обыкновеннымъ лицомъ—спокойнымъ и холоднымъ, только казался утомленнымъ, какъ будто послѣ трудной работы.

Едва онъ подошелъ къ кассѣ, какъ сзади него раздался голосъ барышни:

— Вотъ и я! Вы берете билетъ?... Возьмите и мнѣ. И посмотрите за моими вещами... вонъ онѣ на лавкѣ.

Все это она говорила тѣмъ тономъ, какой усвоивается хорошенькими барышнями, привыкшими къ услугамъ молодыхъ людей. Грубовъ молча кивнулъ головой и покорно исполнилъ оба приказанія. Пока онъ бралъ билетъ, дѣвушка успѣла сходить въ буфетъ и купила апельсинъ.

— Я купила апельсинъ,—сказала она, приближаясь быстрыми шагами къ Грубову.

— Апельсинъ? Такъ что же?

Онъ улыбнулся, но удержался сказать что-нибудь болѣе

ла рукой щеку и забыла о подойникѣ, лежавшемъ на полу; старая старуха о чемъ-то плакала, и слезы непрерывною струей текли по глубокимъ бороздамъ ея желтаго, высохшаго лица. Даже Антонъ Петровичъ смотрѣлъ добрѣе и не прерывалъ рѣчи пріятеля.

Только одинъ Лукашка скучно хлопалъ своими рыбьими глазами. Воробьи, въ которыхъ онъ бросалъ комья земли и палки, угомонились въ вѣтвяхъ ветелъ, и только надъ головами сидѣвшихъ пѣли комары. Поэтому, улучивъ минуту, когда Алексѣй Семенычъ на время остановился, Лукашка сказалъ, обращаясь къ Грубову:

— Пойдешь нынче ночью рыбачить?... Дюже щука беретъ! Вчерась я смотрю жерлицу, а она ужъ сидитъ... агромадная! Я ее потянулъ къ себѣ, а она ка-акъ дерболызнетъ по жерлицѣ хвостомъ... и ушла!

Всѣ присутствующіе даже вздрогнули отъ этихъ словъ Лукашки, и сначала съ изумленіемъ посмотрѣли на него, какъ бы не понимая. Но всѣхъ больше оторопѣлъ Антонъ Петровичъ.

— Пошелъ вонъ, дуракъ!—сказалъ онъ.

Лукашка конфузливо подобралъ свои голыя лапы подъ сукъ дерева, на которомъ сидѣлъ, но не тронулся съ мѣста, только глупо ухмылялся.

— Пошелъ, говорю тебѣ, вонъ отсюдова, свинья эдакая!—крикнулъ, наконецъ, Антонъ Петровичъ, и Лукашка тихо, какъ прибитая собака, поплелся изъ сада, шурша своею новою ситцевою рубахой.

Но съ его уходомъ разстроенное имъ „божественное" настроеніе уже не могло вернуться. Всѣ вдругъ вспомнили, что уже поздняя ночь, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, вспомнили, что у каждаго осталось недодѣланнымъ какое-то дѣло, и быстро разошлись, глубоко вздыхая. Антонъ Петровичъ также торопливо ушелъ. Только Грубовъ еще нѣкоторое время оставался въ саду; но въ воздухѣ стало сыро, трава подъ ногами покрылась росой; на небѣ загорѣлись миріады звѣздъ; всѣ окружающіе предметы окутаны были мракомъ; Грубовъ и Алексѣй Семенычъ продолжали тихо говорить, но почти не видали лица другъ друга.

Грубовъ, наконецъ, поднялся со скамейки и сталъ прощаться съ Алексѣемъ Семенычемъ.

— Пора домой... Но какъ у васъ хорошо въ Бору!—невольно сказалъ онъ.

— У насъ чудесно!

— Такъ бы и остался навсегда съ вами!

— Такъ что-жь, и оставайтесь!

Грубовъ такъ мягко, блаженно былъ настроенъ; Алексѣй Семенычъ внушалъ ему такое уваженіе, что онъ вдругъ разсказалъ проектъ поселенія на неразовскомъ хуторѣ. Алексѣй Семенычъ одобрилъ мысль.

— Да какіе же мы хозяева?—возразилъ Грубовъ.

— Научитесь... Мы поможемъ и будете жить!

Въ этомъ родѣ они еще долго разговаривали, когда по выходѣ изъ сада шли по улицѣ, а когда совсѣмъ простились, Грубовъ незамѣтно для себя согласился устроиться на землѣ. Все то, что было тяжело и непріятно,—все, что было рискованно въ проектѣ, было имъ въ эти минуты забыто, а все чудесное, хорошее выдвинулось въ его умѣ на передній планъ. Этотъ ароматный, одуряющій воздухъ, эти „божественныя" бесѣды, этотъ мыслящій, честный Алексѣй Семенычъ, его садъ, его дочь съ свѣтящимся мыслью лицомъ, всѣ эти простые люди, и эта тихая ночь, и звѣзды на небѣ, и покой своей собственной души, — все это выступило на передній планъ, а вся остальная половина его ѣдкаго, вѣчно возмущающагося сознанія покрылась густымъ мракомъ. То, что онъ за день передъ тѣмъ счелъ бы глупостью или невозможнымъ дѣломъ, теперь было для него ясно, какъ день; тихое, похожее на сонъ существованіе вдругъ показалось ему теперь идеаломъ, и необычайный рай водворился на время въ его невѣрующей душѣ.

На другой день, когда къ нему пришелъ Неразовъ, онъ самъ считалъ поселеніе на хуторѣ какъ бы рѣшеннымъ дѣломъ. А мѣсяцъ спустя, это поселеніе формально осуществилось, причемъ во вновь учрежденную колонію по приглашенію пріѣхалъ третій членъ, нѣкто Кугинъ. Въ концѣ лѣта колонисты уже кое-что работали подъ руководствомъ Алексѣя Семеныча и Ефрема Осипова, вошедшихъ въ колонію въ качествѣ пайщиковъ, только безъ права голоса. Сначала было много смѣху, веселья и новизны для всѣхъ, и жизнь пошла легко, какъ веселая шутка.

Первая крупная неожиданность, совершившаяся въ коло-

нiи,—это женитьба Кугина на Наташѣ, дочери Алексѣя Семеныча. Это была поистинѣ неожиданность для всѣхъ. Но случилось это такъ быстро и само по себѣ было такъ безповоротно, что, повидимому, всѣ остались довольны. Жизнь опять пошла сносно, только уже не казалась шуткой. По крайней мѣрѣ, Грубовъ сталъ задумываться надъ своимъ положенiемъ, а это привело въ движенiе весь его сложный нервный аппаратъ.

II.

Нервный аппаратъ.

Въ концѣ осени къ колонiи присоединился четвертый членъ.

Однажды Грубовъ, по порученiю товарищей, отправился въ городъ закупить нѣкоторыя вещи, необходимыя въ хозяйствѣ. Чтобы не терять времени, онъ остановился не у знакомыхъ, а въ дешевой гостиницѣ, и тотчасъ послѣ прiѣзда отправился по лавкамъ за покупками. Но такъ какъ всякое дѣло онъ исполнялъ съ величайшимъ волненiемъ, такъ сказать, въ присутствiи всего сознанiя цѣликомъ, то это простое дѣло подъ конецъ привело его въ ужасное состоянiе. Простой человѣкъ сдѣлалъ бы все это просто: обходилъ бы лавки, вездѣ крѣпко бы поторговался, пошутилъ или поругался бы съ лавочниками, выгодно все купилъ бы и, возвратившись съ прекрасными покупками домой, въ номеръ, плотно закусилъ бы солянкой съ перцемъ и еще до отхода обратнаго поѣзда успѣлъ бы блаженно всхрапнуть на провалившемся диванѣ гостиницы. Но не такъ вышло у Грубова. Торопясь поскорѣе все сдѣлать, онъ первую вещь купилъ торопливо, не разглядѣвъ, что она плохая, а когда разглядѣлъ, пришелъ въ раздраженiе и пошелъ въ лавку, чтобы возвратить ее, но такъ какъ лавочникъ былъ не дуракъ и взять назадъ вещь отказался, то Грубовъ прямотаки разозлился и назвалъ лавочника мошенникомъ. Вторую вещь онъ купилъ великолѣпную, но за то очень дорого, и сознанiе этой ошибки еще подлило огня въ его раздраженную душу. Слѣдующiя вещи онъ уже покупалъ въ какомъ-

то неистовствѣ, а когда истратилъ всѣ деньги и увидалъ, что нѣкоторыхъ вещей, обозначенныхъ въ спискѣ, купить не на что, окончательно вышелъ изъ себя и въ гостиницу возвратился въ полномъ нервномъ разстройствѣ, со всѣми его признаками.

Придя въ номеръ, онъ бросилъ мѣшокъ съ накупленнымъ хламомъ на полъ и, не раздѣваясь, сталъ большими шагами ходить по комнатѣ. Нѣсколько успокоенный монотонною ходьбой, онъ въ изнеможеніи сѣлъ на стулъ и спросилъ себя: „Ну, не дуракъ-ли я, что волнуюсь изъ-за такихъ пустяковъ?“ Обдумывая этотъ вопросъ со всѣхъ сторонъ, онъ пришелъ къ заключенію, что по своимъ способностямъ онъ—рѣшительно неподходящій для колоніи человѣкъ. Ну, что это за человѣкъ, который волнуется до безумія оттого, что купленный имъ топоръ на обухѣ имѣетъ трещину? Конечно, всякій хозяинъ отъ этой трещины пришелъ бы въ волненіе, но это волненіе только „полируетъ“ всякому хозяину кровь, для него же, Грубова, всякое волненіе равносильно сердцебіенію, отвращенію къ жизни и ожиданію смерти... Ну, что это за человѣкъ? Годится-ли онъ на какое-нибудь практическое, простое дѣло, если въ каждое дѣло онъ вкладываетъ всю наличность всѣхъ своихъ душевныхъ силъ,—все сознаніе, все воображеніе, всю память, всю волю?

Размышляя такимъ образомъ на стулѣ (онъ сидѣлъ все нераздѣтымъ, въ шапкѣ и шубѣ), онъ еще болѣе огорчилъ себя. Дальше потянулись какія-то воспоминанія дурного свойства и онъ всецѣло ушелъ въ себя, забывъ объ обѣдѣ, о томъ, что съ утра еще онъ ничего не ѣлъ, и о томъ, что передъ отъѣздомъ ему надо бы повидать знакомыхъ. И долго онъ такъ сидѣлъ, отдыхая отъ недавняго раздраженія и въ то же время обдумывая это раздраженіе съ разныхъ сторонъ. Мало-по-малу онъ успокоивался. Но едва онъ успѣлъ потушить одно раздраженіе, какъ его ожидало уже новое, болѣе основательное.

Кто-то вдругъ постучался въ его дверь. Онъ машинально сказалъ: „войдите“, и къ нему вошелъ коррѝдорный.

— Васъ тутъ ищутъ какія-то барышни,—сказалъ корридорный лѣниво.

-- Какія барышни?—воскликнулъ Грубовъ растерянно.

— Это мнѣ неизвѣстно.

— Да ты, вѣроятно, ошибся! Барышни, можетъ быть, другого кого спрашиваютъ?—возразилъ Грубовъ рѣзко, но неосновательно.

— Да вѣдь васъ звать Дмитрій Ивановичъ?—спросилъ лакей грубо.

— Ну, такъ что же?

— Господинъ Грубовъ?

— Ну, да.

— Ну, такъ обязательно васъ!... Спрашиваетъ: у васъ остановился Дмитрій Иванычъ Грубовъ? А я не зналъ, уѣхавши вы или еще тутъ.

— Кто спрашиваетъ?

— Да барышня-то!

— Да вѣдь ты сказалъ, что ихъ много?

— Совсѣмъ даже я и не говорилъ много,—всего одна-съ...—возразилъ слуга обидчиво.

Грубовъ тупо посмотрѣлъ на него, плохо понимая, что все это значитъ, и лишь слѣдилъ за тѣмъ, какъ внутри его поднимается безпричинная тревога.

— Ну, ступай, попроси войти!—сказалъ онъ машинально слугѣ.

И когда тотъ вышелъ за дверь и затопалъ сапогами по пустому коррйдору, онъ пришелъ въ свой нормальный видъ: лицо его стало холоднымъ, губы плотно сжались.

Черезъ нѣсколько минутъ въ комнату вошла молодая дѣвушка и очутилась прямо противъ Грубова.

— Вы Дмитрій Иванычъ Грубовъ?—сказала она громко и весело.

— Къ вашимъ услугамъ...

— Я Зиновьева... У меня къ вамъ письмо...

Сказавъ это такъ же громко, она вынула изъ бокового кармана драповой кофточки письмо и подала его Грубову. Грубовъ внутренно такъ былъ обезкураженъ всею этою неожиданностью, что не пригласилъ даже присѣсть дѣвушку, а прямо разорвалъ конвертъ и принялся читать.

Въ это время дѣвушка съ явнымъ любопытствомъ оглядѣла всю обстановку, ея хозяина и себя самое. Она успѣла замѣтить, что номеръ былъ дешевый, что Грубовъ одѣтъ былъ забавно — въ огромные сапоги, въ полушубокъ и въ

енотовую шубу сверхъ всего, но такъ какъ прямо противъ него висѣло зеркало, то она и полюбовалась въ немъ собой.

Но за то Грубовъ ничего не замѣтилъ; не замѣтилъ, что передъ нимъ стоитъ чудесная дѣвушка съ смуглымъ цвѣтомъ кожи, которая на щекахъ горѣла яркимъ румянцемъ, съ каштановыми волосами, которые естественно, безъ помощи парикмахера, обрамляли ея лицо наилучшимъ образомъ, съ черными, блестящими глазами, которые отъ самой природы предназначены были для разнообразной игры, въ недорогомъ, но изящномъ костюмѣ, въ которомъ не стыдно показаться въ театрѣ или на концертѣ, — однимъ словомъ, онъ не замѣтилъ выдающуюся эффектность стоявшей передъ нимъ дѣвушки, плохо разобралъ даже письмо; онъ только съ тревогой слѣдилъ за тоской, разливавшейся по всему его существу, и за усиленіемъ воли, которымъ онъ хотѣлъ подавить ее; отъ этого лицо его стало еще холоднѣе, а губы совсѣмъ плотно сжались.

Онъ уже давно пробѣжалъ письмо, но все еще не зналъ, что сказать. Наконецъ, не отрывая глазъ отъ письма, онъ тихо спросилъ:

— Насколько я понялъ, вы желаете поселиться съ нами?

— Да,—подтвердила дѣвушка веселымъ тономъ.

— Когда вы намѣрены ѣхать?

— Я желала бы вмѣстѣ съ вами.

— Зачѣмъ же теперь?

— Да чтобы теперь же и приняться за работу.

— Теперь, какъ видите, осень, а вамъ, вѣроятно, извѣстно, что осенью хлѣба можно видѣть только въ формѣ булокъ... какія же собственно работы вы разумѣете?

Говоря это, Грубовъ въ первый разъ прямо взглянулъ въ лицо дѣвушки, но природная застѣнчивость его съ женщинами при этомъ взглядѣ еще болѣе усилилась и онъ опять принялся разбирать письмо. Дѣвушка, однако, увидѣла въ его словахъ дерзость и сердито оглянула его.

— Знаю... но вѣдь и кромѣ земледѣльческихъ работъ тамъ много другихъ!

— Какихъ же, домашнихъ?

— Да, вѣроятно, найдется!—твердо настаивала дѣвушка.

Она вскрикнула:

— Что такое?—и съ испугомъ озиралась по сторонамъ.

— Мы пріѣхали, надо выходить,—мягко выговорилъ онъ и опять забралъ ея и свои вещи.

На заднемъ крыльцѣ станціи ихъ встрѣтилъ мужикъ и, взявъ отъ Грубова вещи, сталъ укладывать ихъ въ солому на телѣгѣ. Надвигались уже сумерки; дальніе предметы потонули въ темнотѣ, а ближайшіе приняли сѣрый тонъ. Это, видимо, произвело послѣ сна гнетущее впечатлѣніе на дѣвушку. А когда она случайно взглянула на мужика, на лицѣ котораго широкою полосой синѣла запекшаяся кровь, то съ ужасомъ простонала, обращаясь къ Грубову:

— Боже мой, что это такое?

Грубовъ пришелъ въ хорошее настроеніе, лишь только увидалъ своего пріятеля мужика, и весело проговорилъ:

— Вы про него спрашиваете? Это Ефремъ, нашъ пайщикъ. Если хотите знать, онъ буянъ, въ пьяномъ видѣ бьетъ жену кирпичами, за что его сынъ сажаетъ въ сарай... дерется, кромѣ того, съ кѣмъ попало, но вамъ его бояться нечего!...

Ефремъ при этой характеристикѣ лукаво усмѣхнулся.

— Отчего же у него кровь на лицѣ?—съ прежнимъ страхомъ прошептала дѣвушка.

— Эге!... Въ самомъ дѣлѣ, за что это рожу-то тебѣ раскрасили?—спросилъ Грубовъ, сейчасъ только замѣтивъ кровь.

— Да тутъ дѣло было...—возразилъ Ефремъ и хлопоталъ около лошади.

— Опять подрался?

— Да ежели бы подрался!... А то просто лупили меня въ четыре руки, словно я снопъ овса! — закричалъ вдругъ съ негодованіемъ Ефремъ и сразу ощетинился.

— Кто же это поступилъ съ тобой такъ неловко?

— Да Мысеевы братья, знаешь?... Сволочи, припомнили мнѣ лѣто!... Я у нихъ о ту пору лошадей загналъ, потому я полевымъ сторожемъ былъ,—ну, они и запомнили... А вчерась зазвали меня въ трактиръ, да и насѣли.

— А ты сплошалъ?

— Я бы не сплошалъ, кабы они честно, а то сзади навалились, повалили и давай молотить... Сдѣлай милость, сочини мнѣ просьбу къ мировому.

— Ну, ничего, помиришься!—сказалъ, смѣясь, Грубовъ.

— Никакихъ!

— Не хочешь мириться?

— Говорю, никакихъ!—ожесточенно и охрипшимъ голосомъ закричалъ Ефремъ.—Я возьму свидѣтельство на морду! Мысейкины братья вотъ гдѣ у меня сидятъ! За мое почтеніе засажу въ титовку!

— Ну, братъ, Ефремъ, это ужь не ладно. Еслибы тебя также стали таскать къ мировому, то вѣдь ты изъ титовки никогда бы не вылѣзалъ!

Ефремъ при этихъ словахъ на минуту задумался, ожесточеніе его моментально прошло и онъ опять лукаво взглянулъ на Грубова.

— Что-жь... я дерусь. Ну, только сзади я не согласенъ, а прямо—бацъ! а не сзади же...

— Это, конечно, разница... но все-таки конецъ одинъ и тотъ же, и потому ты скоро помиришься,—сказалъ Грубовъ.

— Я? Чтобы мириться? Никакихъ!... Они измолотили меня все одно какъ снопъ пшеницы, а я буду мириться!

Этотъ разговоръ происходилъ, когда уже всѣ трое сидѣли на телѣгѣ и тряслись по грязнымъ кочкамъ по направленію къ сѣрой мглѣ, со всѣхъ сторонъ обступившей горизонтъ. Грубовъ повеселѣлъ и съ улыбкой обратился къ дѣвушкѣ:

— Вамъ кажется все это диковиннымъ? Но Ефремъ буянитъ только по праздникамъ, а въ будни...

Но не договорилъ, пораженный видомъ барышни.

Видимо, вся обстановка путешествія произвела на нее страшное впечатлѣніе.

Надвинулась уже ночь. Сѣрая, безразличная мгла обступила сначала горизонтъ, но мало-по-малу эти стѣны сдвинулись и плотно похоронили свѣтъ, небо, поля, дорогу, лошадь и самого Ефрема, который чернымъ силуэтомъ виднѣлся на передкѣ. Дѣвушку охватили изумленіе и ужасъ. Она умолкла и скорчилась на днѣ телѣги, пришибленная этою темною, невиданною обстановкой.

А телѣга продолжала ползти по кочкамъ, прыгала, стонала и готова была, казалось, разсыпаться въ дребезги. Снѣгъ густыми хлопьями падалъ сверху и щекоталъ непріятно лицо и руки дѣвушки. Одежда ея смокла; пряди волосъ, выбив-

шіяся изъ-подъ шапочки, прилипли къ ея щекамъ, и она не пыталась ихъ заправить. Она боялась шелохнуться и вся ёжилась, окруженная мокрою соломой. Глаза ея жалко устремлены были въ темень и выражали ужасъ.

— Вамъ холодно?—спросилъ Грубовъ дрогнувшимъ голосомъ.

Она что-то невнятно пролепетала, устремивъ на него испуганный взглядъ.

Тогда онъ сбросилъ съ себя шубу и закуталъ ее. Она молча повиновалась всему, что онъ говорилъ ей. Ноги ея, легко обутыя, также застыли,—онъ вытащилъ всю солому, оставшуюся сухою, и закрылъ ихъ плотно.

— Вамъ холодно?—повторилъ онъ черезъ нѣкоторое время опять съ дрожью въ голосѣ.

Но она не отвѣчала.

И на него, съ виду такого холоднаго, напала вдругъ жалость къ своей спутницѣ. Онъ сталъ торопить Ефрема ѣхать скорѣе и нетерпѣливо, волнуясь, горящими глазами вглядывался въ темноту, надѣясь замѣтить впереди огоньки Бора. Но лошадь съ трудомъ загребала ногами, телѣга медленно продолжала трещать и стонать, прыгая по грязнымъ выбоинамъ. У него явилось пламенное желаніе помочь чѣмъ-нибудь дѣвушкѣ. Онъ готовъ былъ сбросить съ себя послѣднюю одежду, а самое ее взять на руки, лишь бы только она не страдала такъ ужасно, какъ онъ предполагалъ. Сердце его переполнилось жалостью и любовью къ этому несчастному существу, зачѣмъ-то попавшему въ этотъ мракъ. Но онъ не находилъ, чѣмъ помочь, и только поминутно торопилъ Ефрема.

Наконецъ, путешествіе кончилось. Внезапно телѣга очутилась на деревенской улицѣ и повсюду замелькали огоньки.

Черезъ полчаса, сдавъ барышню въ удивленную семью Кугина, Грубовъ сидѣлъ у себя за самоваромъ. Но долго онъ не могъ сидѣть: наскоро напившись чаю, онъ принялся ходить по комнатѣ большими шагами, какъ бы продолжая поѣздку, и никакъ не могъ успокоить расходившіеся нервы.

III.

Знакомые люди.

На другой день Вѣрочка Зиновьева рано проснулась и съ изумленіемъ оглянула незнакомую обстановку. Она находилась въ маленькой горницѣ, на чистой половинѣ дома Алексѣя Семеныча, отданной Кугину и Натальѣ. Некрашенный полъ ея былъ чисто вымытъ и устланъ половиками домашняго издѣлія; столъ въ переднемъ углу накрытъ былъ чистою скатертью; на стѣнахъ висѣли дешевыя картины, фотографіи русскихъ поэтовъ и рублевые деревянные часы, въ дальнемъ углу стояла чисто выбѣленная печка съ лежанкой, а возлѣ нея некрашенная деревянная кровать съ пузатою периной. Въ эту-то перину вчера, послѣ такой страшной ночи, и утонула Вѣрочка и теперь изъ глубины ея съ удивленіемъ разсматривала всѣ предметы, припоминая, гдѣ она и что съ ней.

Но не успѣла она хорошенько оглядѣться, какъ въ горницу вошла Наталья и застѣнчиво поздоровалась съ барышней. Вѣрочка тогда сразу все припомнила, быстро одѣлась и начала съ чисто-женскимъ любопытствомъ разспрашивать обо всемъ, что ей надо было знать, что ее заинтересовало и поразило. Молоденькая женщина давала ей на все ясные отвѣты, но въ то же время страшно стѣснялась, волновалась и поминутно краснѣла.

Прежде всего, рѣчь зашла о колоніи.

— Хорошо она устроилась?—спрашивала Вѣрочка.

— Порядкомъ ничего еще нѣтъ... все только заводится,— отвѣтила Наталья.

— А научились хозяйничать?

— Гдѣ же еще!...—и Наталья сдержанно улыбнулась, припомнивъ много смѣшного изъ порядковъ господъ, но быстро подавила эту улыбку и прибавила:—Богъ дастъ, всему научатся.

Вѣрочка послѣ этого стала разспрашивать о самихъ колонистахъ.

— Вамъ нравится Грубовъ?

— Дмитрій Иванычъ? Онъ меня учитъ...

Наталья сказала это съ тѣмъ серьезнымъ видомъ, съ какимъ говорятъ о человѣкѣ, котораго уважаютъ.

— Вы развѣ не боитесь его? Вчера, когда мы ѣхали, онъ двухъ словъ со мной не сказалъ, —促сплетничала Вѣрочка.

— Онъ добрый!—возразила Наталья съ прежнею серьезностью и твердо.

— Ну, а еще другой... забыла какъ звать!

— Неразовъ, Василій Васильичъ?

Наталья при упоминаніи Неразова тихо засмѣялась, какъ будто вспомнила что-то смѣшное, но, замѣтивъ на себѣ взглядъ барышни, она покраснѣла и отвѣтила торопливо:

— И онъ добрый... только веселый, чудакъ!

Вѣрочка вдругъ обратила свои вопросы на Наталью и ея мужа. Давно-ли они женаты? Какъ это случилось? Наталья обомлѣла отъ такихъ вопросовъ, но отвѣчала на все, что у ней барышня спрашивала; нѣкоторые изъ вопросовъ она предпочла бы замолчать, какъ свою собственную тайну, но не смѣла. А барышня не стѣснялась ничѣмъ и задѣвала все, что только было ей любопытно. Вчера ночью ее встрѣтили всѣ хозяева: самъ Алексѣй Семенычъ, его старуха, Кугинъ и Наталья, но, хорошо разсмотрѣвъ стариковъ, она едва замѣтила Кугина; только наружность его бросилась ей въ глаза: онъ былъ высокаго роста, статный молодой человѣкъ, съ красивымъ лицомъ.

— Какъ вашего мужа звать?—спросила Вѣрочка.

— Михаилъ Петровичъ.

При имени мужа на лицѣ Натальи мгновенно вспыхнула улыбка счастія, но тотчасъ же и потухла, какъ искра, высѣченная изъ кремня.

— Онъ раньше бывалъ у васъ въ селѣ?

— Нѣтъ, онъ пріѣхалъ послѣ Дмитрія Иваныча.

— И вы такъ скоро полюбились?... Сколько мѣсяцевъ замужемъ вы?

— Второй скоро минетъ.

— Какъ мнѣ вашъ бракъ нравится, когда я узнала вчера о васъ обоихъ! Онъ—образованный, вы—простая, —какъ это хорошо!

Почему это хорошо, Вѣрочка не сказала, а продолжала жадно и нескромно любопытствовать.

— Вы любите его?

Наталья при этомъ вопросѣ вспыхнула и въ большихъ глазахъ ея отразилось удивленіе.

— Какъ же не любить-то?—сказала она тихо.

— А онъ... любитъ?

Наталья поблѣднѣла и что-то тревожное обрисовалось на ея лицѣ при этомъ неосторожномъ вопросѣ барышни. Послѣдняя, впрочемъ, не дала ей времени отвѣтить.

— Да, впрочемъ, что я!... Конечно, любитъ!... Вы же такая хорошенькая!—весело закричала Вѣрочка.

Но на поблѣднѣвшемъ лицѣ молодой женщины былъ уже положительно испугъ, и она почти шепотомъ отвѣтила:

— Гдѣ же мнѣ знать это?

Почему она испугалась? Быть можетъ, этотъ вопросъ она сама въ первый разъ сознала. Она-то несомнѣнно любила. Это звучало въ каждомъ словѣ ея, а на ея лицѣ, при имени мужа, рисовались гордость и торжество. Ну, а онъ?

Къ счастью, Вѣрочка прекратила свой допросъ, достаточно удовлетворивъ свое любопытство. Кстати, онѣ обѣ вспомнили каждая про свое дѣло. Вѣрочка торопливо принялась доканчивать свой туалетъ, а Наталья захлопотала насчетъ самовара. Но, расходясь съ наружнымъ дружелюбіемъ, онѣ въ душѣ чувствовали взаимную непріязнь. Никакой видимой причины этой непріязни не было,—такъ, неизвѣстно почему, не понравились другъ другу. Впрочемъ, Натальѣ Вѣрочка не понравилась за то, что была смѣлая, самоувѣренная, съ открытымъ, дерзкимъ взглядомъ, громкимъ голосомъ, дерзкими глазами, развязнымъ языкомъ. А Вѣрочкѣ Наталья не нравилась потому, что казалась тихой, себѣ на умѣ, скромной и въ то же время неизвѣстно отчего гордой. Въ Натальѣ почему-то родился смутный страхъ передъ барышней и чувство какой-то обиды; въ Вѣрочкѣ сейчасъ же явилось преднамѣренное пренебреженіе къ деревенской женщинѣ. Натальѣ почему-то было непріятно, что пріѣхала неизвѣстная барышня, а Вѣрочкѣ было непріятно, что она встрѣтила здѣсь какую-то Наталью...

И съ этой минуты между ними образовалось молчаливое отрицаніе другъ друга, хотя по наружности онѣ оставались ласковы и вѣжливы. Когда Наталья принесла самоваръ и чашки, ей почему-то казалось необходимымъ показать барышнѣ, что у нея въ домѣ все есть, и все въ наилучшемъ видѣ,

и самоваръ, и дорогой чай, и красивая сахарница, и чайныя ложки, а Вѣрочка, въ свою очередь, считала необходимымъ ко всему этому отнестись иронически.

— Какой смѣшной самоваръ! Видно, что старый,—сказала она со смѣхомъ.

— Нѣтъ, онъ не очень старый...—отвѣчала Наталья съ улыбкой, но чувствовала булавочный уколъ.

— У васъ только одинъ стаканъ?—спросила вслѣдъ затѣмъ Вѣрочка.

— Одинъ только... былъ еще, да кошка разбила, — сказала Наталья грустно.

— Пожалуйста, налейте мнѣ въ него,—изъ чашки я не люблю пить.

Одному Богу извѣстно, какъ женщины, улыбаясь, умѣютъ запускать другъ другу булавки! И Богъ знаетъ, какими непріятностями могли бы обмѣняться двѣ непонравившіяся другъ другу женщины, если бы вскорѣ въ горницу не вошли другіе люди.

Съ ранняго утра въ деревнѣ уже знали, что къ господамъ пріѣхала барышня, и любопытствовали. Но всѣхъ больше волновалась, конечно, колонія. Едва Наталья съ Вѣрочкой начали пить чай, какъ въ горницу одинъ за другимъ вошли Алексѣй Семенычъ, его старуха, самъ Кугинъ, потомъ Неразовъ и, наконецъ, Грубовъ. Послѣдній, впрочемъ, пришелъ только освѣдомиться, какъ провела ночь Вѣра Николаевна, и тотчасъ же ушелъ. Но за то между остальными завязался оживленный разговоръ. Всѣ разспрашивали Вѣрочку объ ея планахъ, и всѣ одобряли, когда она заявила, что хочетъ научиться сельскому хозяйству и намѣрена жить имъ и ради него. Алексѣй Семенычъ добродушно улыбался и одобрялъ барышню.

Мужъ Натальи, Михаилъ Петровичъ Кугинъ, также одобрилъ ее, но только въ выраженіяхъ, которыя въ устахъ всякаго другого могли бы показаться слишкомъ вычурными.

— Если вы это рѣшили твердо, послѣ тщательнаго размышленія, то этотъ шагъ дѣлаетъ вамъ честь. Это величайшее дѣло нашего времени... Довольно словъ, надо исполнять ихъ, наконецъ! Но мы піонеры, а піонеры должны знать, что на новой дорогѣ имъ предстоятъ тяжкія испытанія,—обдумали вы ихъ? Готовы-ли вы?

Вѣрочка также не была равнодушна къ эффектнымъ словамъ и пышнымъ выраженіямъ; напротивъ, къ красивымъ словамъ у нея было органическое пристрастіе. Выслушавъ Кугина, она съ величайшею охотой отвѣчала ему тѣмъ же тономъ:

— Я все обдумала и не оглянусь назадъ.

— Сожгли за собой всѣ корабли?

— Всѣ.

— Это—жертва, но кто разъ ее принесъ, тотъ не раскается.

— Я не раскаюсь!

Въ этомъ родѣ разговоръ продолжался еще долго. Но старикамъ, должно быть, наскучило сидѣть, ничего не понимая, и они одинъ вслѣдъ за другимъ выбрались изъ горницы. За то оставшіеся, послѣ ухода чужихъ, постороннихъ людей, чувствовали себя свободнѣе. Неразовъ восторженно смотрѣлъ на Вѣрочку и по неизвѣстнымъ причинамъ то и дѣло хохоталъ. Кугинъ засыпалъ ее вопросами; сама Вѣрочка, съ разгорѣвшимся лицомъ, воодушевленная слушателями, разсказывала о настроеніи тѣхъ кружковъ, среди которыхъ она жила. Одна только Наталья молча сидѣла передъ самоваромъ и тоскливо слушала непонятный для нея разговоръ про непонятную жизнь; она облокотилась на столъ, подперла рукой голову и въ такой позѣ замерла.

Но о ней компанія въ эту минуту совершенно забыла, и ея присутствія никто не замѣчалъ. У всѣхъ троихъ были не только общіе взгляды, но и цѣлая пропасть общихъ знакомыхъ. Перечисленіе этихъ-то послѣднихъ и составляло самую живую часть разговора... А вы знаете такого-то!? А гдѣ такая-то? А почему такой-то сталъ свиньей? Все это было интересно, вызывало пропасть воспоминаній, сообщеній, характеристикъ. Воспоминанія, сообщенія и характеристики были кротки, но ясны. „Гдѣ Волковъ теперь?“—„Онъ въ Воронежѣ“.—„Что онъ тамъ подѣлываетъ?“—„Служитъ на желѣзно дорогѣ.“—„А каковъ онъ теперь?“—„Да, кажется, скотина порядочная!..“—„А вы знаете, гдѣ теперь Любонравскій? Я видѣлъ его въ послѣднее время въ Тифлисѣ... что онъ такое?“—„Ужасный подлецъ...“—„А не помните вы Миронова?... Еще онъ ходилъ въ крылаткѣ зимой и любилъ постоянно ссылаться на Спенсера, и опротивѣлъ своими цитатами такъ,

что однажды Николаевъ, жившій съ нимъ на одной квартирѣ, ударилъ его по головѣ третьимъ томомъ Спенсеровой психологіи, и онъ послѣ того больше ужь никогда не цитировалъ... Гдѣ онъ?“—„Бѣдняга застрѣлился... Онъ былъ милый, хотя и чудакъ!“

Всѣ трое съ жаднымъ любопытствомъ сообщали другъ другу животрепещущія новости и совсѣмъ забыли, гдѣ они, о чемъ говорятъ. Они чувствовали себя высоко настроенными, оживились, были счастливы. Отношенія ихъ сразу стали непринужденными, такъ что Вѣрочка совсѣмъ забыла, что она въ глухомъ, невѣдомомъ мѣстѣ и что пріѣхала она ради какого-то тяжелаго дѣла. Въ обществѣ Неразова и Кугина она была какъ у себя дома, а сами они были, казалось ей, давно знакомыми друзьями: она сразу очутилась въ своей средѣ, гдѣ все заранѣе извѣстно и гдѣ нѣтъ ничего ни загадочнаго, ни страшнаго.

Спохватились они только тогда, когда время перешло уже далеко за полдень, и ихъ позвали обѣдать на черную половину.

— Эка мы заболтались!... Ну, и любитъ же нашъ братъ разговоры разговаривать!—смѣясь, сказалъ Неразовъ.

— Надо же было познакомиться съ Вѣрой Николаевной,— возразилъ недовольнымъ тономъ Кугинъ.

— Да нѣтъ, я такъ, вообще... Нашему брату необходимо разговоры разговаривать.

— Вы, Неразовъ, обо всѣхъ судите по себѣ!—возразилъ Кугинъ уже съ пренебреженіемъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же сердиться?... Я такъ, вообще... Хлѣбомъ насъ не корми, только дай поговорить!—и Неразовъ добродушно захохоталъ, повидимому, нисколько не обижаясь на пренебрежительный тонъ товарища.

Онъ съ счастливымъ выраженіемъ лица сильно потрясъ руки Вѣрочки и ушелъ къ себѣ на хуторъ, а Кугинъ и Вѣрочка пошли обѣдать на черную половину, за семейнымъ столомъ Алексѣя Семеныча.

За обѣдомъ всѣ стѣснялись: черная половина обѣдающихъ, т.-е. Алексѣй Семенычъ, его старуха Петровна и бабка, стѣснялась барышни, а барышня стѣснялась черной половины. Она въ первый разъ очутилась за мужицкимъ столомъ, хотя это и былъ столъ зажиточнаго Алексѣя Семеныча; въ первый разъ брала въ руки огромную, какъ ковшъ, деревянную лож-

ку и въ первый разъ должна была этимъ черпакомъ поддѣвать изъ общей чашки нѣчто вродѣ щей съ бараниной. Впрочемъ, для перваго раза она довольно храбро ѣла непропеченный хлѣбъ, крѣпко держала въ рукахъ черпакъ и показывала видъ, что она не брезгуетъ „хлебать“ изъ общей чашки.

Только одинъ Кугинъ чувствовалъ себя отлично, возбужденный присутствіемъ Вѣрочки. Онъ былъ одѣтъ въ красной рубахѣ, подпоясанной грубымъ поясомъ; волосы его безпорядочно падали на лобъ и съ виду онъ походилъ на деревенскаго парня-красавца. Таковымъ именно онъ и желалъ казаться и великолѣпно подражалъ молодому мужику. Рубаха его небрежно висѣла по бокамъ, поясъ спустился ниже живота, рукава рубахи были немного засучены,—точь въ точь, какъ у деревенскаго мужика. Грудь онъ то и дѣло зачѣмъ-то выпячивалъ впередъ, руками производилъ неуклюжія движенія,—все это также было естественно для сильнаго деревенскаго парня.

Но въ особенности артистично онъ ѣлъ непропеченный хлѣбъ, держалъ въ рукѣ чудовищную ложку и хлѣбалъ щи. Вѣрочка съ восторгомъ и удивленіемъ смотрѣла на него. Откусивъ отъ ломтя кусокъ, онъ какъ-то особенно медленно чавкалъ его, какъ чавкаютъ только мужики послѣ утомительной работы; ловко держа въ рукѣ ложку, онъ истово черпалъ ею щи и съ эффектнымъ шумомъ сфыркивалъ ихъ въ ротъ, какъ фыркаютъ извозчики на постоялыхъ дворахъ, когда послѣ длинной путины по тридцати-градусному морозу садятся вокругъ дымящейся парами чашки, а когда въ подолъ рубахи насыпались крошки, онъ старательно вытряхнулъ ихъ сперва на ладонь, а потомъ на столъ, какъ дѣлается повсюду въ деревняхъ, гдѣ каждая крошка считается поистинѣ даромъ Божіимъ,—вообще, прелесть какъ онъ ѣлъ.

Послѣ обѣда Алексѣй Семенычъ, которому надо было отлучиться къ кому-то на дальній конецъ деревни, попросилъ его убрать скотину и еще кое-что сдѣлать.

— Ужь ты побезпокойся, Михаилъ Петровичъ, тамъ на дворѣ,—сказалъ онъ съ обычною доброю улыбкой, но робко.

Было замѣтно, что къ зятю-барину онъ относится всегда робко и почтительно. Иногда онъ шутилъ надъ Кугинымъ, когда тотъ дѣлалъ что-нибудь не ладно, но тотчасъ же ро-

бѣлъ за свою шутку. Такъ было и въ этотъ разъ. Обратившись съ просьбой къ зятю, онъ пошутилъ:

— Да ты опять по добротѣ не дай коровамъ сѣна...

Но, сказавъ это, онъ тотчасъ же умолкъ и какъ будто смѣшался. Кугинъ равнодушно и съ оттѣнкомъ пренебреженія отвѣтилъ:

— Ничего, иди,—все будетъ сдѣлано какъ слѣдуетъ!

И, надѣвъ на голову картузъ, а на плечи старый кафтанъ, онъ вышелъ на дворъ. Вѣрочка пошла за нимъ, чтобы посмотрѣть, какъ онъ будетъ работать,—это она наивно объявила.

И Кугинъ показалъ, какъ онъ работаетъ. Надо было прибрать разныя хозяйственныя вещи по мѣстамъ: телѣгу закатить подъ навѣсъ, дуги снести въ сѣни и проч. Кугинъ все это сдѣлалъ торжественно и чисто. Погода была мокрая и холодная; мокрый снѣгъ, падавшій всю ночь, на половину растаялъ и еще болѣе прибавилъ грязи. На дворѣ ноги на четверть тонули въ жидкомъ навозѣ. Но Кугинъ съ преднамѣреннымъ равнодушіемъ трепался въ этой жижѣ и не обращалъ вниманія на то, что руки его черезъ минуту покрылись грязью. Кончивъ уборку, онъ принялся изъ колодца качать воду въ корыто, обливался брызгами, опять утопалъ въ навозѣ, но оставался равнодушнымъ. Послѣ того онъ выгналъ съ задняго двора скотину, напоилъ ее, снова загналъ обратно (при этомъ кричалъ: „Н-но!... ты, одеръ!“) и полѣзъ на повѣть, гдѣ былъ сложенъ кормъ. Какъ человѣкъ сильный, онъ бралъ огромныя охапки соломы и сѣна и безъ усилій бросалъ ихъ внизъ.

Когда все было кончено, онъ слѣзъ съ крыши, небрежнымъ движеніемъ руки сдвинулъ картузъ на затылокъ и почесалъ за спиной, какъ дѣлаютъ работники. Вѣрочка все время съ восхищеніемъ смотрѣла на него, и когда онъ кончилъ, закричала:

— Какъ, вы уже все умѣете?

— Пустяки... кто-жь не умѣетъ такихъ пустяковъ?—возразилъ Кугинъ небрежно.

При этомъ Вѣрочка замѣтила, что даже языкъ у него былъ пох[illegible] на деревенскій,—онъ говорилъ тяжело, вяло, [illegible] тою [illegible] съ какою говорятъ только истинные мужи- [illegible]оро[illegible]ими суконными языками.

Кугину все это далось легко, естественно. Онъ принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, которые всю жизнь проводятъ какъ бы на сценѣ и живутъ затѣмъ только, чтобы показывать себя. Отсюда безконечное подражаніе всему, что требуется обстоятельствами. Идетъ-ли такой человѣкъ по улицѣ, онъ охорашивается и наблюдаетъ, какое впечатлѣніе производитъ; говоритъ-ли онъ въ компаніи, онъ прислушивается къ звуку собственныхъ словъ и наблюдаетъ, какъ на него смотрятъ; даже у себя дома, съ глазу на глазъ съ собой, онъ непремѣнно заглянетъ въ зеркало, расправитъ усы, выпятитъ грудь, сурово посмотритъ въ пространство, всюду чувствуя на себѣ посторонній взоръ. И когда онъ увѣренъ, что на него смотрятъ, онъ вѣритъ въ себя, доволенъ и чувствуетъ въ себѣ силу. Несчастье для такого человѣка начинается съ того момента, когда на него перестаютъ смотрѣть; тогда онъ безсиленъ и плохъ и теряетъ всю цѣну жизни.

По окончаніи работы Кугинъ и Вѣрочка долго еще стояли подъ навѣсомъ. Подмѣтивъ большое впечатлѣніе, произведенное имъ на Вѣрочку, Кугинъ съ жаромъ распространился насчетъ будущихъ работъ, своихъ плановъ, своей женитьбы на простой дѣвушкѣ. Изъ его словъ можно было вывести заключеніе, что все совершонное имъ теперь—подвигъ. Онъ носитъ грубые сапоги, смазанные дегтемъ,—это подвигъ; помогаетъ въ хозяйствѣ тестю—подвигъ; женился онъ на Натальѣ также ради подвига, ради того, чтобы сдѣлаться настоящимъ работникомъ, работникъ же безъ хозяйки-работницы невозможенъ.

— А я думала, что у васъ былъ романъ!—воскликнула разочарованная Вѣрочка при послѣднемъ признаніи.

— Романъ здѣсь, барышня, не полагается,—замѣтилъ Кугинъ съ самодовольною улыбкой.

— И вы не любите жены?

— Такія слова здѣсь безполезны, ни къ чему они. Любишь или не любишь, хочешь или не хочешь, а жениться и жить надо. Только и всего! Я началъ съ того, съ чего начинаетъ каждый сельскій хозяинъ,—женился. Да и, вообще говоря, рѣшился дѣлать все, что дѣлаетъ каждый мужикъ.

Вѣрочка тотчасъ подмѣтила смѣшную сторону въ этихъ словахъ, повидимому, столь суровыхъ, и захохотала.

— Надъ чѣмъ это вы?—спросилъ Кугинъ и покраснѣлъ.

— Вы логичны. Мужики женятся иногда затѣмъ, чтобы имѣть въ дому работницу, и вы также?—спросила Вѣрочка со смѣхомъ.

— Да, и я также.

— Ефремъ, говорятъ, бьетъ кирпичами свою жену... а вы чѣмъ будете?

— Это ко мнѣ не относится,—возразилъ Кугинъ недовольнымъ тономъ.

— А въ чертей будете вѣрить?

— Вѣрить не къ чему, но и опровергать не стану. Но что тутъ смѣшного?

— Простите, я пошутила,—поторопилась успокоить Вѣрочка досаду, появившуюся на лицѣ Кугина.

Она, дѣйствительно, пошутила, вовсе не думая смѣяться надъ словами Кугина. Черезъ минуту, когда они были уже въ горницѣ, она совсѣмъ позабыла этотъ разговоръ. Но за то самъ Кугинъ не позабылъ. Ему почему-то непріятно стало вспоминать свои слова насчетъ женитьбы, и, воспользовавшись первымъ попавшимся случаемъ, онъ постарался оправдаться.

— Не подумайте, впрочемъ, что я смотрю на Наталью, какъ на рабочую силу. Она очень умная женщина, учится, и уже отлично читаетъ и пишетъ...—говорилъ не совсѣмъ связно Кугинъ.

— Вы сами даете ей уроки?—спросила Вѣрочка съ любопытствомъ.

— Нѣтъ, самъ я пробовалъ, но не могу... Занимается съ ней Грубовъ... Она—очень хорошая бабочка.

При этихъ словахъ въ горницу вошла Наталья, и Кугинъ полушутливо, полусерьезно воскликнулъ:

— Вотъ видите, какая она? Славная у меня старуха!

Наталья сначала съ недоумѣніемъ посмотрѣла на обоихъ, но, понявъ разговоръ, застѣнчиво, съ краской въ лицѣ, потупилась и только украдкой бросила на мужа взоръ, выражавшій благодарность и гордость.

До самаго вечера Кугинъ и Вѣрочка разговаривали обо всемъ. Вѣрочкѣ онъ очень нравился, какъ будто онъ былъ

давній ея знакомый. Но было рѣшено, что съ слѣдующаго дня Вѣрочка поселится на хуторѣ вмѣстѣ съ Неразовымъ.

IV.

Колонія.

Хуторъ, который собственно и представлялъ собою колонію, отстоялъ отъ деревни верстахъ въ двухъ. Это была развалина, послѣдній флигель, уцѣлѣвшій послѣ крушенія главнаго барскаго дома; кругомъ, на далекое разстояніе, лежалъ дикій пустырь.

Неразовъ до пріѣзда Вѣрочки жилъ одинъ и, надо правду сказать, страшно скучалъ подъ своею ветхою кровлей. Къ довершенію непріятности, онъ боялся мышей и по ночамъ, когда онѣ подъ старымъ поломъ скребли и что-то грызли, онъ испытывалъ положительный ужасъ. Да и со всѣхъ другихъ сторонъ ему было тамъ жутко. Понятно, съ какимъ восторгомъ онъ принялъ рѣшеніе барышни поселиться въ одной изъ его комнатъ. Всю вторую ночь, которую Вѣрочка провела у Кугиныхъ, онъ чистилъ предназначенную для нея комнату; онъ меблировалъ ее скамьями и безногими столами, стѣны украсилъ вырѣзками изъ *Нивы,* самъ вымелъ полъ, протеръ запыленныя окна, а разбитыя стекла заклеилъ бумагой и придалъ комнатѣ сносный, своего рода даже красивый видъ.

На другой день чуть свѣтъ онъ вышелъ изъ дому и отправился за Вѣрочкой. Вѣрочку онъ уже засталъ одѣтой и готовой къ отправкѣ; она сама торопилась поскорѣе устроиться и приняться за дѣло. Какое дѣло ей предстоитъ, она смутно представляла, но только представленіе о немъ она связывала именно съ хуторомъ. Вещи ея взялся перевезти къ обѣду Кугинъ, а сама она тотчасъ же отправилась пѣшкомъ съ Неразовымъ.

Утро стояло морозное; грязь за ночь застыла; падала сухая изморозь,—это наступила зима. Воздухъ былъ чистый, возбуждающій. Вѣрочка съ веселымъ лицомъ оглядывалась по сторонамъ. Разспрашивая Неразова о встрѣчающихся

предметахъ, она сама болтала и хохотала, а когда они вышли за околицу посреди широкаго поля, ограниченнаго вдали сосновымъ боромъ, она вдругъ запѣла: „Не бѣли снѣжки“ свѣжимъ груднымъ контральто.

Неразовъ, идя рядомъ съ ней, заглядывалъ ей въ лицо, беззвучно смѣялся, и на глазахъ его показались слезы,— не то отъ мороза, не то отъ восторга. Возможно было и то, и другое, ибо тѣло его было одѣто по-лѣтнему, въ плохое пальто, а душа его способна была приходить отъ всего въ такъ называемый „телячій восторгъ“, наполняясь неизъяснимыми фантазіями.

Въ данномъ случаѣ фантазія его разыгралась насчетъ колоніи, будущее которой вдругъ теперь представилось ему въ ослѣпительномъ сіяніи. Когда они пришли на мѣсто, онъ сейчасъ же принялся хвалить выше мѣры все, что тутъ было. Сначала онъ ввелъ барышню въ домъ и съ гордостью показалъ ей комнату, предназначенную для нея. Вѣрочка сдѣлала гримасу: домишко былъ ветхій, потолокъ въ немъ обвисъ, полъ, напротивъ, выпучился, а стѣны повалились въ разныя стороны; но она удержалась отъ критическихъ замѣчаній. Затѣмъ онъ принялся въ умѣренныхъ выраженіяхъ описывать прочіе предметы хутора, какіе были налицо, а также и такіе, которыхъ въ дѣйствительности не было.

Такъ, послѣ осмотра домишка,—этого жалкаго остатка отъ огромныхъ барскихъ построекъ, давнымъ-давно исчезнувшихъ,—онъ повелъ Вѣрочку на дворъ и сталъ объяснять значеніе и будущее каждаго предмета.

— Вотъ здѣсь у насъ службы...—сказалъ онъ, указывая на маленькій сарайчикъ, крытый соломой.—Тутъ у насъ будутъ коровы, лошади, овцы и прочая скотина.

Вѣрочка съ любопытствомъ и наивностью городской жительницы посмотрѣла на „службы“ и готова была признать величіе ихъ, но случайно спросила:

— А больше ничего нѣтъ?

Но Неразовъ этимъ замѣчаніемъ не смутился.

— Ну, да, конечно, это пока... А на лѣто мы тутъ построимъ сараи, конюшни, сѣновалы и все прочее.

— А гдѣ же [illegible]ъ?—спросила Вѣрочка и заглянула въ

сарайчикъ. Тамъ на соломѣ стоялъ одинъ только шаршавый теленокъ и вяло жевалъ сѣно.

— Пока тутъ только теленокъ одинъ... У насъ есть двѣ хорошія лошади, но у Ефрема, съ которымъ вы ѣхали... а прочимъ всѣмъ мы обзаведемся къ веснѣ...

Неразовъ говорилъ это такимъ убѣжденнымъ тономъ, какъ будто весь этотъ проектированный скотъ былъ уже на-лицо. Вѣрочка допускала возможность всего этого и уже хотѣла войти въ домъ, такъ какъ, по ея мнѣнію, дальше осматривать было нечего; кругомъ виднѣлся необозримый пустырь, покрытый первымъ снѣгомъ. Но Неразовъ съ возбужденнымъ лицомъ продолжалъ показывать и описывать многія другія вещи.

— Вотъ здѣсь у насъ огородъ,—сказалъ онъ, указывая на пустое мѣсто.

— Гдѣ огородъ?—спросила Вѣрочка съ недоумѣніемъ.

— Да вотъ тутъ—это огородъ. Мы еще не успѣли поставить плетень, но это огородъ, увѣряю васъ!

— Въ немъ какіе овощи ростутъ?

— Еще не было... но будущею весной мы насадимъ здѣсь всего. Я уже выписалъ изъ Москвы и сѣмена.

Вѣрочка должна была сознаться себѣ, что она ничего не понимаетъ въ сельскомъ хозяйствѣ.

Вслѣдъ затѣмъ Неразовъ указалъ на другое пустое мѣсто, гдѣ изъ-подъ земли торчало штукъ пять сухихъ прутьевъ.

— А вотъ здѣсь у насъ садъ,—сказалъ онъ.

— Гдѣ?—воскликнула пораженная Вѣрочка.

— Да вотъ идите сюда... Вотъ видите, это груша. А это „черное дерево“—яблоня. Это хорошовка.

Говоря это, Неразовъ подходилъ къ каждому пруту и объяснялъ его значеніе.

— Конечно, это только начало. Съ весны мы выпишемъ двѣ сотни трехлѣтокъ и посадимъ.

Вѣрочка начала улыбаться, но, ничего не понимая въ сельскомъ хозяйствѣ, она допускала существованіе сада безъ деревьевъ.

Но, наконецъ, Неразовъ осрамился. Когда они возвращались назадъ въ домъ, то недалеко отъ входа въ дверь онъ вдругъ остановился и, показывая на длинный, тонкій колъ,

зачѣмъ-то воткнутый въ землю передъ крыльцомъ, замѣтилъ:

— А вотъ это бесѣдка.

— Гдѣ?—вскричала Вѣрочка.

— Я ужь начертилъ чертежъ и весной самъ построю ее. Знаете, лѣтомъ въ комнатѣ жарко, на дворѣ негдѣ отдохнуть, поэтому я рѣшилъ построить высокую бесѣдку, гдѣ бы можно было по праздникамъ пить чай, обѣдать и читать.

Но тутъ уже Вѣрочка не выдержала; раздался взрывъ веселаго смѣха, отъ котораго бѣдняга сконфузился.

— Какой вы чудакъ, Неразовъ!—вскричала дѣвушка и вбѣжала въ комнату.

Съ этой минуты она принялась вышучивать Неразова на каждомъ шагу, смѣясь надъ каждымъ его словомъ. Бѣдняга передъ ней какъ-то вдругъ съежился.

И такъ къ нему относился всякій, кто только знакомился съ нимъ. Казалось, онъ отъ самой природы назначенъ былъ для развлеченія людей. Съ длинною, погнувшеюся на бокъ шеей, сидѣвшею на узкихъ плечахъ, высокій и нестройный, какъ сучокъ валежника, съ кривымъ тѣломъ и неправильнымъ лицомъ,—это былъ истинный потомокъ озорнаго помѣщичьяго рода, нынѣ оставившаго послѣ себя только пустырь, занятый гнилымъ домишкомъ, и Неразова, въ жилахъ котораго текла испорченная кровь. Пустырь походилъ на своего хозяина Неразова, а Неразовъ на свой пустырь,—оба были расшатаны, растасканы, и вѣтеръ свободно гулялъ по нимъ...

Голова Неразова имѣла какъ будто нѣсколько отверстій, сквозь которыя мысли его свистѣли наружу въ неожиданныхъ сочетаніяхъ, отчего по первому впечатлѣнію онъ казался всѣмъ живымъ и необыкновеннымъ, но когда ближе узнавали его, то живость принимала видъ дурачества, а увлекательность—особый родъ безпорядочности. Жизнь его до сихъ поръ наполнена была шумными исторіями, изъ которыхъ каждая немного дурачила его, но ни за одну изъ нихъ онъ не поплатился серьезно, потому что начальство, ближе знакомясь съ нимъ, также видѣло въ немъ только шутку природы, и онъ продолжалъ увлекаться всѣмъ новымъ и неизвѣстнымъ, шумѣлъ, а мысли его свистѣли.

За всѣмъ тѣмъ это былъ совершенно безкорыстный чело-

вѣкъ, привязанный къ людямъ, любившій все доброе и самъ необыкновенный добрякъ. Испытавъ горечь нѣсколькихъ исторій, онъ, казалось, долженъ былъ бы перестать увлекаться, но не переставъ; испытывая вѣчную нужду, онъ, по крайней мѣрѣ, своею землей могъ бы воспользоваться для себя, но не воспользовался и тратилъ свои маленькія средства на дѣла, лично ему безполезныя, а теперь вотъ отдалъ весь хуторъ на какую-то колонію и безропотно терпѣлъ невзгоды. Онъ страшно тутъ скучалъ, въ этомъ ветхомъ домишкѣ, буквально голодалъ, питаясь только хлѣбомъ да чаемъ, самъ топилъ печки, кормилъ теленка, а по ночамъ, когда подъ его кроватью скребли мыши, испытывалъ смертельный ужасъ. И все это не для себя, а ради какой-то идеальной колоніи, которая, подъ его разбитымъ черепомъ, среди его шумныхъ мыслей, приняла изумительные размѣры и форму.

Вѣрочка тотчасъ же встала съ нимъ въ дурачливыя отношенія и за панибрата вышучивала его, въ то же время, пользуясь всею его добротой, безкорыстіемъ и услужливостью, какъ должнымъ. А онъ былъ съ первой же минуты безъ памяти отъ нея. Весь этотъ первый день онъ провелъ въ возбужденномъ состояніи, то и дѣло хохоталъ, безъ нужды суетился и до самаго вечера безъ умолку болталъ все сплошь, что приходило ему въ голову.

Къ ночи же, оставшись одинъ въ своей комнатѣ, онъ страстно влюбился и въ одно мгновеніе создалъ увлекательный романъ. Вѣрочка полюбила его невыразимо, и вотъ ужъ они женаты. Оба работаютъ въ колоніи, а въ свободное время гуляютъ по тѣнистому саду, съ вѣтвей котораго свѣшиваются груши. Вслѣдъ затѣмъ черезъ нѣсколько минутъ у нихъ появились дѣти, двѣ дѣвочки и одинъ мальчикъ, и вскорѣ вышли замужъ за двухъ юношей, принадлежащихъ къ этой же колоніи, которая стала многолюдной и цвѣтущей. Что касается сына, то онъ раньше еще поступилъ въ технологическій институтъ, окончилъ курсъ тамъ и сейчасъ пріѣхалъ домой въ колонію. Но онъ побывалъ въ дурной компаніи, сдѣлался карьеристомъ и, увидѣвъ сѣдого отца на огородѣ копающимъ рѣдьку, сталъ издѣваться надъ нимъ; тутъ же обнаружилось, что между ними нѣтъ ничего общаго. Отъ всего этого Неразову сдѣлалось такъ грустно и больно,

что онъ вдругъ, посреди горячаго спора съ сыномъ, закричалъ съ негодованіемъ:

— Вонъ, мерзавецъ!

Закричавъ это, Неразовъ топнулъ ногой и съ страшнымъ гнѣвомъ посмотрѣлъ на висѣвшее въ углу свое пальто.

Вѣрочка, находившаяся въ сосѣдней комнатѣ, съ испугомъ поднялась на своей постели и прерывающимся голосомъ окрикнула:

— Неразовъ, это вы?

— Я...

— Кого это вы гоните?

Неразовъ смѣшался.

— Такъ... это я вслухъ читаю одно мѣсто, — пролепеталъ онъ.

Романъ его исчезъ, и онъ, сконфуженный, поторопился лечь на свою жесткую соломенную постель; лицо его приняло вдругъ жалкое выраженіе, съ какимъ онъ и заснулъ.

Это, впрочемъ, не помѣшало ему въ слѣдующіе дни мечтать въ томъ же родѣ и варьировать разными эпизодами свою любовь къ Вѣрочкѣ. Такія мечты никому не вредили, потому что даже и здѣсь онъ былъ совершенно безкорыстенъ. Раньше онъ пробовалъ нѣсколько разъ жениться, но всѣ женщины, къ которымъ онъ обращался, относились къ этому такъ же шутя, какъ и ко всему, что онъ говорилъ или дѣлалъ. Одна, самая кроткая дѣвушка, въ которую онъ влюбился, просто сказала ему:

— Не болтайте, Неразовъ, вздора!

Другая, послѣ того, какъ онъ сдѣлалъ ей нѣсколько намековъ на свое чувство, засмѣялась, бросила ему въ лицо огрызкомъ конфекты и замѣтила:

— Какой вы, однако, оселъ, Неразовъ!

Третья же, на которую онъ просто молился, представляя ее себѣ всегда въ видѣ ангела, при первыхъ его словахъ „объясненія“, вдругъ озлилась, какъ вѣдьма, и закричала ему со злобой:

— Убирайтесь вы къ чорту съ своими глупостями!

Послѣ такихъ краткихъ романовъ онъ самъ сталъ смотрѣть несерьезно на свои слова о женитьбѣ и самъ первый же надъ ними подсмѣивался, но когда оставался одинъ-на-одинъ съ собой и съ своими мыслями, то сильно увлекался

разными романтическими приключеніями и придумывалъ ихъ на каждый день по нѣсколько штукъ. Съ утра, напримѣръ, онъ представлялъ себя женатымъ на бабѣ Марьѣ, приносившей ему иногда парное молоко, а къ вечеру онъ былъ уже влюбленъ въ сосѣднюю помѣщицу, проѣхавшую мимо его хутора въ этотъ день.

Только Вѣрочка надолго воспламенила его сердце. На слѣдующій день они отправились въ деревню: Вѣрочка—къ Кугинымъ, Неразовъ—къ Грубову. Вѣрочка сначала сама хотѣла зайти къ Грубову, чтобы поближе познакомиться съ нимъ, но внезапно перемѣнила свое намѣреніе. Неразовъ упрашивалъ ее зайти, но она съ непонятнымъ упрямствомъ и на-отрѣзъ отказалась. „Да почему? Почему вы не хотите зайти?"—допрашивалъ Неразовъ. Но она промолчала и направилась къ дому Алексѣя Семеныча.

Неразовъ пошелъ одинъ, и ему отчего-то грустно стало. Впрочемъ, едва онъ вошелъ во флигель Грубова, какъ развеселился и принялся въ восторженныхъ выраженіяхъ описывать Вѣрочку. Грубовъ молчалъ, только вяло спросилъ, какъ они устроились на хуторѣ.

— Устроились мы тамъ чудесно! Вѣришь-ли, даже эта самая гнусная развалина, домъ-то нашъ, какъ будто сдѣлался красивѣе съ ея появленія, ей-Богу! Какая она красавица, ты замѣтилъ?

— Кто красавица: развалина или барышня?—спросилъ Грубовъ.

— Это цинично, Митя!... А какъ она поетъ... слушай и умирай—больше ничего!—воскликнулъ Неразовъ.

Затѣмъ онъ въ пламенныхъ выраженіяхъ сталъ описывать другія качества барышни—веселый характеръ, бѣсовскую остроту, ея звонкій хохотъ, начитанность. Грубовъ молчалъ.

Такъ продолжалось нѣсколько дней. Неразовъ, забѣгая къ пріятелю, восторженно говорилъ о своей сожительницѣ, каждый разъ находя въ ней новыя чудеса. Грубовъ все молчалъ. Только однажды онъ задалъ нѣсколько вопросовъ, повидимому, совсѣмъ не относящихся къ Вѣрочкѣ Зиновьевой.

— Послушай, Василій... Кто у васъ ставитъ утромъ самоваръ?—спросилъ Грубовъ, неожиданно прервавъ пламенное описаніе Неразовымъ пѣнія Вѣрочки.

— Я. А что?—отвѣчалъ Неразовъ, очень удивленный.

бѣлъ за свою шутку. Такъ было и въ этотъ разъ. Обратившись съ просьбой къ зятю, онъ пошутилъ:

— Да ты опять по добротѣ не дай коровамъ сѣна...

Но, сказавъ это, онъ тотчасъ же умолкъ и какъ будто смѣшался. Кугинъ равнодушно и съ оттѣнкомъ пренебреженія отвѣтилъ:

— Ничего, иди,—все будетъ сдѣлано какъ слѣдуетъ!

И, надѣвъ на голову картузъ, а на плечи старый кафтанъ, онъ вышелъ на дворъ. Вѣрочка пошла за нимъ, чтобы посмотрѣть, какъ онъ будетъ работать,—это она наивно объявила.

И Кугинъ показалъ, какъ онъ работаетъ. Надо было прибрать разныя хозяйственныя вещи по мѣстамъ: телѣгу закатить подъ навѣсъ, дуги снести въ сѣни и проч. Кугинъ все это сдѣлалъ торжественно и чисто. Погода была мокрая и холодная; мокрый снѣгъ, падавшій всю ночь, на половину растаялъ и еще болѣе прибавилъ грязи. На дворѣ ноги на четверть тонули въ жидкомъ навозѣ. Но Кугинъ съ преднамѣреннымъ равнодушіемъ трепался въ этой жижѣ и не обращалъ вниманія на то, что руки его черезъ минуту покрылись грязью. Кончивъ уборку, онъ принялся изъ колодца качать воду въ корыто, обливался брызгами, опять утопалъ въ навозѣ, но оставался равнодушнымъ. Послѣ того онъ выгналъ съ задняго двора скотину, напоилъ ее, снова загналъ обратно (при этомъ кричалъ: „Н-но!... ты, одеръ!") и полѣзъ на повѣть, гдѣ былъ сложенъ кормъ. Какъ человѣкъ сильный, онъ бралъ огромныя охапки соломы и сѣна и безъ усилій бросалъ ихъ внизъ.

Когда все было кончено, онъ слѣзъ съ крыши, небрежнымъ движеніемъ руки сдвинулъ картузъ на затылокъ и почесалъ за спиной, какъ дѣлаютъ работники. Вѣрочка все время съ восхищеніемъ смотрѣла на него, и когда онъ кончилъ, закричала:

— Какъ, вы уже все умѣете?

— Пустяки... кто жь не умѣетъ такихъ пустяковъ?—возразилъ Кугинъ небрежно.

При этомъ Вѣрочка замѣтила, что даже языкъ у него былъ похожъ на деревенскій,—онъ говорилъ тяжело, вяло, съ тою лѣнью, съ какою говорятъ только истинные мужики, ворочая своими суконными языками.

Кугину все это далось легко, естественно. Онъ принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, которые всю жизнь проводятъ какъ бы на сценѣ и живутъ затѣмъ только, чтобы показывать себя. Отсюда безконечное подражаніе всему, что требуется обстоятельствами. Идетъ-ли такой человѣкъ по улицѣ, онъ охорашивается и наблюдаетъ, какое впечатлѣніе производитъ; говоритъ-ли онъ въ компаніи, онъ прислушивается къ звуку собственныхъ словъ и наблюдаетъ, какъ на него смотрятъ; даже у себя дома, съ глазу на глазъ съ собой, онъ непремѣнно заглянетъ въ зеркало, расправитъ усы, выпятитъ грудь, сурово посмотритъ въ пространство, всюду чувствуя на себѣ посторонній взоръ. И когда онъ увѣренъ, что на него смотрятъ, онъ вѣритъ въ себя, доволенъ и чувствуетъ въ себѣ силу. Несчастье для такого человѣка начинается съ того момента, когда на него перестаютъ смотрѣть; тогда онъ безсиленъ и плохъ и теряетъ всю цѣну жизни.

По окончаніи работы Кугинъ и Вѣрочка долго еще стояли подъ навѣсомъ. Подмѣтивъ большое впечатлѣніе, произведенное имъ на Вѣрочку, Кугинъ съ жаромъ распространился насчетъ будущихъ работъ, своихъ плановъ, своей женитьбы на простой дѣвушкѣ. Изъ его словъ можно было вывести заключеніе, что все совершонное имъ теперь—подвигъ. Онъ носитъ грубые сапоги, смазанные дегтемъ,—это подвигъ; помогаетъ въ хозяйствѣ тестю—подвигъ; женился онъ на Натальѣ также ради подвига, ради того, чтобы сдѣлаться настоящимъ работникомъ, работникъ же безъ хозяйки-работницы невозможенъ.

— А я думала, что у васъ былъ романъ!—воскликнула разочарованная Вѣрочка при послѣднемъ признаніи.

— Романъ здѣсь, барышня, не полагается,—замѣтилъ Кугинъ съ самодовольною улыбкой.

— И вы не любите жены?

— Такія слова здѣсь безполезны, ни къ чему они. Любишь или не любишь, хочешь или не хочешь, а жениться и жить надо. Только и всего! Я началъ съ того, съ чего начинаетъ каждый сельскій хозяинъ,—женился. Да и, вообще говоря, рѣшился дѣлать все, что дѣлаетъ каждый мужикъ.

Вѣрочка тотчасъ подмѣтила смѣшную сторону въ этихъ словахъ, повидимому, столь суровыхъ, и захохотала.

— Надъ чѣмъ это вы?—спросилъ Кугинъ и покраснѣлъ.

— Вы логичны. Мужики женятся иногда затѣмъ, чтобы имѣть въ дому работницу, и вы также?—спросила Вѣрочка со смѣхомъ.

— Да, и я также.

— Ефремъ, говорятъ, бьетъ кирпичами свою жену... а вы чѣмъ будете?

— Это ко мнѣ не относится,—возразилъ Кугинъ недовольнымъ тономъ.

— А въ чертей будете вѣрить?

— Вѣрить не къ чему, но и опровергать не стану. Но что тутъ смѣшного?

— Простите, я пошутила,—поторопилась успокоить Вѣрочка досаду, появившуюся на лицѣ Кугина.

Она, дѣйствительно, пошутила, вовсе не думая смѣяться надъ словами Кугина. Черезъ минуту, когда они были уже въ горницѣ, она совсѣмъ позабыла этотъ разговоръ. Но за то самъ Кугинъ не позабылъ. Ему почему-то непріятно стало вспоминать свои слова насчетъ женитьбы, и, воспользовавшись первымъ попавшимся случаемъ, онъ постарался оправдаться.

— Не подумайте, впрочемъ, что я смотрю на Наталью, какъ на рабочую силу. Она очень умная женщина, учится, и уже отлично читаетъ и пишетъ...—говорилъ не совсѣмъ связно Кугинъ.

— Вы сами даете ей уроки?—спросила Вѣрочка съ любопытствомъ.

— Нѣтъ, самъ я пробовалъ, но не могу... Занимается съ ней Грубовъ... Она—очень хорошая бабочка.

При этихъ словахъ въ горницу вошла Наталья, и Кугинъ полушутливо, полусерьезно воскликнулъ:

— Вотъ видите, какая она? Славная у меня старуха!

Наталья сначала съ недоумѣніемъ посмотрѣла на обоихъ, но, понявъ разговоръ, застѣнчиво, съ краской въ лицѣ, потупилась и только украдкой бросила на мужа взоръ, выражавшій благодарность и гордость.

До самаго вечера Кугинъ и Вѣрочка разговаривали обо всемъ. Вѣрочкѣ онъ очень нравился, какъ будто онъ былъ

давній ея знакомый. Но было рѣшено, что съ слѣдующаго дня Вѣрочка поселится на хуторѣ вмѣстѣ съ Неразовымъ.

IV.

Колонія.

Хуторъ, который собственно и представлялъ собою колонію, отстоялъ отъ деревни верстахъ въ двухъ. Это была развалина, послѣдній флигель, уцѣлѣвшій послѣ крушенія главнаго барскаго дома; кругомъ, на далекое разстояніе, лежалъ дикій пустырь.

Неразовъ до пріѣзда Вѣрочки жилъ одинъ и, надо правду сказать, страшно скучалъ подъ своею ветхою кровлей. Къ довершенію непріятности, онъ боялся мышей и по ночамъ, когда онѣ подъ старымъ поломъ скребли и что-то грызли, онъ испытывалъ положительный ужасъ. Да и со всѣхъ другихъ сторонъ ему было тамъ жутко. Понятно, съ какимъ восторгомъ онъ принялъ рѣшеніе барышни поселиться въ одной изъ его комнатъ. Всю вторую ночь, которую Вѣрочка провела у Кугиныхъ, онъ чистилъ предназначенную для нея комнату; онъ меблировалъ ее скамьями и безногими столами, стѣны украсилъ вырѣзками изъ *Нивы,* самъ вымелъ полъ, протеръ запыленныя окна, а разбитыя стекла заклеилъ бумагой и придалъ комнатѣ сносный, своего рода даже красивый видъ.

На другой день чуть свѣтъ онъ вышелъ изъ дому и отправился за Вѣрочкой. Вѣрочку онъ уже засталъ одѣтой и готовой къ отправкѣ; она сама торопилась поскорѣе устроиться и приняться за дѣло. Какое дѣло ей предстоитъ, она смутно представляла, но только представленіе о немъ она связывала именно съ хуторомъ. Вещи ея взялся перевезти къ обѣду Кугинъ, а сама она тотчасъ же отправилась пѣшкомъ съ Неразовымъ.

Утро стояло морозное; грязь за ночь застыла; падала сухая изморозь,—это наступила зима. Воздухъ былъ чистый, возбуждающій. Вѣрочка съ веселымъ лицомъ оглядывалась по сторонамъ. Разспрашивая Неразова о встрѣчающихся

предметахъ, она сама болтала и хохотала, а когда они вышли за околицу посреди широкаго поля, ограниченнаго вдали сосновымъ боромъ, она вдругъ запѣла: „Не бѣли снѣжки" свѣжимъ груднымъ контральто.

Неразовъ, идя рядомъ съ ней, заглядывалъ ей въ лицо, беззвучно смѣялся, и на глазахъ его показались слезы,— не то отъ мороза, не то отъ восторга. Возможно было и то, и другое, ибо тѣло его было одѣто по-лѣтнему, въ плохое пальто, а душа его способна была приходить отъ всего въ такъ называемый „телячій восторгъ", наполняясь неизъяснимыми фантазіями.

Въ данномъ случаѣ фантазія его разыгралась насчетъ колоніи, будущее которой вдругъ теперь представилось ему въ ослѣпительномъ сіяніи. Когда они пришли на мѣсто, онъ сейчасъ же принялся хвалить выше мѣры все, что тутъ было. Сначала онъ ввелъ барышню въ домъ и съ гордостью показалъ ей комнату, предназначенную для нея. Вѣрочка сдѣлала гримасу: домишко былъ ветхій, потолокъ въ немъ обвисъ, полъ, напротивъ, выпучился, а стѣны повалились въ разныя стороны; но она удержалась отъ критическихъ замѣчаній. Затѣмъ онъ принялся въ умѣренныхъ выраженіяхъ описывать прочіе предметы хутора, какіе были налицо, а также и такіе, которыхъ въ дѣйствительности не было.

Такъ, послѣ осмотра домишка,—этого жалкаго остатка отъ огромныхъ барскихъ построекъ, давнымъ-давно исчезнувшихъ,—онъ повелъ Вѣрочку на дворъ и сталъ объяснять значеніе и будущее каждаго предмета.

— Вотъ здѣсь у насъ службы...—сказалъ онъ, указывая на маленькій сарайчикъ, крытый соломой.—Тутъ у насъ будутъ коровы, лошади, овцы и прочая скотина.

Вѣрочка съ любопытствомъ и наивностью городской жительницы посмотрѣла на „службы" и готова была признать величіе ихъ, но случайно спросила:

— А больше ничего нѣтъ?

Но Неразовъ этимъ замѣчаніемъ не смутился.

— Ну, да, конечно, это пока... А на лѣто мы тутъ построимъ сараи, конюшни, сѣновалы и все прочее.

— А гдѣ же скотъ?—спросила Вѣрочка и заглянула въ

сарайчикъ. Тамъ на соломѣ стоялъ одинъ только шаршавый теленокъ и вяло жевалъ сѣно.

— Пока тутъ только теленокъ одинъ... У насъ есть двѣ хорошія лошади, но у Ефрема, съ которымъ вы ѣхали... а прочимъ всѣмъ мы обзаведемся къ веснѣ...

Неразовъ говорилъ это такимъ убѣжденнымъ тономъ, какъ будто весь этотъ проектированный скотъ былъ уже налицо. Вѣрочка допускала возможность всего этого и уже хотѣла войти въ домъ, такъ какъ, по ея мнѣнію, дальше осматривать было нечего; кругомъ виднѣлся необозримый пустырь, покрытый первымъ снѣгомъ. Но Неразовъ съ возбужденнымъ лицомъ продолжалъ показывать и описывать многія другія вещи.

— Вотъ здѣсь у насъ огородъ,—сказалъ онъ, указывая на пустое мѣсто.

— Гдѣ огородъ?—спросила Вѣрочка съ недоумѣніемъ.

— Да вотъ тутъ—это огородъ. Мы еще не успѣли поставить плетень, но это огородъ, увѣряю васъ!

— Въ немъ какіе овощи ростутъ?

— Еще не было... но будущею весной мы насадимъ здѣсь всего. Я уже выписалъ изъ Москвы и сѣмена.

Вѣрочка должна была сознаться себѣ, что она ничего не понимаетъ въ сельскомъ хозяйствѣ.

Вслѣдъ затѣмъ Неразовъ указалъ на другое пустое мѣсто, гдѣ изъ-подъ земли торчало штукъ пять сухихъ прутьевъ.

— А вотъ здѣсь у насъ садъ,—сказалъ онъ.

— Гдѣ?—воскликнула пораженная Вѣрочка.

— Да вотъ идите сюда... Вотъ видите, это груша. А это „черное дерево"—яблоня. Это хорошовка.

Говоря это, Неразовъ подходилъ къ каждому пруту и объяснялъ его значеніе.

— Конечно, это только начало. Съ весны мы выпишемъ двѣ сотни трехлѣтокъ и посадимъ.

Вѣрочка начала улыбаться, но, ничего не понимая въ сельскомъ хозяйствѣ, она допускала существованіе сада безъ деревьевъ.

Но, наконецъ, Неразовъ осрамился. Когда они возвращались назадъ въ домъ, то недалеко отъ входа въ дверь онъ вдругъ остановился и, показывая на длинный, тонкій колъ,

что онъ вдругъ, посреди горячаго спора съ сыномъ, закричалъ съ негодованіемъ:

— Вонъ, мерзавецъ!

Закричавъ это, Неразовъ топнулъ ногой и съ страшнымъ гнѣвомъ посмотрѣлъ на висѣвшее въ углу свое пальто.

Вѣрочка, находившаяся въ сосѣдней комнатѣ, съ испугомъ поднялась на своей постели и прерывающимся голосомъ окрикнула:

— Неразовъ, это вы?

— Я...

— Кого это вы гоните?

Неразовъ смѣшался.

— Такъ... это я вслухъ читаю одно мѣсто, — пролепеталъ онъ.

Романъ его исчезъ, и онъ, сконфуженный, поторопился лечь на свою жесткую соломенную постель; лицо его приняло вдругъ жалкое выраженіе, съ какимъ онъ и заснулъ.

Это, впрочемъ, не помѣшало ему въ слѣдующіе дни мечтать въ томъ же родѣ и варьировать разными эпизодами свою любовь къ Вѣрочкѣ. Такія мечты никому не вредили, потому что даже и здѣсь онъ былъ совершенно безкорыстенъ. Раньше онъ пробовалъ нѣсколько разъ жениться, но всѣ женщины, къ которымъ онъ обращался, относились къ этому такъ же шутя, какъ и ко всему, что онъ говорилъ или дѣлалъ. Одна, самая кроткая дѣвушка, въ которую онъ влюбился, просто сказала ему:

— Не болтайте, Неразовъ, вздора!

Другая, послѣ того, какъ онъ сдѣлалъ ей нѣсколько намековъ на свое чувство, засмѣялась, бросила ему въ лицо огрызкомъ конфекты и замѣтила:

— Какой вы, однако, оселъ, Неразовъ!

Третья же, на которую онъ просто молился, представляя ее себѣ всегда въ видѣ ангела, при первыхъ его словахъ „объясненія", вдругъ озлилась, какъ вѣдьма, и закричала ему со злобой:

— Убирайтесь вы къ чорту съ своими глупостями!

Послѣ такихъ краткихъ романовъ онъ самъ сталъ смотрѣть несерьезно на свои слова о женитьбѣ и самъ первый же надъ ними подсмѣивался, но когда оставался одинъ-на-одинъ съ собой и съ своими мыслями, то сильно увлекался

разными романтическими приключеніями и придумывалъ ихъ на каждый день по нѣсколько штукъ. Съ утра, напримѣръ, онъ представлялъ себя женатымъ на бабѣ Марьѣ, приносившей ему иногда парное молоко, а къ вечеру онъ былъ уже влюбленъ въ сосѣднюю помѣщицу, проѣхавшую мимо его хутора въ этотъ день.

Только Вѣрочка надолго воспламенила его сердце. На слѣдующій день они отправились въ деревню: Вѣрочка—къ Кугинымъ, Неразовъ—къ Грубову. Вѣрочка сначала сама хотѣла зайти къ Грубову, чтобы поближе познакомиться съ нимъ, но внезапно перемѣнила свое намѣреніе. Неразовъ упрашивалъ ее зайти, но она съ непонятнымъ упрямствомъ и на-отрѣзъ отказалась. „Да почему? Почему вы не хотите зайти?"—допрашивалъ Неразовъ. Но она промолчала и направилась къ дому Алексѣя Семеныча.

Неразовъ пошелъ одинъ, и ему отчего-то грустно стало. Впрочемъ, едва онъ вошелъ во флигель Грубова, какъ развеселился и принялся въ восторженныхъ выраженіяхъ описывать Вѣрочку. Грубовъ молчалъ, только вяло спросилъ, какъ они устроились на хуторѣ.

— Устроились мы тамъ чудесно! Вѣришь-ли, даже эта самая гнусная развалина, домъ-то нашъ, какъ будто сдѣлался красивѣе съ ея появленія, ей-Богу! Какая она красавица, ты замѣтилъ?

— Кто красавица: развалина или барышня?—спросилъ Грубовъ.

— Это цинично, Митя!... А какъ она поетъ... слушай и умирай—больше ничего!—воскликнулъ Неразовъ.

Затѣмъ онъ въ пламенныхъ выраженіяхъ сталъ описывать другія качества барышни—веселый характеръ, бѣсовскую остроту, ея звонкій хохотъ, начитанность. Грубовъ молчалъ.

Такъ продолжалось нѣсколько дней. Неразовъ, забѣгая къ пріятелю, восторженно говорилъ о своей сожительницѣ, каждый разъ находя въ ней новыя чудеса. Грубовъ все молчалъ. Только однажды онъ задалъ нѣсколько вопросовъ, повидимому, совсѣмъ не относящихся къ Вѣрочкѣ Зиновьевой.

— Послушай, Василій... Кто у васъ ставитъ утромъ самоваръ?—спросилъ Грубовъ, неожиданно прервавъ пламенное описаніе Неразовымъ пѣнія Вѣрочки.

— Я. А что?—отвѣчалъ Неразовъ, очень удивленный.

— И вечеромъ ты?

— Да всегда.

Грубовъ съ минуту помолчалъ, но вслѣдъ затѣмъ опять спросилъ:

— А кто топитъ печки?

— Я,—отвѣчалъ Неразовъ.

— А полъ мететъ?

— Я.

— И обѣдъ варишь ты?

— Да кому же больше? Вѣдь мы и живемъ-то здѣсь, чтобы дѣлать все собственными руками.

Грубовъ что-то неопредѣленно пробурчалъ на это.

— Да ты къ чему это спрашиваешь?—вскричалъ Неразовъ съ недоумѣніемъ.

— Да такъ, просто интересно, какъ ты поживаешь... Ну, а что знаменитый теленокъ? Живъ, по крайней мѣрѣ?

— Живъ.

— Ты его кормишь?

— Я.

— И за водой ты ходишь?

— Да, а то кто же? Я теперь выучился съ коромысломъ ходить, такъ что приходится только два раза въ день носить воду.

— Желалъ бы я посмотрѣть тебя съ коромысломъ!—засмѣялся Грубовъ и пересталъ разспрашивать.

Неразовъ также тотчасъ забылъ объ этомъ разговорѣ. Теперь онъ всякій день находился въ состояніи кипѣнія: во-первыхъ, онъ былъ безъ ума отъ всего, что говорила и дѣлала Вѣрочка; во-вторыхъ, долженъ былъ безпрерывно хлопотать по хозяйству, топить печи, ставить самовары, слѣдить за чистотой посуды и всего дома. Всѣми силами онъ старался услужить Вѣрочкѣ и постоянно мучился вопросомъ, не забылъ-ли онъ чего сдѣлать? Нѣсколько разъ на дню онъ спрашивалъ ее, нравится-ли ей жизнь на хуторѣ?

Ей нравилось. Она со страхомъ ѣхала сюда, хотя и легкомысленно старалась не думать обо всѣхъ трудностяхъ новой жизни; и вдругъ оказалось, что ничего таинственнаго и страшнаго здѣсь нѣтъ. Напротивъ, все просто и знакомо. Въ особенности люди; такихъ товарищей у нея сотни были. Съ Кугинымъ и Неразовымъ черезъ недѣлю она уже была

запросто, называла ихъ уменьшительными именами и чувствовала себя съ ними, какъ съ старыми друзьями. Только Грубовъ былъ для нея загадкой. Они встрѣчались у Кугиныхъ, куда Грубовъ приходилъ ежедневно на урокъ съ Натальей. Вѣрочка попробовала и съ нимъ смѣяться, болтать, но это какъ-то не выходило. Потомъ она пробовала не обращать на него вниманія—и это не вышло. Наконецъ, она попробовала сказать ему нѣсколько колкостей, выразила на своемъ лицѣ пренебреженіе, но это кончилось еще хуже; два-три, повидимому, пустыхъ слова, брошенныхъ имъ въ отвѣтъ на ея колкости, такъ ее смутили, что она покраснѣла, замолчала и надулась. Послѣ того она уже никакъ не могла уравновѣсить отношенія съ нимъ,—она, въ одно и то же время, и боялась его, и заискивала передъ нимъ. Но то и другое ей было непріятно, и потому она стала питать къ нему скрытую ненависть.

V.

Знакомая жизнь.

Вѣрочка вставала рано утромъ—и отъ холода, который за ночь становился нестерпимымъ, и отъ того, что набитый соломой мѣшокъ, служившій ей постелью, къ утру производилъ боль во всемъ ея тѣлѣ. Затѣмъ порядочное время она употребляла на одѣванье, очень тщательно умывалась и выходила къ Неразову. Неразовъ къ этому времени уже успѣвалъ приготовить самоваръ, затопить печи, принести воды. Тогда они садились за чай и сидѣли за нимъ до тѣхъ поръ, пока не простывала вода.

Но что дѣлать дальше? Безъ дѣла походивъ по комнатѣ нѣкоторое время, Вѣрочка начинала скучать. Отъ скуки лицо ея принимало угрюмое выраженіе; прекрасные глаза ея тускнѣли, хорошенькій ротъ дѣлался такимъ, какимъ онъ бываетъ только у человѣка, которому хочется ѣсть; все лицо ея вдругъ старѣло и желтѣло. Она напѣвала разные мотивы, перекидывалась бѣглыми замѣчаніями съ Неразовымъ, но мотивы скоро обрывались, а разговоры съ Нера-

зовымъ истощались. О „дѣлѣ“ все уже было переговорено, умные же разговоры не всегда подходили къ желанію.

Единственный предметъ, заключавшій въ себѣ неисчерпаемый запасъ всякаго рода разговоровъ, это—разбирать другъ друга; на этотъ предметъ они обратили вниманіе, посвящая ему большую половину дня. Начинала, впрочемъ, всегда Вѣрочка.

— Какъ вамъ нравится Грубовъ?—спрашивала, напримѣръ, Вѣрочка.

— Я его очень люблю,—отвѣчалъ Неразовъ.

— Грубова? Вотъ ужъ не ожидала, что такого человѣка можно любить!

— Почему?—смущенно спрашивалъ Неразовъ.

— Не могу вамъ сказать—почему, но онъ мнѣ кажется такимъ надутымъ.

— Грубовъ надутъ? Богъ съ вами!

Неразова задѣвалъ за живое этотъ отзывъ о другѣ, къ которому онъ былъ привязанъ всѣми силами души; онъ начиналъ горячиться; поднимался жаркій споръ.

— Вы его не знаете!... Что онъ молчитъ? Но онъ молчитъ отъ того, что каждое слово его вымучено. Что онъ всегда улыбается? Но не дай Богъ такъ улыбаться!... Я знаю, вамъ не нравится, что онъ всегда какъ будто съ насмѣшкой говоритъ, съ юморомъ относится ко всему, но этотъ юморъ у него происходитъ не отъ того, что онъ хочетъ на чужой счетъ позабавиться, а отъ того, что въ душѣ у него слишкомъ тяжело, чтобы и говорить еще съ тяжелою серьезностью... Улыбка его—это судорога; его насмѣшка—это сплошная боль. Отчего онъ страдаетъ, я, конечно, не знаю, но чувствую, что въ душѣ у него адъ кромѣшный... Но замѣтьте, онъ никогда не жалуется, никогда не говоритъ про себя и про свою боль. Другіе рисуются, кокетничаютъ своими мрачными мыслями, а онъ молчитъ... Я его часто застаю въ такой позѣ: сидитъ со стиснутыми зубами. А заговори съ нимъ—смѣется!...

Вѣрочка возражала на это, Неразовъ защищался, оба приходили въ азартъ и переставали слушать другъ друга. Этимъ кончался Грубовъ и начинался черезъ нѣкоторое время другой, напримѣръ, Кугинъ.

— А Кугинъ вамъ нравится?—спрашивала Вѣрочка.

— Кугинъ?... Кугинъ ничего, хорошій малый, — возражалъ Неразовъ нехотя.

— А мнѣ онъ нравится больше вашего Грубова!

— Кугинъ? Онъ ничего...

— То-есть какъ это ничего? Онъ—энергичный человѣкъ, а это вовсе не ничего.

— Ну, кто его знаетъ! Насчетъ энергіи—это еще вопросъ... Но въ немъ есть одна черта... какое-то злое, узкое самолюбіе. Знаете, почему онъ не любитъ Грубова?

— Развѣ онъ его не любитъ?—спросила съ внезапнымъ любопытствомъ Вѣрочка.

— Онъ-то? Терпѣть не можетъ!... А все потому, что на Грубова смотрятъ какъ на представителя колоніи, а это Кугина злитъ. Ему хочется самому быть первымъ. Это свинство!

— Почему же свинство?—возразила Вѣрочка горячо.

— Да потому, что здѣсь даже смѣшно говорить о самолюбіи!—закричалъ Неразовъ.

— Нисколько. А, можетъ, Кугинъ сознаетъ въ себѣ силу?... Да я и сама думаю, что если кто будетъ полезенъ колоніи, то именно онъ.

— Кугинъ?... Пока только онъ выучился подпоясывать рубаху ниже живота да говорить „ничаво"!

— Ну, ужь, это вы отъ злости сплетничаете, Неразовъ!

Неразовъ при этомъ обвиненіи вдругъ съежился и замолчалъ, уже раскаиваясь въ своихъ запальчивыхъ словахъ относительно товарища. Мягкой натурѣ его противна была злоба и мстительность, и хотя Кугинъ часто обижалъ его своимъ пренебрежительнымъ тономъ, но за это онъ не могъ долго сердиться на него.

Разговоръ переходилъ и на Наталью. Но тутъ былъ уже широкій просторъ для всякихъ предположеній.

Вѣрочкѣ она не нравилась. Неразовъ обижался на это.

— Она какая-то скрытная... и, кажется, хитрая,—говорила Вѣрочка.

— Кто? Наталья-то?

— Хитрая, какъ хитрыя бываютъ бабы.

— Да Богъ съ вами! Что же это вы говорите?... Наталья хитрая!... Да она такая нѣжная, умная!... А если она неразговорчива, то это отъ застѣнчивости. Она всѣхъ насъ,

не исключая и мужа, такъ боится, что у ней языкъ не поворачивается... Ужасно стѣсняется.

— Застѣнчивость—обратная сторона гордости,—замѣтила Вѣрочка.

— Ну, такъ что же?... И вѣрно! Но вѣдь это особая гордость, происходящая отъ благородства... Да нѣтъ! вы просто сами не вѣрите въ то, что говорите. Когда мы съ Грубовымъ увидали ее, то положительно были растроганы... Она такая деликатная, что трудно даже и представить, какъ такая нѣжная натура могла появиться въ крестьянской избѣ. Она похожа на лѣсной цвѣтокъ, на ландышъ посреди темнаго лѣса. Впрочемъ, семья Алексѣя Семеныча вся хорошая... Но Наташа—это благородство! Даже удивительно, какъ могло выработаться въ этой все-таки грубой средѣ такое существо, тонкое...

— Она влюблена въ Кугина?—спросила Вѣрочка.

— По уши.

— А онъ?

— Онъ? Онъ тоже, вѣроятно. Впрочемъ, Кугинъ сильно можетъ любить только свою особу.

— Вы опять сплетничаете?—со смѣхомъ замѣтила Вѣрочка.

— Совсѣмъ нѣтъ. Я только думаю, что было бы лучше, если бы въ ту пору Грубовъ на ней женился.

— Какъ! Развѣ и Грубовъ, какъ всѣ вы, пораженъ былъ ландышемъ?—воскликнула Вѣрочка съ живѣйшимъ любопытствомъ.

— Онъ очень любилъ ее, послѣ первой же встрѣчи.

— А она?

— Она?... Вотъ тутъ и разбери женское сердце! Она, повидимому, и не замѣчала этого... Но лишь только пріѣхалъ этотъ красавецъ Кугинъ—и конецъ! Не успѣли мы оглянуться, какъ уже они женились.

— Ну, а Грубовъ?

— Да что же Грубовъ? Вѣроятно, лишній разъ стиснулъ зубы, больше ничего. Грубовъ ей теперь даетъ уроки и, надо сказать, только его одного она и не боится, и не стѣсняется

— А развѣ мужа боится?

— Какъ огня. Да и всѣхъ насъ... и меня, и васъ, вѣроятно. Только передъ Грубовымъ она не стѣсняется. А онъ,—это, между прочимъ, также характеризуетъ его,—ни

однимъ намекомъ не далъ никому замѣтить, какъ онъ относился къ ней .. Только, ради Бога, никому этого не говорите. Это тайна Грубова, глубоко схороненная имъ, и никто не долженъ знать ее.

— Да вотъ мы уже, увы, знаемъ ее!—сказала Вѣрочка и захохотала.

Неразовъ вдругъ жалко съежился.

Таковы разговоры, занимавшіе по цѣлымъ часамъ двухъ обитателей колоніи. Когда этотъ матеріалъ на время выходилъ, оба отправлялись въ деревню: Вѣрочка—къ Кугинымъ, Неразовъ—къ Грубову.

Но и тамъ занятія собственно не было.

Кугинъ днемъ понемногу копался во дворѣ, по хозяйству, но не очень ретиво; онъ зналъ, что если чего онъ не сдѣлаетъ, вреда никому не будетъ,—сдѣлаетъ самъ Алексѣй Семенычъ или кто-нибудь изъ домашнихъ. Поэтому, когда приходила Вѣрочка, онъ бросалъ работу, провожалъ ее въ горенку, и тамъ они просиживали до поздняго вечера за различными разговорами. Разговоры часто велись при молчаливомъ присутствіи Натальи, но иногда и вдвоемъ. Главная тема ихъ состояла, конечно, въ предположеніяхъ и планахъ будущаго колоніи; очень часто велись общіе разговоры, но все-таки самый обильный матеріалъ добывался отъ разбора другъ друга.

Больше всѣхъ разбирался Грубовъ.

Въ первое время на вопросы Вѣрочки Кугинъ игралъ въ политику, сохраняя непроницаемое безпристрастіе ко всѣмъ, но потомъ не выдержалъ. И тогда Грубовъ его устами расписанъ былъ яркими красками, а Вѣрочка отъ себя подливала масла въ огонь, похваливая Грубова. Кугинъ окончательно бросалъ политику.

— Вы говорите, онъ—человѣкъ крупный?—спросилъ однажды Кугинъ неспокойнымъ тономъ.

— Мнѣ кажется,—отвѣтила Вѣрочка.

— Это, конечно, ваше дѣло. Я только не знаю, какимъ аршиномъ вы его смѣряли, что онъ сталъ такимъ крупнымъ. Я также его мѣрялъ, но, вѣроятно, наши аршины разные... Послѣ моего измѣренія онъ оказался не очень большимъ. А для нашего настоящаго дѣла онъ, по-моему, не годится...

ше восклицаніями и размахиваніями рукъ. Вѣрочка внимательно наблюдала. Трибуну, такимъ образомъ, занималъ одинъ Кугинъ.

— Господа,—говорилъ онъ,—теперь намъ слѣдуетъ рѣшить вопросъ о сѣменахъ на будущую весну.

И затѣмъ подробно излагалъ свой взглядъ на вопросъ. Съ нимъ по большей части соглашались, предоставляя ему одному удовольствіе ставить, обсуждать и рѣшать вопросъ. Русскій человѣкъ, какъ извѣстно, насквозь прошпигованъ „вопросами" и по каждому изъ нихъ можетъ безконечно долго говорить, тѣмъ болѣе, что „надъ нами не каплетъ". Не встрѣчая ни съ какой стороны оппозиціи, Кугинъ съ пріятнымъ удивленіемъ чувствовалъ свое превосходство надъ этимъ собраніемъ, а удовлетворенное самолюбіе дѣлало его еще болѣе краснорѣчивымъ и горячимъ.

Такъ было и на одномъ изъ собраній. Всѣ пришли на хуторъ, по обыкновенію, поздно вечеромъ. Въ полѣ гудѣла снѣжная вьюга, отъ которой дрожали стѣны ветхаго домика. Въ комнатѣ Неразова, гдѣ всѣ сидѣли, по ногамъ ходилъ холодъ, заморозившій весь энтузіазмъ собравшихся. Вѣрочка, облокотившись на столъ, куталась въ теплую шаль и подобрала ноги на кровать Неразова; самъ Неразовъ, одѣтый въ пальтишко, стучалъ зубами все время, пока не догадался снова затопить печь; Грубовъ воспользовался этимъ, повернулся лицомъ къ огню и подставлялъ къ печкѣ попеременно руки и ноги. Одинъ Кугинъ, казалось, не слышалъ бури, бушевавшей на дворѣ, и не чувствовалъ мороза, гулявшаго по комнатѣ. Съ возбужденнымъ лицомъ, потерявшимъ обычную надменность, онъ ходилъ по комнатѣ въ одной кумачной блузѣ и говорилъ. Говорилъ онъ объ идеалѣ колоніи, о теоріи земледѣлія, о задачахъ интеллигенціи, о народѣ и обо всемъ, что всегда и вездѣ говорится. Наконецъ, не встрѣчая возраженій, онъ перешелъ къ хозяйству и сталъ предлагать для рѣшенія разные вопросы.

— Теперь, господа, намъ слѣдуетъ рѣшить вопросъ о теленкѣ,—сказалъ онъ, между прочимъ.

— Развѣ и такой вопросъ есть?—замѣтилъ Грубовъ, держа одну ногу передъ печкой.

— Неразовъ жалуется, что ему больше не подъ силу хо-

дить за теленкомъ,—продолжалъ Кугинъ, не разслыхавъ замѣчанія Грубова.

— Да, братцы, надо куда-нибудь убрать его, а то, ей-Богу, онъ замерзнетъ!... Сарай плохо покрытъ, и въ одно прекрасное, но морозное утро я приду къ нему и не застану его въ живыхъ!—отвѣтилъ Неразовъ со смѣхомъ.

— Я предлагаю, господа, привести воза два соломы и общими силами поправить сарай,—продолжалъ Кугинъ.

— А не лучше-ли отдать его на прокормъ Ефрему?—спросилъ Неразовъ несмѣло.

— Почему же лучше?

— Да стоитъ-ли дѣлать сарай среди зимы?

— Можетъ быть, лучше съѣсть его? — замѣтилъ Грубовъ какъ бы про себя.

— То-есть какъ это съѣсть? — съ недоумѣніемъ спросилъ Неразовъ..

— Очень просто, Вася! Не дожидаясь, пока онъ умретъ, заколоть его и съѣсть. Тогда, по крайней мѣрѣ, мы освободимся отъ одного изъ вопросовъ.

— Слѣдовательно, вопросъ сводится къ телятинѣ?

— Ты, Вася, очень догадливый человѣкъ!

— Еще бы! Мяса у насъ давно уже не было, и я очень хорошо догадался, къ чему ты ведешь рѣчь!—шумно закричалъ Неразовъ.

Въ этомъ шутливомъ тонѣ Грубовъ и Неразовъ еще нѣкоторое время говорили. Къ нимъ присоединилась Вѣрочка. Но Кугинъ нахмурился. Остановившись по серединѣ комнаты, онъ ждалъ, пока глупыя шутки кончатся, и опять заговорилъ:

— Такъ нельзя, господа!... Я не вижу тутъ ни малѣйшаго предлога для шутокъ. Если же предложеніе—заколоть—сказано было серьезно, то я удивляюсь легкомыслію, съ какимъ было это сказано!...—Кугинъ при этомъ бросилъ насмѣшливый взглядъ въ ту сторону, гдѣ сидѣлъ Грубовъ.— Вѣдь, дѣло не въ томъ, какъ отдѣлаться отъ теленка, а въ томъ, какъ его выростить. Теленокъ—часть нашего хозяйства, съ этой точки зрѣнія мы и должны разсматривать его.

— Не понимаю, какъ можно теленка разсматривать съ

какой бы то ни было точки зрѣнія, — съ улыбкой замѣтилъ Грубовъ.

— Не понимаешь? Я объясню. Когда мы заводили колонію, какую цѣль, главнымъ образомъ, мы преслѣдовали? Дѣлать все своими руками и тѣмъ жить. Для этого мы рѣшили обзавестись всѣмъ необходимымъ хозяйствомъ и вести его собственными руками. Между тѣмъ, на первыхъ же порахъ мы измѣнили себѣ, нарушили нашу цѣль. Лошадей на зиму спровадали къ Ефрему, все остальное у Алексѣя Семеныча... а теперь туда же хотятъ спровадить и теленка. Это значитъ, что съ самаго же начала мы обнаружили свою несостоятельность и неумѣлость въ дѣлѣ, которое создали. Слѣдовательно, здѣсь возникаетъ чисто-принципіальный вопросъ.

— О теленкѣ?—спросилъ Грубовъ.

— Да, именно о теленкѣ, — упрямо подтвердилъ Кугинъ.

— И его надо рѣшить?

— Я думаю.

— Ну, что-жь? Давайте рѣшать. Признаюсь, я до сихъ поръ смотрѣлъ на нашего теленка, какъ на обыкновеннаго теленка, но разъ это теленокъ — принципіальный, тогда къ нему нужно отнестись съ полнымъ вниманіемъ.

Вѣрочка прыснула изъ-подъ шали, Неразовъ захохоталъ, самъ Грубовъ добродушно засмѣялся. Но что сдѣлалось съ Кугинымъ — въ первое мгновеніе никто не замѣтилъ. Сначала онъ и самъ не достаточно понялъ смыслъ раздавшагося вокругъ него взрыва смѣха, но вслѣдъ затѣмъ краска разлилась по всему его лицу, въ глазахъ его вспыхнула жгучая злоба.

— Вы, Грубовъ, слишкомъ злоупотребляете своимъ шутовствомъ!... Быть можетъ, это удобно въ этой идіотской компаніи, которая окружаетъ насъ въ Бору, но едва-ли умѣстно здѣсь!—сказалъ Кугинъ внѣ себя отъ бѣшенства.

Напрасно спохватившійся Грубовъ, замѣтивъ дѣйствіе своей шутки, старался увѣрить, что съ его стороны не было намѣренія оскорбить; напрасно онъ доказывалъ нелѣпость ссориться изъ-за какого-то теленка, — всѣ его слова только подливали масла въ огонь. Кугинъ никому не прощалъ насмѣшки надъ собой. Не говоря болѣе ни слова, онъ быстро одѣлся и молча ушелъ съ хутора.

Грубовъ положительно опечалился этимъ происшествіемъ.

— Проклятый этотъ теленокъ!... Когда еще мы покупали его, всѣ перессорились, теперь также!... Неразовъ, привяжи завтра его на веревку и отведи къ Ефрему! — сказалъ Грубовъ печально.

— Что же, это можно... Только Кугинъ вѣдь еще пуще разозлится. Скажетъ, что вопросъ о веревкѣ надо еще рѣшить съ теоретической точки зрѣнія,—возразилъ Неразовъ и захохоталъ до слезъ.

Съ этого дня теленокъ сдѣлался элементомъ раздора и ненависти въ колоніи; собственно говоря, даже и не теленокъ,— настоящаго, реальнаго теленка Неразовъ дѣйствительно привязалъ на веревочку и отвелъ къ Ефрему,—вражда пошла изъ-за слова „принципіальный теленокъ". Сначала этимъ прозвищемъ Вѣрочка стала называть всякаго, кто начиналъ говорить красно. Но затѣмъ прозвище почему-то чаще всего стало примѣняться къ Неразову.

— Послушайте, принципіальный теленокъ... принесите мнѣ воды,—говорила, напримѣръ, Вѣрочка.

Неразовъ сначала обижался на такую профанацію его имени, но скоро привыкъ и безропотно сталъ носить на себѣ обидную кличку.

Между тѣмъ, Кугинъ въ тайнѣ увѣренъ былъ, что кличку за глаза примѣняютъ именно къ нему, Кугину, и бѣсился. Одна мысль, что его называютъ „принципіальнымъ теленкомъ", приводила его въ содроганіе. Онъ ненавидѣлъ за это Грубова и при всякомъ удобномъ случаѣ старался уязвить его. Сходки на хуторѣ еще нѣкоторое время продолжались, но уже не затѣмъ, чтобы рѣшать вопросы, а съ цѣлью наступить на чужое самолюбіе. Самолюбіе у каждаго раздулось до такихъ размѣровъ, что поглотило въ себя все—взаимное уваженіе, справедливость, вопросы, дѣла.

Первый опамятовался Грубовъ; ему опомниться было тѣмъ легче, что игра самолюбій производила на него страшное дѣйствіе; на другой день послѣ каждаго столкновенія на сходкахъ онъ дѣлался больнымъ.

Тогда онъ бросилъ ходить на хуторъ. Остальные послѣдовали его примѣру. „Вопросы" прекратились. Но вмѣстѣ съ ними брошены были на произволъ судьбы и настоящія дѣла.

VI.

Скука.

Прошло уже много времени со дня пріѣзда Вѣрочки въ колонію, а она все еще не могла придумать для себя дѣла и не знала, какія собственно лежатъ на ней обязанности, исполненію которыхъ она могла бы предаться всею душой. Первые мѣсяцы жизни на хуторѣ были для нея все-таки любопытны; она никогда зимой не жила въ деревнѣ и теперь такая жизнь все же была для нея новостью. Но когда обстановка пригладѣлась, люди были узнаны со всѣхъ сторонъ, а жизнь пошла изо дня въ день, какъ машина, Вѣрочка стала раздражаться. Вставая утромъ съ постели, она мысленно тотчасъ же спрашивала себя съ ужасомъ, какъ она проведетъ наступающій день?—и не знала какъ; и тотчасъ же на нее нападала злая скука.

Именно злая. Скуку люди выносятъ двояко: одни терпѣливо, другіе съ яростью. Первые, лишь только она приступитъ, тотчасъ придумываютъ, чего бы поѣсть, и придумаютъ, а поѣвши, немедленно ложатся спать, и спятъ долго, съ носовою музыкой, всласть. Другіе, напротивъ, при первомъ ея приступѣ, приходятъ въ ярость, лишаются аппетита и сна и становятся невыносимыми, причиняя много вреда окружающимъ ближнымъ.

Бѣдняга Неразовъ просто не понималъ, отчего его сожительница съ нѣкотораго времени совершенно перемѣнилась; отчего лицо ея теперь всегда было некрасиво, губы надуты, брови нахмурены, глаза смотрятъ недобро. Первымъ его предположеніемъ было то, что она на него сердится, но за что—онъ не зналъ. Кажется, онъ изъ всѣхъ силъ старался услужить ей—топилъ печки, носилъ воду, подавалъ умываться, мелъ полъ, варилъ обѣдъ, ради котораго палилъ рѣдкіе свои волосы или обливался супомъ, ставилъ самоваръ, причемъ для ускоренія кипѣнія снималъ съ ноги сапогъ и дѣйствовалъ его голенищемъ, какъ мѣхомъ. Чего же больше? Правда, не всѣ его старанія приводили къ тѣмъ цѣлямъ, къ которымъ онъ стремился; обѣдъ его часто годил-

ся только для собаки, въ натопленныя комнаты онъ напускалъ угару, послѣ его подметанія въ воздухѣ носились столбы пыли. Но все же онъ старался.

Вѣрочка, однако, по цѣлымъ днямъ ходила мрачная, не разговаривала, не пѣла. Но вотъ однажды на нее напало вдохновеніе, она вспомнила, что пріѣхала сюда работать всякую работу, и рѣшила взяться за домашнее хозяйство. Однажды утромъ она торжественно объявила Неразову, что съ этого дня начнетъ заниматься хозяйствомъ. Неразовъ пришелъ въ восторгъ.

Вѣрочка нарядилась въ особую юбку и блузу, голову кокетливо повязала платкомъ, надѣла чистый передникъ и принялась работать. Сначала она убрала комнаты, вычистила каждую вещь и потомъ объявила Неразову, что сейчасъ будетъ готовить обѣдъ.

— Идите, Неразовъ, несите воды!—приказала она.

Неразовъ побѣжалъ за водой.

— Вынесите помои, пожалуйста! — говорила она вслѣдъ затѣмъ.

Неразовъ выносилъ.

— Теперь тащите дровъ и будемъ топить!—говорила она дальше.

Неразовъ исполнялъ съ величайшею готовностью всѣ ея приказанія. А она своими чистыми маленькими ручками приготовляла супъ, нарѣзала правильными прямоугольниками овощи, выбирали жилки изъ мяса и проч. Потомъ опять приказывала:

— Неразовъ, закройте вьюшки въ печкѣ!

Неразовъ полѣзъ за трубу, выпачкался сажей и закрылъ.

— Знаете что, вы мойте мочалкой посуду, а я буду перетирать ее,—предложила она.

— Отлично!—согласился Неразовъ и принялся самоотверженно бултыхаться въ помояхъ. Онъ мылъ, а Вѣрочка вытирала.

Въ этомъ родѣ была вся ея работа.

— Хорошій обѣдъ?—спрашивала она, когда въ этотъ день они сидѣли за столомъ.

— Прелесть!—искренно изумлялся Неразовъ.

На другой день Вѣрочка также принялась хозяйничать.

— Неразовъ, идите за дровами... затопите печь!...

Неразовъ тащилъ дровъ, затоплялъ печь, натаскалъ воды, вынесъ разъ десять помои, мылъ посуду, притиралъ полъ, и все это добросовѣстно и съ жаромъ, въ полной увѣренности, что онъ „помогаетъ" Вѣрочкѣ.

Такъ продолжалось съ недѣлю. Вѣрочка „работала", а Неразовъ „помогалъ". Ему только казалось страннымъ, отчего онъ въ эту недѣлю такъ усталъ. На этотъ счетъ онъ справился у Вѣрочки.

— Вы устаете сильно?—разъ спросилъ онъ.

— Нисколько!—возразила она весело.

— Удивительно!

— Что же тутъ удивительнаго? Развѣ вы устаете?

— Усталъ... И самъ не знаю отчего,—сказалъ онъ конфузливо.

Вѣрочка подняла его на смѣхъ; насмѣялась надъ его худосочною фигурой и надъ его неловкостью. Неразовъ еще болѣе смутился и искренно изумлялся своему слабосилію.

Въ слѣдующіе дни онъ уже съ тоской ожидалъ работы Вѣрочки. Не одинъ разъ онъ освѣдомлялся у ней насчетъ порядка завтрашняго дня.

— Вы и завтра будете работать?—спрашивалъ онъ несмѣло.

— Буду,—отвѣчала Вѣрочка.

Неразовъ тоскливо вздыхалъ. Какъ человѣкъ мягкій, онъ стыдился сказать Вѣрочкѣ, что отъ ея работы у него болитъ спина, и что ему очень непріятно быть осломъ... Жизнь настоящаго осла не потому тяжела, что онъ таскаетъ тяжелыя ноши, а потому, что таскаетъ ихъ по принужденію, не тогда, когда хочетъ, и не такъ, какъ самъ думаетъ. Неразовъ до этого времени все дѣлалъ самъ и не уставалъ, а когда принялась хозяйничать Вѣрочка и заставила его быть у себя на побѣгушкахъ, онъ страшно утомлялся.

Но, къ счастію его, Вѣрочкѣ скоро эта игрушка надоѣла. Ей опротивѣли эти грязныя кухонныя дѣла и она всѣ ихъ бросила. Развѣ она за тѣмъ ѣхала въ колонію, чтобы мыть горшки, чистить кортофель, приготовлять для Неразова обѣдъ? Всѣ эти пошлыя дѣла можетъ выполнить любая баба,—неужели для этого она ѣхала сюда? Она пріѣхала работать, а не за тѣмъ, чтобы заниматься пошлыми мелочами.

Вѣрочка инстинктивно дѣлила людей на два вида; одни занимаются пошлыми мелочами, другіе—подвигами. И также инстинктивно она причислила себя ко вторымъ. Она была увѣрена, что жизненныя мелочи совсѣмъ не относятся къ ней; для мелочей всегда найдутся мелкіе люди. Она же должна заниматься чѣмъ-то другимъ, крупнымъ, шумнымъ и веселымъ. Обѣдъ сдѣлаетъ баба, платье сошьетъ портниха и прочее, она же будетъ дѣлать въ жизни нѣчто другое, важное, огромное. Мелочи отнимаютъ время и опошляютъ; ей же надо жить. Другіе, мелкіе люди пусть проводятъ жизнь въ обыденныхъ глупостяхъ, а она должна жить. Если бы она погрузилась въ домашніе пустяки, то когда же жить?

Къ сожалѣнію, *жить* ей до сихъ поръ не удавалось. Она даже до сихъ поръ не могла опредѣлить, что значитъ жить.

Года два тому назадъ она была увѣрена, что ея назначеніе—сцена. И она готовилась быть оперною пѣвицей и вѣрила въ необыкновенный свой успѣхъ. Сидя въ театрѣ и слушая рукоплесканія, она думала: „Вотъ такъ и мнѣ будутъ скоро хлопать!“ И она вѣрила въ свои побѣды надъ толпой, въ которой вотъ теперь она затерялась въ качествѣ обыкновенной ничтожности, но которая завтра будетъ ее носить на рукахъ. Съ этими предчувствіями она поступила въ консерваторію. Но когда она здѣсь пробыла уже съ полгода, одинъ изъ ея учителей сказалъ ей:

— Зачѣмъ вы поступили къ намъ?

— Какъ зачѣмъ? Я готовлюсь на сцену,—отвѣтила она.

— На сцену?... Но ваши голосовыя средства достаточны только для домашняго употребленія. Не совѣтую. А, впрочемъ, какъ хотите.

Послѣ такой неудачи она долго скучала и бѣсилась. Но спустя немного времени на нее снизошло новое вдохновеніе, и она всецѣло отдалась ему. Она начала писать романъ въ пяти частяхъ. Очень скоро она овладѣла литературными пріемами и въ два мѣсяца кончила, сама удивляясь, какое это, въ сущности, пустое дѣло. Надо только знать, гдѣ пустить въ ходъ психическій анализъ, гдѣ описаніе природы, гдѣ изображеніе быта. И то, и другое, и третье ей вполнѣ удалось. Такъ, напримѣръ, она очень тонко подмѣтила и развила соотношеніе между приподнятымъ острымъ носомъ и несчастливостью въ жизни. Изъ описаній природы ей въ

особенности удалось изображеніе облаковъ, которыя она сравнивала со стадомъ коровъ, стоящихъ въ разныхъ позахъ на водопоѣ... А конецъ вышелъ у нея очень эффектенъ: героя, учителя музыки, она съ наслажденіемъ повѣсила на одномъ изъ гвоздей театральной вѣшалки, а героиню убила экстазомъ въ моментъ исполненія тою аріи изъ *Гугенотовъ*. Но старикъ-редакторъ, которому она отдала романъ для прочтенія, просто сказалъ со своею милою, честною улыбкой: «Не годится, барышня!»—и съ сожалѣніемъ уклонился отъ дальнѣйшихъ объясненій. Это сильно обезкуражило Вѣрочку, такъ обезкуражило, что она нѣсколько мѣсяцевъ страшно скучала.

Спустя полгода послѣ этой неудачи Вѣрочка опять чувствовала себя веселою; къ ней возвратился блескъ глазъ, румянецъ щекъ и жизнерадостная красота. Совершилась такая перемѣна, благодаря одному молодому человѣку, который влюбился въ нее до потери сознанія. Она также влюбилась, но безъ потери сознанія. Молодой человѣкъ ради нея готовъ былъ совершить рядъ неистовыхъ безумствъ, она уже готова была принять эти безумства какъ должную дань. Эта игра заняла ее надолго и наполнила ея пустую душу разнообразнымъ содержаніемъ. Къ несчастію, романъ черезъ полгода кончился по винѣ молодого человѣка. Онъ, идіотъ, принялъ игру за серьезъ и вздумалъ вслухъ строить планъ ихъ будущей жизни. По мнѣнію болвана выходило очень пошло и мелко: они женятся, будутъ вмѣстѣ воспитывать дѣтей и вмѣстѣ работать. Эта перспектива такъ испугала Вѣрочку, что она живо отдѣлалась отъ глупца, вообразившаго въ ней обыкновенную дѣвушку.

Бракъ ей представлялся въ видѣ лѣтней прогулки по бульвару,—прогулки, которую она имѣла право кончить, когда ей угодно; между тѣмъ, влюбленный гусь грозилъ ей вѣчнымъ счастьемъ! Грозилъ дѣтьми и работой среди пеленокъ! Онъ предлагалъ ей, въ сущности, сдѣлаться рабой мужа, нянькой дѣтей, кухаркой семьи. Но когда жить?

Вѣрочка не знала, что такое *жить*. Но она ясно различала, что значитъ *не жить*. Не жить—это значитъ выйти замужъ, родить дѣтей, нянчить этихъ противныхъ животныхъ, гулять только подъ руку съ мужемъ, слушать концертъ только, когда можно вырваться изъ дома, и всегда

возвращаться только на одну и ту же опостылѣвшую квартиру. Могла-ли она согласиться не жить?

Но, спровадивъ молодого человѣка, Вѣрочка опять сильно заскучала. Романъ все же давалъ ей пріятную игру, и когда она ее окончила, душа ея еще больше опустѣла.

Несчастье Вѣрочки заключалось въ томъ, что сознательная жизнь ея началась въ такое время, когда въ окружающемъ ея обществѣ не было сознанія и когда окружающая жизнь обратилась въ дикую пустыню. Пустыня наложила на нее неизгладимую печать; сердце ея, несмотря на молодость, было дико, душа пуста. Вмѣсто духовныхъ влеченій, въ ней были порывы темперамента, вмѣсто вѣры—аппетиты, вмѣсто характера—произволъ. Она умѣла только различать, что̀ скучно и что̀ не скучно, и жизнь вела, какъ игру. Но игра можетъ быть пріятной или непріятной; первую она искала, отъ второй всѣми силами уклонялась.

Въ такомъ видѣ она явилась и въ колонію. Услыхала она о ней въ самый разгаръ скуки и ухватилась за нее съ страстною неудержимостью. Колонію она представляла себѣ именно тѣмъ дѣломъ, котораго она искала. Понятно ея разочарованіе. Проживъ въ Бору два мѣсяца безъ всякаго дѣла, она должна была заскучать. Въ это-то время на нее снизошло, къ горю Неразова, хозяйственное вдохновеніе. Есть одинъ родъ вдохновенія, отъ котораго у всѣхъ окружающихъ чешутся затылки и болятъ поясницы; по крайней мѣрѣ, у Неразова отъ ея вдохновенія заболѣла именно поясница. А бываетъ и хуже.

Когда Вѣрочка внезапно бросила хозяйничать, къ удивленію Неразова, то сначала ничего не объясняла—почему. Но когда онъ снова принялся одинъ хозяйничалъ, ей стало неловко. Она сдѣлала попытку объяснить свое непостоянство. Судя по себѣ, она теперь знала, что вся эта глупая возня по дому страшно тяжела для Неразова.

— Вы извините меня, Неразовъ, но я больше не хочу возиться со всею этою ерундой!—сказала она однажды презрительно, хотя въ душѣ конфузилась.

— Конечно, бросьте! Я все сдѣлаю,—наивно возразилъ Неразовъ.

Неразовъ вполнѣ вѣрилъ, что у Вѣрочки должны быть

великіе планы и потому для нея нѣтъ нужды убивать время на кухонныя мелочи. Но онъ все-таки рѣшился возразить.

— Отъ мелочей нигдѣ не отвязаться; онѣ всюду примѣшиваются, какъ пыль къ воздуху,—сказалъ онъ.

— Но вѣдь это безобразно! Неужели я затѣмъ ѣхала сюда, чтобы подметать полъ или выносить помои?—вскричала Вѣрочка.

— Да какъ же иначе-то, барышня?—возразилъ несмѣло Неразовъ.

— Какъ? А очень просто—наплевать на всю эту чепуху!

— Но вѣдь изъ этой чепухи вся наша жизнь здѣсь состоитъ!

— Что вы болтаете! Колонія устроена затѣмъ, чтобы заниматься грязными мелочами?!—закричала Вѣрочка.

— Да какъ же иначе-то?... Цѣль колоніи—жить своимъ трудомъ, добывать всѣ средства къ жизни своими собственными руками, а не службой въ какой-нибудь подлой конторѣ за бездѣльнымъ бумагомараніемъ. Вотъ какая цѣль! Но вѣдь физическій трудъ цѣликомъ состоитъ изъ грязи, увѣряю васъ!... Притомъ же, всякая работа здѣсь, взятая въ отдѣльности,—совершенная чепуха, да еще грязная, честное слово! Да и конечная цѣль всей этой грязной чепухи не очень большая—пропитаться, прожить... Вотъ какая цѣль!

Вѣрочка съ изумленіемъ выслушала Неразова; слова его несомнѣнно были справедливы, но ей непріятно было сознаться въ ихъ справедливости. Она избрала средній путь, обративъ непріятный разговоръ въ шутку.

— Все это какой-то вздоръ! Впрочемъ, вы вѣдь принципіальный «оселъ», и, я увѣрена, вамъ самимъ пріятно заниматься помоями и прочею ерундой!

— Пріятно или не пріятно, но выносить помои кому-нибудь вездѣ надо!—возразилъ храбро Неразовъ, хотя тотчасъ же испугался своей храбрости. Вѣрочка бросила на него уничтожающій взглядъ, подъ тяжестью котораго онъ вдругъ съежился.

Съ этого дня жизнь на хуторѣ круто измѣнилась. Вѣрочка уходила къ Кугину, и Неразовъ одинъ коротал полутемные зимніе дни. Весь домъ былъ занесенъ сугробами; морозъ, залѣпившій толстымъ слоемъ льда всѣ окна, свободно гулялъ по комнатамъ, посеребрилъ края выходной двери, пробрал-

ся къ самой постели хозяина. Неразовъ жестоко зябъ, но, что всего тяжелѣе, жестоко скучалъ. Вѣрочка уходила въ село рано утромъ, часто не дожидаясь неразовскаго чая, и возвращалась поздно ночью, въ сопровожденіи Кугина. Но Кугинъ никогда не входилъ на хуторъ; онъ отправлялся назадъ тотчасъ, какъ Вѣрочка ступала на крыльцо. Да Неразовъ и самъ не желалъ, чтобы онъ заходилъ къ нему; между ними съ пріѣзда Вѣрочки еще болѣе усилилась непріязнь, въ особенности послѣ того, какъ Вѣрочка встала въ дружескія отношенія съ Кугинымъ.

Со стороны Неразова это была своего рода ревность. Онъ жестоко страдалъ отъ того, что Вѣрочка съ нимъ почти перестала говорить, а если изрѣдка заговаривала, то пренебрежительнымъ тономъ; онъ жестоко страдалъ отъ того, что по цѣлымъ днямъ сидѣлъ одинъ, слушая свистъ вѣтра или трескъ мороза и не зная, какъ убить проклятый, полутемный день, но онъ еще сильнѣе страдалъ, когда видѣлъ Вѣрочку въ обществѣ Кугина, когда они болтали между собой, громко смѣялись, шумно спорили. Кугина онъ тогда ненавидѣлъ и нѣсколько разъ въ умѣ убивалъ его на дуэли, а къ Вѣрочкѣ (тоже въ умѣ) обращался съ ужасными упреками, обвиняя ее въ кокетствѣ, громя ея пустомысліе, пламенными словами поражая ея бездушіе и эгоизмъ. И Вѣрочка нѣсколько разъ отъ его громовыхъ рѣчей заливалась слезами, съ рыданіемъ раскаивалась и давала клятвы исправиться, послѣ чего у самого Неразова, отъ радости и участія, показывались на глазахъ слезы, но уже не воображаемыя, а настоящія: кончивъ горячее объясненіе съ Вѣрочкой, онъ рукавомъ блузы вытиралъ мокрые глаза.

Разумѣется, этимъ онъ самъ себя только огорчалъ. Вѣрочка ничего не подозрѣвала. Она продолжала исчезать на цѣлые дни, совершенно игнорируя Неразова и всю остальную колонію. Случалось, Неразовъ набирался смѣлости заговаривать съ ней, когда она возвращалась отъ Кугина изъ села, но она почти не отвѣчала ему, не стѣсняясь отъ его словъ зѣвать до слезъ.

— Боже мой, какая скучища!—говорила она апатично.

Нѣсколько разъ Неразовъ самовольно навязывался къ ней въ проводники и сопутствовалъ ей по дорогѣ къ Кугину, но во все время ходьбы между ними длилось тяжкое молчаніе.

Но однажды Вѣрочка и такое безмолвное присутствіе запретила.

— Зачѣмъ вамъ идти со мной? Я и одна пойду,—сказала она, замѣтивъ намѣреніе Неразова сопровождать ее.

Неразовъ сконфузился и въ нерѣшительности мялъ шапку въ рукахъ Вѣрочка вывела его изъ этой нерѣшительности, захлопнувъ дверь передъ самымъ его носомъ.

Отдыхалъ Неразовъ только у Грубова. Заходя во флигель Антона Петровича, онъ ложился на кожаный диванъ и по цѣлымъ часамъ молча лежалъ, только изрѣдка взглядывая на товарища. Послѣдній въ это время читалъ или писалъ. По выходѣ изъ бюро, онъ не бросалъ своего занятія статистикой, а продолжалъ работать, пользуясь зимнимъ временемъ, уже самостоятельно надъ одною монографіей; кстати подъ руками у него теперь былъ живой матеріалъ въ видѣ нѣсколькихъ деревень, послужившихъ ему иллюстраціей.

Неразовъ валялся на диванѣ, курилъ, поглядывалъ на друга и молчалъ, никогда не обнаруживая попытки помѣшать работѣ. Чтобы не скучать, ему, повидимому, совершенно достаточно было здѣсь находиться. Грубова онъ любилъ любовью женщины и довольствовался тѣмъ, привязавшись къ нему съ самаго перваго дня ихъ встрѣчи. Въ свою очередь, Грубовъ относился къ нему съ исключительною мягкостью, какъ ни къ кому больше. Насмѣшливый со всѣми, онъ никогда не смѣялся надъ Неразовымъ и ни разу не вышучивалъ его слабости на ряду съ тѣми лицами, для которыхъ Неразовъ служилъ неизмѣнною мишенью.

Впрочемъ, когда подходилъ вечеръ и Грубовъ бросалъ работу, тишина сразу нарушалась. Неразовъ принимался вслухъ фантазировать насчетъ будущаго, Грубовъ скептически возражалъ ему, и комната наполнялась смѣхомъ, шутками и серьезными рѣчами. Если Неразовъ оставался до вечера, то еще болѣе поправлялся отъ своего одиночества,—въ это время къ Грубову заходили знакомые мужики и вечеръ проходилъ оживленно. Компанія, на ряду съ бесѣдой, обыкновенно выпивала по два ведерныхъ самовара.

Про другихъ членовъ колоніи здѣсь рѣдко говорилось. Неразовъ иногда порывался ругаться насчетъ Кугина, но Грубовъ не поддерживалъ его, и сплетня гасла моментально,

не успѣвъ разгорѣться. Со стороны Грубова это была воспитанная порядочность—не говорить лишняго объ отсутствующихъ, и Неразовъ подчинялся ей.

Грубовъ преднамѣренно устранялся отъ близкихъ сношеній съ остальною колоніей, чтобы не увеличивать суммы личныхъ счетовъ. Это рѣшеніе имъ принято было въ ту минуту, когда онъ убѣдился, что колонія сколочена на скорую руку, что члены ея набраны случайно, что личные счеты уже запутаны и что лучше избѣгать трогать чужія мозоли. Кромѣ того, всякія „личности" безконечно волновали его, отнимая у него и ту крупицу душевнаго покоя, какая съ такимъ трудомъ доставалась ему...

Однако, политика молчанія также имѣетъ свои невыгоды: благодаря ей, молчавшій долго субъектъ по необходимости многаго не знаетъ и по поводу многаго долженъ приходить въ изумленіе.

Пришелъ однажды Неразовъ во флигель Антона Петровича и, по обыкновенію, хлопнулся на диванъ съ явнымъ намѣреніемъ отдохнуть. Грубовъ мелькомъ взглянулъ на него и пошутилъ насчетъ его наружнаго вида.

— Ты что, Василій Васильичъ, какой?—сказалъ Грубовъ, не отрываясь отъ работы.

— Какой?

— Да словно тебя нынче ночью мыши напугали!

— Мышей я больше не боюсь, потому что онѣ, вѣроятно, померзли отъ холода, а вотъ волки проклятые!...—воскликнулъ Неразовъ съ уныніемъ.—Каждую ночь теперь воютъ!... Слышу, какъ они шатаются кругомъ хутора цѣлыми толпами и... но, главное, воютъ!

— Надѣюсь, что они не имѣютъ въ виду собственно тебя.

— Чортъ ихъ знаетъ!... Днемъ я также думаю, что имъ нѣтъ рѣшительно разсчета съѣсть меня. Но когда наступаетъ ночь и я слышу, какъ они окружаютъ хуторъ, мнѣ приходятъ въ голову самыя мрачныя мысли.

— Я тебя понимаю. Скверно даже и подумать, чтобы дворянина, устроившаго колонію для образованныхъ инвалидовъ, въ нѣкоторомъ родѣ передоваго человѣка и радикала, въ самый разгаръ его дѣятельности вдругъ волки съѣли!

— Тебѣ хорошо смѣяться, а ты бы пожилъ тамъ!--сказалъ Неразовъ полушутя, полусерьезно.

— Да возьми мое ружье и попугай нахаловъ!

— Не только ружье, но если бы пушку мнѣ дали, и то бы я ночью не вышелъ за порогъ двери, ей-Богу!

Оба захохотали. Но Неразовъ говорилъ, въ сущности, серьезно.

— Боюсь я, честное слово! Ни за что ночью я не выйду одинъ на дворъ,—не могу! А тѣмъ болѣе, когда волки тамъ. Я стараюсь запереть всѣ двери, ложусь въ постель и, чтобы не слыхать воя, закутываю голову въ одѣяло.

— Ты, однако, основательно презираешь храбрость.

— Ничего, братъ, не подѣлаешь! Я убѣдился на опытѣ, что въ деревнѣ трусость, т.-е. непрекращающійся испугъ, самое сильное чувство. Это, можетъ. зависить отъ вѣчнаго одиночества... Все одинъ, все одинъ, кругомъ лѣсъ,—ну, и пугаешься. Хоть убей меня, не могу выйти ночью на дворъ!

— Ну, а что же барышня... ведетъ себя также храбро?— спросилъ съ улыбкой Грубовъ.

— А я почемъ знаю?—возразилъ Неразовъ непріятно.

— А кому же знать?... Вѣдь вы въ одномъ домѣ живете.

— Совсѣмъ даже она и не живетъ на хуторѣ...

— Какъ не живетъ?!—воскликнулъ Грубовъ и съ недоумѣніемъ взглянулъ на товарища.

— Очень просто. Утромъ уходитъ, поздно ночью возвращается. А иногда и ночуетъ въ деревнѣ... Я ее теперь только мелькомъ вижу.

Грубовъ пожалъ плечами въ сильномъ недоумѣніи.

— Куда-жь она ходитъ?—спросилъ онъ и со стыдомъ подумалъ про себя, что онъ не долженъ былъ этого спрашивать.

— Куда же больше, какъ не къ Кугину?--сердито проговорилъ Неразовъ.

Грубовъ больше не хотѣлъ разспрашивать, но не могъ овладѣть собой и послѣ долгаго молчанія предложилъ Неразову еще нѣсколько вопросовъ.

— Она одна ночью возвращается на хуторъ?

— Нѣтъ, ее всегда провожаетъ Кугинъ.

— Она, вѣроятно, тамъ учится работать?

— Ничего они не работаютъ, а просто весело проводятъ время: ходятъ вдвоемъ по селу, гуляютъ за селомъ. Третьяго дня ѣздили куда-то... Что же больше дѣлать?

Неразовъ говорилъ это раздраженнымъ тономъ. Грубовъ слушалъ и волновался. Вѣрочку онъ встрѣчалъ ежедневно у Кугиныхъ въ тотъ часъ, когда давалъ урокъ Натальѣ, но ему въ голову не приходило, что она тамъ находится не только въ этотъ часъ, но съ утра до ночи. Что они дѣлаютъ? И что думаетъ объ всемъ этомъ Наталья?

Въ послѣдней онъ ничего не замѣчалъ. Но теперь, послѣ словъ Неразова, онъ вдругъ припомнилъ странное состояніе молодой женщины. Онъ объяснялъ тогда это ея беременностью, которую можно было подозрѣвать, но странные признаки беременности! Наталья съ нѣкоторыхъ поръ плохо слушала урокъ, всегда торопилась его окончить, путалась въ пустякахъ и держала себя, какъ дура. Лицо ея теперь всегда тревожно; тревога ея видна теперь въ каждомъ шагѣ, какъ у птички передъ бурей, которой еще нѣтъ, но которую она уже предчувствуетъ... Все это теперь моментально припомнилъ Грубовъ и мгновенно придалъ всему этому значительный смыслъ, а еще дальше—и все это проявило уже позорный, ужасающій характеръ. Неразова онъ больше ни о чемъ не разспрашивалъ и начатаго разговора не поддержалъ, повидимому, нисколько не интересуясь имъ.

— А знаешь что, Дмитрій Иванычъ?... Много горя принесетъ намъ эта барышня! — сказалъ Неразовъ печально.

Грубовъ и на это не отвѣтилъ.

Но когда Неразовъ ушелъ, онъ заволновался такъ, какъ только онъ одинъ могъ волноваться. Въ такія минуты онъ всегда совершалъ неистовые поступки, теряя сразу все свое наружное спокойствіе: въ эти минуты малѣйшій пустякъ, ничтожное слово, выраженіе лица, перемѣна погоды могли произвести въ немъ цѣлый взрывъ чувствъ, картинъ и представленій, подавленныхъ усиліемъ воли, но не уничтоженныхъ.

Онъ готовъ былъ тотчасъ идти въ домъ Кугиныхъ, чтобы разъяснить все, но была уже поздняя ночь, и онъ долженъ былъ до утра испытывать смятеніе.

VII.

Дѣйствіе нервнаго аппарата.

На другой день Грубовъ всталъ съ мыслью о какой-то крупной непріятности, случившейся вчера, и тотчасъ же припомнилъ. Но, къ его удовольствію, вчерашнія мрачныя мысли не мучили больше его; онѣ за ночь перегорѣли, вся копоть ихъ улетучилась и только пепелъ остался. Притомъ, сегодня онъ постарался успокоить себя обычною отговоркой, что, „въ сущности, ему до всего этого нѣтъ никакого дѣла“.

Все-таки, ради окончательнаго успокоенія, онъ пошелъ къ Кугинымъ не въ тотъ часъ, когда онъ давалъ урокъ Натальѣ, а значительно раньше. Вѣрочка, дѣйствительно, была уже тамъ. „Но что же изъ этого? Ровно ничего“,—говорилъ онъ себѣ, усаживаясь на лавку въ горенкѣ. Все въ домѣ было спокойно, ничего подозрительнаго, ничего изъ того, что онъ уже вообразилъ.

Вѣрочка читала какую-то книгу, но безъ удовольствія. При входѣ Грубова она сказала обычную фразу свою:

— Вы сейчасъ будете заниматься? Я мѣшаю?

— Совсѣмъ нѣтъ,—возразилъ Грубовъ, — напротивъ, я долженъ васъ спросить, не мѣшаю-ли я вамъ?

— Не знаю, чтὸ вамъ сказать... Если я скажу, что вы мнѣ мѣшаете, тогда вы, конечно, уйдете, но если я скажу, что вы не мѣшаете, то вы вѣдь также уйдете, не желая даромъ терять время въ болтовнѣ со мной.

Вѣрочка проговорила это колко, но Грубовъ не обратилъ вниманія на тайныя намѣренія собесѣдницы.

— Если позволите, я не уйду. Дома я сижу только затѣмъ, чтобы не надоѣдать людямъ. Но иногда одурь беретъ. Если общество имѣетъ свою отрицательную сторону, люди безъ нужды мозолятъ другъ другу глаза, безъ нужды толкаются, безъ всякой необходимости враждуютъ другъ съ другомъ, то одиночество имѣетъ свою дурную сторону. Въ одиночествѣ человѣкъ преувеличиваетъ всякое чувство, или мысль, или вещь въ сотни разъ и страдаетъ отъ этихъ преувеличеній... Теряется мѣра вещей, а это ведетъ къ одури.

— А я думала, что вы никогда не скучаете, какъ мы грѣшные!—сказала Вѣрочка уже весело. Ей польстило, что Грубовъ заговорилъ съ ней такимъ языкомъ, и ей было ясно, что онъ пришелъ ради нея, а это еще болѣе польстило ей.

— Скучать-то, пожалуй, я, точно, не скучаю. Но есть положеніе хуже—чувство пустыни, ужасъ одиночества... Жениться хотя бы, что-ли!

Грубовъ засмѣялся.

— Такъ что же? Дѣло не хитрое!

— Не могу!—возразилъ серьезно Грубовъ.

— Отчего? Никого не можете любить, кромѣ себя?—спросила Вѣрочка съ лукавою усмѣшкой.

— Какъ разъ напротивъ. Не женюсь потому, что люблю...

— Интересно!

— Да, именно такъ.

— Вѣроятно, другая особа отказалась отъ чести быть вашею „спутницей"?

— И она любила, и опять потому не пошла за меня, что любила.

Вѣрочка никакъ не могла понять, было-ли все это дѣйствительно въ жизни Грубова, или это мистификація. Но его лицо было серьезно и печально.

— Что же это за диковина?... И васъ любили, и вы любили,—что же вамъ помѣшало?—воскликнула Вѣрочка.

— Помѣшала очень маленькая вещь—совѣсть... Любимая женщина была чужая жена.

— Вотъ какъ!... Все-таки не понимаю, причемъ тутъ совѣсть?—Вѣрочка уже говорила съ величайшимъ любопытствомъ.

— Я въ свою очередь васъ не понимаю... Развѣ, по-вашему, хорошо разбивать чужую жизнь, да еще жизнь товарища?

— Хорошо или не хорошо, но разъ появилась любовь, надо слѣдовать ея влеченію,—сказала убѣжденнымъ тономъ Вѣрочка.

— То-есть разбить чужую жизнь?

— Отчего же, если приходится.

— То-есть во имя счастья уничтожить счастье другого, во имя любви разбить другую любовь?—спросилъ Грубовъ серьезно и горячо.

— Это смотря по обстоятельствамъ... Я только вѣрю, что любовь свободна. Любовь—святое чувство. Нельзя безнаказанно нарушать ее.

На лицѣ Грубова появилась та неуловимая насмѣшливость, которая такъ раздражала Вѣрочку, отнимая у ней всякое самообладаніе.

— Нѣтъ, барышня, совсѣмъ это не святое чувство. Въ современныхъ людяхъ—это ходячая истина, корорую никто не хочетъ провѣрить. Любовь свободна, святая, высокая,—думаютъ всѣ и всѣми мѣрами раздуваютъ эту уличную истину. И любовь раздулась до такой степени, что сдѣлалась богомъ, которому многіе поклоняются и ревностно служатъ, но этотъ божокъ на самомъ дѣлѣ довольно грязный и хищный,—грязный по своему происхожденію, хищный по своимъ требованіямъ. Во имя его часто совершаются больштія пакости. Вы говорите, что любовь святое чувство? Но нельзя представить себѣ святого чувства, которое вело бы за собой вѣроломстно, жестокость и звѣрство. Еслибъ это было дѣйствительно святое чувство, а не эгоистичное и ничтожное, то какъ оно могло бы причинять страданія? Еслибъ это было безкорыстное, чистое чувство, то могли-ли бы во имя его приноситься кровавыя жертвы на счетъ счастья и жизни ближняго?... Еще говорятъ, любовь свободна... Еслибъ это сдѣлалось фактомъ, тогда хищный божокъ пожралъ бы не только тѣ дары, которые ему приносятся, но и всю человѣческую жизнь!...

— Но вѣдь вы проповѣдуете дикіе, отсталые взгляды!—воскликнула Вѣрочка съ притворнымъ негодованіемъ.

— Это только страшныя слова,—возразилъ съ улыбкой Грубовъ.—Я говорю только то, что любовь—не истина, не правда, не святое чувство, не цѣль и не мѣра жизни... Не она должна направлять меня, а я ее; не я для любви существую, а она для меня, и не я долженъ поклоняться ей, принося идольскія жертвы, а она должна служить мнѣ, подчиняясь другимъ, высшимъ мѣрамъ вещей.

— Какая же высшая мѣра любви?—спросила Вѣрочка горячо и съ любопытствомъ молодости, жадной до всего неизвѣстнаго.

Грубовъ замолчалъ. Про себя онъ спросилъ:

„А знаю-ли я самъ, есть-ли у меня эта мѣра?“

Въ комнатѣ стало вдругъ тихо, какъ въ пустомъ мѣстѣ. Но Вѣрочка съ нетерпѣніемъ переспросила:

— А у васъ... есть у васъ мѣра вещей?

— Есть,—твердо сказалъ Грубовъ, но съ волненіемъ поднялся съ мѣста и ничего больше не говорилъ.

Вѣрочка посмотрѣла на него сначала съ ожиданіемъ, но, не видя съ его стороны охоты говорить, разсердилась. Для нея было ясно, что онъ не считаетъ ее достаточно серьезной для такого разговора и потому молчитъ. А онъ только не зналъ, что и какъ сказать, не зналъ и волновался, позабывъ обо всемъ на свѣтѣ.

Внутренняя жизнь въ немъ всегда преобладала надъ внѣшней, но въ нѣкоторыя минуты онъ совсѣмъ забывалъ, что надо дѣлать, занятый исключительно тѣмъ, что дѣлалось въ немъ. А въ эту минуту у него заболѣла самая больная рана и ради нея онъ забылъ, зачѣмъ пришелъ, что нужно говорить Вѣрочкѣ и что всѣмъ прочимъ говорить. Въ скоромъ времени въ горенку вошла Наталья, вслѣдъ за нею Кугинъ, но они оба смутно представлялись ему. Всѣ пошли обѣдать, и онъ пошелъ. За обѣдомъ онъ продолжалъ думать о своемъ, хотя внѣшнимъ образомъ участвовалъ и въ чужихъ интересахъ; онъ даже что-то говорилъ со всѣми, причемъ на каждаго пристально смотрѣлъ, смущая своимъ мнимо-проницательнымъ взглядомъ, но въ дѣйствительности онъ ничего не говорилъ, не слыхалъ и не видалъ, занятый только собою и своими мыслями. Еслибы онъ хоть на минуту отвлекся отъ себя, онъ бы увидалъ, что въ этой мирной семьѣ подготовляется сумятица, но онъ сидѣлъ, говорилъ, слушалъ и смотрѣлъ на всѣхъ, но на самомъ дѣлѣ слушалъ и видѣлъ только себя.

Послѣ обѣда онъ поторопился уйти, и лишь только вышелъ, какъ сразу забылъ про обѣдъ, про Вѣрочку и Наталью, про ту цѣль, ради которой пришелъ, и про колонію, честь которой онъ хотѣлъ оберегать. Когда онъ вышелъ на улицу и очутился одинъ, задумчивость его дошла до тѣхъ размѣровъ, когда человѣкъ не знаетъ, куда идетъ. Онъ шагалъ на удачу, попалъ въ противоположную сторону отъ своего дома, забрелъ на какой-то пустырь и только тяжелымъ усиліемъ воли попалъ къ себѣ домой. Дома онъ не сѣлъ, а продолжалъ идти все куда-то впередъ, и только край-

няя необходимость въ формѣ бревенчатыхъ стѣнъ заставляла его дѣлать въ надлежащихъ мѣстахъ повороты.

И все это произвелъ маленькій вопросъ легкомысленной барышни: „А у васъ есть высшая мѣра?"

„Никакого чорта у меня нѣтъ!"—энергично отвѣчалъ про себя Грубовъ на этотъ вопросъ.

Старая, никогда не заживавшая рана его—сознаніе своего невѣрія—мучительно заныла, и онъ метался по избѣ, со стиснутыми зубами, какъ будто боролся противъ какой-то острой физической боли.

Боль эта была поистинѣ острая, хотя и не физическая. Съ ней онъ началъ свою сознательную жизнь, съ ней участвовалъ въ жизни, и она же присутствовала невидимо при исполненіи имъ самаго ничтожнаго, обыденнаго дѣла. Прекратить ее онъ не могъ: по временамъ она только умирала или забывалась, но неизмѣнно сопутствовала ему. Внѣшнимъ образомъ онъ никогда не обнаруживалъ ее, ни передъ кѣмъ не жаловался на нее. Это была его тайна, посвящать въ которую онъ считалъ позорнымъ. Многіе кокетничаютъ даже пессимизмомъ,—онъ его скрывалъ, какъ порокъ; на его мѣстѣ другой широко раскрылъ бы свою рану, какъ раскрываетъ на-показъ нищій израненную руку, чтобы вымолить жалость и подачку,—онъ считалъ это величайшимъ цинизмомъ.

Въ глубинѣ души его лежала вѣра, что то, чѣмъ онъ страдалъ, была въ полномъ смыслѣ болѣзнь, нездоровое состояніе организма, проказа души,—словомъ, нѣчто такое, что временно и отъ чего надо лѣчиться. Въ глубинѣ души его осталась смутная надежда, что какъ бы ни были мрачны наши мысли и глубоко наше невѣріе, но они не послѣднее слово; за предѣлами нашихъ понятій существуетъ впереди нѣчто, что превратитъ ихъ въ ложь, и то, чего мы сейчасъ боимся со смертнымъ ужасомъ, завтра, быть можетъ, будетъ вызывать улыбку. И если мы сейчасъ не знаемъ, во имя чего надо жить, то наши близкіе потомки, вѣроятно, не поймутъ такого вопроса, а къ намъ, не умѣвшимъ отвѣчать на него, отнесутся съ заслуженнымъ презрѣніемъ.

Но вотъ и все, чѣмъ успокоивалъ себя Грубовъ. Ни за что больше онъ не могъ ухватиться, и болѣзнь невѣрія продолжала глодать его. *Во имя чего?* Этотъ вопросъ, какъ ракъ, впился въ его мозгъ и отравлялъ ему каждый жизненный

шагъ. Онъ повсюду отыскивалъ то великое имя, силою котораго все дышетъ и живетъ, и страстно, всѣмъ существомъ, жаждалъ обнять его, но обнималъ пустое пространство.

И, несмотря на это, онъ продолжалъ все-таки дѣятельно жить, повсюду отыскивая пропавшую вѣру. Онъ былъ прямою противоположностью съ тѣми людьми, для которыхъ невѣріе служитъ только поводомъ къ равнодушію. Онъ, напротивъ, чѣмъ меньше вѣрилъ, тѣмъ болѣе искалъ. По своему существу, натура его была живая и жадная къ жизни, и если онъ болѣлъ отрицаніемъ жизни, то лишь потому, что все кругомъ вопіяло объ отрицаніи; болѣзнь выросла не изъ него самого, а захватила его со стороны, какъ эпидемическая зараза.

Искалъ онъ жизни въ разныхъ направленіяхъ. Еще зеленымъ юношей онъ бросился по самому, какъ ему казалось, прямому пути и угодилъ въ темное мѣсто, гдѣ просидѣлъ столько времени, сколько нужно для того, чтобы постарѣть. Но онъ не считалъ годы сидѣнья въ темномъ мѣстѣ, довольно равнодушный къ своей карьерѣ. Чередовались много разъ лѣто и зима, осень и весна, а онъ все спокойно сидѣлъ, терзаясь только своими внутренними недочетами. А когда онъ вылѣзъ еле живымъ изъ темнаго мѣста, то не думалъ считать себя ни жертвой, ни мученикомъ. Онъ просто былъ убѣжденъ, что сунулся въ жизнь не тѣмъ концомъ, а въ этомъ никто не виноватъ. И когда его спрашивали съ сочувствіемъ, сколько лѣтъ онъ сидѣлъ въ темномъ, пустомъ мѣстѣ, ему было стыдно сознаться въ глупой, невѣроятной суммѣ годовъ. Ему положительно казалось, что только явный дуракъ могъ столько времени сидѣть въ дурацкомъ мѣстѣ.

Вскорѣ послѣ того онъ поѣхалъ, благодаря невѣрнымъ представленіямъ о жизненныхъ дорогахъ, въ отдаленный, пустой край; поѣхалъ онъ туда въ сѣромъ мундирѣ, на спинѣ котораго красовались желтыя буквы: „К. Г.“. Но онъ увѣрялъ товарищей, ѣхавшихъ вмѣстѣ съ нимъ, что эти буквы означаютъ: „курскій губернаторъ“, и что ѣдетъ онъ въ пустое мѣсто по долгу службы. Вообще къ своимъ личнымъ, реальнымъ неудачамъ онъ относился всегда юмористически и съ большимъ оптимизмомъ, какъ и къ своимъ удачамъ.

Когда срокъ службы въ качествѣ „курскаго губернатора“ кончился, онъ возвратился на родину и нѣкоторое время былъ

въ отставкѣ, сознательно устраняясь отъ всякаго шума. Въ это время онъ съ трудомъ добывалъ себѣ кусокъ хлѣба, переходилъ отъ одной работы къ другой, пока не затосковалъ въ этой мелкой, безславной борьбѣ за существованіе. И вотъ въ это время возникла мысль о колоніи. Потому-ли, что ему очертѣла безславно-мелкая жизнь изъ-за куска, потому-ли, что временно потухшая энергія его возродилась, только онъ съ увлеченіемъ ухватился за колонію и быстро создалъ ее.

Но тутъ оказалось нѣчто совсѣмъ неожиданное. Раньше онъ каждый разъ убѣждался, что сунулся въ жизнь не тѣмъ концомъ; здѣсь же онъ понялъ, что сунулся не только не тѣмъ концомъ, но и не туда. Колонія, какъ онъ ее узналъ, не отвѣчала ни мечтамъ его, ни практическимъ требованіямъ; и въ то время, какъ онъ хлопоталъ о наилучшемъ устройствѣ ея, мысль его уже основательно разрушала ее.

Разрушеніе это шло приблизительно такъ.

Разумѣется, очень хорошо жить трудами рукъ своихъ, благородно добывать хлѣбъ прямо изъ земли. Притомъ, это очень здорово и не лишено поэзіи. Только на первыхъ порахъ немного скучно. Отчего бы это? Можетъ быть, оттого, что въ этомъ раю всѣ мысли сосредоточены на себѣ: на своемъ тѣлѣ, на своей душѣ, на своемъ благородствѣ, на своемъ спасеніи,—все только на своемъ вертится мысль. Это естественно. Отчего же не думать и не заботиться о себѣ, когда это неизбѣжно? Но, въ такомъ случаѣ, это уже не мечта, не идеалъ, не стремленіе къ великому. Идеалъ вѣдь — это нѣчто огромное и свѣтлое, какъ солнце; нѣчто такое, чего въ мелкой обыденной жизни нѣтъ, но къ чему человѣкъ стремится всѣми лучшими своими помыслами. Ну, а колонія имѣетъ-ли хоть что-нибудь въ этомъ родѣ? Ничего. Что можетъ быть идеальнаго въ томъ, что человѣкъ, вмѣсто сапоговъ, надѣнетъ коты, вмѣсто городской квартиры, будетъ жить въ избѣ, и, вмѣсто добыванія хлѣба косвеннымъ путемъ, прямо будетъ царапать его изъ земли? Что идеальнаго въ томъ, что человѣкъ головою своей будетъ подпирать возъ съ соломой, а душу свою закопаетъ въ землю, окруживъ себя милліонами пустяковъ? И что идеальнаго будетъ въ жизни человѣка, который забудетъ другихъ и займется только своимъ совершенствомъ? Человѣкъ борется противъ жизненныхъ пустяковъ и стремится раздѣлаться съ ними, а тутъ ему пустя-

ки возводятъ въ подвигъ и въ заслугу. Въ лучшія свои минуты ему хочется думать не о себѣ, а о томъ, что внѣ его, что велико, безкорыстно, а здѣсь его заставляютъ усиленно думать о себѣ, о своемъ здоровьѣ, о своемъ благородствѣ. Въ порывѣ героизма (а такія минуты бываютъ у многихъ) онъ съ восторгомъ сбрасываетъ съ себя всю низкую, себялюбивую жизненную мелочь, а здѣсь его садятъ на мѣсто и говорятъ: сиди тутъ и копайся въ сору, береги свое тѣло, дыши свѣжимъ воздухомъ, работай здоровую работу—и ты будешь спасенъ и благороденъ. Увлечь человѣка можно всѣмъ, даже безумною мечтой, лишь бы въ ней заключались величіе, самопожертвованіе, новизна, подвигъ ради людей, но увлечь его обыденнымъ соромъ—никогда! И поднять также нельзя. Можно идеализировать соръ, можно сдѣлать его самодовольнымъ, но сдѣлать его выше и чище—нѣтъ, никогда! Личную свою жизнь можно возвести въ идеалъ только подъ однимъ условіемъ: совсѣмъ отречься отъ жизни, уйти въ пустыню или залѣзть на столбъ и сидѣть на немъ до смерти. Но если и возможно устроить интеллигентный монастырь, то только для тѣхъ, у которыхъ жизнь поистинѣ сошлась клиномъ...

Разрушивъ колонію такимъ окольнымъ путемъ, Грубовъ не оставилъ камня на камнѣ и въ томъ ея основаніи, которое вначалѣ казалось ему прочнымъ. Онъ убѣдился на опытѣ, что все дѣлать своими руками—неосновательная претензія. Въ первый же годъ они должны были пользоваться трудами множества лицъ постороннихъ; даже хлѣбъ нельзя добыть въ буквальномъ смыслѣ своими руками. Что касается благородства физическаго труда, то Грубовъ и тутъ разрушилъ до основанія все, ранѣе имъ созданное. Мужики, какъ онъ не разъ слышалъ, были очень недовольны, что неразовскій участокъ, до сихъ поръ ими арендуемый, выскользнулъ изъ ихъ рукъ, но если бы Неразовъ отдалъ имъ этотъ участокъ, они благодарили бы Бога, а его считали бы хорошимъ человѣкомъ; теперь же они смотрѣли на него, какъ на шутника, котораго учить было некому.

Единственная мечта, осуществившаяся въ колоніи для Грубова, это—близость съ мужиками. Нельзя сказать, чтобы онъ любилъ мужиковъ; онъ по чистой совѣсти говорилъ: нѣтъ, не любилъ. Но мужики—единственная среда, гдѣ онъ чувство-

нимаетъ. Лукашка кое-что усвоивалъ, а усвоеннымъ воспользовался при первомъ подходящемъ случаѣ.

Но всѣхъ больше Грубова привлекалъ Ефремъ. Товарищи пригласили Ефрема совмѣстно работать на участкѣ и въ то же время руководить всѣми работами колоніи, взамѣнъ чего онъ пользовался землей и другими выгодами товарищества. Ефремъ гордился такимъ выборомъ и изъ всѣхъ силъ работалъ въ пользу колоніи. Работникъ онъ былъ прекрасный. Но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ—это феноменъ для Грубова. Грубовъ называлъ его „физическимъ человѣкомъ" и таковымъ онъ былъ въ дѣйствительности.

Вся его жизнь текла среди физическихъ происшествій: онъ то и дѣло изъ-за пустяковъ съ кѣмъ-нибудь дрался, мстилъ за какую-нибудь также матеріальную обиду. Поссорившись, напримѣръ, съ сосѣдомъ, онъ причинялъ ему какой-нибудь физическій ущербъ: ломалъ, напримѣръ, плетень или отрѣзывалъ хвостъ у вражескаго кота. Если мимо его дома проходила свинья, принадлежащая одному изъ его непріятелей, онъ съ уханьемъ и свистомъ натравлялъ на нее собаку. Ненависть, злоба и другія страсти проявлялись въ немъ исключительно физически; онъ старался побить врага, вырвать часть его бороды или посадить шишку на его морду. Но обиды онъ помнилъ не долго и мирился съ врагомъ при первой возможности, выражая ему полную любовь.

Бываютъ люди, которые въ дѣтствѣ не успѣли наиграться, не вышутились; Ефремъ былъ изъ такихъ взрослыхъ ребятъ. Въ характерѣ его было много веселости, въ его словахъ—смѣха, въ его представленіяхъ—юмора, но все это не выходило за предѣлы физическаго міра. Для него, напримѣръ, доставляло видимое удовольствіе разсказать въ лицахъ, какъ одинъ мужикъ, заспавшись, упалъ съ воза сѣна, какъ онъ треснулся объ землю и какъ чесался въ полуснѣ, въ полномъ недоумѣніи, что съ нимъ случилось. Тутъ онъ и самъ хохоталъ, и слушатели невольно хохотали.

Буянъ на людяхъ, онъ былъ драчуномъ и въ семьѣ, но тутъ удерживалъ его отъ драки сынъ, для чего безцеремонно связывалъ его веревкой и заставлялъ проспаться въ пустомъ сараѣ. На другой день Ефремъ не сердился на

такую сыновнюю расправу, но, въ то же время, и себя считалъ правымъ.

Прочія мысли Ефрема, какъ ихъ постепенно узнавалъ Грубовъ, имѣли тотъ же характеръ. Все міросозерцаніе Ефрема было физическаго свойства. Для него воспитывать дѣтей обозначало кормить, учить ихъ—бить, любить--доставлять хорошую жизнь. Жить у него означало питаться, не жить—быть голоднымъ. Онъ искренно боялся Бога, но потому, что боялся, что Богъ накажетъ его за какой-нибудь проступокъ страшною казнью; сожжетъ его хлѣбъ на поляхъ, перебьетъ его скотину моромъ, на него самого нашлетъ холеру, спалитъ молніей его избу, утопитъ его лошадь въ рѣкѣ, овецъ отдастъ на съѣденіе волку и пр. И когда одна изъ этихъ казней насылалась на него, онъ всегда могъ съ точностью сказать, за что собственно: двухъ овецъ Богъ попустилъ съѣсть волкамъ потому, что онъ, Ефремъ, унесъ, грѣшнымъ дѣломъ, снопы изъ чужого овина; лихорадка же его трясла потому, что онъ передъ этимъ обманулъ купца, продавъ ему гнилое сѣно. Поэтому Ефремъ съ полнымъ сознаніемъ избѣгалъ вредить людямъ, а ежели буянилъ, то дѣлалъ это открыто и честно, а не въ тайнѣ. Злоба его тотчасъ же переходила въ драку, гдѣ его били, и онъ билъ.

Собственно за этотъ открытый характеръ Грубовъ и чувствовалъ себя хорошо съ нимъ. Ефремъ былъ обнаженъ до самой глубины своего сердца, все у него было наружу — и хорошее, и худое, никакихъ заднихъ мыслей. Если онъ и лукавилъ иногда, то самъ же обнаруживалъ свое лукавство. И вотъ еще почему Грубовъ чувствовалъ себя легко съ мужиками: всѣ они окружали его атмосферой откровенности, искренности и правды, хотя и печальной.

И когда жизнь товарищества замутилась дрязгами, разъяснить которыя не было возможности, онъ исключительно жилъ въ обществѣ мужиковъ, забросивъ дѣла товарищества. Однако, одинъ случай порядочно отравилъ и этотъ источникъ успокоенія, обнаруживъ слишкомъ рѣзкую пропасть между нимъ и тѣми, кѣмъ онъ дорожилъ.

VIII.

На бою.

Стоялъ свѣтлый, морозный день передъ масляницей.

Съ самаго утра Грубовъ не умѣлъ ни за что приняться. Ничего не случилось, но ему было тяжело. Онъ принимался работать надъ своими цифрами, но едва прикасался къ нимъ, какъ забывалъ, что хотѣлъ дѣлать. Комната его казалась ему страшно неприглядной, просто гадкой, хотя и въ ней не произошло никакихъ перемѣнъ: та же широкая печка въ углу, тѣ же лавки по стѣнамъ, тѣ же голыя, съ торчащимъ мохомъ, бревенчатыя стѣны, на которыхъ тамъ и сямъ висѣли капли сосновой смолы, выжатыя комнатною жарой; тотъ же кожаный диванъ, набитый, повидимому, булыжникомъ,—такъ онъ былъ жестокъ; тотъ же полъ съ скрипящими половицами. Но нѣтъ, Грубовъ съ отвращеніемъ, не глядя, видѣлъ эту обстановку, казавшуюся ему глупой и безсмысленной.

Онъ легъ на диванъ и взялъ нумеръ газеты, но черезъ нѣкоторое время уронилъ его на полъ,—онъ прочиталъ цѣлый столбецъ, ничего не понимая.

Въ этотъ день онъ боролся противъ смерти. Не противъ своей смерти, а противъ всего сущаго. Смерть все уничтожаетъ: и добро, и совѣсть, и мысль, и подвиги благородства; и, повидимому, все равно быть благороднымъ или подлымъ,—конецъ одинъ—уничтоженіе, безсмысленная смерть. Но вѣдь надо еще рѣшить, умираетъ-ли подлость тою же смертью, какъ и благородство. Да умираютъ-ли еще?... Потомъ, если подлость—рѣзкій, кричащій фактъ, то вѣдь и благородство также несомнѣнно существующій фактъ. Оба одинаково существуютъ и никогда не умираютъ. Но который изъ нихъ сильнѣе, который торжествуетъ? Повидимому, подлость. Но тогда зачѣмъ подлость всегда прикрывается благородствомъ? Почему низкій старается казаться высокимъ, грязный—честнымъ, пошлый—порядочнымъ? Почему подлецъ, какъ бы ни былъ наглъ, всегда старается смыть кровь съ своихъ рукъ, вытереть пухъ съ лица? Зачѣмъ притворяться негодяю, если бы онъ дѣйствительно чувствовалъ себя единственною силой?

И наоборотъ, почему честный никогда не притворяется подлымъ, благородный—низкимъ, любящій—ненавидящимъ? Потому, что благородство—это жизнь, а подлость—синонимъ смерти.

Когда Грубовъ находилъ лишній аргументъ противъ сгустившагося въ немъ мрака, онъ машинально вставалъ и дѣлалъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ, а когда мракъ опять одолѣвалъ его, онъ опять ложился.

Да, благородство, совѣсть, любовь—это жизнь, а все подлое, низкое, хищное—смерть. Это несомнѣнно. И если подлое, низкое живетъ, то лишь подъ флагомъ перваго, подъ защитой чужой крѣпости. Но вѣдь и жизнь умретъ. Умретъ лицо, носившее печать благородства; умретъ человѣчество, хранившее преданіе объ этомъ лицѣ; умретъ планета, дававшая мѣсто человѣчеству; умретъ цѣлая система планетъ, превратившись въ безсмысленный мусоръ. Зачѣмъ же тогда колонію-то устраивать?

Дойдя до этой безсмыслицы, Грубовъ съ радостью засмѣялся; онъ обрадовался именно этой безсмыслицѣ и смѣшной нелѣпости, въ которую вдругъ, при сопоставленіи планетъ съ колоніей, превратились всѣ его мрачныя мысли.

— И чтой-то вы, Дмитрій Иванычъ, лежите все съ вѣдомостями?—раздался вдругъ знакомый голосъ Антона Петровича въ двери.

Войдя въ комнату, онъ отряхнулъ варежкой снѣгъ съ валеныхъ сапоговъ, положилъ шапку на полъ возлѣ порога и съ веселымъ лицомъ, раскраснѣвшимся отъ мороза, смотрѣлъ на Грубова.

— То-есть, погляжу я, скучнѣе вашей жизни я и на свѣтѣ ничего не видалъ!—сказалъ старикъ насмѣшливо.

— Что-жь дѣлать, Антонъ Петровичъ?... Значитъ, ужь уродился такой! — проговорилъ съ вялою улыбкой Грубовъ и лѣниво поднялся съ дивана.

— А я такъ полагаю глупымъ своимъ умомъ: все это вѣдомости туману такого напустили на васъ, ей-Богу!—сказалъ Антонъ Петровичъ, указывая презрительно пальцемъ на валявшійся возлѣ дивана нумеръ газеты.

Грубовъ засмѣялся.

— Пожалуй, и правда, Антонъ Петровичъ.

— Очень просто. Однѣ только пакости, а чтобы хорошее—

этого вѣдомости не пишутъ... Ничего Божьяго въ нихъ не отыщешь!

— То-есть какъ это Божьяго?—спросилъ Грубовъ.

— А такъ, ничего, чтобы для души, ради спасенія, напримѣръ, правды Божіей—нѣтъ, въ вѣдомостяхъ этого не говорятъ! Вотъ насчетъ разбоя, или тамъ арфистки, или опять сколько народу перебито—этого сколько угодно!

— Ну, ужь это ты вздоръ городишь, Антонъ Петровичъ!—сказалъ Грубовъ.

— А вы не бранитесь, Дмитрій Иванычъ... можетъ, я и зря что сболтнулъ. Да не за тѣмъ я пришелъ. Пришелъ я звать васъ на бой. Поглядите и, можетъ, развеселитесь, нечѣмъ вѣдомости-то мусолить.

— На какой на бой?—съ недоумѣніемъ спросилъ Грубовъ.

— Само собой на кулашный... Нашими боями вся округа славится. Знаменитый у насъ бой. И по другимъ деревнямъ дерутся, — ну, только супротивъ нашихъ куды-и! Не того сорту!...

— Я все-таки не понимаю... Значитъ, и взрослые мужики дерутся?—съ тѣмъ же изумленіемъ спросилъ Грубовъ.

— А то какъ же? Одно слово, форменные у насъ бои. Даже изъ дальнихъ мѣстовъ съѣзжаются народы, кои смотрѣть, кои драться,—говорилъ съ воодушевленіемъ Антонъ Петровичъ. Лицо его приняло дѣтское выраженіе; казалось, въ предстоящемъ бою онъ самъ принимаетъ горячее участіе, онъ, такой сухой и черствый въ практической жизни.

За нѣсколько минутъ передъ тѣмъ Грубовъ виталъ въ планетныхъ сферахъ и теперь, понятно, онъ никакъ не могъ сразу спуститься въ какой-то оврагъ, гдѣ мужики форменно колотятъ другъ друга по физіономіямъ.

— Да вы чего боитесь? Сдѣлайте одолженіе, васъ не тронутъ... Мы издалека поглядимъ... оно занятно!—наивно убѣждалъ его Антонъ Петровичъ.

Эти ребяческія слова, сказанныя торопливо и съ нѣкоторымъ укоромъ, возвратили Грубова къ настоящей жизни; онъ громко захохоталъ и сталъ одѣваться въ шубу.

Они вышли на улицу и отправились къ той ложбинѣ, которая раздѣляла два конца села. Когда они проходили мимо дома Алексѣя Семеныча, изъ воротъ его выѣхали санки, запряженныя въ одну лошадь; въ санкахъ сидѣла Вѣрочка съ

веселымъ лицомъ, а лошадью правилъ Кугинъ. Грубова они не замѣтили. Но Грубовъ долго смотрѣлъ на нихъ, пока санки не скрылись за поворотомъ въ поле. „Куда это?"—спрашивалъ онъ про себя, и опять что-то тяжелое, какъ черный сонъ, пробѣжало у него по душѣ, но онъ насильно оторвалъ отъ себя мысль о Вѣрочкѣ, о Кугинѣ и Натальѣ. За то другая мысль очень была формулирована имъ; онъ понялъ, что давно уже событія колоніи идутъ мимо его, и онъ теперь не знаетъ, что будетъ завтра. Но вѣдь этого онъ самъ хотѣлъ!...

Черезъ минуту мысли Грубова были отвлечены Антономъ Петровичемъ. Послѣдній всю дорогу разсказывалъ про то, какіе бываютъ бои; Грубовъ сначала иронически слушалъ его, но скоро и самъ заинтересовался. Старый пройдоха былъ неузнаваемъ; онъ разсказывалъ съ мальчишескою торопливостью, несвойственною ни его возрасту, ни положенію... Бои происходили по зимамъ, въ особенности съ наступленіемъ рождественскихъ праздниковъ, и оканчивались только послѣднимъ днемъ масляницы. Въ нихъ принимали участіе всѣ борскіе жители. Конечно, въ дѣйствительной жизни между двумя концами села не существовало никакой видимой причины для вражды. Но чтобы былъ хоть какой-нибудь предлогъ для начатія враждебныхъ дѣйствій, въ памяти деревенскихъ умовъ тщательно сохранялись нѣкоторыя оскорбительныя клички, съ незапамятныхъ временъ данныя для каждаго изъ концовъ. Жители того конца, гдѣ жилъ Антонъ Петровичъ, презрительно назывались „пузанами", а другой конецъ населенъ былъ „вонючими козлами"; этимологія этихъ ненавистныхъ для той и другой стороны выраженій, конечно, утонула въ глубинѣ преданій. Тѣмъ не менѣе, вся соль и весь перецъ ихъ дошли до настоящаго времени и ежегодно подновлялись мордобитіями. Достаточно было назвать жителя одного конца „пузаномъ", чтобы вызвать въ его душѣ горечь и обиду, и въ обыденной жизни эта кличка считалась неприличной. Въ свою очередь, „пузаны" въ обыкновенныхъ сношеніяхъ съ другимъ концомъ избѣгали (изъ вѣжливости, разумѣется) упоминать о козлѣ или объ одномъ изъ его свойствъ, ибо всѣ относящіяся сюда слова считались оскорбительными.

Во время самыхъ боевъ эти приличія уже не соблюдались; напротивъ, оскорбительныя клички варьировались тогда на тысячи ладовъ, разжигая ненависть одного конца противъ

другого. Но самые бои совершались съ соблюденіемъ извѣстныхъ правилъ и формальностей; такъ, по принципу: „лежачаго не бьютъ", не дозволялось дотрогиваться до упавшаго отъ затрещины, и вторую затрещину можно было дать только не иначе, какъ послѣ поднятія упавшаго; съ другой стороны, дозволялось ложиться на-земь, чтобы избѣгнуть дальнѣйшей расправы. Второе, главнѣйшее, правило состояло въ томъ, что сражающіеся имѣютъ право бить только по тѣмъ частямъ тѣла, которыя обусловлены въ началѣ боя. Иногда бой начинался безъ предварительныхъ условій, но нерѣдко обѣ стороны передъ сраженіемъ условливались, бить-ли „по мордамъ", или „по бокамъ". Если условливались „по бокамъ", то „морды" были уже гарантированы отъ кулаковъ. Впрочемъ, эти юридическія нормы подвергались на практикѣ жестокому испытанію, какъ всякіе военные законы.

Антонъ Петровичъ продолжалъ-было разсказывать и дальнѣйшія кулачныя установленія, но въ эту минуту они подошли уже къ полю сраженія.

Прямо передъ ними лежала широкая ложбина, раздѣляющая два конца села. По ея скатамъ, занесеннымъ сугробами, толпился уже народъ. Недалеко отъ того мѣста, гдѣ остановились Антонъ Петровичъ и Грубовъ, по косогору расположились „пузаны", а на противоположномъ косогорѣ стояли „козлы". Враждебныя дѣйствія еще не начались. Слышался только оживленный говоръ, взрывы смѣха и тотъ неопредѣленный гулъ, который производитъ всякая толпа. Только мальчишки съ обѣихъ сторонъ дразнились разными обидными прозвищами и на-бѣгу давали другъ другу легкіе подзатыльники.

Но морозъ къ вечеру такъ окрѣпъ, а вечеръ такъ быстро надвигался изъ-за темнаго бора, что толпѣ трудно стало оставаться въ холодномъ бездѣйствіи. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ внизу ложбины показались съ той и другой стороны взрослые мужики и, похлопывая рукавицами, вызывали противниковъ оскорбительными сравненіями.

Скоро тамъ и сямъ по оврагу нѣсколько паръ мужиковъ уже вступили въ драку. Но сначала драка эта была лѣнивая, „форменная". Въ особенности лѣниво обмѣнивались тумаками два мужика, топтавшіеся внизу прямо противъ Грубова. Когда одинъ изъ нихъ далъ хорошаго тумака по

шеѣ другого, то этотъ не сейчасъ отвѣчалъ ему, а сначала спросилъ лѣниво:

— Ты такъ-то?

— Такъ-то,—отвѣчалъ первый.

— Ну, а я вотъ какъ, — сказалъ второй и треснулъ по боку перваго.

— Такъ ты вотъ какъ?

— Да, я въ такомъ родѣ,—новая затрещина по боку.

— Ну, а я вотъ эдакъ,—новый ударъ по шеѣ.

Эти переговоры, демонстрируемые ударами по шеѣ и по боку, продолжались до тѣхъ поръ, пока обоимъ противникамъ не наскучило такое занятіе.

— Эдакъ, братъ, скушно... давай лучше по мордамъ!—предложилъ одинъ изъ противниковъ.

— Что-жь, давай!—согласился второй и придалъ надлежащую позу своему широкому, заросшему бородой лицу.

Черезъ минуту на это шаршавое лицо уже опустился кулакъ противника въ бараньей рукавицѣ и вызвалъ, повидимому, неудовольствіе у получившаго его,—по крайней мѣрѣ, онъ уже съ нѣкоторымъ раздраженіемъ спросилъ:

— Такъ ты такъ-то?

— Такъ-то,—злорадно возразилъ противникъ.

— Ну, а я вотъ какъ съ пузанами обхожусь!—крикнулъ обиженный и угодилъ по уху обидчика.

Между ними послѣ того закипѣлъ учащенный мордобой.

Грубовъ въ эту минуту невольно долженъ былъ оставить ихъ и перевести свои взоры на другую сторону. По всему оврагу уже началась общая свалка. Въ морозномъ воздухѣ слышались плоскіе шлепки по полушубкамъ, глухіе удары по головамъ и какіе-то мягкіе звуки, вѣроятно, удары голыми руками по голымъ физіономіямъ. По всей ложбинѣ разносились ужасныя и дикія завыванія, которыми каждая сторона старалась вызвать храбрость въ своихъ и ужасъ во врагахъ. Вначалѣ ни та, ни другая сторона не поддавалась; бились одинаково стойко какъ „пузаны“, такъ и „козлы“. Впрочемъ, нѣкоторое время численность сторонъ была равная, такъ какъ много народу толкалось еще безъ дѣла по косогору, въ качествѣ запасныхъ отрядовъ. Но мало-помалу всѣ резервы приняли участіе въ боѣ. И тогда въ оврагѣ, переполненномъ людьми, образовалась густая каша,

въ которой трудно было различить отдѣльныхъ людей, мелькали только руки, да головы, да слышались громкіе шлепки по полушубкамъ или мягкіе удары „по мордамъ“, а надъ всею этою кипящею массой стоялъ сплошной вой охрипшихъ голосовъ.

Грубовъ уже пересталъ смѣяться, нервы его уже сильно были приподняты; онъ тревожно перебѣгалъ взоромъ съ одного конца ложбины на другой, взглядывая по временамъ и на Антона Петровича. Послѣдній молчалъ, но это молчаніе сильнѣе словъ выдавало его волненіе. Онъ напряженно слѣдилъ за боемъ и, видимо, испытывалъ великое смятеніе. Нѣсколько разъ на его лицѣ мѣнялись радость и злоба, смотря потому, какая сторона брала верхъ.

— Эхъ, должно наши подаются!—съ необычайною горечью сказалъ онъ, пытливо слѣдя за ходомъ сраженія.

— Я ничего не вижу,—возразилъ Грубовъ.

Въ кипящей кашѣ онъ, дѣйствительно, не могъ понять, кто кого бьетъ.

— Нѣтъ, подаются! наши подаются! Вонючіе подлецы всѣмъ концомъ двинули!—горько выговорилъ старикъ и сжималъ свои кулаки.

Дѣйствительно, скоро ясно обнаружилось, что „пузаны“ уступали поле битвы и замѣтно вытѣснялись на верхъ косогора. Хриплые крики все ближе и ближе раздавались возлѣ того мѣста, гдѣ стоялъ Грубовъ. Мимо него пробѣжало нѣсколько мужиковъ и парней съ синими, вздутыми физіономіями; пробѣжалъ также какой-то мужикъ, изо рта котораго струилась кровь. Это все были „пузаны“, разбитые и позорно бѣжавшіе.

— Бьютъ нашихъ! Помочь надо!—вскрикнулъ вдругъ Антонъ Петровичъ, и не успѣлъ Грубовъ оглянуться, какъ уже старика не было; онъ шмыгнулъ внизъ по косогору на дно оврага и потонулъ въ кипящей массѣ дерущихся. Очевидно, старичишка не выдержалъ національной обиды, забылъ свой возрастъ, положеніе и состояніе и всецѣло отдался заразительному увлеченію мордобоемъ.

Совсѣмъ уже стемнѣло. На Грубова напало что-то дикое и злое. Изъ одного мѣста до него донеслись чьи-то проклятія и ругань; откуда-то раздавались стоны; гдѣ-то кто-то плакалъ. Мимо него пробѣжали вдругъ два парня, изъ ко-

торыхъ одинъ гнался съ обломкомъ кола за другимъ. Очевидно, шутка, потѣха давно окончилась и перешла въ постоянную, бѣшеную драку. Какъ узналъ на другой день Грубовъ, этимъ всегда дѣло оканчивалось. Начавъ „форменный“ бой, ради взаимнаго удовольствія, для пріятнаго препровожденія времени, вродѣ какъ въ театрѣ, противники мало-по-малу озлоблялись, приходили въ неистовство и, уже ничего не помня, мстительно проламывали другъ другу переносья, ребра и головы. Нерѣдко и до смерти кое-кого забивали.

Характеръ битвы мало-по-малу измѣнился. Хриплые крики и звѣриный вой толпы стихалъ по мѣрѣ того, какъ надъ селомъ разстилалась темная, безлунная ночь. Изувѣченные и побитые удалились. Но за то въ оврагѣ, къ удивленію Грубова, продолжалась какая-то молчаливая возня. Тамъ дрались любители, еще не удовлетворенные дневнымъ боемъ. Они продолжали биться и тогда, когда ихъ накрыла темнота въ оврагѣ, бились молча и сосредоточенно. Это производило странное впечатлѣніе; не слышно было криковъ, стоновъ и шума битвы, оврагъ казался безлюднымъ; оттуда слышались только сотни ударовъ по чему-то мягкому; казалось, выбивали пыль изъ полушубковъ.

Грубовъ ждалъ, когда же эти молчаливые, бездушные удары по чему-то также молчаливому и бездушному окончатся, но такъ и не дождался. Антона Петровича онъ долго искалъ глазами между дерущимися, но также не нашелъ и отправился домой одинъ, недоумѣвая, что сдѣлалось съ обезумѣвшимъ старичишкой.

Только уже на другой день увидалъ его. Зайдя къ нему въ домъ, онъ увидалъ его на печкѣ охающимъ и стонущимъ. „Что съ тобой, Антонъ Петровичъ?“—спросилъ онъ. Но Антонъ Петровичъ въ замѣшательствѣ отвернулся къ темной сторонѣ печки и что-то пробормоталъ насчетъ простуды. Ему совѣстно было сознаться, что вчера у него вышибли два зуба и помяли легкія. Обдумывая все это, Грубовъ печально подумалъ: „О, это ужь слишкомъ большая пропасть между нами и ими!“

Но, кажется, онъ ошибался.

IX.

Господа.

Когда Вѣрочка заскучала окончательно, ей сначала не представлялось никакого выхода. Все ей опротивѣло. Неразовъ ей надоѣлъ. Грубова она ненавидѣла. Мужики были такъ чужды ей, что втайнѣ она удивлялась, какъ это можно въ нихъ найти общество. Ихъ можно учить, лѣчить, у нихъ можно покупать молоко, яйца и мясо, давая взамѣнъ того добросовѣстную плату; надъ ними можно иногда посмѣяться, когда они говорятъ глупости; ихъ нужно изучать, ихъ можно пожалѣть, когда они обнажаютъ нищету, но чтобы войти въ ихъ общество—это неестественная чепуха, абсурдъ. Они были для нея смѣшны, жалки, темны, грубы—только и всего. И Вѣрочка уже подумывала уѣхать изъ этого скучнаго мѣста.

Единственный человѣкъ, общество котораго здѣсь стало ей пріятно, былъ Кугинъ. Онъ съ перваго же дня знакомства понравился ей. Теперь онъ ей нравился за постоянную услужливость, за то, что одинъ ухаживалъ за ней, заботясь о ней до послѣднихъ мелочей. Когда у ней вышли всѣ книги, онъ откуда-то досталъ ей новыхъ; когда ея папиросы были на исходѣ, онъ безъ спросу шелъ въ лавочку и покупалъ ихъ. Нужны-ли ей были башмаки, мыло, сахаръ, теплыя перчатки,—все это онъ доставалъ ей. Замѣтивъ, что она съ большимъ отвращеніемъ говоритъ о неразовской стряпнѣ, онъ уговорилъ ее обѣдать у себя, а чтобы общій столъ Алексѣя Семеныча не показался ей также скуднымъ, онъ то и дѣло заказывалъ Натальѣ сдѣлать что-нибудь лишнее. И Вѣрочка стала съ утра до ночи просиживать у Кугиныхъ,—вѣрнѣе, у Кугина.

Лишь только поутру она показывалась въ горенкѣ, какъ Кугинъ уже встрѣчалъ ее и помогалъ ей раздѣваться, а когда поздно вечеркомъ она собиралась домой на хуторъ, Кугинъ помогалъ ей надѣть пальто, подставлялъ ей калоши, завязывалъ ей концы платка сзади. Потомъ онъ провожалъ ее до самаго хутора пѣшкомъ, если погода стояла теплая, и на лошади, если былъ морозъ.

Днемъ, когда Кугинъ копошился немного на дворѣ, по хозяйству тестя, Вѣрочка сидѣла въ горенкѣ, поджавъ на лавку ноги, и читала книжку или вышивала замысловатый узоръ малороссійской рубахи.

При появленіи въ домъ Кугина, между ними тотчасъ же начинался разговоръ обо всемъ на свѣтѣ. Потомъ наступало время обѣда, потомъ чай вечеромъ. Разговоры велись исключительно между ними одними, хотя бы кто-нибудь присутствовалъ при этомъ изъ членовъ семьи,—словомъ, такъ, какъ будто въ комнатѣ никого не было. Сначала Алексѣй Семенычъ считалъ долгомъ вѣжливости вставить кое-гдѣ свое слово, но потомъ бросилъ, понявъ, что это слово не слушается и ненужно.

Съ такою же правильностью Кугинъ съ Вѣрочкой игнорировали и Наталью. Наталья присутствовала при всѣхъ ихъ разговорахъ, но въ качествѣ прислуги, которая предполагается чужою въ семьѣ и ничего въ ея интересахъ непонимающею. Кугинъ обмѣнивался съ ней только такими словами:

— Наталья, скоро обѣдать?

Или:

— Наталья, поставь, пожалуйста, самоваръ.

Наталья молча исполняла приказанія мужа, а исполнивъ ихъ, садилась на прежнее мѣсто и молчала. Но она напряженно прислушивалась ко всему, что говорили Кугинъ и Вѣрочка. Ей, разумѣется, многое было непонятно, но непонятное она не осмѣливалась разъяснить при помощи мужа. Для этого она обращалась къ Грубову и часто поражала того неожиданными вопросами о такихъ вещахъ, которыя далеко выходили за предѣлы ея маленькаго міра. Грубовъ съ удовольствіемъ объяснялъ, а она жадно, волнуясь, слушала его.

Теперь она жила среди постояннаго волненія. Лицо ея теперь поражало тревожнымъ, вопросительнымъ выраженіемъ. Съ особенною жадностью она слѣдила за Вѣрочкой, подмѣчая все, что въ той было. И, подмѣтивъ что-нибудь выдающееся въ барышнѣ, она старалась дѣлать такъ же. Она переняла отъ Вѣрочки прическу, стала, какъ и Вѣрочка, ходить съ открытою головой, сбросила серги, которыхъ у Вѣрочки не было, сшила себѣ малороссійскую рубашку, тайно и тревожно слѣдила за своимъ лицомъ. Но, бѣдная, она не могла перенять отъ непріятной ей барышни дерзкихъ, блестящихъ

глазъ, свободныхъ менеръ, громкаго смѣха, умѣнья говорить обо всемъ на свѣтѣ. И однажды, понявъ, что она просто глупая баба, вдругъ безсильно опустилась на скамью и заплакала.

Съ этого дня она уже больше не подражала Вѣрочкѣ, а уроки Грубова слушала апатично или машинально. Во взглядѣ ея рисовались испугъ, тревога, разсѣянность.

О чемъ она думала? Быть можетъ, она спрашивала, почему мужъ не говоритъ съ ней такъ охотно, какъ съ Вѣрочкой? Быть можетъ, изумлялась, ради чего эта барышня пріѣхала, вторглась въ ея жизнь, до той поры свѣтлую, и отняла у ней гордость и покой? И чѣмъ все это кончится? Уѣдетъ-ли барышня туда, откуда пріѣхала, или навсегда останется въ ея домѣ?... И ревность стала ослаблять ея сердце.

А Вѣрочка уже часто стала подумывать объ отъѣздѣ. Въ скоромъ времени ей и съ Кугинымъ стало скучно. Ей надо было чѣмъ-нибудь развлечься. А развлеченіе было для нея синонимомъ жизни. Когда она жила въ городѣ, то день ея проходилъ исключительно въ поискахъ развлеченія.

— Возьмите меня съ собой!—сказала она однажды Кугину, когда тотъ, по порученію Алексѣя Семеныча, собрался ѣхать въ боръ, чтобы посмотрѣть цѣлость двухъ стоговъ сѣна.

Кугинъ наружно воспротивился этой эксцентричной просьбѣ; онъ отговаривалъ ее холодомъ, сугробами, плохою дорогой, пугалъ простыми санями, къ которымъ она не привыкла, но внутренно онъ былъ обрадованъ и польщенъ этою просьбой.

Вѣрочка съ оживленіемъ собралась. Дорогой ею овладѣла неудержимая веселость; она болтала и безъ умолку разспрашивала о встрѣчающихся предметахъ; потомъ взяла возжи изъ рукъ Кугина, разогнала въ одномъ мѣстѣ лошадь и опрокинула сани въ сугробъ. Кугинъ ворчалъ, но его заразилъ хохотъ утонувшей въ снѣгъ дѣвушки, а близость къ ней кружила ему голову.

Когда они заѣхали въ боръ, веселость Вѣрочки перешла въ необузданный восторгъ. Она слѣзла съ саней и, утопая въ снѣгу, залѣзла въ самую гущу сосенъ. Тамъ она пробовала кричать, чтобы узнать, какъ раздается эхо въ сосновомъ бору, потомъ запѣла какой-то мотивъ изъ *Снѣ-*

гурочки. Отъ ея голоса вздрагивали ближайшія вѣтки и роняли на ея голову снѣжинки. Кугинъ отъ ея пѣнія забылъ, зачѣмъ пріѣхалъ, и стоялъ очарованнымъ по поясъ въ снѣгу.

— Вы простудите горло!—сказалъ онъ наставительно, но самъ не вѣрилъ своимъ словамъ.

— А вы отморозите уши!—закричала Вѣрочка со смѣхомъ и продолжала ходить по лѣснымъ сугробамъ и пѣть одинъ мотивъ за другимъ.

Вмѣсто нѣсколькихъ минутъ, они провели въ лѣсу нѣсколько часовъ. На возвратномъ пути Вѣрочка озябла, но это только забавляло ее.

— Я никогда не видала бора въ тихую ночь, освященнаго луной... Съѣздимъ же когда-нибудь?—сказала она.

Кугинъ сопротивлялся, но, въ концѣ-концовъ, обѣщалъ.

Съ этого дня Вѣрочка сопровождала Кугина всюду, куда только онъ ѣздилъ по дѣламъ. Она уже не просила его, а просто говорила:

— И я съ вами поѣду.

Кугинъ не могъ въ этомъ отказать ей. Сначала ему нравилось, что Вѣрочка за всѣмъ обращается именно къ нему,—это предпочтеніе ея передъ всѣми товарищами удовлетворяло его тщеславіе. Но дальше ему стало вообще пріятно проводить съ ней время. Съ товарищами онъ разошелся; къ импровизированной семьѣ своей онъ втайнѣ питалъ пренебреженіе, къ женѣ—равнодушіе. Съ мужиками онъ иногда возился не по внутреннему влеченію, а по влеченію ко всему модному; мужики же были одно время въ модѣ. По тѣмъ же побужденіямъ онъ, въ сущности, и на Натальѣ женился. Но женившись, считалъ себя совершившимъ все хорошее по отношенію къ ней. Онъ былъ увѣренъ, что исполнялъ всѣ свои обязательства къ ней; онъ ее не ругалъ, не билъ, какъ мужикъ, но, въ то же время, не считалъ себя обязаннымъ любить ее. Когда онъ замѣтилъ ея беременность, это не обрадовало и не испугало его; совершенно естественно, что у нихъ будутъ дѣти, хотя онъ и не любилъ ее.

Однажды желаніе Вѣрочки побывать въ бору при лунномъ освѣщеніи исполнилось.

Стояла тихая, съ небольшимъ морозомъ, ночь, когда они

выѣхали изъ села. Лунный свѣтъ господствовалъ; въ природѣ, казалось, все померкло и потонуло въ его неопредѣленномъ блескѣ; умерли всѣ звуки, застыли всѣ предметы; снѣжное поле превратилось въ фантастическую пустыню; боръ издали представлялся мрачною тучей, спустившеюся съ неба до самой земли.

Дорогой Вѣрочка оживленно восторгалась всѣмъ, что видѣла. Но торжественная тишина ночи, пустынное поле,— все это отразилось на ней тѣмъ, что она умолкла и только широко раскрытыми глазами впивалась въ полутемное пространство. Ей чувствовалось, что все въ мірѣ умерло, погибло, замолкло, и только они одни остались. Но когда они въѣхали въ боръ и санки перестали скрипѣть полозьями, настала страшная тишина. Вѣрочка прошептала слова восторга, но ея шепотъ раздался дико, какъ порывъ вѣтра. Это произвело на нее такое впечатлѣніе, что она боялась пошевелиться. И черезъ нѣсколько минутъ, чувствуя безпричинный ужасъ среди этой застывшей, вымершей пустыни, она попросила Кугина ѣхать назадъ.

Они возвращались шагомъ. Кугинъ пробовалъ поддерживать разговоръ, но у него отъ волненія прерывался голосъ. Да Вѣрочка и не отвѣчала; чувство безпричиннаго страха такъ охватило ее, что она боялась смотрѣть по сторонамъ, и прижималась, какъ ребенокъ, къ сидѣвшему рядомъ Кугину. Кугинъ время отъ времени заглядывалъ ей въ лицо и дрожащимъ голосомъ освѣдомлялся, не холодно-ли ей и спокойно-ли ей сидѣть. Вѣрочка только качала головой и отвѣчала только взглядомъ. Въ одно изъ этихъ мгновеній, нагнувшись къ ней, Кугинъ прикоснулся горячимъ лицомъ къ ея лицу и несмѣло поцѣловалъ ее. Вѣрочка не оттолкнула его, а посмотрѣла только съ удивленіемъ.

— Вы не думайте ничего... Это я какъ товарищъ,—тихо сказалъ Кугинъ, но дрожащій голосъ говорилъ противное.

— Не дѣлайте этого... зачѣмъ?—прошептала Вѣрочка, но не отводила лица отъ Кугина, не оттолкнула его.

На нихъ обоихъ напало то душевное оцѣпенѣніе, когда исключительно господствуетъ только одна страсть.

Но скоро замелькали первые дома деревни. Вѣрочка вдругъ заволновалась, заторопилась и рѣзко велѣла себя высадить на томъ поворотѣ, который шелъ къ неразовскому хутору.

Кугинъ хотѣлъ ее довести домой на лошади, но она отказалась и торопливо пошла одна.

Скоро Кугинъ и село скрылись изъ ея глазъ. Оставшись среди пустыря одна, она вдругъ остановилась, оглянулась вокругъ и громко зарыдала,—не отъ страха, но какая-то неизмѣримая тяжесть легла ей на сердце. Она чувствовала безконечную тоску, какъ будто съ ней случилось какое-то огромное несчастіе.

Нѣкоторое время спустя Неразовъ отворилъ ей дверь, но ея лицо было такъ закутано платкомъ, что онъ ничего не замѣтилъ. Потомъ, когда она уже была въ своей комнатѣ, онъ услышалъ ея сдержанное рыданіе и хотѣлъ войти къ ней, но побоялся. Лицо его исказилось состраданіемъ, на глазахъ добряка выступили слезы и онъ подумалъ:

„Скучно, должно быть, бѣдняжкѣ!“

Но это было невѣрно. У Вѣрочки, кромѣ постояннаго ощущенія скуки, были еще рѣдкія мгновенія, когда душа ея судорожно искала чего-то невѣдомаго; тогда она казнила себя за эгоизмъ, за пустоту, за мелкую жизнь. Еслибы въ такую минуту нашелся такой, который бы указалъ ей путь, она пошла бы по немъ и была бы готова на подвигъ, на кровавую жертву, на самую смерть, лишь бы не чувствовать постылой жизни...

Но проходили эти мгновенія и Вѣрочка становилась прежнею. Прошла ночь, и на другой день Вѣрочка поѣхала съ Кугинымъ въ сосѣднюю деревню, гдѣ ей собственно дѣлать было нечего, но по дорогѣ куда она могла весело провести время. Она только стала сдержаннѣе въ отношеніяхъ съ Кугинымъ.

Но что они были неразлучны—это, наконецъ, обратило всеобщее вниманіе; даже Алексѣй Семенычъ встревожился и, чтобы успокоить себя, обратился однажды за разъясненіемъ къ Грубову.

— Завсегда такъ бываетъ промежъ господъ? — наивно спросилъ онъ.

Грубовъ посмѣялся надъ нимъ и объяснилъ все въ шутку, но въ душѣ думалъ иначе. Онъ попробовалъ опять отвязаться отъ этого непріятнаго дѣла: „Пусть что угодно продѣлываютъ, мнѣ-то что?“

Но непріятность насильно лѣзла въ голову и требовала

къ себѣ опредѣленнаго отношенія. Въ концѣ-концовъ, Грубовъ сталъ снова волноваться, негодовалъ, и все это приняло такіе размѣры, что его мысли исключительно стали обращаться къ Вѣрочкѣ и Кугину.

„Чортъ ихъ возьми! Пріѣхали работать, а занимаются романами, какъ послѣдніе повѣсы!"—бѣсился онъ внутренно.

Иногда онъ даже сомнѣвался.

„Да неужели это правда?... Да не можетъ быть..."

Но дѣло не въ томъ, что романъ какой-то происходитъ, а въ томъ, что Кугинъ и Вѣрочка всюду показывались вмѣстѣ. Въ страшномъ переполохѣ, не зная, что дѣлать, взбѣшенный и растерянный, Грубовъ, наконецъ, рѣшилъ обратиться къ самому Кугину, обратиться безъ оскорбленія и безъ ложнаго стыда, съ товарищескимъ совѣтомъ. И Кугинъ послушается; надо только затронуть его чувства чести и порядочности, а эти чувства были въ немъ.

Грубовъ такъ и сдѣлалъ.

Однажды Кугинъ ѣхалъ зачѣмъ-то въ лѣсъ. На поворотѣ къ хутору ему встрѣтился Грубовъ. Кугинъ сумрачно взглянулъ на него, пробормоталъ что-то и хотѣлъ проѣхать дальше, но Грубовъ вдругъ обратился къ нему съ просьбой:

— Вы въ лѣсъ? Возьмите меня. Я хочу немного проѣхаться...

Кугинъ искоса взглянулъ на товарища, но остановилъ лошадь и очистилъ мѣсто въ саняхъ. Грубовъ сѣлъ и они поѣхали. Нѣкоторое время длилось тягостное молчаніе. Кугинъ не зналъ, чему приписать желаніе Грубова съ нимъ проѣхаться. Грубовъ былъ сильно взволнованъ предстоящимъ объясненіемъ. Не видя Кугина, онъ это объясненіе представлялъ себѣ очень просто, но когда онъ сѣлъ рядомъ съ этимъ человѣкомъ, онъ растерялся отъ страшной трудности разговора.

Кугинъ первый не выдержалъ молчанія.

— Вы въ послѣднее время что-то перестали давать уроки Натальѣ?—замѣтилъ онъ равнодушно.

— Она сама отказалась на время... Ей, видимо, нездоровится,—возразилъ Грубовъ съ напряженнымъ вниманіемъ.

— Да, она что-то киснетъ...

Грубовъ очень взволновался при этихъ словахъ Кугина, такъ какъ они прямо вели его къ цѣли, и онъ уже хотѣлъ

намекнуть на беременность молодой женщины, чтобы затѣмъ прямо и открыто поговорить, но Кугинъ предупредилъ его:

— Это и лучше. Пусть она отдохнетъ, а то вы гоните ее на всѣхъ парахъ... Да и вамъ, чай, надоѣли эти уроки... Я слышалъ, вы были на бою? Что тамъ такое происходитъ?—говорилъ Кугинъ.

Грубовъ пожалъ плечами, недовольный такимъ неожиданнымъ поворотомъ.

— Я былъ. Непріятно! Старинная забава русскаго человѣка.

— Хороша забава!... Какъ много еще дикости въ нашемъ мужикѣ!

— Пожалуй. Но дикость не всегда сопровождается порокомъ.

— По-вашему, когда люди начинаютъ бить другъ друга по мордѣ, это не порокъ?

— Не знаю. Но если мордобитіе считать порокомъ, тогда я не понимаю, какъ можно снисходительно смотрѣть на культурное общество, большая часть заботъ котораго по существу такъ же дика. По крайней мѣрѣ, я не въ состояніи раздѣлить балъ, на которомъ люди превращаются въ лошадей, и мужицкую пляску; циркъ, гдѣ люди сознательно наслаждаются жестокимъ ужасомъ, и кулачный бой, гдѣ мужики съ удовольствіемъ колотятъ другъ друга по физіономіямъ...

— Это не интеллигенція!—воскликнулъ Кугинъ.

— Все равно. Разница между нами и мужиками есть,—разница часто неизгладимая, но не всегда въ пользу насъ.

Говоря это, Грубовъ бѣсился внутренно, что говоритъ не то, что нужно. Но цѣль ускользала изъ его рукъ. Онъ готовъ былъ придраться къ первому попавшемуся случаю, чтобы заговорить о томъ, что хотѣлъ, но разговоръ уходилъ все дальше и дальше отъ намѣренія.

— Это ненужное самоуничиженіе!—возразилъ Кугинъ.—Если я вижу отвратительное явленіе въ мужикѣ, то я такъ и называю его—отвратительнымъ.

— Сдѣлайте одолженіе, называйте. Но помимо отвратительнаго, есть чистое...

— Назовите такое явленіе въ мужицкой жизни, передъ которымъ бы я долженъ преклониться?—спросилъ Кугинъ.

— Назвать едва-ли можно; пришлось бы разбирать всю

остановилась, и товарищи въ продолженіе нѣсколькихъ мгновеній смотрѣли другъ на друга съ нескрываемою ненавистью.

— Довольно, Кугинъ! Я утверждаю, что ваши отношенія къ женѣ безчестны, и намъ не о чемъ больше разговаривать! Но я все-таки сдѣлаю, что Зиновьевой здѣсь не будетъ!

И, выговоривъ это, онъ порывисто повернулся обратно къ селу. Кугинъ, ударивъ лошадь, ускакалъ по направленію къ лѣсу.

Грубовъ сознавалъ, что съ этой минуты колонію можно считать разбитою; ея нѣтъ больше, какъ нѣтъ больше товарищества.

Но, по странной логикѣ, шагая по снѣгу къ селу, онъ продолжалъ гнѣваться, страдать и придумывать средство сохранить дѣло. Онъ снялъ шапку и шелъ нѣкоторое время съ непокрытою головой, которая пылала до физической боли; во рту у него пересохло, какъ во время горячки. Чтобы утолить жажду, онъ схватилъ въ горсть снѣгу и глоталъ его большими кусками. Онъ былъ такъ потрясенъ всѣмъ случившимся, что долго не могъ опомниться. Въ особенности ему тяжело было сознаніе непоправимой враждебности къ нему Кугина. Этого-ли онъ хотѣлъ, когда шелъ на объясненіе? До объясненія положеніе было простымъ, легкимъ и яснымъ; послѣ объясненія все осложнилось и запуталось до неузнаваемости и отравлено было цѣлымъ потокомъ взаимной вражды. Объясненіе касалось, въ сущности, мелкаго случая, но когда оно кончилось, мелкій случай выросъ въ цѣлое событіе, грознымъ по размѣрамъ и мучительнымъ по своей силѣ.

Грубовъ шелъ съ опущенною головой; лицо его сдѣлалось вдругъ истомленнымъ, глаза впали, какъ послѣ тяжкаго физическаго потрясенія. Онъ чувствовалъ сильнѣйшую разбитость и растерянность.

Но вдругъ его озарило рѣшеніе. „Да уйти отъ грѣха, только и всего“,—вдругъ подумалъ онъ съ радостью. Бросить все и уѣхать изъ колоніи; вѣдь никакой кровной связи съ ней у него нѣтъ!... Это сразу его успокоило и сразу все стало ясно и просто. Не нужно больше думать о враждебности Кугина, незачѣмъ думать о самомъ Кугинѣ, незачѣмъ съ кѣмъ бы то ни было объясняться, незачѣмъ упра-

шивать Вѣрочку Зиновьеву, совсѣмъ не надо больше думать объ этомъ пропащемъ дѣлѣ!... Выходъ очень простой: наплевать на все и уѣхать самому.

Грубовъ сразу успокоился и быстро шагалъ по дорогѣ. Рѣшеніе свое онъ формулировалъ прямо:

„Чортъ съ ними! Наплевать!“

На душѣ у него сдѣлалось такъ легко, словно онъ избавился отъ какой-то мучительной каторги. И сейчасъ же появилось ироническое настроеніе: все, что происходило въ колоніи, и самая колонія, и самъ онъ,—все сразу представилось въ курьезномъ видѣ, такъ что онъ громко захохоталъ.

Но, къ несчастію для него, онъ не успѣлъ во-время выполнить своего чудеснаго рѣшенія, а долженъ былъ до конца допить горькую, ядовитую чашу товарищества. Черезъ нѣсколько дней въ колоніи поднялась такая возня, что даже близкіе къ ней мужики замѣтили это.

— Опять наши господа чтой-то забѣгали!... Чтой-то у нихъ случилось... И шутъ ихъ знаетъ, чего они безперечь безпокоются!

X.

Конецъ путаницѣ.

Послѣ „товарищескаго“ разговора Грубова и Кугина личные счеты такъ вдругъ запутались, что никакою двойною бухгалтеріей нельзя было учесть ихъ. Началось съ того, что Кугинъ разсказалъ Вѣрочкѣ съ разными намеками конецъ своего разговора съ Грубовымъ, т.-е. угрозу послѣдняго выдворить Вѣрочку. Вѣрочка обомлѣла и внѣ себя отъ оскорбленія назвала Грубова въ присутствіи Неразова низкимъ человѣкомъ. Взволнованный Неразовъ сталъ защищать друга, но Вѣрочка сослалась на Кугина, который, по ея словамъ, имѣетъ доказательства низости Грубова. Тогда Неразовъ побѣжалъ къ Кугину объясняться, но, вмѣсто объясненія, назвалъ его подлецомъ. За это Кугинъ выгналъ его изъ дому, заявивъ, что онъ больше съ нимъ не знакомъ. Въ свою очередь, Вѣрочка написала записку Грубову, гдѣ

требовала, чтобы онъ публично объявилъ причину, почему онъ требуетъ выхода ея, Вѣрочки. Но такъ какъ Грубовъ, сидя въ своей крѣпости ироническаго настроенія, на записку не отвѣтилъ, то къ нему, по порученію Вѣрочки, отправился самъ Кугинъ. Кугинъ по дорогѣ рѣшилъ, что дастъ Грубову пощечину, если онъ откажется удовлетворить требованіе Вѣрочки. Однако, вмѣсто объясненія, произошла новая неожиданность. На требованіе Кугина Грубовъ съ равнодушною улыбкой сообщилъ, что объясняться ему больше не къ чему, такъ какъ къ колоніи онъ больше не принадлежитъ.

— Я на-дняхъ совсѣмъ уѣду.

Кугинъ остолбенѣлъ отъ этихъ словъ и не нашелся, что сказать въ отвѣтъ; въ замѣшательствѣ онъ отправился домой, будучи не въ силахъ разобраться въ страшной путаницѣ. Ясно онъ понялъ только то, что съ уходомъ Грубова, въ сущности, все дѣло рушится, такъ какъ одинъ-на-одинъ съ Неразовымъ Кугинъ не желалъ имѣть никакихъ сношеній, во-первыхъ, потому, что Неразовъ „дуракъ", а, во-вторыхъ, „бѣшеная собака".

Остолбенѣла и Вѣрочка. Сначала она не нашлась, что дѣлать, но вслѣдъ затѣмъ лучшія стороны ея натуры взяли верхъ.

— Въ такомъ случаѣ, лучше я выйду!—вскричала она со слезами на глазахъ. И такъ какъ рѣшенія ея, хорошія и дурныя, созрѣвали и исполнялись мгновенно, то она на слѣдующій же день собралась уѣзжать.

Мгновенно изъ глубины ея сердца вырвались наружу чистыя и великодушныя побужденія и мгновенно же исчезли все недоброжелательство, вся злоба къ остающимся. Ей вдругъ стало больно и жалко покидать колонію, и всѣ товарищи показались ей честными и лучшими людьми. Прощаясь, она нѣсколько разъ крѣпко пожала руку Неразову, а Грубову велѣла передать просьбу, чтобы онъ не думалъ о ней дурно. Она со слезами на глазахъ простилась съ Алексѣемъ Семенычемъ и съ его старухой, простилась съ собакой ихъ „Волчкомъ", потрепавъ его за уши; поцѣловала Наталью. И когда она выѣхала за село, ни одной злой мысли противъ кого-нибудь изъ оставшихся у ней не было. Правда, она ничѣмъ и не жертвовала, уѣзжая; колонія осталась чуж-

дымъ для нея дѣломъ; друзей она не нашла тамъ. Къ Кугину же она вдругъ сдѣлалась равнодушною. Что онъ ей? Она не любила его и не могла любить.

Но не то Кугинъ. Съ той самой минуты, какъ она рѣшилась уѣхать, онъ ходилъ, какъ опущенный въ воду. Онъ не находилъ словъ, чтобы отговорить ее отъ выхода, но, въ то же время, чувствовалъ, что съ ея отъѣздомъ онъ погибъ. Онъ полюбилъ ее съ узкою безповоротностью себялюбивой натуры, не знающей другихъ законовъ, кромѣ своихъ желаній; въ этой любви для него теперь все сосредоточилось— жизнь, счастье, дѣла, убѣжденія, будущее. Колонія была ему безъ Вѣрочки отвратительна, товарищи ненавистны, и счастье онъ связывалъ только съ ней; внѣ ея ничего не было—пустота.

За ней онъ пошелъ нанимать лошадей до станціи; потомъ за ней онъ отправился на хуторъ и вмѣстѣ съ ней укладывалъ ея вещи. И когда она сѣла въ сани, онъ также сѣлъ рядомъ съ ней, не сказавъ даже, до котораго мѣста онъ хочетъ проводить ее. Дорогой онъ безумно молчалъ. Онъ не смѣлъ сказать ей о своей любви, но, въ то же время, не думалъ и скрывать ее. Онъ сидѣлъ рядомъ съ ней, но не думалъ, куда онъ ѣдетъ и гдѣ остановится.

Наконецъ, ужь Вѣрочка сама ему напомнила.

— Ну, намъ пора разстаться... Мы и такъ ужь далеко отъѣхали, вамъ тяжело будетъ возвращаться пѣшкомъ,— сказала она съ грустнымъ лицомъ, но безъ тяжелаго чувства.

Кугинъ машинально сталъ вылѣзать и слѣзъ прямо въ мокрый, таявшій снѣгъ. Лицо его исказилось такъ, какъ будто онъ хотѣлъ зарыдать. Но онъ не зарыдалъ, а съ внезапно вспыхнувшею злобой, отъ которой у него помутились глаза, закричалъ:

— Въ сущности, вы не добровольно уѣзжаете, а гонятъ васъ!

Вѣрочка поблѣднѣла, но сдержанно проговорила:

— Не говорите такъ... Я добровольно уѣзжаю. Еслибы я не уѣхала, уѣхалъ бы Грубовъ...

— Онъ не уѣхалъ бы! Это съ его стороны подло обдуманная тактика!

На этомъ они разстались. Кугинъ, стоя глубоко въ рых-

ломъ мартовскомъ снѣгу, съ безумнымъ лицомъ смотрѣлъ, какъ ее увозили сани. Она нѣсколько разъ оглядывалась и махала ему платкомъ и что-то кричала съ веселымъ лицомъ, а онъ стоялъ безъ движенія и смотрѣлъ, какъ она уѣзжала. Еслибы она оттуда закричала: „Идите ко мнѣ, уѣдемъ!" — онъ бы бросился черезъ оврагъ, наполненный рыхлымъ снѣгомъ съ водой, и уѣхалъ бы съ ней. Но она велѣла ему слѣзть, и онъ слѣзъ, повинуясь ея власти. Она не звала его, и онъ не трогался съ мѣста.

А Вѣрочка,—кто ее знаетъ?—думала искренно, что своимъ выходомъ приноситъ жертву или этими словами въ послѣдній разъ рисовалась передъ Кугинымъ. Настроеніе ея всегда быстро мѣнялось, и, вѣроятно, она отъ всего сердца хотѣла принести посильную жертву, когда собиралась въ дорогу. Но когда Кугинъ сказалъ ей прощальныя слова, мысли ея сразу перемѣнились. Слова Кугина врѣзались ей въ память, и она не могла отвязаться отъ нихъ; эти слова затемнили все то, что было хорошаго въ ея душѣ, вызвали въ ней снова память объ оскорбленіи и разожгли ея злорадство. „А! меня выгнали!... Ну, такъ тогда другое дѣло!" И она уже раскаивалась, что поддалась минутному чувству. Ей надо было бы на зло остаться, пусть злился бы Грубовъ, а она прониклась глупымъ великодушіемъ. Ей сдѣлалось обидно, злость овладѣла ею, злость и тоска: злость, что она сдѣлалась наглою жертвой; тоска, что она вдругъ осталась одна, безъ друзей, брошенная... И въ порывѣ этой тоски она написала на станціи записку Кугину: „Пріѣзжайте въ городъ по слѣдующему адресу".

Кугинъ эту записку получилъ на другой день рано утромъ. Никому ничего не сказавъ, онъ нанялъ лошадей до станціи и уѣхалъ.

Когда объ его отъѣздѣ узнали Неразовъ и Грубовъ, то сначала обомлѣли. Потомъ Неразовъ готовъ былъ заплакать, а Грубовъ пришелъ въ такое неистовство, что рѣшился тотчасъ ѣхать вслѣдъ за Кугинымъ и вернуть его силой; онъ чувствовалъ, что способенъ теперь на самый дикій поступокъ. Но онъ не успѣлъ выполнить ни одного изъ этихъ намѣреній, благодаря Натальѣ, которая своимъ обдуманнымъ рѣшеніемъ сразу все распутала и сдѣлала положеніе страшно яснымъ.

Въ послѣднее время о ней всѣ позабыли, занятые личными счетами и передрягами. Даже Грубовъ на время забылъ о ней. Но за-то сама она слишкомъ много думала и понимала все, что происходитъ вокругъ нея.

Вся зима прошла для нея въ сильнѣйшихъ душевныхъ переворотахъ. Въ первое время по пріѣздѣ Вѣрочки она чего-то сразу испугалась; лицо ея сдѣлалось напряженнымъ, вдумчивымъ, сосредоточеннымъ. Счастливая до той минуты, она теперь выглядѣла страдающей.

Потомъ Наталья вдругъ сдѣлалась жалкою. На лицѣ ея, кромѣ испуга, стало рисоваться отчаяніе. Она поняла, что передъ барышней въ глазахъ мужа она—дура, темная, низкая; она поняла, что бороться съ барышней у ней нѣтъ средствъ. Ту любовь, которая съ первой минуты засвѣтилась у ея мужа къ барышнѣ, она, Наталья, ничѣмъ не можетъ перевести на себя; она можетъ только умолять объ этой любви... упасть къ ногамъ мужа и умолять его пожалѣть ее. И она жалко плакала, когда оставалась одна.

Но вдругъ одно время на лицѣ ея показалась ненависть и жажда постоять за себя. Она ничѣмъ не могла выразить этихъ чувствъ, но они ярко горѣли на ея лицѣ. Когда она теперь встрѣчала Вѣрочку, выраженіе ея лица было гордое. Испугъ ея прошелъ; она перестала жалѣть себя. Она не думала больше о себѣ. Всѣ ея мысли обратились на мужа и на барышню.

Такъ продолжалось до отъѣзда Вѣрочки. Во время сборовъ послѣдней и послѣ ея отъѣзда неопредѣленная надежда зародилась въ сердцѣ Натальи. Но вотъ утромъ уѣзжаетъ Кугинъ. Лицо ея и вся фигура опять на время сдѣлались жалкими. Она поднимаетъ оброненную имъ записку, читаетъ и холодѣетъ. Она заплакала, какъ ребенокъ; она опять на время казалась испуганною и умоляющею о пощадѣ. „Миша, не губи меня!"—жалко прошептала она про себя нѣсколько разъ, какъ будто мужъ могъ услышать ее.

Никто не видѣлъ и не зналъ, что съ ней происходитъ. Домашніе не обратили вниманія даже на отъѣздъ Кугина. Да Наталья ни за что на свѣтѣ и не созналась бы, что ея мужъ уѣхалъ за другой. Лучше смерть!

До половины этого дня она ходила жалкою и потерянною, съ опущенною головой, съ умоляющимъ взоромъ. Но къ ве-

черу лицо ея еще разъ преобразилось. Въ глазахъ ея вдругъ показались торжество и радость, вся она приподнялась и гордо смотрѣла куда-то въ даль, открывавшуюся изъ оконъ. Это она считала средствомъ воротить бѣглеца и его любовь. Она думала о немъ раньше, но только теперь поняла, какое оно могучее. Благодаря ему, онъ пріѣдетъ. Онъ непремѣнно вернется и съ рыданьемъ припадетъ къ ней и будетъ обнимать ее. Онъ будетъ на колѣняхъ умолять ее пощадить его и будетъ звать громко, чтобы она взглянула на него хоть разъ и сказала ему ласку. И она проститъ его. Какъ же не простить, когда онъ ей мужъ и когда она до смерти любитъ его? Онъ сдѣлалъ ее счастливою, и у ней нѣтъ злобы противъ него...

Потомъ ее одѣнутъ во все лучшее, что онъ любилъ, и отнесутъ ее за село, подъ березы и кусты черемухи, гдѣ они часто съ нимъ сидѣли, между крестовъ. Онъ пойдетъ всюду, куда ее понесутъ, и будетъ съ любовью глядѣть на ея лицо. Когда ее туда принесутъ, онъ еще разъ поцѣлуетъ ее и скажетъ еще разъ, чтобы она простила его. Она уже простила ему, потому что знаетъ, что онъ вернется къ ней съ любовью, которой она при жизни не знала...

Съ совершенно разумнымъ лицомъ, Наталья вышла изъ комнаты, прошла въ чуланъ, отыскала порошокъ, который мужъ ей привезъ для отравы крысъ, и съ лихорадочною поспѣшностью съѣлъ его двѣ горсти, а чтобы не слышать отвратительнаго вкуса, жадно запила водой. Лицо ея въ эти минуты стало поразительно похожимъ на лицо отца въ тѣ мгновенія, когда онъ говорилъ о Богѣ и о правдѣ и описывалъ картины райскаго блаженства; лицо ея было, въ одно и то же время, гордое и свѣтлое, вѣрующее и счастливое.

Грубовъ уже собирался ѣхать съ Ефремомъ на станцію; лошади были запряжены. Но въ ту минуту, когда онъ выходилъ изъ дверей флигеля, во дворъ со всего размаху, верхомъ на лошади, прискакалъ Алексѣй Семенычъ; онъ былъ въ одной рубахѣ, безъ шапки, а въ рукахъ его зачѣмъ-то была палка.

— Митрій Иванычъ, Наталья кончается!—крикнулъ онъ, подскакивая къ самому крыльцу, гдѣ стоялъ Грубовъ.

Грубовъ помертвѣлъ, но не сказалъ ни слова, а прямо

бросился бѣжать по улицѣ, какъ будто онъ заранѣе зналъ, что такъ именно надо бѣжать. Когда онъ вбѣжалъ въ комнату, тамъ уже собрались всѣ домашніе и двѣ сосѣдки-старухи.

— Васъ она хочетъ видѣть,—сказала Грубову одна изъ старухъ.

Грубовъ подошелъ къ самой постели Натальи, которая судорожно билась.

— Что съ тобой, Наташа?—спросилъ онъ громко.

Но та не отвѣчала, хотя широко раскрытыми зрачками смотрѣла на него. Она боролась съ страшными судорогами и не могла говорить, но въ одно мгновеніе, сжавъ страшнымъ усиліемъ прыгавшую нижнюю челюсть, она взглядомъ подозвала его къ себѣ и, когда онъ наклонился къ ней, она прошептала неслышно для другихъ:

— Когда онъ вернется, не говорите ему правду...

— Несчастная! что ты сдѣлала?—прошепталъ онъ и догадался о причинѣ судорогъ.

— И никогда не говорите... Я простила ему, а онъ будетъ любить...

На мгновеніе опять на ея лицѣ и глазахъ показались торжество, гордость и радость, но начавшіяся вновь судороги исказили ея черты, и въ нихъ нельзя уже было узнать, чѣмъ гордилась она и кому прощала.

Грубовъ отошелъ прочь, въ дальній уголъ комнаты, и съ застывшимъ лицомъ смотрѣлъ и слушалъ, какъ бѣгали и кричали люди, какъ пріѣхалъ священникъ и сталъ читать громко какую-то молитву. Потомъ онъ увидалъ, что ему дѣлать здѣсь больше нечего, и онъ совсѣмъ вышелъ прочь изъ дому.

Онъ былъ въ томъ состояніи нелѣпой практичности, которая часто является въ самые ужасные моменты. Идя домой, онъ думалъ о томъ, какъ лучше всего извѣстить Кугина о смерти жены, какое письмо и въ какихъ выраженіяхъ онъ напишетъ, сколько словъ будетъ содержать тегеграмма, доѣдетъ-ли по испорченной дорогѣ Ефремъ, накормлены-ли лошади овсомъ. А когда Ефремъ съ письмами и телеграммами отправился, Грубовъ сталъ соображать, какъ похоронить умершую, что надо купить для похоронъ, сколько придется истратить денегъ, и если не хватитъ наличныхъ, то

гдѣ ихъ достать. Только когда на третій день онъ увидалъ возвращающагося изъ города Кугина, бездушныя мелочи разомъ сгинули и въ его душѣ всталъ цѣликомъ образъ простой, наивной женщины, которую всѣ любили, а онъ, быть можетъ, больше другихъ. И тогда у него явилось то подавляющее горе, которое въ нѣсколько часовъ разрушаетъ нѣсколько лѣтъ жизни.

Прошло болѣе двухъ недѣль со дня похоронъ.

Товарищи за это время ни разу не видались. Каждый жилъ наединѣ съ собой. Но, въ то же время, никто изъ нихъ не трогался съ мѣста, подъ вліяніемъ какого-то стыда, хотя всѣ сознавали, что дѣло надо кончить и разойтись въ разныя стороны. Смерть Натальи съ страшною ясностью показала, что здѣсь больше нечего дѣлать. Только никто не рѣшался первый подняться съ мѣста и уѣхать.

Наконецъ, по просьбѣ Неразова, пригласившаго Грубова и Кугина записками къ себѣ на хуторъ, однажды всѣ сошлись для ликвидаціи. Когда они увидали другъ друга въ первый разъ послѣ похоронъ, это была для всѣхъ тяжелая минута. Они какъ будто не узнавали другъ друга и обращались какъ чужіе люди, едва знакомые. Неразовъ сильно конфузился, когда встрѣчалъ по очереди Кугина и Грубова; Грубовъ былъ сильно взволнованъ и къ Неразову обращался на „вы". Кугинъ ни на кого не могъ взглянуть прямо.

Да, можетъ быть, они и въ самомъ дѣлѣ не узнавали другъ друга. Въ особенности измѣнился Кугинъ. На него тяжело было смотрѣть. Изъ красавца онъ сдѣлался какимъ-то хилымъ и больнымъ; онъ держался сгорбленно и судорожно улыбался. На его осунувшемся лицѣ слѣда не было прежняго Кугина, рисовавшагося каждымъ своимъ движеніемъ. Вся его сценическая эффектность смыта была первою жизненною драмой, въ которой онъ поневолѣ сыгралъ заглавную роль.

Тяжелое молчаніе нарушено было Неразовымъ. Краснѣя и волнуясь, онъ сказалъ:

— Надо, господа, поговорить... какъ намъ теперь?

— Разойтись-то?—спросилъ Грубовъ серьезно и потомъ добавилъ:—Очень просто.

Послѣ еще нѣсколькихъ минутъ молчанія Грубовъ, ни къ кому не обращаясь, высказалъ просьбу — оставить въ соб-

ственность Ефрема все то имущество товарищества, которое было у него на рукахъ. Неразовъ съ торопливою радостью изъявилъ свое согласіе на это предложеніе. Кугинъ молча согласился. Онъ самъ, не поднимая головы, высказалъ такую же просьбу относительно Алексѣя Семеныча, во дворѣ котораго также находилась часть товарищескаго имущества. Неразовъ съ восторгомъ и на это согласился.

Кугинъ первый поднялся. Все также сгорбленный, не поднимая головы и не подавая никому руки, онъ всталъ съ мѣста и съ тяжелою медленностью вышелъ изъ хутора. Въ тотъ же день къ вечеру онъ совсѣмъ уѣхалъ изъ села. Но, прежде чѣмъ уѣхать навсегда, онъ, выѣхавъ за околицу, свернулъ на кладбище и тамъ оставался съ полчаса. Желаніе Натальи сбылось: несчастный стоялъ на ея могилѣ. Не сбылась только ея надежда на его любовь. Онъ стоялъ у свѣжей кучи глины и тупо на нее смотрѣлъ. И не плакалъ, и не любилъ, да едва-ли послѣ всего и въ будущемъ могъ любить кого-нибудь. Для любви все же нужна свѣжая сила, а онъ сталъ развалиной.

Черезъ нѣсколько дней и Грубовъ собрался. Къ нему приходили прощаться всѣ его знакомые мужики и бабы, и всѣ просили у него что-нибудь на память. Онъ роздалъ, что у него было, но это привело его въ сквернѣйшее настроеніе. Правда, корыстные взоры мужиковъ и бабъ были мелки и наивны: такъ, замѣтивъ коробку изъ-подъ килекъ, одинъ жадный мужиченко съ конфузомъ попросилъ:

— Ужь ты мнѣ благослови штуку-то эту...

Но и эта мелкая жадность раздражала.

— Возьми, возьми!—говорилъ Грубовъ торопливо.

Въ особенности наглы были бабы. Всякую дрянь, которой у него много накопилось, онѣ осматривали и выпрашивали. Это, наконецъ, такъ ему опротивѣло, что онъ съ раздраженіемъ сказалъ:

— Вотъ что, бабы. Теперь мнѣ некогда, а когда я уѣду, можете тутъ брать все, что найдется! А благословлять васъ я больше не стану,—ну васъ совсѣмъ!

Отъ этого окрика всѣ посторонніе ушли. Остались только Ефремъ, Лукашка да домашніе Антона Петровича, пришелъ еще и Алексѣй Семенычъ. Эти ничего не просили. Но Грубовъ чувствовалъ, что именно они отъ души прощаются съ

кусокъ, дѣло было слажено. Антонъ Петровичъ половину платилъ наличными, половину векселемъ. Общая продажная сумма была на одну треть меньше дѣйствительной стоимости. Но Неразовъ былъ радъ, что развязался съ опустѣвшимъ хуторомъ, да еще получилъ деньги.

Антонъ Петровичъ также нѣсколько былъ радъ сдѣлкѣ, хотя до самаго отъѣзда Неразова скрывалъ свою радость, очень натурально подражая бѣдному человѣку, который черезъ свою простоту много терпитъ убытковъ; Неразовъ даже пожалѣлъ великодушнаго старика, въ ущербъ себѣ купившаго его хуторъ. Но когда онъ уѣхалъ, Антонъ Петровичъ не могъ долѣе удерживать свои чувства; онъ тотчасъ же побѣжалъ на хуторъ и любовно осматривалъ каждый его уголокъ.

Черезъ недѣлю онъ уже тамъ дѣятельно строился. Для этого надо было прежде снести ветхое зданіе. Нанятые плотники принялись-было за его разборку, залѣзли наверхъ и стали обдирать съ него крышу. Но потомъ остановились.

— Антонъ Петровичъ!—сказали они,—да стоитъ-ли разбирать эдакую гнилушку? Взять бы прямо зацѣпить ее баграми, да и повалить, а ужь апосля и поглядѣть, что къ чему...

Чтобы не терять даромъ цѣлаго дня на разборку, Антонъ Петровичъ согласился.

Принесли два багра, зацѣпили ими съ двухъ сторонъ стѣны и съ веселыми уханьями стали раскачивать, наконецъ, достаточно раскачавъ, съ ревомъ ухнули въ послѣдній разъ— и домъ повалился, превратившись въ безобразную кучу гнилыхъ бревенъ, сору и пыли.

Учитель жизни.

I.

Отецъ Дениса, Петръ Чехловъ, былъ настоящій, коренной русскій купецъ, въ которомъ безпрестанно чередовались чувства грѣха и блудливости, страхъ передъ Богомъ и непреодолимое влеченіе къ озорству.

Жизнь его проходила среди торговыхъ плутней и купеческаго вѣроломства,—тѣмъ онъ и нажился, ставши богатымъ лѣсопромышленникомъ; но, въ то же время, душа его въ нѣкоторые моменты полна была раскаянія за все содѣянное, а воображеніе безпрестанно рисовало ему ужасы ада. И всѣ эти чувства выражались въ немъ неукротимо, какъ у здоровеннаго дикаря. Мужчина онъ былъ огромный, съ краснымъ лицомъ, съ желѣзными нервами; крови въ немъ текло столько, что ея вполнѣ достаточно было бы для двухъ десятковъ департаменскихъ чиновниковъ. Когда онъ шагалъ по полу, тряслась мебель, дребезжала посуда въ шкафахъ и гнулся полъ; когда онъ снималъ съ себя верхнее платье и оставался въ одной рубахѣ-косовороткѣ, то она, казалось, вотъ сейчасъ треснетъ на его гигантскомъ тѣлѣ, какъ папиросная бумага. Говорилъ-ли онъ, смѣялся-ли, ѣлъ или спалъ,—все это сопровождалось необычайными звуками. Завалившись послѣ обѣда спать, онъ оглашалъ домъ храпомъ и свистомъ, какой издаетъ паровикъ, когда выпускаетъ отработавшій паръ. Когда онъ просыпался и просилъ квасу, голосъ его походилъ на рычаніе льва. Отъ времени до времени онъ приглашалъ фельдшера и „пущалъ кровь“,—безъ этого ему и жить было

бы нельзя. Но, однако, и послѣ кровопусканія здоровья его дѣвать было некуда. Зимой, бывало, напарившись въ банѣ до совершенной одури, онъ выбѣгалъ прямо на воздухъ и катался по снѣгу, и снѣгъ таялъ вокругъ него, какъ отъ раскаленной желѣзной печки. Въ молодые годы онъ неоднократно, въ день Крещенія, прыгалъ въ проруби, не изъ религіознаго рвенія, а ради торжества. Изъ этого можно сообразить, въ какой мѣрѣ выражались его чувства.

Ежегодно онъ ѣздилъ въ Нижній на ярмарку и ежегодно устраивалъ тамъ генеральный дебошъ. Играла музыка, порхали ночныя бабочки, лилось рѣкой вино. Но дальше что происходило, онъ уже обыкновенно не помнилъ. Только на утро, проснувшись, съ рычаньемъ, выходившимъ откуда-то изъ глубины утробы, онъ припоминалъ вчерашнее и сразу становился тихимъ и робкимъ.

— Василій!—тихо звалъ онъ слугу.

Василій просовывалъ голову въ номеръ, а Петръ Чехловъ сконфуженно смотрѣлъ на него.

— Никакъ я вчерась напугалъ тутъ васъ?

— Да, ужь было дѣло, Петръ Ивановичъ... Очень вы разгорячились,—говорилъ слуга и съ укоризной смотрѣлъ на гиганта.

— Переложилъ малость... Ну, да ладно, давай счетъ,—робко, почти шепотомъ говорилъ Чехловъ.

— Счетъ готовъ, извольте!

Слуга при этотъ вынималъ изъ бокового кармана сюртука длинный листъ и, попрежнему, съ укоромъ смотрѣлъ. Петръ Чехловъ глядѣлъ на итогъ, въ которомъ красовались цифры 1,300 рублей.

— Что ужь это больно много!—возразилъ онъ, но робко и не поднимая глазъ.

— Помилуйте, Петръ Ивановичъ, даже еще мало-съ. Извольте сами припомнить: выловили всее до чиста рыбу изъ акварія и велѣли сварить, а самый акварій расшибли... разъ?

Петръ Чехловъ со стыдомъ припомнилъ, что это дѣйствительно такъ и было.

— А послѣ того вы стали швырять бутылки въ канделябру и всѣ шесть лампъ съ пузырями окончательно перебили... два?

Петръ Чехловъ смутно припомнилъ, что и это было, и крякнулъ.

— Впослѣдствіи времени, когда вы провожали барышенъ съ лѣстницы, перилы разломали... три?

— Перилы? Перилы-то зачѣмъ?—изумился самъ Чехловъ.

— Да Богъ васъ знаетъ!

— Да ты не врешь-ли, братъ? Чтой-то ужь больно мудрено чугунныя перилы расшибить,—пытался возражать Петръ Чехловъ, но слуга сурово взглянулъ на него.

— Не вѣрите? А вы идите, да сами и поглядите, коли я вру! Были перилы и нѣту ихъ теперь!

И, говоря это, слуга съ сердитымъ укоромъ смотрѣлъ на Петра Иваныча, а онъ сконфуженно смотрѣлъ на свои, еще необутыя ноги.

— Ну, ужь ладно. Плачу.

— То-то и есть... А вы говорите: врешь! Кабы вы сами изволили сообразить, что вы вчерась...

— Да ужь ладно, ладно!

— Апосля того занавѣси изгадили соусомъ изъ-подъ карася.

— Ну, будетъ, будетъ! Чего раскудахтался? Говорю, плачу. На, получай!

При этихъ словахъ Петръ Чехловъ торопливо отсчитывалъ требуемую сумму съ надлежащею прибавкой слугѣ на чай и спѣшилъ выбраться изъ гостинницы. На лицѣ его выражались стыдъ и испугъ. Онъ радъ былъ, что деньгами развязался съ скандаломъ, но и послѣ расплаты за дебошъ долго не могъ успокоиться. Срамно было на душѣ; изъ глубины утробы отъ времени до времени выходили стонъ и рычанье.

— Э-эхъ!—рычалъ онъ, вспоминая, какъ валилъ перила.

Это-то ощущеніе срамоты и вызывало въ немъ другія, противоположныя чувства.

По нѣсколько разъ въ году бывали такіе дни.

Съ утра Петръ Чехловъ вставалъ какой-то тихій и грустный. Но всѣ домашніе уже знали, что на него нашло „божественное“, Бога вспомнилъ. Дѣйствительно, не притрогиваясь къ чаю, онъ вдругъ говорилъ, ни къ кому не обращаясь:

— Иконы надо подымать!

Изъ домашнихъ никто, конечно, не возражалъ ему.

— Порѣшилъ я нынче молебенъ съ водосвятіемъ... Припасите, что тутъ нужно, а я пойду подымать.

Въ домѣ тотчасъ начиналась суета, чистка, мытье. Петръ Чехловъ шелъ за священниками въ церковь. Когда въ церкви

все было готово, онъ съ нѣкоторыми изъ домашнихъ поднималъ иконы и несъ ихъ по улицамъ. Самъ онъ благоговѣйно держалъ образъ Божіей Матери. На лицѣ его было смиреніе и мольба; въ голосѣ его, вчера еще охрипшемъ отъ лая и божбы, теперь слышалось умиленіе. Этотъ гигантъ, вчера только разбойничавшій на лѣсной пристани, сегодня съ любовью и мольбой смотрѣлъ на ликъ Богоматери и дрожащимъ голосомъ пѣлъ: „Заступница усердная!“ Чудовище, недавно еще разбивавшее трактиры, гроза приказчиковъ, злой отецъ, жестокій мужъ, въ собственномъ домѣ стоялъ на колѣняхъ передъ образомъ и со слезами на глазахъ умолялъ о прощеніи... Во все продолженіе молебна онъ вглядывался въ ликъ „Мати Бога Вышняго“, какъ бы стараясь въ Ея взорѣ уловить тѣнь прощенія себѣ, окаянному. И къ концу молебна онъ чувствовалъ, осязательно видѣлъ, что кроткіе, прекрасные глаза милостиво обращены на него и прощаютъ мерзкія его дѣла. Весь сіяющій, съ непокрытою головой, онъ несъ тогда образа обратно въ церковь, раздавалъ милостыню всѣмъ нищимъ и убогимъ, тысячи жертвовалъ на богоугодныя дѣла и становился мягокъ и добръ даже съ домашними. Дѣтей ласкалъ, какъ умѣлъ, приказчиковъ и дворню отпускалъ гулять, жену не называлъ „чортовой перечницей“. И даже нѣсколько дней спустя послѣ этого онъ чувствовалъ на себѣ кроткіе взоры чуднаго образа, и сердце его было полно смиренія.

Но проходило время, жизнь шла своимъ чередомъ и Петръ Чехловъ становился прежнимъ. Такъ и шла колесомъ его жизнь: сначала озорство по базарамъ и ярмаркамъ, потомъ ощущеніе срама; вслѣдъ затѣмъ разбой на лѣсномъ дворѣ и ужасъ передъ Богомъ, Котораго онъ представлялъ не иначе, какъ въ видѣ безконечно огромнаго и грознаго Чехлова.

Дѣтскія впечатлѣнія Дениса всѣ сосредоточивались на отцѣ. Крупная фигура отца все заслоняла. Съ самаго ранняго дѣтства всѣ самыя сильныя чувства вызывалъ въ немъ отецъ. Иначе не могло и быть. Петръ Чехловъ и самъ по себѣ былъ крупнымъ лицомъ, а по сравненію съ домашними особенно выдѣлялся; при этомъ весь строй большаго дома сосредоточивался на немъ. Отецъ одинъ жилъ, а прочіе только помогали ему жить. Два старшіе брата Дениса были приказчиками отца; мать являлась лишь безмолвною исполнительницей воли хозяина. Такимъ образомъ, отецъ положилъ неизгладимые

слѣды на душу Дениса и, самъ не зная того, сталъ безпощаднымъ воспитателемъ его.

Тѣмъ болѣе, что мальчикъ и наружностью вышелъ въ отца; тѣ же некрасивыя, но крупныя черты лица, та же большая голова, то же желѣзное здоровье. Только ростомъ Денисъ не вышелъ; большая голова его съ широкимъ лицомъ сидѣла на низкомъ туловищѣ, которое поддерживалось толстыми, короткими ногами. За это школьники прозвали его „полѣномъ дровъ". Но, получивъ много чертъ отъ отца, какъ себялюбіе, крутое сердце, способность къ рѣзкимъ реакціямъ, онъ много имѣлъ и своего. Такъ, Петръ Чехловъ былъ человѣкъ общительный, любившій толпу и базаръ, а Денисъ съ ранняго дѣтства поражалъ сосредоточенностью и склонностью къ одиночеству.

Эти черты современемъ еще болѣе въ немъ усилились. Въ семьѣ онъ занялъ исключительное положеніе. Дѣло въ томъ, что изъ всѣхъ троихъ сыновей онъ одинъ былъ отданъ въ гимназію. Явилось-ли это вслѣдствіе обычнаго самодурства отца, или у послѣдняго съ Денисомъ связанъ былъ какой-нибудь особенный разсчетъ, только онъ непремѣнно желалъ сдѣлать изъ него „ученаго", какъ онъ называлъ всѣхъ людей, которые знаютъ нѣсколько больше грамоты. Два старшіе брата неотлучно находились при лѣсной торговлѣ, а Денисъ отданъ былъ въ гимназію. „Пущай будетъ докторомъ или мировымъ судьей",—говорилъ отецъ.

— Но ежели только ты, бестія эдакая, забудешь Бога и крестъ перестанешь носить, шкуру съ тебя спущу!—добавлялъ онъ подъ пьяную руку, подзывая къ себѣ Дениса.

Такимъ образомъ, одиночество, съ поступленіемъ въ гимназію, стало неизбѣжно для Дениса. Еще до школы онъ предпочиталъ играть одинъ. Присутствіе дѣтей его возраста раздражало его; очень смирный вообще, онъ тогда стоновился злымъ, драчливымъ и буйнымъ. Съ поступленіемъ же въ гимназію, онъ и отъ домашнихъ своихъ отдѣлился. Что у него осталось общаго съ ними? Отецъ едва умѣлъ нацарапать счетъ, сколько кому „атпущина бревинъ", а онъ уже съ перваго класса заучивалъ какія-то мудреныя слова, которыя дико звучали подъ сводами купеческаго дома. Приготовивъ уроки, онъ угрюмо слонялся по этимъ комнатамъ и не зналъ, куда себя дѣть. Чаще всего онъ забивался въ такой

уголъ дома, куда рѣдко ступала человѣческая нога, и безконечно долго о чемъ-то думалъ. И сколько одинокому мальчику пришлось передумать наединѣ съ собой! Душа, оставленная въ одиночествѣ, дѣлается глубокой, но узкой; мысль, родившаяся въ пустынѣ и не встрѣтившая другой мысли, выростаетъ оригинальною, но некрасивою, какъ безобразный колючій кактусъ; сердце, оторванное отъ другихъ сердецъ, каменѣетъ. Жизнь мальчика все болѣе и болѣе обособлялась отъ другихъ жизней и душевное развитіе его все рѣзче выдѣлялось и переходило на особый путь.

Онъ сталъ исключительно наблюдателемъ всего окружающаго, а не участникомъ его. Отсюда его необыкновенно высокое мнѣніе о себѣ и сознаніе ничтожества всѣхъ, кого онъ видѣлъ. Наблюденія его были тонкія, слишкомъ тонкія для дѣтскаго возраста. Въ школѣ онъ не находилъ товарища, съ которымъ ему пріятно было бы вести дружескія отношенія; ласки онъ холодно отклонялъ. Школьники, въ свою очередь, платили ему жестокими насмѣшками. „Чехловъ! полѣно дровъ!“—дразнили его безпрестанно и развивали эту кличку съ жестокимъ остроуміемъ мальчишекъ. Денисъ отъ этого устроумія становился еще холоднѣе къ товарищамъ.

Иногда онъ находилъ временныхъ друзей, благодаря подаркамъ въ видѣ карандашей или булокъ, которые онъ могъ покупать съ излишкомъ. Но недѣтская наблюдательность его очень скоро отравила его дружбу. Онъ замѣтилъ, что когда у него были булки, у него были друзья, а когда не было булокъ, и друзей не было. Изощренная наблюдательность его, конечно, не останавливалась на одномъ этомъ фактѣ, а распространялась на все, что онъ видѣлъ; умъ же его, работавшій одиноко, дѣлалъ соотвѣтствующіе выводы дурные выводы о дурныхъ сторонахъ людей... Обыкновенно принято называть тонкимъ наблюдателемъ того человѣка, который способенъ подмѣчать самыя незначительныя дурныя черты другого человѣка; было бы, конечно, справедливѣе считать тонкимъ наблюдателемъ того, кто умѣетъ открыть въ самомъ дурномъ человѣкѣ крупицу чести и добра. Вся мысль маленькаго Дениса была направлена на перваго рода наблюденія, потому что онъ росъ одиноко, безъ капли любви и участія съ чьей-нибудь стороны.

Кто еще могъ бы его любить? И кого онъ любилъ бы?

Отца—ни въ какомъ случаѣ. Петръ Чеховъ былъ лѣсопромышленникомъ, купцомъ, отцомъ, хозяиномъ, но другомъ для дѣтей—никогда. Денисъ его или боялся, когда онъ былъ дома, или забывалъ, когда тотъ уѣзжалъ. Единственные случаи, когда мальчикъ могъ вести бесѣды съ отцомъ, падали на тѣ часы, когда послѣдній былъ пьянъ,—не до чортиковъ пьянъ, потому что пьяный до чортиковъ отецъ все крошилъ и громилъ въ домѣ, а такъ, на-веселѣ. Денисъ тогда много говорилъ съ отцомъ, хотя не переставалъ наблюдать за нимъ, чтобы при первомъ подозрительномъ движеніи его дать тягу.

Иногда у Дениса являлась потребность приласкаться къ матери, и онъ подходилъ, и ласкался, но черезъ короткое время съ грустью отходилъ прочь. На его ласки мать отвѣчала: „Ты, можетъ, хочешь вареньица вишневаго? А то покушай, я тебя дамъ, пирожка съ вязигой"... Несчастная женщина вѣчно чувствовала ужасъ жизни и, кромѣ ужаса, ничего не понимала, развѣ вотъ только жажду, да голодъ, да сонъ. Въ испуганномъ сердцѣ ея не было мѣста любви.

А у мальчика была страшная потребность въ этой любви. Часто на него находило такое состояніе, что онъ вдругъ начиналъ плакать безъ всякой причины, наединѣ съ собой. Никто его передъ тѣмъ не обидѣлъ, ничего не случилось, а онъ истерически рыдалъ. Нарыдавшись вдоволь, онъ нѣсколько дней ходилъ веселѣе, но потомъ его сердце опять начинало болѣть отъ невѣдомой тоски. Разъ въ такомъ состояніи онъ сталъ молиться и сразу почувствовалъ радость и восторгъ, какихъ онъ никогда не зналъ. Съ этого дня онъ часто сталъ молиться. Онъ уходилъ въ необитаемую комнату, куда никто не заглядывалъ, становился на колѣни передъ всѣми забытою, запыленною иконой, на которой не видать было изображенія, и, обливаясь слезами, молился ей. О чемъ онъ плакалъ и почему молился, онъ въ первое время не зналъ. Онъ только чувствовалъ, что когда постоитъ на пыльномъ полу полутемной комнаты, изъ оконъ которой виднѣлся только безлюдный дровяной дворъ, поплачетъ и помолится, тоска его проходитъ и онъ испытываетъ такое восторженное счастье, какого ни отъ чего другого онъ не испытывалъ.

Этотъ секретъ никому невѣдомаго счастья онъ открылъ,

залъ со слезами на глазахъ Денисъ, но съ прежнею пытливостью.

— Какъ же ты этого не знаешь? — мягче заговорилъ отецъ.—Богъ все далъ, Онъ же, по Своей волѣ, можетъ и взять все. По Его святой волѣ ты питаешься, одѣваешься. Онъ же можетъ и отнять у тебя хлѣбъ насущный. По Его волѣ ты родился, по Его же волѣ и волосъ съ головы твоей не упадетъ,—говорилъ отецъ догматически.

— Поэтому и молятся? Чтобы Онъ далъ хлѣбъ и все?— спросилъ Денисъ.

— Ни почему другому. И ежели Онъ далъ, то благодарить за милосердіе Его.

— И бояться поэтому же?

— И бояться.

— А если не бояться?—пытливо спросилъ Денисъ.

— А не будешь бояться, такъ ты, мерзавецъ, угодишь въ адъ!—сказалъ мрачно отецъ.

— Значитъ, молиться надо, чтобы Богъ далъ хлѣбъ и чтобы не быть въ аду?

— Молиться надо за все и на всякомъ мѣстѣ,—сказалъ отецъ и опять широко зѣвнулъ.

— Молиться—это значитъ просить что-нибудь?—продолжалъ допрашивать мальчикъ.

— Завсегда проси,—отвѣчалъ отецъ.

— Для себя?

— Не для одного себя. Молись за всѣхъ—и за отца, родителя твоего, и за мать, родительницу, и за братцевъ.

— Чтобы и вы не были въ аду?

— Ну, братъ, довольно глупъ ты еще для такихъ разговоровъ! Иди-ка лучше, по-добру, по-здорову, пока въ затылокъ тебѣ не влетѣло! И мнѣ надо отдохнуть малость!— сказалъ отецъ, прервавъ бесѣду, и зѣвнулъ такъ, что затрепетали окна.

Денисъ угрюмо пошелъ прочь. Этотъ разговоръ не только не разрѣшилъ его сомнѣній, но еще болѣе смутилъ его. Онъ наблюдалъ за всѣми окружающими и убѣждался, что они не любятъ Бога и молятся только потому, что нуждаются въ чемъ-нибудь. Объ отцѣ онъ ничего не думалъ. Но мать онъ наблюдалъ и видѣлъ, что иногда, когда отецъ приходилъ пьяный и начиналъ буянить, она съ ужасомъ стоитъ

на колѣняхъ передъ иконой и молится, чтобы тятенька ее не побилъ. Старая нянька разъ молилась передъ иконой, потому что разбила глиняный тазъ, и просила, чтобы мамаша не ругала ее. Старый приказчикъ однажды сказалъ ему, что купилъ нечаянно гнилой лѣсъ, и молилъ Бога, чтобы какъ-нибудь сбыть его съ рукъ; нарочно свѣчку поставилъ, чтобы сбыть его по хорошей цѣнѣ. И увѣренъ былъ, что Богъ поможетъ ему продать его.

— Ты гадкій!—закричалъ ему со злобой Денисъ и не хотѣлъ больше говорить съ нимъ.

Тяжкое сомнѣніе это сопровождало душу Дениса во весь отроческій возрастъ. Онъ продолжалъ въ извѣстные часы уходить въ таинственную комнату съ черною иконой и молился, попрежнему, горячо, со слезами. Но восторженной радости уже не было, потому что не было простоты. Онъ сталъ молиться не сердцемъ, а умомъ. Умъ разложилъ и эту тайну на мелкія части. Во время молитвы онъ наблюдалъ за собой, и не молился, а изучалъ, какъ надо молиться. Когда въ молитву вкрадывалась какая-нибудь просьба, онъ тотчасъ ловилъ себя на мѣстѣ преступленія, уличалъ и тутъ же просилъ Бога, чтобы Онъ простилъ его. Въ другое время онъ уличалъ себя, также на мѣстѣ преступленія, въ томъ, что слезы его нечестныя: ему совсѣмъ не хотѣлось плакать, а, между тѣмъ, онъ плакалъ, насильно выжимая воду изъ глазъ. И онъ принимался тутъ же молить о прощеніи этихъ нечестныхъ слезъ.

Въ концѣ-концовъ, ѣдкій умъ мальчика растравилъ эти счастливыя минуты. Онъ сталъ спрашивать себя, зачѣмъ онъ проситъ Бога простить ему? Значитъ, онъ боится наказанія? А если бы не было наказанія, то онъ и не просилъ бы прощенія? Значитъ, и молится не изъ любви къ Богу, а изъ страха? На молитвѣ ничего не надо просить; что̀ бы ни просилъ, всегда просишь для себя, для своей выгоды. Если даже просить, чтобы Богъ сдѣлалъ добрымъ,—и это для себя.

Недюжинный умъ мальчика сталъ создавать сотни хитросплетеній, метафизически-тонкихъ и острыхъ, но въ конецъ растравляющихъ его простое религіозное чувство. Онъ улавливалъ безконечно малые моменты, изъ которыхъ состоитъ молитва его. Онъ, напримѣръ, наблюдалъ за своимъ шепо-

томъ молитвенныхъ словъ; слѣдилъ, насколько ему лѣнь кланяться; видѣлъ, какъ ему непріятно пачкать руки объ полъ, густо покрытый пылью; и обо всемъ этомъ тутъ же думалъ, а потомъ тотчасъ же думалъ о томъ, что̀ думалъ.

Немудрено, что первые юношескіе годы его ознаменовались какимъ-то жестокосердіемъ, которое всюду онъ сталъ проявлять. Прежде всего, онъ перестал молиться. Оборвалось это сразу. Однажды къ нему зашелъ товарищъ. Не найдя его въ комнатахъ, онъ спросилъ у матери, гдѣ его можно найти. Та не знала, гдѣ, но, между прочимъ, велѣла заглянуть въ ту комнату, которая служила для Дениса храмомъ.

— Онъ, можетъ, тамъ, погляди... Онъ любитъ тамъ сидѣть одинъ-одинешенекъ. Иной разъ часъ сидитъ, два сидитъ, а зачѣмъ—Богъ его знаетъ,—сказала мать.

Товарищъ пошелъ къ указанную комнату, широко распахнулъ ея дверь и вдругъ въ полумракѣ замѣтилъ Дениса стоящимъ на колѣняхъ и что-то шепчущимъ, съ рукой, поднятой на молитву. Онъ улыбнулся. А Денисъ вскочилъ, какъ ужаленный и весь красный. Ему такъ чего-то было стыдно, что онъ потомъ никогда не могъ безъ краски въ лицѣ вспомнить объ этой минутѣ.

Вотъ съ этого дня онъ больше ужь никогда не ходилъ въ таинственную комнату, гдѣ былъ его храмъ, и когда спустя нѣкоторое время комнату эту обратили въ умывальную, онъ не только не оскорбился этимъ кощунствомъ, но даже, какъ будто, радъ былъ. И потомъ онъ не только не молился, но сталъ смѣяться и надъ тѣми, кто молился. Когда кто-нибудь изъ товарищей въ церкви, куда ходили гимназисты, принимался усердно креститься и кланяться, Денисъ съ злобнымъ торжествомъ издѣвался надъ нимъ. Ему даже стыдно было за того, кого онъ видѣлъ молящимся: онъ смотрѣлъ на такого и думалъ: и зачѣмъ онъ выказываетъ себя смѣшнымъ?

Самъ Денисъ въ эти годы пуще всего боялся быть смѣшнымъ. Во избѣжаніе этого, онъ сталъ самъ смѣяться. Раньше угрюмый и безотвѣтный, онъ теперь сдѣлался злымъ шутникомъ и убѣдился, что его начали бояться. Въ обществѣ онъ сталъ озорнымъ и драчливымъ, и изъ оскорбляемаго превратился въ оскорбителя. Онъ убѣдился опытнымъ

путемъ, что всегда слѣдуетъ кулакъ держать наготовѣ, тогда будутъ уважать, и при первой надобности подставлять его къ носу оскорбителя, тогда будутъ любить. Занимался уроками онъ въ это время плохо, отличался неисправимою лѣностью. Впрочемъ, его переводили изъ класса въ классъ, ибо онъ никогда не отказывался отвѣчать урокъ, смѣло фантазируя свои отвѣты; каждый учитель, конечно, видѣлъ, что Чехловъ, вмѣсто отвѣта, храбро вретъ, но—такова сила смѣлости—ни одинъ изъ нихъ не рѣшался водружать ему колъ. Былъ, однако, одинъ предметъ, надъ которымъ въ это время Денисъ работалъ сознательно и съ увлеченіемъ, это—языкъ. Онъ сталъ читать много книгъ, какія только попадались, больше всего романы, и учился выражаться, какъ выражаются герои. Искусство говорить далось ему. Въ шестомъ классѣ онъ уже такъ красиво говорилъ, что изумлялъ не однихъ товарищей. Сначала это было книжное краснобайство, но подъ вліяніемъ неумолкающаго ума языкъ его сталъ оригинальнымъ и гибкимъ, какъ вся его натура. Тѣмъ не менѣе, онъ пока не находилъ приложенія для своего искусства, а только щеголялъ имъ, самъ прислушиваясь къ словамъ своимъ. Во всемъ прочемъ онъ остался лѣнтяемъ и ко всякой книгѣ, за исключеніемъ необязательныхъ, питалъ непреодолимое отвращеніе.

Въ седьмомъ и восьмомъ классѣ онъ нерѣдко и въ классъ не являлся. Выходя утромъ изъ дома, онъ показывалъ всѣ видимости, что идетъ въ гимназію, но на самомъ дѣлѣ отправлялся шататься по городу. Посѣщалъ базары, слонялся въ уличной толпѣ или уходилъ на пристань рѣки и тамъ по цѣлымъ часамъ смотрѣлъ, какъ уходятъ и приходятъ пароходы, какъ ихъ грузятъ, какъ пассажиры съѣзжаются. Словомъ, въ эти два года онъ сталъ записнымъ повѣсой и только опытный наблюдатель могъ бы открыть въ немъ присутствіе недюжиннаго человѣка.

Аттестата зрѣлости онъ, разумѣется, не получилъ—провалился по всѣмъ предметамъ. Какъ это отразилось бы на его самолюбивой натурѣ при обыкновенныхъ условіяхъ—трудно сказать, но въ это время въ его жизни совершилось событіе, затушевавшее его неудачу. Въ тѣ дни, когда онъ держалъ экзамены, внезапно, отъ удара, умеръ его отецъ. Въ семьѣ поднялся переполохъ, въ которомъ про Дениса

всѣ забыли; такъ что когда онъ шелъ домой съ послѣдняго экзамена, онъ зналъ, что дома никто не полюбопытствуетъ, какъ его дѣла. Мать ходила потерянною и не знала, плакать-ли ей о смерти „самого", или радоваться; старшіе братья приводили въ извѣстность дѣла отца и спорили о наслѣдствѣ. Денисъ во всемъ этомъ просто чувствовалъ себя лишнимъ, окончательно забытымъ и предоставленнымъ самому себѣ.

Все это лѣто онъ провелъ на улицѣ, по увеселительнымъ мѣстамъ и рѣдко показывался домой. Онъ немного безпокоился насчетъ своей доли въ наслѣдствѣ, но ему лѣнь было спорить съ братьями, лѣнь и отчасти гадко. Поэтому онъ ни разу не справился у братьевъ, какъ они намѣрены съ нимъ поступить. Братья сами вспомнили о немъ и, въ виду его явной оторванности отъ всей семьи, предложили немедленно же выдѣлить его. Назначенная ему сумма была такъ заманчива, что онъ и не подумалъ спросить, дѣйствительно-ли это его доля. Онъ просто согласился на все. Деньги его положены были въ банкъ, а до совершеннолѣтія его мать назначили опекуншей.

— И больше ты къ намъ не имѣй никакихъ касательствъ!—сказали ему послѣ того братья.

— Зачѣмъ же!—возразилъ презрительно Денисъ, не любившій своихъ братьевъ.

— Ну, то-то же!... Возьми—и больше ничего.

На этомъ Денисъ и покончилъ съ своею семьей, бывшею все время чужой для него, а послѣ смерти отца, который механическою силой держалъ ее вмѣстѣ, стала совсѣмъ тягостной. Осенью онъ простился съ матерью и братьями и уѣхалъ въ одинъ изъ университетовъ, чтобы поступить вольнослушателемъ. Черезъ годъ онъ сдѣлался совершеннолѣтнимъ и окончательно освободился. Деньги онъ положилъ въ частный банкъ, гдѣ ему легче было имѣть текущій счетъ и гдѣ проценты были вдвое больше.

Въ университетѣ, однако, продолжалось его одиночество, хотя по внѣшности онъ не выдѣлялся изъ остальной молодежи. Занимался онъ такъ же плохо, какъ и въ гимназіи; не было предмета, который бы интересовалъ его. Наука была чужда складу его ума, и ея истины не казались ему

ни великими, ни любопытными. Лекціи онъ слушалъ съ величайшею скукой.

Внѣ ученической жизни онъ оставался повѣсой. На него въ это время напала страсть щегольства. Онъ тщательно подбиралъ фасоны и цвѣта платья, чтобы добиться гармоніи въ своей негармонической фигурѣ, но дальше текущей моды изобрѣтательность его здѣсь не пошла. Штаны онъ носилъ самые узкіе, сапоги востроносые; сиреневыя перчатки и трость съ собачьей мордой довершали его костюмъ. И скоро это ему показалось пошлымъ и смѣшнымъ. Думая объ этомъ, онъ убѣдился, что страсть украшать свою наружность всегда оканчивается пошлымъ подражаніемъ; одни желаютъ только одѣваться такъ, „какъ всѣ", другіе стараются отличиться и превзойти всѣхъ великолѣпіемъ, но ни тѣмъ, ни другимъ никогда не удается выполнить свои желанія; первые всегда находятъ людей, туалетъ которыхъ лучше ихъ; вторые никогда не находятъ людей, которые одѣвались бы хуже ихъ. Однажды Чехловъ пытливо взглянулъ на себя въ зеркало и, къ ужасу своему, увидѣлъ, что онъ поразительно похожъ на всѣхъ и каждаго, что фигура его стала безличною и ничтожною.

Кстати сказать, въ это время онъ обдумалъ много тѣхъ мелочей, изъ которыхъ слагается жизнь, и открылъ множество пошлостей, незамѣтныхъ для обыкновенныхъ людей. При этомъ съ жизнью каждаго наблюдаемаго имъ человѣка онъ поступалъ такъ, какъ ребенокъ обращается съ куклой,— отрывалъ съ головы приклеенные волосы, стиралъ пальцемъ нарисованные глаза, отламывалъ пришитые носъ и уши и самую кукольную голову, и въ основѣ всего этого находилъ безформенную и безобразную тряпицу, набитую соромъ. Въ основаніи каждой жизни онъ неизмѣнно открывалъ пошлую глупость или совершенную безсмыслицу.

Нѣсколько разъ онъ пробовалъ сойтись ближе съ товарищами-студентами и началъ было ходить на вечеринки и сходки. Но онъ не нашелъ для себя здѣсь ничего, чѣмъ бы можно было увлечься, что полюбить и чему отдать себя. Прежде всего, ядовитая мысль его отравила простоту юношескихъ отношеній и чувствъ, которыми одушевлялись товарищи; ни въ одномъ юношѣ онъ не замѣтилъ истинной жажды вѣры,— кровь бушуетъ, а разумъ молчитъ. И это еще лучшіе. Въ

большинствѣ же онъ открывалъ явную неискренность. Молча наблюдая, онъ старался угадать будущее каждаго: вотъ этотъ, такъ горячо говорящій о братствѣ, завтра, навѣрное, предастъ... а этотъ, съ такимъ гордымъ взглядомъ проповѣдующій о непримиреніи со зломъ, черезъ нѣкоторое время будетъ купленъ за копѣйку... а вотъ этотъ, глядящій такими наивными голубыми глазами, непремѣнно будетъ прокуроромъ... Онъ смотрѣлъ на каждаго, думалъ и предсказывалъ, кого какая ждетъ судьба въ будущемъ и по какимъ ямамъ разсядутся всѣ эти молодые, чистые, взволнованные.

Во-вторыхъ, Денисъ просто не понималъ, о чемъ, въ сущности, говорятъ. Еслибы кто-нибудь заговорилъ о себѣ и о томъ, что̀ лежитъ у него на душѣ, это было бы понятно, но здѣсь думали и говорили обо всемъ, кромѣ себя самихъ. Денисъ, вѣчно занятый наблюденіями надъ глубиной собственной души, чувствовалъ себя чужимъ при разсужденіяхъ о какомъ-то „народѣ“ (тогда какъ онъ думалъ только о человѣкѣ), о какихъ-то „общественныхъ задачахъ“,—для него всѣ такія вещи казались не только далекими и невозможными, но онѣ просто не существовали для него. Вотъ еслибы изучить человѣка, т.-е. себя, спуститься на дно своей души и посмотрѣть эти глубокія, подводныя тайны, это онъ понялъ бы и въ дѣлѣ такой огромной важности принялъ бы живое участіе. Здѣсь же ему скучно было и горячія юношескія рѣчи еще большій холо̀дъ нагоняли на него. Онъ пересталъ ходить на вечеринки.

Среди этого холода прошла вся его юность. Онъ не находилъ, кого и что любить.

Въ этомъ возрастѣ люди увлекаются впервые любовью къ женщинѣ, но онъ и здѣсь остался только въ роли сосредоточеннаго на себѣ наблюдателя. Ни одна женщина не могла увлечь его или, вѣрнѣе, его собственное самолюбіе не было удовлетворено ни одною изъ нихъ, а тѣ, съ которыми онъ знакомился, принадлежали къ подонкамъ „женскаго сословія“, изъ чего онъ вывелъ заключеніе, что, въ сущности, всѣ женщины одинаковы.

И къ чему только ни прикасался онъ, все оказывалось пустымъ или отвратительнымъ. Были минуты, когда онъ съ наслажденіемъ, въ мельчайшихъ подробностяхъ разрабатывалъ картину смерти. Самоубійство было несвойственно его коре-

настой, здоровой натурѣ; по всей вѣроятности, рука его никогда не поднялась бы на самоуничтоженіе, именно потому, что и эта мускулистая рука, и все это здоровое тѣло любили жизнь и отказались бы повиноваться душѣ. Тѣмъ не менѣе, умъ его съ мельчайшими подробностями изучалъ и наблюдалъ смерть,—это было вродѣ того эстетическаго наслажденія, которое испытываютъ многіе, наблюдая на сценѣ кровавыя убійства.

Въ такомъ-то состояніи застало его вѣяніе одного нравственнаго ученія. Онъ его принялъ съ величайшею поспѣшностью, какъ будто это было его собственное, имъ самимъ созданное. Удивительное впечатлѣніе произвело оно на него! Онъ почувствовалъ себя такъ же, какъ человѣкъ, который, идя темною, беззвѣздною ночью по незнакомому мѣсту и ощущая невольный ужасъ посреди этого мрака, вдругъ поднимаетъ изъ-подъ ногъ палку; повидимому, ничего не случилось— та же беззвѣздная ночь, то же незнакомое мѣсто, то же зловѣщее молчаніе кругомъ, а, между тѣмъ, сжимая въ рукѣ поднятую палку, человѣкъ чувствуетъ внезапный приливъ бодрости и сердце его перестаетъ дрожать невольнымъ ночнымъ ужасомъ. Усвоивъ ученіе, Чехловъ сразу почувствовалъ въ себѣ небывалое мужество, увѣренность и силу; самъ признавая себя до этой минуты повѣсой, никому ненужнымъ и ничего незнающимъ, онъ вдругъ успокоился и гордо осмотрѣлся кругомъ... Ученіе не явилось для него въ видѣ солнечнаго луча, освѣтившаго ночь, и не сдѣлало его умственно богаче; читая и обдумывая его, онъ не испытывалъ ни восторга, даваемаго истиной, ни любви, доставляемой милымъ, дорогимъ предметомъ,--нѣтъ, онъ почувствовалъ въ себѣ только приливъ самоувѣренности и безстрашія передъ жизнью, которая была до сихъ поръ темна и холодна; такою она и послѣ того осталась у него, только теперь онъ запасся на всякій случай крѣпкимъ, внушительнымъ оружіемъ.

А любви, попрежнему, не знало его сердце.

II.

Съ полей только что сошелъ снѣгъ. Въ оврагѣ, рядомъ съ домомъ Хординыхъ, бушевала рѣчонка весеннимъ шумомъ. Отъ блѣднаго неба, по которому плыли бѣлесоватыя тучки,

вѣяло холодомъ; солнце, казалось, смотрѣло куда-то мимо, въ безпредѣльную даль, и только изрѣдка, нехотя, бросало равнодушные взгляды на землю. И земля лежала безцвѣтною и скучною. Повсюду на ней виднѣлись только сѣрыя краски; голый лѣсъ безъ листьевъ, голыя поля съ бурою травой, рыжія пашни,—все это сливалось въ одно безпредѣльно-хмурое пространство, въ которомъ взору не на чѣмъ остановиться.

Но Александра Яковлевна даже и въ такомъ видѣ любила природу. Когда мужъ и Буреевъ ушли съ собакой на охоту, а по хозяйству сдѣланы были всѣ распоряженія, она одѣлась въ теплое пальто и вышла изъ дому. Не любила она только гулять по торнымъ дорогамъ; поэтому, минуя усадьбу и ея окрестности, она прямо пошла по краю оврага, чтобы добраться до глухой, дикой мѣстности, прозванной „разбойничьимъ гнѣздомъ".

Тамъ правильный лѣсъ со стройными деревьями, который тянулся вдоль всего оврага, вдругъ переходилъ въ невообразимую путаницу разнообразныхъ породъ, плотно переплетающихъ и давившихъ другъ друга; оврагъ вдругъ развѣтвлялся на нѣсколько глубокихъ и узкихъ корридоровъ, мѣстами причудливо изрытыхъ и голыхъ, мѣстами заросшихъ густою чащей лѣса; тамъ одни деревья поломаны были бурей, а другія въ безпорядкѣ валялись, загораживая своими трупами путь, третьи, росшія по откосамъ, торчали вершинами не кверху, какъ обыкновенно, а книзу, протягивая свои вѣтви до самаго дна овраговъ; съ лужаекъ, залитыхъ солнцемъ, тамъ внезапно можно было попасть въ темную яму, гдѣ пахнетъ затхлостью, какъ въ подземельи; въ тихую погоду тамъ стояла зловѣщая тишина, во время дождя—оглушительный ревъ бѣгущей воды, а лишь только начинался вѣтеръ—по всѣмъ темнымъ корридорамъ этого мѣста поднимался свистъ и вой. Для хозяина это было проклятое мѣсто, которымъ не только нельзя было воспользоваться, но къ которому и подступиться-то трудно; проклятымъ это мѣсто слыло и у мужиковъ, которые говорили, что тамъ *онъ* бросаетъ въ прохожихъ пнями... А попросту говоря, это заброшенное прежними владѣльцами мѣсто одичало и сдѣлалось своеобразно красивымъ.

Туда и направилась Александра Яковлевна. По дорогѣ она дѣлала букетъ изъ фіолетовыхъ анемонъ, единственныхъ пока

цвѣтовъ, которые цѣлыми семьями ютились по солнечнымъ лужайкамъ среди прошлогодней травы, или срывала древесныя почки и вдыхала въ себя ихъ рѣзкій ароматъ. Больше ничего не было вокругъ; насѣкомыя еще не жужжали; изрѣдка выпорхнетъ изъ-подъ куста какая-нибудь пташка и молча юркнетъ въ другой кустъ. Лѣсъ стоялъ мертвый; покрытая темнымъ ковромъ прошлогодней травы земля не ожила еще. Александра Яковлевна скорымъ шагомъ прошла перелѣски и скоро очутилась въ любимомъ своемъ „разбойничьемъ гнѣздѣ". Выбравъ сухую лужайку, расположенную на раздѣлѣ двухъ овраговъ, она сѣла и съ наслажденіемъ прислушивалась къ разнообразнымъ звукамъ, раздававшимся кругомъ.

Картина мгновенно здѣсь измѣнялась. „Проклятое мѣсто" шумно праздновало возвращеніе весны и оглашало воздухъ сотнями живыхъ звуковъ; въ то время, какъ окрестные лѣса и поля мрачно еще молчали, какъ бы обдумывая какую-то мрачную задачу, предстоящую на страдное лѣто, это дикое мѣсто праздновало буйный и веселый пиръ. На днѣ разсѣлинъ гремѣли водопады и журчали ручьи; лѣсъ шелестѣлъ, распространяя вокругъ себя волны аромата распускающихся листьевъ; въ заросляхъ его то и дѣло раздавался какой-то трескъ; повсюду шныряли птицы, озабоченныя и, въ то же время, веселыя. Въ воздухѣ уже слышалось жужжанье мошекъ и комаровъ; муравьи хлопотали вокругъ своихъ городовъ, ремонтируя ихъ послѣ разрушительной зимы. Но надъ всѣмъ этимъ царилъ неопредѣленный гулъ, который нельзя было выдѣлить въ отчетливый звукъ, но который покрывалъ собою всѣ другіе звуки, какъ воздухъ покрываетъ собою всѣ предметы, это—эхо всего здѣсь звучащаго и отражаемаго крутыми стѣнами овраговъ.

Александра Яковлевна любила это мѣсто, въ особенности въ тѣ дни, когда жизнь усадьбы ужь слишкомъ давила ее уныніемъ. Она приходила сюда и раздумывалась о своей жизни подъ шумъ дикаго мѣста, которое однимъ своимъ дикимъ видомъ смягчало ея расходившіеся нервы. Такъ случилось и теперь. Усѣвшись на свѣтлой, теплой лужайкѣ, она съ улыбкой вслушивалась въ разнообразные звуки, которые раздавались около нея, и безъ горечи думала о вещахъ, въ другомъ мѣстѣ вызывавшихъ въ ней тяжелое раздраженіе. Вотъ уже болѣе трехъ лѣтъ, какъ они съ мужемъ живутъ

здѣсь, но она до сихъ поръ никакъ не можетъ понять, зачѣмъ именно здѣсь, а не въ другомъ мѣстѣ... Ежедневно въ продолженіе этихъ трехъ лѣтъ она просыпалась утромъ съ надеждой на что-то новое, которое нынче, вотъ въ этотъ наступающій день придетъ, но день проходилъ въ самыхъ обыкновенныхъ житейскихъ дѣлахъ, а ничего новаго не совершалось. Это новое, эта перемѣна жизни не рисовалась ей въ какой-нибудь опредѣленной формѣ; это была не мысль и не чувство, а какое-то смутное ощущеніе, которое не имѣло ни основаній, ни опредѣленнаго конца. Но, странное дѣло, только благодаря этому неосновательному ожиданію какой-то перемѣны въ своей жизни, она и могла прожить три темныхъ года. Безъ ожиданія этой смутной перемѣны она бы, вѣроятно, и жить не могла.

Но, призывая смутное будущее, она всѣми силами отталкивала отъ себя настоящее, текущее, потому что оно было невыносимо. Каждый вчерашній день непремѣнно оскорблялъ одно изъ ея вѣрованій, издѣвался надъ ея честностью; каждый прошедшій день терзалъ ея душу и сердце. Сначала она закрывала глаза на все происходящее и пыталась забыть обиды, но этихъ обидъ стало такъ много совершаться и онѣ такъ исполосовали ея душу, что она больше не въ силахъ была хоронить ихъ въ себѣ. Она безпрестанно обдумывала ихъ, сознательно встрѣчала, и въ этой сознательности было единственное ея утѣшеніе. Она сознавала оскорбленія и всѣ непріятности жизни и довольна была, что хоть сознаетъ, но не знала, какъ избавиться отъ нихъ.

Сейчасъ, сидя на лужайкѣ передъ живописнымъ „разбойничьимъ гнѣздомъ“, она также думала о нихъ и сознавала. Взоръ ея блуждалъ по сторонамъ, слухъ воспринималъ всѣ звуки буйнаго мѣста, широко праздновавшаго рожденіе весны, но на ряду съ ощущеніями этого чуднаго уголка она мысленно работала надъ разборомъ своей жизни. Какая странная жизнь! Говорить одно, а дѣлать обратное, мыслить честно, а поступать подло, мысленно бороться со всякою неправдой, а въ своей жизни собственными руками поддерживать эту неправду, думать обо всемъ на свѣтѣ и не умѣть собственную жизнь устроить безупречно, носить въ душѣ золото и топтать его въ грязь своими же собственными ногами, возмущаться безчеловѣчною жестокостью, которая гдѣ-то тамъ,

далеко, совершена, и хладнокровно присутствовать при безчеловѣчныхъ сценахъ... Неужели это со всѣми такъ? Какъ это происходитъ, что, зная отлично, какъ устроить жизнь милліоновъ, не умѣть свою собственную жизнь облагородить?

Вдругъ гдѣ-то близко въ глубинѣ одного изъ овраговъ раздался ружейный выстрѣлъ и эхомъ пронесся по всему „разбойничьему гнѣзду"; вслѣдъ затѣмъ послышалось характерное тявканье собаки, которая увѣрена въ близкомъ присутствіи птицы, но никакъ не можетъ отыскать ея засаду; потомъ послышались голоса.

Александра Яковлевна поспѣшно встала и оглядывалась вокругъ съ нахмуреннымъ лицомъ. „Неужели онъ сюда зашелъ охотиться?"—подумала она, и когда среди шума уловила знакомый голосъ, то быстро пошла въ обратную отъ мѣста выстрѣла сторону. Здѣсь ей непріятно было встрѣчаться съ мужемъ; почему, она не спрашивала себя, но только торопилась уйти.

И, быстро удаляясь отъ «разбойничьяго гнѣзда", она задумалась о мужѣ; мысли ея исключительно стали вертѣться около него. Онъ былъ заколдованнымъ кругомъ для нея; о чемъ бы она ни задумалась, непремѣнно кончитъ мужемъ. И тогда въ душѣ ея поднимаются мысли одна другой тяжелѣе. Даже наружность его стала вызывать въ ней непріятныя мысли, хотя еще недавно она съ негодованіемъ отвергла бы обвиненіе въ пристрастіи къ наружной красотѣ... Онъ облысѣлъ еще больше, хотя такой молодой, а на лицѣ его появилась какая-то плоская сытость, щеки отдулись, губы стали краснѣе и жирнѣе... все его лицо стало плоскимъ... Знаете, наружность человѣка много говоритъ! Если внутри человѣка бьются живыя струи мысли, чувства, фантазіи, это сейчасъ же отражается на формѣ его лица; когда же все это почему-либо умираетъ, измѣняется мгновенно и форма лица, точно огурецъ, внутренность котораго окисла и сгнила, лицо дѣлается плоскимъ. Это неизбѣжно. Отъ всей души я посовѣтывала бы всѣмъ дамамъ и мужчинамъ, желающимъ казаться красивыми, больше размышлять, больше учиться и больше изучать свои мысли,—это самое вѣрное средство сохранить красоту носа, щекъ, глазъ и ушей до глубокой старости... Посмотрите, какимъ благороднымъ дѣлается лицо самаго бе

сердце и всѣ свои помыслы. Это былъ удивительный мальчикъ, съ золотистами волосами и съ большими сѣрыми глазами, въ которые мать всегда съ волненіемъ смотрѣла и не могла насмотрѣться. На второмъ году онъ обнаружилъ уже необыкновенныя способности, поражавшія всѣхъ постороннихъ, а въ три года мать съ нимъ была какъ съ взрослымъ товарищемъ; днемъ они гуляли, разговаривая о всѣхъ встрѣчныхъ предметахъ, играли и разсказывали другъ другу импровизированные сказки и разсказы, а ночью, обнявшись, они всегда вмѣстѣ спали. Воспитаніе его наполнило все ея время и заняло всѣ ея силы, причемъ, страстно слѣдя за каждымъ шагомъ ребенка, она, въ то же время, зорко слѣдила за собою и преслѣдовала въ себѣ малѣйшую неправду, а когда она убѣдилась, что, несмотря на свое званіе образованной женщины, она ничего не знаетъ, въ ней открылась неутомимая жажда познанія. Никогда она такъ много не училась и не мыслила, какъ въ это время, и никогда она не была чище и справедливѣе, какъ въ продолженіе этой глубокой любви.

Только въ одномъ она не могла сладить съ собою: когда посторонніе, при первомъ знакомствѣ съ ребенкомъ, поражались его свѣтлымъ умомъ, она вся вспыхивала отъ гордой радости. И эта гордость неизмѣнно присутствовала въ ней, смотрѣла-ли она долгимъ взглядомъ въ большіе глаза ребенка, слѣдила-ли за его рѣзвою игрой, сравнивала-ли его съ другими дѣтьми. Въ будущемъ ей рисовался свѣтлый геній, который дастъ міру свою великую истину, и эта тайная мысль наполняла ея сердце почти религіознымъ восторгомъ. Посторонніе люди, удивлявшіеся острому мышленію мальчика и его нѣжному сердцу, качали головой и предостерегали мать, чтобы она не торопилась развивать ребенка. Она гордо отвѣчала, что ей не къ чему развивать его преднамѣренно.

— Я никогда не толкаю его впередъ, онъ самъ меня ведетъ куда-то... Мнѣ нельзя даже задавать ему свои вопросы, я едва поспѣваю отвѣчать на его... И мнѣ кажется иногда, что не я его учу, а онъ меня...

Посторонніе не вѣрили, но въ ея словахъ заключалась бо́льшая правда, чѣмъ это принято думать. Мать едва успѣвала отвѣчать на вопросы сына, а предостереженія посто-

ронних просто казались ей смѣшными и шаблонными. Несравненно большее впечатлѣніе производили на нее слова простыхъ, темныхъ людей, которые по простотѣ своей души не считали нужнымъ скрывать свои мнѣнія о необыкновенномъ ребенкѣ.

— Господи Боже мой! И откуда можетъ родиться такая умница?—говаривала одна старуха и съ умиленіемъ смотрѣла на свѣтлый образъ мальчика.

Александра Яковлевна гордо оглядывала маленькую фигурку.

— Милый дѣтушка! Только не жилецъ на Божьемъ свѣтѣ!—прибавляла старуха.

— Что ты болтаешь, старая?—вскрикивала Александра Яковлевна и старалась презрительно разсмѣяться надъ зловѣщимъ и глупымъ карканьемъ, но, вмѣсто смѣха, по ея лицу пробѣгала судорожная улыбка.

— Нѣтъ, милая, нельзя такимъ жить промежду насъ, грѣшныхъ,—грустно сказала старуха.

— Это почему?

— А потому, родная, что ангелы на небѣ нужны Богу...

Александра Яковлевна силилась осмѣять эти суевѣрныя слова глупой старухи, но въ душѣ ея каждый разъ послѣ такого разговора оставался непонятный слѣдъ ужаса. Умъ ея критически разбивалъ темное вѣрованіе старухи; это вѣрованіе, думала она, основано на дѣйствительной истинѣ; въ народѣ дѣтская жизнь окружена такими опасностями, какія не можетъ вынести тонкій организмъ; живетъ тотъ только, которому нипочемъ грязь, голодъ, побои; выдающимся же дѣтямъ нѣтъ мѣста въ такой обстановкѣ.

Но это говорила ей критическая мысль, а сердце сжималось отъ страха. Чтобы не мучить себя, она со злобой обрывала такіе разговоры.

— И какой же умница-то онъ у тебя!... Такъ бы вотъ все и говорилъ съ нимъ, и глядѣлъ на него!... Милый дѣтушка! Не дологъ только вѣкъ твой!—говорила съ умиленіемъ другая какая-нибудь женщина.

Александра Яковлевна съ искаженнымъ отъ злобы лицомъ обрывала:

Что же тебѣ объ его вѣкѣ-то говорить? Это вотъ твой

вѣкъ, дѣйствительно, кончился, и тебѣ пора подумать о Богѣ, а не говорить вздора!

— А ты не гнѣвайся, милая!... Я жалѣючи тебя говорю, чтобы ты не тосковала до смерти, коли въ случаѣ чего...— отвѣчала старуха и съ какою-то свѣтлою печалью смотрѣла на смѣющееся лицо ребенка.

Александра Яковлевна чувствовала, что по отношенію къ сыну она стала суевѣрной. Доводы разсудка не помогали. Отъ одной мысли, что она можетъ потерять сына, сердце ея холодѣло. Въ такія минуты она съ ужасомъ глядѣла въ самую глубину любимыхъ глазъ и въ ихъ блескѣ желала отгадать загадку, будутъ эти глаза долго свѣтить ей или они безвозвратно потухнутъ отъ какой-то невѣдомой бури. И днемъ, и ночью эта мысль преслѣдовала ее.

Однажды, въ теплый майскій день, она отворила всѣ окна, выходившія въ садъ; въ саду цвѣла черемуха; въ кустахъ ея шумѣли воробьи. Вдругъ въ окно влетѣла ласточка и, напуганная незнакомымъ мѣстомъ, принялась колотиться въ стѣны, въ потолокъ и въ верхнія оконныя стекла. Они съ Андрюшей все это видѣли. Андрюша съ восхищеннымъ взоромъ слѣдилъ, какъ летала ласточка, бѣгалъ по всѣмъ угламъ, куда она бросалась, взволнованно просилъ мать поймать ее.

— Нельзя, милый дѣтка, поймать ее!—возражала съ улыбкой мать.

— Поймай, мама, поймай!—кричалъ въ попыхахъ Андрюша.

Александра Яковлевна сдѣлала видъ, что она ловитъ. Но ласточка въ эту минуту тяжело ударилась въ стекло, упала отъ удара внизъ на окно и, почувствовавъ струю вольнаго воздуха, съ громкимъ крикомъ вылетѣла на волю. Андрюша посмотрѣлъ ей въ слѣдъ, по тому пути, куда она скрылась, и на комнату, гдѣ она сейчасъ была, и вдругъ скучно присмирѣлъ.

Въ это время вошла кухарка, и Александра Яковлевна, смѣясь, разсказала ей маленькое происшествіе. Но кухарка таинственно покачала головою.

— Охъ, милая барыня... не хорошо это, — проговорила она шепотомъ.

— Что не хорошо?—удивленно спросила Александра Яковлевна.

— Да ласточка-то влетѣла и улетѣла.

— Ну, такъ что же?

— Да вѣдь это душа улетѣла!—убѣжденно сказала баба.

— Какая душа?

— Живая душа, милая барыня... Прилетѣла, попорхала тутъ и улетѣла вонъ...

— Убирайся вонъ, дура!—крикнула въ страшномъ гнѣвѣ Александра Яковлевна, и сердце ея сжалось отъ тоски.

А ровно черезъ двѣ недѣли она стояла на кучѣ желтой кладбищенской земли и тупо смотрѣла въ яму, куда опускали Андрюшу.

Какъ она пережила эти дни, она и до сихъ поръ не понимаетъ. Это не былъ ужасъ передъ смертью; въ ея сердцѣ не раздавался вопль; ни стоновъ, ни слезъ, ни жалобъ, ни проклятій не раздавалось съ ея устъ; она переживала страданіе, которое ничѣмъ нельзя было выразить; казалось, сама смерть поселилась въ ея душѣ, и она коченѣетъ. Она продолжала заниматься тѣми мелочами, изъ которыхъ состоитъ обыденная жизнь, но какъ безсмысленная, холодная машина. Ни въ одной такой мелочи, да и ни въ чемъ, мысль ея больше не участвовала. Самый фактъ смерти сына она не понимала. Это былъ ударъ, который оглушилъ ее, отъ котораго она потеряла сознаніе, котораго не понимала и не представляла себѣ въ живомъ образѣ.

Но мало-по-малу сознаніе возвратилось, и вотъ когда началось настоящее страданіе. По ночамъ часто она съ воплемъ вскакивала и обнимала пустое пространсто. А днемъ она обдумывала смерть, и дума эта была такая безконечная, что у ней темнѣла голова. Мальчикъ задохнулся отъ дифтерита,—это было понятно ей. Понятно ей было и то, что это нѣжное тѣло, разбитое страшнымъ ударомъ, должно лежать въ ямѣ; отъ него останется горсть пыли, и это понятно. Но куда же дѣлся этотъ взглядъ большихъ глазъ, дарившій счастье всѣмъ, кто только встрѣчалъ его? Куда пропала эта нѣжная любовь, которую, какъ цвѣтущая роза, распространялъ вокругъ себя мальчикъ? Гдѣ теперь эта сильная, хотя и дѣтская еще мысль? Неужели *это* закопано въ яму также? Если въ природѣ ничего не пропадаетъ, то какъ же можетъ безслѣдно исчезнуть мысль, которая черезъ нѣкоторое время превратилась бы въ могучій потокъ идей,

и чувство, которое распространило бы вокругъ себя горячіе лучи счастья? Неужели все это брошено безвозвратно въ яму? А если не пропало, то гдѣ же его искать?...

И Александра Яковлевна завидовала тѣмъ простымъ женщинамъ, которыя вѣрятъ, что умершее дитя превращается въ ангела и становится хранителемъ людей. Она была бы счастлива даже и вѣрой той женщины, которая въ ласточкѣ видѣла душу. Пусть бы духъ удивительнаго ребенка леталъ по небу въ видѣ ласточки,—съ этимъ она примирилась бы. Но чтобы онъ безслѣдно погибъ, чтобы родившаяся мысль зарыта была навсегда въ грязную яму, это сознаніе было выше ея силъ.

Жизнь ея обратилась въ ночь. Только слезы, когда она въ состояніи была плакать, облегчали ее. Но когда она начинала рыдать, мужъ сердито уходилъ изъ комнаты, а иногда и совсѣмъ изъ дома. Онъ долго не осмѣливался попрекать ее этими слезами, но онѣ, наконецъ, стали раздражать его.

— Ты только растравляешь нашу рану!—замѣчалъ онъ не одинъ разъ.

Самъ онъ давно успокоился, а когда что-нибудь напоминало о сынѣ, онъ торопился выбросить изъ себя тяжелое воспоминаніе. Точно такою же онъ желалъ бы видѣть и Александру Яковлевну. Тутъ какъ разъ подошли самыя усиленныя хлопоты по пріисканію мѣста и ради лучшаго устройства и ему совсѣмъ некогда было вспоминать о потерѣ сына. Всякую мысль онъ считалъ теперь не только тяжелою, но и вредною. Ему казалось, что это мѣшаетъ его какимъ-то важнымъ дѣламъ, его жизни. Хранить память объ исчезнувшемъ сынишкѣ—это только безцѣльно и безполезно растравлять себя, растравлять въ то время, какъ ему надо жить живою жизнью и дѣлать какое-то важное дѣло. Чувствительность—роскошь людей, которымъ дѣлать нечего, ему, напротивъ, нужна вся энергія для тѣхъ предстоящихъ дѣлъ, которыя онъ долженъ исполнять. Поэтому онъ сталъ съ нескрываемымъ пренебреженіемъ смотрѣть на слезы Александры Яковлевны. Онъ былъ увѣренъ, что она часто плачетъ искусственно, отъ нечего дѣлать, или ради того, чтобы насильно вызвать темнѣющій образъ Андрюши, но не высказывалъ этого.

За то онъ открыто сталъ говорить о вредѣ столь долгаго сосредоточенія на личной жизни. Выражалъ онъ это довольно шаблонно.

— Это показываетъ, что у тебя нѣтъ и не было общественныхъ интересовъ... а исключительно только личные! Когда личная жизнь была наполнена, ты чувствовала себя счастливою, но лишь только твои личные интересы потерпѣли тяжкое крушеніе, ты очутилась на воздухѣ, безъ почвы, безъ цѣли и жизни.

Такъ онъ однажды сказалъ, и сказалъ съ нескрываемымъ пренебреженіемъ, раздраженный невнимательнымъ отношеніемъ къ нему Александры Яковлевны; онъ только что вернулся съ объѣзда имѣнія, усталый и голодный, а она не сдѣлала даже распоряженія объ обѣдѣ. Вмѣсто того, она сидѣла въ своей спальнѣ и, перебирая оставшіяся отъ Андрюши вещи, обливала ихъ слезами. Но когда онъ сказалъ ей это, съ ней сдѣлалось что-то непонятное. Она вдругъ выпрямилась, отерла послѣднія капли слезъ и вызывающе оглянула мужа.

— Развѣ любовь къ дѣтямъ—дурное дѣло?—спросила она и въ упоръ посмотрѣла на мужа

— Кто же это говоритъ!...—возразилъ онъ и трусливо опустилъ глаза въ тарелку.

— Но вѣдь ты дѣлаешь такое сопоставленіе?

— Я только говорю объ обществѣ, котораго не нужно забывать ради себя и дѣтей.

— Кто же это общество? Развѣ дитя не членъ общества? А воспитаніе сильныхъ и правдивыхъ людей не общественное дѣло?... Развѣ истинная любовь къ дѣтямъ можетъ чему-либо помѣшать?—продолжала спрашивать Александра Яковлевуа съ гнѣвною краской въ лицѣ.

— Въ общемъ—да, но подъ общественными интересами, какъ тебѣ извѣстно, принято разумѣть кое-что другое,—сказалъ колко мужъ.

— Да, мнѣ извѣстно это. Но мнѣ, въ то же время, извѣстны люди, которые подъ прикрытіемъ общественнаго дѣла только свои дѣлишки устраиваютъ. И они неуязвимы! Упрекни ихъ за грязную личную жизнь, они сошлются на общественныя дѣла, которыя якобы ихъ всецѣло занимаютъ, а когда ихъ уличаютъ въ общественной бездѣятельности,

они прячутся за личную жизнь, которая якобы полна лишеній и невзгодъ... Повторяю, эти лицемѣры неуязвимы, а потому-то они такъ ненавистны мнѣ... И никогда мнѣ не придетъ въ голову принимать за настоящую монету ихъ истасканныя фразы: „общественные интересы", „личная почва"...

— Ты, я вижу, раздражена, Саша... и потому умолкаю,— пробормоталъ трусливо Хординъ.

— Да, раздражена!... Но какого свойства раздраженіе людей, которые начинаютъ говорить объ общественныхъ дѣлахъ потому только, что забыли заправить ихъ супъ?

Хординъ, почувствовавъ направленіе этого выстрѣла, покраснѣлъ и бросилъ злобный взглядъ на жену, но промолчалъ.

Съ этой поры между ними возникли тяжелыя отношенія.

Александра Яковлевна круто измѣнилась. Прежде всего, съ той поры никто не видалъ слезъ на ея лицѣ и ни съ кѣмъ никогда она не говорила о погибшемъ своемъ мальчикѣ. Она поняла, что и образъ его, и слезы, вызываемые имъ, посторонній взглядъ можетъ только оскорбить. А потомъ мысли ея приняли другое направленіе. Она глубоко задумалась надъ своею и окружающею жизнью, задумалась не надъ вопросами, а именно надъ жизнью, и, притомъ, личной...

Когда нѣтъ общей жизни, тогда мысль, до этихъ поръ витавшая гдѣ-то далеко отъ ея носителя, упорно сосредоточивается на себѣ, на своей личности... А общей жизни, дѣйствительно, не было. На кого изъ знакомыхъ она ни смотрѣла, общественнаго человѣка нигдѣ ни находила, а замѣчала только личнаго, обособленнаго, порвавшаго связи съ обществомъ. И вотъ когда на нее посыпались сюрпризы, она, раздумываясь надъ безпорядочною и неряшливою жизнью каждаго, кого встрѣчала, какъ будто въ первый разъ открыла глаза. Изумленіе ея было тѣмъ сильнѣе, что до этой поры она жила болѣе трехъ лѣтъ въ чистой сферѣ дѣтской любви, а когда не стало ребенка, благородный образъ его все же неизмѣнно жилъ въ ней и окружалъ ее исключительною атмосферой страдальческой любви. Теперь она въ упоръ посмотрѣла на эту обыденную жизнь и почувствовала брезгливость, перешедшую скоро въ отвращеніе. Сначала, какъ женщина, для которой чистота обыденныхъ отношеній стоитъ всегда на первомъ планѣ, а потомъ, какъ думающій человѣкъ, она пришла къ убѣжденію, что безу-

прочность жизни—первый долгъ и что только непорядочные люди могутъ ставить въ противорѣчіе свою и общую жизнь. Александра Яковлевна часто съ изумленіемъ спрашивала: „Да чѣмъ же мы отличаемся отъ темныхъ людей?“

Это настроеніе заняло ее всецѣло; тяжелая потеря мало-по-малу теряла свою острую боль. Образъ ея мальчика неизмѣнно жилъ въ ней, но оставался невидимымъ и неосязаемымъ; онъ навѣвалъ на нее свѣтлыя мысли, чистыя желанія и жажду исправленія. Иногда ей приходила въ голову черная и скверная мысль, она подавляла ее, но не во имя чего-то отвлеченнаго, а въ память милаго мальчика. Въ другой разъ, во время внутренней борьбы, образъ его совсѣмъ не являлся ей, но она чувствовала, что удержалъ ее отъ дурного слова или поступка кто-то милый, любимый...

Только по временамъ далекій образъ, скрывшійся во мглѣ прошедшаго, вдругъ вставалъ передъ нею съ плотью и кровью, и тогда она переживала невыносимое страданіе. Такъ случилось и въ эту минуту. Она сидѣла подъ деревомъ голаго лѣса и слезы градомъ катились по ея лицу. И вдругъ все—и ея мысли, и ея наблюденія, и ея возростающее недовольство мужемъ, и вся эта жизнь, изъ которой она ищетъ выхода, но не находитъ, и самые эти поиски выхода, рѣшительно все показалось ей такимъ ничтожнымъ и ненужнымъ передъ какою-то необъятною пустыней.

Когда слезы утихли и острое страданіе прошло, она поднялась съ мѣста и пошла по направленію къ дому, равнодушная и холодная, какъ то небо, которое висѣло надъ ней, какъ этотъ мертвый лѣсъ, гдѣ она сидѣла.

Дома она машинально принялась за исполненіе обязанностей хозяйки. Часы показывали близость обѣда, и она вмѣстѣ съ прислугой тотчасъ же стала накрывать на столъ. Устанавливая приборы, она спросила сестру Буреева, пріѣхавшую погостить сюда:

— Маша, вы не знаете, пріѣдетъ кто-нибудь сегодня изъ города?

Молодая дѣвушка имѣла привычку при всякомъ разговорѣ немного краснѣть, но отъ этого вопроса хорошенькое, свѣжее лицо ея залилось густою краской.

— Право, не знаю... можетъ быть... Сегодня воскресенье!—

съ дѣтскимъ волненіемъ лепетала она въ отвѣтъ Александрѣ Яковлевнѣ.

— Кажется, обѣщалъ Мизинцевъ быть?—почти про себя замѣтила Александра Яковлевна.

— Да, онъ пріѣдетъ!—подтвердила дѣвушка ея предположеніе, притомъ, съ такою поспѣшностью, что окончательно сконфузилась, обливаясь кровью вся, вплоть до ушей, и растерянно отвернулась въ сторону, а въ глазахъ ея появилось выраженіе ребенка, который тайно лизнулъ варенье и былъ накрытъ на мѣстѣ этого преступленія.

Но Александра Яковлевна не обратила вниманія на ея замѣшательство и равнодушно уставляла столъ. Черезъ нѣсколько минутъ на дворѣ послышались голоса возвращающихся съ охоты Хордина и Буреева. Они шумно вошли и съ ихъ приходомъ весь домъ какъ будто заговорилъ, зашумѣлъ, задвигался. Громкими восклицаніями они выразили радость при видѣ накрытаго стола. Потомъ, наскоро умывшись, они усѣлись за дымящійся обѣдъ, утоляя добытый на охотѣ голодъ. Хординъ, съ раскраснѣвшимся лицомъ, ѣлъ такъ аппетитно, что у сытаго человѣка могъ вызвать желаніе еще разъ пообѣдать. Буреевъ не отставалъ отъ него, хотя не очень былъ голоденъ. Въ то же время, они оба шумно говорили, перебивая другъ друга; разговоръ вертѣлся исключительно на эпизодахъ только что происходившей охоты. Буреевъ, не бывшій охотникомъ и сопровождавшій Хордина отъ ужасающей скуки, въ юмористическомъ видѣ представилъ картину, какъ Хординъ ползъ въ травѣ и какъ вдругъ слетѣлъ внизъ, въ какую-то яму, закрытую кустами, потомъ вдругъ, принявъ притворно-мрачное выраженіе, онъ обратился къ Александрѣ Яковлевнѣ:

— А знаете что, вѣдь супругъ вашъ чуть было не застрѣлилъ своего „Султана“!

— Нечаянно?—спросила равнодушно Александра Яковлевна.

— Какое нечаянно! Просто прицѣлился и—бацъ! Къ счастію, осѣчка...

Дѣвушка вдругъ заволновалась при этихъ словахъ брата; Александра Яковлевна съ интересомъ взглянула на мужа.

— За что же это?—спросила она.

Хординъ вдругъ озлился точно такъ же, какъ онъ озлился, должно быть, на охотѣ.

— Да негодяй все время спугивалъ у меня дичь.

— Это хваленая-то собака!... Это „Султанъ"-то, которымъ онъ гордится и котораго считаетъ особенно породистымъ!— дразнилъ со смѣхомъ Буреевъ.—А онъ оказался самаго плебейскаго происхожденія, не лучше любой уличной бродяги, которая при видѣ утки бросается съ открытою пастью, чтобы поймать и сожрать ее!—и Буреевъ залился добродушнымъ смѣхомъ.

Хординъ злился.

— Ну, теперь, братъ, какъ красно ни говори о его породистости, я не повѣрю,—добавилъ онъ.

Эти слова были началомъ длиннаго спора про собакъ. Буреевъ подсмѣивался, а Хординъ, задѣтый за живое, горячился. Когда первый сталъ доказывать низкое происхожденіе „Султана", Хординъ подробно и съ раздраженіемъ опровергалъ. Спорщики забыли о присутствующихъ и подняли шумъ. Самый же предметъ этого спора сидѣлъ на заднихъ ногахъ недалеко отъ стола, рабски хлопалъ по полу хвостомъ и горящими глазами смотрѣлъ на нѣкоторыя блюда.

— Ты посмотри на его уши!—говорилъ Хординъ убѣжденно и указывалъ на большія, эластичныя уши „Султана".

— Ну, что же уши? Обыкновеннаго легаша!—возразилъ Буреевъ.

— Нѣтъ, не обыкновеннаго!... Такихъ длинныхъ, шелковыхъ ушей не бываетъ у непородистой собаки... А хвостъ... ты знаешь, что такое хвостъ? — разгоряченно спросилъ Хординъ.

— Хвостъ есть принадлежность большинства животныхъ и нѣкоторой части людей,—возразилъ Буреевъ.

— А ты знаешь, какое его назначеніе у хорошей собаки?— переспрашивалъ Хординъ, не обращая вниманія на смѣхъ товарища.

— Да я думаю, просто вилять.

— Я тебя серьезно спрашиваю... Значеніе руля, вотъ что такое хвостъ для собаки. И вотъ гдѣ отличіе породистой собаки отъ непородистой... породистая управляетъ этимъ рулемъ артистически! Когда она дѣлаетъ стойку, хвостъ ея вполнѣ вертикаленъ, какъ палка, а если она ищетъ, хвостъ

ея дѣлаетъ правильныя боковыя движенія... Непородистая же собака умѣетъ только мухъ гонять этимъ рулемъ.

Дальше Хординъ разбиралъ какую-то шишку на головѣ собаки, которая обозначала особую ея талантливость, какіе-то изгибы на лапахъ, какой-то уголъ на мордѣ его. „Султанъ“ слушалъ, слушалъ и, не дождавшись подачки со стола, вдругъ судорожно разинулъ пасть и дико завылъ. Александра Яковлевна закричала на него и выгнала его за дверь, чѣмъ и кончился споръ объ аристократическомъ его происхожденіи.

Встрѣтивъ холодный и укоризненный взглядъ жены, Хординъ немного смутился и съ озабоченнымъ видомъ спросилъ:

— А что, привезли сегодняшнюю почту?

Какъ будто журналы и газеты ему были крайне необходимы!

— Привезли.

— Посмотрѣла? Ничего новаго нѣтъ?—съ тою же озабоченностью узнавалъ онъ.

Александра Яковлевна молча пожала плечами.

Онъ, повидимому, удовлетворился этимъ и перевелъ разговоръ опять на сегодняшнюю охоту.

А когда обѣдъ кончился, онъ пригласилъ Буреева въ дальнюю комнату отдохнуть, т.-е. по-просту выспаться. Въ этой комнатѣ, растянувшись на кушеткѣ, съ лицомъ, сіяющимъ послѣобѣденнымъ довольствомъ, онъ вспомнилъ молодую бабу, которую они сегодня встрѣтили по дорогѣ. „Ахъ, хороша, шельма!“—проговорилъ онъ и захохоталъ. Буреевъ также засмѣялся, не потому, что ему было весело, а просто по добротѣ душевной. Насчетъ этой встрѣчи между ними моментально началась игривая бесѣда, невозможная въ дамскомъ обществѣ, и Хординъ съ замирающимъ смѣхомъ развивалъ ее, а Буреевъ вторилъ ему, и опять не потому, что любилъ скверные разговоры, а по добротѣ и мягкости душевной, изъ нежеланія нарушить веселое настроеніе товарища.

Хординъ, дѣйствительно, любилъ на эту тему „пошутить“, но только, разумѣется, въ подходящемъ обществѣ, потому что, какъ образованный человѣкъ, онъ держался двухъ политикъ — внутренней и внѣшней. Эти двѣ политики онъ имѣлъ во всемъ. Дома у себя онъ былъ одинъ, въ обществѣ—другой; съ дѣтьми велъ себя иначе, чѣмъ со взрослы-

ми, съ женой иначе, чѣмъ съ постороннею женщиной, въ дамскомъ обществѣ не такъ, какъ въ мужскомъ, и между холостыми иначе, нежели съ женатыми. Оттого нѣкоторымъ онъ казался крайне неискреннимъ, даже лживымъ, но это совсѣмъ не такъ. Онъ не лгалъ, а просто имѣлъ два лица и попеременно ихъ показывалъ, смотря по обстоятельствамъ. Въ обществѣ онъ считался человѣкомъ крайне свободныхъ мнѣній, а дома у себя превращался, безъ всякаго усилія съ своей стороны, въ самаго обыкновеннаго мѣщанина, живущаго исключительно ради куска; въ дамскомъ обществѣ онъ производилъ впечатлѣніе приличнаго и скромнаго молодого человѣка, а когда оставался въ мужскомъ обществѣ, то поражалъ всѣхъ поганымъ воображеніемъ и скверными словами. Съ дѣтьми онъ велъ себя наставительно и твердо, а между взрослыми бывалъ легкомысленно веселымъ. Защитникъ женскихъ правъ повсюду, на Александру Яковлевну онъ смотрѣлъ глазами господина, имѣющаго полное право не принимать въ разсчетъ ея убѣжденій. И все это онъ дѣлалъ безъ малѣйшаго усилія, ибо имѣлъ два лица.

Черезъ нѣкоторое время, оборвавъ на полусловѣ какую-то скверную фразу, онъ вдругъ со свистомъ захрапѣлъ.

Буреевъ, изъ нежеланія противорѣчить товарищу, также захотѣлъ было уснуть, но не могъ. Въ комнатѣ было дымно отъ выкуреннаго табаку; храпъ товарища рѣзалъ по нервамъ, какъ звукъ пилы; вся комната показалась ему какою-то скучной и мрачной. Тогда онъ на цыпочкахъ, чтобы не разбудить Хордина, выбрался за дверь и пошелъ отыскивать дамъ.

Въ залѣ онъ нашелъ только Александру Яковлевну. Она сидѣла за пустымъ столомъ и, облокотившись на него, смотрѣла въ одну точку. Буреевъ остановился въ дверяхъ и долго смотрѣлъ на нее. Ея лицо показалось ему, въ одно и то же время, прекраснымъ и несчастнымъ, а, можетъ быть, оно и показалось ему прекраснымъ потому, что на немъ лежала печать страданія. И доброе сердце его заныло. Онъ порывисто шагнулъ впередъ и сказалъ съ волненіемъ:

— Эхъ, Александра Яковлевна!... Тоскливо вамъ здѣсь?

— Что же дѣлать, Нифонтъ Алексѣичъ?—выговорила она съ усиліемъ, вздрогнувъ отъ неожиданнаго обращенія.

III.

Въ этотъ день Александра Яковлевна съ утра должна была пережить непріятную сцену. Причиной былъ самъ Хординъ.

Съ ранняго утра во дворѣ, на службахъ, въ саду и въ самомъ домѣ слышалось его ворчанье, брань, рѣзкіе окрики. Это онъ объяснялся съ многочисленною барскою прислугой. Завтра, по его рѣшенію, слѣдовало начинать полевыя работы, а приготовиться никто не успѣлъ. Всюду онъ нашелъ безпорядки и явные слѣды лѣни, недобросовѣстности и глупости наемнаго люда. Онъ торопливо, съ озлобленнымъ лицомъ обходилъ всю усадьбу и ворчалъ, ворчалъ безъ конца. А нѣкоторыхъ бранилъ по-извозчичьи, не стѣсняясь присутствіемъ бабъ. Да и самыхъ бабъ онъ распылилъ. Встрѣтившуюся ему кухарку съ помоями, которыя она намѣревалась выплеснуть среди двора, онъ послалъ туда, куда невозможно добраться. А когда удивленная баба, разиня ротъ, поставила свою лохань на землю, чтобы подумать, куда собственно нести ее теперь, онъ въ {бѣшенствѣ опрокинулъ ее ногой, розлилъ все содержимое и закричалъ не своимъ голосомъ:

— Я тебѣ, дура, сколько разъ говорилъ не лить здѣсь свою дрянь?

— Чай, это чистая вода, а не дрянь!—возразила кухарка, озлившись отъ неожиданной головомойки.

— Если чистая, такъ ты бы и выхлебала ее, а не плескала сюда!

— Чего мнѣ изъ лохани-то хлѣбать?... Чай, я не свинья!

— Убирайся къ чорту! — закричалъ внѣ себя отъ гнѣва Хординъ.

И, плюнувъ по тому направленію, гдѣ валялась опрокинутая имъ лохань, онъ быстро удалился и набросился на мужиченка въ кумачной рубахѣ, который тщетно искалъ потерянный имъ ключъ отъ желѣзнаго хода.

— Ну, что, нашелъ?—закричалъ Хординъ.

Работникъ въ смущеніи шарилъ руками въ сору, но шарилъ только для видимости, потому что ключа тутъ ни въ какомъ случаѣ не могло быть.

— Стало быть, нѣту его! — проговорилъ онъ съ искривленною усмѣшкой.

— Нѣтъ, такъ надо отыскать!

— Да може его и вовсе не было на свѣтѣ-то?

— Что-о? Не было?!—крикнулъ Хординъ.—Въ такомъ случаѣ сейчасъ получай разсчетъ, сейчасъ!... Сію минуту иди, получай и убирайся. Сейчасъ же съ глазъ долой!... Ахъ, ты, наглый дуракъ! Я на той недѣлѣ своими глазами видѣлъ, а онъ говоритъ: «его на свѣтѣ не было»! Сію минуту вонъ!

Выпаливъ все это, Хординъ быстро пошелъ по направленію къ дому, но по дорогѣ еще нѣсколько разъ приказалъ, чтобы работникъ шелъ за нимъ. Работникъ, заинтересованный внезапнымъ окрикомъ, тупо улыбаясь, покорно шелъ слѣдомъ за бариномъ. Не прошло и нѣсколькихъ минутъ, какъ разсчетъ былъ сдѣланъ, работникъ получилъ деньги и пошелъ собираться, провожаемый не то сочувственными, не то насмѣшливыми взглядами другихъ батраковъ. Хординъ также вышелъ изъ дому за нимъ и наблюдалъ, какъ онъ подъ сараемъ перевязываетъ кушакомъ свои вещишки. Онъ сразу успокоился. Выместивъ злобу на мужиченкѣ, онъ пересталъ кричать. Но за то по отношенію къ этой жертвѣ своего гнѣва онъ до конца оставался неумолимымъ; онъ съ удовлетворенною злобой наблюдалъ, какъ тотъ перевязываетъ вещишки, какъ переобувается. Когда работникъ, видимо, собрался и только еще не рѣшался сдѣлать первый шагъ къ воротамъ, все еще оглушенный этимъ неожиданнымъ разсчетомъ, Хординъ съ хладнокровною злобой выговорилъ:

— Ну, что, готовъ?... Съ Богомъ!

Работникъ поплелся съ искаженною улыбкой на лицѣ вонъ со двора, но за воротами онъ сразу какъ бы встряхнулся, передернулъ плечами, засверкалъ своими безцвѣтными глазами и зарычалъ:

— Мы уйдемъ!... Намъ тутъ дѣлать нечего въ эфтомъ безобразномъ домѣ!

— Проваливай, проваливай!—насмѣшливо возразилъ ему Хординъ.

Работникъ медленно шелъ отъ воротъ, озираясь, какъ собака, за которою идутъ съ палкой. Но недалеко отъ забора онъ вдругъ остановился и въ свою очередь принялся отругиваться. Хординъ ему односложно возражалъ. Позиціи ихъ были такія: мужиченко стоялъ по ту сторону плетня, а Хординъ по эту, но, чтобы видѣть другъ друга, имъ надо было

значительно вытягивать шеи. И они вытягивали шеи и переругивались. Сначала, впрочемъ, съ обѣихъ сторонъ была подробнѣйшимъ образомъ разобрана пропажа ключа и другіе инциденты, а затѣмъ ужь они ругались, — работникъ съ яростью, Хординъ насмѣшливо.

— Да! Хорошіе господа черезъ ключъ не обижаютъ работниковъ!—кричалъ мужикъ.

— А хорошіе работники не теряютъ хозяйскихъ вещей!—возражалъ Хординъ.

— Да! Хорошіе господа изъ такого пустого дѣла и разговаривать-то не станутъ, а не то что... Ключъ! Что такое ключъ? Тьфу! Срамъ одинъ!

Работникъ при этомъ ожесточенно плюнулъ.

— Ты и не потерялъ его, а пропилъ, въ этомъ я увѣренъ!—сказалъ Хординъ насмѣшливо.

— Ключъ-то? Пропилъ? Да тьфу! Чего онъ стоитъ? Шкалика не дадутъ!... Хорошій господинъ, а не жуликъ, вниманія бы что есть не взялъ, а не то чтобы...

— Ну, братъ, проваливай, не проѣдайся!—сказалъ Хординъ и вдругъ опять лицо его нахмурилось.

— Мы не проѣдаемся! Намъ даромъ чужого добра не надо! А вотъ прочіе, которые на барскомъ жалованьи, тѣмъ, напримѣръ, чужое добро очень желательно!—ядовито возразилъ работникъ.

— Я тебѣ сказалъ, убирайся! Вонъ отсюда, пока я не догналъ тебя, да не поколотилъ!—закричалъ Хординъ.

У работника при этихъ словахъ барина лицо сдѣлалось вдругъ насмѣшливымъ; онъ такъ ругнулся, что взбѣшенный Хординъ полѣзъ было черезъ плетень, чтобы привести въ исполненіе свою угрозу, но мужиченко со всѣхъ ногъ бросился улепетывать, только болтались вещишки его, перекинутыя за спину.

Александра Яковлевна видѣла изъ окна всю эту сцену, со включеніемъ финала, и лицо ея залито было краской. Жгучій стыдъ подступилъ къ ея сердцу, какъ вѣсть о несчастіи. Она не знала, куда дѣть глаза.

Ей стыдно было и за себя, и за мужа. Какъ ни дурно она думала о немъ въ послѣднее время, но она знала, что онъ, въ сущности, не злой человѣкъ; тѣмъ болѣе не могло быть рѣчи о злобѣ къ жалкому батраку. Онъ просто попалъ въ

некрасивое положеніе и потерялъ тактъ. Отсюда его возмутительные поступки.

Хординъ, повидимому, въ самомъ дѣлѣ не понималъ той невѣрной почвы, на которой стоялъ. За послѣднее время онъ непремѣнно желалъ показать себя практичнымъ. Когда онъ только бралъ мѣсто управляющаго, товарищи предсказывали ему неудачу, говорили, что его на каждомъ шагу будутъ надувать, рисовали ему картину гуманнаго дурака, котораго всѣ водятъ за носъ. И вотъ онъ теперь всѣми силами старается отвязаться отъ „гуманности" и выказать себя практичнымъ, но, какъ всякій новичокъ въ незнакомомъ дѣлѣ, онъ пересолилъ, подозрѣвая въ каждомъ человѣка, который хочетъ его надуть. „Практичность" такъ овладѣла имъ, что его теперь можно было какъ угодно назвать, обвинить въ измѣнѣ,—онъ не сильно бы обидѣлся,—но видѣть себя одураченнымъ—это стало теперь для него кровнымъ оскорбленіемъ. И чтобы прослыть за практичнаго человѣка, онъ путался въ мелкія дѣлишки съ работниками, учитывалъ, сколько горстей отрубей выходитъ на каждую свинью, куда дѣвалась пара гвоздей и, конечно, злился. Но злымъ онъ не былъ; онъ только сталъ въ такое положеніе, гдѣ злость необходимое средство удачи,—разныя бываютъ положенія!

Александрѣ Яковлевнѣ вдругъ сдѣлалось такъ тяжело и такъ захотѣлось помочь ему въ уразумѣніи положенія, что она съ пылающимъ лицомъ бросилась ему навстрѣчу.

— Василій! да неужели ты не понимаешь, что, ругаясь съ рабочими, ты себя ругаешь?—вскричала она взволнованно.

— Что прикажешь дѣлать? Прощать—небрежность и подлость; это только поощрять ихъ. Не могу же я позволить дурачить себя!—возразилъ онъ хмуро.

— Да развѣ нельзя безъ этихъ взаимныхъ оскорбленій? А если нельзя, то зачѣмъ ты сталъ въ такое положеніе?

— Отчего же нельзя?—стоитъ только разинуть ротъ. Да, наконецъ, я не желаю больше говорить объ этомъ и прошу не вмѣшиваться не въ свое дѣло.

Хординъ сказалъ это грубо. Александра Яковлевна бросила на него холодный взглядъ и замолчала. Съ пылающимъ отъ негодованія лицомъ, она бросилась въ дверь, хлопнула ею изо всей силы и почти бѣгомъ пустилась изъ дома. Мужъ грубо попалъ въ больное ея мѣсто и она вдвойнѣ

значительно вытягивать шеи. И они вытягивали шеи и переругивались. Сначала, впрочемъ, съ обѣихъ сторонъ была подробнѣйшимъ образомъ разобрана пропажа ключа и другіе инциденты, а затѣмъ ужъ они ругались, — работникъ съ яростью, Хординъ насмѣшливо.

— Да! Хорошіе господа черезъ ключъ не обижаютъ работниковъ!—кричалъ мужикъ.

— А хорошіе работники не теряютъ хозяйскихъ вещей!—возражалъ Хординъ.

— Да! Хорошіе господа изъ такого пустого дѣла и разговаривать-то не станутъ, а не то что... Ключъ! Что такое ключъ? Тьфу! Срамъ одинъ!

Работникъ при этомъ ожесточенно плюнулъ.

— Ты и не потерялъ его, а пропилъ, въ этомъ я увѣренъ!—сказалъ Хординъ насмѣшливо.

— Ключъ-то? Пропилъ? Да тьфу! Чего онъ стоитъ? Шкалика не дадутъ!... Хорошій господинъ, а не жуликъ, вниманія бы что есть не взялъ, а не то чтобы...

— Ну, братъ, проваливай, не проѣдайся!—сказалъ Хординъ и вдругъ опять лицо его нахмурилось.

— Мы не проѣдаемся! Намъ даромъ чужого добра не надо! А вотъ прочіе, которые на барскомъ жалованьи, тѣмъ, напримѣръ, чужое добро очень желательно!—ядовито возразилъ работникъ.

— Я тебѣ сказалъ, убирайся! Вонъ отсюда, пока я не догналъ тебя, да не поколотилъ!—закричалъ Хординъ.

У работника при этихъ словахъ барина лицо сдѣлалось вдругъ насмѣшливымъ; онъ такъ ругнулся, что взбѣшенный Хординъ полѣзъ было черезъ плетень, чтобы привести въ исполненіе свою угрозу, но мужиченко со всѣхъ ногъ бросился улепетывать, только болтались вещишки его, перекинутыя за спину.

Александра Яковлевна видѣла изъ окна всю эту сцену, со включеніемъ финала, и лицо ея залито было краской. Жгучій стыдъ подступилъ къ ея сердцу, какъ вѣсть о несчастіи. Она не знала, куда дѣть глаза.

Ей стыдно было и за себя, и за мужа. Какъ ни дурно она думала о немъ въ послѣднее время, но она знала, что онъ, въ сущности, не злой человѣкъ; тѣмъ болѣе не могло быть рѣчи о злобѣ къ жалкому батраку. Онъ просто попалъ въ

некрасивое положеніе и потерялъ тактъ. Отсюда его возмутительные поступки.

Хординъ, повидимому, въ самомъ дѣлѣ не понималъ той невѣрной почвы, на которой стоялъ. За послѣднее время онъ непремѣнно желалъ показать себя практичнымъ. Когда онъ только бралъ мѣсто управляющаго, товарищи предсказывали ему неудачу, говорили, что его на каждомъ шагу будутъ надувать, рисовали ему картину гуманнаго дурака, котораго всѣ водятъ за носъ. И вотъ онъ теперь всѣми силами старается отвязаться отъ „гуманности“ и выказать себя практичнымъ, но, какъ всякій новичокъ въ незнакомомъ дѣлѣ, онъ пересолилъ, подозрѣвая въ каждомъ человѣка, который хочетъ его надуть. „Практичность“ такъ овладѣла имъ, что его теперь можно было какъ угодно назвать, обвинить въ измѣнѣ,—онъ не сильно бы обидѣлся,—но видѣть себя одураченнымъ—это стало теперь для него кровнымъ оскорбленіемъ. И чтобы прослыть за практичнаго человѣка, онъ путался въ мелкія дѣлишки съ работниками, учитывалъ, сколько горстей отрубей выходитъ на каждую свинью, куда дѣвалась пара гвоздей и, конечно, злился. Но злымъ онъ не былъ; онъ только сталъ въ такое положеніе, гдѣ злость необходимое средство удачи,—разныя бываютъ положенія!

Александрѣ Яковлевнѣ вдругъ сдѣлалось такъ тяжело и такъ захотѣлось помочь ему въ уразумѣніи положенія, что она съ пылающимъ лицомъ бросилась ему навстрѣчу.

— Василій! да неужели ты не понимаешь, что, ругаясь съ рабочими, ты себя ругаешь?—вскричала она взволнованно.

— Что прикажешь дѣлать? Прощать—небрежность и подлость; это только поощрять ихъ. Не могу же я позволить дурачить себя!—возразилъ онъ хмуро.

— Да развѣ нельзя безъ этихъ взаимныхъ оскорбленій? А если нельзя, то зачѣмъ ты сталъ въ такое положеніе?

— Отчего же нельзя?—стоитъ только разинуть ротъ. Да, наконецъ, я не желаю больше говорить объ этомъ и прошу не вмѣшиваться не въ свое дѣло.

Хординъ сказалъ это грубо. Александра Яковлевна бросила на него холодный взглядъ и замолчала. Съ пылающимъ отъ негодованія лицомъ, она бросилась въ дверь, хлопнула ею изо всей силы и почти бѣгомъ пустилась изъ дома. Мужъ грубо попалъ въ больное ея мѣсто и она вдвойнѣ

то сконфузились. Сказалъ онъ это внушительно и спокойно, какъ взрослый человѣкъ говоритъ ребенку, который сшалилъ. Буреевъ, дѣйствительно, почувствовалъ себя въ положеніи мальчишки, которому сдѣлали строгій выговоръ. Наступила тишина.

Одна Александра Яковлевна, не замѣтившая общей озабоченности, продолжала бороться противъ молчанія.

— Вы, конечно, шутите... Но, вопреки вашему увѣренію, ѣсть сегодня въ самомъ дѣлѣ нечего. Это уже по милости прислуги... Съ самаго утра сегодня мы всѣ ссорились, и вотъ результатъ ссоры съ кухаркой—у насъ обѣда нѣтъ.

Въ отвѣтъ на это Чехловъ въ первый разъ улыбнулся, но такъ снисходительно, что Александра Яковлевна смутилась неизвѣстно отчего. Она поторопилась объясниться.

— Вы не подумайте, что моя прислуга въ самомъ дѣлѣ дурная, и я съ ней ссорюсь. Кухарка въ особенности хорошая женщина, но, видно, дурное расположеніе ея духа было очень сильно, если она испортила обѣдъ.

— Развѣ у кухарки бываетъ дурное расположеніе духа? А если бываетъ, то развѣ можно съ нимъ считаться?—возразилъ вдругъ Чехловъ холодно, безъ малѣйшей улыбки.

— Еще бы!... Мы, положимъ, поссорились, встревожились. Но мое расположеніе духа ни на чемъ не могло отразиться, такъ какъ я ничего не дѣлаю, а она испортила мясо. Но едва-ли я имѣю право жаловаться. Она была только въ дурномъ расположеніи духа, и оно причинено мной. Невольно приходится считаться съ настроеніемъ кухарки, иначе впереди грозитъ голодъ. Изъ этого вытекаетъ мораль: не надо ссориться съ кухарками и раздражать ихъ.

Александра Яковлевна говорила это полушутливо, полусерьезно. Но Чехловъ слушалъ внимательно, и когда Александра Яковлевна кончила, на лицѣ его мелькнуло непонятное злорадство.

— Изъ вашихъ словъ я вижу, что вы всегда довольны отношеніями къ прислугѣ?--спросилъ онъ.

— Напротивъ. Эти отношенія причиняютъ мнѣ много горя, обидъ!—вскричала Александра Яковлевна, вспоминая нынѣшнее утро.

— Почему же? Развѣ прислуга обманываетъ?

— Бываетъ и это. Но самое обидное и мучительное—это

недовѣріе съ ея стороны, фальшь и неопредѣленность обоюдныхъ отношеній... Часто просто не знаешь, какъ себя вести!

— Съ прислугой надо вести себя твердо. Обманъ уличать, воровство наказывать, за грубость выгонять.

Говоря это спокойно и медленно, Чехловъ, не сводя глазъ, смотрѣлъ на Александру Яковлевну.

Та не знала, что это такое, и съ недоумѣніемъ посмотрѣла на собесѣдника, стараясь понять значеніе его словъ. Въ первый разъ она прямо посмотрѣла на него и замѣтила его жесткія черты и холодный взглядъ.

— Но вѣдь такъ можно дойти до жестокости,—замѣтила она съ недоумѣніемъ.

— Развѣ по отношенію къ прислугѣ можетъ быть жестокость?—спросилъ онъ.

— Какъ же не можетъ быть? Преслѣдуя свои интересы, можно нечувствительно дойти до дикой несправедливости!—сказала съ волненіемъ Александра Яковлевна, задѣтая за живое.

— „Жестокость, несправедливость!"—сколько непонятныхъ словъ!—выговорилъ Чехловъ и улыбнулся, но это была злая улыбка.

Александра Яковлевна съ еще большимъ недоумѣніемъ посмотрѣла на него.

— Что же тутъ непонятнаго? Мы на каждомъ шагу видимъ и сами допускаемъ жестокость и несправедливость. А отсюда тяжелыя отношенія для обѣихъ сторонъ, но въ особенности тяжелыя прислугѣ.

— Прислугѣ?

— Ну, да, прислугѣ.

— Жестокость и несправедливость къ прислугѣ?—переспросилъ Чехловъ.—Воля ваша, извините, но я ничего не понимаю,—добавилъ онъ, и тонъ его вдругъ сдѣлался рѣзкимъ и самоувѣреннымъ.

Александра Яковлевна покраснѣла. Къ недоумѣнію въ ней присоединилось еще негодованіе.

— Да развѣ прислуга не человѣкъ?—воскликнула она оскорбленная.

— Разумѣется, человѣкъ!—отвѣтилъ Чехловъ опять спокойно.

— Значитъ, къ этому человѣку можно относиться мягко или жестоко, справедливо или несправедливо?

— Опять ничего не понимаю! То вы говорите о человѣкѣ, то о прислугѣ. Извините меня, но я не понимаю такого легкомысленнаго смѣшенія прислуги съ человѣкомъ! Это значитъ намѣренно играть словами!

Чехловъ, говоря это, рѣзко и оскорбительно жалъ плечами.

Александра Яковлевна обвела глазами всѣхъ присутствующихъ, но недоумѣніе и чувство оскорбленности были на всѣхъ лицахъ. Только одинъ Мизинцевъ сіялъ; на лицѣ его рисовалось величайшее удовольствіе, а его взоръ, попеременно переходящій съ одного обѣдающаго на другого, какъ будто говорилъ: „А вотъ погодите, онъ вамъ и не такой еще урокъ дастъ!“

— Вы, повидимому, задались намѣреніемъ не понимать самыхъ простыхъ словъ,—сказала сдержанно Александра Яковлевна.—Но въ такомъ случаѣ не можете-ли вы сами потрудиться объяснить вашъ взглядъ?

— Мнѣ бы хотѣлось вашъ взглядъ уяснить, ради вашей пользы, но вы почему-то стараетесь уклониться отъ моихъ добрыхъ намѣреній. Однако, я попытаюсь, если вы позволите, объяснить вамъ ваши слова. Вы позволите предложить вамъ нѣсколько вопросовъ?—спросилъ Чехловъ.

— Сдѣлайте одолженіе,—рѣзко сказала Александра Яковлевна. Лицо ея покраснѣло отъ негодованія. Да и всѣ присутствующіе, кромѣ Мизинцева, сидѣли нахмуренные, почти озлобленные противъ незнакомца. Всѣ забыли, что онъ гость, и не скрывали своего негодованія,—до такой степени слова его были вызывающими, оскорбительными.

— Вы думаете, что съ прислугой можно обращаться жестоко и несправедливо?—началъ Чехловъ свои вопросы съ загадочною улыбкой.

— Думаю,—отвѣтила Александра Яковлевна.

— Но, по вашему мнѣнію, должно обращаться мягко и справедливо?

— Должно. А развѣ по-вашему иначе?

— Обо мнѣ нѣтъ рѣчи. Вы великодушно позволили изслѣдовать вашъ взглядъ,—это я и дѣлаю, и прошу васъ продолжить это позволеніе,—возразилъ скромно Чехловъ, хотя съ прежнимъ злорадствомъ во взорѣ.

— Сдѣлайте одолженіе!—повторила Александра Яковлевна.

— И такъ, по-вашему, съ прислугой должно обращаться мягко и справедливо. Но, можетъ быть, вы ставите какія-нибудь границы справедливости, обращенной на прислугу? Можетъ быть, есть справедливость спеціально кухарская, кучерская, лакейская? Или же къ прислугѣ вы считаете возможнымъ примѣнить ту справедливость, которую вы оказываете купцу, чиновнику, барину?

— Справедливость одна!

— То-есть вы считаете возможнымъ относиться къ прислугѣ съ такою же справедливостью, какъ ко всякому другому человѣку?

— Непремѣнно.

— И относитесь такъ?

— Да, отношусь, насколько это позволяютъ мои недостатки. Отношусь вообще такъ же, какъ ко всякому другому,— сказала Александра Яковлевна.

— Вы такъ увѣренно утверждаете ваше равенство съ прислугой, какъ будто это чистая правда. Но я все-таки, изъ боязни сдѣлать невѣрное заключеніе о вашей правдивости, еще разъ спрашиваю васъ: неужели вы дѣйствительно относитесь къ прислугѣ, какъ ко всякому другому человѣку?

Александра Яковлевна поблѣднѣла при этихъ ядовитыхъ словахъ. Остальные присутствующіе, кромѣ Мизинцева, сдѣлали нетерпѣливые, негодующіе жесты. А Буреевъ такъ прямо сказалъ:

— Господинъ Чехловъ! Дерзость—не доказательство!

Чехловъ на мгновеніе скромно потупился, но, вслѣдъ за тѣмъ, спокойно, ласковымъ голосомъ возразилъ:

— Я никогда не говорю дерзости людямъ, которыхъ люблю. Я и васъ, господинъ Буреевъ, люблю, и во имя этой любви прошу позволить мнѣ продолжать мое изслѣдованіе предмета, ошибочно показавшееся вамъ оскорбительнымъ,— и Чехловъ при этомъ вопросительно посмотрѣлъ поочередно на всѣхъ.

Всѣ съ недоумѣніемъ переглянулись: „Что это, молъ, за юродивый?“

— Продолжайте,—за всѣхъ отвѣтила Александра Яковлев-

на, отвѣтила мягко и съ доброю улыбкой, подавляя усиліемъ воли чувство негодованія противъ гостя.

— И такъ, вы считаете,—началъ Чехловъ,—прислугу равной себѣ и утверждаете, что къ ней вы можете относиться и относитесь, какъ къ себѣ или къ своему ближнему. Я выразилъ сомнѣніе на этотъ счетъ, а господинъ Буреевъ обидѣлся на это, какъ будто онъ и въ самомъ дѣлѣ относится къ прислугѣ, какъ къ человѣку (Чехловъ при этомъ бросилъ насмѣшливый взглядъ въ сторону Буреева). Во избѣжаніе дальнѣйшаго взгляда господина Буреева и вашего,—Чехловъ обратился къ Александрѣ Яковлевнѣ и дальше уже исключительно къ ней одной обращался,—я согласился повѣрить вамъ на слово и представить вамъ изумительную по своей правдивости картину равныхъ отношеній господъ къ прислугѣ. Я вижу, какъ сейчасъ, вы только что наняли кухарку. Она вамъ понравилась и вы ей. Заключивъ условія, вы пожали другъ другу руки и стали жить въ одномъ домѣ, исполняя каждый свои обязанности. Въ первую ночь кухарка переночевала въ указанной ей комнатѣ, то-есть въ кухнѣ, но на слѣдующее утро она заявила вамъ, что въ кухнѣ ей неудобно спать, что тамъ и сыро, и холодно, и безпокойно, и просила васъ отвести ей другую комнату. За неимѣніемъ таковой, согласилась спать пока хоть на диванѣ въ залѣ. Вы извинились за свою оплошность и поспѣшили помѣстить ее въ залѣ, а когда она сообщила вамъ по секрету, что у ней нѣтъ ни простыни, ни подушекъ, ни байковаго одѣяла, вы тотчасъ же снабдили ее всѣмъ этимъ. Потомъ, пообѣдавъ нѣсколько разъ одна, она на третій день изъявила желаніе обѣдать съ вами вмѣстѣ, такъ какъ обѣдать одной и скучно, да и невыгодно,—за эти дни, по недосмотру, ей на обѣдъ остались одни только щи съ кислою капустой и каша съ бараньимъ саломъ, между тѣмъ, ей очень хотѣлось покушать цыпленка, котораго она сама жарила, и пирога со стерлядью. Кромѣ того, она признавалась вамъ, что любитъ тортъ изъ фруктовъ и весьма была недовольна, когда ей не осталось ни кусочка его. Вы, конечно, опять извинились за этотъ странный недосмотръ съ вашей стороны, и съ слѣдующаго дня кухарка стала обѣдать за однимъ столомъ съ вами, подобно тому, какъ вотъ я, незнакомый вамъ человѣкъ, обѣдаю съ вами. Далѣе она обратила ваше просвѣщенное вниманіе

на недостатокъ у ней книгъ, за которыми ей также, какъ вамъ, хотѣлось провести свободное отъ работы время; по неимѣнію средствъ, она могла читать только купленную за двѣ копѣйки сказку о томъ, какъ мужикъ чорта обманулъ, возмутительно глупую, между тѣмъ какъ вы послѣ обѣда читали занимательный романъ, и вы на слѣдующій день поправили свою небрежность и передали ей всѣ романы, которыми сами наслаждались. Затѣмъ, кухарка, вслѣдствіе дурного расположенія духа, иногда портила обѣдъ, и когда вы однажды гуманно выразили свое недовольство этими странными случаями, она резонно вамъ отвѣтила, что у ней нѣтъ развлеченій и что котлеты она обратила въ твердый уголь потому, что у ней тяжело было на душѣ. И чтобы не оставаться безъ развлеченій, успокоивающихъ нервы, она предложила вамъ брать ее съ собой въ городъ на драматическіе и оперные спектакли, какъ вы брали туда Буреевy. Разумѣется, вы не могли отказать ей въ такой пустой просьбѣ и на слѣдующей недѣлѣ вы слушали съ ней *Руслана и Людмилу*. Что касается нравственныхъ отношеній, то въ этомъ смыслѣ вы обращались съ кухаркой съ такимъ же почтеніемъ, какое вы оказываете, напримѣръ, Михаилу Егоровичу Мизинцеву, когда онъ проводитъ съ вами дни. Однимъ словомъ, чтò бы кухарка ни попросила,—конечно, въ предѣлахъ возможности и сообразуясь съ вашимъ образомъ жизни,—вы не отказывали ей. Замѣтьте, вы и не имѣли права отказать ей въ томъ, чѣмъ сами и ваши близкіе пользовались. Вы не могли назвать ее наглою бабой и не имѣли права прогнать ее только за то, что она желала быть равной съ вами, пользоваться почтеніемъ, слушать *Руслана и Людмилу* и кушать мороженое. Еслибы вы вздумали кому-нибудь жаловаться на ея невыносимое поведеніе, всякій имѣлъ бы право съ негодованіемъ отнестись къ вашей неосновательной жалобѣ. Вы сами отрѣзали себѣ всякое отступленіе, когда заключали съ кухаркой условіе равныхъ отношеній, и вашу жалобу всякій послѣдовательный человѣкъ назвалъ бы жестокой и вѣроломной. Я не назову васъ таковою, но мнѣ всегда больно слышать ложь.

При этихъ словахъ Чехловъ возвысилъ голосъ и уже не понижалъ его до конца; и каждое слово его раздавалось съ такою силой, словно онъ билъ молотомъ по куску желѣза.

— Мнѣ больно вообще находить ложь въ такихъ вещахъ, которыя сверху прикрыты дымкой истины и справедливости. Вы упорно настаивали, что вы можете, должны и на самомъ дѣлѣ относитесь къ прислугѣ, какъ къ человѣку, между тѣмъ, послѣ бѣглаго анализа вашихъ отношеній оказалось, что вы заблуждаетесь. Оказалось, что прислуга для васъ только прислуга, а не человѣкъ, и что вы относитесь къ ней не какъ къ себѣ, а какъ къ иному, низшему существу. И не можете иначе относиться! Сколько угодно вы можете говорить, что она для васъ человѣкъ, я не повѣрю этому! Не человѣкъ вамъ нуженъ въ ней, а рабочая машина! Когда вамъ нужно человѣка, вы пойдете искать его всюду, но только не въ кухню, не на дворъ, не на конюшню. Въ кухнѣ вы находите прислугу, а не человѣка. Ваше увѣреніе, что въ прислугѣ вы видите равнаго себѣ человѣка, двойная ложь. Во-первыхъ, это логическій фокусъ, то-есть просто обманъ, вродѣ того, когда магистръ магіи на глазахъ у всѣхъ глотаетъ шпагу. Нанимая себѣ прислугу, вы этимъ самымъ устанавливаете фактъ рабства; вы нанимаете человѣка, но ставите его въ положеніе раба, который долженъ исполнять вмѣсто васъ работу. Вы нанимаете раба не для того дѣла, которое вы считаете высокимъ, но котораго не въ силахъ исполнить, а на дѣло непріятное, грязное, оскорбляющее ваши просвѣщенныя чувства и мѣшающее вашимъ тонкимъ потребностямъ!... Во-вторыхъ, прикрывая совершонную вами покупку раба лживыми словами, какъ гуманность и справедливость, вы даже себя обманываете, отрѣзывая у себя возможность видѣть голую истину. Истина же такова: или вы пользуйтесь трудомъ прислуги (но не человѣка), но тогда не обманывайте себя и другихъ насчетъ вашихъ справедливыхъ отношеній, которыя могутъ быть только по отношенію къ человѣку, а не къ прислугѣ, или откажитесь отъ обладанія людьми, которыхъ вы не должны ставить въ не-человѣческое положеніе, но тогда вамъ самимъ придется исполнять весь трудъ, необходимый для вашей жизни. Но не забрасывайте истину красивыми и ложными обольщеніями, ибо придетъ день, когда разумъ раскроетъ вашъ обманъ, сорветъ покрывало со лжи и заставитъ сердце ваше затрепетать отъ ужаса.

Послѣднія слова Чехловъ окончилъ такимъ потрясающимъ

голосомъ, словно говорилъ изъ трубы. Но лишь только онъ это протрубилъ, какъ тотчасъ же принялся оканчивать обѣдъ, причемъ лицо его моментально сдѣлалось спокойнымъ и холоднымъ.

Но всѣ прочіе, сидѣвшіе за столомъ, давно забыли объ обѣдѣ, ошеломленные словами гостя. Александра Яковлевна была блѣдна и взволнована, но не отъ негодованія, какъ недавно. Напротивъ, лицо ея имѣло виноватый видъ, словно ее уличили въ преступленіи. Хординъ ожесточенно комкалъ малые и большіе шары изъ хлѣба и руки его дрожали, глаза же безпокойно бѣгали съ предмета на предметъ. Буреевъ давно пересталъ ѣсть и только нещадно курилъ, не отодвигая стула; надъ столомъ, исходя отъ него, плавали густыя тучи дыма, а окурки его появились повсюду, гдѣ можно было только воткнуть ихъ; онъ сначала тушилъ ихъ въ своей тарелкѣ, но потомъ сталъ втыкать ихъ въ куски хлѣба, въ салатникъ, въ блюдо изъ-подъ соуса, въ ложки, наконецъ, просто швырялъ нѣкоторые за окно. Всегдашній насмѣшникъ, онъ теперь мрачно хмурилъ брови.

Это былъ своего рода разгромъ.

Минуты черезъ двѣ всѣ безпорядочно бросили свои мѣста за столомъ и заходили по комнатѣ, причемъ со стороны Хордина и Буреева послышались безсвязныя возраженія. Но Чехловъ со снисходительною улыбкой уничтожалъ эти возраженія, словно добивалъ послѣдніе деморализованные остатки разбитаго имъ непріятеля. Трудно было опомниться разбитымъ; онъ вѣдь говорилъ съ ихъ точки зрѣнія: распространивъ понятіе равенства широко, онъ ихъ же оружіемъ колотилъ ихъ. Когда онъ въ немногихъ словахъ доказалъ, что въ жизни они и не думали считать мужика равнымъ себѣ, то пораженіе было полное. Всѣ чувствовали себя глупо и всѣмъ было совѣстно, всѣ считали себя умными, передовыми людьми и вдругъ незнакомый человѣкъ указалъ имъ мѣсто въ прихожей.

Никому даже въ голову не пришло спросить этого человѣка, какъ же онъ самъ-то думаетъ и живетъ? Всѣ были заняты приведеніемъ въ порядокъ собственныхъ мыслей.

Чехловъ, между тѣмъ, тотчасъ послѣ обѣда сталъ собираться обратно въ городъ. Онъ спросилъ, сколько времени, и, ни къ кому не обращаясь, сказалъ, что ему пора отправ-

ляться на поѣздъ, и тотчасъ же сталъ прощаться. При прощаньи, поочередно всѣмъ пожимая руку, онъ каждому сказалъ какую-нибудь любезность, холодно и спокойно, но все-таки любезность. Этимъ всѣ были окончательно обезоружены, какъ обыкновенные плѣнники, примирившіеся съ врагомъ. Къ Александрѣ Яковлевнѣ Чехловъ подошелъ послѣ всѣхъ и уже протянулъ ей руку, но она вдругъ отвѣтила, что пойдетъ проводить его.

— Тогда мы лучше дойдемъ пѣшкомъ!—сказалъ Чехловъ и неподдѣльная радость озарила его лицо.

Черезъ минуту они уже шли по дорогѣ къ станціи, а отряженная Хординымъ лошадь шла позади ихъ, чтобы довезти Александру Яковлевну обратно до усадьбы.

Идя рядомъ съ гостемъ, Александра Яковлевна сначала не могла успокоить потокъ мыслей, вызванный бывшею сейчасъ бесѣдой. Но мало-по-малу свѣжій воздухъ, обвѣвавшій ея пылающее лицо, освѣжилъ и ея голову. Тогда она съ внезапно проснувшимся любопытствомъ поглядѣла на Чехлова. Къ ея изумленію, тотъ Чехловъ, который сидѣлъ за столомъ, не совсѣмъ походилъ на того, который теперь шелъ рядомъ съ ней. Жестокое выраженіе его лица смягчилось улыбкой, взглядъ его острыхъ глазъ потерялъ свое злорадство, жестъ былъ простъ, голосъ тихій, а не трубный, какимъ былъ тамъ. Онъ заботливо отвѣчалъ на всѣ ея вопросы, не высказывая пренебреженія, какъ тамъ, за обѣдомъ. Радость, мелькнувшая по его лицу въ тотъ моментъ, когда она изъявила желаніе проводить его, свѣтилась и теперь. Но эта радость еще ярче засвѣтилась на его лицѣ, когда Александра Яковлевна стала просить его заѣзжать къ нимъ; не одна радость, но еще какая-то благодарность выразилась во взорѣ при этомъ приглашеніи. Они условились, что онъ пріѣдетъ въ слѣдующее воскресенье съ Мизинцевымъ, и на этомъ разстались. Онъ крѣпко пожалъ ей руку передъ тѣмъ, какъ садиться въ подошедшій поѣздъ, а когда поѣздъ двинулся, долго смотрѣлъ на нее изъ окна.

Возвратившись домой, Александра Яковлевна вошла въ залу. Но тамъ были только мужъ и Буреевъ; Маша и Мизинцевъ, оставшійся до ночного поѣзда, пошли гулять. Она на минуту присѣла въ дальній уголъ и прислушалась, о чемъ говорятъ двое товарищей.

Хординъ ходилъ изъ угла въ уголъ, а Буреевъ сидѣлъ около окна, подъ цвѣтами; вокругъ него, попрежнему, носились тучи дыму, а окурки онъ ожесточенно топталъ ногами, предварительно, впрочемъ, насовавъ десятка два ихъ въ цвѣточные горшки. Онъ былъ такъ взбудораженъ, такимъ казался суровымъ и дикимъ, какимъ Александра Яковлевна его не знавала. При входѣ въ комнату, она, между прочимъ, застала такой діалогъ:

— Чувствуешь, Васильичъ?—спрашивалъ Буреевъ у Хордина.

— Что-жь, не лишено остроумія!—возразилъ послѣдній, шагая по залѣ.

— Да, быть можетъ, ничего не чувствуешь, а только спать хочешь?

— Спать я пойду...

— Ну, а я, братъ, чувствую себя такъ глупо, словно я обратился въ стадо свиней!

— Да. Надо ему отдать справедливость, оригинальный субъектъ!—сказалъ на это снисходительно Хординъ.

— И вѣдь правда! Но, въ то же время, я чувствую, что онъ напустилъ на меня какого-то туману!... Чадъ какой-то!

— Въ такомъ случаѣ, пойдемъ лучше спать,—предложилъ Хординъ и зѣвнулъ.

Но на этотъ разъ Буреевъ такъ былъ занятъ какими-то мыслями и такъ взволнованъ, что не послѣдовалъ за Хординымъ, а сталъ безпорядочно торопиться домой.

Черезъ минуту всѣ разошлись.

IV.

Всегда аккуратный, какъ хронометръ, Михаилъ Егоровичъ Мизинцевъ, пріѣхавши въ усадьбу къ Хординымъ въ воскресенье, оставался затѣмъ цѣлый день и часть ночи, и съ ночнымъ поѣздомъ возвращался въ городъ. Но на этотъ разъ онъ неожиданно пріѣхалъ съ субботнимъ вечернимъ поѣздомъ.

— А Чехловъ развѣ не пріѣдетъ?—первымъ дѣломъ спросила Александра Яковлевна.

— Завтра непремѣнно пріѣдетъ,—отвѣтилъ Мизинцевъ.

И тотчасъ же разговоръ пошелъ о Чехловѣ, сдѣлавшемся героемъ дня. Александра Яковлевна съ нескрываемымъ лю-

бопытствомъ разспрашивала, кто онъ, откуда, какова его прежняя жизнь и ради чего онъ сюда пріѣхалъ. Мизинцевъ очень мало могъ разсказать изъ прошлой жизни Чехлова, но очень много распространился про его взгляды, про его проницательный умъ, про его вліяніе.

Разговоръ этотъ повлекъ за собою непостижимый курьезъ: каждый приписывалъ Чехлову вещи, которыя тотъ, по мнѣнію другого, не говорилъ.

— Раньше онъ былъ такимъ же, какъ и всѣ,—сказалъ Мизинцевъ въ отвѣтъ на любопытство Александры Яковлевны,—пилъ водку, кутилъ, безобразничалъ, но вдругъ разомъ измѣнился...

— И это, по-вашему, все, чѣмъ онъ отличается отъ другихъ?—воскликнула Александра Яковлевна.

— Ну, зачѣмъ же?... Глубину его взглядомъ вы увидите... Хотя, признаться, я многаго не понимаю въ его словахъ... Но главная его цѣль—личность. Личность онъ ставитъ на недосягаемую высоту, отъ каждаго требуя, чтобы онъ произвелъ переворотъ въ своей жизни... Онъ говоритъ...

— Да это вы говорите!... Опять все старое: водка, табакъ, безобразія... Какъ это вамъ не надоѣстъ долбить одно и то же?... И можно-ли представить себѣ, что это Чехловъ говоритъ?—восклицала Александра Яковлевна.

— Никогда не надоѣстъ! Какъ же это можетъ надоѣсть, когда главное?... Поймите; ради Бога!... Сообразите... тамъ вы можете имѣть какія угодно вышнія или завиральныя идеи, но вы обязаны быть лично безупречно чистой... Какъ вы не поймете меня?...

Они сидѣли въ саду. Настали глубокія сумерки; приближалась тихая, черная ночь. Звѣзды только кое-гдѣ, какъ будто изъ любопытства, выглядывали, но тотчасъ же скрывались за облака. Но воздухъ былъ нѣжный и теплый; подъ его тихою, безмолвною нѣгой убаюканная природа уснула глубокимъ сномъ. Только два существа (Маша молча сидѣла въ темнотѣ), сидя подъ распускающимися деревьями, шумѣли, съ яростью фанатиковъ понося другъ друга гнѣвными словами.

Мизинцевъ обыкновенно говорилъ тихо, мѣрно и разсудительно. Когда онъ говорилъ, то производилъ на слушателя такое впечатлѣніе, будто все небо нависло тучами и каплетъ

дождь, каплетъ тихо, съ однообразнымъ бульканьемъ по лужамъ, съ монотонными ударами капель, падающихъ съ крыши... Но тутъ, при спорѣ о томъ, что сказалъ Чехловъ, и онъ точно сдѣлался сумасшедшимъ, выбѣжавшимъ изъ-подъ надзора. Самое имя Чехлова, повидимому, способно было производить во всѣхъ возбужденіе, раздоръ и непримиримость.

— Какъ вы не поймете, что такъ именно онъ и долженъ говорить, а не иначе? Для общественнаго дѣла нужны люди,—откуда же ихъ взять-то? Какое право вы имѣете требовать отъ человѣка, чтобы онъ взялся за общественное дѣло, если онъ свинья? Неужели онъ можетъ принести пользу?... Даже наши общественные люди... что ни видный человѣкъ, то либо пьяница, то распутникъ, то либо съ женой развелся, то съ чужими путается... Неужели это не отражается на общественной жизни? Прежде всего, это пагубно отражается на женщинѣ... Она ни мать, ни воспитательница, ни жена, а какая-то кукла, назначеніе которой носить корсетъ и турнюръ, курить папироску, читать новую книжку и жить на счетъ мужа, обязаннаго, чтобы у нея былъ турнюръ, таскать казенныя деньги... а вѣдь она мать будущаго поколѣнія,—каково же это поколѣніе-то будетъ?... Мужчина еще гаже. Онъ, видите-ли, общественными дѣлами занимается и не обязанъ быть честнымъ человѣкомъ у себя дома: послѣ общественныхъ непосильныхъ трудовъ ему нужно отдохнуть, то-есть напиться, перемѣнить нѣсколько женъ, соблазнить нѣсколько дѣвушекъ, гоготать по театрамъ... Я васъ спрашиваю, можетъ-ли быть, напримѣръ, пьяница общественнымъ дѣятелемъ или развратникъ благодѣтелемъ людей?! Можетъ-ли свинья, облѣпленная всяческою грязью у себя въ хлѣвѣ, сдѣлать что-нибудь хорошее по выходѣ на улицу?

Это кричалъ Мизинцевъ, оглашая тихую, скромно спящую ночь, и садъ, и воздухъ дикими звуками. Положительно онъ какъ будто взбѣсился. Но Александра Яковлевна возмутилась не тѣмъ, что онъ говорилъ, а тѣмъ обстоятельствомъ, что свои слова онъ приписывалъ Чехлову.

— Позвольте... но вѣдь это ваши, а не Чехлова слова! И я ихъ сотни разъ слышала!—сказала возмущенная этимъ обстоятельствомъ Александра Яковлевна.

ею на каждомъ шагу, онъ производилъ свѣтлое, чистое впечатлѣніе.

— Раньше, кажется, такихъ людей я не видала,—однажды созналась она ему открыто.

— То-есть какихъ? Узкихъ, хотите вы сказать?—спросилъ съ грустною улыбкой Мизинцевъ, привыкшій слышать отъ нея однѣ только насмѣшки.

— Нѣтъ, нѣтъ!... такихъ прямыхъ!—поспѣшила объяснить Александра Яковлевна.

Мизинцевъ былъ дѣйствительно прямъ. Онъ, напримѣръ, такъ часто сталъ ѣздить къ Хординымъ изъ-за того, что тамъ гостила Маша, и не скрывалъ этого. А когда онъ съ дѣвушкой вдвоемъ уходилъ или уѣзжалъ гулять, то Александра Яковлевна была увѣрена, что они пошли читать какую-нибудь тоненькую книжку и рвать цвѣты, ни болѣе, ни менѣе. Ей, напротивъ, смѣшно было смотрѣть на этотъ небывалый романъ. Мизинцевъ привозилъ Машѣ цѣлыя кучи книгъ, отличавшихся, къ ея удивленію, какимъ-то особеннымъ тощимъ видомъ. Александра Яковлевна спрашивала, почему онѣ, книжки эти, такія худыя, плоскія на видъ? Однажды она поинтересовалась этимъ вопросомъ и взяла въ руки одну кучку, аккуратно перевязанную веревочкой. Открывая по очереди корешки, она читала: *О вліяніи на организмъ алкоголя*, *О сыровареніи*, *Физіологія хлѣбныхъ злаковъ*, *О сохраненіи въ свѣжемъ видѣ яицъ*, *Искусственное кормленіе дѣтей*... Недоставало только брошюры о приготовленіи кислой капусты! Перевязывая тощія книжки снова веревочкой, Александра Яковлевна громко разсмѣялась.

Мизинцевъ былъ не только прямой, но онъ смѣло высказывалъ свои взгляды. О томъ, что онъ считалъ существеннымъ въ жизни (водку не пить, турнюровъ не носить, чужихъ женъ не прельщать и т. д.), онъ считалъ необходимымъ говорить всякому. Порочныхъ же людей онъ открыто порицалъ. Увидѣвъ на барынѣ турнюръ и разныя другія глупости, которыми дамы украшали себя, какъ дикари, онъ недовольнымъ тономъ упрекалъ:

— И что это вамъ за охота позорить себя всѣми этими шпильками?—брезгливымъ тономъ говорилъ Мизинцевъ и показывалъ пальцемъ на бездѣлушки.

Встрѣчая юношу студента, одѣтаго съ иголочки, т.-е. въ

сапоги съ севрюжьими носами, въ узкія панталоны и проч., Мизинцевъ при всѣхъ съ негодованіемъ говорилъ:

-- Ну, посмотрите, ради Бога, на эту мартышку!... Какъ вамъ не совѣстно думать, что изъ него выйдетъ общественный дѣятель?... Удивляюсь!

Въ этотъ вечеръ онъ, по обыкновенію, высказалъ съ начала до конца всѣ свои убѣжденія, вплоть до той поры, когда у слушателей его стали слипаться отъ сонливости глаза. Вечеръ былъ, попрежнему, тихій, воздухъ ласковый, но темнота все болѣе и болѣе сгущалась въ саду. Александра Яковлевна уже ничего не видѣла впереди, устремивъ остановившійся взоръ на пнѣ погибшей въ прошломъ году ветлы, который теперь торчалъ безобразнымъ силуэтомъ передъ ея глазами. Нѣчто подобное этому пню сидѣло и въ головѣ ея. Она уже не одинъ разъ зѣвнула, слушая слова Мизинцева, падающія въ ночной темнотѣ подобно каплямъ тихаго дождя. Въ свою очередь, Мизинцевъ, задолбивъ до гипнотическаго сна уважаемую имъ женщину, въ недоумѣніи замолчалъ, такъ какъ весь запасъ своихъ теорій уже высказалъ; этого запаса у него хватало часа на два. Если же разговоръ его затягивался дольше, то всѣмъ слушающимъ вдругъ приходило непреодолимое желаніе съѣсть и выпить чего-нибудь остраго, напримѣръ, кусокъ селедки съ лукомъ и рюмку водки. Что касается Александры Яковлевны, то она въ такомъ случаѣ просто торопилась поскорѣе прилечь и забыться во снѣ.

— Пора и спать, господа!—сказала она теперь, когда гнилой пень въ ея глазахъ разроссся въ безобразное черное чудовище, протянувшее свои лапы во всѣ стороны.

— Пожалуй, пойдемте!—согласился Мизинцевъ и поднялся со скамьи.

На прощанье, впрочемъ, Александра Яковлевна замѣтила сонно:

— Ну, если Чехловъ въ самомъ дѣлѣ точно это самое проповѣдуетъ, то, право, не стоитъ его слушать.

— А вотъ увидите!—возразилъ на это Мизинцевъ въ видѣ угрозы.

Александра Яковлевна разсмѣялась, и на этомъ они разстались.

Но когда она собиралась уже отправиться въ спальню, внезапно на дворъ пріѣхалъ урядникъ Любомудровъ и робко

просилъ прислугу доложить о немъ барину. „Барина", т.-е. Хордина, въ эту минуту дома не было, онъ ушелъ на село и объясняться пришлось Александрѣ Яковлевнѣ. А всякое такое появленіе разстраивало ее до невозможности, на нее нападалъ неосновательный страхъ и безпричинная злоба. Такъ случилось и на этотъ разъ. Выйдя въ переднюю, гдѣ стоялъ урядникъ и дальше которой она не пустила его, она почувствовала сильное раздраженіе, и, чего съ ней нигдѣ не бывало, голосъ и слова ея сдѣлались грубыми. „Что вамъ нужно?"—со злобой спросила она. Урядникъ пришелъ по какому-то пустому дѣлу, относящемуся къ имѣнію, и никакого дурного умысла не имѣлъ, хотя по профессіональной привычкѣ съ интересомъ заглянулъ въ залъ и дальше, въ столовую, вытягивая шею, но Александрѣ Яковлевнѣ все это представилось возмутительнымъ. „Развѣ у васъ нѣтъ дня? Зачѣмъ вы приходите въ такое время, когда уже всѣ спать ложатся?"—крикнула она внѣ себя, дрожащимъ голосомъ. Бѣдный малый, очевидно, не ожидалъ такой нахлобучки, сконфузился, забормоталъ что-то несвязное и, попятившись къ двери, нырнулъ въ темныя сѣни, а черезъ минуту уже раздавался топотъ его клячи, которую, какъ слышно было, онъ немилосердно стегалъ.

Но Александра Яковлевна уже разстроилась. Ей припомнились безчисленныя оскорбленія въ прошломъ, а потомъ полѣзли въ голову непріятныя мысли въ счетъ будущаго. Черезъ нѣкоторое время пришелъ мужъ, и изъ его разъясненій оказалось, что Любомудровъ пріѣзжалъ просто затѣмъ, чтобы попросить, по примѣру прежнихъ лѣтъ, „лужокъ" на сѣнокосѣ, которымъ экономія даромъ его снабжала... Но Александра Яковлевна уже не могла подавить расходившіяся мысли. Черныя и мучительныя, онѣ всю ночь не давали ей отдыха и только подъ утро она забылась.

На другой день, послѣ безсонной ночи, въ продолженіе которой передъ ея глазами прошла вся ея поистинѣ мученическая жизнь, она казалась раздражительной и заболѣвшей. Мизинцеву во время дня она наговорила множество колкостей, между прочимъ, съ несвойственною для нея грубостью обозвала его „божьей коровкой", когда онъ вздумалъ распространиться насчетъ одной изъ любимыхъ своихъ темъ—ношенія женщинами непристойныхъ костюмовъ. Маша обидѣ-

лась за Михаила Егоровича и застѣнчиво стала его защищать. Тогда Александра Яковлевна раздражительно насмѣялась надъ обоими, описавъ жизнь „божьихъ коровокъ“ съ большими подробностями: какъ онѣ сидятъ подъ лопухомъ, видя въ немъ цѣлый міръ, какъ онѣ чисто и нравственно устраиваютъ свои щели, какъ ихъ доятъ муравьи и какъ онѣ оканчиваютъ свою жизнь, убиваемые дождевою каплей.

За часъ до обѣда пріхалъ Буреевъ, веселое настроеніе катораго всегда оживляло общество, но сегодня Александра Яковлевна почти не слушала его, да и самъ онъ былъ хмурый. Она ожидала Чехлова, но и это ожиданіе кончилось только нетерпѣливымъ раздраженіемъ. Чехловъ съ поѣздомъ не пріѣхалъ.

Обѣдали безъ него.

Вдругъ его увидалъ кто-то вдали идущимъ съ палкой въ рукахъ. Всѣ поднялись съ мѣста и смотрѣли въ окна. Когда онъ близко подошелъ, всѣ опять усѣлись по мѣстамъ, а Александра Яковлевна вышла въ переднюю встрѣтить его и вмѣстѣ съ нимъ вошла обратно въ комнату.

Онъ молча подалъ всѣмъ руку, молча занялъ стулъ и оглянулъ поочередно всѣхъ находившихся въ комнатѣ, какъ бы говоря: „я пришелъ“. Это не понравилось Александрѣ Яковлевнѣ. Но всѣ, главнымъ образомъ, обратили вниманіе на его наружность; онъ былъ одѣтъ въ длинную блузу на подобіе крестьянской рубахи, подпоясанную какимъ-то обрывкомъ отъ бывшаго ремня, и въ большіе сапоги, сплошь покрытые пылью; да и самъ онъ весь, съ лицомъ и руками, покрытъ былъ густою пылью, что придало его жесткой фигурѣ еще болѣе мрачный видъ. Въ углу онъ поставилъ сукъ, служившій ему палкой.

— Да не шли-ли уже вы пѣшкомъ отъ города?—воскликнула оживленно Александра Яковлевна.

Онъ отвѣчалъ:

— Ноги намъ даны затѣмъ, чтобы ходить...

— А ротъ назначенъ затѣмъ, чтобы изрекать такія истины!—добавилъ насмѣшникъ. Буреевъ.

Чехловъ не отвѣтилъ, а только пристально взглянулъ на него, и веселый Буреевъ подъ этимъ тяжелымъ взглядомъ смутился. Всѣмъ стало неловко, и больше всѣхъ Александрѣ Яковлевнѣ. Однако, она на этотъ разъ не возмущалась и вся

ушла въ интересъ каждаго его слова. Она уже замѣтила, что онъ обладаетъ дьявольскою способностью заставлять себя слушать и, съ чего бы ни начался разговоръ, направлять его по своему желанію. Она теперь спросила себя, къ чему это онъ сказалъ? Быть можетъ, хочетъ проповѣдывать физическій трудъ.

Но тутъ произошла случайность, мгновенно измѣнившая общее настроеніе. Разстроенная предъидущею ночью, Александра Яковлевна вдругъ почувствовала, какъ у ней застучало и зажужжало въ головѣ; она поблѣднѣла и схватилась за виски.

— Что съ вами, Александра Яковлевна? Вы нездоровы!— вскрикнулъ вдругъ Чехловъ и съ лица его сбѣжала суровая, казавшаяся всѣмъ искусственною, тѣнь; на немъ теперь отразилась простая заботливость, искренняя тревога.

Черезъ минуту Александра Яковлевна уже оправилась и улыбнулась.

— Что съ вами?—повторилъ тревожно Чехловъ.

— Да она у насъ цѣлый день нынче дуритъ,—отвѣтилъ за нее Мизинцевъ.—Цѣлый день бранится... И все это надѣлалъ урядникъ Любомудровъ! Пришелъ и разстроилъ.

И Мизинцевъ, говоря это, съ улыбкой разсказалъ, какъ вчера ночью внезапно пришелъ Любомудровъ, какъ Александра Яковлевна его встрѣтила и что потомъ произошло.

— Хоть вы, Денисъ Петровичъ, вразумите ее! Ругается!... А мы развѣ въ чемъ виноваты? Виноватъ дуракъ Любомудровъ!—продолжалъ смѣяться Мизинцевъ.

— Какъ можно вразумить человѣка, умъ котораго воспитанъ въ ужасѣ передъ жизнью, который боится палки и обоготворяетъ бездушную силу?—выговорилъ Чехловъ жесткимъ голосомъ.

Александра Яковлевна съ недоумѣніемъ посмотрѣла на него.

— Это про какого же человѣка вы говорите?—спросила она.

— Я говорю про васъ и про тѣхъ, которые также поклоняются палкѣ!—сказалъ Чехловъ.

— Какъ же это я поклоняюсь палкѣ, обоготворяю какую-то бездушную силу и... еще что-то?—спросила она съ волненіемъ.

— Но вѣдь это вы разстроились отъ появленія Любому-

дрова? Про васъ говорилъ Михаилъ Егоровичъ?—спрашивалъ Чехловъ и въ его острыхъ глазахъ появилась радость, какъ тогда.

— Да, про меня... ну, такъ что же?

— Ничего. Я также про васъ сказалъ, что вы поклонились Любопыт... Любомудрову, обоготворили его!

При этихъ словахъ Хординъ съ крайнимъ любопытствомъ вытянулъ шею по тому направленію, гдѣ сидѣлъ гость; Буреевъ съ негодованіемъ всталъ съ мѣста и враждебно посмотрѣлъ по тому же направленію, какъ будто тамъ засѣлъ злѣйшій его врагъ. Александра Яковлевна покраснѣла, покраснѣла не отъ негодованія, какъ въ первое знакомство съ Денисомъ Петровичемъ, а отъ предчувствія, что она и на этотъ разъ глупо попадется въ какую-то западню, разставленную имъ.

— Это, однако, любопытно!—возразила она и смутилась, боясь сказать что-нибудь больше.

— Да, я утверждаю это! Мало этого, вы не только поклоняетесь бездушной палкѣ, обоготворяете мертвую, ничтожную силу, но вы сами и создали ее. Вы, именно вы создали палку и, благодаря вамъ, она существуетъ!

Каждое слово Чехловъ произносилъ рѣзко и медленно, словно опять языкъ его обратился въ молотъ, которымъ онъ ударялъ по наковальнѣ.

— Но объясните, какъ случился этотъ курьезъ?—спросила Александра Яковлевна съ интересомъ.

Чехловъ немного помолчалъ, провелъ взоромъ по вытянутымъ лицамъ присутствующихъ и вдругъ тихимъ голосомъ сталъ предлагать вопросы.

— Я вижу, здѣсь всѣ удивлены, а господинъ Буреевъ озлобленъ, хотя я его люблю. Но изслѣдуемъ истинное положеніе дѣла... Вы испугались вчера господина Любомудрова?—обратился Чехловъ къ Александрѣ Яковлевнѣ.

— Не могу сказать, чтобы испугалась... Скорѣе озлилась.

— Значитъ, вамъ непріятно его видѣть, какъ всякаго непріятнаго человѣка?

— Да, непріятно, но не какъ всякаго непріятнаго человѣка, а нѣсколько больше.—Александра Яковлевна отвѣчала съ крайнею осторожностью въ выраженіяхъ.

— То-есть господинъ Любомудровъ больше вамъ непріятенъ, чѣмъ другіе непріятные люди?

— Но вѣдь мнѣ не Любомудровъ непріятенъ,—онъ, можетъ быть, добрый человѣкъ,—а та власть, которою онъ можетъ злоупотреблять.

— Развѣ господинъ Любомудровъ имѣетъ власть?—сказалъ насмѣшливо Чехловъ.

— Что вы за наивные вопросы предлагаете! Вы сами отлично знаете, что власть у него есть, хотя и небольшая, но которой достаточно, чтобы причинить мнѣ страданіе, когда онъ употребитъ ее во зло.

— И что же, эта власть и надъ вами?

— Да, и надъ вами, хотя бы вы были святой,—замѣтила съ улыбкой Александра Яковлевна.

— Извините, я не служу и не поклоняюсь никому!... Но, однако, продолжимъ нашу бесѣду: если господинъ Любомудровъ, къ моему крайнему изумленію, имѣетъ надъ вами власть, то, значитъ, онъ вамъ можетъ причинить дѣйствительно много непріятностей.

— Это вы сами знаете! Знаете, что власть можно употребить на зло!—сказала Александра Яковлевна.

— На зло?

— Ну, да, на зло.

— Господинъ Любомудровъ развѣ можетъ принести зло?—возразилъ Чехловъ, какъ бы крайне удивленный.—Но, въ такомъ случаѣ, онъ и добро можетъ вамъ дать!

— Это опять же наивность!—возразила осторожно Александра Яковлевна.

— Значитъ, это уже не недоразумѣніе съ моей стороны. Вы упрямо настаиваете, что господинъ Любомудровъ можетъ дѣлать добро и зло. Вы, слѣдовательно, думаете, что онъ одаренъ какою-то непонятною силой?

— Да, думаю,—рѣшительно сказала Александра Яковлевна и чувствовала, что Чехловъ добываетъ изъ нея такіе отвѣты, какіе ему нужны.

— И большая это сила?—съ злою насмѣшкой спросилъ Чехловъ.

— Смотря по обстоятельствамъ, иногда огромная.

— Даже огромная! Это любопытно. Я видѣлъ сегодня на станціи господина Любомудрова и до этой минуты не обра-

щалъ вниманія на этого жалкаго бѣднягу, который по бѣдности взялъ хлопотливую должность пугать робкихъ барынь и господъ, который ѣздитъ на бѣдной умирающей клячѣ и по ночамъ, чтобы никто не видалъ, приходитъ просить барина подарить ему немножко сѣнца... Но оказывается, что онъ одаренъ, этотъ „бѣдный чортъ", огромною силой? По всей вѣроятности, сила его больше злая, чѣмъ добрая, потому что добра никто не боится...

— Иногда злая.

— И вы дѣйствительно боитесь ея?

— Въ этомъ смыслѣ—да, боюсь.

Чехловъ вдругъ пожалъ плечами и обвелъ всѣхъ присутствующихъ недоумѣвающею улыбкой. Но, не встрѣтивъ сочувствія, опять обратился къ Александрѣ Яковлевнѣ. Всѣ съ нескрываемою враждебностью слѣдили за его словами и теперь насмѣшливо ждали, какъ онъ выпутается. У всѣхъ чувствовалась необходимость унизить и осрамить его, потому что весь его тонъ, вся его фигура смотрѣли вызывающе. Но онъ, повидимому, нисколько не смутился этимъ враждебнымъ настроеніемъ. Напротивъ, по лицу его разлилась радость торжества.

— Однако, мы пришли къ неожиданнымъ вещамъ,—началъ онъ послѣ минутнаго молчанія,—во-первыхъ, господинъ Любомудровъ—сила; во-вторыхъ, это сила часто огромная; въ-третьихъ, такая сила, которая бываетъ злой; наконецъ, такая сила, которой слѣдуетъ бояться... Кажется, я вѣрно передалъ вашу мысль?

— Вѣрно!—отвѣчала Александра Яковлевна коротко, но въ сильнѣйшемъ волненіи.

— Въ такомъ случаѣ, не правъ-ли я былъ,—началъ Чехловъ, внезапно усиливая голосъ,—когда утверждалъ, что вы сами создали эту силу, поклоняетесь ей и приносите человѣческія жертвоприношенія? Бѣдный малый вашимъ страхомъ превращенъ въ могущественную силу! Жалкому чувашу, разумъ котораго блуждаетъ среди дѣтскихъ представленій, простительно, когда онъ лѣсной пень обоготворяетъ, приноситъ ему дары и умилостивляетъ его гнѣвъ молитвами, чтобы онъ, лѣсной пень, не наказывалъ его за грѣхи, но непростительно, когда люди, считающіе себя разумными, возводятъ вдругъ ничтожество въ непреодолимое могущество, трепещутъ передъ

ихъ форму. Даже и не мысли его поразили ея душу, а какое-то общее ихъ настроеніе, утраченное, но и теперь новое. Едва-ли Чехловъ имѣлъ въ виду то, что теперь происходило въ ней, и, во всякомъ случаѣ, онъ никакъ не ожидалъ, что смыслъ его словъ произведетъ такое дѣйствіе на нее... Она впервые въ эту минуту почувствовала увѣренность въ своей силѣ, давно утраченную или забытую. Лицо ея вдругъ сдѣлалось гордымъ и счастливымъ, какъ будто она праздновала какую-то побѣду, въ которую она не вѣрила, но которую неожиданно подарила ей судьба. Это была побѣда надъ собой...

Между тѣмъ, въ залѣ продолжалась безпорядочная сумятица. Какъ всегда бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда общество чѣмъ-нибудь взбудоражено, никто никого не слушалъ, и всѣ разомъ говорили. При этомъ каждый не зналъ, что онъ сію минуту скажетъ и зачѣмъ скажетъ, что намѣренъ доказать и противъ чего возстаетъ. Слова Чехлова привели всѣхъ только въ неистовство и на первыхъ порахъ произвели только столпотвореніе вавилонское.

Хординъ продолжалъ быстро ходить по разнымъ направленіямъ залы и что-то громко говорилъ, никѣмъ не останавливаемый и самъ никого не слушавшій, и только отъ времени до времени враждебно взглядывалъ по тому направленію, гдѣ сидѣлъ Чехловъ. Буреевъ продолжалъ стоять въ чудовищной позѣ передъ Чехловымъ и говорилъ много, но такъ несвязно, что самъ себя не понималъ; при этомъ онъ то и дѣло выхватывалъ изъ портсигара папиросы, закуривалъ ихъ обратнымъ концомъ, со стороны мундштука, бросалъ на полъ и яростно топталъ ихъ ногами, вслѣдствіе чего надъ нимъ стоялъ ѣдкій смрадъ горящей бумаги... можно-ли было въ такомъ состояніи что-нибудь доказать?

А Мизинцевъ и Маша, удалившись въ уголокъ, громко тамъ ссорились между собой, забывъ объ остальныхъ и о Чехловѣ.

А онъ сидѣлъ на прежнемъ мѣстѣ и насмѣшливо слушалъ Буреева. Когда же этотъ наговорилъ очень много вещей, связанныхъ только однимъ языкомъ, который ихъ произносилъ, Чехловъ вдругъ пожалъ плечами и насмѣшливо выговорилъ:

— Во-первыхъ, я не могу отвѣчать разомъ на сотни ва-

шихъ вопросовъ. Во-вторыхъ, я совсѣмъ перестаю отвѣчать, когда мнѣ грозятъ сжатыми кулаками, и только говорю: „На, бей!"

Буреевъ отъ этихъ словъ инстинктивно разжалъ пальцы, нѣсколько попятился отъ Чехлова и вдругъ расхохотался.

— Экъ вы меня одурачили! Даже забылъ, что изъ-за понятія „любовь" не слѣдуетъ драться!—сказалъ онъ сконфуженно и направился вслѣдъ за другими въ столовую.

Тамъ въ это время уже готовъ былъ самоваръ и накрытъ столъ. Всѣ съ шумомъ и удовольствіемъ усѣлись по мѣстамъ и разговоръ, взволновавшій всѣхъ, прекратился. Чехловъ также замолчалъ. Когда Александра Яковлевна подала ему стаканъ съ чаемъ, онъ вдругъ робко попросилъ дать ему чего-нибудь поѣсть, такъ какъ онъ съ утра, когда отправился сюда пѣшкомъ, ничего не ѣлъ еще. Тутъ только всѣ замѣтили, что видъ у него страшно утомленный: глаза ввалились, лицо осунулось, губы потрескались.

Моментально враждебное настроеніе противъ него замѣнилось у всѣхъ состраданіемъ. Было-ли это заранѣе имъ разсчитано, или онъ не думалъ производить впечатлѣнія пѣшимъ хожденіемъ, только эффектъ получился въ высшей степени благопріятный для него. Ни у кого изъ присутствующихъ не повернулся больше языкъ сказать ему какое-нибудь досадное слово и причинить ему, настолько утомленному, еще бо́льшую усталость.

Александра Яковлевна торопливо сдѣлала необходимыя распоряженія и черезъ нѣсколько минутъ онъ уже молча и сосредоточенно закусывалъ. Потомъ принялся за чай. Прочіе болтали о мелкихъ, ежедневныхъ дѣлахъ.

Но это продолжалось недолго.

Буреевъ, послѣ какой-то смѣшной выходки въ сторону Мизинцева, вдругъ обратился къ гостю и уже серьезно спросилъ его:

— Вы, повидимому, насколько я замѣтилъ, придаете какое-то особенное, своеобразное значеніе двумъ вещамъ— „разуму" и „любви",—значеніе, до сихъ поръ мнѣ неизвѣстное.

Спросилъ онъ это не только серьезно, но еще сочувственнымъ тономъ и съ улыбкой симпатіи къ Чехлову.

— Да, вы угадали и поняли меня. Въ моемъ вѣрованіи—

это двѣ силы, не только главныя, но существенныя, управляющія міромъ,—подтвердилъ Чехловъ.

— Міромъ людей, конечно?—освѣдомился Буреевъ.

— Нѣтъ, міромъ, какъ вселенной... Разумъ—это творческая сила міра, совершившая и совершающая все нами видимое. Любовь—это сила охраняющая, связывающая, придающая всему красоту. Всѣ остальныя такъ называемыя „силы природы", открытыя такъ называемою „наукой", только частныя проявленія этихъ двухъ...

— Та-акъ!—вдругъ протянулъ двусмысленно Буреевъ и на лицѣ его, помимо его желанія, снова появилось недоброжелательство и возбужденіе.

— Васъ удивляютъ, очевидно, всѣ мои разговоры? Это естественно. Я самъ еще недавно отнесся бы съ насмѣшкой къ своимъ нынѣшнимъ словамъ, но эти слова перевернули всѣ мои прежнія понятія. И скажу вамъ секретъ, почему я васъ удивляю. Я просто прикладывалъ къ каждому явленію эти двѣ силы и получалъ неожиданные результаты. И то, что я еще вчера, наравнѣ съ другими, считалъ разумнымъ и хорошимъ, нынче для меня это неразумно и нехорошо. Разумъ освѣтилъ для меня весь механизмъ жизни, любовь же объяснила мнѣ всѣ отношенія, всѣ связи, всѣ основы жизни.

Чехловъ выговорилъ это смягченнымъ противъ прежняго тономъ, но было въ немъ что-то такое, что мгновенно, лишь только онъ раскрывалъ ротъ, производило всеобщее раздраженіе и вражду къ нему. Раздражала-ли присутствующихъ его наружность—это крупное, съ жесткими линіями лицо, эти острые, непріятно-проницательные глаза, жесткіе волосы, торчавшіе на его головѣ подобно скошенному, но неубранному сѣну,—или его звучный, но съ рѣзкими нотами голосъ, или, быть можетъ, тонъ его рѣчи, необыкновенно самоувѣренный, догматическій, вызывающій,—только послѣ сказаннаго имъ тотчасъ же появилось снова желаніе бороться съ нимъ и непремѣнно побѣдить... Послѣ его словъ, повидимому, нисколько неоскорбительныхъ, сказанныхъ, притомъ, мягко, опять послышались озлобленныя возраженія со стороны Буреева и Хордина. Снова посыпались на него вопросы, причемъ не скупились на пренебрежительные эпитеты по его адресу.

— Любовь и разумъ!... Вотъ поистинѣ пошехонское открытіе Америки!—воскликнулъ Хординъ.

Чехловъ въ первый разъ при этомъ восклицаніи вышелъ изъ себя. Лицо его вспыхнуло, глаза сверкнули ненавистью. Но это было мгновеніе. Черезъ мгновеніе его лицо снова стало холоднымъ. А когда онъ сталъ разговаривать съ Буреевымъ, то еще болѣе оправился. Онъ видѣлъ, что всѣми предъидущими своими словами онъ произвелъ впечатлѣніе, равносильное побѣдѣ; зналъ, что ни онъ самъ и никто изъ окружающихъ не въ силахъ подорвать это впечатлѣніе и потому къ дальнѣйшимъ спорамъ относился равнодушно. На его лицѣ, напряженномъ въ продолженіе его рѣчи, теперь играла довольная улыбка; выраженіе его глазъ потеряло свою непріятную проницательность и взглядъ его былъ счастливо-блуждающій; отвѣты его стали небрежны и дѣйствительно парадоксальны.

Это еще болѣе раздражало Буреева.

— Позвольте, важно не то, чтобы признать разумъ и любовь единственными силами, совершающими все хорошее, а то, какъ этимъ знаніемъ воспользоваться!—говорилъ онъ, едва сдерживаясь отъ брани.

— Скажите только: люблю!—и весь міръ мгновенно передъ вашими глазами обратится въ праздникъ, въ любовный пиръ!—отвѣтилъ равнодушно Чехловъ.

— Вотъ этого-то и мало! О любви безъ васъ тысячи лѣтъ люди говорятъ... И важно не то, чтобы знать эту истину, а то, какое употребленіе ей дать... Часто важна не самая истина, обратившаяся въ общее мѣсто, а методъ ея добыванія и способъ ея употребленія. Мало сказать: живи разумомъ и любовью,—надо знать, какъ и откуда взять разумъ, куда и зачѣмъ его дѣть, что и какъ любить! Иначе можно возлюбить свинью, посадить ее за свой столъ и вмѣстѣ съ ней хрюкать!—возражалъ сдержанно Буреевъ, но блѣднѣлъ отъ усилія сдержать себя.

— Разумъ не имѣетъ границъ, любовь не должна отливаться въ формы. Границы создаютъ глупость, формы создаютъ идоловъ. Но идоламъ, наравнѣ съ вами, я не поклоняюсь,—возразилъ Чехловъ.

Буреевъ чувствовалъ, что сдержанности его и на двѣ минуты не хватитъ.

Къ счастію его, въ эту минуту вмѣшался неожиданно Мизинцевъ. Онъ вдругъ объявилъ, что ему пора ѣхать на поѣздъ, такъ какъ ночного поѣзда ему, по какимъ-то дѣламъ, нельзя ждать.

На мгновеніе всѣ стихли, но стихли отъ непріятнаго сожалѣнія, что приходится обрывать разговоръ на полусловѣ. Въ особенности недоволенъ былъ разгоряченный Буреевъ,— его лицо вдругъ сдѣлалось скучнымъ и угрюмымъ, когда Мизинцевъ своимъ напоминаніемъ оборвалъ его мысли.

Чехловъ замѣтилъ это и сдѣлалъ предложеніе, котораго никто не ожидалъ,—остаться въ усадьбѣ на весь слѣдующій день.

— Если уважаемые хозяева мои ничего не имѣетъ противъ, я остаюсь?—сказалъ онъ вопросительно.

Всѣ наперерывъ другъ передъ другомъ объявили о своемъ удовольствіи по этому поводу. Но Чехлову доставляло какъ будто удовольствіе раздражать.

— Собственно мнѣ надо сегодня возвратиться въ городъ, гдѣ назначено собраніе людей, пожелавшихъ слушать меня, но, я вижу, жажда истины и здѣсь велика,—сказалъ онъ спокойно.

Присутствующіе были мгновенно взбѣшены этими самоувѣренными словами. Однако, Хординъ по рукамъ и ногамъ связанъ былъ своею ролью гостепріимнаго хозяина и долженъ былъ промолчать. За то Буреевъ, какъ человѣкъ посторонній, не могъ оставить самообожающаго человѣка въ заблужденіи.

— Повѣрьте, Денисъ Петровичъ, мнѣ лично желательно продолженіе нашихъ съ вами бесѣдъ совсѣмъ не потому, чтобы я надѣялся услыхать изъ вашихъ устъ истину, а затѣмъ, чтобы обратить ваше вниманіе на неслыханное смѣшеніе правды и лжи въ каждомъ вашемъ словѣ!—сказалъ онъ съ негодованіемъ.

Это было началомъ дальнѣйшей „бесѣды“, которая скорѣе напоминала безобразный гвалтъ, поднятый сборищемъ крючниковъ. Мизинцевъ ушелъ никѣмъ не замѣченный; Хординъ забылъ даже распорядиться о лошади для него, чтобы довезти до станціи, и гость долженъ былъ отправиться пѣшкомъ, что, однако, едва-ли было непріятно ему, такъ какъ его сопровождала Маша.

Безобразный гвалтъ стоялъ въ комнатахъ до поздняго вечера. Чехловъ, попрежнему, возражалъ, равнодушно возражалъ, а Хординъ и Буреевъ продолжали все больше и больше воспламеняться. Наконецъ, оба они такъ ошалѣли, что перестали понимать другъ друга и уже сцѣпились между собой, забывъ о противникѣ. Чехловъ воспользовался этимъ и обратился къ Александрѣ Яковлевнѣ съ просьбой прекратить разговоръ до слѣдующаго утра.

— Умоляю васъ, помогите мнѣ уйти въ комнату, гдѣ бы я могъ отдохнуть... У меня кружится голова!—сказалъ онъ утомленно. Въ самомъ дѣлѣ, запыленное, усталое лицо его было страшно болѣзненно.

Александра Яковлевна бросилась, чтобы сдѣлать кое-какія приготовленія, и тотчасъ же возвратилась назадъ. Затѣмъ ей достаточно было сказать нѣсколько словъ, чтобы спорщики прекратили свой крикъ. Чехловъ зналъ, къ кому обратиться и кто изъ всѣхъ находящихся тутъ пользуется безспорнымъ авторитетомъ. Хординъ, по указанію жены, тотчасъ же повелъ гостя въ отведенную ему комнату, гостепріимно предложилъ ему свои услуги во всемъ, что только онъ пожелаетъ, и равнодушно простился съ нимъ до утра.

Въ домѣ мгновенно воцарилась тишина. Только въ дальней комнатѣ, куда ушли Буреевъ и Хординъ, по временамъ слышались сдавленныя восклицанія и смѣхъ.

Оставшись одна, Александра Яковлевна растворила всѣ окна и долго сидѣла одна въ темнотѣ. И ей не хотѣлось спать. Она переживала настроеніе глубокаго счастья. Случайно сказанныя слова случайнаго гостя стали источникомъ внезапнаго воскресенія ея мужества и увѣренности въ своей правотѣ. Вчера еще она считала себя слабой и *неправой* во всемъ. А годъ тому назадъ съ ней былъ случай, о которомъ никто, кромѣ ея, не зналъ, но который, какъ тогда казалось ей, навсегда ее уничтожилъ. Послѣ одной изъ тѣхъ ссоръ съ мужемъ, когда гнѣвъ ослѣпляетъ разсудокъ обоихъ, когда съ обѣихъ сторонъ раздаются ужасныя, оскорбительныя слова, когда глаза свѣтятся ненавистью, а вслѣдъ затѣмъ хлопаютъ двери и въ уединенной комнатѣ раздаются рыданія опозоренной, побѣжденной стороны, Александра Яковлевна рѣшила разорвать десятилѣтнюю связь, бросить оскорбляющія условія жизни и бѣжать. Она наскоро, трепещущи-

ми руками, собрала свои вещи, уложила въ чемоданъ и хотѣла уѣхать. Но вдругъ ее, какъ внезапный ударъ, поразила мысль: а чѣмъ она будетъ жить? Вынесетъ-ли она новые годы бѣдности и матеріальныхъ лишеній, всю жизнь, какъ проклятіе, висѣвшихъ надъ ней?... Немного прошло времени послѣ того, какъ она себѣ задала эти вопросы, а руки ея уже безсильно опустились и взоръ потухъ. Устрашила ее бѣдность. Она испугалась потерять покойную обстановку, которой добился ея мужъ, и, испугавшись своего рѣшенія, стыдясь, въ то же время, своего безсилія и малодушія, съ поспѣшностью, какъ преступникъ, принялась уничтожать слѣды своихъ приготовленій къ бѣгству. И никто никогда не узналъ этого. На слѣдующій день она смотрѣла холодно, равнодушно и покорно.

И вотъ теперь воскресло ея мужество. Радость, изумленіе и гордость наполняли ея подавленное сердце, давно уже не бившееся такъ быстро. А въ головѣ ея велся разговоръ, въ которомъ принималъ участіе кто-то невидимый, но заботящійся о ней и любящій.

— Чего ты боишься?—спрашивалъ онъ заботливо.

— Я знаю, что это малодушіе...—отвѣчала она.

— Не бойся ничего, кромѣ мертвой жизни! Матеріальныя лишенія могутъ быть страшны только тѣмъ, кто рабски подчинялся бездушнымъ вещамъ! Человѣкъ можетъ быть трусливымъ рабомъ или богомъ... Жизнь—его собственность, и онъ можетъ распорядиться ею произвольно, и только жалкій боится ея,—говорилъ ей этотъ твердый, гордый собесѣдникъ, и она слушала его, понимая самыя темныя слова его.

Когда весь домъ уже спалъ, она все еще сидѣла передъ раскрытымъ окномъ, устремивъ взоръ на слабый свѣтъ звѣздъ. Вдругъ въ ночной тиши раздался дрожащій, но нѣжный голосъ, запѣвшій какую-то пѣсню,—это запѣла Александра Яковлевна, не пѣвшая уже нѣсколько лѣтъ; она запѣла въ порывѣ птицы, вдругъ выпущенной на волю.

V.

Чехловъ съ удивленіемъ раскрылъ глаза,—гдѣ онъ?

Было еще рано. Солнце только что поднялось изъ глубины горизонта, но ни одного луча его еще не было видно.

Надъ мѣстомъ его восхода возвышалась тяжелая сѣро-грязная туча и гасила своею огромною массой всѣ лучи его, какіе пытались пробиться сквозь ея мрачную толщу. И свѣта не было кругомъ; всѣ предметы тускло были освѣщены и видъ имѣли скучный и хмурый. Чехловъ долго лежалъ въ постели, не имѣя энергіи встать; онъ проснулся съ какою-то тяжестью на душѣ и тоскливо оглянулъ незнакомую ему комнату чужого дома. Но вдругъ одинъ тонкій, какъ стрѣла, лучъ, тайкомъ, боковымъ ходомъ, проскользнулъ мимо грозной твердыни и разомъ вырвался на просторъ, а за нимъ цѣлою гурьбой ринулись другіе лучи, взбѣжали на самый верхъ темной стѣны, овладѣли всѣми ея выходами, пробили бреши повсюду и окружили ее съ четырехъ концовъ. И эта темная масса, за минуту казавшаяся неприступной, запылала краснымъ пожаромъ и исчезла въ радостномъ сіяніи поднявшагося солнца. Ослѣпленный ворвавшимися въ комнату веселыми лучами, Чехловъ мгновенно соскочилъ съ постели и поспѣшно сталъ одѣваться, стыдясь минутной слабости, лѣнивой тоски и безпричинной хандры.

Онъ тихо прошелъ сѣнями, выбрался на дворъ, отсюда за ворота и очутился въ саду, но, не останавливаясь, пошелъ дальше, перелѣзъ черезъ ограду и очутился въ перелѣскѣ надъ оврагомъ, по дну котораго бойко бѣжалъ ручей. Ручей тотчасъ же напомнилъ ему объ умываньи; онъ спустился по откосу внизъ и съ наслажденіемъ сталъ мочить голову, лицо, руки холодною водой. Вытерся онъ отчасти платкомъ, отчасти рукавами блузы и тотчасъ же подумалъ: „Какъ, въ сущности, не нужны всѣ наши культурныя удобства!“... Въ послѣднее время онъ слѣдилъ за своею жизнью и постоянно выбрасывалъ за бортъ все ненужное, несущественное, фальшивое, какъ модное или общепринятое платье, мягкіе стулья, воротнички, глупѣйшіе галстуки и проч. Границы этимъ преобразованіямъ не можетъ быть, и кто однажды убѣдился въ порочности людской внѣшности, тому на всю жизнь можетъ хватить борьбы съ галстуками, съ пуговицами и съ безчисленнымъ множествомъ другихъ вещей. Понимая этотъ абсурдъ, онъ рѣшился бороться только съ фальшивымъ и неестественнымъ, но что значитъ жить естественно, онъ еще не обдумалъ. Прежде всего, онъ рѣшилъ рано ложиться и рано вставать.

То-есть мнѣ интересно знать, какъ собственно согласуется работа на господина, мотающаго деньги по парижскимъ кабакамъ, съ тѣми планами, которые несомнѣнно вы стараетесь проводить въ жизнь, судя по прекраснымъ словамъ объ идеалахъ, слышаннымъ мною вчера?

— Это, конечно, интересно,—возразилъ Хординъ сердито, хотя не зналъ, сердиться ему или смѣяться, но, во всякомъ случаѣ, онъ вдругъ съ одушевленіемъ заговорилъ:— Вы правы, планы кое-какіе есть у меня... Здѣсь я временно. Но разъ я нахожусь здѣсь, я выполнилъ всѣ свои обязательства передъ владѣльцемъ, которыя я взялъ на себя, и думаю, что каждый честный человѣкъ... Но у меня есть мечта или, если хотите, планъ, который я надѣюсь осуществить— это завести собственное имѣніе... вотъ тогда другое дѣло! Съ своею землей я сдѣлаю все, что мнѣ вздумается... Впрочемъ, ничего фантастическаго я не предполагаю... Я долженъ былъ сказать, что считаю идеалы и культуру несравнимыми величинами. Идеалы сами по себѣ, а культура — сама по себѣ. Идеалы имѣютъ назначеніе облагораживать насъ, давая намъ высокое эстетическое наслажденіе, а культура удовлетворяетъ требованія жизни... понимаете? Идеалъ—это мечта о прекрасномъ, культура—это жизнь!... Другъ другу они не мѣшаютъ и должны существовать рядомъ, не вторгаясь въ чужую область... Вотъ почему я считаю неправыми тѣхъ, которые презрительно относятся къ мечтамъ,— дико это, невѣжественно! Но, съ другой стороны, и отвлеченные мечтатели всѣмъ опротивѣли... именно за то, что суются не въ свое дѣло, въ жизнь! Ихъ дѣло—эстетически-прекрасное, а не жизнь. И, по-моему, ты сколько угодно ширяй по небесамъ,—это прекрасно!—но не мѣшай сажать картошку... не твое это дѣло! А у насъ нѣтъ середины ни въ чемъ: то мы хотимъ жить однѣми заоблачными мечтами и называемъ подлецомъ всякаго практика, то по уши погружаемся въ житейскую дрянь... печальное положеніе! Я же признаю и то, и другое, только каждому отвожу свое время и мѣсто.

Хординъ произнесъ эту непривычно-длинную для него рѣчь съ большимъ воодушевленіемъ и по окончаніи ея взволнованно всталъ съ мѣста и принялся ходить взадъ и впередъ по дорожкѣ.

Чехловъ пристально слѣдилъ за его шагами, словно по нимъ хотѣлъ что-то узнать... Его неожиданно заинтересовали слова хозяина... Однако, это не простые деревянные часы, наивно показывающіе четыре, вмѣсто шести, а „съ секретомъ", вродѣ кукушки!... Чехловъ обрадовался случаю заглянуть внутрь механизма Хордина, который совсѣмъ было потерялъ для него интересъ.

— Вы простите меня, что я трогаю, быть можетъ, больную рану... Я совсѣмъ не считалъ себя вправѣ касаться личныхъ плановъ... Но меня интересуетъ одно общее положеніе. Я давно уже хочу разрѣшить себѣ общій вопросъ: какое отношеніе существуетъ въ жизни между убѣжденіями и дѣлами? Я давно, повторяю, изучаю это, много наблюдалъ, еще болѣе мучился и только послѣ долгихъ попытокъ пришелъ къ нѣкоторымъ результатамъ...

— Къ какимъ же, интересно знать? — спросилъ Хординъ равнодушно, занятый все еще своею рѣчью.

— Я пришелъ къ выводу, что все душевное или умственное богатство людей дѣлится на два рода: убѣжденія и взгляды. У однихъ людей есть убѣжденія, у другихъ взгляды только, но бываетъ и такъ,—это самый частый случай,—что у одного человѣка есть и взгляды, и убѣжденія. Разницы съ перваго взгляда тутъ нѣтъ никакой, но на самомъ дѣлѣ разница громадная. Разница приблизительно такая же, какая существуетъ между необходимымъ платьемъ, прикрывающимъ наше тѣло, и платьемъ, служащимъ не только для прикрытія наготы, но и для изящества, красоты и изысканныхъ вкусовъ. Взгляды—это то же, что красивая принадлежность нашего костюма, выработанная цивилизаціей, а убѣжденія—это то же, что необходимое одѣяніе. Первые, то-есть изящные, цивилизованные костюмы, какъ можно легко убѣдиться, не являются существенною и необходимою принадлежностью человѣка,—ихъ выработала цивилизація. Ходитъ же вездѣ мужикъ въ одной рубахѣ и никто не считаетъ этого ни безнравственнымъ, ни даже неприличнымъ. Но безъ рубахи нельзя ходить,—и холодно, и срамно... Взгляды ни къ чему не обязываютъ,—можно имѣть самые благородные взгляды и остаться самымъ неблагороднымъ изъ животныхъ. Можно ихъ бросить когда угодно, какъ снимаютъ изящный редингота, приходя домой. Убѣжденія же неумолимо перехо-

дятъ въ дѣйствіе, и разъ человѣкъ носитъ въ себѣ убѣжденія, онъ не можетъ ни забыть ихъ, ни сбросить ихъ, какъ не можетъ мужикъ снять рубаху. Нельзя снять рубахи, во-первыхъ, потому, что это физически мучительно; во-вторыхъ, нелѣпо; въ-третьихъ, срамно. Только въ пьяномъ видѣ или будучи сумасшедшимъ человѣкъ можетъ сбросить съ себя безусловно необходимое одѣяніе. Въ жизни я встрѣчалъ больше людей, ходящихъ въ изящномъ костюмѣ. Поэтому на практикѣ трудно различить эти два платья,—цивилизація ихъ страшно перепутала. Однако, я нашелъ одинъ признакъ, по-моему, безошибочно указывающій, носитъ-ли данный человѣкъ платье ради необходимости, или ради красоты и изящества...

Чехловъ на мгновеніе остановился и бросилъ на собесѣдника одинъ изъ тѣхъ непріятно-острыхъ взглядовъ, которые выражали у него чувство злой радости и превосходства.

— Какой же это признакъ?—спросилъ Хординъ съ довольною улыбкой.

— Если вы станете передъ какимъ-нибудь человѣкомъ жаловаться на несогласіе словъ и дѣлъ, и если этотъ человѣкъ присоединится къ вамъ и съ жаромъ будетъ негодовать вмѣстѣ съ вами, то вы смѣло можете сказать, что у него нѣтъ убѣжденій.

— Что же, это вы мѣтко!—возразилъ Хординъ и радостно захохоталъ, самъ не зная, надъ чѣмъ тутъ собственно хохотать.

Чехловъ незамѣтно передвинулъ плечами и лицо его вдругъ стало опять равнодушнымъ, словно онъ разочаровался... Да, это поистинѣ деревянные часы, показывающіе четыре, вмѣсто шести, и не имѣющіе никакой кукушки!... Онъ до такой степени почувствовалъ равнодушіе къ собесѣднику, что не счелъ нужнымъ вѣжливо окончить бесѣду, а просто оборвалъ ее и сказалъ:

— Какое нынче чудесное утро!

Хординъ нѣсколько опѣшилъ отъ этихъ неожиданныхъ словъ и въ первое мгновеніе готовъ былъ заподозрить въ нихъ нѣкоторый иносказательный смыслъ, но когда убѣдился, по равнодушному виду гостя, что тотъ въ самомъ прямомъ значеніи слова заговорилъ о погодѣ, успокоился. Ему

съ нѣкотораго времени невыносимо было поддерживать разговоръ, не касающійся практическихъ дѣлъ, онъ становился тогда угрюмымъ и раздражительнымъ и чувствовалъ боль въ верхней части лба и за ушами, и тогда на него нападала та зѣвота, которую онъ могъ удержать только страшнымъ напряженіемъ челюстей.

Обрадовавшись внезапному прекращенію разговора, онъ вдругъ весело и радушно напомнилъ Чехлову, что пора пить чай, хотя внутри ощущалъ какую-то смутную досаду противъ него. Чехловъ и на это не счелъ нужнымъ отвѣтить; онъ молча поднялся со скамейки, молча пошелъ рядомъ съ хозяиномъ и сѣлъ въ столовой за самоваръ. Самоваръ былъ готовъ и чай сдѣланъ, но въ комнатѣ никого не было; хозяинъ и гость одни принялись за чай. Хординъ пытался нѣсколько разъ заговаривать, но Чехловъ едва давалъ себѣ трудъ отвѣчать: „да" и „нѣтъ",—это была уже не только невнимательность, но полное пренебреженіе. Въ столовой, наконецъ, наступила мертвая тишина, только слышалось клокотанье пара въ самоварѣ и звуки чаепитія двухъ людей.

Къ счастью, немного погодя въ комнату подошли одинъ вслѣдъ за другимъ Буреевъ, его сестра и Александра Яковлевна. У всѣхъ были оживленныя лица, хотя по разнымъ причинамъ и въ противоположныхъ окраскахъ. Александра Яковлевна смотрѣла съ живымъ, какъ бы проснувшимся интересомъ ко всему свѣту, Буреевъ глядѣлъ угрюмо и враждебно. Казалось, онъ никогда не былъ смѣхотворнымъ забавникомъ,—такъ мрачно и сосредоточенно было его лицо. Подавая руку Чехлову, онъ такъ посмотрѣлъ на него, какъ будто говорилъ: „Я тебѣ подаю руку только изъ вѣжливости, но ты врагъ, и я буду бороться съ тобой". Чехловъ, однако, съ улыбкой симпатіи поздоровался съ нимъ, хотя замѣтилъ мгновенно настроеніе всѣхъ собравшихся.

Столовая тотчасъ же оживилась.

— Вы, вѣроятно, рано поднялись?—спросила Александра Яковлевна, обращаясь не то къ Чехлову, не то къ мужу. Отвѣтить поспѣшилъ послѣдній.

— До свѣту!... Такъ и подобаетъ намъ вставать... Мнѣ—какъ хозяину; Денису Петровичу—какъ пророку.

Чехловъ не удостоилъ эти слова отвѣтомъ.

— И вы, кажется, уже успѣли поспорить?—продолжала съ любопытствомъ Александра Яковлевна.

— Немножко,—поспѣшилъ сказать Хординъ.—Денисъ Петровичъ очень тонко высказался насчетъ убѣжденій... Ну, конечно, не забылъ мимоходомъ намекнуть о цивилизаціи, которая производитъ, будто бы, пустыхъ людей, носящихъ убѣжденія подобно модному костюму... — Говоря это, Хординъ ехидно улыбнулся. Онъ съ удивленіемъ излилъ этими словами смутную досаду противъ Чехлова, которая явилась у него въ саду, и, кромѣ того, имѣлъ въ виду натравить Буреева.

Буреевъ дѣйствительно былъ уже, что называется, готовъ.

— Странное мы время переживаемъ! — вдругъ воскликнулъ онъ съ возбужденнымъ смѣхомъ.—Появилась цѣлая тьма какихъ-то неумытыхъ, нечесанныхъ людей, которые галдятъ о ненужности цивилизаціи... И чортъ ихъ знаетъ, откуда столько смѣлости у этихъ неграмотныхъ головотяповъ!

И добродушный, но теперь негодующій Буреевъ оглянулъ поочередно всѣхъ присутствующихъ. Всѣ неловко замолчали, а Маша такъ сконфузилась рѣзкими словами брата, что ея лицо испуганно вытянулось. Но Чехловъ съ прежнею симпатіей смотрѣлъ на говорящаго, хотя тоже молчалъ. Не встрѣтивъ отвѣта, Буреевъ уже прямо обратился къ предмету своей вражды.

— Вы, конечно, по пути, ужь за одно и науку долой? Отрицаете?—спросилъ онъ съ злою насмѣшкой.

Чехловъ положительно съ любовью взглянулъ на Буреева,—съ тою любовью, съ какою охотникъ смотритъ на показавшуюся вдали дичь.

— А развѣ можно отрицать то, чего не существуетъ?— спросилъ онъ съ притворнымъ изумленіемъ.

— То-есть какъ это не существуетъ?... Это наука-то не существуетъ? -- замѣтилъ сдержанно Буреевъ и засмѣялся злымъ смѣхомъ.

— Это, должно быть, опять какой-нибудь идолъ... Но вѣдь я же васъ предупредилъ раньше, что никакихъ идоловъ не признаю, какимъ бы именемъ они ни назывались и сколько бы народу ни стукало передъ ними лбами!

— Къ чему столько темныхъ словъ? Я васъ спрашиваю ясно и просто: существуетъ-ли для васъ наука, или ради истины вы считаете болѣе удобнымъ не замѣчать ея?—спросилъ Буреевъ, причемъ торопливо выхватилъ изъ корзинки булку, разорвалъ ее на куски и бѣшено сталъ пожирать ее, какъ будто это она его оскорбляла.

— Что такое наука?—спросилъ, между тѣмъ, спокойно Чехловъ.

— Наука, милостивый государь,—сказалъ Буреевъ, отчеканивая каждое слово,—есть собраніе всѣхъ знаній, какими только обладаетъ человѣкъ.

— Какихъ же знаній? Истинныхъ или ложныхъ?

— Научныхъ.

— Не понимаю! — сказалъ Чехловъ, и жесткая радость разлилась по его лицу. — Итакъ, наука есть собраніе научныхъ знаній?

— Да, научныхъ,—подтвердилъ Буреевъ на зло.

— Что же это такое — „научныя знанія"? Истинныя-ли это знанія, или не истинныя, или, наконецъ, нѣчто третье, то-есть нѣчто такое, что не истина и не ложь?

— Безъ сомнѣнія, наука даетъ и ошибочныя знанія, истинныя,—возразилъ Буреевъ и, къ ужасу своему, началъ понимать нелѣпость своего положенія.

— Но вы, разумѣется, изъ научныхъ знаній берете только истинныя? Или вѣрите и въ ложныя, лишь бы ихъ давала наука?

— Конечно, истинныя!—сказалъ растерянно Буреевъ.

— А ложныя отрицаете?

— Несомнѣнно.

— Но вы сейчасъ сказали, что наука для васъ существуетъ, и выразили негодованіе, когда я усомнился въ этомъ. Теперь, однако, я нѣсколько понимаю васъ... Говоря о наукѣ, вы разумѣли ту ея часть, которая даетъ истину, а не ложь?—спросилъ Чехловъ съ улыбкой.

— Кто же васъ заставлялъ принимать всѣ ошибки?

— Слѣдовательно, вы снисходительно заставляете меня признавать только истинную науку, какъ я и ожидалъ... Но зачѣмъ же вы раньше не сказали этого, а съ непонятною для меня злобой хотѣли непремѣнно принудить меня повѣрить вообще въ науку? Оказывается изъ вашихъ же словъ,

что науки по меньшей мѣрѣ двѣ, причемъ одну надо признать, а другую отвергнуть... То-есть, оказывается, что науки, какъ однороднаго цѣлаго, какъ нѣкотораго идола, которому надо кланяться, не существуетъ.

Буреевъ сконфуженно давился чаемъ; лицо его, всегда здоровое, теперь болѣзненно поблѣднѣло, руки дрожали. Въ глазахъ видѣлось полное смущеніе. Пораженный, онъ уже не отвѣчалъ обдуманно, а на-угадъ, что на языкъ попадетъ.

— Изъ факта, что наука даетъ истинныя и ложныя показанія, нисколько еще не вытекаетъ вопросъ объ ея существованіи,—сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ.—Истины, даваемыя ею на ряду съ ошибками, все же истины.

— Позвольте и въ этомъ усомниться,—возразилъ Чехловъ и уже увѣренно, какъ господинъ разговора, посмотрѣлъ на всѣхъ окружающихъ.—Временно я согласился съ вами признать истинную науку, но теперь позвольте усомниться и въ этомъ!

— Смѣлости у васъ много, и вы можете безъ моего позволенія сомнѣваться въ чемъ угодно, но надо же обставить свои сомнѣнія!—возразилъ Буреевъ.

— Я это и сдѣлаю, если вы потрудитесь вмѣстѣ со мной подумать... Прежде всего, подумаемъ и рѣшимъ слѣдующій вопросъ: та часть науки, которая даетъ будто бы истины, даетъ-ли ихъ по одной на каждый предметъ, или по двѣ истины?

— То-есть, попросту говоря, есть-ли въ наукѣ безспорныя истины? Есть!

— И онѣ всегда были неоспоримы?—спросилъ Чехловъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же?.. Онѣ стали безспорными только послѣ того, какъ наука ихъ открыла.

— А раньше онѣ не признавались?

— О нихъ даже не подозрѣвали, пока на нихъ не указала наука.

— И эти истины, не подозрѣваемыя въ прошедшемъ, теперь безспорны?

— Да, безспорны.

— И въ будущемъ останутся таковыми?

— Непремѣнно!

— Это вотъ очень смѣло!—сказалъ Чехловъ съ злою радостью.—Вы не только хотите навязать ваши истины насто-

ящимъ людямъ, но чтобы и будущіе не смѣли думать... Прошедшій человѣкъ съ негодованіемъ поносилъ тѣхъ людей, которые осмѣливались сомнѣваться въ существованіи хрустальнаго неба съ горящими лампадами, а вы даже у будущихъ людей отнимаете право считать „всемірное тяготѣніе" вздоромъ... Очень смѣло! Но допустимъ, что истины, нынѣ безспорныя, таковыми же вѣчно останутся,—развѣ изъ однихъ безспорныхъ истинъ состоитъ наука?

— Нѣтъ, конечно... въ наукѣ много положеній, не доказанныхъ безспорно. Что же изъ этого?

— То-есть находится много вещей, о которыхъ въ наукѣ нѣсколько мнѣній?

— Есть.

— И эти мнѣнія взаимно исключаютъ другъ друга?

— По большей части. Ну, такъ что же?

— И этихъ взаимно исключающихъ мнѣній часто существуетъ множество?

— О нѣкоторыхъ предметахъ—множество...

— Однимъ словомъ, наука состоитъ изъ нѣкоторыхъ штукъ безспорныхъ истинъ и изъ безчисленнаго множества взаимно исключающихъ другъ друга истинъ... Какія же истины надо признать и какія отвергнуть, и что, въ такомъ случаѣ, останется отъ вашего идола, разбитаго на безчисленное множество кусковъ?

— Методъ!—сказалъ угрюмо Буреевъ, но такъ былъ ослѣпленъ, что не воспользовался этимъ словомъ, которое могло уничтожить всю самоувѣренность Чехлова.

— То-есть, просто, орудіе. Но вѣдь раньше вы науку опредѣлили не какъ полезное орудіе, а какъ собраніе всѣхъ истинъ?—спросилъ Чехловъ зло.

— Но вѣдь такую операцію можно совершить и съ тою вѣрой, о которой я еще ничего не знаю, но которую вы признаете единственною истиной!—вскричалъ Буреевъ съ внезапною энергіей, которая, казалось, окончательно покинула его.—Вѣдь передъ такимъ безшабашнымъ нигилизмомъ всякая истина обратится въ прахъ, даже и ваша!

Взоръ Чехлова безпокойно скользнулъ по сторонамъ, но это было одно мгновеніе, которое замѣтила одна Александра Яковлевна. Тотчасъ же оправившись, Чехловъ заговорилъ, возвышая голосъ:

— Извините, истина одна! Истина не только одна, но она вѣчна и безусловна. Она написана въ вашемъ сердцѣ и въ вашемъ разумѣ, и даже въ вашемъ тѣлѣ. Только вы заслонили ее идолами, ради которыхъ забыли ея голосъ. И одинъ изъ этихъ идоловъ—наука. Вы забыли и долго еще не вспомните, что наука создана разумомъ и что, создавъ ее, онъ же можетъ и разрушить ее. Но я не забылъ этого и никакіе идолы для меня не существуютъ, хотя бы они назывались наукой. Я выбираю изъ нея только то (и какая это ничтожная крупица!), что истинно, а остальное бросаю и ложь называю ложью, хотя бы это была научная ложь! Пусть наука мнѣ докажетъ, что я состою изъ микробовъ и долженъ вести себя, какъ огромный микробъ,—я не сочту нужнымъ принять этотъ совѣтъ. Въ сущности, и вы то же дѣлаете иногда, выбирая вашимъ разумомъ изъ такъ называемой науки лишь то, что вамъ кажется истиннымъ, но только вы думаете, что это наука дѣлаетъ выборъ, а не вы сами и не вашъ разумъ. Послѣдній вы такъ поработили имъ же созданной вещи, что онъ не смѣетъ больше прикоснуться къ ней, а рабски, низко ползаетъ передъ идоломъ, слѣпо признавая всякую ложь, соглашаясь съ безстыдными выводами, потворствуя гнуснымъ цѣлямъ ея жрецовъ! Вы такъ поработили разумъ передъ этимъ идоломъ, что онъ пересталъ служить истинѣ, а служитъ лжи и обману, преступленію и кровавымъ бойнямъ, злу и насилію! Разумъ, единственный источникъ свѣта, сталъ служить мраку. Единственная его цѣль—познаніе истины и забота о счастьѣ людей, но вы отняли у него эту цѣль, самого его отдали въ рабство бездушной наукѣ, а она изобрѣтаетъ пушки, бездымный порохъ, машины, ломающія тѣло и душу работниковъ, машины, порабощающія милліоны людей...

Въ этомъ направленіи Чехловъ долго еще громилъ. Жестокое лицо его стало совсѣмъ дикимъ, голосъ обратился въ трубу, слогъ мало-по-малу принялъ грубый, но сильный библейскій оттѣнокъ. Это было воплощенное вдохновеніе, вся сила котораго направлена была на разгромъ языческаго идола. Но вдругъ онъ оборвалъ рѣчь и лицо его моментально стало холоднымъ и спокойнымъ.

Чай давно уже всѣ бросили и вышли изъ-за стола. Разговоръ сдѣлался безпорядочнымъ. Хординъ скоро ушелъ по-

хозяйству, сестра Буреева также вышла. Самъ Буреевъ не могъ больше связно говорить, слишкомъ взволнованный для обдуманнаго разговора.

За то Александра Яковлевна въ этотъ день удивляла всѣхъ. Въ ней, видимо, совершался какой-то крутой переворотъ, обратившій вниманіе, прежде всего, мужа. Онъ смотрѣлъ на нее во все продолженіе спора Буреева съ Чехловымъ и какъ будто не узнавалъ. Встрѣтивъ однажды случайно ея взглядъ, смѣлый и спокойный, онъ вдругъ почему-то смутился и послѣ того уже больше не осмѣливался встрѣчать ея взоръ. Ея страдальческое, испуганное лицо, какимъ онъ его привыкъ видѣть, свѣтилось теперь увѣренностью и энергіей, какъ будто она приняла какое-то огромное рѣшеніе,—это еще больше смутило Хордина, словно онъ сознавалъ себя въ чемъ-то виноватымъ передъ ней.

Когда онъ вышелъ изъ комнаты, то же впечатлѣніе перешло и на Чехлова. Онъ смотрѣлъ на нее по временамъ и не узнавалъ. Пытливо вглядываясь въ ея глаза, онъ не открылъ тамъ ни пугливаго удивленія, какъ въ первый разъ, ни раздражительности, какъ наканунѣ. Лицо ея было одушевлено улыбкой, но не жалкой, а твердой и самоувѣренной. Чехловъ открылъ тамъ, въ этой улыбкѣ, даже насмѣшливость и, какъ человѣкъ самолюбивый, мысленно отнесъ ее тотчасъ къ себѣ и внутренно переполошился, не сказалъ-ли онъ въ самомъ дѣлѣ какой глупости.

Оба они ошибались. Ни объ одномъ изъ нихъ Александра Яковлевна не думала. Ея мысли исключительно заняты были собой и тѣмъ своимъ настроеніемъ, которое возвращало ей утраченное счастье, вчера еще считавшееся ею безвозвратно погибшимъ. Когда она утромъ вошла въ комнату, ей не хотѣлось даже говорить. И она дѣйствительно ни разу не вмѣшалась въ разговоры. Ей какъ будто совсѣмъ не было дѣла до этого спора; въ ней самой совершалась такая работа, ради которой некогда было брать еще чужую. Она слушала Чехлова внимательно, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ удовольствіемъ, но слушала не затѣмъ, чтобы услышать его истину, а чтобы подкрѣпить лишними доводами свое настроеніе, чтобы усилить свое жизнерадостное, энергичное чувство, такъ внезапно воскресшее въ ней. И когда какая-нибудь мысль Чех-

лова подходила къ этому настроенію, лицо ея вдругъ озарялось улыбкой. А Чехловъ эту улыбку приписывалъ себѣ.

Тѣмъ сильнѣе былъ его переполохъ, когда онъ замѣтилъ на ея лицѣ насмѣшку. Смѣяться она и не думала надъ нимъ, напротивъ, за многое была благодарна ему. Но это не помѣшало ей подмѣтить въ его словахъ одну слабость—противорѣчіе... По всей вѣроятности, и самъ Буреевъ обратилъ бы вниманіе на эту слабость, будь онъ менѣе ослѣпленъ враждой и раздраженіемъ, но теперь онъ былъ способенъ только на крайне шаблонныя возраженія, да и эти ему нужно было припоминать, — такъ сильно онъ одичалъ за послѣдніе годы. Александра Яковлевна оставалась спокойною и это дало ей возможность точной оцѣнки словъ Чехлова.

Она начала съ того, что съ интересомъ стала разспрашивать Чехлова о его прошлой жизни. Обрадованный ея участіемъ, онъ разсказалъ ей, гдѣ родился, кто его родители, какъ онъ учился, по какимъ мѣстамъ путешествовалъ и гдѣ жилъ. Когда его разсказъ не удовлетворялъ ее, она предлагала ему вопросы. Вышелъ цѣлый рядъ вопросовъ, задаваемыхъ, повидимому, только изъ участія и любопытства къ его жизни и ни мало не подозрительныхъ для Чехлова. Онъ съ горячею охотой отвѣчалъ и на тѣ вопросы, которые касались его образованія. Ничего не подозрѣвая, онъ съ жаромъ разсказывалъ, какъ много онъ читалъ, съ какими выдающимися людьми былъ знакомъ и какъ занимался самообразованіемъ, когда бросилъ университетъ, внушавшій ему отвращеніе бездушною шаблонностью... „Только одно самообразованіе создаетъ разумнаго человѣка“,— кончилъ онъ.

И вдругъ Александра Яковлевна замѣтила какъ бы про себя:

— Интересно, что̀ бы изъ васъ вышло, если бы отецъ сдѣлалъ васъ своимъ прикащикамъ и если бы послѣ его смерти вы остались съ братьями торговать лѣсомъ?...

— То-естъ что тутъ собственно интереснаго?—спросилъ Чехловъ, все еще ничего не подозрѣвая.

— Да откуда бы вы разумъ-то взяли, если бы стали торговать бревнами?

Чехловъ моментально оцѣнилъ этотъ неожиданный и ма-

стерской ударъ и взоръ его безпокойно пробѣжалъ по комнатѣ, но онъ хладнокровно отвѣтилъ:

— При мнѣ бы и остался, если только онъ во мнѣ вообще есть!

— Но вотъ это-то и любопытно: выходитъ, что можно какъ угодно жить, чѣмъ угодно заниматься, хотя бы грабежомъ на большихъ дорогахъ, какъ есть ничему не учиться и все-таки, несмотря ни на что, носить въ себѣ какой-то разумъ, т.-е. высшее пониманіе всѣхъ вещей!—сказала Александра Яковлевна, но безъ ехидства, съ доброю улыбкой.

— Для васъ это невозможнымъ кажется, но это потому, что вы вѣрите не въ силу человѣка, а его положенія, и ему рабски подчиняетесь!—возразилъ Чехловъ, но уже съ явнымъ раздраженіемъ.

— Быть рабомъ положенія, конечно, нехорошо. Надо всѣми силами бороться противъ оскорбляющихъ человѣка положеній. И вы отлично сдѣлали, что послѣ смерти отца не остались торговать бревнами, а ушли отъ этого положенія... Если бы вы остались, то мы, по всей вѣроятности, не имѣли бы удовольствія... не только слышать ваши блестящія слова о разумѣ, но едва-ли бы услыхали пару добрыхъ словъ отъ васъ...

— Но вѣдь я же ушелъ отъ этого положенія! Значитъ, оно меня не поработило!—вскричалъ Чехловъ и въ первый разъ вышелъ изъ себя.

— Потому, что вы имѣли средства бросить его, тогда какъ милліоны людей не могутъ оторваться отъ приковавшей ихъ цѣпи... Во-вторыхъ, потому, что вы кое-чему учились, прежде нежели бросили его, имѣли возможность и дальше учиться и размышлять, тогда какъ милліоны не только не могутъ чему-нибудь учиться и о чемъ-нибудь размышлять, но часто и потребности такой не сознаютъ... Къ нимъ-то откуда разумъ придетъ?

— Вотъ такія вещи я понимаю! — вдругъ вскричалъ съ восторгомъ Буреевъ, до этой минуты угрюмо сидѣвшій въ сторонѣ. — Это сказано по-нашему! А то разумъ... да что это за саврасъ безъ узды? Вѣдь должно же быть мѣсто, гдѣ онъ (то-есть разумъ-то, а не саврасъ) обитаетъ? Если его нѣтъ въ наукѣ, нѣтъ въ добытомъ людьми методѣ мы-

шленія, то гдѣ же онъ? По воздуху, что-ли, носится и сходитъ на людей, какъ молнія? Объясните, пожалуйста, вы-то хоть откуда его заполучили? Можетъ, и мнѣ тогда легко будетъ попользоваться имъ...

Буреевъ оправился, захохоталъ и принялся основательно, въ остроумной формѣ, возражать. Онъ какъ будто вспомнилъ цѣлую область своего ума и знаній, забытыхъ среди апатичной, мелочной жизни, какъ будто самъ себя открылъ, и въ восторгѣ привѣтствовалъ забытыя мысли. Но за то Чехловъ раздражался; онъ уже не былъ господиномъ разговора. Нервно, съ болѣзненно сверкавшими глазами онъ попробовалъ ошеломить рѣзкою, библейскою рѣчью но это уже было „не изъ той оперы", какъ выразился Буреевъ. Наконецъ, чувствуя крайнее утомленіе, Чехловъ совсѣмъ сталъ говорить вяло; на его усталое лицо легла тѣнь глубокаго равнодушія. Онъ почти не слушалъ, что̀ ему говорятъ, и отвѣчалъ не на чужіе вопросы, а на свои.

Да и всѣ устали. Споръ самъ собою утихъ. Александра Яковлевна кончила его шуткой.

— Знаете, Денисъ Петровичъ... одному вашему единомышленнику я сказала, что онъ напоминаетъ то неблагодарное существо, которое, вдоволь накушавшись плодовъ прекраснаго дерева, отъ бездѣлья вздумало подкапывать его корни... „Но если-бъ вверхъ могла поднять ты рыло, тебѣ бы видно было",—сказала я ему. Но теперь я не отказалась бы отъ удовольствія повторить это вамъ...

Никому не простилъ бы Денисъ Чехловъ такой шутки, но изъ устъ Александры Яковлевны онъ выслушалъ ее спокойно; онъ неопредѣленно засмѣялся, и его смѣхъ не выражалъ ни оскорбленности, ни желанія бороться за свое достоинство. Его усталое лицо смягчилось и взоръ его, устремленный на Александру Яковлевну, потерялъ свою острую проницательность, даже въ голосѣ его, всегда жесткомъ, теперь слышались нѣжные тоны, мягкіе оттѣнки.

Буреевъ, до сихъ поръ озлобленный противъ него, враждебно встрѣчавшій каждое его слово, возмущавшійся его жестами и фигурой, теперь добродушно говорилъ съ нимъ и съ удивленіемъ смотрѣлъ на его смягченныя черты. Впрочемъ, говорили о разныхъ простыхъ вещахъ, смѣялись, шутили, и такое мирное настроеніе продолжалось до обѣда. А

послѣ обѣда Чехлову надо было ѣхать, что уже само по себѣ отбивало у всякаго охоту снова поднимать длинный споръ.

Чехловъ задумчиво сидѣлъ за столомъ во все время обѣда и едва участвовалъ въ разговорѣ. Только когда всѣ вышли изъ-за стола, онъ вдругъ сдѣлалъ предложеніе:

— Сегодня, господа, въ городѣ назначена небольшая бесѣда... не угодно-ли кому изъ васъ отправиться со мной? Для меня это было бы пріятно. Сейчасъ мы заговорили и не кончили разговора о „положеніи". Я считаю чрезвычайно важнымъ этотъ вопросъ и буду именно о немъ говорить... Но для меня, по моимъ понятіямъ, онъ не самъ по себѣ важенъ, а по тому значенію, какое люди ему придаютъ. По всей вѣроятности, мнѣ не удастся убѣдить васъ,—это дѣло настроенія, — но, по крайней мѣрѣ, я постараюсь бросить свѣтъ туда, гдѣ теперь одно только мрачное отчаяніе... И такъ, что вы думаете? Ѣхать надо сію минуту, поѣздъ уже близко...

— Извольте, поѣдемъ!—сказалъ первымъ Буреевъ весело и ласково. Потомъ, обратившись къ сестрѣ, онъ спросилъ:— А ты, Маша, хочешь ѣхать?

Маша съ чувствомъ величайшаго удовольствія отвѣтила утвердительно. Вслѣдъ за ней согласился и Хординъ, притомъ, выразилъ свое согласіе шумно:

— Ѣдемъ, такъ ѣдемъ!... Что, въ самомъ дѣлѣ?... Кстати, тамъ теперь оперетка пріѣхала, послушаемъ музыку!

Чехловъ не обратилъ вниманія на это курьезное сопоставленіе „бесѣды" съ опереткой, хотя въ другой моментъ зло воспользовался бы,—онъ вопросительно смотрѣлъ на Александру Яковлевну. Въ сущности, дѣлая свое предложеніе, онъ имѣлъ въ виду только ее одну, мысленно онъ почему-то считалъ очень важнымъ, чтобы она поѣхала съ нимъ. Согласіе Хордина и Буреева съ сестрой онъ принялъ совершенно равнодушно и ждалъ только отвѣта Александры Яковлевны. И вдругъ, неожиданно для него, въ отвѣтъ на его вопросительное лицо, она покачала отрицательно головой.

— Я останусь дома, — съ спокойною улыбкой сказала она.

— Почему?—вскричалъ Чехловъ,—такъ было это неожиданно для него.

Она задумалась, но тотчасъ же рѣшительно сказала:

— Нѣтъ, не поѣду!—и уклонилась отъ объясненія.

Онъ мрачно сконфузился. Еслибы она бросила въ его сторону насмѣшку или брань, онъ стерпѣлъ бы, но это простое „нѣтъ, не поѣду“ внезано причинило ему оскорбительную боль. Онъ сконфуженно и, въ то же время, тяжело улыбнулся, какъ улыбается человѣкъ, которому отказали въ очень важной для него просьбѣ.

Однако, до поѣзда оставалось немного времени и всѣ шумно принялись собираться, а черезъ нѣкоторое время Буреевъ съ сестрой и Хординъ пошли. Чехловъ подошелъ проститься къ Александрѣ Яковлевнѣ, сильно сжалъ ея худую руку и съ тревогой поглядѣлъ ей прямо въ глаза, но эти глаза только добро улыбнулись ему, и больше онъ ничего не могъ замѣтить.

Онъ вышелъ послѣднимъ изъ дома и догонялъ раньше ушедшихъ. Но когда онъ вышелъ за ворота усадьбы, сердце его вдругъ сжалось непонятною тоской, какую онъ не зналъ никогда, и по мѣрѣ того, какъ онъ удалялся отъ дома, тоска все шире и глубже, до боли, чувствовалась имъ. Ему показалось совсѣмъ не важнымъ то, что вотъ онъ ѣдетъ на поѣздъ, не важно то, что съ нимъ ѣдутъ три лица, не важно и то, что вечеромъ онъ будетъ говорить на большомъ собраніи людей, и не важнымъ это показалось *потому, что* съ нимъ не поѣхала Александра Яковлевна и не будетъ слушать того, что онъ скажетъ.

Въ сильной тревогѣ онъ сталъ искать причину, почему она отказалась ѣхать. Не обидѣлъ-ли чѣмъ онъ ее? Не сказалъ-ли чего такого, что внушило ей нерасположеніе къ нему? Да и чѣмъ она можетъ оскорбляться? Что вообще она любитъ и чего не любитъ?

При этомъ онъ вздумалъ было разобрать ее, изслѣдовать и понять, какъ онъ разбиралъ каждаго человѣка, но съ тревогой и изумленіемъ бросилъ. Всюду чуткій и проницательный, разбиравшій самые сложные человѣческіе механизмы, передъ фигурой Александры Яковлевны онъ внезапно остановился, [illegible]не понимая. Какъ будто внезапно острые глаза [illegible]ій слухъ закрылся и наблюдательный

умъ превратился въ тупое и никуда негодное орудіе. Когда онъ встрѣчалъ незнакомаго человѣка, онъ безъ всякаго усилія съ своей стороны слѣдилъ за выраженіемъ, за малѣйшими оттѣнками его голоса, за тончайшими изгибами его слова и мысли, и по этимъ слѣдамъ проникалъ въ самую глубину существа незнакомаго человѣка и понималъ его. Точно съ такою же наблюдательностью, помимо своего желанія, онъ замѣтилъ неопредѣленный цвѣтъ волосъ Александры Яковлевны, различныя выраженія ея большихъ глазъ, всѣ черты ея худого лица, замѣтилъ и то, какъ она выражается, какъ мысль ея работаетъ,—все замѣтилъ, только ничего не могъ разобрать и понять. Какъ будто онъ никогда не видалъ такого человѣка и въ особенности такой женщины, и его острый, разъѣдающій умъ оказался здѣсь не только тупымъ, но безполезнымъ. Когда онъ видѣлъ всякаго другого человѣка, онъ тотчасъ же зналъ, что въ немъ гадко и что хорошо. А здѣсь онъ ничего не могъ разобрать, что дурно и что хорошо. Даже разбирать по частямъ тутъ нечего было, какъ безсмысленно разбирать предметъ, въ которомъ все изумительно просто, наглядно и цѣльно. Представляя ея черты, ея слова, онъ только чувствовалъ, что видѣть ее пріятно, не видѣть—тоска, говорить съ ней—удовольствіе, говорить тамъ, гдѣ ея нѣтъ,—не стоитъ.

И когда онъ молча сидѣлъ въ вагонѣ между Буреевымъ и его сестрой, въ его головѣ неискоренимо засѣла явно нелѣпая мысль: „Да стоитъ-ли тамъ говорить,—вѣдь она не будетъ слышать?“

VI.

Поѣздъ тихо лязгалъ по рельсамъ. Изъ оконъ вагона открывались необъятныя степныя дали, кое-гдѣ перегороженныя лѣсистыми холмами. День былъ теплый, чисто-майскій. Позеленѣвшія поля сверкали бархатомъ. Лѣсъ позеленѣлъ. Воздухъ насыщенъ былъ ароматомъ возродившейся жизни.

Чехловъ замолчалъ съ самой первой минуты прихода въ вагонъ и отвернулся къ окну отъ спутниковъ. Но по мѣрѣ того, какъ онъ смотрѣлъ въ окно, суровыя черты его распускались въ какой-то неопредѣленной печали. Весенній-ли ароматъ, врывавшійся волнами въ окно вагона, голубое-ли небо, открывавшее всю свою глубину, тоска-ли по чему-то

неизвѣданному, только въ жесткихъ складкахъ его лица появились новыя черты, а острый взглядъ его поминутно заволакивался влажною пеленой. Онъ самъ чувствовалъ, что слезы затуманиваютъ ему глаза и сердце сжимается отъ невѣдомой истомы. Онъ пробовалъ стряхнуть съ себя эту тоскливую нѣгу, хотѣлъ сдѣлать какое-нибудь внезапное движеніе, крикнуть рѣзкое слово—и не могъ. Онъ неподвижно сидѣлъ на мѣстѣ, все тѣло его застыло въ истомѣ и взоры смутно блуждали по широкому простору полей, мимо которыхъ катился поѣздъ.

Буреевъ посматривалъ на него и все болѣе поддавался чувству доброжелательства къ этому суровому человѣку, всѣ слова котораго такъ враждебно принимались имъ. Онъ въ эту минуту такъ былъ настроенъ, что ему хотѣлось встать съ своего мѣста, подсѣсть къ нему и пожать ему руку, за что—онъ и самъ не сказалъ бы.

Незамѣтно для себя, онъ поддавался вліянію всякой силы, какая находилась возлѣ него. Въ ранней молодости онъ поддался непреодолимому стремленію посидѣть въ кутузкѣ—и посидѣлъ не потому, чтобы злоумышлялъ преступныя дѣянія, а потому, что всѣ близкіе его непремѣнно отсиживались, просто за компанію. Немного спустя онъ проникся другимъ настроеніемъ, выражавшимся—„око за око и зубъ за зубъ", и опять не потому, чтобы въ натурѣ его лежала потребность ставить кому-нибудь фонари подъ глазами, а просто за компанію; его широкому, добродушному лицу рѣшительно несвойственны были злоба и вражда. Вслѣдъ затѣмъ пришло время, когда всѣ кругомъ него стали называть потолокъ небомъ, идеалы—дурацкою сказкой, мечтателей—скучными болванами, и Буреевъ поддался этому. Наравнѣ съ другими онъ сталъ остроумно вышучивать мысли и дѣла, за которыя самъ недавно распинался.

Послѣднею слабостью, которой онъ отдался, былъ Хординъ. Въ деревнѣ они поселились почти одновременно. Въ то время, когда Хординъ взялъ управленіе богатымъ имѣніемъ, Бурееву нежданно досталось отъ дальняго родственника небольшое наслѣдство. Достаточно помыкавшись по бѣлому свѣту, Буреевъ съ удовольствіемъ переселился въ свое имѣніе, выписалъ сестру изъ Петербурга, гдѣ та училась, и спокойно зажилъ. Въ хозяйствѣ онъ ничего не смыс-

лилъ и потому всю землю сталъ сдавать въ аренду мужикамъ. Дѣло это до такой степени оказалось не хитрымъ, что на него напала страшнѣйшая скука. Бывало, цѣлыми днями онъ слонялся по усадьбѣ и не зналъ, какъ убить дьявольски длинные дни. Отъ нечего дѣлать, въ одинъ годъ онъ вздумалъ заняться хозяйствомъ, для чего на первыхъ порахъ засѣялъ десятинъ двадцать ржи. Но, къ его негодованію, вмѣсто ржи, на лѣто у него уродился чертополохъ. Онъ страшно тогда озлился на мужиковъ, которые столь наглымъ образомъ надули его, но потомъ, разсказывая объ этомъ случаѣ, онъ заливался добродушнымъ смѣхомъ.

Въ это время онъ и познакомился съ Хординымъ, имѣніе котораго лежало по сосѣдству съ его участкомъ. Почти навѣрное можно сказать, что онъ, при первомъ же знакомствѣ съ Александрой Яковлевной, поддался бы ея вліянію, но она, на несчастье, въ это время казалась такою подавленной и разбитой, что съ ней тяжело было даже говорить. Поэтому Буреевъ поддался Хордину. Хординъ проповѣдывалъ практичность—и онъ также стоялъ за практичность, Хординъ ругалъ мужиковъ—и онъ ихъ ругалъ; только все это у него выходило мягче. Въ сущности, ему не было ни охоты, ни интереса ругать мужиковъ; ругалъ онъ ихъ только отвлеченно, а въ дѣйствительности со всѣми своими мужиками отлично жилъ; ругалъ просто потому, что сердце его было мягкое, характеръ нѣжный, такъ что когда Хординъ что-нибудь говорилъ, онъ по добротѣ соглашался съ нимъ, чтобы не обидѣть его. Онъ такъ мало придавалъ значенія себѣ и такъ много всякому другому, что соглашался видѣть хорошее тамъ, гдѣ было одно только дурное. Случалось, что Хординъ въ городѣ напивался до одури пьянымъ, и Буреевъ старался быть съ нимъ въ одномъ градусѣ, хотя водка на его вкусъ казалась гадкою. Быть со всѣми въ одномъ градусѣ—таково было существенное и неизмѣнное желаніе его.

Поэтому же самому онъ продолжалъ думать, что принадлежитъ къ чему-то цѣлому, вродѣ партіи, и носитъ строго опредѣленныя убѣжденія; онъ считалъ себя неотъемлемою частью какого-то *мы* и дѣлилъ людей на *нашихъ* и *не нашихъ*. Впрочемъ, Хординъ также, по старой привычкѣ, считалъ себя въ числѣ *мы* или какихъ-то *насъ* и думалъ, что имѣетъ

какія-то *наши* стремленія. Но у Хордина это происходило потому, что онъ обладалъ двумя лицами, а у Буреева просто отъ безпамятства и слабости. На самомъ дѣлѣ онъ имѣлъ кое-какія искреннія убѣжденія, но только придавалъ имъ различные цвѣта, смотря по окраскѣ окружающаго. Когда кругомъ господствовали розовые цвѣта—и онъ окрашивалъ себя въ цвѣтъ радости; когда кругомъ было сѣро и пусто— и онъ обезцвѣчивался; если же повсюду стояла осень и мгла закрывало небо, а земля превращалась въ топкое, зловонное болото, и онъ погружался по уши.

И все-таки въ каждую данную минуту онъ смутно носилъ въ себѣ образъ полнаго человѣка и вѣру въ его реальное существованіе.

По пріѣздѣ въ городъ, Хординъ и Буреевъ на короткое время разстались съ Чехловымъ,—не было еще условленныхъ восьми часовъ, когда ожидалось собраніе. Чехловъ же прямо отправился въ домъ, хозяева котораго любезно предоставили въ его распоряженіе свою большую квартиру. Хозяинъ принадлежалъ къ хорошо обезпеченному служилому сословію и, въ сущности, давно похоронилъ душу свою подъ грудами казенныхъ истинъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, отличался чисто-бабьимъ любопытствомъ ко всему новому. Въ городѣ онъ слылъ за человѣка, назначеніе котораго „оживлять" всякое общество. Онъ участвовалъ во всѣхъ сборищахъ, записывался членомъ всѣхъ обществъ, распоряжался на всѣхъ юбилеяхъ и похоронахъ и всюду оживлялъ. Не было предмета, о которомъ бы онъ не могъ произнести прекрасной рѣчи; и всѣ вопросы, кажется, были знакомы ему, начиная съ вопроса о вывозѣ за границу русской свинины и кончая вопросомъ о концѣ міра. Когда заговорили о Чехловѣ, бабье любопытство его и здѣсь нашло почву. Раза два онъ встрѣтилъ Чехлова въ другихъ домахъ, а потомъ пригласилъ его къ себѣ.

Встрѣтивъ его сію минуту въ прихожей, онъ пламенно потрясъ его руку, повелъ его въ залу, гдѣ уже гудѣла большая толпа собравшихся, и предложилъ немедленно познакомить его со всѣми. Но Чехловъ холодно отказался отъ этой церемоніи.

— Зачѣмъ знакомиться? Развѣ люди непремѣнно должны

знать свои ярлыки, чтобы говорить по-человѣчески?—замѣтилъ онъ.

Хозяинъ сначала оторопѣлъ отъ этой выходки, но тотчасъ же пришелъ въ восторгъ.

— Дико, но оригинально!—говорилъ онъ шепотомъ, обходя черезъ минуту гостей и всѣмъ сообщая о словахъ Чехлова. Такъ что Чехлова мгновенно вся зала узнала и всѣ глаза обратились на него.

Между тѣмъ, онъ сѣлъ на первый попавшійся стулъ отъ входа и обводилъ глазами незнакомыя лица. Мало-по-малу мягкая тѣнь, лежавшая на его лицѣ, сошла и черты его опять стали жесткими, какъ всегда. Еще за минуту передъ тѣмъ онъ ощущалъ страшную слабость и съ непріятнымъ, тяжелымъ чувствомъ думалъ объ этомъ собраніи, гдѣ онъ долженъ говорить, но лишь только онъ очутился въ толпѣ, энергія его моментально возродилась. Глаза его зловѣще сверкнули, въ лицѣ появилось вызывающее, боевое выраженіе.

Нѣсколько человѣкъ, уже знакомыхъ ему раньше, поздоровались съ нимъ, а остальныхъ онъ открыто, не стѣсняясь, наблюдалъ и прислушивался къ разговорамъ. Этого безстрастнаго, молчаливаго наблюденія ему было достаточно, чтобы приблизительно оцѣнить многихъ изъ присутствующихъ. Онъ замѣтилъ тутъ рослую фигуру мѣстнаго газетчика съ крупнымъ и жирнымъ, но скопческимъ лицомъ; недалеко отъ него сидѣла огромная дама, напоминающая по своимъ размашистымъ движеніямъ лошадинаго барышника,—это была самая рослая по величинѣ фигура. Другіе подлѣ нихъ казались мелкими, блѣдными и безцвѣтными. Но Чехловъ на нихъ-то и направилъ все свое вниманіе. Онъ по опыту зналъ, что самыми опасными противниками могутъ быть только эти блѣдные, маленькіе люди... Вотъ тотъ, напримѣръ, газетчикъ съ лицомъ скопца, въ сущности, ничтожество; каждый знаетъ, что газета для него — коммерція, слова его—базарныя цѣнности, хорошія слова—хорошая базарная цѣнность, и языкъ его безъ костей. Но вотъ эти благовоспитанные, приличные люди, поблѣднѣвшіе надъ книгами, оффиціальные носители истины, представители свободныхъ искусствъ,—вотъ ихъ-то болѣе другихъ ненавидѣлъ Чехловъ... Въ нихъ съ дѣтства вытравлена ка-

шленія, то гдѣ же онъ? По воздуху, что-ли, носится и сходитъ на людей, какъ молнія? Объясните, пожалуйста, вы-то хоть откуда его заполучили? Можетъ, и мнѣ тогда легко будетъ попользоваться имъ...

Буреевъ оправился, захохоталъ и принялся основательно, въ остроумной формѣ, возражать. Онъ какъ будто вспомнилъ цѣлую область своего ума и знаній, забытыхъ среди апатичной, мелочной жизни, какъ будто самъ себя открылъ, и въ восторгѣ привѣтствовалъ забытыя мысли. Но за то Чехловъ раздражался; онъ уже не былъ господиномъ разговора. Нервно, съ болѣзненно сверкавшими глазами онъ попробовалъ ошеломить рѣзкою, библейскою рѣчью но это уже было „не изъ той оперы", какъ выразился Буреевъ. Наконецъ, чувствуя крайнее утомленіе, Чехловъ совсѣмъ сталъ говорить вяло; на его усталое лицо легла тѣнь глубокаго равнодушія. Онъ почти не слушалъ, чтὸ ему говорятъ, и отвѣчалъ не на чужіе вопросы, а на свои.

Да и всѣ устали. Споръ самъ собою утихъ. Александра Яковлевна кончила его шуткой.

— Знаете, Денисъ Петровичъ... одному вашему единомышленнику я сказала, что онъ напоминаетъ то неблагодарное существо, которое, вдоволь накушавшись плодовъ прекраснаго дерева, отъ бездѣлья вздумало подкапывать его корни... „Но если-бъ вверхъ могла поднять ты рыло, тебѣ бы видно было",—сказала я ему. Но теперь я не отказалась бы отъ удовольствія повторить это вамъ...

Никому не простилъ бы Денисъ Чехловъ такой шутки, но изъ устъ Александры Яковлевны онъ выслушалъ ее спокойно; онъ неопредѣленно засмѣялся, и его смѣхъ не выражалъ ни оскорбленности, ни желанія бороться за свое достоинство. Его усталое лицо смягчилось и взоръ его, устремленный на Александру Яковлевну, потерялъ свою острую проницательность, даже въ голосѣ его, всегда жесткомъ, теперь слышались нѣжные тоны, мягкіе оттѣнки.

Буреевъ, до сихъ поръ озлобленный противъ него, враждебно встрѣчавшій каждое его слово, возмущавшійся его жестами и фигурой, теперь добродушно говорилъ съ нимъ и съ удивленіемъ смотрѣлъ на его смягченныя черты. Впрочемъ, говорили о разныхъ простыхъ вещахъ, смѣялись, шутили, и такое мирное настроеніе продолжалось до обѣда. А

послѣ обѣда Чехлову надо было ѣхать, что уже само по себѣ отбивало у всякаго охоту снова поднимать длинный споръ.

Чехловъ задумчиво сидѣлъ за столомъ во все время обѣда и едва участвовалъ въ разговорѣ. Только когда всѣ вышли изъ-за стола, онъ вдругъ сдѣлалъ предложеніе:

— Сегодня, господа, въ городѣ назначена небольшая бесѣда... не угодно-ли кому изъ васъ отправиться со мной? Для меня это было бы пріятно. Сейчасъ мы заговорили и не кончили разговора о „положеніи". Я считаю чрезвычайно важнымъ этотъ вопросъ и буду именно о немъ говорить... Но для меня, по моимъ понятіямъ, онъ не самъ по себѣ важенъ, а по тому значенію, какое люди ему придаютъ. По всей вѣроятности, мнѣ не удастся убѣдить васъ,—это дѣло настроенія, — но, по крайней мѣрѣ, я постараюсь бросить свѣтъ туда, гдѣ теперь одно только мрачное отчаяніе... И такъ, что вы думаете? Ѣхать надо сію минуту, поѣздъ уже близко...

— Извольте, поѣдемъ!—сказалъ первымъ Буреевъ весело и ласково. Потомъ, обратившись къ сестрѣ, онъ спросилъ:— А ты, Маша, хочешь ѣхать?

Маша съ чувствомъ величайшаго удовольствія отвѣтила утвердительно. Вслѣдъ за ней согласился и Хординъ, притомъ, выразилъ свое согласіе шумно:

— Ѣдемъ, такъ ѣдемъ!... Что, въ самомъ дѣлѣ?... Кстати, тамъ теперь оперетка пріѣхала, послушаемъ музыку!

Чехловъ не обратилъ вниманія на это курьезное сопоставленіе „бесѣды" съ опереткой, хотя въ другой моментъ зло воспользовался бы,—онъ вопросительно смотрѣлъ на Александру Яковлевну. Въ сущности, дѣлая свое предложеніе, онъ имѣлъ въ виду только ее одну, мысленно онъ почему-то считалъ очень важнымъ, чтобы она поѣхала съ нимъ. Согласіе Хордина и Буреева съ сестрой онъ принялъ совершенно равнодушно и ждалъ только отвѣта Александры Яковлевны. И вдругъ, неожиданно для него, въ отвѣтъ на его вопросительное лицо, она покачала отрицательно головой.

— Я останусь дома, — съ спокойною улыбкой сказала она.

— Почему?—вскричалъ Чехловъ,—такъ было это неожиданно для него.

Она задумалась, но тотчасъ же рѣшительно сказала:

— Нѣтъ, не поѣду!—и уклонилась отъ объясненія.

Онъ мрачно сконфузился. Еслибы она бросила въ его сторону насмѣшку или брань, онъ стерпѣлъ бы, но это простое „нѣтъ, не поѣду“ внезапно причинило ему оскорбительную боль. Онъ сконфуженно и, въ то же время, тяжело улыбнулся, какъ улыбается человѣкъ, которому отказали въ очень важной для него просьбѣ.

Однако, до поѣзда оставалось немного времени и всѣ шумно принялись собираться, а черезъ нѣкоторое время Буреевъ съ сестрой и Хординъ пошли. Чехловъ подошелъ проститься къ Александрѣ Яковлевнѣ, сильно сжалъ ея худую руку и съ тревогой поглядѣлъ ей прямо въ глаза, но эти глаза только добро улыбнулись ему, и больше онъ ничего не могъ замѣтить.

Онъ вышелъ послѣднимъ изъ дома и догонялъ раньше ушедшихъ. Но когда онъ вышелъ за ворота усадьбы, сердце его вдругъ сжалось непонятною тоской, какую онъ не зналъ никогда, и по мѣрѣ того, какъ онъ удалялся отъ дома, тоска все шире и глубже, до боли, чувствовалась имъ. Ему показалось совсѣмъ не важнымъ то, что вотъ онъ ѣдетъ на поѣздъ, не важно то, что съ нимъ ѣдутъ три лица, не важно и то, что вечеромъ онъ будетъ говорить на большомъ собраніи людей, и не важнымъ это показалось *потому, что* съ нимъ не поѣхала Александра Яковлевна и не будетъ слушать того, что онъ скажетъ.

Въ сильной тревогѣ онъ сталъ искать причину, почему она отказалась ѣхать. Не обидѣлъ-ли чѣмъ онъ ее? Не сказалъ-ли чего такого, что внушило ей нерасположеніе къ нему? Да и чѣмъ она можетъ оскорбляться? Что вообще она любитъ и чего не любитъ?

При этомъ онъ вздумалъ было разобрать ее, изслѣдовать и понять, какъ онъ разбиралъ каждаго человѣка, но съ тревогой и изумленіемъ бросилъ. Всюду чуткій и проницательный, разбиравшій самые сложные человѣческіе механизмы, передъ фигурой Александры Яковлевны онъ внезапно остановился, ничего не понимая. Какъ будто внезапно острые глаза его ослѣпли, тонкій слухъ закрылся и наблюдательный

умъ превратился въ тупое и никуда негодное орудіе. Когда онъ встрѣчалъ незнакомаго человѣка, онъ безъ всякаго усилія съ своей стороны слѣдилъ за выраженіемъ, за малѣйшими оттѣнками его голоса, за тончайшими изгибами его слова и мысли, и по этимъ слѣдамъ проникалъ въ самую глубину существа незнакомаго человѣка и понималъ его. Точно съ такою же наблюдательностью, помимо своего желанія, онъ замѣтилъ неопредѣленный цвѣтъ волосъ Александры Яковлевны, различныя выраженія ея большихъ глазъ, всѣ черты ея худого лица, замѣтилъ и то, какъ она выражается, какъ мысль ея работаетъ,—все замѣтилъ, только ничего не могъ разобрать и понять. Какъ будто онъ никогда не видалъ такого человѣка и въ особенности такой женщины, и его острый, разъѣдающій умъ оказался здѣсь не только тупымъ, но безполезнымъ. Когда онъ видѣлъ всякаго другого человѣка, онъ тотчасъ же зналъ, что въ немъ гадко и что хорошо. А здѣсь онъ ничего не могъ разобрать, что дурно и что хорошо. Даже разбирать по частямъ тутъ нечего было, какъ безсмысленно разбирать предметъ, въ которомъ все изумительно просто, наглядно и цѣльно. Представляя ея черты, ея слова, онъ только чувствовалъ, что видѣть ее пріятно, не видѣть—тоска, говорить съ ней—удовольствіе, говорить тамъ, гдѣ ея нѣтъ,—не стоитъ.

И когда онъ молча сидѣлъ въ вагонѣ между Буреевымъ и его сестрой, въ его головѣ неискоренимо засѣла явно нелѣпая мысль: „Да стоитъ-ли тамъ говорить,—вѣдь она не будетъ слышать?"

VI.

Поѣздъ тихо лязгалъ по рельсамъ. Изъ оконъ вагона открывались необъятныя степныя дали, кое-гдѣ перегороженныя лѣсистыми холмами. День былъ теплый, чисто-майскій. Позеленѣвшія поля сверкали бархатомъ. Лѣсъ позеленѣлъ. Воздухъ насыщенъ былъ ароматомъ возродившейся жизни.

Чехловъ замолчалъ съ самой первой минуты прихода въ вагонъ и отвернулся къ окну отъ спутниковъ. Но по мѣрѣ того, какъ онъ смотрѣлъ въ окно, суровыя черты его распускались въ какой-то неопредѣленной печали. Весенній-ли ароматъ, врывавшійся волнами въ окно вагона, голубое-ли небо, открывавшее всю свою глубину, тоска-ли по чему-то

какія-то *наши* стремленія. Но у Хордина это происходило потому, что онъ обладалъ двумя лицами, а у Буреева просто отъ безпамятства и слабости. На самомъ дѣлѣ онъ имѣлъ кое-какія искреннія убѣжденія, но только придавалъ имъ различные цвѣта, смотря по окраскѣ окружающаго. Когда кругомъ господствовали розовые цвѣта—и онъ окрашивалъ себя въ цвѣтъ радости; когда кругомъ было сѣро и пусто— и онъ обезцвѣчивался; если же повсюду стояла осень и мгла закрывало небо, а земля превращалась въ топкое, зловонное болото, и онъ погружался по уши.

И все-таки въ каждую данную минуту онъ смутно носилъ въ себѣ образъ полнаго человѣка и вѣру въ его реальное существованіе.

По пріѣздѣ въ городъ, Хординъ и Буреевъ на короткое время разстались съ Чехловымъ,—не было еще условленныхъ восьми часовъ, когда ожидалось собраніе. Чехловъ же прямо отправился въ домъ, хозяева котораго любезно предоставили въ его распоряженіе свою большую квартиру. Хозяинъ принадлежалъ къ хорошо обезпеченному служилому сословію и, въ сущности, давно похоронилъ душу свою подъ грудами казенныхъ истинъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, отличался чисто-бабьимъ любопытствомъ ко всему новому. Въ городѣ онъ слылъ за человѣка, назначеніе котораго „оживлять" всякое общество. Онъ участвовалъ во всѣхъ сборищахъ, записывался членомъ всѣхъ обществъ, распоряжался на всѣхъ юбилеяхъ и похоронахъ и всюду оживлялъ. Не было предмета, о которомъ бы онъ не могъ произнести прекрасной рѣчи; и всѣ вопросы, кажется, были знакомы ему, начиная съ вопроса о вывозѣ за границу русской свинины и кончая вопросомъ о концѣ міра. Когда заговорили о Чехловѣ, бабье любопытство его и здѣсь нашло почву. Раза два онъ встрѣтилъ Чехлова въ другихъ домахъ, а потомъ пригласилъ его къ себѣ.

Встрѣтивъ его сію минуту въ прихожей, онъ пламенно потрясъ его руку, повелъ его въ залу, гдѣ уже гудѣла большая толпа собравшихся, и предложилъ немедленно познакомить его со всѣми. Но Чехловъ холодно отказался отъ этой церемоніи.

— Зачѣмъ знакомиться? Развѣ люди непремѣнно должны

знать свои ярлыки, чтобы говорить по-человѣчески?—замѣтилъ онъ.

Хозяинъ сначала оторопѣлъ отъ этой выходки, но тотчасъ же пришелъ въ восторгъ.

— Дико, но оригинально!—говорилъ онъ шепотомъ, обходя черезъ минуту гостей и всѣмъ сообщая о словахъ Чехлова. Такъ что Чехлова мгновенно вся зала узнала и всѣ глаза обратились на него.

Между тѣмъ, онъ сѣлъ на первый попавшійся стулъ отъ входа и обводилъ глазами незнакомыя лица. Мало-по-малу мягкая тѣнь, лежавшая на его лицѣ, сошла и черты его опять стали жесткими, какъ всегда. Еще за минуту передъ тѣмъ онъ ощущалъ страшную слабость и съ непріятнымъ, тяжелымъ чувствомъ думалъ объ этомъ собраніи, гдѣ онъ долженъ говорить, но лишь только онъ очутился въ толпѣ, энергія его моментально возродилась. Глаза его зловѣще сверкнули, въ лицѣ появилось вызывающее, боевое выраженіе.

Нѣсколько человѣкъ, уже знакомыхъ ему раньше, поздоровались съ нимъ, а остальныхъ онъ открыто, не стѣсняясь, наблюдалъ и прислушивался къ разговорамъ. Этого безстрастнаго, молчаливаго наблюденія ему было достаточно, чтобы приблизительно оцѣнить многихъ изъ присутствующихъ. Онъ замѣтилъ тутъ рослую фигуру мѣстнаго газетчика съ крупнымъ и жирнымъ, но скопческимъ лицомъ; недалеко отъ него сидѣла огромная дама, напоминающая по своимъ размашистымъ движеніямъ лошадинаго барышника,—это была самая рослая по величинѣ фигура. Другіе подлѣ нихъ казались мелкими, блѣдными и безцвѣтными. Но Чехловъ на нихъ-то и направилъ все свое вниманіе. Онъ по опыту зналъ, что самыми опасными противниками могутъ быть только эти блѣдные, маленькіе люди... Вотъ тотъ, напримѣръ, газетчикъ съ лицомъ скопца, въ сущности, ничтожество; каждый знаетъ, что газета для него—коммерція, слова его—базарныя цѣнности, хорошія слова—хорошая базарная цѣнность, и языкъ его безъ костей. Но вотъ эти благовоспитанные, приличные люди, поблѣднѣвшіе надъ книгами, оффиціальные носители истины, представители свободныхъ искусствъ,—вотъ ихъ-то болѣе другихъ ненавидѣлъ Чехловъ... Въ нихъ съ дѣтства вытравлена ка-

кая бы то ни было вѣра и убита воля, но они—признанные жрецы истины и въ ихъ рукахъ всѣ орудія ходячей правды... вотъ ихъ-то надо подорвать!...

И въ душѣ Чехлова закипѣла злоба и мгновенно вызванное этою злобой сознаніе своей силы. Онъ, обводя глазами собравшихся, угадывалъ нравственное состояніе этой толпы, ничѣмъ не связанной между собою, разбитой на множество отдѣльныхъ эгоизмовъ, потерявшей вѣру въ нѣчто цѣлое и потому страшно порочной. Это одушевило его. Одни люди воодушевляются состраданіемъ и любовью, но онъ принадлежалъ къ тѣмъ, сила которыхъ — въ негодованіи; его умъ только тогда сильно работалъ, когда открывалъ заблужденія и ложь; сердце его воспламенялось только въ виду порока.

Прошло минутъ двадцать съ прихода его и онъ уже чувствовалъ, что готовъ къ разговору, и зналъ, о чемъ ему говорить. Въ залѣ стоялъ безпорядочный шумъ; всѣ разбились на кучки. Казалось, всѣ съ намѣреніемъ откладывали цѣль, ради которой собрались, и говорили обо всемъ на свѣтѣ, только не объ этомъ. Предоставляли начать «серьезный разговоръ» самому Чехлову, причемъ ждали отъ него формальной рѣчи, реферата или чего-нибудь вродѣ этого. Но онъ, повидимому, не думалъ начинать и молча продолжалъ наблюдать лица, прислушиваясь къ разговорамъ.

Вдругъ къ нему обратился господинъ, сидѣвшій подлѣ него, обратился съ любезною улыбкой, такъ какъ и самъ представлялъ воплощенную любезность, хорошій тонъ, порядочность.

— Извините меня... вы господинъ Чехловъ? — спросилъ этотъ изящный и любезный господинъ.

— Я.

— Извините... Я сейчасъ слышалъ, какъ вы отказались знакомиться съ присутствующими здѣсь, и хотя рискую получить такой же отказъ на свой счетъ, но все-таки позвольте познакомиться... Малаховъ,—и любезный Малаховъ протянулъ руку Чехлову.

Послѣдній пожалъ плечами и тотчасъ же воспользовался случаемъ. Но сначала онъ съ наслажденіемъ рѣшилъ обратить иронію на того, кто ее первый пустилъ въ ходъ.

— Не знаю, чѣмъ вы могли рисковать въ данномъ случаѣ?—спросилъ онъ небрежно.

— Вы могли не принять протянутой руки, руководясь не-

извѣстнымъ мнѣ правиломъ,—продолжалъ иронически любезный, улыбающійся Малаховъ.

— Я бы позволилъ себѣ сдѣлать это въ томъ лишь случаѣ, еслибы зналъ васъ за человѣка, не заслуживающаго уваженія, — сказалъ Чехловъ холодно, но уже съ смѣющимися глазами.

Любезный Малаховъ пересталъ улыбаться.

— Слѣдовательно, ваше правило—подавать руку только тѣмъ, которые съ вашей точки зрѣнія заслуживаютъ уваженія?—спросилъ серьезно Малаховъ.

— Не знаю, зачѣмъ это непремѣнно правило на каждый предметъ?—возразилъ Чехловъ уже насмѣшливо.—Никакого правила я не имѣю.

— Но вѣдь почему-нибудь отказались же вы знакомиться?

— Да потому и отказался, что у меня нѣтъ на этотъ счетъ никакихъ правилъ. Еслибы я познакомился со всѣми, то вѣдь это нисколько не помогло бы намъ понять друга друга и не связало бы насъ...

Въ это время въ залѣ разговоры стихли. Замѣтивъ, что Малаховъ о чемъ-то говоритъ съ Чехловымъ, всѣ стали съ любопытствомъ прислушиваться.

— Все-таки выходитъ, что вы противъ общепринятыхъ приличій?—продолжалъ настаивать Малаховъ.

— А вы не противъ нихъ? — въ свою очередь, спросилъ Чехловъ, и та внутренняя радость, которая появлялась у него всякій разъ, какъ собесѣдникъ его попадался въ ловушку, ярко засвѣтилась въ его глазахъ.

— Въ принципѣ, противъ... Но если человѣкъ желаетъ имѣть дѣло съ людьми, то онъ не долженъ оскорблять ихъ нарушеніемъ общепринятыхъ правилъ. Тѣмъ болѣе, что это безполезное дѣло...

— Такъ что еслибы въ это почтенное собраніе появился простой человѣкъ, который не знаетъ, что надо быть представленнымъ, вы бы удалили его?—спросилъ Чехловъ.

— Этотъ примѣръ не идетъ сюда... Вы вѣдь не тотъ простой человѣкъ, который не знаетъ этого обычая,—возразилъ опять съ улыбкой Малаховъ, но уже раздражаясь.

— Почему же не тотъ?... Я именно тотъ самый простой человѣкъ, не знающій, какъ себя вести въ обществѣ, и прошу васъ научить меня приличіямъ. Быть можетъ, вы находите,

что и костюмъ мой неподходящій, и сапоги грязные,—я не знаю!

Любезный Малаховъ покраснѣлъ, въ душѣ проклиная себя за начатый разговоръ. Когда-то онъ почти тѣми же словами говорилъ о безсмысленности многихъ „общепринятыхъ" вещей, а вотъ теперь забылъ... „Чортъ меня дернулъ!"—думалъ онъ съ досадой. Но, въ то же время, сильное раздраженіе закипѣло въ немъ противъ Чехлова.

– Вы напрасно придали моимъ словамъ такой курьезный смыслъ, — заговорилъ онъ быстро и уже безъ всякой тѣни любезности.—Я не придаю никакого значенія приличіямъ, но я знаю положенія, когда, ради успѣха дѣла, надо подчиниться пустякамъ.

— Напримѣръ, какимъ же?—спросилъ Чехловъ.

— Да хотя бы тому же костюму. Есть такія положенія, которыя заставятъ васъ надѣть извѣстный костюмъ.

— Извините, никто меня не заставитъ надѣть чистые сапоги, если я не придаю имъ значенія. Я согласенъ зависѣть отъ вашей истины, но, извините, не могу заставить себя подчиниться вашимъ убѣжденіямъ относительно сапоговъ. Никогда я не буду зависѣть и отъ своихъ сапоговъ... Съ другой стороны, я не нахожу никакого соотношенія между какимъ-либо хорошимъ дѣломъ и сапогами... Впрочемъ, простите меня, можетъ быть, я ошибаюсь, но тогда потрудитесь напомнить мнѣ великія дѣла, которыя можно совершить при помощи чистыхъ сапоговъ и изящнаго костюма.

Доведя разговоръ до этой безсмыслицы, Чехловъ вдругъ замолчалъ и обвелъ глазами всю залу. А въ залѣ въ это время поднялся смѣхъ, шутки, остроты. Никто не счелъ нужнымъ хорошенько вдуматься въ слова Чехлова, всѣ видѣли въ нихъ просто чудачество оригинала, который не можетъ обойтись безъ забавныхъ выходокъ. Никто не подозрѣвалъ, зачѣмъ все это говорилъ Чехловъ и почему говорилъ такъ, а не иначе. Тѣмъ менѣе кто-либо подозрѣвалъ, что именно эти чудаческія слова и есть то, что хотѣлъ сказать Чехловъ. Но послѣдній зналъ, зачѣмъ говоритъ и чѣмъ поражать эту веселую толпу, обрадовавшуюся случаю весело провести время... Онъ молча слушалъ этотъ хохотъ.

Между тѣмъ, любезный и вѣжливый Малаховъ вышелъ изъ себя. Принявъ раздавшійся смѣхъ на свой счетъ, онъ вспых-

чулъ, поблѣднѣлъ, губы его задрожали и судорога прошла по его лицу. Потерявъ не только улыбку, но и душевное равновѣсіе, онъ раздраженно принялся возражать.

— Я признаю долю остроумія въ вашихъ словахъ, но чудачествомъ, хотя бы и устроумнымъ, трудно доказать что-нибудь,—сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ.—Я вамъ поставилъ серьезный вопросъ, а вы возражаете чудачествомъ!

— Въ такомъ случаѣ, извините мою невѣжливость, но я искренно не нашелъ въ вашихъ словахъ никакого серьезнаго вопроса,—отвѣтилъ Чехловъ тѣмъ тономъ, который всѣхъ такъ раздражалъ.

— Я указалъ вамъ, въ сущности, на слѣдующій вопросъ: человѣкъ зависитъ отъ окружающихъ условій... какъ бороться противъ нихъ, если они вредны? А вы позволили себѣ отвѣтить остротами.

Послѣднія слова Малаховъ выговорилъ взбѣшеннымъ тономъ.

Но Чехловъ только пожалъ плечами и молчалъ.

— Вы не признаете роковую силу окружающихъ условій? —вскричалъ Малаховъ.

— Отчего же не признать? Это можно. Я, напримѣръ, признаю, что вотъ это стѣна, но зависѣть отъ нея не слѣдуетъ. Я завишу отъ своего разума и совѣсти, но не отъ стѣны или другой какой безсмысленной, неразумной вещи.—Некрасивое лицо Чехлова озарилось при этихъ словахъ свѣтлою улыбкой.

— Какая наивность, позвольте вамъ сказать!—презрительно сказалъ Малаховъ.—Развѣ вы не можете представить себѣ положенія, когда даже ваша невинная проповѣдь будетъ сочтена за нарушеніе тишины на улицѣ и можетъ кончиться... ну, хоть кутузкой? Вы и тогда будете твердить, что не зависите отъ окружающихъ условій?

Чехловъ опять съ улыбкой пожалъ плечами.

— Что меня посадятъ въ кутузку, это можетъ быть, но это не мое дѣло!—возвразилъ онъ насмѣшливо.

Раздался взрывъ хохота. И опять никто не могъ понять всей серьезности этихъ словъ.

— Вотъ это мило! Сторожъ уличный ведетъ его въ кутузку, а онъ говоритъ: „это до меня не касается!"—съ торжествомъ закричалъ Малаховъ.

— Да, это меня не касается. Кутузка не находится въ

моемъ распоряженіи. Въ моемъ распоряженіи только разумъ и совѣсть, но кутузка у меня ихъ не отниметъ.

Тутъ только Малаховъ началъ понимать, на какой высотѣ стоитъ его противникъ, и внутренно смутился.

— Но какъ же проявится, интересно знать, ваша совѣсть въ кутузкѣ?—спросилъ онъ съ наружною ироніей.

— Я постараюсь убѣдить сторожа, что онъ впалъ въ грубую ошибку, принявъ меня за нарушителя тишины, и что онъ сдѣлалъ не только дурное, но и безполезное дѣло.

— И онъ будетъ убѣжденъ и послушается васъ?

— Если онъ не послушается, то это ужь его дѣло и меня не касается. И пусть онъ продолжаетъ дѣло кутузки, а я буду продолжать свое дѣло, дѣло разума и совѣсти. Потому что только это и есть мое дѣло, кутузками же я не завѣдую!

— И вы думаете, что изъ этого что-нибудь выйдетъ?— все еще иронически спросилъ Малаховъ, хотя чувствовалъ, что почва съ ужасающею быстротой ускользаетъ изъ-подъ его ногъ.

— А вы думаете, что изъ этого ничего не выйдетъ? Въ такомъ случаѣ, о чемъ же мы съ вами говоримъ? Если разумъ и совѣсть, или, какъ вы это называете, идеалы и убѣжденія, для васъ пустяки и ничтожество передъ кутузкой, если вы вѣрите въ непреодолимую силу сапоговъ, кутузки, стѣны, окружающихъ условій, о чемъ же намъ съ вами говорить? Мы стоимъ такъ далеко другъ отъ друга, что не можемъ ни слышать, ни видѣть другъ друга, и голоса наши будутъ раздаваться въ пустынѣ...

Въ залѣ поднялся неопредѣленный шумъ. Многіе поднялись съ мѣстъ. Но въ особенности заволновалась молодежь, которая тутъ была; свѣжія лица этихъ юношей и молодыхъ дѣвушекъ съ восторгомъ обратились въ сторону Чехлова. Было мгновеніе, когда казалось, что они всѣ вразъ заговорятъ.

Но голоса почтенныхъ людей заглушили бы ихъ голосъ. Послышались съ разныхъ сторонъ возраженія. Потерявшій равновѣсіе, изящный Малаховъ также продолжалъ говорить и возражать.

— Позвольте, позвольте!—кричалъ онъ, между прочимъ.— Мы еще не кончили вопроса!

— Не понимаю, о чемъ намъ съ вами говорить?—сказалъ холодно Чехловъ.

— Но позвольте... Прежде вѣдь, чѣмъ вы успѣете убѣдить сторожа въ ошибкѣ, вы можете лишиться самой возможности убѣждать!

— То есть это что такое?—спросилъ Чехловъ съ любопытствомъ.

— Смерть!

— Меня можетъ постигнуть смерть? Быть можетъ. Но это опять не мое дѣло. Я не распоряжаюсь смертью,—она внѣ моей воли, и распоряжаться ею — не моя обязанность. Моя обязанность только разумъ и совѣсть, ими я могу распоряжаться. Но за то ими я и могу распоряжаться съ безконечнымъ произволомъ, и не знаю того положенія, которое бы отняло ихъ у меня.

Любезный господинъ замолчалъ. Честный и прямой, онъ даже не пожелалъ воспользоваться какимъ-нибудь благовиднымъ предлогомъ, чтобы смолкнуть; онъ безъ всякаго предлога замолчалъ и съ тоскливою тревогой ушелъ въ себя. Онъ былъ очень образованный человѣкъ и когда-то самъ стоялъ на такихъ же высотахъ мысли, но потомъ, незамѣтно для себя, спустился внизъ и погрузился въ практичныя болота, и даже забылъ, что на землѣ существуютъ высокія горы, гордыя вершины которыхъ первыми встрѣчаютъ розовые лучи солнца и послѣдними провожаютъ ихъ въ ночной мракъ. Но сейчасъ онъ вспомнилъ прошедшее, задумался и замолчалъ, даже не скрывая, что ему пока нечего говорить.

Овладѣвъ не только вниманіемъ залы, но и предметомъ разговора (тогда какъ у всѣхъ остальныхъ вниманіе ни на чемъ цѣльномъ не было сосредоточено и никто хорошенько даже не зналъ, зачѣмъ сюда собрались люди), Чехловъ съ внезапнымъ воодушевленіемъ заговорилъ о томъ, что хотѣлъ сказать.

Онъ началъ съ любимаго и дѣйствительно поразительнаго положенія всѣхъ стоиковъ, что человѣкъ силенъ, счастливъ, свободенъ и справедливъ только до тѣхъ поръ, пока распоряжается тѣмъ, что ему принадлежитъ,—разумомъ и сердцемъ, но разъ онъ ставитъ свою жизнь и счастье въ зависимость отъ какой-нибудь посторонней вещи—будетъ-ли это богат-

ство, власть, мнѣніе другихъ людей, онъ тотчасъ становится жалчайшимъ рабомъ всего, что не находится въ его распоряженіи, и доходитъ до такого униженія и несчастія, что страдаетъ отъ неимѣнія совершенно ненужнаго, но общепринятаго предмета... Дама, не имѣющая возможности пріобрѣсти извѣстнаго фасона шляпу, можетъ сильно страдать и дѣйствительно невыносимо страдаетъ... Господинъ, которому не удалось обставить свой домъ такъ, „какъ у всѣхъ“, можетъ, ради пріобрѣтенія безсмысленной обстановки, заработаться до чахотки и дѣйствительно погибаетъ, истекая кровью... Юноша, не успѣвшій заучить мертвыя слова погибшаго языка, можетъ пулей раздробить свою голову и дѣйствительно раздробляетъ... Честная дѣвушка, по увлеченію родившая незаконнаго ребенка, можетъ, въ виду мнѣнія окружающихъ, бросить маленькое, невинное существо въ яму и бросаетъ, хотя сердце ея разрывается на части... Всѣ эти несчастные люди несомнѣнно страдаютъ, но страдаютъ только отъ того, что отдаются въ рабство такимъ вещамъ, которыя отъ нихъ не зависятъ, которыя сильнѣе ихъ...

Подготовивъ слушателей, Чехловъ дальше заговорилъ о человѣкѣ и средѣ, о личности и объ окружающихъ условіяхъ. Лицо его при этомъ загорѣлось страшною враждой. Онъ переводилъ взоры съ одного присутствующаго на другого, угадывалъ инстинктивно недостатки и слабости каждаго, и его злой умъ воодушевлялся страстною злобой. Повидимому, обрисовывая отвлеченный вопросъ, онъ на самомъ дѣлѣ только рисовалъ этихъ людей, среди которыхъ онъ стоялъ, которые его слушали и по лицамъ которыхъ блуждалъ его взглядъ. Всѣ обвиняютъ, говорилъ онъ, что-то внѣшнее, но только не себя. Одинъ обвиняетъ какихъ-то могучихъ людей, которые мѣшаютъ ему что-то дѣлать, другой обвиняетъ среду, которая будто его съѣла, третій не стѣсняется взвалить вину за свою пошлость на невинную семью, которая отнимаетъ все его время. Четвертый жалуется на тупыхъ и косныхъ людей, окружающихъ его со всѣхъ сторонъ и мѣшающихъ его энергичной дѣятельности. Пятый не стыдится объяснить свою грубую, безсмысленную жизнь тѣмъ, что такъ другіе живутъ. И никто не хочетъ себя обвинить, и никто не желаетъ надъ собой поработать,

научить себя, воспитать и сдѣлать изъ себя справедливаго, любящаго, благороднаго человѣка. Всѣ хотятъ бороться со зломъ „положенія“, со зломъ „окружающихъ условій“ и „внѣшняго давленія“, никто не борется только съ собой; каждый видитъ кругомъ зло, только въ себѣ ничего не замѣчаетъ... Оттого кругомъ слышится вопль взаимныхъ обвиненій, содомъ взаимнаго побоища, адъ грѣшниковъ, съ остервенѣніемъ грызущихъ другъ друга... Разумъ каждаго позорно пресмыкается передъ всякою внѣшнею силой, часто ничтожною, иногда совсѣмъ вымышленною. И жизнь сдѣлалась постылымъ дѣломъ, дѣло превратилось въ ремесло, умъ въ машину, убѣжденія въ механическія слова, слова въ обязательное отправленіе неуправляемаго языка...

— Пусть мнѣ укажутъ положеніе,—закричалъ Чехловъ,— гдѣ бы разумъ долженъ замолчать, совѣсть заглохнуть! Говорятъ, вѣрность своей внутренней правдѣ, вѣрность до конца свойственна только героямъ... Какое изумительное заблужденіе! Какъ разъ обратно,—герои-то и невѣрны себѣ никогда! Герои идутъ войной на окружающія условія, побиваютъ враговъ,—это уже ихъ дѣло воевать съ тѣмъ, кто сильнѣе ихъ, и добывать то, что имъ не принадлежитъ. Простой человѣкъ за ними не можетъ идти; въ его распоряженіи только онъ самъ, его собственная совѣсть, но за то съ своею совѣстью онъ можетъ распоряжаться съ безконечнымъ произволомъ... И здѣсь онъ можетъ проявить такую силу, что смутитъ самихъ героевъ, воюющихъ съ тѣмъ, что имъ не принадлежитъ...

Чехловъ продолжалъ еще много говорить о силѣ личности. Это было лучшее и самое высокое, во что онъ только вѣрилъ. Онъ говорилъ на этотъ разъ не холодно, какъ всегда, а съ пылающимъ лицомъ и со взоромъ, полнымъ гордой увѣренности. Это были не доказательства, не отвлеченная теорія, не слова, а торжественный гимнъ, вырвавшійся изъ глубины его собственнаго существа, которое сознавало свою силу и вѣрило въ свою власть. Въ его устахъ личность принимала колоссальные размѣры, покрывающіе собой цѣлый міръ; человѣка онъ надѣлялъ могуществомъ Бога.

Онъ говорилъ бы долго на эту тему, но чисто-физическое утомленіе, выразившееся крайне упавшимъ голосомъ, заставило его замолчать. Съ разныхъ сторонъ къ нему посыпа-

лись вопросы, но онъ отговаривался усталостью и попросилъ перерыва. Во время перерыва въ залѣ воцарился шумный безпорядокъ; онъ этимъ воспользовался и черезъ полчаса вышелъ въ смежную комнату, гдѣ былъ свѣжій, прохладный воздухъ. За нимъ послѣдовалъ туда Буреевъ, весь отчего-то сіяющій.

— Какъ бы мнѣ хотѣлось уйти отсюда!—тихо прошепталъ Чехловъ, не обращаясь къ своему спутнику.

— Что-жь, уйдемъ!—отвѣтилъ весело Буреевъ и, взявъ его за руку, провелъ его другимъ ходомъ въ прихожую.

Тамъ они наскоро одѣлись и незамѣтно вышли на улицу.

Былъ уже поздній часъ ночи. Уличная пыль улеглась; дышалось свободно. Чехлову, послѣ душной залы, разгоряченному рѣчью до опьяненія, не хотѣлось говорить. Онъ вздохнулъ глубоко, снялъ шляпу и, блуждая улыбающимся взоромъ по темному небосклону, гдѣ уже зажигались звѣзды, молча шелъ рядомъ съ Буреевымъ.

На за то Буреевъ былъ въ такомъ восторженномъ настроеніи, при которомъ нельзя молчать. Когда они только-что вышли изъ дома, сіяющее лицо его поминутно обращалось въ сторону Чехлова, словно онъ собирался что-то ему сообщить. Наконецъ, онъ весело захохоталъ и заговорилъ:

— Отлично!... Крѣпче бейте!... Изъ всей мочи бейте по освинѣлымъ башкамъ!... Это, очевидно, ваше призваніе!—кричалъ онъ и сдержанно хохоталъ.

Чехлова покоробила эта грубая форма похвалы, но онъ все-таки съ чувствомъ удовлетворенной гордости улыбнулся, слушая восторгъ недавняго врага.

— Я чувствовалъ, какое впечатлѣніе производятъ ваши слова... безподобно вы умѣете разить врага!... Но вы не смущайтесь, бейте по освинѣлымъ головамъ! Такъ и нужно! Это я на себѣ узналъ! Когда вы треснули меня по затылку, я сначала, конечно, заревѣлъ отъ боли, но такъ и нужно было!... Мы всѣ за это время такъ освинѣли, что, вмѣсто разговоровъ, стали только хрюкать... И тутъ, очевидно, только хорошею затрещиной можно привести въ себя одичалаго человѣка... превосходно, безподобно!...

Чехловъ, слушая этотъ курьезный восторгъ, продолжалъ думать, что идущій съ нимъ рядомъ человѣкъ сдѣлался его ученикомъ, только странно выражается.

— Наконецъ, вы поняли меня и соглашаетесь со мной?— сказалъ онъ вопросительно, но не сомнѣваясь въ положительномъ отвѣтѣ.

Но Буреевъ вдругъ ошеломилъ его.

— Я соглашаюсь? Откуда вы это взяли? Ни чуть не бывало!—весело замѣтилъ Буреевъ.

— Да вѣдь вы же сейчасъ говорили? — спросилъ Чехловъ, растерявшись и нахмуривъ брови.

— Я только изумленъ вашимъ искусствомъ разить... Это меня привело въ восторгъ... Превосходно, прелесть!... Бейте по озвѣрѣлымъ головамъ, возвращайте къ жизни мертвецовъ!... Это настоящая ваша роль, призваніе, огромное дѣло! Въ этомъ смыслѣ всѣ мои симпатіи—ваши, берите мой восторгъ и удивленіе! Но я не могу быть вашимъ послѣдователемъ и не совѣтую вамъ заниматься моралью—это не ваше дѣло... Ваше призваніе разить враговъ, а не проповѣдывать. Вы похожи на того легендарнаго ксендза, который однажды, будучи возмущенъ пороками паствы, началъ свою проповѣдь въ костелѣ слѣдующимъ образомъ: „Возлюбленные братья! Я знаю, что вы глупы и негодяи“... Вотъ ваше назначеніе!

Буреевъ выговорилъ это въ сильнѣйшемъ возбужденіи и какъ нельзя болѣе серьезно. Но Чехловъ принялъ его слова за наглость шута. Онъ поблѣднѣлъ, а изъ-подъ нависшихъ бровей его смотрѣли на Буреева озлобленные глаза. Однако, онъ еще сдерживался.

— А я думалъ, что вы въ самомъ дѣлѣ поняли!—сказалъ онъ презрительно.

— Думаю, что понялъ... Ваши положительные взгляды, откровенно говорю, возмущаютъ меня! Но за то ваше искусство разить освинѣлыя головы — просто чудесно! Это настоящее ваше призваніе — приводить каждаго *въ себя*,— пьянъ-ли человѣкъ, одурѣлъ-ли отъ мелочей, или изнаглѣлъ въ свалкѣ за кусокъ хлѣба... Вы способны каждаго возвратить *къ себѣ*, заставить вспомнить *свои* мысли. Но именно поэтому, мнѣ кажется, у васъ и не будетъ послѣдователей... Ваше дѣло толкнуть ногой и сказать: „Эй, ты, скотина! вставай, что ты тутъ въ грязи-то валяешься?!“ И онъ встанетъ и пойдетъ *своею* дорогой. Но не за вами.

Взволнованный собственными словами, Буреевъ дружески

И потомъ онъ еще любилъ кисель съ ванилью; отказаться отъ этого и другихъ подобныхъ вещей было выше силъ.

По его мнѣнію, для человѣка нуженъ чистый воздухъ, удобная, но дешевая одежда, здоровая пища—это въ физическомъ отношеніи. Что касается умственныхъ потребностей человѣка, то онъ на этотъ счетъ не пришелъ ни къ какому опредѣленному заключенію, и хотя самъ любилъ худыя, тощія книжки, говорящія о практическихъ предметахъ, но не считалъ чтеніе ихъ обязательнымъ для другихъ людей. Вообще относительно умственнаго развитія онъ находился въ безвыходномъ положеніи человѣка, на кончикѣ носа котораго выросла шишка, фатально отражающаяся въ глазахъ, куда бы онъ ни смотрѣлъ и какъ бы ни старался забыть ее.

Самымъ симпатичнымъ взглядомъ изъ всѣхъ прочихъ его мыслей былъ тотъ, который касался воспитанія дѣтей. Онъ въ этомъ случаѣ выходилъ изъ себя и съ заслуженнымъ негодованіемъ громилъ матерей, которыя, въ лучшемъ случаѣ, отдаютъ дѣтей на руки наемныхъ людей, а то такъ просто бросаютъ ихъ на произволъ судьбы. „Наша семья какъ бы нарочно устроена для вывода никуда негодныхъ, тряпичныхъ людей и темныхъ дѣятелей... и надо удивляться не тому, какъ много кругомъ пошлости, а тому, какъ еще могутъ попадаться хорошіе люди!"—говорилъ онъ. Однако, хорошо онъ зналъ только то, какъ надо воспитывать дѣтей дома; когда же его спрашивали, какъ же это разумное воспитаніе распространить дальше, за предѣлы дома, онъ начиналъ говорить такія вещи, хоть зажимай уши и спасайся, если позволятъ ноги.

Тѣмъ не менѣе, у Михаила Егоровича было еще особаго рода чутье, благодаря которому онъ почти вѣрно отдѣлялъ дурныхъ людей отъ хорошихъ. Это чутье не находилось въ зависимости отъ убѣжденій; по всей вѣроятности, оно было безсознательнымъ у добраго и чистаго человѣка, какимъ онъ былъ. Благодаря этому чутью, онъ иногда и пьяницъ долженъ былъ считать хорошими людьми и, наоборотъ, непьяницъ часто презиралъ.

То же чутье въ скоромъ времени понадобилось ему и для страннаго гостя, но его оказалось мало.

Чехловъ въ первое же время нѣсколько удивилъ Мизинцева.

Замѣтивъ, что въ указанной для него комнатѣ стоитъ

мягкая мебель, онъ тотчасъ съ раздраженіемъ попросилъ хозяина ее вынести. Мизинцевъ подумалъ-было, что гость просто не любитъ вещей пыльныхъ и, слѣдовательно, вредныхъ, но Чехловъ самъ пояснилъ.

— Къ чему это?—сказалъ онъ съ пренебреженіемъ.—Лучше всего, разумѣется, сидѣть на землѣ, какъ назначила природа, но если этого нельзя, то, по крайней мѣрѣ, не слѣдуетъ садиться на пружины.

Но Мизинцевъ не зналъ, серьезно это говоритъ Чехловъ или смѣется. Повидимому, серьезно.

Вслѣдъ затѣмъ онъ велѣлъ прислугѣ вынести изъ комнаты все лишнее, вплоть до матраца съ кровати, пояснивъ мимоходомъ, что онъ спитъ на полу. Мизинцевъ вздумалъ-было критически отнестись къ этимъ странностямъ и заспорилъ, но Чехловъ со свойственною ему діалектическою ловкостью принудилъ его замолчать, увѣривъ, что это прямой выводъ изъ его же, Мизинцева, взглядовъ.

— Вы убѣждены, что человѣкъ долженъ отказаться отъ всего лишняго, безполезнаго, развращающаго? Но зачѣмъ же вы останавливаетесь на полдорогѣ и, отвергая корсетъ, допускаете пружинный стулъ? Это вещь безполезная, слѣдовательно, она вредна, ибо вы заставляете мастера убивать время на выработку предмета, который вамъ не необходимъ.

Мизинцевъ растерялся при этихъ словахъ и замолчалъ.

Во время чая, который онъ предложилъ гостю въ первыя минуты пріѣзда, этотъ послѣдній отказался отъ булокъ, а попросилъ чернаго хлѣба, и Мизинцевъ тогда былъ непріятно удивленъ этимъ, но впослѣдствіи онъ не смѣлъ высказывать свое неодобреніе такому поступку, хотя это ему не нравилось.

Однажды рано утромъ, когда они оба усѣлись за чайный столъ, Чехловъ вдругъ пристально началъ вглядываться во дворъ, куда выходили окна квартиры. Дворъ былъ огромный и весь застроенъ крошечными флигелями, въ которыхъ цѣлыми кучами гнѣздилась ремесленная бѣдность. Около одной такой избушки старая старушонка возилась около какого-то чурбана, держа въ рукахъ топоръ; ей надобно было, очевидно, расколоть этотъ чурбанъ на нѣсколько полѣньевъ, но она нелѣпо, по-бабьи, шлепала топоромъ по обрубку, а онъ только катался вокругъ ея ногъ, какъ какой-то живой звѣрь, съ которымъ игралъ ребенокъ. Поглядѣвъ пристально на все это,

Чехловъ вдругъ поднялся изъ-за стола и молча вышелъ изъ комнаты. Черезъ минуту Мизинцевъ уже видѣлъ, какъ онъ взялъ изъ рукъ старухи топоръ, вонзилъ его въ обрубокъ, легко приподнялъ его, повернулъ надъ головой и грянулъ объ порогъ избушки. Чурбанъ разлетѣлся на двѣ половины; ихъ Чехловъ опять расколол, потомъ опять, пока не получилось беремя дровъ. Онъ тогда обратился къ старухѣ и спросилъ, не нужно-ли ей еще наколоть дровъ? Старуха съ радостью заковыляла своими дряхлыми ногами подъ сарайчикъ и выволокла оттуда другой такой же чурбанъ. Чехловъ раскололь и его. Больше у старухи колоть было нечего; эти два чурбана представляли всѣ ея дрова.

Чехловъ вернулся въ комнату, тщательно вымылъ руки и принялся за чай съ чернымъ хлѣбомъ, причемъ замѣтилъ, что два чурбана произвели отличный аппетитъ у него. Мизинцевъ молча все это принялъ, не зная, какъ ему думать на этотъ счетъ. Не нравилось ему тутъ что-то, но онъ не смѣлъ разузнавать.

Немного спустя, въ этотъ день, въ квартиру вошло нѣсколько молодыхъ людей, и Чехловъ тотчасъ же заговорилъ съ ними.

Онъ заговорилъ о томъ, что было его, такъ сказать, „второю частью»—о любви. Говорилъ онъ хорошо, хотя общими мѣстами, и привелъ Мизинцева въ восторгъ, такъ что тотъ забылъ о непріятномъ чувствѣ.

Съ нимъ заспорили. Одинъ изъ молодыхъ людей, большой скептикъ, спросилъ его, что надо дѣлать, чтобы въ дѣйствительности любить, и почему эта истина, извѣстная людямъ уже нѣсколько тысячъ лѣтъ, не вошла въ сердце всѣхъ и каждаго. Чехловъ сначала уклонился отъ прямого отвѣта и сталъ задавать, въ свою очередь, вопросы, причемъ черезъ короткое время превратился изъ отвѣтчика въ обвинителя.

— Откуда вы заключаете, что любви нѣтъ, что дѣйствія ея незамѣтно, что это выдуманная мечтателями ложь?—спросилъ онъ, и обычная торжествующая улыбка освѣтила его холодное лицо.

Молодому человѣку пришлось признать дилемму: или любовь есть и должна быть всюду распространена, но тогда былъ бы правъ Чехловъ, или ея нѣтъ и быть не можетъ. Молодой человѣкъ, взволнованный загадкой, выбралъ средній

путь. Онъ указалъ на кровавыя войны, борьбу сословій, убійства, борьбу за существованіе и сказалъ:

— Вы видите и сами знаете, изъ чего слагается жизнь! Если есть дѣйствительно любовь, то она живетъ въ единицахъ и ничтожна по своимъ размѣрамъ!

— Но ничтожная сила производитъ и ничтожное дѣйствіе? —спросилъ Чехловъ.

— Конечно. Это я и говорю.

— А ничтожное дѣйствіе незамѣтно?

— Разумѣется, незамѣтно... Да я съ этого и началъ!

— Почему же эту ничтожную силу, производящую ничтожное дѣйствіе, замѣтили нѣсколько тысячъ лѣтъ и съ тѣхъ поръ каждое мгновеніе говорятъ о ней на разныхъ языкахъ?—спросилъ Чехловъ съ злою радостью.

— Потому что она желательна для всѣхъ, — отвѣтилъ неловкій спорщикъ.

— Но желаемая всѣми вещь можетъ-ли быть ничтожной? Она уже потому не ничтожна, что существуетъ въ душѣ всѣхъ. А по-вашему выходитъ, что всѣми желаемое никому, въ то же время, незамѣтно!

— Я не такъ выразился... Любовь для всѣхъ выгодна, но этого большинство людей не понимаетъ, — возразилъ поспѣшно противникъ.

— А война выгодна?—спросилъ Чехловъ.

— Нѣтъ, конечно.

— И что она невыгодна—это понимаютъ? И все-таки воюютъ, всѣ противъ каждаго и каждый противъ всѣхъ? Слѣдовательно, вы утверждаете, что война существуетъ потому, что она невыгодна, а любовь не практикуется потому, что она выгодна? Или, быть можетъ, вы что-нибудь другое хотѣли сказать?—съ презрѣніемъ замѣтилъ Чехловъ.

У противника появился потъ на кончикѣ носа, впрочемъ, быть можетъ, оттого, что онъ однимъ махомъ выпилъ стаканъ горячаго чая. Однако, онъ былъ упрямый и самолюбивый юноша и не хотѣлъ уступить. Онъ продолжалъ спорить. Но Чехловъ окружилъ его такою мелкою сѣтью вопросовъ, что онъ, давая на нихъ противорѣчивые, часто нелѣпые отвѣты, совсѣмъ запутался и ошалѣлъ, какъ рыба, выброшенная на берегъ. Наконецъ, вскочивъ съ мѣста, онъ бѣшено топнулъ ногой и закричалъ:

— А я все-таки утверждаю, что любовь въ настоящей жизни ничтожна!

Тутъ Чехловъ сурово, съ зловѣще смотрѣвшими глазами, принялся уничтожать бѣднаго молодого человѣка.

— Да, для васъ она ничтожна, вы забыли о ней, не вѣрите въ нее! Вы вѣрите въ машину, въ пушку, въ сѣнокосилку, въ микробовъ, въ телефонъ, но только перестали вѣрить въ то, что и есть ваша жизнь. Вы занимаетесь политикой, „вопросами", реформами, но всѣми силами стараетесь забыть ту силу, которая все это вызвала на свѣтъ. Самихъ себя вы всѣми силами стараетесь обратить въ машину и механически стремитесь усвоить всѣ взгляды, которыми снабжаетъ васъ книжная мудрость, и носите свое образованіе, какъ пищу въ мѣшкѣ, но основу жизни вы уже утратили. Нѣтъ, не совсѣмъ утратили! Даже вы любите и, только благодаря крупицѣ любви, въ васъ сохранилась крупица жизни. Большая часть этой жизни омертвѣла, пораженная гангреной механически сдѣланнаго образованія, но все-таки и вы еще любите... не смогли еще истребить любви! Когда послѣ долгаго одиночества вы стремительно бѣжите въ общество себѣ подобныхъ—это любовь васъ погнала. Когда вы видите движеніе ребенка, слышите его лепетъ, и улыбка появляется на вашемъ лицѣ—это улыбнулась любовь ваша... Когда вы, механически, какъ машина, скорбящіе о народѣ, видите слезы врага вашихъ взглядовъ и сердце ваше сжимается состраданіемъ—это любовь ваша сострадаетъ... А когда вы, нагруженные до изнеможенія вопросами, оглушенные свистомъ машинъ, вы сами обратившіеся въ бездушную машину, берете въ руку револьверъ съ твердымъ намѣреніемъ разбить вашу холодную голову и вдругъ рука ваша безсильно опускается,—какая сила отдернула вашу руку? Это вспомнилась ваша любовь. Вы живете ею, дышете, она одна оберегаетъ васъ отъ смерти заживо. Вы ее всѣми силами стараетесь истребить, но только потому, что вы не всю ее истребили, вы еще живете. Не истребляйте же ее до конца; это будетъ день вашей смерти, когда удастся вамъ растоптать ее! Не истребляйте любви машинными идеалами, мертвыми убѣжденіями, хитрыми, но бездушными дѣлами! Не тушите огня! Для того,

чтобы огонь горѣлъ, не нужно непремѣнно знать теорію пламени, не нужно ни хитрыхъ „вопросовъ", ни машинныхъ дѣлъ, ни бездушнаго служенія какимъ-то идеямъ, не вами выдуманнымъ, не нужно какихъ-то преобразованій общества, на которыя вы можете оказаться совсѣмъ безсильными,— ничего не нужно, кромѣ воспитанія въ себѣ любви... Не думайте, чтобы какое-нибудь громкое, но машинное дѣло, безъ участія вашего сердца, спасло васъ отъ смерти заживо,—это безполезно! Любить надо просто, помогать просто, прямымъ трудомъ, а не на подобіе богача, который, бросивъ нищему деньги, думаетъ, что онъ сдѣлалъ доброе дѣло... Отъищите оставшуюся въ васъ крупицу любви и отдайте ее людямъ, и она къ вамъ возвратится увеличенною въ сотню разъ...

Не поднимая головы отъ стола, только слушая эту рѣчь, Мизинцевъ чувствовалъ, что онъ любитъ говорящаго, но когда онъ встрѣтился съ его холодными глазами и взглянулъ на это жесткое, невозмутимое лицо, онъ задумался. Онъ больше не слушалъ, что кругомъ говорили, занятый своими мыслями. Только одинъ разъ онъ уловилъ нѣсколько отрывочныхъ словъ изъ всего сказаннаго здѣсь. Кто-то спросилъ:

— А какъ вы смотрите на вѣру?

— Это только организованная и обезличенная любовь,— отвѣчалъ Чехловъ.

Вслѣдъ затѣмъ Мизинцевъ снова опустилъ глаза на столъ и рука его, державшая карандашъ, тщательно выводила на бѣлой скатерти какой-то сложный рисунокъ. Ему не хотѣлось поднимать отъ этого рисунка головы и встрѣчаться съ холодными глазами, чтобы не потерять иллюзіи. Онъ бы хотѣлъ услышать эти слова, волнующія его какъ музыка, изъ другого источника, изъ устъ другого человѣка, лицо котораго не было бы такъ жестко, во взорѣ котораго не было бы столько презрѣнія, а въ словахъ не слышалось бы такой ненасытной жажды торжества.

Въ комнатѣ стоялъ шумъ, раздавались возгласы, смѣхъ, восклицанія, а Мизинцевъ не хотѣлъ поднимать головы. Послѣ шумнаго разговора молодые люди стали одинъ по одному расходиться, и онъ каждому подавалъ руку, мелькомъ

при прощаніи взглядывалъ, но опять низко наклонялся къ рисунку и спѣшно чертилъ, какъ будто это была срочная работа, которую слѣдовало очень скоро кончить. По уходѣ всѣхъ молодыхъ людей, въ комнатѣ настала мертвая тишина, а Михаилъ Егоровичъ торопливо, съ величайшимъ стараніемъ рисовалъ на скатерти. Наконецъ, когда рисунокъ былъ конченъ, и онъ приподнялъ голову, со скатерти смотрѣло на него отвратительное чудовище, состоящее изъ одной головы, въ серединѣ которой торчалъ единственный глазъ, и прямо отъ головы начинался толстый хвостъ, безобразно закручивающійся вверхъ; изъ головы же во всѣ стороны тянулись длинные и тонкіе отростки... Это было гнусное животное, какое создаетъ только больная фантазія во время бреда.

„Нѣтъ! Я не имѣю права такъ относиться къ нему!“— мысленно воскликнулъ Мизинцевъ, посмотрѣлъ на Чехлова, и раскаяніе овладѣло имъ. Лицо Чехлова было не только вдумчиво, но мягко и съ своеобразною печалью. Это, очевидно, толпа производила на него такое дѣйствіе, что онъ становился злымъ, ненасытно самолюбивымъ и холоднымъ, а когда онъ оставался наединѣ съ собою, онъ мгновенно измѣнялся.

Мизинцевъ обрадовался, словно къ нему возвратился оклеветанный другъ.

Но проходили дни. Чехловъ продолжалъ жить съ нимъ. Происходили безпрерывно вечера, собранія, бесѣды, на которыхъ говорилъ Чехловъ, всюду вызывая горячіе разговоры и волненіе. Мизинцевъ даже рѣдко и видалъ его у себя. Они встрѣчались съ нимъ только въ большомъ обществѣ. И тамъ опять Мизинцевъ наблюдалъ своего гостя въ такомъ видѣ, что симпатіи его раздаивались.

Они встрѣчались, между прочимъ, каждую недѣлю у Хординыхъ въ деревнѣ, но нигдѣ не говорили между собою, хотя были единомышленниками, по крайней мѣрѣ, ихъ убѣжденія исходили изъ одного и того же источника. Чехловъ какъ будто игнорировалъ Мизинцева, не считая нужнымъ разговаривать съ такимъ сѣрымъ человѣкомъ. А Мизинцевъ боялся обнаружить свои темныя мысли и подозрѣнія.

Между ними установились странныя отношенія; будучи

единомышленниками, они не знали, что сказать другъ другу, и тягостно молчали, когда оставались съ глазу на глазъ.

Не нравился Мизинцеву гость. Онъ часто старался подавить свою антипатію къ нему, уничтожалъ первые признаки раздраженія противъ человѣка, рѣчи котораго приводили его въ восторгъ. Но эти честныя усилія не приводили ни къ чему: не нравился ему Чехловъ.

Но почему, онъ не могъ бы сказать. Съ его, Мизинцева, точки зрѣнія онъ былъ во всемъ правъ. Михаилу Егоровичу не нравились люди, у которыхъ дѣло расходится съ словомъ, но Чехловъ былъ вѣренъ себѣ. Когда ему предлагали бѣлый хлѣбъ, онъ ѣлъ черный; имѣя возможность съѣсть за обѣдомъ кусокъ дичи, онъ ограничивался мясомъ. Когда ему предлагали матрацъ, онъ спалъ на полу. Если предстояло совершить путешествіе въ вагонѣ, онъ предпочиталъ сдѣлать его пѣшкомъ, а когда онъ могъ бы ѣхать во второмъ классѣ, онъ садился въ третій. Онъ однажды сказалъ Мизинцеву, что онъ, подобно Діогену, желаетъ побѣдить самое злое и хищное изъ животныхъ—*наслажденіе*. И Михаилъ Егоровичъ видѣлъ воочію, что желаніе свое онъ приводитъ въ исполненіе...

Чехловъ говорилъ о любви. И Мизинцевъ видѣлъ воочію, что Чехловъ относится ко всѣмъ людямъ ровно и благожелательно. Накололъ же онъ старухѣ дровъ. Быть можетъ, этого мало... быть можетъ, въ другое время, занятый своимъ дѣломъ, онъ и дровъ бы старухѣ не накололъ. Но вѣдь за это и нельзя его осуждать. Онъ практикуетъ любовь уже тѣмъ, что повсюду говоритъ о ней, напоминая забытые идеалы... И все-таки не нравился ему Чехловъ!

Въ особенности ему не нравился тонъ его со всѣми—грубый, злорадный, презрительный. Словно всѣ люди ужъ такіе жалкіе подлецы, а онъ одинъ призванъ научить ихъ истинѣ и спасти отъ низости. Чѣмъ научить... словами? Но словъ въ продолженіи жизни человѣчества столько наговорено и записано, что составленный изъ нихъ столбъ коснулся бы своею вершиной звѣздъ. Нѣтъ, не словами, а жизнью!... Жизнь великихъ учителей никогда не ограничивалась одними словами. Даже маленькіе, но убѣжденные люди, прежде всего, на себѣ провѣряютъ свою вѣру и безстрашно, съ счастливымъ лицомъ, идутъ по своей дорогѣ,

хотя бы на концѣ ея вырыта была ихъ могила. Правда, Чехловъ вѣренъ себѣ: онъ спитъ на полу, ѣстъ черный хлѣбъ, ведетъ умѣренную, порядочную жизнь, а когда увидалъ безпомощную старушенку, то накололъ ей дровъ,— это отлично, такъ и нужно съ точки зрѣнія Михаила Егоровича. Но, въ то же время, Михаилу Егоровичу это отличное не нравилось, когда его дѣлалъ Чехловъ. Ему даже стыдно было, что Чехловъ все это дѣлаетъ.

И Мизинцевъ не могъ объяснить себѣ это непостижимое противорѣчіе въ отношеніяхъ своихъ къ гостю. Онъ по складу своего ума не могъ понять, что когда человѣкъ говоритъ большія слова, а подтверждаетъ ихъ ничтожными поступками, то это жалкая профанація, постыдное кощунство, оскверненіе храма слова.

Не понимая этого, Михаилъ Егоровичъ раздвоился. Онъ долженъ былъ сознаваться на каждомъ шагу, что его гость поступаетъ такъ, какъ нужно, но, въ то же время, его прямая натура возмущалась каждымъ движеніемъ того. И чѣмъ больше они встрѣчались, тѣмъ все сильнѣе натура Михаила Егоровича возмущалась Чехловымъ. Это было смутное недовольство.

Не понравилась ему также и сцена съ Буреевымъ, когда тотъ пришелъ извиняться за свои неудачныя выраженія. Мизинцевъ часто самъ брюзжалъ противъ веселаго Буреева, открыто порицая его лѣнивую, безпорядочную жизнь, но онъ зналъ, что Буреевъ честный человѣкъ и добрый товарищъ. А Чехловъ презрительно его выслушалъ и холодно молчалъ. Когда же Буреевъ ушелъ, онъ вслѣдъ ему послалъ нѣсколько ядовитыхъ замѣчаній. Неужели можно быть такимъ мстительнымъ?

Однажды Михаилъ Егоровичъ былъ свидѣтелемъ невиданной суеты.

Было утро. Онъ и Чехловъ оставались одни въ квартирѣ и, по обыкновенію, молчали, не зная, о чемъ говорить другъ съ другомъ. Мизинцевъ закрылся газетой. Чехловъ съ нетерпѣніемъ то ходилъ по комнатѣ, то садился къ окну и барабанилъ пальцами по подоконнику. Онъ пробовалъ перелистывать какую-то книгу, но послѣ минуты бѣглаго чтенія молча захлопывалъ ее. И опять вставалъ и ходилъ. Ему, видимо, было не по себѣ; грызла, быть можетъ, скука.

Бездѣятельность всегда отражалась на немъ такимъ образомъ, а сегодня до поздняго вечера, когда было назначено собраніе, ему совсѣмъ нечего было дѣлать. И онъ скучалъ. Скука же его выражалась острою потребностью говорить.

Вдругъ дверь отворилась и въ прихожей остановился какой-то мужикъ.

— Будьте милостивы, господа, подайте переселенцу! — сказалъ онъ испуганно и смотрѣлъ то на Чехлова, то на Мизинцева.

Послѣдній думалъ, что это нищій, и уже всталъ, чтобы выпроводить его. Но, взглянувъ, онъ убѣдился, что то не былъ нищій. Одѣтый, по-мужицки, чисто, съ лица здоровый, онъ даже приблизительно не напоминалъ нищаго. По его манерамъ казалось, что онъ рѣдко и въ городѣ бывалъ. Тутъ кстати Мизинцевъ вспомнилъ, что въ это время по улицамъ города бродили десятки этихъ переселенцевъ и своими просьбами надрывали ему сердце. Онъ быстро опустилъ руку въ карманъ, вынулъ оттуда какую-то монету и отдалъ ее мужику. Мужикъ съ чувствомъ благодарности поклонился и уже повернулся къ выходу, чтобы молча удалиться, но въ это мгновеніе его окликнулъ Чехловъ.

— Эй, дядя... постой-ка! Переселенецъ, говоришь?—спросилъ онъ, не поднимаясь со стула.

— Точно такъ, ваше степенство!

— Я вовсе не степенство.

— Благородіе!...—испуганно поправился мужикъ, встрѣтивъ жесткій взглядъ Чехлова.

— И не благородіе... Ну, да все равно. Отчего же ты переселяешься?

— Земли нѣтъ, господинъ.

— А твоя изба стоитъ на землѣ?

— Какъ же... само собою,—и мужикъ улыбнулся смѣшнымъ словамъ господина.

— И дальше той земли, на которой стоитъ изба, тоже земля?—спросилъ Чехловъ.

— Дальше мірская земля идетъ... стало быть, пашни.

— Значитъ, земля есть. Какъ же ты сказалъ, что нѣтъ?

— По десятинѣ, господинъ, только... Что тутъ промыслишь-то?

— По-твоему, это мало. Пусть будетъ по-твоему. Но развѣ кругомъ больше и земли нѣтъ?

— Само собою, нѣтъ!... Что есть поросенка не пущай,—некуда!—отвѣтилъ мужикъ.

— Но дальше мірской земли есть что-нибудь или тамъ море, вода, а, можетъ быть, край свѣта?—спросилъ сурово Чехловъ.

Мужикъ выпучилъ глаза и улыбнулся-было, но, встрѣтивъ серьезный взоръ господина, подавилъ улыбку и уже серьезно сказалъ:

— Тамъ дале идетъ земля господина Булатова.

— Это кто же такой господинъ Булатовъ?

— Извѣстно, Александръ Петровичъ... Земли у него, чай, тыщъ десять!

— Такъ вотъ ты у него и возьми! — серьезно сказалъ Чехловъ.

— Больно ужь ренда-то большая... двадцать цѣлковыхъ!—возразилъ мужикъ.

— Да зачѣмъ ренда?... Ты такъ возьми земли и работай... безъ всякой ренды...

Мужикъ опять выпучилъ глаза и посмотрѣлъ на Мизинцева.

— Какъ же можно?... За это такихъ горячихъ влетитъ!... Не по закону!

— Ну, ужь если ты такъ загипнотизированъ страхомъ, такъ пойди къ господину Булатову и проси: „Позвольте, молъ, мнѣ земли, господинъ, я работать хочу". И онъ дастъ.

Чехловъ говорилъ серьезно, но, въ то же время, глаза его смѣялись.

— Гдѣ же... невозможно это!—возразилъ мужикъ и недоумѣвалъ, смѣяться ему или отвѣчать.

— Почему же онъ не дастъ? Развѣ господинъ Булатовъ самъ обрабатываетъ свою землю?

— Кою сдаетъ, а кою и самъ...

— Самъ? Своими руками?

— Зачѣмъ руками! Чай, у него годовыхъ батраковъ никакъ десятка два, да наймоваетъ,—возразилъ мужикъ и, будучи не въ состояніи больше удержаться, широко улыбнулся;

въ умѣ, очевидно, онъ изумлялся возможности такихъ дураковъ изъ господъ, какъ этотъ.

Чехловъ засмѣялся и обратился къ Мизинцеву:

— Посмотрите, какъ люди поражены страхомъ передъ жизнью!...—потомъ, обращаясь къ мужику, онъ сурово проговорилъ:—Значитъ, земля есть. Такъ вотъ ты и ступай къ господину Булатову и скажи ему, что такъ какъ у тебя земли нѣтъ, а у него ея десять тысячъ, изъ которыхъ своими руками онъ можетъ сработать только пятнадцать десятинъ, послѣ же смерти вамъ обоимъ понадобится только по сажени, то пускай онъ дастъ тебѣ восемь десятинъ. И онъ дастъ, увѣряю тебя. Если хорошенько скажешь ему и убѣдишь, то онъ непремѣнно дастъ. Ступай и попробуй сказать такъ!

Чехловъ засмѣялся. Потомъ, обращаясь къ Мизинцеву, онъ замѣтилъ:

— Я увѣренъ, что онъ ни одного слова не понялъ.

— Признаюсь, и я ничего не понимаю... Иди съ Богомъ, милый!—сказалъ Мизинцевъ съ негодованіемъ.

Мужикъ поспѣшно ушелъ.

— Значитъ, вы думаете такъ же, какъ этотъ мужикъ?—спросилъ насмѣшливо Чехловъ.

— Я ничего не думаю... Я только понять не могу, какъ можно издѣваться надъ темнымъ человѣкомъ!—возразилъ съ прежнимъ негодованіемъ Мизинцевъ и заходилъ по комнатѣ.

— Вольно же вамъ думать, что я издѣваюсь!

Чехловъ злобно засмѣялся и принялся развивать цѣлую теорію истинныхъ отношеній между людьми. Мизинцевъ слушалъ и удивлялся. Въ словахъ говорящаго была глубокая правда и, въ то же время, нелѣпая дичь. Если его слова принять, какъ отвлеченную вѣру, необходимую для эстетическаго созерцанія, то они—правда, но если цѣликомъ примѣнить ихъ къ жизни, какъ она есть, то они—простое барское издѣвательство надъ человѣкомъ. Въ послѣднемъ смыслѣ Мизинцевъ и понялъ его слова, и долго не могъ подавить негодованія. Онъ замолчалъ.

А Чехловъ съ этой минуты никогда уже не простилъ негодующихъ словъ Мизинцеву. Въ свою очередь, Мизинцевъ съ возростающею антипатіей относился къ единомышленнику.

Съ нѣкотораго времени онъ уже не боролся противъ этой антипатіи. Онъ замѣтилъ, что Чехловъ и съ другими такъ же поступилъ, какъ съ нимъ: оттолкнулъ ихъ холодомъ и презрѣніемъ. Что̀ это за человѣкъ? Повидимому, онъ нарочно каждаго встрѣчнаго старается обратить въ своего врага. Изъ всѣхъ, съ кѣмъ онъ встрѣчался и говорилъ, кого училъ, кому давалъ совѣты, у кого жилъ,—изъ всѣхъ нихъ не нашлось человѣка, котораго онъ могъ бы назвать своимъ другомъ. Отъ каждаго онъ холодно отвертывался, никому не выразилъ даже тѣни уваженія. Просто онъ и говорить-то, кажется, не умѣлъ; онъ умѣлъ только обвинять, презирать и учить. Происходили собранія, но ни съ однимъ изъ участниковъ ихъ онъ не говорилъ безъ задней мысли, безъ желанія поставить въ тупикъ. Въ каждомъ человѣкѣ онъ, казалось, отыскивалъ только недостатки и слабости, а отыскавъ ихъ, торжествовалъ...

Но бывали минуты, когда Михаилъ Егоровичъ считалъ себя виноватымъ и несправедливымъ къ гостю. Оставаясь одинъ въ своей комнатѣ, Чехловъ, видимо, отчего-то страдалъ. Михаилъ Егоровичъ видѣлъ тогда, какъ онъ, положивъ голову на руки, по часу сидѣлъ въ такой позѣ, а иногда лицо его было открыто и взоръ его устремленъ былъ въ какую-то неопредѣленную даль; и тогда лицо это носило на себѣ слѣдъ такой муки, что, казалось, слезы потекутъ по щекамъ и въ комнатѣ раздастся стонъ. Михаилъ Егоровичъ въ такія минуты нѣсколько разъ порывался подойти къ нему и заговорить задушевнымъ тономъ. Но онъ этого не могъ сдѣлать: едва его глаза встрѣчались съ холодными глазами гостя, какъ мгновенно у него пропадало желаніе дружбы.

Потомъ, мѣсяца черезъ два послѣ пріѣзда, съ нимъ произошла какая-то новая перемѣна. Михаилъ Егоровичъ сталъ замѣчать, что Чехловъ чѣмъ-то озабоченъ. Раньше никогда нельзя было увидѣть этой озабоченности на его холодномъ лицѣ. Онъ часто волновался, забывалъ, въ какомъ-то смятеніи, простыя и необходимыя вещи, напримѣръ, отвѣчать на предложенные вопросы приходившихъ къ нему людей, забывалъ часы назначенныхъ свиданій. И въ такія минуты съ его лица сбѣгали холодныя тѣни; онъ уже не казался самоувѣреннымъ, а, напротивъ, испуганнымъ, колеблющимся,

изумленнымъ. Чѣмъ-то встревоженный, онъ иногда порывисто обращался къ Мизинцеву съ вопросомъ:

— Который часъ?—и забывалъ въ это мгновеніе, что онъ Мизинцева терпѣть не можетъ.

Только послѣ отвѣта послѣдняго онъ какъ будто вспоминалъ свою вражду къ Михаилу Егоровичу, бросалъ на него жестк iй взглядъ и уходилъ изъ дома.

Или вдругъ лицо его освѣщалось горячимъ и свѣтлымъ лучомъ, и онъ весь казался счастливымъ и мягкимъ.

VIII.

Была глухая ночь. Въ квартирѣ огни были потушены. Воздухъ казался знойнымъ, удушливымъ. Чехловъ, задыхаясь, всталъ съ постели, гдѣ онъ лежалъ съ открытыми глазами, устремленными въ темноту, собралъ ее въ одну кучу къ стѣнѣ, а самъ подошелъ къ окну, порывистымъ движеніемъ растворилъ его и подставилъ свою горящую голову дувшему вѣтру.

Но вѣтеръ не освѣжилъ его. Это былъ горячій, удушливый вѣтеръ, гнавшій по небу безобразныя тучи, то разрывая ихъ въ лохмотья, то сгущая въ черныя непроницаемыя массы. Давно уже не было дождя; съ земли поднималась пыль. Съ обезображеннаго неба по временамъ падали рѣдкія, крупныя капли, но сухой воздухъ, казалось, мгновенно пожиралъ ихъ. Что-то свистѣло кругомъ; деревья въ палисадникѣ шумѣли какъ будто испуганными листьями и низко гнули свои верхушки; гдѣ-то близко стучала жесть крыши. Иногда мелькала молнія и освѣщала страшную картину борьбы въ воздухѣ, но лишь только она потухала, борьба какъ будто съ большимъ остервенѣніемъ продолжалась; и трудно было сказать, кто побѣдитъ,—горячій-ли вѣтеръ разгонитъ тучи и снова наполнитъ воздухѣ ядовитымъ удушьемъ, тучи-ли вѣтеръ смирятъ и, грозя громомъ, бросая снопы молніи, выльютъ потоки давно ожидаемаго дождя, напоятъ задыхающуюся землю и самый вѣтеръ усмирятъ, сдѣлавъ его ласковымъ, теплымъ и влажнымъ.

Чехловъ выставился на половину изъ окна и жадно вдыхалъ, но это не освѣжило его. Онъ отошелъ отъ окна и намочилъ голову водой изъ графина, потомъ сталъ ходить по

комнатѣ, ощупью отыскивая направленіе. Мысли его неугомонно продолжали свою безконечную работу, но въ сердцѣ его было полное отчаяніе. Это отчаяніе самыя мысли его залило тоской, и она превратилась въ сплошной вопль.

Онъ вспомнилъ послѣдніе мѣсяцы безпрерывныхъ сходокъ, вечеровъ, разговоровъ; вездѣ его сопровождало изумленіе, безсильный гнѣвъ, растерявшаяся глупость и торжество. Кругомъ него или холодныя, чужія лица, или враги. Если жизнь—борьба, то онъ насладился ею, но развѣ душа его отъ этого стала спокойнѣе, а сердце счастливѣе? Онъ задыхается отъ отчаянія, коченѣетъ отъ холода, какъ будто смерть приближается къ нему.

Но если жизнь—покой, то гдѣ же его найти и почему, вмѣсто поисковъ его, онъ вызываетъ нарочно кругомъ себя злобную вражду? Если бы былъ хотя одинъ другъ у него, онъ сейчасъ отдалъ бы ему всю свою душу и вздохнулъ бы полною грудью; встрѣтивъ его добрый взглядъ, онъ отдалъ бы ему свою улыбку, свои смѣющіеся глаза, а теперь эти глаза устремлены въ темноту, гдѣ не на чемъ остановиться. Если жизнь—любовь, то почему нѣтъ ея у него? Почему только злыя чувства окружаютъ его, сжимая и безъ того гнѣвное его сердце? Почему ни одно сердце не отдается ему и не наполнитъ его мрачной жизни теплотой, улыбками, свѣтлыми лучами любящихъ глазъ, музыкой дружескихъ словъ?

Вдругъ онъ вспомнилъ что-то и остановился.

Потомъ съ нервною торопливостью сталъ шарить на столикѣ, по стульямъ, на полу и между книгами на полкѣ, отыскивая коробку спичекъ. Долго не находя ее, онъ пришелъ въ страшное раздраженіе и уже готовъ былъ броситься въ сосѣднюю комнату, разбудить Мизинцева и потребовать огня. Но вдругъ случайно на подоконникѣ ему попалась коробка, онъ рѣзкимъ движеніемъ о косякъ зажегъ спичку и освѣтилъ ею лежавшіе на столикѣ часы Мизинцева. Было безъ нѣсколькихъ минутъ двѣнадцать. А ночной поѣздъ идетъ въ часъ безъ десяти. Онъ бросилъ спичку и въ темнотѣ, съ величайшею торопливостью, сталъ одѣваться.

Рѣшеніе ѣхать къ Александрѣ Яковлевнѣ явилось у него мгновенно, мгновенно же онъ и исполнилъ его. Онъ могъ бы подождать до утра завтрашняго дня и уѣхать въ усадьбу

съ дневнымъ поѣздомъ, какъ это онъ дѣлалъ всегда, но теперь нельзя было ему ждать. Онъ чувствовалъ, что если останется до утра въ этой темной комнатѣ, то мысли его, какъ хищные звѣри, разорвутъ его сердце. Ему нельзя было ждать даже нѣсколько часовъ.

Не зажигая огня, въ полномъ муракѣ, онъ наскоро одѣлся и тихо, стараясь не разбудить Мизинцева, вышелъ въ сѣни, а оттуда на дворъ и на улицу.

Его тотчасъ окружилъ хаосъ, въ который, казалось, превратилась вся природа. Вѣтеръ рвалъ его одежду, бросалъ горстями пыль въ его лицо, легкія его вдыхали удушливый, горячій воздухъ, но онъ почти бѣгомъ шелъ по направленію къ вокзалу.

На половинѣ дороги онъ испугался, что не поспѣетъ къ поѣзду. Тогда что есть мочи, насколько хватило его голоса, онъ сталъ кричать извощика, но въ отвѣтъ ему только гудѣлъ вѣтеръ, да пыль крутилась вокругъ него, залѣпляя ему глаза. Не переставая кричать, онъ быстро шелъ. И когда показались огни вокзала, вдругъ откуда-то вынырнулъ извощикъ и предложилъ свои услуги. Весь мокрый отъ быстрой ходьбы и удушья, съ дрожью въ ногахъ отъ нервнаго потрясенія, онъ вскочилъ на пролетку, хотя вокзалъ былъ въ десяти минутахъ ходьбы, и скоро уже бѣжалъ по залѣ къ кассѣ. До поѣзда, оказалось, еще цѣлыхъ полчаса. Узнавъ объ этомъ, онъ сразу опустился, ослабъ и присѣлъ на лавку, чтобы отдохнуть. Въ вискахъ его еще стучало, дыханіе было тяжелое, но на лицѣ появилась счастливая улыбка, словно онъ, послѣ долгаго и мучительнаго путешествія среди опасностей, вдругъ пріѣхалъ къ цѣли.

Въ тускломъ свѣтѣ вокзала сонливо двигались одинокіе пассажиры, скучные артельщики, еще болѣе скучные сторожа; около пустой кассы дремалъ жандармъ; въ залѣ первыхъ классовъ скучились возлѣ буфета лакеи и сонливо о чемъ-то разговаривали. Даже вокзальные часы, казалось, задремали и во снѣ лѣниво передвигали стрѣлки. Наконецъ, на пустынной платформѣ прозвучалъ второй звонокъ. Въ гулъ его, разорванный вѣтромъ, Чехловъ вслушался внимательно, какъ будто своими ушами хотѣлъ убѣдиться, что это дѣйствительно второй звонокъ; внимательно отсчитавъ

два удара, онъ съ счастливою улыбкой вышелъ на платформу, а отсюда въ вагонъ.

Но въ вагонѣ онъ оставался всего одну минуту; тамъ было много пассажировъ и въ тѣсномъ пространствѣ стоялъ тотъ характерный воздухъ, который окружаетъ спящихъ мужиковъ. Брезгливо плюнувъ на полъ, Чехловъ вышелъ на площадку и рѣшился не заглядывать больше въ вагонъ до самой станціи.

Когда поѣздъ двинулся, вѣтеръ какъ будто мгновенно стихъ. Но это оттого, что поѣздъ мчался по одному направленію съ вѣтромъ. Все небо, казалось, двигалось, гонимое страшнымъ вѣтромъ. Верхніе слои тучъ вѣтеръ гналъ въ одну сторону, нижній ихъ пластъ—въ противоположную, причемъ отъ тѣхъ и отъ другихъ отрывалъ огромные куски, перепутывалъ ихъ между собой, низвергалъ внизъ или бросалъ вверхъ. Въ воздухѣ носилась тоже густая пыль, рѣзавшая лицо; деревья, изрѣдка мелькавшія мимо поѣзда, печально гнули вершины и листья ихъ испуганно трепетали. Но онъ уже не задыхался. Выставивъ голову далеко за перекладину барьера, онъ съ застывшею улыбкой удовольствія наблюдалъ этотъ хаосъ и спокойно отмѣчалъ разстояніе, съ каждымъ мгновеніемъ уменьшавшееся.

Такъ онъ простоялъ до самой станціи, гдѣ ему слѣдовало слѣзать. Былъ уже полный разсвѣтъ, когда поѣздъ подъѣхалъ къ этой станціи. Чехловъ слѣзъ и рѣшился посидѣть здѣсь, прежде чѣмъ двинуться пѣшкомъ дальше. Александра Яковлевна встаетъ сравнительно поздно, часовъ въ семь, теперь было только начало пятаго. Но усидѣть на станціонной лавочкѣ онъ не могъ и нѣсколькихъ минутъ. Однако, прежде нежели отправиться въ путь, онъ прошелъ въ крохотную комнатку первыхъ классовъ, умылся, оправилъ себя и только тогда вышелъ на дорогу къ усадьбѣ.

Солнце только что встало. При его восходѣ вѣтеръ незамѣтно стихъ; отъ ночной бури остались только слабые слѣды,—по небу въ разныхъ направленіяхъ тихо плыли кучки разогнанныхъ тучъ. Но воздухъ былъ свѣжѣе вчерашняго, и Чехловъ бодро шелъ по дорогѣ, прислушиваясь къ пѣнію птичекъ, вдыхая ароматъ хлѣбныхъ полей, между которыми вилась дорога. Постепенно, не замѣчая того, онъ такъ ускорялъ шаги, что начиналъ почти бѣжать; тогда онъ круто

останавливался и старался идти какъ можно тише. Александра Яковлевна еще не встала, а безъ нея что ему тамъ дѣлать?

Вдругъ на одномъ поворотѣ дороги онъ взглянулъ по направленію къ усадьбѣ и остановился въ изумленіи. Не довѣряя глазамъ, онъ прикрылъ ихъ рукой и пристально вглядѣлся... Да, это была, несомнѣнно, она! И онъ быстро бросился по дорогѣ.

Черезъ четверть часа онъ уже приближался къ Александрѣ Яковлевнѣ и чувствовалъ, какъ къ его глазамъ подступаютъ слезы. Та давно замѣтила его, остановилась за рѣшеткой сада и съ улыбкой ждала его. Но когда онъ приблизился къ ней, на него вдругъ напала какая-то робость и смущеніе; онъ подумалъ, что она тотчасъ же спроситъ его: „Откуда это вы такъ рано?"—и смутился. Но она на самомъ дѣлѣ нисколько не удивилась. Предложивъ ему, дѣйствительно, такой вопросъ, она прибавила:

— Вы съ ночнымъ поѣздомъ?

— Да.

— Устали въ городѣ?

— Я сегодня ночью задохнулся-было.

— То же и здѣсь... какая ужасная была ночь! Я почти не спала... Едва забрезжило утро, я встала. Но у насъ все-таки лучше... Вы отлично сдѣлали, что пріѣхали. Отдохните здѣсь.

Александра Яковлевна ласково улыбалась. И Чехловъ чувствовалъ, какъ отъ этой ласки горячія слезы опять подступаютъ къ его сердцу. Но онъ сдержался отъ необузданнаго порыва радости. Онъ молча смотрѣлъ на Александру Яковлевну и сознавалъ, что этого ему довольно.

— Но что же мы стоимъ? Пойдемте, я васъ пока напою чаемъ. А когда управлюсь съ работами, мы отравимся въ лѣсъ,—сказала она и повела гостя въ домъ.

Лицо ея было живое, движенія бодрыя и твердыя. На щекахъ ея появился румянецъ, котораго Чехловъ ни разу не замѣчалъ раньше. Въ такомъ видѣ она казалась еще чище и проще. Идя немного позади ея, онъ не сводилъ съ нея глазъ. Горячая и глубокая радость такъ наполняла его, что онъ, казалось, лишился дара слова, холодныхъ наблюденій, злыхъ мыслей и острыхъ взглядовъ; когда въ столовой онъ

наткнулся на Хордина, то порывисто пожалъ ему руку и засмѣялся, какъ будто никогда не чувствовалъ пренебреженія къ нему.

Александра Яковлевна усадила ихъ обоихъ за чай, а сама ушла, чтобы исполнить всѣ утреннія работы по дому. Чехловъ сидѣлъ за столомъ, перекидывался словами съ Хординымъ, но слухъ его съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ за невидимыми для него движеніями Александры Яковлевны. Какъ иногда одинокая, но поразительная нота шумнаго оркестра внезапно наполняетъ все наше существо и мы съ восторгомъ слѣдимъ за ней среди грома и треска другихъ звуковъ, такъ онъ прислушивался къ невидимымъ движеніямъ Александры Яковлевны. Онъ пилъ чай, но слушалъ, какъ гдѣ-то вдали раздаются ея мягкіе шаги, какъ звучитъ къ кому-то обращенный ласковый голосъ ея, какъ поминутно слова ея чередуются съ тихимъ смѣхомъ. Потомъ гдѣ-то вдали онъ услыхалъ, что она тихо запѣла какую-то пѣсенку, и ея звукъ отозвался въ его сердцѣ страстнымъ изумленіемъ. Но вдругъ гдѣ-то хлопнула дверь, пѣніе ея внезапно оборвалось и Чехловъ съ тревогой оборвалъ на полусловѣ какую-то фразу, которую машинально говорилъ Хордину.

Хозяинъ съ улыбкой посмотрѣлъ на него.

— Вы, кажется, удивляетесь, что Саша можетъ пѣть?— спросилъ онъ.

Чехловъ вздрогнулъ отъ этого вопроса и выговорилъ что-то несвязное.

— Я не меньше вашего удивленъ... она стала весела и жива. Цѣлый день что-нибудь съ увлеченіемъ работаетъ и поетъ, а по вечерамъ садится за свои медицинскія книги и до глубокой ночи занимается...

Хординъ говорилъ съ радостью.

— Какія медицинскія книги?—спросилъ Чехловъ.

— Да развѣ вы не знаете?... Она уже переходила на четвертый курсъ академіи, но тутъ внезапно карьера ея измѣнилась... Мы поѣхали на Востокъ, потомъ смерть нашего сына... эта смерть, казалось, убила ее на-повалъ... Глядя на нее, и я измучился... И вдругъ жизнь какъ будто опять воротилась въ ея истрадавшееся сердце, и она стала такою, какъ вы ее видите сейчасъ... Вы спрашиваете, какія медицинскія книги? Я самъ не знаю, зачѣмъ она теперь ими за-

нялась... и не спрашиваю. Боюсь какимъ-нибудь грубымъ словомъ спугнуть ея свѣтлое настроеніе... пусть ее отдохнетъ.

Хординъ высказалъ все это несвязно, но въ каждомъ словѣ его, сказанномъ съ счастливымъ волненіемъ, слышалась любовь. Чехловъ смотрѣлъ на него и внезапно похолодѣлъ, чувствуя, какъ неизвѣстно отъ чего сжалось его сердце. Когда Хординъ послѣ чая торопливо ушелъ по дѣламъ, онъ скучно обвелъ глазами комнату.

Но немного спустя вошла Александра Яковлевна. Онъ живо поднялъ голову, какъ будто сюда внезапно ворвался цѣлый потокъ солнечныхъ лучей.

— Вотъ я и готова! Если хотите, идемъ! — сказала она оживленно и съ раскраснѣвшимся отъ работы лицомъ.

Чехловъ порывисто поднялся съ мѣста и черезъ нѣсколько минутъ они уже вышли изъ дома. Солнце стояло высоко и немилосердно жгло.

— Опять духота, какъ вчера!... Но я проведу васъ въ такое мѣсто, которое, надѣюсь, вамъ понравится. Если же оно вамъ не понравится, то вы, значитъ, ничего не понимаете въ красотѣ... А, можетъ быть, я ничего не понимаю...—говорила она со смѣхомъ.

Въ другое время Чехловъ воспользовался бы этими словами, чтобы обнаружить всю силу своей діалектики. Но теперь онъ молчалъ и только улыбался; онъ молча смотрѣлъ на спутницу, лишенный воли и забывшій про свое огромное „я". Онъ шелъ рядомъ съ ней, слабо отвѣчалъ на ея слова и видѣлъ только ея фигуру. Иногда его взглядъ блуждалъ по сторонамъ, не на нее обращенный, но онъ все-таки зналъ каждое ея движеніе и чувствовалъ малѣйшее измѣненіе на ея лицѣ. Невидимая, она рисовалась передъ нимъ вся цѣликомъ.

Окружающее исчезло съ его поля зрѣнія. Они сначала проходили между двухъ стѣнъ созрѣвающихъ хлѣбовъ, потомъ шли по густымъ кустамъ перелѣсковъ, среди осиновыхъ рощъ, проходили и по заросшимъ бурьяномъ прошлогоднимъ жнивьямъ, но онъ ничего не замѣчалъ. Въ блуждающемъ взорѣ его не отразилось ни жгучее солнце, ни голубое небо, ни эти перелѣски, ни далекій горизонтъ, куда, повидимому, онъ смотрѣлъ. Все поле его зрѣнія занято было однимъ образомъ, который закрылъ собою даже собственную его самолюбивую душу. Онъ совсѣмъ забылъ о себѣ и гдѣ онъ.

Но вдругъ Александра Яковлевна остановилась на крутомъ возвышеніи внезапно открывшагося оврага и, указывая рукой, живо сказала:

— Смотрите!

Чехловъ съ изумленіемъ обвелъ глазами указанное пространство; то было дикое „Разбойничье гнѣздо". Глазамъ оно открывалось внезапно,—не знавшій его человѣкъ за минуту не могъ бы и заподозрить его близости. Чехловъ не зналъ о немъ и теперь съ изумленіемъ оглядывалъ эти глубокія впадины и корридоры, покрытыя страшною путаницей деревьевъ и кустовъ.

— Ну, что, нравится?—спросила съ озабоченнымъ видомъ Александра Яковлевна, какъ будто ей хотѣлось услышать изъ его устъ восторгъ передъ ея любимымъ мѣстомъ. Но, не дожидаясь отвѣта, она прибавила:—Впрочемъ, сойдемъ пониже, тутъ жарко!

Она быстро, привычными шагами стала спускаться внизъ по гребню. Внизу виднѣлась крошечная лужайка, закрытая отъ солнца широко раскидавшимся вязомъ и съ трехъ сторонъ обрѣзанная глубокими обрывами.

— Идите сюда... Теперь смотрите!—говорила она, когда оба уже стояли на маленькой площадкѣ подъ вязомъ.

Отсюда видны были всѣ развѣтвленія овраговъ, всѣ высокія, рѣзко оборванныя стѣны и всѣ причудливыя лѣсныя заросли, деревья которыхъ низко нагибали свои вершины куда-то внизъ, какъ будто всѣ были заинтересованы, что тамъ такое на днѣ. И, какъ бы въ отвѣтъ на ихъ любопытство, со дна раздавалось журчанье ручьевъ, неизвѣстно о чемъ шептавшихъ.

— Нравится?—переспросила еще разъ Александра Яковлевна и съ удовлетворенною гордостью осматривала свое любимое гнѣздо.

Чехловъ пристально смотрѣлъ по сторонамъ, прислушивался, потянулъ влажный, прохладный воздухъ и съ улыбкой высказалъ свое восхищеніе.

— Удивительно!... Даже и подозрѣвать нельзя, чтобы могъ быть въ этой плоской равнинѣ такой причудливый уголокъ! Да и самъ онъ... вѣдь это просто нѣсколько дикихъ, безобразныхъ ямъ, а, между тѣмъ, какая сила впечатлѣнія!

Онъ говорилъ спокойно. Взглядъ его глазъ сталъ холоднѣе,

наблюдательнѣе. Повидимому, онъ стряхнулъ съ себя очарованіе, произведенное присутствіемъ Александры Яковлевны, и пытливо, съ полнымъ самообладаніемъ осматривалъ оригинальный уголокъ. Какъ знатокъ красоты, онъ теперь сознательно оцѣнивалъ это неожиданное, причудливое мѣстечко.

— Очень рада... А я уже думала, что только одной мнѣ, ничего не понимающей въ эстетикѣ, нравится „Разбойничье гнѣздно“!

— Развѣ эстетика можетъ научить пониманію прекраснаго?—спросилъ Чехлевъ и обычная насмѣшливость послышалась въ его словахъ.

— Говорятъ, можетъ.

— Не вѣрьте! Ложь... Вы любите вотъ это гнѣздо?

— Люблю!—отвѣтила съ улыбкой Александра Яковлевна.

— И любите. Больше ничего и не надо. Любите—это и есть прекрасное. Другой красоты нѣтъ. И все, что въ каждомъ другомъ человѣкѣ вызываетъ любовь, все то и будетъ для него прекраснымъ. Но не болѣе!

— Если человѣкъ любитъ нѣчто безобразное?

— Значитъ, такая же и душа его, безобразная. Каждый человѣкъ можетъ вмѣстить и понять прекрасное только въ той мѣрѣ, въ какой прекрасное въ немъ самомъ существуетъ. Мѣра эта точная, какъ вѣсы. Сколько въ тебѣ прекраснаго, столько же ты найдешь и внѣ себя, не болѣе!

— Но какъ же такъ?...—возразила Александра Яковлевна съ живымъ любопытствомъ,—а развѣ не бываютъ случаи, когда человѣкъ по невѣдѣнію не понимаетъ красоты въ художественномъ произведеніи, но послѣ разъясненія понимаетъ и наслаждается?

— Тутъ можетъ быть два случая... Или въ душѣ этого человѣка нѣтъ прекраснаго, и тогда никакими объясненіями онъ не пойметъ и то прекрасное, которое внѣ его, или въ душѣ его есть подходящія струны, но онъ ихъ долженъ самъ натянуть, прежде нежели получить просвѣтлѣніе; прежде чѣмъ онъ пойметъ данное внѣ прекрасное, онъ долженъ его имѣть въ своей душѣ... А эстетика и ея мнимые законы—это одинъ изъ тѣхъ проклятыхъ мертвыхъ идоловъ, который созданъ жрецами искусства на погибель этого искусства. Творчество не имѣетъ ни формъ, ни границъ; скованное неизмѣнными законами, оно погибаетъ, какъ сво-

бодная душа человѣка въ рабствѣ... потому что источникъ прекраснаго—та же любовь.

Чехловъ совершенно оправился отъ недавней слабости и смотрѣлъ сурово, проницательно.

— А гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ и прекраснаго?—спросила съ возростающимъ любопытствомъ Александра Яковлевна.

— Нѣтъ и быть не можетъ! Прекрасное — это любовь.. Сколько въ человѣкѣ любви, столько онъ видитъ и прекраснаго вокругъ себя. Здѣсь точная мѣра красоты для каждаго даннаго человѣка и для каждаго момента его жизни: сколько любишь, столько ты и видишь прекраснаго... Если же многіе люди признаютъ прекрасное въ однихъ и тѣхъ же предметахъ, это значитъ, что большинство изъ нихъ только притворяются, будто эти предметы доставляютъ имъ наслажденіе, притворяются, чтобы не показаться смѣшными и невѣжественными.. Такъ называемые законы эстетики создаютъ только особаго рода лицемѣровъ, — лицемѣровъ прекраснаго... Если вы встрѣтите жестокаго, развратнаго человѣка наслаждающимся вашимъ прекраснымъ, то вы скажите ему: ты лжешь! Ты лжешь, потому что можешь понять только жестокую, развратную красоту, и для тебя ее создаютъ похожіе на тебя художники! И если вы встрѣтите жестокаго, развратнаго художника, думавшаго создать прекрасную вещь для любящихъ, чистыхъ, милосердныхъ людей, то вы скажите ему: прочь мертвыя, развратныя руки!

„Вотъ теперь онъ опять похожъ на Чехлова“, — думала Александра Яковлевна.

— Нѣкоторые выводятъ чувство прекраснаго изъ потребности человѣка украшать себя... Свирѣпый дикарь, рыскающій въ лѣсной чащѣ, говорятъ, все же обладаетъ чувствомъ прекраснаго,—онъ украшаетъ свое тѣло татуировкой, въ носъ втыкаетъ кусочекъ палки... Спрашивается, неужели и у этого жалкаго звѣря потребность украшенія зависитъ отъ любви?—спросила Александра Яковлевна и лукаво улыбнулась.

Чехловъ нахмурилъ брови, но тотчасъ же засмѣялся.

— Непремѣнно! Этотъ дикарь обладаетъ чувствомъ прекраснаго въ той мѣрѣ, сколько въ немъ любви. Любовь его, грубая, звѣриная, направлена исключительно на себя, а не

на природу и людей; таково же и его прекрасное. И если онъ втыкаетъ въ носъ рыбью кость, морду свою разрисовываетъ ножемъ и думаетъ, что это прекрасно, какъ въ немъ, такъ и въ ближнемъ его, то здѣсь точная мѣра его любви...

Въ это время гдѣ-то на днѣ одного изъ овраговъ послышался трескъ и прозвучалъ эхомъ по всему „гнѣзду". Александра Яковлевна живо поднялась съ лужайки, гдѣ они сидѣли, бросилась къ самому краю обрыва и, держась за вѣтку вяза, наклонилась внизъ, чтобы посмотрѣть, что тамъ такое.

Чехловъ, въ головѣ котораго уже толпился цѣлый рой мыслей, вдругъ разомъ ихъ забылъ и обмеръ. Потомъ онъ бросился къ Александрѣ Яковлевнѣ и крѣпко схватился за ея руку.

— Что вы дѣлаете?! — закричалъ онъ, пораженный ужасомъ.

Александра Яковлевна отступила немного отъ края и посмотрѣла на него, удивленная его крикомъ.

— Такимъ ужаснымъ крикомъ вы дѣйствительно могли втолкнуть меня въ оврагъ!... Чего вы испугались? — сказала она и, замѣтивъ испугъ на его лицѣ, громко расхохоталась.

Чехловъ уже сконфуженно глядѣлъ ей въ лицо, стыдясь своего необъяснимаго порыва. Въ то же время, лицо его свѣтилось радостною улыбкой. Онъ вдругъ опустился на лужайку и пригласилъ то же самое сдѣлать и Александру Яковлевну.

— Не глядите больше туда, внизъ... Давайте лучше говорить о прекрасномъ... мы не кончили, — сказалъ онъ и пытался возстановить насмѣшливый тонъ.

Александра Яковлевна усѣлась. Но Чехловъ уже не говорилъ больше такъ энергично, какъ за минуту передъ тѣмъ. Съ его языка сорвались фразы до такой степени плоскія, что онъ самъ застыдился и замолчалъ. Какъ будто всѣ его острыя мысли провалились въ бездну, умъ сталъ тупымъ и безоружнымъ. Онъ только чувствовалъ, какъ томительно бьется его сердце и душа полна неосязаемымъ и невыразимымъ образомъ. Взглядъ его блуждалъ по вершинамъ лѣса, не смѣя остановиться прямо на лицѣ Александ-

ры Яковлевны, но невидимыми взорами онъ видѣлъ только ее одну. И сознаніе ея страшной близости лишило его самообладанія; умъ его, питающійся враждой, она обезоруживала однимъ своимъ присутствіемъ, а сердце его наполняла предчувствіемъ любви. Онъ молчалъ, какъ утромъ, лишенный воли, очарованный.

Александра Яковлевна одна поддерживала разговоръ, а онъ только отвѣчалъ, да и то слабо. Такъ они просидѣли далеко за полдень. Когда она напомнила, что пора уходить, онъ какъ будто очнулся отъ какого-то сна, тяжело поднялся съ мѣста и съ опущенною головой пошелъ вслѣдъ за ней.

Обѣдали они втроемъ. При этомъ между Чехловымъ и Хординымъ роли перемѣнились. Видя Чехлова задумчивымъ и безоружнымъ, не слыша болѣе отъ него ядовитой, торжествующей рѣчи, Хординъ незамѣтно перешелъ въ роль поучающаго, самодовольнаго человѣка, вся фигура котораго дышала сознаніемъ глупости всѣхъ окружающихъ людей. Незамѣтно его слова окрасились въ догматическій оттѣнокъ. На здоровомъ лицѣ его играла насмѣшка, слова выражали одни совѣты. Онъ училъ.

— Нѣтъ, милый человѣкъ, нельзя такъ! Нѣльзя нѣсколькими словами уничтожить цивилизацію... Если кто хочетъ успѣха своему ученію, пусть тотъ воспользуется этою самою цивилизаціей, а не претъ противъ рожна... нелѣпо это, милый человѣкъ!

Говорилъ онъ, между прочимъ, во время обѣда необыкновенно самодовольнымъ тономъ, облизываясь и вытираясь салфеткой послѣ какого-то кушанья.

Александрѣ Яковлевнѣ стыдно стало за эти плоскія слова мужа и она ждала съ тайною нетерпимостью хорошаго урока самодовольному человѣку. Но, къ ея удивленію, Чехловъ съ видимымъ усиліемъ отвѣчалъ на поученія Хордина; не то апатично, не то съ досадой онъ возразилъ и на эти слова хозяина, ни къ кому не обращаясь:

— Человѣчество имѣло уже много цивилизацій, но отъ нихъ теперь осталось по нѣскольку кирпичей, которые ревностно разыскиваются учеными могильщиками... Мертвое умираетъ и разрушается безслѣдно.

Когда онъ говорилъ это, на его лицѣ была досада: „Да отстань ты отъ меня, некогда мнѣ!“—какъ будто думалъ онъ.

Отъ дальнѣйшаго разговора онъ совсѣмъ уклонился. Это дало возможность Хордину до конца обѣда говорить отмѣнно-разсудительныя и практичныя рѣчи. Не слушая его, Чехловъ только по временамъ утвердительно кивалъ или отрицательно качалъ головой, что удовлетворяло самодовольство Хордина или возбуждало въ немъ охоту говорить дальше, и онъ, не переставая, говорилъ... „Ну, мели, мели, шутъ съ тобой!“—думалъ Чехловъ и въ первый разъ добродушно слушалъ.

Послѣ обѣда Александра Яковлевна ушла не надолго, но вскорѣ опять вернулась и застала Чехлова сидящимъ въ саду. Она тотчасъ пригласила его опять идти въ поле, только въ другую сторону. Они ушли и оставались тамъ до поздняго вечера.

IX.

Хординъ, по обыкновенію, спалъ тотчасъ послѣ обѣда, но когда проснулся, пошелъ-было въ садъ искать жену Чехлова. Не найдя ихъ тамъ, онъ спросилъ, куда они ушли? Прислуга отвѣчала—въ поле. Въ первый разъ ему стало до боли непріятно. Но онъ постарался свое мрачное настроеніе объяснить дурнымъ тяжелымъ сномъ. Это бывало. Особенно когда много покушаешь, ужасно бываетъ тяжелый сонъ: въ головѣ какая-то бурая мгла, въ горлѣ саднитъ, всѣ окружающіе предметы принимаютъ досадный, противный видъ. Однако, сегодня было не такъ; когда онъ совсѣмъ оправился отъ сна, непріятное чувство еще болѣе утвердилось въ его душѣ. Это еще не была ревность, а только тревога, безпокойство, предчувствіе семейной бури, не поддающаяся опредѣленію словами злость. Онъ раздраженно напился чаю одинъ, съ раздраженіемъ вышелъ изъ-за стола, но никакъ не могъ понять, на какой предметъ вылить злобу. Онъ думалъ идти по хозяйству, но вернулся, не дойдя до порога выходной двери, подошелъ къ окну, выходящему въ открытое поле, сѣлъ тутъ и сталъ ждать. Ждалъ онъ съ нетерпѣніемъ, когда они вернутся, и, въ то же время, сознавалъ, что это ожиданіе безсмысленно. Развѣ этимъ ожиданіемъ у окна можно что-нибудь измѣнить? Ничего. Но онъ все-таки сидѣлъ, смотрѣлъ съ возростающимъ нетерпѣніемъ по опушкамъ лѣса

и, не видя тамъ никого, бѣсился. И, въ то же время, опять сознавалъ, что это бѣшенство, увеличивающееся съ каждымъ мгновеніемъ, безсмысленно. Развѣ Чехловъ или жена сдѣлали что-нибудь дурное, чтобы вызвать его злобу? Но онъ все-таки продолжалъ сидѣть, раздраженно барабанилъ пальцами по стеклу и горѣвшими отъ нетерпѣнія глазами оглядывалъ всѣ опушки лѣса.

Вдругъ на краю одной изъ рощъ онъ замѣтилъ двѣ фигуры, мелькавшія между деревьями; онъ ихъ тотчасъ узналъ; онѣ быстро шли по направленію къ дому. Одну минуту Хординъ наблюдалъ за ними; потомъ онъ бросился отъ окна, прошелъ черезъ всѣ комнаты почти бѣгомъ, какъ воръ, похитившій какую-то вещь, и вышелъ на дворъ съ такимъ перепуганнымъ лицомъ, какъ будто за нимъ гнались. Онъ торопливо старался скрыть всѣ слѣды своего сидѣнья у окна, и ему это удалось. Когда Александра Яковлевна и Чехловъ вошли черезъ калитку во дворъ, онъ встрѣтилъ ихъ лѣнивымъ, равнодушнымъ взглядомъ и лѣнивымъ голосомъ выговорилъ:

— А, это вы! Что же вы такъ мало гуляли? Вечеръ чудесный.

— Какъ мало? Почти половину дня! Заговорились и не замѣтили, какъ подкрался вечеръ, — отвѣтила просто Александра Яковлевна.

Хординъ бросилъ пристальный взглядъ на ея открытое лицо и мгновенно ему стало стыдно за ту безсмысленную тревогу, съ которой онъ сидѣлъ передъ окномъ. Онъ готовъ былъ приласкаться къ женѣ, еслибы не молчаливое присутствіе Чехлова, но, вмѣсто этого, закричалъ на прислугу, чтобы она поскорѣе подогрѣла самоваръ. Александра Яковлевна не обратила вниманія на виноватый видъ мужа и прошла въ комнаты.

А Чехловъ скоро ушелъ на поѣздъ. Хординъ, съ его уходомъ, забылъ о непріятномъ чувствѣ.

Но на слѣдующій день Чехловъ опять пріѣхалъ, на третій день также. Наконецъ, его посѣщенія стали регулярны, изо дня въ день. Тревога Хордина также стала проявляться регулярно, какъ перемежающаяся лихорадка. Когда Чехловъ уѣзжалъ, тревога его мгновенно падала, но лишь тотъ появлялся на слѣдующій день, какъ мгновенно въ Хординѣ поднималась мука ревности. Да, это уже была ревность.

Она возростала до мучительной боли въ тѣ часы, когда жена и Чехловъ уходили на отдаленную прогулку по лѣсу.

Александра Яковлевна продолжала исполнять всѣ свои и домашнія работы, но лишь только освобождалась отъ нихъ, тотчасъ приглашала Чехлова, и они вдвоемъ уходили въ поле, въ лѣсъ или къ „Разбойничьему гнѣзду".

Чехловъ держалъ себя на этихъ прогулкахъ, попрежнему, молчаливо и безотвѣтно. За то Александра Яковлевна какъ будто нарочно старалась развернуть всѣ свои умственныя силы. Она съ интересомъ разспрашивала Чехлова о малѣйшихъ подробностяхъ ученія, докапываясь до самыхъ интимныхъ основъ его, и ни одной мысли Чехлова не оставляла безъ отвѣта. Иногда отвѣты были очень рѣзкіе, безповоротные. Такъ, однажды она разспрашивала о практическихъ путяхъ. Чехловъ распространился, но было ясно, что мысли его никогда не работали въ этомъ направленіи. Въ каждой фразѣ его слышалось изумительное легкомысліе, напыщенное пустословіе.

— Все это мнѣ ужасно странно,—однажды вдругъ замѣтила Александра Яковлевна. — „Любить... жить просто... отдавать людямъ свой трудъ"—гдѣ я объ этомъ слыхала? А гдѣ-то уже слыхала, только страшно давно, въ смутномъ прошедшемъ, безвозвратно исчезнувшемъ. Это прошлое оставило въ моей душѣ какое-то смутно-радостное чувство, но я, въ то же время, знаю, что его уже нѣтъ. Оно не вернется. Быть можетъ, эти слова мнѣ говорила мать, когда мнѣ было три-четыре года, а, быть можетъ, я ихъ переписывала нетвердою рукой изъ прописи, но только я знаю, что ихъ я уже больше ни отъ кого не слыхала въ такой наивной, дѣтской формѣ. Неужели у васъ больше ничего нѣтъ?

— Люди и должны быть просты, какъ дѣти, — возразилъ Чехловъ.

Онъ смотрѣлъ въ лицо собесѣдницы и искалъ въ немъ слѣдовъ ядовитаго юмора, съ какимъ она, казалось ему, говорила.

Но она и не думала смѣяться. Ей было просто досадно за его безотвѣтность.

Въ другой разъ, когда онъ заговорилъ о томъ, какъ легко каждому человѣку перевернуть свою жизнь и какъ просто

два удара, онъ съ счастливою улыбкой вышелъ на платформу, а отсюда въ вагонъ.

Но въ вагонѣ онъ оставался всего одну минуту; тамъ было много пассажировъ и въ тѣсномъ пространствѣ стоялъ тотъ характерный воздухъ, который окружаетъ спящихъ мужиковъ. Брезгливо плюнувъ на полъ, Чехловъ вышелъ на площадку и рѣшился не заглядывать больше въ вагонъ до самой станціи.

Когда поѣздъ двинулся, вѣтеръ какъ будто мгновенно стихъ. Но это оттого, что поѣздъ мчался по одному направленію съ вѣтромъ. Все небо, казалось, двигалось, гонимое страшнымъ вѣтромъ. Верхніе слои тучъ вѣтеръ гналъ въ одну сторону, нижній ихъ пластъ—въ противоположную, причемъ отъ тѣхъ и отъ другихъ отрывалъ огромные куски, перепутывалъ ихъ между собой, низвергалъ внизъ или бросалъ вверхъ. Въ воздухѣ носилась тоже густая пыль, рѣзавшая лицо; деревья, изрѣдка мелькавшія мимо поѣзда, печально гнули вершины и листья ихъ испуганно трепетали. Но онъ уже не задыхался. Выставивъ голову далеко за перекладину барьера, онъ съ застывшею улыбкой удовольствія наблюдалъ этотъ хаосъ и спокойно отмѣчалъ разстояніе, съ каждымъ мгновеніемъ уменьшавшееся.

Такъ онъ простоялъ до самой станціи, гдѣ ему слѣдовало слѣзать. Былъ уже полный разсвѣтъ, когда поѣздъ подъѣхалъ къ этой станціи. Чехловъ слѣзъ и рѣшился посидѣть здѣсь, прежде чѣмъ двинуться пѣшкомъ дальше. Александра Яковлевна встаетъ сравнительно поздно, часовъ въ семь, теперь было только начало пятаго. Но усидѣть на станціонной лавочкѣ онъ не могъ и нѣсколькихъ минутъ. Однако, прежде нежели отправиться въ путь, онъ прошелъ въ крохотную комнатку первыхъ классовъ, умылся, оправилъ себя и только тогда вышелъ на дорогу къ усадьбѣ.

Солнце только что встало. При его восходѣ вѣтеръ незамѣтно стихъ; отъ ночной бури остались только слабые слѣды,—по небу въ разныхъ направленіяхъ тихо плыли кучки разогнанныхъ тучъ. Но воздухъ былъ свѣжѣе вчерашняго, и Чехловъ бодро шелъ по дорогѣ, прислушиваясь къ пѣнію птичекъ, вдыхая ароматъ хлѣбныхъ полей, между которыми вилась дорога. Постепенно, не замѣчая того, онъ такъ ускорялъ шаги, что начиналъ почти бѣжать; тогда онъ круто

останавливался и старался идти какъ можно тише. Александра Яковлевна еще не встала, а безъ нея что ему тамъ дѣлать?

Вдругъ на одномъ поворотѣ дороги онъ взглянулъ по направленію къ усадьбѣ и остановился въ изумленіи. Не довѣряя глазамъ, онъ прикрылъ ихъ рукой и пристально вглядѣлся... Да, это была, несомнѣнно, она! И онъ быстро бросился по дорогѣ.

Черезъ четверть часа онъ уже приближался къ Александрѣ Яковлевнѣ и чувствовалъ, какъ къ его глазамъ подступаютъ слезы. Та давно замѣтила его, остановилась за рѣшеткой сада и съ улыбкой ждала его. Но когда онъ приблизился къ ней, на него вдругъ напала какая-то робость и смущеніе; онъ подумалъ, что она тотчасъ же спроситъ его: „Откуда это вы такъ рано?"—и смутился. Но она на самомъ дѣлѣ нисколько не удивилась. Предложивъ ему, дѣйствительно, такой вопросъ, она прибавила:

— Вы съ ночнымъ поѣздомъ?

— Да.

— Устали въ городѣ?

— Я сегодня ночью задохнулся-было.

— То же и здѣсь... какая ужасная была ночь! Я почти не спала... Едва забрезжило утро, я встала. Но у насъ все-таки лучше... Вы отлично сдѣлали, что пріѣхали. Отдохните здѣсь.

Александра Яковлевна ласково улыбалась. И Чехловъ чувствовалъ, какъ отъ этой ласки горячія слезы опять подступаютъ къ его сердцу. Но онъ сдержался отъ необузданнаго порыва радости. Онъ молча смотрѣлъ на Александру Яковлевну и сознавалъ, что этого ему довольно.

— Но что же мы стоимъ? Пойдемте, я васъ пока напою чаемъ. А когда управлюсь съ работами, мы отравимся въ лѣсъ,—сказала она и повела гостя въ домъ.

Лицо ея было живое, движенія бодрыя и твердыя. На щекахъ ея появился румянецъ, котораго Чехловъ ни разу не замѣчалъ раньше. Въ такомъ видѣ она казалась еще чище и проще. Идя немного позади ея, онъ не сводилъ съ нея глазъ. Горячая и глубокая радость такъ наполняла его, что онъ, казалось, лишился дара слова, холодныхъ наблюденій, злыхъ мыслей и острыхъ взглядовъ; когда въ столовой онъ

наткнулся на Хордина, то порывисто пожалъ ему руку и засмѣялся, какъ будто никогда не чувствовалъ пренебреженія къ нему.

Александра Яковлевна усадила ихъ обоихъ за чай, а сама ушла, чтобы исполнить всѣ утреннія работы по дому. Чехловъ сидѣлъ за столомъ, перекидывался словами съ Хординымъ, но слухъ его съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ за невидимыми для него движеніями Александры Яковлевны. Какъ иногда одинокая, но поразительная нота шумнаго оркестра внезапно наполняетъ все наше существо и мы съ восторгомъ слѣдимъ за ней среди грома и треска другихъ звуковъ, такъ онъ прислушивался къ невидимымъ движеніямъ Александры Яковлевны. Онъ пилъ чай, но слушалъ, какъ гдѣ-то вдали раздаются ея мягкіе шаги, какъ звучитъ къ кому-то обращенный ласковый голосъ ея, какъ поминутно слова ея чередуются съ тихимъ смѣхомъ. Потомъ гдѣ-то вдали онъ услыхалъ, что она тихо запѣла какую-то пѣсенку, и ея звукъ отозвался въ его сердцѣ страстнымъ изумленіемъ. Но вдругъ гдѣ-то хлопнула дверь, пѣніе ея внезапно оборвалось и Чехловъ съ тревогой оборвалъ на полусловѣ какую-то фразу, которую машинально говорилъ Хордину.

Хозяинъ съ улыбкой посмотрѣлъ на него.

— Вы, кажется, удивляетесь, что Саша можетъ пѣть?— спросилъ онъ.

Чехловъ вздрогнулъ отъ этого вопроса и выговорилъ что-то несвязное.

— Я не меньше вашего удивленъ... она стала весела и жива. Цѣлый день что-нибудь съ увлеченіемъ работаетъ и поетъ, а по вечерамъ садится за свои медицинскія книги и до глубокой ночи занимается...

Хординъ говорилъ съ радостью.

— Какія медицинскія книги?—спросилъ Чехловъ.

— Да развѣ вы не знаете?... Она уже переходила на четвертый курсъ академіи, но тутъ внезапно карьера ея измѣнилась... Мы поѣхали на Востокъ, потомъ смерть нашего сына... эта смерть, казалось, убила ее на-повалъ... Глядя на нее, и я измучился... И вдругъ жизнь какъ будто опять воротилась въ ея истрадавшееся сердце, и она стала такою, какъ вы ее видите сейчасъ... Вы спрашиваете, какія медицинскія книги? Я самъ не знаю, зачѣмъ она теперь ими за-

нялась... и не спрашиваю. Боюсь какимъ-нибудь грубымъ словомъ спугнуть ея свѣтлое настроеніе... пусть ее отдохнетъ.

Хординъ высказалъ все это несвязно, но въ каждомъ словѣ его, сказанномъ съ счастливымъ волненіемъ, слышалась любовь. Чехловъ смотрѣлъ на него и внезапно похолодѣлъ, чувствуя, какъ неизвѣстно отъ чего сжалось его сердце. Когда Хординъ послѣ чая торопливо ушелъ по дѣламъ, онъ скучно обвелъ глазами комнату.

Но немного спустя вошла Александра Яковлевна. Онъ живо поднялъ голову, какъ будто сюда внезапно ворвался цѣлый потокъ солнечныхъ лучей.

— Вотъ я и готова! Если хотите, идемъ! — сказала она оживленно и съ раскраснѣвшимся отъ работы лицомъ.

Чехловъ порывисто поднялся съ мѣста и черезъ нѣсколько минутъ они уже вышли изъ дома. Солнце стояло высоко и немилосердно жгло.

— Опять духота, какъ вчера!... Но я проведу васъ въ такое мѣсто, которое, надѣюсь, вамъ понравится. Если же оно вамъ не понравится, то вы, значитъ, ничего не понимаете въ красотѣ... А, можетъ быть, я ничего не понимаю...—говорила она со смѣхомъ.

Въ другое время Чехловъ воспользовался бы этими словами, чтобы обнаружить всю силу своей діалектики. Но теперь онъ молчалъ и только улыбался; онъ молча смотрѣлъ на спутницу, лишенный воли и забывшій про свое огромное „я". Онъ шелъ рядомъ съ ней, слабо отвѣчалъ на ея слова и видѣлъ только ея фигуру. Иногда его взглядъ блуждалъ по сторонамъ, не на нее обращенный, но онъ все-таки зналъ каждое ея движеніе и чувствовалъ малѣйшее измѣненіе на ея лицѣ. Невидимая, она рисовалась передъ нимъ вся цѣликомъ.

Окружающее исчезло съ его поля зрѣнія. Они сначала проходили между двухъ стѣнъ созрѣвающихъ хлѣбовъ, потомъ шли по густымъ кустамъ перелѣсковъ, среди осиновыхъ рощъ, проходили и по заросшимъ бурьяномъ прошлогоднимъ жнивьямъ, но онъ ничего не замѣчалъ. Въ блуждающемъ взорѣ его не отразилось ни жгучее солнце, ни голубое небо, ни эти перелѣски, ни далекій горизонтъ, куда, повидимому, онъ смотрѣлъ. Все поле его зрѣнія занято было однимъ образомъ, который закрылъ собою даже собственную его самолюбивую душу. Онъ совсѣмъ забылъ о себѣ и гдѣ онъ.

Но вдругъ Александра Яковлевна остановилась на крутомъ возвышеніи внезапно открывшагося оврага и, указывая рукой, живо сказала:

— Смотрите!

Чехловъ съ изумленіемъ обвелъ глазами указанное пространство; то было дикое „Разбойничье гнѣздо". Глазамъ оно открывалось внезапно,—не знавшій его человѣкъ за минуту не могъ бы и заподозрить его близости. Чехловъ не зналъ о немъ и теперь съ изумленіемъ оглядывалъ эти глубокія впадины и корридоры, покрытыя страшною путаницей деревьевъ и кустовъ.

— Ну, что, нравится?—спросила съ озабоченнымъ видомъ Александра Яковлевна, какъ будто ей хотѣлось услышать изъ его устъ восторгъ передъ ея любимымъ мѣстомъ. Но, не дожидаясь отвѣта, она прибавила:—Впрочемъ, сойдемъ пониже, тутъ жарко!

Она быстро, привычными шагами стала спускаться внизъ по гребню. Внизу виднѣлась крошечная лужайка, закрытая отъ солнца широко раскидавшимся вязомъ и съ трехъ сторонъ обрѣзанная глубокими обрывами.

— Идите сюда... Теперь смотрите!—говорила она, когда оба уже стояли на маленькой площадкѣ подъ вязомъ.

Отсюда видны были всѣ развѣтвленія овраговъ, всѣ высокія, рѣзко оборванныя стѣны и всѣ причудливыя лѣсныя заросли, деревья которыхъ низко нагибали свои вершины куда-то внизъ, какъ будто всѣ были заинтересованы, что̀ тамъ такое на днѣ. И, какъ бы въ отвѣтъ на ихъ любопытство, со дна раздавалось журчанье ручьевъ, неизвѣстно о чемъ шептавшихъ.

— Нравится?—переспросила еще разъ Александра Яковлевна и съ удовлетворенною гордостью осматривала свое любимое гнѣздо.

Чехловъ пристально смотрѣлъ по сторонамъ, прислушивался, потянулъ влажный, прохладный воздухъ и съ улыбкой высказалъ свое восхищеніе.

— Удивительно!... Даже и подозрѣвать нельзя, чтобы могъ быть въ этой плоской равнинѣ такой причудливый уголокъ! Да и самъ онъ... вѣдь это просто нѣсколько дикихъ, безобразныхъ ямъ, а, между тѣмъ, какая сила впечатлѣнія!

Онъ говорилъ спокойно. Взглядъ его глазъ сталъ холоднѣе,

наблюдательнѣе. Повидимому, онъ стряхнулъ съ себя очарованіе, произведенное присутствіемъ Александры Яковлевны, и пытливо, съ полнымъ самообладаніемъ осматривалъ оригинальный уголокъ. Какъ знатокъ красоты, онъ теперь сознательно оцѣнивалъ это неожиданное, причудливое мѣстечко.

— Очень рада... А я уже думала, что только одной мнѣ, ничего не понимающей въ эстетикѣ, нравится „Разбойничье гнѣздно"!

— Развѣ эстетика можетъ научить пониманію прекраснаго?—спросилъ Чехловъ и обычная насмѣшливость послышалась въ его словахъ.

— Говорятъ, можетъ.

— Не вѣрьте! Ложь... Вы любите вотъ это гнѣздо?

— Люблю!—отвѣтила съ улыбкой Александра Яковлевна.

— И любите. Больше ничего и не надо. Любите—это и есть прекрасное. Другой красоты нѣтъ. И все, что въ каждомъ другомъ человѣкѣ вызываетъ любовь, все то и будетъ для него прекраснымъ. Но не болѣе!

— Если человѣкъ любитъ нѣчто безобразное?

— Значитъ, такая же и душа его, безобразная. Каждый человѣкъ можетъ вмѣстить и понять прекрасное только въ той мѣрѣ, въ какой прекрасное въ немъ самомъ существуетъ. Мѣра эта точная, какъ вѣсы. Сколько въ тебѣ прекраснаго, столько же ты найдешь и внѣ себя, не болѣе!

— Но какъ же такъ?...—возразила Александра Яковлевна съ живымъ любопытствомъ,—а развѣ не бываютъ случаи, когда человѣкъ по невѣдѣнію не понимаетъ красоты въ художественномъ произведеніи, но послѣ разъясненія понимаетъ и наслаждается?

— Тутъ можетъ быть два случая... Или въ душѣ этого человѣка нѣтъ прекраснаго, и тогда никакими объясненіями онъ не пойметъ и то прекрасное, которое внѣ его, или въ душѣ его есть подходящія струны, но онъ ихъ долженъ самъ натянуть, прежде нежели получить просвѣтлѣніе; прежде чѣмъ онъ пойметъ данное внѣ прекрасное, онъ долженъ его имѣть въ своей душѣ... А эстетика и ея мнимые законы—это одинъ изъ тѣхъ проклятыхъ мертвыхъ идоловъ, который созданъ жрецами искусства на погибель этого искусства. Творчество не имѣетъ ни формъ, ни границъ; скованное неизмѣнными законами, оно погибаетъ, какъ сво-

бодная душа человѣка въ рабствѣ... потому что источникъ прекраснаго—та же любовь.

Чехловъ совершенно оправился отъ недавней слабости и смотрѣлъ сурово, проницательно.

— А гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ и прекраснаго?—спросила съ возростающимъ любопытствомъ Александра Яковлевна.

— Нѣтъ и быть не можетъ! Прекрасное — это любовь. Сколько въ человѣкѣ любви, столько онъ видитъ и прекраснаго вокругъ себя. Здѣсь точная мѣра красоты для каждаго даннаго человѣка и для каждаго момента его жизни: сколько любишь, столько ты и видишь прекраснаго... Если же многіе люди признаютъ прекрасное въ однихъ и тѣхъ же предметахъ, это значитъ, что большинство изъ нихъ только притворяются, будто эти предметы доставляютъ имъ наслажденіе, притворяются, чтобы не показаться смѣшными и невѣжественными. Такъ называемые законы эстетики создаютъ только особаго рода лицемѣровъ, — лицемѣровъ прекраснаго... Если вы встрѣтите жестокаго, развратнаго человѣка наслаждающимся вашимъ прекраснымъ, то вы скажите ему: ты лжешь! Ты лжешь, потому что можешь понять только жестокую, развратную красоту, и для тебя ее создаютъ похожіе на тебя художники! И если вы встрѣтите жестокаго, развратнаго художника, думавшаго создать прекрасную вещь для любящихъ, чистыхъ, милосердныхъ людей, то вы скажите ему: прочь мертвыя, развратныя руки!

„Вотъ теперь онъ опять похожъ на Чехлова", — думала Александра Яковлевна.

— Нѣкоторые выводятъ чувство прекраснаго изъ потребности человѣка украшать себя... Свирѣпый дикарь, рыскающій въ лѣсной чащѣ, говорятъ, все же обладаетъ чувствомъ прекраснаго,—онъ украшаетъ свое тѣло татуировкой, въ носъ втыкаетъ кусочекъ палки... Спрашивается, неужели и у этого жалкаго звѣря потребность украшенія зависитъ отъ любви?—спросила Александра Яковлевна и лукаво улыбнулась.

Чехловъ нахмурилъ брови, но тотчасъ же засмѣялся.

— Непремѣнно! Этотъ дикарь обладаетъ чувствомъ прекраснаго въ той мѣрѣ, сколько въ немъ любви. Любовь его, грубая, звѣриная, направлена исключительно на себя, а не

на природу и людей; таково же и его прекрасное. И если онъ втыкаетъ въ носъ рыбью кость, морду свою разрисовываетъ ножемъ и думаетъ, что это прекрасно, какъ въ немъ, такъ и въ ближнемъ его, то здѣсь точная мѣра его любви...

Въ это время гдѣ-то на днѣ одного изъ овраговъ послышался трескъ и прозвучалъ эхомъ по всему „гнѣзду". Александра Яковлевна живо поднялась съ лужайки, гдѣ они сидѣли, бросилась къ самому краю обрыва и, держась за вѣтку вяза, наклонилась внизъ, чтобы посмотрѣть, что тамъ такое.

Чехловъ, въ головѣ котораго уже толпился цѣлый рой мыслей, вдругъ разомъ ихъ забылъ и обмеръ. Потомъ онъ бросился къ Александрѣ Яковлевнѣ и крѣпко схватился за ея руку.

— Что вы дѣлаете?! — закричалъ онъ, пораженный ужасомъ.

Александра Яковлевна отступила немного отъ края и посмотрѣла на него, удивленная его крикомъ.

— Такимъ ужаснымъ крикомъ вы дѣйствительно могли втолкнуть меня въ оврагъ!... Чего вы испугались? — сказала она и, замѣтивъ испугъ на его лицѣ, громко расхохоталась.

Чехловъ уже сконфужено глядѣлъ ей въ лицо, стыдясь своего необъяснимаго порыва. Въ то же время, лицо его свѣтилось радостною улыбкой. Онъ вдругъ опустился на лужайку и пригласилъ то же самое сдѣлать и Александру Яковлевну.

— Не глядите больше туда, внизъ... Давайте лучше говорить о прекрасномъ... мы не кончили, — сказалъ онъ и пытался возстановить насмѣшливый тонъ.

Александра Яковлевна усѣлась. Но Чехловъ уже не говорилъ больше такъ энергично, какъ за минуту передъ тѣмъ. Съ его языка сорвались фразы до такой степени плоскія, что онъ самъ застыдился и замолчалъ. Какъ будто всѣ его острыя мысли провалились въ бездну, умъ сталъ тупымъ и безоружнымъ. Онъ только чувствовалъ, какъ томительно бьется его сердце и душа полна неосязаемымъ и невыразимымъ образомъ. Взглядъ его блуждалъ по вершинамъ лѣса, не смѣя остановиться прямо на лицѣ Александ-

и, не видя тамъ никого, бѣсился. И, въ то же время, опять сознавалъ, что это бѣшенство, увеличивающееся съ каждымъ мгновеніемъ, безсмысленно. Развѣ Чехловъ или жена сдѣлали что-нибудь дурное, чтобы вызвать его злобу? Но онъ все-таки продолжалъ сидѣть, раздраженно барабанилъ пальцами по стеклу и горѣвшими отъ нетерпѣнія глазами оглядывалъ всѣ опушки лѣса.

Вдругъ на краю одной изъ рощъ онъ замѣтилъ двѣ фигуры, мелькавшія между деревьями; онъ ихъ тотчасъ узналъ; онѣ быстро шли по направленію къ дому. Одну минуту Хординъ наблюдалъ за ними; потомъ онъ бросился отъ окна, прошелъ черезъ всѣ комнаты почти бѣгомъ, какъ воръ, похитившій какую-то вещь, и вышелъ на дворъ съ такимъ перепуганнымъ лицомъ, какъ будто за нимъ гнались. Онъ торопливо старался скрыть всѣ слѣды своего сидѣнья у окна, и ему это удалось. Когда Александра Яковлевна и Чехловъ вошли черезъ калитку во дворъ, онъ встрѣтилъ ихъ лѣнивымъ, равнодушнымъ взглядомъ и лѣнивымъ голосомъ выговорилъ:

— А, это вы! Что же вы такъ мало гуляли? Вечеръ чудесный.

— Какъ мало? Почти половину дня! Заговорились и не замѣтили, какъ подкрался вечеръ, — отвѣтила просто Александра Яковлевна.

Хординъ бросилъ пристальный взглядъ на ея открытое лицо и мгновенно ему стало стыдно за ту безсмысленную тревогу, съ которой онъ сидѣлъ передъ окномъ. Онъ готовъ былъ приласкаться къ женѣ, еслибы не молчаливое присутствіе Чехлова, но, вмѣсто этого, закричалъ на прислугу, чтобы она поскорѣе подогрѣла самоваръ. Александра Яковлевна не обратила вниманія на виноватый видъ мужа и прошла въ комнаты.

А Чехловъ скоро ушелъ на поѣздъ. Хординъ, съ его уходомъ, забылъ о непріятномъ чувствѣ.

Но на слѣдующій день Чехловъ опять пріѣхалъ, на третій день также. Наконецъ, его посѣщенія стали регулярны, изо дня въ день. Тревога Хордина также стала проявляться регулярно, какъ перемежающаяся лихорадка. Когда Чехловъ уѣзжалъ, тревога его мгновенно падала, но лишь тотъ появлялся на слѣдующій день, какъ мгновенно въ Хординѣ поднималась мука ревности. Да, это уже была ревность.

Она возростала до мучительной боли въ тѣ часы, когда жена и Чехловъ уходили на отдаленную прогулку по лѣсу.

Александра Яковлевна продолжала исполнять всѣ свои и домашнія работы, но лишь только освобождалась отъ нихъ, тотчасъ приглашала Чехлова, и они вдвоемъ уходили въ поле, въ лѣсъ или къ „Разбойничьему гнѣзду“.

Чехловъ держалъ себя на этихъ прогулкахъ, попрежнему, молчаливо и безотвѣтно. За то Александра Яковлевна какъ будто нарочно старалась развернуть всѣ свои умственныя силы. Она съ интересомъ разспрашивала Чехлова о малѣйшихъ подробностяхъ ученія, докапываясь до самыхъ интимныхъ основъ его, и ни одной мысли Чехлова не оставляла безъ отвѣта. Иногда отвѣты были очень рѣзкіе, безповоротные. Такъ, однажды она разспрашивала о практическихъ путяхъ. Чехловъ распространился, но было ясно, что мысли его никогда не работали въ этомъ направленіи. Въ каждой фразѣ его слышалось изумительное легкомысліе, напыщенное пустословіе.

— Все это мнѣ ужасно странно,—однажды вдругъ замѣтила Александра Яковлевна. — „Любить... жить просто... отдавать людямъ свой трудъ“—гдѣ я объ этомъ слыхала? А гдѣ-то уже слыхала, только страшно давно, въ смутномъ прошедшемъ, безвозвратно исчезнувшемъ. Это прошлое оставило въ моей душѣ какое-то смутно-радостное чувство, но я, въ то же время, знаю, что его уже нѣтъ. Оно не вернется. Быть можетъ, эти слова мнѣ говорила мать, когда мнѣ было три-четыре года, а, быть можетъ, я ихъ переписывала нетвердою рукой изъ прописи, но только я знаю, что ихъ я уже больше ни отъ кого не слыхала въ такой наивной, дѣтской формѣ. Неужели у васъ больше ничего нѣтъ?

— Люди и должны быть просты, какъ дѣти, — возразилъ Чехловъ.

Онъ смотрѣлъ въ лицо собесѣдницы и искалъ въ немъ слѣдовъ ядовитаго юмора, съ какимъ она, казалось ему, говорила.

Но она и не думала смѣяться. Ей было просто досадно за его безотвѣтность.

Въ другой разъ, когда онъ заговорилъ о томъ, какъ легко каждому человѣку перевернуть свою жизнь и какъ просто

дѣлаетъ Александра Яковлевна по отношенію къ нему, и за этою утомительною работой ему некогда было думать о защитѣ своего ученія. Оно смутно рисовалось ему, когда онъ сидѣлъ передъ Александрой Яковлевной. Только въ рѣдкія минуты умъ его освобождался отъ поработившаго его образа и жестоко указывалъ на фактъ измѣны. „Ты измѣнилъ первому закону твоего ученія — быть свободнымъ всюду и поработилъ себя женщинѣ!" — говорилъ ему умъ. Но проходило мгновеніе и этотъ умъ ужь покорно, не возмущаясь, начиналъ работать надъ тѣмъ, что приказывало ему сердце.

Сердце сдѣлалось господиномъ. Чехловъ любилъ.

Но какая это была странная любовь! Въ то время, какъ сердце его праздновало весну и билось отъ неизвѣданнаго счастья или сжималось отъ безпричинной тоски, умъ его холодно, какъ добросовѣстный счетчикъ, отмѣчалъ каждый его ударъ. Сердце стало его господиномъ, а умъ рабомъ, но какой это былъ лукавый, подлый рабъ! Ни одного шага господина онъ не пропускалъ безъ того, чтобы не присутствовать при его исполненіи, ни одного движенія господина не ускользало отъ него. Онъ все зналъ, во все вмѣшивался, всюду слѣдовалъ за своимъ господиномъ, и вездѣ, при всѣхъ дѣяніяхъ того, подавалъ совѣты, читалъ нравоученія, замѣчалъ ошибки, указывалъ выходъ.

Такъ что, въ сущности, Чехловъ и не Александру Яковлевну изучалъ, а себя и тѣ новыя ощущенія, которыхъ онъ не зналъ раньше. Иногда онъ разсуждалъ практически и заранѣе пытался угадать, какъ ему въ будущемъ придется жить, что надо сдѣлать, чтобы устранить Хордина, просто ли разорвать старую связь, или путемъ развода, какъ къ этому отнесется Хординъ, какъ онъ будетъ думать и что всѣ они будутъ *тогда* думать?

Только въ нѣкоторыя мгновенія чувство широкою волной заливало всѣ холодныя и лукавыя соображенія ума. Чехловъ смотрѣлъ тогда дикимъ и необузданнымъ, какимъ былъ его отецъ. Сидя въ лѣсу рядомъ съ Александрой Яковлевной, онъ иногда въ порывѣ восторга желалъ бы взять ее на руки, пронести черезъ этотъ лѣсъ, пробѣжать по полю, перепрыгнуть послѣдній оврагъ, добѣжать до станціи и при свистѣ паровоза увезти ее туда, въ безконечную даль, по

ту сторону горизонта. Пріѣзжая въ усадьбу, онъ въ первую минуту свиданія готовъ былъ броситься къ Александрѣ Яковлевнѣ со всѣхъ ногъ и сказать ей про все, а уѣзжая отъ нея, онъ чувствовалъ, что сердце его разрывается отъ тоски.

Но это были только мгновенія. Въ остальное время умъ его, хотя и порабощенный, безъ устали считалъ каждый ударъ сердца и зорко слѣдилъ за всѣмъ, что онъ дѣлаетъ.

X.

Александра Яковлевна долго не видала Буреева. Мелькомъ встрѣчая его, она замѣчала въ немъ какую-то хорошую перемѣну, но не могла отгадать, откуда она идетъ. До недавняго времени онъ проводилъ жизнь лѣниво и безалаберно. Что бы только ни дѣлалъ онъ: сидѣлъ-ли за обѣдомъ, ѣхалъ-ли въ городъ по домашнимъ дѣламъ, говорилъ-ли или слушалъ, все это совершалось съ явною неохотой, весь его видъ какъ будто говорилъ: „Да развѣ я обязанъ жить? Вотъ еще!“ Но съ нѣкотораго времени въ фигурѣ его появилась необычайная живость, въ словахъ — горячее волненіе, въ мысляхъ—пытливость. Онъ куда-то торопливо ѣздилъ, велъ какія-то хлопоты, на каждомъ шагу и со всѣми затѣвалъ буйные споры.

И вотъ однажды въ такомъ буйномъ настроеніи онъ пріѣхалъ изъ своей усадьбы къ Хординымъ.

— Гдѣ это вы пропадали? — спросила его Александра Яковлевна.

— Да такъ, разныя дѣлишки. Кое-что устраивалъ... Видите-ли, я пришелъ недавно къ заключенію, что много спать довольно вредно. Спишь, спишь, а проснешься — и ничего не понимаешь... Темно. Озираешься эдакъ съ просонья по сторонамъ и думаешь: гдѣ это я? Дверь-то гдѣ, и съ которой стороны солнце-то заходитъ? Не понимаешь! Кажется, ложился спать днемъ послѣ обѣда, а теперь, кажется, утро. Озираешься по сторонамъ, въ груди тяжело, мозгъ работаетъ какъ у осла, котораго передъ тѣмъ били палками, и долго ничего не понимаешь, только какая-то свирѣпая жестокость появляется въ душѣ, самъ себѣ противенъ!...

Вслѣдъ затѣмъ онъ съ одушевленіемъ заговорилъ о сво-

ихъ планахъ и о томъ, какого рода „дѣлишки" занимали его въ послѣднее время. Александра Яковлевна съ полнымъ сочувствіемъ слушала и уже хотѣла съ своей стороны подѣлиться планами. Но Буреевъ не далъ ей сказать ни одного слова.

— Впрочемъ, я не за тѣмъ пріѣхалъ... Вы не знаете новость? Вѣдь мои-то женятся!—сказалъ онъ внезапно и вдругъ расхохотался.

— Какіе ваши?—спросила Александра Яковлевна.

— Да Божьи коровки-то!

И еще добродушнѣе расхохотался, такъ что глаза его наполнились слезами. Но вдругъ онъ самъ себя прервалъ и уже задумчиво прибавилъ:

— Въ сущности, лучше мужа, какъ нашъ Михаилъ Егоровичъ, нельзя въ цѣломъ свѣтѣ сыскать!

Высказавъ это увѣренно, онъ вслѣдъ затѣмъ разсказалъ, какъ было дѣло, и просилъ Александру Яковлевну принять участіе въ свадьбѣ. По желанію Мизинцева и Маши, обвѣнчаются они въ сельской церкви той деревни, гдѣ жили Хордины, проведутъ время до поѣзда у Хординыхъ, а съ послѣднимъ поѣздомъ отправятся въ городъ.

— Само собою разумѣется, никакихъ скверныхъ принадлежностей свадьбы быть не должно при семъ! Вина ни капли. Табакъ не курить. Воспрещаются бѣсовскія игрища, руками плесканія, головой помаванія и пѣсни поганскія! Такъ хочетъ Михаилъ Егоровичъ. Завтра мы къ вамъ подъ вечеръ съѣдемся, побываемъ въ церкви, напьемся жидкаго чайку въ прикуску на чистомъ воздухѣ—и свадьба готова! По крайней мѣрѣ, двумя влюбленными дураками на свѣтѣ будетъ меньше!

Передавая желанія Мизинцева въ такой шутовской формѣ, Буреевъ опять залился смѣхомъ до слезъ. А немного погодя онъ уже простился и поспѣшно поѣхалъ къ село, къ священнику.

Какъ желалъ Мизинцевъ, такъ все и случилось.

Въ саду былъ накрытъ чайный столъ. Стоялъ теплый, августовскій вечеръ. Возвратившись изъ церкви, всѣ съ оживленіемъ заняли мѣста вокругъ самовара. Кромѣ знакомыхъ, тутъ сидѣли еще двое незнакомыхъ съ Хординымъ товарищей Мизинцева, исполнявшихъ обязанности шаферовъ. Но

ихъ присутствіе нисколько не мѣшало общему живому настроенію. Свадьба совершилась такъ скоро и просто, что ни одному изъ участниковъ ея не было нужды настраивать себя на какой-то особенный свадебный ладъ. Каждый чувствовалъ себя дома, за простымъ дѣломъ, съ обыденнымъ строемъ мысли. Это было настроеніе будничное и бодрое. Только на лицо Маши по временамъ набѣгали тѣни задумчивости и румянецъ на ея щекахъ то блѣднѣлъ, то сильнѣе разгорался, да самъ Михаилъ Егоровичъ чего-то немного конфузился.

Но этихъ мелочей никто не замѣчалъ подъ перекрестнымъ огнемъ шутокъ и смѣха. Въ особенности былъ въ ударѣ Буреевъ. Онъ произнесъ нѣсколько курьезныхъ спичей и все время потѣшалъ публику. Хординъ такъ хохоталъ, что потомъ сталъ смѣяться уже безъ всякой причины; взглянетъ на него Буреевъ, и онъ хохочетъ...

Веселое настроеніе маленькаго общества поддерживалось еще чуднымъ вечеромъ. Жара спала. Съ полей доносился ароматъ сжатыхъ хлѣбовъ. Воздухъ застылъ въ неподвижномъ покоѣ. Деревья въ саду замерли въ беззвучной истомѣ. Послѣдніе лучи солнца съ мягкою любовью ласкали всѣ предметы, играя на дремавшихъ листьяхъ, на перламутровыхъ перьяхъ голубей, собравшихся на крышѣ, въ золотистыхъ волосахъ невѣсты, въ ея влажныхъ глазахъ, въ ея горящемъ лицѣ, но, прощаясь послѣдними поцѣлуями съ землей, солнце съ багровою краской гнѣва смотрѣло назадъ, въ ту сторону, откуда надвигалась ночь. И ночь, какъ будто стыдясь себя, тихо и безшумно надвигалась, незамѣтно занимала оставленные свѣтомъ уголки и робкими тѣнями подкрадывалась къ столу, гдѣ раздавались веселые голоса. Когда сумерки закрыли прозрачною пеленой дальніе уголки сада, а въ воздухѣ чувствовалась уже влажная свѣжесть, за калиткой вдругъ показалась фигура Чехлова. Онъ хотѣлъ пройти, минуя садовую калитку, но когда услышалъ позади себя голоса, вдругъ обернулся, пристально вглядѣлся въ кучку людей, сидѣвшихъ за столомъ, и нахмурилъ брови. Онъ пріѣхалъ изъ города, чтобы видѣть только Александру Яковлевну, но, наткнувшись на цѣлую компанію чужихъ, непріятныхъ людей, онъ сначала оторопѣлъ, а потомъ желчная

досада разлилась по его сердцу. Съ тяжелымъ выраженіемъ на лицѣ онъ подошелъ къ столу, подъ деревья.

Мгновенно произошло всеобщее замѣшательство. Протягивая гостю руку, каждый чувствовалъ какое-то недоброжелательное чувство къ нему. Лица у всѣхъ вытянулись. У Хордина дрожала рука, мѣшавшая ложечкой чай въ стаканѣ. Мизинцевъ низко нагнулся надъ столомъ. Маша съ необъяснимою тревогой прижалась къ Александрѣ Яковлевнѣ. Только послѣдняя съ прежнею непринужденностью обратилась къ Чехлову съ предложеніемъ присѣсть. Чехловъ взялъ стулъ, но сѣлъ нѣсколько поодаль отъ стола.

— Пріѣхали къ намъ на свадьбу?—замѣтила Александра Яковлевна, ничего не подозрѣвая.

Чехловъ удивленно оглянулъ всѣхъ присутствующихъ. Было очевидно, что свадьбы онъ даже и не подозрѣвалъ. Мизинцевъ, между тѣмъ, вдругъ покраснѣлъ и въ замѣшательствѣ заговорилъ, обращаясь къ Александрѣ Яковлевнѣ:

— Денисъ Петровичъ не знаетъ, что тутъ свадьба... Хотя мы и въ одномъ домѣ живемъ, но я не счелъ нужнымъ сообщать ему, и не пригласилъ. Онъ слишкомъ занятъ, чтобы заниматься еще свадьбами...

Мизинцевъ сказалъ это торопливо, весь красный, и безъ всякаго желанія сказать колкость по адресу Чехлова. Но послѣдній пристально оглянулъ его и вдругъ насмѣшка заиграла на его губахъ.

— Дѣйствительно, мнѣ рѣшительно не могло придти въ голову, что Михаилъ Егоровичъ женится. Иначе я, незванный, не посмѣлъ бы показаться сюда. Тѣмъ болѣе, свадьбы не мнѣ устраивать,—сказалъ онъ жестко.

— Почему же?—спросила Александра Яковлевна и засмѣялась.

— Не могу.

— Будто свадьба дурное или непріятное дѣло?

— Зачѣмъ дурное!... Я только никогда не участвую ни въ какихъ обрядахъ,—заговорилъ Чехловъ прежнимъ, злораднымъ тономъ.—Досадно и грустно. Человѣкъ каждый свой актъ облекаетъ въ священнодѣйствіе и всю жизнь что-нибудь празднуетъ. Подошли-ли именины — и праздникъ, исполнилось-ли двадцать лѣтъ лѣнивой и вредной дѣятельности— опять праздникъ. Женится-ли онъ, или разводится съ супру-

гой, умираетъ или родится, переходитъ-ли въ новый домъ, или поправляетъ старый,—опять все праздники, съ рѣчами и обѣдами. Даже самый обѣдъ у „порядочныхъ людей“ обставляется такою торжественностью, словно желудокъ—величественный богъ. Самымъ низкимъ, животнымъ актамъ человѣкъ старается придать святость, которой быть не можетъ въ нихъ, и самые низкіе свои поступки хочетъ облагородить... Какъ священнодѣйствуетъ женщина, наряжающаяся выйти на прогулку! Какимъ гордымъ чувствуетъ себя мужчина, которому удалось въ первый разъ напиться пьянымъ!... Когда люди идутъ на войну, они предварительно освящаютъ ножи, которыми будутъ рѣзать горла другихъ людей. Если устраивается новая бойня для скота, она сначала освящается торжественнымъ актомъ. Часто человѣкъ отъ животнаго отличается только тѣмъ, что видитъ священное въ томъ, что совершаетъ только по необходимости. Какъ же не избѣгать всякихъ торжествъ? Свадьба-ли, именины-ли, рожденіе-ли гдѣ совершаются, я бѣгу какъ можно дальше... Мнѣ досадно и больно участвовать въ торжествѣ, гдѣ нѣтъ ничего торжественнаго, на праздникѣ, отъ котораго непремѣнно кто-нибудь плачетъ.

Звукъ его голоса, раздававшійся въ сумеркахъ, наводилъ положительно ужасъ на молодую дѣвушку, принявшую сегодня имя любимаго человѣка; она съ широко раскрытыми глазами смотрѣла на него, въ то же время, прижимаясь къ Александрѣ Яковлевнѣ. Всѣмъ остальнымъ стало неловко и досадно. А Хординъ вдругъ поднялся изъ-за стола, злобно двинулъ стуломъ, на которомъ сидѣлъ, опрокинулъ его на траву и молча ушелъ въ глубину сада, не желая даже извиняться какимъ-нибудь предлогомъ.

Но самъ Чехловъ оставался насмѣшливо-холоднымъ. Впрочемъ, онъ прекратилъ свою рѣчь, когда замѣтилъ общую подавленность.

Прошло нѣсколько минутъ въ совершенномъ молчаніи. Слышался невнятный шелестъ листьевъ, которыми шевелилъ неуловимый вѣтеръ; надъ головой пѣли мошки; самоваръ, застывая, жалобно допѣвалъ какую-то одну тонкую ноту; изъ деревни доносился лай собакъ. Какъ будто у всѣхъ пропалъ даръ слова,—такъ непріятно было каждому изъ сидящихъ за столомъ.

Первымъ заговорилъ Мизинцевъ.

— Не пора-ли, господа, намъ перебраться въ комнаты? Кажется, довольно свѣжо,—сказалъ онъ и, взявъ со спинки стула платокъ, накинулъ его на плечи Маши.

Досада, почти злоба сверкала въ его добрыхъ глазахъ, когда онъ слушалъ слова Чехлова, но когда онъ накидывалъ Машѣ платокъ и заглянулъ ей въ глаза, мгновенно это выраженіе растаяло. Онъ забылъ о Чехловѣ и его словахъ, отравившихъ этотъ вечеръ.

Всѣ поспѣшно отозвались на его приглашеніе, въ томъ числѣ и Хординъ, возвратившійся изъ темной глубины сада, и направились въ домъ. Послѣдними шли Чехловъ и Александра Яковлевна. Но Чехловъ, по выходѣ изъ сада, когда уже всѣ ушли, вдругъ остановился, дотронулся рукою до руки Александры Яковлевны и сказалъ глухо:

— Прощайте!

— Куда же вы?—спросила та съ удивленіемъ.

— Я пріѣхалъ только васъ видѣть... Только съ вами мнѣ нужно было говорить... Но теперь... не могу! Прощайте.

Все это Чехловъ выговорилъ съ внезапнымъ волненіемъ, замирающимъ голосомъ. Потомъ схватилъ руку Александры Яковлевны, пожалъ ее до боли и бросился по дорогѣ къ вокзалу. Александра Яковлевна смотрѣла ему вслѣдъ, пока фигура его не исчезла въ ночной мглѣ. Тогда она направилась домой, изумленная и въ первый разъ встревоженная тяжелымъ подозрѣніемъ. Въ темнотѣ лицо ея загорѣлось краской, а сердце сжалось отъ какого-то предчувствія. Но когда она вошла въ освѣщенную комнату, никто не замѣтилъ испуга на ея лицѣ.

Тамъ продолжалось то самое непріятное молчаніе, которое произвелъ Чехловъ. Даже веселый Буреевъ никакъ не могъ настроить себя на живой ладъ. Но лишь только онъ узналъ, что Чехловъ ушелъ, какъ моментально засмѣялся.

— Что это за странный человѣкъ!—вскричалъ онъ оживленно.—Кажется, его прямая и единственная обязанность отравлять каждую минуту человѣческой жизни!... Ей-Богу, когда онъ появился, я тотчасъ почувствовалъ, что совершилъ какое-то преступленіе... не то укралъ что, не то кому-то голову отрѣзалъ... Вѣдь можетъ же уродиться такой чудакъ!

— Просто бездѣльникъ!—вдругъ возразилъ на это Хординъ и съ яростью сверкнулъ глазами.

Александра Яковлевна слушала задумчиво и съ тою же задумчивостью всзразила, обращаясь исключительно къ Буреему:

— Вы говорите—странный? По-моему, несчастный! Я еще не видала человѣка съ бóльшимъ преобладаніемъ головы надъ сердцемъ... Такіе люди не живутъ, а только думаютъ, да, пожалуй, и не думаютъ, а только наблюдаютъ свои думы. Умъ его не изъ тѣхъ умовъ, которые строятъ цѣльныя и удобныя зданія мысли, а только разрушаютъ, — умъ его сильный и, въ то же время, ничтожный. Мысли его не даютъ плода, онѣ только борются между собою... Мнѣ кажется, въ душѣ у него, вмѣсто цѣльныхъ образовъ, пустынныя развалины, въ которыхъ холодно и жутко... Большая голова и маленькое сердце—это ужасное дѣло! Мнѣ иногда кажется, что когда онъ выражаетъ какую-нибудь мысль, сзади нея уже стоитъ другая мысль и подкарауливаетъ первую, чтобы убить ее. Нѣтъ, это не странный человѣкъ, а ужасно несчастный!

— „Несчастный“... просто бездѣльникъ!—вдругъ опять бѣшено вмѣшался Хординъ. — Я бы такихъ... Проповѣдуетъ трудъ, а самъ безъ дѣла слоняется! Проповѣдуетъ любовь, а не пропуститъ ни одного человѣка, чтобы не оскорбить его... скотина эдакая!

Хординъ злобно поводилъ глазами по лицамъ, но вдругъ встрѣтился съ глазами жены и обмеръ. Лицо Александры Яковлевны въ это мгновеніе покрылось пятнами, въ глазахъ свѣтилось негодованіе, сжатыя руки ея хрустнули.

— Ты никакъ не можешь обойтись безъ ругани, къ которой привыкъ на дворѣ,—сказала она тихо, но съ страшнымъ презрѣніемъ.—Это ты-то ругаешь Чехлова? Опомнись!... Пусть его ругаютъ кто угодно, но не вамъ, не вамъ, практичнымъ людямъ, кого бы то ни было обвинять!... Пусть судьями мыслящихъ будутъ тѣ, за кѣмъ не числится... практичности! Это не ваше дѣло! Молчите и продолжайте устраиваться потеплѣе и погрязнѣе!

Хординъ обмеръ. Онъ смотрѣлъ на жену, блѣдный и растерявшійся. Его не слова жены оскорбили, онъ только съ страшною тоской думалъ: „Значитъ, это правда!“

Между тѣмъ, Александра Яковлевна быстро вышла изъ комнаты.

Немного погодя, тяжело ступая, вышелъ изъ комнаты и Хординъ. Оставшіеся въ залѣ такъ были поражены всѣмъ случившимся, что боялись взглянуть въ глаза другъ другу. Буреевъ отвернулся къ растворенному окну, высунулъ на воздухъ голову, да такъ и остался въ этой позѣ. Онъ понялъ, что въ домѣ начинается какая-то драма, но не желалъ угадывать, въ чемъ она. Маша нѣсколько минутъ судорожно улыбалась, но вдругъ громко заплакала. Мизинцевъ отъ этого еще болѣе растерялся; онъ подошелъ къ ней и хотѣлъ успокоить ее, но не зналъ, чѣмъ; онъ неясно понималъ, отчего она плачетъ. Постоялъ, постоялъ онъ въ нерѣшительности и вдругъ молча началъ цѣловать ея слезы.

До прихода поѣзда всѣ трое мучительно провели время. Александра Яковлевна вышла ихъ проводить, но лицо ея вдругъ такъ осунулось, что ея привѣтливыя слова, сказанныя на прощанье, казались мрачными. А самъ Хординъ совсѣмъ не вышелъ.

Такъ кончилась эта, начатая просто, свадьба.

Хординъ сидѣлъ одинъ въ своей комнатѣ, положивъ голову на руки. Онъ былъ убитъ и почти ни о чемъ не могъ думать. Только одна мысль безчисленное число разъ повторялась въ его умѣ: „Такъ это правда!“ Онъ почти шепталъ ее губами и такъ много разъ повторялъ ее, что она, наконецъ, потеряла свой острый смыслъ. Это успокоило его бѣшенство, уже выплывавшее откуда-то изъ глубины. Безчисленное число разъ повторяя одну и ту же мысль, онъ успокоился до апатіи. Ему вдругъ стало скучно, въ тѣлѣ чувствовалось изнеможеніе, глаза слипались. Тогда онъ перешелъ отъ стола къ кушеткѣ, легъ на нее и почти мгновенно уснулъ.

Но за то онъ проснулся, когда еще было темно. Проснулся оттого, что во снѣ ему показалось, будто кто-то ударилъ его, онъ закричалъ отъ боли и раскрылъ глаза. Мгновенно вчерашняя мысль громко раздалась въ его умѣ: „Такъ это правда!“ Только теперь она предстала передъ нимъ въ живыхъ образахъ, которые взволновали его, и онъ вскочилъ съ постели. „Такъ это правда, что она бросаетъ меня!“ И она предстала передъ нимъ, какъ живая, и не въ одинъ ка-

кой-нибудь моментъ, а въ цѣлой картинѣ событій ихъ жизни. Она наполнила его воображеніе и сердце до краевъ, ослѣпила всѣ его мысли своимъ образомъ и превратила его существо въ одинъ порывъ; еслибы она въ эту минуту появилась здѣсь, онъ упалъ бы къ ея ногамъ и, умоляя, отдалъ бы себя въ ея распоряженіе. „Дѣлай что хочешь со мной, но не уходи, не уходи!“ Но ея не было и страстный порывъ его принялъ другую форму.

Ужасная мысль опять повторилась: „Такъ это правда, что она избрала *того!*...“ При этомъ въ его воображеніи всталъ вдругъ образъ, видъ котораго вызвалъ всю ревность, все бѣшенство его. Онъ забѣгалъ по комнатѣ, шепталъ ругательства, сжималъ кулаки. О ней онъ забылъ; она ему рисовалась въ какомъ-то туманѣ; онъ не думалъ о ней. Ея образъ во всю ихъ жизнь оставался такимъ чистымъ, что онъ и теперь, въ припадкѣ бѣшеной ревности, не могъ приписать ей ничего грязнаго,—она всегда поступала такъ, какъ велѣла ей совѣсть. Она и теперь такъ поступитъ и, притомъ, безповоротно. И теперь также. Она рѣшила, и—все кончено! Тутъ не о чемъ думать! Конецъ! Это правда, что ихъ жизнь кончилась... И онъ не думалъ больше о ней.

Онъ думалъ о *томъ*. Что онъ за человѣкъ? Зачѣмъ онъ отнимаетъ у него любовь, зачѣмъ разбилъ его жизнь? Кто онъ, честный или подлецъ? Если честный, его надо убѣдить, что онъ дѣлаетъ подлость. Пусть выстрадаетъ, пусть поборетъ свою любовь и уйдетъ, если можетъ, или останется, если не можетъ... А если не можетъ? А если не захочетъ? Если такой прекрасный на словахъ, онъ на самомъ дѣлѣ низкій человѣкъ, который не остановится ни передъ чѣмъ, ради удовлетворенія собственныхъ желаній?... И у Хордина, какъ лучъ свѣта, вдругъ мелькнула надежда, нелѣпая, ложная надежда, но на мгновеніе потушившая его бѣшенство. Онъ вспомнилъ все, что говорилъ Чехловъ, представилъ себѣ весь его крупный образъ, и у него мелькнула надежда, что такой человѣкъ не можетъ не быть великодушнымъ. Хординъ мысленно подошелъ къ Чехлову и сталъ убѣждать его, чтобы тотъ подумалъ, прежде нежели разбить его жизнь... Онъ ему сказалъ, что она, эта женщина, въ продолженіе многихъ лѣтъ была для него единственнымъ источникомъ свѣта, любви, справедливости... въ будущемъ—единственный

поднялось, возмутилось и заговорило благородными словами: „Боже мой! Да неужели я буду шпіонить за ней? Она уходитъ, но пусть хоть въ последній разъ убѣдится, что я честный человѣкъ!“ Онъ шепталъ это и отвернулся отъ двери. Потомъ, лишенный всякой воли и обезсиленный, онъ подошелъ къ кушеткѣ, легъ внизъ лицомъ на нее и заплакалъ.

Между тѣмъ, въ залѣ въ это время происходила глухая сцена, въ которой два лица говорили не тѣмъ языкомъ, какимъ хотѣли.

Приходъ Чехлова въ такой ранній часъ для Александры Яковлевны былъ неожиданностью, тѣмъ болѣе ужасною, что ей было не до него. Когда она услыхала его голосъ въ передней, сердце ея такъ сжалось, что нѣсколько минутъ она считала невозможнымъ выйти. Но это показалось ей малодушіемъ, которое надо было подавить. И она подавила и вышла въ залу, твердая, съ свѣтлымъ лицомъ.

Чехловъ стоялъ по серединѣ комнаты. Здороваясь, онъ избѣгалъ встрѣтиться съ ея глазами, но черезъ мгновеніе взгляды ихъ встрѣтились, и они оба почувствовали состояніе другъ друга. Она увидала, зачѣмъ онъ пришелъ, и въ ужасѣ спрашивала себя: чѣмъ она могла подать поводъ для такой любви? А онъ понялъ, что она увидала его любовь. Она наскоро рѣшила, какъ ей поступить, а онъ рѣшился — ни однимъ словомъ не намекнуть о своей страсти („пусть она думаетъ, что ошиблась!“), но за то все узнать, и непременно сейчасъ, о своей судьбѣ, иначе сердце его не выдержитъ испытанія. И, подавивъ страшнымъ усиліемъ свое волненіе, онъ сдѣлалъ лицо почти насмѣшливымъ.

— Неужели вы изъ города? — сказала Александра Яковлевна первое, что ей пришло въ голову.

— Нѣтъ, я переночевалъ въ деревнѣ у мужика... Вчера мнѣ не дали поговорить съ вами и я рѣшился дождаться утра, — сказалъ Чехловъ насмѣшливо.

— Но теперь-то уже намъ никто не помѣшаетъ. Въ чемъ дѣло? — спросила Александра Яковлевна и вся замерла отъ ожиданія.

— Да дѣла-то, кажется, никакого... Я пришелъ проститься съ вами, потому что уѣзжаю надолго... Впрочемъ, мнѣ хотѣлось узнать, какъ вы обо мнѣ думаете. Вѣдь я очень

самолюбивъ, когда дѣло идетъ о вашемъ мнѣніи. Но, кажется, я и сегодня попалъ не во-время?

Онъ опять насмѣшливо улыбнулся, хотя лицо его было страшно блѣдно.

— Мы какъ будто съ вами сговорились... Вѣдь и я также уѣзжаю, и также хотѣла проститься съ вами,—отвѣтила Александра Яковлевна.

Мгновенно вся кровь бросилась ему въ лицо, а глаза запылали страстною надеждой. Онъ пытливо смотрѣлъ на Александру Яковлевну.

— Куда уѣзжаете?—сказалъ онъ слабымъ голосомъ и чувствовалъ, что сейчасъ все будетъ кончено.

Волнуясь и путаясь, съ величайшею поспѣшностью Александра Яковлевна разсказала свое рѣшеніе. Она уѣзжаетъ оканчивать курсъ. Въ эти годы она забыла обо всемъ на свѣтѣ, убитая горемъ, но теперь то же горе подсказало ей, что надо дѣлать. Она кончитъ курсъ на врача. Если ей нельзя будетъ сдѣлать этого въ Россіи, она немедленно уѣдетъ за границу. Дальше что будетъ, она не знаетъ. Но, по всей вѣроятности, она поселится въ деревнѣ и будетъ лѣчить дѣтей. Во имя умершаго своего мальчика она изберетъ своею спеціальностью дѣтскія болѣзни.

— Не подумайте,—кончила она взволнованно,—что я смотрю на все это, какъ на прекрасную мечту! Это простое дѣло, и я его выполню. Въ эти годы я убѣдилась, какъ страшно оставаться безъ цѣли, хотя бы и маленькой.

По мѣрѣ того, какъ Чехловъ слушалъ эти слова, сердце его умирало отъ холода. Почувствовавъ внезапную слабость, онъ опустился на первый попавшійся стулъ и съ минуту сидѣлъ съ закрытыми глазами. Александра Яковлевна еще разъ спросила себя при видѣ Чехлова: „Боже мой! Неужели я сама могла подать поводъ для такого страданія?“

Но лишь только Чехловъ замѣтилъ жалость на ея лицѣ, какъ еще разъ овладѣлъ собою. Еще разъ, при помощи закричавшаго самолюбія, онъ побѣдилъ волненіе и страсть и вызвалъ холодную насмѣшку на свое лицо.

— А я-то думалъ, что вы дѣйствительно пойдете по моему пути! А вы только идете „окончить курсъ“!—замѣтилъ онъ ядовито.

— Какой же вашъ путь?

съ восторгомъ бросился цѣловать ей руки, лицо, голову. Она уѣзжаетъ—это правда, но только не съ тѣмъ... Мысль о Чехловѣ такъ была ненавистна и мучительна для него, что теперь онъ отъ счастья не зналъ, что дѣлалъ и говорилъ.

— Поѣзжай, поѣзжай!... Ради Бога. Вѣдь я самъ знаю, что твое мѣсто не здѣсь... Тебѣ было скучно, тяжело, отвратительно. Развѣ это я самъ не понималъ?... Но вѣдь я не могъ же за тебя рѣшить... Уѣзжай, ради Бога. Работай. Это бы давно нужно сдѣлать... Отчего ты раньше, милая, не сказала? Неужели ты думала, что я не соглашусь? Неужели уже такъ низко упалъ я въ твоихъ глазахъ, что ты не вѣрила въ простую порядочность мою? Ради Бога, моя милая, ступай, работай, я только тогда счастливъ буду, когда увижу тебя счастливою.

Онъ обезумѣлъ отъ радости и говорилъ безсвязно.

Черезъ часъ въ домѣ все успокоилось.

А черезъ два дня Александра Яковлевна уже ѣхала на станцію съ вещами. Ее провожали мужъ и Буреевъ. Настроеніе всѣхъ троихъ было счастливое. Хординъ сіялъ тѣмъ же восторгомъ, какъ и въ тотъ часъ, когда она сказала ему, что ѣдетъ не съ *тѣмъ*. Онъ съ любовью смотрѣлъ на ея лицо и былъ вполнѣ доволенъ ея отъѣздомъ.

Только когда они въ послѣдній разъ простились, и поѣздъ ушелъ, и онъ остался одинъ, внезапная грусть овладѣла имъ. Буреевъ съ полдороги повернулъ на свою усадьбу, и онъ совсѣмъ одиноко возвращался домой. Онъ вѣрилъ каждому слову жены; онъ вѣрилъ, когда она говорила, что будетъ пріѣзжать, но какъ же онъ станетъ проводить цѣлые мѣсяцы? Развѣ это не тяжело? Онъ теперь вѣчно будетъ одинъ.

И онъ грустно смотрѣлъ на желтыя поля. Кругомъ, во всей природѣ, казалось, разлилась такая скука, что не хотѣлось смотрѣть ни на что. Но вдругъ, неизвѣстно почему, ему вспомнилась хорошенькая бабенка, которая то и дѣло въ послѣднее время попадалась ему въ глаза. Она была солдатка, жила въ деревнѣ, часто нанималась въ усадьбу на работы и—ахъ, бестія, хороша!—подумалъ онъ, улыбнулся и грусть его немного успокоилась.

XI.

Когда Чехловъ шелъ черезъ поле къ вокзалу, насмѣшка все еще рисовалась на его лицѣ. Это была та насмѣшка, которая появляется у человѣка въ то время, когда онъ внезапно былъ выруганъ или споткнулся, упалъ на землю, больно ушибся и, торопливо поднявшись, оглянулъ прохожихъ, не смѣется-ли кто?... За такою насмѣшкой всегда скрывается мука и ярость. Эта насмѣшка—плодъ того лицемѣрія, съ которымъ человѣкъ не можетъ разстаться даже передъ самимъ собой.

Чехловъ лицемѣрилъ.

Идя черезъ поле, онъ низко опустилъ голову, но презрительно улыбался. Онъ смѣялся надъ тѣмъ, что *она* поставлена имъ въ такое глупое положеніе... Она, конечно, уже приготовилась слушать его признаніе, а, вмѣсто этого, услыхала отъ него лишь нѣсколько ядовитыхъ колкостей! Она ждала, быть можетъ, что онъ въ цѣлой рѣчи выскажетъ ей свою любовь, а онъ только смѣялся, глядя на нее! Она, навѣрное, ждала слезъ, волненія, мольбы, бурнаго отчаянія, а онъ тихо и холодно ушелъ!... Пусть теперь она ждетъ его! Пусть глупцы плачутъ передъ женщиной, для него это только одинъ изъ тѣхъ идоловъ, которыхъ онъ сбрасываетъ съ ихъ пьедесталовъ!

Опустивъ голову, Чехловъ быстро зашагалъ по дорогѣ, продолжая презрительно улыбаться.

Онъ всегда презиралъ женщину, а теперь въ особенности. Было время, когда она была только самка, какъ у животныхъ. Потомъ раба. Потомъ божество. Теперь источникъ наслажденій. Сообразно съ этимъ мужчина игралъ поочереди роли животнаго, разбойника, язычника и развратника. Какія презрѣнныя роли! Но вѣдь иначе и быть не можетъ. Кто видитъ только наслажденія, тотъ кончитъ развратомъ; кто увидитъ въ женщинѣ нѣчто священное, тотъ забудетъ о другихъ богахъ; кто подчиняетъ себѣ ее физическою силой, тотъ рабовладѣлецъ. Между мужчиной и женщиной естественны только животныя отношенія... но какъ это гнусно! Разумъ протестуетъ противъ всѣхъ животныхъ дѣяній и надо слушаться его протестовъ. Наслажденіе—хищный звѣрь,

сначала появилось въ странномъ видѣ, но чѣмъ болѣе оно разросталось, тѣмъ разумнѣе казалось ему. Наконецъ, оно сдѣлалось настоятельною, неизбѣжною цѣлью, ради которой онъ только и ѣдетъ на этомъ поѣздѣ. Онъ желалъ увидѣть карточку Александры Яковлевны, взять ее въ руки и тщательно разсмотрѣть. Тогда, какъ ему казалось, онъ все пойметъ; пойметъ, что ему думать и что дѣлать. Взять въ руки карточку и взглянуть на нее — это было нужно и неизбѣжно.

До города осталось полчаса, но онъ съ нетерпѣніемъ провелъ это время, то садясь на лавочку, то вставая., Однако, первое нетерпѣніе не мѣшало ему тутъ же обдумать, что онъ долженъ сдѣлать тотчасъ по пріѣздѣ въ городъ; напротивъ, съ помощью возбужденія, онъ скорѣе все рѣшилъ. Онъ самъ не зайдетъ на квартиру къ Мизинцеву, а придетъ въ гостинницу, займетъ номеръ и оттуда пошлетъ слугу за своими вещами. Видѣть ему никого не нужно. Онъ долженъ быть одинъ. Да отъ этого вѣдь никто и не загруститъ,—кромѣ враждебныхъ или равнодушныхъ людей, здѣсь никого у него не было. Только она одна была его другомъ.

Онъ такъ и сдѣлалъ. Войдя въ первую попавшуюся гостинницу, онъ занялъ номеръ, затѣмъ написалъ записку, адресъ и послѣ устнаго объясненія отрядилъ слугу за своими вещами. При этомъ тщательно разъяснилъ, какія книжки надо было взять, потому что карточка была положена именно въ одной изъ этихъ книжекъ. Карточку эту онъ выпросилъ у Александры Яковлевны съ мѣсяцъ тому назадъ, между шутками, и не придавалъ ей тогда значенія, но теперь онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда слуга принесетъ ее.

Чтобы убить время, онъ заказалъ обѣдъ, но когда ему принесли, онъ почти не притронулся ни къ одному кушанью. Онъ ждалъ карточки. Наконецъ, слуга пріѣхалъ съ вещами, втащилъ ихъ въ номеръ, а книги, особо перевязанныя веревочкой, подалъ прямо ему въ руки. Кромѣ того, подалъ еще нѣсколько писемъ на его имя, накопившихся за послѣдніе дни. Чехловъ наскоро расплатился съ слугой, бросилъ письма на столъ и принялся перелистывать книги.

Карточка тотчасъ же нашлась. Онъ схватилъ ее въ руки и вперился въ нее взоромъ. На него смотрѣли оттуда добрые, вдумчивые и тоскующіе глаза, а лицо улыбалось ему

дружески. У него оборвалось сердце отъ этого взгляда и отъ этой улыбки. Такъ вотъ кого онъ потерялъ! И, внѣ себя отъ отчаянія, онъ поцѣловалъ карточку, быстро завернулъ ее въ попавшуюся бумагу и уложилъ въ карманъ.

Для него теперь все стало ясно: онъ не можетъ навсегда растаться съ ней! Пусть она не будетъ его женой, пусть ихъ будетъ раздѣлять другой человѣкъ, сотни другихъ людей и время, и пространство, но онъ долженъ жить ею и для нея. Хотя бы только дружбой ея, но онъ долженъ пользоваться. Она побѣдила. Всѣ его помыслы ей принадлежатъ. У него больше нѣтъ ни гордости, ни самолюбія, ни идеи, ни ученія для нея, только она, любимая, существуетъ. Нѣтъ ничего, ни гордости, ни сознанія превосходства, ни чувства удовольствія, ни упоенія идеями, если ея не будетъ подлѣ него. Все важно только потому, что она существуетъ. Она побѣдила. Онъ не можетъ ее ни забыть, ни возненавидѣть.

Онъ ходилъ большими шагами по комнатѣ и въ сильныхъ выраженіяхъ унижалъ себя. Подобно тому, какъ нѣсколько часовъ назадъ онъ подъискивалъ бранныя и презрительныя названія любимой женщинѣ, такъ теперь съ тою же силой онъ клеймилъ себя. Передъ нимъ въ живомъ образѣ стояла она и ярко обнаруживала свою сердечность, простоту, добрые глаза, тоскливое лицо, а онъ передъ ней казался злымъ, суетнымъ, тщеславнымъ, лицемѣрнымъ. Онъ припомнилъ всѣ свои вины и позорилъ себя всѣми способами, и въ этомъ униженіи находилъ ужасное счастіе.

И самое огромное униженіе—это невозможность забыть ее, выбросить ее изъ памяти и успокоиться. Онъ не могъ, это было ясно, не думать о ней и не могъ безъ страха представить свою жизнь безъ нея. Но это ужасное униженіе было, въ то же время, и самымъ счастливымъ. Онъ съ какимъ-то восторгомъ смотрѣлъ на свое рѣшеніе—вочто бы то ни стало жить ею и подлѣ нея и упиваться мыслью, что самъ онъ исчезъ въ другомъ человѣкѣ, жизнь котораго отнынѣ будетъ его цѣлью, его душой, его бытіемъ.

Шагая по комнатѣ до самаго вечера, онъ не чувствовалъ ни усталости, ни душевной муки. Принятое имъ рѣшеніе ни въ какомъ случаѣ не разставаться съ любимою женщиной дало ему не только счастіе, но и нечувствительность ко все-

му другому. Онъ забылъ, гдѣ онъ и что съ нимъ происходитъ. Только твердо помнилъ, что̀ надо дѣлать впереди.

Во-первыхъ, онъ больше не станетъ добиваться невозможнаго,—придетъ время, она оцѣнитъ его. Во-вторыхъ, онъ ни однимъ словомъ не скажетъ ей ничего о своемъ чувствѣ, которое пусть молчитъ, пока не придетъ время. Онъ только поѣдетъ туда, гдѣ будетъ она, и возстановитъ ея дружбу.

Съ этою мыслью онъ сѣлъ писать ей письмо, но помимо его воли письмо вышло слишкомъ длиннымъ и выраженія его слишкомъ пламенными. Тогда онъ разорвалъ его и написалъ коротенькую, сухую записку, въ которой просилъ Александру Яковлевну дать ему свой адресъ.

Когда эта записка была написана, онъ вдругъ увидалъ, что ужь поздно. И тутъ только почувствовалъ, какъ онъ усталъ и разбитъ. Онъ въ изнеможеніи легъ на кровать. Но эта усталость и это изнеможеніе вливали въ его сердце невыразимое счастіе. Онъ чувствовалъ общую слабость—душевную и тѣлесную, но, въ то же время, упивался этою слабостью, прекратившею болѣзненное напряженіе его воли. Въ такомъ состояніи онъ заснулъ.

Спалъ онъ одѣтый. Проснулся очень рано, отъ какой-то щемящей боли во всемъ тѣлѣ. Вскочивъ съ постели, онъ тотчасъ же припомнилъ все, о чемъ передумалъ вчера, и почувствовалъ то же душевное изнеможеніе, но уже безъ восторга и счастія. Утро какъ будто разсѣяло туманъ, онъ ясно сознавалъ, что вчерашнее его рѣшеніе—иллюзія, которою нельзя жить. Для него стало также ясно, что онъ разбитъ и ему надо оправиться отъ погрома.

Поборовъ усиліемъ воли малодушную слабость, онъ бросился къ умывальнику и сталъ лить на голову холодную воду. Потомъ позвонилъ слугу и велѣлъ дать чаю. Это освѣжило мрачныя его мысли. Послѣ того слуга принесъ приборъ; онъ, сидя за чаемъ, снова вынулъ карточку, пристально вглядѣлся въ нее и мало-по-малу въ его головѣ прошелъ весь тотъ рядъ мыслей, который вчера взволновалъ его. И немного спустя онъ уже опять вѣрилъ, что не все для него пропало, что онъ тотчасъ начнетъ переписку съ Александрой Яковлевной, возстановитъ ея дружбу и поѣдетъ за ней всюду, гдѣ будетъ она. Развѣ онъ чѣмъ связанъ? Онъ можетъ жить тамъ, гдѣ хочетъ. Ни отъ кого и ни отъ чего онъ не

зависитъ, почему же ему не поѣхать туда, куда она поѣдетъ? Онъ пытливо вглядывался въ черты лица на карточкѣ и хотѣлъ, какъ вчера, прильнуть къ нимъ губами, но не сдѣлалъ этого, удержанный какою-то стыдливостью при утреннихъ лучахъ солнца...

Снова страстная грусть и счастливая слабость овладѣли имъ. Онъ уже опять вѣрилъ, что принятое имъ рѣшеніе— не иллюзія, а единственное и неизбѣжное дѣло. Только теперь, утромъ, соображенія его были болѣе практичны. Онъ обдумывалъ ближайшее дѣло, какое ему предстоитъ. Прежде всего, онъ вспомнилъ о написанномъ письмѣ, запечаталъ записку въ конвертъ, надписалъ адресъ и для выигрыша времени рѣшилъ тотчасъ же отнести его прямо на поѣздъ. Но въ это время онъ замѣтилъ нѣсколько писемъ, принесенныхъ вчера отъ Мизинцева и брошенныхъ имъ на столъ. Надо было теперь пересмотрѣть ихъ, и онъ сталъ поочередно раскрывать конверты.

Первое письмо, раскрытое имъ, было отъ знакомаго единомышленника, на двухъ мелко исписанныхъ листкахъ. Все письмо состояло изъ теоретическихъ споровъ объ ученіи, которое еще нѣсколько дней назадъ онъ считалъ самымъ важнымъ и единственнымъ дѣломъ своей жизни. Но въ эту минуту, читая знакомые споры о знакомыхъ идеяхъ, онъ съ трудомъ слѣдилъ за мыслью автора; эта мысль казалась ему такою чужой и неважной, какъ будто прошло уже много лѣтъ, въ теченіе которыхъ онъ пережилъ другія мысли. Нетерпѣливо пропуская строчки, онъ спѣшилъ поскорѣе дочитать скучные споры до конца. Онъ сознавалъ, что не долженъ съ такимъ равнодушіемъ относиться къ мыслямъ, которыя были его собственныя мысли, но, въ то же время, не въ силахъ былъ подавить это нетерпѣливое равнодушіе и осторожно свернулъ письмо. Не ученіе его теперь занимало и не до теоріи ему было.

Чувствуя, что въ душѣ его начинается какой-то вопіющій разладъ и борьба, слѣдующія письма онъ уже разрывалъ раздраженно, наскоро прочитывалъ ихъ и бросалъ. То же самое онъ хотѣлъ сдѣлать и съ послѣднимъ заказнымъ письмомъ, разорвалъ его конвертъ и уже хотѣлъ отбросить отъ себя, чтобы поскорѣе отправиться на поѣздъ, но внезапно глаза его остановились на немъ.

Оно было написано на бланкѣ знакомаго банка, гдѣ лежали на текущемъ счету всѣ его деньги, и состояло всего изъ нѣсколькихъ строчекъ; перечитавъ эти строчки, онъ сначала ничего не понялъ. Скверный оффиціально-конторскій языкъ его былъ такъ теменъ, что свѣжему человѣку дѣйствительно трудно было понять его въ одно мгновеніе, а Чехлову, душа котораго цѣликомъ занята была другимъ образомъ, въ особенности. Онъ еще разъ перечиталъ единственный періодъ письма и опять ничего не понялъ. Но на этотъ разъ не понялъ отъ изумленія, равносильнаго испугу... Какое-то управленіе извѣщало («имѣю честь извѣстить») господина Дениса Петровича Чехлова, что, въ виду пріостановки дѣйствій банка г. Н., объявившагося несостоятельнымъ, и назначеніи судебнаго разслѣдованія, начатаго вслѣдствіе незаконности его операцій, выдача вкладчикамъ и кредиторамъ причитающихся имъ суммъ прекращена впредь до выясненія актива и пассива банка... Вслѣдъ за этими скверными строчками была какая-то подпись, которую, по обыкновенію, нельзя было разобрать. Больше ничего.

Чехловъ еще разъ сначала прочиталъ, причемъ убѣдился, что это вовсе не бланкъ его банка, а какой-то другой. Потомъ его поразила мысль, что ему не прислали ожидаемыхъ денегъ. Недѣлю тому назадъ онъ послалъ требованіе въ банкъ о присылкѣ ему небольшой суммы денегъ, и вотъ, вмѣсто этихъ денегъ, пустое письмо съ какимъ-то сквернымъ содержаніемъ. Не въ состояніи будучи еще понять весь размѣръ содержанія письма, онъ только пораженъ былъ фактомъ неимѣнія денегъ, которыя были крайне необходимы для него сейчасъ. У него нечѣмъ было расплатиться за номеръ и обѣдъ, а, между тѣмъ, ему надо ѣхать. Къ кому обратиться? Здѣсь у него одни только недоброжелатели, которыхъ онъ самъ презираетъ. Всякій изъ нихъ только обрадуется его глупому положенію и скажетъ: „Да вамъ зачѣмъ деньги-то? Вѣдь вы считаете ихъ развратомъ!“ Если же онъ скажетъ, что ему надо ѣхать, то ему возразятъ насмѣшливо: „Да вамъ зачѣмъ ѣхать-то? Вѣдь вы предпочитаете ходить пѣшкомъ!“

Но эти мысли смутно пронеслись и не остановили его вниманія. Вниманіе его приковано было къ поразительному факту: онъ не можетъ ни выбраться изъ гостинницы, ни уѣхать изъ города, потому что нѣтъ средствъ. Ни пѣшкомъ, ни на-

лошади, ни въ вагонѣ онъ не можетъ уйти отсюда, потому что нѣтъ нѣсколькихъ рублей... Онъ сталъ быстро ходить по номеру и ломать голову, какъ быть, къ кому обратиться. Положеніе смѣшное, но отвратительное!

Вдругъ на память пришелъ къ нему Буреевъ. Почему Буреевъ—неизвѣстно. Онъ еще вчера презрительно смотрѣлъ на Буреева, какъ на всѣхъ. Но сейчасъ одинъ только Буреевъ сосредоточилъ на себѣ его вниманіе.

Но онъ долго колебался, прежде нежели отправиться съ просьбой къ Бурееву. Самолюбіе его вдругъ заныло при мысли, что онъ явится униженнымъ просителемъ передъ этимъ насмѣшникомъ. Нѣсколько времени онъ нерѣшительно стоялъ у окна. Потомъ онъ взялъ опять скверное письмо въ руки и еще разъ внимательно перечиталъ его. И тутъ только понялъ весь огромный смыслъ его. Оно, наконецъ, объяснило ему, что, быть можетъ, всѣ средства его пропали вмѣстѣ съ банкомъ, что онъ теперь голый бѣднякъ.

Онъ остолбенѣлъ отъ такого открытія и съ искаженною улыбкой разсматривалъ письмо.

Но это же открытіе заставляло его рѣшиться на что-нибудь. Онъ рѣшился идти къ Бурееву. Внѣ себя отъ возбужденія, онъ бросился изъ гостинницы, взялъ извозчика и поѣхалъ искать по городу Буреева. Послѣдняго могло въ городѣ совсѣмъ не оказаться, но онъ тутъ-же, сидя на извозчикѣ, рѣшилъ, что поѣдетъ къ нему въ усадьбу. Но у него могло не хватить нѣсколькихъ копѣекъ на билетъ до N—ской станціи. Онъ тутъ же, на извозчичьей пролеткѣ, пересчиталъ свои деньги. Оказалось, на билетъ хватитъ.

Онъ подъѣхалъ къ крыльцу дома, гдѣ всегда останавливался Буреевъ. Черезъ минуту послѣ его звонка ему сказали, что Буреева нѣтъ дома. „Но онъ въ городѣ?"—спросилъ Чехловъ. Оказалось, въ городѣ, но гдѣ,—неизвѣстно, и когда придетъ — тоже неизвѣстно. „Но хоть къ вечеру онъ придетъ?"—спросилъ взволнованный Чехловъ. Сказали, что, быть можетъ, придетъ, но можетъ и до утра не придти. „А завтра утромъ онъ во всякомъ случаѣ будетъ здѣсь?"—спросилъ Чехловъ, выходя изъ себя отъ возбужденія.

— Да кто его знаетъ! Надо быть, утромъ застанете. Но бываетъ—онъ прямо возьметъ, да уѣдетъ въ деревню... всяко бываетъ!—лѣниво говорила кухарка и лѣниво же погля-

дывала на незнакомаго барина, который, видимо, отчего-то осерчалъ. Но вдругъ она съ нѣкоторымъ интересомъ спросила:

— Да вы чьи будете?

— Свой!—въ бѣшенствѣ сказалъ Чехловъ, отпустилъ извозчика и пошелъ, самъ не зная куда.

На самомъ дѣлѣ онъ былъ далеко не свой. Онъ такъ мало въ эту минуту принадлежалъ себѣ, что даже не сознавалъ, что съ нимъ творится. Онъ сознавалъ только идіотское положеніе, но гдѣ его начало, откуда оно, это идіотское положеніе, идетъ и чѣмъ кончится, онъ не понималъ. Да и некогда было добираться. Онъ быстро шелъ по улицѣ и не зналъ, зачѣмъ именно по этой улицѣ идетъ и куда спѣшитъ. Въ головѣ его вертѣлась сутолока мыслей, сердце обливалось злобой и раздраженіемъ. Онъ смѣло шагалъ неизвѣстно куда.

Вдругъ на одномъ поворотѣ онъ почти носъ къ носу столкнулся съ Буреевымъ; онъ сначала остолбенѣлъ, но вслѣдъ затѣмъ порывисто пожалъ ему руку. Еще черезъ мгновеніе онъ уже устыдился этого радостнаго порыва, какъ выраженія эгоизма, и, насколько могъ, спокойно обратился къ Буреееву съ словами:

— А я у васъ былъ сейчасъ.

Буреевъ приподнялъ брови отъ удивленія.

Но Чехловъ, не останавливаясь, сквозь зубы разсказалъ, зачѣмъ онъ приходилъ. Онъ ничего не сказалъ ни о письмѣ, ни о скверномъ положеніи, въ которомъ очутился внезапно, а прямо обратился съ просьбой денегъ, крайне ему необходимыхъ въ эту минуту.

Буреевъ пересталъ улыбаться и заволновался.

— Вотъ такъ штука!... А у меня, какъ на зло, ни копѣйки!— сказалъ онъ торопливо.

Потомъ еще пуще заволновался, метнулся рукой въ карманъ, но тотчасъ же выдернулъ ее оттуда.

Чехловъ угрюмо смотрѣлъ на него.

Подъ этимъ подозрительнымъ взглядомъ добродушный Буреевъ окончательно потерялся.

— Да вамъ скоро нужно?

— Къ поѣзду,—глухо выговорилъ Чехловъ и смотрѣлъ въ лицо Буреева.

Буреевъ вытаращилъ глаза, очевидно, ломая голову надъ

вопросомъ, что тутъ дѣлать. Но черезъ мгновеніе онъ вдругъ засмѣялся весело, свистнулъ и, схвативъ Чехлова за руку, потащилъ его назадъ.

— Идемъ!... Надо что-нибудь дѣлать... Мы вотъ что сдѣлаемъ: вы идите ко мнѣ и посидите малость, а я толкнусь къ одному тутъ человѣку... бо-ольшая скотина! ну, да чортъ съ нимъ, надо поклониться!... Идите и успокойтесь... живо все устроимъ!

Буреевъ выговорилъ это торопливо, несвязно и пустился почти бѣгомъ по другой улицѣ.

Чехловъ машинально шелъ назадъ. Онъ отыскалъ тотъ домъ, въ которомъ за нѣсколько времени назадъ стучался, вошелъ въ квартиру, сѣлъ и сталъ ждать. Раздраженіе и испугъ его на время прошли, но за то сердце его сжалось отъ какой-то новой тоски. И не настоящая тоска это была, а какой-то унизительный срамъ. Онъ ярко представилъ себѣ взволнованное, горячее лицо Буреева, внезапно принявшаго участіе въ чужомъ человѣкѣ, и почувствовалъ себя настолько униженнымъ, что гордая голова невольно опустилась, пока онъ дожидался прихода хозяина.

Немного погодя послѣдній съ шумомъ ворвался въ комнату.

— Далъ-таки подлецъ!—съ радостью крикнулъ онъ и передалъ Чехлову пачку денегъ.

Смѣющееся лицо его было красно,—видимо, онъ торопился и бѣжалъ.

Чехловъ вскочилъ съ мѣста и стремительно пожалъ ему руку. Но, взволнованный, онъ не нашелъ ни одного слова благодарности. Назначивъ срокъ уплаты долга, Чехловъ простился и ушелъ.

Въ гостинницѣ онъ быстро собрался, заплатилъ по счету и поѣхалъ на вокзалъ. Нѣсколько часовъ тому назадъ, сжигаемый любимымъ образомъ женщины, онъ только о ней одной думалъ и свою дальнѣйшую жизнь обдумывалъ только вмѣстѣ съ ней и ради нея; она сдѣлалась необходимымъ центромъ, вокругъ котораго вертѣлись его мысли. Но сейчасъ этотъ образъ потемнѣлъ въ его душѣ, вытѣсненный другимъ представленіемъ, представленіемъ подлымъ и безобразнымъ, но сильнымъ и живучимъ. Онъ даже забылъ бросить въ ящикъ письмо, казавшееся утромъ такимъ важнымъ. Когда по до-

рогѣ онъ вспоминалъ о немъ, то твердилъ себѣ: „Послѣ, послѣ, когда вотъ это устроится“...

Это—были его денежныя средства. Ихъ внезапное разстройство нанесло ему такой ударъ, что все вниманіе его сосредоточилось на другихъ образахъ и мысляхъ. Рѣшеніе ѣхать въ тотъ городъ, гдѣ былъ его банкъ, явилось у него внезапно, какъ внезапно пришло къ нему и само извѣстіе о крушеніи его средствъ. Онъ, не думая, тотчасъ убѣдился въ необходимости ѣхать и на мѣстѣ выяснить свое положеніе.

Дорога длилась болѣе сутокъ и во все это время голова его занята была подлымъ дѣломъ. Онъ потерялъ хладнокровіе, покой и сознаніе своей силы. Низкое дѣло, которое онъ долженъ былъ обдумывать подъ лязгъ и свистъ поѣзда, придавило его. Онъ давалъ себѣ слово не думать объ этомъ и, сидя въ вагонѣ, среди незнакомаго общества, онъ иногда забывался и дремалъ подъ невнятный говоръ окружающихъ его пассажировъ, но лишь сознаніе возвращалось къ нему, какъ низкое, подлое несчастіе, обрушившееся на него, овладѣвало всѣми его мыслями и принижало его гордость.

Онъ почти не сомнѣвался уже, что средства его безвозвратно погибли. Онъ бѣднякъ. Отнынѣ онъ долженъ будетъ думать о квартирѣ, объ одеждѣ, о хлѣбѣ и о томъ, какъ все это добыть,—прежде и больше всего объ этомъ. Отнынѣ онъ будетъ жертвой всѣхъ и всего. Потому что бѣднякъ — это сплошная жертва людей и обстоятельствъ, которые всецѣло распоряжаются имъ... И мысли Чехлова принимали мрачный цвѣтъ.

Съ нимъ рядомъ въ вагонѣ сидѣлъ какой-то лохматый, грязный мужичекъ, съ выцвѣтшими глазами, но съ довольнымъ выраженіемъ на черномъ лицѣ; онъ, впрочемъ, больше спалъ, чѣмъ бодрствовалъ; для этого онъ залѣзалъ подъ лавку, чтобы никому не мѣшать, и громко храпѣлъ тамъ; когда приходило время поѣсть, онъ живо садился на лавку, вынималъ бѣлый хлѣбъ и съ наслажденіемъ жевалъ его, поглядывая на Чехлова, но лишь только онъ клалъ въ ротъ послѣднія крошки, упавшія на колѣни, какъ опять залѣзалъ подъ лавку, нѣсколько минутъ счастливо икалъ и засыпалъ. Во время осмотра билетовъ кондукторъ будилъ его ногой; мужикъ испуганно вскакивалъ, каждый разъ долго шарилъ,

разыскивая билетъ въ единственномъ своемъ мѣшкѣ, но лишь только билетъ простригали, онъ опять успокоивался и беззавѣтно глаза его отражали равнодушное довольство.

Ни одного разу Чехловъ не заговаривалъ съ нимъ, но много думалъ о немъ, впрочемъ, не о немъ, а по поводу его, и о себѣ. „Вѣдь вотъ это — жалчайшее существо, а доволенъ собой и жизнью!—думалъ Чехловъ.—Зачѣмъ же мнѣ-то бояться? Можно быть водовозомъ, батракомъ, но все-таки гордо держать голову и сохранять всѣ черты человѣка“. Но когда онъ вспоминалъ, зачѣмъ ѣдетъ, какая подлая бѣда на него обрушилась, онъ забывалъ объ идиллической жизни водовоза. А когда опять вспоминалъ эту мысль, то она казалось ему уже не серьезной, лицемѣрной и глупой. Нельзя быть батракомъ и полнымъ человѣкомъ! Можно на всю жизнь посмотрѣть съ презрѣніемъ, растоптать ногами всѣ ея мнимыя и въ существѣ презрѣнныя блага, можно даже отказаться отъ матеріальной обезпеченности и досуга, но тогда сдѣлаешься отшельникомъ, а не работникомъ, не водовозомъ. Водовозъ—рабъ, а не человѣкъ,—рабъ хозяина, которому возитъ воду, рабъ лошади, на которой ѣздитъ, рабъ куска хлѣба, получаемаго за воду, рабъ всѣхъ рабовъ, которые сильнѣе его. Нельзя быть жалкимъ работникомъ и носителемъ разума. Недаромъ Сократа поносила жена именами бездѣльника и лѣнтяя; для нея и Діогенъ, предпочитавшій, вмѣсто работы, собирать милостыню, былъ только негоднымъ бездѣльникомъ... И кто скажетъ, что жизнь водовоза самая лучшая изъ всѣхъ возможныхъ жизней, тотъ или обманщикъ самого себя, или лицемѣръ передъ другими.

Но эта главная мысль пробѣгала мимолетною полосой. Онъ занятъ былъ обдумываніемъ только того безобразнаго положенія, въ которое поставилъ его лопнувшій банкъ. При имени хозяина этого банка въ умѣ его раздавались проклятія и всею его душой овладѣвало такое бѣшенство, что только привычка всегда владѣть собою удерживала его въ молчаливой позѣ. Эта привычка еще не покинула его. Въ то время, какъ въ воображеніи проходилъ длинный рядъ гнѣвныхъ образовъ и картинъ, въ то время, какъ одно имя хозяина банка вызывало ярость въ немъ,—лицо его оставалось невозмутимымъ, застывшимъ.

Въ такомъ двойственномъ состояніи онъ пріѣхалъ на мѣсто.

Не останавливаясь въ гостинницѣ, онъ отдалъ свои вещи на храненіе артельщику и прямо отправился въ банкъ. Онъ оказался запертымъ. Швейцаръ далъ ему адресъ, куда обратиться за справками. Онъ пошелъ туда. Но тамъ ему ничего опредѣленнаго не сказали.

— Осталось-ли хоть что-нибудь?—спрашивалъ онъ съ холодною улыбкой, вызвать которую онъ еще имѣлъ силу.

— Неизвѣстно пока ничего.

— Но, быть можетъ, ничего не осталось, тогда я и разговаривать не буду...

— Можетъ быть... копѣекъ двадцать на рубль какъ-нибудь наскребемъ. Оставьте свой адресъ,—когда все выяснится, мы васъ извѣстимъ.

Чехловъ не сталъ больше разспрашивать и ушелъ. Онъ окончательно убѣдился, что средства его погибли. Если даже онъ получитъ эти двадцать копѣекъ, то жить нечѣмъ будетъ черезъ полгода. Когда онъ вышелъ изъ правленія по дѣламъ лопнувшаго банка, ему вдругъ пришла мысль повидаться съ самимъ банкиромъ. Тотъ былъ на свободѣ, благодаря крупному денежному поручительству. Не то изъ любопытства, не то изъ чувства ненависти, но Чехловъ рѣшилъ повидаться съ банкиромъ и пошелъ на его квартиру, въ которой раньше бывалъ.

Банкиръ сидѣлъ дома. Это былъ кругленькій, чистый, съ сахарнымъ лицомъ старичекъ; выраженіе глазъ его всегда было невинное. Онъ весело встрѣтилъ Чехлова; розовое, счастливое лицо его сіяло. Онъ гостепріимно усадилъ гостя въ бархатное кресло и тотчасъ предложилъ ему кофе, сигаръ или чего господинъ Чехловъ хочетъ. Послѣдній грубо отъ всего отказался и принялся въ рѣзкихъ словахъ допрашивать пріятнаго и невиннаго старичка. Послѣдній, однако, на всѣ вопросы только улыбался и отговаривался незнаніемъ отнятаго у него дѣла.

— Теперь не мое дѣло!... Еслибы не вмѣшались, я блестяще окончилъ бы операціи, но теперь... ничего, ничего не знаю! Пускай вамъ объяснятъ тѣ, кто вмѣшался въ мои дѣла!

Чехловъ едва сдерживался. Пытливо разсматривая розовое лицо и невинные глаза пріятнаго старичка, онъ внутренно дрожалъ отъ бѣшенства. Онъ соображалъ въ эти минуты, какъ можно уничтожить такихъ людей. А что ихъ нужно

уничтожать всѣми средствами, какъ клоповъ, въ этомъ онъ не сомнѣвался. И ему вдругъ пришло сильнѣйшее желаніе поколотить этого пріятнаго мошенника, и еще одна минута— и онъ бы удовлетворилъ свое желаніе... Но въ это время банкиръ сказалъ:

— Всѣ люди, господинъ Чехловъ, воры. Только одни воры ничтожны, другіе крупнѣе.

Чехловъ, не дослушавъ, что дальше хочетъ сказать старикъ, вскочилъ съ мѣста и внѣ себя отъ злобы проговорилъ:

— Ну, довольно! Вы—подлецъ, а съ подлецами я не вступаю въ споры!

— Ай, ай, ай, какъ вы дурно выражаетесь, господинъ Чехловъ!—возразилъ спокойно старичекъ, но въ невинныхъ глазахъ его мелькнула пугливая злость, какъ у пойманнаго звѣрка.

Чехловъ, между тѣмъ, былъ уже у двери, хлопнулъ ею и вышелъ на улицу. Онъ опять не зналъ, куда такъ быстро идетъ. Но въ томъ возбужденномъ состояніи, какое онъ переживалъ, рѣшенія создаются внезапно. У него также явилось внезапное рѣшеніе. Еще не доходя до вокзала, онъ вспомнилъ о родинѣ, о матери, о братьяхъ и тотчасъ рѣшилъ ѣхать къ нимъ. Если здѣсь у него пропали всѣ средства, то тамъ ему снова дадутъ. Онъ попроситъ настойчиво. Это было новое униженіе: уже около восьми лѣтъ онъ не былъ на родинѣ и ни разу за это время ему не пришло желанія повидать мать и братьевъ; онъ не нуждался въ нихъ; теперь онъ вспомнилъ о нихъ лишь потому, что больше не къ кому обратиться за помощью... Это новое униженіе, новый стыдъ, но онъ долженъ его вынести, чтобы, по крайней мѣрѣ, на будущее время освободиться отъ низкихъ помысловъ и страховъ за кусокъ хлѣба.

Когда онъ пришелъ на вокзалъ, въ его головѣ былъ уже цѣлый планъ поѣздки и тѣхъ переговоровъ съ родными, которыми онъ убѣдитъ обезпечить его. Онъ разсчиталъ, что ему лучше ѣхать по желѣзной дорогѣ только до М-ской станціи, а оттуда на пароходѣ, удобства котораго поправятъ его нервы. Планъ успокоилъ его. Онъ даже вспомнилъ о хорошемъ обѣдѣ и заказалъ на вокзалѣ нѣсколько порцій. Во рту у него былъ мѣдный осадокъ; во всемъ тѣлѣ чувствовалась страшная слабость; сильный организмъ его, ви-

ощущалъ необыкновенно пріятное чувство, какъ человѣкъ, съ котораго вдругъ сняли какую-то тяжелую отвѣтственность. Онъ ощущалъ ознобъ, жаръ, слабость, но только одно это и ощущалъ, а все другое, еще вчера мучившее его, не появлялось больше и не мучило. Онъ чувствовалъ себя такъ же хорошо, какъ утомленный работникъ, котораго положили въ больницу и сразу освободили отъ каторжнаго труда.

Только къ вечеру пріятное чувство покоя замѣнилось какою-то смутною тревогой.

Лежа на койкѣ, онъ дремалъ съ открытыми глазами, и въ такомъ состояніи вдругъ однажды ему показалось, что потолокъ его каюты расширяется, удлиняется и, наконецъ, исчезаетъ въ далекомъ пространствѣ, а на его мѣстѣ стоитъ огненное пятно. Онъ тогда сдѣлалъ усиліе, приподнялся и тотчасъ понялъ, что съ нимъ бредъ. Имъ овладѣлъ неопредѣленный испугъ. Онъ рѣшился болѣе не ложиться и сдѣлалъ усиліе, чтобы не бредить. Отъ этого напряженія голова его еще сильнѣе стала горѣть и шумъ въ ушахъ сдѣлался нестерпимымъ.

Онъ съ болѣзненнымъ напряженіемъ сталъ ждать, когда пароходъ подойдетъ къ пристани. Тотъ часъ, въ который пароходъ по росписанію долженъ былъ остановиться, давно прошелъ. Настала уже ночь. Волны рѣки усилились, подгоняемыя холоднымъ осеннимъ вѣтромъ. Пароходъ шелъ полнымъ ходомъ, но весь корпусъ его дрожалъ отъ напряженія. Когда совсѣмъ потемнѣло и пароходъ освѣтили, Чехловъ вышелъ изъ каюты, сѣлъ въ отдаленное кресло залы и съ нетерпѣніемъ прислушивался къ ударамъ колесъ и грохоту машины. Поясницу ему ломило, по всему тѣлу пробѣгали мурашки, онъ едва сдерживалъ стоны и едва сидѣлъ, но въ каюту не хотѣлъ идти. Онъ боялся остаться одинъ, да и вообще чего-то боялся. Часто у него не было силы держать голову прямо; онъ опускалъ ее на спинку кресла и дремалъ, но черезъ нѣкоторое время дѣлалъ страшное усиліе, открывалъ отяжелѣвшія вѣки и давалъ себѣ слово не бредить, не терять сознанія, не поддаваться невѣдомой болѣзни.

Онъ боялся, что съ нимъ начинается какой-то тяжелый недугъ; боялся тѣмъ сильнѣе, что не могъ понять, что съ

нимъ дѣлается. Ему представилось, кромѣ того, что въ забытьѣ онъ пропуститъ свою пристань, пароходъ уйдетъ дальше и увезетъ его неизвѣстно куда. На этотъ случай онъ подозвалъ матроса и наказалъ ему, чтобы тотъ пришелъ за его вещами на М—ской пристани. Потомъ опять на него напала дремота; въ головѣ мелькали безобразныя видѣнія и давили его.

Наконецъ, въ полночь пароходъ далъ характерный, заунывный свистокъ и скоро присталъ. Матросъ немедленно подошелъ къ Чехлову, разбудилъ его и спрашивалъ позволенія насчетъ переноски вещей на извозчика. Чехловъ съ трудомъ поднялся и съ трудомъ сошелъ съ парохода, но пріѣздъ на родину на время оживилъ его сознаніе и бодрость. Но за то на него напала глубокая тоска. Темная-ли ночь, воспоминанія-ли дѣтства или представленіе близости родныхъ, съ которыми онъ не имѣлъ ничего общаго, только тоска глодала его во все время, пока онъ на извозчикѣ ѣхалъ по улицамъ. А затѣмъ еще хуже затосковалъ. Подъѣхавъ къ своему дому, онъ сталъ стучаться въ массивную калитку; долго стучалъ; наконецъ, весь домъ поднялся на ноги, но ему еще пришлось долго вести переговоры съ соннымъ дворникомъ и съ не менѣе сонною кухаркой. На дворѣ рычали четыре цѣпныя собаки, дворникъ что-то кричалъ, кухарка тоже почему-то голосила; гдѣ-то завизжалъ ржавый желѣзный засовъ. Чехловъ продолжалъ при помощи извозчика стучать въ калитку, и тихая, заснувшая улица огласилась безобразнымъ шумомъ. А онъ-то хотѣлъ пріѣхать неслышно и спокойно!... Кругомъ все такъ переполошилось, какъ будто невѣсть что случилось. Злость и щемящая тоска давили его.

Наконецъ, ему отперли калитку. Но вслѣдъ затѣмъ по всему дому началась суматоха, отъ которой у него зарябило въ глазахъ. Узнавшая его прислуга завопила и заохала. Потомъ вошла мать съ испуганнымъ лицомъ, потомъ братья, и жены ихъ, и дѣти,—вся эта большая семья за время его отсутствія страшно расплодилась... Все это соскочило съ постелей, лохматое, изумленное и кричащее, какъ на пожарѣ. И безъ того мучимый бредомъ, Чехловъ тутъ почти совсѣмъ потерялъ сознаніе и съ слѣпою яростью цѣловалъ какія-то толстыя щеки, которыя окружали его. Долгое время онъ не могъ ни сѣсть, ни сказать, ни даже понять, что тутъ дѣ-

лается. Наконецъ, ему удалось съ волненіемъ выговорить, чтобы не кричали такъ, иначе онъ совсѣмъ свалится съ ногъ. Тогда старшіе, при помощи крѣпкихъ словъ и тумаковъ, удалили въ спальни всю мелюзгу и усѣлись. Но отъ этого уменьшилось только число голосовъ, сами же голоса не сдѣлались спокойнѣе и пріятнѣе пріѣзжему гостю. Ему со всѣхъ сторонъ предлагались вопросы одинъ другого безалабѣрнѣе и никому онъ не имѣлъ возможности отвѣчать; онъ едва успѣвалъ говорить „да“ и „нѣтъ“ и только смотрѣлъ кругомъ себя. При этомъ онъ чувствовалъ себя такъ, какъ будто попалъ въ чужую страну, къ невѣдомымъ людямъ и слушалъ незнакомый языкъ. Быть можетъ, это чувство вызвано было его болѣзнью, но, быть можетъ, за послѣднія семь-восемь лѣтъ его родные стали для него какими-то непонятными дикарями. Отъ этого тоска его еще сильнѣе росла.

Онъ смотрѣлъ вокругъ себя и съ трудомъ понималъ, что̀ вокругъ него говорится. Мать въ эти года поздоровѣла, необычайно пополнѣла и лицо ея, всегда бывшее наивнымъ, теперь казалось еще проще. Братьевъ онъ едва признавалъ. Ихъ лохматыя, раздобрѣвшія лица сплошь заросли шерстью; только глаза да носъ, да ничтожныя мѣстечки лба избѣгли общей участи и не покрылись бурьяномъ. Какіе вопросы ему предлагали!

Тоска разливалась по самымъ укромнымъ уголкамъ его сердца. „Боже мой! зачѣмъ я сюда пріѣхалъ“?—спрашивалъ онъ себя.

И, просидѣвъ съ часъ среди забытой своей семьи, онъ не выдержалъ и попросилъ мать отвести его въ какую-нибудь комнату. При этомъ онъ сказалъ, что ему сильно нездоровится. Мать, указавъ ему постель, захлопотала около него, но онъ уговорилъ ее идти спать и черезъ нѣсколько времени остался одинъ въ пустой комнатѣ. Стуча зубами отъ наступившаго вновь озноба, чувствуя, что голова его пылаетъ огнемъ, онъ кое-какъ сбросилъ съ себя платье, легъ на постель и старался заснуть.

Но это ему не удалось. Въ душу его подползало неотвязное предчувствіе, что недаромъ онъ пріѣхалъ на родину и что, видно, не выбраться уже ему отсюда. Когда въ домѣ потухли огни и все живое вновь заснуло, давая знать о своемъ существованіи только разнообразными тонами храпа,

онъ одинъ не могъ забыться и широко раскрытыми, воспаленными глазами старался пронизать мракъ комнаты, но мракъ ничего ему не говорилъ, только еще болѣе ужасалъ сердце. Мало-по-малу подкравшееся предчувствіе приняло живой образъ... Недаромъ онъ захворалъ и недаромъ, больной душой и тѣломъ, онъ притащился сюда, какъ раненый звѣрь, въ свое родное логовище!... Видно, здѣсь его будетъ конецъ.

Онъ то забывался въ сонномъ бреду, то снова широко раскрывалъ глаза и со страхомъ вглядывался въ темноту. Неужели ему здѣсь суждено умереть?... Онъ зажегъ лампу, поставленную около него.

Утромъ онъ не могъ подняться съ постели. Рано къ нему навѣдалась вся семья и всѣ выражали сожалѣніе по поводу его болѣзни. Но сожалѣли какъ-то вяло и спокойно. Вотъ пріѣхалъ, молъ, человѣкъ въ гости и захворалъ!... И немного погодя всѣ разошлись по своимъ дѣламъ. Только одна мать приняла къ сердцу болѣзнь сына. Она тотчасъ дала ему выпить какой-то травы, поплакала около его постели и все время слѣдила за его удобствами: не надо-ли чего покушать, не выпьетъ-ли онъ смородинной настойки? Впрочемъ, выраженіе лица толстой старушки было бодрое и безбоязное; она не сомнѣвалась, что все это пройдетъ. Однако, на всякій случай, оставшись одна въ залѣ, она крѣпко помолилась на образа за здоровье сына.

А самъ Чехловъ съ каждою минутой падалъ духомъ. Онъ вѣрилъ, что здѣсь его конецъ, метался по постели, стоналъ и вглядывался въ пустое пространство широко раскрытыми глазами... Да, это смерть къ нему идетъ! Онъ во всѣхъ презиралъ страхъ и смѣялся надъ тѣми, которые, чуть заболѣютъ, уже думаютъ о смерти. Но теперь тотъ же ужасъ и на него напалъ. Онъ вглядывался съ необъяснимымъ страхомъ въ пространство, словно тамъ, въ пустотѣ, надѣялся увидать и предупредить идущую смерть... да, это смерть идетъ! Онъ не сомнѣвался въ этомъ, когда щупалъ рукой горящую голову, когда его трясъ ознобъ, когда въ сознаніи онъ улавливалъ какое-то роковое разстройство. Только когда на него находила дремота, онъ забывался.

Такъ прошли весь этотъ день и вся ночь.

На утро и сама старушка немного обезпокоилась. Она

еще дала выпить больному какой-то травы. Но не очень полагаясь на это лѣкарство, рѣшила немедленно прибѣгнуть къ болѣе вѣрному средству. Она тихонько одѣлась въ чистое платье и платокъ и не спѣша отправилась къ знакомому священнику, прося его немедленно придти съ причтомъ отслужить молебенъ съ водосвятіемъ. Немного погодя священникъ, два дьячка и сторожъ уже входили въ домъ, приготовили въ залѣ все необходимое для службы и начали пѣть молебенъ.

Чехловъ передъ этимъ задремалъ и забылся. Но вдругъ въ его ушахъ раздалось монотонное чтеніе и пѣніе. Онъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, въ ужасѣ приподнялся на постели и увидалъ въ сосѣдней залѣ зажженныя свѣчи, дымъ, ризу и молящуюся семью. Отъ паническаго ужаса голова его снова упала на подушку и лицо помертвѣло. Что ему представилось—Богъ его знаетъ, только когда въ ушахъ его раздалось звучное пѣніе, когда обоняніе его поражено было запахомъ ладона и горящаго воска, онъ помертвѣлъ отъ страха. Онъ не сомнѣвался болѣе, что умираетъ. Это смерть идетъ!... Но, въ то же время, во всемъ тѣлѣ онъ чувствовалъ такую силу, а въ душѣ такую энергію воли, что готовъ былъ бороться за жизнь съ сотнями смертей. Онъ схватился обѣими руками за желѣзныя перекладины кровати, схватился такъ, что желѣзо затрещало, и въ такой позѣ замеръ.

Такъ и засталъ его батюшка; онъ окропилъ святою водой блѣдное лицо его, приложилъ къ его побѣлѣвшимъ губамъ крестъ и съ благодушною улыбкой сказалъ, что теперь, Богъ дастъ, онъ скоро поправится. Но Чехловъ въ ужасѣ смотрѣлъ на священника и молчалъ. Сознаніе его словно окоченѣло. Онъ только сознавалъ одну идею и не могъ оторваться отъ одного образа. У него не было ни движенія, ни слова.

Но лишь только молебенъ кончился и причтъ ушелъ, лишь только къ нему подошла мать, какъ онъ крикнулъ со всею силой здороваго человѣка:

— Да позовите доктора, ради Бога!

Докторовъ въ домѣ не уважали, но повелительный крикъ сына заставилъ старушку исполнить его желаніе. Отрядили одного изъ братьевъ къ доктору. Братъ, видно, наговорилъ послѣднему Богъ вѣсть какой нелѣпости, потому что докторъ

явился въ комнату больного съ торжественнымъ лицомъ и не безъ тревоги сталъ изслѣдовать и разспрашивать. Щупалъ больному голову, поставилъ термометръ, смотрѣлъ языкъ, мялъ животъ, постучалъ въ грудь и только послѣ тщательнаго осмотра пожалъ плечами и весело улыбнулся.

Чехловъ съ напряженною пытливостью смотрѣлъ въ лицо доктора.

— Ну, баринъ мой, пустяки... хины придется покушать!— сказалъ, между тѣмъ, послѣдній. Но, встрѣтивъ ужасный взглядъ больнаго, онъ вдругъ громко расхохотался.

— Да вы чего на меня такъ смотрите? Или хины испугались?

И опять расхохотался. Потомъ уже серьезно прибавилъ:

— Два порошка по десяти гранъ. Впрочемъ, если угодно, еще кое-что вамъ пропишу. Завтра можете встать и погулять. А черезъ нѣсколько дней можете не только сѣсть на пароходъ, но даже везти его на буксирѣ!

И врачъ еще разъ расхохотался. Сказавъ затѣмъ, что дѣлать ему здѣсь больше нечего, онъ радушно простился съ Чехловымъ и стыдливо взялъ изъ рукъ матери ассигнацію. Онъ въ это время думалъ: „Эдакое поганое ремесло! Придешь къ человѣку, который совсѣмъ не боленъ, пропишешь лѣкарство, которое онъ самъ можетъ себѣ прописать, и— пять рублей!“

А Чехловъ, тотчасъ послѣ ухода врача, еще слыша въ своихъ ушахъ его веселый хохотъ, въ изумленіи приподнялся на кровати, сѣлъ и почувствовалъ, что онъ уничтоженъ.

Простой лихорадки испугался, какъ послѣдній трусъ, дрожащій за каждую мелочь жизни!... Не смерть, а сознаніе срама — вотъ что невѣдомая рука приготовила ему, какъ послѣдній свой ударъ!... Онъ даже застоналъ отъ чувства смертельной обиды. Потомъ легъ на кровать, закрылъ голову одѣяломъ и не хотѣлъ ни на что смотрѣть.

На другой день онъ дѣйствительно всталъ съ постели и гулялъ по комнатѣ. Но ему здѣсь сразу все такъ опротивѣло, что онъ въ этотъ день хотѣлъ ѣхать обратно. Только просьба матери оставила его на слѣдующій день.

Но на третій день онъ не могъ больше оставаться. О деньгахъ онъ вяло заговорилъ съ братьями и, получивъ немного на дорогу, не добивался того, зачѣмъ ѣхалъ сюда. „Послѣ, послѣ объ этомъ!“—говорилъ онъ себѣ.

Не до денегъ и ни до чего подобнаго ему сейчасъ не было дѣла. Въ душѣ его былъ полный погромъ. Ученіе его перестало служить ему оружіемъ, оно выпало изъ его рукъ. Онъ чувствовалъ, что ему предстоитъ немедленно работа надъ созданіемъ мыслей, ибо вчерашнихъ мыслей уже не было въ наличности,—онъ ихъ самъ разрушилъ...

Еще больной, съ слабостью во всемъ тѣлѣ, но уже возстановившій власть надъ собою, онъ уѣхалъ на пароходѣ. Тамъ онъ сѣлъ въ уединенный уголъ, гдѣ никто не могъ ему помѣшать, смотрѣлъ, какъ крючники гурьбой таскали десятипудовые ящики, прислушивался къ шумнымъ голосамъ суетящейся толпы, среди которой кто-то плакалъ, прощался, гдѣ-то смѣялись, откуда-то изъ глубины раздавался хоръ крючниковъ: *Ой, еще!*—а въ умѣ его рѣзко звучалъ знакомый вопросъ: „Что же такое жизнь?“

Мой міръ.

I.

Я ѣхалъ изъ столицы, а куда и зачѣмъ—самъ не зналъ. Нравственное состояніе мое было самое неопредѣленное, словно я былъ внѣ времени и пространства. Помню, впечатлѣнія отъ внѣшнихъ предметовъ, мимо которыхъ летѣлъ поѣздъ, не оставляли на мнѣ и во мнѣ ни малѣйшаго слѣда, хотя умъ мой механически отмѣчалъ все, что было возлѣ меня, что пролетало надо мной, на что взоръ мой случайно падалъ.

Въ вагонѣ было тѣсно, накурено, шумно и мой умъ это отмѣчалъ; когда двое изъ пассажировъ разругались между собой и раскричались на весь вагонъ, мой умъ отмѣтилъ: „вотъ сейчасъ они будутъ драться", а когда неуживчивые пассажиры дѣйствительно подрались и высажены были съ протоколомъ на ближайшей станціи, то умъ мой, не замѣчая ихъ больше, совершенно забылъ о нихъ. Точно съ такою же правильностью мой умъ отмѣчалъ все, что ему природа предлагала: онъ отмѣтилъ рыхлый мартовскій снѣгъ, ослѣпительное солнце, отражавшееся въ крупныхъ кристаллахъ этого снѣга, голубое небо, голые, но какъ будто повеселѣвшіе лѣса, но, отмѣчая все, онъ ничего не оставлялъ для меня, и я, попрежнему, оставался пустою посудиной, изъ которой вылили содержимое. Лично для себя я не знаю ничего болѣе страшнаго, какъ то состояніе, о которомъ я говорю. Я принадлежу къ тѣмъ людямъ, которые не могутъ абсолютно существовать безъ внутренняго мотива, безъ

опредѣленной цѣли, безъ руководящей причины, безъ убѣжденій, безъ вѣры. Мнѣ непремѣнно нужна опредѣленная цѣль, чтобы чувствовать себя живымъ; мнѣ нуженъ хотя какой-нибудь принципъ, чтобы я ощущалъ радость. Лишь только такая руководящая мысль исчезнетъ изъ меня, я моментально падаю и ощущаю невыносимый гнетъ жизни. Тогда организмъ мой какъ будто распадается на отдѣльныя составныя части, и всѣ органы выходятъ изъ-подъ моей власти: ноги идутъ туда, куда мнѣ вовсе не хочется; руки дѣлаютъ движенія, которыхъ мнѣ не нужно; ротъ и языкъ дѣйствуютъ въ полной независимости отъ того, что я думаю; сердце, неизвѣстно отъ чего, сжимается въ смертельномъ испугѣ. Все тѣло мое тогда похоже на тѣсто, и моя душа становится подобной пару.

Вотъ въ такомъ-то состояніи я ѣхалъ неизвѣстно зачѣмъ изъ столицы. Мѣста я себѣ нигдѣ не находилъ; не могъ ни сидѣть, ни смотрѣть, ни лежать, ни слушать. Безпрестанно мѣняя положенія, я то и дѣло выходилъ изъ вагона на площадку и подставлялъ горячую голову свистѣвшему вѣтру; безъ сомнѣнія, я въ эти минуты не думалъ о здоровьѣ и рѣшительно не боялся, что схвачу простуду.

Припоминая всѣ эти мелочи, я долженъ сказать, что такое состояніе я испытывалъ въ первый разъ. Раньше оно случалось, но не въ такой массовой формѣ. Не было еще мѣсяца въ моей жизни, когда бы я не ощущалъ въ себѣ той или иной движущей мысли. Если же и приходилось испытывать пустоту, то происходило это отъ невозможности слить въ одно цѣлое убѣжденія и поступки, вѣру и дѣла, мысль и жизнь.

Эта же невозможность быть цѣлымъ существомъ угнетала меня съ самаго дѣтства. По крайней мѣрѣ, я не въ состояніи въ точности указать тотъ именно день, когда я раскололіся надвое. Быть можетъ, это событіе произошло еще въ дѣтствѣ, когда я жилъ въ нашей плохо сколоченной семьѣ; отецъ мой былъ либеральный исправникъ и совершалъ въ одинъ и тотъ же день поступки, взаимно уничтожающіе другъ друга: утромъ, напримѣръ, онъ съ обычными пріемами разгнѣваннаго начальника дергалъ какого-нибудь старшину за бороду, топалъ на него ногами и нерѣдко, внѣ себя отъ гнѣва, кубаремъ спускалъ его съ лѣстницы,

а вечеромъ, въ кругу домашнихъ и знакомыхъ, горячо разсуждалъ о благородной и умной статьѣ любимаго тогда журнала. Какъ мирились въ душѣ отца такія вещи, я не знаю; не знаю также, мучился онъ противорѣчіемъ или нисколько не мучился. Но я знаю, что на моей-то дѣтской душѣ вся эта лживость отражалась самымъ подлымъ образомъ: еще ребенкомъ я привыкъ видѣть въ одномъ человѣкѣ два лица, другъ друга оплевывающія, но зачѣмъ-то живущія вмѣстѣ.

Но, быть можетъ, расколелся я въ школѣ, когда мнѣ зачастую приходилось на партѣ держать раскрытымъ Юлія Цезаря, а подъ партой—Гоголя и показывать видъ, что я напряженно слѣжу за переводомъ той главы латинскаго автора, гдѣ описывается, какъ римскіе легіоны застали врасплохъ дикихъ галловъ.

— Варинъ! повторите, кто первый перешелъ въ наступленіе—однажды врасплохъ спросилъ меня учитель.

— Ноздревъ!—отвѣтилъ я, увлеченный тою сценой, гдѣ Ноздревъ, со свойственною ему искренностью, сталъ наступать на Чичикова, въ намѣреніи потрепать его бакенбарды.

Проклятые галлы! Они, показавшіе передъ Юліемъ Цезаремъ пятки, забыли меня, и я, при всеобщемъ хохотѣ товарищей, былъ отведенъ въ плѣнъ, въ карцеръ, а *Мертвыя души*, подобранныя на полѣ сраженія, отнесены были къ директору. Послѣ этого случая я всегда былъ на плохомъ счету у начальства, да и за дѣло, потому что я сдѣлался отчаянно-лживымъ.

Только университетъ былъ перерывомъ: это—самая счастливая пора моей жизни... Это, во всякомъ случаѣ, было время, когда мое существо, молодое и сильное, не казалось расколотымъ пополамъ.

А дальше пропасть между моими половинами становится все шире и шире. Тотчасъ, какъ я получилъ „кандидата правъ", пришлось отыскивать себѣ мѣсто, кормъ, положеніе; вотъ здѣсь-то я сейчасъ заглянулъ въ глубину жизненной пропасти. Юношескія иллюзіи какъ-то сразу разлетѣлись и на ихъ мѣсто появилось чортъ знаетъ что. Я былъ просто пораженъ тою быстротой, съ какою я вдругъ изъ мечтательнаго юноши сдѣлался поросенкомъ.

Я, по обыкновенію, въ качествѣ помощника, приписался къ патрону, издѣстному адвокату, блестящее краснорѣчіе котораго одинаково гремѣло какъ въ свѣтлыхъ, такъ и въ темныхъ процессахъ. Примазавшись къ этой знаменитости, я прибилъ на двери своей квартиры дощечку: „помощникъ присяжнаго повѣреннаго Иванъ Николаевичъ Варинъ" и сталъ ожидать, когда появится за совѣтомъ ко мнѣ первый дуракъ; кромѣ того, я завелъ фракъ и бѣлыя перчатки, а изъ одной своей комнаты ухитрился сдѣлать великолѣпную пріемную. Все это и многое другое я сдѣлалъ серьезно и не безъ увлеченія.

Не надѣясь на собственныя привлекательныя средства, я просилъ патрона доставить мнѣ первую защиту. А чтобы не умереть съ голода, мнѣ пришлось, скрывая отъ всѣхъ знакомыхъ, брать переписку по четвертаку за листъ. Мысли мои въ это время были самыя свинскія, или, лучше сказать, человѣческія. Я мечталъ о громкомъ процессѣ, въ которомъ сразу покажу свѣту безконечную гибкость языка, жаръ краснорѣчія, блескъ остроумія; мечталъ о томъ, какъ я, къ удивленію всѣхъ, огненнымъ краснорѣчіемъ оправдаю невинность и получу за это пятнадцать тысячъ; мечталъ затѣмъ (по полученіи пятнадцати тысячъ) о квартирѣ въ десять комнатъ, о невѣстѣ необычайной красоты и доброты и обо многомъ другомъ въ томъ же родѣ. Но, чтобы отдать себѣ справедливость, я долженъ сказать, что еще мечталъ рядомъ съ этимъ о безкорыстной службѣ; видя себя уже прославленнымъ, уже блестящимъ, я еще мечталъ, что буду защитникомъ бѣдныхъ, стану адвокатомъ нищихъ и голодныхъ, буду защищать невинныхъ жуликовъ, добрыхъ воровъ, несправедливо угнетаемыхъ головорѣзовъ. Много счастливыхъ слезъ будетъ пролито при имени моемъ, а пока, переписывая кляузы по четвертаку, я самъ плакалъ, представляя себя защитникомъ страждущихъ.

Въ такихъ невинныхъ занятіяхъ прошло немного времени. Быстро дѣйствительность стала стучаться въ мою дверь, и я долженъ былъ окунуться въ протухлую жизнь съ головой.

Сначала явилась нужда. Ни одинъ дуракъ, конечно, не пришелъ ко мнѣ, никто не зналъ меня и рѣшительно никто не думалъ воспользоваться совѣтами помощника присяжнаго

повѣреннаго Варина. Переписка же кляузъ моего патрона держала меня въ проголодь.

Большинство моихъ товарищей уже ловко устроились. Я одинъ только ни къ чему не могъ примазаться. Зависть и злость стали мучить меня. Чтобы догнать сверстниковъ, я также принялся рыскать въ поискахъ за мѣстами. Но, видно, ловкости и цѣпкости во мнѣ недоставало, — нигдѣ не отыскивалось мѣста для меня. Это была безпрерывная цѣпь униженій и злости. Сколько прихожихъ я потопталъ своими разорванными калошами, сколько спокойныхъ лакеевъ я возмутилъ противъ себя, какой калейдоскопъ сытыхъ господъ промелькнулъ передо мной... Нигдѣ ничего! Увы, фракъ я заложилъ, бѣлыя перчатки продалъ; даже доску съ своимъ именемъ хотѣлъ превратить въ табакъ, но, къ несчастью, за „помощника присяжнаго повѣреннаго Варина" никто не хотѣлъ дать даже пяти копѣекъ. Унизительна эта свалка эгоизмовъ и самолюбій, униженій и пораженій изъ-за мѣста, но я былъ столь наивенъ, что только удивлялся, когда принялъ участіе въ этой свалкѣ. Въ особенности изумлялся той массѣ низости и суетности, которую вдругъ открылъ въ себѣ.

Вѣроятно, патронъ мой сжалился надо мной и предложилъ мнѣ поступить къ нему въ фактическіе помощники. Это на время успокоило меня. Но разбитыя мысли уже не могли собраться; я окончательно раскололся.

Меня не могло успокоить даже и то обстоятельство, что всѣ люди около меня были также расщеплены на-двое; я не видѣлъ человѣка, который представлялъ бы полный замкнутый міръ: кого я ни наблюдалъ, всѣ казались мнѣ двуязычными, лживыми и вѣроломными, у каждаго мысли были одно, а дѣло — другое. Неужели этого обмана никто не видитъ?

Нѣкоторые по привычкѣ плаваютъ въ этой атмосферѣ двуязычія съ легостью пуха. Повидимому, ихъ нисколько не мучило лганье передъ собой. Въ этомъ отношеніи мой принципалъ былъ просто превосходенъ: защищая сегодня утромъ съ необыкновеннымъ жаромъ банковскаго дѣльца, онъ вечеромъ, въ кругу близкихъ, также съ необыкновеннымъ жаромъ мололъ о правдѣ и справедливости, объ идеалахъ, о вѣрѣ и т. д. Вчера онъ вилялъ хвостомъ передъ

однимъ бариномъ, имѣвшимъ силу, а сегодня, въ интимной бесѣдѣ, онъ уже либеральничаетъ, смѣется и третируетъ, какъ послѣдняго каналью, ту силу, передъ которой вчера онъ моталъ хвостомъ съ такою покорностью. И либеральничалъ, и моталъ хвостомъ онъ съ одинаковымъ талантомъ. И, въ то же время, это былъ человѣкъ добрый, несомнѣнной честности, часто великодушный и сострадательный; если кто усомнится въ этомъ, то пусть взглянетъ на себя въ зеркало. Защищая по назначенію какое-нибудь жалкое существо, онъ нерѣдко плакалъ искренно надъ несчастіемъ, а по окончаніи защиты вынималъ пять рублей и клалъ въ руку кліента.

Что ему по временамъ дѣлалось тошно, въ этомъ я убѣждался изъ неоднократныхъ его рѣчей покаянія. Правда, каялся онъ только въ пьяномъ видѣ, но всякій русскій человѣкъ вполнѣ сознаетъ себя только тогда, когда совершенно пьянъ. Не составляя исключенія, мой патронъ также приходилъ въ трагическое настроеніе, когда его подъ руки приводили домой изъ ресторана.

— Иванъ Николаичъ!—восклицалъ онъ съ драматическимъ жестомъ, употребляемымъ на судѣ, но съ искреннимъ страданіемъ на лицѣ,— Иванъ Николаичъ, голубчикъ, не презирайте меня! Цѣли, побудительной цѣли въ моей жизни нѣтъ!

— Не знаете, чему вѣрить и какъ жить? — спросилъ я однажды въ полночь, когда вся семья патрона уже спала, а онъ сидѣлъ передо мной въ позѣ убитаго человѣкъ, положивъ голову на руки и отъ времени до времени икая.

— Я знаю, чему вѣрить, но живу не по своей вѣрѣ.

— Почему же это?

— Потому, что я дѣлаю не то, что мой языкъ говоритъ!—возразилъ адвокатъ, хлопая рукой по столу съ величайшимъ гнѣвомъ.—Душа моя полна благородства, а дѣла мои трусливыя и узкія. Сердце мое сострадательное и бьется за всѣхъ погибающихъ, а языкъ мой болтается дурно... У меня есть идеалъ, а я освобождаю бубновыхъ тузовъ! Вотъ.. положеніе!

— Скверное!—возразилъ я.

— Чему вы смѣетесь? Вы еще ребенокъ, дитя!... Вы еще не знаете, голубчикъ, что значитъ имѣть мыслишки и не

имѣть мужества открыто признавать ихъ! Нѣтъ, не виновенъ я, но жертва!...—и адвокатъ опять сдѣлалъ трагическій жестъ.

— Жертва... чего?—спросилъ я съ интересомъ.

Пьяный человѣкъ тупо посмотрѣлъ на меня и съ воодушевленнымъ гнѣвомъ проговорилъ:

— Жертва своего желудка, рта, рукъ, ногъ,—жертва всей вообще шкуры! Невинный младенецъ, я завидую вамъ! Вамъ не пришлось еще дѣлать выборъ между мыслишками и собственною кожей. Вы откровенны и чисты, и жизнь ваша пойдетъ прямою дорогой. Заклинаю васъ, не сворачивайте съ прямой дороги, идите напроломъ и забирайтесь глубже!...

Принципалъ дѣлалъ красивые ораторскіе жесты, къ какимъ онъ прибѣгалъ, защищая мазуриковъ, но блѣдное лицо его проникнуто было величайшимъ волненіемъ.

— Почему же вы сами не дѣлаете того, что мнѣ совѣтуете?

Адвокатъ опять тупо посмотрѣлъ на меня и глубоко вздохнулъ. Затѣмъ онъ выговорилъ, отчеканивая каждое слово:

— Оттого, что нельзя опрокинуть вмѣстѣ съ собой тотъ стулъ, на которомъ сидишь. Я—жертва положенія. А у васъ и положенія-то никакого нѣтъ. Вашъ выборъ свободенъ: идеалъ или свинство. Свободно можете выбирать... А я—жертва!...

Впослѣдствіи эти покаянные разговоры часто повторялись, но они всегда оканчивались тѣмъ, что мой принципалъ засыпалъ на полусловѣ, какъ вышло и на этотъ разъ: обозвавъ себя жертвой, онъ вдругъ трагически захрапѣлъ.

Мнѣ становилось все хуже и хуже. Какая-то хворь овладѣла моею душой, всѣмъ моимъ организмомъ. Расколотый пополамъ, я едва владѣлъ собой въ обществѣ: то злоба и холодъ нападали на меня, то я испытывалъ острое страданіе отъ малѣйшаго пустяка. Всѣ знакомые и друзья мои какъ-то странно стали смотрѣть на меня,—не то съ сожалѣніемъ, что я не могъ до сихъ поръ пристроиться, не то съ боязнью, что я слишкомъ откровененъ.

— Ну, братъ, ты ужь слишкомъ требователенъ. Всѣ устраиваются, а ты одинъ мечешься. Вѣроятно, честолюбіе

твое ненасытно. Ты сразу, должно быть, хочешь попасть наверхъ, говори?

Положимъ, говорившій былъ истинный поросенокъ, еще на школьной скамьѣ потерявшій божескій обликъ, но меня подобныя обвиненія до крови ранили, попадая прямо въ цѣль. Я въ самомъ дѣлѣ желалъ слишкомъ многаго, мечталъ слишкомъ глупо, когда надѣялся быстро прославиться и разбогатѣть на поросячьемъ поприщѣ. Какъ всѣ люди, живущіе больше умственно, чѣмъ матеріально, я и въ поросячьихъ мелочахъ хваталъ черезъ край и отвертывался съ презрѣніемъ отъ предлагаемыхъ мѣстъ, казавшихся мнѣ мизерными. Въ этомъ мой благоразумный товарищъ, сразу присосавшійся къ теплому, хотя и незамѣтному мѣстечку, былъ правъ. Не подозрѣвая того, онъ прямо билъ меня въ сердце. Но, съ другой стороны, меня безконечно оскорбляло и то, какъ онъ смѣлъ заподозрить во мнѣ поросячьи мечты? Вѣдь я еще недавно вѣрилъ въ „измы“ и сердце мое было полно любовью къ людямъ!

Но фактъ былъ налицо: вчера еще насквозь пропитанный многими „измами“, я сегодня уже исключительно забочусь объ устройствѣ своихъ дѣлишекъ: ищу богатаго мѣста, обивая пороги, раздражаю благородныхъ лакеевъ, вывожу изъ себя знатныхъ господъ и, въ то же время, осмѣливаюсь считать себя обладателемъ какихъ-то секретовъ, борцомъ, чуть не героемъ.

Но кто же я, въ самомъ дѣлѣ,—герой или поросенокъ? и чѣмъ я буду завтра? и кто побѣдитъ: герой поросенка или поросенокъ героя? Гдѣ граница между моимъ и общественнымъ? И когда я долженъ забыть себя и „положить душу за други своя“? Жить же двойникомъ, дѣлая одно, болтая другое, я не въ силахъ, для этого я слишкомъ неловокъ и откровененъ. Если побѣдитъ поросенокъ, то я такъ прямо и скажу: „Господа, я—поросенокъ!“ Только и всего.

А лгать я не стану. Я прямо посовѣтую убираться къ чорту со всѣми бреднями, которыя только глубже вбиваютъ клинъ, разрывающій меня пополамъ. Я передалъ лишь сотую долю тѣхъ мукъ и сомнѣній, какія въ ту пору угнетали меня. Въ дѣйствительности бѣда была большихъ размѣровъ: я уже готовился быть однимъ изъ тѣхъ выброшенныхъ жизнью подкидышей, для которыхъ нѣтъ мѣста на людскомъ

торжищѣ. Расщепленный на двѣ половины, я становился безсильнымъ и негоднымъ, съ изорванными нервами, съ разодраннымъ умомъ, безъ воли и порядка въ поступкахъ. То безграничное отчаяніе, когда весь міръ кажется сплошною ночью, почти не покидало меня, и я не могъ сдѣлать ни малѣйшаго усилія, чтобы стряхнуть съ себя эту болѣзнь. Были минуты, когда меня отдѣлялъ одинъ шагъ отъ самоубійства или сумасшествія.

II.

Лишній день, прожитый въ такомъ состояніи, дѣлалъ меня все болѣе и болѣе неспособнымъ приладиться къ обыденной жизни. Самыя пустыя дѣлишки были уже выше моихъ силъ. Совершилось какъ-то такъ, что гдѣ другіе успѣвали, я оказывался глупымъ. Я неспособенъ былъ пріискать себѣ какое бы то ни было занятіе. Ротозѣй или глупецъ, я возбуждалъ искреннее сожалѣніе во всѣхъ моихъ товарищахъ, живо приладившихся къ краешку одного изъ столовъ, какъ будто эти столы были уже давно накрыты для нихъ.

Наконецъ, ближайшіе изъ моихъ друзей стали совѣтовать мнѣ уѣхать куда-нибудь, развлечься и на досугѣ подумать объ устройствѣ дѣлъ. Всѣ они смотрѣли на меня какъ-то странно, не то съ тайнымъ ужасомъ, не то съ жалостью, словно ожидали, что я выкину какую-нибудь неслыханную штуку.

— Ты что-то разстроенъ... Знаешь что? — однажды сказалъ лучшій мой пріятель, съ которымъ мы долго жили вмѣстѣ и привыкли считаться друзьями, обязанными взаимно помогать другъ другу, — знаешь что? Поѣзжай въ деревню къ одному моему знакомому и тамъ живи сколько хочешь. Малый онъ теплый, хорошій охотникъ, рыболовъ, непосредственная натура, толстъ, какъ откормленный быкъ, безъ нервовъ, безъ сомнѣній, можетъ быть, и безъ головы. А теплый человѣкъ, отъ котораго пышетъ паромъ, какъ отъ кипящаго самовара, просто кладъ для нашего брата. Поживешь лѣто и, быть можетъ, увидишь, что твой маленькій мірокъ страданій и надеждъ не наполняетъ еще всей вселенной... По крайней мѣрѣ, я, когда меня начинаетъ больно жалить какая-нибудь идейка, сейчасъ же иду на толкучку

и тамъ отрезвляюсь. Прихожу на толкучку и вижу, положимъ, оборвыша, который, шлепая въ жидкой грязи, продаетъ, напримѣръ, рыжія голенища. Наблюдая, какъ онъ божится и взволнованно возражаетъ направо и налѣво противъ нападокъ покупателей, чтобы выторговать лишнія двѣ копѣйки, я сразу отрезвляюсь, и мои волненія, мои страданія кажутся уже мнѣ забавными и преувеличенными, какъ преувеличенъ тотъ азартъ, съ какимъ человѣкъ на толкучкѣ разсказываетъ о своихъ голенищахъ, сыпля ругательства, ложь, божбу и острыя словечки... „Нѣтъ, ты воткни свои буркалы-то сюда, взгляни, чѣмъ пахнетъ, а тогда ужь и чеши языкъ-то!... Тутъ товаръ прямо хамбурцкій, товару эвтому, если по совѣсти говорить, цѣны нѣту, а ты возражаешь, какъ баба! Надо дѣло говорить!“ Сейчасъ же отрезвлюсь я и идейка моя перестаетъ меня жалить... Подумай, живетъ на землѣ нѣсколько тысячъ народишекъ, и каждый народишко, самый тощій и ничтожный, гуляющій безъ панталонъ, имѣетъ свои терзанія, свои нужды, свою вѣру, свои дѣла; какое же я имѣю право считать свою вѣру, свои дѣла и интересы единственными въ своемъ родѣ,—такими, изъ-за которыхъ надо непремѣнно терзаться до безумія или разбивать себѣ пулей голову? Вѣдь и тотъ дикарь, который въ охотѣ за ящерицей не успѣлъ поймать ее, имѣлъ бы право повѣситься на первомъ стволѣ пальмы. Если твоя идейка для тебя смертельно важна, то вѣдь и для того голаго человѣка ящерица была необходима для удовлетворенія голода. Ты не можешь схватить за хвостъ идейку, а онъ не успѣлъ поймать ящерицу,—и неужели изъ-за этого слѣдуетъ, чтобы ты себя хватилъ револьверомъ, а онъ—бумерангомъ?... Вотъ въ Корсикѣ пропарываютъ другъ другу животъ изъ-за того только, что прадѣдъ одного оскорбилъ прадѣда другого... Мужикъ нерѣдко бьетъ до смерти свою хозяйку изъ-за того, что она не приготовила ему онучи въ то время, когда онъ вернется изъ кабака. Людишкамъ свойственно безуміе, но развитому человѣку гнусно участвовать въ безуміи,—онъ долженъ быть терпимымъ и широко понимать міръ... Мы оттого несчастны, что непремѣнно хотимъ всунуть весь міръ въ себя, забывая, что мы сами должны приспособиться къ нему. Это такъ же резонно, какъ желать помѣстить весь

земной шаръ въ карманѣ... А тотъ теплый человѣкъ служитъ управляющимъ въ имѣніи...

— Къ чему ты это говоришь?—вскричалъ я, взбѣшенный нѣсколькими прозрачными намеками, вкрапленными въ длинную и, повидимому, беззаботную болтовню.

— Да такъ... пришло въ голову. Ты знаешь, я не особенно къ тебѣ равнодушенъ и... Поѣзжай, куда я тебѣ говорю, я напишу письмо этому управляющему, и ты отлично проведешь весну и лѣто. Жизнь тамъ, конечно, ничего не стоитъ, а на дорогу и на разныя случайности мы живо достанемъ денегъ... Какъ ты думаешь?

Говоря это, пріятель съ плохо скрытымъ состраданіемъ посмотрѣлъ на меня, а затѣмъ продолжалъ болтать. Взбѣшенный сначала намеками на мое душевное состояніе, я вдругъ почувствовалъ глубокій стыдъ при мысли, что я становлюсь предметомъ общественныхъ заботъ, что меня разгадали и убѣждаютъ не дѣлать глупостей, не пускать пули въ лобъ. Я готовъ былъ зарыдать.

И вотъ черезъ нѣсколько дней я уже ѣхалъ въ неизвѣстное мѣсто, безъ опредѣленной цѣли, съ разсыпавшимися мыслями въ головѣ. И, благодаря этому-то, въ ту минуту, съ которой я началъ разсказъ, я походилъ на тѣсто.

Живого во мнѣ осталось только безконечная раздражительность да способность констатировать бѣжавшія мимо меня впечатлѣнія. Въ вагонѣ было сыро и душно, всѣ помѣщенія были биткомъ набиты; сидѣли купцы, разночинцы, женщины всѣхъ сословій, но въ особенности много было податныхъ душъ, возвращавшихся къ Пасхѣ изъ столицы по своимъ угламъ. Впрочемъ, податныя души помѣщались больше подъ лавками, откуда дымили махоркой. Безпрерывная толкотня, тамъ, махорка, папиросы, купеческая икота къ концу дороги сдѣлались для меня невыносимы; чтобы вздохнуть свѣжимъ воздухомъ, я то и дѣло выходилъ на площадку и подставлялъ раскрытую грудь свистѣвшему вѣтру. Голова у меня уже горѣла, пульсъ отчаянно билъ тревогу, но душевная пустота во мнѣ была до такой степени огромна, что я ни о чемъ не думалъ, ничего не боялся.

Смутно помню, какъ я доѣхалъ до той станціи, гдѣ мнѣ слѣдовало слѣзать съ поѣзда и нанять лошадей до имѣнія. Помню только необычайное озлобленіе противъ всего и всѣхъ.

Голова моя горѣла, а тѣло дрожало до мозга костей. Не понимаю, какъ я не бросилъ вещей въ вагонѣ, когда выходилъ, потому что поднявшаяся толкотня (станція была большая) вызывала во мнѣ безсильное бѣшенство. Ноги еле двигались; затертый въ мечующуюся толпу, я едва не былъ сбитъ съ ногъ. Оттертый въ залу, я былъ притиснутъ къ стѣнѣ и посаженъ на скамейку. Мнѣ казалось, что я между бѣсноватыми, которымъ ничего не стоитъ столкнуть меня съ лавки на полъ и растоптать. Сознаніе путалось во мнѣ, но я злобно смотрѣлъ, какъ пассажиры бѣгали по залѣ, кричали, толкались и съ вытаращенными глазами тащили свои огромные узлы. Я ненавидѣлъ всѣхъ. Если-бы люди могли слиться въ одно лицо, я плюнулъ бы въ это лицо.

Потомъ звонки, свистокъ, топанье сотенъ ногъ—и все стихло. И я остался въ пустой залѣ, съ горящею головой и съ окоченѣвшимъ тѣломъ. Дальше все устроилось какъ-то само собою. Артельщикъ, который неизвѣстно о чемъ меня спросилъ и которому я неизвѣстно что отвѣтилъ, привелъ мнѣ мужика, взялъ мои вещи и попросилъ слѣдовать за собой. За вокзаломъ на снѣгу стояли дровни съ едва замѣтными признаками сидѣнья.

Лошаденка въ ихъ оглобляхъ стояла крохотная, но мужикъ былъ большой и веселый. Онъ что-то говорилъ мнѣ.

— Ничего, доѣдемъ... небось! Садись, баринъ... лошаденка у меня все равно, что вѣтеръ, однимъ махомъ откатаемъ двадцать-то верстъ до нашего села... Съ характеромъ она у меня... нравъ ейный такой, что первую версту надо ее хлестать на обѣ стороны, и тогда она зачнетъ чесать, пока въ ворота не влетитъ... Чисто какъ сумасшедшая...Ну, Господи благослови, буду теперь хлестать.

И въ моихъ ушахъ стало раздаваться: вжикъ! вжикъ!

Я уже смутно сознавалъ, гдѣ я, что со мной. Послѣдняя фраза, которую я запомнилъ, принадлежала, вѣроятно, моему возницѣ: „Господи Боже мой! да вѣдь онъ хворый, помираетъ!“

А дальше насталъ полный кошмаръ. Огненные круги стояли передъ моими глазами; темнота вдругъ окружила меня; воздухъ казался мнѣ угаромъ. Потомъ на меня напалъ ужасъ. Я чувствовалъ, какъ мужикъ положилъ меня внизъ саней, навалилъ мнѣ на грудь чемоданъ, а на чемоданъ

самъ сѣлъ и душилъ меня, въ то же время крича: „вжикъ! вжикъ!“

III.

Долго я спалъ.

Открывъ глаза, я сталъ не торопясь осматривать все, что меня окружало; при этомъ я нисколько не удивлялся своей обстановкѣ.

Я лежалъ на лавкѣ, въ углу возлѣ двери, прикрытый собственною шубой. Прямо противъ меня, у противоположной стѣны, стояла неизмѣримая русская печь, а надо мной висѣли палати. По потолку надъ печкой ползали тараканы, въ одиночку и кучами путешествуя по всѣмъ направленіямъ; одинъ изъ нихъ долго ползалъ по нижней сторонѣ палатей, но, очутившись прямо противъ моей груди, остановился, пошевеливая усиками и раздумывая, что ему дѣлать, потомъ повернулся, но, вѣроятно, не разсчиталъ своихъ шаговъ и свалился внизъ, на мою грудь, откуда поспѣшно удралъ къ моимъ ногамъ. Я почему-то былъ очень доволенъ, что онъ легко раздѣлался за свой невѣрный шагъ... Мнѣ было легко, хотя я лежалъ безъ движенія.

Я продолжалъ осматриваться кругомъ. Недалеко отъ стола, стоявшаго въ переднемъ углу, я увидалъ молодую женщину. Она сидѣла на донцѣ и пряла коноплянную мочку. Веретено въ ея рукахъ съ необычайною быстротой кружилось по полу, а мочка, вытягиваемая въ нитку, замѣтно уменьшалась. Я залюбовался этою артистическою работой и съ радостью наблюдалъ, какъ исчезала кудель, какъ она подъ мокрыми пальцами женщины вытягивалась, закручивалась въ нитку, съ какою ловкостью женщина подхватывала вертѣвшееся веретено съ пола и какъ быстро наматывала на него скрученную нитку. Но всего больше мнѣ понравилось лицо молодой дѣвушки. Она, повидимому, вся погрузилась въ работу, но на самомъ дѣлѣ мысли ея гдѣ-то были далеко отъ этой прялки. Молодое лицо то улыбалось, то дѣлалось задумчивымъ. Не слыша своего дыханія, не двигаясь ни однимъ членомъ, я любовался этимъ лицомъ.

Потомъ глаза мои съ трудомъ повернулись въ другую сторону, и я увидѣлъ еще такое же лицо, только совсѣмъ молодое. Повидимому, это была дѣвушка, судя по ея косѣ съ

вплетенною лентой на концѣ. Она что-то шила, но медленно и какъ-то лѣниво. Какое-то неуловимое сходство было въ чертахъ обѣихъ женщинъ, но я не могъ допустить, чтобы дѣвушка была дочь молодой женщины; та же задумчивая улыбка блуждала на ея лицѣ, но улыбка эта была молодая, неопредѣленная, а въ большихъ сѣрыхъ глазахъ ея свѣтилось много счастья и довольства. Меня охватила тихая радость; я медленно переводилъ глаза съ одной женщины на другую и съ величайшимъ вниманіемъ слѣдилъ за всѣми ихъ движеніями.

Въ избѣ, кромѣ тараканов и двухъ этихъ женщинъ, находилось еще одно живое существо. Это былъ недѣльный теленокъ, рыженькій, съ розовыми копытцами; онъ стоялъ недалеко отъ моей постели и глупо посматривалъ по сторонамъ. Чистенькая мордочка его, черные большіе глаза, наивные, какъ у ребенка, бархатные уши, движеніями которыхъ онъ такъ еще неумѣло управлялъ,—все это возбудило во мнѣ почему-то живое удовольствіе. У меня явилось сильное желаніе погладить его по спинѣ, потрепать его уши, почувствовать на своей рукѣ теплое дыханіе его розовыхъ ноздрей, и я уже хотѣлъ протянуть руку, чтобы выполнить свое намѣреніе. Но дѣло оказалось выше моихъ силъ; сдѣлавъ страшное усиліе, чтобы освободить руку изъ-подъ шубы, я почувствовалъ полное изнеможеніе, а рука, помимо моей воли, упала мнѣ на грудь. Тутъ только передо мной промелькнула мысль, гдѣ я былъ, зачѣмъ я здѣсь и что случилось.

Вѣроятно, сдѣланное мною слабое движеніе обратило вниманіе дѣвушки, потому что она посмотрѣла въ мою сторону и на ея лицѣ отразились вдругъ испугъ, радость, волненіе.

— Тёта! баринъ-то смотритъ!—сказала она шепотомъ.

Это сразу нарушило мирную тишину, царствовавшую въ избѣ. По крайнѣй мѣрѣ, мнѣ показалось, что все задвигалось вокругъ: тараканы цѣлыми эшелонами поползли по стѣнамъ запечья; теленокъ вздрогнулъ и въ дѣтскомъ испугѣ озирался по сторонамъ, полный недоумѣнія; лучъ солнца, чѣмъ-то до сихъ поръ загороженный, прямо ударилъ мнѣ въ глаза; обѣ женщины поднялись съ своихъ мѣстъ, и старшая изъ нихъ подошла ко мнѣ.

— Проснулся, родимый? Ну, слава Богу!—сказала она.

Въ эту минуту въ избу вошли еще двое: тотъ самый мужикъ, что везъ меня со станціи, и мальчикъ лѣтъ пяти. Всѣ они тотчасъ окружили мою постель и удивленно смотрѣли на меня.

— Вишь, проснулся!... А ты съ вѣтру-то не подходилъ бы близко,—сказала женщина мужу, и тотъ съ величайшею поспѣшностью отошелъ подальше. Но оттуда, радостно взволнованный, съ широкою улыбкой на широкомъ лицѣ, онъ заговорилъ, перебивая себя:

— Проснулся? Ну, и слава Богу! А долгонько-таки поспалъ, въ аккуратъ три недѣльки... Ну, да ужь теперь дѣло пойдетъ на поправку... И напужалъ же ты меня... то-есть страсть какъ меня перепужалъ, какъ мы съ тобой со станціи-то сѣли! Не отъѣхали еще за околицу, слышу вдругъ, что баринъ мой что-то лопочетъ. Ну, думаю, это онъ промежду собой на иностранномъ языкѣ... да оглянулся и вижу—ба-атюшки!—глаза-то у тебя красные, какъ угли горятъ, и бормочешь ты невѣсть что... Такъ меня въ башку ударило: ну, говорю, захворалъ баринъ, а бы не померъ! Сталъ я стегать на оба бока лошаденку, а самъ наблюдаю за тобой, кую ее и снизу, и сверху, а самъ все наблюдаю. Ужасъ на меня напалъ!... Да еще такую штуку-то ты откололъ со мной... Въ одномъ мѣстѣ я остановился поправить шлею, а ты вдругъ хвать изъ саней, да тягу, да въ степь, да въ снѣгъ, по это мѣсто влетѣлъ! Я за тобой, схватилъ тебя на руки, приволокъ къ санямъ, посадилъ, самъ сѣлъ рядомъ, и одною рукой тебя держу, чтобы не удралъ, а другою меринишку нахлестываю, чтобы поскорѣе до села добраться... Скачу такъ-то, а у самого, чую, волосы подъ шапкой шевелятся отъ великаго страху. Потому ты кричишь и бьешься на рукахъ у меня, лошаденка скачетъ, снѣгъ ошметьями бьетъ меня по рожѣ, а мысли мои ходуномъ ходятъ. Помретъ, думаю, баринъ и завинятъ меня невѣсть въ чемъ. Ну, однако, прискакалъ ко двору, кричу бабъ, а самъ ничего не понимаю. Да ужь, далъ Богъ бабы тутъ надоумили меня; въ этомъ разѣ бабы завсегда выручаютъ... „Что же ты, говорятъ, какъ бревно стоишь? Вѣдь въ избу надо внести барина-то, спокой ему дать, въ тепло его,—что же, мы нехристи, что-ли? То-есть чисто надоумили, а то я бы самъ, какъ дуракъ, стоялъ, хлопалъ глазами, а чтобы понять, что надо дѣлать,

не могу. Внесли мы тебя въ избу, раздѣли, положили,— ну, ужь тутъ женское дѣло пошло, отхаживать стали тебя, поить, беречь, да три недѣльки отхаживали!... Я было побѣжалъ къ старостѣ, да онъ ничего мнѣ путнаго не сдѣлалъ. „Ты, говоритъ, привезъ хвораго барина, ты и возжайся". Ну, плюнулъ я,—извѣстно, что съ эдакимъ одромъ говорить? Поѣхалъ я къ уряднику, тотъ успокоилъ. Пущай, говоритъ, лежитъ у тебя, я, говоритъ, и пашпорта не спрошу, а коли помретъ,—ну, тогда пашпортъ...

— Будетъ болтать-то!—вдругъ ласково прервала молодая женщина, стоя возлѣ моего изголовья.

— Да я ничего, радъ только!—возразилъ мужикъ, и дѣйствительно, все лицо его было воодушевлено радостью; онъ то садился, то вставалъ, все время сильно волнуясь.

— Урядникъ—дай ему Богъ здоровья!—и насчетъ фершала меня натакалъ. Я къ фершалу. А фершалъ у насъ, прямо сказать, на всѣ руки. Всѣхъ лѣчитъ, кто ни попадетъ. Баба послѣ родовъ занеможетъ—къ нему. Господинъ какой разстроился—къ нему, фершалу нашему. Намедни собака, легашъ, у писаря черноозерскаго хвостъ опустила—къ фершалу. Меринъ у сосѣда вонъ на переднія ноги ослабъ—къ нему же. То-есть всякую животную онъ берется лѣчить... кошку только не пробовалъ!

— Будетъ ужь, будетъ!—возразила молодая женщина.— Спокой ему нуженъ, а ты болтаешь зря!

— Да я ничего... я говорю только: слава тебѣ, Господи, что дѣло на поправку пошло!

Женщина стала поправлять мою постель, и въ то время, какъ глаза ея ласково смотрѣли на меня, руки ея ловко и быстро сдѣлали все, что мнѣ было нужно. Она поправила мнѣ подушку, закрыла мою грудь и нѣжно отвела мои волосы со лба. А дѣвушка стояла поодаль и съ радостнымъ испугомъ слѣдила за мной, какъ бы готовая сдѣлать все, что я ни попрошу.

— Испить не хочешь-ли ты? Тепленькое молочко у меня есть... Выпей!... Выпей!...

Я могъ только глазами изъявить согласіе, потому что, вмѣсто словъ, у меня вышелъ невнятный шепотъ. Я посмотрѣлъ себѣ на руки: онѣ почти высохли за эти три недѣли, и я чувствовалъ, какъ кожа обтянулась на моихъ щекахъ

а глаза мои ушли глубоко внутрь. Я не могъ отъ слабости разжать губъ и не въ силахъ былъ кивнуть головой. Но обѣ женщины угадали мой взглядъ: дѣвушка устремилась къ печкѣ, вынула оттуда молоко, налила въ чашку и передала ее теткѣ, а эта послѣдняя одною рукой приподняла мою голову, а другою поднесла осторожно къ моимъ губамъ чашку.

— Господи благослови!... Пей, сердешный! —говорила она, когда я съ трудомъ разжалъ губы и сдѣлалъ нѣсколько глотковъ. Больше я не могъ.

Въ эту минуту опять заговорилъ мужикъ:

— Ничего, пущай пьетъ... Пей, баринъ... Вѣдь вотъ эти бабы какія! Я бы вотъ совсѣмъ тутъ лишился головы, а ужь онѣ знаютъ свое дѣло,—и молочка, и водицы, и подушку надо поправить, и волосья... А я бы тутъ только хлопалъ глазами, какъ дуракъ,—помощи въ этомъ разѣ у меня нѣтъ... Ничего, пущай поправляется... Ужь теперь мы скоро бѣгать будемъ!

Онъ говорилъ весь взволнованный, его широкое лицо свѣтилось улыбкой, и онъ, повидимому, не могъ удержаться отъ выраженія своего восторга по случаю моего выздоровленія. Да и на всѣхъ трехъ добрыхъ лицахъ семьи сіяла радость, желаніе помочь мнѣ и простая доброта. Эта радость перелилась и въ меня. Что-то вдругъ забилось въ груди у меня, слезы выступили на моихъ глазахъ; мнѣ хотѣлось выразить благодарность, но я только въ состояніи былъ невнятно прошептать слова любви...

Это волненіе утомило меня; вѣки мои сами опустились, но, закрывъ глаза, я все-таки видѣлъ всю обстановку: таракановъ, теленка съ розовою мордочкой и съ черными глазами, дѣвушку, ея тетку и широкое лицо мужика, которое постепенно расплылось въ необъятную улыбку и окрасило всѣ мои видѣнія розовымъ свѣтомъ. Невыразимое счастье и глубокій покой овладѣли всѣмъ моимъ организмомъ, и я заснулъ въ какомъ-то упоеніи.

IV.

Когда я снова открылъ глаза послѣ двѣнадцати часовъ глубокаго сна, въ избѣ было пусто и царила мертвая тиши-

на; не было ни людей, ни теленка, только тараканы за печкой продолжали свои путешествія. Я слышалъ собственное тихое дыханіе и могъ сосчитать медленные удары своего сердца. На меня вдругъ напала тоска, какъ будто я что-то потерялъ. „Гдѣ они всѣ?“—думалъ я и искалъ глазами людей, къ которымъ такъ непонятно привязался. Съ тоской ожидая ихъ, я тутъ только смутно вспомнилъ отрывки того бреда, въ которомъ я метался нѣсколько недѣль. Посреди ужасовъ отвратительныхъ видѣній мнѣ припомнились, какъ въ туманѣ, два женскихъ лица, ласковыхъ, добрыхъ, сострадательныхъ; они отгоняли мои огненные образы и вѣяли на меня прохладой... Вотъ когда я привязался къ нимъ.

Но мое волненіе продолжалось недолго: дверь вдругъ отворилась и въ избу вошла сначала молодая женщина, потомъ дѣвушка съ мальчикомъ, а вслѣдъ за ними вскорѣ самъ хозяинъ. Разбрелись они всѣ по дѣламъ, а меня не боялись оставить одного, потому что я спалъ здоровымъ сномъ. Я обрадовался, какъ ребенокъ, когда всѣхъ ихъ снова увидалъ. Женщина принялась сейчасъ же хлопотать около меня, мальчуганъ залѣзъ на печку и оттуда, не сводя глазъ, наблюдалъ за мной, а самъ хозяинъ, попрежнему, болталъ, будучи не въ состояніи удержаться отъ выраженія своихъ чувствъ, которыя всѣ цѣликомъ ярко рисовались на его открытомъ лицѣ.

— Ловко! Мы тутъ всѣ кое-куда разбрелись, а нашъ гость вонъ ужь молодцомъ смотритъ. Молочка? Ну, ничего, пущай пьетъ... Пей, Иванъ Миколаичъ! (Откуда-то онъ ужь и имя мое узналъ). Фершалъ нынче обѣщалъ побывать и говоритъ: „Вы, черти, не вздумайте его кормить толокномъ!... Теперь, говоритъ, ему слѣдуетъ курицу, мясо, супъ, чтобы животъ ему не пучило!“ Что-жь, это можно... Больному человѣку и въ постъ, въ случаѣ чего, полагается — Богъ проститъ!... Завтра же все раздобудемъ... Ловко! Полчашки ужь выпилъ... молодецъ!...

Это онъ меня такъ воодушевлялъ, когда я пилъ молоко, поданное мнѣ хозяйкой. Невозможно было удержаться отъ улыбки. Въ этотъ день я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ по пути выздоровленія, въ первый разъ заговорилъ, хотя шепотомъ, и нашелъ въ себѣ силу двигать руками и ногами. Впрочемъ, нѣсколько часовъ участія моего въ раз-

говорѣ семьи утомили меня, и я снова закрылъ глаза, полный покоя и счастья.

Съ этого дня я быстро сталъ поправляться и какъ бы вновь выросталъ тѣломъ и душой. Черезъ нѣсколько дней я уже самъ поворачивался на постели, а еще черезъ нѣсколько дней могъ сидѣть. Участіе всей семьи ко мнѣ проявлялось ежеминутно въ сотнѣ мелочей; мы какъ будто нѣсколько лѣтъ жили вмѣстѣ и привыкли во всемъ другъ къ другу. Между нами происходили постоянные разговоры, не возбуждавшіе никакихъ недоразумѣній. Отношенія становились дружескія, родныя. Впрочемъ, къ различнымъ членамъ семьи у меня были различныя отношенія.

Дольше всѣхъ не признавалъ меня равнымъ себѣ мальчуганъ Васька, упорно выглядывая дикаремъ. Забѣгая послѣ игръ на дворѣ въ избу, онъ или влѣзалъ на печку и оттуда пытливо наблюдалъ за всѣми моими движеніями, или уходилъ въ дальній уголъ и тамъ, засунувъ пальцы въ ротъ, молчалъ на всѣ мои шутки.

— Песъ его знаетъ, въ кого и уродился эдакій волченокъ!—говорила съ улыбкой мать его.—Васька! ты это чего глазищи-то косишь отъ Ивана Миколаича? У, дуракъ!

Васька на всѣ эти упреки пуще косилъ глазами и глубже засовывалъ пальцы въ ротъ. И долго впослѣдствіи онъ дичился меня.

Дѣвушка Даша, племянница моихъ друзей-хозяевъ, то и дѣло старалась услужить мнѣ, болтала со мной, повидимому, свободно, но въ ея лицѣ постоянно мелькала застѣнчивость, которая перешла и на меня; я даже больше, пожалуй, стѣснялся, когда глядѣлъ на это молодое лицо. Мы свободно смотрѣли другъ на друга только въ присутствіи самой Василисы.

Эта молодая хозяйка съ перваго же взгляда казалась одною изъ тѣхъ умныхъ женщинъ, съ которыми такъ легко говорить и къ которымъ чувствуешь невольное уваженіе. Ловкая въ движеніяхъ, тихо, но съ необычною быстротой работающая, Василиса все дѣлала съ величайшимъ тактомъ. На лицѣ ея блуждала чуть замѣтная улыбка, глаза свѣтились лаской, и, въ то же время, каждое движеніе ея было твердое, какъ результатъ заранѣе обдуманнаго плана, а каждое ея слово, повидимому, незначительное, вытекало ло-

гически изъ цѣлаго ряда разумныхъ мыслей. Никого въ семьѣ не насилуя, она пользовалась неоспоримымъ вліяніемъ. Я никогда не слышалъ съ ея стороны приказаній ни племянницѣ, ни мужу, но оба они дѣлали съ удовольствіемъ все, о чемъ она говорила. Она никогда не совѣтовала, но просто говорила, и, однако, слова ея принимались за послѣднее рѣшеніе; никого не принуждая что-нибудь сдѣлать, она сама работала, но всѣ старались взять на себя начатую ею работу. Даша питала къ ней безграничное довѣріе, а мужъ постоянно обнаруживалъ неравнодушіе къ ней.

Проводили мы время тихо. Иногда я что-нибудь разсказывалъ, но чаще молчалъ ,наблюдалъ за работами по дому обѣихъ женщинъ, что мнѣ доставляло непонятное удовольствіе.

Но картина мѣнялась, когда въ избу входилъ самъ Петръ Митрофанычъ. Когда онъ, съ шумомъ отворивъ дверь, входилъ въ избу, съ нимъ врывался свѣжій воздухъ, шумъ, движеніе, громкій разговоръ, запахъ сѣна, солнечный свѣтъ, смѣхъ и оживленіе. Шапка его была сдвинута на затылокъ; воротъ растегнутъ. Лицо открытое, само по себѣ возбуждающее веселье. Экспансивная натура его способна была оживить, кажется, мертваго. Каждое слово его, само по себѣ вовсе не смѣшное, вызывало въ окружающихъ смѣхъ и счастливое настроеніе. Едва онъ открывалъ свой широкій ротъ, какъ уже всѣ улыбались. Размахивая большими лапами, онъ говорилъ безпорядочно, но самъ увлекался и хохоталъ такъ, что смѣхъ его вырывался наружу и раскатывался по всей улицѣ. Курчавые волосы покрывали его голову въ живописномъ безпорядкѣ, а пальцы его рукъ всегда торчали въ разныя стороны всею пятерней. Все у него было широко: спина, ноги, носъ, пятерни, разговоръ, мысли, волненія, и все это ползло врозь, ширилось. Когда онъ что-нибудь объявлялъ, то ноги разставлялъ врозь, растопыривалъ пальцы и говорилъ, дѣлая неожиданныя сопоставленія.

Кажется, скрыть въ себѣ онъ ничего не могъ; всякое чувство сейчасъ же вырывалось изъ него наружу, какъ паръ и пузыри изъ клокотавшаго въ печкѣ чугуна. Это чувство сейчасъ же разливалось у него по лицу, по рукамъ, растопыривало его пятерни и заставляло размахивать ими по воздуху. Что-нибудь описывая, онъ преувеличивалъ каждую

ещь, придавая ей страшные размѣры. Въ десятый разъ разсказывая, какъ онъ везъ меня со станціи и какъ отъ ужаса шевелились у него подъ шапкой волосы, онъ и меня приводилъ въ ужасъ. Онъ никогда не вралъ, только всему придавалъ необъятные размѣры.

Неумѣренный въ своихъ чувствахъ, онъ и темныя стороны описывалъ съ огромными преувеличеніями. Я не видалъ его еще разгнѣваннымъ и мрачнымъ, но когда въ первый разъ увидалъ его такимъ, то вообразилъ, что постель подо мною падаетъ, а наша изба лопнула и разваливается.

Это было во вторникъ на Страстной недѣлѣ. Даша, Василиса и я—всѣ мы втроемъ—мирно бесѣдовали, дѣлая длинные промежутки молчанія. Васька лежалъ на палатяхъ и, свѣсивъ бѣлесую голову свою внизъ, отъ времени до времени искоса поглядывалъ на меня. Вдругъ дверь широко распахнулась и вмѣстѣ съ кучей холоднаго воздуха вошелъ Митрофанычъ. Шапка его, какъ всегда, была сдвинута на затылокъ; въ бородѣ висѣла щепка; воротъ рубахи и полушубка былъ растегнутъ. Но лицо его было темно, а надъ разгнѣванными газами густыя брови его мрачно были сдвинуты, какъ у кота, прицѣлившагося прыгнуть на мышь.

Не говоря ни слова, онъ взялъ съ головы шапку и—бацъ объ полъ! Развязалъ кушакъ съ полушубка и—бацъ его за печку! А сдернувъ съ плеча полушубокъ, онъ швырнулъ его на лавку такъ, что тотъ плашмя растянулся по полу и разбросилъ рукава. Опять ни говоря ни слова, Митрофанычъ сѣлъ на лавку и поглядѣлъ на всѣхъ такимъ темнымъ взоромъ, что я ожидалъ уже какого-нибудь несчастія. „Что за диковина!"—думалъ я.

Вдругъ онъ проговорилъ мрачно:

— Сволочь!

Никто ему не возразилъ.

— Толстомордый дьяволъ!—еще брякнулъ онъ.

Я недоумѣвалъ. Василиса также молчала, только лицо ея сдѣлалось задумчивѣе и строже.

— Хуже пса такой человѣкъ... Вотъ тебѣ и Свѣтлое Христово Воскресеніе... безъ говядины!—закричалъ онъ бурно, весь красный.

Василиса слегка сдвинула брови и задумчиво продолжала

работать. Наконецъ, бросивъ пытливый взглядъ на мужа, она тихо спросила:

— Въ лавочкѣ, что-ли, былъ?

— А то гдѣ же больше? Конечно, у толстомордаго Микитки. Пришелъ, прошу къ празднику говядины, а онъ, какъ песъ безчувственный, зачалъ лаять... Не даетъ. „Ты, говоритъ, забралъ уже на два цѣлковыхъ,—не дамъ!“ Ахъ, ты, шкура поганая! Цѣлый годъ беремъ у него, а тутъ вдругъ передъ праздникомъ лишаетъ! Гдѣ же теперь возьмешь,—у чорта подъ хвостомъ!

— Можно и въ другомъ мѣстѣ взять,—какъ бы про себя возразила Василиса.

Митрофанычъ мрачно посмотрѣлъ на нее, но, видимо, слова жены подѣйствовали на него охлаждающимъ образомъ,—нѣсколько складокъ на его лицѣ разгладились, а брови приподнялись.

— Не даетъ Микитка, и песъ съ нимъ,—свѣтъ не клиномъ сошелся. Богъ дастъ, не останемся безъ говядины...

Говоря это, Василиса задумчиво посмотрѣла вокругъ себя и что-то соображала. Митрофанычъ глядѣлъ на нее, и его широкое лицо мало-по-малу расплывалось. Здѣсь я вмѣшался, сказавъ, что я еще не заплатилъ за дорогу, и предложилъ Митрофанычу свои услуги. Моментально гнѣвъ его пропалъ и на поверхности его лица появился сильный конфузъ.

— Да развѣ я, Иванъ Миколаичъ, изъ-за денегъ?... Да я что... какъ же можно, чтобы я даже подумалъ попрошайничать у тебя? Господи Боже мой! вѣдь я только про толстомордаго Микитку разговаривалъ, потому какъ онъ говядины мнѣ не отпущаетъ! Чай, ты гость нашъ!...

Только съ помощью Василисы удалось убѣдить его, что деньги мои, заработанныя имъ, получить можно сейчасъ же и что въ этомъ никакого срама нѣтъ. Вообще, Митрофанычъ былъ чуткій ко всему. Такъ, чтобы его не заподозрили въ какой-нибудь корыстной мысли, онъ во время моей горячки спряталъ мой кошелекъ за божницу, за икону святителя Макарія, и теперь, доставъ оттуда его, подалъ мнѣ, причемъ побожился, что „лопни его утроба, онъ пальцемъ тоесть не шевелилъ чужія деньги“.

Вскорѣ съ его крайними способами выраженія чувствъ я

лиже познакомился и привыкъ не удивляться, когда онъ другъ неожиданно переходилъ отъ хохота къ мрачному зглядy. Какъ всѣ люди, надѣленные чрезмѣрнымъ воображеіемъ, онъ часто изъ пустяка создавалъ слона, но кто прыкъ къ этой необузданности, тотъ ужь ее не замѣчалъ. Къ ому же, чрезмѣрная радость и необузданный гнѣвъ его ыражались сравнительно невиннымъ способомъ; чаще всего а мрачное состояніе его отвѣчала шапка, которую онъ езъ милосердія бацалъ объ полъ.

— Вотъ и говядина у насъ будетъ... Не зачѣмъ было шумѣть, только шапку рвешь,—сказала Василиса съ тимимъ упрекомъ, когда вопросъ о говядинѣ мы разрѣшили.

Въ это время, на Страстной недѣлѣ, я уже сталъ понемногу ходить. Мирное нравственное настроеніе, душевный окой, простая, но здоровая пища быстро возстановляли гасшія мои силы. На послѣднихъ дняхъ я принималъ уже живое участіе въ приготовленіяхъ къ празднику; вспомнивъ нѣсколько кухонныхъ секретовъ, я передалъ ихъ Василисѣ Дашѣ; кромѣ того, самъ своими руками сдѣлалъ изъ доокъ посуду для сырной пасхи и сильно волновался, когда мы втроемъ составляли смѣсь изъ творогу, сахару и пр. Праздникъ мы встрѣтили и провели скромно и съ сіяющими ицами, причемъ самъ Митрофанычъ цѣлый день находился ъ восторженномъ настроеніи и выражалъ его, по обыкноенію, необузданно, такъ что даже дикій Васька усомнился ъ трезвомъ состояніи отца.

На третій день я въ первый разъ вышелъ на улицу, тепо одѣтый и подъ руку съ Митрофанычемъ. Голубое небо, ркое солнышко, весенніе ручейки, скрещивающіеся по всѣмъ аправленіямъ, привели меня въ такое настроеніе, что я съ рудомъ удерживался отъ слезъ. Митрофанычъ привелъ меня а высокій берегъ рѣки, уже совершенно высохшій и сплошь блѣпленный народомъ. Я не подозрѣвалъ, что меня уже все ело знаетъ, интересуется мною и выражаетъ мнѣ по всякому поводу сочувствіе. Усаженный на удобномъ мѣстѣ, я очутился среди нѣсколькихъ десятковъ мужиковъ и былъ подавленъ сострадательными взглядами, одобрительными словами, сочувственными совѣтами. Мнѣ нужно было много времени, чтобъ оправиться отъ волненія, вызваннаго наивными пожеланіями, и только успокоившись, я принялъ участіе въ

праздничномъ настроеніи мужиковъ. А настроеніе это было поистинѣ праздничное.

Весенній воздухъ ласкалъ мнѣ лицо, солнце грѣло мое тѣло, обширный ландшафтъ успокоивалъ мои взоры. Прямо подъ ногами нашими бурлила рѣка, мутныя воды которой несли льдины; по всему протяженію крутаго берега шумѣли водопады, низвергаясь пѣнистыми потоками внизъ; тутъ же вокругъ гармонически журчали ручейки, съ тихимъ шепотомъ сливаясь съ рѣкой. Вдали виднѣлась мельница съ соломенною крышей, а кругомъ луга, покрытые тальникомъ, который издали бѣлѣлся пушистыми цвѣтами.

Быть можетъ, личное мое настроеніе все окрашивало въ радужные цвѣта, но я видѣлъ, что настроеніе всѣхъ облѣпившихъ берегъ было необыкновенное. И здѣсь, на мѣстѣ, я въ первый разъ понялъ тайну воскресенія мужика. Раньше эта тайна была недоступна мнѣ. Когда я въ газетахъ читалъ о голодѣ, положимъ, малмыжскихъ мужиковъ и подробности описанія ихъ послѣднихъ предсмертныхъ судорогъ, я съ ужасомъ констатировалъ фактъ: „ну, теперь малмыжскіе мужики померли, погубленные безчеловѣчіемъ людей и гнѣвомъ природы“, но когда черезъ нѣсколько мѣсяцевъ изъ тѣхъ же извѣстій узнавалъ, что малмыжскіе мужики успѣшно обдѣлываютъ свои поля, я съ недоумѣніемъ думалъ: „но вѣдь малмыжскіе мужики погибли,—какъ же они, мертвые, могутъ обдѣлывать поля“? И я ничего не понималъ.

Теперь я на мѣстѣ прочувствовалъ эту тайну воскресенія изъ мертвыхъ. Малмыжскіе мужики дѣйствительно ежегодно помирали, но ежегодно весной, вмѣстѣ съ возрожденіемъ земли, они воскресали, какъ умершіе и похолодѣвшіе корни растеній. Ихъ оживляло это голубое бездонное небо и этотъ теплый воздухъ, а когда яркое солнце вскрывало рѣки и растопляло землю, когда взволнованныя имъ воды съ грохотомъ уносили всю грязь и смрадъ, накопившіеся въ продолженіе цѣлаго года, въ сердцѣ малмыжскихъ мужиковъ разбивалось отчаяніе и они мужественно принимались снова за прерванную жизнь.

Я каждый день сталъ выходить, съ помощью Митрофаныча, на берегъ и по нѣскольку часовъ проводилъ среди шумной воскресшей толпы. Парни и дѣвки играли въ горѣлки; мальчишки боролись, бѣгали, играли въ бабки; мужики и бабы

›мѣнивались шутками и веселыми разсказами; подвыпившіе
›али пѣсни, дрались или цѣловались. Это была жизнь.

V.

За праздникъ, сидя на берегу бушевавшей рѣчки, среди ·чи веселаго, воскресшаго народа, я, незамѣтно для себя, ›резнакомился со всею деревней. Дойти отъ нашего дома › берега мнѣ всегда помогалъ Митрофанычъ, но обратный ›ть я часто совершалъ при поддержкѣ какого-нибудь дру›го мужика, и это сблизило меня со старыми и малыми. ›мъ не желая того, я скоро узналъ всю подноготную каж›го. Откровенность между нами установилась какъ-то само ›бой. Одинъ разсказывалъ про свою домашнюю жизнь, дру›й—про свои мытарства на заработкахъ, третій въ под›бностяхъ объяснялъ тотъ случай, когда потерялъ послѣд›ю корову. Опять-таки не желая совѣтовать и учить, я ›жденъ былъ принять участіе въ рѣшеніи множества кро›ечныхъ вопросовъ.

А черезъ нѣсколько дней я былъ уже заваленъ мелкими ›ишками. Одному мужику, плотно поѣвшему баранины и ›строившему брюхо, я какъ-то посовѣтовалъ выпить ка›рки. Тотъ выпилъ и выздоровѣлъ; этого было достаточно, ›бы ко мнѣ, къ моему удивленію, полѣзли всѣ хворые. ›шелъ даже мужикъ, у котораго отъ дурной болѣзни все ›о превратилось въ лепешку.

· Пожалуйста, ужь полѣчи меня, господинъ... мочи моей ›!—говорилъ онъ, съ вѣрой смотря на меня.

›два преодолѣвъ свое отвращеніе, я посовѣтовалъ ему ›титься въ городскую больницу, увѣряя, что я—не ›ъ.

А говорили, будто бы больно хорошо пользуешь. Вонъ ›у-то помогъ же? Ну, и мнѣ подсоби.

› мнѣ было дѣлать? Я продолжалъ убѣждать отпра› въ городъ и лечь въ больницу.

›а и тамъ докторъ только немного поможетъ тебѣ... ›носъ, во всякомъ случаѣ, не приставитъ,—возра-

› носъ-то мнѣ наплевать! Чорта-ли мнѣ въ носу-то!

Хоть бы остановить-то, ходу-то хоть бы не дать,—вотъ объ чемъ я говорю. Дай, ради Бога, чего ни на есть!

Насилу я отвязался отъ этого мужика, увѣреннаго, что моимъ лѣкарствомъ (касторкой) можно вылѣчить его болѣзнь.

Одной старухѣ я написалъ письмо къ сыну ея, солдату, и этого опять было достаточно, чтобы ко мнѣ полѣзли съ письмами. Въ другой разъ я написалъ просьбу одному мужику, и съ этого дня я долженъ былъ написать разныхъ прошеній десятка два. Въ началѣ Ѳоминой недѣли пришелъ ко мнѣ какой-то косоглазый мужиченко и съ таинственнымъ видомъ сталъ упрашивать меня написать ему просьбу на другого мужика, съ которымъ онъ судился. Долго я не могъ понять сущности дѣла; наконецъ, послѣ долгихъ разспросовъ мнѣ удалось узнать, что косоглазый хочетъ повредить своему сосѣду.

— Ты ужь такую мнѣ сочини грамоту, чтобы Микитку сразу пригвоздить... Садануть его въ такомъ родѣ, чтобъ онъ присѣлъ и ополоумѣлъ,—вотъ ты какое мнѣ составь ходатайство!

Я былъ одинъ въ нашей избѣ: ни Митрофаныча, ни женщинъ, съ которыми бы я могъ посовѣтоваться, не было въ эту минуту, и я недоумѣвалъ, какъ мнѣ быть? Наотрѣзъ отказать въ просьбѣ косоглазому мужику неловко было, потому что сущности дѣла я все-таки не понималъ, согласиться написать ему просьбу также не могъ. Не понравился онъ мнѣ съ перваго взгляда. Въ косыхъ его глазахъ бѣгало плутовство; низкій, заросшій шерстью лобъ его, раздувавшіяся ноздри, постоянныя гримасы его,—все это было скверно въ немъ. Говорилъ онъ тихо и безпрестанно оглядывался, словно боялся, что его застанутъ на мѣстѣ преступленія. Но нашего брата можно всегда подкупить лохмотьями, а этого добра на немъ было достаточно,—все одѣяніе: и глянцевитый, съ бахромой на подолѣ, полушубокъ, и рваная шапченка, и еле державшіеся опорки,—все это представляло одни лоскутки; вдобавокъ отъ него пахло какимъ-то мускусомъ, какъ отъ козла. Могъ-ли я отнестись къ нему круто? Кромѣ того, я всегда избѣгалъ опредѣлять по наружному виду. Благодаря всему этому, я сказался нездоровымъ (я былъ въ самомъ дѣлѣ утомленъ) и велѣлъ мужику придти завтра.

Онъ ничего, не настаивалъ, но, понизивъ свой голосъ еще на одинъ тонъ, вдругъ попросилъ дать ему до завтра двугривенный; по его словамъ, этотъ капиталъ страсть какъ былъ ему нуженъ и, притомъ, только до завтра. Ну, что же, я далъ. Онъ ушелъ, только мускусъ долго еще послѣ его ухода стоялъ въ избѣ.

Когда вернулись всѣ мои домашніе, я разсказалъ про этотъ случай. Даша разсмѣялась, Василиса нахмурилась, а Митрофанычъ вдругъ разозлился. На широкомъ лицѣ его показалась черная туча и онъ съ гнѣвомъ сѣлъ на лавку противъ меня.

— Приходилъ Васька?—спросилъ онъ съ яростью.

— Я не спросилъ, кто онъ.

— Да, онъ самый, Васька Сайкинъ! Косой?... Ну, онъ. Ахъ, ты, Боже мой!... И онъ просилъ тебя просьбу ему сочинить?... Ахъ, онъ поганецъ эдакой!

— Да, просилъ сочинить,—сказалъ я.

— А ты ему по уху не далъ?—спросилъ Митрофанычъ съ любопытствомъ и надеждой, что я уже это сдѣлалъ.—И въ загорбокъ ему не наклалъ? Хорошаго, напримѣръ, тумака въ затылокъ?

— Да не за что было.

— Ну, такъ! Такъ я и зналъ!—закричалъ Митрофанычъ, весь красный.

— Что же тутъ такого?—спросилъ я съ недоумѣніемъ.

Митрофанычъ только съ отчаяніемъ посмотрѣлъ на меня.

— Боже ты мой! Да вѣдь это поганецъ-то какой! Пронюхалъ, что ты доберъ, а насъ никого нѣтъ, и прилѣзъ! Ну, да ладно, завтра я ему накладу. Завсегда его надо дуть, иначе это такой поганецъ!... Пожалуйста, не привѣчай его! Самый гиблый мужиченко, кляузникъ, обманщикъ, наглый врунъ!

Митрофанычъ на мои вопросы разсказалъ нѣсколько случаевъ изъ жизни Васьки Сайкина, и я долженъ былъ отчасти согласиться, что прогнать его стоило, хотя дать ему по уху, при первомъ же знакомствѣ, трудно было рѣшиться. Впослѣдствіи этотъ мужиченко напомнилъ о себѣ.

На этотъ разъ я только посмѣялся надъ собой, успокоилъ необузданный гнѣвъ Митрофаныча и далъ себѣ слово осторожно вмѣшиваться во взаимныя отношенія мужиковъ. Съ это-

го дня мнѣ пришлось кое въ чемъ отказывать приходящимъ,— я боялся сдѣлать промахъ. Кромѣ того, писаніе писемъ, прошеній и кляузъ мнѣ совсѣмъ было не по душѣ.

Впрочемъ, эти дѣлишки занимали незначительное мѣсто въ деревенской жизни; вскорѣ я увидалъ, что окружающіе меня во всемъ нуждались, и будь мои знанія въ тысячу разъ больше, они быстро были бы впитаны деревней, которая, какъ губка, жадно вбираетъ въ себя все, что притекаетъ къ ней извнѣ. И мужики, и бабы невинно эксплоатировали меня всѣмъ, чѣмъ только могли. Думаю, что то же самое продѣлываютъ они и со всякимъ свѣжимъ человѣкомъ. Той заскорузлой косности и тупоумія, которыя приписываются мужику, я вовсе не замѣтилъ; напротивъ, всякое слово, слухъ, обрывокъ разговора, кусочекъ новости,—все это жадно подхватывалось деревенскимъ умомъ и при помощи воображенія претворялось въ глубокое убѣжденіе, отчего нерѣдко какая-нибудь вещь, возникшая гдѣ-нибудь далеко, превращалась въ деревнѣ въ вычурную сказку; съ тѣмъ вмѣстѣ, голодный деревенскій умъ способенъ поглотить безконечную груду знаній.

VI.

Снѣгъ повсюду сошелъ, поля обнажились и сѣрый тонъ ихъ покрова кое-гдѣ уже переходилъ въ чуть замѣтный зеленый цвѣтъ. Обогрѣваемая горячимъ солнцемъ, земля, казалось, тяжело дышала, паръ густыми клубами поднимался изъ нея, а по утрамъ на зарѣ долины залиты были туманомъ. Быстро подходило время весенней пашни.

Картина деревни измѣнилась. Нигдѣ больше нельзя было замѣтить кучекъ празднаго народа; берегъ рѣчки опустѣлъ; цвѣтныя платья замѣнились посконными; на улицѣ не было ни души. Но за то на дворахъ шло дѣятельное приготовленіе къ выѣзду въ поле. Это еще не была страда, но уже мысли были полны тревогъ. Всѣ хозяева безпокойно копошились во дворахъ, починивая бороны, поправляя косы, повсюду раздавался стукъ топоровъ и визгъ пилъ. У многихъ оказались недочеты. У того лемехъ заржавѣлъ; другой ручекъ отъ сохи не находилъ; третьему надо было подкармливать лошадь, которая за зиму превратилась въ пустую шкуру. У иного вовсе не было ни лошади, ни сохи, но онъ

все-таки безпокойно копошился во дворѣ, ломая голову надъ тѣмъ, съ кѣмъ изъ сосѣдей ему соединиться, чтобы кое-какъ наковырять яроваго поля. Всѣ были заняты.

Я одинъ не зналъ, за что приняться. Въ первый разъ мнѣ здѣсь стало скучно. Силы мои замѣтно возстановились; я чувствовалъ, какъ я росъ и крѣпъ, но теперь вдругъ мнѣ скучно и неловко сдѣлалось среди занятыхъ и обезпокоенныхъ людей. Это, впрочемъ, продолжалось только одинъ день.

На слѣдующій день я не вышелъ изъ дому; помогая Митрофанычу, я отыскалъ много работы, которая сейчасъ же заинтересовала и заняла мое время. Мы осмотрѣли вмѣстѣ всю сбрую, соху, борону, колеса и повсюду открыли недостатки. Но главный недостатокъ былъ въ лошади, заморенной во время зимы извозомъ. Митрофанычъ, правда, увѣрялъ, что его лошадь особенная, съ исключительнымъ характеромъ, но фактъ нельзя было скрыть: ребра ея выставились наружу, мослы крупа обострились, и она держала голову книзу; очевидно было, что хотя меринъ былъ и особенный, но къ весенней работѣ не годился. И я видѣлъ, съ какою тайною заботой Митрофанычъ занялся откармливаніемъ его.

Оставивъ его за этимъ дѣломъ, я придумалъ сдѣлать новую борону. Еще мальчуганомъ я баловался пилой и топоромъ. Кромѣ того, я увѣренъ, что для интеллигентнаго человѣка не существуетъ недоступнаго труда,—онъ всему можетъ скоро научиться. Теперь, осмотрѣвъ старую борону, я увидѣлъ, что сдѣлать новую — задача не хитрая. Топоръ и пила у насъ были, буравъ и рубанокъ гдѣ-нибудь можно было достать; я попросилъ только Митрофаныча дать мнѣ лѣсу. Онъ недовѣрчиво отнесся къ моимъ плотничьимъ способностямъ, но по добротѣ указалъ мнѣ нѣсколько лѣсинъ. Я сейчасъ же принялся за работу. Къ моему удовольствію, Митрофанычъ цѣлый этотъ день бѣгалъ гдѣ-то, и я могъ на свободѣ предаваться тяпанью. Обтесавъ лѣсины, я обстругалъ ихъ, пригналъ и сбилъ; потомъ выколотилъ изъ старой, гнилой бороны зубья и принялся вертѣть дыры. Къ вечеру я усталъ страшно, но борона была все-таки готова.

Когда Митрофанычъ увидалъ плодъ моихъ торопливыхъ стараній, то пришелъ сначала въ изумленіе, а затѣмъ, со свойственною ему необузданностью, принялся въ восторгѣ

хохотать. Перевертывая на всѣ стороны мое издѣліе, онъ хохоталъ такъ, что перепугалъ куръ, быть можетъ, сосѣдей и нашихъ женщинъ, которыя собрались также около бороны. Мнѣ съ трудомъ удалось увѣрить моихъ друзей, что не всякій баринъ — синонимъ неумѣлаго бездѣльника; впрочемъ, разница между интеллигентнымъ человѣкомъ и бариномъ осталась-таки для нихъ на этотъ разъ темной, и только впослѣдствіи я нашелъ случай провести наглядную границу. А теперь, удовлетворенный хохотомъ и одобрительными взглядами, я пока согласился быть исключительнымъ бариномъ.

Въ слѣдующіе дни я уже самъ, въ качествѣ знатока, исполнилъ нѣсколько необходимыхъ работъ: поправилъ телѣгу, пригналъ старую рукоятку къ новой сохѣ, поправилъ заборъ, свернувшійся на бокъ, и могъ бы найти безконечное множество возни по дому. Мои подѣлки выходили недурно, но отъ одного недостатка я никакъ не могъ отвязаться: мой трудъ былъ торопливый, нервный, безпорядочный. Очевидно, я цѣликомъ переносилъ всѣ свойства умственной дѣятельности на физическій трудъ. Между тѣмъ, разница между обоими родами труда громадная: въ то время, какъ быстрая смѣна сильныхъ возбужденій и полнаго покоя составляетъ необходимое условіе успѣшнаго умственнаго труда, физическій трудъ требуетъ равномѣрности и правильности; для умственнаго труда и самое сильное возбужденіе есть, въ то же время, самое богатое по результатамъ, а физическій трудъ отъ лишняго возбужденія только страдаетъ. Перенося цѣликомъ одинъ родъ работы на другой, я часто буквально одними нервами работалъ, отчего страшно уставалъ и долженъ былъ дѣлать длинные промежутки между двумя дѣлами.

— Брось ты, голубчикъ, этотъ заборъ-то, успѣешь еще! Отдохни лучше,—то и дѣло совѣтовала мнѣ Василиса, видя, какъ я изнемогаю.

Вскорѣ я долженъ былъ отложить придуманныя мною постройки и починки, отвлеченный другими, болѣе спѣшными занятіями.

Дѣло шло все о той же лошади. Я видѣлъ, что Митрофанычъ тайно былъ сильно смущенъ некрасивымъ видомъ характернаго мерина, который никакъ не поправлялся, несмотря на всѣ хлопоты хозяина. Митрофанычъ набивалъ ему брюхо

чѣмъ попало: рубленая солома, облитая болтушкой, сѣно, отруби,—все это Митрофанычъ тащилъ подъ сарай и поспѣшно набивалъ мерина всякою всячиной. На послѣднія деньги онъ купилъ полтора пуда овса, всыпалъ въ мерина и наблюдалъ, что изъ этого выйдетъ. Когда овесъ вышелъ, Митрофанычъ сбѣгалъ къ дьячку, досталъ съ десятокъ караваевъ, оставшихся у него отъ пасхальнаго сбора, и также положилъ въ мерина. Но видимыхъ результатовъ не оказалось. Меринъ все жралъ, однако, не поправился. Нѣсколько разъ Митрофанычъ тайкомъ отъ Василисы припрятывалъ куски и другіе объѣдки отъ обѣда; одинъ разъ онъ, впопыхахъ, утаилъ остатки рыбнаго пирога; характерный меринъ все это съѣлъ, не исключая и рыбнаго пирога, но не поправился. Только брюхо у него непомѣрно раздулось и уже не помѣщалось въ оглобли, мослы же его продолжали торчать попрежнему.

Митрофанычъ, видимо, впалъ въ заблужденіе, надѣясь изъ чучелы сдѣлать живое существо. Наконецъ, завѣса на его глазахъ открылась и онъ впалъ моментально въ мрачное отчаяніе. Вернувшись однажды съ мельницы, онъ выпрягъ или, лучше сказать, вырвалъ лошадь изъ оглоблей и сталъ сдирать съ нея хомутъ. Потомъ, взявъ хомутъ на руки, онъ поглядѣлъ на него и вдругъ—бацъ его объ землю! Стащивъ затѣмъ недоуздокъ, онъ размахнулся имъ и — бацъ его въ стѣну амбара! Я думалъ, что вотъ онъ сейчасъ и съ шапкой такъ же поступитъ; однако, его гнѣвъ нашелъ другой выходъ, — это была подвернувшаяся подъ ноги дуга, которую онъ швырнулъ куда-то на задній дворъ. Лицо его было темнѣе тучи, несущей громъ и молнію. Было очевидно, что въ глазахъ его все приняло вдругъ мрачный оттѣнокъ—и небо, и земля, и люди, и въ особенности талантливый меринъ. Замѣтивъ меня на дворѣ, онъ вдругъ вскрикнулъ:

— Окончательно моя прорва ни къ чему!

— Неужели не будетъ работать?—спросилъ я.

— Какого чорта дожидать отъ этого брюхана!... Самъ посуди, съ мельницы чуть дотащился!... Ни въ жисть ему не стащить соху!

— Какъ же быть?

— А я почемъ знаю! Окончательно руки у меня отвали-

лись, не на чемъ мнѣ выѣзжать въ поле... Чистая прорва! Брюханъ! Свинья эдакая! Вотъ смотри на эдакую живодерню!

Я едва успѣлъ слѣдить за отборными ругательствами, посылаемыми въ сторону несчастнаго инвалида, который понуро все это время стоялъ подъ сараемъ и жевалъ сѣно, тощій и печальный.

На крикъ вышла изъ дому Даша (Василиса полоскала бѣлье на рѣчкѣ), и мы втроемъ стали обсуждать критическое положеніе. Черезъ два-три дня Митрофанычу предстояло выѣзжать въ поле, а настоящей лошади не было. Я раньше обдумывалъ все это, но до послѣдняго дня колебался; денегъ у меня осталось мало, — совсѣмъ остаться безъ нихъ я боялся; между тѣмъ, и лошадь въ домѣ была необходима. Теперь я рѣшился.

— Знаешь что, Митрофанычъ, давайте поговоримъ и авось что-нибудь придумаемъ... Знаешь, что я придумалъ?

— Ну, что?—возразилъ Митрофанычъ, все еще мрачный. Но за то Даша смотрѣла на меня во всѣ глаза.

— Чтò бы ты сказалъ,—продолжалъ я,—еслибъ я остался у васъ на все лѣто?

— Что же, это хорошо... Тутъ у насъ славно, вотъ скоро лѣсъ, луга, поля,—все зазеленѣетъ. Чудесно у насъ... И рѣка, и мельница,—очень тутъ хорошо.

На мрачномъ лицѣ Митрофаныча появилась улыбка.

— Такъ остаться?

— Отчего же, ежели мы тебѣ ничего... Ты намъ полюбился, а мы тебѣ—не знаю, можетъ, не угодили?

— Такъ я останусь.

Туча на лицѣ Митрофаныча вдругъ расплылась въ широкую улыбку, какъ солнце, прорвавшее темныя облака. Даша пристально посмотрѣла на меня своими счастливыми глазами.

— Вотъ мы и рѣшили все... Ты видѣлъ, сколько у меня денегъ, какъ разъ на лошадь. Если я останусь у васъ—деньги мнѣ не нужны. Давайте купимъ лошадь.

Митрофанычъ пересталъ улыбаться и пристально посмотрѣлъ на меня, недоумѣвая. Чуткій во всѣхъ отношеніяхъ, онъ теперь сильно смутился, не зная еще, какъ ему принять мое предложеніе. Онъ какъ будто боялся, что проронитъ какое-нибудь неосторожное слово, оскорбительное для меня.

Совершенно растерянный, онъ смотрѣлъ на меня, на Дашу и по сторонамъ.

— Купимъ лошадь, работать будемъ вмѣстѣ, я у васъ за лѣто поправлюсь, а тамъ увидимъ. Какъ ты думаешь?

— Да чего ты, дядя, молчишь? То отъ твоего крику уши звенятъ, а тутъ замолчалъ!

— Да я ничего... я только радъ, больше ничего!

— Ну, такъ, значитъ, дѣло мы покончили и говорить больше объ этомъ не стоитъ,—сказалъ я, самъ сильно взволнованный.

Рѣшеніе это во мнѣ какъ-то сразу сказалось и вышло такъ естественно, что я самъ былъ удивленъ. Не задавая себѣ послѣ болѣзни вопроса о будущемъ, я инстинктивно жилъ день за днемъ; я поправился послѣ пережитаго переворота, чувствовалъ себя отлично и ни о чемъ не думалъ, но въ эту минуту я вдругъ опредѣлилъ себя къ мѣсту на цѣлое лѣто. А что же потомъ, по истеченіи лѣта? Объ этомъ я не спрашивалъ себя, смутно ожидая, что тамъ, дальше, что-то хорошее, счастливое пойдетъ...

Быть можетъ, нѣкоторую долю этого оптимизма надо отнести на счетъ моего вновь растущаго организма; извѣстно, что пережившій какую-нибудь тяжелую болѣзнь какъ бы второй разъ родится и дѣтски привѣтствуетъ весь міръ. Но, помимо этого, было еще кое-что. Я имѣлъ счастіе попасть въ хорошую семью, которую невольно полюбилъ. Вѣроятно, надъ головой этой семьи не пролетѣло еще ни одной изъ тѣхъ деревенскихъ бурь, которыя сбиваютъ съ ногъ деревенскихъ людей, подкашиваютъ ихъ силы и обезсиливаютъ ихъ характеры, и вотъ почему жизнь моихъ друзей текла правильно, а ихъ взаимныя отношенія были добрыя и дружескія.

Затѣмъ было еще кое-что...

Однимъ словомъ, среди этихъ людей я жилъ, какъ свой, и сознавалъ себя довольнымъ, какъ никогда. А послѣ выясненія вопроса о моемъ житьѣ наша дружба еще болѣе закрѣпилась.

На другой же день Митрофанычъ поѣхалъ покупать себѣ лошадь, а мы съ Василисой и Дашей завели оживленный споръ объ огородѣ. Я давно объ этомъ думалъ, но боялся осрамиться. Въ дѣтствѣ я съ большимъ удовольствіемъ участвовалъ въ огородничествѣ матери, которая знала это искус-

ство и любила его; теперь ребяческія шалости мнѣ пригодились. Когда Василиса стала приготовляться къ обработкѣ огорода, я рѣшился вмѣшаться въ работу. Василиса сажала только лукъ да картофель, а мнѣ хотѣлось поучить ее воздѣлывать множество другихъ огородныхъ растеній, цѣнныхъ за барскими столами. Мнѣ казалось, что изъ огорода можно сдѣлать доходную статью. Но, въ то же время, я боялся осрамиться. Мною овладѣло сильное волненіе, когда я принялся сообщать Василисѣ свой планъ.

Василиса недовѣрчиво слушала меня и, видимо, не вѣрила; она сомнѣвалась, чтобъ изъ огорода можно было сдѣлать что-нибудь большее; кромѣ того, перечисленныя мною растенія просто затмили ей голову и она тупо слушала меня. „Редиска“, „салатъ“, „цвѣтная капуста“, „спаржа“,—эти словечки ужаснули ее, и мнѣ было очевидно, что она упрямо не понимаетъ. Всякая новинка была противна ея спокойной, разсудительной натурѣ и она боялась всего, что могло нарушить правильное теченіе ея обыденной жизни.

— А гдѣ же мы будемъ продавать?—вдругъ спросила Даша, съ явнымъ намѣреніемъ помочь мнѣ.

— Въ городѣ. Василиса будетъ ѣздить въ городъ и разносить овощи по домамъ, и поблизости можно будетъ найти покупщика. Дорогіе овощи всѣ любятъ,—говорилъ я.

— Да будетъ-ли польза-то?—спросила недовѣрчиво Василиса.

— Во всякомъ случаѣ, болѣе чѣмъ отъ лука и отъ картошки,—возразилъ я.

— Да кабы знатье... кабы кто первый зачалъ сажать.

— Мы первые и начнемъ. Вѣдь говорю, что я знаю это дѣло,—возразилъ я храбро и очертя голову бросился впередъ, чтобы побѣдить или осрамиться съ своимъ салатомъ.

Но тутъ вмѣшалась Даша.

— А развѣ, тетя, онъ не сдѣлалъ борону?—спросила серьезно дѣвушка.

Какъ это ни было смѣшно—сравнить борону съ цвѣтною капустой, но этотъ аргументъ подѣйствовалъ на Василису больше всего,—она растерялась.

А тутъ пріѣхалъ Митрофанычъ, и когда узналъ нашъ споръ, то мгновенно перебѣжалъ на мою сторону. Его широкая голова быстро оцѣнила всѣ выгоды моего плана, а его

любовь ко всякимъ новинкамъ довершила мою побѣду. По обыкновенію, онъ даже все преувеличилъ и увидалъ то, чего еще не было.

На общемъ совѣтѣ было постановлено: немедленно навести справки, гдѣ пріобрѣсти сѣмянъ, и отрядить за ихъ покупкой Василису съ приготовленнымъ мною спискомъ. Василису потому отрядили, что, умѣя торговаться до изнеможенія, она все покупала дешево.

Цѣлыхъ двѣ недѣли съ этого дня я волновался, выражалъ нетерпѣніе, безъ устали копался въ землѣ съ Дашей и Василисой. У меня просто замирало сердце при одной мысли, что овощи не взойдутъ или погибнутъ отъ моего невѣжества. А когда все взошло, тревоги мои еще больше увеличились. Я боялся сильнаго дождя, горячаго солнца, вѣтра и тумана. Разъ десять я бѣгалъ на зады и осматривалъ пытливымъ окомъ гряды. Я сталъ ненавидѣть свиней, которыя зря шлялись по улицамъ, и камнями отгонялъ ихъ на сто саженей отъ своего дома, боясь, что онѣ пронюхаютъ про нашъ огородъ. Когда однажды нашъ же теленокъ проникъ въ святилище, я такъ вдругъ озлился, что сбилъ его съ ногъ и, конечно, убилъ бы, если бы замѣтилъ, что онъ выдернулъ хоть одну редиску. Волнуясь такъ днемъ, я и по ночамъ не зналъ покоя, — бредилъ спаржей и другими кореньями, — а когда разъ во снѣ какой-то большой, фантастическихъ размѣровъ, козелъ на моихъ глазахъ пробилъ дыру въ плетнѣ и сталъ гулять по грядамъ, то я чуть не задохнулся отъ этого страшнаго кошмара.

Быть можетъ, это объяснялось моимъ все еще болѣзненнымъ состояніемъ, а, быть можетъ, этотъ ужасъ передъ силами природы и случайностями жизни есть общій законъ для всѣхъ, имѣющихъ дѣло съ землей. Не знаю.

Я успокоился только тогда, когда нашъ огородъ густо заросъ разноцвѣтною зеленью. Что касается Василисы, то она перешла на сторону салата и прочихъ мудреныхъ вещей только послѣ того, какъ получила первыя семь гривенъ за два рѣшета редиски.

VII.

Весна проходила для меня среди заботъ и развлеченій. Это время передъ страдой и для мужиковъ не тяжело; всѣ

трудятся не торопясь, отдыхаютъ много, а по праздникамъ отъ малаго до большого высыпаютъ на улицу. Мы также пользовались этими днями, какъ только могли. Раза два я дѣлалъ большія путешествія по окрестнымъ лѣсамъ вдвоемъ съ Васькой, который пересталъ при мнѣ косить глаза, но самымъ любимымъ мѣстомъ для меня сдѣлалась мельница; мы втроемъ—Даша, Васька и я—уходили туда послѣ обѣда и оставались до поздняго вечера.

Иногда, сидя у плотины, мы ловили мелкую рыбешку, но къ этому занятію только я одинъ относился добросовѣстно; устремивъ неподвижный взглядъ на удочку, я терпѣливо, по цѣлому часу ожидалъ, пока не заклюетъ какой-нибудь окунь въ вершокъ, и не сердился, если въ продолженіе часа ни одинъ изъ ожидаемыхъ окуней не обнаруживалъ глупости попасться на крючокъ.

Остальные члены нашей компаніи не выдерживали характера и уходили, кто куда желалъ. Васька, бросивъ удочку, обыкновенно отправлялся на охоту за лягушками; здѣсь онъ проявлялъ страшную жестокость: вооруженный прутомъ, онъ съ дьявольскимъ искусствомъ пробирался сквозь крапиву къ береговымъ лужамъ, подкрадывался къ непріятелю и билъ его по головамъ; затѣмъ трупы убитыхъ враговъ онъ сажалъ на тотъ же прутъ и съ торжествомъ носилъ ихъ. Если эта борьба была успѣшна, онъ вслѣдъ затѣмъ отправлялся къ тополевой рощѣ, недалеко отъ мельницы, и производилъ тамъ рекогносцировки между вороньими гнѣздами. Когда на плотинѣ появились, съ наступленіемъ жаровъ, ужи, то онъ съ увлеченіемъ сталъ сражаться и съ ними. Вообще Васька, воспитанный одною природой, проявлялъ кровожадное стремленіе разорять и убивать.

Даша уходила на другой берегъ рѣки и тамъ бродила по лугамъ, между кустовъ, рвала цвѣты, пѣла пѣсни. Румяное лицо ея то и дѣло мелькало между вѣтками кустовъ.

Здѣсь, на этой мельницѣ, я сидѣлъ, какъ очарованный; мельница была ветхая, съ заплатанными колесами, и вся позеленѣвшая въ тѣхъ частяхъ, которыя омывались водой. Плотина, набитая хворостомъ и соломой, качалась, какъ трясина, всякій разъ, когда по ней проходили или проѣзжали. Прудъ былъ покрытъ водорослями, образовавшими около береговъ густую зеленую ткань, а самые берега обросли

бояркой и шиповникомъ, сквозь которые трудно было пробраться, не изорвавъ платья. Но я любилъ это мѣсто.

Мнѣ все здѣсь нравилось: мельница, побѣлѣвшая отъ мучной пыли, запахъ разогрѣтой жерновами муки, самые жернова, старые и стертые, какъ зубы старика, но неутомимо кружившіеся; внизу я съ удовольствіемъ наблюдалъ тяжелый ходъ черныхъ и съ грибами по бокамъ маховыхъ колесъ, быстрое движеніе зубчатыхъ колесъ, облѣпленныхъ мучнымъ бусомъ, и сверканіе шестерней.

Когда мнѣ наскучивали удочки, я располагался удобнѣе на берегу, повыше, и по цѣлому часу безцѣльно наблюдалъ, какъ два потока воды сперва бѣжали по шлюзамъ, потомъ низвергались на колеса, бросали здѣсь снопы сверкавшихъ брызгъ на оба берега и, наконецъ, двумя широкими лентами падали внизъ рѣки, гдѣ вода пѣнилась и крутилась водоворотами. Нѣсколько саженей дальше рѣчушка уже тихо бѣжала, омывая торчавшія со дна коряги, и терялась подъ зеленымъ сводомъ черемухи и рябины. Въ воздухѣ стоялъ неумолкаемый шумъ; влажный берегъ обдавалъ свѣжестью, а ветхій остовъ мельницы дрожалъ сверху до низу.

Быть можетъ, это мѣсто мнѣ нравилось потому же, почему мнѣ всегда нравилось движеніе. Я не люблю тихаго вечера, когда вся природа, покрытая ночью, засыпаетъ; не люблю томительнаго знойнаго дня, когда всѣмъ живущимъ, кромѣ холодныхъ гадовъ, овладѣваетъ мертвая неподвижность; не понимаю прелести лунной ночи, когда влюбленные цѣлуются, освѣщаемые мертвымъ свѣтиломъ, какъ лампой въ темномъ склепѣ. Но я люблю тотъ часъ, когда на краю неба подымается черная мгла и ростетъ, издали грозя блестящими стрѣлами, и, наконецъ, обрушивается на помертвѣвшую отъ зноя землю крупнымъ дождемъ, выстрѣлами грома и свѣтомъ молніи; съ самаго ранняго дѣтства душевныя бури были такъ неразлучны со мною, что только созерцаніемъ внѣшнихъ бурь я могъ возстановлять равновѣсіе между мной и окружающимъ. Оттого мнѣ было всегда покойно, когда вокругъ меня что-нибудь шумѣло, крутилось.

А на старой мельницѣ всего этого было вдоволь. Копошился около поставовъ засыпка Филатъ, обсыпанный пудрой съ ногъ до головы; тутъ же копошились пріѣзжіе съ возами мужики. Если мнѣ надоѣдало безцѣльное сидѣнье на берегу,

я подсаживался на бревно къ кучкѣ мужиковъ, большая часть которыхъ мнѣ были знакомы, и принималъ участіе въ ихъ разговорахъ. А въ это время взглядъ мой слѣдилъ за всѣмъ, что окружало меня; и съ того берега рѣчки между вѣтвями кустовъ я часто видѣлъ сѣрые, счастливые глаза Даши.

Здѣсь я все любилъ, каждой мелочи придавалъ радужный цвѣтъ и красивую форму. Любилъ этотъ гнилой съ лопухами прудъ, любилъ рѣчку, покрытую черными корягами, мужиковъ съ трубками въ зубахъ, лошадей, пасшихся вдали, тѣнь подъ навѣсомъ, солнечные лучи на соломенной крышѣ, кусты черемухи, жестокаго Ваську, ползавшаго среди лопуховъ съ горящими глазами. Все любилъ, природу и людей, показавшихся мнѣ въ новомъ освѣщеніи. Быть можетъ, это состояніе и есть то, котораго безплодно ищутъ люди. Любить все— развѣ это не единственная цѣль бытія? А работа и мысль— только неразлучныя съ любовью средства. Мое состояніе пойметъ только тотъ, кто хоть разъ стоялъ близко надъ пропастью и проклиналъ все. Недавно еще я былъ страшно несчастливъ, потому что искусственно сдѣлалъ себя одинокимъ. Я и міръ—вотъ была формула моей жизни. Искусственно оторвавъ себя отъ окружающаго, я чувствовалъ себя лишнимъ, питалъ ненависть, велъ войну за свое одинокое существованіе и не зналъ конца отчаянію. Все внѣшнее мнѣ казалось чѣмъ-то мертвымъ и враждебнымъ. Теперь вдругъ все ожило вокругъ меня. Все вокругъ меня задвигалось и все неподвижное стало для меня живымъ. Шумъ падающей воды, кваканье лягушекъ, разговоръ мужиковъ, колебаніе вѣтокъ черемухи, тихій вѣтерокъ, носящаяся пыль въ воздухѣ, жужжаніе мухъ, шелестъ лопуховъ на пруду,—все-то дышало и жило. И я понималъ жизнь и дыханіе всего, что еще недавно было мертво для меня.

Къ вечеру мы всѣ утомлялись: Васька—охотой, Даша—бѣганьемъ по лугамъ и кустамъ, я—сильными ощущеніями и кучей мыслей, которыя толпились въ моей головѣ. Тогда мы собирались домой или сумерничали у засыпки Филата.

Засыпка жилъ работникомъ у арендатора мельницы. Самъ арендаторъ, городской мѣщанинъ, никогда не жилъ здѣсь; говорили, что онъ разорился и забросилъ мельницу, такъ что

Филатъ оставался полнымъ властелиномъ и сдавалъ отчетъ только нѣсколько разъ въ годъ.

Это былъ прямой, высокій старикъ, изъ отставныхъ солдатъ. Жилъ онъ одинъ, самъ себѣ стряпалъ, самъ управлялся съ мельницей. Маленькіе синеватые глаза его смотрѣли остро; говорилъ онъ мало, но всегда значительно. Говорили, что онъ колдуетъ. Кажется, что-то въ этомъ родѣ было, но, по крайней мѣрѣ, нѣсколько разъ я видѣлъ въ его избѣ больныхъ мужиковъ и бабъ, которымъ онъ давалъ ѣсть что-то. Но я не разспрашивалъ о его медицинскихъ познаніяхъ, а онъ никогда объ этомъ не упоминалъ. Только по вечерамъ онъ разсказывалъ намъ о чертяхъ, которыми кипѣла, конечно, мельница.

При этомъ Васька впивался глазами въ разсказчика и плотно прижимался ко мнѣ, Даша иногда насмѣшливо вставляла нѣсколько словъ, а я старался понять этого сѣдого ребенка. Увѣрять Филата въ недѣйствительности того, что онъ видѣлъ, о чемъ разсказывалъ, было дѣломъ безнадежнымъ,—онъ только сердился и замолкалъ. Поэтому я ему не мѣшалъ. Черти у него сидѣли подъ колесами въ омутѣ, въ пруду и въ самой мельницѣ; быть можетъ, шлялись они и по окрестностямъ, но навѣрняка не помню; больше всего ихъ жило въ омутѣ подъ колесами.

Филатъ велъ съ ними непрерывную борьбу и зналъ всѣ ихъ хитрости. Главная пакость, которую они постоянно пытались осуществить, это—разрушеніе плотины. Одинъ разъ Филатъ засталъ пакостниковъ уже на самомъ мѣстѣ преступленія. Это было темною ночью; пріѣзжіе мужики спали, вздремнулъ и Филатъ. Вдругъ онъ просыпается весь въ поту, сердце его полно какого-то непонятнаго страха и самъ весь такъ дрожитъ. Первымъ его дѣломъ было подумать: непремѣнно это пакостники что-нибудь затѣяли! Съ такою мыслью онъ бросился на плотину. Вбѣжалъ на плотину и вдругъ почувствовалъ, что она вся трясется, раскачивается,—вѣроятно, лапами этой нежити,—а внизу слышалось какое-то особенное бульканье воды. Перекрестился онъ, сбѣжалъ внизъ, а тамъ ужь дыра,—дыра эдакъ въ шапку величиной,—и сквозь нее свиститъ уже вода. Читая молитву, онъ сталъ хватать, что попало, и поспѣшно затыкалъ дыру. Насилу заткнулъ, про-

работавъ до самаго утра. А прожди онъ хоть полчаса—и прорвало бы всю плотину.

— Много этой пакости здѣсь! — сказалъ, оканчивая разсказъ, Филатъ.

Иногда пакостники держались за колеса. Не идутъ, какъ слѣдуетъ, колеса — и только. И воды столько же, и все въ исправности, и ось смазана, а ходъ не тотъ. Или опять постава загадить — это ужъ первое ихъ дѣло.

Какъ извѣстно, искусство засыпки состоитъ въ томъ, чтобы мука выходила мягкая,—поставить камень такъ, чтобы изъподъ него выходилъ пухъ. И Филатъ хорошо зналъ свое дѣло, но иной разъ, что ни дѣлай—не то! Сыплется тебѣ какая-то крупа и больше ничего! Это все они; это ужъ прямо ихъ пакости.

— А ты, дѣдушка, видалъ ихъ?—спросила разъ Даша.

— Сохрани Богъ! Эта погань завсегда невидима...

— То-то... у насъ былъ дѣдушка старенькій; такъ у него все въ носу свистѣло. Бывало, скажетъ дядѣ: „Послухай-ка, Петрушка, гдѣ-то кабыть вѣтеръ поетъ?“ А это у него въ носу свиститъ.

— Охъ, дѣвка, погляжу я, вострая ты! А сама небось безъ оглядки бѣжишь ночью со двора, когда тебя за пятки хватаютъ.

Возражая это, Филатъ сердился за насмѣшку.

Я старался понять убѣжденія Филата; старикъ онъ былъ сильный и суровый, а пакости боялся; на войнѣ его лупили пулями и онъ не боялся ихъ, а какихъ-то пакостниковъ боялся. Какъ неисправимый фетишистъ, онъ былъ насквозь проникнутъ тайнами окружающаго и во всемъ чувствовалъ непонятную силу.

— Смѣяться-то и я умѣю, а вотъ вникнуть — это мы не можемъ. Идешь, напримѣръ, по степи и слышишь голосъ какой-то... Откуда онъ? Неизвѣстно. Или приляжешь отдохнуть на земь,—и чу, гулъ какой-то изнутри идетъ... Почему —не знаемъ. Или по лѣсу идешь, — вдругъ плачъ... И не плачъ, и не голосъ, а такъ, невѣсть что. Кто это—не знаемъ. А ты смѣешься. Много всякой пакости на свѣтѣ...

Странно сказать, на меня эти разговоры и многое другое, совершающееся въ деревнѣ, имѣли вліяніе. Я чего-то боялся. Это было не суевѣріе, но робость какая-то. По ночамъ мнѣ

непріятно было оставаться одному въ избѣ. Однажды я долженъ былъ одинъ идти въ баню, вырытую въ землѣ на берегу; это было ужь ночью. И, пересиливъ себя, я пошелъ, но чувствовалъ себя непріятно, не кончилъ мыться и бросился къ двери. Темныя силы, владѣвшія деревенскою жизнью, отразились и на мнѣ. Одинъ разъ я увидалъ сгорѣвшаго отъ вина мужика, въ другой разъ мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ семейной драки, во время которой братъ разбилъ голову брату,—и все это отражалось на моемъ настроеніи.

Я хорошенько не могу опредѣлить, въ чемъ выражается это темное настроеніе. Это какая-то пугливость и слабость ума, чего-то жутко. Мысль покрывается какимъ-то туманомъ; перестаешь довѣрять разуму, а внѣшнія впечатлѣнія овладѣваютъ всею душой. Внѣшнія и случайныя силы начинаютъ господствовать надъ каждымъ дѣйствіемъ. Слабость мысли и силу грубыхъ физическихъ событій—вотъ что чувствуешь.

Впослѣдствіи я долженъ былъ принимать мѣры противъ деревенскаго настроенія. Но пока мнѣ это было ново и занятно.

Поздно вечеромъ мы возвращались домой, начиненные чертями и всякою другою пакостью. Даша задумчиво шла рядомъ со мной и уже не смѣялась; часто мы держались за руки. Что касается Васьки, то онъ судорожно цапалъ меня за платье всякій разъ, когда немного отставалъ, и поминутно оглядывался по сторонамъ.

Обыкновенно, насъ старшіе уже поджидали ужинать. Если вечеръ стоялъ теплый и безъ дождя, Василиса стлала скатерть на дворѣ, прямо на землю, и мы всѣ усаживались вокругъ нея, сгибая ноги, какъ татары.

VIII.

Приближалось время страды. Отъ болѣзни моей не осталось и слѣда; я сдѣлался настолько сильнымъ, насколько позволялъ мой организмъ. Всякую работу по дому я уже умѣлъ: кололъ дрова, чинилъ крыши, возилъ солому съ гумна, полóлъ огородъ; это только доставляло мнѣ удовольствіе, приносило волчій аппетитъ и богатырскій сонъ. Но настоящаго физическаго труда я не зналъ еще. Все перечисленное было только игрушкой. Я не зналъ именно страды.

Чтобы не быть застигнутымъ врасплохъ, я заранѣе сталъ учиться косить и жать, сгребать сѣно и возить снопы.

Недѣли за три до сѣнокоса я попросилъ Митрофаныча сготовить мнѣ косу и серпъ. Онъ сготовилъ. Тогда, съ Васькой, мы взяли на себя обязанность доставлять на кормъ свѣжую траву и для крыши камышъ съ осокой. Учиться косить я не захотѣлъ у Митрофаныча, надѣясь, что самъ дойду до этого искусства; я только разъ посмотрѣлъ на его пріемы. Митрофанычъ подсмѣивался, когда въ первый день отпускалъ насъ въ лѣсъ:

— Коса-то не больно ладна; ну, да ничего: баловать и ей можно,—сказать онъ съ добродушнымъ смѣхомъ.

„Баловать!“ Это довольно зло для тѣхъ господъ, которые въ физической работѣ ищутъ забавы. Но, услышавъ эту насмѣшку, я въ первый разъ задумался; зачѣмъ я все это дѣлаю? Для здоровья? Но тогда при первомъ серьезномъ трудѣ, который потребуетъ напряженія всѣхъ силъ и перейдетъ въ страду, я брошу его. Ради игрушки? Но игрушка до тѣхъ поръ хороша, пока занимаетъ; между тѣмъ, ничего нѣтъ занятнаго, когда мужикъ, какъ скотина, везетъ въ гору на себѣ возъ, утопая въ грязи. Ради того, чтобы сдѣлаться рабочимъ? Но тогда какое преимущество имѣетъ мускульная работа передъ умственной? Да и вообще что это за штука — физическій трудъ? Каковы его свойства, вліяніе и цѣна?

Съ такими мыслями въ первый разъ я поѣхалъ съ Васькой накосить травы для нашихъ двухъ лошадей.

— Мотри, не порѣжься, Миколаичъ, — сказалъ на прощанье Митрофанычъ уже серьезно.—Ежели, въ случаѣ, притомишься, лучше брось! — закричалъ онъ, когда мы уже завертывали за уголъ переулка.

Пріѣхали мы въ лѣсъ, остановили лошадь, и я сталъ выбирать среди кустовъ чистую полянку, боясь на первый же дебютъ воткнуть свой инструментъ въ невидимый пень. Васька долженъ былъ присматривать за лошадью, но онъ, шельмецъ, сейчасъ же куда-то юркнулъ въ кусты, увлеченный, вѣроятно, погоней за какимъ-нибудь врагомъ вродѣ ящерицы. Между тѣмъ, лошадь, облѣпленная тучей комаровъ и мошекъ, сейчасъ же начала брыкаться, мотать головой и дергать телѣгу; не успѣлъ я одуматься, какъ телѣга была уже на боку, поперечникъ лопнулъ, возжи запутались въ ко-

лесахъ. Я бросилъ косу и сталъ выпрягать лошадь, которая, казалось, обезумѣла и, во всѣ стороны мотая головой, ударила меня мордой по скулѣ такъ крѣпко, что небо мнѣ показалось съ овчинку, а въ ушахъ моихъ пошелъ трезвонъ, какъ на колокольнѣ.

Но кое-какъ выпрягъ я лошадь, спуталъ ей переднія ноги и пустилъ, все время крича: „Ва-аська!" Но Васьки не было. Приходилось одному управляться. Разозленный, я пошелъ опять съ косой выбирать прогалину; туча комаровъ съ яростью окружила меня и пила изъ меня кровь. Еще ничего не сдѣлавъ, я уже усталъ отъ злости и отмахиванья мошекъ; вмѣсто того, чтобы работать, я пока только брыкалъ ногами и руками, какъ нашъ меринъ. Выбравъ, наконецъ, наугадъ чистое мѣстечко, я принялся косить, слѣпо махая косой. Впрочемъ, на первый разъ вышло не дурно; трава летѣла, правда, во всѣ стороны, но за то выкошенное мѣсто было чисто.

Когда эта полянка была выдрана, я почувствовалъ, что я весь мокрый. Пришлось сбросить пиджакъ и кое-что другое, чтобы быть болѣе свободнымъ. „Ва-аська!" — кричалъ я опять, чтобы заставить шельмеца собирать траву. Но онъ какъ въ воду канулъ. Выбралъ я другую прогалину и опять сталъ махать. На этотъ разъ коса моя свистѣла по верхушкамъ, отчего выкошенное мѣсто на самомъ дѣлѣ вовсе не было выкошено.

Проработавъ такъ съ часъ, не переставая, разозленный, съ окровавленнымъ лицомъ и руками, на которыхъ я убилъ нѣсколько десятковъ комаровъ, я, наконецъ, бросилъ косу и побѣжалъ искать воды, крича: „Ва-аська!" Весь мокрый снаружи, я горѣлъ внутри и чувствовалъ, что могу выпить въ эту минуту цѣлое ведро. Недалеко отъ того мѣста, гдѣ мы остановились, было озеро, которое я замѣтилъ, когда мы еще только ѣхали сюда. Но я ошибся въ разстояніи и долженъ былъ убѣдиться, что не одно и то же сидѣть на телѣгѣ и идти пѣшкомъ; до озера оказалось не менѣе версты. Но жажда была адская, и я готовъ былъ бѣжать на край свѣта.

Наконецъ, озеро я нашелъ, прилегъ къ нему и принялся пить, спугнувъ нѣсколько лягушекъ и какихъ-то водяныхъ животныхъ. Боясь, что лошадь убѣжитъ въ мое отсутствіе,

я сейчасъ же бросился назадъ, къ мѣсту кошенія. Туда, наконецъ, вернулся и Васька, придерживая одною рукой пазуху, гдѣ что-то билось живое; оказалось, онъ подкараулилъ плохо оперившагося птенчика, погнался за нимъ подъ кустами и поймалъ-таки. Я сейчасъ же съ сердцемъ набросился на него, упрекая его за дезертирство. На это карапузъ только спросилъ меня:

— А что?

Этотъ простой вопросъ сразу образумилъ меня. Въ самомъ дѣлѣ, какую помощь могъ ожидать отъ крошки я, взрослый мужчина? Пристыженный, я запрягъ торопливо лошадь, сложилъ траву съ помощью Васьки на телѣгу, и мы поскакали домой, какъ сумасшедшіе, потому что нашъ искусанный меринъ также приведенъ былъ въ дурное состояніе духа. Въ результатѣ этой первой моей косьбы остались слѣдующія вещи: я зазубрилъ косу, порвалъ поперечникъ, намочилъ одежду и напился воды изъ болота. Лицо, шея и руки были покрыты волдырями, скула у меня болѣла и, въ общемъ, я чувствовалъ себя такъ, какъ будто съ кѣмъ-нибудь дрался. Что касается травы, за которой собственно мы ѣздили, то ея оказалось очень мало.

По пріѣздѣ домой, я откровенно разсказалъ Митрофанычу, какъ я косилъ. Онъ не сталъ смѣяться, только задумчиво осмотрѣлъ косу.

— А ты полегче; потише-то оно лучше.

— Да я и самъ вижу, что поторопился,—возразилъ я тономъ раскаянія.

— Нельзя торопиться. Полегоньку оно способнѣе. Первое дѣло—не торопиться. Второе дѣло—не думать. Не будешь торопиться — все пойдетъ аккуратно; не будешь думать — не устанешь. Во!

— Не думать?

— Вѣрно говорю—не соображай. Въ работѣ ежели зачнешь соображать, кончено—ослабъ! Ты выучись такъ робить, чтобы руки сами ходили, а въ головѣ чтобъ ничего, чтобъ въ мысляхъ было чисто.

— Эдакъ, пожалуй, совсѣмъ безъ головы останешься,—возразилъ я.

— А то какъ же? Есть коли думать въ страду! Нѣтъ, тутъ только знай повертывайся. Тутъ задумываться недосугъ!

За страду-то такъ озвѣрѣешь, что взглянешь на себя — и Боже ты мой! — не то у тебя рыло, не то морда, — однимъ словомъ, лику человѣческаго нѣтъ! Стало быть, думать тутъ не приходится.

— А вотъ все говорятъ, что крестьянская работа здоровая. И солнышко, и воздухъ, и запахъ травы, все это здорово. Да и работа хорошая, божеская. Чего же лучше — косить, жать, молотить—это развѣ не здорово?

— Здорово-то здорово, да вѣдь это кому какъ. Ты думаешь, вотъ сработалъ—и въ сторону? Ну, это ты вполнѣ не понимаешь.

— Какъ не понимаю?—вскричалъ я.

— Вполнѣ не понимаешь, ужь ты не сердись, Миколаичъ, а прямо тебѣ скажу, серьезно: ты не понимаешь! Поѣхалъ ты, напримѣръ, накосить двѣ охапки травы, и что же? Черезсѣдельникъ, между прочимъ, у тебя лопнулъ, меринъ, напримѣръ, брыкается, Васька, пострѣлъ, далъ тягу, комары, значитъ, тебя искусали до крови, и побѣжалъ ты искать попить водицы, а косу зазубрилъ, и, прямо сказать, ничего еще не видя, вполнѣ измучился, ослабъ, вспотѣлъ и осерчалъ,—вотъ какъ ты двѣ-то охапки пріобрѣлъ!

Я понялъ. Меня это поразило. Я до сихъ поръ представлялъ себѣ крестьянскій трудъ, какъ прекрасное, счастливое дѣло. Я представлялъ себѣ „волнующіяся нивы", „сверкающіе росой луга", „косарей", солнечный восходъ, пѣсни и т. д. Правда, зналъ я и страду, представлялъ и мученія, и голодъ, и бѣдность, но все это приписывалъ какимъ-то внѣшнимъ причинамъ, не воображая, чтобы „волнующіяся нивы" сами по себѣ заключали источникъ страданій. Я представлялъ себѣ трудъ чистымъ, безъ всякихъ осложненій; между тѣмъ, въ дѣйствительности всякій мужицкій трудъ сопряженъ съ тысячами непріятныхъ случайностей. И въ большинствѣ случаевъ работа выматываетъ силы работающихъ.

Но только на своей шкурѣ я могъ вполнѣ понять эту непріятную, хотя и простую истину.

Поѣздивъ съ Васькой недѣли двѣ въ лѣсъ и на болота, гдѣ я косилъ на кормъ траву и жалъ серпомъ осоку съ камышомъ, я выучился работать. Не выучился только не думать. Способность не думать оказалась вполнѣ отсутствующею во мнѣ. Въ самый разгаръ работы блеснетъ какая-нибудь

мысль—и все дѣло испорчено. Однажды, махая косой, я вдругъ принялся мечтать о сѣнокосилкѣ и такъ размечтался, что совершенно ослабъ, измаялся и принялся уже не косить, а сражаться съ травой, причемъ по всему тѣлу разлилось какое-то раздраженіе. Въ другой разъ, когда я рѣзалъ серпомъ камышъ, вдругъ вспомнилъ жатвенную машину, которую видѣлъ въ блестящемъ магазинѣ въ одной изъ столицъ, и задумался... Когда будутъ эти блестящія, сильныя машины въ деревнѣ? Неужели крестьянинъ не воспользуется ими и будетъ продолжать ломать позвоночный столбъ, сражаясь съ природою грудью, голыми руками и надрывая животъ? Неужели эти — серпъ, деревянная лопата и прочая дрянь вѣчны? Когда же наступитъ день, въ который мучительныя работы сняты будутъ съ плечъ человѣка, и бремя его жизни, иго его куска хлѣба будутъ сняты съ его шеи?

Въ эту минуту что-то острое прошло по всему моему тѣлу, сердце сжалось... Я посмотрѣлъ на лѣвую руку; изъ нея кровь била ключомъ и падала на траву; серпъ прорѣзалъ всю ладонь до кости.

Здѣсь мнѣ помогъ Васька, оказавшійся на высотѣ хирурга; онъ посовѣтовалъ засыпать рану сухою землей и завязать.

Послѣ этого случая я научился жать.

Наконецъ, пришло время косовицы. Я предчувствовалъ, что мнѣ предстоитъ сильное испытаніе. Могу-ли я вынести работу? Этотъ вопросъ волновалъ меня не на шутку. Наканунѣ выѣзда на луга я цѣлый день былъ въ ажитаціи и всѣмъ надоѣлъ, осматривая свою косу и разспрашивая о всякой мелочи, боясь упустить что-нибудь и осрамиться. Ночью я плохо спалъ, хотя чувствовалъ, что долженъ бы былъ спать, какъ убитый.

Не выдержавъ волненія, я вскочилъ съ сѣновала, гдѣ спалъ, когда еще было совершенно темно. Звѣздъ уже не было видно, но тьма передъ разсвѣтомъ густо облегала землю. Гдѣ-то за рѣкой дергалъ коростель. Надъ головой просвистѣла стая утокъ, улетавшая съ полей на озера, но тьма и тишина больше ничѣмъ не нарушалась.

Я разбудилъ Митрофаныча. Онъ долго не могъ придти въ себя. Что я ему ни говорилъ, онъ только неразумно отвѣчалъ:

— Ась?

— Вставай, свѣтаетъ!—говорилъ я нетерпѣливо.

— Ась?

— Пора ѣхать!

Послѣ нѣкотораго времени онъ, наконецъ, пришелъ въ сознаніе, вышелъ изъ сѣней на дворъ и съ изумленіемъ поглядѣлъ въ сторону зари. Потомъ недовольнымъ тономъ проговорилъ:

— И шутъ тебя знаетъ, что у тебя свербитъ!

Черезъ минуту, впрочемъ, его заспанное лицо озарилось улыбкой.

— Ну, и работникъ же у меня! Хлѣба не проситъ, жалованья не беретъ, а встаетъ, когда еще черти на кулачки не дрались.

Мнѣ стыдно было за свое нетерпѣніе, но потушить его я не въ состояніи былъ. Мнѣ почему-то казалось, что нынѣшній день будетъ ознаменованъ какимъ-то историческимъ событіемъ, которое для меня, главнаго дѣйствующаго лица, рѣшитъ вопросъ о жизни и смерти. И я негодовалъ, что Митрофанычъ медленно собирается.

Онъ въ разныхъ мѣстахъ почесался, потомъ съ тяжелыми вздохами помазалъ себѣ лицо и руки водой, воображая, что умывается, медленно, опять со вздохами, прочиталъ молитву своего сочиненія и торопливо сталъ собираться на сѣнокосъ. Раздраженный этими тяжкими сборами, я самъ побѣжалъ запрячь лошадь, запрягъ и уложилъ всѣ наши инструменты. А разсвѣтъ чуть только еще брызнулъ млечнымъ свѣтомъ на востокѣ.

Всѣ наши еще спали; они должны были выйти на сѣнокосъ только къ обѣду, чтобы сгребать сѣно. Мы проѣхали всю дорогу, распрягли нашего буланку, приготовили косы, и только тогда разсвѣло. На лугахъ никого не было изъ людей. Но жизнь уже начиналась: откуда-то раздались голоса птичекъ, со стороны деревни послышался какой-то смутный шумъ; вокругъ насъ ходили облака тумана. Меня охватило сильнѣйшее волненіе. Чувство силы, и счастье, и восторгъ такъ овладѣли мной, что я на минуту замеръ въ одной позѣ, а когда свѣтлыя стрѣлы пронизали востокъ, я дѣтскимъ восклицаніемъ привѣтствовалъ свѣтило.

Тутъ у насъ произошелъ споръ.

— Вотъ чего. Я буду гнать вотъ здѣсь, а ты гони свою линію вонъ тамъ,—сказалъ Митрофанычъ, указывая мнѣ мѣсто вдали отъ себя.

— Это зачѣмъ?—разсердился я.

— Да ужъ такъ лучше...

— Нѣтъ, я пойду за тобой.

— Говорю тебѣ, начинай вонъ тамъ и валяй въ свое удовольствіе!

— Да почему?

— А потому, нечего тебѣ убиваться. Вѣдь я ужъ знаю тебя,—хоть лопнешь, а будешь тянуться за мной.

Я видѣлъ, что Митрофанычъ хочетъ устроить для меня игрушку, и взбѣсился.

— Ты думаешь, я не поспѣю за тобой?

— Да на какого лѣшаго тебѣ поспѣвать-то? Что же это въ самомъ дѣлѣ такое? Изъ какой пользы ты будешь убиваться?—кричалъ уже Митрофанычъ.

— Почему же ты думаешь, что я буду убиваться?

— Упадешь, задохнешься и захвораешь—это что же такое будетъ?!

— Да тебѣ-то какое дѣло?—возразилъ я, также разозлившійся.

— Вотъ-те и на! Вотъ-те и лысый чортъ!—закричалъ въ неистовомъ гнѣвѣ мой хозяинъ и уже хотѣлъ хлопнуть свою шапку о-земь. Но я поспѣшилъ успокоить его, сказавъ ему, что если я не выдержу, то брошу, а заранѣе предсказывать мнѣ смерть преждевременно.

— Ну, и упрямъ! Эдакое упрямство въ жисть свою не примѣчалъ! На какого же лысаго чорта я тебя мучить-то стану?—продолжалъ кричать великанъ, но уже съ улыбкой на широкомъ лицѣ: шапку бить о-земь онъ раздумалъ, очевидно, понявъ, что въ моемъ упрямствѣ нѣтъ ничего страшнаго.

— Я пріѣхалъ сюда не играть, а работать,—добавилъ я.

— Ну, ладно. Давай зачинать. Господи благослови!... Тьфу!

Митрофанычъ поплевалъ на руки, и работа началась.

Вслѣдъ за хозяиномъ пошелъ и я. Сначала я работалъ нервами, мало довѣряя выносливости своихъ мускуловъ. Боялся отстать, боялся плохо сдѣлать и все торопился. Но трава, блиставшая каплями росы, тяжело и плотно падала;

моя коса ходила, какъ бритва. Мы прошли одну полосу. Митрофанычъ остановился, почесалъ затылокъ и посмотрѣлъ на мою работу, потомъ на меня.

— Ловко! — сказалъ онъ съ удовольствіемъ въ лицѣ.— Пойдемъ дальше.

Мы начали второй рядъ. Я опять работалъ нервами, напряженный и взволнованный. Благодаря этому, въ первый часъ я не чувствовалъ усталости. Потъ струился по всему моему тѣлу, лицо мое горѣло, но напряженные нервы скрывали утомленіе.

Но такъ долго не могло продолжаться; возбужденіе должно было кончиться, а дальше что? Дѣйствительно, нервы скоро утомились; я пересталъ волноваться за свою работу и увѣровалъ въ себя, но тутъ-то и началось истинное для меня испытаніе. Успокоившись насчетъ качества своей косьбы, я вдругъ ослабъ душой, а тѣло мое сразу раскисло. Ноги и руки мои дрожали; въ спинѣ чувствовалась острая боль, сердце въ груди колотилось безпорядочно, я почти задыхался. Пробовалъ я опять взбудоражить нервы, но они уже не слушались меня, тѣлесная боль все заглушила. Дойдя до половины ряда, я съ отчаяніемъ смотрѣлъ на его конецъ; иногда мнѣ казалось, что я упаду и сердце разорвется у меня.

Не знаю, понималъ мое состояніе Митрофанычъ или нѣтъ,—изъ деликатности онъ молчалъ, только часто, кстати и некстати, останавливался. Остановится и почешетъ спину, безцѣльно посмотритъ на небо, поправитъ волосы. Это онъ дѣлалъ для того, чтобы дать мнѣ минуту вздохнуть. Я былъ благодаренъ ему.

А когда солнце поднялось высоко, мы пошли завтракать. Усѣвшись возлѣ телѣги, Митрофанычъ разломилъ взятый нами хлѣбъ пополамъ и одну половину подалъ мнѣ. Мы налили въ ковшъ воды,—въ этомъ состоялъ весь завтракъ. Митрофанычъ ѣлъ съ удовольствіемъ, медленно чавкалъ, собирая съ подола всѣ крошки, и запивалъ водой съ такимъ удовольствіемъ, что могъ вызвать аппетитъ у объѣвшагося человѣка. Но я съ трудомъ глоталъ сухіе куски,—глоталъ по обязанности. Во рту у меня перегорѣло и хлѣбъ казался мнѣ горькимъ, какъ полынь. Я чувствовалъ, что глаза у меня стеклянные, лицо осунулось, а все тѣло было измято. Под-

пришлось всѣмъ торопиться, потому что поспѣвала уже рожь Всѣ напрягали силы и пришла истинная страда.

Но въ эти дни въ нашу работу вмѣшалось непредвидѣнное несчастіе, которое всѣхъ измучило, выбило изъ колеи, разозлило и одурачило.

IX.

Митрофанычъ имѣлъ двѣ души—дѣйствительную и воображаемую, но воображаемая душа пользовалась всѣми правами настоящей, благодаря чему лугъ ему достался въ двойномъ размѣрѣ. Одну душу мы уже отработали. Затѣмъ перекочевали на другую душу.

Но тутъ случилось что-то невообразимо нелѣпое.

Едва мы начали косить, какъ погода измѣнилась; набѣжала, повидимому, ничтожная тучка и смочила насъ. Мы продолжали косить, но черезъ нѣсколько часовъ опять набѣжала тучка и вылилась на насъ. Къ вечеру еще на небѣ показалось что-то едва замѣтное, но пошелъ частый дождь и промочилъ насъ до костей. Ночевали мы уже на сырой землѣ, выпачкались въ грязи и къ утру сильно продрогли.

Надѣялись, что на другой день солнце все поправитъ, но въ природѣ что-то нелѣпое происходило. Небо чистое, синее; только кое-гдѣ, какъ кучи хлопка, смѣшивались облака. Солнце паритъ горячо. Но вдругъ изъ одной кучи хлопка польется дождь и моментально смочитъ все. И небо опять синее, и солнце горячо смотритъ. Черезъ часъ опять набѣжитъ тучка и выльется. Это походило на капризную женщину: сейчасъ она смѣется, черезъ минуту уже заливается слезами; сію минуту она кокетничала съ вами, играя глазами, и сейчасъ же устраиваетъ вамъ сцену, изъ которой вы выходите одураченнымъ.

Два такихъ дня—и мы были уже измучены; работать не работали, а совершенно были измучены. Василиса, Даша и Васька перестали и приходить. Мы съ Митрофанычемъ одни остались въ полѣ, и въ промежуткахъ между ливнемъ и жарою продолжали косить. Но скошенная трава погибла. Смачиваемая дождемъ, она горѣла подъ жаркими лучами солнца. Съ земли поднимался паръ, воздухъ былъ горячій и насыщенный водой. Разъ, обманутые синимъ небомъ, мы вздру-

мали сгребать въ валы, но вдругъ набѣжало бѣлое облако и опрокинуло на насъ страшный ливень, и когда показалось солнце, мы бросились уничтожать нашу работу, раскидывая траву.

Большую часть времени мы проводили подъ телѣгой, лежа на брюхѣ, часто мокрые. И смѣхъ, и злость разбирали насъ. Митрофанычъ часто приходилъ въ необузданный гнѣвъ и бранился съ дождемъ.

— Ну, лей, лей шибче!—кричалъ онъ изъ-подъ телѣги.— Песъ съ тобой, лей! Дуй во всѣ лопатки!—кричалъ онъ бѣшено, спасаясь отъ ливня подъ телѣгу.

Это была дѣйствительно безсильная злость. Работы не было, а уйти отъ нея мы не могли. Мы занимались какою-то игрой: то сгребали траву, то черезъ часъ разбрасывали ее по всему лугу.

И всѣ сосѣдніе косари переживали то же. Только мы еще терпѣливѣе переносили капризы погоды, да и жнитво еще не поспѣло. Но другимъ приходилось просто жутко.

Въ особенности нашъ сосѣдъ Игнатъ Иванычъ—онъ совсѣмъ не зналъ покоя. Подходя къ нашей телѣгѣ, подъ которой мы лежали на брюхѣ, болтая ногами, онъ сумрачно здоровался съ нами и на наши вопросы отмалчивался. Всѣ его мысли были сосредоточены на одномъ—на сѣнѣ. На себя онъ не обращалъ вниманія; дождь мочилъ его до костей, но ему было все равно; шлепая по мокрой землѣ босыми ногами, съ непокрытою головой, онъ думалъ о сѣнѣ.

— Прѣетъ!—говорилъ онъ глухо, ни къ кому изъ насъ не обращаясь.

— Да ужъ про сѣно чего говорить; сопрѣетъ, ужь это какъ разъ!—поддерживалъ его Митрофанычъ.

— А тутъ рожь на носу!

— Жать?

— Спѣется! И поломалась такъ, что не продерешь серпомъ.

— Бери на косу,—посовѣтовалъ Митрофанычъ.

— Ежели на косу, окончательно высыплется! То-есть чистая смерть!— и, говоря это, Игнатъ Иванычъ топтался босыми ногами на мокрой травѣ и, попрежнему, не обращалъ вниманія на дождь; дождь лилъ на его непокрытую голову и на все тѣло, къ которому плотно прилипли рубаха и штаны. Видимо, человѣкъ былъ огорченъ.

Игнатъ Иванычъ былъ сосѣдъ нашъ и съ моимъ Митрофанычемъ жилъ дружно, „по-сусѣдски“. Часто они подсобляли другъ другу въ работѣ, взаимно одолжались вещами и обмѣнивались мнѣніями. Но только мнѣній Игната — хоть убей! — я до сихъ поръ не понималъ. Что-то особенное было въ мысляхъ Игната Иваныча, какая-то непостижимая для меня логика. Часто мы съ нимъ бесѣдовали, но всегда онъ поражалъ меня какимъ-нибудь неожиданнымъ соображеніемъ; его голова представляла для меня особенный міръ, полный какихъ-то логическихъ чудовищъ. При этомъ говорилъ онъ намеками, взглядами, полусловами и крайне медленно. Казалось, каждую мысль онъ вытягивалъ изъ себя съ величайшею болью, какъ вынимаютъ, напримѣръ, мозоль. Прежде чѣмъ что-нибудь сказать, онъ крякалъ и вздыхалъ.

— Ну, чего ты, Игнатъ, мокнешь? Влазь къ намъ подъ телѣгу. Тутъ у насъ отлично: и разговоры разговариваемъ, и на брюхѣ катаемся, — одно слово, праздникъ, — сказалъ Митрофанычъ.

Игнатъ Иванычъ послушалъ, наконецъ, приглашенія и сѣлъ возлѣ колеса.

— Что-жь, съ Богомъ спорить нельзя. Я бы вотъ захотѣлъ разогнать облака, и чтобы солнце, по моему приказу, высушило мнѣ сѣно, а, между прочимъ, приходится мнѣ лежать на брюхѣ. Ты, вотъ, послухай-ка лучше, что Миколаичъ сказываетъ—просто прелесть! И дождь, и облака, и всю эту мокроту... Я забылъ его слова... Очень складно у него выходитъ!

— Насчетъ чего?—спросилъ Игнатъ, стараясь придти въ себя.

— Насчетъ травосѣву. Напримѣръ, у насъ луга, трава— это все отъ Бога. А можно и самимъ сѣять траву и... Да вотъ пущай Миколаичъ разскажетъ... Ну-ка, Миколаичъ, скажи опять насчетъ травосѣву-то, Игнатъ послушаетъ... Мужикъ онъ основательный. Онъ ужь ежели ляпнетъ слово, такъ ужь вѣрно. Онъ когда скажетъ что, такъ, прямо сказать, все равно—березу съ корнемъ выдернетъ!

И Митрофанычъ, высказавъ эту характеристику своего сосѣда, захохоталъ отъ удовольствія. Мы, дѣйствительно, только что говорили о клеверѣ и тимоѳеевкѣ, причемъ я разсказалъ о травосѣяніи все, что зналъ самъ, и хотѣлъ

узнать мнѣніе Митрофаныча. Теперь, когда послѣдній пригласилъ меня еще разъ разсказать то же самое, я очутился въ сильномъ затрудненіи. Митрофанычу я могъ что угодно говорить и зналъ, что онъ большою своею головой пойметъ, да еще отъ себя что-нибудь прибавитъ, благодаря своей способности къ крайнимъ увлеченіямъ всѣмъ новымъ. Но Игнатъ... какъ къ нему приступить, о чемъ съ нимъ разговаривать? Я все-таки повторилъ въ осторожныхъ выраженіяхъ свои крошечныя знанія о травосѣяніи.

— Ловко?—спросилъ Митрофанычъ, поглядывая на сосѣда.

Игнатъ молча уперъ глаза въ землю.

— То-есть превосходно онъ это говоритъ насчетъ травосѣву!—воскликнулъ Митрофанычъ и растопырилъ пальцы.— Теперь, напримѣръ, что уродится, тѣмъ мы и довольны. А тогда взялъ сѣмянъ, обработалъ, посѣялъ, гдѣ угодно и въ какомъ пожелаешь огромномъ размѣрѣ, и отлично будетъ... Какъ ты полагаешь, Игнатъ?

— Что же, это ничего,—сказалъ Игнатъ загадочно.

— Теперь мы дожидаемъ, уродится или нѣтъ, а ужь тогда навѣрняка!

— Само собой...

— И трава густая и ѣдовая для скота—очень великолѣпно!

— Ежели трава ѣдовая, то ужь на что лучше...

— И скотъ будетъ сытъ, и сѣно будетъ въ цѣнѣ.

— Такъ, такъ! Скотъ будетъ сытъ...

— Очень просто. Теперь уродятся сѣна, ай нѣтъ — это еще надо погадать, а тогда навѣрняка, какъ пить дастъ!— увлекался Митрофанычъ.

— Ужь это какъ есть! Ежели трава уродится, то ужь тутъ сѣно вѣрно.

Игнатъ, говоря это, продолжалъ смотрѣть куда-то въ центръ земли и почесывался. Но загадочныхъ его отвѣтовъ я все-таки не понималъ; всеми силами старался понять и не могъ.

— Какъ же ты, Игнатъ, полагаешь? Ловко? — спросилъ Митрофанычъ.

— Насчетъ чего?

— Да насчетъ травосѣву-то.

— Ничего, дѣло хорошое, ежели въ случаѣ чего... Только любопытно мнѣ спросить объ одномъ предметѣ.

— Ничего, спрашивай; Миколаичъ все тебѣ опишетъ... А ты, Миколаичъ, вникай, потому Игнатъ хоть и нескладно говоритъ, да съ корнемъ,—давалъ намъ наставленія Митрофанычъ.

— О какомъ же предметѣ?—спросилъ я.

— Да вотъ насчетъ травосѣву... Напримѣръ, рожь и травосѣвъ—какъ же это приспособить?—высказалъ Игнатъ, понатужившись.

— Не понимаю!

На лицѣ Игната появилась какая-то боль, словно онъ занозу выдергивалъ. Митрофанычъ смотрѣлъ то на меня, то на Игната и, видимо, готовился обоимъ намъ помогать.

— Да ты, Игнатъ, зачни съ другого конца, Миколаичъ-то и вникнетъ... А ты, Миколаичъ, вникай, потому Игнатъ съ корнемъ...

— Ну, съ другого конца, это ничего,—началъ опять Игнатъ съ болью въ лицѣ.—Ты скажи вотъ чего мнѣ насчетъ этого травосѣву... сыплется онъ.

— То-есть какъ сыплется?

— Да вотъ все одно, какъ рожь, либо пшеница: ежели переспѣетъ, не угодишь во-время, она и обсыплется. Такъ вотъ и травосѣвъ... сыплется?

— Ну, ну. Если перезрѣетъ, конечно, будетъ обсыпаться,—сказалъ я, обрадовавшись тому, что ухватился за конецъ занозы. Игнатъ также обрадовался.

— Такъ вотъ ты и разсуди, какъ теперь... напримѣръ, рожь и травосѣвъ поспѣютъ?

— Ну, такъ что же?

— И оба посыплются.

— Да вѣдь косьба-то въ одно время, какъ и сейчасъ, зачѣмъ же рожь и трава посыплются?

— А я полагаю, посыплются. Откуда же сѣмена взять?

— Какія сѣмена?

— Да для травосѣву-то. А разъ оставить на сѣмена, то какъ же разорваться? Напримѣръ, и рожь, и травосѣвъ—и оба сыплются...

На меня отчаяніе напало и я какъ-то одурѣлъ. Игнатъ немилосердно чесался. Митрофанычъ, переводя взгляды съ Игната на меня и обратно, не вытерпѣлъ и прекратилъ наше обоюдное мученіе.

— Ну, ты, Игнатъ, чего-то сегодня не того... не туды! Пустое ты говоришь, потому обо всемъ объ этомъ травосѣвѣ можно разузнать доподлинно... Нѣтъ, ты, Миколаичъ, вотъ что вникни. Вѣдь о травосѣвѣ и обо всемъ прочемъ мы давно слыхали, да только боязно намъ,—народъ мы робкій. Вотъ ежели бы кто первый зачалъ, ну, и мы тогда пойдемъ за нимъ, а то боязно... Кабы кто первый!

— Да ты первый и начни,—возразазилъ я.

Митрофанычъ съ изумленіемъ посмотрѣлъ на меня.

— Мнѣ зачать?... А что-жь ты думаешь? И ей-Богу зачну! Какого же лысаго чорта бояться-то? Разузнаемъ все съ тобой и зачнемъ. Вотъ ей-Богу!

Митрофанычъ пришелъ въ восторгъ и принялся широко развивать травосѣвъ, при этомъ волненіе его было такъ сильно, что онъ не могъ улежать на брюхѣ и перевернулся на спину, потомъ на одинъ бокъ, потомъ на другой бокъ и, наконецъ, сѣлъ. Впрочемъ, я въ это время занятъ былъ Игнатомъ. Я старался его понять и, кажется, понялъ.

Онъ былъ похожъ на дерево: какъ дерево, его нельзя было безъ порчи корней пересадить на другое мѣсто. Все новое ему приходилось мучительно. Въ домѣ у него вещи всѣ лежали по цѣлымъ годамъ на одномъ и томъ же мѣстѣ. Если ему приходилось ихъ переставлять, то объ этомъ нужно было думать, а думать ему больно, боязно. Выдумывая какую-нибудь мысль, онъ вырывалъ ее, какъ корень, съ болью. То, къ чему онъ привыкъ, онъ дѣлалъ легко, но все, что приходилось заново обдумать, приводило его въ разстройство. И, кажется, въ этомъ большую роль играла машина физическаго труда. Умъ рефлективный, жизнь неподвижная, движенія предопредѣленныя, идеи умершія,—это была машина, работающая изо дня въ день, изъ года въ годъ. Это былъ спеціалистъ, въ которомъ произошло перерожденіе въ одну сторону, въ сторону запряженной въ возъ лошади; умственная и сердечная его половина чуть-чуть свѣтилась. Крайній спеціалистъ, онъ всегда ставилъ меня въ тупикъ бѣдностью воображенія; весь міръ для него сосредоточился въ небольшомъ фокусѣ плохого земледѣлія. На небѣ онъ видѣлъ только тучки, которыя даютъ дождь или снѣгъ; солнце ему было любопытно постольку, поскольку оно способствовало росту ярицы и овса; въ рѣкѣ онъ видѣлъ только случай намочить

зыка или напоить кобылу и иногда самому напиться. Лѣсъ ему представлялся дровами, луга—сѣномъ, а вся земля—пашней, расковыренной сохой.

И все-таки онъ любилъ и волновался, вѣрилъ и мыслилъ, только все это дѣлалъ съ страшною болью. Когда впослѣдствіи мнѣ приходилось съ нимъ по душѣ говорить и онъ старался меня понять, я видѣлъ, какъ ему было больно, больно. Все, что людямъ доставляетъ счастіе,—любовь и познаніе, вѣра и мысль,—ему доставалось мучительно, какъ свѣтъ человѣку, долго жившему въ темномъ подземельѣ, какъ ласка—ребенку, привыкшему испытывать только оскорбленія.

И все-таки онъ любилъ и радовался, вѣрилъ и мыслилъ. Скоро, близко подружившись съ нимъ, я почувствовалъ къ нему искреннее уваженіе въ особенности за то, что каждое чувство въ немъ было прочно, какъ вросшіе въ землю корни.

Но въ эту минуту я питалъ только жалость къ нему. Когда Митрофанычъ перебилъ нашъ нелѣпый разговоръ, Игнатъ Иванычъ съ какимъ-то недоумѣніемъ остановился. Мои слова, очевидно, задѣли его за живое; было очевидно также, что, разъ задѣтый, онъ уже долго не могъ успокоиться, какъ всѣ прочные люди.

Когда мы съ Митрофанычемъ уже совсѣмъ забыли о разговорѣ и выглядывали изъ-подъ телѣги, думая о работѣ (солнышко давно свѣтило и тучи расползлись по краямъ неба), Игнатъ, оказалось, все еще соображалъ на заданную ему тему.

— Такъ, стало быть, травосѣвъ?—спросилъ онъ вдругъ меня.

Я сначала даже оторопѣлъ, но сію же минуту вспомнилъ, въ чемъ дѣло.

— Да, травосѣяніе, по-моему, хорошее дѣло,—сказалъ я.

— Такъ, такъ! Только вотъ насчетъ сѣмянъ-то вникнуть бы... Напримѣръ, рожь и травосѣвъ... Нельзя же разорваться...

— Ну, Иванычъ, мы объ этомъ объ травосѣвѣ покалякаемъ еще. А теперь давайте-ка покосимъ малость, будетъ на брюхѣ-то кататься.

Отъ этого возраженія Митрофаныча Игнатъ вдругъ пришелъ въ себя, вспомнилъ мучительную свою думу о *гніющемъ сѣнѣ* и поспѣшно всталъ.

— Хоть бы ужъ Господь вёдра-то далъ! И сѣно прѣетъ, и рожь течетъ...

— Небось, успѣемъ. Чего ты больно сурьёзенъ?—возразилъ весело мой хозяинъ.

— Да вѣдь вытечетъ вся!

— Ничего, Богъ дастъ, за все наверстаемъ. Пойдемъ-ка, братцы, повосить... Ишь какъ солнце-то жаритъ! Надо поторапливаться! Ну-ка, Господи, благослови!

Это было знакомъ спѣшной работы. Игнатъ чуть не бѣгомъ бросился къ своей семьѣ на сѣнокосѣ, а мы принялись торопливо нагонять потерянное время.

Солнце дѣйствительно жарило. На землѣ была своего рода баня, наполненная горячими парами.

X.

Вслѣдъ за дождями наступили знойные дни. Удушливый жаръ охватилъ всю землю и, казалось, все живое. Пыль густыми клубами, а часто непроницаемыми стѣнами носилась въ раскаленномъ воздухѣ. При такой-то обстановкѣ продолжались наши полевыя работы. Вслѣдъ за уборкой сѣна, съ которымъ намъ удалось-таки развязаться, подошло жнитво. Мы съ Митрофанычемъ почти не покидали поля, гдѣ работали и ночевали. Только по субботамъ вечеромъ мы пріѣзжали домой и отдыхали все воскресенье.

Женская половина наша также безотлучно оставалась на жнивахъ, но на ночь Василиса и Даша уходили домой и прибирали тамъ огородъ, корову съ теленкомъ, приготовляя, въ то же время, для всѣхъ пищу. Василиса ходила беременной, но никому въ голову не приходило освободить ее отъ жнитва. Наравнѣ со всѣми, не разгибая спины, она терялась въ густой заросли ржи.

Я проводилъ жнитво однообразно: цѣлый день работа и небольшіе промежутки завтрака, обѣда, ужина и сна непробуднаго. Къ моему удовольствію, недалеко отъ нашихъ полосъ была рѣка, и мы съ Васькой два раза въ день ѣздили туда верхомъ на лошадяхъ купаться. За полчаса до обѣда я бросалъ серпъ, и мы спѣшили взобраться на лошадей и скакали къ рѣкѣ; тамъ, напоивъ лошадей, мы бросались въ воду и какъ можно дольше старались оттянуть время обѣда.

Я купался, пока по всему уставшему тѣлу не пройдетъ дрожь, а Васька готовъ былъ сто разъ влѣзать въ рѣку и вылѣзать; онъ часто такъ долго барахтался въ водѣ, что дѣлался синимъ, какъ утопленникъ, и нижняя челюсть била дробь. Это нисколько намъ не вредило. Нѣкогда передъ купаньемъ я долженъ быть простынуть, а послѣ купанья непремѣнно завернуться въ простыню, причемъ голову вытереть насухо... Теперь я бросался въ воду, когда крупныя капли пота струились по мнѣ и тѣло горѣло; въ водѣ оставался до дрожи, а вылѣзая, прямо натягивалъ первобытный костюмъ и не обращалъ вниманія на струившуюся съ головы воду; обязанность высушить волосы мы предоставляли солнцу и вѣтру; вслѣдствіе этого на нашихъ лицахъ два раза въ день мѣнялась кожа; у Васьки же лицо совершенно облупилось, въ особенности же носъ, на которомъ шкура висѣла, какъ шелуха на плохо очищенной картошкѣ.

Совѣсть, впрочемъ, скоро начинала меня мучить; мы торопливо выскакивали изъ воды и скакали къ становищу, гдѣ уже всѣ наши сидѣли подъ тѣнью, ожидая насъ.

Послѣ обѣда отдыхъ съ часъ; вечеромъ, передъ ужиномъ, мы опять съ Васькой скакали къ рѣкѣ поить лошадей и купаться; потомъ ужинъ и сонъ. Это однообразіе доставляло мнѣ ощущеніе покоя, беззаботности и силы. Я сталъ крѣпкимъ и равнодушнымъ. Для меня теперь ничего не стоило босикомъ ходить по грязи или росѣ; одѣвался я съ первобытною простотой, ѣлъ такія вещи, которыя раньше считалъ не съѣдобными; спалъ на голой землѣ и часто по утренникамъ волосы и грудь моя покрывались росой,—это ничего! Я сдѣлался вполнѣ равнодушнымъ къ жару и холоду, къ вѣтру и дождю, къ грязи и пыли. Чувство силы такъ прочно утвердилось во мнѣ, что боязнь всякаго рода передъ жизненными невзгодами цѣликомъ исчезла во мнѣ.

Митрофанычъ то и дѣло напоминалъ мнѣ о совершившемся со мною переворотѣ, да и другіе все еще не могли примириться съ тѣмъ фактомъ, что еще нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ я былъ бариномъ, а теперь распоясанный человѣкъ. Я видѣлъ также, что ни Митрофанычъ, ни другіе до сихъ поръ не могутъ понять, какъ я очутился между ними и сталъ другомъ ихъ, какъ и они мнѣ; да я, пожалуй, и самъ не въ состояніи былъ объяснить достаточно резонно

свое появленіе въ чужой крестьянской семьѣ. Случай—вотъ и все. Я какъ съ неба свалился.

— Одно слово, случай!—говорилъ Митрофанычъ.

— Такому случаю я теперь радъ,—возражалъ я.

— Да ужь тамъ радъ или не радъ, а попалъ къ намъ,—больше ничего.

— А знаешь что?—говорилъ въ другой разъ за полевымъ обѣдомъ Митрофанычъ.—Вѣдь ты къ намъ въ домъ принесъ счастье. Все у насъ пошло съ тѣхъ поръ дѣльно.

— Можетъ быть, и мнѣ вашъ домъ принесъ счастье?—возражалъ я шутливо.

— Ну, этого мы не знаемъ, потому работаешь ты до смерти. Но ты же, что касательно нашего дома, то это вѣрно,—принесъ ты въ домъ счастье. Какъ ты поселился, все у насъ пошло ладно—и огородъ, и двѣ лошади, и урожай не въ примѣръ... Очень просто, бываютъ на свѣтѣ такіе люди, что счастье съ собой приносятъ, такъ и ты.

— Ну, это, кажется, не совсѣмъ вѣрно,—возразилъ я, вспомнивъ недавнее прошлое, когда я приносилъ одно несчастіе себѣ и другимъ.

— Я такъ полагаю, что Богъ тебя долженъ наградить за это!—сказалъ Митрофанычъ съ глубочайшею вѣрой.

— Ну, этого я не знаю, долженъ или не долженъ Богъ меня наградить. А пока что, мнѣ у васъ хорошо... Впередъ же не будемъ загадывать.

Мы, дѣйствительно, и не загадывали. Я до сихъ поръ почему-то избѣгалъ разсказа о своей прежней жизни, познакомивъ моихъ простыхъ друзей только съ отрывками ея; они же изъ чувства деликатности не разспрашивали меня.

Такъ и текла моя жизнь, день за днемъ, безъ прошедшаго и безъ будущаго. Я втянулся въ работу, гнулъ спину на жнитвѣ, трясся на рыдванѣ со снопами, встрѣчалъ бодрою работой утренній восходъ солнца изъ-за лѣса и провожалъ его вечеромъ за холмъ, гдѣ оно, въ послѣдній разъ позолотивъ желтыя нивы, падало въ ночную мглу. Если это назвать счастьемъ, то оно у меня было; если это только довольство, то я его испытывалъ въ полной мѣрѣ. Ни одно изъ тѣхъ убійственныхъ волненій, какими богата была моя прежняя жизнь, больше не посѣщало меня.

Когда наставалъ вечеръ субботы, мы всѣ отправлялись

домой, и я располагался спать; спалъ цѣлую ночь въ абсолютномъ забытьи, спалъ и половину дня воскресенья. Затѣмъ съ Дашей и Васькой мы отправлялись на мельницу.

Ко всѣмъ остальнымъ деревенскимъ явленіямъ я относился безразлично. Случалось видѣть драки, ругань, эксплоатацію бѣдняка богачомъ, подлость бѣднаго противъ бѣднаго; видѣлъ то и дѣло я, какъ въ праздникъ какой-нибудь мужикъ летитъ къ кабаку, прижавъ судорожно женинъ сарафанъ къ груди, а за нимъ съ воплями бѣжитъ жена; видѣлъ и толпы пьяныхъ въ повалку, и смерти отъ истощенія, и жизнь въ проголодь, но все это какъ-то мимо меня проскользало: я въ этомъ не участвовалъ и равнодушно проходилъ мимо всего этого. Было-ли это равнодушіе свойственно всѣмъ деревенскимъ людямъ, или только я, занятый тяжелыми и пріятными тѣлесными ощущеніями, оставался безчувственнымъ къ окружающему?

Я уже говорилъ, съ какимъ спокойствіемъ я теперь переносилъ холодъ и жаръ, утомленіе и муки; разъ я напоролъ острою щепкой ногу себѣ—и ничего; боль въ ногѣ нисколько не обезпокоила меня. Такъ же равнодушно я смотрѣлъ и на чужія невзгоды.

Я ничѣмъ не волновался и все видимое признавалъ естественнымъ.

Но однажды я былъ выведенъ изъ этого, по новизнѣ, пріятнаго состоянія. Это было въ воскресенье. По обыкновенію, до обѣда я спалъ на сѣновалѣ. Собственно трудно это даже такъ назвать,—я лежалъ, скорѣе, какъ мертвый. Наканунѣ мы очень устали. Когда, наконецъ, я проснулся, то нѣсколько минутъ протиралъ глаза, ничего не видя изъ-подъ опухшихъ вѣкъ и не будучи въ состояніи понять, гдѣ я. Спрыгнувъ съ сѣновала на дворъ, я нѣсколько времени слѣпо тыкался между рыдванами. Словомъ, очумѣлъ. Свѣта я не могъ выносить и протиралъ глаза. Затѣмъ вышелъ на улицу, гдѣ около воротъ нашего дома стояли кучкой всѣ наши. Нѣсколько человѣкъ пробѣжало вдоль улицы. Дѣлая руку козырькомъ, всѣ смотрѣли въ ту сторону, куда бѣжали бабы и ребятишки. Я такъ же сдѣлалъ, но ничего не понималъ.

— Куда это бѣгутъ?—спросилъ я.

— Надо полагать, къ Васькѣ Сайкину,—спокойно проговорилъ Митрофанычъ.

— Что же тамъ такое?

— Да надо полагать, дерется онъ съ женой. Безпремѣнно лупитъ жену, ужь не иначе,—отвѣтилъ также равнодушно Митрофанычъ.

— Зачѣмъ?

— Кто-жь ихъ разберетъ? Лупитъ да и все. Охальникъ, что съ него возьмешь?

— Да за что же онъ лупитъ?

— Больше ничего, какъ охальникъ, самый пустой мужиченко. Придетъ домой и давай бить—возжами, черезсѣдельникомъ, а то и просто полѣномъ... Чу, плачетъ кто-то!... Безпремѣнно это Васька свою хозяйку бучитъ!

Василиса и Даша, взволнованныя, побѣжали къ Васькиному двору, а мы съ Митрофанычемъ остались у своихъ воротъ. Но на этотъ разъ меня что-то обезпокоило.

— Пойдемъ и мы посмотримъ! — предложилъ я Митрофанычу.

— Да чего смотрѣть-то этого пса?... А, между прочимъ, пойдемъ...

Черезъ нѣсколько минутъ мы уже были на мѣстѣ происшествія и увидѣли всю сцену.

Сцена представляла бѣдный пустой дворъ; на серединѣ двора телѣга. Дѣйствующія лица: Васька Сайкинъ, показавшійся мнѣ теперь болѣе злымъ и сквернымъ мужиченкомъ, чѣмъ въ первое наше знакомство, и его жена. Васька сидѣлъ на порогѣ двери и презрительно огрызался по сторонамъ. Жена была привязана за косы къ перекладинѣ рыдвана; по лицу ея, во многихъ мѣстахъ подбитому, текли слезы съ сукровицей. Въ глубинѣ сцены изъ-за плетня виднѣлись головы ребятишекъ, помѣстившихся между кольями плетня. На авансценѣ стоялъ „народъ“ — бабы, ребята и нѣсколько мужиковъ, въ томъ числѣ и мы съ Митрофанычемъ.

— Пусти меня, Степанычъ!—слабо вдругъ проговорила жена, умоляя.

— Ничего, постоишь!—возражалъ Васька.

— Степанычъ... отвяжи меня, не срами! — продолжала женщина умолять.

Васька молчалъ.

— Ну, ужь будетъ, Васька! Развяжи!—сказалъ кто-то изъ публики.

XI.

Но все чаще и чаще стало находить на меня раздумье. Иногда, повидимому, безъ всякой причины, вдругъ пробѣжитъ въ сердцѣ тревожная мысль, задѣнетъ знакомую струну, задрожитъ эта струна, и болѣзненный звукъ ея отзовется острою тоской. Потомъ безслѣдно все проходитъ — и опять я спокоенъ.

Природа въ концѣ лѣта сама по себѣ вызываетъ это чувство тайной грусти. Кругомъ вездѣ поля, остриженныя косой и серпомъ. На лугахъ рельефно обрисовывается каждый кустикъ тальника, каждый стогъ сѣна; ни одного цвѣтка; жаворонокъ не поетъ больше подъ густою зеленью; перепелу негдѣ укрыться; вѣтеръ свободно гуляетъ, свиститъ и рветъ по чистой равнинѣ возлѣ стоговъ. Не видно стѣнъ хлѣбныхъ полей,—онѣ сжаты и сложены въ скирды. Полуобнаженная земля, съ торчащею всюду щеткой соломы, какъ будто засыпаетъ. Тишина кругомъ. Выйдешь въ поле—и одиночество охватитъ тебя.

Страда кончилась. Поля обезлюдѣли. Изрѣдка проѣдетъ возъ со снопами и спугнетъ стаю голубей, подбирающихъ по дорогамъ зерна. Кончилась торопливость. Люди всѣ на гумнахъ, на мельницѣ да на базарахъ. Кто молотитъ, кто спѣшитъ въ городъ съ мѣшками новаго хлѣба. Истощенные, заработавшіеся мужики спѣшатъ удовлетворить забытыя на время нужды. Деревня оживилась; во дворахъ и избахъ— вездѣ люди. Каждый старается быть больше у себя дома, въ семьѣ, среди знакомой обстановки.

А у меня нѣтъ дома, нѣтъ семьи и угла. Я вездѣ чужой и вѣчный скиталецъ. Пробѣжитъ эта мысль, сожметъ сердце, и знакомая струна зазвучитъ тоской одиночества.

Я забылся во время спѣшныхъ полевыхъ работъ. Теперь что дѣлать? Никакого опредѣленнаго плана на будущее у меня не было; объ этомъ будущемъ я старался вовсе не думать. Но чувство тревоги не умолкало. Смутно я чувствовалъ, что долженъ уѣзжать отсюда. Я чужой здѣсь, но гдѣ же мой домъ? Мои друзья любили меня, но среди нихъ мнѣ не было ужь дѣла. А гдѣ же мое дѣло? Уѣхать я куда-то долженъ, — не моя эта деревня, не мой городъ, не моя родина... Но гдѣ же моя родина?

Оканчивалось лѣто, а вмѣстѣ съ нимъ оканчивалось и мое пребываніе здѣсь. Ѣхать я куда-то долженъ. Довольно, подышалъ чистымъ воздухомъ полей, пожилъ среди простыхъ и добрыхъ людей и долженъ ѣхать куда-то къ своимъ дѣламъ! И мнѣ становилось грустно. Это тяжелое чувство прощанія съ милыми знакомо мнѣ съ ранняго дѣтства. Помню, когда, послѣ весело проведеннаго ваката среди родной семьи, я долженъ былъ ѣхать въ чужой городъ, къ противнымъ книжкамъ, въ холодный казенный домъ, мнѣ такъ же становилось жутко; за нѣсколько дней до отъѣзда изъ родного дома я переставалъ играть, умолкалъ, лицо мое вдругъ вытягивалось и по сердцу пробѣгала острая боль. Скверныя эти книжонки, проклятый этотъ холодный домъ, придуманный, какъ острогъ, для свободныхъ дѣтей!... Отчего человѣкъ не можетъ дѣлать то, что ему хочется, и жить тамъ, гдѣ ему нравится? Въ послѣдній день пребыванія дома на меня нападало мрачное озлобленіе. Но, прощаясь съ матерью и сестрами, я не плакалъ; со стиснутыми зубами я холодно цѣловалъ близкихъ и садился въ экипажъ. Ни одного вздоха, ни одной слезы на похолодѣвшемъ моемъ лицѣ. Пара съ колокольчикомъ выѣзжала со двора. Какъ весело звенѣлъ этотъ колокольчикъ, когда я ѣхалъ домой, и какъ больно онъ теперь рѣзалъ мое маленькое, наболѣвшое сердце, увозя меня въ бездушный, холодный домъ!

Впрочемъ, я еще позабывалъ и подавлялъ звуки этихъ струнъ. Сейчасъ же послѣ жнитва мы начали молотьбу. Это тяжелая, но веселая работа. Погода стояла чудесная, солнце ярко горѣло, только по вечерамъ дѣлалось уже холодно. Снопы были совершенно сухіе, и не было нужды прибѣгать къ овину.

Владѣть цѣпомъ я научился дня черезъ два, послѣ того, какъ разъ пять съѣздилъ себя по затылку. Но работы было много и помимо собственно молотьбы: ворочать обмолоченные снопы, перетрясать солому, снимать мякину, подкидывать новые ряды. Для ускоренія работы мы сдѣлали два тока; на одномъ молотили цѣпами мы съ Митрофанычемъ и Дашей, на другомъ Васька гонялъ нашихъ двухъ лошадей по кругу. Работали всѣ, но не уставая такъ, какъ на косьбѣ или во время жнитва; обѣдали дома; пили по вечерамъ чай.

Посреди этихъ веселыхъ работъ, среди соломы, мякины, вороховъ зерна, меня вдругъ застигло событіе, неожиданно

барыша. Хлопотъ міру тутъ никакихъ нѣтъ; всю заботу о мельницѣ я возьму на себя, мужикамъ только придется отъ времени до времени поправлять, что понадобится...

— Очень превосходно!

— Выгодно и для меня, и для міра. У меня будетъ хлѣбъ и домъ, міру же останется весь барышъ.

— То-есть лучше и не надо! Штука дѣльная!

— Какъ ты думаешь, примутъ мужики?

— Я такъ полагаю, примутъ. То-есть такое дѣло, что лучше и не надо!

— Новое дѣло-то; пожалуй, не захотятъ.

— Дѣло, конечно, новое, не было еще у насъ... такъ вѣдь соображеніе-то есть же! Всякому видимо, что дѣло, прямо сказать, отличное! Ну, ладно же ты придумалъ!

— Я боюсь еще, что не повѣрятъ мнѣ,—подумаютъ, что какой-нибудь подвохъ со стороны барина...

— Ежели кто вздумаетъ сказать такую подлость, всю башку тому человѣку расколочу!

— Едва-ли отъ этого польза будетъ!—вскричалъ я, испугавшись, что какимъ-нибудь необузданнымъ поступкомъ Митрофанычъ испортитъ все дѣло.

Но Митрофанычъ сейчасъ же понялъ меня и задумался. Относительно самой сущности дѣла также мнѣ не нужно было больше говорить; большая необузданная голова его сію же минуту оцѣнила мой планъ; еще лучше—онъ провелъ его со всѣми послѣдствіями дальше, отмѣтилъ всѣ мелочи (какъ меня мужики будутъ учитывать, какъ будетъ производиться ремонтъ) и наложилъ, такъ сказать, краски на это пока еще мертвое дѣло.

— Мы сперва кое съ кѣмъ поговоримъ, разскажемъ хорошимъ мужикамъ, какъ и что, и ужь тогда ударимъ прямо въ точку... Это дѣло надо вести умно, съ оглядкой, чтобы на сходѣ горланы наши приперты были въ уголъ,—вотъ это какъ слѣдуетъ вести. Главное, не торопиться, а то все къ чорту лысому провалится!

Такъ мы и сдѣлали.

Но съ перваго же раза намъ предстояло множество разочарованій, и дѣло тянулось долго. Пригласили мы сначала Игната, нашего основательнаго сосѣда. Митрофанычъ во-

жика изъ терпѣнія, потому что до меня донеслось раздражительное увѣщаніе:

-- Антошка-а! Иди, пострѣлъ, нады складa-ать!...—Потомъ все замолкло. Недалеко отъ меня пострекотала сорока, но она улетѣла. Мертвая тишина стояла въ лѣсу. Склонившееся къ западу солнце бросало длинныя тѣни отъ деревьевъ; на землѣ подъ лѣснымъ шатромъ сдѣлалось уже прохладно и сыро. Ни малѣйшаго вѣтерка. Деревья неподвижно застыли въ полумракѣ. Только кое-гдѣ слышался шелестъ падающаго желтаго листа. Много уже было этихъ желтыхъ листьевъ, предвѣстниковъ близкой осени.

Внезапный покой овладѣлъ всѣмъ моимъ утомленнымъ тѣломъ, а призываніе неизвѣстнымъ мужикомъ какого-то Антошки дало другое направленіе моей изнеможенной мысли. Мнѣ даже смѣшнымъ показалось то злобное волненіе, съ которымъ я читалъ письмо. Сидя на поваленной березѣ, я отдыхалъ и чувствовалъ себя покойно. Еслибы кто-нибудь мнѣ въ эту минуту приказалъ встать и идти, я не послушался бы,—мнѣ и здѣсь хорошо! Не сдвинусь я съ этой березы—только и всего. Отлично и здѣсь.

... И вдругъ среди темныхъ мыслей, полныхъ отчаянія, появилась какая-то свѣтлая точка, и по мѣрѣ того, какъ я отдыхалъ, она все росла, росла, освѣщала темные углы души, играла веселыми лучами посреди мрачныхъ воспоминаній, проникла въ самое сердце, брызнувъ тамъ внезапною радостью, и, наконецъ, залила яркимъ свѣтомъ всю мою душу... Удивленіе и радость вдругъ съ такою силой овладѣли мною, что я поднялся съ гнилой березы и крикнулъ на весь лѣсъ: „Да кто же заставляетъ меня уѣхать отсюда?!"

Зачѣмъ мнѣ покидать деревню, гдѣ мнѣ такъ покойно? Какія это такія обязанности призываютъ меня? Въ 1,200 р. окладъ? Да наплевать на все! Не поѣду. Хоть разъ въ жизни быть оригинальнымъ и свободнымъ. Ничего не бояться, сбросить съ себя иго привычекъ, не ходить пошлыми путями, пробить собственную дорогу—Боже, какое это счастье!

Не поѣду—только и всего. Здѣсь мнѣ отлично. Физическій трудъ дастъ мнѣ здоровье; простая жизнь деревенскаго обывателя избавитъ отъ милліона презрѣнныхъ мученій, изъ-за мебели, изъ-за фрака, изъ-за всего того, что считается для порядочнаго человѣка обязательнымъ, жизнь посреди

— Да черезъ недѣлю-то, можетъ, дожди пойдутъ... изгадятъ все дѣло!

— Пойдутъ и перестанутъ. Не успѣемъ обмолотить теперь, осенью выберутся красные дни...

— Осенью?!

— А то что же? Не обмолотимъ сейчасъ, осенью кончимъ,—говорилъ я.

Митрофанычъ недоумѣвалъ. Но я замѣтилъ, что туча, обѣщавшая столько грому и отчаянія, на его лицѣ начала мало-по-малу распускаться. Сперва лучъ свѣта появился въ одномъ глазѣ, разгладилъ одну морщину на лбу, приподнялъ шерсть густой брови и затѣмъ спустился внизъ, искрививъ ротъ въ недоумѣвающую улыбку.

— Ты развѣ того... осенью развѣ ты не уѣдешь?

— А куда мнѣ ѣхать-то? Не поѣду—только и всего.

— Не поѣдешь?!

— Деревня ваша мнѣ понравилась,—куда же мнѣ ѣхать? Наплевать!

— То и я воображаю, зачѣмъ уѣзжать-то, коли тутъ ладно?... Да нѣтъ, ты скажи путемъ, сурьезно ты эти самыя слова, напримѣръ, говоришь?—спросилъ Митрофанычъ съ широкою улыбкой, но все еще не вѣря ушамъ.

— На что же серьезнѣе! Вѣдь для меня дѣло идетъ о жизни и смерти. Вотъ и рѣшился остаться. А насчетъ того, какъ лучше все это обдѣлать, надо ужь съ вами посовѣтоваться.

Ужинъ всѣ забыли, а Митрофанычъ вылѣзъ изъ-за стола, гдѣ ему стало тѣсно. Чтобы говорить, ему нужно было встать посрединѣ избы, гдѣ можно свободно размахивать руками и разставлять пятерни въ воздухѣ. Кромѣ того, кричать и хохотать на всю деревню также было неудобно, сидя въ узкомъ пространствѣ между стѣной и столомъ.

— Такъ ты думаешь... того... ладно тутъ у насъ?

— Ничего, понравилось.

— Ловко! Остаешься, напримѣръ, окончательно?

— Навсегда. Только теперь я боюсь, какъ я буду жить-то? Вотъ и надо посовѣтоваться съ вами.

Затѣмъ я въ первый разъ разсказалъ въ этой избѣ свою жизнь. Василиса сидѣла на лавкѣ около зыбки и тихо качала ее; слушая меня, она совершенно некстати заплакала. Даша

сжалась вся возлѣ печки, гдѣ она стояла, и замерла въ этой позѣ. Митрофанычъ стоялъ посрединѣ, разставивъ ноги, и отъ времени до времени выражалъ мнѣ одобренія:

— Такъ, такъ!... Очень просто!

Я, насколько можно было, яснѣе разсказалъ жизнь образованнаго человѣка, который принужденъ дѣлать дѣла, никому ненужныя, находиться тамъ, гдѣ нѣтъ ни свѣта, ни воздуха, и вѣчно мучиться невозможностью жить по душѣ.

— Но все-таки я боюсь остаться и здѣсь... Чѣмъ я буду жить?—спросилъ я Митрофаныча.

— Жить-то чѣмъ?

— Да. Ну-ка, посовѣтуй мнѣ...

Въ избѣ тихо вдругъ стало. За печкой трещалъ сверчокъ; гдѣ-то на улицѣ лаяла собака; передъ нашимъ домомъ проѣхалъ запоздавшій возъ со снопами, скрипя сухими колесами. Темная это была ночь; мы едва различали очертанія фигуръ другъ друга. Но спать никто и не думалъ идти.

— Какъ жить-то?—переспросилъ Митрофанычъ задумчиво.

— Да, какъ получше устроиться...

— Вотъ что я тебѣ скажу, Миколаичъ... Ежели тебѣ сказать по совѣсти, и то-есть умно чтобы, сурьезно вышло, то эту штуку надо обдумать поаккуратнѣе. Стало быть, въ одну минуту эдакую загвоздку нельзя распознать, вотъ что я тебѣ прямо скажу. Но что касаемое насчетъ какъ тебѣ прокормиться, то ты плюнь на это... вотъ ей-Богу!

— Какъ же это плюнуть?—возразилъ я.

— То-есть по совѣсти скажу—плюнь на это, не бойся! Авось прокормимъ. То-есть деревня наша тебя превосходно прокормитъ... не бойся! Ужь ежели мы кормимъ разныхъ иностранныхъ народовъ,—а большія тысячи прохвостовъ околачиваютъ около нашего брата!—то какъ же не прокормить нужнаго-то человѣка? Ты вотъ это разсуди и плюнь! Не бойся, прокормимъ!

— Все-таки я не понимаю... что же, мірскимъ сиротой, что-ли, мнѣ сдѣлаться?

— Эка куда метнулъ! Нѣтъ, не сирота, а нужный человѣкъ! Ты вотъ какъ понимай: идетъ къ тебѣ мужикъ за всякою нуждой и ты удружи—и какъ же онъ забудетъ тебя? Ты только не бойся,—прокормимъ, наплюй на эту думу! А главное—не бойся; это первое дѣло.

— Ловко! То-есть такую штуку я придумалъ, что лучше не надо!—кричалъ онъ, когда мы всѣ собрались.—Вотъ мы и придумали! Ужь это такая штука, лучше и не надо! Стало быть, теперь дѣло наше въ шляпѣ. Прямо сказать—дѣло это окончательно обсужено, прилажено и приходится точка въ точку, какъ разъ для тебя!

— Да въ чемъ дѣло? Что ты придумалъ?—спросилъ я, недоумѣвая.

— Мельницу!

— То-есть какъ это мельницу?

— Да такъ, мельницу—и больше ничего! Ка-акъ разъ къ тебѣ подходитъ. Слушай. Мельница энта наша, напримѣръ, мірская. Сдаемъ мы ее на пять годовъ. Пять годовъ приходится на Покровъ. Стало быть, намъ слѣдуетъ сдавать ее еще на пять годовъ. Понялъ?

И, говоря это, Митрофанычъ разинулъ ротъ въ широкую улыбку.

— Не совсѣмъ,—возразилъ я.

— Слушай дальше. Сдаемъ мы мельницу на пять годовъ и срокъ ей на Покровъ. Стало быть, намъ слѣдуетъ сдать ее опять. Вотъ я и придумалъ, чтобы ты взялъ мельницу. Тому съемщику мы ужь не сдадимъ, потому онъ ее загадилъ, забросилъ и теперь она вотъ-вотъ упадетъ подъ плотину. Тебѣ же міръ сдастъ, — знаетъ онъ тебя довольно! Съ которыми мужиками я ужь и говорилъ; ничего, говорятъ, пущай беретъ! Съ полнымъ удовольствіемъ! А дѣло ка-акъ разъ къ тебѣ! Жирно не будетъ, а хлѣбъ завсегда. И работа легкая... Засыпку будешь держать... Ловко?

— Очень хорошо. Только ты, кажется, упустилъ малость, —сказалъ я, занятый серьезно предложеніемъ Митрофаныча. —Ты забылъ, что у меня нѣтъ ни гроша денегъ для уплаты аренды.

— А развѣ тебѣ господа, которые друзья, не дадутъ?—спросилъ Митрофанычъ растерянно.

— Не дадутъ. Да я и просить не хочу.

— Ахъ, грѣхъ какой! А вѣдь я-то какъ мечталъ!... Ну, такъ!... Все пошло прахомъ, къ чорту лысому!

Лицо его вдругъ сдѣлалось мрачнымъ. Теперь ужь мнѣ его пришлось ободрять. Ради курьеза, я его ободрялъ его же словами:

— Ты, Митрофанычъ, не тужи... не бойся... наплюй!

— А какъ я мечталъ-то!... Все пошло къ чорту лысому!— мрачно проговорилъ онъ. А тутъ еще Василиса подбавила горечи:

— Придумалъ!... Тоже!... Куръ только пугаешь!

Это она ему отомстила за письма и прошенія.

Впрочемъ, она была не права. Предположеніе Митрофаныча мнѣ такъ пришлось по душѣ, что я не могъ его забыть. Нѣсколько дней мнѣ не спалось,—все слышалась мельница, шумъ ея колесъ, рисовались луга, кусты черемухи, лягушки... Я обдумывалъ одинъ планъ—поселиться тамъ и не могъ успокоиться. Когда уже планъ былъ совсѣмъ готовъ, я долго никому не открывалъ его, сомнѣваясь насчетъ его выполнимости. Боялся я, что меня не поймутъ или отнесутся вяло. Новизна дѣла могла испортить все. Но молчать я больше не могъ, счастливый, что нашелъ, наконецъ, то положеніе, которое позволило бы мнѣ остаться въ деревнѣ навсегда.

— А знаешь что, Митрофанычъ?—сказалъ я, наконецъ.— Вѣдь ты эту мельницу больно хорошо придумалъ!

Онъ вскинулъ на меня недоумѣвающій взоръ; самъ ужь онъ это дѣло похоронилъ и ни однимъ словомъ не упоминалъ о немъ.

— Мнѣ такъ понравилась твоя мысль, что я не могу ее забыть,—продолжалъ я.

— А какъ же деньги-то?

— Да вотъ я придумалъ обойти эту статью... Дѣло новое, но ты поймешь, что оно будетъ выгодно и для міра, и для меня.

— Ну-ка, сказывай.

Я принялся объяснять мой планъ и сильно волновался.

— Дѣло вотъ въ чемъ. Пусть мнѣ мужики сдадутъ мельницу, но не въ аренду и не за плату, а какъ человѣку, который у міра на службѣ состоитъ. Пусть отведутъ мнѣ тамъ домъ, а изба тамъ сносная, изъ двухъ половинъ, хлѣба да дровъ и немного жалованья—больше ничего. Вся же мука или деньги, которыя прежде шли въ карманъ арендатора, будутъ принадлежать міру. Я буду сдавать отчетъ...

— Очень просто!... Продолжай дальше,—перебилъ меня одобрительно Митрофанычъ. Онъ слушалъ напряженно.

— Я буду сдавать отчетъ, сколько мельница вымолола

барыша. Хлопотъ міру тутъ никакихъ нѣтъ; всю заботу о мельницѣ я возьму на себя, мужикамъ только придется отъ времени до времени поправлять, что понадобится...

— Очень превосходно!

— Выгодно и для меня, и для міра. У меня будетъ хлѣбъ и домъ, міру же останется весь барышъ.

— То-есть лучше и не надо! Штука дѣльная!

— Какъ ты думаешь, примутъ мужики?

— Я такъ полагаю, примутъ. То-есть такое дѣло, что лучше и не надо!

— Новое дѣло-то; пожалуй, не захотятъ.

— Дѣло, конечно, новое, не было еще у насъ... такъ вѣдь соображеніе-то есть же! Всякому видимо, что дѣло, прямо сказать, отличное! Ну, ладно же ты придумалъ!

— Я боюсь еще, что не повѣрятъ мнѣ,—подумаютъ, что какой-нибудь подвохъ со стороны барина...

— Ежели кто вздумаетъ сказать такую подлость, всю башку тому человѣку расколочу!

— Едва-ли отъ этого польза будетъ!—вскричалъ я, испугавшись, что какимъ-нибудь необузданнымъ поступкомъ Митрофанычъ испортитъ все дѣло.

Но Митрофанычъ сейчасъ же понялъ меня и задумался. Относительно самой сущности дѣла также мнѣ не нужно было больше говорить; большая необузданная голова его сію же минуту оцѣнила мой планъ; еще лучше—онъ провелъ его со всѣми послѣдствіями дальше, отмѣтилъ всѣ мелочи (какъ меня мужики будутъ учитывать, какъ будетъ производиться ремонтъ) и наложилъ, такъ сказать, краски на это пока еще мертвое дѣло.

— Мы сперва кое съ кѣмъ поговоримъ, разскажемъ хорошимъ мужикамъ, какъ и что, и ужь тогда ударимъ прямо въ точку... Это дѣло надо вести умно, съ оглядкой, чтобы на сходѣ горланы наши приперты были въ уголъ,—вотъ это какъ слѣдуетъ вести. Главное, не торопиться, а то все къ чорту лысому провалится!

Такъ мы и сдѣлали.

Но съ перваго же раза намъ предстояло множество разочарованій, и дѣло тянулось долго. Пригласили мы сначала Игната, нашего основательнаго сосѣда. Митрофанычъ во-

одушевленно разсказалъ ему про мельницу. Но дѣйствія никакого.

Игнатъ сталъ только чесаться.

— Само собой... дѣло извѣстное! Ежели приноровить мельницу въ этакую точку, то это будетъ въ самый разъ!

Сказалъ это и ушелъ,—ему недосугъ. Впрочемъ, уходя со двора, онъ продолжалъ чесаться,—задали же мы ему задачу!

Затѣмъ мы призвали другого мужика, также изъ нашихъ друзей. Тотъ только изумился, не совсѣмъ понялъ, но также счелъ нужнымъ наговорить мудреныхъ соображеній.

— Оно бы ничего, да только какъ его вонъ оно... мудрено что-то больно! А оно, конечно, ежели правильно разсуждать, дѣло хорошее, да только, песъ его возьми, больно хитрое! Прямо сказать—хитрое!

— Самъ ты хитрый!—взбѣсился Митрофанычъ, не выдержавъ уговора.

— Ты не кричи зря. Дѣло, извѣстно, хитрое... И надо его, песъ его возьми, обсудить и снизу, и сверху, и съ боковъ,—вотъ какъ я разсуждаю... Больше ничего, какъ хитрое!

Поговорилъ еще Митрофанычъ съ нѣкоторыми и лицо его вытянулось отъ негодованія.

— Вотъ они завсегда такъ, идолы! Каждое дѣло изгадятъ!—сказалъ онъ, ужасно обиженный.

— Да вѣдь, въ правду, новое это дѣло,—возразилъ я въ видѣ оправданія нашихъ друзей.

— Ничего не новое, а завсегда они по-идольски такъ живутъ! Не объ одномъ этомъ я говорю,—завсегда какъ быки!... Нѣтъ, ихъ нужно молоньей ударить, чтобы громъ по ушамъ загремѣлъ,—вотъ они въ понятіе войдутъ... Разжечь ихъ надо!... Ну, да подожди, ужь разожгу я идоловъ, распалю ихъ огнемъ такъ, что въ глазахъ засвиститъ... Вотъ ей-Богу!

Скоро, однако, разговоръ о мельницѣ пошелъ по всей деревнѣ. Нашимъ предложеніемъ заинтересовались всѣ мужики. Это было все, чего я желалъ. Разговоръ тянулся долго, но каждый имѣлъ время обдумать, разсудить и отнестись критически къ дѣлу. Я терпѣливо ждалъ, чѣмъ все это кончится, и на всякій случай продолжалъ искать другихъ средствъ устроиться въ деревнѣ. Я даже иногда вовсе позабывалъ мельницу.

пр. Увлеченіе искренное и неизбѣжное. Еслибы парню попалась книга о другомъ незнакомомъ предметѣ, то онъ и отъ нея неизбѣжно пришелъ бы въ восторгъ. Понявъ его состояніе, я выбралъ ему книжку и далъ съ оговоркой, что если книжка не понравится, пусть онъ скажетъ откровенно. Парень ушелъ.

Но черезъ два дня, смотрю, приходитъ мой парень взволнованный и уже безъ той гусиной гордости, минуя ученые термины, въ простыхъ выраженіяхъ, путаясь на каждомъ шагу, пускается въ объясненіе своихъ чувствъ, загорѣвшихся отъ чтенія книжки. Полководцевъ онъ уже забылъ, а черезъ нѣкоторое время даже избѣгалъ говорить о нихъ, чего-то стыдясь. Всѣ книжки, какія у меня были, онъ перебралъ въ какой-нибудь мѣсяцъ, и когда источникъ мой изсякъ, онъ страшно затосковалъ.

Затосковали и всѣ,—нечего было читать. Вечера наши проходили томительно, и мы всѣ ломали голову, гдѣ бы раздобыть еще книжекъ. Митрофанычъ отъ нечего дѣлать исторію прочиталъ разъ пять и уже зналъ, на какой страницѣ какое убійство, въ какомъ мѣстѣ книги одинъ князь напакостилъ другому, въ какой главѣ появились татары и какимъ сраженіемъ оканчивается вся книжонка.

Мысль о библіотекѣ, такимъ образомъ, возникла сама собой и, притомъ, почти вразъ у всѣхъ, полюбившихъ наши свѣтлые вечера. Я только воспользовался общимъ желаніемъ и усилилъ его. Сперва мы поговорили съ Митрофанычемъ объ этомъ, потомъ и съ другими; всѣ согласны были, что хорошо бы купить книжекъ. Увлеченный согласіемъ всѣхъ слушателей, я предложилъ планъ мірской библіотеки, разсказавъ, какъ это устраивается въ городахъ. Чтобы еще болѣе усилить свои доказательства, я сдѣлалъ подробный разсчетъ, во сколько это обойдется каждому. Выходило для перваго раза по двугривенному съ души. Библіотека, конечно, заводилась микроскопическая, но вѣдь и чтецы наши были подъ стать.

Но это предложеніе встрѣтило неожиданныя мною возраженія. Даже Митрофанычъ воспротивился.

— Больно долго придется лаяться-то!—возразилъ онъ недовѣрчиво.—Тутъ брани и всякой ссоры конца краю не бу-

за міромъ... И будто бы всѣмъ мое предложеніе понравилось. Клянусь Богомъ, ничего этого среди лая я не слыхалъ! Говорили о какомъ-то полушубкѣ, украденномъ изъ амбара одного мужика, о какихъ-то двухъ жеребятахъ, пропавшихъ въ табунѣ, о какомъ-то свиномъ пастухѣ, недополучившемъ двухъ свиней и одного борова, но чтобъ дѣло шло о мельницѣ—честное слово, ничего не слыхалъ! Это какая-то своеобразная езоповщина была для меня.

Но рѣшеніе дѣйствительно состоялось въ мою пользу, и такъ, какъ я мечталъ. На другой день ко мнѣ пришли староста и нѣсколько стариковъ. По совѣту Митрофаныча, я угостилъ ихъ чаемъ и водочкой, и когда они разомлѣли, мы начали условливаться насчетъ мельницы. Все шло хорошо, пока дѣло не дошло до моего жалованья. Тутъ разомлѣвшіе старики оказались кремнями. Я просилъ пять рублей въ мѣсяцъ, а старики давали мнѣ два, притворившись удивленными моими непомѣрными требованіями.

— Куда тебѣ эдакую прорву? Да и мельница-то, чай, того не стоитъ!...

— Какъ же я буду жить-то на два рубля?

— Ну, ладно... Какъ, старики, прибавить ужь, что-ли, рубликъ-то ему? Ну, ладно, бери три и будетъ! Давай, ребята, по рукамъ!

По ладони моей уже разъ десять хлопнули, а все-таки только до трехъ рублей нагнали.

— Три мало мнѣ. Какъ я буду жить?

— Да куда тебѣ дѣвать-то? Хлѣбъ, изба и все прочее наше,—чего же тебѣ еще требуется? Будетъ!... Бей, ребята, по рукамъ!

Опять хлопали меня по ладони. Наконецъ, когда правая рука моя покраснѣла и распухла отъ хлопанья, я согласился на четыре рубля. У меня у самого еще были сомнѣнія относительно этого новаго дѣла и я не настаивалъ. Въ душѣ, впрочемъ, я клялся, что употреблю всю энергію, чтобы сдѣлать изъ мельницы доходную мірскую статью.

Гости мои подъ конецъ сильно разомлѣли, и мы оставили составленіе письменныхъ условій до другого дня,—до Покрова осталось еще много времени.

Между тѣмъ, для меня нашлось дѣло, которое было заняло меня окончательно и которому я отдалъ всю свою душу.

XIII.

Незамѣтно подошла осень и пошли дожди. Дороги, улицы и дворы сдѣлались непроходимыми. Въ трубѣ вылъ скверный, мокрый вѣтеръ. Но у насъ въ домѣ было уютно и тепло. Василиса выходила изъ себя, поддерживая чистоту. Это началось съ того дня, какъ я поселился здѣсь; сперва Василиса мыла и убирала избу ради меня, потомъ постепенно вошла во вкусъ и сдѣлалась маніакомъ чистоты. Пятно на полу мучило ее, какъ мѣсто преступленія; куча сору возбуждала въ ней ненависть, а тараканъ (таракановъ всѣхъ она выморозила), внезапно показавшійся неизвѣстно откуда, сію же минуту предавался казни. Теперь, вопреки всеобщей грязи, расплывшейся по землѣ, когда, казалось, самое небо обращается въ море помоевъ, Василиса упрямо боролась противъ нечистыхъ половъ и комковъ земли, приносимыхъ на сапогахъ; за каждый такой комокъ жутко доставалось тому, кто притащилъ его; всѣхъ больше доставалось Васькѣ и Митрофанычу, которые насчетъ ногъ были не совсѣмъ аккуратны; ихъ Василиса встрѣчала въ сѣняхъ, устланныхъ соломой, и преграждала имъ дальнѣйшій путь, вслѣдствіе чего они принуждены были то и дѣло стаскивать обувь и въ избу появляться уже босикомъ.

Когда наставалъ вечеръ, мы всѣ уже были въ сборѣ. Лампочка ярко горѣла. Занимались кто чѣмъ могъ. Я что-нибудь читалъ вслухъ.

Мое чтеніе сдѣлалось любимымъ занятіемъ всей семьи; днемъ некогда было,—возня по домашности отнимала все время. Вѣтеръ и дождь не останавливали этой возни. Но вечера ждали всѣ съ какимъ-то нетерпѣніемъ, какъ счастливаго отдыха. Мнѣ даже казалось, что холодъ и дождь, вѣтеръ и грязь стали не такъ назойливы; каждый думалъ: „пущай мочитъ, а вечеромъ читать будемъ“... По крайней мѣрѣ, такъ нѣсколько разъ говорилъ Митрофанычъ.

Начавши чтеніе съ сильными сомнѣніями, я мало-по-малу увлекся имъ. Вниманіе аудиторіи наградило меня радостью и вызывало энергію. Къ несчастію, книгъ со мной было не много, притомъ большая часть вовсе не подходящихъ.

Читать въ такой оригинальной обстановкѣ было для меня

истиннымъ наслажденіемъ. Я присутствовалъ при зарожденіи мысли и былъ свидѣтелемъ тайны раскрытія симпатій и антипатій, любви и ненависти. Въ особенности рѣзко врѣзался въ мою память одинъ случай, виновницей котораго была географія.

Днемъ, между прочимъ, я училъ грамотѣ Ваську. Школы въ нашемъ селѣ не было; ребятамъ приходилось или вовсе не учиться, или ходить за три версты въ другое село, гдѣ существовало училище на счетъ нѣсколькихъ смежныхъ деревень. Я предпочелъ самъ заняться Васькой. Но по вечерамъ, раньше чтеній, я занимался съ Дашей, которая знала грамоту. Училъ ее русскому языку и географіи. Она была понятливая и вдумчивая, но вначалѣ мои уроки не задѣвали глубоко,—знанія какъ-то механически наслоялись. Дѣвушка училась хорошо, усвоивала прочитанное, выслушивала разсказанное—и только; бросая урокъ, она забывала о немъ, какъ о выполненной обязанности.

Но однажды случилось что-то необыкновенное. Шелъ урокъ географіи. Мы прошли бѣгло общее очертаніе земного шара; я раскрылъ карту и указалъ границы земли и воды. Даша пытливо осмотрѣла все и вдругъ широко раскрыла глаза; лицо ея, вспыхнувъ румянцемъ, вслѣдъ затѣмъ поблѣднѣло.

— Это все земля?!—воскликнула она.

— Да.

— И это?

Я утвердительно кивнулъ головой.

— Такъ вотъ какая земля-то!

И широко раскрытые глаза ея выражали изумленіе и счастье. Я понималъ ее и съ волненіемъ слѣдилъ за ея лицомъ. Было ясно, что ея умъ вдругъ охватилъ весь образъ земли, и она была поражена раскрывшеюся тайной. Мысль ея въ одинъ моментъ вспыхнула яркимъ пламенемъ и освѣтила ей огромную картину, существованія которой она до сихъ поръ не подозрѣвала.

— Такъ вотъ какая земля-то!—проговорила она шепотомъ, все еще не въ силахъ оправиться отъ впечатлѣнія громаднаго образа; потомъ вдругъ опять вспыхнула и засмѣялась тѣмъ счастливымъ смѣхомъ, который не часто достается на долю людей.

Съ этого дня она торопилась учиться и читать.

Митрофанычъ также изъявилъ желаніе учиться грамотѣ, и до Покрова мы съ нимъ довольно много успѣли.

Но меня больше интересовали чтенія общія. Въ непродолжительномъ времени на наши свѣтлые вечера стали заходить и другіе мужики. Сперва Игнатъ Иванычъ. Игнатъ Иванычъ просиживалъ у насъ до глубокой ночи, внимательно слушая. Выбиралъ онъ уголъ подальше отъ стола, за которымъ я сидѣлъ, гдѣ-нибудь въ тѣни около порога, и тамъ сидѣлъ неподвижный и невидимый. Услышишь только иногда глубокій вздохъ или шепотъ: „о, Господи Боже мой!“— и только. Не знаю, много-ли онъ понималъ, и если понималъ, то какъ. Онъ только вздыхалъ.

Однажды я читалъ разсказъ. Всѣ съ любопытствомъ слѣдили за движеніемъ разсказа, то и дѣло вставляя свои замѣчанія; часто раздавался взрывъ хохота. Но Игнатъ молчалъ, на этотъ разъ даже не вздыхая. Только когда я кончилъ чтеніе при всеобщемъ веселомъ смѣхѣ и оглянулся, то не узналъ его. Лицо его выражало удивленіе и, въ то же время, скорбь, и по немъ текли слезы, пробираясь по щекамъ къ густымъ зарослямъ бороды. Весь комическій элементъ пропалъ для него; онъ видѣлъ только мрачную подкладку этого смѣха и своимъ отзывчивымъ сердцемъ понялъ то, что мы всѣ упустили,—страданіе, вызвавшее этотъ смѣхъ. Вотъ когда я оцѣнилъ эту темную, но глубокую натуру.

Два-три мужика изъ близкихъ намъ людей также стали заглядывать, вначалѣ случайно, наконецъ, каждый вечеръ. Какъ только увидятъ огонекъ у насъ, такъ и идутъ. Я не успѣвалъ подбирать книгъ и съ тревогой видѣлъ, что скоро мой ничтожный запасъ чтенія изсякнетъ.

Между тѣмъ, я убѣдился, что интересъ къ чтенію существовалъ не въ одномъ нашемъ кружкѣ, а чуть-ли не въ каждой избѣ. Достаточно было случайно появиться въ деревнѣ какой-нибудь книгѣ, чтобъ она сію же минуту вошла въ общее употребленіе; обыкновенно такая книга (по большей части дрянная) переходила изъ избы въ избу, отъ одного грамотѣя къ другому и прочитывалась отъ корки до корки; сперва у ней заворачивались углы, потомъ на каждомъ ея листѣ появлялись пятна—слѣды усерднаго чтенія, затѣмъ листы ея становились мягкими, какъ ветошка, и,

наконецъ, книга приходила въ то состояніе, въ которомъ читать ее больше ужъ нельзя,—книга съѣдалась.

Спеціалистовъ-грамотѣевъ въ деревнѣ считалось около десятка; это были большею частью молодые парни, гордившіеся своею ученостью; при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, они давали понять, что съ ними шутить нельзя. Но мнѣ было жаль, что вся ихъ гордость основана была на рескѣ,—читать имъ было нечего.

Однажды приходитъ ко мнѣ такой парень и изъявляетъ желаніе поговорить со мной о разныхъ ученыхъ вещахъ. Лицо его выражало сознаніе своей важности и онъ старался объясняться отборными выраженіями. Натурально: и онъ ученый, и я ученый, а когда одинъ ученый приходитъ къ другому ученому, то и разговоръ промежъ нихъ долженъ быть ученый. Я принялъ также подобающій видъ. Парень попросилъ меня показать ему всѣ мои книги. Я показалъ. Онъ пренебрежительно осмотрѣлъ весь мой узелокъ и покачалъ головой въ знакъ того, что хорошихъ книгъ нѣтъ у меня. А вотъ у него есть хорошая книга.

— Ка-акая книга!—добавилъ онъ съ гордостью.

— Какая?—спросилъ я.

— Страсть занятная! О полководцахъ. Ежели хочешь, я тебѣ разскажу... Ка-акая книга!

— Что же тебѣ тамъ нравится?—спросилъ я съ интересомъ.

— Тамъ-то? Полководцы. Напримѣръ, Кутузовъ. Или тоже Суворовъ... Ка-акіе полководцы!

— Сраженія ты любишь?

— И сраженія, и полководцевъ—все уважаю. Напримѣръ, Суворовъ. Какъ только увидѣлъ непріятелевъ, такъ сейчасъ же пѣтухомъ закричитъ, разбудитъ солдатъ и давай лупить! Или вотъ тоже черезъ гору перешелъ, полки которые были перевелъ и ударилъ... Как-кой ловкачъ!

Этотъ ученый разговоръ продолжался у насъ долго, до тѣхъ поръ, пока я не уяснилъ себѣ состояніе парня. Ученый парень случайно получилъ откуда-то книгу *О полководцахъ*, прочиталъ ее совсѣмъ съ корками, увлекся незнакомою ему жизнью (новизна предмета и не одного парня можетъ увлечь) и сталъ бредить полководцами, сраженіями, какъ кто кого отлупилъ, сколько кому влетѣло зарядовъ и

пр. Увлеченіе искренное и неизбѣжное. Еслибы парню попалась книга о другомъ незнакомомъ предметѣ, то онъ и отъ нея неизбѣжно пришелъ бы въ восторгъ. Понявъ его состояніе, я выбралъ ему книжку и далъ съ оговоркой, что если книжка не понравится, пусть онъ скажетъ откровенно. Парень ушелъ.

Но черезъ два дня, смотрю, приходитъ мой парень взволнованный и уже безъ той гусиной гордости, минуя ученые термины, въ простыхъ выраженіяхъ, путаясь на каждомъ шагу, пускается въ объясненіе своихъ чувствъ, загорѣвшихся отъ чтенія книжки. Полководцевъ онъ уже забылъ, а черезъ нѣкоторое время даже избѣгалъ говорить о нихъ, чего-то стыдясь. Всѣ книжки, какія у меня были, онъ перебралъ въ какой-нибудь мѣсяцъ, и когда источникъ мой изсякъ, онъ страшно затосковалъ.

Затосковали и всѣ,—нечего было читать. Вечера наши проходили томительно, и мы всѣ ломали голову, гдѣ бы раздобыть еще книжекъ. Митрофанычъ отъ нечего дѣлать исторію прочиталъ разъ пять и уже зналъ, на какой страницѣ какое убійство, въ какомъ мѣстѣ книги одинъ князь напакостилъ другому, въ какой главѣ появились татары и какимъ сраженіемъ оканчивается вся книжонка.

Мысль о библіотекѣ, такимъ образомъ, возникла сама собой и, притомъ, почти вразъ у всѣхъ, полюбившихъ наши свѣтлые вечера. Я только воспользовался общимъ желаніемъ и усилилъ его. Сперва мы поговорили съ Митрофанычемъ объ этомъ, потомъ и съ другими; всѣ согласны были, что хорошо бы купить книжекъ. Увлеченный согласіемъ всѣхъ слушателей, я предложилъ планъ мірской библіотеки, разсказавъ, какъ это устраивается въ городахъ. Чтобы еще болѣе усилить свои доказательства, я сдѣлалъ подробный разсчетъ, во сколько это обойдется каждому. Выходило для перваго раза по двугривенному съ души. Библіотека, конечно, заводилась микроскопическая, но вѣдь и чтецы наши были подъ стать.

Но это предложеніе встрѣтило неожиданныя мною возраженія. Даже Митрофанычъ воспротивился.

— Больно долго придется лаяться-то!—возразилъ онъ недовѣрчиво.—Тутъ брани и всякой ссоры конца краю не бу-

детъ черезъ эти самыя книжки... Тутъ съ нашими идолами горло придется драть бѣда сколько мѣсяцевъ.

— Это ужь какъ есть! Чтобы вытянуть двугривенный, эвона сколько лаю-то потребуется!—подтвердилъ другой.

То же сказалъ третій и четвертый изъ нашихъ друзей. Оставался одинъ Игнатъ.

Игнатъ почесался нѣкоторое время, но отвѣтить не затруднился, потому что давно уже и самъ былъ подготовленъ къ этому вопросу. Только, по обыкновенію, онъ заговорилъ съ такой неожиданной стороны, что я долгое время ничего не могъ понять.

— Ну, какъ ты, Игнатъ, полагаешь насчетъ, чтобы міръ?— спросилъ Митрофанычъ.

— Само собой... Ежели бы міромъ, то ужь это на что бы лучше... Вотъ только какъ же овцы-то? Овечій сборъ-то какъ же?... Куда его приспособить-то?—Говоря это, Игнатъ смотрѣлъ то на меня, то на Митрофаныча и, очевидно, самъ недоумѣвалъ. Я ничего буквально не могъ понять.

— Какія овцы? Вѣдь мы про книги говоримъ!

— Ну, бараны, что-ли... Вѣдь ежели со всего міра выбивать на книги,—стало быть, ужь тутъ сборъ будетъ овечій съ бараньей головы!

— Ну?—сказалъ Митрофанычъ, слѣдя за развитіемъ мысли Игната.

— Только и всего. Съ бараньей головы, стало быть, слѣдуетъ книжки-то покупать. Теперича ежели, будемъ такъ говорить, у котораго ни одной овцы нѣтъ, а читать онъ больше всѣхъ охочъ, какъ же міръ-то согласится?

Я хлопалъ глазами, смотря то на того, то на другого мужика. Митрофанычъ, видимо, зналъ, о чемъ идетъ дѣло, только не понималъ, къ чему клонитъ Игнатъ.

— Ну, что же... ну, бараній сборъ... дальше-то чего же?— спросилъ онъ.

— То-то вотъ, неспособно будто... Ежели наложить на барановъ, то вѣдь обидно будетъ, которые овецъ держутъ. Не подобьешь на это дѣло мужиковъ. Лаю много будетъ, ссоры!

— Такъ, такъ. И я про то же... Тутъ лаю страсть сколько будетъ!

— Да скажите мнѣ, про что вы говорите? — вскричалъ

я, наконецъ.—Какое отношеніе имѣютъ бараньи головы къ книгамъ?

— Видишь-ли, какъ у насъ заведено,—объяснилъ Митрофанычъ, обративъ ко мнѣ иронически улыбающееся лицо.— Который сборъ новый, то-есть мужики сами его порѣшили сбирать, и тотъ у насъ накладывается на овецъ. Такъ и зовется онъ, напримѣръ: овечій сборъ, съ бараньей головы. У кого сколько есть бараньихъ головъ, въ той препорціи онъ и сборъ новый вноситъ. Понялъ? Такъ и тутъ. Ужь ежели подбивать всѣхъ мужиковъ насчетъ книгъ, то тутъ безъ бараньихъ головъ не обойдется,—не иначе, какъ на барановъ раскладка выйдетъ... Не на куръ же раскладать! И тутъ, стало быть, лаю конца краю не будетъ. Вотъ про что Игнатъ говоритъ, — вѣрно! Придется искать другихъ способовъ.

Наконецъ, меня убѣдили, что подбивать всѣхъ мужиковъ на заведеніе библіотеки—пустое дѣло будетъ. Прежде чѣмъ на что-нибудь рѣшатся всѣ мужики, они полгода будутъ лаяться, затянутъ дѣло, измучаютъ и себя, и всѣхъ прочихъ... Тогда между нами возникла мысль купить книжекъ по подпискѣ; сложить гроши нѣсколькимъ близкимъ лицамъ и накупить книгъ на это. Что касается постороннихъ чтецовъ, то за чтеніе съ нихъ брать какую-нибудь плату. Тогда къ нашему кружку скорѣе примкнутъ всѣ желающіе

Эта мысль, невзначай кѣмъ-то поданная, воодушевила насъ. Не откладывая дѣла, мы сложились и собрали капиталъ въ шесть рублей. Покупка была поручена мнѣ, причемъ выставлено на видъ, чтобы я постарался накупить какъ можно больше хорошихъ книгъ. Это на шесть-то цѣлковыхъ!

Но я понималъ, что первая библіотека должна быть дѣйствительно хорошая, и въ продолженіе нѣсколькихъ дней ломалъ голову надъ каталогомъ. Требовалось ни болѣе, ни менѣе, какъ завести цѣлую библіотеку на шесть рублей! Тутъ должна быть и религія, и наука, и сельское хозяйство, и ремесла, и беллетристика, и поэзія—и всего на шесть рублей. Задача была мудреная, но послѣ продолжительныхъ мученій я рѣшилъ ее довольно удовлетворительно; даже самъ удивился, какъ много можно накупить хорошихъ книгъ на шесть рублей. Выписалъ я два экземпляра евангелія въ русскомъ

переводѣ, на рубль науки, на рубль слишкомъ сельскаго хозяйства, на рубль также слишкомъ ремеслъ, остальныя деньги на беллетристику, и еще осталось пятнадцать копѣекъ на поэзію. Покупку и высылку я поручилъ одному пріятелю въ столицѣ, прося его поторопиться.

Къ этому времени сладилось дѣло и относительно мельницы. Работы мало-по-малу накопилось у меня много. Я едва успѣвалъ все обдумывать и приводить въ исполненіе. Нерѣдко мнѣ казалось, что я слишкомъ уже много набралъ всякой отвѣтственности, и боялся, что разорвусь на части. Я въ полной мѣрѣ сдѣлался мірскимъ человѣкомъ. Ко мнѣ обращались съ разнообразными дѣлами, изъ которыхъ каждое не имѣло ничего общаго съ другимъ, и будь я энциклопедистомъ, всѣхъ дѣлъ все-таки не могъ бы передѣлать. Окруженный разнообразнѣйшими интересами, чувствами и злобами, я едва успѣвалъ распутываться. Деревенскій міръ съ каждымъ днемъ засасывалъ меня въ свою жизнь. Легко было утонуть въ ней, обезличиться.

Но нѣтъ, нѣтъ! Я поклялся быть вездѣ самимъ собой. У меня есть свой міръ, куда безъ нужды я никого не пущу. Пусть жизнь заковываетъ мои ноги и руки, пусть человѣческая масса волнуется минутными радостями и муками,—я останусь свободнымъ, и никакая сила не посмѣетъ помутить мою жизнь. У меня есть свой міръ тайныхъ пожеланій, таинственнаго трепета надеждъ, радостей и страданій, счастья и скорби; пусть жизнь волнуется вокругъ меня,—этотъ міръ я не брошу подъ ноги толпы...

Всѣ хлопоты по мельницѣ давно уже были окончены, условія написаны, и я сдѣлался на неопредѣленное время распорядителемъ значительной части мірскихъ доходовъ. Василиса вымыла и убрала ту половину мельничной избы, которая назначалась мнѣ, и я, наконецъ, поселился у себя дома. Какое-то необычайное настроеніе овладѣло мной, когда вечеромъ я остался одинъ.

На дворѣ бушевала снѣжная буря. Мокрый снѣгъ билъ въ два мои окошка; вѣтеръ, казалось, пытался разрушить мой домъ, который дрожалъ отъ пола до крыши; въ трубѣ завывало; по комнатѣ переливался холодъ. Но лампочка моя свѣтло горѣла, освѣщая всѣ углы крошечной комнаты, и я смѣялся. Вѣчный скиталецъ, я чувствовалъ себя прочно въ

этой избушкѣ, дрожавшей отъ порывовъ бури, и думалъ, что съ этого дня кончились мои скитанія. Что-то говорило мнѣ внутри: пусть буря кружится вокругъ меня, пусть воетъ злость въ трубѣ, пусть холодъ и бѣдность окружаютъ меня, но лампочка моя не потухнетъ, злость не испугаетъ меня, буря не вызоветъ въ моемъ сердцѣ ужаса. И я смѣялся отъ сознанія своей силы.

XIV.

Я принужденъ былъ уѣхать.

Странно дѣйствуютъ эти неожиданные перевороты! Мысли разбиты въ дребезги, біеніе сердца кажется ненужнымъ, вся жизнь представляется злою нелѣпостью. На себя смотришь, какъ на что-то внѣшнее, постороннее, и съ высоты опустѣвшей души наблюдаешь за каждымъ своимъ шагомъ. Самъ себѣ какъ будто говоришь: „а ну-ка, посмотримъ, что ты еще выкинешь!"

Когда я возвратился домой, то находился именно въ этомъ состояніи.

Шагая по сугробу, я говорилъ себѣ: „а ну, посмотримъ, что дальше будетъ!" Ни злобы, ни ненависти за разбитый планъ у меня не было; я только старался наблюдать, что творится во мнѣ; на себя я смотрѣлъ съ большимъ любопытствомъ.

Но это состояніе, близкое къ столбняку, длилось не долго. Деревня дала мнѣ за полгода много крови и силы, и я сталъ обдумывать, куда и какъ я долженъ ѣхать, что дѣлать и какъ залѣчить эту новую рану. Я смѣялся надъ собой за то, что такъ легко повѣрилъ въ прочность своего положенія, за легкомысліе, за всѣ свои планы, построенные на pескѣ. Обласканный минутнымъ счастіемъ, я уже повѣрилъ, что такъ будетъ всегда. Но вотъ меня выгоняютъ, и я—опять прежній скиталецъ.

Изъ волости я долженъ былъ пройти черезъ деревню, но я миновалъ ее,—хотѣлось остаться одному и пережить все наединѣ съ собою. Это такъ всегда было. Страданія я переносилъ одинъ, ни съ кѣмъ не дѣлясь муками, а людямъ выносилъ только смѣхъ. Поэтому меня всегда считали веселымъ человѣкомъ, хотя иногда страннымъ; теперь въ особенности.

Миновавъ деревню, я перешелъ по льду рѣки и направился къ тому ея изгибу, гдѣ стояла мельница. Но когда я увидѣлъ свою мельницу и вспомнилъ все, то не выдержалъ и застоналъ отъ злобы и боли. Чтобы заглушить эту боль, я, войдя къ себѣ, принялся механически укладывать въ чемоданъ вещи. Правда, мнѣ на сборы дали два дня сроку, въ продолженіе которыхъ я могъ оставаться въ деревнѣ, но безъ ужаса я не могъ себѣ представить, какъ я проведу эти два дня. Поэтому я рѣшился лучше какъ можно скорѣе уѣхать.

Но тутъ страшная жалость охватила меня. Что-то дорогое я собирался бросить здѣсь, какую-то струну оборвать въ сердцѣ и забыть что-то... И это добровольно я долженъ былъ сдѣлать, потому что завтра надо уѣзжать...

Вдругъ дверь отворилась и въ комнату вошла Даша. Она запыхалась отъ скорой ходьбы, и блѣдность покрывала все ея лицо. Такого лица я не видалъ у ней; я зналъ счастливое лицо, а это было жалкое и измученное.

— Ты уѣдешь?—было первое ея слово.

Друзья мои уже узнали, что̀ со мной случилось.

— Да, приходится.

— Когда?

— Завтра.

У дѣвушки подкосились ноги, и она, не раздѣваясь, присѣла къ столу. Мы долго молчали. Потомъ она шепотомъ проговорила:

— Ну, прощай...

Я едва удержался отъ слезъ и ничего не отвѣтилъ.

— Что же ты молчишь? Прощай!—проговорила Даша съ больною улыбкой.

Я все-таки молчалъ, боясь выдать себя. Я спрашивалъ себя: имѣю-ли я какое-нибудь право на это? Но думать было уже поздно.

— Даша, поѣдемъ со мной!—сказалъ я вдругъ.

— Тебѣ жалко развѣ меня бросить?

— Жалко.

Даша заплакала.

Тогда я сдѣлалъ послѣднее усиліе благоразумія надъ собой и въ нѣсколькихъ словахъ объяснилъ, что̀ въ будущемъ ждетъ мою жену: скитальчество, быть можетъ, бѣдность. Затѣмъ я

коротко высказалъ свое сомнѣніе, можетъ-ли она быть счастлива съ такимъ бариномъ.

— Развѣ ты не боишься меня?—спросилъ я.

— Ты добрый...—возразила дѣвушка, глотая слезы и, въ то же время, улыбаясь.

— Такіе браки самые несчастные!

— Ты хорошій...

— Мы—разныхъ сословій люди.

— Ты научи меня всему, и какъ ты будешь думать, такъ и я...

— Я не знаю, гдѣ буду завтра и что со мной случится потомъ.

— Я буду жить тамъ, гдѣ и ты!—сказала Даша, и въ голосѣ ея слышались любовь и рѣшительность.

Запасъ благоразумія изсякъ у меня. Я не могъ больше удержать волненія. Лучи солнца заиграли въ стеклахъ моихъ оконъ, разрисованныхъ морозомъ, стѣны дома запрыгали въ восторгѣ, мельничныя колеса играли маршъ. Я забылъ все, забылъ то, что сейчасъ со мною было, и то, что я ожидалъ.

Черезъ полчаса въ комнату съ шумомъ вбѣжалъ Митрофанычъ, пріѣхавшій на санкахъ, и молча смотрѣлъ на наши веселыя лица. Его-таки я не узналъ. Онъ какъ-то вдругъ опустился и растерялся. Должно быть, удивленіе его было сильнѣе его гнѣва; онъ могъ ударить шапку объ полъ, какъ и слѣдовало ожидать, но, видно, вынужденный отъѣздъ мой былъ выше этого простого способа выраженія чувствъ.

— Вотъ тебѣ и мельница!—сказалъ онъ тихо и напомнилъ всѣмъ обрушившуюся на меня невзгоду.

— Стало быть, ѣдешь?

— Завтра.

— Вотъ тебѣ и книги!—пробормоталъ Митрофанычъ и еще сильнѣе напомнилъ, что я потерялъ.

— Зачѣмъ ты, дядя, бередишь?—возразила съ упрекомъ Даша.—Я также поѣду съ нимъ...

На изумленіе Митрофаныча она отвѣчала маленькимъ объясненіемъ, прервавшимся слезами и смѣхомъ. Я подтвердилъ слова дѣвушки.

— Ну, ничего... поѣзжайте! Дай вамъ Богъ счастья!.. Пущай!—говорилъ онъ, путаясь.

Черезъ полчаса мы покинули мельницу. Но мнѣ тяжело было оставить на произволъ судьбы все, что я успѣлъ завести. Вскорѣ собравшіеся друзья-мужики также думали, что не годится бросать все зря. На скорую руку мы переговорили со всѣми, имѣвшими голосъ въ деревнѣ, уничтожили условія и на живую нитку слѣпили другія. Мельница поручена была надзору Игната; библіотеку взялъ на себя Митрофанычъ. Отвѣчая на просьбы друзей, я давалъ клятвенное обѣщаніе писать имъ, и никогда обѣщанія не были искреннѣе. Я и не подозрѣвалъ, какая сильная привязанность связывала насъ; большинство выражало свое сожалѣніе и сочувствіе мнѣ съ такою наивною простотой, что я едва удерживался отъ слезъ.

У меня не было денегъ на дорогу,—мнѣ сейчасъ же собрали ихъ. Я сдѣлалъ небольшой долгъ въ лавочку,—долгъ приняли на себя. Это и многое другое еще болѣе растравляло меня; еслибы я могъ остаться одинъ, то разрыдался бы. Но меня не оставили одного до самаго отъѣзда; въ избѣ Митрофаныча непрерывно толпился народъ; приходили проститься даже такіе, которыхъ я едва зналъ.

— Въ случаѣ чего, вернись опять къ намъ,—говорили всѣ.

— Я вернусь, если будетъ хоть малѣйшая возможность.

На другой день Митрофанычъ запрягъ свою пару, посадилъ насъ съ Дашей, самъ сѣлъ на облучокъ—и мы поѣхали. Митрофанычъ старался быть веселымъ и избѣгалъ говорить о такихъ предметахъ, которые могли разбередить тоску.

— Чудесная погода!... Ишь снѣга-то нонче какіе глубокіе! Я такъ полагаю, урожай будетъ хорошій,—говорилъ онъ весело, но вспомнилъ, какъ мы жали, и хлестнулъ лошадь.

— Вѣдь вотъ лукавый какой этотъ новый меринишка-то нашъ!—заговорилъ онъ, но мы сейчасъ же вспомнили обо всѣхъ обстоятельствахъ, вызвавшихъ покупку этой лошади, и Митрофанычъ не договорилъ, испуганно отыскивая другой предметъ разговора.

— Скоро, чай, и до станціи доѣдемъ. Вонъ никакъ и ложокъ тотъ, гдѣ ты метнулся изъ саней въ ту пору,—началъ было онъ, но окончательно растерялся. О чемъ бы онъ ни заговорилъ, все оказывалось неподходящимъ, къ чему

смѣялся. И чѣмъ темнѣе становилось около него, тѣмъ веселѣе онъ смѣялся.

Наконецъ, теперь веселье сдѣлалось для него единственною цѣлью, веселье во что бы то ни стало.

Но на прежнемъ мѣстѣ ему сдѣлалось скучно, и онъ перебрался въ этотъ городъ, выбранный на послѣднемъ земскомъ съѣздѣ въ члены одного присутствія.

II.

На другое утро рано Бабочкинъ проснулся съ непріятною мыслью—искать квартиру и дѣлать обязательные визиты. Отъ этой мысли лицо его на минуту приняло сердитое выраженіе („вѣчно какія-нибудь обязанности"), и чтобы хоть на время забыться, онъ старался опять заснуть, для чего плотно закуталъ голову простыней, отбиваясь отъ скверной мысли, какъ отъ надоѣдливой мухи. Но заснуть ему не удалось; утреннее солнышко бросило цѣлый снопъ лучей въ его комнату, проникло во всѣ самые темные углы и заглянуло подъ простыню, гдѣ укрылся Бабочкинъ. Полежавъ неподвижно нѣсколько минутъ, Бабочкинъ живо сбросилъ съ себя одѣяніе и вскочилъ съ постели.

— Да что-жь я задумался? Квартира... визиты... да чортъ съ ними! Все это само собой сдѣлается!—громко проговорилъ онъ и ожилъ.

Потомъ живо одѣлся и велѣлъ подать умыться и чаю, несмотря на ранній часъ утра, а пока занялся свистомъ, пѣніемъ вполголоса и наблюденіемъ за крышами домовъ, для чего растворилъ оба окна. Послѣ умыванья, посвистывая и напѣвая, онъ перевѣсился черезъ окно и смотрѣлъ, какъ по улицамъ шли съ корзинами кухарки и бѣдныя барыни. Одной вертлявой кухаркѣ ему страстно хотѣлось бросить прямо въ носъ скатанною бумагой, а самому спрятаться, какъ дѣлалъ онъ въ дѣтствѣ, но онъ не привелъ въ исполненіе этого намѣренія, несвойственнаго взрослымъ людямъ; вмѣсто того, онъ передразнилъ продавщицу лука, подражая ея голосу. Ему просто хотѣлось дурачиться, чтобы ничего непріятнаго не вспоминать... Лакей подалъ чай, и онъ принялся за него съ такою торопливостью, какъ будто впереди ему предстояло необыкновенно важное дѣло.

Бабочкинъ.

I.

новь пріѣзжій не успѣлъ провести и часа въ гостинницѣ, ь уже собрался уходить, торопливо доканчивая свой туа- ь. На столѣ стоялъ недопитый чай съ кипящимъ само- эмъ; по угламъ на полу безпорядочно были навалены іки, чемоданы, саки, коробки, но ему некогда было бираться съ этимъ хламомъ. Онъ нервно торопился ку- о. Это было замѣтно и по его виду—дѣловому, озабо- зому.

оспѣшно одѣвшись, онъ скорыми шагами вышелъ въ ридоръ, при этомъ задѣлъ стулъ и опрокинулъ коробку габакомъ, но не обернулся, а торопливо заперъ на ключъ эи номера и бросился внизъ, по направленію къ выходу. лѣстницѣ его почтительно остановилъ слуга, спрашивая, ь онъ прикажетъ записать его на доскѣ („нельзя-съ... у ъ строго!“); пріѣзжій досадливымъ жестомъ кивнулъ го- эй, быстро вынулъ изъ боковаго кармана бумагу, бро- ь ее лакею и бѣгомъ ринулся внизъ по лѣстницѣ. По ıу было видно, что онъ спѣшилъ по очень важному дѣлу. ъ тою же торопливостью онъ зашагалъ и по тротуарамъ, чемъ мимоходомъ заглядывалъ въ витрины магазиновъ, фонарные столбы и на заборы, испещренные старыми, праnными афишами; послѣднія онъ на ходу прочитывалъ іелъ дальше, все также озабоченный, безпокойный. Да торопился по крайне важному дѣлу!

— Такъ ты для пропитанія сюда?

— И для пропитанія, и на податишки сколотить малость.

— Чудакъ! Онъ еще о податишкахъ заботится!—перебилъ баринъ.

— Да какъ же не заботиться-то?

— Да чортъ съ ними! Такъ бы и бросилъ—что съ тебя возьмешь?—говорилъ весело Бабочкинъ, перенося свое легкое настроеніе на все окружающе, въ томъ числѣ и на Семена Березина.

— Какъ же это безъ податей? Чай, не дуракъ я, долженъ это понимать. Да нашего брата за эдакое нахальство не очень похваливаютъ,—за эти пакости нашего брата наземь книзу брюхомъ и хворостьемъ внушаютъ, чтобы помнилъ, что человѣкъ обязанъ дѣлать!

Бабочкинъ расхохотался.

— Печенку-то, видно, не на что купить?—спросилъ онъ насмѣшливо.

При упоминаніи о печенкѣ Березинъ почему-то задумался и уже сталъ топтаться на мѣстѣ, съ явнымъ намѣреніемъ попросить три копѣйки. Но въ это мгновеніе Бабочкинъ заставилъ его чуть не подпрыгнуть отъ радости.

— Не хочешь-ли наняться ко мнѣ слугой?—спросилъ Бабочкинъ.

Семенъ несказанно обрадовался этому предложенію; Бабочкина онъ знавалъ, какъ добраго барина, да и работы теперь у него нигдѣ не предвидѣлось. Быстро уговорились объ условіяхъ, причемъ Березинъ соглашался на все, что говорилъ ему баринъ, даже обязался придти сейчасъ же на службу, чтобы немедленно же убирать квартиру. На прощанье Бабочкинъ далъ ему двугривенный на хлѣбъ и на печенку и отправился въ гостинницу завтракать, но, недалеко пройдя, онъ вспомнилъ, что такъ легко нанятый слуга можетъ надуть и не придти въ условленное время. Онъ обернулся.

— Такъ ты смотри, приходи черезъ часъ!—закричалъ онъ издали.

Семенъ стоялъ съ полнымъ ртомъ, торопился прожевать, но не могъ, и только, вмѣсто словъ, которыхъ не пропускала печенка, широко перекрестился, удостовѣряя такимъ жестомъ, что слово его вѣрное.

Не доходя еще до гостинницы, Бабочкинъ вдругъ приду-

нерѣшительно пустилъ лошадь шагомъ. Думая, что ослышался, онъ спросилъ: „Куды-съ?"

— Въ садъ. Вѣдь есть общественный садъ? Забылъ, какъ онъ называется...

— Александровскій есть у насъ садъ, такъ въ него прикажете? — и на утвердительный отвѣтъ барина, извощикъ пустилъ лошадь во всю прыть.

Черезъ нѣсколько минутъ дрожки остановились передъ входомъ въ садъ; баринъ выпрыгнулъ изъ нихъ, но садъ оказался запертымъ. Безполезно потолкавъ дверь, пріѣзжій вопросительно взглянулъ на извозчика.

— Да вы къ кому, то-ись?—спросилъ послѣдній съ величайшимъ недоумѣніемъ.

— Въ садъ мнѣ нужно,—возразилъ баринъ уже сердито.

— Да вѣдь никто еще въ него не ходитъ... мокро еще тамъ, увязнешь,—возразилъ извозчикъ, скрывая улыбку.

Въ самомъ дѣлѣ, была ранняя весна. Снѣгъ всюду сошелъ, улицы высохли и пыль уже столбомъ поднималась отъ вѣтра, но въ саду деревья стояли голыя, съ едва замѣтными почками, на дорожкахъ толстымъ слоемъ лежали прошлогодніе листья, а подъ ними было мокро и грязно. Никому въ голову не могло придти гулять въ саду въ эту пору года. „Экъ его, сердешнаго, приспичило—въ садъ захотѣлъ!"—думалъ извозчикъ.

Пріѣзжій понялъ весь комизмъ своего положенія, поспѣшилъ разсчитаться съ извозчикомъ и пошелъ наугадъ. Въ немъ поднялось глухое раздраженіе. „Неужели сидѣть въ душномъ номерѣ?"—подумалъ онъ и пустился снова на поиски развлеченія, опять заглядывая въ окна магазиновъ, на фонарные столбы и заборы, но ничего подходящаго не нашелъ. День клонился къ вечеру; движеніе по улицамъ стихало; уличные звуки замирали. Кое-гдѣ еще слышались запоздалые разнощики, да гдѣ-то недалеко играла шарманка. Недолго думая, проѣзжій отправился по тому направленію, откуда раздавались жалобные звуки испорченнаго инструмента, и черезъ нѣсколько минутъ отыскалъ человѣка, вертѣвшаго ручку органа. Долго шарманщикъ вертѣлъ ручку, поглядывая наверхъ въ раскрытыя окна, и все это время пріѣзжій терпѣливо слушалъ музыку. Когда, наконецъ, игра

кончилась, онъ бросилъ на мостовую серебряную монету и отправился дальше.

Но больше ему некуда было идти. Это обстоятельство привело его въ негодованіе. Переходя одну улицу за другой, онъ съ озлобленіемъ ругался. „Вотъ паршивый городъ— ничего нѣтъ!“ Въ эту минуту онъ вспомнилъ афишу „знаменитаго Пинетти“ и бросился отыскивать его. Быстро шагая, онъ рѣшился не брать извозчика и по возможности не разспрашивать (гдѣ балаганъ?) прохожихъ. Ему что-то было неловко, но жажда развлеченія въ немъ была сильнѣе неловкости. И онъ пошелъ; попрежнему, дѣловой и озабоченный, онъ пошелъ въ балаганъ. По дорогѣ онъ еще разъ увидалъ афишу и сталъ, презрительно пожимая плечами, читать ее: „деревянный колъ, который превратится въ прекрасную фею“... „Чортъ знаетъ, какая чепуха!—сказалъ онъ, но оправдывался самъ передъ собой.—Дуракъ, конечно, этотъ Пинетти, но неужели сидѣть въ номерѣ? Все же развлеченіе... Пойду. Глупо, конечно, но отчего же не предоставить себѣ такого развлеченія?... Пойду“.

И онъ шелъ, серьезный, дѣловой, озабоченный.

Къ несчастію, Пинетти (въ дѣйствительности мѣщанинъ изъ Луги Михаилъ Егоровъ) не приготовился еще въ этотъ день къ блистательному представленію. Балаганъ его былъ закрытъ. Когда пріѣзжій подошелъ къ дверямъ его, то съ негодованіемъ понялъ, что день для него пропалъ окончательно. Взбѣшенный, онъ сѣлъ на извозчичьи дрожки и поѣхалъ обратно. Тамъ онъ тихо взобрался въ свой номеръ, бросился на диванъ и готовъ былъ закричать отъ досады. Понемногу его успокоила только ночь.

Ночь стояла тихая и теплая. Чувствовалось уже дыханіе весны. Въ окна гостинницы свѣтило фосфорическое небо съ безчисленными звѣздами, закрытыми дымкой отъ испареній, поднявшихся съ возрождающейся земли. Люди привѣтствовали воскресеніе природы. На улицы толпами высыпали жители. Успокоенный пріѣзжій облокотился на окно и съ удовольствіемъ сталъ наблюдать улицу, прислушиваясь къ говору, смѣху и топоту ногъ. По тротуарамъ было много гуляющихъ; одни казались просто веселыми, другіе были подвыпившіе, третьи напѣвали вполголоса. Обитатели подваловъ также кучами вертѣлись около воротъ и громко шу-

мѣли; слышался визгъ дѣвочекъ, крики мальчишекъ, хохотъ взрослыхъ. Дворникъ противоположнаго дома, поймавъ мимо бѣжавшую горничную, влѣпилъ ей такой оглушительный поцѣлуй, что онъ раздался по всей улицѣ, эхомъ отскочилъ отъ высокой стѣны домовъ и попалъ на дремавшую невдалекѣ собаку, которая вдругъ громко залаяла, вообразивъ съ просонья, что въ нее пустилъ камнемъ уличный мальчишка. „Вотъ свинья!"—проговорилъ весело пріѣзжій и совершенно забылъ недавнее огорченіе. Смотря на кипѣвшую возлѣ воротъ толпу, онъ думалъ: „Лучшее средство жизни—забава всѣмъ, что нескучно. Игры—единственная цѣль". И въ заключеніе этихъ веселыхъ мыслей онъ сталъ напѣвать какой-то легкомысленный мотивъ.

Немного спустя, утомленный дорогой и бѣготней по городу, онъ уже спокойно спалъ. А тѣмъ временемъ на доскѣ вновь пріѣзжихъ буфетчикъ вывелъ мѣломъ его полную фамилію: Александръ Ивановичъ Бабочкинъ. Мало того, изъ невѣдомыхъ источниковъ лакеями и другимъ персоналомъ гостинницы было доподлинно узнано, что онъ пріѣхалъ сюда на службу и займетъ хорошее мѣсто, но безъ жены, которая отъ него навсегда удрала, потому ему какъ будто и скучновато.

Вѣрно. Около мѣсяца тому назадъ Бабочкинъ проводилъ жену, канувшую съ той поры какъ въ воду, но это обстоятельство только окончательно обострило въ немъ тотъ процессъ, который уже давно зрѣлъ въ его душѣ. Раньше этого онъ былъ свидѣтелемъ крушенія всей своей семьи. Сначала у него умеръ отецъ, предварительно выпустившій въ трубу имѣніе, благодаря своимъ фантазіямъ; потомъ несчастнымъ образомъ погибла его сестра отъ выстрѣла изъ револьвера; вслѣдъ за ней въ далекомъ краю, подъ темнымъ небомъ, гдѣ вѣчно шумятъ только сосны и кедры, безслѣдно пропалъ его младшій братъ; теперь, наконецъ, по взаимному согласію онъ разъѣхался съ женой, разорвавъ мгновенно десятилѣтній союзъ, послѣ чего одна нырнула въ широкое море русской жизни, другой поплылъ по его поверхности, свободный, беззаботный, казавшійся неистощимо веселымъ. Изъ всей разбитой семьи остался онъ одинъ; казалось, удары судьбы не производили боли въ его душѣ. Онъ

называютъ) не больно зазнавается! Онъ, говорятъ, облупитъ крысу, набьетъ ей брюхо картошкой и ѣстъ. Оттого, что хлѣба у него нѣтъ, и говядины у него нѣтъ, ну, онъ и пробавляется такою глупостью, и живъ — вотъ диковина! Стало быть, человѣкъ все можетъ употреблять, лишь бы жива душа была...

— А что ты думаешь, у насъ нешто не бываетъ?—замѣтилъ дворникъ.

— Какъ не бывать!... Чудеса, братцы это, всего у насъ въ волю, а ѣсть нечего. Пробовалъ я всякую пищу—и отруби, и овесъ, и мельничный бусъ—всего бывало. Разъ четыре дня не ѣлъ, и дай мнѣ въ ту пору хоть лошадь—съѣлъ бы!... Какъ не бывать, всего довольно!...—и, говоря это, Березинъ глубоко вздохнулъ, опечаленный какими-то воспоминаніями.

— Это вѣрно,—согласился дворникъ,—я знавалъ рыбака одного, такъ тотъ червей ѣлъ, подлецъ! Скусно, говоритъ!

На лавочкѣ передъ домомъ начинаются шутки, хохотъ, неожиданные разсказы.

Много поголодавъ на своемъ вѣку, Семенъ Березинъ выработалъ своеобразные взгляды на „кусокъ хлѣба". Для него этотъ вопросъ о кускѣ хлѣба составлялъ вопіющій и глубокій интересъ, никогда не прекращающійся. О пищѣ онъ безконечно размышлялъ: утромъ онъ думалъ о завтракѣ, днемъ — объ обѣдѣ, послѣ обѣда — объ ужинѣ. Во снѣ онъ чаще всего видѣлъ куски мяса, ломти хлѣба при разныхъ фантастическихъ обстоятельствахъ; иногда сны эти у него были пріятные — это когда онъ ѣлъ, но иногда во снѣ у него какой-нибудь негодяй отнимаетъ кусокъ обѣда,—ужасъ тогда сковывалъ всѣ его члены, и онъ не могъ пошевелить ни рукой, ни языкомъ, чтобы отогнать наглаго человѣка.

Молился онъ также больше о пищѣ, импровизируя молитвы сообразно недостаткамъ своимъ; молился о хлѣбѣ, о дровахъ, о шубѣ и проч., а иногда обо всемъ этомъ вмѣстѣ. „Матерь Божія! Святители угодники! Микола милостивый! Хлѣба ни крошки! дровъ ни полѣна! одежды вовсе нѣтъ! Господи Іисусе, помилуй грѣшнаго! Аллилуіа, аллилуіа, аллилуіа!"... Когда однажды въ безсонную ночь Бабочкинъ услыхалъ страстный шепотъ этой молитвы, на него напала такая хандра, что онъ вскочилъ съ постели и долго ходилъ по комнатѣ, не въ состояніи подавить въ себѣ мрачныхъ

Въ дѣйствительности онъ только рѣшилъ сейчасъ же выдти на улицу и бродить по городу, по дорогѣ, кстати, разсматривая квартиры. Обязательные и въ особенности ненавистные ему визиты онъ отложилъ до слѣдующихъ дней.

Утро стояло свѣжее, ласковое, съ небольшимъ холодкомъ, который обдавалъ лицо пріятною свѣжестью. Бабочкинъ оцѣнивалъ всю прелесть такого утра. Напѣвая вполголоса, онъ переходилъ одну улицу за другой и не чувствовалъ ни малѣйшей усталости. А по дорогѣ осматривалъ квартиры,—не искалъ по обязанности, а такъ, мимоходомъ, наблюдалъ архитектуру домовъ. И въ этотъ день ему все удавалось; легко, безъ труда, мимоходомъ онъ нашелъ квартиру, причемъ съ часъ поболталъ съ хозяиномъ дома, вызывая у послѣдняго своими шутками неудержимый хохотъ. Потомъ онъ далъ задатокъ за квартиру и отправился опять бродить по городу. Но мимоходомъ увидалъ мебельный магазинъ, вошелъ въ него и больше часу болталъ съ приказчиками, заставляя ихъ смѣяться вмѣстѣ съ собой; здѣсь онъ выбралъ мебель, заплатилъ за нее и приказалъ отвезти по указанному адресу.

А немного погодя, онъ такъ же легко нанялъ себѣ слугу.

Проходя по торговой площади, онъ обратилъ вниманіе на одного мужика, который толкался среди лотковъ съ съѣстными припасами, быть можетъ, въ надеждѣ купить подешевле что-нибудь вродѣ гусака. Бабочкину онъ показался знакомымъ, а черезъ минуту онъ совсѣмъ узналъ его. Это былъ мѣщанинъ изъ того города, гдѣ часто бывалъ Бабочкинъ. Теперь онъ вспомнилъ даже имя его—Семенъ Березинъ.

— Березинъ! Ты что тутъ дѣлаешь?—окликнулъ Бабочкинъ мужика, который вдругъ встрепенулся, узнавъ барина, снялъ шапку и раскланялся.

— Какъ ты въ этотъ городъ-то попалъ?

— Такъ... работишку ищу, да зря болтаюсь только,—сказалъ нехотя Березинъ.

— Развѣ дома у тебя ничего нѣтъ? Кажется, у тебя жена умерла?—спрашивалъ Бабочкинъ.

— Одно слово, тамъ мнѣ дѣлать нечего: тамъ я безъ рукъ, безъ ногъ, одинъ ротъ остался, та и тотъ пустой...

Бабочкинъ разсмѣялся.

— Такъ ты для пропитанія сюда?

— И для пропитанія, и на податишки сколотить малость.

— Чудакъ! Онъ еще о податишкахъ заботится!—перебилъ баринъ.

— Да какъ же не заботиться-то?

— Да чортъ съ ними! Такъ бы и бросилъ—что съ тебя возьмешь?—говорилъ весело Бабочкинъ, перенося свое легкое настроеніе на все окружающе, въ томъ числѣ и на Семена Березина.

— Какъ же это безъ податей? Чай, не дуракъ я, долженъ это понимать. Да нашего брата за эдакое нахальство не очень похваливаютъ,—за эти пакости нашего брата наземь книзу брюхомъ и хворостьемъ внушаютъ, чтобы помнилъ, что человѣкъ обязанъ дѣлать!

Бабочкинъ расхохотался.

— Печенку-то, видно, не на что купить?—спросилъ онъ насмѣшливо.

При упоминаніи о печенкѣ Березинъ почему-то задумался и уже сталъ топтаться на мѣстѣ, съ явнымъ намѣреніемъ попросить три копѣйки. Но въ это мгновеніе Бабочкинъ заставилъ его чуть не подпрыгнуть отъ радости.

— Не хочешь-ли наняться ко мнѣ слугой?—спросилъ Бабочкинъ.

Семенъ несказанно обрадовался этому предложенію; Бабочкина онъ знавалъ, какъ добраго барина, да и работы теперь у него нигдѣ не предвидѣлось. Быстро уговорились объ условіяхъ, причемъ Березинъ соглашался на все, что говорилъ ему баринъ, даже обязался придти сейчасъ же на службу, чтобы немедленно же убирать квартиру. На прощанье Бабочкинъ далъ ему двугривенный на хлѣбъ и на печенку и отправился въ гостинницу завтракать, но, недалеко пройдя, онъ вспомнилъ, что такъ легко нанятый слуга можетъ надуть и не придти въ условленное время. Онъ обернулся.

— Такъ ты смотри, приходи черезъ часъ!—закричалъ онъ издали.

Семенъ стоялъ съ полнымъ ртомъ, торопился прожевать, но не могъ, и только, вмѣсто словъ, которыхъ не пропускала печенка, широко перекрестился, удостовѣряя такимъ жестомъ, что слово его вѣрное.

Не доходя еще до гостинницы, Бабочкинъ вдругъ приду-

малъ неожиданное развлеченіе: убирать квартиру по своему вкусу. Еще утромъ вопросъ о квартирѣ казался ему въ высшей степени непріятнымъ, но въ эту минуту онъ рѣшилъ немедленно приняться за уборку нанятыхъ комнатъ; ему казалось, что свое помѣщеніе онъ уберетъ изящно и оригинально. Наскоро позавтракавъ, онъ сдѣлалъ въ гостинницѣ необходимыя распоряженія по доставкѣ его вещей на квартиру и отправился туда самъ. Тамъ уже ждалъ его на крыльцѣ Семенъ Березинъ. Не прошло и часу, какъ весь домъ наполнился стукомъ молотковъ, пылью, гамомъ, восклицаніями: это самъ Бабочкинъ и Семенъ убирали помѣщеніе. Хозяинъ распоряжался увлекательно, самъ участвуя во всѣхъ работахъ; слуга ревностно исполнялъ приказанія его, не щадя живота. Въ особенности они оба потрудились надъ кабинетомъ; въ убранствѣ его проявилась вся оригинальность Бабочкина. Стѣны его онъ обтянулъ черною матеріей, а по угламъ убралъ его бѣлыми статуями и бюстами изъ дешеваго матеріала; мебель поставлена была здѣсь также свѣтлая. Идеей кабинета Бабочкинъ такъ увлекся, что почти не обращалъ вниманія на другія комнаты; тамъ больше распоряжался Семенъ.

Семенъ Березинъ былъ совершенно доволенъ своею службой. Бабочкинъ также, въ свою очередь, былъ доволенъ Семеномъ,—совмѣстная уборка комнатъ сблизила ихъ очень тѣсно; разъ они даже обѣдали вмѣстѣ. Впрочемъ, относительно пищи Семенъ былъ человѣкомъ непріятнымъ; отличаясь непомѣрнымъ обжорствомъ, онъ часто изъ-за этой слабости подвергался упрекамъ; въ связи съ этою слабостью была еще его послѣобѣденная сонливость, изъ-за которой онъ въ первое время вызвалъ нѣсколько нареканій. Феноменальная прожорливость его скоро была узнана всѣмъ дворомъ дома; проявилась она въ первый же день поступленія его на службу. Въ этотъ день, улучивъ удобную минуту, онъ собралъ изъ мѣшковъ всѣ съѣстные припасы, накопившіеся за дорогу у Бабочкина, и все съѣлъ въ однѣ сутки; для этого онъ вставалъ два раза ночью и закусывалъ въ просоньи, слабо сознавая это, а на другой день утромъ онъ нисколько не тяготился ѣдой и чаемъ, пока въ сакахъ не осталось ничего подходящаго; и когда въ этотъ день баринъ замѣтилъ, что ихъ уборка плохо подвигается впередъ, то

Семенъ, на его упреки, основательно замѣтилъ, что онъ убиралъ мѣшки. Затѣмъ Семену показалось голодно на тѣхъ обѣдахъ, которые Бабочкинъ бралъ изъ гостиницы; къ обѣдамъ этимъ онъ питалъ величайшее презрѣніе, хотя то и дѣло принужденъ былъ пробовать ихъ. Это послѣднее обстоятельство на третій день вызвало маленькое недоразумѣніе. Пославъ его въ гостинницу за обѣдомъ, Бабочкинъ собственными глазами убѣдился, что Семенъ пробовалъ предварительно самъ всѣ кушанья, хотя надо сознаться, что Семенъ только изъ любопытства засовывалъ палецъ въ каждое блюдо, чтобы попробовать, какія штуки ѣдятъ господа.

— Свинья ты этакая! Зачѣмъ ты макаешь палецъ въ кушанье?—сказалъ недовольнымъ тономъ Бабочкинъ.—Развѣ тебѣ мало своего обѣда?

Извѣстно, мало!—вдругъ возразилъ мрачно Семенъ,—что мнѣ занятнаго ѣсть-то эту штуку?—добавилъ онъ, презрительно ткнувъ пальцемъ въ судки, принесенные имъ изъ гостинницы. Но это недоразумѣніе Бабочкинъ разъяснилъ съ слѣдующаго же дня; онъ условился съ дворникомъ дома, чтобы тотъ кормилъ Семена за своимъ столомъ и, по возможности, въ волю. Съ тѣхъ поръ Семенъ пересталъ марать пальцы о господскія кушанья.

Другая непріятная черта Семена обнаружилась также на второй или на третій день. Торопливо оканчивая декорированіе кабинета, Бабочкинъ вдругъ послѣ обѣда потерялъ Березина; послѣдній совершенно пропалъ изъ дому. Бабочкинъ обыскалъ всѣ углы квартиры, искалъ на дворѣ, но нигдѣ Березина не было; только уже по указанію дворника барину удалось напасть на слѣдъ погибшаго; онъ оказался, къ удивленію барина, подъ крыльцомъ спящимъ мертвецки. Баринъ сначала думалъ, что Березинъ напился, но это оказалось невѣрнымъ,—Семенъ только покушалъ плотно. Послѣ каждаго своего обѣда Семенъ чувствовалъ непреодолимое влеченіе прилечь на часокъ, причемъ довольствовался голымъ поломъ и голою землей. На слѣдующіе дни поиски его регулярно установились; сейчасъ же послѣ обѣда Бабочкинъ шелъ искать его и находилъ спрятавшимся или въ чуланѣ, или подъ крыльцомъ, или за диваномъ, между мебелью. Сначала баринъ пробовалъ насильно будить его, но черезъ нѣкоторое время онъ понялъ, что это безполезно; съ часъ по-

слѣ обѣда Семенъ никуда не годился; въ это время у него было какое-то идольское выраженіе неподвижности, и онъ не слушалъ тогда ни словъ, не брани; только хлопалъ тупо глазами, мрачно вздыхая. Бабочкинъ долженъ былъ помириться съ этимъ, тѣмъ болѣе, что современемъ обѣ слабости Семена значительно уменьшились, что зависѣло отъ сравнительнаго довольства, найденнаго имъ у Бабочкина.

За вычетомъ двухъ слабостей, во всемъ остальномъ барину онъ нравился; это былъ послушный, работящій и неглупый человѣкъ. Кромѣ того, ихъ обоихъ связала нѣкоторая общность положенія. Бабочкинъ пережилъ крушеніе всѣхъ своихъ близкихъ, Семенъ Березинъ также пережилъ гибель всего, что было ему мило. Въ домишкѣ у него все перемерло,—сначала дѣти, потомъ жена, наконецъ, лошадь; вслѣдствіе этого онъ постепенно переходилъ съ одной ступени на другую, низшую; сначала онъ сдѣлался бездѣтнымъ, потомъ холостымъ и, наконецъ, безлошаднымъ, послѣ чего онъ лишился рукъ и ногъ, и обладалъ лишь ртомъ, да и тотъ былъ пустой, какъ онъ самъ выражался. Благодаря такимъ обстоятельствамъ, въ немъ выработались мысли и привычки довольно своеобразнаго характера; многія способности, свойственныя людямъ, въ немъ замерли; тлѣлась только органическая жизнь; поэтому пища для него сдѣлалась главною задачей и содержаніемъ жизни.

Когда у него не было дѣла, онъ выходилъ на крылечко передъ парадною дверью и наблюдалъ за движеніемъ на улицѣ. Иногда онъ мечталъ и философствовалъ, но больше всего насчетъ пищи. Думалъ онъ о томъ, что̀ ѣдятъ разные народы, и самъ удивлялся тѣмъ мыслямъ, которыя приходили ему въ голову. Этими мыслями онъ обмѣнивался съ дворникомъ, съ водовозомъ или съ кѣмъ-нибудь изъ знакомыхъ, выходившихъ также посидѣть на улицѣ; между ними Семенъ скоро заслужилъ репутацію милаго человѣка.

— А говорятъ, что поганые народы ѣдятъ крысъ,—сказалъ онъ однажды на крылечкѣ.

— Ну, ужь это, братъ, ты врешь!—замѣтилъ кто-то недовѣрчиво.

— Зачѣмъ врать? Это, милый, вѣрно. Онъ въ туретчинѣ (у Семена была своя географія, и подъ туретчиной онъ разумѣлъ вообще всѣхъ „поганыхъ народовъ“, какъ ихъ тамъ

купалъ массу романсовъ и оперныхъ отрывковъ, заставляя жену аккомпанировать себѣ. Это увлеченіе, однако, быстро прошло, благодаря тому, что жена своими замѣчаніями лишила его всякой вѣры въ себя, сказавъ однажды ему, что „слѣдовало бы прежде хоть немного познакомиться съ нотами, а то онъ уши деретъ!“ Съ тѣхъ поръ онъ пересталъ пѣть и возобновилъ это удовольствіе только послѣ отъѣзда жены, когда слушателемъ и цѣнителемъ его былъ одинъ Семенъ. Семенъ, впрочемъ, далъ пѣнію барина своеобразное объясненіе. „Должно быть, скучно моему-то,—разсказывалъ онъ своимъ дворовымъ пріятелямъ,—иной разъ молчитъ, да-а какъ зареветъ нехорошимъ голосомъ, даже жалко станетъ сердешнаго“.

А больше никакихъ занятій и развлеченій Бабочкинъ не нашелъ у себя. Холостой безпорядокъ, грязь, пустота необитаемыхъ комнатъ скоро выгнали его изъ дому. Онъ сперва сдѣлалъ необходимые визиты, сейчасъ же отданные ему, потомъ началъ пропадать изъ дому по цѣлымъ днямъ. Что бы только ни случилось новаго въ городѣ, онъ шелъ на эту новинку. Поймали въ рѣкѣ большую бѣлугу въ пятьдесятъ пудовъ—Бабочкинъ порвый пошелъ ее смотрѣть. Правда, дорогой онъ немного раздумывалъ: „чортъ знаетъ... бѣлугу смотрѣть!“—но необходимость найти развлеченіе была сильнѣе разныхъ соображеній.

Онъ настойчиво искалъ развлеченій, готовый взять ихъ вездѣ, гдѣ только они найдутся. Но онъ не зналъ часто, въ какую сторону идти, чтобы отыскать забаву. И все чаще онъ спрашивалъ себя: „Что такое веселье?“

Вопросъ этотъ сдѣлался преобладающимъ въ его головѣ. Жить такъ, чтобы не вспоминать прошлаго и не думать о будущемъ, стало его постояннымъ стремленіемъ. Страсть къ развлеченіямъ съ каждымъ днемъ разросталась. Но онъ все-таки не зналъ, что такое веселье?

III.

Съ начала мая по захолустьямъ начинаютъ разъѣзжать бродячія труппы всѣхъ сортовъ артистовъ: драматическихъ, оперныхъ, опереточныхъ, балаганныхъ. Угнетаемая скукой публика хорошо принимаетъ всѣхъ ихъ безъ различія, оди-

наково хлопая въ одинъ и тотъ же день въ оперѣ и въ балаганѣ и щедро вознаграждая какъ игру, такъ и кривлянье. Въ городѣ, куда попалъ Бабочкинъ, также сразу явилось нѣсколько труппъ, и Бабочкинъ сталъ по порядку обходить ихъ всѣ.

Впрочемъ, онъ выбралъ только легкія зрѣлища. Театръ уже давно надоѣлъ ему,—раньше онъ слишкомъ злоупотреблялъ этимъ удовольствіемъ,—а серьезныхъ представленій онъ избѣгалъ вовсе. Съ нѣкотораго времени страданія, хотя бы только сценическія, сдѣлались для него невыносимы; даже музыка, выражавшая глубокую мысль, была ему не подъ силу, страшно разстраивая нервы. Онъ боялся всего, что напоминало борьбу и страсти. И только легкія оперетки или безобидныя комедіи онъ могъ слушать безъ вреда для своего сердца.

Въ первый день открытія зрѣлищъ Бабочкинъ пошелъ въ оперетку. Въ труппѣ случайно находилась одна опереточная знаменитость, удостоившая согласиться въ этомъ городѣ участвовать только въ одномъ спектаклѣ. Благодаря этому, театръ былъ биткомъ набитъ. Каждому хотѣлось непремѣнно увидать диву, завтра уѣзжавшую. Начало спектакля Бабочкинъ пропустилъ и занялъ свое мѣсто какъ разъ въ ту минуту, когда зала уже гремѣла аплодисментами. Ничего еще не видя, онъ принялся хлопать руками, зараженный всеобщимъ гамомъ. Съ этой минуты онъ продѣлывалъ рѣшительно все, что дѣлала публика: во время пѣнія напряженно слушалъ, какъ и всѣ окружающіе; когда всѣ начинали хлопать, онъ также отбивалъ ладони; сосѣди въ нѣкоторыхъ мѣстахъ неистовствовали, стуча ногами и стульями,—онъ также приходилъ въ неистовство, готовый отъ восторга не только переломить на нѣсколько кусковъ свой стулъ, но и выворотить нѣсколько досокъ изъ рампы; когда публика начинала смѣяться, онъ также хохоталъ. Въ антрактахъ мужчины густою толпой ходили въ буфетъ; Бабочкинъ былъ въ срединѣ этой толпы, пилъ, ѣлъ и знакомился съ разными господами. Здѣсь, между прочимъ, онъ познакомился съ первымъ въ городѣ банковскимъ дѣльцомъ, который былъ внѣ себя отъ восторга при видѣ опереточной дивы.

Бабочкинъ также былъ въ восторгѣ отъ нея, хотя ему, въ сущности, было наплевать на все. Онъ восторгался только

потому, что всѣ окружающіе его восторгались. За это онъ именно любилъ толпу, любилъ толкаться въ ней. Толпа снимаетъ отвѣтственность за поступки единицы и даетъ каждому извѣстную увѣренность и твердость, но, кромѣ этихъ отрицательныхъ удобствъ, она даетъ еще цѣлую массу положительныхъ удовольствій, заставляя каждаго переживать все то, что она сама переживаетъ, а это — рѣшительное счастье для человѣка, у котораго внутри образовалась пустота, на подобіе порожняго дома, гдѣ уже завелись летучія мыши, совы, пауки и мракъ.

Истинные любители театра молчаливо слушаютъ, молча оцѣнивая сцену. Остальные, тѣ самые, которые неистовствуютъ, пришли въ театръ затѣмъ, чтобы потерять сознаніе. Бабочкинъ также пришелъ, чтобы потерять сознаніе. Это скоро ему и пришло въ голову: „вотъ зачѣмъ поютъ!“—подумалъ онъ и вдругъ былъ охваченъ тоской. Послѣдній актъ онъ уже вяло слушалъ; на него вдругъ напало изнеможеніе, голова у него кружилась, въ вискахъ стучало; сцена представлялась ему въ туманѣ. У него вдругъ мрачно стало на душѣ, какъ у человѣка, истощеннаго напряженіемъ. Онъ поблѣднѣлъ. Шумъ уже раздражалъ его; теперь онъ желалъ, чтобы кругомъ стояла невозмутимая тишина.

Толпа, окружающая его со всѣхъ сторонъ, снизу и сверху, спереди и сзади, теперь давила его непомѣрнымъ гнѣвомъ. Лица, которыя за минуту казались ему смѣющимися и пріятными, теперь сдѣлались противными рожами. Его раздражала толстая и красная шея какого-то военнаго, который сидѣлъ впереди его и, какъ ему казалось, все больше раздувался и краснѣлъ; онъ въ душѣ ругалъ господина, сидѣвшаго позади его и скверно сопѣвшаго, какъ лошадь, а лысый, обветшалый старикъ, находившійся по правую его руку, просто выводилъ его изъ терпѣнія однимъ своимъ поношеннымъ видомъ.

Но всѣхъ болѣе бѣсилъ его баринъ, занимавшій стулъ по лѣвую его руку. Это былъ толстякъ съ добродушнымъ видомъ, еще молодой, чисто одѣтый и надушенный. Онъ въ самомъ дѣлѣ никому не давалъ покоя; на своемъ мѣстѣ онъ рѣдко сидѣлъ, то и дѣло вскакивая, причемъ каждый разъ Бабочкинъ долженъ былъ прятать ноги подъ стулъ. Баринъ, между тѣмъ, все больше и больше волновался, выбѣгалъ въ

корридоръ, чуть не со всѣми о чемъ-то шептался и былъ весь въ поту отъ ужасной суеты, которая овладѣла имъ. „Что нужно этому болвану?“—взбѣшенно думалъ Бабочкинъ каждый разъ, когда суетливый баринъ вскакивалъ съ своего мѣста и, вытянувъ шею, тихо, но взволнованно прокрадывался между рядами креселъ.

— Милостивый государь! прошу васъ сидѣть или отыскать себѣ другое мѣсто!—воскликнулъ окончательно выведенный изъ терпѣнія Бабочкинъ, поджимая ноги при проходѣ суетливаго господина.

Послѣдній вдругъ присмирѣлъ, тихо сѣлъ на свое мѣсто и не безъ робости поглядывалъ на своего сердитаго сосѣда. Бабочкинъ заинтересовался имъ и серьезно освѣдомился, не разстроился-ли у него желудокъ? Эту грубую выходку сосѣдъ пропустилъ безъ отвѣта, но разсказалъ причину своего безпокойства... Онъ собиралъ экстренную подписку на подарки заѣзжей артисткѣ, но подписка шла туго, а посланные по магазинамъ за покупками что-то долго не возвращались, и вотъ почему онъ страшно волновался. Спектакль скоро кончится, а подарковъ нѣтъ!... Все это сценическій любитель разсказалъ дрожащимъ шепотомъ и опять заволновался, будучи рѣшительно не въ состояніи усидѣть на мѣстѣ.

Бабочкинъ также всталъ и отправился въ буфетъ вслѣдъ за любителемъ. Послѣдній уже успѣлъ сбѣгать за кулисы, вихремъ пронесся по корридорамъ и прибѣжалъ въ буфетъ разстроеннымъ, убитымъ. Присѣвъ на табуретъ, онъ съ видомъ отчаянія обратился опять къ Бабочкину:

— Позоръ, одинъ срамъ, милостивый государь!

— Что такое, позвольте узнать?—заинтересовался Бабочкинъ.

— Да вѣдь блюда-то нѣтъ!—вскричалъ съ негодованіемъ любитель.

— Какого блюда?

— Да на которомъ подарки-то подносятъ.

— Такъ поднесите безъ блюда.—возразилъ Бабочкинъ, смутно понимая, о чемъ идетъ рѣчь.

Любитель широко раскрылъ глаза, очевидно, удивляясь, какъ порядочный человѣкъ могъ выказать такое невѣжество.

— Безъ блюда? Взять прямо голыми руками и передать?—

воскликнулъ театралъ такъ, что Бабочкинъ даже сконфузился.

— Почему же блюда нѣтъ?

— Потому что собранной мною суммы не хватаетъ... Просто скандалъ, скандалъ!

Бабочкинъ, видя такое отчаяніе, досталъ бумажникъ и предложилъ изъ своихъ средствъ пополнить недостающую сумму. Любитель схватилъ его руку, взволнованно потрясъ ее, выхватилъ предложенную пачку кредитокъ и стремглавъ бросился отдавать приказанія. Бабочкинъ больше не видѣлъ его до окончанія спектакля. Но за то по окончаніи, когда начались безконечные вызовы заѣзжей дивы, Бабочкинъ увидалъ своего неспокойнаго сосѣда уже въ качествѣ героя.

Тотъ совершенно преобразился. Появившись откуда-то внезапно, онъ торжественно выступалъ въ проходѣ между креслами съ большимъ серебрянымъ блюдомъ, на которомъ уложены были подарки, а надъ головой держалъ огромный вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ. Очевидно, онъ былъ на высотѣ своего положенія и изучилъ во всѣхъ деталяхъ свою роль; торжественно подступивъ къ дирижеру оркестра, онъ съ поклономъ передалъ ему подарки и величественнымъ жестомъ пояснилъ, что̀ съ ними дальше дѣлать. Продѣлавъ все это, онъ остановился передъ рампой и улыбался до ушей. Видъ у него былъ блаженный.

Бабочкинъ, и безъ того утомленный, поторопился къ выходу, чтобы выбраться изъ душной залы, гдѣ снова поднялись аплодисменты. Но ему не суждено было такъ скоро разстаться съ театраломъ. Едва онъ успѣлъ надѣть пальто, какъ среди толпы выходящей публики увидалъ знакомую, сіяющую физіономію. Бывшій его сосѣдъ протолкался къ выходу, подбѣжалъ къ нему и снова потрясъ ему обѣ руки.

— Позвольте узнать... Вы спасли меня и честь всего города! Помилуйте, знаменитость—и безъ блюда! Позоръ! Съ кѣмъ имѣю честь?...

Бабочкинъ назвалъ себя.

— Слышалъ, слышалъ! Вы недавно къ намъ... Имѣю честь—Аркадій Андреевичъ Карамельковъ, мировой судья... Помилуйте! Я обязанъ вамъ...

Аркадій Андреевичъ Карамельковъ не зналъ, какъ благодарить своего спасителя; онъ въ десятый разъ потрясалъ

его руку, благодарилъ и смотрѣлъ благодарнымъ взглядомъ. Широкое лицо его сдѣлалось еще шире отъ улыбки.

— А знаете что, для перваго знакомства пойдемте ко мнѣ. Закусимъ, выпьемъ, а?—предложилъ онъ вдругъ.

Была уже глубокая ночь, но, подумавъ съ минуту, Бабочкинъ согласился на предложеніе, лишь бы не быть дома. Карамельковъ опять принялся благодарить и увѣрялъ, что это ничего, если немного поздно,—подкрѣпиться не мѣшаетъ. Супруга его теперь, вѣроятно, уже спитъ... она тоже была на спектаклѣ, но незамѣтно уѣхала.

Бабочкинъ замѣтилъ эту даму,—она противно зѣвала и смотрѣла злыми глазами. Впрочемъ, онъ этого не высказалъ, а неопредѣленно возразилъ, что, кажется, онъ замѣтилъ.

— Это моя жена. Она очень нервная дама, но теперь навѣрно спитъ... и мы отлично закусимъ!

Этотъ разговоръ происходилъ въ театральныхъ сѣняхъ. Потомъ они вышли. Карамельковъ крикнулъ кучера, но его не оказалось у подъѣзда; извозчики всѣ были разобраны. Пришлось идти пѣшкомъ, что, повидимому, было тяжело Карамелькову. У него было короткое туловище и короткія ноги, толстякъ задыхался во время ходьбы, но необходимость заставила идти.

— Какая чудная ночь!—сказалъ онъ.

— Да, ночь ничего, недурна,—возразилъ Бабочкинъ и скучно посмотрѣлъ вокругъ себя.

— И какая луна прекрасная! Хорошо пройтись по такому свѣжему воздуху послѣ театральной духоты!—продолжалъ Карамельковъ занимать своего спутника.

— Воздухъ?... Немного воняетъ, но ничего. Что касается луны... видите, когда я смотрю на прекрасную луну, мнѣ всегда кажется, что это мертвая красавица. Посмотрите, какая смертная синева ея лица. Желто-блѣдная, бездушная, она по ночамъ показывается изъ-за горизонта, какъ призракъ... Она прекрасна, но я боюсь привидѣній, а мертвецы внушаютъ мнѣ отвращеніе.

Карамельковъ сбоку взглянулъ на Бабочкина, подозрѣвая, что тотъ смѣется. Онъ сильно задыхался, безпомощно семеня короткими ногами, но ни минуты не хотѣлъ молчать.

— А какъ вамъ нравится театръ нашъ? Зданіе собственно...

„Какой пошлый разговоръ!"—раздражился про себя Бабочкинъ, но вслухъ похвалилъ театръ.

— Да, театръ у насъ на славу! Скучно было бы безъ него... Знаете, возвышенное развлеченіе!

— Здѣсь постоянная труппа есть?—прервалъ Бабочкинъ.

— Зимой постоянная, а теперь, какъ видите, наѣзжаютъ. Лѣтомъ, конечно, бываетъ и такъ, что цѣлый мѣсяцъ никто изъ артистовъ не заглянетъ. Но въ зимніе и осенніе сезоны у насъ труппа порядочная. Я люблю таетръ... знаете, возвышенное удовольствіе! Оживаю!

- Какія же еще здѣсь развлеченія?—опять прервалъ Бабочкинъ.

— Какъ вамъ сказать? Да все есть, что и въ другихъ городахъ... Извините, забылъ упомянуть, — на оперныхъ спектакляхъ у насъ больше оперетки—мило играютъ. Я очень люблю театръ...

— А клубъ существуетъ?--возразилъ Бабочкинъ, не слушая своего спутника, который непремѣнно хотѣлъ высказаться.

— Клубъ есть, дворянскій, но всѣ бываютъ. Я—членъ, но рѣдко бываю.

— А драки тамъ бываютъ?—спросилъ Бабочкинъ.

— Что?

— Дерутся въ клубѣ бифштексами?—пояснилъ Бабочкинъ, мало-по-малу впадавшій въ обычный свой тонъ — дурачить людей.

Карамельковъ робко взглянулъ въ глаза говорящаго, подозрѣвая, что тотъ смѣется надъ нимъ.

— Помилуйте, какія-же драки?—возразилъ онъ обиженно.

— Обыкновенныя драки, или, если хотите, исторіи! У насъ въ N, видите-ли, подъ веселую руку бифштексами дрались въ клубѣ, а одинъ господинъ пустилъ въ голову старшинѣ десятифунтовымъ ростбифомъ... Вотъ почему я и спросилъ васъ.

— Помилуйте, у насъ этого нѣтъ! Очень порядочно!

— Да что вы хотите? Вѣдь скучно, и надо же какое-нибудь разнообразіе въ развлеченіяхъ. У насъ стали возникать разныя общества... „общество велосипедистовъ", „общество покровительства колотымъ свиньямъ". Но я не люблю эти игрушки... гдѣ же искать развлеченій? Попробуйте пересчи-

тать всѣ роды нашихъ развлеченій и вы увидите, что нѣтъ... Вы назвали театръ?

— Да, театръ... благородное, знаете, развлеченіе... люблю!—подтвердилъ Карамельковъ.

— Ну, а еще что?—спросилъ Бабочкинъ.

Карамельковъ не зналъ, что сказать.

— Я вамъ скажу: „пить, ѣсть, пѣть, любить"—но это старая штука. Я желалъ бы чего-нибудь новаго... Когда я пью, у меня кружится голова; когда я покушаю, меня тошнитъ, а когда я люблю, то дѣлаюсь идіотомъ. Назовите мнѣ еще что-нибудь...

— Вы шутите... Мало-ли еще развлеченій?—недоумѣвая, выговорилъ Карамельковъ.

— Но положимъ, что я говорю серьезно, что мнѣ смертельно скучно,—назовите мнѣ еще какое-нибудь развлеченіе?

— Да вотъ театръ... благородно!

— О театрѣ вы уже сказали, еще что?—приставалъ Бабочкинъ.

Карамельковъ съ недоумѣніемъ развелъ руками и не зналъ, что сказать. Онъ только проговорилъ задумчиво:

— Каждый человѣкъ самъ долженъ придумать для себя развлеченіе...

Карамельковъ, кажется, еще что-то думалъ прибавить, но въ эту минуту оба они стояли передъ дверью квартиры. Карамельковъ вдругъ измѣнился—заговорилъ тихо, сдѣлался сосредоточеннымъ, а взойдя на крыльцо, старался ступать чуть слышно, словно подкрадывался къ непріятельскому стану.

— Знаете, мы никого не будемъ тревожить... Я самъ все сдѣлаю, прислуги не нужно... Мы тихо войдемъ въ кабинетъ, выпьемъ, закусимъ, поболтаемъ... Жена у меня дама очень нервная, но, конечно, спитъ...

Это былъ своего рода планъ военнаго дѣйствія, быстро составленный Карамельковымъ передъ самой опасностью, но, несмотря на строго выработанный планъ, онъ, видимо, чего-то боялся и осторожно сталъ подкрадываться къ двери. Бабочкина начало забавлять все это; онъ оживился, радуясь предстоящей мальчишеской забавѣ, и также сталъ подкрадываться вверхъ по лѣстницѣ. Но Карамельковъ испытывалъ далеко не радостное волненіе; подкравшись къ двери,

онъ тихо потянулъ ее; къ его ужасу, она была заперта, и теоретически составленный планъ оказался непримѣнимымъ. Дрожащимъ шепотомъ онъ высказалъ свой взглядъ на положеніе вещей.

— Знаете, придется звонить!... Жена у меня—дама очень нервная... мнѣ не хотѣлось бы будить ее!—въ волненіи выговорилъ Карамельковъ.

— Давайте влѣземъ въ окно,—мальчишески предложилъ Бабочкинъ.

Но перепуганный Карамельковъ не слыхалъ этого предложенія. Онъ взялъ ручку звонка и тихо дернулъ; колокольчикъ раза два звякнулъ. Водворилась опять тишина. Карамельковъ, казалось, пересталъ дышать. Надежда на то, что двери отворитъ горничная, а не жена, у него была очень слабая. На звонокъ, однако, никто не отвѣтилъ, а во второй разъ Карамельковъ медлилъ позвонить. Тогда Бабочкинъ, забавляясь всѣмъ происходящимъ, схватилъ звонокъ и что есть духу дернулъ; по всему дому раздался звонъ, и трели колокольчика долго переливались по сводамъ. Карамельковъ обомлѣлъ.

Вдругъ дверь отворилась, и онъ лицомъ къ лицу столкнулся съ гнѣвною супругой. Послѣдняя была полураздѣта, въ туфляхъ, со свѣчей въ рукѣ, которая дрожала.

— Благодарю, благодарю! Вы, конечно, нарочно позаботились, чтобы кучеръ былъ пьянъ и чтобы мнѣ пришлось изъ театра трястись на извозчичьей клячѣ, съ рискомъ сломать себѣ шею! Благодарю!—выпалила взбѣшенная супруга, не замѣчая Бабочкина, стоявшаго въ тѣни; на ея красивомъ лицѣ появились пятна, прядь волосъ спустилась на лобъ; глаза зло и презрительно остановились на пораженномъ мужѣ. Если бы послѣдній нарочно придумалъ въ эту минуту рекомендовать Бабочкина, то это былъ бы ловкій стратегическій маневръ, но, къ сожалѣнію, рекомендація имъ была совершена съ отчаянія, потому что онъ растерялся.

— Позволь представить тебѣ, милая, моего новаго друга, Александра Ивановича Бабочкина...

Но не успѣлъ это пролепетать Карамельковъ, какъ положеніе вещей быстро измѣнилось. Свѣча потухла, жена бросилась со всѣхъ ногъ назадъ, куда-то въ комнаты, и

пріятели очутились впотьмахъ, хотя, послѣ отступленія врага, въ полнѣйшей безопасности.

Карамельковъ ощупью прошелъ въ кабинетъ, зажегъ лампу и посвѣтилъ Бабочкину, который былъ совершенно доволенъ этимъ маленькимъ происшествіемъ. Карамельковъ, усадивъ его въ кресло, куда-то отлучился на нѣсколько минутъ, быть можетъ, къ супругѣ, чтобы получить отъ нея новую благодарность за представленіе ей, полураздѣтой, незнакомаго господина, а быть можетъ, за тѣмъ, чтобы приготовить закуску. Скоро въ домѣ воцарилась тишина. Хозяинъ, на цыпочкахъ ступая, черезъ короткое время уже несъ подносъ съ винами и закусками, собранными имъ самимъ, причемъ благодушіе вновь освѣтило его широкое лицо, недавно обезображенное паническимъ ужасомъ.

— Жена моя очень нервная... но теперь, конечно, уснула, и мы на досугѣ поболтаемъ,—говорилъ весело Карамельковъ, чувствуя теперь себя въ безопасности.

Новые друзья плотно закусили и выпили, поговорили о развлеченіяхъ и также стали чувствовать наклонность ко сну. Бабочкинъ собрался домой, но Карамельковъ уговорилъ его ночевать на диванѣ; онъ опять засуетился, самъ накрылъ диванъ простыней, принесъ подушки и одѣяло. Бабочкинъ раздумалъ идти. „Чортъ знаетъ... глупо, кажется!"—думалъ онъ, но остался. Съ нѣкотораго времени онъ все больше и больше терялъ волю надъ собой; его легко можно было уговорить на что угодно, лишь бы не дать ему скучать. Въ данномъ случаѣ, слушая болтовню хозяина о театрѣ, онъ неопредѣленно улыбался, самъ балагурилъ и забывалъ въ словахъ свою мысль о нелѣпости всего совершающагося.

Впрочемъ, черезъ часъ Карамельковъ уже примелькался ему и порядочно надоѣлъ; ему вдругъ показалось нелѣпымъ даже то, что онъ вотъ лежитъ на диванѣ у какого-то Карамелькова и слушаетъ безконечную болтовню о какихъ-то театральныхъ будкахъ. Онъ скоро пересталъ слушать и постарался заснуть. Но хозяинъ долго еще разсказывалъ о своихъ театральныхъ впечатлѣніяхъ, влюбленный, повидимому, даже въ стѣны театра.

Едва-ли, впрочемъ, Карамельковъ любилъ сцену ради сценическаго искусства, потому что этого послѣдняго онъ не понималъ. Любилъ онъ собственно театральную толкотню,

магъ, передъ рѣшеткой толпа голосила во всѣ голоса, а письмоводитель окончательно терялъ голову. Весь измученный, Карамельковъ гналъ, наконецъ, тяжущихся, а въ отвѣтъ на ропотъ послѣднихъ раздражительно ругался. „Хочу отложить дѣло и отложу! Не разорваться же мнѣ изъ-за васъ! Васъ, чертей, тутъ много, а я одинъ! Вѣдь и у меня есть свои дѣла... не издыхать же мнѣ изъ-за васъ!“ Онъ считалъ себя жертвой, а своихъ просителей мучителями, которые не имѣли на него ни малѣйшихъ правъ. Въ глубинѣ души онъ думалъ, что жалованье онъ получалъ за образованіе; каждый образованный человѣкъ долженъ быть обезпеченъ, иначе зачѣмъ же учиться, разбиралъ же онъ гнуснѣйшія дѣла разныхъ чертей просто потому, что нужно же имѣть какое-либо мѣсто среди людей.

На слѣдующій день Бабочкинъ опять позволилъ себя убѣдить, что не зачѣмъ торопиться домой, и онъ долженъ напиться чаю здѣсь. Пожавъ плечами съ видомъ человѣка, которому все равно—пить чай въ незнакомомъ домѣ или идти къ себѣ, онъ безъ возраженія согласился на требованіе хозяина. Отправились въ столовую; тамъ уже за самоваромъ сидѣла г-жа Карамелькова, „нервная дама“. Бабочкинъ съ любопытствомъ принялся наблюдать хозяевъ, дѣлая своеобразныя толкованія.

Картина, въ самомъ дѣлѣ, совершенно измѣнилась.

Г-жа Карамелькова приняла гостя необычайно любезно, улыбаясь, какъ невинное дитя. Вчера она показалась ему пожилою красавицей, теперь она выглядѣла свѣжѣе, майскою розой—перемѣна, которую Бабочкинъ оцѣнилъ самымъ грубымъ образомъ, объяснивъ ее туалетными секретами. Но въ особенности поразительна была перемѣна въ обращеніи; вчера Бабочкинъ почему-то рѣшилъ, что г-жа Карамелькова иногда жестоко бьетъ супруга, теперь же ему дали замѣтить, что она—нѣжно любящая жена. Злое выраженіе лица, обнаруженное вчера, теперь превратилось въ игривое. Г-жа Карамелькова поминутно обращалась къ мужу съ нѣжнымъ „Аркаша“; она справлялась, не слишкомъ-ли крѣпокъ чай, не хочетъ-ли онъ булки... Казалось, жена боялась, что Аркаша захлебнется чаемъ или подавится булкой, или другой какой вредъ нанесетъ себѣ,—это казалось потому, что г-жа Карамелькова тревожно заглядывала въ ротъ мужу. Кромѣ

того, продолжая весело болтать съ гостемъ, она поднялась съ мѣста, стала позади стула любимаго человѣка и гладила его по головѣ, играя его рѣдкими волосами. Къ сожалѣнію, Бабочкинъ и на этотъ разъ грубо объяснилъ такое любовное обращеніе желаніемъ загладить вчерашнее впечатлѣніе, которое могло бы дать невыгодное понятіе о характерѣ взбалмошной дамы. Про себя Бабочкинъ заключилъ обо всемъ этомъ крайне дерзко: „Какая, однако, черная кошка!“

Если Карамельковъ любилъ театральную жизнь, а общественныя обязанности ненавидѣлъ, то въ семьѣ онъ все дѣлалъ только на-показъ. Такимъ образомъ, въ театрѣ онъ былъ одинъ человѣкъ, въ камерѣ былъ другой человѣкъ, а у себя дома третій, и всѣ эти три человѣка нисколько не походили другъ на друга. Въ театрѣ онъ жилъ, въ камерѣ судьи мучился, въ семьѣ показывалъ видъ, что онъ доволенъ всѣмъ, хотя на самомъ дѣлѣ былъ совершенно равнодушенъ къ супругѣ.

Анна Петровна Карамелькова считала себя очень нервною дамой. Она была подозрительна, зла и вѣроломна, какъ вельзевулъ, и все это объясняла нервами. Лицо ея часто искажалось, глаза мучительно горѣли, и вызывалось это ничтожными пустяками, но нервной все-таки нельзя было ее назвать. Правда, жизнь не улыбнулась ей свѣтлою улыбкой. Желая быть богатой, она должна была жить скромно; ей нужно было страстно любить, но она только жила съ мужемъ, который былъ безразличенъ для нея; умная отъ природы, она могла бы что-нибудь дѣлать, но въ дѣйствительности не имѣла въ жизни никакого дѣла. Благодаря этому, она сдѣлалась въ высшей степени раздражительной, по всякому поводу поднимая въ домѣ суматоху, скандалъ. Достаточно было мужу возразить ей въ какой-нибудь мелочи, какъ она выходила изъ себя, металась по комнатѣ, топала ногами. Тогда по всему дому раздавались ея нѣжныя слова въ сторону мужа: „негодяй!... дуракъ!... прочь!“... Вслѣдъ затѣмъ она дѣлалась больна. Моментально призывался докторъ, прислуга бѣжала въ аптеку, спальня оглашалась стонами. Всѣ ходили на цыпочкахъ.

И тогда, при началѣ сцены, Анна Петровна, вмѣсто брани, пускала въ мужа все, что попадалось въ ея дрожащія руки: въ сторону мужа дождемъ летѣли туалетныя стклянки, зуб-

ныя щетки, бронзовые подсвѣчники, альбомъ, книжка журнала, коробка конфектъ...

Во время этихъ домашнихъ происшествій Карамельковъ велъ себя превосходно: онъ не возмущался. Напротивъ, онъ просилъ прощенія у жены, не сознавая за собой никакой вины. А когда жена ложилась въ постель, онъ самъ иногда скакалъ за докторомъ и въ аптеку, а по возвращеніи домой становился у изголовья больной и просиживалъ цѣлыя ночи у постели, въ то же время рѣшительно не вѣря въ болѣзнь. Онъ не вѣрилъ въ болѣзнь, но показывалъ видъ, что вѣритъ, мучился за исходъ и готовъ былъ отдать жизнь за выздоровленіе мнимоумирающей. Онъ тревожно выслушивалъ доктора, отводилъ послѣдняго въ смежную комнату и дрожащимъ шепотомъ спрашивалъ его: „Ну, какъ? не опасно?"... Тщательно слѣдилъ за правильностью пріема лѣкарства и сердился, когда жена не хотѣла выпить какой-нибудь аптечной мерзости. Все это онъ продѣлывалъ искренно, для умилостивленія жены; онъ даже ради этой цѣли и толстоватое лицо свое дѣлалъ сострадательнымъ.

Еслибы онъ не былъ ко всему равнодушенъ на свѣтѣ, то постарался бы занять жену какимъ-нибудь дѣломъ. „Запрягите ее въ бочку съ водой!"—сказалъ однажды злобно докторъ на вопросъ Карамелькова, какое лѣкарство поможетъ ей?

Это были какіе-то картонные люди; жизнь ихъ стала такою лживою, что они даже не питали ненависти другъ къ другу,—точно они показывались на сценѣ. Жена устраивала искусственныя бури, а мужъ притворялся сострадательнымъ; жена любила бушевать на домашней сценѣ, а мужъ любилъ притворяться страшно испуганнымъ, и въ то время, какъ жена, сидя передъ зеркаломъ, подкрашивала увядающее лицо, мужъ, сидя за кулисами, помогалъ дѣлать луну изъ бумаги.

Бабочкинъ часа два просидѣлъ въ ихъ столовой, насмѣшливо наблюдая за всѣмъ происходящимъ, и странныя желанія явились въ немъ. Въ послѣднее время онъ вообще всюду дурачился, но здѣсь ему захотѣлось просто издѣваться. Карамельковъ все время молчалъ, и Бабочкинъ рѣшился при первомъ случаѣ дать ему щелчокъ по носу, но теперь его заинтересовала одна Карамелькова. Сначала онъ весело смѣялся въ отвѣтахъ, но малу-по-малу имъ овладѣло непреодолимое желаніе взбѣсить ее.

— Васъ единогласно здѣсь выбрали. Всѣ знаютъ вашу энергію, какъ общественнаго дѣятеля,—съ очаровательною улыбкой сказала, между прочимъ, хозяйка.

— Странное мнѣніе обо мнѣ!—возразилъ Бабочкинъ.

— Ну, что вы притворяетесь скромнымъ?

— Серьезно, повторяю — странное мнѣніе обо мнѣ!... Я, напротивъ, пріѣхалъ, чтобы ничего не дѣлать.

— Какъ! А общественная дѣятельность?

— А наплевать мнѣ на общественную дѣятельность!—возразилъ Бабочкинъ, открыто смотря на Карамелькову.

Послѣдняя также смотрѣла на него пристально, подозрѣвая какую-то заднюю мысль. Они съ минуту наблюдали другъ за другомъ.

— Вы, однако, оригинальны, — замѣтила неопредѣленно Карамелькова.

— Нѣтъ, я только не хочу быть фальшивымъ. Я просто говорю—наплевать! Зачѣмъ я буду притворяться? Зачѣмъ мнѣ притворяться добрымъ, когда я на самомъ дѣлѣ золъ? Зачѣмъ показывать видъ, что я люблю, когда на самомъ дѣлѣ я терпѣть не могу общественныхъ дѣлъ? Съ какой стати я, положимъ, буду раскрашивать лицо, когда на самомъ дѣлѣ оно сморщилось и пожелтѣло? Я положительно не вижу въ этомъ надобности.

Говоря это, Бабочкинъ продолжалъ смотрѣть въ упоръ. Пятна появились на лицѣ Карамельковой, но она сдержалась, бросивъ только знаменательный взглядъ въ сторону гостя, и вышла изъ комнаты подъ предлогомъ отдать какое-то приказаніе прислугѣ.

Бабочкинъ простился съ Карамельковымъ и пошелъ домой, въ полной увѣренности, что г-жа Карамелькова больше не захочетъ заигрывать съ нимъ. Но онъ все-таки былъ недоволенъ собой. Припоминая эти сутки, проведенныя у Карамельковыхъ, онъ чувствовалъ, какъ что-то темное овладѣваетъ имъ. Такіе люди, какъ Карамельковы, вызывали у него презрѣніе вообще къ людямъ; они нагоняли на него хандру, отвращеніе къ жизни и сгоняли улыбку съ его лица.

„Какая чертовка!"—со злостью думалъ онъ дорогой о Карамельковой и рѣшился больше не встрѣчаться съ ней.

Больше онъ дѣйствительно ни разу не заглядывалъ въ квартиру къ Карамелькову, но за то съ нимъ въ первое

время недѣли шлялся по театральнымъ захолустьямъ. Онъ познакомился съ оставшимися на лѣто актерами, забавлялся ихъ разсказами о театральныхъ передрягахъ и самъ забавлялъ ихъ своими неожиданными выходками. Въ ночныхъ кутежахъ, устраиваемыхъ имъ на свой счетъ, онъ давалъ волю своему языку и приводилъ въ восторгъ свою компанію неудержимою веселостью, которая, казалось, лилась черезъ край. Относительно Карамелькова онъ сдержалъ свое слово: при первомъ случаѣ, когда всѣ были подвыпивши, онъ далъ ему щелчокъ въ носъ. Карамельковъ долго дулся на него за эту грубую выходку.

Недѣли черезъ двѣ общество актеровъ надоѣло Бабочкину; къ его удивленію, артистическое общество оказалось самымъ скучнымъ, какое можно только вообразить. Люди здѣсь вели невеселую жизнь; мысли ихъ были мрачныя, жалобы надоѣдливыя, интриги безобразныя. Къ его величайшему удивленію, люди эти, по наружности беззаботные и легкомысленные, на самомъ дѣлѣ съ головой были погружены въ мелкія дѣлишки, вѣчно озабоченные гонораромъ, бенефисами, манерами, своею наружностью, своими голосами. Бабочкинъ долженъ былъ выслушивать безконечныя жалобы и опасенія; въ особенности тяжелы были въ этомъ отношеніи комики, всегда мрачные, тупые и мелочные. Бабочкинъ сталъ избѣгать ихъ, а Семену приказалъ всегда говорить, что его нѣтъ дома.

IV.

На пустынной улицѣ этого города стоитъ одно пустынное казенное зданіе, гдѣ царитъ всегда мертвая тишина. Туда приходятъ иногда просители, но робко и съ соблюденіемъ всевозможныхъ предосторожностей. Порядокъ былъ извѣстный: пускали въ самое присутствіе только одного человѣка; остальные просители должны были ждать въ сѣняхъ своей очереди. Отъ времени до времени раздавался визгъ ржавыхъ петель, дверь отворялась и поглощала новаго очереднаго просителя, а остальные опять ждали съ замираніемъ сердца.

Въ самомъ присутствіи царила еще бо́льшая тишина. Служащіе не вели между собой разговоровъ, не гуляли съ мѣста на мѣсто, не смѣли громко кашлять. Въ кабинетъ же начальника никто безъ доклада не смѣлъ входить; только одинъ

Бабочкину отперла въ попыхахъ какая-то замазанная женщина и сейчасъ куда-то скрылась, предоставивъ его самому себѣ. Впрочемъ, раздѣваясь, Бабочкинъ видѣлъ, какъ изъ двери, выходящей въ переднюю, выглянуло чье-то лицо и скрылось, но немного спустя, изъ другой двери выглянуло другое лицо и также скрылось. Бабочкинъ повеселѣлъ, какъ школьникъ, попавшій въ среду товарищей. Онъ прошелъ дальше, въ пріемную или то, что счелъ за пріемную. Его непріятно поразилъ какой-то запахъ, которымъ, казалось, пропитаны были всѣ предметы въ домѣ; это бываетъ: есть такія семейства, которыя носятъ въ себѣ свой собственный, характерный, хотя неопредѣлимый словами духъ, пропитывающій всѣ вещи.

Въ пріемной также не было никого, но вдругъ изъ двухъ противоположныхъ дверей вышли два молодыхъ человѣка и почти въ одинъ голосъ спросили: „Вы къ папашѣ?“ Бабочкинъ отрекомендовался, а молодые люди пригласили его сѣсть и въ одинъ голосъ сказали, что папаши нѣтъ, но онъ скоро будетъ.

— Черезъ полчаса,—отвѣтилъ одинъ.

— Нѣтъ, черезъ три четверти часа, — возразилъ презрительно другой.

И оба заспорили по этому поводу. Одинъ увѣрялъ Бабочкина, что у брата всегда часы идутъ впередъ, а другой доказывалъ, что у перваго отстаютъ. Они оба вынули часы и, смотря на нихъ, спорили, все болѣе и болѣе раздражаясь. Въ спорѣ Бабочкинъ, самъ не желая этого, узналъ, что оба брата жили у отца безъ дѣла, потому что нигдѣ не учились и нигдѣ не служили. Оба были сначала въ классической гимназіи, гдѣ старшему отецъ подарилъ часы, оказавшіеся фальшивыми, идущими вѣчно впередъ, но оба съ третьяго класса вышли, поступивъ въ реальное училище, гдѣ отецъ подарилъ младшему также часы, которые съ перваго же дня шли назадъ, но потомъ съ четвертаго класса оба вышли и теперь живутъ дома, причемъ часы остались фальшивыми у обоихъ.

Бабочкинъ смѣялся, не вмѣшиваясь въ распрю двухъ балбесовъ, и живо оцѣнилъ ихъ. Старшій братъ, Иванъ Дмитричъ, былъ худой, рябой юноша; младшій, Петръ Дмитричъ, былъ краснощекій и толстолобый. Споръ, впрочемъ, скоро окончился и оба брата стали занимать гостя. Но разгова-

полнѣйшаго отрицанія „службы“, „дѣлъ“, „дѣятельности“ и пр. Въ наболѣвшей душѣ его всѣ предметы показались въ обратномъ видѣ, жизнь перевернулась вверхъ дномъ, а люди обнаружили ему свою изнанку. Сообразно съ этимъ онъ и порядки у себя завелъ; требуя отъ своихъ служащихъ только поддержанія внѣшняго благообразія въ дѣлахъ, онъ приказалъ по возможности меньше дѣлать. Сначала этотъ курьезъ произвелъ недоумѣніе,—служащіе только пожимали плечами. Разбирая какія-нибудь бумаги, Бабочкинъ то и дѣло говорилъ: „Да бросьте вы ихъ къ чорту!“ Нѣсколько старыхъ дѣлъ онъ просто велѣлъ сжечь. „Вы сдѣлаете меньше вреда, если поменьше будете производить бумажнаго хлама!..“ Секретарь привыкъ, наконецъ, выслушивать отъ него обычную резолюцію: „Наплевать!“

Со дня его поступленія сюда въ качествѣ главнаго отвѣтственнаго лица, дѣла почти прекратились; только самыя неизбѣжныя отправленія присутствія еще поддерживались.

Во всякомъ случаѣ, самъ Бабочкинъ на службѣ ничего не дѣлалъ; вся его обязанность состояла только въ томъ, что онъ просиживалъ положенное время, убивая его разными невинными занятіями: рисовалъ на бланкахъ каррикатуры, свистѣлъ или барабанилъ пальцами по крышкамъ „дѣлъ“, часто также читалъ газеты, въ особенности отдѣлъ диффамацій, а иногда сочинялъ замысловатыя пререканія съ другими „присутствіями“. Въ особенности дерзкими бумагами онъ донялъ одного господина, служившаго въ другомъ казенномъ домѣ и вздумавшаго придраться къ какой-то мелочи,—донялъ такъ сильно, что тотъ прислалъ просительное посланіе.

Бабочкинъ вдругъ этимъ заинтересовался. Онъ разспросилъ, кто такой этотъ господинъ. Секретарь далъ довольно оригинальныя свѣдѣнія о баринѣ. Фамилія его Шершневъ, въ городѣ его никто не любитъ—человѣкъ надоѣдливый, безпокойный, подкапывается подъ всѣхъ служащихъ, желаетъ выставить себя передъ начальствомъ исключительною ревностью. Пишетъ много доносовъ, но ведетъ такую таинственную жизнь, что его считаютъ заговорщикомъ... многіе его боятся.

Когда секретарь ушелъ, Бабочкинъ собрался, живо окончилъ всѣ дѣла и черезъ четверть часа стоялъ уже передъ крыльцомъ, на двери котораго прибита была дощечка съ надписью: «Дмитрій Дмитріевичъ Шершневъ“.

Бабочкину отперла въ попыхахъ какая-то замазанная женщина и сейчасъ куда-то скрылась, предоставивъ его самому себѣ. Впрочемъ, раздѣваясь, Бабочкинъ видѣлъ, какъ изъ двери, выходящей въ переднюю, выглянуло чье-то лицо и скрылось, но немного спустя, изъ другой двери выглянуло другое лицо и также скрылось. Бабочкинъ повеселѣлъ, какъ школьникъ, попавшій въ среду товарищей. Онъ прошелъ дальше, въ пріемную или то, что счелъ за пріемную. Его непріятно поразилъ какой-то запахъ, которымъ, казалось, пропитаны были всѣ предметы въ домѣ; это бываетъ: есть такія семейства, которыя носятъ въ себѣ свой собственный, характерный, хотя неопредѣлимый словами духъ, пропитывающій всѣ вещи.

Въ пріемной также не было никого, но вдругъ изъ двухъ противоположныхъ дверей вышли два молодыхъ человѣка и почти въ одинъ голосъ спросили: „Вы къ папашѣ?" Бабочкинъ отрекомендовался, а молодые люди пригласили его сѣсть и въ одинъ голосъ сказали, что папаши нѣтъ, но онъ скоро будетъ.

— Черезъ полчаса,—отвѣтилъ одинъ.

— Нѣтъ, черезъ три четверти часа, — возразилъ презрительно другой.

И оба заспорили по этому поводу. Одинъ увѣрялъ Бабочкина, что у брата всегда часы идутъ впередъ, а другой доказывалъ, что у перваго отстаютъ. Они оба вынули часы и, смотря на нихъ, спорили, все болѣе и болѣе раздражаясь. Въ спорѣ Бабочкинъ, самъ не желая этого, узналъ, что оба брата жили у отца безъ дѣла, потому что нигдѣ не учились и нигдѣ не служили. Оба были сначала въ классической гимназіи, гдѣ старшему отецъ подарилъ часы, оказавшіеся фальшивыми, идущими вѣчно впередъ, но оба съ третьяго класса вышли, поступивъ въ реальное училище, гдѣ отецъ подарилъ младшему также часы, которые съ перваго же дня шли назадъ, но потомъ съ четвертаго класса оба вышли и теперь живутъ дома, причемъ часы остались фальшивыми у обоихъ.

Бабочкинъ смѣялся, не вмѣшиваясь въ распрю двухъ балбесовъ, и живо оцѣнилъ ихъ. Старшій братъ, Иванъ Дмитричъ, былъ худой, рябой юноша; младшій, Петръ Дмитричъ, былъ краснощекій и толстолобый. Споръ, впрочемъ, скоро окончился и оба брата стали занимать гостя. Но разгова-

Шершневъ все это мучительно продѣлалъ, прежде чѣмъ заговорить: ноги убралъ подъ диванъ, руки сначала спряталъ въ панталоны, но торопливо вынулъ ихъ оттуда, понявъ всю несообразность такой залихватской позы, и скрестилъ пальцы, которыми имѣлъ обыкновеніе хрустѣть.

— Давно изволили прибыть въ нашъ городъ?—спросилъ онъ, наконецъ, деревяннымъ тономъ.

— Нѣтъ, недавно,—возразилъ съ улыбкой Бабочкинъ.

— А прежде, позвольте спросить, гдѣ служили?

— Да я больше по выборамъ.

— И что же, по своему желанію удалились?—продолжалъ допрашивать Шершневъ деревяннымъ голосомъ.

— Да, надоѣло, захотѣлось перемѣны.

Помолчали. Шершневъ мучительно хрустѣлъ пальцами, а Бабочкинъ злонамѣренно не желалъ помогать хозяину.

— А какъ вы... по вашему мнѣнію, смотрите на эти присутствія?—вдругъ спросилъ Шершневъ.

— Да что-жь... учрежденія не вредныя,—возразилъ Бабочкинъ и засмѣялся. Онъ живо сообразилъ, что имѣетъ дѣло съ субъектомъ, который думаетъ только рубриками.

— А по-моему давно бы ужь пора уничтожить ихъ,—возразилъ Шершневъ глухо.

— Уничтожить? Пожалуй. Я совершенно съ вами согласенъ!

Шершневъ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на гостя.

— Да, давно бы пора ужь, только мѣшаютъ,—прибавилъ Шершневъ.

— Отлично!—подтвердилъ Бабочкинъ и привелъ этимъ въ полное замѣшательство деревяннаго человѣка.

Шершневъ какъ-то нелѣпо уставился на своего гостя и не зналъ, что это такое? Хрустя пальцами, онъ потерялъ нить своей мысли и долго не въ состояніи былъ придти въ себя отъ замѣшательства, а Бабочкинъ открыто смотрѣлъ на него и смѣялся.

— А я знаю, о чемъ вы хотите еще спросить меня,—вдругъ обратился онъ къ Шершневу.

— О чемъ-съ?

— Вы хотѣли спросить меня, какъ я думаю вообще о земствѣ?

Шершневъ дѣйствительно это хотѣлъ спросить. Поражен-

ный, онъ вперилъ въ Бабочкина неподвижный взглядъ и потеръ себѣ лобъ, какъ бы желая узнать, не во снѣ-ли все это.

— Дѣйствительно, я намѣренъ былъ объ этомъ...

— Да, я знаю. Мое мнѣніе о земствѣ? — продолжалъ дурачиться Бабочкинъ,—извольте. По-моему, прекрасная вещь. Главное, вся черная работа на немъ... Вѣдь не станемъ же мы, положимъ, съ вами мыть грязныя тарелки? Земство—это какъ бы прислуга въ господскомъ домѣ. Убирать соръ, выгребать помойныя ямы, чистить дворъ, держать все хозяйство и скотину въ благообразіи и порядкѣ—чего же лучше?... Я вижу, вы не согласны?

— Да, я не согласенъ, милостивый государь, — возразилъ Шершневъ, рѣшительно не понимая, что̀ вокругъ него дѣлается.

— Я вижу, вы хотите уничтожить земство?... Согласенъ. Мнѣ наплевать!—возразилъ вдругъ Бабочкинъ и засмѣялся.

Шершневъ рѣшительно остолбенѣлъ. Онъ усиленно хрустѣлъ пальцами, тупо смотрѣлъ на гостя и не зналъ, обидѣться ему или продолжать разговоръ съ вертопрахомъ. Первое чувство одержало верхъ, и онъ строго сжалъ губы, желая показать, что онъ не любитъ шутокъ. Впрочемъ, онъ все-таки не понималъ, что такое ему говоритъ гость,—какой-то туманъ затмилъ его мысли.

Бабочкинъ замѣтилъ состояніе его, замѣтилъ, что тотъ сейчасъ озлобится, и перемѣнилъ разговоръ.

— А я здѣсь познакомился съ вашими дѣтьми—славные юноши... Гдѣ они учатся?—спросилъ онъ просто.

— Они у меня не учатся! — возразилъ Шершневъ съ дрожью въ голосѣ.

— Какъ! Такъ они уже кончили курсъ и служатъ?

Шершневъ сначала не могъ слова выговорить, такъ огорошилъ его этотъ вопросъ; потомъ онъ съ досадой проговорилъ:

— Убиваютъ они меня, милостивый государь!

И онъ вдругъ сталъ жаловаться на свою жизнь, на службу, на семью, прежде всего, на дѣтей.

— Откровенно вамъ скажу, повѣсы они у меня. Совсѣмъ отбились отъ рукъ, повѣсничаютъ и уже не слушаютъ меня... Были они у меня въ классической гимназіи—выключили обо-

ихъ. Отдалъ я ихъ въ реальное училище—и оттуда выключили. Хотѣлъ, знаете, еще, чтобы они хоть курсъ уѣзднаго училища сдали,—не выдержали. Что мнѣ дѣлать? Сильно это меня огорчаетъ. На службу ихъ! Да повѣсъ теперь такъ много, что мѣстъ не хватаетъ... Ну, и бьютъ баклуши. Пока рѣшилъ ничего не предпринимать. У отца, слава Богу, кусокъ хлѣба есть, пускай такъ живутъ, а тамъ надѣюсь пристроить.

— Позвольте вамъ предложить свои услуги—отдайте мнѣ ихъ?—серьезно сказалъ Бабочкинъ.

Шершневъ не понялъ и удивленно вперилъ глаза на гостя.

— То-есть это какъ? — спросилъ онъ недовольнымъ тономъ.

— Я попробую пристроить ихъ у себя въ присутствіи,— мѣсто найдется... — продолжалъ Бабочкинъ, самъ еще не зная, что изъ этого выйдетъ и къ чему онъ это говоритъ.

Но на Шершнева слова его произвели невыразимое дѣйствіе. Онъ вскочилъ съ мѣста со скоростью живого человѣка, а деревянное, застывшее лицо его одухотворилось множествомъ чувствъ: смущеніемъ, подозрительностью, но всего больше изумленіемъ.

— Серьезно это вы предлагаете?—спросилъ онъ недовѣрчиво и съ дрожью въ голосѣ.

— Помилуйте!—возразилъ Бабочкинъ.

— Да неужели моихъ повѣсъ можно пристроить?!

— Отчего же нельзя?

Шершневъ съ минуту постоялъ въ недоумѣніи, потомъ вдругъ схватилъ руку Бабочкина и сжалъ ее въ своихъ костлявыхъ пальцахъ, потрясая ее изо всей мочи; все это такъ мало шло къ нему и дѣлалось такъ неуклюже, что Бабочкинъ нѣсколько попятился, боясь, что этотъ костлявый человѣкъ полѣзетъ обниматься. Это несчастье, однако, миновало его: хозяинъ ограничился словеснымъ выраженіемъ своихъ чувствъ.

— Вижу вашу доброту... благодарю! Отъ всего сердца!.. Вѣрьте, этого я не забуду! При первой возможности!—говорилъ съ волненіемъ Шершневъ и вдругъ опять принялся жаловаться.—Всюду я несчастливъ и до сихъ поръ былъ несчастною жертвой людской злобы. Многочисленные враги мои подкапываются подъ меня и ненавидятъ!.. Дѣти меня не

слушаются, отъ рукъ отбились, повѣсы!... А видитъ Богъ, я всѣмъ желаю добра... А главное, весь отдался на служеніе родинѣ и по мѣрѣ силъ работаю на пользу... А люди мстятъ мнѣ за это злобой! Не повѣрите, вы первый сдѣлали исключеніе... благодарю, благодарю отъ всей души!..

Шершневъ снова ухватилъ Бабочкина своею скелетообразною рукой.

Въ эту минуту прислуга объявила о завтракѣ, и Шершневъ потащилъ гостя въ столовую, несмотря на то, что тотъ упирался. Бабочкинъ поморщился: ему почему-то казалось, что въ этомъ домѣ и кушанья всѣ должны быть пропитаны особеннымъ характернымъ запахомъ. Но отступать было поздно, и онъ отправился вслѣдъ за хозяиномъ къ завтраку, гдѣ собралась уже вся семья: братья-балбесы, какая-то старая тетка ихъ, какой-то параличный дядя и г-жа Шершнева; всѣмъ этимъ лицамъ Бабочкинъ сейчасъ же былъ отрекомендованъ.

За завтракомъ шелъ оживленный разговоръ о какой-то лошади, купленной за тысячу рублей какимъ-то бариномъ. Бабочкинъ молча прислушивался и наблюдалъ. Прежде всего, ему бросилось въ глаза, что на самого Шершнева, повидимому, никто не обращалъ вниманія; ему даже кофе подала г-жа Шершнева послѣ всѣхъ; что касается старой тетки и параличнаго дяди, то они бросали на него прямо косые и пренебрежительные взгляды. Шершневъ, видимо, сознавалъ это и смирно сидѣлъ на заднемъ концѣ стола. Никто его не слушалъ, когда онъ пробовалъ вставить какое-нибудь слово, а сыновья-балбесы совершенно парализовали всѣ его попытки завязать разговоръ съ Бабочкинымъ, перебивая его въ самомъ началѣ. Отецъ безропотно умолкалъ и принимался жевать свою порцію холодной телятины.

Только уже передъ концомъ завтрака ему удалось овладѣть вниманіемъ гостя. Повторивъ свои жалобы на многочисленныхъ враговъ и вообще на злобу людскую, онъ повторилъ также и свое увѣреніе во всегдашнемъ служеніи государственнымъ интересамъ, которые онъ, главнымъ образомъ, поддерживаетъ своими проектами, снабжая этимъ добромъ всѣ учрежденія.

— Какъ же, пишу, обдумываю,—сказалъ онъ на выраженное Бабочкинымъ удивленіе.—И сочту за честь ваше мнѣ-

ніе о моихъ планахъ... Смѣю сказать, что, вопреки моимъ врагамъ, ко мнѣніямъ моимъ неоднократно прислушивались высшія сферы...

Бабочкинъ кивнулъ головой, какъ бы говоря, что въ этомъ послѣднемъ онъ никогда не сомнѣвался.

— Да вотъ позвольте... одинъ проектъ и сейчасъ у меня приготовленъ... Я прочу его вамъ.

Бабочкинъ не ожидалъ такого непріятнаго поворота; онъ какъ-то завертѣлся на стулѣ и сталъ бормотать извиненія.

— Едва-ли сейчасъ я могу быть добросовѣстнымъ слушателемъ... невозможно по достоинству оцѣнить,—лепеталъ онъ.

— Ничего, проектъ мой небольшихъ размѣровъ,—продолжалъ Шершневъ снисходительно и уже вынулъ изъ боковаго кармана тетрадь.

Бабочкинъ совсѣмъ перепугался и растерянно обводилъ глазами присутствующихъ, надѣясь въ комъ-нибудь изъ нихъ найти спасеніе отъ неминуемой скуки, но спасенія не было —семья о чемъ-то разговаривала.

— Я думаю все-таки, почтеннѣйшій Дмитрій Дмитричъ, отложить чтеніе.

— Зачѣмъ же? Лучше теперь же воспользоваться удовольствіемъ обмѣна мыслей,—продолжалъ радостно Шершневъ и уже разглаживалъ толстую тетрадь.

Бабочкинъ, внѣ себя отъ страха, рѣшился на отчаянное средство; онъ вдругъ вспомнилъ, что дома его ждетъ неотложное дѣло, что ему надо поторопиться и что онъ даже опоздалъ нѣсколько. Нескладно все это выговоривъ, онъ всталъ съ мѣста и на-скоро попрощался со всѣми; затѣмъ быстро сталъ удаляться въ прихожую, сопровождаемый Шершневымъ. Тамъ онъ торопливо одѣлся и еще разъ сталъ прощаться.

— Ну, какъ угодно, не смѣю задерживать... Проектъ мой...

Бабочкинъ былъ уже у дверей и еще разъ попрощался.

— Проектъ мой носитъ названіе: „О поднятіи культурности русскаго народа“.

Бабочкинъ вышелъ въ сѣни и сталъ спускаться съ лѣстницы, чувствуя уже значительное облегченіе. Шершневъ, стоя наверху, между тѣмъ, продолжалъ объясняться.

— Главная идея проекта заключается въ удобреніи навозомъ...

Бабочкинъ достигъ уже выходной двери и потому весело улыбался, какъ бы говоря: отличная идея!

Шершневъ, однако, поторопился еще разъ выяснить интересный проектъ, отчеканивая каждое слово такъ, какъ будто билъ палкой по забору.

— Главное же средство состоитъ въ общинномъ накопленіи удобренія въ особо назначенныхъ мѣстахъ, наблюденіе за коими поручается особо выбраннымъ старостамъ...

Бабочкинъ уже стоялъ на улицѣ, но изъ вѣжливости не пустился сейчасъ же бѣжать, а оборотился лицомъ къ хозяину и утвердительно кивалъ головой, какъ бы говоря: великолѣпное средство!

Послѣ этого они разстались. Бабочкинъ медленно поплелся по улицѣ, придумывая, куда ему еще сходить? На улицѣ палилъ невыносимый зной; тротуары и стѣны домовъ, казалось, раскалились, какъ печи; пыль, поднимаемая горячимъ вѣтромъ, сплошными облаками носилась въ воздухѣ. Задыхаясь, Бабочкинъ присѣлъ на скамейку возлѣ городскаго садика и безучастно принялся смотрѣть на улицу. Недалеко отъ него шла работа; десятка два человѣкъ ползали по улицѣ и стучали молотками, строя новую мостовую изъ булыжника. Работа у нихъ шла вяло; руки ихъ, казалось, опускались отъ усталости. Съ непокрытыми головами, въ однѣхъ рубахахъ, они все-таки были мокры отъ пота. Бабочкинъ долго наблюдалъ за ними, а мысленно думалъ о себѣ. „Что такое веселье?.. Вотъ они знаютъ этотъ секретъ... но, быть можетъ, ихъ секретъ только имъ и годится? Да и есть-ли въ дѣйствительности веселье, общее для всѣхъ?“ Бабочкинъ всталъ и тяжело двинулся домой.

— А я васъ догналъ,—вдругъ раздался голосъ молодого Шершнева.

Бабочкинъ обернулся, но продолжалъ идти.

— Вы ушли отъ проекта папаши?... Онъ такъ всѣмъ надоѣдаетъ... И какъ много онъ ихъ пишетъ—ужасъ! На той недѣлѣ онъ, напримѣръ, написалъ въ думу „О новомъ способѣ истребленія собакъ уличныхъ“...—Говоря это, повѣса скопировалъ деревянный голосъ отца и расхохотался, заставивъ разсмѣяться и Бабочкина.

— Такъ пойдете въ циркъ? Я сейчасъ побѣгу достать вамъ билетъ... Хорошо?

Бабочкинъ согласился. Онъ зналъ, что странствующій балаганъ, изображающій циркъ, гдѣ потѣшаютъ публику нѣсколько оборванныхъ клоуновъ, двѣ грязныя наѣздницы, одѣтыя въ поношенное трико, и разбитыя на всѣ ноги клячи, захромавшія на службѣ искусству, можетъ только привести въ уныніе, но все-таки онъ не хотѣлъ пропускать случая убить время. Петя Шершневъ побѣжалъ за билетами, но на прощанье далъ ему совѣтъ—какъ можно дольше избѣгать встрѣчи съ отцомъ, который непремѣнно хочетъ ему, Бабочкину, прочитать всѣ свои проекты. „А ихъ множество—страсть сколько!"—прибавилъ повѣса.

— Папашѣ вы ужасно понравились, и онъ къ вамъ завтра нагрянетъ!—кричалъ уже издали младшій Шершневъ и хохоталъ на всю улицу.

Между тѣмъ, Шершневъ-отецъ дѣйствительно рѣшился завтра же посвятить своего новаго знакомаго во всѣ свои планы, потому что Бабочкинъ дѣйствительно ему понравился, даже больше—новый знакомый просто очаровалъ его своею добротой. Это было необычайно для Шершнева.

До сихъ поръ онъ жилъ въ вынужденномъ уединеніи, ненавидимый всѣми людьми; никто и никогда не былъ добръ съ нимъ. Онъ не имѣлъ въ городѣ не только друзей, но и хорошихъ знакомыхъ. Ѣздили многіе въ его домъ, но собственно не къ нему, а къ его женѣ, извѣстной участницѣ въ разныхъ филантропическихъ затѣяхъ. Онъ же былъ въ сторонѣ. Товарищи по службѣ избѣгали его, игнорируя его существованіе, подчиненные боялись его, ненавидя, а высшіе держали его въ отдаленіи. Но всѣмъ вообще онъ надоѣлъ своею несчастною страстью во все вмѣшиваться и своими безчисленными проектами.

Теперь, встрѣтивъ незлобиваго человѣка, который на первыхъ же порахъ изъявилъ согласіе и готовность пристроить его „балбесовъ", онъ былъ сильно взволнованъ и забылъ даже на время всѣ свои прожекты. По уходѣ Бабочкина, онъ удалился къ себѣ въ кабинетъ, сѣлъ на обычное мѣсто, но не хрустѣлъ пальцами и не сочинялъ въ головѣ какой-нибудь ехидной каверзы противъ враговъ; вопреки всѣмъ своимъ привычкамъ, онъ задумался теперь надъ всею своею жизнью;

на лицѣ его, сдѣлавшемся кроткимъ, блуждала неопредѣленная улыбка, а вся фигура его выражала въ эту минуту спокойствіе. Никогда съ нимъ этого не было.

До этого времени онъ проводилъ только однообразную, мертвецкую жизнь. Рано поступивъ на службу, онъ такъ застылъ въ форму казеннаго человѣка, что уже давно перестала жить. Но человѣкъ все-таки не умеръ въ немъ, человѣкъ былъ и требовалъ себѣ жертвы... Человѣкъ этотъ и появился въ Шершневѣ, но уже не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, и не въ томъ видѣ, въ какомъ онъ являлся у людей. Показался онъ въ формѣ зудливаго прожектера, въ видѣ бумажнаго преобразователя.

Сначала зудъ прожектерства овладѣлъ Шершневымъ подъ вліяніемъ личныхъ причинъ. Отталкиваемый товарищами по службѣ за свое пролазничество, ненавидимый подчиненными за суетливость и пренебрегаемый начальствомъ за свой безпокойный духъ, Шершневъ написалъ нѣсколько проектовъ затѣмъ только, чтобы податься впередъ по службѣ, причемъ проникся ожиданіемъ, что тогда подчиненные его устрашатся, товарищи прикусятъ языки, а начальство благосклонно кивнетъ ему головой, но когда ничего этого не вышло, Шершневъ по злобѣ на всѣхъ людей сталъ писать проекты, которые часто трудно было отличить отъ доносовъ. Чуть кто обидѣлъ его, онъ уже глядь—составилъ проектъ объ уничтоженіи того самаго учрежденія, гдѣ сидитъ его врагъ. Иногда же въ самый текстъ проекта онъ ухитрялся, какъ въ рамку, вставить своего врага, въ видѣ примѣра негодности существующаго порядка.

Благодаря такому происхожденію его страсти къ проектамъ, самый процессъ его творчества требовалъ особыхъ условій для своего проявленія. Обыкновенный изобрѣтатель ко времени своего творческаго процесса уничтожаетъ въ себѣ всѣ суетныя мысли, всѣ человѣческія обиды, всѣ пустяки обыденной жизни, чтобы быть спокойнымъ, правдивымъ посредникомъ между Богомъ вдохновенія и людьми. Шершневъ же поступалъ обратно; онъ садился сочинять проектъ тогда только, когда на него нападало яростное состояніе и когда его пожиралъ огонь мести; словомъ, чтобы приняться за сочиненіе проекта, для Шершнева требовался врагъ, который выругалъ бы его, обидѣлъ, обозлилъ. Посреди глубокой ночи,

при свѣтѣ лишь лампы съ темнымъ абажуромъ, Шершневъ ходилъ по своей комнатѣ, шлепая туфлями по полу, и возбуждалъ въ себѣ вдохновеніе воспоминаніемъ наружности враговъ; если въ день писанія никто не обидѣлъ его, онъ искусственно подогрѣвалъ въ себѣ яростное вдохновеніе, устроивъ воображаемую стычку съ однимъ изъ знакомыхъ людей.

Время, однако, шло. Страсть разгоралась, принимая все болѣе и болѣе благородныя формы. Напрасно подруга Шершнева обвиняла его въ корыстолюбіи. Современемъ онъ сталъ писать проекты уже безъ всякихъ личныхъ цѣлей, безъ упоминанія враговъ, безъ жажды мести. Только ярость осталась, но эту ярость онъ могъ уже вызывать по произволу, когда угодно и въ какихъ угодно количествахъ.

Написавъ свой проектъ, спасавшій какую-нибудь часть Россіи отъ конечной гибели, Шершневъ уже равнодушно отсылалъ его въ надлежащее мѣсто; тамъ его обыкновенно бросали въ каминъ, въ рѣдкихъ случаяхъ принимая на свой счетъ пересылку его обратно къ сочинителю. Но это Шершнева не смущало; едва успѣютъ бросить одинъ его проектъ въ каминъ, какъ уже у него готовъ другой. Съ теченіемъ времени въ одномъ изъ угловъ комнаты его (куда рѣдко кто заглядывалъ) была навалена на особомъ столѣ цѣлая груда тетрадей; однѣ изъ нихъ были еще бѣлыя, другія рыжія, третьи совсѣмъ почернѣлыя, но всѣ вообще были скрыты подъ толстымъ слоемъ пыли, которую никто не сметалъ. Иногда у Шершнева являлись археологическія желанія пересмотрѣть снова свои труды, тогда отъ проектовъ поднимались облака ѣдкой пыли.

Но это рѣдко бывало. По большей части Шершневъ забывалъ свои реформы, вѣчно обдумывая новыя, отчего нѣкоторыя вещи въ разныхъ проектахъ онъ нѣсколько разъ уничтожалъ, снова возобновлялъ и опять уничтожалъ, не замѣчая противорѣчій, забывая свои идеи.

Были-ли у него идеи Преобладающій характеръ всѣхъ его созданій былъ такой странный, что трудно примириться съ его возможностью. Дѣло въ томъ, что какой бы проектъ ни сочинялъ Шершневъ, это непремѣнно было истребленіе. Голова его была такъ устроена, что онъ въ силахъ былъ проектировать только какую-нибудь ломку, искорененіе, погромъ

и прекращеніе чьего-нибудь существованія, но былъ безсиленъ на творчество. Сначала онъ этого не замѣчалъ, но когда одинъ начальникъ, презрительно тыкая пальцемъ въ одну бумагу, объяснилъ ему это, то онъ и самъ впалъ въ раздумье. И послѣ того онъ пробовалъ сочинить дѣйствительно что-нибудь новое, но, кромѣ безсильныхъ и мучительныхъ потугъ, ничего не выходило. Иногда примется за проектированіе съ твердымъ намѣреніемъ сотворить нѣчто, но смотритъ—истребилъ цѣлый уголъ Россіи безъ остатка. Сколько бы онъ истребилъ людей и вещей, если бы хоть меньшая часть проектовъ его была осуществлена! Съ фантазіей бѣдной и искалѣченной, онъ страстно желалъ помочь погибающимъ людямъ, но умъ его, воспитанный на созерцаніи разбитыхъ жизней, способенъ былъ изобрѣсти только новыя орудія ломки и погрома; онъ хотѣлъ дать счастье людямъ, но могъ придумать только чудовищныя искаженія жизни.

Эта дѣятельность не принесла ему счастья. Всѣ его ненавидѣли. А въ семьѣ онъ еще болѣе былъ несчастливъ; тутъ онъ никакимъ авторитетомъ не пользовался. Супруга его, чуть не со дня женитьбы ихъ, дала ему кличку „нетопыря“, желая этимъ выразить мрачную жизнь его; дѣти нисколько не уважали его, насмѣхаясь надъ нимъ въ глаза и называя «папахенъ“. Даже тѣ приживалки-родственники, которыхъ онъ кормилъ, постоянно бунтовали противъ него, громко обвиняя его въ тиранствѣ. Понимая это, прислуга также не питала къ нему ни малѣйшаго уваженія, игнорируя его приказанія.

Бывали минуты, когда ему хотѣлось обласкать кого-нибудь изъ своихъ и получить отъ нихъ ласку, но всѣ его отталкивали отъ себя, выводили его изъ терпѣнія и принуждали его ретироваться въ свой уголъ. Оскорбленный однажды балбесами, онъ удалился въ свой кабинетъ и въ яростномъ настроеніи сочинилъ противъ нихъ проектъ „Объ отдачѣ въ солдаты нигдѣ не кончившихъ курса и не повинующихся родителямъ молодыхъ людей“.

Но стоило только Бабочкину бросить нѣсколько словъ участія, чтобы перевернуть все настроеніе его. Пораженный добротой незнакомаго человѣка, онъ, послѣ его ухода, вдругъ впервые оглянулся вокругъ себя. Онъ сперва оглянулъ свою обстановку. Это была запыленная комната, съ затхлымъ воз-

духомъ, съ потускнѣвшими окнами; мебель выцвѣла; цвѣты, стоявшіе по угламъ, помертвѣли, запертые въ этой могилѣ... вотъ что онъ увидѣлъ.

Взволнованный, онъ рѣшился выдти отсюда; его потянуло вонъ изъ мертваго кабинета, на улицу; ему пришло желаніе гулять, чего онъ давно не дѣлалъ. Пройдя улицу, онъ вышелъ на бульваръ и очутился среди многочисленной толпы, отъ которой, однако, сторонился. Онъ какъ будто въ первый разъ замѣтилъ людей; замѣтилъ также, къ своему удивленію, что они разговариваютъ, смѣются, хохочутъ, движутся, продѣлывая и другіе странные поступки. Ему, бумажному человѣку, что-то вдругъ неловко стало, совѣстно среди толпы.

Пройдя бульваръ, онъ вошелъ въ садъ и опять-было попалъ въ густую толпу гуляющихъ, но поторопился выбраться изъ нея. Ему даже показалось, что одинъ господинъ пристально смотритъ на него, явно слѣдитъ за его движеніями и, быть можетъ, намѣревается совершить на него покушеніе дѣйствіемъ. Испуганный этимъ подозрѣніемъ, онъ торопливо свернулъ въ боковую аллею и удалился въ самый темный уголъ сада; тамъ онъ чувствовалъ себя въ полной безопасности отъ людей, которыхъ онъ, по своему образу и подобію, представлялъ злыми и мстительными. Широкія вѣтви клена простерлись надъ нимъ; въ кустахъ пѣла малиновка, издалека слышался людской говоръ. Миръ снизошелъ на этого одичавшаго человѣка.

Поздно вечеромъ онъ возвращался домой, умиротворенный прогулкой на свѣжемъ воздухѣ. Онъ былъ до того разнѣженъ, что ему хотѣлось совершить какое-нибудь доброе дѣло. На дорогѣ ему попался нищій; Шершневъ взглянулъ на него, а нищій машинально протянулъ руку, заученнымъ тономъ пропѣвъ просьбу. Тогда Шершневъ торопливо и съ волненіемъ вынулъ изъ кармана три копѣйки и толкнулъ монету въ руку нищему.

— На, вотъ тебѣ, на! — сказалъ онъ и еще раза два сунулъ монету нищему, какъ бы боясь, чтобы она не упала на землю.—Да смотри, не пропей!—добавилъ онъ сурово.

Нищій поблагодарилъ заученными словами.

— Не пропьешь, а? — спросилъ еще Шершневъ подозрительно, вполнѣ увѣренный, что такой огромной суммы никто не давалъ старику.

— Ну, смотри же, въ кабакъ не заходи!—повторилъ еще разъ на прощанье взволнованный Шершневъ.

— Есть чего тутъ пропивать!—пробормоталъ нищій, когда удалился на почтительное разстояніе.

На слѣдующій день Шершневъ отправился къ Бабочкину отдать визитъ, да кстати приготовить этому другу случай насладиться слушаніемъ его проекта. Онъ былъ въ томъ же спокойномъ, легкомъ настроеніи. Но его ждала въ квартирѣ Бабочкина неожиданная встрѣча.

Едва онъ вошелъ въ домъ, какъ былъ удивленъ знакомымъ голосомъ его сыновей. Дѣйствительно, проведенный Семеномъ, онъ увидѣлъ соблазнительную картину: самъ Бабочкинъ безъ сюртука валялся на диванѣ; младшій балбесъ сидѣлъ возлѣ него, но верхомъ на стулѣ и сильно хохоталъ; старшій же балбесъ, погруженный въ мягкое кресло, не былъ видимъ, давая знать о своемъ присутствіи только густымъ облакомъ дыма, стоявшаго надъ кресломъ. На столѣ валялись нѣсколько бутылокъ и остатки закусокъ. Повидимому, компаніи было весело. Но при появленіи Шершнева-отца произошло небольшое смятеніе. Бабочкинъ живо натянулъ сюртукъ, младшій Шершневъ пересталъ хохотать, а старшій—дымить.

— Вы здѣсь ужь! — съ изумленіемъ воскликнулъ отецъ, обращаясь къ дѣтямъ.

За нихъ поспѣшилъ отвѣтить Бабочкинъ:

— Мы вчера вмѣстѣ были въ циркѣ, нынче вмѣстѣ проводили вечеръ... Прошу садиться.

Шершневы-сыновья удалились, но не совсѣмъ, а въ другія комнаты, которыя имъ, очевидно, уже были хорошо знакомы, — удалились затѣмъ, чтобы выждать, когда уйдетъ „папахенъ“.

Послѣдній машинально вынулъ изъ кармана свою рукопись, но медлилъ предложить чтеніе ея. Бабочкинъ же, завидя эту непріятную вещь, поспѣшно сталъ обороняться чѣмъ попало. Онъ увѣрялъ, что ему и некогда, и не въ состояніи онъ слушать внимательно, и, наконецъ, онъ прямо указалъ на пустыя бутылки, какъ на послѣдній аргументъ невозможности серьезно углубиться.

— Да знаете, міръ не погибнетъ, если мы немного помед-

лимъ читать вашъ проектъ, несомнѣнно важный,—кончилъ Бабочкинъ.

Шершневъ не обидѣлся.

— Ну, ничего, мы въ другой разъ соберемся, — сказалъ онъ, спряталъ тетрадь въ карманъ и больше не упоминалъ о ней, въ первый разъ понявъ, что можно людямъ и не надоѣдать.

Посидѣвъ нѣсколько минутъ молча, онъ сталъ хрустѣть пальцами и собрался уходить—говорить ему было нечего.

— Неужели ушелъ папахенъ?!—въ одинъ голосъ сказали балбесы и опять приняли болѣе или менѣе непринужденныя позы.

Съ этого дня они все время проводили у Бабочкина. Послѣдній скоро совершенно завладѣлъ ими. Устраивая съ ними всевозможныя прогулки, катанье на лодкѣ, охоты, рыбную ловлю, онъ, въ то же время, держалъ ихъ въ уздѣ. Отъ нечего дѣлать, онъ сталъ съ обоими заниматься, чтобы куда-нибудь ихъ приготовить, но успѣлъ только отчасти. Младшій братъ оказался неисправимымъ повѣсой и ничего не хотѣлъ дѣлать, но за то старшій братъ, Вася, сталъ учиться такъ же серьезно и сосредоточенно, какъ онъ курилъ.

Все это Бабочкинъ дѣлалъ отъ скуки, такъ, чтобы убить время. Кромѣ того, онъ не оставался одинъ въ квартирѣ, а оставаться съ глазу на глазъ съ собой ему нельзя было,— темное безпокойство овладѣвало имъ тогда.

Къ этой компаніи скоро присоединились еще нѣсколько человѣкъ, но уже не такихъ невинныхъ, вслѣдствіе чего самый характеръ квартиры Бабочкина измѣнился.

V.

Однажды, въ минуту сознанія полной своей пустоты, Бабочкинъ бросился изъ дому и рыскалъ по городу до самаго вечера, отыскивая приключеній или хоть самозабвенія. Человѣкъ порывовъ, сильный, здоровый, онъ теперь не могъ дня пробыть у себя дома и не въ состояніи былъ усидѣть. Когда во время бури экипажъ судна выбрасываетъ въ волнующееся море все, что имѣетъ тяжесть, когда швыряются за бортъ мѣшки съ золотомъ и тюки съ шелковыми тканями, то люди этимъ послѣднимъ средствомъ надѣются спасти

себя и судно, разбиваемое волнами, но рѣдко отчаянное средство приноситъ спасеніе; обезумѣвшіе люди бросаютъ вмѣстѣ съ лишнею тяжестью и весь балластъ; судно дѣлается легкимъ, но въ высшей степени неустойчивымъ... Бабочкинъ также все выбросилъ за бортъ—воспоминанія, иллюзіи, мысли о погибшихъ родныхъ, все прошлое, но въ порывѣ спасти себя онъ, въ то же время, выбросилъ и все то, что даетъ жизненное равновѣсіе — „дѣла", трудъ, обязанности, цѣли; отъ этой операціи ему сдѣлалось сначала легко; „наплевать!"—это, повидимому, весело говорится; пустота мысли и легкомысліе, повидимому, должны облегчать жизненный гнетъ, но Бабочкинъ скоро испыталъ, что это значитъ. Чѣмъ больше онъ опорожнялся, чѣмъ больше швырялъ за бортъ мыслей, казавшихся лишними и безполезно тяжелыми, тѣмъ онъ все больше и больше терялъ равновѣсіе. Чѣмъ сильнѣе онъ жаждалъ веселья, тѣмъ мрачнѣе у него становилось на душѣ.

И онъ сталъ „игралищемъ судьбы".

Сильный, съ дѣятельными нервами, организмъ его требовалъ непрерывной работы, а мысль его была отравлена, и ни во что ему не вѣрилось, и на все онъ наплевалъ, лишь бы удержаться на поверхности жизни. Буря пустила ко дну всѣхъ его близкихъ и любимыхъ, разбила и въ немъ всякую вѣру, но жизни не отняла у него. Оставшись одинъ послѣ крушенія, онъ, попрежнему, чувствовалъ жажду жить. Но куда дѣть это здоровое тѣло, эти энергичные нервы? Такъ, куда-нибудь, лишь бы повеселѣе было.

Но веселья онъ не находилъ. Въ этотъ день онъ шлялся по улицамъ, побывалъ въ двухъ ресторанахъ, заглядывалъ даже въ кабаки, хотя удерживался входить въ нихъ. Бѣгая такъ, онъ вдругъ вспомнилъ того банковскаго дѣльца, съ которымъ познакомился въ театрѣ. „Развѣ пойти?" Правда, дѣлецъ этотъ съ самаго же начала показался ему какимъ-то нечистоплотнымъ, но въ его рукахъ былъ весь городъ, а въ его домѣ съ утра до ночи толпился народъ.

Въ домѣ Михаила Ивановича Раскатова ежедневно происходила кормежка людей, нужныхъ для великаго дѣльца; домъ этотъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ публичнымъ мѣстомъ, гдѣ люди всѣхъ классовъ кланялись золотому идолу. Директоръ банка, предсѣдатель многихъ обществъ (въ томъ чис-

лѣ и благотворительныхъ), городской воротила, падишахъ тысячъ людей, Михаилъ Ивановичъ Раскатовъ открылъ свою гостинную не даромъ: для него вездѣ нужны были руки и услужливыя головы. Безпредѣльно хищный, онъ умѣлъ заинтересовать въ личныхъ своихъ дѣлахъ всѣхъ, кто только жилъ въ городѣ. Людей знатныхъ онъ просто подкупалъ огромными операціями, всыпая въ ихъ карманы бѣшеные капиталы; людей помельче подкупалъ деньгами и мѣстами, а людей совсѣмъ ненужныхъ только кормилъ въ ожиданіи того случая, когда ими можно будетъ воспользоваться. Онъ былъ грубъ и циниченъ, но никто не обращалъ на это вниманія. Ежедневно чуть не съ двѣнадцати часовъ къ его крыльцу подъѣзжали гости всевозможныхъ ранговъ и положеній и до самаго вечера толклись въ богатыхъ комнатахъ за картами, за столами, уставленными винами. Продажа людьми своей чести совершалась здѣсь оптомъ и въ розницу. Это была благодарная для Михаила Ивановича почва— фиктивные заимодавцы, фиктивные должники банка, лжесвидѣтели и просто лгуны, — всякаго рода полезныхъ людей здѣсь было довольно.

Бабочкинъ зналъ, куда идетъ, и говорилъ себѣ, что онъ не долженъ туда идти, но все-таки пошелъ.

Михаилъ Ивановичъ встрѣтилъ его какъ стараго знакомаго.

— А, наконецъ, пожаловали!... А ужь я думалъ, что вы пренебрегаете нами, грѣшными... Не годится это! „Не плюй въ колодецъ—пригодится напиться", говоритъ русская пословица... Ха, ха!

Михаилъ Ивановичъ, говоря это, самодовольно смѣялся.

— Едва-ли я у васъ попрошу напиться,—возразилъ Бабочкинъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Интересно. Конечно, есть люди равнодушные къ презрѣнному металлу, но...—и Михаилъ Ивановичъ иронически посмотрѣлъ на гостя.

— А знаете, по городу ходятъ слухи, что вашъ банкъ скоро закроютъ?—сказалъ равнодушно Бабочкинъ и наблюдалъ, какое дѣйствіе произведетъ его небрежное замѣчаніе. Дѣйствіе было сильное: Михаилъ Ивановичъ покраснѣлъ, глаза его злобно засверкали, вся огромная фигура его заколыхалась, но чтобы замаскировать свое волненіе, онъ

принялся громко хохотать. И хохотъ его похожъ былъ на громъ.

— Шутникъ вы какой!... Нашъ банкъ такъ же твердо стоитъ, какъ вотъ я сижу здѣсь...—и Раскатовъ еще разъ захохоталъ, но его завертѣвшіеся глаза избѣгали смотрѣть въ глаза Бабочкина.

Послѣдній былъ доволенъ.

— Пойдемте лучше, пропустимъ малую толику чего-нибудь успокоительнаго... Вы у меня обѣдаете—это рѣшено... А пока я васъ познакомлю съ своими друзьями.

Михаилъ Ивановичъ взялъ Бабочкина за талію и повелъ въ столовую; это была извѣстная всему городу комната, гдѣ происходила кормежка. Тамъ уже прохлаждалось съ десятокъ незнакомыхъ Бабочкину людей; тутъ былъ какой-то докторъ, какой-то адвокатъ,—Бабочкину всѣхъ представили.

Обѣдъ ожидался черезъ полчаса. Предварительно же гости закусывали, пили, смѣялись. Бабочкинъ съ нѣмымъ любопытствомъ наблюдалъ разношерстную компанію и живо оріентировался; кромѣ доктора и адвоката, онъ въ особенности обратилъ вниманіе на двугъ господъ. Одинъ былъ блѣдный, съ изящными манерами баринъ; другой былъ красный и съ манерами деревенскаго парня. Перваго звали Сѣрецкій, второго—Кудластовъ. Но Сѣрецкій много говорилъ, а Кудластовъ больше молчалъ.

Полчаса быстро прошли и обѣдъ начался. Къ этому времени компанія увеличилась еще лицами пятью, такъ что столъ былъ весь занятъ. Женщина была только одна—сама хозяйка, но она такъ терялась среди возбужденной, гоготавшей компаніи, что только ближайшій сосѣдъ говорилъ съ ней. Въ столовой стоялъ шумъ, смѣхъ, звонъ. Бабочкинъ имѣлъ по правую руку Сѣрецкаго, по лѣвую—Кудластова; послѣдній, впрочемъ, больше молчалъ. Самъ хозяинъ молча ѣлъ, весь погруженный въ свое занятіе—обѣдъ, который приготовленъ былъ невкусно.

— Вы хотѣли посмотрѣть на эти кормежки? Теперь вы видите. Какъ вамъ онѣ нравятся?—спросилъ Сѣрецкій, уже успѣвшій охарактеризировать Бабочкину всѣхъ присутствующихъ. Говорилъ онъ холодно, зло, но не злобно, какъ будто только для возбужденія аппетита. Бабочкинъ сейчасъ же понялъ, что говоритъ съ человѣкомъ, опытнымъ въ злосло-

віи. Зараженный тономъ этого злоязычника, онъ и самъ вторилъ ему.

— Мнѣ кажется, что сейчасъ подадутъ на столъ быка, а на середину комнаты выкатятъ бочку водки,—возразилъ Бабочкинъ весело.

— Вотъ видите... вы поняли характеръ кормежки. Здѣсь заботятся только чтобы упитать до отвалу... Но обратите вниманіе на самого хозяина,—предложилъ вполголоса Сѣрецкій.

— Я его вижу...

— Что вы видите?

— Онъ кушаетъ...—отвѣчалъ Бабочкинъ.

— То-есть жретъ, хотите вы сказать?

— Дѣйствительно, куски онъ глотаетъ нѣсколько больше обыкновенныхъ.

— Въ этомъ весь онъ,—продолжалъ Сѣрецкій.—Онъ безмолвно жретъ, глотая въ одно мгновеніе куски, которые можно съѣсть только въ полчаса, и ломая зубами кости этого гуся съ такою силой, съ какой можетъ только машина работать... Онъ мнѣ напоминаетъ удава. Я думаю, что онъ проглотилъ бы заразъ весь этотъ ростбивъ... Но вы не повѣрите, если я скажу, что онъ можетъ проглотить все, что здѣсь на столѣ,—пищу, посуду, скатерть, ножи, вазу съ цвѣтами...

— Признаюсь, это довольно трудно представить, — отвѣтилъ тѣмъ же тономъ Бабочкинъ.

— Величайшій обжора, какого я когда-либо знавалъ,—продолжалъ Сѣрецкій тѣмъ же ровнымъ, холоднымъ тономъ.—Главное, онъ не разбираетъ, что жретъ. Теперь онъ, обратите вниманіе, поддѣлъ на вилку кусокъ рябчика, но сегодня же еще вечеромъ онъ поддѣнетъ на вилку сто вкладчиковъ и проглотитъ ихъ... Онъ уже сожралъ городскую управу, проглотилъ больше сотни имѣній въ здѣшней губерніи и, я думаю, ему ничего не стоитъ проглотить милліонъ народу... А что касается тонкихъ вещей, какъ изящество въ жизни, честь, добро, то такія вещи онъ глотаетъ, не замѣчая этого. Ему нужно что-нибудь осязательное, чтобы онъ чувствовалъ на зубахъ нѣчто... И все онъ дѣлаетъ, какъ настоящій удавъ... Интересно бы знать, о чемъ онъ сейчасъ думаетъ?

— Вѣроятно, о той половинѣ рябчика, которую онъ положилъ себѣ на тарелку,—сказалъ Бабочкинъ.

— Къ сожалѣнію, я съ вами не согласенъ. Потому что прежде нежели онъ успѣлъ подумать, эта половина рябчика уже исчезнетъ... Хотите я въ нѣсколькихъ словахъ опишу это чудовище?

— Сдѣлайте одолженіе...

— Но прежде взгляните, гдѣ половина рябчика?

— Дѣйствительно, ея ужъ нѣтъ!—возразилъ Бабочкинъ, на этотъ разъ непритворно изумляясь аппетиту хозяина.

— Теперь позвольте, я разскажу вамъ его жизнь. Эта огромная машина требуетъ себѣ огромнаго содержанія. Утромъ онъ съѣдаетъ двѣ французскія булки и двухъ акціонеровъ; за завтракомъ—два фунта бифштекса и нѣсколько заложенныхъ имѣній; за обѣдомъ онъ уничтожаетъ все то, что здѣсь было и чего уже нѣтъ. Затѣмъ онъ спитъ три часа, спитъ такъ, какъ хорошо покушавшій удавъ. Вечеромъ онъ ѣдетъ къ одной изъ своихъ безчисленныхъ подругъ, ежедневное свиданіе съ которыми необходимо для его чудовищнаго организма; затѣмъ онъ ужинаетъ вдовицами и сельскими попами, запивая страшнымъ количествомъ вина, и окончательно засыпаетъ. Вотъ его день. Откровенно говорю, глядя на него, мнѣ хочется кончить свою жизнь самоубійствомъ.

— Это почему?—смѣялся Бабочкинъ.

Сѣрецкій помолчалъ, тщательно осмотрѣлъ и попробовалъ поданное вино и потомъ продолжалъ:

— Вы когда-нибудь встрѣчали человѣка, при взглядѣ на котораго вамъ вдругъ дѣлалось мрачно?

— Быть можетъ...

— Для меня такой человѣкъ—вотъ онъ... Когда я смотрю на него, то, мнѣ кажется, міръ темнѣетъ, какъ адъ, но когда я думаю о немъ, мнѣ хочется умереть... Вы понимаете связь между этимъ обжорой и моимъ желаніемъ самоубійства?—спросилъ вдругъ Сѣрецкій холодно.

— Признаюсь, не совсѣмъ, — возразилъ Бабочкинъ съ дѣйствительнымъ интересомъ.

— Видите-ли, меня называютъ пессимистомъ... Я дѣйствительно вѣрю, что солнце потухнетъ, и наша крошка земля погибнетъ, какъ дитя, брошенное на улицу... и жизнь прекратится. Но этотъ выводъ еще не убиваетъ желанія жить.

Когда же я смотрю вотъ на этого человѣка, я спрашиваю себя: зачѣмъ быть человѣкомъ? Когда я обдумываю всю его прожорливую жизнь, я думаю: зачѣмъ намъ говорятъ о добрѣ? Если есть и живутъ весело такіе, какъ этотъ, то не глупцы-ли всѣ остальные, добрые, гуманные? Если такая распутная жизнь, какъ у этого хищника, идетъ весело, то не глупѣйшія-ли иллюзіи всѣ наши понятія прекраснаго и чистаго? Понимаете теперь?

— Совершенно понимаю, — сказалъ Бабочкинъ и внезапно перемѣнился въ лицѣ.

— Но такъ какъ по натурѣ,—продолжалъ холоднымъ тономъ Сѣрецкій,—я не могу превратиться въ такого... хотя и знаю, что сдѣлаться такимъ значитъ устроить свою жизнь... то мнѣ просто представляется смерть какъ наиболѣе разумный выходъ... И вотъ почему, когда я гляжу на Раскатова, мнѣ хочется повѣситься.

Сказавъ это серьезнымъ тономъ, Сѣрецкій думалъ, что Бабочкинъ засмѣется. Но Бабочкинъ растерялся. Онъ посмотрѣлъ какъ-то смутно вокругъ себя и, казалось, испытывалъ сильнѣйшій приливъ тоски. Между тѣмъ, Сѣрецкій, какъ ни въ чемъ не бывало, медленно прихлебывалъ кофе и своею изящною, бѣлою рукой помѣшивалъ ложечкой въ чашкѣ; онъ сильно втягивалъ въ себя ароматъ напитка и, видимо, наслаждался послѣобѣденнымъ довольствомъ. А холодный блескъ его глазъ подѣйствовалъ на Бабочкина, въ головѣ котораго шумѣло еще тяжелѣе.

Обѣдъ давно кончился. Хозяинъ посидѣлъ нѣсколько минутъ въ креслѣ, молча прочищая зубы; онъ обводилъ мутнымъ взоромъ все окружающее, нехотя отвѣчая на вопросы; потомъ всталъ и, грубо извинившись передъ гостями, отправился спать, совершенно равнодушный къ тому, что будутъ дѣлать гости. Хозяйка также удалилась.

Такъ было ежедневно. На обѣдъ приходили всѣ, кто только былъ въ сферѣ вліянія могущественнаго дѣльца,—обѣдали и пили; послѣ обѣда одни уходили, другіе оставались, опять пили, играли въ карты, подобно мухамъ, облѣпляющимъ тѣ мѣста, гдѣ совершается разложеніе жизненныхъ продуктовъ. Самъ Раскатовъ иногда даже не зналъ по фамиліи тѣхъ, кто у него кормится, да и не считалъ нужнымъ узнавать такіе пустяки, какъ имена. Онъ былъ постоянно

въ какомъ-то непробудномъ состояніи, инстинктивно раскрывая ротъ и безсознательно глотая сотни тысячъ денегъ. Весь міръ для него казался накрытымъ столомъ, за которымъ можно ѣсть, а всѣ люди казались ему только побочнымъ прибавленіемъ къ этому столу.

Слуги убрали столовую, очистили еще смежную комнату, и гости расположились въ этихъ двухъ комнатахъ, предоставленные самимъ себѣ. Остались человѣкъ десять, не считая Сѣрецкаго, Кудластова и Бабочкина.

Послѣдній находился въ какомъ-то непонятномъ состояніи; онъ угрюмо умолкъ и съ раздраженіемъ смотрѣлъ вокругъ себя. За карты онъ не сѣлъ, ежеминутно порывался уйти отсюда, но сидѣлъ до глубокаго вечера, приведенный въ какое-то оцѣпененное состояніе Сѣрецкимъ, продолжавшимъ и послѣ обѣда злословить. Въ промежуткѣ между злословіемъ и молчаніемъ онъ взялъ слово съ Бабочкина послѣ-завтра зайти къ нему.

— Мы отправимся въ ресторанъ, и я надѣюсь угостить васъ по-своему, а не этимъ скотскимъ жраньемъ,—прибавилъ онъ.

Бабочкинъ обѣщалъ, самъ не желая того. Оцѣпенѣвшій, онъ продолжалъ сидѣть, смотрѣть игроковъ, слушать злословіе Сѣрецкаго и пьяные голоса. Атмосфера въ комнатѣ была положительно душная; Бабочкинъ задыхался посреди этого общества, какъ будто онъ попалъ въ какой-то притонъ и сидитъ тамъ, околдованный безмолвнымъ любопытствомъ и ужасомъ. Это была атмосфера скандала.

Вдругъ въ сосѣдней комнатѣ раздался взрывъ крика. Бабочкинъ оглянулся и увидѣлъ тамъ Кудластова, со стуломъ въ рукахъ и въ угрожающей позѣ. Самъ возбужденный до послѣдней степени, Бабочкинъ вскочилъ съ мѣста и обернулся въ сторону Сѣрецкаго, но послѣдняго уже не было—скрылся.

Кудластовъ, между тѣмъ, стоялъ со стуломъ въ рукахъ и бѣшено что-то кричалъ. Лицо его совсѣмъ преобразилось. До этой минуты онъ только исправно пилъ и вовсе не говорилъ; когда къ нему кто-нибудь обращался, онъ стыдливо вспыхивалъ, какъ дѣвица, да и говорилъ онъ больше жестами. Но теперь взглядъ его свирѣпо переходилъ съ одного врага на другого, а искаженныя черты лица внушали ужасъ. Вышло что-то изъ-за картъ.

— Я васъ, хищники!... Опротивѣли мнѣ ваши рожи!—кричалъ безсвязно Кудластовъ, махая стуломъ.

На крикъ прибѣжали слуги, но боялись войти въ карточную комнату, протягивая только шеи изъ столовой.

— Успокойтесь, ради Бога, Дмитрій Иванычъ! Никто васъ не думалъ оскорблять,—сказалъ кто-то изъ гостей, но это только усилило гнѣвъ Кудластова.

— Молчать, воры!—закричалъ онъ и внѣ себя грянулъ объ полъ дубовый стулъ, который въ дребезги разлетѣлся по залѣ. Въ рукѣ Кудластова осталась только одна ножка.

Поднялась суматоха по всему дому. Побѣжали будить Раскатова. Гости жались къ стѣнамъ въ смертельномъ испугѣ; кто-то изъ нихъ спрятался даже за шкафъ съ книгами. А Кудластовъ стоялъ по серединѣ залы, бѣшеный, съ сверкающими глазами, какъ будто выбирая жертву. Онъ былъ страшенъ.

Въ это мгновеніе вдругъ вмѣшался Бабочкинъ, изъ головы котораго моментально вылетѣло одурѣніе. Лицо его приняло обычное безпечное выраженіе. Онъ съ улыбкой подошелъ къ Кудластову.

— Будетъ, Дмитрій Иванычъ... Эти господа уже достаточно испуганы, бросьте ихъ! — сказалъ онъ, съ улыбкой глядя на Кудластова.

Кудластовъ глупо посмотрѣлъ на него и опустилъ свое оружіе; на него подѣйствовало неожиданное обращеніе. Бабочкинъ взялъ его подъ руку и провелъ черезъ столовую и пріемную къ прихожей. Кудластовъ покорно слѣдовалъ за нимъ. Въ передней Бабочкинъ самъ отыскалъ его одежду, одѣлъ его, нашелъ его трость и шляпу и подъ руку повелъ его къ выходу, безъ умолку и шутливо болтая о постороннихъ предметахъ. Этимъ онъ какъ бы гладилъ разъярившагося быка и овладѣлъ имъ. Кудластовъ присмирѣлъ.

Такъ они вышли на улицу. Былъ уже поздній вечеръ.

VI.

Пылавшія головы Бабочкина и Кудластова теперь освѣжились ночною прохладой. Ночь стояла темная; небо висѣло мрачнымъ покрываломъ тучъ; воздухъ былъ спертый. Ожидался дождь. Все живое уже попряталось по домамъ и ули

цы были пустынны. Кое-гдѣ мерцали фонари; изрѣдка попадался городовой или дворникъ; иногда торопливо пробѣгалъ домой запоздавшій прохожій. Только эти двое—Бабочкинъ и Кудластовъ—шли тихо, изрѣдка обмѣниваясь словами. Они уже говорили на „ты“.

Кудластовъ мирно шагалъ подъ руку съ Бабочкинымъ; онъ, повидимому, окончательно успокоился; простакъ вообще, онъ теперь послушно шелъ за своимъ другомъ.

Такъ съ нимъ было всегда. Простой человѣкъ, любившій кутнуть на распашку, онъ былъ любимъ всѣми, которыхъ не успѣлъ побить. Въ обыденной жизни съ нимъ всякій могъ сдѣлать что угодно, даже снять съ него рубашку; въ качествѣ желѣзнодорожнаго инженера, онъ получалъ большія деньги, но едва-ли и десятую часть тратилъ на себя, обираемый кѣмъ попало. Его называли теленкомъ; молодое, доброе, но неопредѣленное лицо его всѣмъ нравилось, возбуждая въ каждомъ желаніе сдѣлаться его другомъ. Женщины, впрочемъ, жестоко водили его за носъ; не умѣя хитрить и не подозрѣвая хитростей въ другихъ, онъ постоянно попадался въ просакъ. Со всѣми онъ былъ на „ты“ и всѣхъ людей считалъ „хорошими ребятами“. Фамилій не признавалъ, въ большинствѣ случаевъ называя всѣхъ Васьками, Петьками и другими сокращеніями. Въ трезвомъ состояніи онъ былъ скромнѣе дѣвушки; при объясненіи съ незнакомыми людьми краснѣлъ и вообще до такой степени не владѣлъ словомъ, что каждый школьникъ могъ его ошельмовать; вслѣдствіе этого, онъ всегда пояснялъ свои слова болѣе или менѣе энергическими жестами.

Но эти милыя качества добраго малаго то и дѣло смѣнялись противоположными. Вдругъ и, повидимому, безъ достаточнаго резона онъ дѣлался мраченъ, упрямъ, тупъ и мстителенъ. Даже въ трезвомъ видѣ нападало на него странное желаніе разнести въ дребезги кого или что-нибудь. У себя дома онъ бушевалъ больше съ неодушевленными предметами—колотилъ посуду, ломалъ мебель и только изрѣдка грозилъ раскроить физіономію „подлецу-домохозяину“, что, однако, ни разу не удалось ему. Но когда онъ нѣсколько выпивалъ, то ярость его, внезапно поднимавшаяся, проявлялась ужасно; онъ то и дѣло творилъ скандалы во время кутежей, причемъ дѣло рѣдко кончалось однѣми угрозами. Глаза его тогда раз-

горались местью и рѣшимостью. Однажды онъ въ клубѣ схватилъ чугунную заслонку, оторванную имъ отъ печки, и выгналъ въ корридоръ человѣкъ пятьдесятъ народу. „Я васъ, воры, канальи!“—кричалъ онъ обыкновенно.

Кажется, не зря онъ переживалъ такія бычачьи состоянія. Кругъ, въ которомъ онъ вращался, не отличался добродѣтелями и могъ до потери самообладанія раздражать нетронутую распутствомъ натуру. Добрый, простой малый, Кудластовъ не дошелъ до сознанія протеста противъ этого общества, основаннаго на воровствѣ, но онъ по временамъ возмущался до глубины души; плохо развитой и неуклюжій, онъ не имѣлъ силы понять, въ чемъ именно заключается подлость этого общества, но инстинктивно ненавидѣлъ пирующихъ. Что-то бурлило внутри его. Этотъ-то смутный протестъ и отражался въ его побоищахъ, хронически устраиваемыхъ имъ ради удовлетворенія естественной потребности выразить свои чувства. Но такъ какъ говорить онъ не умѣлъ, то по необходимости выражалъ накопившійся гнѣвъ кулакомъ, заслонкой, бревномъ. Понятно, что такимъ бычачьимъ способомъ выразить ничего онъ не могъ и, вытрезвившись, себя же считалъ драчливымъ дуракомъ, и это была правда, тѣмъ болѣе, что онъ не всегда билъ тѣхъ, кто этого заслуживалъ.

Бабочкинъ въ эти минуту совсѣмъ овладѣлъ имъ; болтая, онъ прошелъ съ нимъ нѣсколько улицъ и надѣялся, наконецъ, привести его къ себѣ, въ полной увѣренности, что малый успокоился совершенно. Но въ этомъ онъ ошибся.

Наружность Кудластова, правда, не выражала больше ничего, кромѣ молчаливой покорности, но отъ времени до времени онъ бросалъ вокругъ себя подозрительные взгляды, чѣмъ обнаружилъ ясно свои злые замыслы. Поровнявшись съ однимъ фонарнымъ столбомъ, онъ вдругъ предложилъ Бабочкину выворотить его. Они остановились. Кудластовъ уже прислонился правымъ плечомъ къ обреченному на гибель фонарю, но Бабочкинъ сталъ убѣждать его бросить это неумное предпріятіе.

— Богъ съ тобой, Митя! Оставь ты этотъ столбъ въ покоѣ. Что онъ тебѣ помѣшалъ?

— Я бы его съ корнемъ выворотилъ,—возразилъ Кудластовъ съ своеобразною логикой.

— Да зачѣмъ его выворачивать, милый? И такъ темно..

А это все-таки свѣтъ, хоть и плохой. Все же лучше, иные люди стали бы разбивать лбы о заборы... Ну его къ чорту, оставь! Пускай мигаетъ!

Кудластовъ мало-по-малу раздумалъ и отвалился отъ столба, но этимъ дѣло не кончилось.

— Я хочу все-таки кого-нибудь бить,—рѣшительно замѣтилъ онъ.

— Помилуй, кого же теперь бить ночью?—возразилъ тревожно Бабочкинъ.—Нехорошо бить ночью. Среди мрака люди и такъ напуганы... да и кого же бить?

— Мерзавца какого-нибудь, — выговорилъ упрямо Кудластовъ.

— Да какого? Чудакъ ты, Митя! Неужели ты будешь заходить въ дома, чтобы драться?... Ихъ такъ много, кого же ты выберешь?

Это они объяснялись на ходу. Бабочкинъ продолжалъ уговаривать и стыдить, незамѣтно переводя разговоръ на другой предметъ. Но Кудластовъ тупо его слушалъ, быть можетъ, вовсе не слушалъ, что-то, повидимому, придумывая. Очевидно, хмѣль еще сильно шумѣлъ въ его головѣ. Немного погодя, онъ вдругъ обратился къ Бабочкину съ новымъ предложеніемъ:

— Вотъ что... пойдемъ бить корреспондента!

И мрачно посмотрѣлъ вокругъ себя.

— Что же ты еще придумалъ!—тревожно возразилъ Бабочкинъ.

— Не пойдешь?—спросилъ такъ же мрачно Кудластовъ.

— Да помилуй, бить корреспондента... Какого-же?

— Тутъ есть одинъ... Пропечаталъ, негодяй, меня... Пойдемъ!

И Кудластовъ, сказавъ это, пошелъ одинъ съ рѣшимостью выполнить свою идею. Бабочкинъ отправился за нимъ, но уже сильно раздраженный.

— Чортъ знаетъ, что такое... бить корреспондента!—говорилъ онъ тревожно, догоняя Кудластова, и опять взялъ его подъ руку.

Они пошли. Дорогой Бабочкинъ придумалъ отвлечь одурѣвшаго малаго отъ задуманнаго предпріятія, для чего онъ рѣшился завести его къ Карамелькову. Кудластовъ будетъ въ полной увѣренности, что идетъ къ корреспонденту, а Ка-

рамельковъ перепугается до послѣдней степени. Эта шутка такъ понравилась Бабочкину, что онъ сталъ торопить своего спутника. Было уже далеко за полночь.

Черезъ нѣсколько минутъ они звонили у подъѣзда Карамелькова.

— Ты узнаешь его въ лицо?—спросилъ Бабочкинъ весело, заранѣе наслаждаясь потѣхой. Кудластовъ утвердительно махнулъ головой; корреспондента, пропечатавшаго его, онъ зналъ.

Имъ отворилъ, послѣ опроса, самъ Карамельковъ, вышедшій со свѣчей въ рукахъ.

— Жена уже спитъ... пойдемте!—говорилъ онъ шепотомъ и проводилъ гостей въ кабинетъ.

— А мы пришли васъ бить!—сказалъ сурово Бабочкинъ.

— Какой вы шутникъ, Александръ Иванычъ!—возразилъ Карамельковъ, шутя, но обидчиво.

— Я вовсе не пришелъ съ вами шутить—говорю серьезно: мы пришли васъ поколотить. Вы — корреспондентъ? Отвѣчайте!

— Помилуйте, господа... что это такое?—возразилъ Карамельковъ уже испуганно. Какъ нарочно, онъ только-что надняхъ послалъ въ газету театральную рецензію.

— Вы его пропечатали? — продолжалъ допрашивать Бабочкинъ, указывая на Кудластова, который глупо хлопалъ глазами.

— Я дѣйствительно на-дняхъ... Но ей-Богу, ничего такого...—пролепеталъ растерявшійся хозяинъ.

— А, вы сознаетесь! Такъ вотъ этотъ умный баринъ пришелъ васъ бить. Приготовьтесь къ возмездію!

Карамельковъ сдѣлался блѣднѣе полотна и въ ужасѣ смотрѣлъ на Кудластова, не узнавая его.

— Ей-Богу, честное слово!... Я даже люблю... Напротивъ, я всѣхъ актеровъ, которые играли у насъ, хвалилъ въ письмѣ,—бормоталъ Карамельковъ и пятился въ дальній уголъ.

Кудластовъ одурѣлъ окончательно и хлопалъ глазами, ничего не понимая. Карамелькова онъ зналъ, но теперь смотрѣлъ на него дико. Онъ такъ напряженно старался понять происходящее, что вдругъ ослабъ, опустился на стулъ и закрылъ лицо руками. Карамельковъ также глупо поводилъ глазами.

Бабочкинъ не выдержалъ, наконецъ, и расхохотался. Затѣмъ онъ живо привелъ въ порядокъ мысли двухъ обезумѣвшихъ людей и предложилъ выпить за здоровье Карамелькова. Послѣдній оправился, а черезъ нѣсколько минутъ уже тащилъ откуда-то подносъ съ бутылками и стаканами. Всѣ трое принялись пить. Впрочемъ, Кудластовъ сидѣлъ и пилъ все время молча, по временамъ только стыдливо улыбаясь; онъ вдругъ опять сталъ смирнымъ. Болтали одинъ Бабочкинъ и Карамельковъ. Между прочимъ, они условились устроить любительскій спектакль въ домѣ и на средства Бабочкина. Карамельковъ ликовалъ. Нынѣшнее лѣто онъ проводилъ скучно, такъ какъ бродячихъ труппъ вовсе почти не было, и потому съ неописаннымъ волненіемъ ухватился за предложеніе Бабочкина.

Разошлись всѣ уже подъ утро, и Кудластовъ по дорогѣ отъ Карамелькова согласился ночевать у Бабочкина.

Когда они подошли къ квартирѣ, то долго не могли дозвониться,—Семенъ спалъ. Дворникъ же, котораго они растолкали, съ просонья не узналъ Бабочкина и что-то заворчалъ. Это вывело изъ себя Кудластова. Онъ схватилъ попавшуюся ему подъ руку метлу и давай бить неуспѣвшаго еще хорошенько проснуться дворника. „Караулъ!“—закричалъ что есть мочи дворникъ и заметался, какъ угорѣлый. Кудластовъ въ изступленіи гонялся за нимъ и колотилъ его по чемъ попало, а дворникъ въ ужасѣ ревѣлъ. Весь домъ переполошился. Выскочилъ Семенъ, узналъ Бабочкина и отперъ парадную дверь. Но Кудластовъ тогда только бросилъ бить несчастнаго, когда тотъ спрятался подъ ворота. Послѣ этого Кудластовъ, схваченный за плечо Бабочкинымъ, вошелъ въ домъ, поставилъ метлу въ уголъ залы и тупо остановился.

Бабочкинъ былъ взбѣшенъ до послѣдней степени этимъ ночнымъ происшествіемъ.

— Чортъ знаетъ... и какъ это тебѣ пришло желаніе колотить метлой дворника!... Безобразіе какое!

И, говоря это, онъ грубо попросилъ Кудластова раздѣться и спать. Кудластовъ безпрекословно повиновался, раздѣлся и дѣйствительно сейчасъ же заснулъ. Бабочкинъ также прилегъ на диванъ, не раздѣваясь; на него навалилась какая-

то необычайная тяжесть. „Боже мой! что это со мной происходитъ?“ И вдругъ отвращеніе къ жизни такъ внезапно родилось въ немъ, что онъ вскочилъ и принялся бѣгать по комнатамъ, какъ отравленный.

Остатокъ ночи или, лучше, утра онъ провелъ мучительно, то на минуту забываясь въ тяжеломъ снѣ, то просыпаясь съ неопредѣленною тяжестью въ груди.

Утромъ слѣдующаго дня, едва очнувшись, онъ услыхалъ въ передней крупный разговоръ Семена съ кѣмъ-то.

— Я пойду къ мировому!... Не посмотрю, что баринъ!... Нынче драться не велѣно!—кричалъ человѣкъ, въ которомъ Бабочкинъ скоро узналъ дворника.

— Что такое здѣсь?—спросилъ онъ, выходя въ переднюю.

Дворникъ при видѣ его осклабился и успокоился. Бабочкинъ вынулъ пять рублей и ласково просилъ мужика не доводить дѣло до мирового, прибавивъ, что тотъ баринъ былъ сильно выпивши.

Дворникъ взялъ деньги, но мялся еще на мѣстѣ.

— Что еще?—спросилъ Бабочкинъ.

— Да маловато, сударь, пять рубликовъ-то, — проговорилъ дворникъ.—Вѣдь ежели бы они метлой только... то-есть прутьями самыми, а то вѣдь они череномъ меня лупили! Вонъ они рану-то какую проткнули на шеѣ!... Прибавьте хоть рубликъ еще! — и дворникъ, говоря это, показалъ на шею, гдѣ дѣйствительно была ссадина.

— Ну, хорошо, на еще рубль, да не клянчь больше,— сказалъ Бабочкинъ.

— Покорно благодарю. Я ничего, Александръ Иванычъ... Я только потому то-есть, что череномъ они меня!

Весь этотъ разговоръ слышалъ проснувшійся Кудластовъ, и когда къ нему вошелъ Бабочкинъ, онъ не зналъ, куда глаза дѣть отъ стыда.

Однако, съ этого дня онъ сдѣлался ежедневнымъ посѣтителемъ шумной и безпутной квартиры Бабочкина. Послѣдній имѣлъ на него сильное вліяніе; при немъ онъ держалъ себя смирно, а если ему случалось взбѣситься, то достаточно было Бабочкину сказать нѣсколько словъ, чтобы онъ притихъ.

Теперь онъ на-скоро одѣлся и съ великимъ смущеніемъ ушелъ, не обращая вниманія на дождь.

VII.

Дождь. Грязные клочья, только по временамъ разрывае-:ые вѣтромъ, заволокли все небо. Дождь хлесталъ въ окон-:ыя стекла, и капли потоками бѣжали по нимъ. На улицѣ ылъ уже чистый адъ—грязь, лужи, цѣлыя болота. Только о крайней нуждѣ можно было рѣшиться выйти въ такую :ору. И только Бабочкинъ рѣшился выбѣжать изъ дому въ акой день.

Послѣ ухода Кудластова онъ провелъ нѣсколько часовъ ъ бѣганіи изъ комнаты въ комнату. Семену онъ отдалъ амыя противорѣчивыя приказанія. Сначала онъ велѣлъ ему :риготовить завтракъ... онъ остается дома. Когда Семенъ же собрался идти въ гостинницу за завтракомъ, Бабочкинъ ередумалъ. Онъ остановилъ Семена и велѣлъ приготовить дежду... онъ пойдетъ сейчасъ на занятія. Семенъ принялся истить платье, но Бабочкинъ вдругъ опять передумалъ, риказавъ недоумѣвавшему Семену бѣжать сейчасъ же за звозчикомъ... онъ поѣдетъ къ Сѣрецкому. Это было окон-ательное рѣшеніе, тѣмъ болѣе, что больше ему дѣваться ыло некуда.

А Сѣрецкій еще не пріѣлся ему. Бабочкинъ порывисто дѣлся, вышелъ на улицу, гдѣ ждалъ уже его извозчикъ, росился въ дрожки, какъ угорѣлый, и поплылъ по лужамъ. ождь до боли стегалъ его въ лицо, одежда мгновенно смок-а на немъ, облѣпленная комками грязи отъ колесъ. Вѣтеръ орвалъ съ него шляпу, которая упала въ лужу, и, подня-ая извозчикомъ, представляла собою печальное зрѣлище. Но ушевно Бабочкинъ успокоился. Облитый съ ногъ до голо-ы грязною водой, среди разбушевавшейся погоды, онъ да-е повеселѣлъ; ему сдѣлалось легко. Скверная погода, оче-идно, уравновѣсила его скверное состояніе.

— Ну, вотъ я и пришелъ! Ѣдемъ на обѣщанный обѣдъ!—акричалъ возбужденно Бабочкинъ, стоя посреди комнаты Сѣрецкаго. Съ него текло что-то среднее между водой и емлей; на лицѣ и рукахъ его были грязныя пятна. Вокругъ эго мѣста, гдѣ онъ стоялъ, образовалась лужа воды и іины.

— Въ такую погоду!—проговорилъ Сѣрецкій съ нескры-

ваемымъ изумленіемъ и попятился отъ мокраго и забрызганнаго грязью гостя.—Впрочемъ, я считаю за честь для себя, что вы пожаловали ко мнѣ, вопреки всѣмъ препятствіямъ,—ядовито замѣтилъ онъ.

Онъ брезгливо осмотрѣлъ мѣсто, гдѣ стоялъ гость, и весь какъ-то сморщился. Голова его была повязана какимъ-то платкомъ, ноги закутаны въ теплый пледъ; лицо его было желтое, болѣзненное,—трудно было въ этомъ человѣкѣ, похожемъ на бѣглеца изъ лазарета, узнать вчерашняго остряка съ изящными манерами.

Бабочкинъ едва удержался отъ смѣха, при видѣ закутаннаго въ хламъ человѣка, испугавшагося простуды въ іюнѣ, но, подавивъ приступъ хохота, онъ не могъ скрыть улыбки когда спросилъ хозяина, что съ нимъ? „Ужасная погода! дѣлаюсь больнымъ въ такое время!“—возразилъ Сѣрецкій.—„Мигрень?“—спросилъ Бабочкинъ.—„Боюсь, что будетъ... Нѣтъ еще нѣтъ... Зубы, можетъ быть, болятъ“. Оказалось, что еще и зубы не болятъ, а только грозятъ заболѣть. Тогда Бабочкинъ уже не могъ удержать хохота.

И, не обращая вниманія на угрюмый видъ Сѣрецкаго, онъ сталъ звать его въ ресторанъ. Сѣрецкій очутился въ самомъ скверномъ положеніи; онъ помнилъ, что вчера пригласилъ Бабочкина, и не могъ отказаться отъ своего слова, но, въ то же время, его угнетала мысль, что если онъ выйдетъ на улицу въ такую погоду, то умретъ; заболѣетъ и умретъ. Довольно просто...

Но Бабочкинъ настаивалъ и потѣшался. Его мрачное настроеніе, за минуту передъ этимъ овладѣвшее имъ съ такою силой, перешло теперь въ возбужденный, нервный хохотъ. Онъ острилъ надъ повязками Сѣрецкаго, надъ его респираторомъ, надъ теплыми туфлями, совѣтуя надѣть еще теплую шубу.

Сѣрецкій сдался. Но Бабочкинъ долженъ былъ съ добрый часъ поджидать, пока Сѣрецкій приготовлялся, принимая всевозможныя мѣры во избѣжаніи могущей произойти простуды, которая можетъ кончиться смертью. Онъ ушелъ въ другую комнату, бросилъ гостя одного и тамъ препарировалъ себя къ отъѣзду,—уши заткнулъ ватой, ноги закуталъ во фланель, шею повязалъ шарфомъ.

Тутъ ничего удивительнаго нѣтъ. Онъ просто только за-

ботился о своемъ здоровьѣ. Эти заботы были единственною цѣлью его жизни. Никогда не надоѣдая себѣ, онъ никогда не скучалъ наединѣ съ собой; напротивъ, чѣмъ онъ съ большею любовью думалъ о себѣ, тѣмъ драгоцѣннѣе себѣ казался. Онъ велъ довольно уединенную жизнь, мало въ комъ нуждаясь. Когда-то онъ былъ тонкій эгоистъ, умѣвшій пользоваться людьми, не давая имъ понять этого; въ ту пору онъ казался увлекающимся „порывами“, но онъ пришелъ къ тому заключенію, что люди—животныя. Вслѣдъ затѣмъ онъ добился удобнаго и спокойнаго мѣста и принялся изучать гигіену. Его, конечно, могли упрекнуть въ неимѣніи общественныхъ стремленій, но аргументація его была чрезвычайно сильна. Во-первыхъ, всѣ люди—животныя; во-вторыхъ, спеціально русскіе люди—несомнѣнные скоты, — это самая низкая и грязная раса, какая когда-либо срамила землю; низкіе классы—просто мясо, обросшее нечувствительною шкурой, которую можно вытягивать въ какомъ угодно направленіи; средніе классы безнадежно вороваты; высшіе же грубые, безъ самолюбія и чести, безъ благородства и ума... Даже позорно принадлежать къ такой націи; жертвовать же ей чѣмъ бы то ни было—нелѣпо. Да и вообще животное каждое о себѣ заботится. Сѣрецкій не пожертвуетъ кончикомъ ногтя ради удовольствія чуждыхъ ему людей...

Сѣрецкій заботился тщательно о себѣ. Квартира его была самая удобная во всемъ городѣ; онъ бралъ ежедневно холодныя ванны и завелъ здоровую горничную. Ежедневно придумывая новыя удобства, онъ покупалъ гигіеническія кушетки, качающіяся кресла и пр. Для поддерживанія упругости въ членахъ въ одной изъ его комнатъ висѣла трапеція. Онъ постоянно осматривалъ себя въ зеркало, подозрѣвая появленіе какой-нибудь болѣзни. Слѣдя тревожно за состояніемъ своего тѣла, онъ дѣлалъ только то, чтò безусловно не могло вредить его здоровью, но за то боялся всего, что было сомнительно. Въ особенности онъ боялся сквозныхъ дыръ, сырой воды и нездоровыхъ горничныхъ.

Къ сожалѣнію, постоянная заботливость о себѣ часто у него переходила въ ужасъ, не оправдываемый дѣйствительнымъ состояніемъ организма. Чтобы ему отравить день, достаточно было прыща на его лицѣ; легкая головная тяжесть уже приводила его въ смятеніе. А если онъ открывалъ ма-

лѣйшіе признаки разстройства кишечнаго канала, то немедленно призывалъ доктора и основательно пыталъ его, не грозитъ-ли ему смертью? Эти неосновательныя подозрѣнія были единственными душевными волненіями, которыя онъ испытывалъ, потому что другихъ страданій онъ не допускалъ; если на него и находило тоскливое настроеніе, то энергичными мѣрами онъ быстро уничтожалъ его, для чего придумывалъ себѣ различныя развлеченія, не останавливаясь въ выборѣ ихъ ни передъ чѣмъ. Онъ, кажется, не подозрѣвалъ, что это самосохраненіе обратилось у него въ болѣзнь, отъ которой разлагалось все его существо. Впрочемъ, онъ любилъ изящныя вещи, ненавидѣлъ грязь и грубыя манеры; самъ онъ одѣвался съ педантическою чистотой, имѣлъ изысканныя манеры и въ первую минуту производилъ впечатлѣніе свѣжаго человѣка.

Если же теперь Бабочкинъ и засталъ его въ отвратительномъ видѣ, съ какими-то тряпками на головѣ и ушахъ, то, откровенно говоря, такой скверной погоды испугался бы всякій порядочный человѣкъ.

Бабочкинъ съ нетерпѣніемъ ждалъ, пока Сѣрецкій консервировалъ себя. Хорошо одѣвшись, послѣдній, наконецъ, послалъ горничную за извозчикомъ и передъ выходомъ въ сѣни надѣлъ на ротъ респираторъ. У извозчика коляска была съ верхомъ, но Сѣрецкій счелъ нужнымъ закрыться еще пледомъ. Несмотря, однако, на эти мѣры, видъ его былъ унылый и раздраженный.

— Вы боитесь простудиться?—спросилъ Бабочкинъ, когда они уже ѣхали по направленію къ извѣстному ресторану.

— Я не боюсь, но я остороженъ,— раздражительно проговорилъ Сѣрецкій, закрывая ноги пледомъ.

Вѣтеръ билъ по лошади и кучеру, но не достигалъ Сѣрецкаго. Это, однако, не придало ему веселости; онъ тревожно наблюдалъ за каплями дождя, по временамъ падавшими ему на ноги. Онъ молчалъ до самаго мѣста.

Въ ресторанѣ, куда они благополучно прибыли, онъ сію же минуту поднялъ тревогу. Въ отведенной имъ комнатѣ онъ подозрительно осмотрѣлъ всѣ окна, въ которыхъ могли оказаться сквозныя дыры. Ихъ, къ счастью, не оказалось, но, въ предупрежденіе всякихъ случайностей, онъ отклонилъ предложеніе слуги убрать съ его плечь пледъ. Только послѣ предваритель-

ной закуски съ острою передобѣденною выпивкой онъ пришелъ въ себя и развеселился. Обстановка подѣйствовала на него оживляющимъ образомъ. Въ комнатѣ, гдѣ они съ Бабочкинымъ сидѣли, былъ полумракъ, искусственно образовавшійся отъ толстыхъ штофныхъ занавѣсокъ и отъ купы тропическихъ растеній, которыя по всему кабинету распространяли зеленоватый оттѣнокъ; тепло, сухо, уютно; рѣзная дубовая мебель довершала гармонію освѣщенія.

Сѣрецкій качался въ креслахъ (къ качалкамъ онъ имѣлъ особенное пристрастіе), прислушиваясь къ шуму и вою разыгравшейся непогоды. Онъ слѣдилъ за потоками дождевыхъ капель, катившихся подобно безпрерывнымъ слезамъ, слушалъ шумъ и свистъ вѣтра и всхлипыванія воды — этотъ плачъ природы, и ему было хорошо; своимъ видомъ довольства онъ какъ бы говорилъ: а мнѣ здѣсь пріятно! Повеселѣвшій, онъ качался въ креслахъ и не торопясь разсказывалъ злые анекдоты про знакомыхъ людей.

Но по мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ и злословилъ, Бабочкинъ смолкалъ и лишь изрѣдка вставлялъ слово.

Такъ проходилъ обѣдъ. Сѣрецкій осмотрѣлъ сначала пытливымъ взглядомъ ножи и вилки, тарелки и судки, подозрѣвая нечистоту; потомъ со вкусомъ принялся кушать, разбирая каждое волокно мяса, осматривая каждую косточку пулярдки и предварительно изслѣдуя подаваемые соусы. Обѣдъ былъ дѣйствительно тонкій, чистота безукоризненная; очевидно, прислуга ресторана знала давно вкусы Сѣрецкаго и умѣла ему угодить.

Но по мѣрѣ того, какъ онъ кушалъ, у Бабочкина пропадалъ аппетитъ, а въ серединѣ обѣда блюда стали вызывать у него тошноту.

А Сѣрецкій становился все веселѣе. Кушая микроскопическими дозами, онъ игралъ глазами, разсказывалъ анекдоты, всегда умные и злые, и каждое слово его походило на иголку, впускаемую въ живое тѣло. Бабочкинъ сталъ ощущать то же, что на обѣдѣ у Раскатова. Искренній и открытый, онъ слушалъ холоднаго Сѣрецкаго съ какою-то болью и тоской. Онъ пересталъ ѣсть и чувствовалъ холодъ и мракъ въ душѣ. Ему казалось, что Сѣрецкій, разсказывая анекдоты, вводилъ въ наболѣвшее сердце его острую, холодную сталь.

Бросивъ ѣсть, онъ принялся пить. Его не удовлетворила

бутылка, заказанная Сѣрецкимъ; онъ приказалъ слугѣ принести другую, потомъ третью. Онъ облокотился на столъ и пилъ.

— Скучно, Сѣрецкій!—вдругъ на полсловѣ перебилъ онъ послѣдняго.

— Вамъ не нравится здѣсь?... Обѣдъ, вино... плохи?—спросилъ Сѣрецкій.

— Я вообще не нахожу удовольствія гдѣ бы то ни было! Сѣрецкій пристально оглянулъ его и пожалъ плечами.

— Развлекитесь,—возразилъ онъ равнодушно.

— Да чѣмъ? Все опошлѣло!

— Ну, это скверно. Это, значитъ, притупился вкусъ къ жизни.

— А что такое жизнь? — спросилъ Бабочкинъ и поднялъ голову.

Сѣрецкій не торопился отвѣчать; маленькими глотками прихлебывая вино, онъ осматривалъ Бабочкина съ тѣмъ холоднымъ интересомъ, съ какимъ изслѣдуютъ неживую вещь, мертвый предметъ.

— Знаете что,—наконецъ, сказалъ онъ,—человѣкъ, предлагающій такой вопросъ, погибшій человѣкъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?—презрительно засмѣялся Бабочкинъ.

— Увѣряю васъ. Жизнь—это такая вещь, которую надо принимать, не разсуждая, просто. Жизнь—это кусокъ свѣжаго ростбифа, хорошее вино, чистый воздухъ, яркое солнце, теплота, блѣдная луна, прекрасная женщина, папиросы Шапшала, вечерняя прохлада, жалованье, звѣздное небо и т. д. Все это вещи, по поводу которыхъ безполезно спрашивать.

— Но этотъ идеалъ скотины очень скученъ!—воскликнулъ нервно Бабочкинъ.

— Можно словами что угодно уничтожить и опошлить. А, впрочемъ, вкусы у людей разные. Напрасно только вы открещиваетесь отъ скота. Человѣкъ только первый между скотами—вотъ и все.

Сѣрецкій, возражая это, дѣлалъ методическія распоряженія слугѣ относительно дессерта.

— Неправда! У человѣка есть печать благородства—фантазія,—раздраженно возразилъ Бабочкинъ.—Жизнь есть творчество, — творчество новыхъ формъ мысли, новыхъ формъ вещей.

— А, вы, значитъ, и секретъ нашли,— чего же лучше? Упражняйтесь и творите, — сказалъ насмѣшливымъ тономъ Сѣрецкій.

— Нельзя... Вѣры нѣтъ! Когда я начинаю что-нибудь, я спрашиваю себя: зачѣмъ? Когда ко мнѣ приходитъ страстное желаніе работать, я вдругъ опять спрашиваю себя: зачѣмъ? И на меня нападаетъ ненависть къ работѣ, отвращеніе къ дѣлу, проклятіе жизни... А жить такъ хочется!...

— Гмъ... всѣ признаки психопата, — какъ бы про себя проговорилъ Сѣрецкій.

— Такъ хочется жить!—продолжалъ, не слушая, Бабочкинъ.—И силы есть, и привязанность къ жизни, и любовь, и энергія сердца, только вѣры нѣтъ, и не знаешь, какъ растратить эти силы... Ни во что не вѣрится.

— Право, не знаю, что вамъ посовѣтовать,—насмѣшливо сказалъ Сѣрецкій.

— Я вовсе не нуждаюсь въ вашихъ совѣтахъ!

Разговоръ переходилъ въ ссору.

— Знаете что, попробуйте съ разбѣга разбивать лбомъ гнилые заборы!

— А вы пробовали?

— Самъ — нѣтъ, но видѣть — видѣлъ, какъ занимались этимъ.

Бабочкинъ пришелъ въ бѣшенство отъ этихъ словъ.

— Я посовѣтовалъ бы вамъ не трогать этихъ... иначе мнѣ придется попробовать о вашъ лобъ крѣпость этой бутылки!

Бабочкинъ съ неожиданною яростью крикнулъ и сжалъ въ рукѣ пустую бутылку.

Сѣрецкій растерялся.

— Успокойтесь. Я вовсе не имѣлъ намѣренія васъ оскорблять. Все дѣло въ томъ, что мы засидѣлись здѣсь и у насъ закружилась голова... Позвольте съ вами попрощаться, — прибавилъ холодно Сѣрецкій и быстро сталъ одѣваться.

Бабочкинъ посмотрѣлъ на него, рука его разжалась, и онъ снова опустилъ голову надъ стаканомъ съ виномъ, совершенно, казалось, забывъ о присутствіи Сѣрецкаго.

Послѣдній, одѣваясь, былъ сильно взволнованъ и еще болѣе торопился уйти отсюда. Волненіе ему вредно. Да и не нужно было пить такъ неумѣренно—можетъ подняться силь-

ная головная боль. Но въ особенности опасны психопаты *Этотъ* можетъ отравить день всякому порядочному человѣку... Сѣрецкій, насколько было можно, торопился уйти. Онъ заткнулъ уши ватой, завязалъ шею шарфомъ, а усѣвшись на извозчичій экипажъ, закрылъ голову пледомъ потоньше, ноги же пледомъ потолще. Торопясь домой, онъ скромно забылъ уплатить за обѣдъ.

Дождь прекратился; небо кое-гдѣ уже прояснилось, а на западѣ показалось яркое, золотистое зарево солнца, скрытаго тучей, но грязь на улицѣ образовалась непролазная, а сырой вѣтеръ дулъ въ лицо Сѣрецкому, который тревожно кутался въ пледы и уже придумывалъ тѣ мѣры, какія сейчасъ же по пріѣздѣ домой онъ приметъ въ предупрежденіе опасной болѣзни. Дѣло въ томъ, что такого рода пессимисты до безобразія любятъ жизнь.

Когда комната опустѣла, Бабочкинъ продолжалъ смотрѣть на дно стакана; въ головѣ у него шумѣло, сознаніе было неполное. Но лишь только Сѣрецкій удалился, какъ горькое чувство одиночества съ страшною силой охватило его; онъ вскочилъ съ мѣста и бросился къ выходу, собираясь крикнуть въ догонку ушедшему: не уходи! Ему жутко было одному, безъ людей, хотя бы всѣ люди состояли изъ Сѣрецкихъ.

VIII.

Онъ нуждался въ обществѣ, въ сильномъ, здоровомъ обществѣ, которое отвлекло бы его вниманіе отъ его заболѣвшей души. Но онъ не могъ отыскать общества, оставаясь же одинъ, онъ чувствовалъ, какъ ему жутко. Дни и ночи онъ старался проводить на людяхъ, избѣгая оставаться съ глазу на глазъ съ самимъ собой.

Днемъ, послѣ занятій, онъ гулялъ по площадямъ, толкаясь между разношерстною кучей людей, или уходилъ на берегъ рѣки и тамъ наблюдалъ за пристанями. Вѣчное движеніе, царившее здѣсь, давало ему возможность съ интересомъ проводить время; онъ толкался между крючниками, таскавшими кули, смотрѣлъ на пассажировъ, на рыбаковъ, на хозяевъ мелкихъ судовъ; суетня, крики, движеніе развлекали его. Пестрота этого муравейника не утомляла его вниманія, потому что онъ не думалъ обо всемъ видѣнномъ, оно лишь ми-

молетными тѣнями пробѣгало по его душѣ; онъ думалъ только о томъ, что̀ въ немъ самомъ происходило.

Ночью ему хуже дѣлалось; постоянная безсонница поддерживала въ немъ безпрерывный бредъ; часто среди ночи холодный потъ покрывалъ его тѣло и ужасъ пустоты овладѣвалъ имъ; то ему казалось, что на его груди лежатъ цѣлыя горы тяжести, отъ которой онъ задыхался, то вдругъ ему чудилось, что тѣло его начинаетъ рости, расширяется, какъ газъ, и наполняетъ безконечныя пространства, и онъ не въ силахъ собрать улетучивающіяся частицы своего „я".

Чтобы сократить эти страшныя ночи, онъ долго удерживалъ у себя гостей.

Въ его квартирѣ стало толпиться много народа. Приходили знакомые и незнакомые,—никому онъ не отказывалъ, развлекаясь самымъ видомъ кучи людей. Большинство приходили затѣмъ, чтобы выпить и закусить, иные отъ скуки, нѣкоторые изъ любопытства. Бабочкину, незачѣмъ было больше выходить изъ дому: домъ его сдѣлался толкучкой, мѣстомъ кутежей, веселья и забавъ. Онъ даже на занятія пересталъ ходить, весь отдавшись обязанностямъ гостепріимнаго хозяина. Но у него темнѣло въ душѣ.

Чаще всѣхъ забѣгали къ нему Карамельковъ, Сѣрецкій и Шершневъ. Первый заходилъ по поводу любительскихъ спектаклей, второй—ради шампанскаго, которое часто стало появляться у Бабочкина; что касается Шершнева, то онъ все хлопоталъ насчетъ своихъ сыновей, надѣясь ихъ пристроить съ помощью Бабочкина, но когда послѣдній отказался сдѣлать что-нибудь въ этомъ смыслѣ, убѣдившись, что балбесы его никуда не годятся, то Шершневъ сильно озлился, пересталъ ходить и написалъ на Бабочкина проектъ.

Къ числу ежедневныхъ посѣтителей Бабочкина принадлежали Шершневы-сыновья, Кудластовъ, одинъ докторъ, одинъ присяжный повѣренный; эта, своего рода, шайка просиживала въ квартирѣ Бабочкина цѣлыя ночи, устраивая всевозможныя развлеченія. У каждаго изъ нихъ была, однако, своя особенная роль и свои, такъ сказать, обязанности. Братья Шершневы занимались, главнымъ образомъ, придумываніемъ глупыхъ, но временно забавныхъ штукъ, вродѣ набиванія бумажныхъ картузовъ навозомъ и бросанія ихъ на улицѣ, причемъ всѣ хохотали, когда обманутый прохожій съ жад-

бутылка, заказанная Сѣрецкимъ; онъ приказалъ слугѣ принести другую, потомъ третью. Онъ облокотился на столъ и пилъ.

— Скучно, Сѣрецкій!—вдругъ на полсловѣ перебилъ онъ послѣдняго.

— Вамъ не нравится здѣсь?... Обѣдъ, вино... плохи?—спросилъ Сѣрецкій.

— Я вообще не нахожу удовольствія гдѣ бы то ни было! Сѣрецкій пристально оглянулъ его и пожалъ плечами.

— Развлекитесь,—возразилъ онъ равнодушно.

— Да чѣмъ? Все опошлѣло!

— Ну, это скверно. Это, значитъ, притупился вкусъ къ жизни.

— А что такое жизнь? — спросилъ Бабочкинъ и поднялъ голову.

Сѣрецкій не торопился отвѣчать; маленькими глотками прихлебывая вино, онъ осматривалъ Бабочкина съ тѣмъ холоднымъ интересомъ, съ какимъ изслѣдуютъ неживую вещь, мертвый предметъ.

— Знаете что,—наконецъ, сказалъ онъ,—человѣкъ, предлагающій такой вопросъ, погибшій человѣкъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?—презрительно засмѣялся Бабочкинъ.

— Увѣряю васъ. Жизнь—это такая вещь, которую надо принимать, не разсуждая, просто. Жизнь—это кусокъ свѣжаго ростбифа, хорошее вино, чистый воздухъ, яркое солнце, теплота, блѣдная луна, прекрасная женщина, папиросы Шапшала, вечерняя прохлада, жалованье, звѣздное небо и т. д. Все это вещи, по поводу которыхъ безполезно спрашивать.

— Но этотъ идеалъ скотины очень скученъ!—воскликнулъ нервно Бабочкинъ.

— Можно словами что угодно уничтожить и опошлить. А, впрочемъ, вкусы у людей разные. Напрасно только вы открещиваетесь отъ скота. Человѣкъ только первый между скотами—вотъ и все.

Сѣрецкій, возражая это, дѣлалъ методическія распоряженія слугѣ относительно дессерта.

— Неправда! У человѣка есть печать благородства—фантазія,—раздраженно возразилъ Бабочкинъ.—Жизнь есть творчество, — творчество новыхъ формъ мысли, новыхъ формъ вещей.

— А, вы, значитъ, и секретъ нашли,— чего же лучше? Упражняйтесь и творите, — сказалъ насмѣшливымъ тономъ Сѣрецкій.

— Нельзя... Вѣры нѣтъ! Когда я начинаю что-нибудь, я спрашиваю себя: зачѣмъ? Когда ко мнѣ приходитъ страстное желаніе работать, я вдругъ опять спрашиваю себя: зачѣмъ? И на меня нападаетъ ненависть къ работѣ, отвращеніе къ дѣлу, проклятіе жизни... А жить такъ хочется!...

— Гмъ... всѣ признаки психопата, — какъ бы про себя проговорилъ Сѣрецкій.

— Такъ хочется жить!—продолжалъ, не слушая, Бабочкинъ.—И силы есть, и привязанность къ жизни, и любовь, и энергія сердца, только вѣры нѣтъ, и не знаешь, какъ растратить эти силы... Ни во что не вѣрится.

— Право, не знаю, что вамъ посовѣтовать,—насмѣшливо сказалъ Сѣрецкій.

— Я вовсе не нуждаюсь въ вашихъ совѣтахъ!

Разговоръ переходилъ въ ссору.

— Знаете что, попробуйте съ разбѣга разбивать лбомъ гнилые заборы!

— А вы пробовали?

— Самъ — нѣтъ, но видѣть — видѣлъ, какъ занимались этимъ.

Бабочкинъ пришелъ въ бѣшенство отъ этихъ словъ.

— Я посовѣтовалъ бы вамъ не трогать этихъ... иначе мнѣ придется попробовать о вашъ лобъ крѣпость этой бутылки!

Бабочкинъ съ неожиданною яростью крикнулъ и сжалъ въ рукѣ пустую бутылку.

Сѣрецкій растерялся.

— Успокойтесь. Я вовсе не имѣлъ намѣренія васъ оскорблять. Все дѣло въ томъ, что мы засидѣлись здѣсь и у насъ закружилась голова... Позвольте съ вами попрощаться, — прибавилъ холодно Сѣрецкій и быстро сталъ одѣваться.

Бабочкинъ посмотрѣлъ на него, рука его разжалась, и онъ снова опустилъ голову надъ стаканомъ съ виномъ, совершенно, казалось, забывъ о присутствіи Сѣрецкаго.

Послѣдній, одѣваясь, былъ сильно взволнованъ и еще болѣе торопился уйти отсюда. Волненіе ему вредно. Да и не нужно было пить такъ неумѣренно—можетъ подняться силь-

ностью поднималъ находку и клалъ ее въ карманъ; впрочемъ, въ шайкѣ оба они самолично служили предметомъ забавы, какъ постоянная мишень для насмѣшекъ главныхъ членовъ.

Докторъ Брусиловичъ и адвокатъ Троцкій принадлежали къ тѣмъ людямъ, которые всюду ищутъ развлеченій. Оба они ненавидѣли свое ремесло, увлекаясь посторонними занятіями. Брусиловичъ питалъ отвращеніе къ больницамъ, къ больнымъ, къ лѣкарствамъ и аптекамъ, но любилъ до страсти музыку; онъ по цѣлымъ днямъ барабанилъ на рояли, сочиняя романсы и увѣряя всѣхъ, что онъ скоро создастъ оперу. Троцкій былъ извѣстный адвокатъ, счастливо пользовавшійся своимъ языкомъ для выигрыша темныхъ дѣлъ, но всѣ его симпатіи лежали къ военнымъ занятіямъ, — по крайней мѣрѣ, онъ самъ увѣрялъ, что только война быстро разрѣшаетъ вопросы; неисправимый болтунище, онъ съ наслажденіемъ говорилъ о кавалеріи и артиллеріи, о ружьяхъ и пушкахъ. Ежедневно онъ приносилъ свѣжія извѣстія о войнѣ и, сидя передъ картой, разсказывалъ о „шансахъ“ той и другой изъ воюющихъ сторонъ, причемъ на квартирѣ у Бабочкина онъ выигралъ уже нѣсколько кровавыхъ сраженій.

Такимъ образомъ, время проходило въ самыхъ разнообразныхъ развлеченіяхъ. Братья Шершневы доставляли матеріалъ для остротъ всей компаніи; Брусиловичъ игралъ свои романсы; Троцкій посвящалъ всѣхъ въ высшую политику. Кромѣ того, играли въ шахматы, въ карты, а въ промежуткахъ между этими занятіями пили и ѣли. Бабочкинъ во всемъ принималъ какую-то пассивную роль, соглашаясь на все, что ему предлагали.

Нерѣдко шайка устраивала разныя загородныя прогулки по темнымъ мѣстамъ—и Бабочкинъ соглашался. Въ концѣ-концовъ, время его стало проходить въ сплошномъ движеніи и шумѣ. Ему не нужно было больше отыскивать развлеченій; они сами приходили къ нему, придумываемыя окружающими его людьми. Онъ былъ на время доволенъ такимъ порядкомъ вещей.

Мысль его, напряженно работавшая въ одномъ направленіи—создать во что бы то ни стало веселье, разрушалась; она давно сдѣлалась уже мрачною, причиняя ему одно отчаяніе. А теперь, безпрерывно окруженный со всѣхъ сторонъ любителями даровыхъ угощеній, онъ пересталъ думать и отдался

на волю случаевъ. Недавно еще ему казалось, что жизнь полна прелестей для того, кто рѣшился искать ихъ. Теперь же онъ ничего не въ состояніи былъ придумать; къ чему онъ ни прикасался, все оказывалось мрачнымъ и пустымъ. И онъ отдался на волю окружающихъ. Его собственная воля стала такъ же быстро разрушаться, какъ и его мысль. Онъ продолжалъ искать развлеченій, но больше по инерціи.

Шумно вокругъ него сдѣлалось. Въ его квартирѣ толпился всевозможный народъ, жадный до новинокъ и даровыхъ увеселеній. А увеселенія, придумываемыя разными лицами, были самаго разнообразнаго свойства.

Сначала послѣдовалъ цѣлый рядъ любительскихъ спектаклей, любимое занятіе нѣкоторыхъ кружковъ. Всѣ хлопоты взялъ на себя Карамельковъ. Любителей было великое множество, такъ что распорядителю стоило большого труда бороться съ интригами; преодолѣвая интриги, онъ затѣмъ долженъ былъ усмирять страсти при распредѣленіи ролей между счастливцами, сдѣлавшимися временными актерами, а когда и эти препятствія устранялись, Карамельковъ долженъ былъ до потери сознанія слѣдить за заучиваніемъ ролей. Все это происходило въ квартирѣ Бабочкина, т.-е. и эти интриги, и страсти, и репетиціи; толкотня, шумъ, кривлянья, сценическій хохотъ, театральныя рыданія, споры, разговоры, —все это безпрерывно проходило передъ взоромъ Бабочкина въ видѣ панорамы. Онъ во всемъ участвовалъ, но, главнымъ образомъ, исполнялъ требованія другихъ. Потребуютъ отъ него денегъ — онъ даетъ; заставятъ его исполнять какую-нибудь роль—онъ исполняетъ. Но, исполнивъ одно, онъ самъ не зналъ, что слѣдуетъ дѣлать дальше.

Жизнь теперь представлялась ему безконечно пестрою; весь міръ состоялъ для него изъ безчисленнаго разнообразія вещей, не имѣющихъ между собой связи; для него не существовало уже ни главнаго, ни второстепеннаго, ни причины, ни слѣдствія, ни закона, ни случайности; все это смѣшалось въ безконечную картину отдѣльныхъ вещей. Онъ потерялъ какую бы то ни было цѣль.

Послѣ любительскихъ спектаклей послѣдовалъ рядъ поѣздокъ за городъ en masse. Бабочкимъ принималъ пассивно въ нихъ участіе и за все расплачивался. Нѣкоторыя изъ этихъ поѣздокъ принимали разорительные размѣры.

ностью поднималъ находку и клалъ ее въ карманъ; впрочемъ, въ шайкѣ оба они самолично служили предметомъ забавы, какъ постоянная мишень для насмѣшекъ главныхъ членовъ.

Докторъ Брусиловичъ и адвокатъ Троцкій принадлежали къ тѣмъ людямъ, которые всюду ищутъ развлеченій. Оба они ненавидѣли свое ремесло, увлекаясь посторонними занятіями. Брусиловичъ питалъ отвращеніе къ больницамъ, къ больнымъ, къ лѣкарствамъ и аптекамъ, но любилъ до страсти музыку; онъ по цѣлымъ днямъ барабанилъ на рояли, сочиняя романсы и увѣряя всѣхъ, что онъ скоро создастъ оперу. Троцкій былъ извѣстный адвокатъ, счастливо пользовавшійся своимъ языкомъ для выигрыша темныхъ дѣлъ, но всѣ его симпатіи лежали къ военнымъ занятіямъ, — по крайней мѣрѣ, онъ самъ увѣрялъ, что только война быстро разрѣшаетъ вопросы; неисправимый болтунище, онъ съ наслажденіемъ говорилъ о кавалеріи и артиллеріи, о ружьяхъ и пушкахъ. Ежедневно онъ приносилъ свѣжія извѣстія о войнѣ и, сидя передъ картой, разсказывалъ о „шансахъ" той и другой изъ воюющихъ сторонъ, причемъ на квартирѣ у Бабочкина онъ выигралъ уже нѣсколько кровавыхъ сраженій.

Такимъ образомъ, время проходило въ самыхъ разнообразныхъ развлеченіяхъ. Братья Шершневы доставляли матеріалъ для остротъ всей компаніи; Брусиловичъ игралъ свои романсы; Троцкій посвящалъ всѣхъ въ высшую политику. Кромѣ того, играли въ шахматы, въ карты, а въ промежуткахъ между этими занятіями пили и ѣли. Бабочкинъ во всемъ принималъ какую-то пассивную роль, соглашаясь на все, что̀ ему предлагали.

Нерѣдко шайка устраивала разныя загородныя прогулки по темнымъ мѣстамъ—и Бабочкинъ соглашался. Въ концѣ-концовъ, время его стало проходить въ сплошномъ движеніи и шумѣ. Ему не нужно было больше отыскивать развлеченій; они сами приходили къ нему, придумываемыя окружающими его людьми. Онъ былъ на время доволенъ такимъ порядкомъ вещей.

Мысль его, напряженно работавшая въ одномъ направленіи—создать во что бы то ни стало веселье, разрушалась; она давно сдѣлалась уже мрачною, причиняя ему одно отчаяніе. А теперь, безпрерывно окруженный со всѣхъ сторонъ любителями даровыхъ угощеній, онъ пересталъ думать и отдался

на волю случаевъ. Недавно еще ему казалось, что жизнь полна прелестей для того, кто рѣшился искать ихъ. Теперь же онъ ничего не въ состояніи былъ придумать; къ чему онъ ни прикасался, все оказывалось мрачнымъ и пустымъ. И онъ отдался на волю окружающихъ. Его собственная воля стала такъ же быстро разрушаться, какъ и его мысль. Онъ продолжалъ искать развлеченій, но больше по инерціи.

Шумно вокругъ него сдѣлалось. Въ его квартирѣ толпился всевозможный народъ, жадный до новинокъ и даровыхъ увеселеній. А увеселенія, придумываемыя разными лицами, были самаго разнообразнаго свойства.

Сначала послѣдовалъ цѣлый рядъ любительскихъ спектаклей, любимое занятіе нѣкоторыхъ кружковъ. Всѣ хлопоты взялъ на себя Карамельковъ. Любителей было великое множество, такъ что распорядителю стоило большого труда бороться съ интригами; преодолѣвая интриги, онъ затѣмъ долженъ былъ усмирять страсти при распредѣленіи ролей между счастливцами, сдѣлавшимися временными актерами, а когда и эти препятствія устранялись, Карамельковъ долженъ былъ до потери сознанія слѣдить за заучиваніемъ ролей. Все это происходило въ квартирѣ Бабочкина, т.-е. и эти интриги, и страсти, и репетиціи; толкотня, шумъ, кривлянья, сценическій хохотъ, театральныя рыданія, споры, разговоры, —все это безпрерывно проходило передъ взоромъ Бабочкина въ видѣ панорамы. Онъ во всемъ участвовалъ, но, главнымъ образомъ, исполнялъ требованія другихъ. Потребуютъ отъ него денегъ — онъ даетъ; заставятъ его исполнять какую-нибудь роль—онъ исполняетъ. Но, исполнивъ одно, онъ самъ не зналъ, что слѣдуетъ дѣлать дальше.

Жизнь теперь представлялась ему безконечно пестрою; весь міръ состоялъ для него изъ безчисленнаго разнообразія вещей, не имѣющихъ между собой связи; для него не существовало уже ни главнаго, ни второстепеннаго, ни причины, ни слѣдствія, ни закона, ни случайности; все это смѣшалось въ безконечную картину отдѣльныхъ вещей. Онъ потерялъ какую бы то ни было цѣль.

Послѣ любительскихъ спектаклей послѣдовалъ рядъ поѣздокъ за городъ en masse. Бабочкимъ принималъ пассивно въ нихъ участіе и за все расплачивался. Нѣкоторыя изъ этихъ поѣздокъ принимали разорительные размѣры.

— Ладно. Давно бы ужь...—возразилъ Семенъ довольнымъ тономъ, хотя нѣсколько удивленный. — Гнать безъ всякаго разсужденія?—переспросилъ онъ еще.

— Безъ всякаго.

— А ежели который заартачится?

— Спусти съ лѣстницы.

— Отлично! — проговорилъ весело Березинъ, которому также опротивѣла вся эта сутолока.

Исключеніе было сдѣлано только для Кудластова.

Бабочкинъ затѣмъ велѣлъ принести себѣ пальто, шляпу, палку и выбѣжалъ изъ дому, какъ безумный. Онъ въ эту минуту ненавидѣлъ всѣхъ.

Стояла душная лѣтняя ночь. Она душила горячимъ и грязнымъ воздухомъ. Бабочкинъ прошелъ весь городъ, вышелъ на берегъ рѣки и отправился вдоль его. Онъ какъ будто бѣжалъ что-то сдѣлать. Мало-по-малу постройки стали попадаться рѣже; наконецъ, городъ скрылся въ темной мглѣ, а передъ Бабочкинымъ былъ дикій берегъ, отвѣсною стѣной высившійся здѣсь надъ водой. Онъ продолжалъ идти. Ходьба утомила его и нѣсколько понизила его чувствительность. Раздраженіе его исчезло. Но онъ безпокойно продолжалъ идти.

Въ одномъ мѣстѣ онъ, однако, принужденъ былъ остановиться передъ отвѣснымъ оврагомъ. Онъ уже хотѣлъ присѣсть, но въ это время онъ замѣтилъ, что уголъ оврага виситъ надъ водой и, казалось, готовъ упасть. Подъ нимъ на водѣ лежала темная тѣнь. „Зачѣмъ онъ виситъ надъ этимъ мѣстомъ?... Я его столкну“,— подумалъ Бабочкинъ. У него возникло моментальное желаніе сбросить внизъ мрачную глыбу. Онъ сперва попробовалъ ногой—глыба, однако, не подавалась; тогда онъ легъ навзничь и уперся обѣими ногами въ висящую груду, но она слегка только пошевелилась. Это привело его въ негодованіе; онъ толкалъ со всѣхъ сторонъ глыбу, но она только по кускамъ осыпалась. Тогда онъ бросился ощупью искать на землѣ вокругъ мѣста какую-нибудь палку и, къ удовольствію, скоро на краю оврага замѣтилъ брошенную слѣгу и схватилъ ее. Это былъ прочный рычагъ. Онъ воткнулъ его глубо между твердымъ берегомъ и висячею скалой и принялся раскачивать его изъ стороны въ сторону. Послѣ страшныхъ усилій масса, нако-

нецъ, подалась, медленно покачнулась внизъ и рухнула въ пропасть. Съ улыбкой удовольствія на лицѣ Бабочкинъ прислушивался, какъ она загудѣла по уступамъ, увлекая за собой груду камней, и черезъ мгновеніе ударилась въ воду, которая закипѣла подъ ней, взволнованная страшнымъ ударомъ.

Свершивъ это необходимое дѣло, Бабочкинъ почувствовалъ облегченіе; руки и ноги его дрожали; потъ смочилъ его бѣлье; дыханіе было прерывистое. Это успокоило его окончательно, и онъ направился домой.

Нѣсколько дней въ домѣ стояла тишина. Но тишина была уже для Бабочкина невыносима. Среди нея безпокойство его возростало до крайности. Организмъ его требовалъ безпрерывнаго движенія.

Къ этому времени, къ концу лѣта, въ городѣ явился гипнотизеръ и привлекъ на свои сеансы множество народу. Въ числѣ первыхъ былъ Бабочкинъ. Онъ съ самозабвеніемъ ударился въ таинственную область и первое время глубоко волновался открытіями. Двери его дома снова растворились, но уже не для пустыхъ кутежей, а для таинственныхъ опытовъ. Когда дѣло дошло до „чтенія чужихъ мыслей“, Бабочкинъ вдругъ сдѣлался изъ ученика учителемъ и совершалъ поразительные опыты. Всѣ изумлялись ему, въ томъ числѣ и невѣжественный гипнотизеръ, не понимая, что къ таинственнымъ экспериментамъ онъ былъ приготовленъ всѣмъ своимъ прошлымъ. Парализованная воля его давала широкій просторъ разсѣяннымъ мыслямъ, а возбужденная, напряженная чувствительность сдѣлала его проницательнымъ. Ему понятно было то, что ускользало отъ сознанія здоровыхъ людей, мысль которыхъ идетъ по опредѣленному пути. Нервная дѣятельность его, лишенная контроля и цѣли, стала тонкимъ инструментомъ, чувствительнымъ для самыхъ ничтожныхъ движеній. Онъ, какъ микроскопъ, видѣлъ то, чего не видѣли здоровые.

Въ этихъ гипнотическихъ сеансахъ прошелъ цѣлый мѣсяцъ. Бабочкина они такъ разбили, что онъ лишился аппетита, сна, здоровья. Къ счастью, гипнотизеръ уѣхалъ, а самъ онъ не былъ въ силахъ продолжать эту больную жизнь. Дамы ему также надоѣли, и онъ вторично отдалъ приказъ Березину никого не пускать.

въ своей головѣ всѣ признаки жизни и не находилъ ни одного, который имѣлъ бы цѣну самъ по себѣ. Сомнѣваясь уже въ самыхъ основаніяхъ жизни, онъ не понималъ обыденныхъ вещей. Онъ спрашивалъ: что такое добро?—и, къ удивленію своему, не зналъ, что это такое; быть можетъ, это—временное соглашеніе между людьми поступать такъ, а не иначе, но тогда добро измѣнчиво, и его на самомъ дѣлѣ нѣтъ... Какая же цѣль жизни? Счастье. Но въ чемъ оно? Это всякій понимаетъ по-своему, у разныхъ людей оно разное; разныя времена по-своему его опредѣляли... Оно измѣнчиво, слѣдовательно, его нѣтъ. Да и вообще ничего нѣтъ, даже самой жизни, потому что эта жизнь есть только мимолетная форма какого-то неизвѣстнаго явленія. Лучше бы слово „жизнь" вовсе отбросить и просто говорить—„явленіе". Только бы сказали: явленіе Бабочкина было скучно и безцѣльно... Онъ появился не надолго, но черезъ мгновеніе неизвѣстно куда пропалъ.

Онъ передумывалъ все это и смѣялся.

Между тѣмъ, это явленіе было доброе. Бабочкинъ всю жизнь искалъ счастливой работы и веселаго труда; это былъ человѣкъ съ натурой экспансивной, живой и веселый. Не столько страстный, сколько веселый, не столько глубокій, сколько яркій, онъ походилъ на тѣ цвѣты, которые распускаются только въ маѣ и пропадаютъ въ мрачныя времена. Жизнь сначала улыбалась ему такъ же, какъ онъ ей улыбался. Его всѣ любили. Онъ былъ душой всего, что было молодо и весело. У него было дѣло, которое онъ живо исполнялъ. На его рукахъ покоилась семья, которую онъ берегъ. Онъ былъ способенъ на самыя большія работы, лишь бы онѣ были только счастливы; онъ могъ взвалить на свои плечи какое угодно дѣло, лишь бы только это было веселое дѣло. Его можно было заинтересовать какимъ угодно предпріятіемъ, въ которомъ была новизна, жизнь, живая цѣль. Но онъ не выносилъ тяжелаго дѣла, не любилъ мрачныхъ мыслей, не понималъ скучной работы, не выносилъ озвѣрѣвшихъ людей. Жизнь для него—синонимъ радости. Разъ радости нѣтъ — нѣтъ и жизни. Въ другое время онъ могъ ярко развернуться, блистая энергичными красками и живыми благоуханіями, но май быстро прошелъ. Первый ударъ нанесенъ былъ ему смертью сестры; съ болью въ сердцѣ,

но онъ вынесъ его. Но когда погибъ неожиданно его братъ, котораго онъ беззавѣтно любилъ, свѣтъ для него покрылся темнымъ покрываломъ. Потомъ уѣхала жена. Тогда онъ растерялся. Веселый, онъ теперь носилъ въ душѣ только мрачныя воспоминанія. Бабочкинъ хотѣлъ улыбаться, но обстоятельства то и дѣло безпрерывно наполняли его душу мракомъ; ему казалось, что стоитъ только перестать смотрѣть кругомъ, на все наплевать, и все пойдетъ отлично. Послѣдняя попытка его, разсказанная здѣсь, явилась какъ послѣднее средство. Онъ еще вѣрилъ, что жизнь—это радость и что міръ полонъ счастья, и бросилъ искать развлеченій; чтобы добиться этого, онъ бросилъ дѣла, обязанности, службу, старался забыть страшныя воспоминанія прошлаго. Онъ не нашелъ ихъ. И все для него пропало.

Мысль его съ каждымъ днемъ слабѣла. Погружаясь въ себя, онъ пытался отвѣтить на разные больные вопросы; напряженный мозгъ его готовъ былъ разбиться отъ страшныхъ усилій, но, кромѣ еще бо́льшаго затменія, онъ ничего не добился.

Между тѣмъ, передъ нимъ мелькали зеленые лѣса, свѣтлыя полосы рѣкъ и озеръ, темные овраги, золотыя поля, телеграфные столбы и дорожныя будки, и онъ пріѣхалъ, наконецъ, на Кавказъ. Но это было вовсе не то мѣсто, куда онъ ѣхалъ.

Онъ ѣхалъ туда, но минеральныя воды оказались для него совсѣмъ не нужны. Онъ пожилъ съ недѣлю возлѣ курзала; публики было уже немного, да она и не нужна была ему; едва-ли ясно онъ сознавалъ присутствіе людей возлѣ себя, потому что онъ былъ погруженъ въ себя и мысли его сами надъ собой работали. Здѣсь, на минеральныхъ водахъ, всѣ обратили вниманіе на человѣка, который, въ одно и то же время, безпокоится и беззаботно хохочетъ. Бабочкинъ, впрочемъ, неизвѣстно зачѣмъ, пилъ противную воду, совѣтовался съ докторомъ и безъ всякой надобности наложилъ на себя строгую діэту. Потомъ ему эта глупость надоѣла и онъ пустился колесить по Кавказу, продолжая думать, что онъ ѣдетъ *туда*.

Онъ опять летѣлъ по желѣзной дорогѣ, ѣздилъ на лошадяхъ, верхомъ и на телѣгахъ, ѣздилъ на ослахъ, взбирался на горы пѣшкомъ, и это на время поддерживало видимость

жизни, внѣшнюю ея сторону. Во время дороги онъ уставалъ—и чувство усталости напоминало ему о томъ, что онъ существуетъ. Когда, верхомъ на ослѣ, нѣмѣли его ноги и ныла спина, онъ чувствовалъ эту боль съ удовольствіемъ; когда все тѣло его было избито при ѣздѣ на лошадяхъ, онъ только радъ былъ физическому утомленію; онъ тогда занимался собой, старался ѣсть, во всякомъ случаѣ, спалъ и былъ доволенъ, что утомлялся, какъ будто отъ трудовъ.

Съ Кавказа онъ перебрался въ Крымъ. Но въ Ялтѣ онъ едва высидѣлъ нѣсколько дней и поѣхалъ въ другое мѣсто, а отсюда въ третье. Такъ онъ объѣхалъ, нигдѣ не останавливаясь, весь полуостровъ, причемъ постоянно былъ во власти той иллюзіи, что ѣдетъ въ опредѣленное мѣсто, *туда*, гдѣ ему нужно быть.

Подъ давленіемъ той же иллюзіи изъ Крыма онъ торопливо отправился въ Ригу; выборъ этотъ былъ, разумѣется, въ высшей степени необъяснимый, почти рефлективный; единственная причина, указавшая ему ѣхать въ Ригу, состояла въ томъ, что онъ вспомнилъ о существованіи въ Ригѣ купаній, на которыя съѣзжается въ лѣтній сезонъ много народа. Но здѣсь онъ также оставался всего нѣсколько дней, прожилъ все время въ гостинницѣ, ничего не осмотрѣлъ, не заинтересовался даже морскимъ берегомъ, ради котораго ѣхалъ... На него напало здѣсь странное озлобленіе противъ города, и онъ выѣхалъ изъ него.

Обратный путь онъ совершилъ необъяснимыми зигзагами; вмѣсто Москвы, лежащей на его пути, онъ попалъ въ Харьковъ, а вмѣсто того города, гдѣ была его квартира, онъ очутился въ Саратовѣ. Только отсюда онъ прямо направился домой. Это было уже глубокою осенью. Но, возвращаясь домой, онъ не представлялъ себѣ, что́ онъ будетъ дѣлать дома. Его домъ казался ему чужимъ; онъ отлично зналъ, что жить у себя дома не останется, а поѣдетъ сейчасъ *туда*, куда влекло его.

Онъ поѣхалъ домой, позвонилъ и встрѣтилъ Семена. Послѣдній несказанно обрадовался и бросился услуживать впопыхахъ, съ торопливостью человѣка, который дождался возвращенія родного. Но Бабочкинъ холодно обошелся съ нимъ, молчалъ на всѣ его вопросы и, видимо, тяготился его болтовней.

— Господинъ Карамельковъ нынче были, — сообщилъ Семенъ, обиженный холодною и незаслуженною встрѣчей.

— Что ему нужно?—вяло освѣдомился Бабочкинъ.

— Кажись, насчетъ театру... арфистка какая-то пріѣхала сюда.

— Какая арфистка?

— Да арфистка, ужь это вѣрно... Господинъ Карамельковъ сказывали... Они очень волнуются. Да и весь городъ, кажись, взбѣсился, только и разговору, что про эту арфистку. Даже нашъ дворникъ, и то говоритъ: чудесно играетъ на скрипкѣ... Взбѣсились всѣ—очень просто.

Бабочкинъ пожалъ плечами. Все это смутно онъ припоминалъ, какъ будто всѣ эти имена относились къ далекому прошлому. Но онъ подумалъ все-таки: „Глупый что-нибудь напуталъ"...

— Чаю не нужно, иди,—сказалъ онъ разсѣянно.

Березкинъ былъ совершенно оскорбленъ, но онъ хотѣлъ добросовѣстно выполнить свои обязанности. Онъ угрюмо сталъ на мѣстѣ.

— Что еще?—спросилъ Бабочкинъ грубо.

— Тутъ еще какіе-то господа были... не одинъ разъ ужь спрашивали про васъ... Очень, говорятъ, нужно ихъ, то-есть васъ...

— Кто они?

— Да никакъ прокуроръ, да частный... и еще рыжій какой-то. Все спрашивали, когда вы пріѣдете.

Бабочкинъ опять пожалъ плечами и велѣлъ уходить Семену. Онъ походилъ по комнатѣ и придумывалъ, куда бы пойти пока. На свой домъ онъ смотрѣлъ, какъ на станцію, гдѣ онъ не долго пробудетъ и откуда скоро выберется по дорогѣ *туда*, гдѣ была цѣль путешествія. Но пока нечего было дѣлать, и онъ въ сильномъ безпокойствѣ прислонился лицомъ къ холодному стеклу.

Вдругъ онъ увидалъ ѣхавшаго по улицѣ Карамелькова. Распахнувъ окно, онъ крикнулъ ему, чтобы онъ остановился. Карамельковъ соскочилъ съ дрожекъ и черезъ минуту былъ уже у Бабочкина.

— На минуточку... не могу больше!—сказалъ Карамельковъ, вмѣсто привѣтствія, и принялся разсказывать удивительныя вещи. Онъ былъ взволнованъ, торопился, путался,

такъ что Бабочкинъ сначала ничего не могъ понять и только послѣ нѣсколькихъ вопросовъ разобралъ, въ чемъ дѣло.

Семенъ вѣрно передавалъ, только названіе перепуталъ. Городъ дѣйствительно взбѣсился, благодаря пріѣзду заграничной артистки, играющей на скрипкѣ. Это была знаменитая м-мъ N. Не одинъ Карамельковъ ошалѣлъ отъ ея игры, но дѣйствительно весь городъ. О пріѣздѣ ея заранѣе знали. Недавно выѣхавъ изъ Вѣны, она побывала въ нѣкоторыхъ русскихъ городахъ и вездѣ вызывала смятеніе. Одурѣвшая отъ скуки публика сдѣлала изъ нея кумиръ. Ее встрѣчали, какъ царицу; на вокзалъ заранѣе вышли власти города, во время пути она занимала отдѣльный министерскій вагонъ. Ее осыпали цвѣтами и золотомъ повсюду. „Что здѣсь происходило вчера—уму непостижимо!“

Первый концертъ ея былъ данъ дня три тому назадъ. Народу набилось много, но люди не бѣсились еще. Но уже на слѣдующій день весь городъ лихорадочно ждалъ восьми часовъ. Театръ ломился подъ давленіемъ массъ. Всѣ помыслы обратились къ ней и всѣ взоры были обращены на ту дверь, изъ которой ждали ея выхода на сцену. Толпа замерла въ ожиданіи и молчала, какъ одинъ человѣкъ. Она, наконецъ, вышла, маленькая, худая, некрасивая. Всѣмъ казалось, что скрипку ей тяжело держать, а смычокъ не твердо лежитъ въ ея крошечной рукѣ. Наконецъ, она неловко раскланялась, остановилась и извлекла первые звуки... И въ залѣ раздался взрывъ восторга, равносильнаго ужасу,—никто не ожидалъ отъ крошечной руки такихъ могучихъ звуковъ, упавшихъ въ толпу, какъ громъ. Когда черезъ мгновеніе опять наступила мертвая тишина, инструментъ запѣлъ божественную пѣснь, отъ которой можно умереть, забывъ о дыханіи. Жизнь прекратилась въ тысячной толпѣ, оцѣпенѣвшей въ страшной истомѣ. Все умерло въ залѣ отъ этихъ ударовъ смычка и помертвѣвшіе люди оставались неподвижными, какъ деревянныя стулья, на которыхъ они сидѣли.

— Нѣтъ, я слабое сравненіе сдѣлалъ!... Ну, да ничего, некогда... прощайте, бѣгу! — вдругъ прервалъ себя Карамельковъ и бросился-было бѣжать.

Но Бабочкинъ ухватилъ его за рукавъ.

— И сегодня будетъ?—спросилъ онъ съ страннымъ волненіемъ.

— Въ послѣдній разъ!—закричалъ Карамельковъ.

— Билеты еще есть?

— Ни одного!

— Но можно будетъ какъ-нибудь пробраться?

— Нельзя! Я къ вамъ заѣзжалъ, но теперь уже поздно... Пустите, ради Бога! — взмолился Карамельковъ, вырвался и побѣжалъ. Онъ дѣйствительно походилъ на бѣсноватаго.

И такъ происходило во всемъ городѣ. М-мъ N. помутила умы, поставила на ноги всѣхъ скучающихъ и обремененныхъ пошлою пустотой. Смычокъ ея былъ повелительнымъ жезломъ; поворотъ этого смычка могъ бросить толпу на какое угодно дѣло. Послѣдній концертъ, дававшійся сегодня, окончательно привелъ всѣхъ въ состояніе дикости.

Бабочкинъ, послѣ бѣгства Карамелькова, не зналъ, что ему дѣлать, бѣжать-ли самому въ театральную кассу, послать-ли Семена, или ѣхать къ одному изъ знакомыхъ, чтобы съ его помощью пробраться. Концертъ вдругъ выросъ на его глазахъ въ дѣло огромной важности. „Въ послѣдній разъ играетъ"... Эти слова вызвали въ немъ лихорадочную тревогу. Онъ нѣсколько разъ надѣвалъ шляпу, нѣсколько разъ порывался броситься на извозчика, но только въ безпокойствѣ метался по кабинету. До концерта оставался часъ съ небольшимъ. Бабочкинъ не зналъ, что съ нимъ дѣлается. Онъ крикнулъ, наконецъ, Семена.

— Возьми извозчика, поѣзжай къ Кудластову и привези его сюда!—приказалъ онъ ему и бѣсился, смотря, какъ медленно Березинъ собирается.

А когда послѣдній уѣхалъ, имъ овладѣло томительное ожиданіе. „Достану билетъ или нѣтъ?"—думалъ онъ и никакъ не могъ представить, чтобы невозможно было попасть въ театръ. Онъ рѣшилъ, что непремѣнно попадетъ на концертъ, во что бы то ни стало. Въ его разстроенномъ воображеніи вдругъ появился цѣльный образъ удивительной артистки и заполонилъ всѣ его мысли; онъ вообразилъ до мельчайшихъ подробностей ея лицо, ея фигуру, ея скрипку и смычокъ. Это было небесное видѣніе, яркое, какъ миражъ, и всею своею опустѣвшею душой онъ погрузился въ созерцаніе его. Тогда рѣшимость во что бы то ни стало попасть на спектакль повелительно овладѣла имъ. Шагая по кабинету, онъ за-

былъ даже привести въ порядокъ свое дорожное платье, — все забылъ.

— Ихъ нѣтъ дома, въ театръ уѣхавши, — сказалъ возвратившійся Семенъ.

Бабочкинъ нѣсколько минутъ тупо смотрѣлъ на него, потомъ взялъ шляпу и вышелъ изъ дому. На улицѣ онъ взялъ извозчика, сѣлъ и велѣлъ везти себя къ антрепренеру театра. Этого человѣка онъ зналъ и надѣялся съ его помощью пробраться на концертъ. Антрепренера онъ не засталъ, но это не ошеломило его.

„Не можетъ быть, чтобы отрѣзана всякая возможность,“— думалъ онъ и съ страшною рѣшимостью желалъ услышать концертъ. У него явилась дикая энергія.

Извозчика онъ погналъ къ знакомому актеру. Актера не было дома. Бабочкинъ на мгновеніе обомлѣлъ.

„Не можетъ быть!“—повторилъ онъ.

Бросившись на извозчика, онъ поскакалъ въ театръ.

Возлѣ подъѣзда театра толпился народъ. Восемь часовъ уже пробило — концертъ начался. Бабочкинъ соскочилъ съ дрожекъ и сталъ пробираться черезъ толпу, загородившую входъ. Это были несчастливцы, не успѣвшіе во-время пріобрѣсти билета; они даже въ корридоръ не попали и продолжали сплошною стѣной стоять въ стѣнахъ. Бабочкинъ локтями и грудью принялся пробиваться сквозь эту стѣну. Онъ не зналъ, что изъ этого выйдетъ, только продолжалъ твердить: „Не можетъ быть!“

— Вы, должно быть, съ билетомъ? — злобно сказалъ ему какой-то баринъ.

— Почему вы такъ думаете?—спросилъ, ничего не замѣчая, Бабочкинъ.

— Потому что вы ломитесь... Развѣ вы не видите, что здѣсь нельзя пробраться?

— Милостивый государь, вы ударили меня въ животъ!— крикнулъ ему подъ самое ухо какой-то другой господинъ.

— Вы какое право имѣете. ноги давить? — закричалъ ему третій.

— Назадъ!—закричало нѣсколько голосовъ.

Бабочкинъ опѣшилъ и остановился въ самой срединѣ густой толпы.

— Господа, я хочу только пробраться на лѣстницу, — сказалъ онъ упавшимъ голосомъ.

— Да у васъ есть билетъ?—спросилъ его кто-то.

— Нѣтъ.

— Такъ куда же вы ломитесь?—возразили ему, и вокругъ него поднялись злыя насмѣшки.

— Вы, можетъ быть, къ капельдинеру хотѣли обратиться? Напрасно. Мѣста нѣтъ, понимаете, мѣста нѣтъ! Ложи полны, въ партерѣ сидятъ по два человѣка на одномъ стулѣ. Раекъ—адъ кромѣшный! Тамъ сидятъ не только на скамейкахъ, но и другъ на другѣ. Платили по пяти рублей, чтобы имѣть право сидѣть другъ на другѣ верхомъ! По три рубля недавно давали за то только, чтобы отъ времени до времени просовывать голову изъ корридора въ залу, понимаете? На лѣстницѣ губернаторъ поставилъ жандармовъ, чтобы не пускать больше никого, даже въ корридоръ... потому что иначе стѣны зданія лопнутъ отъ напора...

Это внушалъ Бабочкину какой-то красный господинъ, съ лица котораго потъ катился градомъ.

Бабочкинъ выслушалъ нотацію, не оскорбившись и только пораженный невозможностью пробраться. Теперь онъ не могъ пошевелить пальцемъ, сдавленный со всѣхъ сторонъ живыми стѣнами. Горячее дыханіе поднималось отъ этихъ стѣнъ; жаръ въ серединѣ ихъ былъ такъ великъ, что каждый изъ людей, составлявшихъ эти плотно сбитыя стѣны, пылалъ огненными красками и каждое лицо казалось пылающею головней.

Но Бабочкинъ не испытывалъ этого жара. Онъ стоялъ весь похолодѣлый. Холодъ обнялъ все его тѣло и проникъ до самаго сердца.

Онъ убѣдился, что концерта не увидитъ, и это пустое обстоятельство приняло въ его глазахъ страшное значеніе. Въ его душѣ совсѣмъ темнѣло.

Но онъ не могъ оставаться на мѣстѣ и невольно сталъ проталкиваться назадъ, повинуясь какой-то силѣ. Раздвигая массу, онъ лѣзъ изъ сѣней къ выходу, похолодѣлый и блѣдный. Послѣ продолжительныхъ усилій ему удалось, наконецъ, выбраться изъ толпы, и онъ очутился на улицѣ.

Когда темная осенняя ночь дунула ему въ лицо сыростью

и холодомъ, онъ окончательно понялъ, что на концертъ онъ не попалъ. Отчаяніе овладѣло имъ.

Все окружающее вдругъ пропало изъ его глазъ, міръ прекратилъ для него существованіе, не замѣчаемый больше имъ, и онъ остался одинъ. Онъ весь ушелъ въ себя, никого больше не видя помутившимся разумомъ.

— Лучше умереть!—вдругъ сказалъ онъ и рѣшилъ немедленно привести въ исполненіе это желаніе.

Онъ поплелся домой, слабо передвигая ногами, которыя плохо повиновались ему. Ни на какое усиліе онъ уже не былъ способенъ; послѣдніе остатки его воли пропали. Онъ только могъ умереть; воли осталось ровно столько, сколько нужно было, чтобы убить себя.

Инстинктивно, ничего не замѣчая, онъ дошелъ домой; тамъ дома у себя онъ рѣшилъ застрѣлиться. Переступая порогъ крыльца, онъ ощупалъ въ карманѣ револьверъ, который онъ забылъ сегодня послѣ пріѣзда вынуть. Потомъ онъ медленно прошелъ по лѣстницѣ, вошелъ въ открытую настежь дверь и направился въ кабинетъ, не замѣчая, что вся квартира его была освѣщена, что въ залѣ, мимо которой онъ проходилъ, сидѣли какіе-то люди и что между ними, блѣдный, какъ полотно, стоялъ Семенъ.

Онъ прошелъ въ кабинетъ, также освѣщенный, и на мгновеніе у него промелькнула мысля—написать послѣднее письмо. Но не было силъ на это. Тогда онъ вынулъ револьверъ изъ кармана и сталъ похолодѣвшими руками развязывать шнуръ.

— Александръ Иванычъ! — вдругъ раздался около него голосъ.

Онъ поднялъ голову и безумно оглянулъ вдругъ представшихъ передъ нимъ людей, не въ состояніи возвратиться въ міръ дѣйствительности. Передъ нимъ стояли прокуроръ, его хорошій знакомый, и частный приставъ, а позади какіе-то сѣрые люди — понятые, какъ это черезъ минуту оказалось. Приставъ тихо вынулъ изъ руки Бабочкина револьверъ, осторожно осмотрѣлъ его и опустилъ въ карманъ къ себѣ. Прокуроръ повторилъ:

— Александръ Иванычъ!

На лицѣ послѣдняго показались какія-то судороги. Онъ какъ будто что-то хотѣлъ припомнить, но не могъ.

— Александръ Иванычъ! Я пришелъ съ непріятнымъ дѣломъ... Но вы успокойтесь прежде, ради Бога!

— Успокойтесь, господинъ!—прибавилъ, въ свою очередь, приставъ.—Съ кѣмъ такихъ несчастій не бываетъ, не всѣмъ же умирать!

Эти господа были увѣрены, что Бабочкинъ хотѣлъ застрѣлиться изъ страха передъ позоромъ ареста.

Бабочкинъ вдругъ заволновался, краска залила его помертвѣвшее лицо, и онъ какъ будто возвратился къ дѣйствительности.

— Я пришелъ съ тяжелою обязанностью... арестовать васъ... Вотъ прочтите предписаніе.

Прокуроръ подалъ бумагу. Бабочкинъ предавался суду за небрежность къ служебнымъ обязанностямъ, за уничтоженіе дѣлъ, вообще за преступленія по должности.

Бабочкинъ равнодушно пробѣжалъ бумагу, едва представляя себѣ арестъ, но, между тѣмъ, лицо его вдругъ озарилось радостью.

— Я арестованъ?

— Да, за проступки по должности...

— Въ тюрьму?

— Къ сожалѣнію... но это, конечно, не надолго... Это, можетъ быть, просто недоразумѣніе...

Бабочкинъ не далъ договорить прокурору, схватилъ его руку и съ силой пожалъ ее; потомъ схватилъ руку пристава и также пожалъ. На лицѣ его сіяла свѣтлая улыбка. Онъ благодарилъ этихъ людей, что они не дали ему убить себя; благодарилъ молча, но съ величайшею искренностью. На мгновеніе разумъ его просвѣтлѣлъ,—онъ увидѣлъ людей, міръ, все окружающее...

Всѣ были смущены этимъ непонятнымъ весельемъ и быстро поторопились покончить съ формальностями. Но Бабочкинъ больше всѣмъ торопился, помогалъ, совѣтовалъ. Потомъ онъ живо одѣлся и былъ готовъ оставить домъ. Прокуроръ предложилъ наложить арестъ на его имущество, но онъ отказался, указавъ на Семена, какъ на лучшаго хранителя его квартиры.

— Ну, прощай, милый!—сказалъ онъ Семену, пожавъ ему руку и выходя изъ дому въ сопровожденіи чиновъ.

Дорогой лицо его свѣтилось такою же улыбкой; онъ шутилъ съ своими спутниками и смѣялся. Онъ смотрѣлъ на го-

кина приказъ—перевезти въ острогъ множество вещей, хранимыхъ въ пустой квартирѣ. Семенъ былъ пораженъ. Онъ исполнилъ приказаніе и привезъ цѣлый возъ разныхъ предметовъ, но разспрашивалъ, что это значитъ?

— Камору свою вздумалъ убирать,—отвѣтилъ ему одинъ изъ сторожей.

Семенъ ничего не сказалъ, затосковалъ и не сидѣлъ больше на лавочкѣ передъ тюремными воротами.

Съ первыхъ же дней, когда Бабочкина оставили одного въ глухой камерѣ, онъ сталъ проявлять страшное безпокойство. Цѣлый день онъ ходилъ по узкому помѣщенію и, казалось, чего-то искалъ. Онъ съ любопытствомъ и тревогой осматривалъ всѣ мельчайшія особенности своего жилья, то мрачно хмуря брови, то улыбаясь. Потомъ онъ отдалъ приказъ Семену—привезти разные предметы роскоши, для чего онъ составилъ длинный списокъ. И вотъ, когда Семенъ прислалъ выписанные предметы, Бабочкинъ въ величайшемъ волненіи принялся размѣщать ихъ по грязной камерѣ. У него явилась идея украсить острогъ.

Казенное убранство комнаты было невеселое; сама комната узка—семь шаговъ длины и три ширины; окно съ рѣшеткой и съ запыленнымъ стекломъ, кровать съ твердою соломенною подушкой, на кровати сырое одѣяло изъ солдатскаго сукна, деревянный некрашенный столъ и возлѣ него такой же табуретъ,—вотъ все, чѣмъ была убрана дворянская камера. „Какая плохая фантазія у творца такого помѣщенія!“—подумалъ Бабочкинъ.

Изучивъ подробно свое помѣщеніе, онъ составилъ планъ убранства и съ глубокою любовью привелъ его въ исполненіе. Полъ онъ устлалъ коврами; на стѣнѣ онъ повѣсилъ нѣсколько картинъ и олеографій. Тюремную мебель, по его настоятельной просьбѣ, вынесли вонъ; вмѣсто нея, онъ поставилъ свою собственную—маленькій изящный столъ, одно кресло, одинъ стулъ и мягкую кушетку, которая должна была служить и постелью. Вышло довольно красиво. Столъ онъ убралъ бездѣлушками, письменнымъ приборомъ и книгами—камера еще стала веселѣе выглядѣть. Оставалась отвратительная дверь, вымазанная какою-то грязью и съ противною дырой посерединѣ, но онъ задрапировалъ ее портьерой изъ голубой штофной матеріи и гнусное мѣсто пере-

стало сквернить зрѣніе. Однако, сдѣлавъ это, онъ убѣдился, что еще не все острожное закрыто. Оставалось не скрытымъ узкое, какъ въ подвальномъ этажѣ, окно и рѣшетка, похожая на намордникъ; кромѣ того, камеру безобразила печка, вся изрытая разными надписями и захватанная ладонями. Съ окномъ, однако, онъ быстро сладилъ, прикрывъ его тюлевыми занавѣсками, а на подоконникъ прикрѣпилъ горшокъ съ небольшою пальмой, послѣ чего ржавыя палки желѣза были въ достаточной мѣрѣ замаскированы. Что касается печки, то это безобразное созданіе не поддавалось никакому украшенію. Бабочкинъ недоумѣвалъ, какимъ образомъ скрыть этотъ глиняный столбъ въ пять аршинъ высоты, облупленный снизу до верху? Онъ пробовалъ закрывать его картинами, но у него не было такого огромнаго полотна; онъ занавѣсилъ ее ковромъ, но коверъ висѣлъ на ней, какъ тряпка. Наконецъ, онъ возненавидѣлъ это чудовище; чтобы не видѣть гнуснаго зрѣлища облупленной печки, онъ прикрылъ ее простынями.

На нѣкоторое время онъ успокоился. Въ общемъ камера выглядѣла не дурно; по крайней мѣрѣ, во время самой работы Вабочкинъ весело любовался украшеніями.

Но черезъ нѣсколько дней его стала давить украшенная имъ комната. Онъ велѣлъ сначала выбросить ковры, мѣшавшіе ему ходить свободно; потомъ онъ свалилъ въ одну кучу и выбросилъ всѣ кабинетныя бездѣлушки, загромождавшія столъ; потомъ онъ сдернулъ и разорвалъ тюлевую занавѣску съ окна, а пальму бросилъ за рѣшетку на дворъ, потому что онѣ закрывали свѣтъ и воздухъ; наконецъ, онъ велѣлъ выбросить почти все, что наставилъ, и съ той поры уже перестаіъ обращать вниманіе на мрачныя тѣни темнаго жилища.

Опять онъ ходилъ по камерѣ въ волненіи и тревогѣ. Физическій организмъ его былъ еще силенъ и полонъ жизни, но жизни не было. Какъ всѣ арестанты, Бабочкинъ одно время занялся мелкими ручными работами изъ имѣющагося въ заключеніи матеріала; для этого онъ выбиралъ работы по своему вкусу, веселыя; такъ, онъ съ большимъ искусствомъ сдѣлалъ изъ спичекъ игрушечный домикъ въ пять этажей, съ окнами, съ дверями и балконами, и гордился этою хорошенькою бездѣлушкой. Но въ особенности онъ съ

увлеченіемъ сталъ заниматься скульптурой изъ мягкаго казеннаго хлѣба; сдѣлавъ въ видѣ опыта фигуру собаки, онъ затѣмъ съ увлеченіемъ принялся лѣпить изъ ржаного тѣста статую свободы. Онъ проработалъ нѣсколько дней надъ ней—и фигура удалась хорошо. Онъ долго любовался ею, и счастливая улыбка озаряла его лицо въ теченіе нѣсколькихъ дней. Но однажды рано утромъ, когда онъ спалъ, въ камеру вошелъ сторожъ, случайно сронилъ статуэтку на полъ и раздавилъ ее подъ своимъ сапогомъ, даже не замѣтивъ этого, потому что она была мягкая.

Нѣсколько дней Бабочкинъ ходилъ по камерѣ грустный и встревоженный, но онъ не зналъ, отчего тоска овладѣла имъ, потому что не помнилъ своей статуэтки. Онъ, видимо, старался понять, что̀ онъ ищетъ, но не могъ припомнить. Память совсѣмъ уже разрушилась у него. Нѣсколько дней онъ тревожно ходилъ по своей камерѣ и все чего-то искалъ.

Послѣдній свой день онъ провелъ въ величайшемъ смятеніи. Едва напившись чаю, онъ безпокойно сталъ ходить возлѣ стѣнъ камеры и прислушивался. По временамъ онъ что-то слышалъ и блѣднѣлъ. Это были несомнѣнно стоны. Но откуда они раздаются? Чтобы разрѣшить это недоумѣніе, онъ осмотрѣлъ всѣ щели въ дверяхъ и въ окнѣ, предполагая, что воетъ сквозной вѣтеръ, но когда онъ старательно заткнулъ всѣ замѣченныя трещины, то убѣдился въ неправдоподобности своего предположенія. Стоны все-таки раздавались и причиняли ему сильное страданіе.

Онъ сталъ ходить взадъ и впередъ и этимъ заглушалъ мучительные звуки. До обѣда онъ провелъ время въ ходьбѣ. Потомъ ему принесли обѣдъ; онъ съѣлъ его съ животною жадностью и былъ недоволенъ, что ему мало принесли. Впрочемъ, это обстоятельство онъ забылъ сейчасъ же послѣ обѣда, отвлеченный составленіемъ письма къ президенту французской республики, чтобы убѣдить его въ необходимости посылки оркестра въ Сахару; письмо это онъ быстро написалъ странными каракулями, мало похожими на буквы. Онъ уже хотѣлъ позвать сторожа, чтобы отдать ему письмо, но вдругъ опять раздались стоны. Боже, какое это мученье!

Взволнованный, онъ сталъ прислушиваться и, наконецъ,

понялъ источникъ звуковъ: они раздавались изъ пола. Очевидно, подъ поломъ проведены были электрическія проволоки, проводящія стоны со всѣхъ концовъ свѣта; стоны проникаютъ въ подошвы, а оттуда черезъ все тѣло въ уши. Кто этого не испыталъ самъ, тотъ не знаетъ, какія страшныя страданія причиняютъ электрическія проволоки. Бабочкинъ стоялъ по серединѣ комнаты съ искаженнымъ отъ боли лицомъ и не зналъ, что дѣлать.

Но напряженная, вихремъ несущаяся мысль его моментально вывела его изъ затрудненія. Онъ влѣзъ на кровать и этимъ путемъ прекратилъ прямой доступъ больныхъ звуковъ. Они только слабо раздавались. Чтобы совсѣмъ заглушить ихъ, онъ рѣшилъ смѣяться. Но страшные звуки все-таки еще слышались. Тогда онъ рѣшилъ, что если влѣзетъ на столъ и будетъ хохотать, то звуковъ совсѣмъ не будетъ слышно. Онъ бросился на столъ, всталъ на него и захохоталъ.

Этотъ дикій, нечеловѣческій хохотъ пронесся по сводамъ острога и заставилъ задрожать всѣхъ, кто его слышалъ.

Черезъ нѣсколько часовъ Бабочкина увезли въ домъ умалишенныхъ.

Грязевъ.

(Очерки нравовъ).

I.

Голова.

Виды города, открывавшіеся взорамъ Конона Петровича Покрышкина, когда онъ по вечерамъ выходилъ на свой балконъ „для воздуху", какъ онъ выражался, не представляли ничего выдающагося, помимо того, что они были знакомы ему съ самаго дѣтства. Вдали виднѣлся лѣсъ, поле, нѣсколько деревень съ церквами и дороги въ разныхъ направленіяхъ, а вблизи, тотчасъ возлѣ города, зіялъ оврагъ, изъ котораго, при благопріятномъ вѣтрѣ, несло запахомъ падали, потому что граждане сваливали въ него дохлыхъ лошадей, собакъ, кошекъ, протухлые остатки скотобойни и прочія вещи, сдѣлавшіяся во внутренности города ненужными. Виднѣлась еще рѣчка Соня, на которой стоялъ Грязевъ, чрезвычайно мелководная и съ лѣниво текущею водой, отличавшеюся нѣкоторыми особенными, только ей одной свойственными качествами, напримѣръ, громаднымъ содержаніемъ микроскопическихъ животныхъ. Далѣе вокругъ всего города, подобно пирамидальнымъ монументамъ, цѣпью возвышались сорныя кучи, показывавшія, съ одной стороны, желаніе жителей держать себя чисто, а съ другой—склонность ихъ къ консервативнымъ чувствамъ, но при благопріятномъ вѣтрѣ онѣ также издавали нехорошій запахъ.

Это виды природы.

Самый городъ, съ площадью по серединѣ, съ переулками по бокамъ, вмѣсто улицъ, и съ необъятными пустырями по окраинамъ, не имѣлъ никакихъ достопримѣчательностей; даже каменныхъ домовъ въ немъ было всего шесть, изъ которыхъ одинъ принадлежалъ Конону Петровичу Покрышкину, другой былъ занятъ исправникомъ Яковомъ Кузьмичемъ Кулаковымъ, четыре остальные находились подъ присутственными мѣстами. Однимъ словомъ, Конону Петровичу нечего было осматривать, такъ что, дѣйствительно, онъ выходилъ „для одного воздуху", котораго ему требовалось очень много, по причинѣ его тучности и одышки, постоянно грозившей ему удушеніемъ. Мѣстный докторъ такъ прямо и говорилъ ему, нисколько не скрывая опасности, но что же ему дѣлать? Еще когда онъ самъ управлялъ мучнымъ лабазомъ, страданія его не доходили до такой степени, чтобы грозить ему преждевременною смертью, потому что тогда онъ все-таки занимался дѣлами, придававшими ему болѣе худощавости, а когда его выбрали въ головы и онъ всю торговлю сдалъ сыновьямъ, сохранивъ за собой одно главенство, жизненная дѣятельность его дошла до нуля, страданія же возросли до послѣдней крайности. Въ думу онъ ходилъ аккуратно и старался во все самъ вникать, безъ помощи секретаря, но несчастіе его состояло въ томъ, что вникать-то ему было не во что, и потому во время засѣданій онъ только храпѣлъ, вытирая платкомъ потъ, безпрерывно струившійся по его лицу, воздуху же для него нигдѣ недоставало.

Страданіямъ Конона Петровича Покрышкина много способствовали еще нѣкоторыя привычки, бывшія полезными во время его энергичной дѣятельности, когда онъ неутомимо занимался своими дѣлами, и сдѣлавшіяся убійственными послѣ его избранія на должность головы, когда для него всякая тѣнь дѣятельности прекратилась; такъ, напримѣръ, имѣя наклонность къ плотной и основательной пищѣ, онъ ѣлъ и продолжалъ ѣсть бѣлужину, икру, сомовину, балыкъ, блины и проч., и пристрастіе къ этимъ вещамъ дошло въ немъ до степени мучительной потребности, отстать отъ которой у него не было силы. Бросилъ онъ только тѣ привычки прежней жизни, которыя не касались внутреннихъ убѣжденій, отказавшись носить пестрый жилетъ, картузъ и

длиннополое платье. Выбранный въ головы, онъ призвалъ къ себѣ извѣстнаго всему городу портного Якимова и освѣдомился у него насчетъ того, какое въ нынѣшнее время носятъ платье.

Но измѣненіе этой старой привычки на новую нисколько не облегчило его одышки, ибо костюмъ, сшитый портнымъ Якимовымъ, оказался вреднымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Портной шилъ его два мѣсяца, передѣлывалъ пять разъ, безчисленное число разъ примѣривая къ корпусу Конона Петровича, пуская въ ходъ и мѣрки, и глазомѣръ, и собственные пальцы, которыми онъ ощупывалъ неровности тѣла Конона Петровича, и умственныя соображенія, но, тѣмъ не менѣе, когда онъ, въ пятый разъ, принесъ платье и съ отчаяніемъ принялся натягивать его, то оно снова оказалось ни къ чему негоднымъ. Кононъ Петровичъ разразился тогда упреками и укорялъ Якимова въ безстыдномъ самохвальствѣ, говоря сердито, что онъ только считается портнымъ столичнымъ, а на самомъ дѣлѣ можетъ шить одни портки и поддевки. Портной также разозлился, несмотря на кроткій характеръ.

— Кононъ Петровичъ,—воскликнулъ онъ дрожащимъ голосомъ,—я не виноватъ! Главнѣйшее дѣло, цивилизація къ вамъ не подходитъ, а вовсе не я причина тутъ!

Платье такъ и осталось плохо сдѣланымъ; оно и стѣсняло грудь, и давило на животъ, и стягивало шею, вслѣдствіе чего удушеніе и скоропостижная смерть стали съ этой поры представляться Конону Петровичу еще болѣе близкими. Тогда-то онъ и началъ выходить каждый вечеръ на свой балконъ „для воздуху", оставался здѣсь по цѣлымъ часамъ, вплоть до того времени, когда надъ площадью, находящеюся передъ его глазами, и надъ всѣмъ городомъ распространялся непроницаемый мракъ. Обыкновенно ему никто не мѣшалъ въ этомъ занятіи; въ городѣ стояла вѣчная сонная тишина; если кто и проходилъ по площади, то нисколько не удивлялся, видя Покрышкина сидящимъ на балконѣ, отдувающимся отъ духоты и вытирающимъ платкомъ потъ съ лица,—до того всѣ привыкли видѣть голову въ такомъ положеніи.

Но Кононъ Петровичъ не всегда оставался безъ дѣла на своемъ балконѣ. Часто на свой балконъ, находящійся наискось дома Покрышкина, выходилъ и Яковъ Кузьмичъ, по-

являвшійся на балконѣ не для воздуху, а для наблюденій за порядками въ городѣ. По крайней мѣрѣ, самъ онъ такъ хвастался, говоря всѣмъ, что у него образцовый порядокъ, и еслибы, говорилъ онъ, во ввѣренномъ ему уѣздѣ пропалъ грошъ, то, навѣрное, онъ былъ бы возвращенъ своему хозяину. Замѣтивъ Якова Кузьмича, Кононъ Петровичъ раскланивался съ нимъ. Нѣкогда онъ поздравлялъ его съ добрымъ вечеромъ во всеуслышаніе, черезъ площадь, но исправникъ разъ строго замѣтилъ ему, что это неприлично, и Покрышкинъ пересталъ здороваться такимъ способомъ. Однако, не проходило вечера, чтобы два начальника города не обмѣнялись знакомыми имъ знаками, показывавшими ихъ дружелюбныя отношенія. Обмѣнъ привѣтствій всегда былъ одинаковъ. Обыкновенно Покрышкинъ дѣлалъ руками и головой такія движенія, которыя между всѣми людьми сопровождаютъ выпивку и закусываніе; это означало, что Покрышкинъ проситъ исправника Кулакова зайти къ нему и закусить. Яковъ Кузьмичъ отвѣчалъ на это различно; если онъ былъ почему-либо не расположенъ принять приглашеніе Покрышкина, то снималъ свою бѣлую фуражку, и тогда Покрышкинъ заключалъ, что Кулаковъ закусить не желаетъ, всего же чаще Кулаковъ, снявъ фуражку, мгновенно надѣвалъ ее, что означало: иду!—и приходилъ.

Скоро появлялась въ комнатахъ Покрышкина длинная, съ крючковатымъ носомъ и съ загорѣлымъ лицомъ фигура исправника Кулакова, а вслѣдъ за нимъ на столъ становились разныя угощенія. У головы Покрышкина всегда про запасъ содержалась какая-нибудь новинка, выписанная изъ губернскаго города: боченокъ икры, свѣжій балыкъ, добрая водка, но онъ скромно хвалился всѣми этими вещами.

— Попробуй-ка, Яковъ Кузьмичъ, вонъ этого,—говорилъ онъ.—На-дняхъ предоставлена изъ губерніи. Самъ-то еще не пробовалъ, какова на вкусъ, не привелось. Отвѣдай-ка, хороша-ли?

Исправникъ Кулаковъ отвѣдывалъ и всегда на лицѣ его отражалось одобреніе, выражаемое имъ тѣмъ, что онъ похлопывалъ ладонью по животу Покрышкина и весело говорилъ:

— Хорошо, хорошо! У тебя, Кононъ Петровичъ, ничего худого не бываетъ, откровенно тебѣ скажу, другъ мой. Что правда, то правда; ты у меня молодецъ!

Это говорилось покровительственнымъ тономъ, но голова Покрышкинъ съ удовольствіемъ гладилъ себѣ бороду въ то время, какъ его маленькіе, заплывшіе глазки хитро смѣялись.

Вслѣдъ за закуской часто появлялся столикъ съ шашками, за которымъ бражники просиживали до полуночи, причемъ голова Покрышкинъ неизмѣнно загонялъ исправника Кулакова въ ретирадникъ, а исправникъ Кулаковъ бѣсился, ругался непечатною бранью и дѣлалъ новыя ошибки. Но это былъ единственный случай, гдѣ голова Покрышкинъ бралъ верхъ надъ исправникомъ Кулаковымъ; во всемъ остальномъ онъ подчинялся послѣднему, наставлявшему его въ дѣлахъ думы, въ дѣлахъ управы и вообще во всѣхъ общественныхъ дѣлахъ.

Несмотря на пріятельскія отношенія, существовавшія между ними, исправникъ Кулаковъ держался съ головой Покрышкинымъ покровительственнаго тона, говорилъ съ нимъ иногда строго и нерѣдко давалъ понять, что хотя онъ и находится въ зависимости отъ думы, но, въ сущности, это самая пустая зависимость, ни мало не связывающая его, и что между исправникомъ и головой есть большая разница, которую не слѣдуетъ забывать. Какъ умный человѣкъ, голова Покрышкинъ пропускалъ это мимо ушей. Онъ замѣчалъ, съ какимъ почтеніемъ относятся къ нему всѣ городскія власти, большая часть которыхъ даже ухаживаетъ за нимъ, и довольствовался этимъ; былъ доволенъ онъ и дружбой исправника Кулакова, считая ее большимъ снисхожденіемъ къ себѣ, и не обижался покровительственнымъ тономъ. Исправникъ былъ его начальникъ.

Голова Покрышкинъ сначала даже удивлялся, что съ нимъ обращаются хорошо, не вытирая объ него ноги, какъ бывало раньше. Знавалъ онъ много печальныхъ случаевъ съ грязевскими головами, бывшими до него. Ему было извѣстно, что его предшественника Корчагина одна проѣзжающая особа оскорбила дѣйствіемъ публично, во время базарнаго дня, и не получила за это ничего, кромѣ совѣта поступать въ такихъ случаяхъ осторожнѣе; ему также разсказывали, что предшественнику Корчагина, не имѣвшему счастія пользоваться самоуправленіемъ, исправникъ Свистуновъ выдернулъ половину бороды, развѣявъ шерсть по вѣтру, такъ что борода отросла только черезъ годъ. Вообще, голова Покрыш-

жинъ зналъ очень печальныя происшествія, бывшія до самоуправленія и объяснявшія, какимъ несчастіямъ могъ бы онъ подвергнуться, еслибы жилъ въ тѣ времена. Теперь же съ нимъ ничего подобнаго быть не могло, въ чемъ онъ положительно былъ увѣренъ, и дорожилъ своимъ положеніемъ, гордился своею безопасностью. За нимъ, какъ онъ видѣлъ, даже ухаживаютъ, забѣгаютъ впередъ, обращаются съ просьбами, а вмѣсто приказаній совѣтуютъ. Всѣмъ этимъ онъ вполнѣ удовлетворялся; глядя же на строгія манеры Кулакова и слушая его покровительственный тонъ, онъ только хитро улыбался про себя.

— Пущай!—говорилъ онъ.—Пущай подымаетъ голову и возвышается! А вотъ какъ перестану шальныя-то деньги выдавать, тогда мы поглядимъ, какъ онъ запоетъ! Пущай его!

Живя мирно съ Яковомъ Кузьмичемъ и довольствуясь оказываемымъ ему почетомъ, голова Покрышкинъ безпрекословно исполнялъ всѣ требованія исправника, который для его предшественниковъ былъ бы грозой, а для него оказался неизмѣннымъ другомъ. Самъ голова Покрышкинъ ничего не предпринималъ и ничего не дѣлалъ, исполняя лишь строгія предписанія, заказываемыя для него и для думы начальствомъ и выдавая требуемыя деньги. Исправникъ Кулаковъ бралъ деньги двумя способами: онъ или посылалъ прямо головѣ Покрышкину бумагу за номеромъ такимъ-то, или объяснялъ дѣло во время закуски, но и въ этомъ случаѣ онъ не унижался до просьбы, а просто заявлялъ шутливо:

— Ну, Кононъ Петровичъ, тебѣ, видно, придется раскошеливаться,—начиналъ исправникъ, наливая рюмку водки и приготовляя кусокъ осетрины, причемъ онъ глубоко погружался въ свое занятіе и не поднималъ глазъ на хозяина.

— Ужели еще расходъ, Яковъ Кузьмичъ? Ежели такъ-то я буду расходовать суммы, такъ, пожалуй, всю кассу скоро раскассирую,—отвѣчалъ голова Покрышкинъ и поглаживалъ себѣ бороду. Онъ отлично понималъ, куда клонитъ разговоръ Яковъ Кузьмичъ, но скромно ждалъ, что̀ будетъ дальше.

— Что дѣлать, братъ, нужда! Казенная необходимость!—возражалъ исправникъ и объяснялъ казенную необходимость, на которую требуется крупная сумма. Увеличеніе штата

пожарныхъ, покупка подъ пожарныя машины колесъ, которыя, разумѣется, разсохлись, покупка новыхъ лошадей для пожарныхъ машинъ или выписка пожарной „кишки“,— все это требовало много денегъ. Кишка особенно часто выписывалась, потому что, какъ извѣстно, она дѣлается изъ весьма непрочнаго матеріала; разъ пять въ годъ она портилась, и каждый разъ, какъ исправникъ сообщалъ о ея порчѣ, онъ оставался спокойнымъ, не моргая даже глазами отъ стыда, какъ ожидалъ иногда голова Покрышкинъ. У Якова Кузьмича дѣло выходило просто.

— Да, тебѣ ужь придется раскошеливаться. Ты, пожалуйста, поговори тамъ въ думѣ, чтобы мнѣ выдали необходимыя средства для выписки, а то случись пожаръ—мы съ тобой цѣлый городъ спалимъ.

— Что-жь кишка? Не годится?—спрашивалъ голова Покрышкинъ, и его маленькіе глазки, устремленные на Якова Кузьмича, безмолвно смѣялись.

— Говорю—не годится, новую надо выписывать.

— Тссс! Стало быть, разорвало ее, кишку-то?

— Лопнула... Ты ужь, пожалуйста, поговори тамъ... на выписку, молъ, кишки. Однако, балыкъ у тебя нынче превосходный, просто пальчики оближешь.

Яковъ Кузьмичъ весь былъ погруженъ въ созерцаніе балыка.

— Зачѣмъ пальцы облизывать, кушай на здоровье...

Кононъ Петровичъ насквозь видѣлъ Якова Кузьмича, но молчалъ и выдавалъ деньги на кишку. Между тѣмъ, исправникъ, въ кругу своихъ близкихъ друзей, между которыми самымъ интимнымъ былъ квартальный Чертыхаевъ, объяснялъ податливость головы глупостью, увѣряя, что онъ какъ былъ мужикъ сиволапый, такъ и остался имъ.

— Въ своихъ собственныхъ дѣлахъ его не проведешь, онъ тутъ самъ тебя сто разъ надуетъ, но вотъ въ дѣлахъ думы его постоянно надо учить; тутъ онъ ничего не смыслитъ, чистый дуракъ, увѣряю васъ!

Такъ говорилъ исправникъ Кулаковъ и ошибался, выдавая свою безнаказанность за чужую глупость. Голова Покрышкинъ многое понималъ и во все старался вникать, не говоря уже о дѣлахъ денежныхъ, среди которыхъ онъ былъ человѣкомъ, насквозь прокаленнымъ; если же онъ мало вни-

калъ въ общественныя дѣла, то справедливость требуетъ сказать, что не одинъ онъ былъ виноватъ, толстый бѣдняга! Во-первыхъ, городской сундукъ былъ вѣчно опустошаемъ на выписку кишекъ, на устройство и умноженіе клоповниковъ и на другія потребности, столько же обязательныя, сколько и чудныя; во-вторыхъ, тишина, царствовавшая постоянно въ городѣ, гдѣ жители никогда и ни о чемъ не заявляли, считая думу только болѣе или менѣе остроумнымъ орудіемъ для взиманія съ нихъ денегъ, была такого рода, что ежеминутно внушала мысль объ ихъ блаженномъ счастіи и отбивала всякую охоту нарушить ихъ спокойствіе. Непониманіе головой Покрышкинымъ своихъ обязанностей зависѣло оттого, что и понимать было нечего. Никто ничего не проситъ—значитъ довольны всѣмъ. Главная забота головы Покрышкина состояла въ раскассированіи—и онъ раскассировывалъ. Ему приказывали—онъ слушался; у него просили—онъ давалъ, и радъ былъ, что могъ давать на устройство клоповниковъ, потому что исправникъ хвалилъ его за такую готовность, нѣсколько разъ обѣщая выхлопотать ему награду—медаль за ревность.

Но одинъ разъ головѣ Покрышкину досталось за эту дружбу съ Яковомъ Кузьмичемъ и было нанесено оскорбленіе. Правда, непріятность эта избавила его на нѣкоторое время отъ страха удушенія или скоропостижнаго конца, поднявъ его духъ и силы, подавленные бездѣльемъ, но обида была велика и невыносима. Нанесъ ее тотъ же портной Якимовъ. Портной Якимовъ „Изъ Москвы", какъ значилось на его вывѣскѣ, будучи робкаго характера, въ продолженіи пяти дней недѣли, когда онъ прилежно работалъ, вдругъ, въ воскресенье и понедѣльникъ, превращался въ буйнаго и пьянаго человѣка, крошилъ стекла и своимъ непріятелямъ дѣлалъ словесныя оскорбленія. Голова же Покрышкинъ сдѣлался для него ненавистнымъ, особенно съ той поры, какъ не далъ ему свидѣтельства на открытіе лавочки съ готовымъ платьемъ, а такъ какъ Якимовъ былъ старожилъ, принявшій званіе столичнаго портного только по необдуманности, и зналъ всю подноготную каждаго жителя города, то его оскорбленіе вышло острымъ, ударивъ прямо въ носъ.

Сидѣлъ однажды, въ понедѣльникъ вечеромъ, Коновъ Петровичъ на своемъ балконѣ и тяжело дышалъ, отирая время

отъ времени потъ съ лица клѣтчатымъ фуляромъ и, конечно, не ждалъ для себя ничего худого; сыновья его всю недѣлю торговали порядочно и сами не безобразничали; другія домашнія дѣла также шли недурно; въ думѣ все было благополучно, а на площади въ эту минуту не было не только какого-нибудь человѣка, но даже и собаки, которая брехнула бы на него, ибо нельзя же считать живымъ человѣкомъ старушку у сосѣдняго домишка, вязавшую чулокъ и о чемъ-то разсуждавшую съ собой. Вдругъ на концѣ площади появился портной Якимовъ и направился къ дому головы Покрышкина, дѣлая отклоненія отъ намѣченнаго пути только ради уступки неповинующимся ногамъ; исколесивъ большую часть площади, онъ очутился, наконецъ, прямо противъ балкона, шагахъ въ двадцати отъ Конона Петровича, и, покачиваясь на всѣ четыре стороны, обратился съ вопросомъ къ послѣднему:

— Ты кто?—спросилъ онъ глухимъ голосомъ.

Кононъ Петровичъ не считалъ нужнымъ входить въ разговоры съ пьяницей и молчалъ. Долгое время хранилъ молчаніе и портной Якимовъ, забывъ свой вопросъ, но черезъ нѣкоторое время поднялъ голову снова.

— Ты кто?—спросилъ онъ и тяжело вздохнулъ.

— Ступай домой, пьянчуга! Я тебѣ покажу, какъ со мной разговоры вести!—закричалъ съ балкона Кононъ Петровичъ, но этими словами только разозлилъ Якимова.

— Кто ты, говорю, голова или нѣтъ?—закричалъ, въ свою очередь, Якимовъ.

— Пошелъ домой!—закричалъ Кононъ Петровичъ и побагровѣлъ.

— А я тебѣ скажу—ты не голова!—началъ насмѣшливо Якимовъ.—Я тебѣ прямо скажу—ты не голова! Что̀ ты дѣлаешь съ исправникомъ? Шашни у васъ? И я тебѣ говорю—ты не голова, а больше ничего, какъ хвостъ! Можетъ, ты лабазомъ своимъ похваляешься? Такъ это, братъ, оставь. Лабазъ дѣло не стоющее, то-есть камень, глупость... И я на него плюю—вотъ гляди!—Якимовъ дѣйствительно харкнулъ по направленію къ лабазу и слюна длинною нитью потекла по его бородѣ, послѣ чего онъ продолжалъ.—Ты не голова! Кабы ты пользу городу сдѣлалъ—ну, такъ; тогда *бы ты могъ* похваляться, а то у тебя одинъ лабазъ, то-есть

камень, глупость. Ты думаешь, тебя кто добромъ помянетъ? Ни Боже мой! Умрешь ты и никто тебя не вспомнитъ, потому что какъ есть ты лабазъ и какъ для города никакой пользы нѣтъ отъ тебя, то и вышла одна глупость. Что̀ есть Покрышкинъ? Неизвѣстно. Въ какомъ смыслѣ Покрышкинъ? Неизвѣстно. По какой причинѣ голова? Никто не знаетъ. И вышелъ ты самъ ничего больше, какъ лабазъ, то-есть камень, глупость, и я на него плюю, вотъ гляди!

Якимовъ снова плюнулъ, и на этотъ разъ брызги разлетѣлись въ разныя стороны. Но, вслѣдствіе напряженія силъ, онъ понахмурился и началъ колесить вокругъ, ища точки опоры и отчаянно размахивая руками, въ то время, какъ Кононъ Петровичъ хотѣлъ подняться—и не могъ; онъ побагровѣлъ до того, что, казалось, жилы на его лицѣ сейчасъ лопнутъ; даже старушка, всматривавшаяся въ эту сцену, сказала себѣ: „У, осерчалъ голова!“ Портной Якимовъ, между тѣмъ, совсѣмъ обезсилѣлъ, готовый ежеминутно растянуться на землѣ, но нашелъ возможность сказать еще нѣсколько словъ:

— Ахъ, ты, голова!... Не голова ты, а башка пустая! Больше я тебѣ ничего не скажу!

Больше онъ дѣйствительно ничего не сказалъ, потому что совсѣмъ потерялъ силы сохранять равновѣсіе, отяжелѣлъ и повалился на землю, а черезъ нѣкоторое время уже храпѣлъ на всю площадь. Никто этого не видалъ; только одна старушка съ чулкомъ, качая старою головой, сказала: „Ахъ, грѣхи, грѣхи!“—зѣвнула и перекрестилась.

Что касается Конона Петровича, то онъ долго не въ состояніи былъ подняться съ мѣста, какъ бы пригвожденный къ стулу; багровое лицо его было ужасно, руки дрожали, дыханіе было порывисто. Отдышавшись, онъ, однако, сошелъ внизъ и отправился отыскивать какого-нибудь полицейскаго, котораго нигдѣ не было видно, но Кононъ Петровичъ не полѣнился зайти даже въ часть, гдѣ у воротъ нашелъ спящаго будочника, растолкалъ его послѣ предварительной брани и велѣлъ взять въ темную портного Якимова, валявшагося на площади, причемъ наказывалъ стражу хорошенько накласть въ загорбокъ мошеннику, а утромъ прислать его къ нему, головѣ, и внушить, чтобы онъ чувствовалъ.

— Оскорбилъ онъ меня, паршивикъ! Ужо я съ нимъ поговорю, сволочь эдакая! -- говорилъ голова Покрышкинъ, уходя изъ части и еще не оправившись отъ гнѣва.

Гнѣвъ его, однако, скоро прошелъ, а обида чувствовалась только въ той мѣрѣ, въ какой онъ раньше питалъ почтеніе къ себѣ, надѣясь, что то же самое почтеніе должны были оказывать ему и всѣ граждане, какъ ихъ законному головѣ и представителю. Теперь онъ палъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, осрамленный портнымъ, и съ этого дня заскучалъ, страдая не только физически—отъ одышки, отъ мускульной бездѣятельности, но и душевно—отъ душевной пустоты, чтѝ онъ самъ понялъ. Была еще въ этихъ страданіяхъ небольшая доля страха передъ пустою смертью, которую никто не оплачетъ, которой будутъ даже радоваться и послѣ которой отъ него не останется ничего, кромѣ лабаза, ни одного дѣла, стоющаго воспоминанія и благодарности со стороны согражданъ.

Въ сущности, Кононъ Петровичъ Покрышкинъ всегда страдалъ отъ бездѣлья, сдѣлавшагося постояннымъ послѣ его избранія въ думу, и страданія его были неизбѣжны. Онъ не принадлежалъ къ родовитому купечеству, которое испоконъ вѣковъ страдаетъ одышкой, и не былъ настоящимъ купцомъ, получившимъ отъ своего дѣда лисью шубу, отъ тятеньки—лабазъ, отъ жены—сундукъ; нѣтъ, все это Кононъ Петровичъ самъ долженъ былъ заработать своими руками и умомъ. Портной Якимовъ помнитъ, какъ Кононъ Петровичъ въ былое время торговалъ тряпьемъ, какъ онъ потомъ завелъ мелочную лавочку, какъ послѣ этого ѣздилъ по всей губерніи скупать всякую дрянь, помнитъ вообще то время, когда Кононъ Петровичъ назывался просто торговцемъ Покрышкой. Это была дѣятельная жизнь, полная приключеній и ужасовъ, а иногда жалкая и унизительная. Тогда, понятно, Конону Петровичу засыпать было некогда; въ погонѣ за рублями онъ не смыкалъ глазъ и въ ловлѣ рублей не останавливался ни передъ какими трудами, всему подвергаясь. Онъ буквально прошелъ огонь, воду и мѣдныя трубы; часто ночевалъ въ полѣ, мокъ подъ дождемъ; нѣсколько разъ тонулъ въ рѣкахъ, не одинъ разъ замерзалъ среди бурана, привозя домой отмороженныя уши; вѣчно унижался, получалъ нерѣдко подзатыльники, былъ просто

битъ и, однимъ словомъ, жилъ въ безустанномъ трудѣ и безпрерывномъ страхѣ, получая каждый рубль только послѣ остервенѣлаго боя. Даже и женился на сундукѣ Алены Митревны самъ, а не посредствомъ тятеньки, котораго съ раннихъ лѣтъ дѣтства у него не существовало; даже грамотѣ выучился самъ, нанявъ учить себя, уже въ зрѣломъ возрастѣ, соборнаго дьячка, которому онъ платилъ натурой и деньгами. До сорока лѣтъ онъ не зналъ никого, не покладалъ рукъ и не бросалъ трудолюбивыхъ привычекъ, занимаясь увеличеніемъ своего благосостоянія.

И вдругъ послѣ такой адской жизни—полное успокоеніе! Меньше чѣмъ черезъ годъ Кононъ Петровичъ страдалъ уже одышкой, угнетаемый всяческимъ бездѣльемъ и неизмѣнною пустотой, мучимый неумѣньемъ пользоваться нажитымъ состояніемъ. Привычка къ труду въ немъ осталась, но практиковать ее было не надъ чемъ, а лабазъ больше его не занималъ, отданный двумъ сыновьямъ, которые и орудовали всѣмъ дѣломъ. Привычка къ бѣлужинѣ также не могла быть оставлена, но бѣлужина не превращалась больше въ работу рукъ и головы, переходила въ мясо, кровь и жиръ, которые безцѣльно накоплялись, такъ что Кононъ Петровичъ не могъ даже долго говорить, и потому портной Якимовъ безнаказанно могъ срамить его, не встрѣчая себѣ возраженія.

Между тѣмъ, силы Конона Петровича не пропадали совсѣмъ даромъ; онѣ только дѣлались невидимыми; прежняя дѣятельная энергія его сдѣлалась скрытою энергіей, превратившись въ мясо и жиръ, какъ первобытная теплота солнца скрылась въ залежахъ каменнаго угля. Голова Покрышкинъ началъ страдать отъ неумѣнья наполнить свою пустую жизнь; общественныя же дѣла города такъ мало обращали на себя вниманіе всѣхъ вообще жителей, что и онъ не занимался ими, долгое время даже не зная, что существуютъ такого рода дѣла. Однако, еслибы онъ взялся за исполненіе миссіи городского представителя, то, можетъ быть, изъ этого что-нибудь и произошло-бы, и могло случиться, что онъ пересталъ бы задыхаться отъ бездѣлья. Скрытая энергія, которой онъ обладалъ въ значительной степени, добиваясь мучного лабаза, и которая не совсѣмъ потонула въ пустотѣ существованія, скрытая энергія, направленная на общест-

венныя дѣла города Грязева, превратилась бы въ дѣятельную, какъ связка дровъ, брошенная въ печь паровоза, превращается въ движеніе, тѣмъ болѣе, что голова Покрышкинъ надѣленъ былъ опытностью и достаточнымъ умомъ. Кровь. мясо и жиръ могли сдѣлаться тогда полезными для человѣчества.

Нѣчто подобное и совершилось.

— Хочу поставить бассейнъ городу! сказалъ голова Покрышкинъ, занимая обычное мѣсто посерединѣ стола, въ то время, какъ другіе члены управы сѣли по бокамъ.

Заявленіе это было въ такой же мѣрѣ неожиданно, какъ громъ среди безоблачнаго неба, и произвело на всѣхъ дѣйствіе, необычайно сильное. А самъ Кононъ Петровичъ, высказавъ свое желаніе, отеръ клѣтчатымъ фуляромъ лицо и сердито посматривалъ на всѣхъ своихъ товарищей.

— Хочу поработать на пользу города! еще сказалъ онъ.

Всѣ хранили долгое время глубокое молчаніе, переглядываясь и не зная, что говорить и думать. Это были все короткошейные люди, туземцы города, для которыхъ требовалось продолжительное время, чтобы сообразить какое-нибудь предложеніе, выходящее изъ ряда обыкновеннаго. Они молчали; притомъ, они привыкли во всемъ слушаться своего головы, принимая каждое его хотѣніе безъ разсужденія. Только одинъ трактирщикъ, бывшій здѣсь, съ бойко и подозрительно глядѣвшими глазами, сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній.

— Какъ бы изъ этого бассейна, шутъ его возьми, что не произошло?—замѣтилъ онъ.

Кононъ Петровичъ не обратилъ на это вниманія.

— А на какой грѣхъ, Конъ Петровичъ, бассейнъ городу? —спросилъ еще разъ трактирщикъ и выразилъ мысль, что воды у города довольно.

— Довольно? Значитъ, не довольно, коли я говорю,—сказалъ разсерженный Покрышкинъ.—Ужь если я что говорю, то вѣрно. Есть у насъ рѣчка, а водой ее нельзя назвать, вши тамъ много. Доколѣ же городъ будетъ ѣсть вошь? Воду изъ Крестовскаго родника провести не хитро, была бы охота.

Крестовскій родникъ дѣйствительно былъ не далеко отъ города, находясь, притомъ, на возвышеніи, съ котораго легко было провести воду, не прибѣгая къ искусственному поднятію уровня. До сихъ поръ воду изъ рудника брали только

богатые граждане, имѣющіе лошадей и кучеровъ, всѣ же остальные жители брали воду изъ Сони. Это въ короткихъ словахъ и разъяснилъ Кононъ Петровичъ. Но трактирщикъ сдѣлалъ еще возраженіе:

— Оно, конечно, Кононъ Петровичъ, вамъ лучше знать эти дѣла. Но, по своему глупому разсужденію, я думаю такъ: большія тутъ нужны суммы! А гдѣ мы возьмемъ суммы?

Кононъ Петровичъ побагровѣлъ; онъ вообще не терпѣлъ возраженій, а теперь и не думалъ, что ему поставитъ кто-нибудь препятствіе. Онъ еще разъ утерся платкомъ и, возбужденный до послѣдней степени, заговорилъ прерывающимся голосомъ:

— Хочу я послужить честно городу, а вы мнѣ препятствуете. Куда идутъ наши суммы? По нынѣшній день, нѣсколько годовъ сряду, съ самаго первоначалу, пока дали намъ положеніе, испоконъ вѣковъ куда идутъ суммы? Чай, знаете. Ничего у насъ не было и ничего не будетъ; слава только, что въ думѣ сидимъ, а какой изъ насъ прокъ городу —неизвѣстно. Хочу я послужить съ этого дня на общую пользу, а вы мнѣ препятствуете, и никакой причины этому нѣтъ. Есть у насъ подъ бокомъ рѣка, а тамъ вошь. На улицахъ чистая смерть, иной разъ домой къ себѣ не пролѣзешь черезъ эти самыя улицы. На площади въ нынѣшнюю весну свинья утонула, чай, знаете. Ничего у насъ нѣтъ, и хочу я честно послужить на пользу, а вы мнѣ препятствуете.

Кононъ Петровичъ такъ взволновался, что не могъ продолжать эту непривычно длинную рѣчь. Онъ тяжело перевелъ духъ.

— Кононъ Петровичъ! Мы не препятствуетъ! Тебѣ ближе знать, какъ и что... Мы не препятствуемъ!—заговорили всѣ бывшіе налицо представители города, не менѣе головы взволнованные до глубины души. Только послѣ этого Кононъ Петровичъ былъ въ состояніи продолжать.

— Ежели вы мнѣ будете препятствовать — уйду; такъ прямо и говорю—не буду служить... Суммы!... Какія намъ еще суммы, коли ежели мы не будемъ ихъ раскассировывать? Недостанетъ общественныхъ—откажусь отъ жалованья... Да и сейчасъ отказываюсь! Не хочу жалованья! Хочу

изъ чести служить, на пользу общую! Берите мое жалованье! Недостанетъ общественныхъ—своихъ приложу. Нате, берите мои, чтобы на пользу общую! У меня, слава Богу, есть чѣмъ жить. Только чтобы была польза городу, а мнѣ почетъ, и не препятствуйте мнѣ, честью вамъ говорю!

Нельзя выразить волненія, какое овладѣло Покрышкинымъ, когда онъ говорилъ эту рѣчь задыхающимся голосомъ; можно только отмѣтить внѣшніе признаки, выразившіе въявь его необыкновенно возбужденное состояніе: онъ вынулъ два платка и въ одинъ изъ нихъ высморкался, а другимъ утеръ потъ, послѣ чего положилъ ихъ на столъ и началъ осматривать всѣхъ присутствующихъ, желая, повидимому, удостовѣриться, не найдется-ли и послѣ этого въ ихъ числѣ такой, который будетъ препятствовать? Нашелся. Это былъ все тотъ же трактирщикъ, боявшійся, съ устройствомъ водопровода, потерять значительную долю посѣтителей своихъ, предпочитавшихъ его чай вшивой водѣ изъ Сони. Онъ опять возразилъ, что это дѣло большое, на которое нужны суммы и хлопоты, а кто захочетъ взять на себя эти хлопоты? Но онъ былъ прерванъ.

— А я хочу!—гнѣвно сказалъ голова Покрышкинъ.

Всѣ остальные присутствующіе, взволнованные въ такой же степени, какъ и самъ голова Покрышкинъ, заставили замолчать трактирщика, а Конону Петровичу выразили свое почтеніе, увѣряя, что они ему не препятствуютъ служить на общую пользу и даже совсѣмъ напротивъ, очень рады его предложенію. Кононъ Петровичъ сказалъ еще разъ, что оставитъ службу, если ему будутъ препятствовать. За этимъ послѣдовала общая суматоха, среди которой одинъ съ негодованіемъ накинулся на трактирщика, обвиняя его въ оскорбленіи головы, другой упрашивалъ Конона Петровича остаться на общую пользу, третій съ секретаремъ предложилъ заказать Конону Петровичу бюстъ, четвертый, видя, какъ расчувствовался Кононъ Петровичъ послѣ изъявленія ему довѣрія, самъ прослезился. Кононъ Петровичъ получилъ вдругъ такія полномочія и былъ награжденъ такою слѣпою вѣрой, какою пользуются только передовые бараны въ стадѣ овецъ, и, будь онъ человѣкомъ дурнымъ, расчувствуйся онъ по заказу, а не отъ волненія души, касса думы мигомъ была

бы раскассирована, а въ самой думѣ остался бы одинъ грошъ.

Этого, разумѣется, не могло случиться, потому что у Конона Петровича и въ мысляхъ ничего подобнаго не было; онъ искренно желалъ оказать пользу городу и заслужить прочное почтеніе со стороны жителей. Назначивъ самъ для себя дѣло и расходы на него, онъ больше не думалъ о сопротивленіи управы и думы; первая пришла въ умиленіе, вторая, если говорить по чистой совѣсти и безъ обиняковъ, никогда не существовала, рѣдко собираясь въ узаконенномъ числѣ и идя на самоуправленіе весьма не охотно, лишь подъ вліяніемъ увѣщаній своего головы. Такимъ образомъ, Кононъ Петровичъ былъ со всѣхъ сторонъ свободенъ и могъ безпрепятственно оказать городу пользу, осуществленіе которой онъ рѣшилъ начать почему-то съ чистки улицъ и проведенія водопровода.

Рѣшеніе Конона Петровича отдать свои послѣдніе годы на пользу города и для него самого было поразительно по безпримѣрности, потому что прежнее естество его заключалось въ томъ, чтобы убиваться за себя и за свой лабазъ, въ полномъ невѣденіи общественныхъ дѣлъ, занятіе которыми и не для него одного казалось чѣмъ-то необыкновеннымъ, чрезвычайнымъ, граничащимъ съ глупостью. Понятно, какъ былъ онъ возбужденъ, когда въ этотъ день явился въ свое семейство и объявилъ ему о своемъ рѣшеніи. Собравъ вокругъ себя всѣхъ домочадцевъ, состоявшихъ изъ жены Алены Митревны, двухъ сыновей, изъ которыхъ одинъ былъ женатъ, и тещи, онъ усѣлся на стулѣ и строго заговорилъ, видя лица сыновей не достаточно серьезными. Впрочемъ, онъ всегда говорилъ въ своемъ домѣ строго.

— Смирно! Слушайте, что я вамъ разскажу!—началъ Кононъ Петровичъ. — Не лѣзьте вы, Господа ради, ко мнѣ теперь съ вашими дѣлами и не препятствуйте. Хочу я послужить на пользу городу, и вы не препятствуйте. Довольно я послужилъ для себя, хочу для ради пользы города послужить, и приказываю вамъ не лѣзть ко мнѣ съ вашею дурью.

Далѣе Кононъ Петровичъ объяснилъ, что онъ будетъ строить водопроводъ для города, а потомъ примется и за другія дѣла. Что касается домашнихъ дѣлъ, то онъ отъ нихъ совершенно отстраняется, оставляя для себя одно право

давать отъ времени до времени подзатыльники и приказы своимъ сыновьямъ, если послѣдніе начнутъ баловаться. Эта оговорка была сдѣлана Кономомъ Петровичемъ не безъ основанія, такъ какъ сыновья его, здоровенные малые, съ подушками вмѣсто щекъ, съ заплывшими глазами, загоравшимися по временамъ чисто-животною радостью, хотя и называли своего отца тятенькой, выказывая передъ нимъ глубочайшее раболѣпство, но за глазами отца пользовались всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы прокутить и развѣять уйму отцовскихъ денегъ. Отецъ съ трудомъ управлялся съ ними, съ помощью угрозъ, брани и внушеній страха. Теперь, глядя на нихъ, Кононъ Петровичъ чувствовалъ отвращеніе къ своей прежней жизни и къ стоявшимъ передъ нимъ животнымъ, для которыхъ онъ почему-то всю жизнь работалъ и которые ждали только смерти его, чтобы пустить по вѣтру все его состояніе и погрузиться въ прежнюю бѣдность.

— Ну, смотрите!—прибавилъ Кононъ Петровичъ.—У меня гляди въ оба, веди дѣло чисто, а не то я... Вотъ куда я васъ зажму, ежели вы вздумаете безобразничать!—воскликнулъ Кононъ Петровичъ и показалъ сжатые кулаки. Послѣ этого онъ обратился къ женѣ и тещѣ:

— А ты, Алена Митревна, своихъ-то монашенокъ укроти малость, чтобы не очень часто шлялись и пороги обивали своими хвостами,—сказалъ онъ женѣ, которая любила принимать монашенокъ и іерусалимскихъ странницъ, безпрестанно заходившихъ къ ней.—Не то я смотрю-смотрю, да и разгнѣваюсь, тогда держись черные хвосты... сволочь эдакая! Только въ утробу живутъ, а не то чтобы для божественнаго... паскудницы!

Кононъ Петровичъ опять почувствовалъ отвращеніе къ прежней жизни, въ которой было такъ много дури, и увидѣлъ также непролазную темноту, среди которой жили онъ и его домочадцы.

Кононъ Петровичъ продолжалъ:

— Чтобы этого безобразія не было, и лучше не мѣшайте мнѣ. Хочу послужить на общую пользу. Довольно жить для своей утробы! Слава Богу, некуда больше жадничать, будетъ! Не припятствуйте мнѣ. Теперь пойдутъ у насъ реформы, спервоначалу водопроводъ, а послѣ и всѣ... Спроситъ губернаторъ: есть у васъ бассейнъ? Вотъ гляди, ваше

превосходительство, вонъ онъ самый бассейнъ! И воздвигнулъ его голова Покрышкинъ. А улицы вымощены? Сколько угодно, вотъ онъ—чистый булыжникъ! Богадѣльня? Извольте. Больница? Неугодно-ли посмотрѣть, вотъ она! Школа? Съ моимъ почтеніемъ, извольте. У насъ все есть, все будетъ. И все это понадѣлалъ голова Покрышкинъ. Не препятствуйте! Будетъ жадничать, довольно!

Кононъ Петровичъ перевелъ духъ, отеръ потъ съ пылающаго лица и, сдѣлавъ еще нѣсколько приказаній, отпустилъ домочадцевъ. Онъ наказалъ, чтобы не лѣзли къ нему съ дѣлами, и оставилъ для себя только наблюденіе за порядкомъ. Это рѣшеніе облегчило Конона Петровича, хотя онъ зналъ, что безъ его глазу сыновья навѣрно станутъ безобразничать и рады, что тятенька отказался вмѣшиваться въ ихъ дѣла; это онъ увидалъ тутъ же.

— Тятенька нашъ теперь закуралесилъ! Господь съ нимъ! Намъ же лучше, пусть куралеситъ!—говорилъ, выходя, старшій сынъ. Младшій захохоталъ.

— Смирно! Чему обрадовались, бѐзобразники?—закричалъ Кононъ Петровичъ на прощанье.

Онъ догадался объ этой радости и зналъ, что современемъ онъ совсѣмъ можетъ потерять власть надъ домомъ, но отвращеніе къ дури прежней жизни и къ бездѣлью настоящей было въ немъ такъ сильно и болѣзненно въ эту минуту, а желаніе „послужить на пользу“ было такъ неожиданно и поразительно, что онъ не поколебался въ своемъ рѣшеніи. До этого времени онъ точно и строго выполнилъ програму жизни настоящаго русскаго человѣка, доставилъ себѣ состояніе и обзавелся домашнимъ омутомъ; на это у него ушла, какъ и у всякаго коренного русскаго человѣка, большая половина жизни, а дальше онъ по програмѣ долженъ былъ наслаждаться жизнью созданнаго имъ самимъ ада. Очевидно, что по програмѣ ему просто некогда было заниматься общественными дѣлами, ибо у него, какъ у всякаго, остальная половина жизни должна была пройти въ вознѣ съ омутомъ; онъ долженъ былъ управлять имъ, вносить въ него хотя наружный порядокъ, заботиться хотя о внѣшней благопристойности, приводить самимъ имъ нарожденныхъ, но невоспитанныхъ животныхъ хотя къ временному повиновенію, наказывать ихъ, укрощать, тушить нена-

висть и злобу, снѣдающую ихъ, кипѣть и бѣсноваться, отравляясь и отравляя другихъ,—однимъ словомъ, продѣлывать все, къ чему обязываетъ программа жизни. Какія тутъ общественныя дѣла? Некогда! Но Кононъ Петровичъ, строго выполнивъ первую половину житейской программы, отъ второй половины, по чистой случайности, отказался и разгорѣлся желаніемъ послужить на общую пользу, хотя, какъ умный человѣкъ, и сознавалъ опасность покинуть омутъ безъ призора,—опасность столь же сильную, какъ напоминаніе о непріятелѣ, оставленномъ въ тылу.

Его рѣшенію способствовало еще то обстоятельство, что отовсюду онъ встрѣчалъ соглашеніе съ нимъ, одобреніе и даже похвалу. Одинъ исправникъ держалъ себя странно. Черезъ нѣсколько дней послѣ достопамятнаго засѣданія управы у Конона Петровича былъ исправникъ и похвалилъ икру, а когда немного закусилъ, то похвалилъ и его самого. Но на этотъ разъ голова Покрышкинъ былъ менѣе гостепріименъ, отказался бражничать до полуночи и не захотѣлъ играть въ шашки, чему не мало удивился исправникъ Кулаковъ, не воображая, что этотъ вечеръ будетъ послѣднимъ вечеромъ ихъ дружбы, какъ не воображалъ и голова Покрышкинъ. Вражда открылась упорствомъ головы Покрышкина, который не пожелалъ выдать деньги на выписку обоевъ и нѣкоторой мебели для квартиры исправника.

— Кстати, Кононъ Петровичъ, похлопочи насчетъ мебели,—сказалъ, между прочимъ, исправникъ, подставляя рюмку на свѣтъ, чтобы удостовѣриться, насколько чиста водка.—Я давно хотѣлъ поговорить тебѣ, да все забывалъ: пожалуйста, не забудь хоть ты. Мебель и въ канцеляріи развалилась, просто стыдъ! Необходимо пріобрѣсти новую. Я бы послалъ вамъ бумажку, да вѣдь у васъ тамъ завелась канцелярщина! А я люблю по-военному: разъ, два, бацъ—готово!.. Икра у тебя, другъ мой, отличная, откуда ты выписываешь?

— Икра какъ слѣдуетъ, скусъ настоящій... Только мебель, ты говоришь, не годится?—спросилъ Кононъ Петровичъ, но безъ обычной насмѣшливости, а тревожно и печально.

— Сгнила! Того и гляди разобьешь голову!

Но Кононъ Петровичъ задумчиво гладилъ себѣ бороду.

— Ты теперь погоди, Яковъ Кузьмичъ. Мнѣ въ нынѣш-

нее время заниматься недосугъ этою самою небелью. Ты ужь погоди.

— Какъ погоди?—строго сказалъ Яковъ Кузьмичъ.—Говорятъ тебѣ, крайняя нужда! Нѣтъ, ты, пожалуйста, выдай.

— Нельзя, Яковъ Кузьмичъ, невозможно! Сдѣлай милость, погоди! Дѣла общественныя, самъ знаешь. Мнѣ тоже вѣдь надо давать отвѣтъ, а ты какъ думаешь? Сдѣлай милость, погоди!

Исправникъ пересталъ ѣсть икру, поставилъ обратно на столъ невыпитую рюмку водки и во всѣ глаза смотрѣлъ на Покрышкина, очевидно, не вѣря ни глазамъ, ни ушамъ, потому что до этого дня голова Покрышкинъ никогда не отказывался раскассировывать суммы.

— Ты говоришь, нельзя? Тàкъ ты говоришь, а?—спросилъ Яковъ Кузьмичъ.

— Погоди, Яковъ Кузьмичъ! Христомъ Богомъ умоляю! Дѣла городскія, чай, знаешь. Ежели я все раскассирую, какой отвѣтъ я дамъ? Куда дѣлъ? Какая такая небель? Чай, знаешь.

— Такъ я, какъ истинный начальникъ твой, приказываю... слышишь? Приказываю, ежели ужь ты дружбы не понимаешь!—закричалъ, внѣ себя отъ гнѣва, Яковъ Кузьмичъ.

— Невозможно, прямо тебѣ говорю,—сказалъ Покрыкинъ твердо, хотя и печально.

Исправникъ Кулаковъ оцѣпенѣлъ навремя, но потомъ вдругъ надвинулъ на голову фуражку, тутъ же въ столовой, и направился къ двери. У порога онъ еще разъ спросилъ:

— Такъ не дашь?

— Нельзя, Яковъ Кузьмичъ!... Ахъ, грѣхъ какой! Христомъ Богомъ прошу... Такъ ты говоришь развалилась? Чудеса!

Яковъ Кузьмичъ вышелъ въ дверь, не слушая. У него чесались руки, и онъ едва удержался отъ нанесенія оскорбленія дѣйствіемъ, но за то далъ себѣ слово не оставлять этого дѣла. Дѣйствительно, съ этой минуты онъ сталъ питать къ головѣ Покрышкину такую непріязнь, что послѣдній былъ очень огорченъ. На другой же день, когда голова Покрышкинъ вышелъ вечеромъ на балконъ подышать и, увидѣвъ исправника Кулакова, раскланялся съ нимъ, исправ-

никъ Кулаковъ не кивнулъ даже головой и не сдѣлалъ ни малѣйшаго знака одобренія, а только проговорилъ: „Я тебѣ, толстый, покажу Кузькину мать!“—и затѣмъ отвернулся въ сторону, медленно и оскорбительно. Самъ Кононъ Петровичъ не дослышалъ этихъ словъ, иначе онъ примирился бы съ Яковымъ Кузмичемъ, но ихъ слышала у сосѣдняго домика старушка, сидѣвшая, по обыкновенію, съ чулкомъ. Она сказала себѣ: „У, осерчалъ исправникъ!“

Начиная съ этого дня, когда упорство головы Покрышкина и его желаніе быть самостоятельнымъ обнаружились явнымъ образомъ, Яковъ Кузьмичъ не переставалъ обдумывать способъ обуздать своего непріятеля, такъ жестоко оскорбившаго его. Это продолжалось около двухъ мѣсяцевъ, и во все это время желаннаго для Кулакова случая не представлялось. Онъ видѣлъ часто изъ окна Покрышкина, который сдѣлался очень дѣятельнымъ, видѣлъ, какъ онъ самъ осматриваетъ навозъ на улицахъ, тычетъ палкой въ помойныя ямы, заходитъ во дворы обывателей, говоритъ и убѣждаетъ, прѣетъ и задыхается, создавая, очивидно, въ своей головѣ планъ будущей чистки, видѣлъ все это и не могъ представить себѣ возможности привязаться къ Покрышкину, но все-таки говорилъ: „Я тебѣ покажу!“

Наконецъ, насталъ и тотъ день, который голова Покрышкинъ назначилъ для осмотра мѣста, гдѣ должно было поставить водоемъ, потому что въ этотъ день все было готово: нанятъ подрядчикъ, привезено на площадь нѣсколько сѣрыхъ камней и собраны были гласные, сколько было возможно. Этотъ день былъ воскресенье. Яковъ Кузьмичъ всталъ возлѣ своего окна и наблюдалъ за всѣмъ, что̀ происходитъ на площади. А происходило тамъ движеніе, необычное для города. Прежде всего, конечно, Якову Кузьмичу попался на глаза самъ голова Покрышкинъ, шедшій впереди десятка гласныхъ думы, а за ними толпилось много празднаго народа, заинтересованнаго необыкновенною дѣятельностью головы. Во все время, пока голова осматривалъ и показывалъ мѣсто, гдѣ всего лучше поставить каменный чанъ, громко именуемый имъ фонтаномъ, праздный людъ держалъ себя смирно и негромко разсуждалъ о выдумкѣ головы, причемъ большинство хвалило голову; только мальчишки шумѣли, шмыгая между взрослыми или вступая въ

драку другъ съ другомъ. Пьяныхъ было, по обыкновенію, много, но они вели себя кротко и держались съ большимъ достоинствомъ на ногахъ, а ихъ широко раскрытые и полоумные глаза съ недоумѣніемъ останавливались на головѣ Покрышкинѣ, на сѣрыхъ камняхъ и на гласныхъ думы; повидимому, они не могли дать себѣ отчета въ томъ, что̀ передъ ними происходитъ.

За всѣ полчаса, въ продолженіи которыхъ голова Покрышкинъ съ товарищами осматривалъ мѣсто и говорилъ съ подрядчикомъ, былъ только одинъ случай, возбудившій всеобщее вниманіе и хохотъ. Мѣщанинъ Селивановъ, извѣстный въ городѣ за человѣка веселаго нрава, будучи немного навеселѣ, ходилъ по толпѣ и возбуждалъ дружный хохотъ своими прибаутками, изъ которыхъ одна попала и городовому Шишкину. Шишкинъ сдѣлалъ видъ, что оскорбился, и чтобы выразить свое негодованіе на словахъ, изъявилъ лѣнивымъ тономъ желаніе посадить насмѣшника въ клоповникъ. „Посажу вотъ въ клоповникъ и погляжу, какъ ты тогда будешь зубы-то скалить!“—сказалъ Шишкинъ.—„На-ко вотъ тебѣ, съѣшь!“—возразилъ мѣщанинъ Селивановъ съ гримасой, помуслилъ себѣ кукишъ и подставилъ его подъ носъ Шишкину, возбудивъ вокругъ много веселья. Шишкинъ тогда осердился. Онъ отошелъ къ сторонкѣ, схватилъ зачѣмъ-то комъ земли и бросилъ его по неизвѣстной причинѣ въ собаку, лежавшую на другомъ концѣ площади и, конечно, не ожидавшую столь неожиданнаго нападенія.

Потомъ Яковъ Кузьмичъ увидалъ дальнѣйшее шествіе головы Покрышкина къ Крестовскому роднику, который долженъ былъ послужить источникомъ всѣхъ благъ, проэктированныхъ головой Покрышкинымъ, но скоро взглядъ Якова Кузьмича пересталъ слѣдить за толпой, ушедшей далеко. Онъ удивился только, какъ такому толстяку не лѣнь дѣлать подобныя прогулки пѣшкомъ. Но скоро Яковъ Кузьмичъ увидалъ, что голова Покрышкинъ, славу Богу, дошелъ до ручья благополучно и возвращался назадъ весело. Правда, онъ былъ, видимо, утомленъ, то и дѣло вытиралъ потъ съ краснаго лица, снялъ даже шляпу, и сѣдыя кудри его развѣвались вѣтромъ, но онъ былъ возбужденъ, горячо о чемъ-то разсуждалъ и размахивалъ руками. Всѣ эти дѣйствія были, однако, менѣе оскорбительны для Якова Кузьмича,

нежели обѣдъ, который Кононъ Петровичъ устроилъ, прямо послѣ прихода съ родника, для всѣхъ своихъ спутниковъ и на который онъ забылъ пригласить главнаго начальника города. Мѣра терпѣнія Якова Кузьмича переполнилась, и онъ сказалъ, отходя отъ окна: „Я тебѣ покажу!"

Въ тотъ же вечеръ Кулаковъ призвалъ къ себѣ Чертыхаева, человѣка воинственнаго и рѣшительнаго, и между ними произошло совѣщаніе относительно головы Покрышкина. Въ концѣ-концовъ, было рѣшено сочинить донесеніе губернатору, но при этомъ отъ посылки бумаги воздержаться, а показать ее одному Покрышкину для устрашенія. Рѣшено было еще, что отнесетъ сочиненіе къ Покрышкину Чертыхаевъ, принявъ образъ друга его, желающаго если не выручить изъ бѣды, то, по крайней мѣрѣ, предувѣдомить о ней. Бумага была сочинена; тогда Кулаковъ спросилъ Чертыхаева, бросится-ли она въ носъ? Еще разъ прочли сочиненіе, озаглавленное такъ: „О революціонныхъ умыслахъ головы города Грязева, Конона сына Петрова Покрышкина купца". Доказательства же существованія умысловъ заключались въ томъ, что оный Покрышкинъ неоднократно отказывался исполнять законныя требованія нижеозначеннаго исправника, приглашая къ таковому неповиновенію и всѣхъ гласныхъ думы, мысли коихъ, до него, были религіозными и доброжелательными, а послѣ вступленія его, вышеупомянутаго Покрышкина, въ должность сдѣлались буйными и безнравственными. А въ послѣднее время вышеназванный голова Кононъ сынъ Петровъ Покрышкинъ, собравъ на площади города многочисленную толпу, весьма враждебно настроенную противъ мѣстныхъ представителей власти, обратился къ ней съ возбудительною рѣчью, приглашая ее къ бунту и неповиновенію, чѣмъ явно обнаружилъ свои преступные умыслы, до сего дня скрываемые имъ отъ начальства, боясь заслуженной имъ кары, а по этой причинѣ буйная толпа, подстрекаемая къ насильственнымъ дѣйствіямъ вышеписаннымъ головой Покрышкинымъ, начала представителямъ мѣстной власти наносить дерзкія оскорбленія, понося ихъ наглыми словами, а одному городовому, увѣщевавшему возмутителей и зачинщиковъ разойтись по домамъ и утихнуть, оная толпа яростно грозила растерзаніемъ.

— *Хорошо?*—спросилъ Кулаковъ послѣ прочтенія бумаги.

Чертыхаевъ задумчиво разсматривалъ бумагу и только послѣ продолжительнаго молчанія отвѣчалъ, что больше ничего и не надо. Онъ переписалъ сочиненіе своимъ почеркомъ и изъявилъ готовность хоть сейчасъ отнести ее къ головѣ Покрышкину, но Кулаковъ рѣшилъ, что лучше вручить ее завтра въ засѣданіи, выбравъ время, когда Покрышкинъ останется съ однимъ секретаремъ. Чертыхаевъ и на это согласился.

На слѣдующій день Чертыхаевъ отправился въ думу и предсталъ предъ Кономомъ Петровичемъ, съ таинственнымъ видомъ, предварительно заперѣвъ дверь и озираясь по сторонамъ; на глазахъ его были слезы, и онъ нѣкоторое время жалобно смотрѣлъ на Покрышкина. Когда эти предварительныя приготовленія кончились, онъ вручилъ Конону Петровичу бумагу, отошелъ къ двери и оттуда смотрѣлъ, выражая на своемъ лицѣ печаль.

— Господи, что же это такое?—прошепталъ Кононъ Петровичъ, когда прочиталъ бумагу.

— Вы ужь, Кононъ Петровичъ, не выдавайте меня! Никому, Бога ради, не говорите, что я васъ предувѣдомилъ! —сказалъ съ ужасомъ Чертыхаевъ.

Кононъ Петровичъ, прямо по прочтеніи, еще не понявъ всего, переводилъ глаза съ секретаря на Чертыхаева и съ Чертыхаева на секретаря, но и въ эту минуту его уже прошибъ холодный потъ. Между тѣмъ, Чертыхаевъ, съ тѣмъ же таинственнымъ видомъ, взялъ назадъ бумагу, спряталъ въ рукавъ и поспѣшно удалился къ двери, умоляя Конона Петровича не выдавать его.

— Вы знаете, чѣмъ это пахнетъ!—сказалъ онъ шепотомъ и окончательно удалился.

Кононъ Петровичъ обратился за совѣтомъ къ секретарю, взволнованный до глубины души. Секретарь былъ заранѣе увѣдомленъ Кулаковымъ и теперь пояснилъ, что это дѣйствительно нехорошимъ пахнетъ. Сибири не будетъ, но срамъ на всю жизнь, осрамятъ ужасно, потому что станутъ изслѣдовать, нарядятъ слѣдствіе, пожалуй.

— Я бы вамъ совѣтовалъ помириться. А, впрочемъ, какъ знаете,—кончилъ секретарь и весь погрузился въ бумаги.

Покрышкинъ былъ оглушенъ. Не медля долго, онъ отправился къ Кулакову. Но каково было его удивленіе, когда

дяди. А Сидоръ Васильевичъ былъ человѣкъ обидчивый; онъ обижался насмѣшками молокососа и умолкалъ, надувъ губы.

Этотъ разговоръ происходилъ въ то время, когда у Сидора Васильевича былъ еще племянникъ, который ѣздилъ къ нему на каникулы. Но замѣчательно, что Сидоръ Васильевичъ говорилъ въ такомъ одушевленномъ тонѣ и послѣ того, какъ не стало племянника, несмотря на многія несчастія, составлявшія неотъемлемую принадлежность его собственной жизни, несмотря на то, что подъ давленіемъ этихъ несчастій онъ хронически падалъ духомъ. Да и старъ онъ былъ. Тѣло его давнымъ-давно отощало и съежилось, лицо сморщилось въ кулачокъ, въ головѣ росла просѣдь, въ ногахъ замѣчалось трясеніе, но духъ его былъ бодръ, а глаза безпокойно бѣгали и жили. Онъ въ особенности былъ хорошъ въ тѣ минуты, когда писалъ и отсылалъ корреспонденціи; здѣсь его одушевленіе доходило до восторга, радость до злорадства, а самая корреспонденція возростала до степени героическаго подвига.

Дѣло въ томъ, что Сидоръ Васильевичъ не могъ быть удовлетворенъ занятіями учителя уѣзднаго училища, гдѣ онъ преподавалъ граматику и чистописаніе. Пробовалъ онъ углубиться въ свои чисто-ученыя занятія и разъ даже сочинялъ, въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, на новыхъ принципахъ, учебникъ чистописанія, долженствовавшій доставить ему полное матеріальное довольство и славу; пробовалъ онъ во времена трусливыхъ припадковъ имѣть дѣло только со школьниками, пробовалъ также смирно сидѣть дома, предаваясь мирнымъ домашнимъ занятіямъ, но не могъ, физически не могъ. Духъ крамолы сидѣлъ въ немъ неотлучно, постоянно подталкивая его на предпріятія общественной важности. Иначе ему было нельзя. Какъ онъ ни старался усмирить свой неугомонный нравъ, но нѣтъ-нѣтъ да и сунется, куда обыкновенно не просятъ. Поэтому-то въ городѣ онъ и заслужилъ опасную репутацію „корреспондента", возбуждая въ восхваляемыхъ имъ людяхъ радость, а въ изобличаемыхъ—злобу и презрѣніе. Писать письма ему было запрещено, выѣзжать изъ города также; надъ нимъ учрежденъ былъ негласный надзоръ, и вообще надъ его головой безпрестанно висѣла туча, готовая разразиться громомъ и молніей. Однако, онъ не переставалъ вести опасные разговоры,

я иногда, поправляя ученикамь палки, рогульки и нули, съ большимъ воодушевленіемъ декламировалъ: „Надо мною буря выла; громъ на небѣ грохоталъ“... И потомъ: „Но не палъ я отъ страданья, гордо выдержалъ ударъ“... Въ немъ сидѣлъ крамольникъ.

Когда въ домѣ, находящемся возлѣ уѣзднаго училища, закрывались по вечерамъ ставни, это значило, что Сидоръ Васильевичъ составляетъ корреспонденцію. Дѣйствительно, чуть только въ городѣ совершалось какое-нибудь происшествіе, рябившее гладь грязевской жизни, какъ уже Сидоръ Васильевичъ былъ готовъ къ описанію его со многими подробностями; руки у него ужь зудѣли. Онъ садился и писалъ, скрываясь отъ взоровъ посторонних и домашнихъ людей; такъ дѣлалъ онъ потому, что считалъ описаніе происшествій священнодѣйствіемъ, и еще потому, что подвергался за нихъ жестокимъ преслѣдованіямъ въ тѣхъ случаяхъ, когда его признавали за автора. А признавали его всегда; больше было некому; онъ одинъ имѣлъ столь неспособный характеръ. Но хотя его признавали, онъ все-таки принималъ соотвѣтствующія мѣры для избѣжанія истязанія: заметалъ слѣдъ, оправдывался, отрицалъ свои дѣла, отрекался отъ себя,—вообще, дѣлалъ все для избѣжанія наказанія.

Только это и дѣлалъ Сидоръ Васильевичъ. Въ день священнодѣйствія онъ выглядывалъ сперва на улицу съ цѣлью поглядѣть, не надзираетъ-ли кто за нимъ, и когда дѣлалось совершенно темно, онъ закрывалъ ставни и принимался за сочиненіе. Казалось бы, самое сочиненіе должно было болѣе мучить его, нежели вышеупомянутыя приспособленія, но, къ удивленію, этого не было. Труды свои онъ не считалъ, а обращалъ все вниманіе на самый способъ отправки ихъ, и тутъ-то проявлялась вся его хитрость. На слѣдующій день онъ отправлялся на почту, съ письмомъ въ карманѣ, предварительно написавъ адресъ „другою рукой“; шелъ и озирался. Сморщенное лицо его еще болѣе дѣлалось морщинистымъ; тощее тѣло окончательно съеживалось. Пугался.

Почтовой конторы онъ избѣгалъ, всегда имѣя въ виду почтовый ящикъ, прибитый на улицѣ. Почтмейстеръ былъ человѣкъ, заслуживающій во всѣхъ отношеніяхъ уваженія, но сплетникъ, почему Сидоръ Васильевичъ никогда не пока-

зывался ему на глаза, опасаясь, что старый салопникъ, по глупости, разболтаетъ о его новой корреспонденціи; это дойдетъ до исправника или до его помощника, и онъ пропалъ. Во избѣжаніе подобной случайности онъ подкрадывался къ ящику, бросалъ письмо и шелъ дальше, какъ ни въ чемъ не бывало.

Судьба, однако, не всегда покровительствовала ему. Въ сущности, она даже никогда не покровительствовала ему и рѣдкое его предпріятіе обходилось безъ исторіи. Черезъ нѣкоторое время о немъ узнавали, а творцомъ его признавали Сидора Васильевича, который и страдалъ, становясь на обычное свое мѣсто козла отпущенія.

— Сидоръ Васильевичъ!—ошеломлялъ его Чертыхаевъ, глядя на него съ свирѣпою проницательностью и останавливая на улицѣ.

Сидоръ Васильевичъ въ это мгновеніе былъ въ самомъ счастливомъ настроеніи. Онъ только что послалъ корреспонденцію о замѣчательной дѣятельности грязевскаго земства и уже думалъ, что никакой исторіи изъ этого не произойдетъ. Можно себѣ вообразить, какъ онъ былъ пораженъ неожиданностью появленія Чертыхаева; онъ вдругъ скорчился, съежился и заговорилъ, что̀ попало на языкъ.

— Мое почтеніе, Алексѣй Викентьевичъ! Прогулку вздумали сдѣлать? И я тоже... Вижу, погода хорошая, дай пойду прогуляться...

Но Чертыхаевъ безъ разговоровъ приступалъ къ дѣлу.

— Чѣмъ это пахнетъ? — спрашивалъ онъ, вынимая изъ кармана газету и показывая пальцемъ одно мѣсто въ ней.

— Что такое?

— Нечего, нечего отлынивать-то! Вы это написали? Говорите правду!

Сидоръ Васильевичъ блѣднѣлъ и начиналъ отрицать свои поступки.

— Я? Господи, и не думалъ! Да развѣ это можно?... Что вы, что вы!

— Ну, смотрите!—отвѣчалъ Чертыхаевъ и бросалъ еще одинъ взглядъ, проникнутый свирѣпою проницательностью.

— Ей-Богу, не писалъ, честное, благородное слово!

Послѣ этого Сидоръ Васильевичъ шелъ домой и во всю дорогу чувствовалъ, что въ его головѣ мутится. Застигнутый

врасплохъ, онъ не могъ сообразить, что̀ ему слѣдуетъ теперь предпринять; онъ терялся, а думать не могъ. Только и оставались въ немъ трусливость и безсильное озлобленіе; идя къ дому, онъ все бормоталъ про себя разсѣянно: „Ну, погоди... ну, погоди!... Придетъ наше время, я тебѣ дамъ... сволочь!“ Въ концѣ-концовъ, трусливость брала верхъ надъ всѣми другими чувствами, и Сидоръ Васильевичъ переставалъ на время злоумышлять и даже старался загладить свое преступленіе соотвѣтствующимъ поведеніемъ.

Впрочемъ, особенно многаго Сидоръ Васильевичъ и не могъ выдумать въ этомъ направленіи, кромѣ усиленнаго ухаживанія за Чертыхаевымъ и Кулаковымъ. Сидоръ Васильевичъ нарочно встрѣчался съ ними и все похаживалъ около нихъ, кротостью убѣждая ихъ въ своей невинности. Иногда ему приходилось, по настоянію Кулакова, снова писать корреспонденцію подъ другимъ именемъ, опровергать себя и выражать пламенное негодованіе на клевету, взведенную на уважаемыхъ въ городѣ лицъ. Бывали въ жизни Сидора Васильевича такіе опасные случаи, когда плюнуть на себя было для него единственнымъ средствомъ спасенія; только такимъ первобытнымъ раскаяніемъ онъ и держался на мѣстѣ. Ничего не подѣлаешь.

Жилъ еще въ городѣ человѣкъ, которымъ пользовался Сидоръ Васильевичъ въ крайнихъ случаяхъ. Это былъ поднадзорный, сосланный въ Грязевъ за неизвѣстное преступленіе. Никто не зналъ, откуда и за что онъ привезенъ и есть-ли у него гдѣ-нибудь родные. Повидимому, родныхъ у него не было. Брошенный въ чужой городъ, всѣми забытый, внушающій всѣмъ опасенія, онъ жилъ гдѣ-то въ мазанкѣ, на заднемъ дворѣ, совершенно одинъ. Никто не зналъ также, чѣмъ онъ кормился и какъ жилъ. Видѣли только его регулярныя хожденія въ полицію, которая выдавала деньги на его пропитаніе, видѣли отрепья, которыя болтались на его тѣлѣ, и могильный цвѣтъ лица, который далъ поводъ мѣстному доктору осмотрѣть его и найти у него безнадежную чахотку.

Трудно и предположить, чтобы у этого человѣка была слабость строчить корреспонденціи. Но Сидоръ Васильевичъ разсуждалъ такъ: „хуже ему не будетъ, а мнѣ облегченіе“,

и когда его приспичивали, грозя погибелью, онъ сваливалъ вину на этого человѣка.

— Честное слово, не я... Развѣ я могу? Это вонъ Жилинъ. Ему терять нечего... Навѣрное, это Жилинъ...

Въ такомъ родѣ вертѣлся Сидоръ Васильевичъ. Правда, что на Жилина въ городѣ валили все: пожаръ, буйство рабочихъ въ мастерской, вздорожаніе съѣстныхъ припасовъ, неистовства Чертыхаева, — все валили на Жилина, который былъ поджигателемъ во всѣхъ смыслахъ. Но Сидору Васильевичу не было необходимости подстрекать противъ него. Дѣлалъ это онъ, т.-е. подстрекалъ, ради своего спасенія и вслѣдствіе крайней растерянности. Попадется и ужь не умѣетъ сообразить ничего.

Просто обидно было наблюдать за Сидоромъ Васильевичемъ въ такіе дни,—до такой степени онъ способенъ былъ растерять свое достоинство ради спасенія. Передъ смотрителемъ училища онъ, напримѣръ, окончательно терялся, когда тотъ уличалъ его. Толстый смотритель негодовалъ на всякаго человѣка, который смущалъ его покой, а тутъ вѣчная исторія съ учителемъ. На Сидора Васильевича каждомѣсячно сыпались къ нему совѣты и доносы, устные и письменные. Первые шли со стороны Кулакова и Чертыхаева, совѣтовавшихъ смотрителю заблаговременно удалить неугомоннаго учителя грамматики и чистописанія, послѣдніе направлялись со стороны партикулярныхъ добровольцевъ. А разъ изъ губернскаго города пришла бумага слѣдующаго содержанія: не считаетъ-ли смотритель необходимымъ отстранить учителя грамматики и чистописанія Сидора Запѣвалова отъ занимаемой имъ должности? Смотритель пришелъ въ ужасъ.

— Вы опять скрамольничали?—съ волненіемъ говорилъ смотритель.

— Что такое?—дрожащимъ голосомъ возразилъ Сидоръ Васильевичъ, чувствуя, что онъ проваливается сквозь землю.

— Да что вы дурака-то представляете? Опять писали въ газету?

— Я? Господи, и не думалъ! Честное слово...

— Да что вы врете, вѣдь писали? Вѣдь вы дня не проживете безъ того, чтобы не покрамольничать...

— Я? И не думалъ, честное слово, Аѳанасій Егорычъ! Господи, да неужели я не чувствую? Ей-Богу, не писалъ.

И некогда мнѣ. Всю недѣлю у меня ноги болѣли... сильно страдаю я... Ей-Богу, не писалъ.

Смотритель даже бѣситься пересталъ, слушая этотъ нелѣпый наборъ оправданій Сидора Васильевича; онъ качалъ головой и въ нерѣшительности стоялъ передъ учителемъ. А послѣдній жалобно заглядывалъ ему въ глаза, отпирался отъ своихъ дѣйствій, лгалъ и, наконецъ, такъ запутался въ своихъ словахъ, что умолкъ. Что тутъ съ нимъ дѣлать?

— Слушайте, Сидоръ Васильичъ, уймитесь вы, ради Бога, перестаньте, а не то вы лишитесь мѣста, жалко, отъ души говорю вамъ это! Ну, скажите, что съ вами дѣлать начальству, коли вы крамолы устраиваете? И что вы станете дѣлать, ежели кусокъ-то хлѣба у васъ отымутъ? Ну, подумайте...

Смотритель говорилъ уже тономъ горькихъ упрековъ.

Сидоръ Васильевичъ стоялъ блѣдный и потерянный, безпокойно мигалъ глазами; руки у него тряслись. Онъ все что-то пытался сказать, и не могъ. А все-таки отрицалъ свои дѣйствія.

Вслѣдъ за такими непріятными происшествіями для Сидора Васильевича наставало время полнаго затишья. Имъ овладѣвалъ тогда такой страхъ, что онъ дѣйствительно начиналъ чувствовать трясеніе въ ногахъ, боясь, вотъ-вотъ къ нему нагрянутъ, обнюхаютъ и потомъ съѣдятъ. Сидѣлъ онъ въ такихъ случаяхъ дома и читалъ въ десятый разъ пожелтѣвшую книгу „Путешествіе въ Китай Іакинфа“, сидѣлъ и пугался всякаго шороха въ комнатѣ, а по ночамъ его мучили страшныя сновидѣнія. Приснилось разъ ему, что онъ сидитъ въ уѣздномъ училищѣ за партой, а урока не знаетъ... Вдругъ его спрашиваютъ, велятъ отвѣчать урокъ, а у него языкъ не ворочается.

— А, ты не знаешь! Бей его!—кричитъ какой-то голосъ, и Сидора Васильевича схватываютъ и начинаютъ бить по пяткамъ бамбуковыми палками; онъ хочетъ закричать отъ боли, а голосу у него нѣтъ... Тутъ онъ и проснулся.

За все хватался Сидоръ Васильевичъ, когда находился въ такомъ положеніи. Когда на границахъ войсками одерживалась побѣда, онъ показывалъ видъ, что необычайно радъ этому, и самъ передъ своими окнами вывѣшивалъ флагъ, чтобы показать, каковъ онъ. Кто его знаетъ, откуда онъ набиралъ столько разноцвѣтныхъ матерій для этого флага,

но только флагъ долго болтался передъ окнами его дома, даже послѣ того, какъ надобности въ немъ уже не было. Вообще Сидоръ Васильевичъ съ перепугу совершалъ множество совершенно ненужныхъ и нелѣпыхъ поступковъ. Да и нельзя было иначе. Ибо если онъ и доводилъ свой страхъ до чрезмѣрности, то это происходило отъ того, что ожидать для себя несчастій онъ имѣлъ право по закону, такъ какъ вся жизнь его всею своею совокупностью наводила на него чувство подавленности, безсилія, боязни.

Эта жизнь, неподвижная, незамѣтная и проникнутая ненарушимою тишиной, должна была бы, повидимому, казаться благополучною и безопасною. Но тишина бываетъ всякаго рода. Грязевская тишина подавляла и возбуждала суевѣріе. Сказать, что если люди живутъ среди абсолютнаго покоя, то каждое ничтожное происшествіе принимаетъ въ ихъ глазахъ видъ необыкновенно сильнаго движенія, значитъ сказать довольно плоскую истину. Но по этой именно причинѣ ничтожнѣйшее по существу явленіе въ Грязевѣ было всегда неожиданно и поразительно. По городу то и дѣло носились достовѣрные разсказы о непредвидѣнной кончинѣ здоровыхъ людей: тотъ умеръ во время обѣда, не давъ родственникамъ времени вынуть изъ его рта пельмень; другой подавился рыбьей костью; третій послѣ небольшой выпивки, шелъ-шелъ по улицѣ, вдругъ шлепъ лицомъ въ лужу и утонулъ; четвертый жилъ-жилъ, сидѣлъ-сидѣлъ и вдругъ былъ схваченъ неизвѣстно за что, посаженъ на неизвѣстное время и увезенъ неизвѣстно куда. И такъ далѣе. Суевѣріе при такой тихой жизни было неизбѣжно.

Что Сидоръ Васильевичъ принадлежалъ къ той части жителей, которая зовется интеллигенціей, это было такимъ же несомнѣннымъ фактомъ, какъ и то, что онъ преподавалъ грамматику и чистописаніе. Если же признакомъ интеллигентности считать вмѣшательство въ дѣла, которыя не лежатъ подъ ногами, и способность заботиться о явленіяхъ, собственно не относящихся къ домашнему устройству, то Сидоръ Васильевичъ явится еще болѣе интеллигентнымъ. Но развитіе не спасало его отъ суевѣрій. Какъ и всѣ жители, онъ жилъ въ щемящей душу тишинѣ, и также, какъ они, былъ боязливъ и вѣрилъ въ безпричинныя несчастія. Домашняя обстановка его только способствовала такому настрое-

нію. Дома, передъ сестрой, Сидоръ Васильевичъ не отдыхалъ, а еще болѣе мучился, не успокоивался, а пугался.

До чего иногда выростала его пугливость, это видно изъ того, что онъ и въ домъ-то свой являлся тайно, старался пробраться въ свою комнату какъ-нибудь бочкомъ. Вдова сестра, жившая съ нимъ вмѣстѣ и принявшая на себя все его домашнее устройство, возбуждала въ немъ панику даже въ тѣ времена, когда начальство и безъ того грозило ему изгнаніемъ, ссылкою. Сидоръ Васильевичъ въ такія времена прокрадывался бочкомъ въ свою комнату и тамъ ни гугу. Сидѣлъ и молчалъ. Онъ боялся вставить свое слово, не заявлялъ о желаніи поѣсть или попить чайку, малѣйшее приказаніе сестры исполнялъ мигомъ и стремительно, въ то же время, пугливо заглядывая ей въ глаза... совсѣмъ какъ виноватый и наказанный! Ничего не подѣлаешь.

Александра Васильевна сама догадывалась, въ чемъ дѣло.

— Ѣшь. Что скрываешься-то?—говорила она и пытливо оглядывала брата.

— Ничего, ничего, сестрица... Я только чуть-чуть... самые пустяки,—пугался Сидоръ Васильевичъ.

— Или опять скрамольничалъ?—спрашивала Александра Васильевна.

Сидоръ Васильевичъ старался отвязаться отъ вопроса молчкомъ, но это ему не удавалось.

— Скрамольничалъ, что-ли? Говори ужь прямо, ну?

— Ничего, ничего, сестрица...

— Врешь. Вижу по глазамъ, врешь. Говори, писалъ въ газету?

— Я? Что ты, что ты! Вотъ ужь напрасно, честное слово!

— Врешь, врешь, не повѣрю! Какъ тебѣ, Сидоръ Васильевичъ, не совѣстно передъ сестрой-то? Сестру-то какъ тебѣ не совѣстно губить? Тебѣ ужь вѣдь сказали разъ — образумься, а ты все не уймешься! Чешется, что-ли, у тебя, прости Господи... Да еще и врешь!

Дверь съ шумомъ захлопывалась, Александра Васильевна исчезала, а Сидоръ Васильевичъ долго стоялъ въ столбнякѣ, шевеля губами, и все о чемъ-то шепталъ. Стыдно ему было, что онъ проврался, стыдно было сестры; боялся онъ, что когда-нибудь онъ дѣйствительно ее погубитъ, и, въ то же время, онъ осязательно вѣрилъ въ свою собственную погибель.

По всѣмъ этимъ причинамъ онъ садился въ уголъ и молчалъ тамъ, съежившись и притаивъ дыханіе. Въ домѣ наставала таинственная, загадочная тишина, способная запугать какое угодно воображеніе.

Это было удивительно, но совершенно вѣрно, что онъ подъ вліяніемъ всѣхъ угрозъ, застращиваній и увѣщаній самъ начиналъ считать себя виноватымъ. Тогда онъ весь погружался въ свои занятія, по цѣлымъ днямъ шурша школьными тетрадками. Такимъ же испуганнымъ и растеряннымъ онъ появлялся и въ классѣ; ученики его, подмѣтивъ это мучительное состояніе, продѣлывали съ нимъ разныя штуки: то налѣпятъ на его платье разноцвѣтныхъ бумажекъ, то накладутъ въ шляпу сору, и Сидоръ Васильевичъ не обижался, вѣрнѣе, не смѣлъ обижаться, считая себя кругомъ и передъ всѣми виноватымъ. Начальства онъ всегда боялся и стыдился, но въ такія времена оно представлялось ему особенно страшнымъ. Всегда было достаточно сказать—цыцъ, чтобы Сидоръ Васильевичъ угомонился, а въ эту пору одного серьезнаго взгляда было довольно, чтобы онъ изъявилъ готовность пропасть въ мгновеніе ока.

Сидоръ Васильевичъ замиралъ; въ такіе дни ему и на мысль не приходило сдѣлать что-нибудь преступное. Онъ желалъ только одного: чтобы его оставили въ покоѣ, не трогали, потому что ему было и самому тошно.

Стоялъ ноябрь. Надвинулись сумерки. Сальная свѣча чуть свѣтилась въ комнатѣ, гдѣ сидѣли братъ и сестра. На дворѣ и на улицѣ еще трепеталъ слабый свѣтъ; не было мрака, но на всѣ предметы легло уже покрывало тѣней. Это—время, когда мысли ползутъ безсвязною вереницей, переплетаясь и взаимно подавляя одна другую, а въ домашнемъ быту это—время, когда люди отъ нечего дѣлать начинаютъ тянуть водку или грызутъ другъ друга.

Сидоръ Васильевичъ и Александра Васильевна неспособны были мрачно тянуть водку. Братъ неспособенъ былъ и грызть свою сестрицу. Но за то сестра искала только повода, чтобы чѣмъ-нибудь разрѣшить свое подавляющее чувство. И вотъ, въ то мгновеніе, когда братъ уже нѣсколько успокоился, Александра Васильевна напала на него. Въ ея голосѣ обна-

ружилось тотчасъ же озлобленіе и застарѣлая ненависть къ зудливости брата, который только-что вчера долженъ былъ отрицать свои дѣйствія, божиться, лгать и проч.

— Ну, что, дожилъ?—спросила она.—Боишься теперь выглянуть изъ дому... дожилъ? Скажи ты мнѣ по совѣсти, когда тебя сгонятъ съ мѣста? Очень я желала бы это знать!

Сидоръ Васильевичъ обомлѣлъ и безпокойно завозился на своемъ мѣстѣ.

— Что ты, что ты! Вотъ ужь, ей-Богу...

— Нѣтъ, я серьезно спрашиваю, скоро тебя протурятъ? Вѣдь надо сундуки къ отъѣзду припасти.

Держа руки на животѣ, сестра сурово смотрѣла въ лицо брата. Но Сидоръ Васильевчъ не счелъ возможнымъ отвѣчать на ея вопросъ, вслѣдствіе чего въ мрачной комнатѣ на нѣсколько минутъ водворилось тоскливое молчаніе, которое, наконецъ, раздражительно подѣйствовало на Александру Васильевну.

— И все изъ-за чего? Хоть бы ты дѣло сдѣлалъ, ну, надебоширилъ, что-ли, а то и этого нѣтъ. Письмишко въ газету послалъ, и изъ-за этой пустяковины самъ же мучишься. Ты бы хоть о себѣ-то подумалъ: слыханное-ли дѣло, чтобы самъ на себя человѣкъ накликалъ начальство?

— Ты бы помолчала, сестрица... кàкъ бы у сосѣдей не слыхали... Ей-Богу, ничего нѣтъ, напрасно только ты...

Сестрица долгое время мѣрила глазами брата и соображала, чѣмъ бы его поразить. Все держа руки на животѣ, она покачивала головой, кàкъ бы говоря про себя: „Ахъ, ты врунъ, врунъ!“ Потомъ, когда это убійственное покачиваніе головой не подѣйствовало, она вдругъ выпалила:

— Корреспондентъ!

Сидоръ Васильевичъ только еще болѣе съежился.

— Либералъ!—выпалила Александра Васильевна насмѣшливо.

Сидоръ Васильевичъ всталъ съ мѣста и умоляюще смотрѣлъ на сестру. Но та продолжала палить страшными, по ея мнѣнію, словами и зло смѣялась. Сидоръ Васильевичъ окончательно растерялся и испуганно бормоталъ: „Ничего, ничего... Ахъ, сестрица!“

И снова настала тоскливая тишина. Свѣча едва мерцала; на ней наросъ длинный нагаръ, коптившій комнату и раз-

ливавшій въ воздухѣ ѣдкій смрадъ. Тоска двухъ собесѣдниковъ смѣнилась подавляющею тяжестью и они замолчали. Говорить было нѐ о чемъ. Только послѣ долгаго молчанія сестра предложила выпить чайку. Сидоръ Васильевичъ монотонно шагалъ по комнатѣ и послѣ молчанія изливался признаніями, видимо, упавъ духомъ. Онъ сознавался, что и радъ бы жить спокойно, да только силъ не хватаетъ. Очень иногда тоска разбираетъ. „Все сидишь-сидишь и вдругъ иногда въ голову лѣзетъ мысль... Но теперь конецъ всему, къ шуту всѣ эти дѣла!“ Онъ человѣкъ слабый; его всякій можетъ обидѣть, кому не лѣнь... И вѣдь дѣйствительно все это сованье плевка не стоитъ, шутъ его возьми, да и вообще есть-ли еще общественныя дѣла? Ничего этого нѣтъ. Каждый за себя, а Богъ за всѣхъ... И все это теперь онъ броситъ, честное слово!

— Я вотъ лучше опять примусь за руководство къ каллиграфіи,—продолжалъ Сидоръ Васильевичъ. Вотъ это такъ, вѣрнѣе это. Съ завтрашняго же дня примусь, это лучше... И деньгу зашибу. Ты какъ объ этомъ думаешь?—вдругъ спросилъ веселымъ тономъ Сидоръ Васильевичъ, остановившись передъ сестрой.

Сестра отозвалась одобрительно, послѣ чего Сидоръ Васильевичъ сталъ высчитывать, сколько барышей ему перепадетъ отъ этого остроумнаго предпріятія.

— Если я хоть по пятачку за штуку пущу, такъ и то получится... Ну, напримѣръ, пущу я въ десяти тысячахъ экземпляровъ, такъ вѣдь это, если по пятачку, какой барышъ получится? А если въ ста тысячахъ, то ужъ тутъ вонъ какая сумма... Удивительно, какъ я объ этомъ раньше не подумалъ!

Александра Васильевна окончательно помирилась съ братомъ, который отрекся отъ себя и отказался отъ крамолъ.

Въ ней осталось много доброты и снисхожденія, вопреки тяжелымъ жизненнымъ испытаніямъ, которыя нежданно-негаданно выпали на ея долю. Послѣ смерти мужа, судебнаго пристава при мировомъ съѣздѣ въ Грязевѣ, она всю свою надежду возложила на сына, краснощекаго гимназиста, который во время вакацій постоянно дразнилъ своего дядю. Но надежда ея разлетѣлась прахомъ. Сынъ, уѣхавшій держать экзаменъ въ высшее учебное заведеніе, внезапно про-

палъ и лишь по истеченіи полугода обнаружилъ свое мѣстопребываніе, съ беззаботностью и небрежностью, свойственною его возрасту. „Я живъ и совершенно здоровъ, и вы, мамаша, не бойтесь за меня, а также и дядя пусть не труситъ. Все это пустяки. Только въ дорогѣ я отморозилъ одинъ палецъ и кончикъ носа, который облупился, больше ничего. А теперь я привыкъ. Если озябнетъ какая-нибудь часть тѣла, сейчасъ ее потрешь — и пройдетъ. Одежды у меня достаточно, деньги также есть. Конечно, если у васъ съ дядей найдутся лишнія, такъ пришлите. Скажите, чтобы дядя пересталъ хныкать и потомъ приходить въ необузданный восторгъ, что̀ у него идетъ безъ перерыва, одно за другимъ. А я здоровъ. Прощайте!“

Какъ ни было весело письмо сына, но мать съ этого момента была убита.

Поползла жизнь. Лицо Александры Васильевны въ нѣсколько мѣсяцевъ покрылось морщинами, исказившими ея добродушіе. Глаза потухли. Волосъ посѣдѣлъ. Ненависть ея ко всякаго рода крамоламъ, которыя она стала видѣть во всѣхъ, самыхъ обыденныхъ дѣйствіяхъ Сидора Васильевича, обратилась въ хроническую болѣзнь, проявленія которой зналъ одинъ только Сидоръ Васильевичъ. Она подозрительно слѣдила за нимъ, и, замѣтивъ, что онъ куда-то собирается и кладетъ что-то въ карманъ, нарочно попадалась на его пути и оглушала: „Куда?“ Сидоръ Васильевичъ даже вздрагивалъ. „Я такъ... прогуляться, честное слово“, —бормоталъ онъ съ поспѣшностью виноватаго.

Слѣдовательно, положеніе Сидора Васильевича было весьма печальное, и отовсюду на него воздвигались гоненія; слѣдовательно, если онъ опять задумалъ сочинять руководство къ правильному и быстрому чистописанію, то имѣлъ на это весьма основательныя причины, изъ которыхъ главная состояла въ томъ, что онъ желалъ получить одобреніе и санкцію со стороны сестры. Сама Александра Васильевна занималась одними домашними дѣлами и не понимала, почему нѣкоторые люди отыскиваютъ несвойственныя занятія и почему Сидоръ Васильевичъ съ такою удивительною жадностью хватается за дѣла, за которыя наказываютъ. Она понимала, что на Сидора Васильевича нападаетъ иногда тоска, но зачѣмъ же лѣзть подъ наказаніе ради забавы? Ну, ужь если

Этакое-то дитя и появилось въ городѣ.

Пріѣхавъ на службу ободраннымъ и проголодавшимся, Чертыхаевъ сразу освоился съ своимъ положеніемъ и началъ поѣдомъ ѣсть жителей. Исправникъ Кулаковъ сначала сдерживалъ его, но потомъ, ближе ознакомившись съ его способностями, спустилъ... Они даже подружились, потому что съ рукъ исправника сразу свалилось множество черновой работы, упавшей на Чертыхаева, который ничѣмъ не брезговалъ, взявъ на свою отвѣтственность запугиваніе, установленіе благочинія, сажаніе въ клоповники и наблюденіе за паспортною системой. Въ концѣ-концовъ, Чертыхаевъ пошелъ въ гору.

Жители сначала оборонялись, и къ прокурору поступала ма́сса прошеній и жалобъ, но когда они увидали, до какой степени они еще глупы, то поступленіе прошеній къ прокурору прекратилось. Чертыхаевъ поправился, остепенился. Кулаковъ совѣтовалъ ему положить нажитыя деньги въ банкъ, а прежнія привычки бросить, и Чертыхаевъ съ благодарностью принялъ его отеческіе совѣты. Однако, отъ многихъ привычекъ онъ отстать не могъ; такъ, напримѣръ, причинять вредъ людямъ, мучить ихъ безъ всякой цѣли, играть во власть—это ужь вкоренилось въ него.

— Попадешь ты, Чертыхаевъ, подъ судъ!—говорили добродушно его пріятели.

А Чертыхаевъ хохоталъ. Вытаращенные глаза его смотрѣли нагло и безсовѣстно, а отчаянная голова держалась прямо, никогда не опускаясь отъ задумчивости.

— Вотъ еще! Мнѣ что... гдѣ мнѣ граница?

— Брось лучше, влопаешься.

— Плевать! Хочу бить по мордасамъ—и буду!—отвѣчалъ на всѣ предостереженія Чертыхаевъ съ легкомысліемъ савраса, на котораго не успѣли надѣть недоуздка.

По многимъ причинамъ Чертыхаевъ не боялся обнаруженія своихъ дѣяній. Два человѣка только могли повредить ему: Жилинъ и Сидоръ Васильевичъ. Но первый молчалъ. Сидоръ Васильевичъ пугался. Въ своихъ газетныхъ письмахъ онъ благоразумно ограничивался обличеніемъ земства, городской управы, съѣзда мировыхъ судей, потому что и эта дерзость не всегда проходила для него даромъ. Чтобы слѣдить за Сидоромъ Васильевичемъ, Чертыхаевъ, на всякій слу-

чай, далъ одному изъ спеціалистовъ, Карѳагенскому, приказъ разузнать, что̀ Сидоръ Васильевичъ дѣлаетъ, какъ молится Богу, куда ходитъ гулять и не ведетъ-ли съ кѣмъ разговоровъ, а также какія книги читаетъ и что пишетъ.

Карѳагенскій, отставной титулярный совѣтникъ, извѣстный въ городѣ за аблаката, котораго всегда можно было отыскать за прилавкомъ кабачка, гдѣ онъ писалъ прошенія, однажды принесъ подробныя свѣдѣнія о поведеніи Сидора Васильевича. Онъ разсказалъ Чертыхаеву, что Сидоръ Васильевичъ въ эту недѣлю то веселится отъ неизвѣстной причины, то жалуется на трясеніе въ ногахъ и головную боль. Сидитъ онъ все дома и читаетъ календарь, а другихъ книгъ не показываетъ. Должно быть, съ сестрицею своей онъ въ большомъ неудовольствіи, и она все на него сердится, а онъ весьма боится... Никакого другого поведенія нельзя было замѣтить. Сестрица Александра Васильевна, должно думать, ужь очень донимаетъ его. Она все говоритъ: „Брось крамольничать! Сгонятъ, говоритъ, тебя, помрешь съ голоду!“ А онъ говоритъ: „Ничего, ничего“... Но вчерась, когда настали сумерки, онъ вдругъ вышелъ на крыльцо и озирается, нѣтъ-ли кого. Сперва показалось, будто онъ хочетъ скрытно отъ сестрицы своей въ трактиръ юркнуть и пропустить малую толику. Но, немного погодя, опять юркнулъ домой. И тутъ какъ разъ попалась ему сестрица. „Куда?—гнѣвно закричала она.—Опять въ газету хочешь?“ Изъ всего вышеизложеннаго видно, что Сидоръ Запѣваловъ пишетъ корреспонденцію, а о чемъ—того узнать было нельзя.

Сидоръ Васильевичъ дѣйствительно не выдержалъ и на самомъ дѣлѣ послалъ въ газету корреспонденцію. Имъ овладѣла такая тоска, что всѣ свои домашнія занятія онъ бросилъ, сѣлъ за столъ, взволновался и написалъ замысловатое обличеніе на Кулакова и Чертыхаева. Когда онъ оставилъ столъ, лицо его, обрамленное сѣдыми косичками волосъ и сморщенное въ кулачокъ, теперь распрямилось и сдѣлалось мужественно. Руки его дрожали, когда онъ вкладывалъ его въ конвертъ, но взглядъ былъ твердъ, даже трагиченъ. Для него это письмо представлялось гражданскимъ подвигомъ.

— Совершилось!—проговорилъ онъ.—Пусть, что будетъ, а я обличу подлость!

И съ этими словами Сидоръ Васильевичъ опустилъ въ кар-

манъ свое дѣтище. Нужно замѣтить, что Сидоръ Васильевичъ выражался о своихъ общественныхъ дѣлахъ такимъ языкомъ, какъ будто онъ и въ самомъ дѣлѣ натворилъ чудесъ. Затѣмъ, крадучись, онъ спустился съ своей лѣстницы, прошмыгнулъ къ почтамту и бросилъ письмо въ ящикъ. На этотъ разъ, на возвратномъ пути домой, его не поймала Александра Васильевна и не выпалила въ него гнѣвнымъ: „куда?“ — вслѣдствіе чего онъ предался необузданной радости, когда прокрался въ свою комнату незамѣченнымъ. Тамъ онъ взволнованно ходилъ отъ стѣны до стѣны и злорадствовалъ. Тихонько хихикая про себя, онъ подошелъ къ окну и погрозилъ своимъ изможденнымъ кулачкомъ на тотъ домъ, гдѣ жили его непріятели. Совершивъ эту нелѣпость, онъ нѣсколько угомонился и сталъ задумчиво укладываться въ постель.

Но и въ постели онъ долго еще злорадствовалъ, вѣроломно радуясь ярости непріятелей, которые, ничего не подозрѣвая, вдругъ получатъ ударъ, направленный неизвѣстною рукой. Почти цѣлую ночь онъ не могъ заснуть. Онъ переживалъ всѣ яркія мѣста своего обличительнаго письма, и воображеніе его ужасно разыгралось. Онъ уже вообразилъ, лежа въ ночной темнотѣ, какая ярость овладѣетъ непріятелями, когда они прочитаютъ... какъ вслѣдъ за этимъ начнутъ печататься другія обличенія... и пойдутъ *ихъ* щелкать, голубчиковъ, со всѣхъ сторонъ, повсемѣстно... И тогда настанетъ новая эра...

Написалъ свою корреспонденцію Сидоръ Васильевичъ иносказательно, въ видѣ приключеній *одной* свиньи, принадлежащей *одному* власть имѣющему въ городѣ. Такимъ своеобразнымъ пріемомъ онъ запутывалъ свои слѣды, а въ концѣ письма, для поясненія его, прибавилъ: „Подъ однимъ власть имѣющимъ въ городѣ должно разумѣть Кулакова — исправника, а подъ свиньей — Чертыхаева“. Должно быть, и самъ Сидоръ Васильевичъ сознавалъ, что тутъ есть что-то неладное, потому что свое обличеніе онъ началъ, какъ всегда, сказочнымъ изрѣченіемъ: „Этому, пожалуй, никто не повѣритъ, но это фактъ...“ Но затѣмъ, запутавъ свои слѣды, онъ уже все забылъ и имѣлъ въ виду одну только свинью, о которой и выражался съ страшнымъ негодованіемъ.

Въ слѣдующіе затѣмъ дни Сидоръ Васильевичъ радовался;

отправляясь куда-нибудь по улицѣ, онъ уже не корчился отъ сознанія своей виновности, но держалъ себя прямо, какъ будто выросъ за это время. Свой подвигъ, т.-е. обличеніе Кулакова и Чертыхаева, онъ считалъ подвигомъ великимъ, смѣлымъ до дерзости и чреватымъ историческими послѣдствіями. Ему казалось уже, что онъ сила, передъ которой Кулаковъ и Чертыхаевъ ничто; грозная эта сила можетъ стереть ихъ съ лица земли или оставить жить. Сидоръ Васильевичъ желалъ, чтобы они жили, потому что кровожадности въ немъ не было нисколько. Только бы они перестали считать себя невмѣняемыми и согласились бы бояться суда. И тогда настанетъ новая эра, вызванная совокупными усиліями многихъ, столь же честныхъ людей, какъ онъ, Сидоръ Васильевичъ.

Благодаря этой радости, основанной на недоумѣніи, Сидоръ Васильевичъ черезъ нѣсколько дней совсѣмъ пересталъ питать ненависть къ непріятелямъ и даже великодушно прощалъ ихъ за всѣ обиды, которыя они чинили ему. Еще недавно, вспоминая и переживая обличенія своего письма, онъ злорадствовалъ, воображая, какъ его непріятели будутъ по прочтеніи рвать волосы, но теперь уже не желалъ ихъ погибели. Встрѣтивъ однажды Чертыхаева въ лавкѣ, Сидоръ Васильевичъ не скорчился, какъ обыкновенно, и не испугался, а съ достоинствомъ пожалъ ему руку, раскланялся и вышелъ, держась прямо. Даже Чертыхаевъ замѣтилъ это и сказалъ со смѣхомъ: „Каковъ гусь!“

Сидоръ Васильевичъ такъ вдругъ поднялся въ своихъ глазахъ, что не только не избѣгалъ встрѣчъ съ своими непріятелями, а искалъ ихъ. Встрѣтится съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ, многозначительно посмотритъ, раскланяется и молча идетъ дальше. Собственно говоря, онъ признавалъ себя въ глубинѣ души виноватымъ, котораго не наказываютъ только по счастливой случайности, но эта безнаказанность была новымъ ощущеніемъ для него, такъ какъ раньше, что бы онъ ни дѣлалъ, его ловили и стращали.

Въ такомъ-то праздничномъ настроеніи засталъ его портной Якимовъ, который принесъ Сидору Васильевичу вывороченное пальто, а вчера былъ побитъ Чертыхаевымъ. Сидоръ Васильевичъ не могъ и передъ нимъ удержаться. Онъ осмотрѣлъ вывороченное пальто, не одобрилъ его и сталъ

укорять Якимова; послѣдній, хотя и подновилъ пальто, но не съумѣлъ скрыть слѣды его прежняго вида; однако, онъ не оправдывался, какъ дѣлалъ раньше, а мрачно стоялъ посреди комнаты, вперивъ неподвижный взоръ на одну точку въ стѣнѣ. Лицо его отекло, глаза заплыли, на одной щекѣ былъ прилѣпленъ пластырь, голова была повязана тряпицей. Сидоръ Васильевичъ думалъ, что такая наружность Якимова есть слѣдствіе того, что онъ имѣлъ склонность пить по воскресеньямъ водку и затѣмъ спать на улицѣ, въ канавѣ, подъ воротами.

— Подъ заборомъ ты валялся или у тебя сраженіе было?—спросилъ Сидоръ Васильевичъ насмѣшливо.

— Страженіе не страженіе, а бой мнѣ былъ,—возразилъ портной, не сводя мрачнаго взгляда съ одной точки.

— Съ кѣмъ же это ты бился?

— Съ кѣмъ... да почитай что ни съ кѣмъ. Буташи—главная причина.

— Какъ буташи? Въ кутузку тебя тащили?—Сидоръ Васильевичъ озабоченно слушалъ и понукалъ Якимова, который послѣ каждаго слова дѣлалъ остановки.

— Третьяго дни это случилось,—вяло тянулъ свой разсказъ Якимовъ.—Шелъ я изъ трактира и легъ на улицѣ ночью... Извѣстное дѣло, былъ навеселѣ — и легъ... Ну, ладно. Легъ и лежу. А въ ту пору проходилъ по улицѣ Чертыхаевъ... глядь, а я лежу. И сейчасъ: „Эй, городовые! сюда!“ А я лежу и думаю: „Ну, накладутъ мнѣ теперь въ загорбокъ!“ Подцѣпили меня буташи, поволокли и давай... Бой мнѣ былъ настоящій.

Кончивъ это, Якимовъ крякнулъ отъ непріятнаго воспоминанія.

— Что „давай“?—уже взволнованно спросилъ Сидоръ Васильевичъ.

— Обыкновенно что. Взяли за ноги и плашмя тащили до самой кутузки.

— И били?

— А то что же? Обыкновенно... Бой мнѣ былъ настоящій.

Сидоръ Васильевичъ пришелъ въ негодованіе отъ равнодушнаго тона, какимъ Якимовъ разсказывалъ, какъ его везли за ноги.

— Что же ты молчишь, дуракъ, не жалуешься?

Портной опять уставилъ глаза въ одну точку.

— Какъ же можно оставлять такое безобразіе? Подавай прошеніе мировому!—съ негодованіемъ говорилъ Сидоръ Васильевичъ.

Но Якимовъ только пожевалъ губами и остался глухъ къ словамъ его.

— Аа, ай, ай! какъ съ вами обращаются! Да еслибы этотъ Чертыхаевъ мнѣ хоть слово, такъ ему бы... Дурно съ вами обращаются. А ты молчишь. Бьютъ, а ты только икаешь. Нѣтъ, ты подавай жалобу.

Якимовъ еще долго не могъ взять въ толкъ, чего собственно, отъ него требуютъ, а Сидоръ Васильевичъ, между тѣмъ, все настаивалъ.

— Нѣтъ, ты подавай жалобу... Хочешь, я тебѣ и прошеніе напишу?—вдругъ сказалъ Сидоръ Васильевичъ, почувствовавъ зудъ.

— Да, надо бы,—отвѣчалъ, наконецъ, портной,—потому что бой мнѣ былъ не по закону. Я ужь и вчера говорилъ съ буташами, стыдилъ ихъ: сволочь, говорю, вы эдакая! И самому Чертыхаеву показывалъ побои, потому что бой мнѣ былъ не по справедливости. Главное дѣло, въ голову меня лупили. Развѣ, говорю, можно такъ, ежели, напримѣръ, въ голову? По закону это выходитъ, а? Ну, Чертыхаевъ поглядѣлъ-поглядѣлъ, засмѣялся и велѣлъ меня вытурить изъ части.

Сидоръ Васильевичъ покровительственно выслушалъ Якимова и настоялъ, чтобы тотъ подалъ жалобу на незаконныя дѣйствія Чертыхаева и его подчиненныхъ, все приговаривая: „Ай, ай, ай! какъ съ вашимъ братомъ обращаются! Вотъ ужь дѣйствительно!“

Сидоръ Васильевичъ просто забылъ, что и подъ его ногами земля, какъ у всѣхъ жителей города; забылъ, что поднимать голову въ Грязевѣ не полагается.

Было узнано, кто писалъ прошеніе мировому, кто поджигалъ портного противъ полиціи. Правда, Якимовъ велъ себя на судѣ разсудительно, все доказывая положеніе, что „въ брюхо—ничего, а ежели, напримѣръ, въ голову“ и проч. Но Чертыхаеву этого было мало. Онъ прямо явился въ квар-

тиру Сидора Васильевича и стращалъ его. Сидоръ Васильевичъ до того растерялся, что слова не могъ выговорить въ свое оправданіе, и только шепталъ побѣлѣвшими губами.

Это было начало. А конецъ совсѣмъ погубилъ Сидора Васильевича.

Вышло такъ, что къ этому же времени пришла и газета, въ которой, къ несчастію Сидора Васильевича, помѣщено было его обличеніе. И еще что случилось: редакція, вмѣсто того, чтобы говорить читателямъ о свиньѣ, сократила до нѣсколькихъ строкъ письмо и поставила просто иниціалы К. и Ч. Когда Сидоръ Васильевичъ узналъ объ этомъ, то такъ и присѣлъ. Онъ надѣялся, что на этотъ разъ никто не откроетъ сочинителя, совсѣмъ былъ убѣжденъ, что скрамольничалъ потихоньку, а иниціалы погубили его. Замѣчательно, что не Кулаковъ и Чертыхаевъ поражены были письмомъ, а самъ Сидоръ Васильевичъ. Онъ первый констатировалъ свою погибель, первый призналъ, что виноватъ, кругомъ виноватъ, заслуживаетъ усмиренія и наказанія. И, прочитавъ свое собственное сочиненіе, онъ почувствовалъ трясеніе въ ногахъ. Онъ было уже рѣшилъ немедленно же побѣжать къ Кулакову, заранѣе раскаяться и попросить помилованія, но почему-то отложилъ. Можетъ быть, потому, что ужасно упалъ духомъ, окоченѣлъ и ослабъ. Такъ весь этотъ день онъ и сидѣлъ дома, не будучи въ состояніи принять никакого рѣшенія, и осовѣло смотрѣлъ на газетный листъ, который былъ недавно его радостью и гордостью, а теперь казнью.

Не успѣлъ Сидоръ Васильевичъ одуматься, какъ ему до точности пояснили его положеніе. Послѣ классныхъ занятій, на другой же день, его остановилъ смотритель и со стономъ накинулся на него:

— Вы опять скрамольничали, Сидоръ Васильевичъ?

Сидоръ Васильевичъ пошепталъ что-то, но изъ этого ничего опредѣленнаго не вышло.

— Что вы дѣлаете? Вѣдь вы меня въ гробъ вгоните!

— Я? Конечно, я немного писалъ, но это ничего,— проговорилъ ослабѣвшимъ голосомъ Сидоръ Васильевичъ. Отпираться, какъ онъ прежде дѣлалъ, было невозможно.

— И прошеніе какому-то пьяницѣ написали! Подстрекательствомъ занимаетесь!—застоналъ смотритель.

— Господи, и не думалъ! Я только убѣждалъ одного портного не пить, потому что это вредно... Только и было.

— Да вѣдь вы все обманываете?

— Честное слово! Такъ именно и было...

— Нѣтъ, ужь больше я не могу... Силъ моихъ нѣтъ!

Далѣе смотритель объяснилъ Сидору Васильевичу, что ему лучше подать прошеніе объ отставкѣ отъ должности уѣзднаго учителя. Такъ будетъ лучше для всѣхъ. Смотритель говорилъ все это съ сожалѣніемъ: онъ отъ души жалѣлъ Сидора Васильевича. Чтобы смягчить ударъ, онъ обѣщалъ хлопотать о переводѣ его въ другой городъ, лишь бы онъ самъ добровольно согласился удалиться.

— Такъ по прошенію? — спросилъ дрожащимъ голосомъ Сидоръ Васильевичъ.

— По прошенію, Сидоръ Васильичъ.

Сидоръ Васильевичъ пошелъ домой. Обыкновенно Александра Васильевна узнавала обо всѣхъ приключеніяхъ брата, счастливыхъ и бѣдственныхъ, раньше, чѣмъ онъ успѣвалъ разсказать ей. Сидоръ Васильичъ зналъ изъ прежнихъ опытовъ, что какъ только онъ появится домой, такъ будетъ ошеломленъ вопросомъ: ну, что? Зналъ онъ и теперь это, только ослабѣлъ и заболѣлъ онъ такъ, что уже не пугался этого вопроса.

Александра Васильевна дѣйствительно узнала обо всемъ, и когда братъ тяжело сѣлъ за обѣденный столъ, она смѣряла его взглядомъ. Сидоръ Васильевичъ сидѣлъ безжизненно, разбитый и опустившійся. Молчаніе долго не нарушалось. Но первая прервала Александра Васильевна.

— Ну, что?—спросила она, разсмѣявшись недобрымъ смѣхомъ. Въ отставку? Собирать пожитки и ѣхать, куда глаза глядятъ?

— Ахъ, сестра!—только и сказалъ Сидоръ Васильевичъ. Голосъ его былъ слабый и печальный.

— На старости лѣтъ—и въ отставку! Срамота! Дожилъ, докрамольничался!... Вѣдь тебѣ что надо? Вѣдь ужь ты только и способенъ, что ходить, да песокъ сыпать отъ старости-то, а ты еще обличеніями занимаешься...

— Правда, правда, сестра!—тихо выговорилъ Сидоръ Васильевичъ. Онъ сидѣлъ, облокотившись на столъ и положивъ голову на руки.

ловался также на головную боль. Поэтому ходилъ по квартирѣ въ валенкахъ, беззвучно и тихо шурша по полу войлочными подошвами. А на голову часто надѣвалъ компрессъ и все молчалъ, такъ что въ домѣ дѣлался невидимъ и нѣмъ. На Александру Васильевну онъ и глазъ не поднималъ, боясь встрѣтить въ ея взглядѣ осужденіе себѣ. Онъ замеръ и пересталъ существовать, такъ что и знакомые перестали его видѣть. Если кто изъ нихъ заходилъ къ нему, то онъ велъ себя необыкновенно странно: или рѣшительно молчалъ, не находя словъ для разговора, или испуганно просилъ не говорить о предметахъ, казавшихся ему почему-то опасными. Но, оставаясь дома, Сидоръ Васильевичъ ничего не могъ дѣлать, все вываливалось у него изъ рукъ, даже дѣтскія тетрадки, въ которыхъ необходимо было поправить грамматическія ошибки, и онъ просилъ сестру исправить ихъ. А когда та брала тетрадки и принималась марать, онъ стыдился, оправдывался, ссылался на изможеніе, жаловался, что у него опускаются руки... Спасайся и будь живъ!—шепталъ Сидору Васильевичу внутренній голосъ.

Сидоръ Васильевичъ принялся спасаться. Страхъ поборолъ отчаяніе, тотъ самый страхъ, который выражаетъ собой первое проявленіе привязанности къ жизни. Почувствовавъ страхъ за свою участь, Сидоръ Васильевичъ дѣятельно принялся шнырять по своимъ знакомымъ, чтобы какъ-нибудь выцарапаться изъ сквернаго положенія. Откуда и прыть взялась. Хвори какъ не бывало, а больныя ноги судорожно носили своего хозяина къ квартирѣ исправника, смотрителя и прочихъ. Компрессы съ головы Сидоръ Васильевичъ сбросилъ, пересталъ шлепать дома въ валенкахъ; черты его лица, недавно еще застывшія и окоченѣлыя, опять стали живыми.

Ходилъ онъ послѣ уроковъ къ смотрителю, заглядывалъ ему въ глаза и безмолвно умолялъ. Срамоту этого моленья онъ, разумѣется, чувствовалъ, но... ничего не подѣлаешь! Сидоръ Васильевичъ въ это время удивлялъ ближайшее начальство свое терпѣніемъ и покорностью и никогда не упоминалъ о своей отставкѣ, надѣясь, что эту отставку авось забудутъ. Увѣрившись, что смотритель самъ сомнѣвается въ справедливости изгнанія стараго учителя и лишенія его куска хлѣба, Сидоръ Васильевичъ суетливо подговаривалъ

своихъ товарищей-учителей устроить чествованіе смотрителя, юбилейный обѣдъ, подписку на стипендію имени... или что-нибудь въ этомъ родѣ. И подговорилъ. Бѣгалъ по товарищамъ, умолялъ ихъ не оставлять его, заклиналъ честью спасти его отъ погибели и устроилъ-таки обѣдъ въ честь толстаго смотрителя, вся заслуга котораго въ педагогіи состояла въ томъ, что ему лѣнь было вмѣшиваться въ училищныя дѣла, лѣнь распекать, лѣнь вредить. Обѣдъ удался. Самъ Сидоръ Васильевичъ во время его произнесъ рѣчь о смотрителѣ, въ которой удивлялся его педагогическимъ талантамъ и увѣрялъ, что потомство оцѣнитъ его скромную, но плодотворную дѣятельность. Кончая свою рѣчь, Сидоръ Васильевичъ былъ весь блѣдный и взволнованный.

— Небось взволнуешься, какъ станутъ вынимать кусокъ изо рта!—говорили послѣ товарищи Сидора Васильевича.

Потомъ Сидоръ Васильевичъ побѣжалъ къ исправнику Кулакову. Срамота этого поступка ужасно его мучила, а потому онъ совершилъ его тайно. Нѣсколько разъ онъ ходилъ къ Кулакову и помаленьку оправлялъ себя. Пришелъ разъ—хозяинъ спитъ. „Спитъ?"—спросилъ съ улыбкой Сидоръ Ва- Васильевичъ и, пошептавшись съ дежурнымъ солдатомъ, торопливо удалился. Пришелъ въ другой разъ—Яковъ Кузьмичъ обѣдаетъ. „Обѣдаютъ?"—съ улыбкой спросилъ Сидоръ Васильевичъ и опять ушелъ, увѣривъ дежурнаго солдата, что его дѣло не спѣшное, погодитъ. И долго такъ продолжалъ похаживать Сидоръ Васильевичъ. Придетъ, пошепчется съ солдатомъ, который все настаивалъ доложить о немъ, и удалится торопливо. Это онъ дѣлалъ для того, чтобы примелькаться въ глазахъ исправника и изумить его терпѣніемъ. Наконецъ, Сидоръ Васильевичъ лично увидѣлся съ Яковомъ Кузьмичемъ и, послѣ многочисленныхъ извиненій, умолялъ его не напускать болѣе на него Карѳагенскаго, который приводилъ его въ ужасъ.

— Я не люблю безпокойныхъ людей,—сказалъ Кулаковъ.

— Господи, да развѣ я...

— У меня все въ городѣ тихо, а вы возмущаете.

— Честное слово, больше не буду! Вѣрите-ли слову... вотъ ужъ ей-Богу!

Послѣ такого разговора Сидоръ Васильевичъ въ продолже-

ніи цѣлаго мѣсяца чувствовалъ необычайную срамоту въ себѣ. Но ему надо было спасаться, и онъ спасался.

Вспомнилъ онъ и еще способъ, чтобы выставить наружу свою балгонамѣренность. Въ Петербургѣ праздновали въ этотъ день одно событіе, и Сидоръ Васильевичъ, по примѣру другихъ, вывѣсилъ флагъ передъ окнами. Онъ самъ его сшилъ, самъ повѣсилъ на древко и самъ наблюдалъ весь день, чтобы развѣвался, и когда флагъ переставалъ развѣваться, обвиваясь вокругъ древка, Сидоръ Васильевичъ бралъ длинную жердь и ширялъ ею, распутывая обмотавшееся вокругъ палки полотно.

Чертыхаевъ одинъ остался неумолимъ. Жестокій и необузданный, онъ принадлежалъ къ тому сорту людей, которыхъ можно убѣдить и заставить уважать себя только по боязни, а Сидоръ Васильевичъ лишь заглядывалъ ему въ глаза. Разъ встрѣтились они на базарѣ и обмѣнялись поклонами. Сидоръ Васильичъ пожалъ своему непріятелю руку и заглядывалъ въ его глаза. Чартыхаевъ нагло захохоталъ.

— Знаю, чего вамъ хочется! Но на эту удочку я не пойду! Погодите, я васъ такъ напугаю, что родную мать забудете!— и, говоря это, Чартыхаевъ еще разъ безстыже захохоталъ, оставивъ Сидора Васильевича пораженнымъ до глубины души.

— Это ужь такой зудливый человѣкъ. Хоть ты его бей, хоть пугай, онъ все свое продолжаетъ; неймется ему,—сказала Александра Васильевна.

Сидоръ Васильевичъ совсѣмъ, кажись, былъ мертвецъ, однакожь, оправился. Почитывалъ онъ свою возлюбленную газету и мало-по-малу началъ злорадствовать; то тихонько хихикаетъ, то взволнованно потретъ руки, и все по поводу либеральныхъ выходокъ газеты, или вдругъ придетъ въ благоговѣйное удивленіе, читая фельетонъ и поражаясь его дерзостью. На основаніи этой дерзости онъ судилъ о томъ, продолжаетъ-ли свое шествіе прогрессъ, или остановился. А за этимъ вновь послѣдовалъ возвратъ къ неугомонности. Вмѣсто самобичеванія, самообольщеніе. Мученіе позабылось, отчаяніе прошло, изможденіе превратилось въ бодрость, раскаяніе въ восхваленіе себя. Прочитавъ нѣсколько дерзкихъ выходокъ, Сидоръ Васильевичъ съ прежнею вѣрой и таин-

ственностью убѣждалъ своего пріятеля, мирового судью, что въ новомъ году что-то ожидается... удивительное! Это видно по всему.

— Вотъ прочитайте-ка,—сказалъ онъ, показывая въ газетѣ мѣсто, поразившее его тонкое чутье запахомъ наступающаго либерализма. Онъ беззвучно смѣялся и потиралъ свои тощія руки.

Пораженный этимъ запахомъ, Сидоръ Васильевичъ быстро оправился и дѣятельно распространялъ слухъ, что къ январю что-то готовится важное, неслыханное.

Такъ встрепенулся Сидоръ Васильевичъ. Особенно удивительны были его надежды на январь и февраль каждаго года. Надо замѣтить, что Сидоръ Васильевичъ прожилъ довольно порядочное количество лѣтъ и потому его каждогоднія январскія и февральскія надежды были еще болѣе поразительны: вѣдь нужно ухитриться такъ, чтобы вѣчно надѣяться! Въ ноябрѣ и декабрѣ онъ уже разсказывалъ всѣмъ своимъ пріятелямъ, что „въ верху что-то готовится, какое-то событіе первостепенной важности, нѣчто необыкновенное“... Разсказывалось все это таинственно. Когда Сидоръ Васильевичъ говорилъ это, у него захватывало духъ, голосъ его дрожалъ и выраженіе его лица дѣлалось загадочнымъ.

По странной случайности, вѣра Сидора Васильевича на этотъ разъ, повидимому, оправдывалась фактами, такъ что самые упрямые маловѣры прислушивались и волновались. Исправникъ Кулаковъ и помощникъ его Чертыхаевъ попали подъ судъ или, лучше сказать, подъ слѣдствіе, возбужденное по поводу какой-то грандіозной порки мужиковъ. Но радоваться этому обстоятельству, очевидно, было позволительно только человѣку, лишенному всякихъ основательныхъ надеждъ въ жизни, потому что слѣдствіе производилось, а кулаковъ и Чертыхаевъ оставались нетронутыми, и немного только присмирѣли.

Сидоръ Васильевичъ ходилъ пѣтухомъ. Каждую недѣлю онъ носилъ корреспонденціи, обличалъ, злорадствовалъ, волновался. Дома онъ не сидѣлъ, бѣгая по знакомымъ и разсказывая, какое настало удивительное время и какія дерзкія письма печатаютъ. Своихъ непріятелей онъ больше не боялся; встрѣчаясь съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ, онъ глядѣлъ вызывающе, дерзко; тощая фигура его, изможденная постоян-

ными треволненіями, теперь какъ будто выросла. Это даже Кулакова пугало.

Пошумѣвъ ради подписки въ пользу выпоротыхъ мужиковъ, Сидоръ Васильевичъ бросился устраивать подписку въ пользу Жилина. Жилинъ, такъ долго молчавшій, показывавшійся лишь по дорогѣ отъ своей мазанки къ полиціи, вдругъ заставилъ вспомнить о себѣ: умеръ. Какъ и чѣмъ онъ болѣлъ, была-ли какая помощь ему во время болѣзни—никто этого не зналъ. Никто не ходилъ къ нему, кромѣ хозяина двора, навѣщавшаго изрѣдка своего жильца. За недѣлю передъ смертью Жилинъ совсѣмъ пересталъ выходить. Не видя его, хозяинъ отправился однажды въ мазанку и увидалъ его въ постели. По его просьбѣ, онъ принесъ ему напиться и съ состраданіемъ глядѣлъ на него. Жилинъ обратился къ хозяину еще съ одною просьбой, высказать которую ему, должно быть, было очень трудно.

— Спасибо, добрый человѣкъ,—сказалъ онъ, когда напился.—А все-таки будетъ лучше, если отвезете меня въ больницу!

Въ больницѣ и умеръ Жилинъ.

Когда Сидоръ Васильевичъ узналъ объ этомъ, то пришелъ въ сильное негодованіе и побѣжалъ устраивать похороны. Онъ въ особенности возмутился казенными похоронами, которыя въ этой больницѣ состояли въ томъ, что въ дроги запрягали стараго и худого мерина, клали на дроги гробъ, привязывали его всревками, садили на гробъ старика сторожа и выводили эту колесницу за больничная ворота. Худой меринъ самъ шелъ по направленію къ кладбищу, а старый сторожъ дребезжащимъ голосомъ пѣлъ: „Святый Боже", отъ времени до времени вступая съ мериномъ въ разговоры или укоряя его за лѣнь.

Сидоръ Васильевичъ собралъ по подпискѣ необходимую сумму для похоронъ и самъ проводилъ гробъ до кладбища. Онъ не любилъ Жилина, не понималъ этого молчаливаго человѣка, боялся его, но радъ былъ его похоронами ткнуть въ носъ своимъ непріятелямъ и показать имъ, что больше ихъ не пугается. Правда, Жилинъ былъ истинный козелъ отпущенія и хоронить его—значило хоронить человѣка, на котораго всѣ преступленія валили, но Сидоръ Васильевичъ забылъ это, подавленный охватившимъ его волненіемъ, и без-

боязненно шелъ за гробомъ вмѣстѣ съ нѣсколькими пріятелями, съ нѣсколькими нищими и съ Кареагенскимъ.

Когда Сидоръ Васильевичъ возвращался домой, онъ прозябъ. День былъ морозный и ясный. Вдали, надъ лѣсомъ, стояла темная мгла, отливавшая свинцовымъ цвѣтомъ и сливавшаяся съ землею въ одну сплошную тучу. Но надъ городомъ было синее небо; солнце весело играло лучами на крышахъ домовъ, занесенныхъ снѣгомъ, на снѣжной площади и въ снѣжныхъ пылинкахъ, которыя порошились въ воздухѣ. Однакожъ, морозъ только подзадоривалъ его изможденное тѣло; онъ шелъ и подпрыгивалъ, похлопывая руками.

Придя домой, онъ погрѣлъ около печки закоченѣвшія ноги и руки, и, еще съ посинѣвшими губами, побѣжалъ разсказывать знакомымъ о демонстраціи, которую онъ устроилъ.

— Совсѣмъ старичишка измотался!—со злобой проговорила Александра Васильевна, провожая его за дверь.

Домой въ этотъ день Сидоръ Васильевичъ возвратился поздно. Въ комнатѣ ждалъ его сюрпризъ: письмо отъ племянника которое Сидоръ Васильевичъ немедленно развернулъ и прочиталъ:

„Здорово, любезный дядюшка! Изъ вашего письма я узналъ, что вы живете хорошо и веселы, потому что опять полны надеждъ. Еще говорите вы, что у васъ тамъ, въ Европѣ, настало веселое время и новая эра, чреватая величайшими послѣдствіями. Это хорошо. Я только сомнѣваюсь насчетъ людей, которые распространяютъ слухи о прогрессѣ и о новой эрѣ. Эти люди, милый дядюшка, чрезвычайно загадочный народецъ. Вся ихъ жизнь проходитъ въ томъ, что они то замираютъ отъ страха, когда на нихъ зыкаютъ, то безпутно шумятъ, когда ихъ устаютъ колотить. Дѣла они никогда и никаго не сдѣлали, производя одинъ шумъ. То они ноютъ о невозможности дѣла, ссылаясь на „независящія обстоятельства“, то хвалятся дѣлами, которыхъ не совершали. А на самомъ то дѣлѣ, дядюшка, они только ждутъ—въ этомъ вся ихъ суть—ждуть кары или милостей. И я думаю, что новое время, о которомъ вы пишете и которое потребуетъ для себя болѣе сильныхъ и смѣлыхъ людей, сплошь смететъ этотъ странный народецъ, а если они еще не сметены, такъ это вѣрный признакъ, что-

никакого новаго времени и нѣтъ. Такъ-то, дядюшка. А меня, дядюшка, переводятъ въ другое мѣсто, поэтому я третьяго дня купилъ себѣ баранью шкуру и сегодня дѣлаю изъ нея треухъ. Поцѣлуйте маму и скажите, что я здоровъ. Прощайте, дядюшка!“

Прочитавъ это письмо, Сидоръ Васильевичъ былъ ошеломленъ и что-то припоминалъ. Но какъ только вспомнилъ онъ, что его непріятели отданы подъ судъ, такъ вновь забылся, и ночью, лежа на боку, долго еще злорадствовалъ и хихикалъ, твердо вѣря въ „новую эру“.

Тяжело и обидно было наблюдать его въ такія минуты.

Мѣста нѣтъ.

I.

Съ устланной коврами лѣстницы Лобановичъ слетѣлъ съ такою стремительностью, словно его спустили сверху.

Его, пожалуй, дѣйствительно спустили съ лѣстницы, только не буквально; ему просто отказали отъ мѣста.

Это уже который разъ!

Лицо его было красное отъ гнѣва, почти дикое, когда онъ вихремъ пролетѣлъ мимо швейцара и прыгнулъ на улицу. „Эка, сумасшедшій!“—пробормоталъ швейцаръ, удивленный безпорядочными скачками барина.

Но когда утренній воздухъ обвѣялъ горячую голову Лобановича, а яркіе солнечные лучи ослѣпили его взоръ, онъ почти мгновенно успокоился и уже пошелъ по улицѣ обыкновеннымъ шагомъ разумнаго человѣка. А вмѣсто гнѣва, на его лицѣ появилось смущеніе, почти стыдъ.

До сихъ поръ ко всякаго рода житейскимъ дѣламъ, а въ томъ числѣ и къ „мѣстамъ“, онъ относился съ безпечностью жаворонка. Есть „мѣсто“ — отлично, нѣтъ — наплевать. Но на этотъ разъ онъ смутился. Когда пріятели посадили его на это „мѣсто“, то пригрозили ему, ради шутки, что больше хлопотать за него не станутъ; чортъ съ нимъ, если онъ самъ о себѣ не заботится. Вообще это мѣсто, довольно теплое и съ перспективами въ будущемъ, стоило большихъ усилій для благопріятелей. И вотъ съ этого-то мѣста его спустили.

И въ неразсудительную голову Лобановича проникло бла-

годѣтельное смущеніе. Шагая подъ горячими лучами майскаго солнца, онъ со всѣхъ сторонъ обсуждалъ свое положеніе. Ему надо было вообще разсудить, какъ ни мало привыкъ онъ разсуждать о своихъ дѣлахъ.

Вѣроятно, въ немъ есть какой-нибудь органическій порокъ, мѣшающій ему прочно усѣсться за жизненнымъ столомъ. Но что же это за порокъ? Кажется, онъ человѣкъ порядочный,—по крайней мѣрѣ, никто не смѣетъ его укорить какою-нибудь пакостью. Кажется, онъ не глупъ; напротивъ, всѣ его друзья и знакомые считаютъ его даже не совсѣмъ дюжиннымъ, и если Иванъ Ивановичъ называетъ его осломъ, то это ничего не значитъ. Кажется, всѣ видятъ, что онъ не отказывается ни отъ какой работы, и знаютъ, что онъ способенъ на безчисленное множество дѣлъ. Самъ онъ чувствуетъ, что въ немъ есть совѣсть, гордость и честь. Быть можетъ, на сегодняшнемъ базарѣ все это цѣнится не выше гроша, но вѣдь и грошъ—цѣнность; если безчисленное множество совѣстливыхъ и благородныхъ людей ходятъ теперь кучами, не зная, куда помѣстить свое сердце и умъ, то все же они кое-какъ временно пробавляются. А вѣдь онъ совсѣмъ ужь не можетъ никуда прислониться, какъ будто всѣ сговорились отовсюду гнать его. Слѣдовательно, есть же какой-то особенный порокъ въ немъ, какое-то отталкивающее свойство, какой-то нетерпимый духъ.

Лобановичъ со страхомъ искалъ въ себѣ таинственныхъ подлостей, нетерпимаго духа. Но поиски эти ни къ чему существенному не привели, и чѣмъ дальше онъ углублялся въ себя, надѣясь на днѣ своей персоны отыскать таинственный порокъ, тѣмъ дальше отходилъ отъ цѣли. Напрасно онъ ломалъ голову.

— Но, Боже мой, надо же какъ-нибудь жить!—почти простоналъ онъ, шагая возлѣ общественнаго сада.

Капли холоднаго пота покрывали его лобъ; во рту пересохло. Страшная тяжесть легла на всѣ его мысли. Кучи соображеній, какъ соръ, сплошь заняли его душу, и онъ съ ожесточеніемъ рылся въ нихъ, не умѣя ихъ разсортировать. Наконецъ, врожденная безпечность на минуту взяла верхъ; онъ внезапно бросилъ думать объ этихъ головоломныхъ вещахъ и соръ весь выбросилъ изъ головы.

Тутъ кстати подвернулась калитка сада; онъ вошелъ въ

нее, повернулъ въ боковую аллею и усѣлся на скамейкѣ съ блаженною улыбкой человѣка, который все обдумалъ и отлично устроилъ всѣ свои дѣла. Онъ снялъ шляпу, съ облегченіемъ вздохнулъ и успокоился. Недалеко бѣгали, шумя, дѣти разныхъ возрастовъ.

Лобановичъ нѣсколько времени наблюдалъ за бѣготней ихъ, серьезно прислушивался къ звонкимъ голосамъ и мало-по-малу совершенно вошелъ въ ихъ интересы. Между маленькими людьми возникъ скоро какой-то споръ, кончившійся общею ссорой; одинъ мальчикъ показалъ другому языкъ; послѣдній назвалъ противника обиднымъ названіемъ и также, въ свою очередь, показалъ языкъ. Толпа раздѣлилась; одни заступались за одного, другіе—за другого, послѣ чего обѣ партіи принялись дразнить другъ друга страшно оскорбительными названіями и жестами. Это продолжалось до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ споривших не сорвалъ шляпы съ другого; сорвавъ, онъ забросилъ ее на верхушку куста сирени; тогда обиженный принялся ревѣть на весь садъ, закрывъ оба глаза своими маленькими кулачками. Лобановичъ послѣ этого вмѣшался въ распрю и принялся разбирать и успокоивать. Все это онъ сдѣлалъ съ такою убѣжденностью и такъ горячо, что черезъ нѣсколько минутъ раздоры окончились. Малые люди снова принялись играть, пригласивъ въ свой кругъ и Лобановича. Послѣдній охотно принялъ участіе въ дѣлѣ; его большой ростъ и густая борода нисколько не мѣшали ему толкаться среди крошечнаго человѣчества, но въ первой же игрѣ нѣсколько ребятишекъ отлично надули его и заставили служить чучелой. Изображать чучелъ—таковъ былъ удѣлъ всѣхъ проигравшихъ, и Лобановичъ безропотно несъ послѣдствія своей неумѣлости.

II.

Вдругъ на далекой монастырской колокольнѣ пробило три часа.

Лобановичъ встрепенулся. Что-то вдругъ непріятное кольнуло его въ сердце. „Что такое нынче со мною случилось?... Ахъ, да, съ мѣста меня потурили!“

— Да это наплевать!—сказалъ онъ вслухъ.

теля и нѣсколько минутъ молча подбиралъ самый убійственный, смертоносный отвѣтъ.

— Я, во всякомъ случаѣ, не намѣренъ быть комнатною собаченкой. которая подъ столомъ дожидается крохъ, падающихъ изъ рукъ пирующихъ,—сказалъ онъ, наконецъ, угрюмо.

— Предпочитаешь быть дворнягой?

— Ну, да, дворнягой! Именно дворнягой!—закричалъ Лобановичъ.

— Дворнягъ, насколько мнѣ извѣстно, сажаютъ на цѣпь... по большей части на цѣпь,—возразилъ Иванъ Ивановичъ.

— На цѣпь? Въ такомъ случаѣ, я предпочитаю быть бродячею собакой!

— Это, конечно, жизнь свободная, но, къ сожалѣнію, уличныхъ собакъ нынче ловятъ крючьями и истребляютъ, какъ бѣшеныхъ.

Лобановичъ опять на минуту оторопѣлъ. На взволнованномъ лицѣ его появилось болѣзненное чувство обиды и отчаянія.

— Ну, да! Я знаю... въ душѣ вы всѣ называете меня легкомысленнымъ, вѣтреннымъ. Для васъ я — неудачникъ, пустой человѣкъ, которому нѣтъ нигдѣ удачи, который ни на что не способенъ, которому лучше гдѣ-нибудь пропасть скорѣе. „Интеллигентный бродяга“! Что можетъ быть смѣшнѣе и глупѣе интеллигентнаго бродяги? Вы правы. Я—неудачникъ, бродяга, я все, что вы хотите! Но позвольте мнѣ въ одномъ остаться правымъ: я не пресмыкаюсь и не продаюсь! И вотъ практичнымъ, умѣлымъ я бросаю вызовъ: вы—халуи, ползающіе передъ всякою силой, которую выдвигаютъ обстоятельства!... Я бросаю вамъ этотъ вызовъ и знаю, что вы его заслуживаете!

Лобановичъ при этихъ словахъ, внѣ себя отъ гнѣва, вскочилъ изъ-за стола, отбросилъ ногой стулъ и выбѣжалъ вонъ изъ комнаты.

Иванъ Ивановичъ медленно закончилъ обѣдъ. но взглядъ его безпокойно перебѣгалъ съ предмета на предметъ.

Онъ пропустилъ мимо ушей неожиданный выстрѣлъ товарища; ко всякимъ неумѣреннымъ и нелѣпымъ выходкамъ послѣдняго онъ привыкъ. Но на этотъ разъ его поразило состояніе Лобановича, и онъ обдумывалъ, какъ теперь быть.

Надо поскорѣе пріискать для него новую работу, но какъ это лучше сдѣлать? Вѣдь Васька дѣйствительно страдаетъ отъ своей неумѣлости и необузданности... Искать для него *какого-нибудь* мѣста — безполезно, съ него онъ будетъ спущенъ съ такою же быстротой, какъ и съ прежнихъ мѣстъ. Ему слѣдуетъ найти такое положеніе, которое не оскорбляло бы его фантазій, не вызывало бы его необузданности наружу.

Иванъ Ивановичъ любилъ послѣ обѣда повалятся на диванѣ съ газетой въ рукахъ, которая быстро приносила ему блаженной сонъ; онъ любилъ также все дѣлать чисто и обдуманно, но на этотъ разъ измѣнилъ своимъ привычкамъ. Насчетъ Лобановича у него явилась одна комбинація, которую немедленно надо было привести въ исполненіе. Для этого онъ тщательно одѣлся и отправился хлопотать о новомъ мѣстѣ для сумасшедшаго.

Тѣмъ временемъ этотъ послѣдній шатался по улицамъ въ самомъ мрачномъ настроеніи, снова углубившись на дно своей персоны съ цѣлью отыскать порокъ своей жизни. Это безплодное занятіе продолжалось бы долго, если бы ему не пришла счастливая мысль зайти въ библіотеку. Благодаря службѣ на послѣднемъ мѣстѣ, онъ почти пересталъ читать. Такое лишеніе было для него тяжело; онъ слѣдилъ за всѣмъ, что дѣлалось въ мірѣ, и, не видя мѣсяца два книги и газеты, уже думалъ, что опошлѣлъ и одичалъ. Чтеніе было его единственнымъ дѣломъ, которое онъ исполнялъ чисто, совершенно и въ величайшемъ порядкѣ.

И теперь, окруживъ себя ворохомъ газетъ, онъ съ наслажденіемъ сталъ вдыхать воздухъ родныхъ широкихъ интересовъ. За два мѣсяца, которые онъ корпѣлъ на скучной службѣ ради куска (скатился съ лѣстницы адвоката онъ даже раньше двухъ мѣсяцевъ), онъ долженъ былъ многое возстановить изъ утраченнаго и забытаго. Его интересовала одна экспедиція во внутрь Африки, и онъ принялся слѣдить за ея судьбой; тогда, два мѣсяца тому назадъ, онъ оставилъ ее въ самомъ критическомъ положеніи и теперь съ живѣйшимъ интересомъ слѣдилъ за ея ходомъ; къ его удовольствію, экспедиція оказалась цѣлою и невредимою, а не была съѣдена людоѣдами, какъ онъ мрачно думалъ. Затѣмъ, имѣя знакомыхъ во всѣхъ частяхъ свѣта, онъ пере-

никакого новаго времени и нѣтъ. Такъ-то, дядюшка. А меня, дядюшка, переводятъ въ другое мѣсто, поэтому я третьяго дня купилъ себѣ баранью шкуру и сегодня дѣлаю изъ нея треухъ. Поцѣлуйте маму и скажите, что я здоровъ. Прощайте, дядюшка!“

Прочитавъ это письмо, Сидоръ Васильевичъ былъ ошеломленъ и что-то припоминалъ. Но какъ только вспомнилъ онъ, что его непріятели отданы подъ судъ, такъ вновь забылся, и ночью, лежа на боку, долго еще злорадствовалъ и хихикалъ, твердо вѣря въ „новую эру“.

Тяжело и обидно было наблюдать его въ такія минуты.

Мѣста нѣтъ.

I.

Съ устланной коврами лѣстницы Лобановичъ слетѣлъ съ такою стремительностью, словно его спустили сверху.

Его, пожалуй, дѣйствительно спустили съ лѣстницы, только не буквально; ему просто отказали отъ мѣста.

Это уже который разъ!

Лицо его было красное отъ гнѣва, почти дикое, когда онъ вихремъ пролетѣлъ мимо швейцара и прыгнулъ на улицу. „Эка, сумасшедшій!"—пробормоталъ швейцаръ, удивленный безпорядочными скачками барина.

Но когда утренній воздухъ обвѣялъ горячую голову Лобановича, а яркіе солнечные лучи ослѣпили его взоръ, онъ почти мгновенно успокоился и уже пошелъ по улицѣ обыкновеннымъ шагомъ разумнаго человѣка. А вмѣсто гнѣва, на его лицѣ появилось смущеніе, почти стыдъ.

До сихъ поръ ко всякаго рода житейскимъ дѣламъ, а въ томъ числѣ и къ „мѣстамъ", онъ относился съ безпечностью жаворонка. Есть „мѣсто" — отлично, нѣтъ — наплевать. Но на этотъ разъ онъ смутился. Когда пріятели посадили его на это „мѣсто", то пригрозили ему, ради шутки, что больше хлопотать за него не станутъ; чортъ съ нимъ, если онъ самъ о себѣ не заботится. Вообще это мѣсто, довольно теплое и съ перспективами въ будущемъ, стоило большихъ усилій для благопріятелей. И вотъ съ этого-то мѣста его спустили.

И въ неразсудительную голову Лобановича проникло бла-

годѣтельное смущенiе. Шагая подъ горячими лучами майскаго солнца, онъ со всѣхъ сторонъ обсуждалъ свое положенiе. Ему надо было вообще разсудить, какъ ни мало привыкъ онъ разсуждать о своихъ дѣлахъ.

Вѣроятно, въ немъ есть какой-нибудь органическiй порокъ, мѣшающiй ему прочно усѣсться за жизненнымъ столомъ. Но что же это за порокъ? Кажется, онъ человѣкъ порядочный,—по крайней мѣрѣ, никто не смѣетъ его укорить какою-нибудь пакостью. Кажется, онъ не глупъ; напротивъ, всѣ его друзья и знакомые считаютъ его даже не совсѣмъ дюжиннымъ, и если Иванъ Ивановичъ называетъ его осломъ, то это ничего не значитъ. Кажется, всѣ видятъ, что онъ не отказывается ни отъ какой работы, и знаютъ, что онъ способенъ на безчисленное множество дѣлъ. Самъ онъ чувствуетъ, что въ немъ есть совѣсть, гордость и честь. Быть можетъ, на сегодняшнемъ базарѣ все это цѣнится не выше гроша, но вѣдь и грошъ—цѣнность; если безчисленное множество совѣстливыхъ и благородныхъ людей ходятъ теперь кучами, не зная, куда помѣстить свое сердце и умъ, то все же они кое-какъ временно пробавляются. А вѣдь онъ совсѣмъ ужь не можетъ никуда прислониться, какъ будто всѣ сговорились отовсюду гнать его. Слѣдовательно, есть же какой-то особенный порокъ въ немъ, какое-то отталкивающее свойство, какой-то нетерпимый духъ.

Лобановичъ со страхомъ искалъ въ себѣ таинственныхъ подлостей, нетерпимаго духа. Но поиски эти ни къ чему существенному не привели, и чѣмъ дальше онъ углублялся въ себя, надѣясь на днѣ своей персоны отыскать таинственный порокъ, тѣмъ дальше отходилъ отъ цѣли. Напрасно онъ ломалъ голову.

— Но, Боже мой, надо же какъ-нибудь жить!—почти простоналъ онъ, шагая возлѣ общественнаго сада.

Капли холоднаго пота покрывали его лобъ; во рту пересохло. Страшная тяжесть легла на всѣ его мысли. Кучи соображенiй, какъ соръ, сплошь заняли его душу, и онъ съ ожесточенiемъ рылся въ нихъ, не умѣя ихъ разсортировать. Наконецъ, врожденная безпечность на минуту взяла верхъ; онъ внезапно бросилъ думать объ этихъ головоломныхъ вещахъ и соръ весь выбросилъ изъ головы.

Тутъ кстати подвернулась калитка сада; онъ вошелъ въ

нее, повернулъ въ боковую аллею и усѣлся на скамейкѣ съ блаженною улыбкой человѣка, который все обдумалъ и отлично устроилъ всѣ свои дѣла. Онъ снялъ шляпу, съ облегченіемъ вздохнулъ и успокоился. Недалеко бѣгали, шумя, дѣти разныхъ возрастовъ.

Лобановичъ нѣсколько времени наблюдалъ за бѣготней ихъ, серьезно прислушивался къ звонкимъ голосамъ и мало-по-малу совершенно вошелъ въ ихъ интересы. Между маленькими людьми возникъ скоро какой-то споръ, кончившійся общею ссорой; одинъ мальчикъ показалъ другому языкъ; послѣдній назвалъ противника обиднымъ названіемъ и также, въ свою очередь, показалъ языкъ. Толпа раздѣлилась; одни заступались за одного, другіе—за другого, послѣ чего обѣ партіи принялись дразнить другъ друга страшно оскорбительными названіями и жестами. Это продолжалось до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ споривш ихъ не сорвалъ шляпы съ другого; сорвавъ, онъ забросилъ ее на верхушку куста сирени; тогда обиженный принялся ревѣть на весь садъ, закрывъ оба глаза своими маленькими кулачками. Лобановичъ послѣ этого вмѣшался въ распрю и принялся разбирать и успокоивать. Все это онъ сдѣлалъ съ такою убѣжденностью и такъ горячо, что черезъ нѣсколько минутъ раздоры окончились. Малые люди снова принялись играть, пригласивъ въ свой кругъ и Лобановича. Послѣдній охотно принялъ участіе въ дѣлѣ; его большой ростъ и густая борода нисколько не мѣшали ему толкаться среди крошечнаго человѣчества, но въ первой же игрѣ нѣсколько ребятишекъ отлично надули его и заставили служить чучелой. Изображать чучелъ—таковъ былъ удѣлъ всѣхъ проигравшихъ, и Лобановичъ безропотно несъ послѣдствія своей неумѣлости.

II.

Вдругъ на далекой монастырской колокольнѣ пробило три часа.

Лобановичъ встрепенулся. Что-то вдругъ непріятное кольнуло его въ сердце. „Что такое нынче со мною случилось?... Ахъ, да, съ мѣста меня потурили!“

— Да это наплевать!—сказалъ онъ вслухъ.

теля и нѣсколько минутъ молча подбиралъ самый убійственный, смертоносный отвѣтъ.

— Я, во всякомъ случаѣ, не намѣренъ быть комнатною собаченкой. которая подъ столомъ дожидается крохъ, падающихъ изъ рукъ пирующихъ,—сказалъ онъ, наконецъ, угрюмо.

— Предпочитаешь быть дворнягой?

— Ну, да, дворнягой! Именно дворнягой!—закричалъ Лобановичъ.

— Дворнягъ, насколько мнѣ извѣстно, сажаютъ на цѣпь... по большей части на цѣпь,—возразилъ Иванъ Ивановичъ.

— На цѣпь? Въ такомъ случаѣ, я предпочитаю быть бродячею собакой!

— Это, конечно, жизнь свободная, но, къ сожалѣнію, уличныхъ собакъ нынче ловятъ крючьями и истребляютъ, какъ бѣшеныхъ.

Лобановичъ опять на минуту оторопѣлъ. На взволнованномъ лицѣ его появилось болѣзненное чувство обиды и отчаянія.

— Ну, да! Я знаю... въ душѣ вы всѣ называете меня легкомысленнымъ, вѣтреннымъ. Для васъ я — неудачникъ, пустой человѣкъ, которому нѣтъ нигдѣ удачи, который ни на что не способенъ, которому лучше гдѣ-нибудь пропасть скорѣе. „Интеллигентный бродяга“! Что можетъ быть смѣшнѣе и глупѣе интеллигентнаго бродяги? Вы правы. Я—неудачникъ, бродяга, я все, что вы хотите! Но позвольте мнѣ въ одномъ остаться правымъ: я не пресмыкаюсь и не продаюсь! И вотъ практичнымъ, умѣлымъ я бросаю вызовъ: вы—халуи, ползающіе передъ всякою силой, которую выдвигаютъ обстоятельства!... Я бросаю вамъ этотъ вызовъ и знаю, что вы его заслуживаете!

Лобановичъ при этихъ словахъ, внѣ себя отъ гнѣва, вскочилъ изъ-за стола, отбросилъ ногой стулъ и выбѣжалъ вонъ изъ комнаты.

Иванъ Ивановичъ медленно закончилъ обѣдъ, но взглядъ его безпокойно перебѣгалъ съ предмета на предметъ.

Онъ пропустилъ мимо ушей неожиданный выстрѣлъ товарища; ко всякимъ неумѣреннымъ и нелѣпымъ выходкамъ послѣдняго онъ привыкъ. Но на этотъ разъ его поразило состояніе Лобановича, и онъ обдумывалъ, какъ теперь быть.

Надо поскорѣе пріискать для него новую работу, но какъ это лучше сдѣлать? Вѣдь Васька дѣйствительно страдаетъ отъ своей неумѣлости и необузданности... Искать для него *какою-нибудь* мѣста — безполезно, съ него онъ будетъ спущенъ съ такою же быстротой, какъ и съ прежнихъ мѣстъ. Ему слѣдуетъ найти такое положеніе, которое не оскорбляло бы его фантазій, не вызывало бы его необузданности наружу.

Иванъ Ивановичъ любилъ послѣ обѣда повалятся на диванѣ съ газетой въ рукахъ, которая быстро приносила ему блаженной сонъ; онъ любилъ также все дѣлать чисто и обдуманно, но на этотъ разъ измѣнилъ своимъ привычкамъ. Насчетъ Лобановича у него явилась одна комбинація, которую немедленно надо было привести въ исполненіе. Для этого онъ тщательно одѣлся и отправился хлопотать о новомъ мѣстѣ для сумасшедшаго.

Тѣмъ временемъ этотъ послѣдній шатался по улицамъ въ самомъ мрачномъ настроеніи, снова углубившись на дно своей персоны съ цѣлью отыскать порокъ своей жизни. Это безплодное занятіе продолжалось бы долго, если бы ему не пришла счастливая мысль зайти въ библіотеку. Благодаря службѣ на послѣднемъ мѣстѣ, онъ почти пересталъ читать. Такое лишеніе было для него тяжело; онъ слѣдилъ за всѣмъ, что дѣлалось въ мірѣ, и, не видя мѣсяца два книги и газеты, уже думалъ, что опошлѣлъ и одичалъ. Чтеніе было его единственнымъ дѣломъ, которое онъ исполнялъ чисто, совершенно и въ величайшемъ порядкѣ.

И теперь, окруживъ себя ворохомъ газетъ, онъ съ наслажденіемъ сталъ вдыхать воздухъ родныхъ широкихъ интересовъ. За два мѣсяца, которые онъ корпѣлъ на скучной службѣ ради куска (скатился съ лѣстницы адвоката онъ даже раньше двухъ мѣсяцевъ), онъ долженъ былъ многое возстановить изъ утраченнаго и забытаго. Его интересовала одна экспедиція во внутрь Африки, и онъ принялся слѣдить за ея судьбой; тогда, два мѣсяца тому назадъ, онъ оставилъ ее въ самомъ критическомъ положеніи и теперь съ живѣйшимъ интересомъ слѣдилъ за ея ходомъ; къ его удовольствію, экспедиція оказалась цѣлою и невредимою, а не была съѣдена людоѣдами, какъ онъ мрачно думалъ. Затѣмъ, имѣя знакомыхъ во всѣхъ частяхъ свѣта, онъ пере-

брался въ Азію, а оттуда, черезъ полчаса, переплылъ въ Америку, гдѣ присутствовалъ два мѣсяца тому назадъ на огромномъ митингѣ желѣзно-дорожныхъ служащихъ; однако, здѣсь ничего онъ не нашелъ изъ прежняго и съ недоумѣніемъ переѣхалъ въ Европу. Здѣсь онъ остановился минутъ на двадцать въ Ирландіи; дольше онъ не могъ въ этой странѣ оставаться, чувствуя, какъ въ немъ поднимается негодованіе и отвращеніе, и потому поспѣшилъ уѣхать во Францію. Онъ питалъ странную слабость къ Франціи: все, что тамъ дѣлается, онъ принималъ за свое личное, кровное дѣло, которое можетъ радовать и огорчать, вызывать любовь и негодованіе. Сейчасъ онъ испыталъ послѣднее. То, что было два мѣсяца тому назадъ, продолжалось и теперь. Только теперь дѣла тамъ еще болѣе невыносимы, оскорбительны. Какой это подлый, какой тупой и недальновидный классъ—эта буржуазія! Сколько распутства она вноситъ въ страну и сколько жертвъ отъ нея требуетъ!... Лобановичу вдругъ сдѣлалось такъ тяжело, что онъ оставилъ газеты и задумался.

Впрочемъ, черезъ короткое время онъ былъ уже въ Россіи и погрузился по уши въ родныя хляби. Родныя вѣсти онъ всегда пробѣгалъ послѣдними, потому что отъ нихъ ему всегда становилось скучно. И обыкновенно пробѣжавъ ихъ второпяхъ, какъ бы по обязанности, онъ ими оканчивалъ чтеніе, такъ какъ дальше на него нападало сонливое состояніе, отъ котораго безъ какого-нибудь экстраординарнаго случая трудно было отвязаться.

Однако, теперь онъ считалъ долгомъ основательно пересмотрѣть все, что за два мѣсяца совершилось.

Наступилъ вечеръ, а онъ все еще сидѣлъ. Солнечный лучъ косыми нитями протянулся по столу, на нѣсколько минутъ испестрилъ золотыми узорами газету, затѣмъ запутался въ бородѣ, поднялся до глазъ, ослѣпивъ забывшагося читателя, и, наконецъ, погасъ въ спутанной его шевелюрѣ.

— Пора, баринъ, уходить... Запирать время, — сказалъ сонно библіотечный сторожъ.

Дѣйствительно, въ комнатѣ становилось темно.

Лобановичъ встрепенулся и поплелся на улицу, но долго еще не могъ встряхнуть себя отъ глубокой задумчивости. Всѣ волненія и обиды этого дня мирно улеглись въ немъ.

Библіотека была истиннымъ храмомъ его, въ которомъ онъ страстно молился и который успокоивалъ всѣ страданія его буйнаго темперамента.

Но если бы Иванъ Ивановичъ, ведшій дипломатическіе переговоры съ однимъ инженеромъ, могъ догадаться, надъ чѣмъ онъ задумался, то назвалъ бы его вторично осломъ.

III.

Это были странные сожители. Они ни въ чемъ не сходились и, повидимому, не имѣли ни малѣйшаго интереса жить вмѣстѣ. Но они надолго не разлучались, по-своему привязанные другъ къ другу какими-то невидимыми связями.

Когда у Лобановича спрашивали, за что онъ такъ привязанъ къ Червинскому, то онъ серьезно отвѣчалъ:

— У него всегда сапоги такіе чистые!

Въ самомъ дѣлѣ, у Червинскаго сапоги всегда были чисто вычищены; и воротнички, и прическа, и хорошее платье,— все у него было чисто и прилично. Въ его комнатѣ, на его столѣ, на кровати всегда былъ величайшій порядокъ. Онъ терпѣть не могъ малѣйшаго сора вокругъ себя.

Такой же порядокъ у него былъ и во всѣхъ дѣлахъ. Правда, онъ также не имѣлъ опредѣленнаго положенія, опредѣленнаго рода службы; ему, какъ и безчисленному множеству интеллигентныхъ бродяжекъ, приходилось жить отхожими промыслами. Но онъ никогда не оставался безъ работы: если одно занятіе изсякало, онъ на другой день находилъ новое; если изъ-подъ его ногъ ускользало одно мѣсто, онъ становился на другое,—становился не очень прочно, но съ поразительною быстротой.

Происходило это оттого, что онъ въ совершенствѣ изучилъ, къ кому и съ какого боку надо подходить: къ одному слѣдуетъ явиться до обѣда, къ другому послѣ обѣда; въ одинъ домъ слѣдуетъ пробраться по переднему ходу, а въ другой—черезъ заднее крыльцо, черезъ кухню; одного надо заставать у себя въ кабинетѣ, другого — гдѣ-нибудь на улицѣ, врасплохъ.

Съ теченіемъ времени, вслѣдствіе такого обширнаго знакомства съ разными практическими вопросами, въ душѣ Ива-

на Ивановича накопилось много сору (и оттого онъ не любилъ сора въ своей комнатѣ), но это давало ему великое преимущество въ борьбѣ за кусокъ. Онъ вездѣ держалъ себя независимо и велъ свою личную жизнь чисто, аккуратно. Онъ зналъ себѣ цѣну и никому не позволялъ пренебрегать собой. На людей, распоряжающихся всякими мѣстами, онъ смотрѣлъ очень просто,—какъ на мѣшки, съ которыми глупо церемониться.

Несмотря на то, что разный практическій хламъ сильно засорилъ его голову, онъ составилъ себѣ своеобразную теорію и неизмѣнно былъ ей вѣренъ.

— Нынѣшній вѣкъ,—говорилъ онъ,—вѣкъ денежнаго мѣшка, передъ которымъ все—въ томъ числѣ умъ, знанія, талантъ—попадало ницъ. Но этого не должно быть. Интеллигенція, въ концѣ-концовъ, освободится изъ-подъ тяжести денежнаго мѣшка. А пока она должна уважать себя и не унывать въ борьбѣ съ грузною, но бездушною силой.

И онъ уважалъ себя.

Когда онъ шелъ просить мѣсто, то собственно не просилъ, а требовалъ, давая понять, что онъ нисколько не сомнѣвается въ своемъ правѣ на это мѣсто. Это производило впечатлѣніе. Вся его порядочная, чистая фигура всѣмъ своимъ аккуратнымъ видомъ говорила, что это—человѣкъ, котораго слѣдуетъ уважать и которому неловко отказать въ чемъ бы то ни было.

Находилъ мѣста Иванъ Ивановичъ не только для себя, но и для многихъ изъ той безчисленной бродячей братіи, не знающей, куда помѣстить свои знанія, а часто и несомнѣнные таланты. Вся эта бродячая братія имѣла, какъ водится, развинченные нервы и носила въ себѣ разнообразныя душевныя болѣзни, начиная съ легкой меланхоліи и кончая полнымъ taedium vitae, такъ что Иванъ Ивановичъ среди этой неорганизованной, больной массы былъ просто кладомъ. Иногда самъ онъ не имѣлъ возможности найти мѣсто, но за то всегда могъ точнымъ образомъ указать ту щель, черезъ которую слѣдуетъ пролѣзть, чтобы получить мѣсто.

— Сходите къ Червинскому, онъ найдетъ!—говорили человѣку, ищущему хлѣба,—говорили съ такою увѣренностью, какъ будто мѣсто уже нашлось.

Несмотря на множество житейской дряни, накопившейся

на его душѣ, Иванъ Ивановичъ имѣлъ неизгладимую потребность въ живомъ дѣлѣ, а такъ какъ всѣ эти работишки изъ-за хлѣба, всѣ эти мѣста ради денегъ не давали никакого удовлетворенія разнымъ непризнаннымъ потребностямъ, свойственнымъ, однако, всякому человѣку, то онъ незамѣтно для себя повелъ жизнь бродяги. Когда онъ замѣчалъ, что работишка начинаетъ засасывать его, онъ ее просто бросалъ и переходилъ на новую работишку.

— Скучно. И, притомъ, дурѣешь, оттого и бросилъ,— объяснялъ онъ свою непосѣдливость.

Тѣмъ не менѣе, вѣчная возня съ разными житейскими соображеніями сыграла съ нимъ плохую шутку: онъ отъ многаго отсталъ, и человѣческія грезы не рождались уже въ немъ такъ свободно, какъ, напримѣръ, въ его сожителѣ.

И это была, вѣроятно, одна изъ невидимыхъ причинъ, почему онъ такъ привязанъ былъ къ Лобановичу. Онъ любилъ въ послѣднемъ тотъ рай, изъ котораго за грѣхи самъ былъ изгнанъ,—рай свободной мысли и мечты, необузданныхъ идеаловъ и фантастическихъ плановъ.

Рѣдкій день проходилъ безъ споровъ; повидимому, они не могли взглянуть другъ на друга, чтобы не поднять тотчасъ же брани; искренній разговоръ между ними былъ просто немыслимъ, ибо о каждой мелочи они имѣли противоположные взгляды. Этотъ обмѣнъ мыслей вдобавокъ велся такимъ образомъ, что всѣ проходящіе мимо ихъ оконъ поднимали голову вверхъ, въ полной увѣренности, что тамъ происходитъ драка; по всей улицѣ раздавался трескъ мебели и отчаянные вопли, часто прерывающіеся внезапнымъ молчаніемъ, которое не трудно было объяснить тѣмъ, что одинъ изъ буяновъ взялъ другого за горло и душитъ его. Ни одна квартирная хозяйка не могла выносить этого ежедневнаго скандала болѣе трехъ мѣсяцевъ,—только на одной квартирѣ имъ удалось удержаться полгода, да и то потому, что хозяйка была глуха на оба уха, но когда изъ сосѣдней квартиры постоянно жаловались на безпокойство и потребовали удаленія буяновъ, то и глухая женщина должна была прогнать ихъ. Однимъ словомъ, пріятели вѣчно враждовали, хотя сами другъ безъ друга считали жить неудобнымъ.

Лобановичъ былъ въ десять разъ начитаннѣе Ивана

интеллигентнымъ бродягой или тамъ еще... тысячу разъ правы! Но вотъ вы гдѣ неправы! Вы думаете, что бродяга я по своей волѣ, ради забавы, и потому еще, что я не умѣю распорядиться собою... Это неправда! Я много раздумывалъ о себѣ, желаю распорядиться собою какъ можно лучше, но не моя вина, если изъ этого выходитъ чортъ знаетъ что! Дѣло вотъ въ чемъ. Наше поколѣніе, въ томъ числѣ и я, имѣетъ за душою кое-какія мыслишки, называйте ихъ идеалами, если вамъ нравятся громкія слова, и вотъ въ этихъ-то мыслишкахъ и заключается вся бѣда. Это не то что какъ прежде. Бывало, человѣкъ набьетъ себѣ голову, какъ чемоданъ, книгами и гуляетъ въ такомъ забавномъ видѣ, а когда ему нужно было отправиться въ жизненное путешествіе, онъ опрастывалъ чемоданъ отъ безполезной тяжести, набивалъ его тѣмъ, что требовалось для дороги, и больше ничего! Операція эта—выбрасываніе идеаловъ изъ чемодана — тогда совершалась легко. Но намъ-то это уже невозможно. Наши мыслишки обратились у насъ въ совѣсть, то-есть мы ихъ не можемъ ни выбросить, ни забыть, а должны всюду таскать за собой. Вотъ въ чемъ дѣло, а вовсе не въ бродяжествѣ!... Но позвольте теперь дальше разсказать... Мыслишки, идеалы, обратившіеся въ совѣсть, надо же куда-нибудь помѣстить. Куда же, спрашивается? Этотъ вопросъ разно рѣшался и рѣшается. Одни помѣщали свою совѣсть въ разныя отчаянныя предпріятія. Но имъ удалось только, какъ вонъ выражается Червинскій, разработать теорію смерти. Они научились и научили, какъ надо умирать. Ясно, что это не рѣшеніе... Другіе совсѣмъ никуда не помѣстили совѣсть и были замучены ею; такіе именно и представляютъ образцы того изстрадавшагося интеллигента, котораго теперь на всѣхъ перекресткахъ выставляютъ на позорище. Третьи,—и я къ нимъ принадлежу отчасти,—думали какъ-нибудь помирить свои мыслишки съ положеніемъ. Они вѣрили,—и я въ этомъ также убѣжденъ,—что въ каждое мѣсто, самое загаженное, но дающее кусокъ, можно внести порядочность, чистоту, воздухъ и свѣтъ. Здѣсь было много преувеличеній и еще больше неразумія. Нельзя въ самомъ дѣлѣ окончательно помирить мыслишки съ кускомъ, душу и брюхо, идеалы и поганыя дѣла... въ большинствѣ случаевъ, немыслимо. Но я вѣрю, что есть мѣста, гдѣ можно

Вѣдь тебя каждая встрѣчная свинья можетъ сожрать безъ остатка!

Лобановичъ, слушая эти грозныя рѣчи, злился, отвѣчалъ бранью, но въ глубинѣ души чувствовалъ острую боль, потому что рѣчи пріятеля били въ больное мѣсто.

Въ подлинной жизни онъ чувствовалъ себя очень дурно. Лишь только ему приходилось заняться собой, своимъ благоустройствомъ, какъ полнѣйшая растерянность овладѣвала всѣмъ его существомъ. Въ особенности непонятны были для него всякіе пустяки, связанные неизбѣжнымъ образомъ съ поисками мѣстъ, работы, хлѣба. Личная жизнь его была сплошная неудача. И по временамъ на него нападало отчаяніе при мысли, что онъ никуда не годится.

Каждая его попытка прочно гдѣ-нибудь основаться оканчивалась обыкновенно неожиданнымъ происшествіемъ, и ужиться на одномъ мѣстѣ онъ не былъ въ силахъ. Съ одного мѣста онъ уходилъ, съ другого его прогоняли, какъ вреднаго человѣка, который способенъ произвести какой-нибудь скандалъ.

Въ концѣ-концовъ, вѣчные поиски мѣстъ сдѣлались для него источникомъ страданій. Легче ему удавалось жить какими-нибудь частными работами,--какъ у человѣка способнаго, у него всякая работа кипѣла въ рукахъ. Къ сожалѣнію, такихъ частныхъ работъ не много, а потому годъ его раздѣлялся такимъ образомъ: въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ онъ имѣлъ занятія, остальные десять мѣсяцевъ онъ гулялъ по всей своей волѣ. Да и тѣ два мѣсяца не проходили для него даромъ, только благодаря заботамъ Ивана Ивановича.

— Почему вы всегда хлопочете о Лобановичѣ?—спрашивали Ивана Ивановича, не понимая вообще этой странной дружбы.

— Потому что онъ ротозѣй,—отвѣчалъ Червинскій.

— Неужели безъ васъ онъ не можетъ устроиться?

— Вы не можете представить, какой это оселъ! Онъ непремѣнно попадаетъ въ такое положеніе, изъ котораго нѣтъ выхода,—пояснялъ свою мысль Иванъ Ивановичъ, а иногда съ раздраженіемъ прибавлялъ:—Упрямое животное! Ему непремѣнно подавай общественной жизни!

Со стороны Ивана Ивановича это было плохое объясне-

ніе его привязанности къ „упрямому животному", даже вовсе не объясненіе, а только желаніе не показаться сантиментальнымъ въ его отношеніяхъ къ Лобановичу. Но въ ругательскихъ словахъ его одно было справедливо.

Лобановичъ дѣйствительно чувствовалъ себя легко только въ тѣхъ случаяхъ, когда не думалъ о себѣ, о своей жизни, о своихъ дѣлишкахъ. Въ общественныхъ идеяхъ и дѣлахъ (а у него были и мысли, и дѣла) все такъ просто, понятно; здѣсь не нужно вилять, врать, кривить душой; здѣсь не только не нужно хитрить и не договаривать и не додѣлывать, но, напротивъ, требуются прямота, открытое лицо, свободная рѣчь, отсутствіе колебаній. Лобановичъ испыталъ все это самъ и зналъ, какъ ему легко жилось всякій разъ, когда онъ дѣлалъ не свое личное дѣло.

Но совсѣмъ иное состояніе онъ переживалъ, когда долженъ былъ искать хлѣба для себя, искать мѣста и добиваться собственнаго благоустройства. Тутъ онъ ходилъ, какъ слѣпой, сознавалъ себя потеряннымъ и глупымъ и положительно ничего не могъ сообразить. Изволь сообразить, въ какую подворотню надо шмыгнуть, чтобы попасть на надлежащее мѣсто; изволь обдумать, что̀ сказать и чего не говорить людямъ, которые это мѣсто держали въ рукахъ. А когда положеніе отыщется, надо умѣть держать его. А для этого по большей части надо скрыть всѣ свои мысли, за исключеніемъ поганыхъ или завалящихъ, погасить огонь въ душѣ, оставивъ лишь нѣсколько головешекъ, которыя бы понемногу курились, дѣлать лишь то только, что велятъ, и поднимать голову лишь настолько, насколько поднимаетъ ее свинья, когда отыскиваетъ себѣ кормъ. Сколько нужно для этого хитрости, тонкихъ соображеній, находчивости! Но это только для начала. А дальше, чтобы удержать положеніе, утвердиться на немъ, требуется великое множество ничтожныхъ подлостей (изъ которыхъ впослѣдствіи слагается великое свинство), а ихъ обыкновенно у ротозѣя не имѣется.

Лобановичъ, въ довершеніе всей нелѣпости, крайне обижался, когда ему говорили, что ничего этого нѣтъ у него. Онъ съ азартомъ возражалъ, что до сихъ поръ онъ серьезно не думалъ объ этомъ, а разъ ему придетъ охота устроить *себя*, то въ практической жизни онъ заткнетъ за поясъ са-

маго ловкаго интригана. Не боги же горшки обжигають. Но Червинскій основательно опровергалъ его фактами, бывшими налицо, и доказывалъ всю нелѣпость его самомнѣнія.

И это было для Лобановича невыносимое оскорбленіе.

IV.

Обыкновенно послѣ каждой своей житейской неудачи Лобановичъ на нѣсколько дней пропадалъ, скрываясь отъ своихъ близкихъ людей, отъ Червинскаго, отъ Кати Даниленко, словно его съ цѣпи спустили. Онъ безпрерывно тогда находился въ движеніи. Сначала послѣ освобожденія отъ мѣста онъ обходилъ всѣхъ своихъ знакомыхъ, всюду поднимая интересующіе его вопросы; затѣмъ, не ограничиваясь своимъ городомъ N, онъ съ страшною торопливостью бросался въ отдаленныя путешествія по другимъ мѣстамъ, гдѣ у него находилось знакомство, проявляя и тамъ лихорадочную дѣятельность. При этомъ онъ не отказывался ни отъ какого порученія, какъ бы ни было оно непріятно и тяжело, ни отъ какого дѣла, какъ бы ни было оно грубо.

Этою слабостью нерѣдко пользовались не особенно совѣстливые люди, заставляя его работать на нихъ ради ихъ личнаго дѣла. Однажды въ продолженіе двухъ недѣль его заставили быть сидѣлкой у одной барыни, болѣвшей пустою, но продолжительною болѣзнью; въ другой разъ онъ долженъ былъ переписать огромную рукопись, весьма глупую, но принадлежащую человѣку, считающему себя великимъ.

Въ эту лихорадочную дѣятельность онъ вкладывалъ часто много времени и труда, о которыхъ не жалѣлъ, лишь бы только не думать о себѣ и не хлопотать за свое личное устройство. И былъ доволенъ всякій разъ, когда ему удавалось на время уклониться отъ придумыванія поганыхъ житейскихъ мелочей.

Только иногда онъ вскользь спрашивалъ, какъ бы исполняя какую-то барщину:

— Нѣтъ-ли тутъ, ребята, у васъ какой-нибудь работишки мнѣ?

Работишки, конечно, не оказывалось.

И этотъ отвѣтъ его совершенно удовлетворялъ.

Чѣмъ онъ въ такое время жилъ—трудно сказать. Потребности его были ничтожныя, — требовалось только разъ въ день поѣсть. А это не трудно было исполнить.

— Пожрать чего есть у васъ, братцы?—спрашивалъ онъ, торопливо вбѣгая къ кому-нибудь изъ знакомыхъ.

Какая ни на есть дрянь всегда отыскивалась у бѣдняковъ; онъ закусывалъ и вполнѣ удовлетворялся.

По прошествіи нѣкотораго времени онъ, наконецъ, возвращался домой, къ Ивану Ивановичу, худымъ, обносившимся и усталымъ. И только послѣ всего этого шелъ къ Катѣ Даниленко, которую считалъ верховнымъ судьей всѣхъ своихъ грѣховъ. Всѣ они трое были неразрывными товарищами, и если Лобановичъ и Червинскій не могли ни въ чемъ согласиться, то дѣвушка являлась среди нихъ примиряющимъ элементомъ и новымъ связующимъ звеномъ. Они оба одинаково ее уважали, также какъ и она ихъ обоихъ. Быть можетъ, одного изъ нихъ она выдѣляла въ особенный уголокъ сердца, но имъ до сихъ поръ не представлялось случая подумать объ этомъ.

Такъ было и сейчасъ. Послѣ бурнаго разговора съ Червинскимъ Лобановичъ на нѣсколько дней пропалъ. Иванъ Ивановичъ нигдѣ не могъ его разыскать. Катя также безполезно справлялась о немъ у знакомыхъ. Но вдругъ однажды поздно вечеромъ онъ тихо вошелъ въ маленькую квартирку, занимаемую Даниленками, и смущенно остановился въ передней. Изъ комнаты послышался знакомый голосъ: „Кто тамъ?“

— Это я, Катерина Дмитріевна,—отозвался Лобановичъ въ величайшемъ смущеніи.

Изъ комнаты послышалось восклицаніе, потомъ смѣхъ, а черезъ мгновеніе дѣвушка уже пожимала его руку.

— Мама спать легла... Пойдемте лучше гулять,—предложила она, и черезъ минуту они отправились въ садикъ, находившійся позади дома.

— Ну, гдѣ вы пропадали?—съ оживленнымъ лицомъ проговорила дѣвушка.

— Да здѣсь же болтался! Только совѣстно было показаться вамъ,—грустно сказалъ Лобановичъ.

— Чего совѣстно? Что васъ опять спустили-то? Но вѣдь это обыкновенное дѣло!... Впрочемъ, я рада, что вы, нако-

нецъ, стали стыдиться бродяжной жизни... Такой большой человѣкъ, а ведетъ себя, какъ мальчишка...

Говоря это, дѣвушка смѣялась. Но вдругъ она пристально взглянула въ лицо Лобановича и оборвала свои шутки на полусловѣ. Его лицо было грустное и, въ то же время, на немъ вырѣзалась какая-то рѣзкая черта не то отчаянія, не то озлобленія. Этого никогда не было. Раньше надъ каждою своею неудачей онъ самъ первый смѣялся и острилъ, и смѣхъ тотъ былъ беззаботный, а шутки юношескія. Но теперь что-то тяжелое легло на его лицо.

— Ну, да... Я знаю, я для васъ смѣшонъ!—сказалъ вдругъ Лобановичъ рѣзко.

— Вы, кажется, разучились понимать шутки?—поспѣшно возразила Катя.

— Да нѣтъ же, вовсе не шутки это! Я дѣйствительно смѣшонъ и глупъ...

— Я пошутила, Вася!... Но зачѣмъ вы такой злой?

— Да нѣтъ же, нѣтъ! Шутка эта била прямо въ голову! Вѣрно: такой большой человѣкъ, а жизнь мальчишки!

Лобановичъ, говоря это, всталъ со скамейки, быстро прошелся по дорожкѣ, но сейчасъ же воротился назадъ и порывисто сѣлъ на старое мѣсто. Дѣвушка не знала, что подумать о состояніи своего товарища.

— Я, наконецъ, ничего не понимаю! — воскликнула она испуганно.

— Объясню сейчасъ все.

Лобановичъ сдѣлался угрюмымъ и сильно волновался. Сбросивъ съ головы шляпу на лавку, онъ устремилъ возбужденный взглядъ на дѣвушку и принялся разсказывать, но такимъ мучительнымъ тономъ, что слушательница его болѣзненно недоумѣвала.

— Человѣкъ, дожившій до моихъ лѣтъ и не добившійся опредѣленнаго положенія въ жизни, волей-неволей во всѣхъ вызываетъ подозрѣніе. Василій Лобановичъ... Что онъ дѣлаетъ? Какъ онъ живетъ? Почему безпутно шляется въ пустомъ пространствѣ? За что отовсюду его гонятъ, какъ уличную собаку? Это все вопросы, которые какъ разъ пристали ко мнѣ. У меня нѣтъ ни угла, ни пристанища, ни почвы подъ ногами, ни опредѣленнаго положенія среди людей. И вы всѣ правы, когда называете меня шатающимся интеллигентомъ,

интеллигентнымъ бродягой или тамъ еще... тысячу разъ правы! Но вотъ вы гдѣ неправы! Вы думаете, что бродяга я по своей волѣ, ради забавы, и потому еще, что я не умѣю распорядиться собою... Это неправда! Я много раздумывалъ о себѣ, желаю распорядиться собою какъ можно лучше, но не моя вина, если изъ этого выходитъ чортъ знаетъ что! Дѣло вотъ въ чемъ. Наше поколѣніе, въ томъ числѣ и я, имѣетъ за душою кое-какія мыслишки, называйте ихъ идеалами, если вамъ нравятся громкія слова, и вотъ въ этихъ-то мыслишкахъ и заключается вся бѣда. Это не то что какъ прежде. Бывало, человѣкъ набьетъ себѣ голову, какъ чемоданъ, книгами и гуляетъ въ такомъ забавномъ видѣ, а когда ему нужно было отправиться въ жизненное путешествіе, онъ опрастывалъ чемоданъ отъ безполезной тяжести, набивалъ его тѣмъ, что требовалось для дороги, и больше ничего! Операція эта—выбрасываніе идеаловъ изъ чемодана — тогда совершалась легко. Но намъ-то это уже невозможно. Наши мыслишки обратились у насъ въ совѣсть, то-есть мы ихъ не можемъ ни выбросить, ни забыть, а должны всюду таскать за собой. Вотъ въ чемъ дѣло, а вовсе не въ бродяжествѣ!... Но позвольте теперь дальше разсказать... Мыслишки, идеалы, обратившіеся въ совѣсть, надо же куда-нибудь помѣстить. Куда же, спрашивается? Этотъ вопросъ разно рѣшался и рѣшается. Одни помѣщали свою совѣсть въ разныя отчаянныя предпріятія. Но имъ удалось только, какъ вонъ выражается Червинскій, разработать теорію смерти. Они научились и научили, какъ надо умирать. Ясно, что это не рѣшеніе... Другіе совсѣмъ никуда не помѣстили совѣсть и были замучены ею; такіе именно и представляютъ образцы того изстрадавшагося интеллигента, котораго теперь на всѣхъ перекресткахъ выставляютъ на позорище. Третьи,—и я къ нимъ принадлежу отчасти,—думали какъ-нибудь помирить свои мыслишки съ положеніемъ. Они вѣрили,—и я въ этомъ также убѣжденъ,—что въ каждое мѣсто, самое загаженное, но дающее кусокъ, можно внести порядочность, чистоту, воздухъ и свѣтъ. Здѣсь было много преувеличеній и еще больше неразумія. Нельзя въ самомъ дѣлѣ окончательно помирить мыслишки съ кускомъ, душу и брюхо, идеалы и поганыя дѣла... въ большинствѣ случаевъ, немыслимо. Но я вѣрю, что есть мѣста, гдѣ можно

дѣлать многое. Но здѣсь вотъ вы опять правы. Есть такія мѣста, но я-то не гожусь для такого дѣла. Вѣроятно, есть же какой-нибудь органическій порокъ у меня! Должно быть, я въ самомъ дѣлѣ не гожусь, какъ увѣряетъ Иванъ Ивановичъ, для такого сложнаго, запутаннаго, но великаго дѣла!... Но хоть вы-то не бейте меня.

Лобановичъ всталъ съ мѣста, прошелся по дорожкѣ, воротился назадъ и порывисто нахлобучилъ шляпу на глаза. По всѣмъ видимостямъ, это означало, что говорить онъ не имѣетъ больше ни малѣйшаго желанія. Дѣйствительно, онъ опустилъ голову на руки и замолчалъ.

Катя не знала, что ему сказать. Его подавленный видъ отбивалъ у ней всякую охоту говорить плоскія утѣшенія. Но какъ ей хотѣлось сказать ему, что она и не думаетъ издѣваться надъ его неудачами!

Ей теперь до боли было стыдно за то, что она въ самомъ дѣлѣ объяснила его бродяжество безпечностью, легкомысліемъ. Сама она принадлежала къ необезпеченнымъ людямъ, но она не въ состояніи была представить, какъ это такъ можно безалаберно жить, какъ живетъ Лобановичъ. Она сама перебивалась уроками, находила и другія работы и жила недурно, содержала, въ то же время, мать-старушку и брата-гимназиста. Лобановичъ же всегда казался ей взбалмошнымъ, хотя все, что онъ творилъ, ей нравилось. И вотъ теперь ей вдругъ стало больно оттого, что она такъ думала.

Лобановичъ, между тѣмъ, продолжалъ молча сидѣть. Повидимому, онъ ждалъ, что она, какъ бывало прежде, скажетъ ему что-нибудь ободряющее, посмѣется надъ нимъ съ любовью товарища и проводитъ веселымъ смѣхомъ домой. Но словъ сейчасъ у ней не находилось.

Тогда онъ всталъ порывисто съ мѣста и заторопился.

Они вмѣстѣ вышли къ калиткѣ сада.

Былъ уже поздній часъ ночи. Улицы опустѣли.

Переступивъ порогъ калитки, Лобановичъ еще разъ протянулъ руку на прощанье. Катя взяла ее и удержала; потомъ тихо потянула ее къ себѣ. Одно мгновеніе онъ ничего не понималъ, но вдругъ лицо его вспыхнуло и онъ бросился обнимать дѣвушку.

Когда черезъ нѣкоторое время онъ возвращался домой, ему казалось, что отъ избытка силъ онъ сойдетъ съ ума.

Голова его горѣла и тысячи мыслей тѣснились въ ней безпрерывнымъ потокомъ.

Но одна мысль скоро выдѣлилась изъ всѣхъ, разогнала всѣ остальныя и встала передъ его воспламененнымъ сознаніемъ, какъ огромная тѣнь. „Надо добиться успѣха, потому что только успѣхъ даетъ силы",—думалъ онъ, взволнованный. Его любятъ—и онъ долженъ помнить объ этомъ. Личное счастье—центръ, изъ котораго ведутъ дороги въ разныя стороны, и если человѣкъ не попалъ на этотъ центръ, онъ обреченъ всю жизнь блуждать по невѣдомымъ путямъ... Успѣхъ, успѣхъ!...

— Прежде всего, личный успѣхъ, а все остальное потомъ!—громко сказалъ онъ, и камни пустынной улицы повторяли его голосъ въ ночной тишинѣ.

Что-то страстное и, въ то же время, хищное овладѣло его существомъ. Онъ чувствовалъ, какъ откуда-то изъ глубины поднимается въ немъ безконечно-огромная энергія, хищная энергія бороться за себя, за свое существованіе, за любовь, за свою свободу.

V.

— Мѣсто тебѣ нашлось!—проговорилъ Иванъ Ивановичъ съ просонья, едва продравъ глаза и думая такимъ образомъ разбудить Лобановича.

Къ его удивленію, послѣдній былъ уже одѣтъ и приводилъ въ порядокъ свою комнату, чего никогда не бывало.

— Вотъ это отлично! А я было ужь самъ хотѣлъ пуститься на поиски во всѣ концы. Отлично! Теперь, значитъ, не надо. Спасибо, Ваня! Ну, разсказывай, какое мѣсто.

Лобановичъ все это говорилъ радостно и твердо, какъ будто для него самое обыкновенное дѣло—думать о мѣстахъ.

Иванъ Ивановичъ съ своей постели смотрѣлъ на него во всѣ глаза.

— Ты хотѣлъ отправиться на поиски?—спросилъ онъ недовѣрчиво.

— Разумѣется. Что же тутъ необыкновеннаго? Надо же мнѣ когда-нибудь устроиться... И, притомъ, разъ навсегда. Надоѣла бродяжная жизнь. Надо кончить съ этимъ шатаньемъ въ проголодь...

— Да ты это не остришь? — спросилъ съ изумленіемъ Иванъ Ивановичъ, въ первый разъ выслушивая такія вещи отъ „взбалмошнаго Васьки".

Послѣдній пожалъ плечами въ знакъ пренебреженія.

— Мнѣ вовсе не до остротъ. Разскажи, какое мѣсто? — возразилъ онъ серьезно.

— Погоди, умоюсь, — отвѣтилъ Иванъ Ивановичъ, слѣзъ съ постели и принялся приводить себя въ порядокъ.

Онъ потянулся съ наслажденіемъ, одѣлся, умылся и задумчиво сталъ расчесывать себѣ бороду и волосы. Потомъ началъ чиститься. Эти обязанности онъ исполнялъ методично и обдуманно и всегда молчалъ во время ихъ выполненія. Иначе нельзя. Если какой-нибудь человѣкъ вздумаетъ говорить во время умыванья или расчесыванья бороды, то и умнаго ничего не скажетъ, да и борода останется лохматой. Нельзя гоняться за двумя зайцами. Кто хочетъ обладать внѣшностью, тотъ долженъ посвящать заботамъ о ней извѣстное время.

Лобановичъ съ нескрываемымъ раздраженіемъ слѣдилъ за всѣми движеніями товарища, но, наконецъ, не выдержалъ.

— Да кончишь-ли ты когда-нибудь? Какое мѣсто? — вскричалъ онъ.

— Сейчасъ. За чаемъ я все тебѣ доложу по порядку, — отвѣчалъ Червинскій откуда-то изъ глубины сѣней, гдѣ въ эту минуту чистилъ сюртукъ, причемъ тамъ слышалось мѣрное шарканье щетки и энергичные плевки.

Наконецъ, за чаемъ онъ разсказалъ подробно о своихъ переговорахъ съ однимъ инженеромъ.

Работа на вновь строющейся желѣзной дорогѣ. Одному подрядчику нуженъ толковый распорядитель работъ. Обязанности заключаются въ слѣдующемъ: вычислять количество произведенныхъ работъ, слѣдить, въ то же время, за ихъ качествомъ; вычислять заработную плату, наблюдать за рабочими. Непосредственное начальство—хозяинъ-подрядчикъ. Подчиненные—нѣсколько артелей рабочихъ. Цѣлый день на воздухѣ, въ ходьбѣ и въ ѣздѣ. Жалованье сообразно съ тѣмъ, какая часть линіи и сколько артелей будетъ находиться въ распоряженіи.

— Какъ видишь, мѣсто не важное. Вдобавокъ, придется отчасти быть палкой по отношенію къ рабочимъ... Это ты

имѣй въ виду,—добавилъ Иванъ Ивановичъ, окончивъ свое описаніе мѣста.

Лобановичъ внимательно выслушалъ всѣ условія, и когда Иванъ Ивановичъ кончилъ, онъ задалъ нѣсколько вопросовъ, удивившихъ Ивана Ивановича ихъ практичностью и здравымъ смысломъ. Потомъ рѣшительно сказалъ:

— Я ѣду.

— Не брезгуешь? Помни, ты отчасти будешь палкой въ рукахъ подрядчика,—еще разъ повторилъ Червинскій, удивляясь быстрой рѣшимости занять такое мѣсто.

— Палка о двухъ концахъ, Ваня. Фактически ею всегда пользуется не тотъ, кто первый ее взялъ, а тотъ, кто умѣетъ вырвать ее... Но это въ сторону. Еще одинъ вопросъ: кто будетъ инженеромъ на моей дистанціи?—спросилъ Лобановичъ.

— Фамиліи не помню. Но мой знакомый говоритъ про него, что человѣкъ порядочный.

— Отлично. Я съ нимъ сойдусь, а черезъ него постараюсь занять дѣйствительно прочное мѣсто, когда дорога будетъ кончена. Такимъ образомъ, роль палки—лишь временная непріятность, и ты не безпокойся, я съумѣю избѣжать двусмысленныхъ положеній. Надо, наконецъ, прочно встать на ноги. Когда ѣхать?

Слушая все это, Иванъ Ивановичъ не могъ скрыть своего изумленія. Лобановичъ имѣлъ твердый, рѣшительный и какой-то благоразумный видъ. Раньше онъ то и дѣло поражалъ Ивана Ивановича, развертывая все новыя стороны своей натуры, но *этого* и подозрѣвать нельзя было за нимъ. Еще твердостью онъ обладалъ, въ особенности когда дѣло шло о какомъ-нибудь нелѣпомъ предпріятіи, но благоразуміемъ — никогда!

— Ѣхать-то когда, говоришь? — разсѣянно переспросилъ Иванъ Ивановичъ, ломая голову надъ радикальною перемѣной въ товарищѣ.—Да хоть завтра!

— Завтра мнѣ не удастся... надо кое-что сдѣлать. Но послѣ-завтра я готовъ,—отвѣтилъ Лобановичъ.

— Это окончательное рѣшеніе?

— Окончательное.

— Такъ и передамъ.

И Червинскій сдѣлалъ молчаливый жестъ, въ которомъ вы-

ражалось одобреніе. „Должно быть, Васька-то мой точно образумился... Видно, надоѣло шляться... Но что̀ бы это значило? Откуда?“

Думая такимъ образомъ, Иванъ Ивановичъ методично прихлебывалъ изъ стакана чай, методично закусывалъ булкой и сметалъ въ одну кучку всѣ крошки, а, въ то же время, рязвязалъ свой языкъ. Онъ принялся развивать обычныя свои мысли о „кускѣ хлѣба“, о „мѣстахъ“, но на этотъ разъ подновленныя экстраординарнымъ случаемъ. Мысли эти были сорныя, но онѣ всегда имѣли одно достоинство: вѣрное опредѣленіе людей и положеній.

— Я очень радъ, что ты, наконецъ, пришелъ къ моимъ выводамъ. Мы не можемъ быть очень разборчивыми въ мѣстахъ, а должны брать то, что попадается. Выборъ у насъ самый ограниченный. Я раздѣляю мѣста такимъ образомъ. Есть мѣста, которыхъ мы *не можемъ* занять, есть другія, которыя мы *не хотимъ*, и есть третьи, которыя мы можемъ и хотимъ, но на которыя насъ *не пускаютъ*.

Лобановичъ захохоталъ, но, впрочемъ, на этотъ разъ онъ безропотно слушалъ Червинскаго, ничего не возражая. А когда Ивана Ивановича не останавливали, онъ могъ безконечно долго говорить; говорильная машина его была хорошаго устройства.

— Ты погоди смѣяться. Мы дѣйствительно имѣемъ передъ собою такой узкій выборъ. Такъ какъ мы не обладаемъ какою-либо спеціальностью, то мы, каждый изъ насъ, не можемъ быть докторомъ, адвокатомъ, инженеромъ, механикомъ, офицеромъ, священникомъ и т. д. Съ другой стороны, надѣленные нѣкоторыми понятіями интеллигентнаго свойства, мы не хотимъ мѣста сидѣльца въ трактирѣ, приказчика въ лавкѣ, конторщика въ ссудной кассѣ, квартальнаго въ участкѣ, смотрителя въ тюрьмѣ и т. д., и т. д. И вотъ въ нашемъ распоряженіи очень ограниченное пространство, но и туда насъ не пускаютъ, ибо пространство это сплошь занято полуграмотнымъ, темнымъ человѣкомъ. Должны-ли мы пробраться туда, столкнувъ съ дороги темнаго человѣка? Для меня это несомнѣнно. Такъ или иначе, а въ каждое мѣсто мы вносимъ извѣстнаго рода приличія, прекращаемъ воровство, а часто и денной грабежъ, разсѣеваемъ, хоть отчасти, мглу, очищаемъ грязь... Стало быть, мы не только можемъ, но и должны

пробиться въ эти чужія мѣста, куда насъ не пускаютъ. И пробьемся, Вася, а?

— По крайней мѣрѣ, попробуемъ,—сказалъ Лобановичъ и опять засмѣялся.

Въ первый разъ еще товарищи такъ много бесѣдовали. Иванъ Ивановичъ продолжалъ развивать свои сорныя мысли долго еще, потому что Лобановичъ безропотно слушалъ его, а, быть можетъ, и вовсе не слушалъ, думая о другихъ вещахъ. Послѣ чая они даже и вышли на улицу вмѣстѣ, и дорогой не спорили.

Черезъ день Лобановичъ, какъ было условлено, отправился въ далекій край.

Его провожали Червинскій и Катя. При этомъ Червинскій замѣтилъ, что между его пріятелемъ и дѣвушкой установились какія-то новыя, теплыя отношенія. Передъ третьимъ свисткомъ парохода Лобановичъ и Катя внезапно куда-то скрылись, а когда возвратились на трапъ, то дѣвушка была очень взволнована, со слѣдами слезинокъ на глазахъ, но счастливая, а Лобановичъ смотрѣлъ озабоченно, но гордо.

„Они любятъ", — инстиктивно понялъ Иванъ Ивановичъ и ему вдругъ сдѣлалось скучно.

На прощанье Лобановичъ шепнулъ ему на ухо, чтобы онъ хранилъ въ его отсутствіе дѣвушку, заботился о ней. Иванъ Ивановичъ торжественно обѣщалъ, но чувствовалъ, какъ ему дѣлается все скучнѣе.

Когда пароходъ отчалилъ, зашумѣлъ колесами и быстро сталъ удаляться, Иванъ Ивановичъ замахалъ шляпой, а на его добродушныхъ глазахъ навернулись слезы и вдругъ страшное чувство одиночества сжало его сердце, потому что уходившій пароходъ увозилъ не только того, къ кому онъ былъ привязанъ, но и ту, кого онъ любилъ.

Но въ его честномъ сердцѣ не было мѣста ревности; провожая домой дѣвушку послѣ того, какъ пароходъ ушелъ, онъ только чувствовалъ свое одиночество, скуку, безцѣльность своего существованія.

VI.

Недавно еще эта мѣстность представляла дикую глушь, гдѣ рѣдко раздавался человѣческій голосъ. Въ темныхъ лѣ-

сахъ здѣсь не слышно было скрипа телѣги, стука топора, рева домашнихъ животныхъ. Подъ зеленымъ шатромъ сосенъ и березъ стучалъ только дятелъ да куковала кукушка, да глухой хохотъ филина разносился по ночамъ.

Всю страну вдоль и поперекъ избороздили горные отроги. Это придавало всей мѣстности видъ еще болѣе дикой, недоступной красоты. По горамъ нигдѣ не пролегали дороги; покрытыя до верхнихъ гребней непроходимымъ лѣсомъ, горы были недоступны до сихъ поръ. А въ глубокихъ впадинахъ и долинахъ, гдѣ протекали рѣчки и стояли озера, не замѣтно было мостовъ. Все здѣсь заросло; журчанье ручьевъ, то тихое, то шумное, всякій могъ слышать, но ихъ самихъ не видно было, — они заросли травой и кустарникомъ такъ плотно, что вода, казалось, бѣжала гдѣ-то подъ землей.

Иногда стѣны кустовъ и лѣса раздвигались, рѣчка разливалась въ широкій естественный прудъ, но поверхность его также затянута была дикою, густою зеленью, вокругъ береговъ, далеко на середину, выдвигались жирные камыши, а остальная часть воды заросла водяною лиліей и другими водорослями.

Это былъ самый дикій уголъ прекрасной Башкиріи. Хозяиномъ здѣсь считался башкиръ, но онъ былъ плохой хозяинъ и забросилъ этотъ уголъ. Только изрѣдка, когда онъ продирался сквозь чащу лѣса верхомъ на исхудаломъ конѣ, раздавалась здѣсь его пѣсня; онъ пѣлъ въ ней обо всемъ, что попадалось ему на глаза,—пѣлъ о сучкѣ дерева, который хлестнулъ его по башкѣ, о голомъ черепѣ павшей лошади, мимо котораго ступалъ его конь, о муравьиной кучѣ, о сгнившемъ пнѣ, о поваленномъ бурей деревѣ... Но это была не пѣсня, а вой волка.

Но вдругъ, какъ по мановенію волшебнаго жезла, здѣсь все измѣнилось. Появились отряды рабочихъ съ лопатами, ломами и пилами; въ спокойномъ дотолѣ воздухѣ раздались стукъ топора, визгъ пилы, громъ динамитныхъ взрывовъ. И всюду, гдѣ проходили отряды, за ними оставался страшный слѣдъ разрытой земли, потоптанныхъ и выжженныхъ кустарниковъ, поваленныхъ деревьевъ, пробитыхъ холмовъ. А вслѣдъ за отрядами рабочихъ появился темный, закопченный, пылающій жаромъ паровозъ и огласилъ воздухъ торжествующимъ свисткомъ, который заставилъ умолкнуть

вѣта. Подрядчикъ для него былъ новинкой; въ немъ онъ видѣлъ страннаго субъекта, въ одно и то же время, жалкаго и забавнаго. До сихъ поръ съ именемъ „подрядчикъ“ у него связывалось страшное понятіе о чемъ-то живорѣзномъ, безсовѣстномъ и алчномъ, но его подрядчикъ не имѣлъ ни одной, кажется, черты такого опредѣленнаго эксплоататора.

Ходилъ онъ въ шляпѣ, сюртукѣ и „при цѣпочкѣ“. Неизвѣстнаго происхожденія. Грамотный. По ночамъ, воткнувъ на гвоздь сальный огарокъ, читалъ какой-то романъ (онъ произносилъ „рòманъ“) *Кровавый слѣдъ.* Свободныхъ капиталовъ онъ не имѣлъ; по крайней мѣрѣ, когда по субботамъ ему приходилось разсчитываться съ рабочими, то весь онъ былъ мокрый отъ пота и волненія. На линіи онъ рѣдко бывалъ, все время шмыгалъ въ городъ, гдѣ заключалъ какія-то денежныя сдѣлки. Вообще онъ былъ субъектъ, болтавшійся между небомъ и землей.

„Вотъ еще какіе бываютъ!“ — съ удивленіемъ думалъ Лобановичъ, наблюдая странную разновидность людей, живущихъ такимъ нелегкимъ трудомъ.

Иногда, послѣ его длинныхъ жалобъ на трудность добыть двѣнадцать кусковъ, Лобановичъ выражалъ ему даже сочувствіе. Но въ общемъ онъ старался совсѣмъ не думать о немъ,— не его дѣло.

Съ инженерами отношенія установились еще лучше. Съ однимъ изъ нихъ Лобановичъ совсѣмъ подружился.

Чистенькій, нѣжный, съ изящными ручками, всегда одѣтый, даже здѣсь, въ лѣсу, съ иголочки,—это былъ самый хорошенькій инженеръ во всемъ свѣтѣ. Лобановичъ, съ своею рослою фигурой, съ своими размашистыми, неаккуратными манерами, передъ нимъ казался лѣснымъ чудовищемъ. И все-таки между ними установились дружескія отношенія и нашлось кое-что общее.

Встрѣчаясь то и дѣло на линіи, они подолгу болтали обо всемъ на свѣтѣ. Помимо нѣкоторыхъ общихъ взглядовъ, они оба, къ обоюдному удовольствію, оказались страстными любителями музыки и часто до глубокой ночи, сидя гдѣ-нибудь на краю оврага, вспоминали чудесные отрывки оперъ, сонатъ, симфоній. Разумѣется, только вспоминали, потому что въ глухомъ лѣсу, за тысячу верстъ отъ всякой музыки, трудно ее исполнить. Они бы могли еще напѣвать, но и

это было затруднительно. Лобановичъ обладалъ чудовищнымъ голосомъ, въ которомъ несчастнымъ образомъ соединились ревъ осла и хрюканье (въ нижнемъ регистрѣ) свиньи; что касается инженера, то онъ имѣлъ маленькій, нѣжный баритонъ, но звукъ его терялся въ лѣсной чащѣ. Однимъ словомъ, имъ приходилось наслаждаться музыкой, разговаривая о ней, но и эти разговоры приводили ихъ въ восторженное настроеніе.

Нерѣдко они болтали о другихъ вещахъ. Разъ инженеръ, удивленный необычными знаніями своего собесѣдника, спросилъ его:

— Что это вамъ пришла охота взять такую скверную, грязную работу?

Лобановичъ передъ этимъ наивнымъ вопросомъ смутился.

— Пройти всю желѣзнодорожную школу, — совралъ онъ сначала.

Но вслѣдъ затѣмъ онъ рѣшился воспользоваться подходящею минутой и высказалъ желаніе занять мѣсто на дорогѣ. Инженеръ отнесся крайне сочувственно къ такому желанію, навелъ разныя справки и черезъ нѣсколько дней высказалъ положительную и значительную увѣренность, что дорога не отпуститъ такого полезнаго служащаго. А еще черезъ нѣсколько дней онъ уже съ радостью сообщилъ, что мѣсто ему обезпечено. Дѣло шло о выдающемся постѣ на линіи.

Послѣ этого случая дружба между ними еще болѣе укрѣпилась. Нѣжный, хорошенькій инженеръ питалъ величайшее уваженіе къ Лобановичу и проводилъ въ его обществѣ большую часть тоскливыхъ и мрачныхъ ночей. Лобановичъ, въ свою очередь, платилъ своему случайному пріятелю искренностью и откровенностью.

О своей службѣ, объ удачахъ и надеждахъ своихъ Лобановичъ сообщилъ Катѣ, которая въ отвѣтѣ своемъ выражала неподдѣльную радость и обѣщалась скоро пріѣхать къ нему. Въ другомъ письмѣ, къ Ивану Ивановичу, Лобановичъ подробно объяснилъ свое теперешнее настроеніе:

„Я понялъ одну истину — не увлекаться чужими интересами, пока не исполнилъ своихъ. Здѣсь нерѣдко у насъ происходятъ возмутительныя вещи, но я научился смотрѣть на

нихъ хладнокровно. Я даже самъ удивляюсь, какой неистощимый запасъ равнодушія я открылъ въ себѣ; на все, что тутъ творится вокругъ меня, я плевать хочу, пока не добьюсь поставленной цѣли".

Червинскій, зная отлично Лобановича, предостерегалъ его отъ крайняго увлеченія этимъ настроеніемъ.

„Нужно необходимо быть равнодушнымъ въ извѣстныхъ случаяхъ, но знай мѣру. Равнодушіе къ тому, что дѣлается вокругъ, сейчасъ для тебя полезно, но и здѣсь не увлекайся, не пересаливай, иначе въ тебѣ наступитъ реакція и ты надѣлаешь цѣлую кучу сумасшедшихъ дѣлъ",—писалъ всегда благоразумный Иванъ Ивановичъ.

Дѣло шло въ этихъ письмахъ, главнымъ образомъ, объ отношеніяхъ къ рабочимъ, — Лобановичу они достались всего труднѣе.

Въ его вѣдѣніи находилось нѣсколько партій; тутъ были артели самарцевъ, пензенцевъ, вятчанъ („вячкихъ", какъ они себя называли), наконецъ, куча башкиръ. Со всѣми надо умѣть говорить, разбирать всѣ претензіи. Интересы подрядчика, конечно, требовали, чтобы значилось побольше прогульныхъ дней, поменьше сдѣланныхъ работъ; напротивъ, въ интересахъ рабочихъ было естественно желать, чтобы вовсе не было прогульныхъ дней и чтобы кубы вырытой земли и камней были неполные.

Лобановичъ благоразумно избѣгъ того и другого. Подрядчику онъ далъ ясно понять, что ошибокъ въ счетахъ онъ не намѣренъ допускать, да подрядчику и некогда было слѣдить за такою бумажною справедливостью,—онъ то и дѣло пропадалъ по недѣлямъ, отыскивая кредитъ для срочныхъ уплатъ. Въ свою очередь, рабочіе убѣдились, что записи ихъ работъ и заработковъ ведутся точно, хотя всѣ рабочіе относились съ нѣкотораго времени ко всякимъ записямъ съ крайнимъ равнодушіемъ.

Это нѣсколько удивляло Лобановича, но онъ не искалъ причины. Отъ внутренней жизни дороги онъ старался стоять въ сторонѣ, слѣпой и глухой къ тому, что̀ такъ недавно еще интересовало его.

Въ его мысляхъ образовался и крѣпко засѣлъ вопросъ:

„А мнѣ какое дѣло?"

VII.

Было раннее воскресное утро. Въ баракѣ стало сыро. Лобановичъ наскоро одѣлся, положилъ въ сумку кусокъ булки и вышелъ на свѣжій воздухъ.

Онъ могъ шляться по трущобамъ до трехъ часовъ, когда они условились съ инженеромъ идти на охоту.

Перейдя узкое пространство дороги, заваленное бревнами, грудами камней и земли, онъ сразу попалъ въ густую чащу первобытнаго лѣса. Подъ его сводомъ стояла тишина и царствовалъ полумракъ; утреннее солнце не могло еще пробить густую листву, и только рѣдкія брызги его лучей падали на влажную лѣсную траву.

Лобановичъ тихонько пробирался между стволами и прислушивался къ таинствнннной жизни этого темнаго угла. Онъ его засталъ врасплохъ, когда лѣсная жизнь только еще начала просыпаться. Въ мертвой тишинѣ слышался каждый звукъ; слышно было, какъ по листу ползетъ гусеница, какъ упалъ листъ съ верхушки дерева, какъ выпрямилась вдругъ вѣтка, погнутая чьею-то рукой, какъ шелестятъ муравьи возлѣ своего поселенія. Крикъ копчика, внезапно раздавшійся по лѣсу, какъ флейта, заставилъ вздрогнуть Лобановича, но черезъ минуту, когда голосъ маленькаго хищника смолкъ, лѣсъ снова замеръ въ таинственномъ молчаніи.

Подвигаясь впередъ между деревьями, Лобановичъ замѣтилъ недалеко просвѣтъ и направился къ нему. Оттуда слышалось какое-то бульканье воды, заинтересовавшее его праздное вниманіе. Онъ зналъ, что тамъ, среди порослей кустарника, няходится рѣчушка, и захотѣлъ объяснить себѣ, что это за звуки раздаются оттуда?

Черезъ минуту дѣло объяснилось. На берегу рѣчушки, въ самомъ широкомъ ея мѣстѣ, сидѣлъ рыбакъ и удилъ рыбу. Посреди густой зелени камыша его сгорбленную фигуру трудно было примѣтить: пестрядинная рубаха его по цвѣту очень мало отличалась отъ сухой травы, а его приплюснутую бурую шляпенку можно было принять за одинъ изъ лопуховъ, покрывавшихъ сплошною массой рѣчку. Всего его можно было еще принять за кочку, обросшую мхомъ и при-

крытую сверху лопухомъ, еслибы только не поминутное маханье палкой, которая ему служила удилищемъ.

Лобановичъ узналъ въ немъ пожилого старика, артельнаго старосту „вячкихъ“ мужиковъ. Онъ поздоровался съ нимъ, присѣлъ возлѣ и сталъ смотрѣть, какъ онъ удитъ. Но сейчасъ же ему стало ясно, что мужикъ въ первый разъ держитъ въ рукахъ удочку. Вмѣсто удилища, старику служила толстая палка, почти колъ; лѣской ему послужила бичевка, которою легко можно было удержать лошадь, и крючокъ на такую лѣску былъ привязанъ огромный. Вся эта снасть разсчитана была такимъ образомъ, какъ будто старику предстояло вытянуть изъ-подъ лопуховъ бѣлугу. Между тѣмъ, въ рѣчкѣ водились только окуни и чебаки. Понятно, что поймать онъ ничего не могъ,—онъ то и дѣло махалъ коломъ, отъ его усердія стояли пузыри на водѣ, но изъ этого ничего не выходило.

— Плохо ловится?—спросилъ Лобановичъ шепотомъ, изъ боязни напугать рыбу.

— Ничего не могу пымать!—отвѣтилъ староста съ огорченіемъ и напряженно смотрѣлъ въ воду.

— Ты, кажется, впервые рыбачишь?

— То-то что не умѣю! А надо бы...

— Рыбы захотѣлось?

— Не мнѣ... Парень мой, Силашко-то, жалуется на животъ,—ему собственно!... Вчера уже и робить бросилъ.

— Захворалъ?

— Лежитъ. Ѣды не беретъ, вчерась только говоритъ: „рыбки бы“.

Лобановичу стало непріятно.

— Развѣ плохая у васъ пища?

— Одно горе!... Хлѣбъ еще можно сообразить, а насчетъ горячаго, напримѣръ, балтушка съ крупой—одно горе!

— У васъ, кажется, въ условіи вѣдь мясо выговорено?

— Какъ же, мясо иную пору кладется въ котелъ, да неспособно оно для живота-то. Больно духовитое.

Лобановичъ покраснѣлъ. Какая-то злоба мелькнула въ его глазахъ.

Они продолжали говорить шепотомъ.

— Много больныхъ у васъ?

— *Много* народу пало на животы. По нашей артели еще

слава Богу! Богъ милуетъ, жалуются ребята, а перемогаются. А у самарскихъ вонъ страсть сколько мужиковъ увезли въ назаретъ.

— Неужели умираютъ?

— У пензенскихъ семеро мужиковъ ужъ померши.

Старикъ говорилъ равнодушно, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, напряженно слѣдя за удочкой; все вниманіе его было сосредоточено на бичевкѣ и поплавкѣ, которымъ служилъ толстый пучекъ прошлогодней куги.

Но до сихъ поръ онъ еще ничего не поймалъ. Разъ на крючокъ ему попалась какая-то рыбешка, но отъ радости онъ такъ ее свистнулъ изъ воды, что она улетѣла въ кусты,—гдѣ же ее тамъ отыщешь? Въ другой разъ попался маленькій окунишка, но сорвался съ крючка, упалъ на берегъ и покатился къ водѣ. Старикъ обѣими руками бросился ловить его, судорожно шарилъ въ травѣ, болдыхался въ водѣ, готовый, повидимому, броситься въ рѣку, но гдѣ же его тамъ поймать? Не дуракъ же окунишка, чтобы дожидаться у берега. Затѣмъ рыба и совсѣмъ перестала попадаться. Старикъ напряженно всматривался въ глубь воды, то и дѣло моталъ коломъ и производилъ бичевкой пузыри на поверхности, но только напрасно огорчался.

Лобановичъ смотрѣлъ-смотрѣлъ и, наконецъ, сказалъ съ нетерпѣніемъ:

— Ну, ты, братъ, такъ ничего не поймешь. Дай-ка лучше мнѣ!

Въ дѣтствѣ онъ былъ страстный охотникъ удить и теперь не вытерпѣлъ. Онъ взялъ изъ рукъ старика нелѣпую снасть и торопливо принялся исправлять ее. Колъ онъ бросилъ, вырѣзавъ, вмѣсто него, гибкое удилище, веревки развилъ на тонкія нитки и взялъ изъ нихъ одну, а вмѣсто огромнаго крючка, привязалъ другой, который, къ счастью, нашелся у старика.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ уже вытащилъ большого окуня. Старикъ такъ былъ изумленъ его появленіемъ изъ воды, что схватилъ его обѣими руками и крѣпко держалъ, очевидно, плохо довѣряя честности окуня. Только когда ловкій рыбакъ сталъ поминутно вытаскивать изъ воды другихъ окуней и чебаковъ, старикъ нѣсколько успокоился и уже сталъ увѣренно складывать рыбу въ подолъ своей рубахи,

въ то же время, съ дѣтскою радостью наблюдая за движеніями барина, и каждый разъ, какъ послѣдній вытаскивалъ рыбу, совалъ ее со смѣхомъ въ подолъ, приговаривая:

— Какъ ловко ты его поддѣлъ!

Черезъ короткое время рыбы наловилось достаточно. Лобановичъ бросилъ удочку и поднялся съ мѣста. Старикъ также всталъ и заторопился.

— Ну, дай Богъ тебѣ здоровья! Теперь Силашка авось, Богъ дастъ, поправится!—сказалъ онъ на прощанье. Этотъ Силантій былъ его единственный сынъ.

Курьезной показалась Лобановичу эта вѣра, что достаточно Силашкѣ покушать рыбы, чтобы оправиться отъ страшной болѣзни. Лобановичъ подозрѣвалъ, какого сорта эта болѣзнь, и на него напало страшное озлобленіе. Противъ кого и чего онъ сердился, на это онъ едва-ли могъ отвѣтить и самъ, но озлобленіе такъ неожиданно явилось къ нему, что онъ никакъ не могъ подавить его.

Когда послѣ обѣда онъ отправился съ инженеромъ на охоту, то долго не могъ придти въ себя, проникнуться прежнимъ благоразумнымъ настроеніемъ. Идя рядомъ съ инженеромъ, онъ злился на всѣхъ и на все. Его раздражало болото, по которому они шагали, кусты черемухи и боярышника, сквозь которые ему приходилось продираться, тяжелое ружье на плечѣ, хорошенькій инженеръ, дѣлавшій маленькіе шажки о-бокъ съ нимъ. Его раздражало воспоминаніе о старикѣ, который коломъ ловилъ рыбу, объ этихъ „вячкихъ", которые пали на животы, объ этихъ самарскихъ, которыхъ увозятъ въ „назаретъ", и онъ съ нескрываемою злостью отвѣчалъ на вопросы инженера.

— Что съ вами, милый другъ?—спросилъ инженеръ полуозабоченно, полунасмѣшливо.

— Да должно быть не выспался. Въ баракѣ у насъ нынче страшная сырость... Вдобавокъ, подрядчикъ мой чуть не до утра читалъ новый „рòманъ" *Призракъ безъ тѣла*... И чортъ его знаетъ, откуда онъ достаетъ такую чепуху!

Инженеръ захохоталъ.

— Да, кстати, — продолжалъ Лобановичъ, — знаете, мнѣ кажется, онъ прохвостъ?

— Очень возможно,—сказалъ равнодушно инженеръ.

— Мнѣ кажется, онъ, въ концѣ-концовъ, надуетъ рабочихъ. У него, повидимому, и денегъ-то нѣтъ для расплаты.

Лобановичъ при этомъ разсказалъ про дизентерію среди рабочихъ, про смерти, про „назаретъ“, про все, что услыхалъ отъ старика, и про все то, о чемъ самъ давно догадывался. О томъ же, что самъ болѣе мѣсяца не получаетъ жалованья, онъ постыдился упомянуть.

Инженеръ нахмурился, но нахмурился просто потому, что весь разговоръ былъ ему непріятенъ.

— Это въ порядкѣ вещей,—возразилъ онъ пренебрежительно.

— Дизентерія-то?—спросилъ Лобановичъ.

— Вообще все, что вы разсказали.

— И болтушка? И духовитая говядина? И хлѣбъ, который трудно сообразить?—перечислялъ со злостью Лобановичъ.

— Все. Какой вы наивный! Да такъ всѣ дороги строются. Да и однѣ-ли дороги? Культура нашего вѣка—это сплошная война!—проговорилъ наставительно инженеръ.

— Но вѣдь и на войнѣ обязательны извѣстныя приличія?

— Обязательны, но ихъ никто не держится, — некогда! Задача нашего вѣка создать машину, безконечную, всюду проникающую машину, которая бы наполнила грохотомъ всю землю. Человѣкъ забытъ, о немъ некогда заботиться... Сейчасъ вотъ эта машина врѣзалась въ грудь дикой страны; на благо она врѣзалась или на зло—безполезно разсуждать! Все равно, паровикъ врѣзался бы сюда и безъ нашего участія. Быть можетъ, онъ раздавитъ тысячи жизней, но сожалѣть объ этомъ безполезно. Но тсс!... Встаньте здѣсь! Бейте въ правыхъ!—скомандовалъ вдругъ инженеръ шепотомъ, показывая на группу чирковъ, плававшихъ возлѣ камышей на озерѣ, около котораго они незамѣтно очутились. Лобановичъ машинально, но съ величайшею торопливостью взвелъ курокъ и выстрѣлилъ. Это было сдѣлано имъ такъ мгновенно, что инженеръ не успѣлъ даже поднять ружья.

Конечно, промахъ. Инженеръ разсердился.

— Ну, вы съ вашею болтушкой всю охоту испортили!—сказалъ онъ съ кислою гримасой, слѣдя за полетомъ громадныхъ стай разной дичи, поднятой глупымъ выстрѣломъ.

Лобановичъ сконфузился и принялъ угрюмый видъ.

Охота въ самомъ дѣлѣ не удалась сегодня. Они пробродили еще съ часъ по густымъ зарослямъ вокругъ болотъ и бросили. Инженеръ предложилъ закусить; выбравъ красивое мѣсто подъ купой сосенъ, онъ усѣлся и разложилъ въ живописномъ безпорядкѣ разныя гастрономическія вещи, находившіяся въ его сумкѣ, прибавивъ къ нимъ и бутылку хорошаго вина. Помимо этого, во все время закуски онъ угощалъ еще Лобановича пикантными анекдотами на тему, какъ строятся желѣзныя дороги. Слушая эту болтовню, а, быть можетъ, подъ вліяніемъ хорошаго вина и закуски, Лобановичъ малу-по-малу успокоивался. И въ его душѣ снова всталъ и заполонилъ всѣ его мысли благоразумный вопросъ:

„Да мнѣ какое дѣло?"

VIII.

Въ тотъ день на мѣстѣ работъ не было никого изъ начальствующихъ. Инженеръ и прочіе служащіе уѣхали еще наканунѣ на другую дистанцію, а подрядчикъ уже нѣсколько дней пропадалъ, рыская гдѣ-то въ поискахъ за кредитами. Лобановичъ явился на нѣкоторое время отвѣтственнымъ лицомъ и охранителемъ порядка.

Онъ поднялся рано и, по обыкновенію, хотѣлъ, по выходѣ изъ барака, немедленно отправиться въ дальній конецъ линіи. Но не успѣлъ онъ хорошенько оглядѣться послѣ сна, какъ былъ вызванъ на неожиданное объясненіе съ толпою рабочихъ, окружавшихъ баракъ сплошною массой. Толпа, видимо, была возбуждена чѣмъ-то, потому что слышался крупный разговоръ, крѣпкія слова, брань по чьему-то адресу. Лобановичъ, очутившись посреди этого гама, со всѣхъ сторонъ сдавленный толпою, въ первыя минуты ничего не понималъ.

— Чего вамъ отъ меня надо?—нѣсколько разъ переспросилъ онъ сердито, толкаемый и оглушенный густою толпой.

— Гдѣ подрядчикъ?... Уплати намъ жалованье и отпускай!... Онъ вонъ удралъ въ городъ, а тутъ подыхай! Нечего, ребята, на него глядѣть—напирай, требуй!... Мы по *закону*, отдавай что слѣдуетъ!... Не желаемъ больше!...

Эти безсвязные возгласы безпрерывно раздавались со всѣхъ сторонъ.

— Да отъ меня-то чего вы требуете?—закричалъ, наконецъ, взбѣшенно Лобановичъ.

На этотъ вопросъ снова послышивалась безсвязная рѣчь толпы, съ инскрустаціей изъ крѣпкихъ словъ. Наконецъ, ближайшій крестьянинъ, перекричавъ всю толпу, принялся предлагать Лобановичу болѣе связные вопросы. Толпа на время затихла и сосредоточенно вслушивалась въ слѣдующій діалогъ:

— Ты позови намъ, Василій Михалычъ, подрядчика... самолично!—потребовалъ крестьянинъ.

— Да нѣтъ его здѣсь,—отвѣтилъ Лобановичъ.

— Куда же онъ дѣвался?

— А я почему знаю?

— Ты долженъ знать! Ежели его нѣтъ, отвѣчай ты!

— Чего же мнѣ отвѣчать? Чего вы, черти, облѣпили меня?—разозлился Лобановичъ.

— Подавай намъ разсчетъ—вотъ какой отвѣтъ!

— Да развѣ у меня деньги-то? Требуйте съ подрядчика.

— И потребуемъ! Будетъ насъ маханиной кормить! Окончательно не желаемъ больше!... Подавай сюды!

— Кого?

— Подрядчика подавай!

— Да нѣтъ его здѣсь, а куда дѣлся — какое мнѣ дѣло? Онъ и мнѣ вонъ не платитъ. Я вотъ и самъ хочу уйти отсюда,—кричалъ Лобановичъ.

— Да тебѣ что! Ты задерешь хвостъ—только тебя и видѣли! А вѣдь у насъ контрактъ, пашпортъ!... Когда же насъ разсчитаетъ?

— А я почемъ знаю?

Діалогъ этотъ въ томъ же родѣ продолжался долго. Наконецъ, толпа поняла всю безплодность объясненія съ человѣкомъ, который ничего не знаетъ, для котораго все это дѣло чужое и отъ котораго ничего не дождешься. Эта мысль и была тотчасъ же кѣмъ-то выражена съ добродушнымъ пренебреженіемъ.

— Да чего, ребята, разговаривать съ стрыкулистомъ! Онъ, вишь, самъ животъ подвязалъ (Лобановичъ былъ подпоя-

санъ ремнемъ) съ голодухи-то! Слышь, и ему жалованья-то не платитъ... Намъ надо напирать на самого идола!

Черезъ минуту послѣ этого заключенія толпа перестала обращать вниманіе на Лобановича, и онъ выбрался изъ нея, никѣмъ больше не останавливаемый.

Онъ отправился по линіи. Но на работахъ стояли только башкиры. Ихъ бритыя головы съ оттопыренными ушами мелькали на обычныхъ мѣстахъ по откосамъ и разрѣзамъ, гдѣ шли землекопныя работы. Когда онъ подъѣхалъ къ нимъ верхомъ и задалъ свой обычный вопросъ:

— Скоро кончите?

Они отвѣчали также обычнымъ отвѣтомъ:

— Скоро кончимъ, бачка! Совсѣмъ скоро кончимъ!

Но всѣ остальные рабочіе побросали линію и разбрелись. По дорогѣ всюду валялись ломы, лопаты, тачки; кое-гдѣ виднѣлись и сами рабочіе, то кучками, то въ одиночку, но никто изъ нихъ не обращалъ вниманія на него, когда онъ проѣзжалъ мимо. Что-то затѣвалось. Обычный порядокъ исчезъ.

Лобановичъ поворотилъ лошадь и поѣхалъ назадъ. Онъ хотѣлъ презрительно, съ покойнымъ равнодушіемъ сказать: „А мнѣ какое дѣло?“ — но это ему не удалось. Онъ былъ страшно взволнованъ разнородными чувствами, боровшимися въ немъ. Въ то время, какъ его лошадь, почувствовавъ опущенные поводья, плелась тихимъ шагомъ, въ его головѣ бурно кипѣли мысли. Что ему дѣлать? Если онъ махнетъ рукой и будетъ смотрѣть на этотъ наглый обманъ, какъ посторонній зритель, — хорошо-ли это? Рабочіе возбуждены и, быть можетъ, вотъ въ эту минуту они уже въ дребезги разносятъ баракъ, — ихъ надо удержать. Быть можетъ, они уже сговорились бѣжать изъ этого проклятаго мѣста, гдѣ уже началась эпидемія, но ихъ переловятъ, приведутъ, закабалятъ, — ихъ надо научить. Имъ надо помочь вообще, иначе окажешься истиннымъ „стрыкулистомъ“.

Лобановичъ забылъ обо всемъ на свѣтѣ, только ломалъ голову надъ вопросомъ, что̀ лучше всего посовѣтовать? Онъ долго и мучительно недоумѣвалъ. Но вдругъ взглядъ его сверкнулъ радостною рѣшимостью, онъ схватилъ поводья и поскакалъ къ бараку по рытвинамъ, черезъ кусты, между *грудами* бревенъ и камней.

По дорогѣ ему попалась телѣга съ больными, которыхъ увозили въ городъ; они производили впечатлѣніе раненыхъ, увозимыхъ съ поля битвы; изъ тряской телѣги раздавались стоны. Нѣсколько минутъ Лобановичъ ѣхалъ рядомъ съ телѣгой, разспрашивая тѣхъ изъ лежащихъ, кто еще могъ отвѣчать. Потомъ, взволнованный, съ ненавистью во взглядѣ, онъ твердилъ про себя: „Какая наглость! Боже мой, какое наглое дѣло! И я присутствую при немъ!"

Когда онъ подъѣхалъ къ бараку, рабочіе уже не толпились больше сплошною массой возлѣ его дверей, а разбились на кучки. Идти на работу, конечно, не думали. Всѣ чего-то ждали. Настроеніе толпы, какъ замѣтилъ Лобановичъ, измѣнилось къ худшему; лица у всѣхъ были озлобленныя и, въ то же время, всѣ рады, что кончилась ихъ обыденная, мучительная жизнь.

Съ обычною своею пылкостью Лобановичъ принялся за дѣло. Переходя отъ одной группы къ другой, онъ объяснялъ рабочимъ, какъ лучше поступить въ ихъ безвыходномъ положеніи. Сначала его слушали съ подозрительною недовѣрчивостью, но мало-по-малу поддались на его разумныя, горячо сказанныя слова. И черезъ короткое время онъ снова былъ окруженъ толпой, но на этотъ разъ не дикой, какъ два часа назадъ, а озабоченной, внимательно слушающей и разспрашивающей.

— Что же намъ дѣлать-то? Ежели убѣчь — пымаютъ?— спрашивали одни.

— Безъ всякаго снисхожденія пымаютъ! — подтверждали другіе.

— Пымаютъ и опять посадятъ въ это же мѣсто!

— Если вы такъ, безо всего убѣжите, то, кромѣ вреда, ничего не будетъ вамъ,—горячо возразилъ Лобановичъ.

— То-то и оно-то! Ну, и оставаться тоже нельзя! Вѣдь онъ насъ по міру пуститъ!

— Съ голоду онъ насъ тутъ изведетъ!

— Онъ что вѣдь придумалъ-то для нашей пищи... вѣдь онъ, разбойникъ, маханиной насъ кормитъ!—закричалъ кто-то, и эти слова снова подняли крики въ толпѣ, которая моментально опять приняла дикій, грозный видъ.

Тутъ только Лобановичъ узналъ, какой былъ поводъ всего этого переполоха. Сегодня утромъ кто-изъ рабочихъ открылъ

въ артельномъ котлѣ лошадиную ногу. Вѣсть отъ этой ногѣ быстро разнеслась по всей линіи, всѣхъ взбудоражила и воспламенила накипѣвшее недовольство. До сихъ поръ люди все переваривали: хлѣбъ съ глиной, протухлое мясо, горькую крупу, болѣзни, но лошадиную ногу никто не могъ переварить. Быть можетъ, она попала случайно, отъ башкирской провизіи, но рабочіе были увѣрены, что ихъ все время кормили лошадьми, и взбѣсились, оскорбленные въ своемъ религіозномъ отвращеніи.

Когда бѣшеная ругань, вызванная напоминаніемъ ноги, немного улеглась, нѣкоторые изъ присутствующихъ принялись шутить, открывъ во всемъ этомъ комическую сторону.

— Башкиру это ничего! Онъ поѣздитъ на конѣ и апосля съѣстъ его! За мое почтеніе скушаетъ!

— Башкиры и у нашего подрядчика съ голоду не пропадутъ. Въ случаѣ недохватки, они сварятъ его лошадей.

— Жаркое сдѣлаютъ!

— И котлеты!

— А знаете, ребята, отъ которой лошади ногу-то въ котелъ положили?

— Отъ какой?

— Отъ того мерина, на коемъ намъ пищу изъ города возили! И, стало быть, братцы, пищи намъ теперь не на комъ доставлять!

— Да для чего она намъ, пища-то? И мерина хватитъ... эвона насколько!

Воспользовавшись этимъ шутливымъ настроеніемъ, Лобановичъ разсказалъ, что̀ всего лучше предпринять. Онъ посовѣтовалъ, прежде всего, послать депутацію къ главному инженеру съ жалобой, затѣмъ предложилъ, въ то же время, отъ лица всѣхъ артелей написать искъ въ судъ, съ просьбой объ уничтоженіи контрактовъ. Оба предложенія вызвали шумное одобреніе,—они не выходили изъ закона.

Мигомъ откуда-то появился столъ, бумага, чернила; мигомъ нѣсколько человѣкъ обломали вокругъ стола кусты, гдѣ происходило это совѣщаніе; кто-то принесъ для Лобановича обрубокъ дерева, вмѣсто стула, и началось составленіе прошеній. Толпа затихла, разговоры почти смолкли. Въ кустахъ слышно было пѣніе пташекъ; изъ сосѣдняго

лѣса раздавалось нѣжное воркованье горлицы. Никто не хотѣлъ мѣшать Лобановичу.

Со стороны просителей сдѣлано было только нѣсколько предложеній, между прочимъ, и относительно лошадиной ноги.

— А объ ногѣ-то напиши все какъ слѣдуетъ,—замѣтилъ одинъ грамотный мужикъ изъ „вячкихъ", въ видѣ наставленія.

— Напишу.

— И приложи къ прошенію.

— Чего?

— Да ногу-то... При эфтомъ, молъ, прилагается лошадиная нога отъ стараго мерина... которая нога найдена, молъ, въ котлѣ!

— Это зачѣмъ же?—спросилъ Лобановичъ, недостаточно понимая.

— А мы ее подадимъ вмѣстѣ съ просьбой.

— Ногу-то?

— А то какъ же? Иначе вѣдь намъ, родной, не повѣрятъ. Она у насъ спрятана.

Лобановичу стоило большого труда отговорить отъ „приложенія".

Послѣ составленія просьбъ для всѣхъ артелей и подписи ихъ присутствующими немедленно была послана депутація къ главному инженеру, который находился верстахъ въ двадцати, просьбы же взяли на храненіе артельные старосты.

Весь этотъ день прошелъ въ волненіи. Лобановичъ былъ страшно возбужденъ, какъ будто вся эта исторія была его собственнымъ, кровнымъ дѣломъ, но онъ чувствовалъ себя весело, легко, какъ будто освободился отъ какой-то гнетущей тяжести. До поздней ночи онъ шатался по окрестнымъ трущобамъ и безъ умолку пѣлъ, и сильный, дикій голосъ его еще и въ полночь раздавался въ лѣсу, гармонируя съ дикостью окружающей природы.

На слѣдующій день онъ проснулся поздно и тотчасъ же отъ барачнаго сторожа узналъ о событіяхъ этой ночи. Депутація, посланная къ инженеру, еще не воротилась, а, быть можетъ, убѣгла съ дороги. Артель „вячкихъ" на раз-

свѣтѣ тайно скрылась неизвѣстно куда, захвативъ съ собою исковое прошеніе и лошадиную ногу.

Лобановичъ съ злостью выругался.

Но не успѣлъ онъ достаточно осердиться на глупость „вячкихъ", какъ пришелъ какой-то человѣкъ съ дальней части линіи и сообщилъ, что тамъ двѣ артели также бѣжали ночью. Бѣгство, очевидно, открылось по всей линіи.

Когда онъ отправился вдоль дороги по своему участку, онъ никого тамъ не нашелъ, только башкиры находились на своихъ мѣстахъ, да и они бросили работу и мирно спали на солнечномъ припекѣ. Онъ пошелъ назадъ, не зная, какъ убить время.

Что онъ будетъ дальше дѣлать—это смутно представлялось ему. Вчера ему некогда было заниматься вопросомъ,—онъ совершенно забылъ себя. Но сегодня другое дѣло. Сегодня ему надо было рѣшить, какъ быть. Однако, онъ не зналъ, какъ быть. Ясно было только одно: пребываніе его здѣсь кончено, мѣста у него больше нѣтъ и впредь не будетъ.

Впрочемъ, онъ дожидался разъясненій.

Къ вечеру пріѣхалъ подрядчикъ и, узнавъ обо всемъ, сначалъ сильно упалъ духомъ. Лобановичу онъ сказалъ какимъ-то жалкимъ голосомъ:

— Эхъ, господинъ Лобановичъ!

Лобановичъ даже по человѣчеству пожалѣлъ его.

— Разорился я теперь до смерти!—добавилъ жалко подрядчикъ.

Но немного спустя жалкія чувства въ немъ замѣнились необычною злобой. Онъ вдугъ заметался, велѣлъ заложить лошадей, отдавалъ какія-то приказанія и что-то кричалъ. А при встрѣчѣ съ Лобановичемъ вдругъ обратился къ нему съ злобнымъ укоромъ:

— Стыдно вамъ, господинъ Лобановичъ!

— Что стыдно?—спросилъ послѣдній угрюмо.

— Такъ, ничего! Только стыдно!... Какъ состояли вы у меня на службѣ, то и не должны были супротивъ меня бунтовать!

Лобановичъ взбѣсился на эту глупость.

— Слишкомъ много чести для васъ, если противъ васъ бунтовать!—сказалъ онъ.

— Да, очень стыдно!... Даже совсѣмъ не хорошо!—злобно

кричалъ подрядчикъ, садясь въ телѣгу.— Но я покажу, какъ бѣжать отъ меня! Я ихъ всѣхъ переловлю! Я... по закону! У меня контрактъ!... Я изъ земли выкопаю ихъ; они меня, подлецы, розорили!

Онъ долго еще кричалъ въ томъ же родѣ, пока телѣга не скрылась за кустами. „А вѣдь непременно поймаютъ!"— подумалъ Лобановичъ, и у него сжалось сердце при мысли о тѣхъ, кого опять сюда притащатъ умирать.

Другое разъясненіе, какъ быть, явилось со стороны инженера-пріятеля. Онъ встрѣтилъ Лобановича, повидимому, съ прежнею симпатіей, но для послѣдняго стало замѣтно, что онъ ведетъ себя неискренно. Между ними ни слова не было сказано о событіяхъ дня; Лобановичъ ждалъ, когда первымъ заговоритъ инженеръ, но тотъ намѣренно уклонялся отъ разговоровъ. Только когда Лобановичъ угрюмо сталъ прощаться, инженеръ вдругъ смутился и съ его языка сорвалось нѣсколько искреннихъ словъ съ искреннимъ, крѣпкимъ пожатіемъ руки.

— Совѣтую вамъ, милый человѣкъ, немедленно уѣзжать отъ насъ, пока противъ васъ не начали дѣла!—сказалъ онъ съ волненіемъ.

— Какого дѣла? За что?—спросилъ Лобановичъ.

— Мы не любимъ, когда мѣшаются въ наши семейныя дѣла!

— Да что же мнѣ сдѣлаютъ? И за что?

— Не спрашивайте, но ради Бога уѣзжайте!

Инженеръ при этихъ словахъ еще разъ потрясъ руку Лобановича.

Къ вечеру послѣдній собрался. Лошади подрядчика всѣ были въ разгонѣ, да еслибы и налицо онѣ были, Лобановичъ отказался бы отъ нихъ. Недоплаченнаго жалованья онъ также не сталъ добиваться. Взваливъ чемоданъ на плечи, онъ отправился пѣшкомъ до ближайшей деревни.

Дорогой онъ еще разъ мучительно переспросилъ себя, куда ему идти? Куда онъ теперь дѣнется? Иванъ Ивановичъ и всѣ друзья встрѣтятъ его вопросомъ: „Уже?" А Катя съ недоумѣніемъ начнетъ его разспрашивать, какъ все это случилось и что онъ намѣренъ предпринять.

При этомъ воспоминаніи вся кровь бросилась къ его лицу, и въ его сердцѣ закипѣли гнѣвъ и отчаяніе.

Онъ долженъ былъ отправиться на пристань, отъ кото-

рой завтра пароходъ отправлялся въ N,—тотъ городъ, гдѣ жила дѣвушка и всѣ его друзья. Но когда онъ дошелъ до перекрестка, гдѣ дороги расходились, онъ съ гордымъ отчаяніемъ свернулъ на глухую лѣсную дорогу и только мысленно послалъ прощальный привѣтъ своей любви.

Прошло около двухъ лѣтъ. Катя давно вышла замужъ за Ивана Ивановича, и они безотлучно жили въ N. Иванъ Ивановичъ бросилъ бродяжную жизнь ради любимой женщины, не переходилъ больше съ мѣста на мѣсто, а прочно устроился. Они снимали маленькій домикъ, весь въ саду, съ венеціанскими окнами; по зимамъ онъ освѣщался солнцемъ, какъ клѣтка, а лѣтомъ въ немъ вѣяло прохладой; въ комнатахъ, убранныхъ съ безупречнымъ вкусомъ, пахло фіалками, резедой и гіацинтомъ. Это были любимые цвѣты Ивана Ивановича, и Катя наполняла ими всѣ комнаты, ставя букетъ изъ нихъ и на столъ мужа. Ей было только жаль, что они такъ скоро отцвѣтаютъ.

Они жили дружно, работящею жизнью и безъ скуки. Иногда имъ вспоминался Лобановичъ, карточка котораго стояла на столѣ у Ивана Ивановича, но эти воспоминанія не разстраивали ихъ взаимной любви; напротивъ, послѣ всякаго такого воспоминанія Катя нѣжно цѣловала мужа, а этотъ послѣдній съ грустью жалѣлъ любимаго товарища.

О Лобановичѣ около года совсѣмъ не было слышно; онъ какъ будто въ воду канулъ. Потомъ стали по временамъ доходить слухи, но такіе неясные, какъ будто они доносились съ того свѣта, изъ другого, невѣдомаго міра. Въ первое время Червинскій старался наводить справки о быломъ другѣ, но мало-по-малу пересталъ; жизнь дня такъ полно занимала его время, что некогда было интересоваться еще дѣлами, выходящими за предѣлы этой жизни.

Катя была счастлива. Только по временамъ, въ тихія сумерки, когда дневныя хлопоты прекращались, на глазахъ ея появлялись слезы и сердце сжимала какая-то безпредметная тоска о чемъ-то небываломъ, неиспытанномъ,—о томъ, чего, быть можетъ, вовсе нѣтъ. Иногда въ глухія сумерки слезы ея переходили въ рыданія, какъ будто она хоронила кого-то. Но на слѣдующее утро она снова вставала веселою, бодрою и хлопотливою.

На границѣ человѣка.

(Естественно-историческій очеркъ).

I.

Молодые Зерновы должны были лѣто провести врозь. Она уѣзжала въ Италію повидаться съ больнымъ братомъ, да кстати разсѣяться; онъ, удерживаемый своими конторскими и газетными занятіями, оставался въ городѣ. Въ день отъѣзда оба были взволнованы, но не грустны,—каждый изъ нихъ былъ спокоенъ за другого. Онъ въ сотый разъ повторялъ, чтобъ она побольше писала; она дѣлала разныя домашнія распоряженія и самое главное—относительно дачи.

— Непремѣнно переселись на дачу,—повторяла она.

Онъ утвердительно кивалъ головой.

— Выбери самую тихую, красивую, поэтическую!—полушутя, полусерьезно говорила она.

Но это было, въ то же время, и его желаніе.

— И непремѣнно оканчивай поэму!—уже строгимъ тономъ приказывала она.

Онъ торжественно клялся, что поэма будетъ готова, и въ подтвержденіе клятвы цѣловалъ жену.

Наконецъ, они разстались, взволнованные, но съ веселыми лицами.

Когда дымъ паровоза растаялъ за лѣсомъ, Зерновъ отправился домой и рѣшилъ немедленно уѣхать за городъ искать дачу. Чувство энергіи овладѣло всѣмъ его существомъ и онъ быстро шелъ. Его поэма была первымъ трудомъ, кото-

рымъ онъ хотѣлъ, такъ сказать, дебютировать на большой сценѣ. Работая мелочи въ мѣстной газетѣ, онъ все негазетное прочитывалъ только въ тѣсномъ кружкѣ друзей, и всѣ предсказывали ему свѣтлое будущее. Жена мечтала съ нимъ и воодушевляла его; самъ онъ также вѣрилъ въ себя. Но теперь, послѣ того, какъ онъ въ послѣдній разъ пожалъ ея руку, протянутую изъ окна вагона, увѣренность его въ себѣ возросла въ той же мѣрѣ, какъ и любовь къ уѣхавшей.

Съ вокзала онъ не зашелъ домой, а прямо отправился въ контору акціонернаго общества, гдѣ служилъ, взялъ тамъ отпускъ на одинъ день и уѣхалъ за городъ.

Конечно, по настоящему ему слѣдовало бы отправиться если не въ Неаполь, то, по крайней мѣрѣ, къ черкесамъ или лезгинамъ,—всѣ поэты должны видѣть черкесовъ, потому что на дачѣ можно увидать только мужиковъ, а написать поэму „изъ мужиковъ" совсѣмъ неразсудительно. Но Зерновъ былъ человѣкъ зависимый, очень разсчетливый и могъ позволить себѣ только дешевую дачу въ трехъ верстахъ отъ города. И не дачу собственно надо было ему, а мирный уголокъ природы, гдѣ бы онъ могъ проводить вечеръ и ночь.

Онъ объѣздилъ всѣ окрестности и, наконецъ, отыскалъ все, чего хотѣлъ. Это было дикое мѣсто на крутомъ берегу рѣки, съ котораго открывался чудесный видъ; кругомъ тишина и полное безлюдье; дача, правда, представляла собою совершенную развалину, гдѣ давно никто не жилъ, но за то стоила она дешево, окрестности же ея могли привести въ восторгъ всякую поэтическую душу, не лишенную, впрочемъ, здраваго смысла.

На другой день, послѣ занятій и обѣда, Зерновъ уже переселился на дешевое лоно природы. На скорую руку онъ размѣстилъ свое имущество въ затхлыхъ комнатахъ, поспѣшилъ выйти за дверь и принялся бродить по окрестностямъ, съ интересомъ все осматривая.

Чудесные здѣсь были берега. Спускаясь крутыми стѣнами къ рѣкѣ, они во многихъ мѣстахъ прорѣзывались глубокими оврагами, узкими и мрачными, какъ огромныя трубы. Трубы эти проложила весенняя вода. Она же, бушуя здѣсь въ апрѣлѣ, произвела полнѣйшее замѣшательство въ неподвижныхъ рядахъ дубовъ и кленовъ; одни она повалила на-земь и заставила ихъ ползать среди кустовъ шиповника чуть жи-

выми; другіе подъ ея напоромъ наклонились всею массой своихъ стволовъ и вѣтвей книзу и заглядывали въ глубину темныхъ овраговъ; для третьихъ по отвѣсной стѣнѣ она устроила висячія террасы и они росли какъ бы въ воздухѣ. Мѣстами же особенно сильнымъ напоромъ она оторвала цѣлую площадь берега, сбросила его съ высоты внизъ къ рѣкѣ вмѣстѣ съ лѣсомъ, но не тронула ни одного листка съ короны дубовъ, не изломала ни одной вѣтки, и они продолжали на новомъ мѣстѣ стоять и рости, какъ будто ничего не случилось.

Съ волненіемъ человѣка, привыкшаго къ голымъ стѣнамъ конторы, Зерновъ осмотрѣлъ все это, нѣсколько разъ спускался по тропинкамъ овраговъ къ водѣ, карабкался по висячимъ садамъ, пока не усталъ. Тогда онъ сѣлъ на одномъ уступѣ и оглядѣлъ широкій горизонтъ луговой стороны. Вечеръ выдался тихій и теплый; рѣка застыла, какъ зеркало. Бросивъ вдругъ взглядъ на это необъятное зеркало, Зерновъ онѣмѣлъ отъ восторга: прямо подъ нимъ, въ бездонной глубинѣ рѣки, плыли тучки на синемъ фонѣ; возлѣ нихъ, но еще, казалось, глубже, виднѣлся серпъ луны, возлѣ луны стояла баржа, а ближе къ берегу со дна рѣки поднимались скалы, на которыхъ у самой поверхности воды зеленѣлъ лѣсъ; только скалы и лѣсъ, и баржа опрокинуты были тамъ внизъ вершинами. Тамъ же, подъ деревомъ на уступѣ, сидѣлъ какой-то прекрасный молодой человѣкъ въ сѣрой шляпѣ и съ радостью смотрѣлъ на Зернова, какъ бы приглашая его къ себѣ, туда, на дно бездны, гдѣ плаваютъ тучки и видится блѣдный серпъ луны...

Долго и съ восторгомъ Зерновъ вглядывался въ этотъ волшебный міръ. Впрочемъ, черезъ нѣкоторое время въ немъ заговорилъ художникъ, восторгъ его исчезъ, осталось только желаніе ни одну мелочь не упустить изъ картины и схватить ее въ такомъ именно видѣ, въ какомъ она открылась ему, причемъ онъ уже обдумывалъ, въ какое мѣсто поэмы лучше помѣстить ее. Такъ онъ просидѣлъ до поздняго вечера и уже не обращалъ вниманія ни на что окружающее, весь отдавшись созерцанію тѣхъ внутреннихъ картинъ, которыя хранились въ немъ и которыя онъ долженъ написать, а когда возвращался съ берега въ комнаты, то былъ въ необыкновенно счастливомъ расположеніи духа.

Къ сожалѣнію, въ самомъ непродолжительномъ времени его восторженное настроеніе, вызванное лономъ природы, должно было прекратиться. Едва онъ потушилъ лампу и легъ въ постель, какъ почувствовалъ неопредѣленную тревогу во всемъ тѣлѣ; однако, обладая твердымъ характеромъ, сначала онъ не придалъ этому ни малѣйшаго значенія и продолжалъ спокойно лежать, припоминая всѣ прелести своей дачи. Но вдругъ на его лицо шлепнулось что-то холодное и скользкое; онъ въ ужасѣ вскочилъ съ постели, закричалъ благимъ матомъ и принялся шарить спички; когда, послѣ торопливыхъ поисковъ, лампа была зажжена, онъ со страхомъ оглядѣлъ комнату и убѣдился, что вмѣстѣ съ нимъ дачу занимаютъ нѣсколько лягушекъ. Съ ожесточеніемъ, понятнымъ для каждаго дачника, онъ выгналъ гадкихъ тварей и только тогда улегся на кровать, когда увѣрился, что достаточно гарантированъ отъ пресмыкающихся.

Но успокоиться ему не удалось въ эту ночь, ибо на лонѣ природы кишатъ многочисленные кровопійцы. Пока онъ выгонялъ лягушекъ, свѣтъ лампы привлекъ въ комнату тучи комаровъ, которые безжалостно, съ воемъ и плачемъ, напали на свѣжаго человѣка. Только закрывшись съ головой одѣяломъ, онъ могъ временно спастись. Но, лежа подъ одѣяломъ, онъ снова почувствовалъ неопредѣленную тревогу во всемъ тѣлѣ; сначала онъ ободрялъ себя и старался отвлечь свои мысли въ другую сторону, причемъ припоминалъ всѣ прелести дачной жизни, но, наконецъ, упалъ духомъ и сталъ раздражаться, тѣмъ болѣе, что неопредѣленная тревога скоро перешла въ очень опредѣленное представленіе о жгучихъ клопахъ и блохахъ. Нѣсколько разъ онъ вскакивалъ съ постели, бѣшено вытряхалъ одѣяло и простыни, но кровопійцы послѣ этихъ операцій, казалось, съ большею жадностью нападали на несчастнаго человѣка. Въ концѣ-концовъ, онъ изнемогъ, предался покорно на полную волю побѣдителей и лишь продолжалъ безпревывно вертѣться на кровати, какъ мельничный валъ. Состояніе его духа было такого рода, что онъ проклиналъ не только дачу, но и всѣ ея окрестности.

Уже подъ утро онъ въ изнеможеніи заснулъ тревожнымъ сномъ. Но и здѣсь новое несчастіе ожидало его. Когда поднялось солнце и заглянуло въ окна дачи, проснулись мухи

и облѣпили его лицо; такимъ образомъ, онъ окончательно долженъ былъ отказаться отъ отдыха. Онъ торопливо одѣлся и бросился вонъ изъ душныхъ комнатъ.

Солнце только-что поднялось надъ сосѣднимъ лѣсомъ и не успѣло еще осушить росы на травѣ. Надъ рѣкой клубились волны тумана, закрывая бѣлою пеленой овраги берега, но возвышенныя мѣста, гдѣ именно стояла дача, были уже открыты. Эти мѣста показались теперь Зернову въ высшей степени безобразными, какъ все, чѣмъ онъ вчера восхищался.

Въ самомъ дѣлѣ, прямо передъ нимъ, почти отъ самой двери его развалины, начинались ямы и тянулись на далекое разстояніе отъ берега. Нѣкогда здѣсь, вѣроятно, добывали глину, но, давно заброшенныя, эти ямы теперь безобразили всю мѣстность. Возлѣ нихъ росла рѣдкая и черная трава, желтая глина буграми покрывала все пространство; внутри нѣкоторыя ямы завалены были соромъ и навозомъ, другія оставались пустыми. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ чернѣли отверстія какихъ-то норъ.

Едва Зерновъ обратилъ на это вниманіе, какъ изъ одной норы, находящейся на днѣ ближайшей ямы, выползъ на брюхѣ какой-то субъектъ, приподнялся, выпрыгнулъ изъ ямы и сталъ спускаться по тропинкѣ къ рѣкѣ. Онъ былъ почти голый, если не считать нѣсколькихъ лоскутковъ за штаны и нѣсколькихъ лоскутковъ за рубаху. Не успѣлъ Зерновъ оправиться отъ изумленія, какъ изъ другой норы выползъ еще такой же субъектъ, и также голый. Этотъ, однако, не тотчасъ выпрыгнулъ изъ ямы, а сначала протеръ кулаками глаза и нѣсколько разъ запустилъ пятерни въ спутанную гриву, торчавшую у него на головѣ, но потомъ и онъ ушелъ внизъ къ рѣкѣ.

Зерновъ остолбенѣлъ и уже со страхомъ сталъ вглядываться въ другія ямы, гдѣ чернѣли норы, ожидая, что и оттуда вотъ сейчасъ поползутъ человѣкоподобные субъекты, но, къ его счастью, никто больше не появлялся. Онъ простоялъ на одномъ мѣстѣ съ полчаса, затѣмъ возвратился въ комнаты, тщательно заперъ ихъ и отправился прямо въ городъ, бросивъ намѣреніе выкупаться и напиться чаю.

Состояніе его было близко къ столбняку. Безсонная ночь сдѣлала его какимъ-то разслабленнымъ,—онъ съ трудомъ и

неохотой передвигалъ ноги. Въ головѣ же его образовался нелѣпый сумбуръ: блохи, лягушки, клопы, небо на днѣ рѣки, голые субъекты, норы въ ямахъ,—все это въ глупомъ безпорядкѣ наполняло его усталый мозгъ. Для него ясно было только одно ощущеніе: ужасъ при воспоминаніи о нанятомъ имъ лонѣ природы.

II.

Однако, послѣ нѣсколькихъ часовъ обычныхъ занятій онъ пришелъ въ себя и пообѣдалъ уже въ здравомъ умѣ и твердой памяти. А послѣ обѣда проведенную ночь онъ сталъ разсматривать уже прямо съ комической стороны и собрался немедленно идти на свою дачу.

Только предварительно онъ зашелъ въ нѣсколько лавокъ и закупилъ въ большомъ количествѣ разныя смертоносныя и оборонительныя орудія: карточки мухоморъ, марлю, персидскій порошокъ и проч. То же самое въ эту миниту онъ посовѣтовалъ бы сдѣлать всякому, отправляющемуся на лоно природы, въ особенности въ дальнія мѣста, по деревнямъ,— непремѣнно запасаться орудіями для борьбы съ кровопійцами.

Дорога окончательно освѣжила его. Бодро онъ дошелъ до своей развалины и сейчасъ же принялся превращать обѣ комнаты въ укрѣпленный лагерь; окна забаррикадировалъ марлей, постель густо посыпалъ порошкомъ, отравилъ воду на блюдечкахъ, затѣмъ сдѣлалъ нѣсколько рекогносцировокъ подъ кровать и подъ стулья, гдѣ лягушки могли устроить засаду, и, только когда убѣдился въ удовлетворительномъ состояніи своихъ оборонительныхъ средствъ, вышелъ гулять.

Нѣтъ, не гулять. Съ самаго утра до этой послѣдней минуты, что̀ онъ только ни дѣлалъ и о чемъ ни думалъ, его не покидала тревожная мысль о голыхъ субъектахъ, которыхъ онъ увидалъ въ это утро. Во-первыхъ, его тревожило это близкое сосѣдство невѣдомыхъ существъ; во-вторыхъ, въ немъ задѣто было въ сильной степени любопытство.

Сойдя съ крыльца, онъ прямо отправился къ ямамъ и надѣялся встрѣтить тамъ ихъ обитателей. Но кругомъ, насколько могъ охватить его взоръ, не видно было ни души. Тогда, не долго думая, онъ съ тревожнымъ любопытствомъ принялся изслѣдовать ямы, въ которыхъ виднѣлись норы.

Норы оказались довольно однообразнаго устройства, какъ, впрочемъ, всѣ человѣческія жилища. Однѣ изъ нихъ имѣли входъ пошире, другіе поуже, что, однако, не зависѣло отъ намѣренія хозяевъ ямъ, такъ какъ норы, очевидно, были выкопаны глинокопами, но надъ входомъ нѣкоторыхъ норъ искусственно были устроены своего рода навѣсы изъ хвороста, что указывало на значительную культуру ихъ хозяевъ.

Зерновъ спустился въ одну изъ ямъ и заглянулъ въ нору, темнѣвшую на днѣ ея. Тамъ, въ углубленіи, онъ увидалъ только слежалое сѣно, служившее, очевидно, постелью. Больше ничего не было. Онъ хотѣлъ проникнуть въ самое логовище, но внезапно явившаяся брезгливость оттолкнула его отъ этого намѣренія, тѣмъ болѣе, что пришлось бы ползти на четвереенькахъ.

Выпрыгнувъ изъ этой ямы, онъ спустился въ другую, на половину засыпанную привезеннымъ сюда соромъ; нора въ этой ямѣ находилась возлѣ сора и отчасти занавѣшивалась имъ. Отъ прежней она еще отличалась тѣмъ, что входъ въ нее былъ значительно шире и выше, такъ что если перегнуться пополамъ, то можно было свободно влѣзть въ нее. Зерновъ такъ и сдѣлалъ — перегнулся пополамъ и влѣзъ. На полу ея также лежала постель изъ сѣна, причемъ въ томъ мѣстѣ, которое служило изголовьемъ, лежала оторванная пола отъ какой-то одежды. На сѣнѣ лежалъ обглоданный мосолъ; нѣсколько мословъ лежало также и около одной стѣны. Кромѣ этихъ хозяйственныхъ принадлежностей, въ глиняную стѣну былъ еще воткнутъ сучокъ отъ дерева, а на сучкѣ висѣли опорки. Больше ничего не было.

Зерновъ уже хотѣлъ пролѣзть дальше, чтобы посмотрѣть, отъ какой собственно одежды оторвана пола, лежавшая въ изголовьѣ, но вдругъ чувство стыда охватило все его существо. Очагъ каждаго человѣка долженъ быть святыней. А вотъ онъ проникъ въ чужой домъ, проникъ изъ празднаго любопытства, въ отсутствіе его хозяина, и осматриваетъ все до мельчайшихъ подробностей. Что̀ бы онъ сдѣлалъ, еслибы въ его, Зернова, квартиру проникъ какой-нибудь шелопай и сталъ бы рыться въ его вещахъ, въ бумагахъ, въ платьѣ? Зерновъ даже покраснѣлъ при-

порядкѣ голые люди поживали. За то въ ближайшее воскресенье ему удалось довольно подробно прослѣдить жизнь вновь открытаго имъ вида. Съ той поры онъ не пропускалъ ни одного праздника, безотлучно присутствуя на дачѣ.

Обыкновенно онъ садился гдѣ-нибудь на открытомъ мѣстѣ и слѣдилъ оттуда за всѣми движеніями голыхъ людей. Это не представляло неудобства,—голые люди совершали всѣ свои дѣла открыто, не стѣсняясь ни другъ друга, ни посторонняго глаза. Зерновъ предположилъ, что они—или совершенно дикая порода, не видѣвшая человѣка и относящаяся къ его появленію безъ страха, подобно нѣкоторымъ птицамъ необитаемыхъ острововъ, или они настолько одомашнены и лишены инстинкта самосохраненія, что не обращаютъ уже вниманія на людей, на подобіе коровъ или куръ. Какъ бы то ни было, но Зерновъ могъ безпрепятственно сидѣть не далеко отъ нихъ, не обращая на себя ни малѣйшаго вниманія съ ихъ стороны.

Утромъ они рано вставали и не дожидались солнечнаго восхода, къ чему ихъ принуждало сильное стучаніе зубовъ, вызванное свѣжимъ утромъ и росой; затѣмъ они немедленно отправлялись—одни рысцой, другіе галопомъ—подъ гору черезъ овраги и тамъ разсѣевались по берегу рѣки въ разныхъ направленіяхъ; нѣкоторые шли въ слободки, большая же часть уходила въ городъ, къ его пристанямъ и толкучкамъ.

Зерновъ, конечно, не могъ слѣдовать туда за ними и въ точности не зналъ, что̀ они тамъ дѣлаютъ; предполагалъ только, что отправлялись они туда на утреннюю добычу пищи и питья. Впослѣдствіи, значительно позже, онъ убѣдился въ правильности своего заключенія. Впрочемъ, способовъ добычи пропитанія онъ никогда не узналъ въ точности, потому что способы эти разнообразны, отличаются случайностью и часто въ высшей степени рискованны и таинственны. Къ болѣе или менѣе правильнымъ занятіямъ можно отнести только похищеніе съ лотковъ булокъ и воблы изъ ларей, но натурально, что и такія опредѣленныя средства нерѣдко сопрождались неожиданными осложненіями. Нѣкоторая часть голыхъ людей занималась еще ловлей раковъ и мелкой рыбешки и собираніемъ травъ; наконецъ, аристократы среди голыхъ людей, обладавшіе панталонами

и рубахой, служили на толкучкахъ и базарахъ посыльными. Однако, несмотря на это разнообразіе занятій, многимъ изъ обитателей норъ вовсе не удавалось по цѣлымъ днямъ схватить что-нибудь, что можно бы было съѣсть; такіе въ свои норы не возвращались, а продолжали изыскивать средства къ жизни до глубокой ночи.

Многимъ, однако, удавалось еще утромъ найти случай поѣсть, послѣ чего они немедленно возвращались одинъ по одному домой, къ своимъ оврагамъ. Это обыкновенно происходило часовъ въ девять-десять. Придя къ оврагамъ, они располагались на лужайкахъ отдыхать и лежали въ лѣнивой полудремотѣ на солнечномъ припекѣ. Когда впослѣдствіи по оврагамъ и откосамъ выросла высокая трава, то зелень ея сильно маскировала ихъ непринужденныя позы, но за то видъ множества тѣлъ, разбросанныхъ по травѣ, производилъ непріятное ощущеніе; въ одномъ мѣстѣ изъ травы виднѣлась косматая голова, изъ другого мѣста торчала нога, а тамъ, изъ-подъ куста, высунулась половина туловища. На Зернова это нагоняло мрачное настроеніе, и, чтобы отдѣлаться отъ него, онъ старался разсмотрѣть тѣла дремавшихъ во всей ихъ цѣлости.

Лежанье на солнце продолжалось часовъ до двухъ. Къ этому времени у большинства валявшихся проявлялись нѣкоторыя потребности, подъ давленіемъ которыхъ они снова разбредались по разнымъ сторонамъ: одни — на водопой, подъ гору, другіе—для добыванія пищи, третьи—ради развлеченія—въ кабаки.

Такимъ образомъ, къ тремъ часамъ около норъ уже никого не было, и обитатели ихъ не торопились возвращаться. Только въ сумерки они начинали мало-по-малу сходиться, и тотчасъ по приходѣ каждый располагался спать. Если погода была хорошая, всѣ ложились на открытомъ воздухѣ, въ травѣ и подъ кустами; въ противномъ случаѣ, залѣзали въ норы. Въ это лѣто, съ самаго начала мокрое и холодное, голымъ людямъ очень часто приходилось прибѣгать къ норамъ.

Таковы наблюденія, сдѣланныя въ первое время Зерновымъ; какъ они ни поверхостны, но въ молодомъ наблюдателѣ они вызвали цѣлый рядъ недоумѣній и вопросовъ.

Прежде всего, онъ спрашивалъ, къ какому роду существъ

надо отнести открытую имъ породу? Если это животное, то почему же они не пользуются многими привилегіями послѣднихъ? О дикихъ животныхъ заботится природа, надѣляя ихъ многими дарами, о домашнихъ же животныхъ заботится человѣкъ. Между тѣмъ, голые люди безпомощны, и никто о нихъ не заботится,—слѣдовательно, ихъ надо отнести къ разряду людей. Но если это точно люди, почему же они лишены всего, что характеризуетъ человѣка? Людямъ свойственно жить въ семьѣ и обществѣ и принадлежать къ опредѣленному отечеству. Однако, семьи у голыхъ людей не было, ни къ какому обществу они не принадлежали, ибо жили въ сорныхъ ямахъ за городомъ; если же не считать норъ дачами, то у нихъ не было и опредѣленнаго мѣстопребыванія. Что касается отечества, то несомнѣнно, что они числились гражданами только номинально, а иногда и вовсе не числились. Но если голые люди не имѣютъ семей, находятся внѣ общества и не принадлежатъ къ отечеству, то кто же они?

Зерновъ съ холодною тщательностью разсматривалъ эти вопросы.

IV.

Въ первое время всѣ голые люди въ глазахъ Зернова сливались въ одну общую массу, столь же однородную, какъ, напримѣръ, стадо. Но мало-по-малу это стадо въ его представленіяхъ разбилось на нѣсколько группъ, довольно рѣзко разграниченныхъ другъ отъ друга, а потомъ группы раздѣлились на отдѣльныя особи, которыя хотя и слабо выдѣлялись, но для Зернова сдѣлались, въ концѣ-концовъ, замѣтными.

Своихъ сосѣдей онъ раздѣлилъ на три группы.

Во-первыхъ, мрачно-равнодушные.

Во-вторыхъ, безсознательные.

Въ-третьихъ, трудолюбиво-хозяйственные.

Всего меньше среди голыхъ людей было мрачно-равнодушныхъ. Зерновъ насчиталъ ихъ человѣка три-четыре, не больше. Внѣшній образъ жизни ихъ былъ одинаковъ со всѣми. Ихъ тѣло также было непокрыто; по сырымъ ночамъ они *наравнѣ* со всѣми залѣзали въ норы и съ утра они вмѣстѣ

съ другими отправлялись за добычей. Но внутренніе мотивы ихъ поступковъ и отчасти самые поступки рѣзко выдѣляли ихъ изъ стада. Мрачный видъ ихъ образинъ рельефно выступалъ на фонѣ прочихъ физіономій, временами въ нихъ проглядывала гордость; съ другими голыми людьми ихъ обращеніе всегда было полупрезрительное. Ясно видѣлось, что они сознавали, гдѣ они находятся, сознавали свою жизнь и всю ея обстановку, но не хотѣли перемѣнить эту жизнь на другую, болѣе счастливую, ибо убѣдились въ нелѣпости всѣхъ своихъ хлопотъ и, какъ говорится, плюнули на все. Пускай жизнь идетъ такъ, какъ ей хочется, а они за хвостъ ее тянуть не станутъ. Вѣроятно, прежде чѣмъ дойти до такой мысли, они много и долго боролись и, только послѣ отчаянныхъ усилій устроиться по-человѣчески, мрачно махнули на все рукой.

Кромѣ этихъ чертъ, ихъ отличалъ еще отъ другихъ злостный цинизмъ. Когда однажды передъ глазами Зернова у одного изъ нихъ отвалилась половина панталонъ, то онъ не потрудился прикрѣпить ее на надлежащее мѣсто, а только презрительно выругался и продолжалъ шествовать по направленію къ городу. Всѣ дневныя невзгоды они выносили съ стоическимъ равнодушіемъ. Въ то время, когда многіе во время голода и холода теряли послѣднюю энергію, въ отчаяніи ложились на траву внизъ лицомъ и старались забыться въ полудремотѣ, мрачные субъекты оставались невозмутимыми и только отъ времени до времени крякали нутромъ. Съ тѣмъ же равнодушіемъ они вели себя и въ тѣ дни, когда у большинства брюхо было набито хлѣбомъ и водкой,—повидимому, ни малѣйшая радость не озаряла ихъ лицъ и ничто не могло взволновать ихъ.

Большая часть голыхъ людей принадлежала къ безсознательнымъ. Зерновъ, по крайней мѣрѣ, никакъ не могъ открыть въ нихъ какого-нибудь поступка, заранѣе обдуманнаго. Приходя вечеромъ на мѣсто, они моментально хлопались въ траву или залѣзали въ норы и мертвыми лежали вплоть до утра. Днемъ они страшно много спали, спали бы еще больше, спали бы дни, недѣли, мѣсяцы, еслибы ихъ не пробуждало какое-нибудь рѣзкое органическое ощущеніе голода, жажды, желанія опохмѣлиться послѣ перепоя. Мучимые этими инстинктами, они просыпались внезапно и вне-

запно же скакали внизъ подъ откосъ, а оттуда къ пристанямъ, къ толкучкамъ, по трущобнымъ улицамъ. Но едва имъ тѣмъ или инымъ способомъ удавалось погасить дефицитъ брюха, они немедленно возвращались на мѣсто и вновь хлопались въ траву и мгновенно засыпали. Ѣли и пили они затѣмъ, чтобы поскорѣе заснуть. Ни изъ чего нельзя было замѣтить, чтобы они сознавали себя; окружающее же едва мерцающая мысль ихъ отражала настолько, насколько нужно было, чтобы не броситься, вмѣсто толкучки, въ воду или чтобы не схватить, вмѣсто хлѣба, булыжникъ изъ мостовой. Побужденія отъ дѣйствій раздѣлялись у нихъ буквально одною минутой; посреди мертваго сна на солнечномъ припекѣ часто кто-нибудь изъ нихъ вскакивалъ и слѣпо летѣлъ куда-то; это означало, что у него проснулась жажда или голодъ подводитъ ему желудокъ.

Это они, безсознательные, такъ взволновали Зернова въ первые дни его житья на дачѣ, повергнувъ его въ полнѣйшее недоумѣніе, къ какому роду существъ отнести такихъ субъектовъ, въ душѣ которыхъ царятъ вѣчная ночь и сонъ. Впрочемъ, Зерновъ былъ увѣренъ, что непробудный сонъ— счастье для нихъ; еслибы какая сила внезапно разбудила ихъ, они не вынесли бы пробужденія.

Третья группа, названная Зерновымъ трудолюбиво-хозяйственною, внушала ему смѣхъ и печаль. Въ самомъ дѣлѣ, трудно даже вообразить себѣ хозяевъ, живущихъ за городомъ въ норахъ,—здѣсь непримиримое противорѣчіе. Можно быть хозяиномъ двора, избы, дома, фабрики, помѣстья, но невозможно быть хозяиномъ норы. И, во всякомъ случаѣ, для хозяина обязательно имѣть панталоны и рубаху,—безъ этого хозяинъ немыслимъ. Между тѣмъ, трудолюбивые голые люди на глазахъ у Зернова примиряли это нелѣпое противорѣчіе.

Изъ всѣхъ своихъ товарищей это были самые дѣловитые и озабоченные люди. Не въ примѣръ прочимъ они очень мало лежали въ травѣ, брюхомъ къ солнцу. Ихъ дни проходили въ безпрерывныхъ хлопотахъ. Занимаясь подъ берегомъ ловлей раковъ и мелкой рыбешки, они терпѣливо просиживали надъ водой, но лишь только имъ удавалось изловить десятка два раковъ или горсть рыбешки, они торопливо уходили въ городъ и тамъ капитализировали пойманные дары.

природы. Въ свободное отъ этихъ трудовъ время каждый изъ нихъ занимался болѣе или менѣе серьезнымъ дѣломъ. Одинъ, порывшись въ норѣ, извлекалъ оттуда тряпки, мылъ ихъ въ водѣ, сушилъ на солнцѣ и прикрѣплялъ къ соотвѣтствующему мѣсту свой шкуры. Другой изъ нѣсколькихъ несоединимыхъ предметовъ старался составить одинъ, который, по его мнѣнію, долженъ непремѣнно называться шапкой.

Всѣ они были очень предусмотрительны и не лишены мыслей объ отдаленномъ будущемъ; такъ, когда на небѣ показывались тучи, они заранѣе осматривали сваи въ ямахъ и если находили ихъ недостаточно защищенными отъ собирающейся непогоды, то принимали нѣкоторыя мѣры. Въ самыхъ норахъ они поддерживали порядокъ и удобства: стлали постели изъ сѣна, похищаемаго ими съ ближайшаго сѣновала, устраивали изголовья и пр. А на черный день они дѣлали пищевые запасы, благодаря чему въ ихъ норахъ всегда можно было встрѣтить сухія горбушки хлѣба. Помимо всего этого, ихъ хлопотливая жизнь производила такое впечатлѣніе, будто они не прочь были обзавестись семействами.

По своему характеру это были смирныя и робкія существа, но смѣтливыя и не безъ хитрости. Жизнь ихъ, какъ и у прочихъ голыхъ людей, давно исчезла, но они умѣли возстановлять подобіе ея, радуясь каждому обману, посредствомъ котораго они надували себя.

V.

Прошло довольно много времени, прежде нежели Зерновъ услышалъ слова изъ устъ голыхъ людей. Онъ такъ привыкъ видѣть ихъ безсловесными, что и не ожидалъ услышать съ ихъ стороны разговора. Всѣ немногосложныя движенія ихъ происходили передъ его глазами въ полнѣйшемъ молчаніи; повидимому, они совсѣмъ не умѣли говорить.

Наконецъ, однажды кто-то изъ валявшихся въ травѣ вдругъ выругался. Ругательство это было безсмысленное: бросившій его оборванецъ пустилъ его сквозь сонъ, пустилъ на вѣтеръ, ни къ кому не обращаясь, слѣдовательно, безсмысленно пустилъ и тотчасъ же снова заснулъ. Но на Зернова эти безсмысленныя слова произвели дѣйствіе чуда; онъ даже

приподнялся съ своего обычнаго мѣста на бугрѣ и старался отыскать глазами то мѣсто въ бурьянѣ, откуда раздались эти чудесные звуки.

Съ этой минуты онъ заинтересовался вопросомъ о словесности голыхъ людей и старался уловить малѣйшее слово, сказанное ими. Къ его огорченію, этого рода любопытство онъ могъ удовлетворить въ малой степени, потому что его голые сосѣди не объяснялись между собой; происходило это отчасти благодаря тому обстоятельству, что они приходили домой къ своимъ норамъ или спать, или дремать на солнечномъ припекѣ,—словомъ, находились въ томъ состояніи, которое мало способствуетъ разговорчивости.

На первыхъ порахъ выпало лишь нѣсколько случаевъ, когда Зерновъ не только слышалъ разговоръ, но и понялъ его содержаніе.

Однажды въ воскресенье онъ, по обыкновенію, усѣлся на излюбленномъ бугрѣ, откуда открывался далекій видъ, и медленно покуривалъ папироску, изрѣдка и почти безсознательно бросая взгляды на голыхъ людей; въ этотъ часъ всѣ они были въ сборѣ. День выдался теплый и ясный; потоки горячихъ лучей лились на землю, а въ томъ числѣ и на голыхъ, изъ которыхъ одни спали, другіе лѣниво повертывались съ боку на бокъ. Между прочимъ, двое находились недалеко отъ Зернова. Одинъ изъ нихъ, большой, мрачный верзила, лежалъ съ закрытыми глазами, но, видимо, не спалъ; другой, маленькій мужиченко, сидѣлъ возлѣ него и переворачивалъ передъ солнцемъ женскую кофту, повидимому, недоумѣвая, что съ ней дѣлать. Черезъ нѣсколько минутъ онъ вдругъ вздохнулъ и обратилъ свой недоумѣвающій взоръ къ товарищу.

— Вишь, кофту мнѣ подарила,—вдругъ сказалъ онъ.

— Она?—лѣниво спросилъ товарищъ, не открывая глазъ.

— Она. Кофту. На, говоритъ, тебѣ кофту, потому мужскаго у меня ничего нѣту... Возьми, говоритъ, и глазъ больше не кажи.

— Это она-то?

— Она.

Мрачный верзила помолчалъ и потомъ спросилъ прежнимъ лѣнивымъ тономъ:

— Ну, а ты что?

— Я ничего... Я къ ней съ лаской. Настасья, говорю, вѣдь я тоже былъ мужъ твой... чай, помнишь? Ежели, говорю, ты будешь жить со мной, я мѣсто найду и приму человѣчій образъ опять. Не гони только меня. Долго я упрашивалъ.

— Ну, а она что?

— А она говоритъ: „м-морда, говоритъ, мнѣ твоя а-пр-ративѣла, не то чтобы жить съ тобой!“

— Такъ и сказала?—лѣниво переспросилъ товарищъ.

— Такъ прямо и сказала: „морда мнѣ, говоритъ, твоя а-пр-ративѣла“.

— Ну, а ты что?

Но на этотъ вопросъ маленькій мужиченко не отвѣтилъ. Смотря на кофту, онъ задумался о чемъ-то. Потомъ, не отвѣчая на вопросъ, сказалъ:

— Любилъ я ее допрежь, Настасью-то. Когда мы шли изъ деревни сюда, мы думали—за счастьемъ идемъ. А оно вотъ что вышло! Она поступила на мѣсто, а я безъ мѣста ходилъ. А тутъ она скоро дружка нашла, и я съ энтихъ поръ пропалъ...

— Дуракъ!—возразилъ на это мрачный верзила.

— Я?

— А то кто же?

Маленькій мужиченко былъ согласенъ съ этимъ отвѣтомъ, но, подумавъ немного, спросилъ:

— Почему?

— Да такъ,—нехотя отвѣтилъ верзила.

— Это ты насчетъ чтобы избить ее? Ну, нѣтъ! Богъ съ ней. Потому она при мѣстѣ, на куфнѣ, а я вродѣ какъ прохвостъ,—за что же ее бить? Добрая она была ко мнѣ, ласковая. Вотъ даже и теперь кофту, вишь, дала.

— Что же ты будешь дѣлать съ ей, съ кофтой-то?—презрительно спросилъ верзила.

— Съ кофтой? Я перешью ее,—задумчиво сказалъ бывшій Настасьинъ мужъ.

— Дуракъ!

Лѣниво выговоривъ этотъ окончательный приговоръ, мрачный дѣтина повернулся на бокъ и, положивъ голову на одну руку, другою рукой прикрылъ лицо отъ солнца. А Настасьинъ мужъ опять сталъ разглядывать кофту на свѣтъ, но, ка-

жется, думалъ не о кофтѣ, хотя это былъ одинъ изъ самыхъ неутомимыхъ хозяевъ между голыми людьми.

Выслушавъ этотъ разговоръ, Зерновъ самъ задумался. Онъ вспомнилъ незамѣтно о своей женѣ; отъ нея что-то давно не было писемъ. Что она подѣлываетъ тамъ, на берегу Неаполитанскаго залива? Вѣроятно, уже соскучилась... А, быть можетъ, вовсе не соскучилась? „М-морда мнѣ твоя а-пр-ративѣла!"—вдругъ вспомнилъ онъ и переполошился; безъ всякой причины тоска явилась откуда-то.

Въ другой разъ онъ слышалъ разговоръ этихъ же субъектовъ; оба они примелькались ему и онъ могъ узнать ихъ изъ сотни другихъ.

Онъ также сидѣлъ на своемъ бугрѣ и безнадежно старался подобрать недостающую риѳму къ одному своему стихотворенію. Въ то время, какъ взоръ его блуждалъ по широкому ландшафту великой рѣки, мысль его ожесточенно гонялась за проклятою строфой, на которой застряло его стихотвореніе. Были мгновенія, когда мелькало что-то прекрасное, но лишь только онъ хотѣлъ схватить этотъ звукъ, какъ послѣдній уже безслѣдно таялъ въ обширной области безсознательнаго. Наконецъ, эта охота за фантастическою риѳмой надоѣла ему и усиліемъ воли онъ постарался развлечься.

Глаза его обратились на тѣ лужайки, гдѣ обыкновенно валялись голые люди. Тамъ теперь никого не было, ибо день склонялся къ вечеру, а въ это время большинство охотилось за добычей. Только двое знакомыхъ подъ однимъ кустомъ валялись; они такъ разоспались, что забыли и о пищѣ. Мрачный верзила сильно храпѣлъ.

Но вдругъ храпъ его оборвался рѣзкимъ звукомъ, а самъ онъ вскочилъ съ земли и сталъ озираться по сторонамъ. На его лицѣ отразилось не то удивленіе, не то ужасъ. Между тѣмъ, Настасьинъ мужъ, разбуженный рѣзкимъ звукомъ, также поднялся съ земли и съ недоумѣніемъ хлопалъ глазами.

— Ты будилъ, что-ли, меня?—спросилъ онъ.

— Ничего не будилъ...

— Чего же ты буркалами такъ ворочаешь?

— Сонъ я видѣлъ... Петрунька приснился,—возразилъ верзила; ужасъ его мало-по-малу прошелъ и на лицѣ появилось страданіе.

— Какой Петрунька?

— Развѣ ты не знавалъ моего Петруньки?—въ свою очередь, спросилъ верзила.

— Нѣтъ, не знавалъ.

— Парнишка мой по шестому году... Эхъ, какъ саднитъ въ горлѣ! Кабы выпить теперь...—неожиданно кончилъ верзила мрачно.

Этотъ неожиданный оборотъ рѣчи былъ болѣе понятенъ для маленькаго мужиченки; онъ сочувственно взглянулъ на своего страдающаго товарища и, почесывая лохматую голову, задумался; видимо, онъ припоминалъ всѣ средства, путемъ которыхъ можно достать посудину съ успокоительною влагой. Но, обдумывая этотъ важный вопросъ, онъ механически продолжалъ спрашивать о Петрунькѣ.

— По шестому году, говоришь? Гдѣ-жь онъ?

— Видишь-ли... Петрунька въ ту пору остался у меня одинъ,—всѣ перемерли ужь... и хозяйка моя. Одни мы съ Петрунькой жили. Ему пошелъ шестой годъ, росъ безъ призора. Я таскалъ кладь на баржи, а онъ тутъ же по берегу бѣгалъ. Какъ только я кончалъ таскать, сейчасъ же разыскивалъ его, бралъ на руки, и онъ, бывало, охватитъ ручонками шею мнѣ и прижмется. Чуялъ, шельмецъ, что на всемъ свѣтѣ я одинъ у него. И онъ одинъ былъ у меня. И спали, и ходили мы съ нимъ вмѣстѣ. Вотъ разъ онъ бѣгалъ съ ребятами по берегу, когда я таскалъ кладь, забѣжалъ на баржу и упалъ въ воду. Булькнулъ, говорятъ, какъ камень. Утопъ, значитъ. Искали-искали, такъ и не нашли.

Верзила говорилъ все это съ лѣнивымъ равнодушіемъ, словно разсказывалъ о какомъ-то событіи, совсѣмъ не касавшемся его. Но вдругъ ужасъ опять появился на его лицѣ.

— И вотъ я сейчасъ его видѣлъ,—сказалъ онъ, озираясь по сторонамъ.

— Петруньку?—равнодушно спросилъ худой мужиченко, занятый совсѣмъ другимъ.

— Будто густой туманъ стоитъ надъ рѣкой... и вдругъ будто изъ этого самаго тумана, съ середины рѣки, я слышу голосъ Петруньки: „Тя-атька! вынь меня!“ Я будто бросился къ берегу и протянулъ руки, и хочу кричать, и разглядѣть, гдѣ онъ, а туманъ мѣшаетъ, голосу у меня нѣтъ, ноги и руки мои окостенѣли. Собралъ я послѣднія силы и что есть

мочи крикнулъ: „Я здѣсь, Петрунька!..." И тутъ проснулся. Безпремѣнно надо выпить,—саднитъ въ горлѣ.

— Саднитъ?—сочувственно спросилъ маленькій мужиченко.

— Просто сверлитъ!

— Ну, въ такомъ разѣ достанемъ. Айда!

Оба они поднялись изъ-подъ куста и рысцой побѣжали по тропинкѣ оврага внизъ.

Зерновъ проводилъ ихъ взглядомъ и былъ сильно взволнованъ. Передъ нимъ стояла потрясающая картина. Онъ старался возстановить образъ Петруньки, который утопъ, и густой туманъ на серединѣ рѣки, гдѣ его видѣлъ отецъ. Но, въ то же самое время, въ неизвѣстномъ уголкѣ его головы назойливо звучали нелѣпыя риѳмующія слова: „взялъ—капралъ", „ларецъ — скворецъ". Онъ представлялъ себѣ, какъ отецъ прибѣжалъ на баржу и смотрѣлъ на то мѣсто въ водѣ, куда булькнулъ Петрунька, а въ головѣ продолжали раздаваться глупыя слова: „ларецъ—скворецъ"...

Не зная, какъ отдѣлаться отъ дурацкихъ, невѣдомо откуда взявшихся словъ, Зерновъ даже сплюнулъ и поспѣшилъ уйти въ комнаты. Но, уже раздраженный, онъ и въ комнатахъ увидалъ все вдругъ въ мрачномъ свѣтѣ. Главнымъ образомъ, ему бросилась въ глаза груда грязныхъ бумагъ, валявшихся на столѣ. Это были его прозаическія сочиненія и стихи, а внизу подъ ними лежала рукопись съ поэмой. Все за лѣто пожелтѣло и отсырѣло. Скверная дача отбила у него всякую охоту работать. Къ поэмѣ онъ даже не притрогивался. Ему сдѣлалось ясно, что Аполлона ему не видать, какъ своихъ ушей... „Ларецъ — скворецъ",—послышались опять гдѣ-то дурацкія слова.

— Завтра же уѣду!—сказалъ онъ въ раздраженіи.

Но завтра онъ не уѣхалъ, остановленный нѣкоторыми событіями въ жизни голыхъ людей, отчасти коснувшихся и его.

VI.

Событія! До сихъ поръ Зернову даже въ голову не приходило, что у голыхъ людей есть событія. Событія—признакъ жизни, но у нихъ развѣ жизнь? У нихъ бытъ, а не *жизнь*, да и бытъ ничтожный.

Однако, онъ скоро убѣдился воочію, что событія у голыхъ людей есть.

Это было на другой день послѣ того, какъ онъ было рѣшилъ уѣхать съ дачи. По дорогѣ изъ города на дачу онъ былъ насквозь промоченъ дождемъ. Мелкій, но частый дождь сѣкъ его съ половины пути до самаго мѣста,—сѣкъ до тѣхъ поръ, пока онъ, усталый, не вбѣжалъ подъ крышу своей развалины. Здѣсь онъ поторопился снять съ себя мокрое платье и разбросалъ его для просушки по стульямъ; грязныя же калоши совсѣмъ выбросилъ за дверь на крыльцо и забылъ о нихъ до утра.

Но утромъ калошъ на мѣстѣ уже не оказалось. „Кто-нибудь изъ нихъ утащилъ",—подумалъ Зерновъ и не сталъ искать. Правда, исчезновеніе калошъ удивило его, но не разсердило, все равно, какъ еслибы кошка стащила у него со стола что-нибудь изъ съѣстного. Да и калоши были уже порядочно сбитыми, такъ что и жалѣть ихъ собственно не стоило. Онъ и не жалѣлъ, а просто констатировалъ фактъ ихъ пропажи.

Къ вечеру, возвращаясь изъ города на дачу, онъ даже совсѣмъ забылъ о нихъ. Но когда онъ уже подходилъ къ дому, его вдругъ остановилъ одинъ изъ голыхъ людей,—остановилъ издалека и несмѣло.

— Позвольте, баринъ, побезпокоить вашу милость?—спросилъ онъ и издалека, на почтительномъ разстояніи, вытянулъ шею по направленію къ Зернову, каковою позой онъ хотѣлъ, очевидно, выразить, что приблизиться онъ боится и недостоинъ.

Зерновъ остановился и на минуту оторопѣлъ. Ему не случалось непосредственно объясняться съ голыми людьми и теперь онъ вопросительно посмотрѣлъ на оборванца.

— Калошъ у васъ нѣту?—спросилъ послѣдній и пальцемъ указалъ на сапоги Зернова.

— Да, нѣтъ, ночью кто-то утащилъ, — возразилъ Зерновъ.—А что?

— Да такъ. Довольно даже подло въ эфтомъ разѣ!... Живетъ баринъ смирно и вдругъ калоши у него утащить! Подлая душа, больше ничего!—проговорилъ оборванецъ и глядѣлъ по сторонамъ; на его лицѣ показалась во время этихъ

словъ гримаса, которою онъ, видимо, надѣялся выразить презрѣніе къ негодяю, утащившему калоши.

— Вѣроятно, кто-нибудь изъ вашихъ?—спросилъ Зерновъ.

— Само собою, нашъ. Знаю я его довольно.

— Знаешь?

— А то какъ же? Очень даже хорошо знаю! — сказалъ оборванецъ съ презрительною гримасой.

— Зачѣмъ же онъ взялъ ихъ?

— Да такъ, шелъ мимо, видитъ—калоши, напримѣръ, зря лежатъ, и взялъ, подлецъ.

— Куда онъ ихъ дѣлъ?—спросилъ Зерновъ съ любопытствомъ.

— Калоши? Окончательно въ кабакъ ихъ снесъ!

Говоря это, оборванецъ показалъ на своемъ лицѣ, что ему очень грустно вспомнить о такомъ нелѣпомъ концѣ калошъ.

— Глупый человѣкъ! Лучше бы онъ носилъ ихъ. Вѣдь, онъ, чай, босой?

— Какъ есть босой, подлецъ!—подтвердилъ оборванецъ и посмотрѣлъ на свои голыя ноги.

Тутъ только Зерновъ замѣтилъ, что его собесѣдникъ навеселѣ, и началъ догадываться о фантастической личности „подлой души".

— Въ кабакъ-то зачѣмъ онъ снесъ ихъ?

— Видите-ли, ваша милость, какъ онъ разсудилъ: „Ежели, говоритъ, я надѣну ихъ на ноги, то только ногамъ будетъ тепло; ежели же, говоритъ, я выпью на нихъ, то тепло пойдетъ по всѣмъ жиламъ".

При этихъ словахъ оборванецъ лукаво взглянулъ на Зернова, но, встрѣтивъ пристальный взоръ послѣдняго, снова сталъ осматриваться по сторонамъ, какъ будто сильно интересовался окрестностями.

— Извѣстно, глупо разсудилъ. А вы, ради Бога, больше не бросайте зря калоши, потому соблазнъ. И простите ужъ того человѣка,—не въ прокъ пошли калоши ваши ему!... Просимъ прощенья, ваша милость!

Пробормотавъ это несвязное извиненіе, оборванецъ удалился за ближайшій кустъ.

Зерновъ также пошелъ своею дорогой къ дому, но былъ положительно обезкураженъ всею этою сценой. „Какое по-

бужденіе заставило оборванца, утащившаго калоши, придти къ хозяину ихъ и почти открыто сознаться въ своемъ поступкѣ? — спрашивалъ себя Зерновъ и недоумѣвалъ. — Не можетъ быть, чтобы онъ пришелъ посмѣяться надъ ротозѣемъ!...“ При этой мысли Зернову стало совѣстно. Въ наружности и словахъ голаго человѣка онъ вдругъ теперь увидѣлъ что-то такое, о чемъ раньше не думалъ. И ему стало теперь совѣстно за себя, совѣстно за то, что до сихъ поръ на голыхъ людей онъ смотрѣлъ какъ на предметъ барскаго бездѣльнаго любопытства.

Дѣйствительно, когда случай столкнулъ его съ ними, онъ посмотрѣлъ на нихъ только съ любопытствомъ. Для него они представлялись лишь оригинальнымъ явленіемъ, которое съ удовольствіемъ можно отъ скуки изучить. Правда, онъ очень заинтересовался ими и необыкновеннымъ бытомъ ихъ, но заинтересовался какъ предметомъ, не имѣющимъ никакой связи съ нимъ, Зерновымъ. Для него они были не люди, а картины съ оригинальными фигурами.

Да иначе Зерновъ и не могъ отнестись. Онъ былъ сынъ своего времени. Время же это вотъ какое: отвращеніе ко всѣмъ иллюзіямъ, смѣхъ надъ всѣмъ, чему еще недавно люди свято вѣрили, холодъ и душевная пустота. Несмотря на молодость, Зерновъ уже съ старческимъ холодомъ относился ко всему, что его лично не касалось. Литературой занимался онъ также, какъ личнымъ дѣломъ; прочіе же люди нужны ему были только въ качествѣ театральной публики, благодаря чему всякое его созданіе было пустопорожнимъ мѣстомъ, не занятымъ никакою мыслью, и красивымъ измышленіемъ, лишеннымъ цѣли.

И вотъ ничтожный случай съ калошами навелъ его на рядъ тяжелыхъ размышленій о самомъ себѣ. Отчего онъ не видитъ никакой кровной связи своей личности съ людьми вообще и съ такими падшими существами, какъ его голые сосѣди, въ особенности? И если эту связь снова нельзя соединить, то зачѣмъ онъ пользуется людьми, картиной?... Но, быть можетъ, еще связи не порваны.

Черезъ нѣсколько дней послѣ случая съ калошами Зерновъ испыталъ еще болѣе горькое разочарованіе въ себѣ.

Въ этотъ день онъ всталъ позднѣе обыкновеннаго. Солнце было уже высоко. Голые люди давно убрались на утреннюю

добычу. Только внизу оврага лежалъ одинъ изъ нихъ. Зерновъ не обратилъ бы на это вниманія,—валяется оборванецъ въ травѣ и спитъ,—дѣло обыкновенное, если бы двѣ вещи не показались ему странными; во-первыхъ, голый человѣкъ не лежалъ мертвецки, какъ обыкновенно, а катался по травѣ; во-вторыхъ, катаясь, онъ сильно стоналъ, стоналъ какъ-то по-бабьи, съ тяжелыми охами и причитаніями. Видимо, онъ былъ чѣмъ-то боленъ,—боленъ, по всей вѣроятности, брюхомъ,—можетъ быть, съ перепою, можетъ быть, объѣлся тухлой воблы. Онъ теръ себѣ животъ рукой, а когда это не помогало, катался по землѣ съ бабьимъ воемъ.

Зерновъ стоялъ на краю оврага и раздвоился на двѣ половины. Для него было ясно, что надо идти и помочь. Но органическое отвращеніе не позволяло ему сдѣлать шагъ внизъ; оборванецъ имѣлъ скверный видъ. Глаза у него были желтовато-мутные, противные бабьи стоны его вызывали только физическую боль, но не состраданіе. Какъ къ нему подойти? Онъ еще, пожалуй, выругаетъ непристойнымъ словомъ.

Зерновъ стоялъ на краю и раскалывался, съ мучительною болью, пополамъ. Нѣсколько разъ онъ порывался броситься внизъ и сдѣлать что-нибудь для голыша, но неопредолимая брезгливость приковывала его на мѣстѣ. Наконецъ, онъ понялъ, что у него нѣтъ силъ сойти внизъ, и отошелъ въ сторону, отвернулся отъ оврага, опечаленный и совершенно уничтоженный.

Съ этого дня голые люди перестали быть для него картиной; ихъ великолѣпное, типическое безобразіе не доставляло ему больше никакого удовольствія. Напротивъ, безобразіе сдѣлалось безобразіемъ, грязь—грязью, и въ ихъ паденіи онъ уже ничего не видѣлъ красиваго. Вмѣстѣ съ этимъ и холодное любопытство его пропало.

Видѣть ихъ теперь ему сдѣлалось просто непріятно, тяжело, часто мучительно. Онъ пробовалъ къ нимъ отнестись съ участіемъ, съ простымъ человѣческимъ участіемъ, пробовалъ войти съ ними въ сношенія, поговорить, посовѣтовать, пожалѣть, но увидѣлъ, что это невозможно. Между собой и голыми людьми онъ не видѣлъ никакой точки соприкосновенія. Даже простого разговора онъ не могъ представить себѣ. Что они ему скажутъ? И что онъ имъ скажетъ?

Но незамѣтно для себя онъ сталъ разбирать ихъ жизнь, въ то же время, разбирая по косточкамъ себя, незамѣтно для себя ставилъ свою личность и грязныя морды на одну доску.

Въ особенности неотлучно преслѣдовалъ его вопросъ: чѣмъ эти люди живутъ? Какая сила заставляетъ ихъ жить и что ихъ удерживаетъ отъ смерти?

Повидимому, для нихъ подъ луной все было кончено; для нихъ, кажется, не осталось ничего, что считается принадлежностью жизни, ни одного признака существованія. Они голы, босы, „не пимши", „не ѣмши", безъ домовъ, безъ семьи, внѣ общества, почти внѣ природы,—чѣмъ же они живы? Часто многіе изъ нихъ напивались, но давала-ли имъ водка хотя бы минутное удовольствіе?—рѣшительно нѣтъ. Мрачные субъекты послѣ выпивки приходили еще мрачнѣе, на большинство же водка не производила даже отрицательнаго дѣйствія; напившись, они торопились добѣжать до травы, хлопались подъ первый попавшійся кустъ и засыпали мертвымъ сномъ. Чѣмъ же они жили, что ихъ удерживало отъ смерти?

Предлагая себѣ такіе вопросы, Зерновъ съ болью копался въ себѣ. Чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, онъ-то живетъ? Его-то что удерживаетъ отъ смерти? Несмотря на молодость, въ сердцѣ его червоточина; онъ ни во что не вѣритъ, кромѣ жизненныхъ мелочей; онъ ничего не ждетъ, кромѣ завтрашняго дня; все выходящее изъ круга этихъ мелочей онъ считаетъ или глупымъ, или фальшивымъ. Съ людьми онъ ничѣмъ не связанъ. Вмѣсто обязательныхъ идеаловъ, у него пустопорожнее мѣсто. Въ мечтахъ и въ жизни онъ одинъ и самъ не знаетъ, ради чего и кого онъ существуетъ. Онъ просто босякъ, только въ другомъ родѣ. Босяковъ, впрочемъ, всегда много; отъ нихъ никому житья нѣтъ; общія ихъ свойства—пустомысліе и наглость. До послѣдняго онъ не дошелъ, но во всѣхъ другихъ случаяхъ онъ—босякъ, которому нечѣмъ жить... Что же удерживаетъ его отъ смерти? Какая сила побуждаетъ его ожидать завтрашняго дня, не покончивъ съ нынѣшнимъ?

И Зерновъ, задавая себѣ подобные вопросы, не зналъ, что на нихъ отвѣтить. Онъ думалъ, что лучше всего на это отвѣтятъ его несчастные сосѣди; они голы, босы, „не пимши",

„не ѣмши“ и, конечно, лучше всего могутъ сказать, чѣмъ заманчива ихъ жизнь. Они упали на самое дно жизни и, навѣрное, самые компетентные судьи въ рѣшеніи того, что такое жизнь...

Но, проживъ на своей дачѣ болѣе двухъ мѣсяцевъ, онъ никакъ не могъ примѣтить, чтобы голые люди были компетентны въ философскихъ вопросахъ; напротивъ, они выражали своими фигурами очевидное нежеланіе заниматься рѣшеніемъ метафизическихъ задачъ. Они ничѣмъ не волновались. Кажется, не было такой вещи, которою бы они дорожили. Жизнь была для нихъ дешевле копѣйки. Къ разнымъ недочетамъ они относятся съ полнымъ хладнокровіемъ и равнодушіемъ. Равнодушіе и безжизненность отличали всѣ ихъ дѣйствія; застывшія ихъ физіономіи не отражали ни малѣйшей игры ума и чувства.

Нѣсколько разъ Зерновъ присутствовалъ при ихъ дракахъ, но никогда не могъ замѣтить гнѣва, озлобленія, мстительности, воодушевленія дерущихся. Обыкновенно дѣло происходило такъ. По неизвѣстной для Зернова причинѣ вдругъ кто-нибудь изъ нихъ бацнетъ своего товарища по уху или по башкѣ; тотъ, спустя нѣкоторое время, отвѣтитъ обидчику тѣмъ же, т.-е. также бацнетъ его по башкѣ; вслѣдъ затѣмъ оба лѣниво ложатся на траву рядомъ и засыпаютъ. Если же иногда этотъ обмѣнъ оплеухами и продолжался нѣсколько долѣе, то совершался съ обѣихъ сторонъ также съ полнѣйшею лѣностью.

Но однажды ему довелось быть свидѣтелемъ необычайнаго возбужденія всѣхъ голыхъ людей. На одной изъ лужаекъ, на вытоптанномъ мѣстѣ, всѣ они собрались въ кружокъ и съ ажитированными лицами слѣдили за тѣмъ, что происходило внутри круга. Еще не понимая, въ чемъ дѣло, онъ уже издалека разслышалъ громкіе возгласы:

— Орелъ!

— Рѣшка!

Когда Зерновъ подошелъ поближе, ему стали понятны возгласы: въ кругу играли въ орлянку—игру настолько же простую, насколько и азартную. Играли, впрочемъ, только нѣсколько человѣкъ; остальные были зрителями. Первые съ сосредоточенными физіономіями метали, но были молчаливы. *Шумъ* производился не ими собственно, а зрителями. Зрите-

ли, казалось, больше волновались, чѣмъ сами игроки; когда монета банкомета летѣла вверхъ, они всѣ, какъ одинъ человѣкъ, поднимали головы къ небу; когда же она ударялась объ землю, они опускали головы, слѣдя за тѣмъ, какъ монета ляжетъ—орломъ или рѣшкой; самые же взволнованные вскакивали съ мѣста и гнались за монетой; если она, ударившись на ребро, катилась въ сторону, куда-нибудь въ траву. Денегъ или вещей у нихъ, очевидно, не было, и волновались они попусту, но, тѣмъ не менѣе, ихъ волненіе неизмѣримо превышало возбужденное состояніе самихъ игроковъ.

Игроки сосредоточенно молчали и по мѣрѣ того, какъ шла игра, становились только болѣе сосредоточенными. Счастье поминутно переходило то къ одному, то къ другому. Слѣпые „орелъ" и „рѣшка" то и дѣло передавали судьбу въ разныя руки. Это длилось больше часа. Наконецъ, изъ строя игроковъ большая часть выбыла. Проигравшись до послѣдней копѣйки (на тѣлѣ же ихъ не было никакихъ вещей), они нѣкоторое время съ продолжающимся возбужденіемъ стояли въ кругу, слѣдя за игрой, но скоро, подъ вліяніемъ апатіи, садились на траву подлѣ зрителей и уже равнодушно смотрѣли въ кругъ.

Игроковъ осталось только двое. Это были знакомые Зернова—большой верзила съ угрюмою физіономіей и маленькій, худой мужиченко; они, насколько можно, были вообще неразлучны.

Мрачный верзила и теперь оставался невозмутимымъ; лицо его было, какъ всегда, безстрашнымъ и холоднымъ, и только сосредоточенное вниманіе, съ какимъ онъ слѣдилъ за ходомъ игры, выдавало его возбужденіе. Счастье, видимо, клонилось на его сторону; онъ всѣхъ обыгралъ и теперь доканчивалъ маленькаго мужиченку, своего товарища и бывшаго Настасьина мужа. Но за то бывшій Настасьинъ мужъ держалъ себя въ высшей степени безпокойно. Маленькое, обезьянье лицо его поминутно мѣняло выраженіе то страха, то радости. Онъ топтался на мѣстѣ, смѣялся, вздыхалъ, шлепалъ монету объ полъ, плевалъ съ ожесточеніемъ на нее, а когда она катилась въ траву, онъ какъ-то по-ребячьи бѣжалъ за ней. Но ничто уже не могло спасти его отъ угрюмаго верзилы.

Наконецъ, верзила поднялъ съ земли послѣднія двѣ копѣйки, принадлежащія его противнику. Мужиченко на минуту оторопѣлъ. Но затѣмъ, взволнованный и возбужденный, онъ показалъ на свои кубовые шаровары. Происхожденіе кубовыхъ шароваръ было очень простое: шелъ онъ сегодня мимо одного двора, гдѣ они на веревкѣ болтались съ прочимъ бѣльемъ, и взялъ ихъ,—взялъ собственно потому, что они зря болтались, между тѣмъ какъ его портки уже падали съ ногъ; взялъ и тотчасъ надѣлъ ихъ, и вотъ теперь эта предусмотрительность оказалась не лишнею.

— Мечи штаны!—сказалъ онъ съ судорожною улыбкой.

— Въ какую цѣну?—равнодушно возразилъ верзила.

— Цѣлковый!

— Ну, братъ, въ цѣлковый метать не стану.

— Ей-Богу, за этакіе штаны я, бывало, платилъ по цѣлковому!—убѣдительнымъ тономъ проговорилъ мужиченко.

Товарищъ, однако, не убѣдился этимъ сильнымъ доводомъ. Наконецъ, по обоюдному соглашенію, кубовые штаны пошли за семь гривенъ. Когда эта оцѣнка была окончена, верзила лѣниво сказалъ:

— Скидавай!

— Скидавать?—нерѣшительно повторилъ мужиченко и съ нѣкоторымъ конфузомъ оглянулъ присутствующихъ.

— Я, братъ, люблю на чистоту. Скидавай!—подтвердилъ верзила.

Послѣ минутной нерѣшительности мужиченко торопливо скинулъ штаны, свернулъ ихъ комочкомъ и положилъ въ середину круга, оставшись въ своихъ старыхъ порткахъ.

Прошло полчаса сосредоточенной игры, во время которой кубовые шаровары неподвижно лежали на серединѣ круга. Наконецъ, мужиченко поставилъ на конъ послѣднія пять копѣекъ и проигралъ. Верзила лѣниво поднялъ кубовые шаровары съ земли и перекинулъ ихъ черезъ плечо. Мужиченко судорожно улыбнулся, растерянно потоптался на мѣстѣ и предложилъ метать рубаху.

Рубаха его была столь же простого происхожденія, какъ и кубовые штаны, только болѣе древняго, а потому, по обоюдному соглашенію, была оцѣнена въ десять копѣекъ.

— Метать?—спросилъ верзила.

Бывшій Настасьинъ мужъ утвердительно кивнулъ головой.

— Скидавай!

— И рубаху?—переспросилъ мужиченко и оглянулъ по сторонамъ, стыдливо недоумѣвая, но, встрѣтивъ суровыя лица всѣхъ присутствующихъ, онъ торопливо скинулъ рубаху, свернулъ ее комочкомъ и положилъ на кругъ. На немъ осталось только нѣсколько тряпокъ, которыя онъ считалъ портками.

Напряженіе его дошло до послѣдней степени; болѣзненная судорога искажала его лицо. Поставивъ весь гривенникъ, содержащійся въ рубахѣ, онъ слѣдилъ за всѣми движеніями противника. Когда послѣдній метнулъ и монета ребромъ покатилась въ сторону, мужиченко со всѣхъ ногъ бросился въ догонку ей и вдругъ радостно крикнулъ: рѣшка! Вдругъ затѣмъ онъ поднялъ рубаху, надѣлъ ее и неожиданно отошелъ въ сторону, но стоять у него не было силъ отъ нравственнаго потрясенія, и онъ сѣлъ на траву.

— Не хочешь больше?—спросилъ верзила.

— Ну тебя!—тяжело вздохнулъ бывшій Настасьинъ мужъ.

— Испужался?

— Даже и нисколько не испужался. А такъ, не хочу.

Этимъ игра кончилась.

Черезъ минуту, по приглашенію мрачнаго верзилы, присутствующіе двинулись въ кабакъ и пропили все, что онъ выигралъ.

Зерновъ все это время напряженно слѣдилъ за игрой, за лицами, за всѣмъ происходящимъ, причемъ переживалъ тѣ же чувства, какъ и присутствующіе; были минуты, когда онъ совсѣмъ забывался и готовъ былъ вмѣстѣ съ мужиченкой бѣжать за монетой, чтобы поскорѣе узнать—орелъ или рѣшка. Его сочувствіе поминутно мѣнялось, склоняясь то на ту, то на другую сторону, и только когда бывшій Настасьинъ мужъ снялъ рубаху, симпатія его окончательно склонилась на сторону этого ребенка.

Когда онъ послѣ окончанія игры уходилъ къ себѣ, мысли его были весьма странныя. „Нѣтъ, неправда!... Не обыденныя мелочи привлекательны, не пустяками живы люди... Наоборотъ, привлекательно все необыденное, не мелкое... Привлекательно все, что выходитъ изъ ряда пошлости, все необыкновенное, таинственное, великое, неизвѣстное,—все то, что вызываетъ взрывъ мыслей и чувства!“

Впрочемъ, странныя мысли легко объяснить тою странною компаніей, въ которой онъ прожилъ цѣлое лѣто, причемъ мысли эти исключительно онъ относилъ къ самому себѣ. Быть можетъ, также многое зависѣло отъ дурной погоды, измучившей въ это лѣто всѣхъ дачниковъ.

VII.

Лѣто приближалось къ концу. Погода окончательно сдѣлалась дурною. Это съ особенною чувствительностью отразилось на голыхъ людяхъ. Холодный дождь, рѣзкій вѣтеръ, грязь сдѣлали скоро пребываніе ихъ въ норахъ невыносимымъ. Норы то и дѣло заливались у входа красною—отъ примѣси глины—водой.

Голые старались искать другихъ убѣжищъ,—лѣто съ его тепломъ и воздухомъ все-таки было лучшимъ временемъ для нихъ. Выгоняемые съ лужаекъ холоднымъ дождемъ, они пробовали прятаться подъ землей, но продолжающійся дождь грязными потоками врывался въ ямы и проникалъ въ самую середину норъ. Выгоняемые водой на подобіе сусликовъ, они выбѣгали оттуда и прятались въ дровахъ и бревнахъ, занявшихъ весь берегъ подъ горой, но сырость и холодъ забирались и подъ дрова.

Некуда имъ было дѣваться. Видъ ихъ сдѣлался жалкій. Всегда мокрые, они дрожали отъ холода; переднія и заднія лапы ихъ были синими. Комки грязи покрывали все ихъ тѣло.

Для нихъ такое сокращеніе лѣта было истиннымъ, невознаградимымъ несчастіемъ. Подъ открытымъ небомъ, въ чистой травѣ, посреди кустовъ, согрѣваемые солнцемъ, они отдыхали послѣ ночлежныхъ притоновъ и другихъ зимнихъ убѣжищъ. Скученные тамъ въ страшномъ воздухѣ, съѣдаемые насѣкомыми, вѣчно иззябшіе, они убѣгали оттуда при первыхъ лучахъ весенняго солнца, поселялись въ норахъ и вели здѣсь до глубокой осени ту привольную жизнь, которая уже описана. Норы, такимъ образомъ, служили имъ великолѣпными дачами.

И вотъ теперь лѣто пропало для нихъ, и жизнь на волѣ, *въ норахъ*, стала нестерпимою. Мало-по-малу они стали по-

кидать лоно природы. Приходя на свою дачу, Зерновъ каждый вечеръ не досчитывался одного-двухъ изъ своихъ сосѣдей, физіономіи которыхъ примелькались ему. Одинъ по одному они разбредались неизвѣстно куда, навсегда пропадая для привыкшаго къ нимъ Зернова.

Скоро послѣдній совсѣмъ пересталъ видѣть знакомыя лица. Только двое изъ всего стада голыхъ продолжали жить въ норахъ. Несмотря на скверные дни, они упорно не хотѣли покидать своихъ лѣтнихъ жилищъ. Прячась то въ дровахъ, то по норамъ, они регулярно, въ извѣстные часы дня и ночи, появлялись въ любимыхъ своихъ мѣстахъ.

Это были хорошіе знакомые Зернова: большой угрюмый верзила, бывшій Петрунькинъ отецъ, и маленькій, ничтожный мужиченко, бывшій Настасьинъ мужъ. Теперь они почти не разлучались и жили, повидимому, очень дружелюбно. Вмѣстѣ они отыскивали убѣжища подъ дровами и рядомъ ложились тамъ спать. Когда же изъ-подъ дровъ ихъ выгналъ проливной дождь, падавшій въ продолженіе нѣсколькихъ дней, худой мужиченко приладилъ для житья одну изъ норъ.

Это былъ хозяйственный человѣкъ и потому вездѣ находилъ возможность приладиться. Въ данномъ случаѣ надъ одной изъ покинутыхъ норъ онъ воткнулъ вертикально нѣсколько палокъ, привязавъ къ нимъ помощью мочала нѣсколько палокъ горизонтально, и прикрылъ всю эту постройку навозомъ, благодаря чему получился навѣсъ отъ дождя; возлѣ же входа въ нору, въ ямѣ, онъ произвелъ дренажъ, выбросавъ глину, прямо лапами, вслѣдствіе чего лужа въ ямѣ не застаивалась и норы не затопляла. Въ самую же нору онъ натаскалъ соломы и сѣна, и хотя всѣ эти мѣры не предохранили двухъ товарищей отъ холода и сырости, но они могли спать спокойно.

Иногда они разводили подъ кустомъ огонекъ, грѣлись около него и, въ то же время, варили въ котелкѣ разныя вещи. Котелокъ бывшій Настасьинъ мужъ добылъ на толкучкѣ съ опасностью для своей жизни, потому что торговка желѣзнымъ хламомъ погналась за нимъ и, лишь благодаря сильному дождю, ему удалось предохранить свою шею отъ жестокихъ побоевъ. Что касается тѣхъ вещей, которыя варились у пріятелей въ котелкѣ, то добываніе ихъ не сопряжено было съ такими трудностями. Картошку очень удоб-

но было выкапывать въ слободскихъ огородахъ, если перелѣзть черезъ плетень съ достаточными предосторожностями. Хлѣбъ же доставался еще легче; бывшій Настасьинъ мужъ бралъ его съ лотковъ, не вызывая ни малѣйшаго огорченія въ продавцахъ. Нѣсколько разъ, кромѣ того, онъ угощалъ своего мрачнаго друга уткой или курицей; говоря принципіально, утку онъ могъ, конечно, добыть на охотѣ, тѣмъ болѣе, что въ это время начинался уже перелетъ птицъ, но относительно курицы трудно сдѣлать такую оговорку, такъ какъ въ городѣ и по окрестнымъ деревнямъ дикія куры не водились.

Впрочемъ, вопросами о средствахъ жизни пріятели совсѣмъ не занимались, всецѣло погруженные въ борьбу съ разбушевавшимися стихіями. Повидимому, они рѣшились жить здѣсь до послѣдней крайности; вѣроятно, городскія трущобы обоимъ были ненавистны.

Но не суждено было имъ прожить въ любимыхъ мѣстахъ такъ долго, какъ они хотѣли. Ихъ спугнули двое полицейскихъ, проходившіе однажды мимо этихъ мѣстъ.

Вышло-ли это случайно, или приказано было осмотрѣть всѣ загородныя мѣста, но только городовые, замѣтивъ двухъ босяковъ въ кустахъ, обратили на нихъ вниманіе и велѣли имъ вылѣзть оттуда. Еслибы при этомъ не присутствовалъ Зерновъ, хорошо одѣтый баринъ, то, по всей вѣроятности, дѣло кончилось бы тѣмъ, что двое пріятелей были бы спугнуты временно изъ кустовъ, потому что возня со всякаго рода оборванцами полиціи вообще надоѣдаетъ, а въ такую проклятую погоду въ особенности. Но, при видѣ барина, стражи волей-неволей сочли своимъ долгомъ показать себя на высотѣ призванія и взяли двухъ голыхъ пріятелей.

Одинъ изъ городовыхъ ткнулъ въ спину маленькаго мужиченку, другой занялся-было мрачнымъ верзилой. Бывшій Настасьинъ мужъ оробѣлъ и безпрекословно пошелъ впереди полицейскаго, но верзила вызвалъ пререканія.

— Не толкайся!—сказалъ онъ полицейскому, который приказывалъ ему идти.

— Ну, ну, нечего тутъ огрызаться! Иди, когда приказываютъ!—возразилъ полицейскій.

Верзила медленно и нехотя пошелъ впередъ, но оглядывался по сторонамъ; на его лицѣ лежала обычная печать

равнодушія; только въ глазахъ мелькнулъ огонекъ. Сдѣлавъ еще нѣсколько шаговъ впереди своего стража, онъ вдругъ круто повернулся, бросился въ сторону, нѣсколькими отчаянными скачками перепрыгнулъ черезъ крутые овраги и пропалъ подъ горой. Полицейскій сначала оторопѣлъ отъ этой наглости, но по привычкѣ свистнулъ въ свистокъ и побѣжалъ за бѣглецомъ.

Но бѣглецъ уже былъ далеко; онъ направлялся прямо къ рѣкѣ. Добѣжавъ до берега, онъ бросился вдоль него, прыгнулъ въ первую попавшуюся лодку и торопливыми усиліями сталъ отталкиваться отъ берега кускомъ доски.

Зерновъ съ волненіемъ слѣдилъ за нимъ и уже мысленно видѣлъ, какъ полицейскій вытаскиваетъ его изъ лодки. Дулъ сильный холодный вѣтеръ; рыжія волны рѣки, гонясь другъ за другомъ, бѣшено бились о берега, а дальше, къ серединѣ рѣки, онѣ безпорядочно бросались въ разныя стороны, брызгали цѣлыми снопами пѣны вверхъ и ревѣли. Никакому смѣльчаку не пришла бы охота попасть въ середину этого водоворота. У босяка же не было даже веселъ; вмѣсто нихъ, онъ работалъ кускомъ доски. Но онъ справился съ лодкой, оттолкнулся, повернулъ носъ по вѣтру и закачался на рыжихъ волнахъ. На лицѣ его было воодушевленіе и торжество.

Когда стражъ добѣжалъ до берега, лодка была уже далеко; вѣтеръ вертѣлъ ее въ разныя стороны, бросалъ на нее огромными волнами, кидалъ ее внизъ и вверхъ и, наконецъ, понесъ ее въ глубь водоворота. Тамъ скоро она и затерялась среди рыжихъ чудовищъ, метавшихся на рѣчномъ просторѣ.

— Пропадетъ вѣдь, собака!—сказалъ полицейскій, смотря съ конфузомъ и недоумѣніемъ то на рѣку, то на подошедшаго товарища съ бывшимъ Настасьинымъ мужемъ.

Но бѣглецъ, вѣроятно, предпочиталъ лучше погибнуть, чѣмъ потерять нѣсколько дней свободы. Впрочемъ, Зерновъ, наблюдавшій сверху все, что происходило внизу, долго еще слѣдилъ глазами за ныряющею лодкой; когда же она скрылась, ему все-таки казалось, что онъ видитъ за гребнями волнъ черную точку.

VIII.

Но онъ вдругъ почувствовалъ, что ему холодно. Сырой и рѣзкій вѣтеръ пронизывалъ его насквозь; ноги и руки совершенно окоченѣли у него, и мурашки пробѣгали по всему тѣлу. Незамѣтно для себя онъ простоялъ на одномъ мѣстѣ, какъ приросшій, до тѣхъ поръ, пока всѣ члены у него не одеревенѣли. Ясно, что онъ немного нездоровъ.

По дорогѣ въ комнаты онъ рѣшилъ, что завтра утромъ онъ покинетъ дачу, а сейчасъ разведетъ огонь, чтобы согрѣться.

Послѣднее сдѣлать было легко; кругомъ стараго дома валялись гнилыя доски, выдернутые изъ частокола колья, обрѣзки бревенъ. Стоило только набрать этого хлама, чтобы сдѣлать яркій костеръ.

Но онъ находился въ томъ состояніи, когда наименѣе пригодное кажется наиболѣе необходимымъ. Придя въ комнату, онъ смелъ въ одну кучу весь соръ, накопившійся въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ, затолкалъ его въ печку и поджогъ. Это ему казалось необходимымъ.

Пока горѣлъ этотъ соръ, онъ затѣмъ собралъ съ оконъ, со стола и стульевъ всю бумагу и съ этою огромною кучей усѣлся около горящей печи; и что было въ кучѣ, онъ постепенно бросалъ въ печку, внимательно, впрочемъ, разбирая каждую вещь.

Сначала ему пришлось долго возиться съ газетами; ихъ накопилось за лѣто достаточно; онѣ медленно горѣли; скверное время сдѣлало ихъ сырыми и мягкими; на огнѣ онѣ испускали протухлый запахъ. Чтобы всѣ ихъ сжечь, Зерновъ подкидывалъ ихъ въ печку по нѣскольку нумеровъ за разъ.

Вслѣдъ за газетами въ печку пошли рукописи, исписанныя сплошь прозой. Это были очерки, разсказы, наброски съ натуры, фантастическіе этюды, психологическіе опыты. Копились они въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ и напечатанные могли бы занять цѣлый уголъ въ книжномъ магазинѣ, а еслибы кто вполнѣ прочелъ ихъ, то могъ-бы до верху засорить свою голову. Во избѣжаніе послѣдняго, Зерновъ постепенно подкидывалъ ихъ въ печку. Печку, въ

концѣ-концовъ, они, дѣйствительно засорили, и огонь въ ней потухъ, вслѣдствіе чего ему понадобилось взять трость и долго шевырять тяжелыя тетради, чтобы снова вспыхнуло пламя.

Послѣ мелкихъ тетрадей Зерновъ взялъ изъ кучи толстую рукопись, содержащую въ себѣ романъ, и нѣсколько мгновеній раздумывалъ, какъ сжечь такое чудовище въ пяти частяхъ. Если его цѣликомъ положить на огонь, то послѣдній сразу погаснетъ; въ виду этого, Зерновъ сталъ рвать его по листамъ. Это было занятіе продолжительное, а въ состояніи Зернова—тяжелое, но другимъ способомъ нельзя было уничтожить чудовищную тетрадь; брошенная въ обращеніе, она могла проломить страшную дыру въ головѣ уважаемаго читателя, и, ярко представляя себѣ такое несчастіе, Зерновъ терпѣливо отрывалъ по листу отъ нея.

Наконецъ, грустная рукопись стала прогорать. Послѣ нея топка пошла быстрѣе, потому что на полу валялись только отдѣльные листики съ небольшими стихотвореніями. Наскоро просматривая стихи, Зерновъ подбрасывалъ поодиночкѣ ихъ въ огонь; каждое изъ нихъ ярко вспыхивало и мгновенно сгорало, не оставляя послѣ себя даже пепла, который улеталъ въ трубу.

Печка прогорала. Въ комнатѣ стало тепло. Изъ всего горючаго матеріала осталась только тетрадь съ поэмой. Зерновъ поднялъ ее съ полу и нѣкоторое время перелистывалъ. Не потому, что ему стало жалко жечь ее, но лишь затѣмъ, чтобы въ послѣдній разъ взглянуть на неповинную вещь. Нѣтъ, ему не жалко было ея!... Чтобы писать, надо, прежде всего, имѣть душу, полную содержанія; чтобы писать прекрасно, надо любить что-нибудь, а тутъ одни слова. Только справедливость дѣлаетъ литературу дорогою для людей, только защита всего обездоленнаго и погибающаго составляетъ ея содержаніе. Слово имѣетъ свое сердце, и это сердце есть стремленіе къ истинѣ и борьба за все человѣчное... Здѣсь же холодныя риѳмы, красивые образы, разсчитанные на то, чтобы возбудить нервы сытаго... Эта тетрадь—знатная развратница, обѣщающая наслажденіе всѣмъ пресыщеннымъ и скучающимъ... Зерновъ перелистывалъ рукопись до конца и тихо положилъ ее на огонь. Огонь давно почти потухъ, и ему пришлось усиленно шевырять палкой въ тлѣющемъ

пеплѣ, чтобы поджечь свою поэму, а когда она загорѣлась, онъ ворочалъ тростью листы ея до тѣхъ поръ, пока не убѣдился, что ея уже нѣтъ больше.

Печка протопилась. Вмѣстѣ съ этимъ долженъ бы былъ кончиться и острый психозъ Зернова, выразившійся въ такомъ варварскомъ поступкѣ, но на полу осталось нѣсколько тетрадей чистой бумаги. Зерновъ взялъ одну пачку ея, подсѣлъ къ столу, зажегъ лампу и принялся писать, — не письмо, не стихи, не романъ, а статью о босякахъ. Сдѣлать это онъ считалъ необходимымъ передъ отъѣздомъ съ дачи, гдѣ вмѣстѣ съ нимъ жили и голые люди.

Но онъ былъ такъ разстроенъ въ продолженіе лѣта вообще и въ послѣдніе дни въ особенности, что голова его походила на недавнюю печку, засоренную кучами тлѣвшаго пепла, и, такъ же какъ въ печкѣ, онъ долженъ былъ усиленно рыться въ своей потрясенной головѣ, чтобы привести въ порядокъ статью.

Тысячи разнообразныхъ вещей лѣзли ему въ голову, и онъ произвольно выбиралъ изъ нихъ такія, которыя съ особенною настойчивостью мелькали передъ нимъ. Сначала его поразило то обстоятельство, что всѣ голые люди вышли изъ деревни; пораженный этимъ, онъ сталъ спѣшно писать о деревнѣ. Вслѣдъ затѣмъ онъ описалъ природу Туркестана и Мерва, послѣ Мерва сейчасъ же онъ разсказалъ о толкучкѣ въ городѣ, а потомъ ему почему-то показалось необходимымъ на цѣлой страницѣ распространяться о смертности дѣтей, причемъ онъ разсказалъ подробно объ одной бабѣ, которая умоляла, чтобы Богъ прибралъ ея дѣвченокъ. Потомъ въ статьѣ опять пошли Туркестанъ, голые люди, сибирская тайга, волки, свободно гуляющіе на просторѣ, бывшій Настасьинъ мужъ, ночлежный пріютъ... Все это безсвязно громоздилось другъ на друга и напоминало бредъ. Статья оканчивалась вопросомъ: „Неужели на такомъ безграничномъ пространствѣ нашей родины для большинства все-таки мѣста нѣтъ?“

Когда черезъ нѣсколько дней редакторъ мѣстной газеты читалъ эту рукопись, то недоумѣвалъ, что сдѣлалось съ Зерновымъ? „Это не статья, а буреломъ!“

Зерновъ, по окончаніи статьи, на разсвѣтѣ вышелъ изъ *дому и дол*го бродилъ въ сыромъ воздухѣ утра. Пылающая

голова его страшно болѣла, въ то время какъ во всемъ тѣлѣ чувствовался ознобъ. Но онъ перемогался, хотя и зналъ, что онъ захватилъ какую-то болѣзнь. Наконецъ, когда взошло солнце, онъ сходилъ за извозчикомъ, забралъ вещи и покинулъ дачу.

Въ городѣ онъ также перемогался половину дня. Побывавъ въ своей конторѣ, онъ зашелъ къ знакомому редактору для врученія рукописи, гулялъ въ скверѣ и только послѣ обѣда долженъ былъ слечь въ постель; слегъ—и провалялся цѣлый мѣсяцъ.

За это время успѣла пріѣхать молодая Зернова и была поражена всѣмъ, что увидала и узнала. Она теряла голову, не зная, что дѣлать и какъ поправить любимаго человѣка. Онъ поднялся съ постели, но уже сильно измѣнившимся во всѣхъ отношеніяхъ. Насчетъ этой перемѣны окружающіе высказывали различныя мнѣнія, среди которыхъ молодая женщина совершенно растерялась. Друзья совѣтовали ей увезти мужа въ Неаполь. Знакомый редакторъ настаивалъ помѣстить его на излѣченіе въ больницу для душевно-больныхъ; докторъ совѣтовалъ обратить вниманіе, главнымъ образомъ, на желудокъ. Но самъ Зерновъ былъ иного мнѣнія. Въ откровенную минуту онъ разъ сказалъ женѣ, чтобы она не безпокоилась, что онъ ничѣмъ не боленъ; напротивъ, навсегда освободившись отъ босяка, какимъ онъ былъ, онъ выздоровѣлъ и только еще не знаетъ, какъ лучше употребить свое здоровье.

Б е б е.

(Разсказъ).

Истина, которую прежде всего слѣдуетъ установить по отношенію къ Семену Ивановичу, заключается въ томъ, что онъ былъ доволенъ. Послѣ обѣда онъ говорилъ часто:

— Петръ, ты ужъ большой выросъ. Это хорошо.

И Семенъ Ивановичъ выражалъ довольный видъ, хотя былъ только статскій совѣтникъ,—фактъ, обозначенный на дверной мѣдной доскѣ,—и хотя занимаемое имъ мѣстечко въ департаментѣ не принадлежало къ числу жирныхъ, будучи только теплымъ. Онъ не возмущался и несправедливостью къ себѣ: если его прямо, на виду у всѣхъ, обходили, онъ не роптал. Только скажетъ, бывало, Аннѣ Семеновнѣ съ грустью: „А Демида-то Петровича... произвели!“ — скажетъ это и улыбнется.—„Ну, и Господь съ нимъ! Не наше дѣло объ этомъ судить“,—отвѣтитъ Анна Семеновна строго, и Семенъ Ивановичъ, попрежнему, принимаетъ довольный видъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда для Семена Ивановича обида была ясна до горькой очевидности, когда, напримѣръ, черезъ его голову перелеталъ съ быстротою молніи какой-нибудь карьеристъ, то Анна Семеновна должна была принимать болѣе рѣшительныя мѣры для успокоенія Семена Ивановича. „Прилегъ бы ты, Семенъ Ивановичъ, отдохнулъ бы“,—твердо говорила она тогда, и Семенъ Ивановичъ успокоивался, стыдясь своей раздражительности при разсказѣ объ акробатѣ. Такимъ образомъ, онъ былъ доволенъ не только Петей за то, что онъ выросъ большой и учится хорошо,

не только Анной Семеновной, лучшею женщиной въ мірѣ, и не только тишиной, неизмѣнно царствовавшей въ его домѣ, но всѣмъ вообще. Вотъ истина.

День Семенъ Ивановичъ начиналъ тѣмъ, что вдругъ прекращалъ храпѣть и полуоткрывалъ одинъ глазъ, не въ состояніи будучи открыть другой. Это было всегда ровно въ 9 часовъ. Тонкій солнечный лучъ прорѣзывалъ сторы и долго игралъ на полу спальни, постепенно подвигаясь къ постели Семена Ивановича, а за этимъ лучемъ въ комнату врывалась масса свѣта, наполняя собой всѣ углы ея и освѣщая лицо Семена Ивановича. Тогда Семену Ивановичу не оставалось никакого предлога больше спать, и онъ зналъ, что онъ долженъ вставать, убѣждая себя, однако, что еще рано. Вслѣдствіе такого убѣжденія, подкрѣпляемаго еще вѣчнымъ отсутствіемъ спѣшнаго дѣла, Семенъ Ивановичъ долго лежалъ безъ движенія, съ лицомъ, которое незамѣтно, но пріятно улыбалось, и съ однимъ глазомъ, который созерцалъ одну точку, а потомъ Семенъ Ивановичъ закрывалъ и этотъ глазъ и засыпалъ. Но къ этому времени всегда являлась Анна Семеновна и будила его, стаскивая съ него одѣяло, отчего онъ впадалъ въ нѣкоторое раздраженіе и начиналъ ссору, не слушая преднамѣренно лживыхъ угрозъ Анны Семеновны.

— Никакъ ужь первый часъ, и я не знаю, съ какими ты глазами покажешься на службу,—говорила Анна Семеновна съ притворною строгостью. Но на Семена Ивановича это не дѣйствовало. Перемѣнивъ тактику, онъ начиналъ улыбаться и открывалъ одинъ глазъ, прищуривъ другой, чтò придавало его лицу хитрое выраженіе; казалось, что онъ себѣ на умѣ. И дѣйствительно, лишь только Анна Семеновна уходила, увѣренная, что разбудила сонулю, Семенъ Ивановичъ поспѣшно покрывался, закрывалъ глаза и быстро засыпалъ, обманувъ, съ хитростью дикаря, довѣріе супруги. Просыпался же снова только тогда, когда вторично появлялась Анна Семеновна и съ непритворною строгостью говорила:

— Зачѣмъ же обманывать такъ, Семенъ Ивановичъ?

— Я сейчасъ, сейчасъ! — въ замѣшательствѣ говорилъ Семенъ Ивановичъ и мгновенно вставалъ, сознавая вполнѣ всѣ невыгоды своей фатальной слабости.

Послѣ обычнаго туалета Семенъ Ивановичъ шелъ къ чаю.

Въ столовой былъ накрытъ столъ, на столѣ стоялъ самоваръ, а на стулѣ помѣщался уже Петя. Вскорѣ появлялась и сама Анна Семеновна, давно раскаявшаяся за недавнюю строгость, и съ тревогой освѣдомлялась у Семена Ивановича объ его здоровьѣ. Понятно, что раскаяніе Анны Семеновны было внушено только ея добротой, потому что Семенъ Ивановичъ не сердился, выглядывая безъ раздраженія и пріятно. Ему пріятно было сидѣть въ свѣтлой комнатѣ, въ окна которой лились потоки лучей утренняго солнышка; онъ съ наслажденіемъ вдыхалъ въ себя паръ, выбрасываемый кипящимъ самоваромъ, запахъ филипповскихъ булокъ и ароматъ чая. Отъ утренней свѣжести онъ по временамъ вздрагивалъ, но это было пріятно, онъ чувствовалъ, что ему хорошо, и принимался кушать. Если онъ выпивалъ только одинъ стаканъ, Анна Семеновна тревожно освѣдомлялась, почему онъ мало кушаетъ и здоровъ-ли, а если онъ выпивалъ три стакана, Анна Семеновна высказывала боязнь, не разстроитъ-ли онъ себя, не вредно-ли ему такъ много пить. Семенъ Ивановичъ увѣрялъ, что это даже полезно, и успокоивалъ Анну Семеновну, оставаясь самъ пріятнымъ и безмятежнымъ. Безмятежность его подвергалась, конечно, тяжелому испытанію отъ кухарки Матрены, которая иногда врывалась въ комнату и наполняла всю квартиру гамомъ. Баба она была безпорядочная; улыбалась до ушей; ругалась, звѣрски оскаливъ зубы, а если ей приходилось доказывать какое-нибудь положеніе, какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда она воображала, что лавочники ее надули, и когда она думала, что господа обвинятъ ее въ кражѣ двухъ копеекъ, то, вмѣсто доказательствъ, она безсмысленно вопила, весь домъ наполняя тогда ревомъ. Но Семенъ Ивановичъ, раздражившись безпорядочнымъ поведеніемъ Матрены, тѣмъ не менѣе, съ честью выходилъ изъ этого испытанія.

— Не кричи, Матрена, не кричи. Зачѣмъ такъ кричать?— говорилъ кротко Семенъ Ивановичъ. Далѣе онъ увѣрялъ Матрену, что необходимо все дѣлать правильно и не спѣша, и убѣждалъ ее разсказать все дѣло по порядку и безъ рева, или же отправиться на кухню, чтобы привести въ порядокъ свои мысли. Еслибы въ такихъ случаяхъ не вступалась Анна Семеновна и не прогоняла Матрены, то Семенъ Ивановичъ долго бы еще продолжалъ убѣждать Матрену въ

безполезности рева и въ необходимости болѣе приличнаго поведенія. И все это онъ сказалъ бы кротко и съ душевною ясностью.

Утро проходило, чай оканчивался, Семенъ Ивановичъ расчесывалъ бороду и шелъ въ департаментъ, куда и приходилъ ровно въ двѣнадцать часовъ, не понимая, по своей добросовѣстности, людей, которые являются на службу позже.

На свою службу Семенъ Ивановичъ шелъ никакъ на подневольную барщину, а какъ въ собственный домъ, гдѣ онъ былъ свой, гдѣ ему было тепло и уютно. Появляясь въ швейцарской, Семенъ Ивановичъ зналъ, что швейцаръ осклабится при видѣ его; другіе сторожа, которые ему попадутся по дорогѣ, сдѣлаютъ то же. А въ отдѣленіи, когда онъ будетъ подходить къ своему столу, передъ нимъ, съ пріятною почтительностью, вытянутся испитыя физіономіи его подчиненныхъ. Семенъ Ивановичъ зналъ все это заранѣе и никогда не появлялся на службу съ гнѣвнымъ лицомъ, которое могло устрашить испитыя физіономіи. Онъ желалъ, чтобы около него всѣмъ было хорошо, чтобы его почитали, чтобы никто подъ него не подковыривался и не каверзничалъ. Трудно это было ему. Около него народъ былъ все испитой или заржавѣвшій, такой народецъ, съ которымъ нѣтъ никакой возможности сохранять ясность души. Все отдѣленіе, гдѣ служилъ Семенъ Ивановичъ, бумаги, которыя онъ читалъ, столъ, на которомъ онъ писалъ, воздухъ, которымъ онъ дышалъ,—все, казалось, было пропитано духомъ каверзы. По цѣлымъ недѣлямъ Семену Ивановичу приходилось прочитывать одни только ядовитыя отношенія и питаться бумажною злобой, овладѣвавшею часто испитыми и заржавѣвшими людьми; каково это было ему? Не говоря уже о сплетняхъ Георгіевскаго, его товарища, состоявшаго со всѣми въ ссорѣ и враждѣ, даже оффиціальныя-то отношенія къ подчиненнымъ и высшимъ принимали ядовитый характеръ, потому что каждый былъ противъ всѣхъ и всѣ противъ каждаго. Но Семенъ Ивановичъ со всѣми жилъ мирно и ясность души сохранялъ нетронутою.

— Слыхали? — спрашивалъ Георгіевскій, приготовляясь сплетничать и лгать.

— Нѣтъ, ужь вы, Иванъ Григорьевичъ, оставьте,—возражалъ Семенъ Ивановичъ.

— Вы только представьте себѣ...

— И зачѣмъ это вы, Иванъ Григорьевичъ, все безпокоите себя? Только разстройство одно—и вамъ, и мнѣ; да по мнѣ, шутъ съ ними!—говорилъ Семенъ Ивановичъ, и Георгіевскій умолкалъ.

Такъ же было и со всѣми, знавшими Семена Ивановича. Непосредственный начальникъ его, при встрѣчѣ съ своими подчиненными, всегда казался пасмуренъ, какъ петербургская туча, и на его окоченѣвшемъ отъ величія лицѣ нельзя было прочитать ничего, кромѣ неизбѣжности повиновенія, а когда онъ встрѣчалъ Семена Ивановича и видѣлъ его румяное лицо, и его ясные глаза, и улыбку, то онъ и самъ чуть-чуть приподнималъ уголки рта. Не выходилъ изъ себя Семенъ Ивановичъ и передъ просителями, которые цѣлыми толпами шатались въ его отдѣленіи и ежедневно раздражали служащихъ. Семенъ Ивановичъ никого не удовлетворялъ изъ просителей, потому что это невозможно, но онъ всѣхъ успокоивалъ. Придетъ къ нему старушка въ желтомъ салопѣ и начнетъ хныкать, но Семенъ Ивановичъ не могъ видѣть слезъ.

— А ты, матушка, не плачь,—говорилъ онъ успокоительно,—зачѣмъ плакать? И себя ты разстроишь, и меня, а дѣла-то еще нѣтъ никакого. Не хорошо плакать и разстраивать себя.

Старушка, дѣйствительно, переставала плакать.

Когда Семенъ Ивановичъ провожалъ послѣдняго просителя, ему становилось легко; ему казалось, что можно теперь и отдохнуть. Послѣ скромнаго завтрака, который онъ дѣлалъ въ мѣстномъ буфетѣ, выпивая рюмку водки и закусывая пятью пирожками, Семенъ Ивановичъ радовался, что онъ можетъ сѣсть безъ тревоги въ свои кресла и успокоиться отъ всѣхъ прошеній и заявленій, каверзныхъ донесеній и ядовитыхъ отношеній. Дѣла никакого у него не оказывалось, и ему оставалось только удивляться легкости его службы. Онъ ловилъ тогда какого-нибудь скучающаго товарища, не находящаго себѣ мѣста, садилъ его подлѣ себя и начиналъ размышлять передъ нимъ до тѣхъ поръ, пока собесѣдникъ терпѣливо слушалъ его. Возлѣ него, вдали и во всемъ огромномъ зданіи стоялъ вѣчный, никогда не умолкавшій шумъ. То не былъ говоръ людей или крики толпы; тамъ

даже шепота или беззвучнаго разговора никогда не раздавалось; слово, случайно брошенное, моментально пропадало и замирало въ общемъ грохотѣ, потрясающемъ паркетные полы. Это былъ стукъ нѣсколькихъ сотенъ сапоговъ. Люди ходили и возвращались, сталкивались и расходились, топтались въ комнатахъ съ простыми полами, толклись въ прихожихъ, лязгали по паркету, глухо шагали по корридорамъ и звонко по лѣстницамъ, скрипѣли, спотыкались и шаркали—и молчали; и гулъ, происходящій отъ этихъ сотенъ шаговъ, способенъ былъ оглушить всякаго непривычнаго человѣка. Казалось, что сотни безсловесныхъ загнаны въ мрачное зданіе и топчутся здѣсь, вѣчно двигаясь, но неспособны заговорить; и казалось еще, что этотъ глухой гулъ, въ которомъ не слышно человѣческаго звука, и эти помертвѣлыя отъ скуки лица, на которыхъ не было признаковъ жизни, способны отбить всякую охоту размышлять, подавить всякое желаніе, заморивъ мысль.

Но Семенъ Ивановичъ тихо раскачивался въ креслахъ, глядѣлъ на двигающіяся фигуры испитыхъ и заржавѣвшихъ людей и совсѣмъ не слышалъ одуряющаго гула. Онъ былъ дома; онъ здѣсь ко всему привыкъ, и все казалось ему здѣсь домашнимъ. Прежде всего, ему думалось, что ему здѣсь хорошо; послѣ чего онъ радовался, что онъ здѣсь, а не въ другомъ мѣстѣ, и убѣждалъ спящаго отъ скуки собесѣдника, что у него, Семена Ивановича, нѣтъ жадности получать бóльшее жалованье. Гдѣ бы онъ могъ найти такой покой? Не нашелъ бы. Здѣсь онъ человѣкъ свой и ко всему привыкъ. Мѣстишко-то оно хоть и не важное, а онъ все-таки сытъ, чего же больше? А зариться на частныя должности, напримѣръ, въ банкахъ, и играть тысячами ему ужь не приходится; онъ—старикъ, съ него и такого мѣстишка довольно. Да тамъ, на частныхъ мѣстахъ-то, того и гляди свернутъ голову. Вонъ Ястребовъ: хапалъ, хапалъ, и подъ конецъ влопался-таки во-отъ! Такъ-то и вездѣ; тамъ—азартъ, страсть; разжадничается человѣкъ и ужь не полагаетъ себѣ никакой мѣры. А здѣсь мѣра; получилъ жалованье и ничего больше не жди. Тамъ человѣкъ предоставленъ на собственное усмотрѣніе, о немъ никто не заботится; живи, какъ знаешь. А здѣсь ему этого бояться нечего; никто его не обидитъ и онъ никого. Онъ человѣкъ казеннокоштный, о немъ

заботятся, а и умретъ онъ, семейство его примутъ на попеченіе. Что-жь, развѣ это не правда?—спрашивалъ Семенъ Ивановичъ.

— Н-да! Это дѣйствительно,— отвѣчалъ собесѣдникъ двусмысленно и уходилъ.

Вокругъ все гудѣло глухими звуками, и Семенъ Ивановичъ долго еще покачивался въ креслахъ, все размышляя.. Глаза его подергивались туманомъ, румяныя щеки нѣсколько блѣднѣли, губы складывались въ неуловимую улыбку, и онъ чувствовалъ нѣкоторую истому, все еще размышляя. Потомъ онъ немножко дремалъ.

Шумъ постепенно стихалъ; шаги дѣлались рѣзче и медленнѣе. Двери хлопали рѣже. Кое-гдѣ слышался говоръ, переходившій часто въ громкій смѣхъ. Физіономіи выглядѣли болѣе жизненно, движенія становились болѣе безпорядочными. А солнце, все время освѣщавшее спину Семена Ивановича, переходило къ другому окну и заглядывало въ его лицо съ боку. Семенъ Ивановичъ справлялся съ часами и собирался домой, удивляясь, какъ время скоро прошло.

Выходя изъ департамента, Семенъ Ивановичъ чувствовалъ истому въ желудкѣ, но онъ шелъ неторопливо, порядочно, заложивъ одну руку за бортъ пальто, а другую въ карманъ. Бывали зима или лѣто, осень или весна, морозъ или дождь, свѣтло или пасмурно, Семенъ Ивановичъ всегда бывалъ спокоенъ по дорогѣ отъ департамента къ дому. Чтобы пройти домой, онъ всегда дѣлалъ крюкъ, пробираясь окольными, менѣе людными улицами. Не нравилась ему уличная толкотня и безпорядокъ, вѣчно царствовавшій на тротуарахъ. По этому предмему онъ продолжительно размышлялъ дорогой, сообщая свои размышленія впослѣдствіи Аннѣ Семеновнѣ. Онъ думалъ, что можно же предписать мѣры для предотвращенія уличныхъ безпорядковъ. Пускай пѣшеходы, направляющіеся въ одну сторону, идутъ по одному тротуару, а идущіе въ другую сторону—по другому тротуару; пускай все это будетъ сдѣлано, пускай мѣры эти распростанятся на движеніе экипажей—и тогда столкновенія были бы предотвращены. Теперь же одно безобразіе: экипажи наѣзжаютъ на людей, а люди на тротуарахъ суются, мѣшая другъ другу. Иные встрѣтятся тутъ и мечутся въ отчаяніи, не будучи въ состояніи разойтись; иной же нагло расталкиваетъ

толпу, а третій совсѣмъ глядитъ сумасшедшимъ: летитъ такой человѣкъ и ничего не видитъ; фалды у него развѣваются, руками машетъ, взоры устремлены впередъ и пихаетъ онъ каждаго встрѣчнаго. Развѣ это хорошо?

Въ виду этого, Семенъ Ивановичъ, если только ему приходилось идти по кратчайшей дорогѣ, старался держаться сторонки, поближе къ стѣнамъ зданій, подъ защитой ихъ, гдѣ ему можно было шагать не торопясь, ровно. Но все-таки бывали съ нимъ пренепріятныя исторіи. Въ то самое время, когда Семенъ Ивановичъ не ожидаетъ никакой непріятности, размышляя совсѣмъ о другомъ, на него вдругъ налетитъ вышеупомянутый сумасшедшій и ткнетъ; ткнетъ и летитъ дальше, даже не считая нужнымъ извиниться. Въ первое мгновеніе, пораженный Семенъ Ивановичъ молчалъ, но затѣмъ, оборачиваясь въ сторону бѣгущаго, говорилъ съ волненіемъ:

— Какъ же такъ можно, милостивый государь?

Послѣ этого Семенъ Ивановичъ нѣсколько успокоивался, хотя ему крайне непріятна была вся эта исторія. Продолжая свой путь около стѣнъ зданій, онъ размышлялъ о случившемся обстоятельствѣ. „Что хорошаго,—думалъ онъ,—если ты летишь, сломя голову, и никого не видишь? Шелъ бы ты, какъ слѣдуетъ, и никто слова бы тебѣ не сказалъ. А какъ ты теперь ногъ-то подъ собой не слышишь—и ничего хорошаго не выходитъ; только безпорядокъ одинъ: идешь и пихаешь всѣхъ. А, можетъ быть, человѣкъ-то, котораго ты толканешь, нездоровъ? А, можетъ быть, онъ старичокъ? То-то же и есть! Успокоивъ свою раздражительность этимъ размышленіемъ, обращеннымъ на голову безпорядочнаго человѣка, Семенъ Ивановичъ забывалъ несчастное столкновеніе и подвигался дальше среди безпорядка, который рѣзко отличался отъ безмолвнаго топота въ департаментѣ. А тутъ кстати показывалось и парадное крыльцо, ведущее въ квартиру.

— Вѣрно, ѣсть-то не больно хочешь, что такъ долго запропастился?—шутливо спрашивала Анна Семеновна, когда Семенъ Ивановичъ входилъ въ прихожую.

— Нѣтъ, ты ужь покорми насъ съ Петей; мы вѣдь заслужили обѣдъ-то нашъ!—радостно отвѣчалъ Семенъ Ивановичъ,

позволяя Аннѣ Семеновнѣ снимать съ себя пальто и класть на мѣсто портфель.

На столѣ уже стоялъ супъ, а за столомъ сидѣлъ Петя. Семенъ Ивановичъ сначала молча кушалъ, но послѣ перваго блюда онъ обыкновенно говорилъ:

— Петръ!

Петръ отъ такого обращенія терялся на минуту, потому что вообще, при всякихъ подобныхъ случаяхъ, терялся, удивленно моргая.

— Хорошо ты нынче учился? Колъ не поставили? — продолжалъ Семенъ Ивановичъ, зная напередъ, что Петѣ кола не поставили, и ласково глядѣлъ на него.

— Не поставили.

— А сколько же?

— Ничего. Не спрашивали меня нынче,—вяло возражалъ Петя, въ то время, какъ глаза его тупо переходили съ предмета на предметъ. Онъ не любилъ говорить.

Семенъ Ивановичъ одобрительно трепалъ его по плечу и кушалъ второе блюдо, разговаривая съ Анной Семеновной и ожидая третьяго блюда (четвертое было только по воскресеньямъ и табельнымъ днямъ), потому что третье блюдо всегда сюрпризъ. Это было уже дѣло Анны Семеновны, изобрѣтательность которой по этому предмету не имѣла, повидимому, никакихъ предѣловъ, что̀ особенно изумляло Семена Ивановича. Когда на столъ приносили это загадочное блюдо, Семенъ Ивановичъ удивленно переводилъ взглядъ отъ него и обратно. А Анна Семе́новна скромно говорила:

— Какъ съумѣла, другъ мой... Все думала, что не угожу.

Начиная съ этого момента и вплоть до окончанія обѣда, Семенъ Ивановичъ разсказывалъ трогательные или забавные случаи, относившіеся къ жизни и дѣйствіямъ знакомыхъ ему сослуживцевъ.

Чаще всего онъ, однако, повторялся, потому что въ департаментѣ рѣдко происходило что-нибудь такое, что могло быть сюжетомъ для разговора. Самымъ любимымъ разсказомъ Семена Ивановича былъ разсказъ о происшествіи, случившемся съ Тепловымъ, Валеріаномъ Николаевичемъ, который сидѣлъ верхомъ на стулѣ, балагурилъ и вдругъ увидалъ передъ собой *его*. Въ этомъ мѣстѣ Семенъ Ивановичъ всегда *останавливался*, чтобы сильнѣе оттѣнить дальнѣйшій эф-

фектъ... Увидѣлъ *его* и застылъ на мѣстѣ. А *онъ* долго смотрѣлъ и все молчалъ, все ждалъ, не встанетъ-ли, не извинится-ли? Что-жь бы вы думали? Такъ вѣдь и не всталъ Тепловъ, такъ и просидѣлъ верхомъ на стулѣ, пораженный, что его застали въ эдакомъ, такъ сказать, неоффиціальномъ положеніи! Когда Семенъ Ивановичъ доходилъ до этого финала, лицо его вдругъ краснѣло отъ сдерживаемаго смѣха, ножъ и вилка вываливались изъ рукъ, и изъ глазъ струились слезы. Смѣялась и Анна Семеновна; только Петя молча сопѣлъ.

Впрочемъ, это настроеніе скоро проходило. Прямо послѣ обѣда въ домѣ воцарялась мертвая тишина, нарушаемая лишь гуломъ, идущимъ съ улицы, и стѣнными часами, которые ровно черезъ часъ и двадцать минутъ начинали хрипѣть, шипѣть и били положенные удары. Всѣ трое усаживались въ небольшой комнатѣ, игравшей роль гостинной. Анна Семеновна брала какую-нибудь работу, Петя обыкновенно сидѣлъ такъ, не зная, куда себя дѣть, а Семенъ Ивановичъ читалъ вслухъ газету, которая снабжала его безконечными поводами размышлять передъ Анной Семеновной, причемъ онъ всему изумлялся. Дѣйствительную жизнь онъ зналъ только изъ донесеній и отношеній съ присовокупленіемъ собственнаго воображенія, а потому границъ его удивленію положено не было, когда онъ читалъ о жизни.

Вычитаетъ онъ извѣстіе, что въ такой-то губерніи жукъ-кузка съѣлъ двѣсти тысячъ десятинъ, и поводитъ глазами отъ Анны Семеновны къ Петѣ. Вотъ тебѣ и разъ! Двѣсти тысячъ!... Ловко! Это жукъ-то, кузка-то? Дальше Семенъ Ивановичъ размышлялъ о мѣрахъ къ скорѣйшему истребленію кузки и разсказывалъ о нихъ Аннѣ Семеновнѣ, которая дремала за своею работой и на всѣ размышленія Семена Ивановича кивала утвердительно головой... Какъ же не придумать мѣры? Русскій мужичекъ придумаетъ, ему только указать слѣдуетъ, въ какомъ направленіи... Можно, напримѣръ, придумать машинку такую или сѣть, что-ли, какую, чтобы ловить этого подлеца!

Когда Семенъ Ивановичъ находилъ возможнымъ придумать мѣру противъ жука-кузки, онъ читалъ дальше: „Намъ пишутъ, что въ Бутырскомъ уѣздѣ, въ деревнѣ Воскресенкѣ, крестьяне разграбили хлѣбный магазинъ, раздѣлили между

собой хлѣбъ и съѣли. Голодуха продолжается". Прочитавъ это, Семенъ Ивановичъ пораженъ. Пораженъ онъ собственно тѣмъ, что мужички оказались такими свирѣпыми и жадными. Но, размышляя съ Анной Семеновной о мѣрахъ, онъ приходилъ къ заключенію, что пьянство очень вредитъ нашему мужичку. Въ виду этого, хорошо бы заводить чайные трактиры, о которыхъ только болтаютъ, а толку никакого нѣтъ. Чтò бы тогда произошло? Пришелъ бы тогда мужичекъ въ трактиръ, посидѣлъ бы тамъ, попотѣлъ бы—и никакого вреда не было бы.

Съ улицы несся говоръ людей, стукъ экипажей, а Семенъ Ивановичъ продолжалъ размышлять о прочитанномъ. Тамъ градъ выбилъ всѣ поля, тамъ свирѣпствуетъ холера, тамъ кобылка сожрала тысячи десятинъ, гдѣ-то градъ выбилъ весь озимый хлѣбъ, пылаютъ въ пламени цѣлые уѣзды, проваливаются куда-то села и деревни, дохнутъ съ голоду люди,—читаетъ все это Семенъ Ивановичъ и размышляетъ. Но уже шесть часовъ, и, вспомнивъ обязанность, Семенъ Ивановичъ обращается къ Петѣ:

— Петръ,—говоритъ онъ,—пора бы тебѣ и заниматься.

Петръ уходилъ, а Семенъ Ивановичъ опять принимался за газету. Но, вслѣдствіе-ли обѣда, или по причинѣ размышленій, подъ конецъ онъ чувствовалъ тяжесть въ животѣ и истому во всемъ тѣлѣ. При прочитываніи послѣднихъ извѣстій, въ голосѣ Семена Ивановича слышалась уже перхота, и онъ часто позѣвывалъ. Наконецъ, голова его склонялась на бокъ, вѣки смежались и, прикрывшись газетой, онъ начиналъ тихо сопѣть. Анна Семеновна оставляла комнату. Водворялась полная тишина.

Эта тишина продолжалась до тѣхъ поръ, когда Семенъ Ивановичъ принужденъ былъ отправляться гулять, чтò онъ дѣлалъ очень неохотно; пригрѣтый въ креслахъ комнатною теплотой, онъ выглядѣлъ весьма непріятно. Но Анна Семеновна была неумолима; она дѣлала ему строгій выговоръ за лѣность и выпроваживала его за дверь. Сперва, по выходѣ на свѣжій воздухъ, Семенъ Ивановичъ лѣниво передвигалъ ноги, готовый ежеминутно раздражиться и повернуть назадъ. Послѣ комнатнаго тепла, уютности въ креслахъ и глубокаго успокоенія всѣхъ членовъ тѣла рѣзкій воздухъ *улицы* дѣйствовалъ непріятно на его нервы, и онъ поминутно

ежился и вздрагивалъ, обводя тусклыми глазами прохожихъ, лошадей, дома и экипажи. Но черезъ короткое время сонливое настроеніе его проходило, послѣобѣденная тяжесть въ желудкѣ болѣе не чувствовалась, разслабленные дремотой и размышленіями нервы крѣпли, мускулы начинали правильно работать, принимая прежнюю свою упругость, и глаза... Глаза Семена Ивановича принимали обычную свою ясность и искрились довольствомъ. Тогда Семенъ Ивановичъ рѣшалъ, что Анна Семеновна хорошо сдѣлала, выпроводивъ его гулять, и ему дѣлалось совѣстно за то, что онъ чуть-было не раскапризничался.

Гулялъ Семенъ Ивановичъ чаще всего по близкимъ отъ его дома четыремъ улицамъ, входящимъ одна въ другую. Магазиновъ на этихъ улицахъ было немного, вслѣдствіе чего Семенъ Ивановичъ останавливался передъ каждымъ изъ нихъ и смотрѣлъ на витрины, размышляя о выставленныхъ въ нихъ вещахъ. Если какая-нибудь вещь нравилась Семену Ивановичу, онъ заходилъ въ магазинъ и убѣждалъ торговца уступить ему ее за сходную цѣну, напередъ радуясь удивленію Анны Семеновны, когда онъ представитъ ей эту вещь въ сюрпризъ. Однако, Семенъ Ивановичъ былъ остороженъ и чаще всего смотрѣлъ на витрины безъ зависти. Бывали случаи, когда онъ заходилъ дальше четырехъ смежныхъ улицъ, и тогда онъ, на возвратномъ пути, садился уже въ конку, стараясь попасть въ самый уголъ вагона, ради чего онъ не останавливался даже передъ заискиваніемъ у кондуктора,—такъ ему нравился уголъ, гдѣ онъ подвергался толчкамъ только съ одной стороны. И, занявъ уголъ въ вагонѣ, Семенъ Ивановичъ былъ доволенъ; нѣсколько тяготили его только скучныя или взбудораженныя лица пассажировъ и вынужденное молчаніе. Чтобы предотвратить непріятныя чувства, неизбѣжно сопровождающія подобныя обстоятельства, Семенъ Ивановичъ начиналъ бесѣду съ своимъ сосѣдомъ.

— А хорошая вещь, милостивый государь, эта конка, и всего пятачекъ,—нерѣшительно начиналъ Семенъ Ивановичъ.

— Что вы сказали?—переспрашивалъ сосѣдъ, не разслыхавъ вопроса, потому что Семенъ Ивановичъ, вслѣдствіе робкой нерѣшительности, говорилъ сначала тихо.

Семенъ Ивановичъ повторялъ. Если сосѣдъ оказывался разговорчивымъ человѣкомъ, такимъ, который самъ тяготился невозможностью вести праздные разговоры о пустыхъ вещахъ, начиналась длинная бесѣда. Еслиже сосѣдъ былъ угрюмый человѣкъ и на вопросъ Семена Ивановича только презрительно бормоталъ себѣ подъ носъ, считая, очевидно, начало такого разговора дурацкимъ, то Семенъ Ивановичъ тѣснѣе прижимался въ самый уголъ и мужественно боролся противъ желанія заговорить съ противоположнымъ сосѣдомъ. Во всякомъ случаѣ, онъ не раздражался; глаза его искрились кроткимъ блескомъ, говорившимъ о его внутренней душевной ясности.

Возвращался домой Семенъ Ивановичъ всегда къ чаю. На столѣ шипѣлъ самоваръ, а за столомъ сидѣлъ уже Петя. Послѣ разсказа о томъ, что̀ онъ видѣлъ новаго,—а Семенъ Ивановичъ не много узнавалъ новаго,—послѣ представленія Аннѣ Семеновнѣ сюрприза, если онъ былъ, и послѣ нѣсколькихъ глотковъ чаю Семенъ Ивановичъ вспоминалъ свою обязанность относительно Пети и говорилъ:

— Петръ, уроки-то приготовилъ?

— Приготовилъ,—сонно отвѣчалъ Петя.

— То-то, братъ, смотри! Какъ бы тебѣ завтра кола не поставили!

Семенъ Ивановичъ зналъ, что Петя кола не получитъ никогда, потому что готовитъ уроки прилежно, но онъ считалъ своею обязанностью справляться объ успѣхахъ сына и поощрять его. Петя отвѣчалъ всегда удовлетворительно, и Семенъ Ивановичъ принимался опять за прерванный чай и разсказывалъ Аннѣ Семеновнѣ результаты своихъ размышленій о вещахъ, не имѣющихъ никакого приложенія.

Самая трудная для Семена Ивановича часть дня была именно послѣ вечерняго чая, когда у него до одиннадцати часовъ не оказывалось никакого дѣла. Здѣсь онъ не зналъ, какъ убить время. Чтобы развлечься, онъ занимался бумагами, принесенными изъ департамента, и разсказывалъ объ ихъ содержаніи Аннѣ Семеновнѣ, которая обыкновенно садилась подлѣ него съ работой. По поводу этихъ бумагъ и разныхъ департаментскихъ дѣлъ Семенъ Ивановичъ, вдругъ принимая на себя несвойственный ему хвастливый тонъ и *придавая* себѣ неидущую важность, заводилъ съ Анной Се-

меновной пререканія, которыя иногда заходили такъ далеко, вслѣдствіе увлеченія Семена Ивановича, что Анна Семеновна пугалась и тревожно спрашивала: здоровъ-ли онъ и не хочетъ-ли чего покушать? Нѣтъ, онъ кушать не желаетъ, но онъ выпилъ бы рюмку и съѣлъ бы пирожокъ... Такъ оканчивались пререканія, заключавшія въ себѣ зародышъ раздражительности.

Часы шипѣли одиннадцать,—время, когда Анна Семеновна понуждала Семена Ивановича ложиться въ постель, какія бы возраженія ни представлялъ онъ. Она по опыту знала, что просиди Семенъ Ивановичъ ночью больше, чѣмъ сколько было положено, онъ разстроится и начнетъ раздражаться, со склонностью завести при дальнѣйшемъ сидѣніи ссору. Поэтому Анна Семеновна не медлила, когда часы шипѣли одиннадцать; она дѣлала постель, поправляла подушки, наблюдая, чтобы онѣ, вмѣстѣ съ одѣяломъ и простынями, не отзывались сыростью, и укладывала Семена Ивановича, потушивъ въ спальнѣ огонь.

Оставшись одинъ, Семенъ Ивановичъ долго смотрѣлъ въ темноту. Онъ размышлялъ еще нѣкоторое время, хотя не такъ живо, какъ днемъ... Завтра онъ пойдетъ въ департаментъ, но завтра занятій тамъ только до трехъ; это непріятно—куда же дѣть остальное время? Если погулять, нехорошо это на тощакъ, а если придти домой рано, такъ это значитъ прямо разсердить Анну Семеновну: не любитъ она, чтобы ей мѣшали готовить обѣдъ. А обѣдъ завтра, вѣрно, хорошъ выйдетъ; Анна Семеновна давала нынче наставленіе Матренѣ, какъ дѣлать бисквиты. Вотъ нынче пирожное было не того... Слоеное пирожное съ ананасовымъ вареньемъ—это такъ, питательности въ немъ много, но отъ него тяжесть на желудкѣ, жирно очень. Здоровому—оно ничего, а больной человѣкъ разстроиться можетъ, вредитъ оно ему. Но бисквитъ, и если онъ со свѣжими сливками, не вредитъ; его и больной человѣкъ на доброе здоровье скушаетъ; онъ, бисквитъ, таетъ во рту; на желудкѣ его не чувствуешь, а вкусенъ, совсѣмъ ужь не такой у него вкусъ, какъ у слоенаго...

Вѣки Семена Ивановича смежались. Подъ конецъ онъ видѣлъ во мракѣ колоссальное плоское блюдо со сливками, а въ сливкахъ плавали бисквиты, а подлѣ блюда сидѣлъ Це-

тя,—несообразность, которая наполняла голову Семена Ивановича, конечно, потому, что онъ уже спалъ.

Тихо текла жизнь Семена Ивановича, Анны Семеновны и Пети, тихо и ровно. Только по воскресеньямъ и табельнымъ днямъ возмущалось спокойствіе въ ихъ квартирѣ: тогда приходилъ Иванъ Григорьевичъ Георгіевскій, безпокойный человѣкъ, плававшій въ сферѣ каверзъ, какъ въ своей родной стихіи. Его лимоннаго цвѣта лицо, его безпокойныя манеры, его фырканье, его, наконецъ, подъяческая улыбка нарушали кротость хозяевъ съ самаго обѣда, на который онъ приходилъ, и до вечера, когда онъ, подвыпивши, уходилъ. Сидя за обѣдомъ, онъ считалъ своимъ непремѣннымъ долгомъ разсказать какую-нибудь грязную исторію, вродѣ того, какъ такой-то возвысился черезъ свою любовницу и какъ другой попалъ на хорошее мѣсто, женившись на любовницѣ такого-то, и т. д. Съ завидущими глазами, жадный и ядовитый, онъ и воздухъ квартиры Семена Ивановича отравилъ бы, еслибы не Анна Семеновна.

— И Господь съ нимъ! Не наше это дѣло, Иванъ Григорьевичъ!—говорила она, сразу останавливая Георгіевскаго, который послѣ этого замолкалъ. Въ сущности, онъ по природѣ былъ не сердитый человѣкъ, но только страдалъ катарромъ желудка. Обладая же крайне дѣтскими понятіями обо всемъ, онъ не могъ ни на что подолгу питать злобу. Семенъ Ивановичъ мирно уживался съ нимъ.

Послѣ добраго обѣда Анна Семеновна садила за другой столъ пріятелей и подавала имъ пиво, присаживаясь сама гдѣ-нибудь тутъ же по близости. И тогда пріятели благодушествовали. Лицо Семена Ивановича разгоралось, глаза искрились и онъ начиналъ бесѣду. Говорили о томъ, кого произвели, кого перемѣстили, кому дали Анну, а кого ссадили; время шло незамѣтно.

Бывали, однако, исключительные вечера, когда Семенъ Ивановичъ начиналъ съ своимъ пріятелемъ умственный разговоръ, для чего онъ бралъ въ руки газету и размышлялъ. Какъ ни были пріятели замурованы въ стоячемъ департаментскомъ воздухѣ, но и до нихъ доходили струи дѣйствительной жизни. Читая передовую статью,—а Семенъ Ивановичъ читалъ такія статьи только въ воскресные и табельные дни,—которая всегда начиналась словами: „переживае-

мое нами тяжелое время", Семенъ Ивановичъ выражалъ удивленіе. Почему, кто и чѣмъ недоволенъ? Отчего тяжело? И Семенъ Ивановичъ размышлялъ передъ своимъ пріятелемъ.

— Что я думаю, Иванъ Григорьевичъ?—говорилъ Семенъ Ивановичъ, смотря на Георгіевскаго черезъ кружку пива.

— Почемъ же я знаю?—нетерпѣливо фыркалъ обыкновенно Георгіевскій.

Семенъ Ивановичъ не обижался на неприличныя слова пріятеля.

— Думаю я, что про это тяжелое время невѣрно пишутъ, очень преувеличиваютъ,—продолжалъ Семенъ Ивановичъ.

— Дураки—и врутъ!

— Нѣтъ, это ужь вы оставьте! Зачѣмъ же такъ ругаться? Ругаться пользы нѣтъ.

— Дураки—только и названія имъ! — упрямо повторялъ Георгіевскій.

— Дураки!... Какъ же такъ можно судить людей? А, можетъ, они несчастны, можетъ, жить-то имъ плохо? И недовольны, и пишутъ. Тоже надо войти и въ ихъ положеніе и спросить, чего имъ надо? А ругаться—что-жь изъ этого выйдетъ?

На это краткое увѣщаніе Георгіевскій только презрительно улыбался, чѣмъ очень обижалъ Семена Ивановича, который послѣ этого сильнѣе разгорался желаніемъ доказать правильность своего усмотрѣнія.

— Вы вотъ и все такъ, Иванъ Григорьевичъ. А вѣдь они—люди. Заблуждаются-то они заблуждаются, а все же они несчастны, можетъ быть. И вотъ бы спросить ихъ, что̀ имъ надо?

Лицо, Семена Ивановича разгоралось.

— Кто же это станетъ ихъ спрашивать? Бить ихъ, а не спрашивать!—свирѣпо возражалъ Георгіевскій.

— Поговорилъ бы ты, Семенъ Ивановичъ, о другомъ; какъ выпьешь чуточку, такъ и пойдешь молоть!—вмѣшивалась внезапно Анна Семеновна, которая строго слѣдила за разговоромъ, чтобы во-время прекратить его. Но Семенъ Ивановичъ совершенно разгорячился и ничего не слыхалъ.

— А спросить бы можно,—продолжалъ онъ,—прямо сказать бы: милостивые государи, такъ нельзя... Вѣдь вы всѣхъ

смущаете! Отъ васъ вездѣ безпокойство одно, тишину вѣдь вы нарушаете! Скажите, ради Господа, что вамъ надо?

— Отъ нихъ, отъ шуму-то ихъ, тогда и не ушелъ бы! Они...

— Нѣтъ, это ужъ вы оставьте, Иванъ Григорьевичъ! Какъ же можно такъ судить людей? Да если они несчастны, жить-то если плохо, такъ они и за малое будутъ благодарить. То-то же и есть! Иной, можетъ быть, попроситъ, чтобы соляной налогъ упразднили, а иной, чтобы квартальнаго въ его участкѣ смѣстили за невѣжливость, а третій, такъ тотъ и просто бы такъ порадовался, что вотъ его спрашиваютъ, что вниманіе эдакое къ нему...

— Будетъ тебѣ болтать-то, пустомеля! Не наше это дѣло!— съ непритворною строгостью обрывала Анна Семеновна, и Семенъ Ивановичъ смущенно умолкалъ, торопливо хлебая пиво.

Къ сожалѣнію Семена Ивановича, эти умственные разговоры всегда такимъ образомъ оканчивались. Даже когда не было въ комнатѣ Анны Семеновны, Семенъ Ивановичъ все-таки принужденъ былъ останавливаться. Всегдашнею виной этому былъ Георгіевскій. Не умѣя говорить, онъ только ссорился при подобныхъ разговорахъ. Черезъ нѣкоторое время лимонное лицо его багровѣло, вся оставшаяся въ его изсякшихъ жилахъ кровь, вмѣстѣ съ бутылкой пива, бросалась ему въ голову и онъ пыхалъ злобой. Говорить съ нимъ тогда не было никакой возможности.

Послѣ такихъ праздниковъ Семенъ Ивановичъ укладывался спать позже; нехорошо онъ чувствовалъ себя тогда и даже раздражался, начавъ съ Анной Семеновной ссору, а ночью случались съ нимъ иногда удивительныя происшествія. Онъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, вставалъ, спускалъ ноги съ постели и раздраженно пыхтѣлъ; недоброе-ли какое сновидѣніе поражало его тогда, или у него болѣла голова, только онъ былъ неузнаваемъ. Посидѣвъ на постели, онъ безъ всякой, повидимому, причины совсѣмъ покидалъ ее и ходилъ въ темнотѣ, все такъ же шумно пыхтя; далѣе натыкался на какую-нибудь вещь или ронялъ что-нибудь со стола и разбивалъ, что̀ производило шумъ на всю квартиру.

— Что это съ тобой дѣлается, Семенъ Ивановичъ?—строго

спрашивала Анна Семеновна, показываясь изъ смежной комнаты, гдѣ находилась ея спальня.

Семенъ Ивановичъ, сознавая, что онъ что-то натворилъ, сразу затихалъ; онъ внезапно прекращалъ пыхтѣть, раздраженіе его проходило, онъ успокоивался и ложился спать.

Эти ночныя приключенія бывали рѣдко, начинаясь и оканчиваясь внезапно. Но вообще Семенъ Ивановичъ пользовался неизмѣннымъ здоровьемъ, никогда серьезно не заболѣвая, что̀, въ свою очередь, способствовало неизмѣнному настроенію духа. Искрящіеся здоровьемъ и довольствомъ глаза его никогда не потухали, и ясность его души оставалась нетронутой. Безъ тревоги жилъ Семенъ Ивановичъ.

Однако, не суждено ему было сохранить навсегда эту ясность. Та раздражительность, которой такъ опасалась Анна Семеновна, также, какъ и самъ Семенъ Ивановичъ, та раздражительность, которая, безпричинно появляясь, внезапно утихала, съ теченіемъ времени сдѣлалась постояннымъ свойствомъ Семена Ивановича, обратившись въ глухое недовольство... Вотъ слово, которое съ трудомъ произносится и которое по отношенію къ Семену Ивановичу было бы клеветой, еслибы не выражало его душевнаго состоянія! Это недовольство постепенно и незамѣтно въѣлось въ его жизнь и отняло у него покой, вслѣдствіе чего и Анна Семеновна сдѣлалась несчастною, и Петя. Какой-то неизвѣстный дотолѣ духъ поселился въ немъ и нашептывалъ ему Богъ знаетъ что.

Впервые недовольство выглянуло изъ кармана и только потомъ разошлось по всей жизни Семена Ивановича, отравивъ всѣ корни тихаго существованія семьи. Семенъ Ивановичъ долго не замѣчалъ, что жалованье его куда-то ежемѣсячно проваливается, не оставляя послѣ себя никакого слѣда; онъ думалъ, что все идетъ попрежнему. Ежемѣсячно онъ приносилъ пачку ассигнацій, вручалъ ее съ счастливымъ видомъ Аннѣ Семеновнѣ и долго, дней пять послѣ этого, возстановлялъ передъ собой картину того, какъ Анна Семеновна радовалась, принимая деньги. Больше ничего онъ не видѣлъ. Говорила иногда Анна Семеновна о дороговизнѣ, жаловалась на трудность жизни, но она это дѣлала мимоходомъ и боязливо, не желая нарушать спокойствія Семена Ивановича, который поэтому ничего и не замѣчалъ.

А когда понялъ, то было уже поздно. Размышляя о вещахъ, не имѣющихъ никакого приложенія, Семенъ Ивановичъ не сталъ размышлять, а раздражался, когда жизнь показала ему дѣйствительную правду относительно стоимости его жалованья. Узнавъ въ концѣ одного мѣсяца, что отъ ихъ жалованья не осталось ничего и даже явились долги въ мелочную лавочку, булочную и прачкѣ (чего никогда не было), Семенъ Ивановичъ завелъ продолжительную ссору съ Анной Семеновной, во время которой краснѣлъ и раздражалъ себя.

Это было за обѣдомъ, вскорѣ послѣ того, какъ Семенъ Ивановичъ сдѣлалъ открытіе.

— Что, у тебя все жалованье-то вышло?—спросилъ Семенъ Ивановичъ, не глядя ни на кого.

— Какъ же не все?... Самъ знаешь, какъ нынче все дорого,—съ дрожью въ голосѣ возразила Анна Семеновна. Ее поразилъ вопросъ Семена Ивановича, который никогда не вмѣшивался въ ея распоряженія.

— Можно бы и поосторожнѣе тратить!—сказалъ раздражительно Семенъ Ивановичъ.

— Да что я на себя, что-ли, трачу, прости Господи? Съ ума ты сошелъ, Семенъ Ивановичъ!

— Поосторожнѣе-бы, говорю, тратить надо...

— И тебѣ не совѣстно такъ говорить?

Проговоривъ это, Анна Семеновна поблѣднѣла, а на глазахъ у нея показались слезы. Но Семенъ Ивановичъ не обращалъ на это никакого вниманія. Безусловно довѣряя раньше Аннѣ Семеновнѣ, онъ теперь съ нелѣпою подозрительностью наблюдалъ за исчезновеніемъ ихъ жалованья, обвиняя ее въ безумной тратѣ. Лицо его покраснѣло, обыкновенно ясные глаза его разсѣянно блуждали по столу, руки дрожали, и онъ безпорядочно тыкалъ вилкой по всей тарелкѣ, выказывая такое раздраженіе, что Анна Семеновна просто обомлѣла. Думала она, что Семенъ Ивановичъ придетъ въ себя, когда на столѣ появится сюрпризъ; нѣтъ, Семенъ Ивановичъ продолжалъ безцѣльно тыкать вилкой. А потомъ, не досидѣвъ до конца обѣда, онъ съ трескомъ вылѣзъ изъ-за стола и пошелъ по дорогѣ въ свой кабинетъ четырьмя дверями, уронилъ съ двухъ столовъ какія-то вещи и притихъ.

Такъ съ тѣхъ поръ и пошло несчастіе по всему дому.

Что̀ бы Анна Семеновна ни дѣлала, Семенъ Ивановичъ только раздражался. Находили на него проблески сознанія, что̀ не хорошо онъ поступаетъ, но, вспомнивъ жалованье и его стоимость, онъ опять пыхтѣлъ, дулся и раздражалъ себя.

Анна Семеновна ничего не могла подѣлать и сама растерялась отъ такой неожиданной перемѣны въ характерѣ Семена Ивановича. Попробовала она разъ воспользоваться помощью Георгіевскаго. Съ нетерпѣніемъ дождавшись ближайшаго праздника, она обратилась къ нему съ нѣсколькими многозначительными вопросами, предназначенными собственно для Семена Ивановича.

— Скажите, пожалуйста, Иванъ Григорьевичъ, какъ вы живете? Вѣдь, чай, дорого вамъ все обходится?—вставила между разговоромъ Анна Семеновна. Георгіевскій подхватилъ вопросъ.

— Мнѣ-то? Да вы лучше спросите, Анна Семеновна, какъ я не умеръ до сихъ поръ съ голоду!—озлобленно вралъ Георгіевскій.—Нынче жалованье-то получишь и глядишь на него... утромъ-то получишь, а вечеромъ оно уже растаетъ. Вотъ какъ мое хозяйство идетъ, Анна Семеновна!

— То же самое и я говорю Семену Ивановичу. Дорого очень...

Семенъ Ивановичъ безцѣльно началъ тыкать вилкой.

— Дайте срокъ, Анна Семеновна! Не то еще будетъ, дождемся!—продолжалъ Георгіевскій.

— Неужели же еще дороже будетъ?

— Дождемся, дайте только срокъ! Селедку будемъ покупать за двадцать пять рублей!

Семенъ Ивановичъ уже безъ всякой цѣлесообразности тыкалъ вилкой. Анна Семеновна дрогнула при этихъ ядовитыхъ словахъ Георгіевскаго. Она, къ ужасу своему, поняла, что разговоръ съ Георгіевскимъ никакой пользы не принесетъ. И дѣйствительно, Семенъ Ивановичъ сидѣлъ все такой же пасмурный. Хуже: онъ самъ былъ пораженъ словами Ивана Григорьевича и больше прежняго сталъ раздражаться. Не могъ онъ придти въ себя, сдѣлавшись прежнимъ Семеномъ Ивановичемъ, и послѣ обѣда, за бутылкой пива. Когда Георгіевскій, по своему обыкновенію, въ отвѣтъ Семену Ивановичу фыркнулъ какою-то неразумною фразой, Семенъ Ивановичъ не смолчалъ, а самъ отвѣтилъ тѣмъ же,

т.-е. фыркнулъ, отчего Георгіевскій оторопѣлъ, потому что раньше никогда этого не было. И начались между ними пререканія, перешедшія скоро въ ссору, которая навсегда поселила между ними вражду. Анна Семеновна, блѣдная и растерявшаяся, не могла даже слова вымолвить и не пыталась потушить разгоравшуюся злобу, такъ что когда Георгіевскій уходилъ, то сказалъ про себя, что больше нога его не ступитъ въ этотъ домъ, а Семенъ Ивановичъ отвѣчалъ про себя, что онъ очень радъ этому.

Семенъ Ивановичъ съ этого времени подолгу оставался у себя въ кабинетѣ или въ спальнѣ и пыхтѣлъ тамъ. Анна Семеновна потеряла голову, не зная, что ей думать и предпринять. До сего времени у ней была твердая почва подъ ногами: Семенъ Ивановичъ приносилъ со службы ассигнаціи, а она дѣлала ему за это сюрпризы, заботясь вообще объ его здоровьѣ и спокойствіи; теперь же не стало у ней ни одной изъ этихъ обязанностей. Даже Матрена сознавала перемѣну. „То все были господа,—говорила она мрачно,—какъ слѣдуетъ господа, а то жидоморы какіе-то стали, лишняго куска жалко бѣдной женщинѣ!" А Семенъ Ивановичъ дѣлался все болѣе и болѣе нелюдимымъ и недовольнымъ. За обѣдомъ онъ постоянно, по всякому поводу, ворчалъ и укорялъ Анну Семеновну, приводя ее въ изумленіе; послѣ обѣда уходилъ безъ всякихъ словъ къ себѣ и пыхтѣлъ тамъ, а если оставался въ столовой, жаловался на все: то у него голова болитъ, то бокъ, то спину ломитъ (чего никогда не было), а то тошнитъ его. Иногда же находила на него тихая грусть, и онъ говорилъ:

— Вѣрно ужъ не долго мнѣ жить-то, не сдобровать!

Эти слова возбуждали въ Аннѣ Семеновнѣ страшную тревогу. Она пыталась успокоить его.

— Ты выглядишь, слава Богу, здоровымъ. Успокойся, другъ мой, не тревожь напрасно себя,—говорила она.

Тогда Семенъ Ивановичъ вдругъ огрызался:

— Да! Здоровъ! Какъ же! По тебѣ, я буду здоровъ и тогда, когда стану въ гробъ ложиться!

Потомъ онъ начиналъ тянуть безконечную нить жалобъ.

— Да, тебѣ дома-то хорошо, а посидѣла бы ты на службѣ-то, такъ и узнала бы, каково мнѣ приходится! И изъ-за чего? Жалованьишко-то вотъ каждый мѣсяцъ въ прорву

идетъ, не наготовишься! Вотъ мы все думали дачку купить... вотъ тебѣ и дачка! Жилъ-жилъ, теръ-теръ стулья-то, а подъ конецъ и нѣтъ ничего. Хошь бы на частную службу, что-ли... Вонъ Вихрастовъ (у Семена Ивановича и примѣры нашлись), служитъ онъ и въ департаментѣ, и въ компанію втерся. Заработалъ онъ сорокъ тысячъ—и ему теперь горя мало. Въ департаментъ-то онъ идетъ отъ нечего дѣлать, чтобы только баклуши бить; придетъ, посидитъ на столѣ, подрыгаетъ ногами и уходитъ — это у него служба! А ты сиди тутъ на полутораста рубляхъ восьмидесяти шести копѣйкахъ и проѣдай ихъ каждомѣсячно; придетъ же старость —и сдѣлаешься ты нищимъ... А вонъ еще Петръ...

— Петръ, ступай заниматься!—раздраженно говорилъ Семенъ Ивановичъ, вдругъ обращаясь къ сыну.

Истощивъ весь свой запасъ раздраженія на жалованье и его стоимость, Семенъ Ивановичъ обратился на Петю, который подкрѣпилъ собой духъ недовольства, овладѣвшій Семеномъ Ивановичемъ. Бѣдный малый не ожидалъ, что займетъ такое большое мѣсто въ размышленіяхъ отца. Онъ ходилъ въ гимназію, готовилъ уроки и больше ничего не дѣлалъ. Къ вечеру каждаго дня онъ выглядѣлъ такимъ вареньмъ, что трудно было даже разсмѣшить его,—до такой степени имъ овладѣвала сонливость, обусловленная, вѣроятно, отсутствіемъ какой бы то ни было мысли въ головѣ. Всѣ дѣйствія его къ этому времени становились нецѣлесообразными. То онъ подходитъ къ окну и вяло рисуетъ пальцемъ на стеклахъ какія-то никому невѣдомыя слова, то встанетъ посрединѣ комнаты и долго поводитъ глазами вокругъ или вдругъ бухнется въ кресло и остается безъ движенія цѣлый часъ, позѣвывая и напѣвая какую-то пѣсенку, причемъ повторяетъ изъ нея только два-три слова.

— Да ты хоть бы погулять пошелъ, Петя,—скажетъ иной разъ Анна Семеновна.

Петя молчитъ.

— Или къ товарищамъ пошелъ бы, вѣдь тоже хочется поиграть?

Молчитъ.

— У, какой несговорчивый!

Молчитъ.

Но если ему прикажутъ идти, идетъ; если прикажутъ гу-

лять, гуляетъ. Но, отправляясь къ кому-нибудь изъ товарищей, онъ и тамъ велъ себя такъ же сонно, какъ и дома. Играть онъ не умѣлъ—вотъ что ужасно, а потому у него и товарищей въ гимназіи не было. Нѣкоторые одноклассники пробовали давать ему книжки, но потомъ перестали, увидѣвъ, что онъ не читаетъ. Одинъ его товарищъ во время „перемѣны" разъ сунулъ ему, съ таинственнымъ видомъ и взволнованнымъ лицомъ, какую-то книжонку, но Петя, придя домой, положилъ ее, не читая, на полку и забылъ тамъ. Онъ училъ прилежно одни только уроки. Разъ, когда онъ еще былъ въ одномъ изъ низшихъ класовъ, ему пригрозили, что исключатъ его; эта угроза на него такъ подѣйствовала, нагнала на него такую недѣтскую панику, что съ тѣхъ поръ онъ не пропускалъ ни одного урока и ожесточенно долбилъ все, что ему приказывали. А къ вечеру онъ дѣлался, конечно, вареным.

Семенъ Ивановичъ, сдѣлавшись вообще подозрительнымъ и неуживчивымъ, сталъ слѣдить и за Петей. Онъ зорко наблюдалъ за нимъ, какъ за врагомъ, подсматривая его дѣйствія и подстерегая его на мѣстахъ преступленія. Ни съ того, ни съ сего Семенъ Ивановичъ началъ прочитывать въ газетѣ судебную хронику, почему-то думая, что это относится къ его Петѣ. Семенъ Ивановичъ и въ этомъ случаѣ не сталъ размышлять правильно; онъ только спрашивалъ иногда себя: пуститъ-ли себѣ Петька пулю въ лобъ, или перестанетъ чесать волосы и надѣнетъ блузу? И Семенъ Ивановичъ раздражалъ себя, глядя на Петю и подстерегая его. Какъ только Петя садился за уроки, Семенъ Ивановичъ принимался издали, изъ другой комнаты, наблюдать. Сидитъ, напримѣръ, Петя и переводитъ на русскій языкъ съ латинскаго истину, что „пить воду полезно", или какую-либо другую, вродѣ — „рука руку моетъ". Онъ пріискиваетъ слова и гремитъ желтыми листами огромнаго фоліанта, но, забывъ на минуту дѣло, онъ ставитъ лексиконъ дыбомъ, растопыриваетъ его корочки и безсмысленно глядитъ, какъ листы начинаютъ перебѣгать съ одной стороны на другую.

— Петръ!—вдругъ раздается возлѣ него голосъ Семена Ивановича.

Петръ вздрагиваетъ и поспѣшно что-то бормочетъ. Когда Семенъ Ивановичъ уходитъ, Петя на-скоро оканчиваетъ

латинскій урокъ и беретъ алгебру. Исписавъ страничку буквами и цифрами, онъ протираетъ глаза, которые слипаются, но вдругъ капаетъ чернильное пятно на бумагу и задумывается надъ нимъ; потомъ проводитъ перомъ во всѣ стороны отъ него усики, которые дѣлаютъ изъ чернильнаго пятна черную звѣзду.

— Петръ, ты что дѣлаешь?—раздраженно говорилъ Семенъ Ивановичъ.

Семену Ивановичу казалось, что Петръ менѣе прилежно сталъ учиться и что, вмѣсто ученья, онъ читаетъ книжки тайно. Поэтому, увидавъ разъ, какъ Петръ взялъ старую газету и принялся читать ее, вмѣсто уроковъ, онъ былъ пораженъ.

— Петръ, ты—оселъ!—взволнованнымъ голосомъ сказалъ Семенъ Ивановичъ и поспѣшно ушелъ къ себѣ, а Петръ чуть не плакалъ отъ такихъ незаслуженныхъ нападокъ.

Но Семенъ Ивановичъ и самъ мучился. До сихъ поръ онъ былъ здоровъ—и сдѣлался больнымъ; раньше онъ размышлялъ, а потомъ сталъ только раздражаться. Въ домѣ пошла безурядица, потому что Анна Семеновна также упала духомъ. Она очень похудѣла и, оставаясь одна, иногда въ тихомолку плакала, хотя при Семенѣ Ивановичѣ боялась проронить слово, чтобы пуще не раздосадовать его, а возражать строго она совсѣмъ перестала.

Однажды, послѣ долгаго и мрачнаго сидѣнія у себя, Семенъ Ивановичъ вышелъ въ столовую, гдѣ въ это время находились Анна Семеновна съ Петей, и сказалъ загадочно:

— Петръ, ты нынче ложись въ моей комнатѣ!

Семенъ Ивановичъ, говоря это, не смотрѣлъ на Анну Семеновну, потому что самъ сознавалъ, что его поведеніе нехорошо. Несмотря на видимую нелѣпость приказанія Семена Ивановича, Анна Семеновна промолчала, не возразивъ ничего и тогда, когда онъ сталъ торопливо доказывать необходимость просушить якобы сырую комнату Пети.

Настала ночь; часы прошипѣли одиннадцать.

Семенъ Ивановичъ поднялся съ постели, натянулъ халатъ, отыскалъ туфли и зажалъ въ рукѣ нѣсколько спичекъ. Далѣе онъ сталъ прислушиваться къ дыханію Пети, который спалъ на диванѣ. Кругомъ ничего не было видно; передъ глазами Семена Ивановича была темная пропасть, въ которой не

было никакихъ предметовъ, но и слухъ его ничего не могъ уловить, кромѣ ровнаго дыханія сына. Удостовѣрившись, что сынъ спитъ, Семенъ Ивановичъ пошелъ къ двери. Но вдругъ ему показалось, что Петя проснулся; онъ остановился, какъ вкопанный, и со страхомъ повернулъ голову къ дивану. Но Петръ только сквозь сонъ шепталъ какія-то слова и чавкалъ губами. Семенъ Ивановичъ тяжело перевелъ духъ и выбрался за дверь. Чтобы попасть въ комнату сына, куда онъ крался, ему надо было пройти черезъ прихожую, столовую и гостинную. Онъ отправился, идя ощупью и судорожно сжимая въ рукахъ спички. Почти безшумно скользя по паркету туфлями, онъ добрался уже до конца столовой, какъ неожиданно наткнулся на стулъ. Стулъ загремѣлъ, а Семенъ Ивановичъ застылъ на мѣстѣ, думая, что онъ разбудитъ кого-нибудь. Никто не проснулся: кругомъ было такъ же тихо и темно. Онъ провелъ рукой по лицу, покрывшемуся пòтомъ, и пошелъ дальше. Въ гостинной онъ двинулъ кресломъ, уронилъ что-то со стола, но уже не обращалъ на это вниманія. Наконецъ, вотъ комната сына. Семенъ Ивановичъ шаркнулъ спичкой объ стѣну, но руки его дрожали и спичка изломалась; изломалась другая, третья, четвертая, пока, наконецъ, случайно не вспыхнула пятая. Кругомъ была все та же тишина; только часы чикали вдали.

Семенъ Ивановичъ принялся обыскивать. Онъ сначала осмотрѣлъ шкафъ, на верхнихъ полкахъ котораго Анна Семеновна держала разную мелочь, а внизу — грязное бѣлье; все это было осмотрѣно. Потомъ Семенъ Ивановичъ осмотрѣлъ постель сына; ничего и здѣсь не было. Тогда онъ сталъ рыться въ книгахъ; также ничего. Взявъ послѣднюю маленькую книжонку, покрытую пылью, онъ уже хотѣлъ бросить ее на мѣсто, какъ вдругъ зрачки его расширились, лицо поблѣднѣло, а книжонка чуть не выпала изъ его дрожащихъ рукъ. Постоявъ съ тѣмъ же видомъ нѣсколько минутъ, онъ опустился на постель. Часы прошипѣли четыре, а онъ все сидѣлъ и смотрѣлъ на книжку.

Свѣча, поставленная въ дальній уголъ, едва мигала, оставляя половину комнаты въ полумракѣ; и, можетъ быть, поэтому Семенъ Ивановичъ не замѣчалъ слезъ, которыя скатывались по его щекамъ, ударялись на руки и на книжку и падали на полъ.

— Какой нездоровый видъ у тебя, Семенъ Ивановичъ!— боязливо сказала на другой день утромъ Анна Семеновна.

— Я думаю, что мнѣ нехорошо, — печально выговорилъ Семенъ Ивановичъ.

Анна Семеновна уговаривала его въ этотъ день остаться дома, но онъ не согласился и все должное время провелъ на службѣ. Всѣ сослуживцы его удивлялись въ этотъ день грустному виду, съ какимъ все время сидѣлъ Семенъ Ивановичъ на своихъ креслахъ, и старались его развеселить, разсказывая забавные анекдоты. Но Семенъ Ивановичъ до конца остался печальнымъ, а возвращаясь домой, особенно почувствовалъ себя дурно.

Идя по шумнымъ и грязнымъ улицамъ, онъ почти не сознавалъ, гдѣ онъ. Его толкали, но онъ не обижался на это. Былъ вечеръ мрачнаго, сѣраго дня. Вмѣсто неба, надъ головами висѣла грязная и мокрая мгла; вмѣстѣ съ каплями дождя падалъ мокрый снѣгъ. На улицахъ было болото, на тротуарахъ грязь. Семенъ Ивановичъ долго шелъ по люднымъ улицамъ, забывъ, что ему надо идти домой. Голова его горѣла, волосы безпорядочно прилипали къ вискамъ, шляпа сдвинулась на затылокъ, пальто распахнулось... Снѣгъ падалъ на его лицо, за воротъ, за рукава, но, вѣрно, онъ этого не чувствовалъ, потому что продолжалъ шагать Богъ знаетъ куда, шлепая по грязи, попадая въ лужи и не стараясь защищаться отъ толчковъ, получаемыхъ имъ отъ прохожихъ. Поднимаясь по лѣстницѣ своей квартиры, онъ былъ уже весь мокрый и грязный до такой степени, что совершенно былъ не похожъ на себя.

Анна Семеновна только руками всплеснула, когда увидѣла Семена Ивановича. Она раздѣла его, разула и уложила въ постель. Послано было и за докторомъ, до прихода котораго Анна Семеновна старалась успокоить Семена Ивановича. Она повторяла, что все это пройдетъ, и онъ, дастъ Богъ, поправится. Но Семенъ Ивановичъ чуть замѣтно покачалъ головой и, не смотря ни на кого, печально сказалъ:

— Нѣтъ, вѣрно ужъ не жить мнѣ больше!

Потомъ, глядя мутными взорами на то мѣсто, гдѣ стоялъ Петя, онъ прибавилъ:

— А ты его береги.

Это были послѣднія слова его. Когда пришелъ докторъ,

то немедленно же заявилъ, что Семенъ Ивановичъ заболѣлъ тифомъ, и надежда на выздоровленіе его плоха, хотя природа, организмъ... и т. д. Докторъ былъ правъ, потому что черезъ два дня Семенъ Ивановичъ скончался. До послѣдней минуты онъ находился въ безпамятствѣ.

Въ той же газетѣ, которую читалъ при своей жизни Семенъ Ивановичъ, появилось и объявленіе объ его смерти, написанное Петей и приглашавшее всѣхъ родственниковъ и знакомыхъ покойнаго отдать послѣдній долгъ родному человѣку. На приглашеніе явились всѣ, кто ему былъ близокъ и кто его зналъ, и всѣ согласны были въ томъ, что несчастіе Анны Семеновны велико, что утрата ея незамѣнима и что Семенъ Ивановичъ былъ кроткій, незлобивый человѣкъ, который по намѣренію никого не обидѣлъ и ни на кого не ропталъ.

PERPETUUM MOBILE.

I.

Вершины дальнихъ горъ покрылись лиловою пеленой вечерней мглы; ущелья и долины ближайшихъ утесовъ наполнились уже дымчатымъ сумракомъ, но лѣсистые бока ихъ еще освѣщены были золотыми полосами вечерняго солнца. Ольга Александровна взглянула на всю эту чудную панораму, и ей захотѣлось туда, на озеро, ближе къ синеватымъ утесамъ. Бросивъ еще разъ бѣглый взглядъ на обширный ландшафтъ, открывающійся изъ оконъ управительскаго дома, она торопливо пошла къ брату.

— Поѣдемъ кататься!—сказала она, входя въ кабинетъ.

Братъ медленно повернулъ голову къ ней и потянулся въ креслѣ.

— Ты хочешь? Пожалуй...

Дымъ отъ его сигары наполнялъ весь кабинетъ; въ комнатѣ стоялъ полумракъ, но молодой человѣкъ, повидимому, не безпокоился окружающимъ и продолжалъ лежать въ креслѣ. Когда сестра затормошила его, онъ долженъ былъ подняться, но на равнодушномъ лицѣ его не отразилось ни малѣйшаго желанія кататься на лодкѣ. Движенія онъ дѣлалъ тихія, какъ бы вынужденныя; на его лицѣ лежала печать глубокаго равнодушія; вѣки его тяжело опускались и поднимались, въ складкахъ губъ запечатлѣлась холодная иронія.

Странный контрастъ представляли фигуры брата и сестры.

Онъ провелъ бурную молодость, испробовалъ всѣ ея прелести и теперь жилъ, плохо вѣря въ людей, всегда насмѣш-

ливый, ко всему индифферентный, иногда циничный. Онъ попробовалъ любовь, богатство, власть, но эти вещи уже не возбуждали въ немъ теперь желаній, а люди, которые его любили или валялись у его ногъ, вызывали въ немъ только холодное бездушіе. Такимъ, по крайней мѣрѣ, онъ хотѣлъ казаться. Сестра его также попробовала жизни, но первый же ея шагъ вышелъ неудачный; она поскользнулась и упала, разбитая дряннымъ человѣкомъ, котораго любила. Воспользовавшись ея богатствомъ, онъ принялся топтать въ грязь ее и не церемонился въ средствахъ униженія ея. Потребовалось вмѣшательство брата; послѣдній обо всемъ узналъ, пріѣхалъ и взялъ молодую женщину къ себѣ. На прощанье съ ея мужемъ онъ сказалъ, не измѣняя выраженія лица:

— Послушайте... совѣтую мнѣ не попадаться на пути, потому что мнѣ лѣнь будетъ перешагнуть черезъ васъ.

Съ той поры она жила у брата. Отъ нечего дѣлать она занималась немножко ботаникой, немножко минералогіей, немножко зоологіей. Это—за неимѣніемъ другихъ предметовъ любви. И вотъ эти два странныя существа жили вмѣстѣ. Братъ, испытавшій всѣ роды наслажденій, кончилъ равнодушіемъ ко всему; фигура его застыла, какъ бронзовая статуя. Сестра, разбитая въ дребезги, стала только болѣе любящею, чуткою и безпокойною. Худое, страдальческое лицо ея безпрерывно мѣняло выраженіе: малѣйшіе оттѣнки мысли отражались на немъ, и всякое, даже мимолѣтное чувство вызывало въ ея фигурѣ какое-нибудь порывистое, непредвидѣнное движеніе.

Теперь, задумавъ прогулку по озеру, она живо одѣлась и торопила брата. Тотъ нѣсколько разъ потянулся, прежде чѣмъ начать собираться. Потомъ онъ позвонилъ слугу и приказалъ заложить коляску. Но сестра вдругъ заволновалась и настойчиво принялась уговаривать брата идти до лодокъ пѣшкомъ.

— Ты желаешь пѣшкомъ? Мнѣ все равно... Иванъ, не надо закладывать!

Они отправились по заводскимъ улицамъ внизъ къ берегу озера, гдѣ стояли лодки. По дорогѣ встрѣчные подобострастно раскланивались съ главнымъ управляющимъ и его сестрой. Онъ едва замѣчалъ эти поклоны; она стыдилась за

такое всеобщее вниманіе къ ней и поспѣшно улыбалась на поклоны. Въ одномъ переулкѣ, ихъ встрѣтилъ нищій и запѣлъ заученную пѣсню. Ольга Александровна заволновалась, смущенно прося брата что-нибудь подать нищему. Братъ лѣниво вынулъ изъ жилета какую-то монету и бросилъ ее нарочно трясущемуся человѣку.

— На косушку этого тебѣ довольно,—сказалъ онъ.

— Развѣ онъ пропьетъ?—спросила быстро сестра, когда они уже отошли отъ нищаго.

— Я думаю. Развѣ тебѣ не все равно? Странный народъ эти благотворители: подадутъ пятакъ и требуютъ, чтобъ онъ былъ истраченъ по ихъ собственному усмотрѣнію! Да развѣ вообще не все равно, пропьетъ онъ пятакъ или проѣстъ?

Сестра видѣла, что братъ брюзжитъ, и замолчала. Они уже спускались къ берегу озера. Прямо передъ ними стояла купальня, а по всему побережью колыхались на водѣ ялики; между ними не было, однако, заводской лодки съ флагомъ. Управляющій искалъ глазами сторожа, а Ольга Александровна осматривала дальнія горы, освѣщенныя разнообразными тѣнями. Стояла мертвая тишина. Поверхность озера какъ бы застыла и въ водахъ его ясно отражались силуэты ближайшихъ острововъ.

Замѣтивъ управляющаго, сторожъ купальни побѣжалъ къ берегу и сталъ боязливо объяснять, почему не оказалось заводскаго ялика. Хмурый видъ управляющаго привелъ его въ такое смятеніе, что онъ принялся безцѣльно метаться по берегу, словно надѣясь отыскать все-таки лодку, которой не было близко, какъ онъ отлично зналъ.

— Пойдемъ, возьмемъ лодку у Андрея Пыхтина,—предложила вдругъ сестра и братъ кивнулъ головой въ знакъ согласія.

Они пошли вдоль берега. Этотъ Пыхтинъ былъ знакомый имъ мастеръ-кустарь, занимавшійся, кромѣ слесарнаго мастерства, ловлей рыбы по праздникамъ и содержаніемъ лодокъ для гуляющихъ; послѣднія занятія явились благодаря тому, что домъ его стоялъ на берегу. Когда господа подошли къ дому, то никого внутри его не замѣтили: ни Андрея, ни жены его не было дома. Имъ пришлось долго ждать, причемъ Ольга Александровна нетерпѣливо ходила по песку,

срамиться!... Машину поставятъ на выставку и всѣ будутъ любопытствовать насчетъ ее... А, можетъ, и медаль выдадутъ. Тогда и мы поправимся... А ты лаешь по-собачьи! Поди лучше утрись, страмъ одинъ съ тобой!

На этотъ разъ жена присмирѣла и въ самомъ дѣлѣ поправила свой костюмъ въ ожиданіи господъ.

Солнце закатилось между двухъ горъ. Небо на западѣ вспыхнуло багровымъ пожаромъ; горы потемнѣли; поверхность озера приняла цвѣтъ свинцоваго блеска. Погода измѣнилась. Съ сѣвера подулъ вѣтерокъ, и озеро сморщилось отъ мелкой ряби. Холодная сырость пропитала воздухъ. Надвигалась ночь.

Вдали слышался громъ заводскихъ машинъ, прокатывавшихъ желѣзо, и гулъ доменной печи; изъ жерла послѣдней, какъ изъ вулкана, вылетали брызги огненныхъ искръ.

Братъ и сестра долго плыли впередъ. Они не говорили между собой. Онъ никогда первый не нарушалъ молчанія, а она задумалась. Ее сильно заинтересовалъ Пыхтинъ со своею „вѣчною машиной“; любопытство, жалость, сочувствіе, недовѣріе,—все это быстро промелькнуло въ ея душѣ по поводу страннаго человѣка.

— Послушай,—вдругъ печально заговорила она,—ты бы лучше отказался принять этотъ двигатель... Надъ нимъ насмѣются, и это принесетъ только одно страданіе ему... Вѣроятно, изъ-за своего изобрѣтенія онъ бросилъ домашнія дѣла, растратилъ послѣднія средства, а тогда еще больше обѣднѣетъ.

— Ты думаешь, если я откажу ему въ ея мѣстѣ на выставкѣ, онъ броситъ свою затѣю? Онъ упрямо будетъ продолжать заниматься ею,—возразилъ управляющій.

— По крайней мѣрѣ, онъ не испытаетъ боль насмѣшки.

— Смѣхъ—единственное лѣкарство отъ глупости.

Оба опять замолчали. Погода быстро измѣнялась. Вѣтеръ крѣпъ и дѣлался холоднымъ. Озеро волновалось. Волны уже сильно бились о каменные берега того острова, возлѣ котораго они держались. Не говоря ни слова, братъ повернулъ лодку назадъ.

— А странно, въ самомъ дѣлѣ... человѣчество, повидимому, никогда не броситъ этой мечты—создать вѣчный двигатель,—сказала вдругъ задумчиво Ольга Александровна.

— Человѣчество?—небрежно переспросилъ братъ.

— Ну, да, человѣчество... Люди никогда не бросятъ рѣшать неразрѣшимыя задачи.

Насмѣшливая улыбка заиграла на губахъ брата.

— Человѣчество?—съ преднамѣренною ироніей повторилъ онъ.—Такого объекта въ дѣйствительности не существуетъ. Человѣчество — это сбродъ звѣрей, мало похожихъ между собой, ненавистныхъ другъ другу и смертельно враждующихъ. Вѣрнѣе сказать, человѣчество состоитъ изъ множества различныхъ видовъ, которые пожираютъ другъ друга со бо̀льшимъ удовольствіемъ, чѣмъ различные виды животныхъ. Поистинѣ глупая иллюзія! Я встрѣчаю то и дѣло людей, между которыми такое же сходство, какъ между слономъ и крысой или какъ между обезьяной и поросенкомъ... Скажи на милость, что общаго между Спинозой и мѣнялой или между Бѣлинскимъ и живодеромъ?... Ахъ, ты вотъ кстати балуешься зоологіей,—вотъ тебѣ задача: займись-ка классификаціей... Какъ ты объ этомъ думаешь?

— Смѣяться можно надъ всѣмъ, — тихо прервала Ольга Александровна, на которую иронія брата каждый разъ нагоняла сильнѣйшій переполохъ.

— Я вижу, что ты принимаешь мое предложеніе. Очень радъ. Я, пожалуй, тебѣ помогу на первый случай. Сначала раздѣлимъ на классы. Первый классъ — *ползающіе*... Впрочемъ, я долженъ объяснить, что главнымъ естественнымъ признакомъ дѣленія я признаю личной уголъ, отлично совпадающій съ возростаніемъ мысли... Итакъ, *ползающіе*. Второй классъ — *малоголовые*. Третій классъ—*неполноголовые*. Четвертый классъ—*головобрюхіе*, многочисленные представители котораго играютъ довольно замѣтную роль въ духовной дѣятельности. Слѣдующій классъ—*хищные*, которымъ принадлежитъ настоящее: мысль ихъ уже страшно развита, но—она проявляется лишь ловкостью и размѣрами пожиранія. Слѣдующій классъ—*мыслящіе* и, наконецъ, послѣдній — *любящіе*; это уже примѣты человѣчества и, быть можетъ, имъ принадлежитъ будущее... Ты видишь, какъ постепенно главный признакъ дѣленія возростаетъ, а въ послѣднемъ классѣ мысль уже воплощается въ живые образы любви ко всему міру...

— Къ какому же классу принадлежитъ Пыхтинъ?—спросила Ольга Александровна, слабо улыбаясь.

— А! ты, я вижу, поняла меня? Отлично. Позволь мнѣ только окончить. Такъ называемыми міровыми задачами человѣчества занимаются только послѣдніе два класса. Они же поддерживаютъ и perpetuum mobile. Въ сущности, что такое вѣчный двигатель? Это—міръ, безпрерывно измѣняющійся, лишенный покоя, вѣчно двигающійся, и, чтобы создать вѣчный двигатель, надо только представить точную модель мірозданія. Впрочемъ, Пыхтинъ сумасшедшій. И я не знаю уже, къ какому классу его причислить. Между тѣмъ, я не могу сказать, чтобы идея вѣчнаго двигателя была безусловно нелѣпа... Пыхтинъ, чортъ его возьми, далъ худую лодку!

Управляющій вдругъ такъ выругался потому, что лодка наполнилась водой. Разговоръ мгновенно былъ забытъ, и все вниманіе брата и сестры вдругъ было поглощено течью въ лодкѣ и волнами на озерѣ. Въ тотъ моментъ, когда онъ думалъ высказать еще нѣсколько замѣчаній, выражавшихъ его презрѣніе къ людямъ, лодка сильно покачнулась, зачерпнула воды, и онъ забылъ обо всемъ. Небо покрылось свинцовыми тучами. Вѣтеръ уже порывами метался по поверхности озера и взволновалъ его въ нѣсколько мгновеній, избороздивъ его глубокими впадинами и высокими хребтами. Бѣлые лохмотья воды съ шумомъ крутились, лодка вертѣлась между ними и плохо слушалась веселъ управляющаго. Онъ бѣсился, потерявъ самообладаніе, — онъ бѣсился, когда лодка повертывалась въ другую сторону, а холодныя брызги мочили его лицо и одежду.

Наконецъ, лодка подъѣхала къ берегу. Ее схватилъ ожидавшій здѣсь Пыхтинъ и сильно потянулъ на песокъ, надѣясь, что сейчасъ будетъ произведенъ осмотръ его машины.

— Ну, братъ, придется, видно, отложить до завтра,—хмуро сказалъ управляющій. Слуги догадались прислать на берегъ коляску; онъ съ сестрой сѣлъ въ нее и уѣхалъ.

Пыхтинъ растерялся. Все время онъ ожидалъ ихъ возвращенія съ напряженнымъ нетерпѣніемъ, а теперь, когда они уѣхали, онъ вдругъ опустился. Понуро свѣсивъ голову, онъ поплелся въ избу.

Тучи совсѣмъ нависли, и черезъ минуту полилъ сильный дождь.

II.

Ремесло Пыхтину досталось отъ отца, считавшаго своимъ священнымъ долгомъ научить всѣхъ своихъ дѣтей дѣлать жестяныя ведра; другого наслѣдства Андрей не получилъ отъ родителей. Правда, побывалъ онъ въ уѣздномъ училищѣ, куда былъ отданъ собственно затѣмъ, чтобы „не мозолилъ глаза", не болтался дома, но черезъ полтора года со дня поступленія въ училище отецъ однажды рѣшительно сказалъ: „Будетъ, Андрюшка, учиться. Садись за ведра".

Съ той поры онъ и производитъ ведра. Внѣшняя жизнь его мало чѣмъ отличалась отъ жизни другихъ кустарей; въ свое время онъ женился, черезъ правильные промежутки крестилъ дѣтей и ежедневно дѣлалъ ведра. На подмогу себѣ онъ держалъ помощника, который обязанъ былъ въ продолженіе пяти дней работать, а въ воскресенье и понедѣльникъ имѣлъ право ложиться плашмя подъ заборомъ, предварительно подравшись съ кѣмъ-нибудь въ кабакѣ, но этотъ помощникъ не улучшалъ его матеріальнаго положенія. Пыхтинъ продолжалъ оставаться истиннымъ кустаремъ, не обезпеченнымъ, вѣчно угнетаемымъ нуждою.

Но за то внутренняя жизнь его рѣзко отличалась отъ всѣхъ другихъ жизней. Еще ребенкомъ это было нервное, безпокойное существо, одаренное пытливымъ умомъ. Училище дало ему нѣсколько клочковъ знаній, которые только раздражали его живую мысль. Во все онъ пытался вносить новизну, усовершенствованіе, одухотворяя самые мертвые предметы. Кажется, на что ужь глупая вещь—ведро, но и въ его устройство онъ внесъ нѣсколько улучшеній, измѣнялъ его форму, изобрѣталъ прочную окраску, примѣнялъ его къ житейскимъ удобствамъ. Но безпрерывно работающая фантазія его лишена была обильнаго и здороваго матеріала; не обладая знаніями, мысли его блуждали въ полутьмѣ, какъ въ густыхъ заросляхъ, растущихъ по болотамъ.

А, между тѣмъ, онѣ, мысли его, росли, переплетаясь между собой, и занимали все его существо. Современемъ взглядъ его круглыхъ глазъ сдѣлался безпокойнымъ, нервы —постоянно раздраженными, характеръ сталъ неровный, колебающійся отъ гнѣва къ безсилію, отъ воодушевленія къ

отчаянію. Не находя простора, творческія силы его растрачивались на ненужные поступки и безцѣльныя слова.

Ко всему этому прибавилась обстановка кустаря, бѣдная, часто унизительная. Чтò бы онъ ни думалъ и о чемъ бы ни мечталъ, но онъ всегда долженъ былъ помнить, что возлѣ него пять ртовъ, требующихъ удовлетворенія, что накормить ихъ онъ можетъ только ведрами и что каждый пропущенный имъ день отзовется сейчасъ же крикомъ ртовъ, бранью его Ксантиппы и отсутствіемъ обѣда. Однимъ словомъ, свободнаго времени для любимыхъ занятій у него не было. Чтобы завоевать время для умственной работы, онъ долженъ былъ надѣлать слѣдующихъ дѣлъ: усмирить еловымъ полѣномъ ругань жены, надрать уши надоѣдавшимъ дѣтямъ или совсѣмъ расшвырять ихъ по двору, побить нѣсколько предметовъ изъ домашней утвари и захлопнуть дверь,—только послѣ такой расчистки почвы для умственной работы онъ могъ часа на два отдаться чертежамъ.

Съ теченіемъ времени раздражительность его стала проявляться уже безъ всякаго порядка. Всегда задумчивый, онъ приходилъ въ неистовое раздраженіе каждый разъ, когда кто-нибудь изъ домашнихъ надоѣдалъ ему, отвлекая его отъ мыслей. Внѣ себя отъ гнѣва, онъ тогда совершалъ нѣсколько неистовствъ и убѣгалъ изъ дому, чаще всего въ трактиръ. Тамъ онъ успокоивалъ себя нѣсколькими глотками водки и затѣмъ передъ собравшеюся публикой одушевленно разсказывалъ о своихъ изобрѣтеніяхъ, причемъ всегда оказывалось, что онъ уже изобрѣлъ одну машину, представилъ ее высшему начальству и получитъ скоро золотую медаль, а также двѣ тысячи рублей; впрочемъ, онъ получалъ и по десяти тысячъ, потому что наболѣвшее самолюбіе не въ состояніи удовлетвориться небольшими размѣрами.

Чѣмъ больше заростала его живая мысль, чѣмъ длиннѣе становился рядъ неудачъ, тѣмъ больнѣе становилась его недюжинная душа. На заурядную, однообразную жизнь мастера ведеръ онъ уже не былъ способенъ, а другой жизни онъ не могъ добиться, и потому день ото дня дѣлался все болѣе безпорядочнымъ человѣкомъ. Онъ переходилъ отъ одной крайности къ другой: то падалъ ниже пропасти, то вдругъ проявлялъ необычайную энергію, то дѣлался слабѣе ребенка.

Иногда онъ по цѣлому мѣсяцу ночевалъ въ лужахъ, вымазанный грязью, покрытый синяками, которые испещряли его лицо подобно бронзовымъ медалямъ, выдаваемымъ на выставкахъ за плохія произведенія. За этимъ паденіемъ слѣдовалъ безконечный стыдъ, тогда онъ съ страшною энергіей всѣхъ нервныхъ людей за какой-нибудь мѣсяцъ исправлялъ всѣ недостатки дома, производилъ невѣроятное количество ведеръ, расплачивался со всѣми долгами и зашибалъ много денегъ, отдавая всѣ ихъ женѣ.

Но когда порывъ стыда и раскаянія проходилъ, онъ вдругъ начиналъ неизвѣстно о чемъ тосковать. Темная грусть овладѣвала всѣмъ его существомъ, и онъ, тревожный, покидалъ домъ, чтобы бродить по горамъ съ ружьемъ или по островамъ съ удочками, бродилъ онъ тамъ одинъ, по нѣскольку дней никого не видя.

Среди такихъ крайностей въ заросшую соромъ голову его пала мысль о вѣчномъ двигателѣ. Существованіе этого вопроса онъ зналъ изъ клочковъ, какими подарила его наука уѣзднаго училища. Мысль глубоко заняла его, но онъ не зналъ, какъ воспользоваться ею; о невозможности же осуществить ее онъ нисколько не думалъ. Напротивъ, его могла удовлетворить теперь только поразительно огромная идея, которая ударила бы прямо въ сердце и вызвала тысячи искръ изъ засоренной головы.

Съ годъ онъ блуждалъ въ этомъ направленіи.

Наконецъ, однажды, постукивая по ведру молоткомъ, онъ вдругъ выронилъ на полъ и молотокъ, и ведро, всталъ, взволнованный, съ мѣста и задумчиво смотрѣлъ въ одну, невидимую въ пространствѣ точку. Постоявъ немного, онъ, какъ лунатикъ, вышелъ на дворъ, со двора на улицу, прямо на берегъ озера, отсюда въ лодку и на лодкѣ поплылъ къ большому каменному острову, высоко поднимавшему изъ воды свои дикія гранитныя глыбы, межъ щелей которыхъ росло нѣсколько кривыхъ сосенъ. Выйдя на берегъ, онъ принялся чертить палкой на пескѣ эскизъ машины. Онъ твердою рукой водилъ палкой и скоро контуры perpetuum mobile ясно обрисовались на отлогомъ берегу. Кончивъ главную работу, онъ сталъ другою палочкой рисовать болѣе мелкія части; тогда на пескѣ появилась сложная ткань линій и круговъ,—рисунокъ былъ готовъ.

Вскорѣ затѣмъ онъ сѣлъ въ лодку и поплылъ домой, сдерживая восторгъ, овладѣвшій его душой.

Съ этого дня, въ продолженіе года, онъ не переставалъ работать надъ своимъ изобрѣтеніемъ. Исполняя его, онъ, какъ истинный кустарь, обтяпалъ его топоромъ. Обыкновенныя домашнія дѣла онъ выполнялъ механически, весь погруженный въ дѣланіе машины. Это были лучшіе дни его жизни. Любовь и счастье впервые посѣтили его, и жизненный путь его ярко былъ освѣщенъ. Онъ пересталъ раздражаться, бросилъ пить, сдѣлался кроткимъ со всѣми. Даже жена не могла взбѣсить его, даже тупой Максимъ, послѣдній его помощникъ, не выводилъ его больше изъ терпѣнія своею глупостью.

Только къ своему изобрѣтенію онъ былъ чутокъ, и малѣйшее замѣчаніе насчетъ его годности могло смертельно оскорбить его.

III.

На другой день къ домику Пыхтина подъѣхала коляска, въ которой сидѣли управляющій и сестра его. Пыхтинъ съ ранняго утра поджидалъ ихъ и теперь встрѣтилъ ихъ у воротъ, улыбающійся, но, видимо, взволнованный мыслью предстоящаго испытанія.

— Ну, Андрей Петровичъ, показывай намъ свою выдумку,—сказалъ управляющій, перешагивая черезъ порогъ калитки подъ руку съ сестрой. Послѣдняя сильно была возбуждена, и взоръ ея съ нескрываемымъ удивленіемъ переходилъ съ предмета на предметъ незнакомой для нея обстановки мастера. Замѣтивъ, что изъ окна домика глазѣютъ на дворъ ребятишки, а изъ-за дверного косяка подсматриваетъ жена Пыхтина, она внезапно сконфузилась.

— Вы побезпокойтеть вотъ сюда... она у меня подъ сараемъ стоитъ... Ужь извините, грязновато тамъ, да поставить-то некуда больше,—говорилъ Пыхтинъ и повелъ гостей подъ сарай.

Пройдя, сильно нагнувшись, дверь сарая, всѣ трое очутились въ полутемномъ помѣщеніи съ землянымъ поломъ и остановились: прямо передъ ними стояла странная машина большихъ размѣровъ, съ перваго взгляда похожая на тотъ станокъ, въ которомъ подковываютъ лошадей; виднѣлись

плохо отесанные деревянные столбы, перекладина и цѣлая система колесъ, маховыхъ и зубчатыхъ; все это было неуклюже, не оструганo, безобразно. Въ самомъ низу подъ машиной лежали какіе-то чугунные шары; цѣлая куча этихъ шаровъ лежала и въ сторонѣ.

Прошла незамѣтно для всѣхъ троихъ минута молчанія.

— Это она и есть?—спросилъ управляющій, ткнувъ пальцемъ въ хитрую постройку.

— Она-съ...

— Какое чудовище!... Ты бы хоть немного обтесалъ ее.

Нельзя было подмѣтить, смѣется управляющій или нѣтъ,— на его лицѣ не было ничего опредѣленнаго. Но сестрѣ не понравился его тонъ; со свойственною ей чудкостью она понимала, какою болью отзывается на Пыхтинѣ каждая двусмысленность; ей стало больно. Странное сходство было между этими двумя людьми, такъ удаленными другъ отъ друга соціальными перегородками. Нервный, теперь взволнованный Пыхтинъ, съ постоянно мѣняющимся выраженіемъ лица, могъ бы быть истиннымъ братомъ этой подвижной и вѣчно-тревожной барыни,—это были родные. Впрочемъ, Пыхтину некогда было въ эту минуту слѣдить за доброю барыней, но за то послѣдняя чутко слушала его, безусловно понимая каждую тѣнь его лица. И когда братъ ея небрежно произнесъ свои слова, она какъ-то съежилась и взглянула на мастера, глубоко чувствуя, какъ тому больно.

— Да, она, точно... не отесана малость,—возразилъ Пыхтинъ.—Но для чего и стараться-то? Вы ужь не смотрите на нее больно сурьезно... Такъ себѣ, шутка вѣдь!—и, говоря это, Пыхтинъ пытался насмѣшливо взглянуть на свое неуклюжее дѣтище, но вся встревоженная фигура его противорѣчила такому намѣренію. И Ольга Александровна опять поняла это.

— Что же, вертится она?—продолжалъ управляющій.

— Какъ же, вертится...

— Да у тебя есть лошадь, чтобы вертѣть-то ее?

— Зачѣмъ же лошадь? Она сама,—отвѣчалъ съ улыбкой Пыхтинъ, глотая колкость, и принялся показывать устройство чудища.

Главную роль играли тѣ чугунные шары, которые сло-

жены были тутъ же въ кучу. Для перваго раза надо было съ розмаху ударить такимъ шаромъ въ одинъ изъ черпаковъ, прикрѣпленныхъ на окружности маховаго колеса, и машина начнетъ двигаться; затѣмъ остается только въ свое время и на свои мѣста подложить остальные шары—и механизмъ будетъ совершать безпрерывное круговращеніе. Объясняя устройство машины, Пыхтинъ разгорячился и одушевленно говорилъ. Ольга Александровна слѣдила за каждымъ его словомъ.

— Главная сила въ этихъ вотъ шарахъ... Вотъ глядите: наперво онъ буцнется на этотъ черпакъ... отсюда свистнетъ, подобно молніи, вонъ по этому желобу, а тамъ его поддѣнетъ тотъ черпакъ и онъ перелетитъ, какъ сумасшедшій, на то колесо, и опять дастъ ему хорошаго толчка,—такого, то-есть, толчка, отъ котораго онъ зажужжитъ даже... А пока этотъ шаръ летитъ, тамъ ужь свое дѣло дѣлаетъ другой... Тамъ ужь онъ опять летитъ и—буцъ вотъ сюда. Тутъ ужь онъ опять по желобу летитъ... бросится на тотъ черпакъ, перескочитъ на то колесо и опять р-разъ! Такъ и далѣе. Вотъ она въ чемъ штука-то...

Кончивъ объясненіе, Пыхтинъ съ пылающимъ лицомъ сталъ перебирать шары.

— Что же, ты пробовалъ пускать?

— Пускалъ.

— Вертится?

— Страсть какъ! Жужжитъ даже... Я сейчасъ...

— А голову не оторветъ?—лѣниво спросилъ управляющій, и въ первый разъ на углахъ его губъ проскользнула усмѣшка. Сестра съ гнѣвнымъ укоромъ взглянула на него.

— Помилуйте! Ходъ у ней правильный. Вреда она не сдѣлаетъ... Вотъ я, Господи благослови, пущу ее...

Пыхтинъ торопливо метался по сараю, собирая разбросанные шары. Наконецъ, сваливъ ихъ въ одну кучу подлѣ себя, онъ взялъ одинъ изъ нихъ въ руку и съ розмаху бухнулъ его на ближайшій черпакъ колеса, потомъ быстро подхватилъ другой, за нимъ третій... Въ сараѣ поднялось что-то невообразимое; шары лязгали о желѣзные черпаки, дерево колесъ скрипѣло, столбы стонали. Адскій свистъ, жужжаніе, скрежетъ наполнили полутемное мѣсто... Но творецъ этого чудовища ничего не слыхалъ; онъ стоялъ возлѣ вер-

тящихся колесъ съ шарами въ рукахъ и съ пылающимъ лицомъ смотрѣлъ на кружившуюся систему, которая не останавливалась, какъ бы повинуясь нравственной силѣ стоявшаго подлѣ нея создателя. Лицо Ольги Александровны, за минуту передъ тѣмъ сомнѣвавшейся въ возможности движенія, теперь озарилось радостью.

— Вотъ дьявольское изобрѣтеніе! И какъ это тебѣ пришло въ голову выдумать такого звѣря? — сказалъ раздраженно управляющій, выведенный изъ себя свистомъ и лязгомъ.—Ну его къ чорту, останови!—попросилъ онъ.

Черезъ нѣсколько минутъ Пыхтинъ остановилъ движеніе, но продолжалъ стоять возлѣ машины. Лицо его свѣтилось гордостью.

— Чортъ знаетъ, какая нелѣпость! Хорошо еще, что это чудовище не въ состояніи долго вертѣться!—проговорилъ какъ бы про себя управляющій и вынулъ записную книжку.

— Какъ, неужели движеніе скоро остановилось бы?—воскликнула Ольга Александровна и взглянула на Пыхтина. Послѣдній безпокойно устремилъ глаза на управляющаго.

Управляющій не отвѣчалъ, продолжая писать, и только когда кончилъ, то выговорилъ:

— Да, было бы ужасно, еслибы эта деревянная скотина могла долго вертѣться! Къ счастью, достаточно, чтобы одинъ шаръ свалился, и скотина потеряетъ всякую способность къ движенію... Впрочемъ, вотъ тебѣ листокъ; ты его подай одному изъ распорядителей, и тебѣ позволятъ поставить...

Сказавъ это, управляющій вырвалъ листокъ изъ записной книжки, подалъ его остолбенѣвшему Пыхтину и направился къ выходу. Ольга Александровна торопливо пожала руку мастеру и бросилась за братомъ съ такою поспѣшностью, словно здѣсь, подъ сараемъ, она потерпѣла пораженіе. Ей было больно за Пыхтина. А послѣдній все стоялъ на мѣстѣ и сильно упалъ духомъ; лѣниво брошенныя слова вдругъ открыли ему убійственный недостатокъ его машины. И еще многое онъ вдругъ замѣтилъ и затосковалъ.

Тѣмъ временемъ братъ и сестра ѣхали въ коляскѣ домой. Ольга Александровна была недовольна грубостью брата, и ея лицо носило слѣды раздраженія. Она долго не говорила

— Какой онъ несчастный!—наконецъ, сказала она.

Братъ промолчалъ.

— Но онъ совсѣмъ упадетъ духомъ; ты, право, лучше бы отговорилъ его показываться на выставку, — издѣваться будутъ...

— Зачѣмъ? — возразилъ братъ. — Обдумывая такое чудовище, онъ все-таки нѣсколько лѣтъ жилъ облагороженный, зачѣмъ же я лишу его такого счастія? Имъ оно не часто выпадаетъ. Скучна и безсмысленна ихъ жизнь... Умъ молчитъ, всѣ духовныя потребности заглушены однообразною, нелѣпою работой... Положимъ, онъ дѣлаетъ топоръ... всю жизнь топоръ дѣлать, милліоны топоровъ! Тупое затменіе, нелѣпая жизнь. Удовольствій и развлеченій у него также нѣтъ. Придетъ праздникъ—въ кабакъ. Напьется, упадетъ носомъ въ грязь, пуская пузыри... А на завтра опять топоръ. Вѣчный, неумолимый, до самой смерти топоръ. А этотъ, по крайней мѣрѣ, испыталъ человѣческую жизнь... узналъ чарующую привлекательность созданія, гордость побѣды, очаровательность чистой мысли... Ну, и пусть... Кстати, я уже распорядился принять его на заводъ.

Кончивъ такъ неожиданно, онъ отвернулся и осматривалъ далекія окрестности. Ольга Александровна изумленно посмотрѣла на него и хотѣла пожать ему руку, но этотъ порывъ не былъ приведенъ въ исполненіе, потому что управляющій уже не обращалъ вниманія на то, что происходитъ рядомъ съ нимъ.

Такой характеръ брата всегда изумлялъ сестру. Всегда неприступный и холодный, онъ часто говорилъ и дѣлалъ не дурно... во всякомъ случаѣ, не былъ совсѣмъ равнодушнымъ. Много было напускного въ его презрительномъ скептицизмѣ. Въ дѣйствительности чуткій, онъ старался казаться безучастнымъ; безпокойный, онъ хотѣлъ казаться апатичнымъ; по природѣ мягкій, онъ желалъ казаться озлобленнымъ. Всю жизнь онъ стремился не походить на себя. Онъ воспитывался въ той средѣ напускного приличія, гдѣ всякій порывъ откровенности и правдивости считается неотесанностью, и потому онъ ненавидѣлъ себя, когда обнаруживалъ волненіе. Онъ не могъ простить себѣ, если приходилось отъ чего-нибудь растеряться; и еслибы кто-нибудь подмѣтилъ, какъ онъ плакалъ надъ однимъ письмомъ сестры, оскорбленной негодяемъ, то онъ умеръ бы отъ стыда и злости на себя.

Вообще, быть добрымъ очень смѣшно, по его мнѣнію; онъ, наоборотъ, любилъ казаться безпощаднымъ.

Съ перваго раза онъ оцѣнилъ Пыхтина и рѣшился чѣмъ-нибудь помочь ему. Объ его честности онъ раньше зналъ, теперь же онъ убѣдился въ его недюжинности и распорядился дать ему мѣсто на заводѣ. Такимъ способомъ онъ желалъ дать выходъ неутомимой изобрѣтательности кустаря. Но, высказавъ свое рѣшеніе сестрѣ, онъ боялся показаться сантиментальнымъ.

IV.

Посреди обширнаго двора выставки играла музыка. Недалеко слышался шумъ водопада, брызги котораго радужнымъ туманомъ играли на солнцѣ. Солнце ярко освѣщало пеструю картину выставки: павильоны, цвѣты, разодѣтыхъ дамъ, толпу посѣтителей. Мужчины околачивались больше около ресторана и, только побывавъ тамъ, толкались возлѣ витринъ.

Пыхтинъ потерялся среди толпы и бродилъ, какъ во снѣ.

Въ первые дни онъ обѣжалъ всю выставку, на все взглянулъ, но внѣшній блескъ предметовъ и людей смутно отпечатлѣлся на его сосредоточенной душѣ. На свою машину, запрятанную гдѣ-то въ темномъ углу, онъ только разъ взглянулъ и отошелъ прочь, стыдясь даже близко подходить къ ней. Его вниманіе было обращено на груды чужихъ машинъ, повсюду блестѣвшихъ стальнымъ отливомъ. Нѣкоторыя онъ сейчасъ же разобралъ, передъ другими останавливался въ изумленіи, пораженный ихъ сложнымъ устройствомъ. Но всѣ онѣ произвели на него угнетающее дѣйствіе. Чистота, блескъ, вложенное въ нихъ остроуміе почти оскорбляли его; онъ сравнилъ ихъ со всѣмъ тѣмъ, что самъ думалъ и производилъ, и совершенно упалъ въ своемъ собственномъ мнѣніи.

Но въ особенности онъ былъ подавленъ огромною массой никогда невиданныхъ имъ и непонятныхъ вещей. Его давило это безконечное множество предметовъ, о которыхъ онъ ничего не зналъ, а смотря на нихъ теперь, ничего не въ силахъ былъ понять. Для такихъ же мыслящихъ натуръ, какъ онъ, непониманіе равносильно смерти. Привыкнувъ отдавать себѣ отчетъ во всемъ, онъ теперь, среди такого разнообразія непонятныхъ вещей, чувствовалъ себя безсиль-

нымъ и глупымъ. Мысль его билась непрерывнымъ пульсомъ, а теперь, передъ пестрою и блестящею кучей разнородныхъ предметовъ, собранныхъ изъ неизвѣстныхъ странъ, она какъ будто остановилась.

Бездушный и безсмысленный, онъ робко ходилъ по выставкѣ, стараясь не обращать ничьего вниманія. Онъ сильно опустился. Такая слабость на него нашла, что онъ по цѣлому часу часу сидѣлъ гдѣ-нибудь въ полутемномъ углу и не могъ пошевелиться съ мѣста. И страшная тоска на него напала. Цѣлый невѣдомый міръ людскихъ дѣлъ вдругъ представился ему въ одной волшебной картинѣ, но этотъ міръ былъ чужой ему; онъ его не понималъ, и чужой здѣсь былъ.

Отъ этой слабости онъ нѣсколько оправился тогда, когда сталъ осматривать родныя и понятныя ему вещи своего же брата, захолустнаго мастера. Его вниманіе, главнымъ образомъ, обращено было на изобрѣтенія и „выдумки“. Здѣсь онъ осмысленно все осмотрѣлъ и перезнакомился съ экспонентами. Народъ все рабочій, темный. На выставку они попали прямо изъ-за печки, подобно сверчкамъ, и, очутившись среди чуждаго имъ освѣщенія, чувствовали себя въ высшей степени не ладно; боязливый взглядъ ихъ какъ бы говорилъ: „А что, не погонятъ насъ по шеѣ отсюда?“ Ихъ изобрѣтенія также были затѣяны не ладно, невпопадъ, было ясно, что творцы ихъ начали думать не съ того конца. Кромѣ того, подѣлки ихъ поражали небрежностью.

Осматривая эти подѣлки, Андрей Пыхтинъ внимательно разбиралъ ихъ устройство и насмѣшливо качалъ головой.

— Одно слово—наши! Издали еще примѣтишь, что наши это глупости!—сказалъ онъ однажды въ кучкѣ собратьевъ изобрѣтателей.

— Да, ужь это вѣрно Издали примѣтно, которая наша... Сейчасъ примѣтишь. Потому какъ только, Господи благослови, взглянулъ на нее, такъ и покатился со смѣху,—отвѣтилъ одинъ изъ кустарей, веселый малый.

Въ кучкѣ многіе засмѣялись. Иронія къ самимъ себѣ давно уже созрѣла у всѣхъ.

— Инструмента мы не любимъ—вотъ отчего, надо такъ думать,—прибавилъ кто-то.

— Инструментъ у насъ отъ Бога, а другого мы не лю-

бимъ. Первое дѣло—топоръ, очень мы его уважаемъ... Гдѣ топоръ не возьметъ—зубы. Третье дѣло—ногти... Вотъ и весь нашъ инструментъ.

— И башка еще, чай,—поправилъ кто-то.

— Башка сама собой!... Первый инструментъ!

— У иного страсть какая толстая башка!—замѣтилъ съ веселою улыбкой веселый малый.—А все ни къ чему... нѣтъ ей, башкѣ, назначенія...

— Ни къ чему, ей-Богу! Потому я такъ думаю, что, ничему ни учимшись, ничего не видамши, съ одною толстою башкой все равно некуда... Сколько ни мотай ей, а все ни къ чему.

— Нѣтъ, вотъ вы послушайте, что я вамъ скажу,—началъ опять веселый малый, приготовляясь сказать что-то забавное.—Срамъ одинъ! Ужь я просился, чтобы выпустили меня отсюдова—нѣтъ, не пускаютъ!... Совѣстно даже въ глаза глядѣть... А вѣдь дома-то какъ о себѣ думалъ... и не подступайся! Какъ, молъ, покажусь со своею вещью, такъ всѣ и ахнутъ. На, скажутъ, тебѣ золотую медаль за выдумку и, ради Бога, больше не выдумывай... Я вотъ свою-то подлость ужь подъ скамью запряталъ, чтобъ не смѣялись, — такъ нѣтъ, вытаскиваютъ и изъ-подъ скамьи, обсматриваютъ!... Ну, мочи моей нѣтъ! Вчерась я ужь ее, машинку-то мою, накрылъ тазомъ... Съ тазами тутъ кто-то около меня стоитъ... Сиди, говорю, милая, тутъ подъ тазомъ и не показывайся,—такъ нѣтъ, пришли какіе-то господа, открыли тазъ, вытащили ее оттуда и давай ее по всѣмъ косточкамъ... Завтра хочу ее посадить въ мѣшокъ и въ воду...

— А какъ пымаютъ?—спросилъ кто-то тѣмъ же тономъ.

— Ну, тогда ужь и не знаю, что мнѣ дѣлать съ ей... Развѣ нечаянно сѣсть на нее... да живучая больно, не разломаешь!

Разскащикъ смѣялся; смѣялись добродушно и другіе надъ собой; это былъ честный смѣхъ русскаго человѣка, умѣющаго иронически отнестись къ своимъ слабымъ сторонамъ, а подчасъ жестоко оплевать себя. Но что стоилъ этотъ смѣхъ честнымъ кустарямъ, одному Богу извѣстно. Видно, не разъ каждому изъ нихъ приходилось бороться съ овладѣвающею грустью.

Пыхтинъ также улыбался, слушая разговоръ. Только о-

своей машинѣ онъ ничего не сказалъ. Этотъ разговоръ, однако, перевернулъ его настроеніе. Въ началѣ выставки растерявшійся отъ своей горькой неудачи, онъ теперь быстро оправился отъ удара и съ обычною стремительностью бросился изучать поразившіе и непонятные для него предметы. Но это была только новая форма энергіи, заключенной въ немъ.

Половину дня онъ проводилъ на заводѣ, а другую половину—на выставкѣ. Здѣсь онъ неустанно разбиралъ хитрые механизмы, невѣдомые двигатели. Когда ему не удавалось собственными силами разобраться въ сложномъ устройствѣ, онъ настойчиво приставалъ къ знающимъ людямъ. Усвоивъ одно, онъ принимался за другое. Скоро онъ могъ отдать себѣ отчетъ въ каждой мелочи, которую встрѣтилъ, и понялъ все, что еще недавно давило его сложностью.

Но не однѣ машины его интересовали. Изучивъ ихъ всѣ, онъ съ такою же пытливостью принялся осматривать и другія вещи, разспрашивая обо всемъ, что самъ не въ силахъ былъ уразумѣть. Онъ какъ-то просвѣтлѣлъ весь; знанія его расширились. Черезъ мѣсяцъ пестрый базаръ, представляемый выставкой, не поражалъ уже его разнообразіемъ; онъ освоился съ нимъ и внутренно привелъ его въ порядокъ.

Вслѣдъ затѣмъ онъ вдругъ исчезъ съ выставки и отдался весь заводу, гдѣ уже занималъ порядочное мѣсто. Управляющій, незамѣтно слѣдившій за нимъ, удивился этой внезапной перемѣнѣ и, встрѣтивъ его однажды, спросилъ:

— Развѣ не ѣздишь больше на выставку?

— Нѣтъ, ужь будетъ!—возразилъ Пыхтинъ.

— А какъ же твоя машина?

— Машина?—задумчиво переспросилъ Пыхтинъ и долго ничего не отвѣчалъ. Онъ какъ будто припоминалъ что-то изъ далекаго прошлаго, которое уже не возвратится.

— Ну ее къ шуту!—вдругъ сказалъ онъ съ энергіей.

— Не нужно бы было выставлять...

— Прикажите ужь изрубить ее на дрова!—сказалъ Пыхтинъ и сильно покраснѣлъ.

Управляющій холодно пожалъ плечами.

— Къ сожалѣнію, выставка не отопляется. Тепло и такъ.

Сказавъ это, онъ отвернулся и уѣхалъ. Но на самомъ дѣлѣ онъ былъ радъ, что Пыхтинъ такъ дешево отдѣлался

отъ своей идеи, сводившей многихъ въ могилу. Съ этого дня онъ высоко оцѣнилъ своего новаго служащаго, понявъ, какая богатая энергія у этого бѣдняка и какъ безконечно онъ силенъ.

Въ непродолжительное время Пыхтинъ отдался всею душой заводу, который далъ выходъ его стремленіямъ. Сначала нѣсколько недѣль онъ все тамъ осматривалъ, обдумывалъ, наблюдалъ. Оставаясь на заводѣ съ нѣсколькими служащими во время шабаша, онъ пытливо изучалъ всѣ мелочи заводской дѣятельности, разспрашивая товарищей и подчиненныхъ. Затѣмъ въ немъ зароились планы работъ и усовершенствованій. На ряду съ этимъ онъ читалъ много книгъ, находящихся въ распоряженіи у одного техника.

Когда въ неунывающей головѣ его зароились планы, онъ сталъ, сначала робко, потомъ болѣе рѣшительно, сообщать ихъ управляющему при всѣхъ встрѣчахъ. Но, не удовлетворяясь этими встрѣчами, онъ разъ осмѣлился проникнуть въ самое жилище магната и, ласково встрѣченный, пустился съ волненіемъ выкладывать все, что замѣтилъ. Онъ замѣтилъ лѣнь, недобросовѣстность, воровство. Затѣмъ онъ подробно сталъ объяснять все, о чемъ онъ передумалъ за это время. Управляющій равнодушно слушалъ, но не останавливалъ.

— Дайте мнѣ побольше работы!

— Развѣ у тебя мало ея?—спросилъ управляющій.

— Какая же это работа? Пустяки. Дайте, ради Бога!

— Хорошо, Андрей Петровичъ, мы еще съ тобой сладимся, а ты пока не горячись. Все успѣемъ сдѣлать,—такъ говорилъ управляющій, провожая Пыхтина, и тутъ же рѣшилъ, что онъ дастъ ему повышеніе, чтобы еще болѣе расширить кругъ его дѣятельности.

Къ сожалѣнію, неожиданная случайность разбила и это намѣреніе управляющаго, и мысли Пыхтина, да и самого Пыхтина. А, можетъ быть, это не была случайность? Вѣдь русскій человѣкъ всѣ свои силы убиваетъ на поиски развитія, а на самую жизнь у него нѣтъ уже силъ...

Занятый всецѣло своими новыми планами, поглощенный внутреннею работой, происходившей въ немъ, онъ сталъ страшно разсѣяннымъ. Еще среди толпы или дома, охлаждаемый присутствіемъ людей, онъ на минуты сбрасывалъ съ себя овладѣвшую имъ задумчивость, но внѣ своей семьи,

въ особенности, когда ему приходилось оставаться съ немногими служащими во время перерыва работъ, онъ совершенно отдавался во власть мечтамъ. Свистъ и грохотъ машинъ только еще болѣе возбуждали его; задумчивый, онъ бродилъ между вертящимися механизмами и не думалъ о томъ, гдѣ онъ и что съ нимъ.

Однажды, бродя въ глубокой разсѣянности по заводскому зданію, онъ незамѣтно подошелъ близко къ одному чугунному колесу со стальными пальцами, тяжело разсѣкавшими воздухъ. Молодой дежурный рабочій замѣтилъ его и обомлѣлъ отъ ужаса: недалеко отъ колеса вчера выломалась доска, и ее не успѣли задѣлать. Замѣтивъ, что Пыхтинъ подошелъ къ этому мѣсту на полу, онъ хотѣлъ ему крикнуть, но не могъ, вдругъ потерявъ голосъ. Пыхтинъ, между тѣмъ, шагнулъ къ сломанной половицѣ... Это было мгновеніе. Одинъ изъ стальныхъ пальцевъ ударилъ его, подхватилъ, подбросилъ вверхъ и грохнулъ на полъ уже исковерканнымъ.

По заводу пронесся страшный крикъ молодого рабочаго. Сбѣжались другіе рабочіе и служащіе и столпились около разбитаго товарища. Прискакалъ управляющій, но обыкновенно холодное лицо его судорожно сжалось и слезы текли по его щекамъ. Но онъ рѣзкимъ голосомъ дѣлалъ распоряженія. Пригласили фельдшера. У Пыхтина былъ разбитъ позвоночный столбъ, перебиты ноги.

Но онъ ни на минуту не потерялъ сознанія, только удивленно смотрѣлъ вокругъ себя. Его положили на носилки и отнесли домой.

Туда пріѣхала сію же минуту и Ольга Александровна и съ ужасомъ смотрѣла на это изорванное тѣло. Пыхтинъ продолжалъ пытливо осматриваться и думать о чемъ-то. Онъ не могъ говорить, но сознательно смотрѣлъ на жену, на дѣтей, на Ольгу Александровну и на рабочихъ, столпившихся у порога въ домѣ. Онъ смотрѣлъ изъ окна, около котораго лежалъ, на озеро, на острова, на дальнія горы. Но вдругъ онъ съ смертельнымъ удивленіемъ повелъ глазами вокругъ себя; онъ увидѣлъ, что стѣна дома заходила вокругъ него, острова перевернулись, съ грохотомъ падая въ воды озера, небо надвое раскололось и потемнѣвшее солнце полетѣло съ высоты въ разверстую пропасть...

Сочиненіе Чернова.

(Разсказъ).

Теперь уже нѣтъ въ С. воскресной школы, которою нѣкогда завѣдывалъ передовой кружокъ этого города. Почему она прекратилась — неизвѣстно; сколько пользы принесла — также неизвѣстно. Можно только сказать, что школа каждый праздникъ наполнялась народомъ всякихъ возрастовъ и состояній. Бородатые мужчины, безусые юноши, старыя женщины, молодыя дѣвушки, мѣщане, крестьяне, фабричные, не исключая кучеровъ и водовозовъ,—много людей перебывало въ школѣ. Чѣмъ двигались эти, разнообразныхъ положеній люди, идя учиться грамотѣ—опредѣленно на это трудно отвѣтить, ибо каждый праздникъ составъ мѣнялся; одни, нѣсколько разъ побывавъ, больше не показывались, но на ихъ мѣстѣ появлялись другія лица, которыя, въ свою очередь, также безслѣдно пропадали, не оставивъ послѣ себя даже имени.

Больше всѣхъ учились двое, рѣшившіеся, повидимому, выучиться всему, что могла дать школа. Одинъ былъ мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, изъ мелочной лавки; другой—крестьянинъ, но съ видомъ настолько загадочнымъ, что онъ сильно выдѣлялся изъ пестрой школьной толпы. Просидѣлъ онъ въ школѣ очень долго, такъ что его всѣ знали: учителя, сторожа, хозяева дома, гдѣ помѣщался классъ, хозяева сосѣднихъ домовъ и большая часть посѣтителей-учениковъ. Имя его было Черновъ, человѣкъ уже пожилой, судя по огромной лысинѣ на его головѣ; лицо его было уже изборождено морщинами; глаза

его отъ времени стали безцвѣтными и круглыми, и корявые пальцы показывали, что онъ не переставалъ отправлять самыя грубыя работы. Эти черные пальцы такъ мало были приспособлены къ школьнымъ занятіямъ, что когда ему приходилось употреблять карандашъ, то онъ предварительно бралъ его лѣвою рукой и съ очевидными усиліями вкладывалъ его въ надлежащее мѣсто правой, все время боясь, что онъ у него вывалится.

Въ школѣ онъ имѣлъ опредѣленный уголъ, между стѣной и печкой, гдѣ неотлучно и сидѣлъ. Этотъ облюбованный уголъ онъ считалъ своею неотъемлемою собственностью. Когда ему приходилось запаздывать, а на его мѣсто садился кто нибудь другой, то происходилъ безпорядокъ. Черновъ ни за что не хотѣлъ уступать своего мѣста. Никѣмъ не раздражаемый, онъ сидѣлъ тихо и казался забитымъ; его лысина сіяла тогда кроткимъ свѣтомъ луны въ тихую майскую ночь. Но его легко было вывести изъ себя, въ особенности занятіемъ мѣста; тогда голая голова его дѣлалась багровой, какъ солнце передъ заходомъ, когда оно, обрамленное мрачными тучами, бросаетъ гнѣвные лучи свои на землю, грозя людямъ бурей. Однажды молодого купчика, занявшаго извѣстное мѣсто въ углу, Черновъ хлопнулъ по головѣ книгой. „Вы что, Черновъ, шумите тамъ?“—спрашивалъ учитель въ такихъ случаяхъ. Тогда изъ глубины комнаты, изъ-за печки, показывалась сначала лысина, потомъ и самъ весь Черновъ. „Сѣлъ на мое мѣсто, ваше благородіе... позвольте согнать!“—говорилъ онъ, и круглые глаза его смотрѣли гнѣвно. Учитель совѣтовалъ, во избѣжаніе дальнѣйшихъ безпорядковъ, никому не занимать его мѣста, вообще не связываться съ этимъ маніакомъ.

Учился Черновъ плохо. Всѣ учителя думали, что онъ никогда ничему не выучится. Послѣ объясненія учителя обыкновенно занимались съ каждымъ по одиночкѣ. Кто-нибудь подходилъ и къ Чернову, прося его повторить слышанное. Но Черновъ молчалъ, вперивъ круглые глаза въ одну точку.

— Вы поняли, Черновъ?

— Нѣтъ, я еще не понялъ,—возражалъ Черновъ поспѣшно.

Въ первое время, мало зная его, учителя сейчасъ же принимались ему объяснять дѣло, но когда, послѣ самыхъ по-

видимому, ясныхъ разъясненій, просили его повторить, онъ молчалъ, какъ и прежде, словно ему ничего не объясняли.

— Теперь вы поняли?

— Нѣтъ, я еще не понялъ,—возражалъ Черновъ неизмѣнно.

Узнавъ, что это его обыкновенный отвѣтъ, учителя его бросили: пусть его сидитъ и хлопаетъ глазами!

Между тѣмъ, Черновъ страшно работалъ головой, руками и, можно сказать, всѣмъ туловищемъ, фанатично добиваясь грамоты. Все выходящее изъ устъ учителя онъ выслушивалъ съ напряженнымъ вниманіемъ и тутъ же твердилъ про себя шепотомъ. Въ школу онъ приходилъ всегда съ огрызкомъ карандаша и съ пучкомъ какихъ-то бумажекъ, на которыхъ что-то неутомимо маралъ. Приносилъ онъ еще какія-то книжки безъ начала и конца и громко бормоталъ ихъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на окружающее. Эти работы были для него настолько изнурительны, что по окончаніи каждаго урока онъ ослабѣвалъ и выходилъ изъ школы сильно изнуреннымъ. Въ сущности, онъ постепенно узнавалъ грамоту, но не вѣрилъ себѣ. Это его несказанно мучило. Бывали праздники, когда онъ неподвижно сидѣлъ за печкой, а въ его взорѣ, устремленномъ на бумажки, виднѣлось полнѣйшее отчаяніе. Онъ тогда не вѣрилъ въ осуществленіе своей страстной мечты—выучиться писать.

Что руководило мыслями этого человѣка и зачѣмъ на склонѣ лѣтъ понадобилась ему грамота? Всѣ учителя были убѣждены, что это у него манія.

А все-таки Черновъ упорно добивался знанія писать. Онъ не по праздникамъ только пыхтѣлъ надъ бумажками, но пользовался и буднями; когда дневные труды его оканчивались и наступала ночь, онъ залѣзалъ въ свое жилище, которое нарочно занималъ одинъ, и тамъ учился.

Жилъ онъ на краю города, на заднемъ дворѣ у одного мѣщанина, снимая землянку, гдѣ прежде помѣщались телята и куры; платилъ полтинникъ въ мѣсяцъ. Единственное удобство этого курятника заключалось въ широкой печкѣ, на которой можно было спать. Пожитки его также лежали на печкѣ. И умывался онъ на печкѣ, такъ какъ никакой мебели больше не было. Онъ зажигалъ ночникъ и учился. Чтобы читать, онъ садился на корточки, а если ему надо было пи-

сать, онъ ложился на животъ. Стоило потушить ночникъ, и печь превращалась въ кровать.

Определенныхъ занятій Черновъ въ городѣ не имѣлъ, хотя могъ бы найти себѣ мѣсто кучера, дворника и пр. Онъ предпочиталъ свободный образъ жизни. Чаще всего, однако, онъ кололъ дрова, выгребалъ сорныя ямы, чистилъ дворы, не отказывался и отъ другихъ подобныхъ же работъ. Обѣдалъ кое-какъ, на скорую руку.

Въ этомъ проходило его время съ того самаго дня, когда онъ явился изъ деревни. Такая жизнь обыкновенно оканчивается безпросвѣтнымъ пьянствомъ, но Черновъ не пилъ ни капли, — не пилъ потому, что его поддерживала одна идея. Чистилъ-ли онъ помойную яму, кололъ-ли дрова, или лежалъ на брюхѣ въ своей землянкѣ, нигдѣ не покидала его эта идея. Всюду онъ раздумывалъ ее. Она скрашивала его жалкую жизнь, а подъ этимъ лысымъ черепомъ, сидѣвшимъ на грязномъ туловищѣ, билась глубокая дума, которая, какъ искра небеснаго огня, одна свѣтилась среди обыденнаго хлама, наполнявшаго остальную часть головы.

Мысль эта до такой степени овладѣла Черновымъ, что, кромѣ нея, онъ уже ничего больше не понималъ; если кололъ полѣнья, то автоматично; автоматично также ѣлъ, спалъ, таскался по городу, отыскивая работу, отчего казался помѣшаннымъ.

Но, чтобы осуществить свою мысль, ему надо было выучиться писать. И онъ не щадилъ живота, марая бумагу. Мысль свою онъ отъ всѣхъ скрывалъ.

Но разъ, въ минуту, когда онъ отчаялся выучиться писать, онъ обратился за совѣтомъ къ одному изъ учителей. Случилось такъ, что онъ могъ поговорить наединѣ. Учитель по ошибкѣ пришелъ рано въ школу, гдѣ, кромѣ Чернова, никого еще не было. Черновъ, по обыкновенію, залѣзъ въ свой уголъ, а учитель длинными шагами слонялся изъ одного конца комнаты на другой. Оба молчали. Учитель едва-ли даже замѣтилъ присутствіе Чернова. Это былъ странный господинъ, необыкновенно тощій, чрезвычайно длинный и всегда растрепанный. Занимался онъ въ школѣ энергичнѣе, чѣмъ кто-либо изъ его товарищей, но своею феноменальною разсѣянностью часто возбуждалъ шутки со стороны учениковъ. Не говоря о спинѣ его сюртука, которая неизбѣжно

была запачкана, иногда и болѣе деликатныя части костюма находились у него въ безпорядкѣ. Во все время урока онъ слонялся по классу и такъ былъ разсѣянъ, что наступалъ на ноги посѣтителей, если они попадались на пути, или ронялъ на полъ вещи, которыя вовсе не мѣшали ему. Имѣлъ онъ также странную привычку говорить съ тѣмъ, кто къ нему не обращался, и молчать въ то время, когда ему что-нибудь говорили. Кромѣ того, когда онъ что-нибудь объяснялъ своимъ ученикамъ, то всѣмъ имъ казалось, что онъ ругается, а если въ классѣ происходило нѣчто смѣшное, то въ его глазахъ всѣ видѣли глубокую печаль. Безъ сомнѣнія, и на этотъ разъ зашелъ онъ въ школу въ неположенное время по разсѣянности.

Итакъ, оба молчали.

Но въ это самое время на Чернова напало отчаяніе, и онъ не выдержалъ зарока никому не говорить о своемъ намѣреніи.

— Позвольте, Николай Васильичъ, посовѣтоваться съ вами! —закричалъ онъ внезапно, заставивъ вздрогнуть учителя.

— Въ чемъ дѣло, Черновъ?—спросилъ послѣдній.

— Нельзя-ли прямо мнѣ выучиться писать? Больно я ужь непонятливъ!

— Какъ это „прямо"? Объясните, Черновъ,—сказалъ учитель, продолжая шагать по комнатѣ.

— Да такъ прямо... не то, чтобы тамъ учиться еще читать всякія штуки. Мнѣ книжка не требуется. Мнѣ, главное, писать... О чемъ я думаю, то чтобы и написать,—объяснилъ Черновъ.

— То-есть вы хотите выучиться писать, не читая?—спросилъ разсѣянно учитель, шагая своимъ путемъ.

— Да, писать...

— Черновъ, вы глупы,—сказалъ учитель и зашагалъ.

Черновъ сдѣлался угрюмъ и черезъ нѣкоторое время тихо сказалъ, какъ бы про себя:

— Лучше бы мнѣ въ такомъ разѣ помереть...

— Что вы сказали, Черновъ?—спросилъ Николай Васильевичъ.

— Лучше бы мнѣ, говорю, помереть, коли нельзя выучиться писать,—повторилъ озлобленно Черновъ.

— Развѣ вамъ такъ необходимо писать?

— Стало быть, надо!

Учитель задумался.

— Вы крестьянинъ?—спросилъ онъ, подавляя свою разсѣянность.

— Это точно, крестьянинъ.

— Чѣмъ вы занимаетесь?

— Занятіе мое разное—и дрова, и ямы, и помои,—что попадетъ подъ руку, то и дѣлаю,—угрюмо возразилъ Черновъ.

— Есть у васъ жена?

— Померши.

— Дѣти?

— Померши.

— Осталось въ деревнѣ хозяйство?

— Какое хозяйство... избенка! Избенку я одному крестьянину поручилъ, а онъ за меня подати платитъ. Ну, только въ деревнѣ мнѣ дѣлать нечего. Въ деревнѣ у меня все перемерло... что же мнѣ тамъ толкаться?

— Дѣйствительно, когда у человѣка все умерло, толкаться ему въ жизни больше нечего,—задумчиво замѣтилъ Николай Васильевичъ, шагая по классу. Потомъ онъ вдругъ остановился передъ Черновымъ и уже безъ всякой тѣни разсѣянности разсматривалъ его съ ногъ до головы.

— Такъ вамъ очень хочется выучиться писать, Черновъ?—спросилъ онъ озабоченно.

— Сказалъ ужъ... какъ же не хочется?

— Зачѣмъ же вамъ надо писать?

Этотъ вопросъ застигъ Чернова врасплохъ. Онъ заволновался. Учитель, между тѣмъ, стоялъ передъ нимъ и вглядывался въ него.

— Сказать развѣ?—прошепталъ Черновъ и оглядывался по сторонамъ.

— Говорите, здѣсь никого нѣтъ.

Но Черновъ еще разъ оглянулся и, только увѣрившись, что въ комнатѣ нѣтъ людей, рѣшился отвѣтить.

— Оно, видите-ли, ваше благородіе, какое мое намѣреніе. Задумалъ я написать всю правду о деревнѣ...

Черновъ говорилъ почти шепотомъ.

— Какую же правду?

— Всю. Какъ есть, всю правду дочиста, чтобы всѣ люди узнали, какая наша главная причина... Какъ есть все до-

чиста, одну истинную, какъ передъ Богомъ, правду, безъ фальши!... Тогда деревенскому народу станетъ легче... И вотъ мнѣ пала въ голову мысль—записать, что слѣдуетъ.

Николай Васильевичъ утвердительно кивнулъ головой.

— Только вы ужъ никому... А то меня въ кутузку!—сказалъ Черновъ съ возростающимъ волненіемъ.

— За что въ кутузку?

— А за это самое, за правду. Непремѣнно быть мнѣ въ кутузкѣ,—увѣренно сказалъ Черновъ.

— Ну, а если вы на бумагѣ напишете правду, развѣ васъ не посадятъ въ кутузку?

— Тогда мнѣ все одно — сажай! Только бы написать-то. Ежели она, правда-то, на бумагѣ будетъ, тогда ее трудновато ужъ уничтожить!—радостно сказалъ Черновъ.

— Трудновато?

— Да, ужъ трудненько!

Въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ Николай Васильевичъ пристально вглядывался въ своего собесѣдника; потомъ вдругъ горячо заговорилъ, принимаясь опять шагать:

— Очень хорошо, Черновъ! Знаете, что я вижу, вы честный человѣкъ. Потому, что вы сумасшедшій... Въ другое время васъ давно бы сплавили въ домъ умалишенныхъ, а теперь вы только честный. Есть времена, Черновъ, когда сумасшествіе обязательно, когда являются тысячами безумные, помѣшанные, больные; каждый изъ нихъ несетъ свой пунктъ помѣшательства... Здоровьемъ пользуются только подлецы. Это времена, Черновъ, когда всѣ старыя связи лопаются, всѣ столбы подгниваютъ, когда жизнь представляетъ собою кашу, которую ни расхлебать, ни понять нѣтъ никакой возможности... Тогда, Черновъ, обыденныя человѣческія отправленія прекращаются, спутываются и внушаютъ отвращеніе, а на ихъ мѣсто со всѣхъ сторонъ встаютъ сумасшедшія мысли и безумныя цѣли, причемъ тысячи людей, съ воспаленными мозгами, ломаютъ голову, придумывая одно какое-нибудь средство спасти міръ отъ гибели, которую всѣ видятъ ясно... Вы хотите написать правду, Черновъ? Отлично. Пишите, вы честный человѣкъ.

Черновъ хлопалъ глазами, не зная, что и подумать; онъ рѣшилъ, что учитель ругаетъ его, но за что—понять невозможно. А въ концѣ пожалъ ему руку.

Въ это время начали собираться посѣтители. Черновъ испугался и залѣзъ въ свой уголъ. А Николай Васильевичъ снова принялся мѣрять классную комнату длинными шагами. Но съ этого дня между ними установилась нѣкоторая таинственная связь. Николай Васильевичъ сталъ энергично помогать Чернову, и наука послѣдняго пошла быстрѣе.

По прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, въ одно воскресенье, Черновъ удивилъ школу заявленіемъ, что онъ желалъ бы быть спрошеннымъ, насколько онъ выучился,—словомъ, требовалъ экзамена своимъ знаніямъ. Дежурнымъ учителемъ въ этотъ праздникъ былъ не Николай Васильевичъ, а другой баринъ, но, удивленный заявленіемъ, онъ все-таки согласился вызвать Чернова на середину класса. Сперва онъ заставилъ его читать. Черновъ читалъ, какъ сейчасъ же оказалось, хуже всякой возможности: безъ остановки, безъ смысла, не переводя духу, смѣшивая конецъ одного слова съ началомъ другого; со стороны казалось, что это болтаетъ индюкъ, когда его разсердятъ.

Учитель улыбнулся.

— Да вы хоть что-нибудь поняли?—спросилъ онъ уставшаго Чернова.

— Нѣтъ, я еще не понялъ,—равнодушно отвѣчалъ послѣдній.

— Зачѣмъ же вы желали, чтобы васъ спросили?

— Мнѣ, главное, писать... Спросите, ваше благородіе!—сказалъ Черновъ ужь менѣе равнодушно.

А когда учитель изъявилъ согласіе испытать его въ письмѣ, то Черновъ совсѣмъ заволновался. Въ классѣ наступила необыкновенная тишина. Черновъ по требованію учителя взялъ мѣлъ въ руки, всталъ около доски и съ ужасомъ озирался по сторонамъ.

— Хорошо,—сказалъ учитель,—возьмите сперва одно слово... ну, хоть напишите „столъ“.

— Нѣтъ, я лучше напишу „тулупъ“,—съ живостью возразилъ Черновъ.

Учитель пожалъ плечами.

— Почему же непремѣнно „тулупъ“?—спросилъ онъ, однако, согласился на тулупъ.

Тогда Черновъ принялся писать громаднѣйшими буквами излюбленное слово. Рука его дрожала, какъ у больного; на

блѣдномъ лицѣ его показалась испарина; глаза помутились. Онъ рѣшительно не вѣрилъ, что допишетъ до конца это волшебное слово. Но когда онъ кончилъ, учитель, къ удивленію его, одобрительно кивнулъ головой.

— Вышелъ „тулупъ"?—спросилъ онъ все-таки недовѣрчиво.

— Да, тулупъ,—подтвердилъ учитель.

Послѣ этого Черновъ уже писалъ все, что диктовалъ ему учитель, и все выходило какъ слѣдуетъ.

Когда экзаменъ кончился, при всеобщемъ одобреніи посѣтителей, Черновъ сѣлъ на свое мѣсто съ невыразимымъ счастіемъ на лицѣ.

На слѣдующій праздникъ мѣсто его оказалось пустымъ. Прошло еще воскресенье, а Черновъ не показывался. Съ тѣхъ поръ никто изъ посѣтителей воскресной школы г. С. больше не встрѣчалъ его.

Между тѣмъ, Черновъ въ это время сидѣлъ неотлучно въ своей избушкѣ и приготовлялъ сочиненіе, такъ долго мучившее его. Занятый весь безъ остатка этою бумагой, гдѣ онъ разсказывалъ всю правду, какъ есть дочиста, съ глубокою вѣрой въ совершенную и неизбѣжную пользу для всего бѣднаго міра этого послѣдняго въ его жизни труда, онъ сдѣлался безстрастнымъ, какъ отрѣшенный. Собственно деревня, съ ея мелочами, которыя такъ волновали его, когда онъ жилъ въ ней, уже перестала возбуждать въ немъ какое-либо чувство—жалость или злобу, ненависть или любовь. Онъ теперь горѣлъ однимъ чувствомъ: сказать всю истинную правду, которой міръ не знаетъ.

Это непреодолимое стремленіе оказать пользу деревнѣ въ немъ не сразу явилось. Деревня такъ много ему напакостила, когда онъ жилъ тамъ, что онъ готовъ былъ въ ту пору спалить ее. Въ деревнѣ все близкое у него перемерло; въ деревнѣ онъ потерялъ уваженіе и жалость къ себѣ и къ людямъ; въ деревнѣ онъ сталъ жалокъ и несчастливъ. Всѣ люди деревенскіе опротивѣли и самъ онъ себѣ опротивѣлъ, а жизнь свою онъ цѣнилъ въ грошъ. Послѣдній ударъ, нанесенный ему деревней, былъ такъ жестокъ, что онъ едва не сдѣлался заклятымъ врагомъ ея. Эта грустная исторія заключается въ насильственномъ отнятіи тулупа.

Послѣ того, какъ у Чернова умерло все,—и лошадь, и куры, и даже собака Лыска, — единственная цѣнная вещь, оставшаяся у него въ этой жизни, былъ тулупъ. Отличный это былъ тулупъ! Собиралъ онъ его, кажется, лѣтъ десять, покупая по одной кожѣ при всякомъ благопріятномъ стеченіи обстоятельствъ, причемъ мало обращалъ вниманія на однородность шкуръ, такъ что, когда тулупъ составился, вышла великолѣпная штука; воротникъ его былъ бурый, задъ рыжій, одна пола была составлена изъ пестрыхъ кожъ, а другая изъ чисто-бѣлыхъ. При всемъ томъ, онъ былъ теплый. Черновъ надѣвалъ его при всякомъ удобномъ случаѣ, не обращая вниманія на сезоны, и когда ему случалось быть на Троицынъ день въ церкви, онъ также надѣвалъ его; въ дождь онъ выворачивалъ его шерстью вверхъ... И вотъ этотъ тулупъ отняли у него. Когда въ деревнѣ узнали, что Черновъ собирается уходить совсѣмъ изъ села и уже сдаетъ свой надѣлъ, то сейчасъ же нашлось много лицъ, которымъ онъ былъ долженъ. Они подговорили старосту. Староста пришелъ въ избу Чернова съ двумя людьми и, не поздоровавшись съ хозяиномъ, прямо сталъ искать глазами тулупъ и лишь только запримѣтилъ его на полатяхъ, немедленно, ни слова не говоря, полѣзъ туда, снялъ его съ полатей, потомъ встряхнулъ его, пощупалъ шерсть и понесъ его вонъ изъ избы. Черновъ такъ былъ ошеломленъ, что спохватился только тогда, когда тулупа уже не было. Онъ бросился въ догонку, но старосты уже не было. Онъ побѣжалъ къ самому дому старосты,—тулупа и тамъ не оказалось. А когда онъ пришелъ на съѣзжую, то увидалъ такую картину: лежитъ его тулупъ на землѣ, а вокругъ него стоятъ кредиторы и продаютъ его съ „укціона". Не успѣлъ Черновъ придти въ себя отъ ярости, какъ уже тулупъ былъ проданъ мѣстному лавочнику, а деньги подѣлены между крестьянами-кредиторами, причемъ, за удовлетвореніемъ всѣхъ нуждъ, остальная мелкая сумма была вручена Чернову. Вотъ въ эту-то минуту послѣдній и сталъ соображать, съ какого конца запалить деревню, чтобы отъ нея бревна не осталось. Но, вмѣсто этого, возвратившись домой, онъ заплакалъ. А на другой день, когда еще солнце не вставало, онъ вышелъ изъ деревни.

Такъ онъ очутился въ городѣ.

Въ первое время онъ не могъ вспомнить свою деревню

иначе, какъ со злобой. Но мало-по-малу раны, нанесенныя деревней, заживали, жесткія воспоминанія сглаживались, и въ концѣ года онъ сталъ думать о своей родинѣ съ любовью, у него даже тоска по ней явилась. Тогда-то въ первый разъ и зародилась въ немъ мысль, оживившая умиравшаго въ немъ человѣка, а теперь близкая къ осуществленію.

Съ того дня, какъ Черновъ ушелъ изъ школы, онъ больше не ходилъ на работы по городу. Увѣренный, что писать онъ можетъ все, что ему вздумается, всякое слово, онъ больше не откладывалъ завѣтнаго дѣла. Нѣкоторое время прошло въ обдумываніи; потомъ онъ купилъ фунтъ сальныхъ свѣчей, пачку бумаги и чернила съ перомъ. Не чувствуя ни неба, ни земли, ни людей, ни себя, ни даже телятника, въ которомъ жилъ, онъ помнилъ только свою мысль, превратившуюся теперь въ цѣлый рядъ мыслей. Конечно, онъ залѣзъ на печку, чтобы писать, и легъ на животъ, чтобы было удобнѣе.

Первыя сутки онъ пролежалъ напролетъ, слѣзая съ печки только попить воды; исписалъ двѣ страницы. На другой день онъ слѣзъ съ печки, на-скоро съѣлъ кусокъ хлѣба и влѣзъ обратно, а ночью проспалъ часа три и чуть свѣтъ опять принялся за работу. Такъ прошла цѣлая недѣля, по истеченіи которой онъ писалъ, глубоко пораженный тѣми мыслями, какія приходили ему въ голову.

Когда трудъ былъ оконченъ, Черновъ былъ охваченъ радостью и не могъ безъ чувства полнаго удовлетворенія смотрѣть на эти листы, имъ самимъ исписанные. Правда, бумага собственно казалась не исписанною, а измаранною; слова и буквы были разбросаны по листамъ въ небрежномъ безпорядкѣ, подобно полѣньямъ дровъ, только-что наколотыхъ и разбросанныхъ кучами по обширному пространству. Но что нужды, важно то, что правда была записана.

Въ бумагѣ авторъ ни къ кому не обращался и не видно было, какого рода читателямъ онъ предназначалъ свое писаніе; не было также никакого заглавія. Вмѣсто всего этого, на первомъ мѣстѣ намазаны были огромнѣйшими буквами слѣдующія слова:

„Покорнѣйше умоляю обратить вниманіе!“

Затѣмъ тотчасъ же шло изложеніе, написанное буквами помельче.

Вотъ содержаніе этого сочиненія:

„Наконецъ, нынче настала великая нужда, отъ которой ему дѣваться некуда, потому что въ деревнѣ всякій непремѣнно ввергнется въ бѣду, какъ онъ ни болтайся, потому что если онъ изъ силъ выбьется, то гдѣ же ему поправиться отъ горя, которое никто не хочетъ отъ него какъ слѣдуетъ выслушать, чтобы, въ случаѣ чего, оказать ему снисхожденіе? А еслибы кто выслушалъ его порядкомъ... да нѣтъ, никакой человѣкъ не хочетъ выслушать, а вотъ ругать его скотиной — это ничего, можно, а послѣ того онъ же виноватъ—не поддержалъ себя отъ слабости и пропилъ, однимъ словомъ, послѣднюю шапку, либо сбѣжалъ въ отчаянности, потому что въ деревнѣ ему нечего ужь оставаться. Ежели же нѣкоторый крестьянинъ, что есть, ни капли совѣсти не имѣетъ, и тотъ сейчасъ садится верхомъ на ближняго брата, отнимаетъ у него послѣдній тулупъ и дѣлаетъ всякія безобразія, такъ вѣдь это все отъ нужды онъ дѣлаетъ подлости, а то онъ радъ бы не садиться верхомъ на ближняго брата, да какъ же иначе-то, если у него у самого, напримѣръ, на носу нужда великая, хоть сейчасъ пропадай смертью? И настала въ деревнѣ послѣ этого скука. Скука напала на него. Идетъ онъ въ поле, идетъ въ лѣсъ, — скучно ему. Идетъ по своимъ полосамъ и смотритъ,—скучно ему. Взглянетъ на небо, на солнышко, на звѣзды, — все скучно ему. Войдетъ въ свой домъ,—нѣтъ, все скучно!... Тогда онъ пойдетъ къ нѣкоторому человѣку и попроситъ у него одолженія и за то обѣщаетъ воротить вдвое, и послѣ того онъ пропалъ совсѣмъ; тотъ человѣкъ его съѣстъ, ежели онъ не отдастъ ему во-время, и потому онъ пойдетъ къ другому человѣку за одолженіемъ, да все глубже, да глубже, пока не залѣзъ по уши,—ну, тогда умирай совсѣмъ! Однако, онъ остался живъ, а замѣсто того у него, когда въ домѣ ничего не осталось, умерла жена, потомъ и дѣти умерли, все отъ разныхъ несчастій, а главная бѣда одна—скука безъ хлѣба; въ такомъ же смыслѣ и хозяйство его уничтожилось: которую вещь растащили, которую самъ проѣлъ. Но остался у него тулупъ одинъ, такъ и этотъ отняли!... Нѣкоторые люди скажутъ: самъ виноватъ, который дошелъ до такого униженія, —это все отъ пьянства, отъ глупости; крестьянинъ самъ виновенъ, когда за собой не можетъ присмотрѣть; на то онъ и вольный человѣкъ, чтобы разсуждать объ себѣ, что какъ

и куда должно. Вѣрно. Пьянство, дикія чувства, безобразная глупость—это понять можно. Иной дойдеть до такого унынія, что не въ своемъ видѣ ужь ходитъ и ничего не разсуждаетъ, кто онъ есть такой,—чистый истуканъ. Но позвольте присовокупить, вѣдь дикія чувства не сами собой произошли, а что касаемое безобразной глупости, то это оттого, потому что никто его ни чему не училъ. Да откуда же ему взять хорошія качества, если ему перекусить не даютъ? Ежели кто захочетъ получить качества и тотъ долженъ строго наблюдать за собой. Но только-что онъ начинаетъ наблюдать за собой, и его сейчасъ туда-сюда,—такъ вѣдь не разорваться же ему, Господи! Послѣ же того и выходитъ, что онъ и скотина, и глупости его нѣтъ предѣла. Потому что онъ на такую точку поставленъ, хочешь, не хочешь, а будь скотина. Поэтому и невозможно сказать, что все отъ пьянства и отъ безобразной глупости, но причина вся отъ враговъ. Вотъ тутъ корень настоящій. Отъ какихъ враговъ? А вотъ отъ какихъ. Позвольте. Посѣялъ съ великимъ трудомъ православный крестьянинъ, скажемъ такъ, овесъ, вдругъ — засуха. Ѣсть ему нечего. А то такъ поѣстъ червь, либо сусликъ, либо иной какой гнусъ,--и нѣтъ ничего крестьянину, бери суму и иди на всѣ четыре стороны. Хотя это отъ Бога, но, между прочимъ, ему тяжело. Послѣ же такого несчастія отъ Бога идетъ нападеніе отъ людей, когда ничего у него не уродилось. Кому что нужно, тотъ и идетъ къ нему получать свое, идетъ безъ всякаго вниманія: староста, сосѣдъ, сидѣлецъ, господинъ чиновникъ, которымъ очень пріятно получить. Оно потому и выходитъ, что враговъ у него достаточно: староста, сусликъ, сидѣлецъ, червь, господинъ купецъ, господинъ чиновникъ, жукъ-кузка и прочіе, которыхъ пересчитать невозможно, несмѣтная сила! И всякій требуетъ не взирая; одинъ требуетъ хлѣба, другому надо деньги, третьему послѣдніе штаны, четвертый проситъ ума, пятый вѣжливости, а шестой возьметъ, сниметъ у него послѣдній тулупъ, который остался послѣдній, и послѣ того всѣ говорятъ: эдакая скотина! Тогда и нечего придумывать разныя хитрости, пьянствъ, необразованность и другія причины. Причина оттого, что враговъ много. Очень просто. И неужли нѣтъ людей, которые, когда эта правда выйдетъ, пожелали бы оказать ему снисхожденіе, нечѣмъ болтать всякія

пустыя слова? Я сказалъ и записалъ правду. И умоляю, нельзя-ли враговъ немножко поубавить, которые есть лишніе? Крестьянинъ Черновъ руку приложилъ".

Когда Черновъ сталъ читать свое сочиненіе, что было уже на другой день, ибо въ день окончанія онъ чувствовалъ только утомленіе и радость, то надъ каждымъ словомъ плакалъ навзрыдъ. Ни одному читателю, конечно, не покажется возможнымъ хотя бы только прослезиться надъ этою бумагой, но для Чернова дѣло стояло иначе. Для него каждое слово было символическимъ знакомъ, подъ которымъ подразумѣвалась огромная живая картина изъ пережитаго имъ, и каждое слово, для постороннихъ ничтожное, напоминало ему тысячи случаевъ изъ его жизни, гдѣ онъ страдалъ, убивался и внутренно рыдалъ. Теперь онъ рыдалъ открыто, но отъ счастія, какого раньше онъ не зналъ. Онъ сознавалъ и глубоко вѣрилъ, что такія же слезы польются изъ глазъ и тѣхъ, которые будутъ читать его сочиненіе...

Вдругъ Чернову пришло въ голову: какіе же люди будутъ читать его бумагу? Кому онъ покажетъ ее? Куда ее нести? Что съ ней дѣлать? Эти вопросы до сихъ поръ ему не представлялись, и теперь, задавъ ихъ себѣ, онъ смутился.

Привычка держать втайнѣ свое намѣреніе оказала ему теперь плохую услугу. Онъ боялся всѣхъ людей и никому не вѣрилъ. Кому же сказать всю правду?

Но есть же такіе люди; во всякомъ случаѣ, Черновъ сталъ искать ихъ, проводя свою мысль, такъ сказать, въ практику.

Первые шаги его, однако, были неудачны,—не туда попалъ.

На главной улицѣ С. стоитъ длинное каменное зданіе, напоминающее своимъ видомъ казну; дѣйствительно, оно служитъ дворцомъ для высокаго лица, объ оффиціальномъ положеніи котораго нѣтъ нужды здѣсь упоминать, потому что разсказъ касается лишь швейцара этой особы. Швейцаръ, какъ и всегда, былъ хорошо упитанъ, невозмутимъ и серьезенъ; обладалъ благородною наружностью и отражалъ на лицѣ важное значеніе своего господина. Но у каждаго швейцара, какую бы благородную наружность онъ ни имѣлъ, то и дѣло бываютъ положенія, когда онъ дѣлается грубъ и нагдъ.

Въ такое положеніе и этотъ швейцаръ попалъ, когда при-

нужденъ былъ вытолкать Чернова. Послѣднiй вздумалъ-было проникнуть въ покои высокой особы, для чего уже отворилъ парадную дверь и сдѣлалъ шагъ по корридорному половику, но моментально былъ поворочень спиной обратно и вытолкнутъ за дверь на улицу. И только тогда швейцаръ счелъ возможнымъ объясниться.

— Ты куда полѣзъ? Кто ты такой? — спросилъ онъ, съ презрѣнiемъ осматривая старика съ ногъ до головы.

Черновъ отвѣтилъ.

— Какъ же ты смѣешь лѣзть безъ спросу? Ты доложи, а потомъ ужъ и лѣзь. А ты ломишься, какъ лошадь... Ты по какому дѣлу?

— По своему.

— Да зачѣмъ тебѣ *ихъ?*

— Надо.

— Ну, такъ убирайся своею дорогой,—сказалъ швейцаръ и захлопнулъ дверь.

Черновъ остановился, какъ вкопанный, на тротуарѣ и сталъ ждать счастливаго случая внезапной встрѣчи. Въ первый день онъ простоялъ немного, съ часъ, послѣ чего ушелъ. Но на другой день, явившись аккуратно въ тотъ же часъ, покорно всталъ передъ дверью казеннаго дома, на томъ же самомъ мѣстѣ, на которое онъ отступилъ вчера послѣ нападенiя швейцара, и смотрѣлъ сквозь двери въ корридоръ, ожидая, не выйдетъ-ли нужная ему особа. Швейцаръ скоро его узналъ.

— Ты опять тутъ?—спросилъ онъ.

— Гдѣ же мнѣ встать?

— Здѣсь стоять нельзя. Сойди съ панели! — приказалъ швейцаръ.

Уступая превосходнымъ силамъ, Черновъ повиновался, сошелъ съ панели на улицу и здѣсь остановился. Въ этотъ день онъ простоялъ часа два, послѣ чего ушелъ.

На третiй день онъ также аккуратно явился на указанное мѣсто; швейцаръ, однако, прогналъ его и отсюда. Черновъ въ порядкѣ отступилъ, перенеся свой наблюдательный постъ на другую сторону улицы, гдѣ всталъ какъ разъ противъ заповѣдной двери и пристально смотрѣлъ на нее. Стоянка его продолжалась часа два, послѣ чего онъ ушелъ.

На четвертый день швейцаръ уже съ волненiемъ ожидалъ

его. Черновъ дѣйствительно пришелъ. Швейцаръ прогналъ его еще дальше, на уголъ улицы, гдѣ Черновъ и простоялъ урочное время, хотя уже не могъ съ такимъ удобствомъ наблюдать за дверью, потому что стоялъ далеко отъ нея. Дальше швейцаръ не могъ его прогнать, такъ что, когда Черновъ явился на слѣдующій день и устремилъ взоры на заповѣдную дверь, онъ могъ только пригрозить ему пальцемъ. Мужикъ, однако, не понялъ этого угрожающаго жеста, простоялъ, сколько считалъ нужнымъ, и, ничего не дождавшись, ушелъ.

Такъ онъ простоялъ еще нѣсколько дней. Голову его палило іюньское солнце, а онъ все стоялъ. На шестой день полилъ проливной дождь и промочилъ его до костей, а онъ все стоялъ. Почему онъ такъ упрямо добивался свиданія съ особой? Потому что онъ сперва хотѣлъ дѣйствовать сверху, гдѣ именно и не знаютъ той истинной правды, которую онъ написалъ.

Но какъ ни былъ терпѣливъ онъ, но на восьмой день убѣдился, наконецъ, въ невозможности увидать лицо, которому онъ хотѣлъ лично подать бумагу. Простоявъ на улицѣ часа два подъ знойными лучами, онъ ушелъ навсегда, не столько обиженный, сколько изумленный.

Это была первая попытка.

Затѣмъ черезъ короткое время онъ явился къ предсѣдателю земской управы, руководимый какимъ-то инстинктомъ. Здѣсь дѣло вышло совершенно иначе. Предсѣдатель постоянно имѣлъ дѣло съ овчинами, съ зипунами, съ дегтярными сапогами и со всѣмъ тѣмъ, во что облекается деревенское человѣчество. У него была отведена для свиданія съ послѣднимъ особая комната, возлѣ прихожей, гдѣ по утрамъ слуга чистилъ сапоги. Поэтому Чернову не предстояло перспективы не быть допущеннымъ. Когда онъ явился въ предсѣдательскій домъ, его никто не выгналъ, а въ прихожей онъ равнодушно былъ встрѣченъ слугой, отъ котораго пахло ваксой, астраханскою селедкой и еще чѣмъ-то. На вопросъ Чернова, можно-ли видѣть барина, слуга попросилъ немного обождать его, и потомъ доложилъ. Предсѣдатель также просто вышелъ, какъ будто даже спросонья, просто принялъ отъ Чернова бумагу и просто велѣлъ ему придти черезъ нѣсколько дней. Черновъ отъ этой простоты вышелъ счастливый.

Черезъ недѣлю онъ пришелъ за отвѣтомъ. Опять слуга

доложилъ о немъ, и опять также просто, какъ бы спросонья, вышелъ въ переднюю предсѣдатель управы, спросивъ, что нужно мужику? И долго не могъ сообразить, о какой бумагѣ говоритъ Черновъ, и только когда послѣдній объяснилъ ея содержаніе, онъ вспомнилъ ее, отыскалъ, воротился назадъ въ переднюю и съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на мужика, какъ бы желая проснуться.

— Это что же такое?—спросилъ онъ, указывая на бумагу.

— Тутъ все о правдѣ написано, выше благородіе!

— Да зачѣмъ же это?

Черновъ удивился вопросу и не могъ отвѣтить ничего.

— Что же ты, братецъ, хочешь отъ меня?—спросилъ еще разъ предсѣдатель съ недоумѣніемъ.

— Нельзя-ли въ земство... въ земство бы ее представить, а ужь тамъ... сдѣлайте милость, ваше благородіе!—горячо сказалъ Черновъ.

Предсѣдатель пожалъ плечами. Онъ смотрѣлъ то на Чернова, то на бумагу.

— Нѣтъ, этого я, братецъ, не могу, положительно не могу! Главное, у тебя здѣсь не приведено никакихъ фактовъ... понимаешь, фактовъ нѣтъ!

Черновъ не понималъ. Предсѣдатель объяснилъ, что̀ такое факты. Во-первыхъ, голодъ; во-вторыхъ, моръ; въ-третьихъ, пожары и проч. Черновъ удивился.

— А у тебя нѣтъ никакихъ фактовъ. Еслибы ты указалъ факты и просилъ на основаніи ихъ помощи для своей деревни, тогда другое дѣло. Голодъ у васъ? — очень хорошо, мы поможемъ. Эпизоотія?—прекрасно, дайте знать. Холера? —отлично... потолокъ у вашей школы провалился?—превосходно, скажите только намъ. А у тебя нѣтъ фактовъ. У тебя одни разсужденія.

Черновъ молчалъ, стараясь всѣми силами понять. Недавно еще счастливый, теперь онъ стоялъ мрачный и не зналъ, какимъ образомъ и на это разъ ему выпала неудача. Предсѣдателю стало жалко его, онъ старался обласкать, ободрить его.

— Это ты писалъ?—спросилъ онъ.

— Такъ точно.

— Молодецъ! Грамота, братъ, великое дѣло.

— Стало быть, нельзя?—перебилъ его Черновъ.

— Нѣтъ, братецъ, не могу. Ты успокойся. Главное, опредѣленной просьбы у тебя нѣтъ и никакихъ фактовъ. Во-первыхъ, голодъ. Во-вторыхъ, моръ... ничего у тебя нѣтъ! напиши факты, и мы прочтемъ. А этого я не могу. На, возьми!

Черновъ взялъ свою бумагу и ушелъ.

Этотъ случай произвелъ на него глубокое впечатлѣніе. Онъ былъ несчастливъ. По натурѣ чувствительный, нѣжный, мягкій, онъ теперь воспитывалъ въ себѣ злобу, подкрѣпляемую принципіальною ненавистью къ врагамъ. Но неудачи съ бумагой имѣли еще и другое дѣйствіе: онъ положительно не мыслилъ ни о чемъ больше, какъ только о своемъ писаніи; у него не осталось въ жизни ничего дорогого, кромѣ этого дѣла. Убѣжденный, что записалъ истинную правду, которую оставалось только распространить и прочитать всѣмъ, онъ готовъ былъ на все, чтобы „опредѣлить въ дѣло" бумагу. Неудачи лишь ожесточали его, дѣлая его болѣе упрямымъ.

Можетъ быть, онъ въ это время имѣлъ какія-нибудь знакомства, пользуясь которыми получалъ разные совѣты, что̀ дѣлать; можетъ быть, его дѣйствіями управлялъ инстинктъ, но всего вѣроятнѣе, онъ самъ надумалъ ѣхать въ одну изъ столицъ, чтобы явиться въ какую-нибудь газету съ просьбой пропечатать его правду. Когда всѣ умственныя силы человѣка сосредоточены въ одномъ фокусѣ, то онъ именно въ этомъ фокусѣ дѣлается проницателенъ, какъ мудрецъ, хотя бы во всѣхъ другихъ дѣлахъ былъ простъ, какъ дитя. Рѣшеніе ѣхать въ столицу Черновъ принялъ быстро и исполнилъ его какъ нельзя лучше. Не имѣя денегъ на дорогу, онъ поступилъ въ кочегары на пароходъ, дѣлавшій рейсы между С. и Нижнимъ. Въ Нижнемъ опять у него не хватило денегъ на чугунку, и онъ нанялся къ желѣзнодорожному управленію починивать насыпи и рвы; черезъ нѣкоторое время онъ былъ отвезенъ даромъ, куда слѣдуетъ.

Однажды редакція одной газеты, въ полномъ своемъ составѣ, была заинтересована необыкновеннымъ посѣщеніемъ. Это предъявился Черновъ. Предъявился и подалъ бумагу съ просьбой пропечатать ее. Его попросили придти черезъ два дня. Черновъ ни слова не возразилъ и ушелъ. Аккуратно черезъ два дня онъ явился за отвѣтомъ. Его встрѣтили еще

бо́льшимъ изумленіемъ. Члены редакціи съ любопытствомъ разсматривали его наружность: лысую голову, сгорбленный станъ, прикрытый лохмотьями, его сосредоточенный видъ, на которомъ теперь отражался вопросъ: „ну, что-же?“

Его обласкали, усадили и стали разспрашивать. Разспрашивали о неурожаяхъ, о надѣлѣ, о мірѣ и обо всемъ томъ, что обратилось въ шаблонъ. Черновъ давалъ угрюмо односложные отвѣты, но, наконецъ, не выдержалъ и спросилъ, что же его бумага? Бумагу, оказалось, нельзя пропечатать. Черновъ молчалъ. Въ залѣ такъ вдругъ сдѣлалось тяжело, что мертвая тишина долгое время не могла нарушиться ни однимъ человѣческимъ словомъ.

— Видите-ли... у васъ все вѣрно, но все это старо, давно извѣстно... общія мѣста. Вотъ поэтому мы и не можемъ пропечатать,—рѣшился заговорить одинъ изъ господъ, сидѣвшихъ въ залѣ.

— Извѣстно?—невольно воскликнулъ пораженный Черновъ.

— Давно извѣстно.

— Эта правда-то?!

— Да, все это давно извѣстно.

— Что вотъ тутъ я написалъ, какъ есть все это самое—чистая правда?

— Да, все это каждый день мы говорили, только другими словами...

— Пропечатываете настоящую, безъ фальши правду?!

— Конечно, правду.

Черновъ былъ пораженъ, какъ громомъ.

— Ну, и что же?—спросилъ онъ съ глубочайшимъ любопытствомъ.

— Пока ничего.

— Не дѣйствуетъ?

Члены редакціи улыбнулись.

— Пользы, значитъ, нѣтъ?—спросилъ онъ и, не получивъ отвѣта, странно посмотрѣлъ на всѣхъ, какъ будто смертельно раненый. На него жалко было смотрѣть.

— Вы успокойтесь... отчаиваться нечего. Правда рано или поздно выйдетъ на свѣтъ и одержитъ верхъ. Надо только умѣть ждать...

— Подождать?—спросилъ Черновъ.

— Да, подождать.

Черновъ задумался.

— Подождать... отчего же, можно. Да видите-ли, ваше благородіе, какое наше дѣло-то... Господамъ благороднымъ подождать — нужды нѣтъ, время терпитъ. Для насъ же... ежели правды нѣтъ, то мы умираемъ.

Черновъ медленно поднялся съ мѣста и собрался уходить.

— Такъ пропечатываете?—спросилъ онъ машинально при прощаньи.

— Разумѣется.

— И не дѣйствуетъ?

На этотъ разъ члены молчали, сконфуженные.

Черновъ ушелъ.

Но одинъ изъ членовъ догналъ его уже на улицѣ и пригласилъ къ себѣ напиться чаю. Изъ его разспросовъ оказалось, что Черновъ не имѣлъ въ городѣ ни квартиры, ни пропитанія; ночевалъ на бульварахъ или по оврагамъ, которыми такъ богатъ этотъ городъ. На предложеніе барина—пожить у него Черновъ, повидимому, съ удовольствіемъ согласился. Одну ночь онъ, дѣйствительно, переночевалъ въ кухнѣ, но когда баринъ на слѣдующій день проснулся, Чернова въ его домѣ уже не было, и даже прислуга не могла сказать, когда онъ ушелъ.

Теплая украинская ночь уже покрывала тѣнью городъ N, смущенный неожиданнымъ еврейскимъ погромомъ. Евреи скрылись. Производившіе безпорядокъ частью были разогнаны, частью переловлены. Дневной переполохъ затихалъ. На главныхъ улицахъ воцарился миръ.

Къ вечеру осталась лишь одна шайка, состоявшая изъ подростковъ и дѣтей. Ее ловили съ самаго утра и не могли разбить. Застигнутая въ одномъ мѣстѣ, она съ вихремъ переносила свои дѣйствія на другое. Предводительствовалъ ею старикъ, безъ шапки, только въ портахъ и рубахѣ, босой. Онъ наводилъ ужасъ на ту улицу, гдѣ появлялся во главѣ своего малорослаго отряда. Разбивалъ онъ мелочныя лавочки и не щадилъ ни одной крошки найденнаго въ ней имущества; все, что попадалось ему въ руки, онъ рвалъ, ломалъ и разбрасывалъ, уничтожая вещи невозвратно. Въ то время, какъ большая часть ребятъ набивала карманы сластями и цѣнными вещами, онъ топталъ ногами золотые часы и обли-

валъ грязными помоями ящики съ конфектами. Сами ребята въ страхѣ сторонились отъ него.

Къ вечеру его шайка уменьшилась; ребята разбѣжались. Въ сумеркахъ въ его отрядѣ числилось уже не болѣе десятка парней, да и тѣ, чувствуя, что ихъ обходятъ солдаты, готовы были оставить старика. Но послѣдній и слышать ничего не хотѣлъ.

— Будетъ, дѣдко!--проговорили ему мальчуганы, испуганно озираясь по сторонамъ.

— Нѣтъ, еще одного уничтожимъ. Вышибай, ребята, двери! —закричалъ онъ.

Они стояли передъ суровскою еврейскою лавкой, на концѣ города. Видя передъ собой одну только эту лавку, обреченную имъ мысленно на истребленіе, старикъ не замѣтилъ, какъ его парни бросились вразсыпную, а на ихъ мѣсто ворвались полицейскіе и солдаты; онъ не слыхалъ свистковъ, топанья, криковъ, которые уже раздавались надъ самымъ его ухомъ; въ слѣпомъ ожесточеніи онъ принялся ломать руками, ногами и грудью дверь и едва-ли почувствовалъ въ первое мгновеніе, какъ за него сзади ухватились нѣсколько паръ рукъ и оттащили его отъ лавки.

Черезъ минуту и въ этой части города тишина настала. Ребята какъ сквозь землю провалились, и старика полицейскіе повели въ участокъ.

Его привели, отворили дверь кутузки, съ силой втолкнули туда и опять заперли дверь. Тамъ уже сидѣло много народу, и никто не обратилъ вниманія на старика. Онъ также никого не замѣтилъ, да и темно было, какъ въ погребѣ. Присѣвъ на полъ въ углу, онъ скорчился и такъ просидѣлъ до утра.

А на утро рано приглашенный докторъ констатировалъ смерть неизвѣстнаго старика отъ огромнаго нервнаго потрясенія. Полиція такъ и не удостовѣрилась въ его личности. Въ карманѣ у него найдена была какая-то бумага, но она до того была истрепана и запачкана, что разобрать ее не было возможности. Только въ началѣ ея виднѣлись крупно написанныя слова: „Покорнѣйше умоляю обратить вниманіе!“

Полицейскій чиновникъ, дѣлавшій этотъ обыскъ, только пожалъ плечами и велѣлъ бумагу выбросить въ соръ, а тѣло старика свезти въ мертвецкій покой больницы для чернорабочихъ.

Живой ключъ.

(Преданіе).

Та гора, изъ которой вытекалъ ключъ, находилась во владѣніи богатаго человѣка.

Людская молва приписывала послѣднему несмѣтныя богатства, безграничную власть и силу. Онъ могъ, по произволу, имѣть все, чего хотѣлъ. Его поля покрыты были тучными нивами и пастбищами; въ его садахъ и оранжереяхъ росли самые рѣдкіе фрукты, а все, чего не было по близости, присылалось ему изъ далекихъ странъ. Казалось, всѣ желанія его были исполнены и не осталось уже ничего, что могло бы вызвать въ немъ жажду пріобрѣтенія.

Но однажды, скучая, онъ объѣзжалъ свое имѣніе и вдругъ обратилъ вниманіе на ключъ, выбѣгавшій съ веселымъ шумомъ изъ горы. Это былъ чистый, прозрачный, холодный родникъ. Но куда онъ бѣжалъ?

Вырываясь изъ нѣдръ горы, онъ катился къ ея подножью съ веселымъ шумомъ, какъ бы радуясь свѣту, воздуху и свободѣ; отсюда по ложбинѣ онъ бѣжалъ дальше, по полямъ, по лугамъ, черезъ лѣсъ и сады и, наконецъ, пропадалъ за далекимъ горизонтомъ. И всюду, гдѣ онъ проходилъ, все живое радовалось его появленію. Травы ярко зеленѣли возлѣ него; хлѣбные колосья частыми рядами тѣснились на всемъ его пути и лѣса густо обступили крутые берега его, охраняя его покой и свободу.

Усталый путникъ садился возлѣ него и, утоливъ жажду его чистою, свѣжею водой, засыпалъ подъ его тихія пѣсни.

Издалека приходили къ нему—жнецъ, мочившій свой черствый хлѣбъ въ его водѣ, и конь его, понуро опускавшій голову надъ его струями. Въ него, какъ въ зеркало, заглядывала дѣвушка, радуясь своему румянцу; дѣти рѣзвились на его лужайкахъ.

Но куда онъ бѣжалъ? Сначала его теченіе принадлежало богатому человѣку, но дальше, за горизонтомъ, онъ выходилъ изъ его владѣній и дѣлался достояніемъ всѣхъ людей, жившихъ въ той сторонѣ.

Когда богатый человѣкъ узналъ объ этомъ, ему пришло на мысль всецѣло завладѣть роднымъ родникомъ. Ему казалось, что предоставленный себѣ родникъ только портится, теряя свою красоту; онъ течетъ между грязными берегами; черезъ него во многихъ мѣстахъ проложены броды; скотъ мутитъ его прозрачную воду; мѣстами болота окружаютъ его берега.

— Лучше я проведу его въ свои сады и сдѣлаю фонтаномъ,—рѣшилъ богатый человѣкъ.

И на слѣдующій же день онъ нанялъ работниковъ и послалъ ихъ къ ключу. Вооружившись лопатами, ломами и топорами, работники принялись за дѣло. На томъ мѣстѣ, гдѣ на свѣтъ Божій вырывался родникъ, они выкопали обширный водоемъ, обложили его камнемъ и скрѣпили желѣзомъ; кругомъ вывели еще высокія стѣны съ желѣзною крышей, и только въ одной стѣнѣ оставили двери съ тяжелымъ замкомъ. Никто больше не могъ видѣть, откуда беретъ начало родникъ.

Послѣ того на протяженіи нѣсколькихъ верстъ прокопали канавы, вложили туда чугунныя трубы и все это засыпали землей. Въ саду же, до котораго доведены были трубы, поставили мраморный фонтанъ съ гротомъ посрединѣ.

Когда вся эта каменная постройка кончилась, повѣсили замо́къ надъ родникомъ; съ той поры никто, кромѣ богатаго человѣка и его челяди, не слыхалъ веселаго шума бойкаго ручейка. Русло его высохло, а самъ онъ, запертый среди камня и желѣза, не видя свѣта, съ ревомъ устремился въ чугунныя трубы и глухо рычалъ подъ землей. Такъ онъ добѣгалъ до фонтана; здѣсь онъ, съ шипѣніемъ и свистомъ, взлеталъ на воздухъ, но, обезсиленный въ борьбѣ, падалъ слезами на мраморныя плиты. Живой ключъ для

всѣхъ умеръ, и, казалось, не вырваться ему больше изъ неволи никогда.

Прошло немного времени. Богатый человѣкъ нѣсколько дней полюбовался на свой чудесный фонтанъ и затѣмъ забылъ о немъ. Скучая, онъ не могъ долго останавливать вниманіе на одномъ предметѣ. Ему все надоѣдало, и его похолодѣвшее сердце требовало новыхъ желаній.

Далеко вокругъ онъ пользовался почетомъ,—не было человѣка въ той сторонѣ, который не зналъ бы его. Встрѣчаясь съ нимъ, всѣ низко кланялись, разговаривая съ нимъ, каждый выражалъ на своемъ лицѣ величайшее счастье. Мѣстныя власти исполняли малѣйшее его желаніе, считая его лучшимъ гражданиномъ; служитель церкви молился за здравіе его души. Но богатый человѣкъ низко цѣнилъ это всеобщее уваженіе и почти не замѣчалъ его.

Но однажды, скучая, онъ задумался: чему люди въ немъ поклоняются и какую цѣну имѣютъ ихъ поклоны?—спросилъ онъ себя.

Задумавъ это, онъ рѣшился испытать людей. Быть можетъ, это была новая причуда отъ скуки, но, быть можетъ, тоскующая душа его искала правды; только однажды, для испытанія людей, онъ вдругъ притворился раззорившимся. Распустилъ всѣхъ слугъ, притворно продалъ все свое имѣніе, роздалъ неизвѣстнымъ кредиторамъ всѣ деньги и внезапно очутился нищимъ, безъ угла и пріюта. Одѣвшись въ рубище, онъ покинулъ свой опустѣвшій домъ и сталъ обходить всѣ тѣ мѣста, гдѣ его знали и гдѣ ему низко кланялись.

Желаніе его было исполнено: онъ скоро узналъ то, чему люди поклонялись въ немъ и какую цѣну имѣли ихъ поклоны. Всѣ почти сразу измѣнились къ нему. Одни, при видѣ его, еще раскланивались, но уже стыдились своихъ поклоновъ; другіе, при встрѣчѣ, отворачивались отъ него, словно не замѣчая его присутствія; третьи же нагло смотрѣли на него и открыто выражали презрѣніе къ его грязному виду. Перестали молиться о его грѣшной душѣ, видимо, обреченной на муки ада; мѣстныя власти грозили посадить его въ тюрьму за бродяжничество.

Нашелся только одинъ человѣкъ, измѣнившій къ лучшему свои прежнія отношенія къ недавнему богачу. Это

былъ однинъ изъ тѣхъ несчастливцевъ, которымъ злая судьба дала тонкій умъ и гордое сердце,—такимъ несчастнымъ блага жизни не даются въ руки. Всю жизнь онъ провелъ въ борьбѣ съ несчастіями и плохо ладилъ съ людьми. Его называли злымъ, хотя онъ былъ только справедливымъ; считали его безумцемъ, между тѣмъ какъ онъ только видѣлъ вещи такими, каковы онѣ были въ дѣйствительности. Такъ же онъ относился и къ богатому человѣку: никогда не кланялся ему и не обращалъ на него никакого вниманія. Но теперь, при видѣ его нищеты, онъ съ улыбкой поклонился ему и подалъ ему руку.

Это удивило богача.

— Развѣ я тебѣ нуженъ, что ты кланяешься мнѣ?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, я именно потому и кланяюсь тебѣ, что ты мнѣ совсѣмъ не нуженъ,—отвѣтилъ бѣднякъ.

— Почему же ты отворачивался отъ меня, когда я былъ богатъ?

— Чтобы не быть просителемъ твоимъ.

— Ты радуешься моей нищетѣ?

— Нѣтъ, я только радуюсь тому, что ты сталъ братомъ моимъ, равнымъ мнѣ.

На мгновеніе богатый человѣкъ задумался надъ этими словами, но скоро забылъ ихъ. Мысли его были заняты тою всеобщею неблагодарностью, которую такъ скоро онъ узналъ, лишь только сдѣлался бѣднымъ. Всѣ отвернулись отъ него.

Когда эту правду онъ окончательно понялъ на своемъ опытѣ, то сбросилъ съ себя рубище. Не надолго онъ совсѣмъ скрылся изъ своей страны, а когда возвратился, то опять объявилъ себя богачемъ. Пріобрѣлъ снова имѣніе свое, украсилъ домъ рѣдкими предметами и зажилъ съ прежнею роскошью. Говорили даже, что онъ еще болѣе разбогатѣлъ. Ослѣпленные его блескомъ, люди снова принялись отвѣшивать ему поклоны,—одни—изъ страха передъ его силой, другіе—ради поживы на его счетъ.

Но самъ богачъ съ злою улыбкой смотрѣлъ на все это и никому больше не отвѣчалъ на поклоны. Кто бы ни встрѣтился съ нимъ, онъ не давалъ себѣ труда снимать шапку. Вмѣсто этого обычая, онъ придумалъ другой. Выходя изъ дома, онъ всегда бралъ съ собою кошель, туго набитый день-

гами, и когда встрѣчные люди кланялись ему, онъ вынималъ кошель и моталъ имъ, дѣлая такое движеніе, какъ будто кошелекъ отвѣчаетъ на ихъ поклоны.

Одни прощали новую причуду богача, другіе обижались этою явною насмѣшкой.

— Зачѣмъ ты мотаешь кошелемъ, вмѣсто того, чтобы снять шапку?—спрашивали у него третьи, слабоумные.

— Но вѣдь вы не мнѣ кланяетесь, а этому набитому кошелю? Пускай же онъ, набитый дуракъ, и отвѣчаетъ на ваши поклоны!—возражалъ богатый человѣкъ.

Онъ смѣялся, но, къ удивленію его, смѣхъ этотъ не приносилъ ему радости; вмѣсто смѣха и радости, зло и гнѣвъ зародились въ его душѣ. Чтобы облегчить душу, онъ отправился къ тому гордому несчастливцу, который протянулъ ему руку въ дни его нищеты. Тотъ, всегда вѣрный себѣ, равнодушно встрѣтилъ его и холодно сталъ слушать его жалобы. Богатый человѣкъ жаловался на низость людей.

— Они хуже собакъ!—говорилъ онъ.—Собаки могутъ безъ корысти любить, человѣкъ же никогда!

— Да, люди цѣнятъ только тѣхъ, кто имъ служитъ,—возразилъ бѣднякъ.

— Неправда!—сказалъ богачъ,—они настолько низки, что цѣнятъ только грубыя вещи, деньги, имущество.

— А ты что же цѣнилъ въ людяхъ, когда наживалъ свое богатство?—спросилъ бѣднякъ.

— Правда, я пользовался ихъ трудомъ, ихъ деньгами, ихъ имуществомъ, но я не притворялся преданнымъ; беря отъ людей все нужное мнѣ, я не говорилъ, что дѣлаю это изъ любви къ нимъ.

— То же самое дѣлаютъ и они по отношенію къ тебѣ; притворство же ихъ есть только одно изъ тѣхъ орудій наживы, которыми и ты не брезговалъ.

— Но я никогда не смѣшивалъ человѣка съ набитымъ кошелемъ!—сказалъ богачъ.

— И тебя не смѣшиваютъ съ твоимъ кошелемъ.

— Зачѣмъ же кланяются моему кошелю подъ видомъ поклоненія мнѣ?

— Затѣмъ, что кошель имѣетъ дѣйствительную цѣну, а ты... Что ты въ жизни сдѣлалъ, чтобы придать себѣ дорогую цѣну въ глазахъ людей?

Это были грубыя и жестокія слова. Но богатый человѣкъ не обидѣлся, погруженный въ задумчивость. Ему пришла въ голову страшная мысль: чѣмъ помянутъ его люди, когда его не будетъ?

И онъ спросилъ:

— Что же нужно сдѣлать, чтобы заслужить непритворное уваженіе и память въ людяхъ?

— Спроси самъ себя, что въ тебѣ есть лучшаго и дорогого?—возразилъ бѣднякъ.

— Я не знаю,—сказалъ богачъ.

— На что-же ты жалуешься? И что ты можешь дать людямъ, когда ты самъ не знаешь, что въ тебѣ есть лучшаго и дорогого?

Бѣднякъ сказалъ это грубо и замолчалъ; онъ самъ не зналъ, что дѣлать, чтобы заслужить память людей. Съ дѣтства преслѣдуемый нищетой и неудачами, онъ научился только отбиваться отъ несправедливости и гордо смотрѣлъ въ глаза неправдѣ; сказать же, какъ служить людямъ, онъ не умѣлъ. Да и кто умѣетъ? Это вѣчная загадка, которую еще никто не отгадалъ, хотя много людей пыталось ее отгадать.

Когда богатый человѣкъ разстался съ гордымъ нищимъ, то почувствовалъ себя совсѣмъ одинокимъ. Никому онъ больше не вѣрилъ, подозрѣвая каждаго, кто къ нему подходилъ, во лжи и притворствѣ. Онъ прогналъ отъ себя всѣхъ друзей и льстецовъ, всѣхъ знакомыхъ притворщиковъ, пересталъ показываться въ народѣ и повелъ одинокую жизнь.

Только собаки неотлучно окружали его, ихъ развелъ онъ великое множество, полонъ дворъ и домъ, и въ ихъ обществѣ проводилъ всѣ свои дни и ночи. Съ самыми преданными и любимыми онъ разговаривалъ и былъ увѣренъ, что ни одна изъ нихъ, виляя хвостомъ, не попроситъ его денегъ.

Такъ прошли многіе годы. Нельзя жить человѣку безъ человѣка. Въ одиночествѣ несчастный человѣкъ сталъ дикимъ и страшнымъ. Мало-по-малу все живое разбѣжалось отъ него. Слуги, расхищая его имущество, одинъ по одному оставили его; родные уѣхали отъ него далеко и оттуда ожидали его смерти; сосѣди боялись показываться ему на глаза; дѣти и женщины даже близко къ его дому не подходили, пугая другъ друга его именемъ.

Никто ни видалъ, какъ и когда онъ скончался. Только однажды, въ глухую полночь, проходившіе мимо сосѣди услыхали сплошной вой всѣхъ собакъ, жившихъ въ его домѣ, и догадались, что насталъ послѣдній смертный часъ богатаго человѣка.

Еще при жизни его половина богатства была расхищена, послѣ же смерти его быстро все разрушилось. Наѣхавшіе родственники увезли все цѣнное и дорогое; сосѣди тащили, кто что могъ. Непогода,—солнце, холодъ, буря и дождь,— ускорили смерть всего, что было у богатаго человѣка. И скоро отъ чуднаго жилища не осталось камня на камнѣ. Самое имя богача не осталось въ памяти людей.

Но развѣ умираетъ что-нибудь искренно живое? Нѣтъ, только мертвое умираетъ.

Когда камни богатаго дворца разрушились, а подгнившіе и проточенные червями столбы упали, когда всѣ твердыни сравнялись съ землей и лишь бурьянъ густо разросся по старому пепелищу, въ это самое время одинъ ручей съ силой продолжалъ бить подъ землей. Ему теперь предстояла работа—вырваться на волю. Трубы давно проржавѣли и засорились; мраморныя плиты фонтана вросли въ землю или были растасканы сосѣдями; вся тюрьма его медленно разрушалась, но онъ все еще не могъ сбросить съ себя желѣзныхъ оковъ и продолжалъ глухо рычать подъ землей.

Наконецъ, часъ его освобожденія насталъ. Онъ подкопался подъ каменный фундаментъ канавы, разрѣзалъ твердую землю, прорвалъ послѣдній пластъ ея и съ шумомъ очутился на склонѣ горы. Отсюда онъ ринулся внизъ, скатился въ старое русло свое и побѣжалъ, играя солнечными лучами, туда, за горизонтъ, гдѣ нѣкогда онъ былъ.

И снова все ожило при его появленіи. Трава ярко зазеленѣла, устилая весь путь его цвѣтами. Деревья приблизились къ его берегамъ и, вдыхая его влагу, ограждали его своею тѣнью отъ зноя. Птицы и звѣри стекались къ нему ежедневно, люди протягивали къ нему руки, набирая его чистую воду. Тысячи услугъ и радостей онъ давалъ всѣмъ, кто приближался къ нему.

Общество грамотности.

(*Посмертный разсказъ* *).

I.

Удивляюсь, какъ это авторы пишутъ нынче романы, комедіи и драмы? Какъ извѣстно изъ учебниковъ словесности, для всѣхъ этихъ родовъ искусства требуются, хоть понемногу, характеръ и движеніе, но характеровъ, какъ извѣстно изъ другихъ источниковъ, среди всеобщаго киселя взять негдѣ. И вотъ почему я удивляюсь, откуда авторы берутъ своихъ героевъ? Вѣроятно, бѣдные романисты часто испытываютъ большое смущеніе; должно быть, случаются непріятныя неожиданности: только-что романистъ разыщетъ и приспособитъ нѣкотораго героя—и вдругъ этотъ субъектъ окажется такимъ прохвостомъ, что не только въ романѣ, но и на квартирѣ-то совѣстно его держать.

Принимая во вниманіе всѣ эти соображенія, читатель и самъ не потребуетъ отъ меня романа съ героемъ, а удовольствуется тѣмъ, что̀ я могу дать. Въ данномъ случаѣ я могу дать только записки изъ жизни одного общества, къ которому я самъ принадлежалъ, и разсказать его судьбу,— какъ оно возникло, какъ процвѣтало и какъ пало. Такимъ

---

*) Предлагаемый разсказъ представляетъ отрывокъ изъ произведенія Каронина, начатаго имъ для „Сѣвернаго Вѣстника". Жестокій недугъ, унесшій въ преждевременную могилу молодого симпатичнаго беллетриста, къ сожалѣнію, не далъ ему довести задуманную вещь до конца.

образомъ, если у меня героя нѣтъ, а ходячаго дурака я описывать не желаю, за то у меня будутъ подробно описаны многія лица, и я искуплю свою вину количествомъ.

Долженъ еще нѣсколько предварительныхъ замѣчаній сдѣлать. Во-первыхъ, я намѣренъ провести нѣкоторую тенденцію... Что-жь, я этого не скрываю! Именно я постараюсь доказать пользу грамотности. Быть можетъ, такая тенденція покажется нѣкоторымъ нашимъ современникамъ неумѣстной, но надо мужественно исповѣдывать свои убѣжденія.

Во-вторыхъ, я не ручаюсь, что мои записки будутъ интересны. Для многихъ вовсе нелюбопытно будетъ читать исторію одного изъ нашихъ скучнѣйшихъ обществъ, влачащихъ жалкое существованіе. Но я пишу только для тѣхъ, кому дорога грамотность и кто съ ужасомъ смотритъ на широкій разливъ дикости и глупости.

Послѣ этихъ замѣчаній я уже спокойно могу заняться изложеніемъ исторіи нашего общества.

Вначалѣ учредителей было пять человѣкъ, но одинъ изъ нихъ (во всѣхъ отношеніяхъ почтенный человѣкъ) вдругъ такъ перепугался чего-то, что на-отрѣзъ отказался принимать участіе въ собраніяхъ нашего кружка. Пожалѣли мы его и не мало удивлялись безпричинному страху, внезапно обуявшему его, но, дѣлать нечего, примирились съ его выходомъ.

Осталось насъ четверо: Иванъ Петровичъ Емельяновъ, Петръ Ивановичъ Севастьяновъ, Василій Николаевичъ Ландышевъ и я, Григорій Павловичъ Древесиновъ. Въ дальнѣйшемъ изложеніи я подробно опишу каждаго изъ этихъ дѣятелей нашего общества, а пока ограничусь нѣсколькими словами.

Иванъ Петровичъ Емельяновъ имѣлъ представительную наружность — выхоленныя щеки, тщательно расчесанный двойной подбородокъ и почтенное брюшко. Это былъ въ полномъ смыслѣ культурный человѣкъ, надъ внѣшностью котораго позаботилось нѣсколько поколѣній слугъ и который своими руками ничего не умѣлъ дѣлать. За эту представительную внѣшность, а также за то, что онъ занималъ видное положеніе и получалъ хорошій окладъ, мы съ самаго начала выбрали его своимъ предсѣдателемъ. Мы не безъ основанія разсчитывали, что онъ будетъ весьма полезенъ

въ тѣхъ случаяхъ, когда между генераломъ и нашимъ обществомъ возникнутъ какія-нибудь недоразумѣнія. Въ частной жизни онъ извѣстенъ былъ многими легкомысленными поступками и увлеченіями, но вообще считался хорошимъ человѣкомъ.

Петръ Ивановичъ Севастьяновъ также занималъ видное положеніе. Но въ немъ не было представительности; высокій и худой, съ вытянутымъ лицомъ, онъ производилъ такое впечатлѣніе, какъ будто его каждую минуту ожидало несчастіе; взоры его безпокойно бѣгали, въ особенности когда онъ говорилъ о вещахъ, которыя еще не разрѣшены, длинное лицо его постоянно отмѣчалось какою-то судорогой. Обществу онъ былъ полезенъ тѣмъ, что никогда не могъ допустить какого-либо увлеченія, твердо стоя на почвѣ устава. Впрочемъ, онъ тоже былъ очень хорошій человѣкъ, любилъ жену, заботился о дѣтяхъ и никогда не пилъ въ ресторанахъ.

Что касается Василія Николаевича Ландышева, то это былъ нашъ ораторъ. Еще когда мы ожидали только разрѣшенія устава, бывали минуты, когда намъ не о чемъ было говорить; хоть тресни головой объ стѣну, ни одной мысли, бывало, не вышибешь. А онъ всегда находилъ слово. Въ каждую минуту онъ могъ завести свою говорильную машину на какой угодно взводъ и молоть сколько угодно и о чемъ попало. Какъ хотите, а это положительное достоинство въ томъ обществѣ, откуда раздается только сквернословіе. Мы иногда и смѣялись надъ нимъ, а все-таки любили его. Правда, въ частной жизни онъ не совсѣмъ аккуратно сводилъ концы съ концами, имѣлъ двухъ женъ, изъ которыхъ каждая отъ времени до времени оскорбляла его дѣйствіемъ, но кому какое дѣло до частной жизни? Въ общемъ онъ тоже хорошій былъ человѣкъ.

О себѣ я не стану говорить много. Одно время я былъ земскимъ врачемъ, но теперь живу въ городѣ, занимаюсь практикой и отыскиваю культурной работы, а такъ какъ добровольно никто мнѣ ее не даетъ, я страшно скучаю. При возникновеніи общества грамотности, я принялъ въ немъ дѣятельное участіе, а за свои бумажныя способности съ перваго же дня былъ выбранъ въ секретари его.

Такимъ образомъ, при самомъ основаніи наше общество

уже одна торжественность обстановки импонируетъ и подтягиваетъ человѣка, привыкшаго жить только дома и вести только домашнія дѣла. Во-вторыхъ, каждый чувствуетъ себя нѣкоторою величиной и нѣкоторымъ полноправнымъ человѣкомъ, который можетъ выражать свои мысли открыто и дѣлать нѣкоторое важное дѣло, не думая о кутузкѣ. На это время каждый забываетъ свои рыбьи чувства и выглядитъ если и не господиномъ, то и не лакеемъ.

Къ нашему удивленію, на первое же засѣданіе собралось много публики, записавшейся въ члены. Почему это такъ случилось—не могу точно объяснить. Быть можетъ, всѣ собравшіеся были дѣйствительно ревнители грамотности; быть можетъ, играла тутъ роль и дурь, о которой я выше говорилъ. Послѣднее вѣрнѣе. Когда холодъ сковываетъ воду толстымъ слоемъ льда, достаточно часто прорубить прорубь чтобы задохшаяся рыба жадно полѣзла въ нее, ища свѣжаго воздуха. Что угодно открывайте—публика сначала пойдетъ густою толпой, слѣпо отыскивая воздухъ, свѣтъ, жизнь. Такъ и у насъ вышло: публики набралось много, общество сразу пріобрѣло добрую сотню членовъ, и когда открылось засѣданіе, всѣ собравшіеся съ жаднымъ любопытствомъ наблюдали, что тутъ такое произойдетъ; наблюдали, но, какъ рыбы, молчали. Ни одинъ изъ вновь поступившихъ не издалъ звука; всѣ, очевидно, ждали, что̀ будетъ говорить начальство, т.-е. мы, учредители.

А мы сами не знали, съ чего начать. Съ полчаса заняли выборы; какъ всѣ и ожидали, въ комитетъ насъ всѣхъ единогласно выбрали,—Ивана Петровича въ предсѣдатели, Ландышева и Севастьянова въ члены, а меня секретаремъ. Послѣ нѣкотораго движенія, когда всѣ заняли опять свои мѣста, мы съ Ландышевымъ переглянулись. Онъ понялъ, поднялся и заговорилъ. Описавъ въ немногихъ словахъ энергію, проявленную нашимъ предсѣдателемъ, а также непріятности, которыя тотъ перенесъ ради общества, Ландышевъ пригласилъ собраніе торжественно благодарить его. Всѣ тотчасъ же съ шумомъ поднялись со своихъ мѣстъ и воскликнули: „Благодаримъ, благодаримъ!“ Иванъ Петровичъ такъ расчувствовался, что вынулъ платокъ и поднесъ его къ носу, въ то же время, выражая, съ своей стороны, благодарность тѣмъ изъ господъ членовъ, которые съ такою неослабною

энергіей поддерживали его въ трудное время утвержденія. Тутъ пошли взаимныя благодарности, на которыя такъ падокъ русскій человѣкъ.

Продѣлавъ все это свинство, мы снова были въ затрудненіи, что̀ дальше дѣлать. И опять здѣсь выручилъ Ландышевъ. Вообще онъ вынесъ цѣлый вечеръ на своихъ плечахъ. Началъ онъ длиннѣйшую рѣчь о предстоящихъ обществу задачахъ. Его слова лились, какъ вода съ крышъ во время весеннихъ дождей; едва касаясь одного уха, они безслѣдно выходили въ другое. Тѣмъ не менѣе, мы съ чувствомъ удовлетворенной гордости слушали его и не прерывали, впавъ въ какую-то истому. Лично мнѣ не то спать хотѣлось, не то грустно отчего-то стало.

А онъ все говорилъ. И вотъ уже передъ моими умственными взорами показались сѣрыя и холодныя облака поздней осени и закутали всю землю непроницаемою мглой, и съ крышъ монотонно струилась холодная вода и медленно падала мнѣ прямо на голову, застилая послѣдній здравый смыслъ мой, а онъ все говорилъ.

И видно было, что по мѣрѣ развитія его рѣчи онъ и самъ все болѣе разгорячался, приходилъ въ экстазъ и, очевидно, вѣрилъ тому, что̀ говорилъ. Между тѣмъ, черезъ нѣсколько минутъ послѣ его рѣчи никто бы не могъ припомнить, о чемъ онъ говорилъ.

Таково вліяніе всякой болтушки,—остается на душѣ нѣчто смутное и легкое, какъ паутина, и ухватиться не за что. Болтушка—это неизмѣнный нашъ герой. Говорю это не въ осужденіе, а только для того, чтобы отмѣтить распространенность пустомельства. Я не только не осуждаю его, но, напротивъ, желалъ бы снять всѣ нареканія. Чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, вреденъ-то болтушка? Ничѣмъ. А въ свое время появленіе его было даже хорошимъ признакомъ. Было, говорятъ, время, когда человѣческая рѣчь считалась ненужной; одни тогда молча приказывали, другіе молча повиновались, а гдѣ и случалось говорить, то выражались кратко и внушительно. Но настало другое время, когда люди, въ отдаленныхъ углахъ сидѣвшіе, заговорили, съ изумленіемъ прислушиваясь къ собственнымъ словамъ, которыя дико звучали въ пустотѣ,—вотъ тогда, вмѣстѣ со всѣмъ прочимъ, и болтушки появились. И это былъ большой шагъ

впередъ. Пускай за словомъ не слѣдуетъ дѣло, но хорошо уже и то, что люди не молчатъ, не хрюкаютъ, какъ бывало, а говорятъ, правильно объясняясь на нашемъ чудесномъ языкѣ. Если даже отъ пустомельства ничего не остается, все же хоть словесность развивается. А кромѣ того, пустомельство часто и кое-какой слѣдъ оставляетъ, не то грусть, не то истому музыкальную.

Разумѣется, давно ужь пора бы перейти отъ словъ къ дѣйствіямъ, какъ нѣкогда перешли отъ молчанія къ словамъ, и на первыхъ порахъ можно было бы провести такую реформу: обязать всѣхъ болтушекъ исполнять на дѣлѣ ихъ слова. И тогда навѣрное много пустомелей сдѣлались бы полезными гражданами, и многія отрасли наши процвѣли бы съ неслыханною быстротой... Впрочемъ, говоря это, я знаю, что это не мое дѣло и къ предмету моего разсказа не относится, и потому возвращаюсь къ прерванному.

Когда Ландышевъ кончилъ пожеланіемъ процвѣтанія нашему обществу, мы всѣ были такъ растроганы и воодушевлены, что въ эту минуту глубоко вѣрили въ пользу и блестящій успѣхъ нашего дѣла, а также въ свою энергію. Вѣроятно, каждый думалъ про себя: „А какой я все-таки еще хорошій человѣкъ!“

Этимъ и нужно было бы кончить наше первое собраніе. Но тутъ случилась маленькая, но чувствительная непріятность. Какой-то господинъ изъ отдаленной публики поднялся вдругъ со своего мѣста и заговорилъ съ явною ироніей.

— Я очень благодаренъ господину Ландышеву за картину будущаго процвѣтанія общества, нарисованную имъ такими яркими красками, но я желалъ бы знать, что намъ завтра предстоитъ, какими дѣлами мы послѣ-завтра будемъ заниматься, какія наши средства, задачи, цѣли?... Мнѣ кажется, что знать это довольно важно...

Сказавшій это господинъ одѣтъ былъ неизысканно, въ черный, потертый сюртукъ, но прилично, какъ одѣваются наши интеллигенты, не имѣющіе хорошаго мѣста или совсѣмъ безъ мѣста находящіеся. Длинное, матовое лицо его носило слѣды смущенія, манеры казались неловкими. Но голосъ его звучалъ твердо, а въ глазахъ его выражалась, какъ и въ словахъ его, иронія. Это мнѣ не нравилось.

Да и другимъ едва-ли были пріятны его слова. Какъ-то

всѣ сразу вышли изъ блаженнаго настроенія, брови у всѣхъ нахмурились, добродушныя лица надулись, а нашъ предсѣдатель сталъ даже лобъ себѣ тереть. Однимъ словомъ, всѣмъ вдругъ пришлось думать, а такъ какъ это случилось врасплохъ, то, вмѣсто думъ, напало на всѣхъ только огорченіе. Многіе уже угрюмо посматривали по сторонамъ, видимо, собираясь дать тягу.

Но, должно быть, Иванъ Петровичъ не даромъ теръ себѣ лобъ.

— На запросъ господина... члена я долженъ сказать, что цѣли и задачи нашего общества точно обозначены въ уставѣ, который и рекомендую ему прочесть. А что касается ближайшихъ нашихъ предпріятій, объ этомъ поговоримъ въ слѣдующее засѣданіе. Сегодня же поздно, и я предлагаю закрыть собраніе.

Никто даже и не ожидалъ такой ловкости въ нашемъ довольно тучномъ предсѣдателѣ. Высказавъ этотъ ловкій отвѣтъ, онъ весело улыбнулся всѣмъ своимъ широкимъ, пухлымъ лицомъ и взглянулъ на оппонента. Тотъ, въ свою очередь, также взглянулъ прямо въ лицо ему, но не добродушно, а иронически, причемъ по лицу прошла нервная судорога. Должно быть, человѣкъ безъ мѣста.

— Уставъ я читалъ, но *онъ* не сказалъ мнѣ, что *мы* будемъ дѣлать,—возразилъ оппонирующій и вызвалъ громкій смѣхъ въ части публики.

Этою стычкой между нашимъ добрымъ толстякомъ и какимъ-то неизвѣстнымъ худымъ человѣкомъ и кончилось первое засѣданіе.

Задвигались стулья, затопали сапоги, раздались шумные голоса, и толпа членовъ дружно двинулась въ переднюю, а оттуда кто домой, кто въ буфетъ сосѣдняго ресторана, чтобы подкрѣпиться послѣ утомительнаго вечера.

II.

На второе засѣданіе пришло народу значительно меньше,—быть можетъ, погода виновата была: дулъ сильный, холодный вѣтеръ.

Однако, вечеръ прошелъ не безплодно. Прежде всего, Петръ Ивановичъ Севастьяновъ, съ сіяющимъ лицомъ, доло-

жилъ, что одинъ купецъ, торговецъ обувью, предложилъ въ даръ обществу десять паръ сапогъ для раздачи ученикамъ городскихъ школъ; послѣ минуты недоумѣнія собраніе единогласно постановило: благодарить.

Затѣмъ приступлено было къ рѣшенію вопроса, какія учебныя пособія прежде всего слѣдуетъ выписать. Вначалѣ, въ виду ограниченности средствъ, рѣшили купить лишь нѣкоторое количество букварей. Тѣмъ не менѣе, нѣсколькими членами былъ поставленъ вопросъ по существу, а именно— какія книги желательно было бы распространять среди народа? Поднялись споры. Но изъ спорящихъ скоро выдѣлились два члена и такъ рѣшительно овладѣли залой, что больше уже никому не пришлось говорить. Мнѣнія ихъ были крайнія и противоположныя.

Одинъ предлагалъ распространять въ некультурномъ народѣ только сельско-хозяйственныя и вообще техническія знанія, причемъ онъ привелъ поразительный, по его мнѣнію, примѣръ гороховой колбасы, которая въ Германіи служитъ самымъ распространеннымъ пищевымъ продуктомъ и которая нашему крестьянину совершенно неизвѣстна даже по имени. Другой, отозвавшись съ ироніей о гороховой колбасѣ, доказывалъ необходимость распространять въ народѣ нравственныя и эстетическія понятія, въ виду совершеннаго отсутствія таковыхъ въ темной средѣ. Оба разгоряченные противника нѣсколько разъ обмѣнялись горячими рѣчами и, наконецъ, такъ увлеклись, что совершенно забыли о присутствующихъ и заговорили о неотносящихся къ дѣлу вопросахъ; такъ, одинъ почему-то заговорилъ объ англійскихъ породистыхъ свиньяхъ, а другой много и съ волненіемъ распространился о свойствѣ лирической поэзіи. Пришлось ихъ остановить, что и сдѣлалъ Иванъ Петровичъ.

Въ виду сложности вопроса, кѣмъ-то предложено было выбрать коммиссію и возложить на нее представленіе обстоятельнаго доклада къ слѣдующему собранію. Предложеніе всѣ приняли и приступили къ выбору. И, къ великому моему огорченію, выбрали Ивана Петровича Емельянова, Ландышева и меня. Заранѣе можно было сообразить, что изъ этого ничего не выйдетъ.

Еще Ландышевъ — ничего, хоть наговоритъ много. А что касается почтеннаго Ивана Петровича, куда же онъ го-

дится? Работать онъ совсѣмъ не умѣлъ и отъ всякой работы повсюду отлынивалъ,—какая тутъ съ нимъ коммиссія? Какъ представитель, онъ не дуренъ: его благообразное лицо, его выхоленныя бакенбарды, его породистыя, оттопыренныя уши, наконецъ, его внушительное брюшко были у мѣста, когда надо было произвести извѣстное впечатлѣніе солидности, но никакая сила, ни даже пушечное ядро не могли бы заставить его работать въ коммиссіи. Для всякаго рода коммиссій есть чернорабочіе, а онъ былъ культурный человѣкъ...

Вѣдь культурный человѣкъ только кормится, а не работаетъ. Кормиться—единственное его назначеніе въ жизни, и другого онъ не знаетъ. Когда имъ отыскивается мѣсто свое, тогда онъ еще кое-что дѣлаетъ, но лишь только онъ нашелъ мѣсто—конецъ всякой работѣ. Работникъ работаетъ руками, ногами и хребтомъ, интеллигентъ фантазируетъ и творитъ, культурный же человѣкъ только кормится на своемъ мѣстѣ, какъ кормится червь тѣмъ деревомъ, на которомъ онъ сидитъ, какъ кормится дерево тою землей, въ которую пустило свои корни.

Едва-ли когда Ивану Петровичу приходила мысль, почему, ради какихъ своихъ заслугъ онъ получаетъ прекрасный окладъ. Получивъ мѣсто съ хорошимъ жалованьемъ, онъ, повидимому, это мѣсто считалъ только своимъ прирожденнымъ правомъ. Если онъ и исполнялъ кое-какія обязанности по службѣ, то какъ школьникъ, долбящій уроки ради страха наказанія. Единственныя обязанности, которыя онъ ревностно исполнялъ, за исполненіемъ которыхъ не лѣнился, относились къ ѣдѣ, питью, полученію жалованья, вообще къ потребленію. Потребленіе во всѣхъ видахъ — вотъ культъ, который онъ всѣмъ своимъ сердцемъ исповѣдывалъ.

На этомъ культѣ весь домъ его стоялъ.

Бывало, взгруснется-ли отъ чего, покушать-ли съ аппетитомъ захочется, или потянетъ просто посмотрѣть, какъ живутъ порядочные люди,—соберешься и направляешься къ Емельяновымъ. Они занимали цѣлый домъ въ хорошей улицѣ; по вечерамъ домъ этотъ всегда былъ хорошо освѣщенъ, имѣлъ теплыя сѣни, убранныя коврами, и отворяла дверь всегда веселая, сытая горничная. Отказа въ пріемѣ мнѣ никогда не было. Если самъ Иванъ Петровичъ отсутствовалъ,

Лизавета Васильевна въ такомъ отчаяніи, словно Машѣ предстояло заболѣть сейчасъ истощеніемъ отъ голода.

— Я, мама, не хочу больше, — бойко возражала Маша, дѣвочка съ худымъ, но здоровымъ лицомъ.

— Да что же ты ѣла?

— Котлетку.

— А еще что?

— Развѣ это мало? Цѣлую котлетку съѣла...

— Почему-же ты не хочешь молоко допить?

— Оно такое, мама, атвра-атительное!—возражала Маша съ гримасой и сердито отдернула стаканъ отъ себя.

— Боже мой, и чѣмъ она только жива! — вскричала съ отчаяніемъ Лизавета Васильевна.

— Мамочка, дай мнѣ конфекту... съ начинкой!—возражала на это Маша.

— Не получишь!—строго отрѣзала мать.

— Нѣтъ, дай... Завтра я полный, преполный стаканъ выпью!

Передъ такимъ аргументомъ доброе сердце Лизаветы Васильевны обыкновенно не могло устоять: она давала конфекту и отпускала дѣвочку отъ стола.

Дѣти всѣми способами протестовали противъ пресыщенія, но современемъ они отлично усвоятъ ту истину, что они отъ самой природы одарены правомъ безгранично кушать, дорого одѣваться, сколько угодно спать, безконечно всѣмъ пользоваться, никому не работая, не зная никакихъ обязанностей, а теперь пока они знали нѣсколько очень тяжкихъ обязанностей—ѣсть, пить, спать, ходить гулять по улицѣ.

Колѣ шелъ пятый годъ, но Лизавета Васильевна считала долгомъ укладывать его регулярно спать въ часъ дня, во избѣжаніе переутомленія. Отсюда шла ежедневно война. Не разъ я, входя въ домъ, оглушаемъ былъ страшнымъ воплемъ, топотомъ нѣсколькихъ паръ ногъ, восклицаніями отчаянія, криками торжества. Это означало, что Колю укладывали спать. Обыкновенно ему объявляли о времени сна внезапно, затѣмъ быстро раздѣвали его и укладывали. Но иногда онъ заранѣе угадывалъ планы враговъ и тогда давалъ тягу; въ догонку за нимъ пускалась цѣлая орава — горничная, няня и сама Лизавета Васильевна. Его находили гдѣ-нибудь подъ диваномъ, насильно извлекали оттуда и, несмотря на то,

что онъ барахтался и кричалъ, тащили его въ спальню, гдѣ, подъ заунывный напѣвъ нянюшки, онъ скоро и засыпалъ.

Такія же тяжкія обязанности передъ культомъ въ дѣтствѣ несла, вѣроятно, и старшая дочь, Софья Ивановна. Но теперь, когда ей уже двадцать лѣтъ, она пользовалась сравнительною свободой, по крайней мѣрѣ, относительно кушанья. Барышня она была красивая и съ характеромъ и уже поэтому пользовалась нѣкоторою свободой въ выборѣ тѣхъ или другихъ мелочей. За обѣдомъ она могла уже критически относиться къ блюдамъ, порицая одно, одобряя другое; она дѣлала гримасу передъ дурнымъ кушаньемъ, выражала удовольствіе передъ хорошимъ; брезгливо тыкая вилкой въ одно блюдо, она содержимое его разбрасывала по тарелкѣ, какъ негодный соръ, и только небольшіе кусочки складывала въ ротъ. Это такъ удивительно шло къ ней!...

Ахъ, я чувствую, что не долженъ былъ бы записывать этихъ грубыхъ вещей! Но, въ то же время, я никакъ не могу припомнить, что̀ бы еще болѣе серьезнаго я могъ видѣть въ такой барышнѣ. Вотъ развѣ чтеніе книгъ. Однако, я увѣренъ, что относительно книгъ мои слова покажутся еще болѣе мелкими и, пожалуй, несправедливыми. Дѣло вотъ въ чемъ. Софья Ивановна много читала, больше всего, конечно, романовъ. Романовъ, я думаю, она нѣсколько тысячъ прочитала. Когда она уставала ихъ читать, сидя на стулѣ, она ложилась въ качалку; если и въ качалкѣ утомлялась, она переходила на кушетку. Лѣтомъ въ саду она забиралась въ гамакъ, подъ тѣнью тополей, и по цѣлому дню читала. Любила она и научныя книги, и книги объ искусствѣ. Но, глядя на нее, я всегда спрашивалъ, зачѣмъ это ей? Ну, романъ—это такъ, романъ, да еще съ острымъ соусомъ, это такое блюдо, передъ которымъ ни одинъ культурный человѣкъ не можетъ устоять. Но научное чтеніе зачѣмъ имъ?

Между тѣмъ, Софья Ивановна, читая, была увѣрена, что исполняетъ какую-то обязанность, своего рода долгъ. Вотъ по этому поводу у насъ съ ней и происходили безконечные разговоры о развитіи. Каждый такой разговоръ нашъ по большей части оканчивался ссорой, но иногда дѣвушка задумывалась глубоко.

Недавно она спросила меня, что̀ я посовѣтую читать ей.

больше и, наконецъ, толстыя, застывшія душевно, неподвижныя физически, держа ручки на животѣ, онѣ навѣки прирастаютъ къ своимъ гнѣздамъ. А то такъ еще хуже: дѣлаются навсегда больными, вѣчно страдая неврастеніей, невропатіей, психопатіей и прочими прелестями, созданными въ такомъ множествѣ нашимъ братомъ подлецомъ.

Оканчиваютъ онѣ такъ тяжко потому, что мужья ихъ такъ ставятъ; мужей же ставитъ въ такое положеніе та потребительская среда, куда они попали, а откуда берется эта потребительская среда, кто ее кормитъ и зачѣмъ ее кормятъ, этого я сказать здѣсь, извините, не умѣю.

Какъ никогда я не умѣлъ отвѣтить Софьѣ Ивановнѣ на ея вопросъ, что же ей дѣлать? Что ей, въ самомъ дѣлѣ, дѣлать-то? Если ужъ толпа мужчинъ по улицамъ собакъ гоняетъ, ни къ чему не пристроенная, то дѣвушкѣ и подавно нечего предпринять. Такая ужъ это среда. Находясь въ ней, можно только чисто-потребительскую жизнь вести, а обо всемъ остальномъ лишь разговоры разговаривать. Или надо совсѣмъ выйти изъ потребительскаго круга, но на это способны только героическія натуры, а мои знакомые были обыкновенные, простые люди, и, притомъ, такъ сжились съ своимъ положеніемъ, что иного и не понимали.

Всему виною былъ, конечно, самъ Иванъ Петровичъ. Другого такого потребителя я, пожалуй, и не видалъ. Другіе культурные люди, похитрѣе, непремѣнно стараются прикрыть свое бездѣлье какою-нибудь суетливою дѣятельностью; одинъ—филантропъ, другой—покровитель искусствъ, тотъ любитъ астрономію, этотъ—реформаторъ въ своемъ болотѣ (самый вредный видъ потребителей). И это прикрытіе удается и отводитъ наивнымъ глаза. А Иванъ Петровичъ по своей простотѣ и не думалъ чѣмъ-нибудь прикрываться. Получалъ окладъ—и радовался; пользовался всякимъ благополучіемъ—и тоже радовался. Онъ добился большого чина и хорошаго мѣста, чтобы кормиться, а вовсе не за тѣмъ, чтобы глупыхъ обывателей благодѣтельствовать.

Спѣшу еще оговориться, что Иванъ Петровичъ былъ чистымъ потребителемъ не въ одномъ только грубомъ смыслѣ. Разумѣется, покушать онъ любилъ, и если у меня не было аппетита, то достаточно было взглянуть на него, какъ онъ кушаетъ, чтобы почувствовать сильнѣйшій голодъ. Любилъ

онъ покушать; я, какъ домашній врачъ его, зналъ всѣ тайны его на этотъ счетъ. Мой совѣтъ—умѣренно ѣсть, избѣгая мучного и сладкаго, онъ пропускалъ мимо ушей. Не зная мѣры, онъ увлекался во время обѣда и забывалъ во-время остановиться. Оттого по нѣсколько разъ въ годъ онъ долженъ былъ платиться за жадность, а я долженъ былъ возиться съ нимъ. Здоровый организмъ его долго выдерживалъ, но, наконецъ, протестовалъ... Впопыхахъ, вся взволнованная, пріѣзжала обыкновенно за мной горничная и торопила меня скорѣе ѣхать. „Барину худо!"—говорила она. Но я уже заранѣе угадывалъ, въ чемъ дѣло. Добрѣйшій Иванъ Петровичъ увлекся, переложилъ лишнее и слегъ. Когда я пріѣзжалъ (всегда почти ночью), картина была уже полная. Изъ кабинета раздавались раздирающіе душу стоны; прислуга впопыхахъ бѣгала; Лизавета Васильевна, перепуганная и блѣдная, держала голову больного, которого поминутно тошнило.

— Ничего, ничего!—говорилъ я и торопилъ нести ледъ, вино и прочее.

— Ой, смерть! Умираю! Ой, ради Бога, что-нибудь!—кричалъ Иванъ Петровичъ что было мочи.

Часа черезъ два мнѣ удавалось его отходить, и онъ засыпалъ. Дня два затѣмъ онъ валялся въ постели, а когда поднимался съ кровати, лицо его казалось сильно похудѣвшимъ, глаза горѣли, носъ обострялся. Но это только придавало ему больше свѣжести и нѣкоторой умственной живости. Тогда-то и можно было видѣть, что потребитель онъ не въ одномъ грубомъ значеніи.

Самое любимое его занятіе было—пріобрѣтать всякія новинки, оттого-то его домъ и набитъ биткомъ разными ненужными вещами. Выйдетъ-ли новой системы лампа, объявится-ли аукціонъ картинъ, увидитъ-ли какую-нибудь рѣдкую мебель, или услышитъ о продажѣ какихъ-нибудь книгъ—непремѣнно поспѣшитъ пріобрѣсти. Въ этомъ отношеніи онъ былъ совершенный ребенокъ, или женщина,—увлекающійся, капризный, нетерпѣливый и жадный. Гулялъ онъ всегда по тѣмъ улицамъ, гдѣ много магазиновъ, въ окна которыхъ онъ жадно вглядывался. И что̀ бы онъ ни увидалъ новаго, еще не бывшаго въ его рукахъ, сейчасъ же хватаетъ поразившую его вещь.

— Что же это вы дѣлаете, Иванъ Петровичъ?

— А что такое?—спросилъ онъ разсѣянно.

— Да вѣдь сегодня коммиссія назначена!—сказалъ я, уже взбѣшенный его разсѣянностью.

— Какая коммиссія?

Это же возмутительно! Даже забылъ, толстое животное!

— Неужели вы забыли, что вмѣстѣ со мной и Ландышевымъ выбраны на прошломъ засѣданіи, чтобы приготовить докладъ о томъ, какія книги...

— А, вотъ вы о чемъ!... Ну, извините ради Бога! Честное слово, не могъ придти... Поясница вдругъ что-то заныла,—погода, что-ли, такая, или старый мой ревматизмъ... Заныла и заныла, ну, я и того...—говорилъ Иванъ Петровичъ и конфузился.

Я видѣлъ, что человѣкъ вретъ, даже и вретъ-то по-дѣтски, хотя въ головѣ его половина волосъ была уже сѣдая. Ну, что можно сказать на такое ребяческое отношеніе? Я замолчалъ; смѣшно и досадно стало за него.

— Чего вы волнуетесь-то, милѣйшій мой? Успѣете еще сто коммиссій назначить! Куда торопиться-то? Палкой не бьютъ. Слава Богу, хоть тутъ-то можемъ сами распоряжаться... Чего неволить-то себя. Успѣемъ еще,—говорилъ добродушно Иванъ Петровичъ.—Признаться, мнѣ и некогда было идти-то къ вамъ сегодня...

— Что же вы дѣлали?—спросилъ я съ живымъ любопытствомъ.

— Знаете, тутъ назначена была на сегодня спѣшная распродажа въ одномъ обѣднѣвшемъ и куда-то уѣзжавшемъ семействѣ. Я и пошелъ, да и провозился тамъ до сихъ поръ... Посмотрите, какую я пальму за то пріобрѣлъ... Своего рода экземпляръ.

Иванъ Петровичъ, забывъ смущеніе, тотчасъ оживился и принялся показывать мнѣ всѣ достоинства пальмы. Экземпляръ былъ дѣйствительно необычайно крупный, но, видно, „обѣднѣвшему и куда-то уѣзжавшему семейству" не до пальмы было,—она выглядѣла чахлою, съ пожелтѣвшими и какими-то обглоданными концами листьевъ.

— Зачахла немного? Это ничего... плохой уходъ былъ! У меня черезъ мѣсяцъ поправится. Видите, я ужь одну ванну ей сдѣлалъ, и каждый день буду дѣлать... А экземпляръ ве-

ликолѣпный!... А какъ бы вы думали, сколько стоитъ?—спросилъ меня вдругъ Иванъ Петровичъ и медлилъ сказать цифру стоимости, чтобы сильнѣе поразить меня и насладиться моимъ удивленіемъ.

Я пожалъ плечами, все еще будучи не въ состояніи подавить накопившуюся досаду.

— Четвертную я заплатилъ! Понимаете? Четвертную за экземпляръ, стоющій нѣсколько сотъ! Выгодная покупка, а?

И, говоря это, Иванъ Петровичъ съ торжествомъ смотрѣлъ на меня. Я, однако, оставался безчувственнымъ и молчалъ, какъ истуканъ. Но Иванъ Петровичъ уже не обращалъ на меня вниманія и съ увлеченіемъ принялся объяснять всю роскошь пальмы; затѣмъ съ неменьшимъ увлеченіемъ онъ разсказывалъ мнѣ, какъ надо дѣлать ей ванну, какой температуры, на сколько часовъ. Когда истощился весь запахъ его восторговъ насчетъ пальмы, онъ вдругъ оглянулся по сторонамъ и посвисталъ.

На этотъ свистъ прибѣжалъ какой-то мопсъ.

— А вотъ посмотрите, я еще мопса купилъ!

— Мопса-то вамъ зачѣмъ? Вѣдь у васъ есть!—невольно вырвалось у меня восклицаніе.

— Для дѣтишекъ. Нашъ-то ужъ старъ сталъ, лѣнивъ, а этотъ еще молоденькій... посмотрите, какая мордашка забавная, а?

При этихъ словахъ Иванъ Петровичъ взялъ мопса за шиворотъ и поднесъ его близко къ моему лицу. Я вообще люблю животныхъ, но мопсовъ—этихъ дѣтскихъ любимцевъ—не выношу. Понятно, что я нѣсколько попятился отъ „мордашки“. Иванъ Петровичъ разсмѣялся.

— Ахъ, вѣдь я забылъ, что вы не любите!... Ну, такъ я вотъ другою своею покупочкой похвастаюсь... Тамъ же въ хламѣ я нашелъ Амалатъ-Бека...

— Какого Амалатъ-Бека... собаку?—воскликнулъ я.

— Зачѣмъ собаку?... *Амалатъ-Бека* Марлинскаго... Меня прельстило старое изданіе... старая печать, желтые листы, заплѣсневѣлый корешокъ... взялъ, да и купилъ! Да и четвертакъ всего... что ужъ тутъ?

Досада моя начала проходить.

— А вотъ и еще покупка... вериги. Просто не ожидалъ въ образованномъ семействѣ встрѣтить эдакую штуку!—

Вслѣдъ за этими словами Иванъ Петровичъ съ особенною живостью бросился въ сосѣднюю комнату и притащилъ оттуда большую желѣзную цѣпь, ржавую и запачканную.

— Видите? Настоящія вериги...

Признаюсь, я былъ совершенно ошеломленъ.

— Да вы почемъ знаете, что это вериги, а не собачья цѣпь?—вскричалъ я.

— Вотъ въ томъ-то и дѣло, что вериги... Настоящія вериги, иначе зачѣмъ бы я сталъ покупать? Видите-ли, какъ онѣ попали туда: въ семействѣ у нихъ была бабушка, старая-престарая старушка. Она принимала странниковъ... Ну, вотъ одинъ изъ нихъ и оставилъ ей вериги свои... кажется, онъ даже и умеръ-то въ ихъ домѣ. Что это дѣйствительно вериги, а ничто иное, обратите вниманіе на нѣкоторыя звенья,—на нихъ правильно нарѣзаны кресты... видите?

Гремя желѣзною цѣпью, Иванъ Петровичъ отыскивалъ на кольцахъ ея едва замѣтные кресты, соскабливалъ ножомъ ржавчину съ нихъ и обращалъ при всякомъ такомъ случаѣ мое вниманіе.

— Я все же не понимаю, зачѣмъ вамъ вериги?—спросилъ я послѣ долгаго осмотра, все еще удивленный.

— Да такъ. Забавно. Рѣдкая, знаете, теперь вещь... пожалуй даже и не найдешь... Ну, я и взялъ.

Мое раздраженіе прошло. Я даже забылъ, зачѣмъ пришелъ. Тутъ совсѣмъ другіе интересы и настроеніе. Ну, можно-ли было, при видѣ этихъ веригъ, пальмы, Амалатъ-Бека и мопса, сердиться на Ивана Петровича за то, что онъ не пришелъ въ нашу коммиссію? Да Богъ съ нимъ!

Я расхохотался подъ конецъ.

Кстати, тутъ подошли остальные члены семейства и потащили меня въ столовую пить чай. И надо сознаться, здѣсь, посреди здоровыхъ и веселыхъ лицъ, за вкуснымъ чаемъ съ разными вкусными вещами, за аппетитными разговорами я окончательно забылъ свое раздраженіе. Да просто казалось смѣшнымъ и нелѣпымъ самый поводъ-то къ раздраженію... Коммиссія—да шутъ съ ней совсѣмъ!

III.

Тѣмъ не менѣе, раздраженіе мое въ высшей степени поднялось снова въ день собранія, когда мы передъ собравши-

мися членами должны были глупо хлопать глазами, вмѣсто того, чтобы читать свой докладъ. Публики собралось на этотъ разъ довольно много, и видно было, что всѣ собравшіеся дѣйствительно интересуются вопросомъ и ждутъ результата нашего труда. А мы, какъ говорится, ни въ одномъ глазѣ! Не только труда, но самой завалящей мыслишки не могли мы представить вниманію почтеннаго собранія.

Что было дѣлать? Внутренно ощущая только досаду и едва подавляя ее, я незамѣтно переглянулся съ Ландышевымъ, но, увы, прочиталъ на его лицѣ полную растерянность. Было ясно, что даже онъ, не лазившій въ карманъ за словомъ, растерялся передъ публикой, потому что, повторяю, публика серьезно была настроена и съ любопытствомъ поглядывала на насъ, и занять ее обычною словесною балалайкой просто безсовѣстно было.

Въ это критическое мгновеніе меня внезапно осѣнило вдохновеніе, имѣвшее своимъ послѣдствіямъ самые неожижиданные результаты. Явился въ этотъ вечеръ я сюда съ досадой и уже напередъ ожидалъ срама на свою голову, а вышло наоборотъ: вечеръ прошелъ шумно и весело.

Дѣло было такъ.

Мы сѣли. Настала тишина. Иванъ Петровичъ высморкался въ платокъ съ тѣмъ чувствомъ, съ какимъ только онъ одинъ сморкался, и проговорилъ:

— Ну-съ, господа, приступимъ къ нашимъ занятіямъ...

А какія тамъ занятія?

Но вотъ въ это-то мгновеніе меня и осѣнила счастливая мысль, смѣсь лганья и правды. Я сказалъ:

— Въ прошлый разъ былъ поставленъ вопросъ о томъ, какого характера заводить библіотеки, для чего выбрана коммиссія для разработки руководящаго начала... Но коммиссія послѣ долгаго размышленія (здѣсь я почувствовалъ, что уши мои краснѣютъ) пришла къ тому выводу, что ей поручено слишкомъ сложное дѣло, чтобы у кого-либо изъ ея членовъ хватило смѣлости съ легкимъ сердцемъ рѣшить его. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь прежде нежели рѣшить, какимъ принципомъ руководиться при выборѣ книгъ,—эта задача именно и поставлена была коммиссіи,—надо хоть приблизительно знать, каковы желанія самого общества. Въ прошлый разъ уже въ этомъ смыслѣ начаты были бесѣды, но, къ со-

жалѣнію, почему-то не доведены были до конца. Въ виду этого, я предлагаю собранію во всемъ его составѣ еще разъ высказаться и выработать путемъ преній ясные и твердые принципы для руководства на будуще время.

Сказалъ и сѣлъ. Ничего, что высказалъ я все это въ суконныхъ выраженіяхъ. Дѣло было сдѣлано. Публика, пришедшая слушать и критиковать докладчиковъ, изподтишка подсмѣиваясь на ихъ счетъ, застигнута была моими словами врасплохъ, ибо я приглашалъ ее думать и самой высказываться. Толпа не умѣетъ думать. Собраніе заволновалось. Многіе стали переглядываться и ежились, словно ихъ кто покусывалъ. Словомъ, вниманіе общества съ коммиссіи было отвлечено на него самого.

А дальше пошло еще лучше.

Ландышевъ тотчасъ же воспользовался моею мыслью и началъ длинную-предлинную, версты въ двѣ, рѣчь на тему о руководящихъ началахъ вообще и въ частности. Если сократить его рѣчь до размѣровъ одного аршина, то можно было извлечь изъ нея слѣдующее. Въ дѣлѣ распространенія знаній объективныхъ руководящихъ началъ нѣтъ и не можетъ быть. Мы, культурные люди, въ этомъ случаѣ должны руководиться не мнѣніями народа, а нашими собственными понятіями о красотѣ, истинѣ и добрѣ. Еслибы мы вздумали руководиться народными понятіями, то пришлось бы распространять „Сонники", „Премудрые Соломоны" и пр. Нелѣпость очевидна. И единственный выходъ отсюда—это субъективное начало, которое только и можетъ вывести на торную дорогу. Дальше, къ удивленію, онъ кончилъ такимъ выводомъ, который прямого отношенія съ его рѣчью не имѣлъ. „Слѣдуетъ,—сказалъ онъ,—распространять изъ научныхъ книгъ—элементарныя, изъ литературныхъ сочиненій—сказки и передѣлки, изъ драматическихъ—мелодрамы и пр."

Не успѣлъ онъ кончить, какъ нетерпѣливо попросилъ слово тотъ самый господинъ, который въ прошлый разъ сдѣлалъ ироническій запросъ. На этотъ разъ иронія также мелькала на его лицѣ, но она часто замѣнялась какимъ-то нетерпѣніемъ или раздраженіемъ.

— Я желалъ бы обратить вниманіе собранія на одну сторону дѣла,—началъ онъ тихо, но постепенно возвышая голосъ,—которую, кажется, упускаютъ изъ виду, какъ и г.

Ландышевъ въ своей прекрасной рѣчи. Говорю объ отношеніи нашихъ культурныхъ классовъ къ некультурнымъ... Не знаю, какъ назвать эти отношенія—фальшивыми или недомысленными... Дѣло въ томъ, что каждый изъ насъ признаетъ мужика равнымъ себѣ человѣкомъ, но это теоретически, а не на практикѣ. Когда заходитъ рѣчь, напримѣръ, о томъ, какъ поправить экономическія условія мужика, находятся тотчасъ же лица, придумывающія цѣлую кучу невѣроятныхъ мѣропріятій, при помощи которыхъ только, будто-бы, и можно поднять благосостояніе народа. Какъ это ни нелѣпо, но это никого не удивляетъ. Никто не рѣшился бы, напримѣръ, въ видахъ развитія нашей промышленности и торговли, сажать купцовъ и фабрикантовъ въ чижовки; никому тоже не придетъ въ голову посовѣтовать, ради поправленія имѣній, сѣчь розгами землевладѣльцевъ. Но относительно мужика такія вещи предлагаются и совѣтуются, и не безъуспѣшно. Когда общество приходитъ въ ужасъ отъ деревенскихъ пожаровъ, сейчасъ же находятся изобрѣтатели, выдумывающіе какія-то соломенно-ковровыя крыши. Неурожай посѣщаетъ мѣстности, сейчасъ находятся остроумные господа, предлагающіе пробиваться жмыхами... Однимъ словомъ, въ принципѣ мы съ величайшею готовностью даемъ мужику полное право на жизнь, но лишь только дойдетъ до дѣла, мы предлагаемъ ему какую-нибудь скромную фальсификацію... Нѣчто подобное и сейчасъ случилось. Я съ большимъ удовольствіемъ слушалъ рѣчь г. Ландышева и очень радовался, когда онъ подробно распространился о необходимости субъективнаго въ дѣлѣ распространенія знаній... Поистинѣ это христіанскій принципъ. Я желаю для другого того, что для меня самого благо. Что я считаю истиннымъ, прекраснымъ и благимъ, то же я долженъ отдать и народу. Просто и человѣчно. И, кажется, нѣтъ легче, какъ перейти отсюда прямо къ книгамъ; нѣтъ ничего яснѣе, какъ сказать себѣ: вотъ эти книги я считаю художественными, истинными и нравственными, пусть же и народъ ихъ читаетъ. Мнѣнія народа я не знаю, да его, быть можетъ, и не существуетъ относительно книгъ, но я отлично знаю, какія книги я самъ для него считаю прекрасными и хорошими; ихъ мы и должны рекомендовать ему. А, между тѣмъ, г. Ландышевъ разсуждаетъ такъ: народу мы дадимъ то, что мы считаемъ

прекраснымъ и добрымъ, *слѣдовательно*, надо распространять среди его сказки о чертяхъ, нравоучительныя передѣлки, гдѣ добродѣтель всегда торжествуетъ, и мелодрамы, гдѣ льются дешевыя слезы... Къ чему понадобилось ему выкинуть этотъ телячій курбетъ—не понимаю...

Хорошо, очень хорошо! Я съ удовольствіемъ слушалъ. Публика также насторожилась. Нѣсколько десятковъ паръ глазъ были устремлены на говорившаго господина. И Ландышевъ добродушно улыбался... Славный онъ малый въ этомъ отношеніи! Никогда онъ не обижался, когда надъ нимъ зло подшучивали, и выходилъ изъ себя только въ томъ случаѣ, когда шутки были плоскія и глупыя. Такъ и теперь—онъ съ добродушною улыбкой кивнулъ головой въ сторону говорившаго: „Отлично, молъ!..."

Но совсѣмъ иное дѣло Петръ Ивановичъ Севастьяновъ. Взглянувъ на него, я тотчасъ понялъ, что его уже тошнитъ, и онъ уже замышляетъ трусость. И дѣствительно, воспользовавшись первымъ перерывомъ говорившаго, онъ вдругъ какъ-то покрутилъ носомъ въ воздухѣ, судорожно улыбнулся и сказалъ:

— Мы, кажется, насколько я понимаю, отвлеклись отъ цѣли нашихъ разговоровъ... и вышли изъ границъ, положенныхъ уставомъ.

Высказавъ это, онъ посмотрѣлъ не то стыдливо, не то вызывающе по сторонамъ.

Однако, на этотъ разъ даже Иванъ Петровичъ возмутился.

— Ну, что ужь это вы, Петръ Иванычъ?... Ужь будто нельзя и поговорить,—сказалъ онъ ворчливо.

— Говорить сколько угодно мы можемъ, но въ предѣлахъ нашей программы,—возразилъ упрямо Севастьяновъ.

— Да что это вы, въ самомъ дѣлѣ, выдумываете?... Нельзя поговорить!... Да у насъ прямо въ уставѣ сказано: „общество заводитъ библіотеки"... А какія-же это библіотеки мы будемъ заводить, ежели предварительно не поговоримъ о книгахъ?... На толчокъ, что-ли, идти намъ справляться, какія книги лучше? Что ужь это такое!

И расплывчатое лицо нашего предсѣдателя выглядѣло въ эту минуту опредѣленно сердитымъ. Это подѣйствовало. Трусъ на время былъ усмиренъ и успокоенъ. Опустилъ гла-

за, перекосилъ плечи и какъ будто говорилъ: „Какъ знаешь! Мое дѣло сторона!“

Во время этихъ пререканій говорившій господинъ съ недоумѣніемъ ждалъ конца ихъ, но лишь только Севастьяновъ успокоился, онъ продолжалъ говорить. Только, какъ я замѣтилъ, заговорилъ на этотъ разъ онъ не такъ, какъ хотѣлъ, и не о томъ, что думалъ предварительно. Заговорилъ онъ въ общихъ выраженіяхъ и съ раздраженіемъ, какъ будто трусливое возраженіе Севастьянова вывело его изъ себя.

Повторивъ еще разъ, что народу мы должны давать то, что̀ сами любимъ и что̀ для себя считаемъ истиннымъ, онъ вдругъ спросилъ: „А что же мы сами-то любимъ?... Да любимъ-ли мы что-нибудь въ литературѣ? Быть можетъ, она въ дѣйствительности и не нужна намъ и мы отлично обходимся безъ нея?“

Всѣ съ нетерпѣніемъ посматривали на него. Но эти взгляды, казалось, еще больше раздражали его, и онъ уже рѣзко, безъ всякихъ условностей, отвѣтилъ, что—да, что литературы мы не любимъ, потребности въ ней не чувствуемъ и только съ чужого голоса можемъ сказать, что̀ въ ней хорошо и что̀ дурно, что̀ красиво и что̀ безобразно, что̀ чисто и что̀ подло... Пусть вдругъ исчезнетъ цѣлая половина литературы, мы пожалѣемъ о ней и забудемъ ее тотчасъ же. Она не составляетъ нашей потребности, какъ хлѣбъ, и не любимъ мы ее, какъ собственную шкуру... ибо собственныхъ мыслей у насъ нѣтъ еще. Обо всемъ мы можемъ убиваться, только не убиваемся, когда мысль наша обращается въ сорную яму. Собственныхъ мыслей мы не имѣемъ, а отъ полученныхъ легко отказываемся. Мы страдаемъ, когда у насъ нѣтъ своего платья, но не чувствуемъ ни малѣйшаго стыда, когда не имѣемъ въ головѣ ни одной своей мысли. Насъ обижаетъ, когда вслѣдствіе нужды мы должны обращаться къ знакомому за деньгами, но легко у того же знакомаго крадемъ его мысль и при случаѣ пускаемъ ею пыль въ глаза, выдавая ее за свою, выстраданную. Въ сущности, мы равнодушны какъ къ чужой мысли, такъ и къ своей; исчезни вся литература—мы замѣнимъ ее суррогатомъ, да еще будемъ похваливать.

Не могу припомнить всего, что̀ говорилъ этотъ странный

баринъ. Помню только, чѣмъ больше онъ говорилъ, тѣмъ рѣзче выражался. Между прочимъ, онъ сказалъ:

— И такъ, прежде нежели спорить о томъ, какого рода грамотность давать темному человѣку, надо спросить себя, точно-ли сами-то мы грамотные люди?

Это ужь слишкомъ!

Но, странно, его рѣзкія слова ни въ комъ не вызвали огорченія. Напротивъ, счастливѣйшія улыбки озарили всѣ лица, и чувство удовольствія сіяло въ глазахъ всѣхъ. Почему случилась такая невѣроятная вещь—не понимаю. Вѣдь ужь подлинно, человѣкъ, видимо, обиженный,—въ глаза всѣмъ наплевалъ, а мы—ничего, даже съ большимъ удовольствіемъ... Быть можетъ, это потому, что онъ, хотя и злобою своей, но съумѣлъ разогнать нашу скуку, какую всѣ испытывали въ прежнія засѣданія, хотя и не сознавались въ этомъ. Быть можетъ, выслушивая злую характеристику, каждый относилъ ее къ своему сосѣду и въ душѣ еще поддакивалъ: „Хорошенько, хорошенько эту безграмотную скотину!“ А, быть можетъ, и потому еще, что на всѣхъ вдругъ, подъ впечатлѣніемъ горячей, хотя и крайней рѣчи, напала откровенность и жажда раскаянія.

По крайней мѣрѣ, шумно-откровенные разговоры начались тотчасъ, лишь только кончилъ свою очередь баринъ. Сначала многіе переспрашивали другъ друга, кто это такой? Оказалось, многіе его знали, въ томъ числѣ и Севастьяновъ. Это былъ Иванъ Николаевичъ Чарскій. Когда мнѣ назвали эту фамилію, я тоже что-то припоминать сталъ.

Но скоро послѣ его рѣчи о немъ самомъ позабыли, разбирая его слова. Всѣ члены разбились на кружки. Порядокъ сидѣнія нарушился,—кто сѣлъ верхомъ на свой стулъ, кто повернулся спиной къ предсѣдателю, кто вовсе покинулъ свое мѣсто. Лица у всѣхъ повеселѣли, языки развязались. Иванъ Петровичъ не звонилъ и не останавливалъ.

— Пусть, пусть говорятъ!... Терпѣть не могу я скучныхъ собраній!

И онъ самъ съ удовольствіемъ прислушивался къ рѣчамъ. Да и нельзя было безъ удовольствія слышать разсказы.

Сначала потѣшилъ всѣхъ какой-то баринъ, выглядѣвшій сморщеннымъ старикомъ, хотя на самомъ дѣлѣ, кажется, онъ былъ еще молодымъ человѣкомъ. Онъ сказалъ:

— А вѣдь знаете, господа?... Вѣдь истинную правду высказалъ г. Чарскій. Про себя скажу: всѣхъ великихъ людей я почитаю, а какое между ними различіе и что̀ каждый изъ нихъ произвелъ, ей-Богу не помню и часто не понимаю! Вотъ, напримѣръ, Шекспиръ... великій человѣкъ, но спросите меня, почему его драмы велики, съ грустью скажу — не знаю. И многіе такъ-то по наслышкѣ болтаютъ, сами не понимая, что и какъ...

Разсмѣшилъ многихъ этотъ старикъ. Но всѣхъ больше смѣялся самъ онъ. Откровенно, ради удовольствія, осмѣявъ себя, онъ такъ чистосердечно смѣялся, что на глазахъ его выступили слезы и кашель душилъ его.

Дальше пошли анекдоты.

Кто-то разсказалъ объ одномъ баринѣ, который самъ себя считалъ образованнымъ человѣкомъ и другихъ заставлялъ думать о себѣ такъ. Но случился однажды такой казусъ,— вздумалъ подшутить надъ нимъ врагъ его. Подходитъ онъ къ нему (дѣло было въ собраніи) и спрашиваетъ: „А читали вы, спрашиваетъ, Альцеста?“ Тотъ туда - сюда, нѣтъ, не помнитъ. Ему-бы спросить, кто это такой, но онъ предпочелъ сказать, что не помнитъ такого писателя. „Не можетъ быть,—говоритъ коварный собесѣдникъ,—вы просто забыли. Это тотъ самый Альцестъ, который сочинилъ *Мизантропа*— комедію... припоминаете теперь?“ — „А - а! теперь припоминаю!“

Много было шуму послѣ этого анекдота.

Но больше всего понравился другой анекдотъ, разсказанный другимъ нашимъ сочленомъ.

Жилъ (и навѣрное и теперь живетъ) одинъ нотаріусъ. Слылъ онъ весьма почтеннымъ, добросовѣстнымъ и даже умнымъ человѣкомъ; только была у него одна слабость — казаться ученымъ. Къ чтенію у него была непреодолимая лѣнь, да и многихъ книгъ, по малому образованію своему, онъ и понять не могъ. Вотъ и придумалъ онъ такой способъ. Подписался въ библіотеку и регулярно бралъ оттуда самыя что ни на есть классическія сочиненія; принеся ихъ домой, онъ раскладывалъ ихъ въ гостинной на столѣ, и когда приходили гости, былъ очень доволенъ тѣмъ впечатлѣніемъ, какое производила его премудрость. Однако, съ теченіемъ времени и это ему стало лѣнь дѣлать; тогда онъ все дѣло

поручилъ своему слугѣ Ивану. Иванъ былъ человѣкъ смышленый и быстро усвоилъ способъ полученія книгъ. Вымететъ полъ, почиститъ платье, ну, тамъ помои, что-ли, вынесетъ, и затѣмъ справляется по каталогу, что сегодня брать... „А сегодня, говоритъ, слѣдоваитъ, перво-на-перво, Господи благослови, взять *Небесную механику* Лапласа... окромя того возьмемъ Локка".

Послѣ продолжительнаго возбужденія, вызваннаго этимъ анекдотомъ, пошли другіе анекдоты, еще болѣе откровенные. Показное знаніе со всѣхъ сторонъ обличалось. Такъ, кто-то разсказалъ объ одномъ высокопоставленномъ лицѣ, зубрившемъ на старости лѣтъ греческую грамматику Кюнера, чтобы хоть немного понюхать классицизма. Другой началъ разсказывать анекдоты о своихъ знакомыхъ и о себѣ самомъ. Откровенность дошла до того, что атмосфера нашей залы, вслѣдствіе нѣсколькихъ десятковъ раскрытыхъ русскихъ душъ, стала удушливой. Да и время было уже за полночь: поэтому Иванъ Петровичъ поспѣшилъ закрыть засѣданіе, столь неожиданно оживленное.

При выходѣ я случайно столкнулся съ Чарскимъ, взглянулъ на него и увидалъ угрюмое лицо.

Въ слѣдующій разъ пришло еще больше народу, — общество наше становилось популярнымъ. Что собственно привлекало людей—этого въ двухъ словахъ не объяснить, да у разныхъ людей были разныя побужденія. Я знаю одного, который записался въ дѣйствительные члены общества грамотности потому только, что наканунѣ жестоко продулся въ своемъ клубѣ за картами и желалъ развлечься. Многіе, поступая къ намъ, желали только развлеченія. Но я знаю и такихъ, которые поступали съ цѣлью послушать, поучиться и поработать.

И всѣ поступавшіе, повидимому, оставались довольны. Если не было особенно оживленно, то и не скучно. Большинство приходило, усаживалось за столы, курило, балагурило и только послѣ усиленныхъ просьбъ со стороны предсѣдателя соглашалось на нѣкоторое время замолчать и привести себя въ порядокъ. Это большинство, надо откровенно сказать, очень напоминало баранье стадо.

Меньшинство, какъ-то незамѣтно образовавшееся вокругъ Чарскаго, къ которому скоро и я примкнулъ, принялось

кое-что работать. Очень быстро составленъ былъ каталогъ; мы намѣтили нѣсколько школъ, гдѣ должна была образоваться библіотека; тихо, но настойчиво хлопотали объ одной образцовой школѣ, которую должно завести само общество. Баранье стадо было очень довольно, что съ него сняли обузу размышлять и работать, оставивъ ему одно пріятное удовольствіе „обмѣна мнѣній".

Этотъ обмѣнъ шелъ самъ собою. Никто ему не мѣшалъ; всякій выкладывалъ, что имѣлъ. Иногда казалось, что говорившій всю жизнь держалъ языкъ свой на привязи, а вотъ тутъ взялъ, да и отвязалъ его. И развязанный языкъ неудержимо заболталъ, выкачивая изъ головы своего хозяина застоявшуюся лужу соображеній. Что тутъ приходилось выслушивать—уму непостижимо! Самыя элементарныя мысли здѣсь были подвергнуты сомнѣнію, самыя простыя истины объявлялись какъ новыя открытія.

Всѣхъ больше доставалось Чарскому. И внѣ засѣданій, и во время ихъ къ нему приставали съ такими требованіями и вопросами, что онъ только хлопалъ глазами.

Однажды, напримѣръ, брезгливо улыбаясь, вдругъ спросили его:

— А знаете что?... Вотъ вы говорите объ образованіи народа... А вотъ я сомнѣваюсь въ этомъ! Представьте, что весь народъ будетъ образованъ, какъ мы, кто же тогда работать станетъ, а? Кто землю будетъ пахать, на фабрикахъ работать, а? Въ пьянство всѣ ударятся, распутство пойдетъ... Вотъ разрѣшите-ка это сомнѣніе,— ехидно добавилъ баринъ.

Какъ ни глупы были его вопросы, но самая глупость ихъ поставила многихъ въ тупикъ. Чарскій также съ минуту тупо смотрѣлъ на вопрошавшаго, засунувъ руки въ карманы брюкъ. Но вдругъ онъ спросилъ:

— Вы образованный человѣкъ?

Лицо барина отъ этого вопроса покоробилось, и онъ обидчиво отвѣтилъ:

— Когда-то имѣлъ честь кончить кандидатомъ на математическомъ факультетѣ!

— И, несмотря на свое образованіе, вы работаете?—спросилъ Чарскій.

— Не понимаю, къ чему вы все это... Я, конечно, служу и получаю за свой трудъ вознагражденіе... Да, служу!

— Такъ вотъ и каждый образованный человѣкъ будетъ служить и работать. И чѣмъ образованнѣе человѣкъ, тѣмъ у него больше потребности работать... Позвольте еще спросить, вы не пьянствуете?

Баринъ весь покраснѣлъ и съ искаженнымъ лицомъ обратился къ обидчику:

— Вы, милостивый государь, оставьте дерзости!... Я не позволю себя такъ оскорблять!... Если я выпиваю рюмку-другую за обѣдомъ и ужиномъ, то это еще не значитъ, чтобы я пьянствовалъ... Какъ вы смѣете меня оскорблять?

При этихъ словахъ лицо чудака совсѣмъ побагровѣло, въ особенности носъ.

Чарскій сдержанно улыбнулся.

— А какъ же вы-то осмѣливаетесь оскорблять цѣлый народъ?—сказалъ онъ съ улыбкой.

Баринъ оторопѣлъ и, заслышавъ смѣхъ вокругъ себя, круто повернулся въ сторону и забормоталъ:

— Тэкъ-съ!... Какіе у насъ демократы-то завелись!

Вотъ какіе вопросы мы иногда рѣшали!

Впрочемъ, этотъ баринъ былъ недурной человѣкъ и, во всякомъ случаѣ, пакости не могъ учинить. Служилъ онъ въ гимназіи и въ теченіи пятнадцати лѣтъ такъ одеревенѣлъ за своими „предметами", что голова уже походила на архивъ со старыми учебниками; только крысы да гимназисты могли еще кое-чѣмъ попользоваться изъ этой древней сокровищницы, а больше никто!

Но однажды присталъ къ нѣкоторымъ изъ членовъ, а въ особенности къ Чарскому, другой субъектъ, нѣкто Некрутовъ.

— Вотъ вы про живую мысль говорите, а гдѣ ее взять-то? — допытывался Некрутовъ. — Вотъ, напримѣръ, наше общество грамотности, какъ вы думаете, живое оно... или мертвое?

— Не знаю!—возразилъ Чарскій.

— Да вѣдь вы, чай, видите, живое оно или нѣтъ?—приставалъ Некрутовъ.

— Право, еще ничего не вижу. Это отъ самихъ членовъ будетъ зависѣть,—возразилъ Чарскій серьезно.

— При какихъ же условіяхъ оно можетъ быть живымъ? И отчего подобныя общества бываютъ мертвыми?

Кажется, что Чарскій и самъ понималъ, что это элементарные вопросы, родившіеся въ плохой головѣ, но еще и вѣроломные, и отвѣчать на нихъ не слѣдуетъ. Но онъ такъ увлекся въ этотъ вечеръ, что не хотѣлъ молчать.

— Хотите, я вамъ на это сказку скажу? — спросилъ онъ весело.

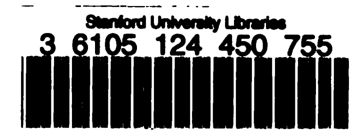
— Да что-жь сказку... вы ужь прямо лучше! — выпытывалъ Некрутовъ.

— Ну, не хотите, такъ ничего не скажу...

— Ну, разсказывайте, разсказывайте! — взмолился Некрутовъ.

Чарскій весь какъ-то оживился, пощипалъ себѣ бороду и принялся разсказывать.

— Видите-ли, это было въ лѣсу. И не среди людей, а среди царства природы. Стояло одинокое, тихое озеро. Со всѣхъ сторонъ его окружали стѣны высокихъ деревьевъ, защищая его отъ бури и непогодъ и отъ жгучихъ солнечныхъ лучей. Далеко надъ его влажною поверхностью протянулись вѣтви и охраняли его покой. Солнце надъ озеромъ только въ полдень играло; въ остальные часы дня здѣсь стояли полумракъ, прохлада и тишина. Привольно кругомъ всѣмъ жилось. Камыши густыми толпами сопровождали берега озера и высоко поднимали свои султаны и перья. Между камышами, какъ низкорослая пѣхота, залегла рѣзачка-трава, къ которой нельзя прикоснуться, чтобы не порѣзать руку. А дальше, къ серединѣ озера, широко и привольно распластались по гладкой поверхности жирные лопухи, изъ средины которыхъ мѣстами выглядывали бѣлыя болотныя лиліи, желтыя кувшинки и зеленая кашка. Только самая середина озера оставалась не занятою и свѣтила, какъ зеркало, въ рамѣ зелени. Кажется, всѣмъ было тутъ спокойно и привольно. Но этого показалось мало обитателямъ тихаго озера. Они стали жаловаться, что ихъ то и дѣло безпокоятъ родники, выбивавшіеся со дна въ разныхъ мѣстахъ. „Эти безпокойные родники! Вѣчно они противъ чего-то ропщутъ, вѣчно путаются между нашими корнями, колеблятъ наши стволы и нарушаютъ нашъ покой“. Такъ говорили камыши, обращаясь къ лопухамъ. Жирные лопухи согласились съ этимъ и предло-



1347/7
PG
3470
P2
1899
v.2

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

